

Рэй
БРЭДБЕРИ



*О скитаньях вечных
и о Земле*

Рэй
БРЭДБЕРИ

*О скитаньях
вечных
и о Земле*



РЭП

БРЭДБЕРИ

*Вино
из одуванчиков*



*451°
по Фаренгейту*



*Марсианские
хроники
и
более 50 рассказов*

Рэй
БРЭДБЕРИ

*О скитаньях
вечных
и о Земле*

УДК 820(73)
ББК 84(7 США)
Б 87

Ray BRADBURY

Составитель *Александр Жикаренцев*

Серийное оформление художника *А. Саукова*

Серия основана в 2001 году

Брэдбери Р.
Б 87 О скитаньях вечных и о Земле: Фантастические произведения / Пер. с англ. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 1296 с. (Серия «Шедевры фантастики»).

ISBN 5-04-008960-0

Еще одна встреча с чудесным, еще одна возможность посетить Марс, заглянуть в ожидающее нас будущее.

В этот сборник вошли самые любимые, лучшие рассказы и романы Рэя Брэдбери, Великого Писателя, которого будут читать и перечитывать всегда.

УДК 820(73)
ББК 84(7 США)

© Оформление. ЗАО «Издательство
«ЭКСМО-Пресс», 2001

© Перевод. О. Бытов, З. Бобырь, И. Воронежская,
Нора Галь, В. Гольдич, И. Григорьева, В. Грушецкий,
Л. Жданов, Д. Жуков, В. Задорожный, Э. Кабалевская,
Б. Клюева, И. Коптюг, А. Лебедева, А. Левкин,
Д. Лившиц, Р. Облонская, А. Оганян, В. Серебряков,
Л. Сумилло, А. Чайковский, Т. Шинкарь, 2001

ISBN 5-04-008960-0

От издательства

Перед вами — новая книга Рэя Брэдбери. Впрочем, новая ли? Но давайте по порядку.

Прежде всего, кто такой Рэй Брэдбери? Фантаст? Разумеется. Но самое главное, он — Писатель. Что же касается фантастики, то подчас границы этого жанра весьма размыты. Допустим, что такое «Мастер и Маргарита»? А «Замок»? Кстати, Рэй Брэдбери за свою жизнь не получил ни одной значительной фантастической награды. Наверное, судьи смущались. Ну посудите сами: вроде фантастика, а вроде и нет.

А с другой стороны, серьезные литераторы его тоже не принимали — уж слишком сказочен он в своих сюжетах. И тут надо отдать должное писателю, ведь очень сложно жить вот так, на грани, ни туда, ни сюда. Однако Рэй Брэдбери упорно продолжал работать, заняв самую мудрую позицию — время рассудит. И оно рассудило. Сейчас Рэя Брэдбери относят к самым значительным писателям XX века. Следует отметить, что в конце столетия признали Брэдбери и собратья-фантасты, одарив его всевозможными титулами типа «Гранд-Мастер», «За достижения» и проч. Но все это суета, а перед этим было Творчество.

Так вот, о Творчестве. Книгу, которую вы держите в руках, нельзя назвать новой. Новая она только в том смысле, что в ней **ВПЕРВЫЕ** предпринята попытка собрать лучшие, самые интересные и разнообразные тексты писателя, которого мы знаем с детства. Отбор был очень строг, рассматривались переводы, рассказы менялись местами, выбрасывались, снова возвращались: «Нет, ну вот это же нельзя не включить... А это? И тем более это!» В конце концов объем вырос настолько, что пришлось консультироваться с типографией — смогут ли? Нет. Пришлось урезать. И вот наконец перед вами новая-старая книга любимого Рэя Брэдбери.

Рассказы в ней выстроены согласно некоему хронологическому принципу. Есть пролог, эпилог и четыре части. Начинается наше путешествие, разумеется, с Земли — из прошлого через настоящее в будущее. А затем — ввысь, к иным мирам...

Также следует отметить, что в книгу вошли три основных крупных произведения писателя — это «Вино из одуванчиков», «451° по Фаренгейту» и, конечно же, «Марсианские хроники».

Хочется сказать спасибо тем переводчикам, которые в свое время донесли до нас творчество Рэя Брэдбери. Многих уже нет, но их тексты все перепечатываются и перепечатываются — это ли не есть Слава?

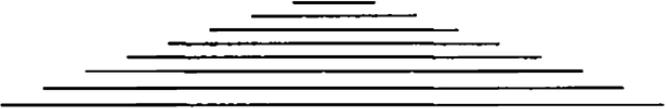
Ну а теперь слово самому Рэю Брэдбери:

«Вы, читатели, и я, писатель, очень похожи. Юноша, живущий во мне, набрался смелости писать, чтобы доставить вам удовольствие. Мы встречаемся на обычной земле, но в необычное Время, мы одариваем друг друга светом и тьмой, снами, красивыми и кошмарными, простыми радостями и такой непростой грустью.

Маленький волшебник говорит с вами из прошлого. Я отхожу в сторонку и даю ему сказать все, что он хочет. Я слушаю, и мне хорошо.

Надеюсь, вам тоже...»*

* Перевод А. Оганяна.



Пролог



Человек в картинках

С Человеком в картинках я повстречался ранним теплым вечером в начале сентября. Я шагал по асфальту шоссе, это был последний переход в моем двухнедельном странствии по штату Висконсин. Под вечер я сделал привал, подкрепился свининой с бобами, пирожком и уже собирался растянуться на земле и почитать — и тут-то на вершину холма поднялся Человек в картинках и постоял минуту, словно вычерченный на светлом небе.

Тогда я еще не знал, что он — в картинках. Разглядел только, что он высокий и раньше, видно, был поджарый и мускулистый, а теперь почему-то располнел. Помню, руки у него были длинные, кулачищи как гири, сам большой, грузный, а лицо совсем детское.

Должно быть, он как-то почуял мое присутствие, потому что заговорил, еще и не посмотрев на меня:

— Не скажете, где бы мне найти работу?

— Право, не знаю,— сказал я.

— Вот уже сорок лет не могу найти постоянной работы,— пожаловался он.

В такую жару на нем была наглухо застегнутая шерстяная рубашка. Рукава и те застегнуты, манжеты туго сжимают толстые запястья. Пот градом катится по лицу, а он хоть бы ворот распахнул.

— Что ж,— сказал он, помолчав,— можно и тут переночевать, чем плохое место. Составлю вам компанию — вы не против?

— Милости просим, могу поделиться кое-какой едой,— сказал я.

Он тяжело, с кряхтением опустился наземь.

— Вы еще пожалеете, что предложили мне остаться, — сказал он. — Все жалеют. Потому я и брожу. Вот, пожалуйста, начало сентября. День труда — самое распрекрасное время. В каждом городишке гулянье, народ развлекается, тут бы мне загребать деньги лопатой, а я вон сижу и ничего хорошего не жду.

Он стащил с ноги огромный башмак и, прищурясь, начал его разглядывать.

— На работе, если повезет, продержусь дней десять. А потом уж непременно так получается — катись на все четыре стороны! Теперь во всей Америке меня ни в один балаган не наймут, лучше и не соваться.

— Что ж так?

Вместо ответа он медленно расстегнул тугой воротник. Крепко зажмурясь, мешкотно и неуклюже расстегнул рубашку сверху донизу. Сунул руку за пазуху, осторожно ощупал себя.

— Чудно, — сказал он, все еще не открывая глаз. — На ощупь ничего не заметно, но они тут. Я все надеюсь — вдруг в один прекрасный день погляжу, а они пропали! В самое пекло ходишь целый день по солнцу, весь изжаришься, думаешь — может, их потом смоем или кожа облупится и все сойдет, а вечером глядишь — они тут как тут. — Он чуть повернул ко мне голову и распахнул рубаху на груди. — Тут они?

Не сразу мне удалось перевести дух.

— Да, — сказал я, — они тут.

Картинки.

— И еще я почему застегиваю ворот — из-за ребятни, — сказал он, открывая глаза. — Детишки гоняются за мной по пятам. Всем охота поглядеть, как я разрисован, а ведь не всем приятно.

Он снял рубашку и свернул ее в комок. Он был весь в картинках, от синего кольца, вытатуированного вокруг шеи, и до самого пояса.

— И дальше то же самое, — сказал он, угадав мою мысль. — Я весь как есть в картинках. Вот поглядите.

Он разжал кулак. На ладони у него лежала роза — только что срезанная, с хрустальными каплями росы меж нежных розовых лепестков. Я протянул руку и коснулся ее, но это была только картинка.

Да что ладонь! Я сидел и пялил на него глаза: на нем живого места не было, всюду кишели ракеты, фонтаны, человечки — целые толпы, да так все хитро сплетено и перепутано, так все ярко и живо, до самых малых мелочей, что казалось — даже слышны тихие, приглушенные голоса этих бесчисленных

человечков. Стоило ему чуть шевельнуться, вздохнуть — и вздрагивали крохотные рты, подмигивали крохотные зеленые с золотыми искорками глаза, взмахивали крохотные розовые руки. На его широкой груди золотились луга, синели реки, вставали горы, тут же словно протянулся Млечный Путь — звезды, солнца, планеты. А человечки теснились кучками в двадцати местах, если не больше: на руках, от плеча и до кисти, на боках, на спине и на животе. Они прятались в лесу волос, рыскали среди созвездий веснушек, выглядывали из пещер подмышек, глаза их так и сверкали. Каждый хлопотал о чем-то своем, каждый был сам по себе, точно портрет в картинной галерее.

— Да какие красивые картинки! — вырвалось у меня.

Как мне их описать? Если бы Эль Греко в расцвете сил и таланта писал миниатюры величиной в ладонь, с мельчайшими подробностями, в обычных своих желто-зеленых тонах, со странно удлинненными телами и лицами, можно было бы подумать, что это он расписал своей кистью моего нового знакомого. Краски пылали в трех измерениях. Будто окна распахнуты в зримый и осязаемый мир, ошеломляющий своей подлинностью. Здесь, собранное на одной и той же стене, сверкало все великолепие вселенной; этот человек был живой галереей шедевров. Его расписал не какой-нибудь ярмарочный пьяница татуировщик, все малюющий в три краски. Нет, это было создание истинного гения, трепетная, совершенная красота.

— Еще бы! — сказал Человек в картинках. — Я до того горжусь своими картинками, что рад бы выжечь их огнем. Я уж пробовал и наждачной бумагой, и кислотой, и ножом...

Солнце садилось. На востоке уже взошла луна.

— Понимаете ли, — сказал Человек в картинках, — они предсказывают будущее.

Я промолчал.

— Днем, при свете, еще ничего, — продолжал он. — Я могу показываться в балагане. А вот ночью... все картинки двигаются. Они меняются.

Должно быть, я невольно улыбнулся.

— И давно вы так разрисованы?

— В тысяча девятистом, когда мне было двадцать лет, я работал в бродячем цирке и сломал ногу. Ну и вышел из строя, а надо ж было что-то делать, я и решил — пускай меня татуируют.

— Кто же вас татуировал? Куда девался этот мастер?

— Она вернулась в будущее, — был ответ. — Я не шучу. Это была старуха, она жила в штате Висконсин, где-то тут неподалеку был ее домишко. Этакая колдунья: то дашь ей тысячу лет, а через минуту поглядишь — не больше двадцати, и она мне сказала, что умеет путешествовать во времени. Я тогда захохотал. Теперь-то мне не до смеха.

— Как же вы с ней познакомились?

И он рассказал мне, как это было. Он увидел у дороги раскрашенную вывеску: РОСПИСЬ НА КОЖЕ! Не татуировка, а роспись! Настоящее искусство! И всю ночь напролет он сидел и чувствовал, как ее волшебные иглы колют и жалят его, точно осы и осторожные пчелы. А наутро он стал весь такой цветистый и узорчатый, словно его пропустили через типографский пресс, печатающий рисунки в двадцать красок.

— Вот уже полвека я каждое лето ее ищу, — сказал он и потряс кулаками. — А как отыщу — убью.

Солнце зашло. Сияли первые звезды, светились под луной травы и пшеница в полях. А картинки на странном человеке все еще горели в сумраке, точно раскаленные угли, точно разбросанные пригоршни рубинов и изумрудов, и там были краски Руо, и краски Пикассо, и удлиненные плоские тела Эль Греко.

— Ну вот, и когда мои картинки начинают шевелиться, люди меня выгоняют. Им не по вкусу, когда на картинках творятся всякие страсти. Каждая картинка — повесть. Посмотрите несколько минут — и она вам что-то расскажет. А если три часа будете смотреть, увидите штук двадцать разных историй, они прямо на мне разыгрываются, вы и голоса услышите, и разные думы передумаете. Вот оно все тут, только и ждет, чтоб вы смотрели. А главное, есть на мне одно такое место. — Он повернулся спиной. — Видите? Там у меня на правой лопатке ничего определенного не нарисовано, просто каша какая-то.

— Вижу.

— Стоит мне побыть рядом с человеком немножко подольше, и это место вроде как затуманивается и на нем появляется картинка. Если рядом женщина, через час у меня на спине появляется ее изображение и видна вся ее жизнь — как она будет жить дальше, как помрет, какая она будет в шестьдесят лет. А если это мужчина, за час у меня на спине появится его изображение: как он свалится с обрыва или поездом его переедет. И опять меня гонят в три шеи.

Так он говорил и все поглаживал ладонями свои картинки, будто поправляя рамки или пыль стирал, точь-в-точь какой-нибудь коллекционер, знаток и любитель живописи. Потом лег, откинулся на спину, большой и грузный в лунном свете. Ночь настала теплая. Душно, ни ветерка. Мы оба лежали без рубашек.

— И вы так и не отыскивали ту старуху?

— Нет.

— И по-вашему, она явилась из будущего?

— А иначе откуда бы ей знать все эти истории, что она на мне разрисовала?

Он устало закрыл глаза. Заговорил тише:

— Бывает, по ночам я их чувствую, картинки. Вроде как муравьи по мне ползают. Тут уж я знаю, они делают свое дело. Я на них больше и не гляжу никогда. Стараюсь хоть немного отдохнуть. Я ведь почти не сплю. И вы тоже лучше не глядите, вот что я вам скажу. Коли хотите уснуть, отвернитесь от меня.

Я лежал шагах в трех от него. Он был как будто не буйный и уж очень занятно разрисован. Не то я, пожалуй, предпочел бы убраться подальше от его нелепой болтовни. Но эти картинки... Я все не мог наглядеться. Всякий бы свихнулся, если б его так изукрасили.

Ночь была тихая, лунная. Я слышал, как он дышит. Где-то поодаль, в овражках, не смолкали сверчки. Я лежал на боку так, чтоб видеть картинки. Прошло, пожалуй, с полчаса. Непонятно было, уснул ли Человек в картинках, но вдруг я услышал его шепот:

— Шевелятся, а?

Я понаблюдал с минуту. Потом сказал:

— Да.

Картинки шевелились, каждая в свой черед, каждая — всего минуту-другую. При свете луны, казалось, одна за другой разыгрывались маленькие трагедии, тоненько звенели мысли и, словно далекий прибой, тихо роптали голоса. Не сумею сказать, час ли, три ли часа все это длилось. Знаю только, что я лежал как зачарованный и не двигался, пока звезды совершали свой путь по небосводу...

Человек в картинках шевельнулся. Потом заворочался во сне, и при каждом движении на глаза мне попадала новая кар-

тинка — на спине, на плече, на запястье. Он откинул руку, теперь она лежала в сухой траве, на которую еще не пала утренняя роса, ладонью вверх. Пальцы разжались, и на ладони ожила еще одна картинка. Он поежился, и на груди его я увидел черную пустыню, глубокую, бездонную пропасть — там мерцали звезды, и среди звезд что-то шевелилось, что-то падало в черную бездну; я смотрел, а оно все падало...



Часть I

Хроники известной Земли



Человек в воздухе

В год 400-й от Рождества Христова сидел на троне за Великой Китайской стеной император Юань. Его страна зеленела после дождей и мирно готовилась принести урожай, а люди в этой стране хоть и не были самыми счастливыми, но не были и самыми несчастными.

Рано утром, в первый день первой недели второго месяца после Нового года, император Юань пил чай в беседке и веером нагонял на себя теплый ветерок, когда к нему по красным и синим плиткам, выстилавшим дорожку, прибежал слуга, крича:

— Государь, о государь, чудо!

— Да,— ответил император,— воздух сегодня поистине восхитителен!

— Нет-нет, чудо! — повторил слуга, кланяясь.

— И чай приятен моим устам, и это поистине чудо.

— Нет, не то, государь!

— Ты хочешь сказать, взошло солнце и настает новый день. И море лазурно. Это прекраснейшее из всех чудес.

— Государь, какой-то человек летает!

— Как?! — Император перестал обмахиваться.

— Я видел человека в воздухе, и у него крылья, и он летает! Я услышал голос, зовущий с небес, и увидел дракона, поднимающегося ввысь, и в пасти у него был человек. Дракон из бумаги и бамбука, дракон цвета солнца и травы!

— Утро раннее,— произнес император,— и ты только что проснулся.

— Утро раннее, но что я видел — видел. Иди, и ты увидишь тоже.

— Садись тут со мной,— сказал император.— Выпей чаю. Если это правда, то, должно быть, очень странно увидеть, как человек летает. Нужно время, чтобы понять это, как нужно время, чтобы подготовиться к тому, что мы сейчас увидим.

Они пили чай.

— Государь, — сказал вдруг слуга, — только бы он не улетел! Император задумчиво встал.

— Теперь можешь показать мне, что ты видел.

Они вышли в сад, миновали травянистую лужайку и мостик, миновали рощицу и вышли на невысокий холм.

— Вон там! — указал слуга.

Император взглянул на небо.

А в небе был человек, и он смеялся с такой высоты, что его смех был едва слышен; и этот человек был одет в разноцветную бумагу и тростниковый каркас, образующий крылья и великолепный желтый хвост, и он парил высоко над землей, как величайшая птица из всех птиц, как новый дракон из древнего драконова царства.

И человек закричал с высоты, в прохладном утреннем воздухе:

— Я летаю, летаю!

Слуга махнул ему рукой:

— Мы тебя видим!

Император Юань не шевельнулся. Он глядел на Великую Китайскую стену, только сейчас начавшую выходить из тумана среди зеленых холмов; на этого чудесного каменного змея, величаво извивающегося среди полей. На прекрасную стену, с незапамятных времен охраняющую его страну от вражеских вторжений, несчетные годы защищающую мир. Он видел город, прикорнувший у реки, и дороги, и холмы, — они уже начали пробуждаться.

— Скажи, — обратился он к слуге, — видел ли этого летающего человека еще кто-нибудь?

— Нет, государь, — ответил слуга; он улыбался небу и махал ему рукой.

Еще несколько мгновений император созерцал небо, потом сказал:

— Крикни ему, чтобы он спустился ко мне.

Слуга сложил руки у рта и закричал:

— Эй, спускайся, спускайся! Император хочет видеть тебя!

Пока летающий человек спускался в утреннем ветре, император зорко оглядывал окрестности. Увидел крестьянина, прекратившего работу и глядевшего в небо, и запомнил, где крестьянин стоит.

Зашуршала бумага, захрустел тростник, и летающий человек опустился на землю. Он гордо приблизился к императору и поклонился, хотя с его нарядом ему было неудобно кланяться.

— Что ты сделал? — спросил его император.

— Летал в небесах, государь, — ответил человек.
— Что ты сделал? — повторил император.
— Но я только что сказал тебе! — воскликнул летавший.
— Ты не сказал вообще ничего. — Император протянул свою тонкую руку, прикоснулся к разноцветной бумаге, к птичьему корпусу машины. От них пахло холодным ветром.

— Разве она не прекрасна, государь?
— Да, слишком даже прекрасна.
— Она единственная в мире! — засмеялся человек. — И я сам ее придумал.

— Единственная в мире?

— Клянусь!

— Кто еще знает о ней?

— Никто. Даже моя жена. Она решила бы, что солнце ударило мне в голову. Думала, что я делаю бумажного дракона. Я встал ночью и ушел к далеким скалам. А когда взошло солнце и повеял утренний ветерок, я набрался храбрости, государь, и прыгнул со скалы. И полетел! Но моя жена об этом не знает.

— Ее счастье, — произнес император. — Идем.

Они вернулись ко дворцу. Солнце уже сияло высоко в небе, и трава пахла свежестью. Император, слуга и летающий человек остановились в обширном саду.

Император хлопнул в ладоши.

— Стража!

Прибежала стража.

— Схватить этого человека!

Стража схватила его.

— Позвать палача, — приказал император.

— Что я сделал? — в отчаянии вскричал летавший. — Что я сделал? — пышное бумажное одеяние зашелестело от его рыданий.

— Вот человек, который построил некую машину, — произнес император, — а теперь спрашивает у нас, что он сделал. Он сам не знает что. Ему важно только делать, а не знать, почему и зачем он делает.

Прибежал палач с острым, сверкающим мечом. Остановился, изготовил мускулистые, обнаженные руки, лицо закрыл холодной белой маской.

— Еще мгновение, — сказал император. Подошел к стоявшему поблизости столику, где была машина, им самим построенная. Снял с шеи золотой ключик, вставил его в крошечное отверстие, несколько раз повернул, и механизм заработал.

Это был сад из золота и драгоценных камней. Когда механизм работал, то на ветвях деревьев пели птицы, в крохотных

рошицах бродили звери, а маленькие человечки перебегали с солнца в тень, обмахивались крошечными веерами, слушали пение изумрудных птичек и останавливались у миниатюрных журчащих фонтанов.

— Разве это не прекрасно? — спросил император. — Если ты спросишь меня, что я сделал, я отвечу тебе. Я показал, что птицы поют, что деревья шумят, что люди гуляют по зеленой стране, наслаждаясь тенью, и зеленью, и пением птиц. Это сделал я.

— Но, государь... — Летавший упал на колени, заливаясь слезами. — Я тоже сделал нечто подобное! Я нашел красоту. Взлетел в утреннем ветре. Смотрел вниз на спящие дома и сады. Ощущал запах моря и со своей высоты даже видел его далеко за горами. И парил как птица. Ах, нельзя рассказать, как прекрасно там наверху, в небе: ветер веет вокруг и несет меня то туда, то сюда, как перышко, и утреннее небо пахнет... А какое чувство свободы! Это прекрасно, государь, это так прекрасно!

— Да, — печально ответил император. — Я знаю, что это так. Ибо я и сам чувствовал, как мое сердце парит вместе с тобою в небе, и размышлял: «Каково это? Какое ощущение? Какими видишь с этой высоты далекие озера? А мои дворцы? А слуги? А город вдали, еще не проснувшийся?»

— Пошади меня!

— Но бывает и так, — продолжал император еще печальнее, — что человеку приходится жертвовать чем-нибудь прекрасным, дабы сохранить то прекрасное, которое у него уже есть. Я не боюсь тебя, тебя самого, но боюсь другого человека.

— Кого же?

— Какого-нибудь другого, который, увидев тебя, построит такую же машину из цветной бумаги и бамбука. Но у этого человека может оказаться злое лицо и злое сердце, и он не захочет смотреть на красоту. Такого человека я и боюсь.

— Почему? Почему?

— Кто может сказать, что когда-нибудь такой человек не взлетит к небу в такой машине из бамбука и бумаги и не сбросит огромные каменные глыбы на Великую стену? — спросил император, и никто не смел ни шевельнуться, ни вымолвить слово. — Отрубить ему голову! — приказал император.

Палач взмахнул блестящим ножом.

— Сожгите дракона и его создателя и пепел обоих схороните вместе, — сказал император. Слуги кинулись исполнять приказание. Император обратился к своему слуге, который первым увидел летающего человека: — Обо всем этом молчи. Все

это было очень грустным и прекрасным сном. Крестьянину, которого мы видели в поле, скажи, что ему будет заплачено, если он сочтет это видением. Но если вы скажете хоть слово, вы оба умрете.

— Ты милосерден, господин.

— Нет, я не милосерден,— возразил император. Он смотрел, как за садовой оградой слуги сжигают прекрасную, пахнущую утренним ветром машину из бумаги и тростника. Видел темный дым, поднимающийся к небу.— Нет, я в отчаянии и очень испуган.— Он смотрел, как слуги роют яму, чтобы схоронить пепел.— Что такое жизнь одного человека в сравнении с жизнью миллионов! Пусть эта мысль будет мне утешением.

Он снял ключик с цепочки на шее и снова завел механизм чудесного сада. Стоял и глядел вдаль, на Великую стену, на миролюбивый город, на зеленые поля, на реки и дороги. Вдохнул. Крохотный механизм зажужжал, и сад ожил. Под деревьями гуляли человечки, на залитых солнцем полянках мелькали зверьки в блестящих шубках, а в ветвях деревьев порхали голубые и золотистые птички и кружились в маленьком небе.

— Ах! — вздохнул император, закрывая глаза.— Ах, эти птички, птички...

Золотой Змей, Серебряный Ветер

— В форме свиньи? — воскликнул мандарин.

— В форме свиньи,— подтвердил гонец и покинул его.

— О, что за горестный день несчастного года! — возопил мандарин.— В дни моего детства город Квон-Си за холмом был так мал. А теперь он вырос настолько, что обзавелся стеной!

— Но почему стена в двух милях от нас в одночасье лишает моего родителя покоя и радости? — спросила его дочь.

— Они выстроили свою стену,— ответил мандарин,— в форме свиньи! Понимаешь? Стена нашего города выстроена наподобие апельсина. Их свинья жадно пожрет нас!

— О.— И оба надолго задумались.

Жизнь полна символов и знамений. Духи обитали повсюду. Смерть таилась в капельке слез, и дождь — во взмахе крыла чайки. Поворот веера — вот так — наклон крыши и даже контур городской стены — все имело свое значение. Путники,

торговцы и зеваки, музыканты и лицедеи доберутся до двух городов, и знамения заставят их сказать: «Город в облике апельсина? Нет, лучше я войду в город, подобный свинье, набирающей жир на любом корму, и буду процветать его удачей».

Мандарин заплакал.

— Все потеряно! Тяжелые дни наступили для нашего города, ибо явились ужасающие знаки.

— Тогда призови к себе каменщиков и строителей храмов,— посоветовала его дочь.— Я нашепчу тебе из-за шелковой ширмы, что сказать им.

И в отчаянии хлопнул в ладоши старик:

— Хэй, каменщики! Хэй, строители домов и святилищ!

Быстро явились к нему мастера, знакомые с мрамором, гранитом, ониксом и кварцем. Встретил их мандарин, ежась на троне в ожидании шепота из-за шелковой ширмы. И вот прозвучал шепот:

— Я собрал вас...

— Я собрал вас,— повторял мандарин,— ибо наш город выстроен в форме апельсина, а гнусные жители Квон-Си выстроили свою стену в облике жадной свиньи...

Закричали каменотесы и восплакали. Простучала во внешнем дворике тросточка смерти. Отхаркалась, прячась в тенях, нищета.

— А потому,— сказали шепот и мандарин,— мои строители, возьмите кирки и камни и измените форму нашего города!

Вздохнули изумленно зодчие и каменщики. И сам мандарин вздохнул изумленно. А шепот нашептывал, и повторял за ним мандарин:

— И мы отстроим наши стены в форме дубинки, которая отгонит свинью!

Вскочили с колен мастера и закричали от радости. Даже сам мандарин, восхитившись своими словами, захлопал в ладоши, поднявшись с трона.

— Быстрее же! — воскликнул он.— За работу!

А когда ушли люди, веселые и деловитые, мандарин повернулся к шелковой ширме и с любовью воззрелся на нее.

— Позволь обнять тебя, дочь моя,— прошептал он.

Но ответа не было, и, шагнув за ширму, мандарин не нашел там никого.

«Какая скромность,— подумал мандарин.— Она ушла, оставив меня радоваться победе, словно я одержал ее».

Новость расходилась по городу, и жители славили мудрого мандарина. И каждый таскал камень к стенам. Запускали фей-

ерверки, чтобы отогнать демонов нищеты и погибели, пока горожане трудятся вместе. И к концу месяца встала новая стена, в форме могучей булавы, способной отогнать не только свинью, но даже кабана или льва. И мандарин той ночью спал, как счастливый лис.

— Хотел бы я видеть мандарина Квон-Си, когда ему донесут эту весть. Что за шум и суматоха поднимется! Он, должно быть, спрыгнет с утеса от злости,— говорил он.— Налей еще вина, о дочь-думающая-как-сын.

Но радость его увяла быстро, как цветок зимой. В тот же вечер в тронный зал ворвался гонец:

— О мандарин! Чума, лавина, саранча, глад и отравленные колодцы!

Задрожал мандарин.

— Горожане Квон-Си, чьи стены построены в форме свиньи, которую прогнали мы, изменив наши стены в подобие дубинки, превратили нашу победу в прах. Они построили стену в виде огромного костра, чтобы сжечь нашу дубинку!

И сжалось сердце мандарина, как сморщивается последнее яблоко на осенних ветвях.

— О боги! Путники станут обходить нас стороной. Торговцы, узрев такие знамения, отвернутся от полыхающей дубинки к пожирающему ее огню!

— Нет,— донесся из-за шелковой ширмы голос, как падающие снежинки.

— Нет,— повторил изумленный мандарин.

— Передай каменотесам,— сказал шепот, как касание капли дождя,— чтобы они отстроили стену в облике сверкающего озера.

Повторил эти слова мандарин, и потеплело у него на сердце.

— И воды озера,— сказали шепот и старик,— погасят огонь навеки!

И вновь возрадовались горожане, узнав, что и в этот раз сохранил их от напасти блистательный повелитель мудрости. Побежали они к стенам и отстроили их заново, в новом облике. Но пели они уже не так громко, ибо устали, и работали не так быстро, ибо в тот месяц, что строили первую стену, поля и лавки оставались заброшены и жители голодали и нишали.

Но последовали дни жуткие и удивительные, и каждый — как новая коробочка со страшным сюрпризом.

— О повелитель! — воскликнул гонец.— В Квон-Си перестроили стену, чтобы она походила на рот и выпила наше озеро!

— Тогда, — ответил повелитель, стоя у шелковой ширмы, — отстроим наши стены в подобие иглы, чтобы зашить этот рот!

— Повелитель! — взвизгнул гонец. — Они строят стену в виде меча, чтобы сломать нашу иглу!

Трепеща, прижался повелитель к шелковой ширме.

— Тогда переставьте камни, чтобы походила стена на ножи для их меча.

— Смилуйся, повелитель! — простонал гонец следующим утром. — Враги работали всю ночь и сложили стену в форме молнии, которая разломает и уничтожит ножи.

Болезни носились по городу, как стая бешеных псов. Жители, долгие месяцы трудившиеся над постройкой стен, сами походили теперь на призраки смерти, и кости их стучали на ветру, как ксилофон. Похоронные процессии потянулись по улицам, хотя была еще середина лета, время сельских трудов и сбора урожая. Мандарин заболел, и кровать его поставили в тронном зале, перед шелковой ширмой. Он лежал, скорбный, отдавая приказы строителям, и шепот из-за ширмы становился все тише и слабее, точно ветер в камышах.

— Квон-Си — это орел? Наши стены должны стать сетью для него. Они построили подобие солнца, чтобы спалить нашу сеть? Мы выстроим луну, чтобы затмить их солнце!

Как проржавевшая машина, город со скрежетом застыл.

И наконец голос из-за экрана прошептал в отчаянии:

— Пошлите за мандарином Квон-Си!

В последние дни лета четверо голодных носильщиков внесли в тронный зал мандарина Квон-Си, исстрадавшегося и измученного. Мандаринов поставили друг против друга. Дыхание их свистело, как зимний ветер.

— Мы должны положить конец этому безумию, — прошептал голос.

Старики кивнули.

— Так не может больше продолжаться, — говорил голос. — Наши подданные заняты только тем, что перестраивают городские стены ежедневно и ежечасно. У них не остается времени на охоту, рыбалку, любовь, почитание предков и потомков их предков.

— Истинно так, — ответили мандарины городов Клетки, Луны, Копья, Огня, Меча и еще многого, многого другого.

— Вынесите нас на солнце, — приказал шепот.

И стариков вынесли на вершину холма, под ясное солнце. На летнем ветру худенькие ребяташки запускали воздушных змеев всех цветов — цвета солнца, и лягушек, и травы, цвета моря, и зерна, и медаков.

Дочь первого мандарина стояла у его ложа.

— Видишь ли? — спросила она.

— Это лишь воздушные змеи, — ответили старики.

— Но что есть воздушный змей на земле? — спросила она. — Его нет. Что нужно ему, чтобы сделаться прекрасным и возвышенным, чтобы удержаться в полете?

— Ветер, конечно, — был ответ.

— А что нужно ветру и небу, чтобы стать красивыми?

— Воздушный змей — много змеев, чтобы разрушить монотонность неба, полет красочных змеев!

— Пусть же будет так, — сказала дочь мандарина. — Ты, Квон-Си, в последний раз перестроишь свои стены в подобие самого ветра, не больше и не меньше. Мы же выстроим свои в подобие золотого змея. Ветер поднимет змей к удивительным высотам. А тот разрушит монотонность ветра, даст ему цель и значение. Одно ничто без другого. Вместе найдем мы красоту, и братство, и долгую жизнь.

Так возрадовались мандарины при этих словах, что тотчас же поели — впервые за многие дни, — и силы вернулись к ним в тот же миг. Обнялись они и осыпали хвалами друг друга, а пуще всего — дочь мандарина, называя ее мальчиком, мужем, опорой, воином и истинным, единственным сыном. А потом расстались они, не мешкая, и поспешили в свои города, распевая от счастья слабыми голосами.

А потом стали города-соседи Городом Золотого Змея и Городом Серебряного Ветра. И собирались в них урожаи, и вновь открылись лавки, вернулась плоть на костяки, и болезни умчались, как перепуганные шакалы. И каждую ночь жители Города Воздушного Змея слышали, как поддерживает их ласковый и чистый ветер, а жители Города Ветра — как поет, шепчет и озаряет их в полете змей.

— И да будет так, — сказал мандарин, стоя перед шелковой ширмой.

Дракон

Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине, лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки — они крошились и рассыпались в пыль. Те-

перь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянные среди пустыни, шевелится одна только ночь; тьма тихо струится по жилам, мерно, неслышно стучит в висках.

Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец один начинает мечом ворошить уголья в костре.

— Перестань, глупец, ты нас выдашь!

— Что за важность,— отвечает тот, другой.— Дракон все равно учует нас издалека. Ну и холодище. Боже милостивый! Сидел бы я лучше у себя в замке.

— Мы ищем не сна, но смерти...

— А чего ради? Ну чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город!

— Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним.

— Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой!

— Тсс... слышишь?

Оба замерли.

Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивали спины коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремяна.

— Страшные наши места,— вздохнул второй.— Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце — и сразу ночь. И уж тогда, тогда... Господи, ты только послушай! Говорят, у этого дракона из глаз — огонь. Дышит он белым паром, издалека видно, как он мчится по темным полям. Несется в серном пламени и громе и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются враспынную и, обезумев, издыхают. Женщины рожают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усеяны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудовища и погибло, как погибнем и мы?

— Хватит, надоело!

— Как не надоест! Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе!

— Девятисотый от Рождества Христова.

— Нет, нет,— зашептал другой и зажмурился.— Здесь, на равнине, нет Времени — только Вечность. Я чувствую, вот выбежать назад, на дорогу, а там все не так, города как не бывало, жители еще и не родились, камень для крепостных стен еще не добыт из каменоломен, бревна не спилены в лесах. Не спрашивай, откуда я это знаю, сама равнина знает и

подсказывает мне. А мы сидим тут одни в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй!

— Затаи страх в душе, но не забудь меч и латы!

— Что толку? Дракон приносится неведомо откуда, мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане — мы не знаем, куда он скрывается. Что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружии.

Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся.

По сумрачному краю, где царили тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес пыль, что струится в часах, прахом отмеряющих бег времени. В глубине этого невиданного вихря пылали черные солнца и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев где-то за окоемом. Под этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск, кровь мутилась и густела и медленно оседала в мозгу. Вихрь налетал, и это летели тысячи погибающих в смятенном времени душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмою, и тут не место было человеку, и не было ни дня, ни часа — время исчезло, остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной ледящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом ниспадающих молний. По траве хлестнул ливень; и снова все стихло, и в холодной тьме, в бездыханной тиши только и осталось живого тепла что эти двое.

— Вот,— прошептал первый.— Вот оно!..

Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, взревели — мчался дракон.

В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуночную тишину разорвало грозное шипение, дракон стремительно надвигался — ближе, ближе; над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи, возникло что-то темное, неясное, сползло, извиваясь, в долину и скрылось.

— Скорей!

Они пришпорили коней и поскакали к ближней ложине.

— Он пройдет здесь!

Поспешно закрыли коням глаза шорами, руками в железных перчатках подняли копы.

— Боже правый!

— Да, будем уповать на Господа.

Миг — и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудища впился в них, на доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед.

— Помилуй нас, Боже!

Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось — и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял. Мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седоком прочь, за добрых сто футов, и они разбились об огромный валун, а дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем, в огромных мягких перьях слепящего, едкого дыма.

— Видал? — воскликнул кто-то. — Все в точности как я тебе говорил!

— То же самое, точь-в-точь! Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза! Мы его сшибли!

— Ты остановишься?

— Уж пробовал раз. Ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто.

— Но ведь кого-то мы сбили!

— Я свистел всюю, малый мог посторониться, а он и не двинулся!

Вихрем разорвало пелену тумана.

— В Стокли прибудем вовремя. Подбрось-ка угля, Фред.

Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой ложине, с разгону взял подъем и скрылся, исчез безвозвратно в холодной дали на севере, остались лишь черный дым и пар — и еще долго таяли в оцепенелом воздухе.

Лекарство от меланхолии

— Пошлите за пивяками: ей нужно сделать кровопускание, — заявил доктор Джимп.

— У нее уже и так не осталось крови! — воскликнула миссис Уилкес. — О доктор, что томит нашу Камиллу?

— С ней не все в порядке.

— Да?

— Она нездорова. — Добрый доктор нахмурился.

— Продолжайте, продолжайте!

— Не вызывает сомнения: она угасает как свеча.

— О доктор Джимп, — запротестовал мистер Уилкес. — Вы же повгоряете то, что вам говорили мы, когда вы только пришли в наш дом!

— Нет, вы не правы! Давайте ей эти пилюли на рассвете, в полдень и на закате солнца. Превосходное средство!

— Проклятье, она уже нафарширована превосходными средствами!

— Ну-ну! С вас шиллинг, сэр, я спускаюсь вниз.

— Идите и пришлите сюда дьявола! — Мистер Уилкес сунул монету в руку доброго доктора.

Пока врач спускался по лестнице, с громким сопением нюхая табак и чихая, на многолюдных улицах Лондона наступило сырое утро весны 1762 года.

Мистер и миссис Уилкес повернулись к постели, где лежала их любимая Камилла, бледная и похудевшая, но все еще очень хорошенькая, с большими влажными сиреневыми глазами. По подушке золотым потоком струились волосы.

— О,— она чуть не плакала,— что со мной случилось? С начала весны прошло три недели, в зеркале я вижу лишь призрак; я сама себя пугаю. Мне страшно подумать, что я умру, не дожив до своего двадцатого дня рождения.

— Дитя мое,— сказала мать,— что у тебя болит?

— Мои руки. Мои ноги. Моя грудь. Моя голова. Сколько докторов — шесть? — поворачивали меня, словно мясо на вертеле. Не хочу больше. Дайте мне спокойно отойти в мир иной.

— Какая ужасная, какая таинственная болезнь,— пролепетала мать.— Сделай что-нибудь, мистер Уилкес!

— Что? — сердито спросил мистер Уилкес.— Она не хочет видеть врачей, аптекарей или священников — аминь! — а они очень скоро разорят меня! Может, мне следует сбегать на улицу и привести мусорщика?

— Да,— послышался голос.

— Что?! — Все трое повернулись посмотреть на того, кто произнес эти слова.

Они совсем забыли о младшем брате Камиллы, Джейми, который стоял у дальнего окна и ковырял в зубах. Он невозмутимо смотрел вдаль, туда, где шумел Лондон и шел дождь.

— Четыреста лет назад,— совершенно спокойно проговорил Джейми,— именно так и поступили. И это помогло. Нет, не надо приводить мусорщика сюда. Давайте поднимем Камиллу вместе с кроватью и всем остальным, снесем ее вниз по лестнице и поставим возле входной двери.

— Почему? Зачем?

— За один час,— Джейми вскинул глаза — он явно считал,— мимо наших ворот проходит тысяча людей. За день двадцать тысяч пробегают, проезжают или ковыляют по нашей улице. Каждый из них увидит мою несчастную сестру, пересчитает ее

зубы, потрогает мочки ушей, и все, можете не сомневаться, все до единого захотят предложить свое самое превосходное средство, которое наверняка ее излечит! Одно из них обязательно окажется тем, что нам нужно!

— О! — только и смог произнести пораженный мистер Уилкес.

— Отец, — взволнованно продолжал Джейми. — Неужели ты встречал хотя бы одного человека, который не полагал бы, что он способен написать «*Materia Medica*»¹: вот эта зеленая мазь отлично лечит больное горло, а бычий бальзам — опухоли? Прямо сейчас десять тысяч самозванных аптекарей проходят мимо нашего дома, и их мудрость пропадает зря!

— Джейми, мальчик, ты меня удивляешь!

— Прекратите! — вмешалась миссис Уилкес. — Моя дочь никогда не будет выставлена на всеобщее обозрение на этой или любой другой улице...

— Тьфу, женщина! — оборвал мистер Уилкес. — Камилла тает, как льдинка, а ты не хочешь вынести ее из этой жаркой комнаты? Давай, Джейми, поднимай кровать!

— Камилла? — Миссис Уилкес повернулась к дочери.

— Я могу с тем же успехом умереть под открытым небом, — заявила Камилла, — где свежий ветерок будет перебирать мои локоны, пока я...

— Вздор! — возразил мистер Уилкес. — Ты не умрешь, Камилла. Джейми, поднимай! Ха! Сюда! С дороги, жена! Давай, мой мальчик, выше!

— О! — воскликнула Камилла слабым голосом. — Я лечу, лечу...

Совершенно неожиданно над Лондоном вдруг засияло чистое голубое небо. Горожане, удивленные такой переменой погоды, высыпали на улицы, им не терпелось что-нибудь увидеть, сделать, купить. Слепые пели, собаки прыгали, клоуны вертелись и кувыркались, дети играли в классики и мяч, словно наступило время карнавала.

И в этот шум и гам с покрасневшими от напряжения лицами Джейми и мистер Уилкес несли Камиллу, которая, будто папа римский, только женского пола, с закрытыми глазами возлежала на своей койке-портшезе и молилась.

— Осторожней! — кричала миссис Уилкес. — О, она умерла!.. О нет... Опустите ее на землю. Полегче!

Наконец кровать была поставлена рядом со стеной дома так, чтобы людской поток, стремительно несущийся мимо, мог

¹ Целительные средства как основа лекарств (*лат.*).

обратить внимание на Камиллу — большую бледную куклу, выставленную, словно приз, на солнце.

— Принеси перо, чернила и бумагу, сын,— сказал мистер Уилкес.— Я запишу симптомы, о которых станут говорить прохожие, и предложенные ими способы лечения. Вечером мы все отсортируем. А сейчас...

Однако какой-то человек из толпы уже внимательно разглядывал Камиллу.

— Она больна! — заявил он.

— Ага,— радостно кивнул мистер Уилкес.— Началось. Перо, мой мальчик. Вот так. Продолжайте, сэр!

— С ней не все в порядке.— Человек нахмурился.— Она плохо выглядит.

«Плохо выглядит...» — записал мистер Уилкес, а потом с подозрением посмотрел на говорившего.

— Сэр? Вы, случайно, не врач?

— Да, сэр.

— Так я и думал, я узнал эти слова! Джейми, возьми мою трость и гони его в шею. Уходите, сэр, и побыстрее!

Однако человек не стал ждать и, ругаясь и раздраженно размахивая руками, торопливо зашагал прочь.

— Она больна, она плохо выглядит... Фу! — передразнил его мистер Уилкес, но был вынужден остановиться. Потому что высокая и худая, словно призрак, только что восставший из могилы, женщина показывала пальцем на Камиллу Уилкес.

— Меланхолия,— произнесла она нараспев.

«Меланхолия», — запечатлел на бумаге ее слова довольный мистер Уилкес.

— Отек легких,— бубнила женщина.

«Отек легких», — писал сияющий мистер Уилкес.

— Вот это совсем другое дело! — пробормотал он себе под нос.

— Необходимо лекарство от меланхолии,— негромко продолжала говорить женщина.— Есть ли у вас в доме порошок мумий для приготовления лекарств? Самые лучшие мумии — египетские, арабские и ливийские, они очень помогают при магнитных расстройствах. Спросите цыганку на Флодден-роуд. Я продаю каменную петрушку, благовония для мужчин...

— Флодден-роуд, каменная петрушка... Не так быстро, женщина!

— Опобальзам, понтийская валериана...

— Подожди, женщина! Опобальзам, да! Джейми, останови ее!

Но женщина продолжала, не обращая на него внимания.

Подошла молоденькая девушка, лет семнадцати, и посмотрела на Камиллу Уилкес.

— Она...

— Один момент! — Мистер Уилкес продолжал лихорадочно писать. — ...Магнитные расстройства, понтийская валериана... А, пропади ты пропадом! Юная леди, что вы видите на лице моей дочери? Вы так пристально на нее смотрите, даже перестали дышать. Ну, каково ваше мнение?

— Она... — Казалось, странная девушка пытается заглянуть Камилле в глаза, потом она смутилась и, заикаясь, проговорила: — Она страдает от... от...

— Ну, говори же!

— Она... она... о!

И девушка, бросив последний сочувственный взгляд на Камиллу, стремительно скрылась в толпе.

— Глупая девчонка!

— Нет, папа, — пробормотала Камилла, глаза которой вдруг широко раскрылись. — Совсем не глупая.

Она увидела. Она знает: О Джейми, догони ее, заставь сказать!

— Нет, она ничего не предложила! А вот цыганка — ты только посмотри на список!

— Да, папа. — Еще больше побледневшая Камилла закрыла глаза.

Кто-то громко откашлялся.

Мясник, фартук которого покраснел от кровавых боев, тербил роскошные усы.

— Я видел коров с похожим выражением глаз, — сказал он. — Мне удавалось спасти их при помощи бренди и трех свежих яиц. Зимой я и сам с огромной пользой для здоровья принимаю этот эликсир...

— Моя дочь не корова, сэр! — Мистер Уилкес отбросил в сторону перо. — И не мясник в январе! Отойдите в сторону, сэр, своей очереди ждут другие!

И действительно, вокруг собралась здоровенная толпа — всем не терпелось рассказать о своем любимом средстве, порекомендовать страну, где редко идет дождь и солнце светит чаще, чем в Англии или в вашей южной Франции. Старики и женщины, в особенности врачи, как и все пожилые люди, спорили друг с другом, ошестинившись тросточками и фалангами костылей.

— Отойдите! — с тревогой воскликнула миссис Уилкес. — Они раздавят мою дочь, как весеннюю ягодку!

— Прекратите напирать! — закричал Джейми, схватил несколько тросточек и костылей и отбросил их в сторону.

Толпа зашевелилась, владельцы бросились на поиски своих дополнительных конечностей.

— Отец, я слабею, слабею... — Камилла задыхалась.

— Отец! — воскликнул Джейми. — Есть только один способ остановить это нашествие! Нужно брать с них деньги! Заставить платить за право дать совет!

— Джейми, ты мой сын! Быстро напиши объявление! Послушайте, люди! Два пенса! Становитесь, пожалуйста, в очередь! Два пенса за то, чтобы рассказать об известном только вам, самом великолепном лекарстве на свете! Готовьте деньги заранее! Вот так. Вы, сэр. Вы, мадам. И вы, сэр. А теперь — мое перо! Начинаем!

Толпа кипела, как темная морская пучина. Камилла открыла глаза, а потом снова впала в обморочное состояние.

Наступило время заката, улицы почти опустели, лишь изредка мимо проходили последние гуляющие. Веки Камиллы затрепетали, она услышала знакомый звон.

— Триста девяносто пять фунтов и четыреста пенсов! — Мистер Уилкес бросал последние монеты в сумку, которую держал его ухмыляющийся сын. — Вот так!

— Теперь вы сможете нанять для меня красивый черный катафалк, — сказала бледная девушка.

— Помолчи! Семья моя, вы могли себе представить, что двести человек захотят заплатить только за то, чтобы высказать нам свое мнение по поводу состояния Камиллы?

— Очень даже могли, — кивнула миссис Уилкес. — Жены, мужа и дети не умеют слушать друг друга. Поэтому люди охотно платят за то, чтобы на них хоть кто-нибудь обратил внимание. Бедняги, они думают, что только им дано распознать ангину, водянку, сап и крапивницу. Поэтому сегодня мы богаты, а две сотни людей счастливы, поскольку вывалили перед нами содержимое своих медицинских сумок.

— Господи, нам пришлось выставлять их вон, а они огрызались, как нашкодившие щенки.

— Прочитай список, отец, — предложил Джейми. — Там двести лекарств. Какое следует выбрать?

— Не надо, — прошептала Камилла, вздыхая. — Становится темно. У меня в животе все сжимается от бесконечных названий! Вы можете отнести меня наверх?

— Да, дорогая. Джейми, поднимай!

— Пожалуйста, — произнес чей-то голос.

Склонившийся человек поднял взгляд. Перед ними стоял ничем не примечательный мусорщик, с лицом, покрытым

сажей, однако на нем сияли яркие голубые глаза и белозубая улыбка. Когда он говорил — совсем тихо, кивая головой, — с рукавов его темной куртки и штанов сыпалась пыль.

— Мне не удалось пробиться сквозь толпу, — сказал он, держа грязную шапку в руках. — А теперь я возвращаюсь домой и могу с вами поговорить. Я должен заплатить?

— Нет, мусорщик, тебе не нужно платить, — мягко сказала Камилла.

— Подожди... — запротестовал мистер Уилкес. Но Камилла нежно посмотрела на него, и он замолчал.

— Благодарю вас, мадам. — Улыбка мусорщика сверкнула в сгушающихся сумерках как теплый солнечный луч. — У меня есть всего один совет.

Он взглянул на Камиллу. Камилла не спускала с него глаз.

— Кажется, сегодня канун дня святого Боско, мадам?

— Кто знает? Только не я, сэр! — заявил мистер Уилкес.

— А я в этом уверен, сэр. Кроме того, сегодня полнолуние. Поэтому, — кротко проговорил мусорщик, не в силах оторвать взгляда от прелестной большой девушки, — вы должны оставить вашу дочь под открытым небом, в свете восходящей луны.

— Одну, в свете луны! — воскликнула миссис Уилкес.

— А она не станет лунатиком? — спросил Джейми.

— Прошу прощения, сэр. — Мусорщик поклонился. — Полная луна утешает всех, кто болен, — людей и диких животных. В сиянии полной луны есть безмятежность, в прикосновении ее лучей — спокойствие, умиротворяющее воздействие на ум и тело.

— Может пойти дождь... — с беспокойством сказала мать Камиллы.

— Я клянусь, — перебил ее мусорщик. — Моя сестра страдала от такой же обморочной бледности. Мы оставили ее весенней ночью, как лилию в вазе, наедине с полной луной. Она и по сей день живет в Суссексе, позабыв обо всех болезнях!

— Позабыв о болезнях! Лунный свет! И не будет нам стоить ни одного пенни из тех четырех сотен, что мы заработали сегодня! Мать, Джейми, Камилла...

— Нет! — твердо сказала миссис Уилкес. — Я этого не потерплю!

— Мама! — сказала Камилла. — Я чувствую, что луна вылечит меня, вылечит, вылечит...

Мать вздохнула:

— Сегодня, наверное, не мой день и не моя ночь. Разрешите тогда поцеловать тебя в последний раз. Вот так.

И мать поднялась по лестнице в дом.

Теперь пришел черед мусорщика, который начал пятиться назад, кланяясь всем на прощание.

— Всю ночь, помните: под луной, до самого рассвета. Спите крепко, юная леди. Пусть вам приснятся самые лучшие сны. Спокойной ночи.

Сажу поглотила сажа; человек исчез.

Мистер Уилкес и Джейми поцеловали Камиллу в лоб.

— Отец, Джейми,— сказала она,— не беспокойтесь.

И ее оставили одну смотреть туда, где, как показалось Камилле, она еще видела висящую в темноте мерцающую улыбку, которая вскоре скрылась за углом.

Она ждала, когда же на небе появится луна.

Ночь опустилась на Лондон. Все глуше голоса в гостиницах, реже хлопают двери, слышатся слова пьяных прощаний, бьют часы. Камилла увидела кошку, которая прошла мимо, словно женщина в мехах, и женщину, похожую на кошку,— обе мудрые, несущие в себе древний Египет, обе источали пряные ароматы ночи.

Каждые четверть часа сверху доносился голос:

— Все в порядке, дитя мое?

— Да, отец.

— Камилла?

— Мама, Джейми, у меня все хорошо.

И наконец:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Погасли последние огни. Лондон погрузился в сон.

Взошла луна.

И чем выше поднималась луна, тем шире открывались глаза Камиллы, когда смотрела она на аллеи, дворы и улицы, пока наконец в полночь луна не оказалась над ней и засияла, словно мраморная фигура над древней усыпальницей.

Движение в темноте.

Камилла насторожилась.

Слабая, едва слышная мелодия поплыла в воздухе.

В тени двора стоял человек.

Камилла тихонько вскрикнула.

Человек сделал шаг вперед и оказался в лучах лунного света. В руках он держал лютню, струны которой перебирал, едва касаясь пальцами. Это был хорошо одетый мужчина, на его красивом лице застыло серьезное выражение.

— Трубадур,— прошептала Камилла.

Человек, не говоря ни слова, приложил палец к губам и медленно приблизился к ее кровати.

— Что вы здесь делаете, ведь сейчас так поздно? — спросила девушка.

Она совсем не боялась — сама не зная почему.

— Меня послал друг, чтобы я вас вылечил.

Трубадур коснулся струн лютни. И они сладкозвучно запели.

— Этого не может быть, — возразила Камилла, — потому что было сказано: меня вылечит луна.

— Так оно и будет, дева.

— А какие песни вы поете?

— Песни весенних ночей, боли и недугов, не имеющих имени. Назвать ли мне вашу лихорадку, дева?

— Если вы знаете, да.

— Во-первых, симптомы: перемены температуры, неожиданный холод, сердце бьется то совсем медленно, то слишком быстро, приступы ярости сменяются умиротворением, опьянение от глотка колодезной воды, головокружение от простого касания руки — вот такого...

Он чуть дотронулся до ее запястья, заметил, что она готова лишиться чувств, и отпрянул.

— Депрессия сменяется восторгом, — продолжал трубадур. — Сны...

— Остановитесь! — в изумлении воскликнула Камилла. — Вы знаете про меня все. А теперь назовите имя моего недуга!

— Я назову. — Он прижал губы к ее ладони, и Камилла затрепетала. — Имя вашего недуга — Камилла Уилкес.

— Как странно. — Девушка дрожала, ее глаза горели сиреневым огнем. — Значит, я — моя собственная болезнь? Как сильно я заставила себя заболеть! Даже сейчас мое сердце это чувствует.

— Я тоже.

— Мои руки и ноги, от них пышет летним жаром!

— Да. Они обжигают мне пальцы.

— Но вот подул ночной ветер — посмотрите, как я дрожу, мне холодно! Я умираю, клянусь вам, я умираю!

— Я не дам тебе умереть, — спокойно сказал трубадур.

— Значит, вы доктор?

— Нет, я самый обычный целитель, как и тот, другой, что сумел сегодня вечером разгадать причину твоих бед. Как девушка, что знала имя болезни, но скрылась в толпе.

— Да, я поняла по ее глазам: она догадалась, что со мной стряслось. Однако сейчас мои зубы выбивают дробь. А у меня даже нет второго одеяла!

— Тогда подвинься, пожалуйста. Вот так. Дай-ка я посмотрю: две руки, две ноги, голова и тело. Я весь тут!

— Что такое, сэр?

— Я хочу согреть тебя в холодной ночи.

— Как печка. О сэр, сэр, я вас знаю? Как вас зовут?

Тень от его головы упала на голову Камиллы. Она снова увидела чистые, как озерная вода, глаза и ослепительную, белозубую улыбку.

— Меня зовут Боско, конечно же,— сказал он.

— А есть ли святой с таким именем?

— Дай мне час, и ты станешь называть меня этим именем.

Его голова склонилась ниже. Полумрак сыграл роль сажи, и девушка радостно вскрикнула: она узнала своего мусорщика!

— Мир вокруг меня закружился! Я сейчас потеряю сознание! Лекарство, мой милый доктор, или все пропало!

— Лекарство,— сказал он.— А лекарство таково...

Где-то запели кошки. Туфля, выброшенная из окошка, заставила их прыгнуть с забора. Потом улица снова погрузилась в тишину, и луна вступила в свои владения...

— Шшш...

Рассвет. На цыпочках спустившись вниз, мистер и миссис Уилкес заглянули в свой дворик.

— Она замерзла до смерти этой ужасной холодной ночью, я знаю!

— Нет, жена, посмотри! Она жива! На ее щеках розы! Нет, больше того — персики, хурма! Она вся светится молочно-розовой белизной! Милая Камилла, живая и здоровая, ночь сделала тебя прежней!

Родители склонились над крепко спящей девушкой.

— Она улыбается, ей снятся сны; что она говорит?

— Превосходное,— выдохнула Камилла,— средство.

— Что, что?

Не просыпаясь, девушка улыбнулась снова, ее улыбка была счастливой.

— Лекарство,— пробормотала она,— от меланхолии.

Камилла открыла глаза.

— О, мама, отец!

— Дочка! Дитя! Пойдем наверх!

— Нет.— Она нежно взяла их за руки.— Мама? Папа?

— Да?

— Никто не увидит. Солнце еще только встает над землей. Пожалуйста. Потанцуйте со мной.

Они не хотели танцевать. Но, праздная совсем не то, что они думали, мистер и миссис Уилкес пустились в пляс.

Берег на закате

По колено в воде, с выброшенным волной обломком доски в руках, Том прислушался.

Вечерело, из дома, что стоял на берегу, у проезжей дороги, не доносилось ни звука. Там уже не стучат ящики и дверцы шкафов, не шелкают замки чемоданов, не разбиваются в спешке вазы: напоследок захлопнулась дверь — и все стихло.

Чико тряс проволочным ситом, просеивая белый песок, на сетке оставался урожай потерянных монет. Он помолчал еще минуту, потом, не глядя на Тома, сказал:

— Туда ей и дорога.

Вот так каждый год. Неделю или, может быть, месяц из окон их дома льется музыка, на перилах веранды расцветает в горшках герань. Двери и крыльцо блестят свежей краской. На бельевой веревке полощутся на ветру то нелепые пестрые штаны, то модное узкое платье, то мексиканское платье ручной работы, словно белопенные волны плещут за домом. В доме на стенах картинки «под Матисса» сменяются подделками под итальянский Ренессанс. Иногда, поднимая глаза, видишь — женщина сушит волосы, будто ветер развеивает ярко-желтый флаг. А иногда флаг черный или медно-красный. Женщина четко вырисовывается на фоне неба, иногда она высокая, иногда маленькая. Но никогда не бывает двух женщин сразу, всегда только одна. А потом наступит такой день, как сегодня...

Том опустил обломок на все растущую грудку плавника неподалеку от того места, где Чико просеивал миллионы следов, оставленных ногами людей, которые здесь отдыхали и развлекались и давно уже убралась восвосяи.

— Чико... Что мы тут делаем?

— Живем как миллионеры, парень.

— Что-то я не чувствую себя миллионером, Чико.

— А ты старайся, парень.

И Тому представилось, как будет выглядеть их дом через месяц: из цветочных горшков летит пыль, на стенах пятна от снятых картинок, на полу ковром песок. От ветра комнаты смутно гудят, точно раковины. И ночь за ночью, всю ночь напролет, каждый у себя в комнате, они с Чико будут слушать, как набегает на бесконечный берег косая волна и уходит все дальше, дальше, не оставляя следа.

Том чуть заметно кивнул. Раз в год он и сам приводил сюда славную девушку, он знал: наконец-то он нашел ее, настоящую, и совсем скоро они поженятся. Но его девушки всегда

ускользали неслышно еще до зари — каждая чувствовала, что ее приняли не за ту и ей не под силу играть эту роль. А приятельницы Чико уходили с шумом и громом, поднимая вихрь и смерч, перетряхивали на пути все до последней пылинки, точно пылесос, выдирали жемчужину из последней ракушки, утаскивали все, что только могли, совсем как зубастые собачонки, которых иногда для забавы ласкал и дразнил Чико.

— Уже четыре женщины за этот год.

— Ладно, судья.— Чико ухмыльнулся.— Матч окончен, проводи меня в душ.

— Чико...— Том прикусил нижнюю губу, договорил не сразу: — Я вот все думаю. Может, нам разделиться?

Чико молча смотрел на него.

— Понимаешь,— заторопился Том,— может, нам врозь больше повезет.

— Ах, черт меня побери,— медленно произнес Чико и крепко стиснул ручищами сито.— Послушай, парень, ты что, забыл, как обстоит дело? Мы тут доживем до двухтысячного года. Мы с тобой два старых безмозглых болвана, которым только и осталось греться на солнышке. Надеяться нам не на что, ждать нечего — поздно, Том. Вбей себе это в башку и не болтай зря.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и в упор посмотрел на Чико:

— Я, пожалуй, на той неделе уйду...

— Заткнись! Заткнись и знай работай.

Чико яростно тряхнул ситом, в котором набралось сорок три цента мелочью — полпенни, пенни и даже десятицентовики. Невидящими глазами он уставился на свою добычу, монеты поблескивали на проволочной сетке, точно шарики китайского бильярда.

Том замер недвижно, затаил дыхание.

Казалось, оба чего-то ждали.

И вот оно случилось.

— А-а-а...

Издали донесся крик.

Оба медленно обернулись.

Отчаянно крича и размахивая руками, к ним бежал по берегу мальчик. И в голосе его было что-то такое, от чего Тома пробрала дрожь. Он обхватил себя руками за плечи и ждал.

— Там... там...

Мальчик подбежал, задыхаясь, ткнул рукой назад вдоль берега.

— ...женщина... у Северной скалы... чудная какая-то!

— Женщина? — воскликнул Чико и захохотал.— Нет уж, хватит!

— А чем она чудная? — спросил Том.
— Не знаю! — Глаза у мальчишки были совсем круглые от страха. — Вы подите поглядите. Страсть какая чудная!
— Утопленница, что ли?
— Может, и так. Выплыла и лежит на берегу, вы сами поглядите... чудно... — Мальчишка умолк. Опять обернулся в ту сторону, откуда прибежал. — У нее рыбий хвост.

Чико засмеялся:

— Мы пока еще трезвые.
— Я не вру! Честное слово! — Мальчик нетерпеливо переступал с ноги на ногу. — Ох, пожалуйста, скорей!

Он бросился было бежать, но почувствовал, что они за ним не идут, и в отчаянии обернулся.

Неожиданно для себя Том выговорил непослушными губами:

— Наверяд ли мальчишка бежал в такую даль, только чтобы нас разыграть.

— Бывает, и не из-за таких пустяков бегают, — возразил Чико.

— Ладно, сынок, иду, — сказал Том.

— Спасибо. Ой, спасибо, мистер!

И мальчик побегал дальше. Пройдя шагов тридцать, Том оглянулся. Чико, шурясь, смотрел ему вслед, потом пожал плечами, устало отряхнул руки от песка и поплелся за ним.

Они шли на север по песчаному берегу, в предвечернем свете видны были морщинки, прорезавшиеся на загорелых лицах вокруг блеклых, выцветших на солнце глаз; оба казались моложе своих лет, в коротко остриженных волосах седина незаметна. Дул свежий ветер, волны океана с протяжным гулом бились о берег.

— А вдруг это правда? — сказал Том. — Вдруг мы придем к Северной скале, а там волной и впрямь что-то такое вынесло?

Но Чико еще не успел ответить, а Том был уже далеко, мысли его унеслись к иным берегам, где полным-полно гигантских крабов, где на каждом шагу — луна-рыба и морские звезды, бурые водоросли и редкостные камни. Не раз ему случалось толковать про то, сколько диковинных тварей живет в море, и теперь в мерном дыхании прибоя ему слышались их имена. «Аргонавты, — нашептывали волны, — треска, сайда, сарган, устрица, линь, морской слон, — нашептывали они, — лосось и камбала, белуга, белый кит и касатка, морская собака...» Удивительные у них имена, и стараешься представить себе, какие же они все с виду. Быть может, никогда в жизни не удастся подсмотреть, как пасутся они на соленых лугах, куда не смеешь ступить с безопасной твердой земли, а все равно

они там, и эти имена, и еще тысячи других вызывают перед глазами удивительные образы. Смотришь — и хочется стать птицей-фрегатом с могучими крыльями, что улетает за тридевять земель и возвращается через годы, повидав все моря и океаны.

— Ой, скорее! — Мальчишка опять подбежал к Тому, заглянул в лицо. — Вдруг она уплывет!

— Не трепыхайся, малец, поспокойнее, — посоветовал Чико.

Они обогнули Северную скалу. За нею стоял еще один мальчик и неотрывно глядел на песок.

Быть может, краешком глаза Том увидел на песке такое, на что не решился посмотреть прямо, и он уставился на этого второго мальчишку. Мальчик был бледен и, казалось, не дышал. Изредка он словно спохватывался, переводил дух, и взгляд его на миг становился осмысленным, но потом опять упирался в то, что лежало на песке, и чем дольше он смотрел, тем растерянней, ошеломленной становилось его лицо и опять стекленели глаза. Волна плеснула ему на ноги, намочила теннисные туфли, а он не шевельнулся, даже и не заметил.

Том перевел взгляд с лица мальчика на песок.

И тотчас у него самого лицо стало такое же. Руки, повисшие вдоль тела, напряглись, сжались кулаки, губы дрогнули и приоткрылись, и светлые глаза словно еще больше выцвели от того, что увидели и пытались вобрать.

Солнце стояло низко, еще десять минут — и оно скроется за гладью океана.

— Накатила большая волна и ушла, а она тут осталась, — сказал первый мальчик.

На песке лежала женщина.

Ее волосы, длинные-длинные, протянулись по песку, точно струны огромной арфы. Вода перебирала их пряди, поднимала и опускала, и каждый раз они ложились по-иному, чертили иной узор на песке. Длинною они были футов пять, даже шесть, они разметались на твердом сыром песке, и были они зеленые-зеленые.

Лицо ее...

Том и Чико наклонились и смотрели во все глаза.

Лицо будто изваяно из белого песка, брызги волн мерцают на нем каплями летнего дождя на лепестках чайной розы. Лицо — как луна среди бела дня, бледная, неправдоподобная в синеве небес. Мраморно-белое, с чуть заметными синеватыми прожилками на висках. Сомкнутые веки чуть голубеют, как будто сквозь этот тончайший покров недвижно глядят зрачки и видят людей, что склонились над нею и смотрят, смотрят...

Нежные пухлые губы, бледно-алые, как морская роза, плотно сомкнуты. Белую стройную шею, белую маленькую грудь, набегая, скрывает и вновь обнажает волна — набежит и отхлынет, набежит и отхлынет... Розовеют кончики груди, белеет тело — белое-белое, ослепительное, точно легла на песок зеленовато-белая молния. Волна покачивает женщину, и кожа ее отсвечивает, словно жемчужина.

А ниже эта поразительная белизна переходит в бледную, нежную голубизну, а потом бледно-голубое переходит в бледно-зеленое, а потом в изумрудно-зеленое, в густую зелень мхов и лип, а еще ниже сверкает, искрится темно-зеленый стеклярус и темно-зеленые цехины, и все это струится, переливается зыбкой игрой света и тени и заканчивается разметавшимся на песке кружевным веером из пены и алмазов. Меж двумя половинами этого создания нет границы, женщина-жемчужина, светящаяся белизной, вся из чистейшей воды и ясного неба, неуловимо переходит в существо, рожденное скользить в пучинах и мчаться в буйных стремительных водах, что снова и снова набегают на берег и каждый раз пытаются, отпрянув, увлечь ее за собой в родную глубину. Эта женщина принадлежит морю, она сама — море. Они — одно, их не разделяет и не соединяет никакой рубец или морщинка, ни единый стежок или шов; и кажется — а быть может, не только кажется, — что кровь, которая струится в жилах этого создания, опять и опять переливается в холодные воды океана и смешивается с ними.

— Я хотел звать на помощь, — первый мальчик говорил чуть слышно. — А Прыгун сказал, она мертвая, ей все равно не поможешь. Неужто померла?

— А она и не была живая, — вдруг сказал Чико, и все посмотрели на него. — Ну да, — продолжал он. — Просто ее сделали для кино. Натянули резину на проволочный каркас, да и все. Это кукла, марионетка.

— Ой, нет! Она настоящая!

— Наверно, и фабричная марка где-нибудь есть, — сказал Чико. — Сейчас поглядим.

— Не надо! — охнул первый мальчик.

— Фу, черт...

Чико хотел перевернуть тело, но, едва коснувшись его, замер. Опустился на колени, и лицо у него стало какое-то странное.

— Ты что? — спросил Том.

Чико поднес свою руку к глазам, недоуменно уставился на нее.

— Стало быть, я ошибся...— Ему словно не хватало голоса.

Том взял руку женщины повыше кисти.

— Пульс бьется.

— Это ты свое сердце слышишь.

— Ну, не знаю... а может... может быть...

На песке лежала женщина, и выше пояса вся она была как пронизанный луною жемчуг и пена прилива, а ниже пояса блестели и вздрагивали под дыханием ветра и волн и наплывали друг на друга черные с прозеленью старинные монеты.

— Это какой-то фокус! — неожиданно выкрикнул Чико.

— Нет, нет! — Так же неожиданно Том засмеялся. — Никакой не фокус! Вот здорово-то! С малых лет мне не было так хорошо!

Они медленно обошли вокруг женщины. Волна коснулась белой руки, и пальцы едва заметно дрогнули, будто поманили. Будто она звала и просила: пусть придет еще волна, и еще, и еще... пусть поднимет пальцы, ладонь, руку до локтя, до плеча, а там и голову, и все тело, пусть унесет ее всю назад в морскую глубь.

— Том...— начал Чико и запнулся, потом договорил: — Ты бы сходил поймал грузовик.

Том не двинулся с места.

— Слышал, что я говорю?

— Да, но...

— Чего там «но»? Мы эту штуку продадим куда-нибудь, уж не знаю... в университет, или в аквариум на Тюленьем берегу, или... черт возьми, да почему бы нам самим ее не показывать? Слушай...— Он потряс Тома за плечо: — Езжай на пристань. Купи триста фунтов битого льда. Ведь если что выловишь из воды, всегда надо хранить во льду, верно?

— Не знаю, не думал про это.

— Так вот подумай. Да пошевеливайся!

— Не знаю, Чико.

— Чего тут не знать? Она настоящая, верно? — Чико обернулся к мальчикам: — Вы же сами говорите, что она настоящая. Так какого беса мы все ждем?

— Чико,— сказал Том,— ты уж лучше ступай за льдом сам.

— Надо ж кому-то остаться и приглядеть, чтоб ее отсюда не смыло!

— Чико,— сказал Том,— уж не знаю, как тебе объяснить. Неохота мне добывать этот твой лед.

— Ладно, сам поеду. А вы, ребята, подгрести побольше песка, чтоб волны до нее не доставали. Я вам за это дам по пять монет на брата. Ну, поживей!

Смуглые лица мальчиков стали красновато-бронзовыми от лучей солнца, которое краешком уже коснулось горизонта. И глаза их, устремленные на Чико, тоже были цвета бронзы.

— Чтоб мне провалиться! — сказал Чико. — Эта находка лучше серой амбры. — Он взбежал на ближнюю дюну, крикнул оттуда: — А ну, давайте работайте! — И исчез из виду.

А Том и оба мальчика остались у Северной скалы рядом с женщиной, одиноко лежащей на берегу, и солнце на западе уже на четверть скрылось за горизонтом. Песок и женщина стали как розовое золото.

— Махонькая черточка — и все, — прошептал второй мальчик.

Ногтем он тихонько провел у себя по шее. И кивнул на женщину. Том опять наклонился и увидел под твердым маленьким подбородком справа и слева чуть заметные тонкие линии — здесь были раньше, может быть давно, жабры; сейчас они плотно закрылись, их едва можно было различить.

Он всмотрелся в ее лицо, длинные пряди волос лежали на песке, словно лира.

— Красивая, — сказал он.

Мальчики, сами того не замечая, согласно кивнули.

Позади них с дюны шумно взлетела чайка. Мальчики ахнули, порывисто обернулись.

Тома пробила дрожь. Он видел, что и мальчиков трясет. Где-то рывкнул автомобильный гудок. Все испуганно мигнули. Поглядели вверх, в сторону дороги.

Волна плеснула на тело, окружила его прозрачной водяной рамкой.

Том кивнул мальчикам, чтоб отошли в сторону.

Волна приподняла тело, сдвинула его на дюйм вверх, потом, уходя, на два дюйма вниз, к воде.

Набежала новая волна, сдвинула тело на два дюйма вверх, потом, уходя, на шесть дюймов вниз, к воде.

— Но ведь... — сказал первый мальчик.

Том покачал головой.

Третья волна снесла тело на два фута ближе к краю воды. Следующая сдвинула его еще на фут ниже, на мокрую гальку, а три нахлынувшие следом — еще на шесть футов.

Первый мальчик вскрикнул и кинулся к женщине.

Том перехватил его на бегу, придержал за плечо. Лицо у мальчишки стало растерянным, испуганным и несчастным.

На минуту море притихло, успокоилось. Том смотрел на женщину и думал: да, настоящая, та самая, моя... но... она мертва. А может, и не мертва, но, если останется здесь, умрет.

— Нельзя ее упустить! — сказал первый мальчик. — Никак, ну никак нельзя!

Второй мальчик шагнул и стал между женщиной и морем.

— А если оставим ее у себя, что будем с ней делать? — спросил он, требовательно глядя на Тома.

Первый напряженно думал.

— Мы... мы... — запнулся, покачал головой. — Ах ты, черт!

Второй шагнул в сторону, освобождая путь к морю.

Нахлынула огромная волна. А потом она схлынула, и остался один только песок, и на нем — ничего. Белизна, черные алмазы, струны большой арфы — все исчезло.

Они стояли у самой воды — взрослый и двое мальчишек — и смотрели вдаль... а потом позади, на дюнах, взревел грузовик.

Солнце зашло.

Послышались тяжелые торопливые шаги по песку и громкий сердитый крик.

В грузовичке на широких колесах они долго ехали по темнеющему берегу и молчали. Мальчики сидели в кузове на мешках с битым льдом. Потом Чико стал ругаться, он ругался вполголоса, без усталости, поминутно сплевывая за окошко.

— Триста фунтов льда. Триста фунтов!! Куда я теперь его дену? И промок насквозь, хоть выжми. Я-то сразу нырнул, плавал, искал ее, а ты и с места не двинулся. Болван, разиня! Вечно все испортит! Вечно одно и то же! Пальцем не пошевелишь, стоит столбом, хоть бы сделал что-нибудь, так нет же, только глазами хлопает!

— Ну а ты что делал, скажи на милость? — устало сказал Том, не поворачивая головы. — Ты тоже верен себе, вечно та же история. На себя поглядел бы.

Они высадили мальчиков возле их лачуги на берегу. Младший сказал так тихо, что еле можно было слышать сквозь шум ветра:

— Надо же, никто и не поверит...

Они поехали берегом дальше, остановили машину. Чико минуты три сидел не шевелясь, потом кулаки его, стиснутые на коленях, разжались, и он фыркнул:

— Черт подери. Пожалуй, так оно к лучшему. — Он глубоко вздохнул. — Я сейчас подумал. Забавная штука. Годиков эдак через тридцать среди ночи вдруг зазвонит у нас телефон. Вот эти самые парнишки, только они уже выросли, выпивают где-нибудь там, в баре, и вот один звонит нам по междугородному. Среди ночи звонит, понадобилось им задать один вопрос. Это, мол, все правда, верно ведь? Это, мол, на самом

деле было, верно? Случилось с нами со всеми такое когда-то там, в девятьсот пятьдесят восьмом? А мы с тобой сидим на краю постели — ночь ведь — и отвечаем: верно, ребятки, все чистая правда, было с нами такое дело в пятьдесят восьмом году. И они скажут: вот спасибо! А мы им: не стоит благодарности, всегда к вашим услугам. И мы все распрощаемся. А еще годика через три, глядишь, парнишки опять позвонят.

Вдвоем они долго сидели в темноте на ступеньках крыльца.

— Том.

— Что?

Чико договорил не сразу:

— Том... на той неделе ты не уедешь.

Том задумался, сжимая в пальцах давно погасшую сигарету. И понял: никуда он теперь отсюда не уедет. Нет, и завтра, и послезавтра, и каждый день, каждый день он будет спускаться к воде, и кидаться в темные провалы под высокие, изогнутые гребни волн, и плавать среди зеленых кружев и спящих белых огней. Завтра, послезавтра, всегда.

— Верно, Чико. Я остаюсь.

И вот на берег, что протянулся на тысячу миль к северу и на тысячу миль к югу, надвигается нескончаемая извилистая вереница серебряных зеркал. Ни единого дома не отражают они, ни единого дерева, ни дороги, ни машины, ни хотя бы человека. В них отражается лишь безмолвная, невозмутимая луна, и тотчас они разбиваются, разлетаются мириадами осколков и покрывают весь берег зыбкой тускнеющей пеленой. Не надолго океан темнеет, готовясь выдвинуть новую вереницу зеркал на диво этим двоим, а они все сидят на песке и смотрят, смотрят, не мигая, и ждут.

Диковинное диво

В один не слишком погожий и не слишком хмурый, не слишком знойный и не слишком студеный день по пустынным горам с суматошной скоростью катил допотопный потрепанный «форд». От лягза и скрежета металлических частей взмывали вверх трясогозки в рассыпчатых облачках пыли. Уходили с дороги ядовитые ящерицы — ленивые поделки индейских камнерезов. С шумом и грохотом «форд» все глубже вторгался в немую глухомань.

Старина Уилл Бентлин оглянулся с переднего сиденья и крикнул:

— Сворачивай!

По крутой дуге Боб Гринхилл бросил машину за рекламный щит. Тотчас оба повернулись. Они глядели на дорогу над гармошкой сложенного верха и заклинали поднятую колесами пыль:

— Успокойся! Ложись! Пожалуйста!

И пыль медленно осела.

Как раз вовремя.

— Пригнись!

Мимо них, с такой яростью, точно прорвался сквозь все девять кругов ада, прогремел мотоцикл. Над лоснящимся рулем в стремительном броске навстречу ветру изогнулся человек с изборожденным складками, чрезвычайно неприятным лицом, в защитных очках, насквозь пропеченный солнцем. Рычащий мотоцикл и человек промчались по дороге.

Старики выпрямились в своем рыдване, перевели дух.

— Счастливого пути, Нед Хоппер,— сказал Боб Гринхилл.

— Почему? — спросил Уилл Бентлин.— Почему он всегда преследует нас?

— Уилли-Уильям, раскинь мозгами,— ответил Гринхилл.— Мы же его удача, его козлы отпущения. Зачем ему упускать нас, если погоня за нами делает его богатым и счастливым, а нас бедными и умудренными?

И они с невеселой улыбкой поглядели друг на друга. Чего не сделала с ними жизнь, сделали размышления о ней. Тридцать лет прожито вместе под знаком отказа от насилия, то бишь от труда. «Чую, жатва скоро»,— говаривал Уилли, и они покидали город, не дожидаясь, когда созреет пшеница. Или: «Вот-вот яблоки начнут осыпаться!» И они удалялись миль этак на триста — чего доброго, в голову угодит.

Повинуясь руке Боба Гринхилла, автомобиль медленно, точно укрощенная лавина, сполз обратно на дорогу.

— Уилли, дружище, не падай духом.

— Это уже давно пройдено,— сказал Уилл.— Теперь я учусь мириться.

— Мириться с чем?

— Что мне сегодня попадется клад, сундук консервов — и ни одного ключа для консервных банок. А завтра — тысяча ключей и ни одной банки бобов.

Боб Гринхилл слушал, как мотор разговаривает сам с собой под капотом, словно старик шамкает о бессонных ночах, дряхлых костях, истертых до дыр сновидениях.

— Не везет, не везет — ан вдруг повезет, Уилли.

— Ясное дело, да когда же это будет? Мы с тобой продаем галстуки, а через улицу кто сбывает такой же товар на десять центов дешевле?

— Нед Хоппер.

— Мы находим золотую жилу в Тонопа, и кто первым подает заявку?

— Старина Нед.

— Всю жизнь на его мельницу воду льем, разве не так? Не поздно ли затевать что-нибудь свое, на чем бы он не нагрел руки?

— Самое время, — возразил Роберт, уверенно ведя машину. — Вся беда в том, что ни ты, ни я, ни Нед никак не решим, что нам, собственно, надо. Мечемся из города в город, увидели — схватили. И Нед тоже увидел — схватил. Ему это не нужно, он только потому хватает, что нам это приглянулось. И держит, пока мы не махнули дальше, потом все бросает и тянется хвостом за нами, лишь бы еще какой-нибудь хлам добыть. Вот когда мы поймем, что нам надо, в ту же минуту Нед шархнет от нас прочь, навсегда сгинет. А, черт с ним. — Боб Гринхилл вдохнул свежий, как утренняя роса, воздух, струившийся над ветровым стеклом. — Все равно хорошо. Это небо. Эти горы. Пустыни и...

Он осекся.

Уилл Бентлин взглянул на него:

— Что случилось?

— Почему-то... — Боб Гринхилл вытарашил глаза, а его дубленые руки сами медленно повернули баранку, — нам нужно... свернуть... с дороги...

«Форд» содрогнулся, переваливая через обочину. Они съехали в пыльную канаву, выкарабкались из нее и очутились на выступе, который, словно полуостров, возвышался над пустыней. Боб Гринхилл, будто загипнотизированный, протянул руку и повернул ключ зажигания. Старик под капотом перестал сетовать на бессонницу и задремал.

— Ну, так зачем ты это сделал? — спросил Уилл Бентлин.

Боб Гринхилл смотрел на баранку и на свои руки, которые ни с того ни с сего откололи такую штуку.

— Что-то заставило меня. Зачем? — Он поднял глаза. Мышцы его расслабились, взгляд смягчился. — Чтобы полюбоваться этим видом, только и всего. Отличный вид. Все как миллиард лет назад.

— Кроме этого города, — сказал Уилл Бентлин.

— Города? — повторил Боб.

Он повернулся. Вот пустыня, и вдали горы цвета львиной шкуры, и совсем, совсем далеко, взвешенное в волнах горячего утреннего песка и света, плавало некое видение, смутный набросок города.

— Это не может быть Феникс, — сказал Боб Гринхилл. — До Феникса девяносто миль. А других городов поблизости нет.

Уилл Бентлин зашуршал лежащей на коленях картой, проверяя.

— Верно... нет других городов.

— Сейчас лучше видно! — вдруг воскликнул Боб Гринхилл.

Они поднялись в полный рост над запыленным ветровым стеклом и смотрели вперед, подставив ласковому ветру морщинистые лица.

— Постой, Боб, знаешь, что это? Мираж! Ясное дело! Так все сошлось: свет, атмосфера, небо, температура. Город лежит где-нибудь за горизонтом. Видишь, он мелькает, то темнее, то ярче! Небо отражает его, как зеркало, как раз сюда, и мы его видим! Мираж, чтоб мне лопнуть!

— Такой огромный?

Уилл Бентлин измерил взглядом город, а тот на глазах у него стал еще отчетливее, порыв ветра, плавно кружащие вдали песчаные вихри сделали его еще выше.

— Всем миражам мираж! Это не Феникс. И не Санта-Фе, и не Аламогордо, нет. Погоди... И не Канзас-Сити...

— Еще бы, до него отсюда...

— Так-то так, да ты погляди на эти дома. Высоченные! Самые высокие в стране. На всем свете есть только один такой город.

— Неужели... Нью-Йорк?

Уилл Бентлин медленно кивнул, и оба молча продолжали рассматривать мираж. Освещенный утренней зарей город был высокий, сверкающий, все до мелочей видно.

— Да, — сказал наконец Боб. — Здорово.

— Здорово, — согласился Уилл. — Но, — добавил он чуть погодя шепотом, точно боясь, что город услышит, — откуда ему тут взяться, в Аризоне, за три тысячи миль от дома, невесть где?

Не отрывая глаз от города, Боб Гринхилл сказал:

— Уилли, дружище, никогда не задавай природе вопросов. Ей не до тебя, она занята своим делом. Скажем, радиоволны, радуги, северные сияния и все такое прочее, — словом, какая-то шутовщина сделала этакий огромный снимок города Нью-Йорка и проявила его здесь, за три тысячи миль, в тот самый день, когда надо нас подбодрить, нарочно для нас.

— Не только для нас.— Уилл повернул голову вправо.— Погляди-ка!

Немая лента странствий отпечаталась на крупитчатой пыли скрещенными черточками, углами и другими таинственными знаками.

— Следы шин,— сказал Боб Гринхилл.— Знать, немало машин сворачивает сюда.

— Чего ради, Боб? — Уилл Бентлин выпрыгнул из машины, опустился на землю, топнул по ней, повернулся, упал на колени и коснулся земли неожиданно и сильно задрожавшими пальцами.— Чего ради, а? Чтобы посмотреть мираж? Так точно! Чтобы посмотреть мираж!

— Ну?

— Ты только представь себе! — Уилл выпрямился и загудел, как мотор: — Rrrrrrr! — Он повернул воображаемую баранку. Затрусил вдоль машинного следа.— Rrrrrrr! Иииии! Торможу! Роберт-Боб, понимаешь, на что мы напали?! Глянь на восток! Глянь на запад! На много миль — единственное место, где можно свернуть с шоссе и сидеть любоваться!

— Это неплохо, что люди понимают толк в красоте...

— Красота, красота! Чья это земля?

— Государственная, надо полагать...

— Не надо! Это наша земля, моя и твоя! Разбиваем лагерь, подаем заявку, приступаем к разработкам, и по закону участок наш... верно?

— Стой! — Боб Гринхилл впился взглядом в пустыню и удивительный город вдали.— То есть ты собираешься... разрабатывать мираж?

— В самое яблочко! Разрабатывать мираж!

Роберт Гринхилл вылез из машины и обошел вокруг нее, разглядывая примятую шинами землю.

— Это можно?

— Можно? Извините, что я напылил!

Уилл Бентлин уже вколачивал в землю колья, тянул веревку.

— Вот отсюда и до сих пор, а отсюда до сих простирается золотой прииск, мы промываем золото, это корова, мы ее доим, это море денег, мы купаемся в нем!

Нырнув в машину, он выбросил несколько ящиков и извлек большой лист картона, который некогда возвещал о продаже дешевых галстуков. Перевернул его, вооружился кистью и принялся выводить буквы.

— Уилли,— сказал его товарищ,— кто же станет платить за то, чтобы посмотреть на какой-то паршивый старый...

— Мираж? Поставь забор, объяви людям, что просто так они ничего не увидят, и им сразу загорится. Вот!

Он поднял над головой объявление.

ТАЙНОЕ ДИВО МИРАЖ ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД

25 центов с машины. С мотоциклов десять.

— Как раз машина идет. Теперь гляди!

— Уильям!..

Но Уилл уже бежал к дороге, подняв плакат.

— Эй! Смотрите! Эй!

Машина проскочила мимо, точно бык, не заметивший матадора.

Боб зажмурился, чтобы не видеть, как пропадет улыбка на лице Уилла.

Внезапно — упоительный звук.

Визг тормозов.

Машина дала задний ход! Уилл бежал ей навстречу, размазывая, указывая.

— Извольте, сэр! Извольте, мэм! Тайное Диво Мираж! Загадочный Город! Заезжайте сюда!

Ничем не примечательный участок исчертило множество, нет, несчетное множество колесных следов.

Огромный одуванчик пыли повис в жарком мареве над выступом, и стоял сплошной гул прибывающих автомашин, которые занимали свое место в ряду, — тормоза выжаты, дверцы хлопнуты, моторы заглушены, разные машины из разных мест. И люди в машинах совсем разные, ведь они ехали кто откуда, и вдруг их что-то притянуло, как магнит, и поначалу все говорили разом, но, приглядевшись к далекому виду, вскоре смолкли. Тихий ветер дул прямо в лицо, теребя волосы женщин и расстегнутые воротники мужчин. Люди долго сидели в машинах или стояли на краю выступа, ничего не говоря; наконец один за другим стали поворачивать.

Вот первая машина покатила обратно мимо Боба и Уилла; сидящая в ней женщина благодарно кивнула им:

— Спасибо! Действительно, самый настоящий Рим!

— Как она сказала: «Рим» или «дым»? — спросил Уилл.

Вторая машина повернула к выходу.

— Ничего не скажешь! — Водитель высунулся и пожал руку Бобу. — Так и чувствуешь себя французом!

— Французом?! — вскричал Боб.

Оба подались вперед, навстречу третьей машине. За рулем, качая головой, сидел старик.

— В жизни не видел ничего подобного. Подумать только: туман, все как положено, Вестминстерский мост, лучше, чем на открытке, и Биг Бен поодаль. Как это у вас получается? Дай вам Бог счастья. Премного обязан.

Окончательно сбитые с толку, они пропустили машину со стариком, медленно повернулись и посмотрели туда, где за их участком вдали колыхалась полуденная мгла.

— Биг Бен? — произнес Уилл Бентлин. — Вестминстерский мост? Туман?

Чу, что это? Кажется, там, за краем земли, совсем тихо, чуть слышно (полно, слышно ли? Они приставили к ушам ладони) трижды пробили огромные часы? И, кажется, ревуны окликают суда на далекой реке и судовые сирены гудят в ответ?

— Чувствуешь себя французом? — шептал Роберт. — Вестминстерский мост? Дым? Рим? Разве это Рим, Уилл?

Ветер переменился. Струя жаркого воздуха взмыла вверх, перебирая струны невидимой арфы. Что это, как будто туман затвердел, образуя серые каменные монументы? Что это, как будто солнце водрузило золотую статую на вздыбившуюся глыбу чистого, снежного мрамора?

— Как... — заговорил Уильям Бентлин, — почему все менялось? Откуда здесь четыре, пять городов? Разве мы говорили кому-нибудь, какой город они увидят? Нет. Ну держись, Боб, держись!

Они перевели взгляд на последнего посетителя, который стоял один на краю выступа. Сделав знак товарищу, чтобы тот молчал, Роберт безмолвно подошел к платному посетителю и остановился сбоку, чуть позади.

Это был мужчина лет под пятьдесят с энергичным загорелым лицом, ясными, добрыми, живыми глазами, узкими скулами, выразительным ртом. У него был такой вид, словно он в жизни немало путешествовал, не одну пустыню пересек в поисках заветного оазиса. Он напоминал одного из тех архитекторов, которые бродят среди строительного мусора подле своих творений, глядя, как железо, сталь, стекло взмывают кверху, заслоняя, заполняя свободный клочок неба. У него было лицо зодчего, глазам которого вдруг, мгновенно, простершись от горизонта до горизонта, предстало совершенное воплощение давней мечты. Внезапно, словно и не замечая стоящих рядом Уильяма и Роберта, незнакомец заговорил тихим, спокойным, задумчивым голосом. Он назвал то, что видел, высказал то, что чувствовал:

В Ксанадупуре...

— Что? — спросил Уильям.

Незнакомец чуть улыбнулся и, не отрывая глаз от миража, стал негромко читать по памяти:

В Ксанадупуре чудо-парк
Велел устроить Кублай-хан.
Там Альф, священная река,
В пещерах долгих, как века,
Текла в кромешный океан.

Его голос укротил ветер, и ветер подул на стариков, так что они совсем присмирели.

Десяток плодородных миль
Властитель стенами обнес
И башнями огородил.
Ручьи змеистые журчали.
Деревья ладан источали,
И древний, словно горы, лес
В зеленый лиственный навес
Светила луч ловил.

Уильям и Роберт смотрели на мираж и в золотой пыли видели все то, о чем говорил незнакомец: гроздь легендарных восточных минаретов, купола, стройные башенки, выросшие на волшебных посевах цветочной пыльцы из Гоби, россыпи запекшейся гальки на берегах благодатного Евфрата, Пальмира — еще не развалины, только-только построенная, свежей чеканки, не тронутая минувшими годами, вот окуталась дрожащим маревом, вот грозит совсем улететь...

Видение озарило счастьем преобразившееся лицо незнакомца, и отзвучали последние слова:

Поистине диковинное диво:
Пещерный лед — и солнца переливы¹.

Незнакомец смолк.

И тишина в душе у Боба и Уилла стала еще глубже.

Незнакомец теребил дрожащими пальцами бумажник, глаза его увлажнились.

— Спасибо, спасибо...

— Вы уже заплатили, — напомнил Уильям.

— Будь у меня еще, вы бы все получили.

Он стиснул руку Уильяма, оставил в ней пятидолларовую бумажку, вошел в машину, в последний раз посмотрел на мираж, сел, включил мотор, не торопясь дал ему прогреться и укатил. Его лицо светилось, глаза излучали покой.

¹ Из поэмы Сэмюэла Тейлора Кольриджа (1772—1834) «Кубла Хан, или Видение во сне».

Роберт, ошеломленный, сделал несколько шагов вслед за машиной.

Вдруг Уильям взорвался, взмахнул руками, гикнул, щелкнул каблуками, закружился на месте.

— Аллилуйя! Роскошная жизнь! Полная чаша! Ботиночки со скрипом! Загребай горстями!

Но Роберт сказал:

— А мне кажется, не надо...

Уильям перестал плясать.

— Что?

Роберт пристально смотрел на пустыню.

— Да разве ж этим завладеешь? Вон как далеко до него. Ну хорошо, мы подадим заявку на участок, но... Мы даже не знаем, что это такое.

— Как не знаем: Нью-Йорк и...

— Ты когда-нибудь бывал в Нью-Йорке?

— Всегда мечтал. Никогда не бывал.

— Всегда мечтал, никогда не бывал. — Роберт медленно кивнул. — Так и они. Слышал: Париж. Рим. Лондон. Или этот, последний: Ксанадупур. Уилли, Уилли, да мы тут напали на такое... Удивительное, большое. Боюсь, мы только все испортим.

— Постой, но ведь мы же никому не запрещаем, верно?

— Почему ты знаешь? Может быть, четвертак кому-то и не по карману. Не годится это — тут сама природа, а мы со своими правилами. Погляди и скажи, что я не прав.

Уильям поглядел.

Теперь город был похож на тот самый первый город в его жизни, который он увидел, когда мать однажды утром повезла его с собой на поезде, и они ехали по зеленому степному ковру, и вот впереди, крыша за крышей, башня за башней, над краем земли стал подниматься город, испытующе глядя на него, следя, как он подъезжает все ближе. Город — такой невиданный, такой новый, такой старый, такой устрашающий, такой чудесный...

— По-моему, — сказал Роберт, — оставим себе на бензин, сколько на неделю надо, а остальные деньги положим в первую же церковную кружку. Этот мираж, он как чистый родник, пейте, кому хочется. Умный человек зачерпнет кружку, освежит холодком горло в жару и поедет дальше. А если мы останемся да начнем плотины ставить, чтобы вся вода только нам...

Уильям, глядя вдаль сквозь шуршащие вихри пыли, попытался смириться, согласиться:

— Раз ты так говоришь...

— Не я. Весь здешний край говорит.

— А вот я скажу другое!

Они подскочили и обернулись.

На косогоре над дорогой стоял мотоцикл. А на нем, в радужных пятнах бензина, в огромных очках, с коркой грязи на щетинистых щеках — ну конечно, старый знакомый, все та же заносчивость, то же неистощимое высокомерие.

— Нед Хоппер!

Нед Хоппер улыбнулся своей самой ядовито-благожелательной улыбкой, отпустил тормоза и съехал вниз, к своим старым друзьям.

— Ты... — произнес Роберт.

— Я! Я! Я! — Громко смеясь, запрокинув голову, Нед Хоппер трижды стукнул по кнопке сигнала. — Я!

— Тихо! — вскричал Роберт. — Разобьешь, это же как зеркало.

— Что как зеркало?

Уильям, зараженный тревогой Роберта, беспокойно посмотрел на горизонт над пустыней.

Мираж затрепетал, задрожал, затуманился — и снова гобеленом повис в воздухе.

— Ничего не вижу! Признавайтесь, что вы тут затеяли, ребята? — Нед уставился на испещренную следами землю. — Я двадцать миль отмахал, нет как нет, только потом смекнул, что вы где-то позади притаились. Э, говорю себе, разве так поступают старые друзья, которые в сорок седьмом навели меня на золотую жилу, а в пятьдесят пятом осчастливили этим мотоциклом. Сколько лет выручаем друг друга, и вдруг какие-то секреты от старины Неда. И я повернул назад. Полдня вон с той горы за вами следил. — Нед приподнял бинокль, висевший на его промасленной куртке. — Я ведь умею читать по губам, вы не знали? Точно! Видел, как сюда заскакивали все эти машины, видел денешки. Да у вас тут настоящий театр!

— Не повышай голоса, — предостерег его Роберт. — До свиданья.

Нед приторно улыбнулся.

— Как, вы уезжаете? Жалко. А вообще-то вам и правда нечего делать на моем участке.

— На твоём! — закричали Роберт и Уильям, спохватились и дрожащим шепотом повторили: — Как это на твоём?

Нед усмехнулся.

— Я как увидел ваши дела, махнул напрямиком в Феникс. Видите документик у меня в заднем кармане?

В самом деле: аккуратно сложенная бумажка.

Уильям протянул руку.

— Не доставляй ему удовольствия,— сказал Роберт.

Уильям отдернул руку.

— Ты хочешь, чтобы мы тебе поверили? Что ты уже подал заявку на участок?

Нед погасил улыбку в своих глазах.

— Хочу. Не хочу. Допустим, я соврал — все равно я на мотоцикле доберусь до Феникса быстрее, чем вы на своем драндулете.— Нед изучил окрестности в свой бинокль.— Так что лучше выкладывайте все денежки, какие получили с двух часов дня, когда я подал заявку, с того часа вы находитесь на чужой земле — на моей земле.

Роберт швырнул монеты в пыль. Нед Хоппер бросил небрежный взгляд на блестящий сор.

— Монета правительства Соединенных Штатов! Лопни мои глаза, ведь ничегошеньки нет, а эти барашки все равно денежки несут!

Роберт медленно повернулся лицом к пустыне.

— Ты ничего не видишь?

Нед фыркнул.

— Ничего, будто не знаешь!

— А мы видим! — закричал Уильям.— Мы...

— Уилл,— сказал Роберт.

— Но, Боб!..

— Там нет ничего. Он прав.

Под барабанную дробь моторов к ним приближались еще машины.

— Извините, джентльмены, мое место в кассе! — Нед метнулся к дороге, размахивая руками.— Извольте, сэръ, мэ́м! Сюда, сюда! Деньги вперед!

— Почему? — Уильям проводил взглядом горлающего Неда Хоппера.— Почему мы ему потакаем?

— Погоди,— кротко сказал Роберт.— Посмотрим, что будет.

Они отошли в сторону, пропуская чей-то «форд», чей-то «бьюик», чей-то престарелый «мун».

Сумерки. На горе, ярдах в двухстах над «Кругозором загадочного Города-Миража» Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл поджарили и принялись ковырять вилками скудный ужин, свинины почитай что и нет, одни бобы. Время от времени Роберт наводил выдавший виды театральные бинокль на то, что происходило внизу.

— Тридцать посетителей с тех пор, как мы уехали,— отметил он.— Ничего, скоро закрывать придется. Десять минут, и солнце совсем уйдет.

Уильям смотрел на одинокий боб, пронзенный его вилкой.

— Нет, ты мне скажи: почему? Почему всякий раз, как нам повезет, Нед Хоппер тут как тут?

Роберт дохнул на стекла бинокля и протер их рукавом.

— Потому, дружище Уилли, что мы с тобой чистые души. Вокруг нас сияние. И злодеи мира сего, как завидят его вдали, радуются: «Ага, не иначе там ходят этакие милые, простодушные сосунки». И спешат во всю прыть к нам — погреть руки. Как тут быть? Не знаю. Разве что погасить сияние.

— Да ведь не хочется,— задумчиво произнес Уильям, держа ладони над костром.— Просто я надеялся, что наконец настала наша пора. Этот Нед Хоппер, он же только брюхом живет, и когда его гром разразит?

— Когда? — Роберт ввинтил линзы бинокля себе в глаза.— Уже, уже разразил! Позор маловерам!

Уильям вскочил на ноги рядом с ним. Они поделили бинокль, каждому по окуляру.

— Гляди!

И Уильям, приставив глаз к биноклю, крикнул:

— Семь верст до небес!

— И все лесом!

Еще бы, такое зрелище! Нед Хоппер переминался с ноги на ногу возле автомашины. Сидящие в ней люди размахивали руками. Он вручил им деньги. Машина ушла. Даже на горе были слышны горестные вопли Неда.

Уильям ахнул.

— Он возвращает деньги! Гляди, едва не ударил вон того... А тот грозит ему кулаком! Нед ему тоже возвращает деньги! Гляди, еще нежное расставание, еще!

— Так его! — ликовал Роберт, прильнув к своей половине бинокля.

И вот уже все машины катят прочь в облаке пыли. Старина Нед исполнил какую-то яростную чечетку, швырнул оземь свои очки, сорвал плакат, изрыгнул ужасающую брань.

— Вот дает! — задумчиво сказал Роберт.— Не хотел бы я услышать такие слова. Пошли, Уилли!

Не дожидаясь, когда Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл спустятся на своей машине к повороту на Загадочный Город, разъяренный Нед Хоппер пулей вылетел с выступа. Злобные крики, рев мотоцикла, раскрашенный картон бумерангом взлетел вверх и, со свистом рассекая воздух, чуть не поразил Боба. Нед уже скрылся на своем грохочущем чудище, когда плакат вильнул вниз и лег на землю; Уильям поднял его и обтер.

Сумерки стустились, солнце прощалось с далекими вершинами, весь край притих и примолк. Нед Хоппер исчез, и двое остались одни на опустевшем выступе, в сетке колесных следов, глядя на пески и заколдованный воздух.

— Нет, нет! — произнес Уильям.

— Боюсь, что да, — отозвался Роберт.

Чуть тронутая розовым золотом заходящего солнца даль была пуста. Мираж пропал. Два-три пыльных вихря прошли вдоль горизонта и рассыпались, и только.

Уильям вздохнул горько-горько.

— Это все он! Нед! Нед Хоппер, вернись, ты!.. Все испортил, окаянный! Чтоб тебе света не видать! — Он осекся. — Боб, как ты можешь — стоит, хоть бы что ему!

Роберт грустно улыбнулся.

— А мне его жалко.

— Жалко?!

— Он не видел того, что видели мы. Все видели, а он не видел. Даже на миг не поверил. А ведь неверие заразительно. Оно и к другим пристаёт.

Уильям внимательно оглядел безлюдный край.

— По-твоему, в этом все дело?

— Кто его знает... — Роберт покачал головой. — Одно можно точно сказать: когда люди сворачивали сюда, они видели город, города, мираж, назови как хочешь. Но поди разгляди что-то, когда тебе все заслоняют. Нед Хоппер даже руки не поднял, а все солнце закрыл своей загребушей лапищей. И сразу театр — двери на замок.

— А мы... — Уильям помялся. — Мы не можем снова открыть его?

— Как? Что надо сделать, как вернуть такое чудо?

Они медленно обвели взглядом пески, горы, редкие одинокие облачка, притихшее, бездыханное небо.

— Может, если глядеть уголком глаза, не прямо, а как бы невзначай, ненароком...

И они стали смотреть на башмаки, на руки, на камни в пыли у своих ног. Наконец Уильям буркнул:

— А точно ли это? Что мы такие чистосердечные?

Роберт усмехнулся.

— Конечно, детишки тут сегодня побывали, так те куда почище нас, недаром видели все, что хотели, и взрослые — простые души, что выросли среди полей и милостью Божьей странствуют по свету, а сами детьми остались. Нет, Уилли, мы с тобой не дети — ни малые, ни взрослые, а есть у нас одно: умеем радоваться жизни. Знаем, что такое прозрачное

утро на пустынной дороге, как звезды рождаются и гаснут в небесах. А этот злодей, он давным-давно разучился радоваться. Как его не пожалеть, вот мчится сейчас на своем мотоцикле, и всю ночь так, и весь год...

Он не успел договорить, когда заметил, что Уильям исподволь косит глазом в сторону пустыни. И он тихонько прошептал:

— Видишь что-нибудь?..

Уильям вздохнул.

— Нет. Может быть... завтра...

На шоссе показалась одинокая машина.

Они переглянулись. Глаза их вспыхнули исступленной надеждой. Но руки не поднимались, и рот не открывался, чтобы крикнуть. Они стояли молча, держа перед собой разрисованный плакат.

Машина пронеслась мимо.

Они проводили ее молящими глазами.

Машина затормозила. Дала задний ход. В ней сидели мужчина, женщина, мальчик, девочка. Мужчина крикнул:

— Уже закрыли на ночь?!

— Ни к чему...— заговорил Уильям.

— Он хочет сказать: деньги нам ни к чему! — перебил его Роберт.— Последние клиенты сегодня, к тому же целая семья. Бесплатно! За счет фирмы!

— Спасибо, приятель, спасибо!

Машина, рывкнув, въехала на площадку кругозора.

Уильям стиснул локоть Роберта.

— Боб, какая муха тебя укусила? Огорчить детишек, такую славную семью!

— Помалкивай,— тихо сказал Роберт.— Пошли.

Дети выскочили из машины. Мужчина и его жена выбрались на волю и остановились, освещенные вечерней зарей. Небо было золотое с голубым отливом, где-то в песчаной дали пела птица.

— Смотри,— сказал Роберт.

Приезжие стояли в ряд, глядя на пустыню, и старики подошли к ним сзади.

Уильям затаил дыхание.

Отец и мать, неловко шурясь, всматривались в сумрак.

Дети ничего не говорили. Распахнутые глаза их впитали в себя чистый отсвет заката.

Уильям прокашлялся.

— Уже поздно. Кхм... Плохо видно...

Мужчина хотел ответить, но его опередил мальчик:

— А мы видим... здорово!

— Да-да! — подхватила девочка, показывая. — Вон там!

Мать и отец проследили взглядом за ее рукой, точно это могло помочь. И помогло!

— Боже, — воскликнула женщина, — кажется, там... нет... ну да, вот оно!

Мужчина впился глазами в лицо женщины, что-то прочел на нем, сделал мысленный оттиск и наложил его на пустыню и воздух над пустыней.

— Да, — молвил он наконец, — да, конечно.

Уильям посмотрел на них, на пустыню, потом на Роберта: тот улыбнулся и кивнул.

Четыре лица, обращенных к пустыне, так и сияли.

— О, — прошептала девочка, — неужели это правда?

Отец кивнул, осененный видением, которое было на грани зримого и за гранью постижимого. И сказал так, словно стоял один в огромном заповедном храме:

— Да. И клянусь... это прекрасно.

Уильям уже начал поднимать голову, но Роберт шепнул:

— Не спеши. Сейчас. Потерпи немного, не спеши, Уилл.

И тут Уильям понял, что надо делать.

— Я... я стану с детьми, — сказал он.

И он медленно прошел вперед и остановился за спиной мальчика и девочки. Так он долго стоял, точно между двумя жаркими кострами в холодный вечер, и они согрели его, и он, не дыша, исподволь поднял глаза и через вечернюю пустыню осторожно стал всматриваться в сумрак — неужели не покажется?

И там из легкого облака пыли высоко над землей ветер вновь вылепил смутные башни, шпили, минареты — возник мираж.

Уильям ощутил на шее, совсем близко, дыхание Роберта — тот негромко шептал про себя:

Поистине диковинное диво:

Пещерный лед — и солнца переливы...

Они видели город.

Солнце зашло, появились первые звезды.

Они совсем отчетливо видели город, и Уильям услышал свой голос — то ли вслух, то ли в душе он повторял:

Поистине диковинное диво...

И они стояли в темноте, пока не перестали видеть.

Пришло время дождей

Отель напоминал высохшую кость в пустыне. Немилосердно жгло солнце и накаляло крышу. По ночам воспоминания о дневном зное наполняли комнаты, словно запах далекого лесного пожара. И после наступления темноты в отеле долго не зажигали огней, ибо свет означал зной. Обитатели отеля предпочитали в потемках ощупью пробираться по коридорам в тщетных поисках прохлады.

В этот вечер мистер Терль, хозяин отеля, и его единственные постояльцы, мистер Смит и мистер Фермли, оба словно сухие листья табака, и даже пахли они сухим табаком, — засиделись на длинной веранде, опоясывающей дом. Раскачиваясь в скрипучих креслах-качалках, они ловили ртами раскаленный воздух и пытались движением качалок всколыхнуть застывший зной.

— Мистер Терль, вот было бы здорово, если бы вы вдруг... как-нибудь... взяли да и купили установку для охлаждения воздуха...

Мистер Терль даже не открыл смеженных век.

— Откуда мне взять деньги на это? — ответил он наконец после долгой паузы.

Оба постояльца слегка порозовели от стыда: вот уже двадцать лет как они живут в отеле и ничего не платят мистеру Терлю.

Снова воцарилось молчание. Мистер Фермли печально вздохнул:

— А почему бы нам всем не махнуть отсюда в какой-нибудь приличный городишко, где нет такой адской жары?

— Найдется ли охотник купить мертвый отель в этом пропащем месте? — ответил мистер Терль. — Нет, останемся здесь и подождем двадцать девятого января.

Скрип качалок смолк.

29 января. Единственный день в году, когда здесь действительно идут дожди.

— В таком случае ждать осталось недолго, — сказал мистер Смит, взглянув на карманные часы; они блеснули на ладони, словно желтая луна. — Еще каких-нибудь два часа и девять минут, и наступит долгожданное двадцать девятое января. И на небе ни облачка.

— Сколько я себя помню, двадцать девятого всегда приходили дожди. — Мистер Терль умолк, сам удивившись, как гром-

ко прозвучал его голос. — Если они в этом году и запоздают на денек, я не стану роптать и гневить Бога.

Мистер Фермли судорожно проглотил слюну и обвел взглядом пустой горизонт — с востока на запад, до самых дальних гор.

— Интересно, вернется сюда золотая лихорадка?..

— Золота здесь больше нет, — ответил мистер Смит. — И что еще хуже, нет дождей. Их не будет ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра. Не будет весь год.

Три старых человека смотрели на яркую, как солнце, луну, которая прожгла дыру в черном пустом небосводе.

Снова медленно, нехотя закрипели качалки.

Легкий утренний ветерок зашелестел закурдявившимися от зноя листьями отрывного календаря, который висел на облупившейся стене отеля.

Трое стариков, перекидывая через костлявые плечи подтяжки, босиком спустились вниз и, шурясь от солнца, посмотрели на пустой горизонт.

— Двадцать девятое января...

— Ни единой милосердной капли дождя...

— Все еще впереди, день только начинается.

— У кого впереди, а у кого и позади, — проворчал мистер Фермли и, повернувшись, исчез в доме.

Целых пять минут понадобилось ему, чтобы через путаницу лестниц и коридоров добраться до своей комнаты и раскаленной, как печь, постели.

В полдень в дверь осторожно просунулась голова мистера Терля.

— Мистер Фермли?..

— Проклятые старые кактусы! Это мы с вами... — произнес мистер Фермли, не поднимая головы с подушки; издали казалось, что его лицо вот-вот рассыплется в сухую пыль, которая осядет на шершавые доски пола. — Но даже кактусам, черт побери, нужна хотя бы капля влаги, чтобы выжить в этом пекле. Заявляю вам, что не встану до тех пор, пока не услышу шум дождя, а не эту дурацкую птичью возню на крыше.

— Молитесь Богу и готовьте зонтик, мистер Фермли, — сказал мистер Терль и осторожно, на цыпочках вышел.

Под вечер по крыше слабо застучали редкие капли.

Мистер Фермли, не поднимаясь, слабым голосом крикнул в окно:

— Нет, это не дождь, мистер Терль. Я знаю, вы поливаете крышу из садового шланга. Благодарю, но не тратьте напрасну сил.

Шум на крыше прекратился. Со двора донесся печальный протяжный вздох...

Огибая угол дома, мистер Терль увидел, как оторвался и упал в серую пыль листок календаря.

— Проклятое двадцать девятое января! — услышал он голос сверху. — Еще целых двенадцать месяцев!

В дверях отеля появился мистер Смит, но спустя мгновение скрылся. Затем он появился снова с двумя помятыми чемоданами в руках. Он со стуком опустил их на пол веранды.

— Мистер Смит! — испуганно вскричал мистер Терль. — После двадцати лет? Вы не можете этого сделать!

— Говорят, в Ирландии весь год идут дожди, — сказал мистер Смит. — Найду там работу. То ли дело бегать весь день под дождем.

— Вы не должны уезжать, мистер Смит! — Мистер Терль лихорадочно искал веские доводы и наконец выпалил: — Вы задолжали мне девять тысяч долларов!

Мистер Смит вздрогнул как от удара, и в глазах его отразились неподдельные боль и обида.

— Простите меня, — растерянно пролепетал мистер Терль и отвернулся. — Я и сам не знаю, что говорю. Послушайте моего совета, мистер Смит, поезжайте-ка лучше в Сиэтл. Там каждую неделю выпадает не менее пяти миллиметров осадков. Но прошу вас, подождите до полуночи. Спадет жара, станет легче. А за ночь вы доберетесь до города.

— Все равно за это время ничего не изменится.

— Не надо терять надежду. Когда все потеряно, остается надежда. Надо всегда во что-то верить. Побудьте со мной, мистер Смит. Можете даже не садиться, просто стойте вот так и думайте, что сейчас придут дожди. Сделайте это для меня, и больше я ни о чем вас не попрошу.

В пустыне внезапно завертелись крохотные пыльные вихри, но тут же исчезли. Мистер Смит обвел взглядом горизонт.

— Если не хотите думать о дождях, думайте о чем угодно. Только думайте.

Мистер Смит застыл рядом со своими выдавшими виды чемоданами. Прошло пять-шесть минут. В мертвой тишине слышалось лишь громкое дыхание двух мужчин.

Затем мистер Смит с решительным видом нагнулся и взял за ручки чемоданов.

И тут мистер Терль вдруг прищурил глаза, подался вперед и приложил ладонь к уху.

Мистер Смит замер, не выпуская из рук чемоданов.

С гор донесся слабый гул, глухой, еле слышный рокот.

— Идет гроза! — свистящим шепотом произнес мистер Терль.

Гул нарастал; у подножия горы появилось облачко.

Мистер Смит весь вытянулся и даже поднялся на носках.

Наверху, словно воскресший из мертвых, приподнялся и сел на постели мистер Фермли.

Глаза мистера Терля жадно вглядывались вдаль. Он держался за деревянную колонну веранды и был похож на капитана судна, которому почудилось, что легкий тропический бриз вдруг откуда-то донес аромат цитрусовых и прохладной белой сердцевины кокосового ореха. Еле заметное дыхание ветерка загудело в воспаленных ноздрях, как ветер в печной трубе.

— Смотрите! — воскликнул он. — Смотрите!

С ближайшего холма скатилось вниз облако, отряхивая пыльные крылья, гремя и рокоча. С гор в долину с грохотом, скрежетом и стоном съезжал автомобиль — первый за весь этот месяц автомобиль!

Мистер Терль боялся оглянуться на мистера Смита.

А мистер Смит посмотрел на потолок и подумал в эту минуту о бедном мистере Фермли.

Мистер Фермли выглянул в окно только тогда, когда перед отелем с громким выхлопом остановилась старая разбитая машина. И в том, как в последний раз выстрелил, а затем заглох ее мотор, была какая-то печальная окончательность. Машина, должно быть, шла издалека, по раскаленным желто-серым дорогам, через солончаки, ставшие пустыней еще десятки миллионов лет назад, когда отсюда ушел океан. И теперь этот старый, расползающийся по швам автомобиль выпуска 1924 года, кое-как скрепленный обрывками проволоки, которая торчала отовсюду, как щетина на небритой щеке великана, с откинутым брезентовым верхом, — он размяк от жары, как мятный леденец, и прилип к спинке заднего сиденья, словно морщинистое веко гигантского глаза, — этот старый разбитый автомобиль в последний раз вздрогнул и испустил дух.

Старая женщина за рулем терпеливо ждала, поглядывая то на мужчин, то на отель, и словно бы говорила: «Простите, но мой друг тяжело занемог. Мы знакомы с ним очень давно, и теперь я должна проститься с ним и проводить в последний путь». Она сидела неподвижно, словно ждала, когда уймется последняя легкая дрожь, пробежавшая еще по телу автомобиля, и наступит то полное расслабление членов, которое означает неумолимый конец. Потом еще с полминуты женщина остава-

лась неподвижной, прислушиваясь к умолкшей машине. От незнакомки веяло таким покоем, что мистер Терль и мистер Смит невольно потянулись к ней. Наконец она взглянула на них с печальной улыбкой и приветственно помахала рукой.

И мистер Фермли, глядевший в окно, даже не заметил, что машет ей в ответ. А мистер Смит подумал: «Странно, ведь это не гроза, а я почему-то не очень огорчен. Почему же?»

А мистер Терль уже спешил к машине.

— Мы думали... мы думали...— Он растерянно умолк.— Меня зовут Терль, Джо Терль.

Женщина пожала протянутую руку и посмотрела на него такими чистыми светло-голубыми глазами, словно это были нежные озера, где вода очищена солнцем и ветрами.

— Мисс Бланш Хилгуд,— сказала она тихо.— Выпускница Гринельского колледжа, не замужем, преподаю музыку, тридцать лет руководила музыкальным студенческим клубом, была дирижером студенческого оркестра в Грин-Сити, Айова, двадцать лет даю частные уроки игры на фортепьяно, арфе и уроки пения, месяц как ушла на пенсию. А теперь снялась с насиженных мест и еду в Калифорнию.

— Мисс Хилгуд, отсюда не так-то просто будет выбраться.

— Я и сама теперь вижу.— Она с тревогой посмотрела на мужчин, круживших возле ее автомобиля, и в эту минуту чем-то напомнила им девочку, которой неловко и неудобно сидеть на коленях у больной ревматизмом бабушки.

— Неужели ничего нельзя сделать? — спросила она.

— Из спиц выйдет неплохая изгородь, из тормозных дисков — гонг, чтобы созывать постояльцев к обеду, а остальное, может, пригодится для японского садика.

— Все, кончилось. Говорю вам, машине конец. Я отсюда и то вижу. Не пора ли нам ужинать? — послышался сверху голос мистера Фермли.

Мистер Терль сделал широкий жест рукой.

— Мисс Хилгуд, милости просим в отель «Пустыня». Открыт двадцать четыре часа в сутки. Беглых каторжников и правонарушителей просим заносить свои имена в книгу постояльцев. Отдохните ночку, платить не надо, а завтра утром вытащим из сарая наш старый «форд» и отвезем вас в город.

Мисс Хилгуд милостиво разрешила помочь ей выйти из автомобиля. Он в последний раз издал жалобный стон, словно молил не покидать его. Она осторожно прикрыла дверцу, хлопнувшуюся с мягким стуком.

— Один друг покинул меня, но второй все еще со мной. Мистер Терль, не внесете ли вы ее в дом?

— ЕЕ, мадам?

— Простите, я всегда думаю о вещах так, словно это люди. Автомобиль был джентльменом, должно быть потому, что возил меня повсюду. Ну, а арфа все же, согласитесь, дама?

Она кивком указала на заднее сиденье. На фоне неба, накренившись вперед, словно нос корабля, разрезающего воздух, стоял узкий кожаный ящик.

— Мистер Смит, а ну-ка подсобите, — сказал мистер Терль.

Они отвязали высокий ящик и осторожно сняли его с машины.

— Эй, что это там у вас? — крикнул сверху мистер Фермли.

Мистер Смит споткнулся, и мисс Хилгуд испуганно вскрикнула. Ящик раскачивался из стороны в сторону в руках неловких мужчин.

Раздался мелодичный звон струн.

Мистер Фермли услышал его в своей комнате и уже больше не спрашивал, а лишь, открыв от удивления рот, смотрел, как темная пасть веранды поглотила старую леди, таинственный ящик и двух мужчин.

— Осторожно! — воскликнул мистер Смит. — Какой-то болван оставил здесь свои чемоданы, — и вдруг умолк. — Болван? Да ведь это же мои чемоданы!

Мистер Смит и мистер Терль посмотрели друг на друга. Лица их уже не блестели от пота. Откуда-то налетевший ветерок легонько трепал ворот рубахи, шелестел листками календаря.

— Да, это мои чемоданы, — сказал мистер Смит.

Они вошли в дом.

— Еще вина, мисс Хилгуд? Давненько у нас не подавали вино.

— Совсем капельку, если можно.

Они ужинали при свете единственной свечи, все равно делавшей комнату похожей на раскаленную печь, и слабые блики света играли на вилках, ножах и новых тарелках. Они ели, пили теплое вино и беседовали.

— Мисс Хилгуд, расскажите еще что-нибудь о себе.

— О себе? — переспросила она. — Право, я была все время так занята, играя то Бетховена, то Баха, то Брамса, что не заметила, как мне минуло двадцать девять, а потом сорок, а вчера вот исполнилось семьдесят один. О, конечно, в моей жизни были мужчины. Но в десять лет они переставали петь, а в двенадцать уже не могли летать. Мне всегда казалось, что человек создан, чтобы летать, поэтому я терпеть не могла мужчин с кровью тяжелой, как чугун, цепями приковывающей их

к земле. Не помню, чтобы мне приходилось встречать мужчин, которые бы весили меньше ста килограммов. В своих черных костюмах они проплывали мимо, словно катафалки.

— И вы улетели от них, да?

— Только мысленно, мистер Терль, только мысленно. Понадобилось целых шестьдесят лет, чтобы наконец по-настоящему решиться на это. Все это время я дружила с флейтами и скрипками, потому что они как ручейки в небесах, знаете, такие же, как ручьи и реки на земле. Я плавала в реках и заливах с чистой студеной водой, от озер Генделя до прозрачных заводей Штрауса. И, только напутествовавшись вдоволь, я осела в этих краях.

— Как же вы все-таки решились сняться с места? — спросил мистер Смит.

— На прошлой неделе я вдруг оглянулась вокруг и сказала себе: «Эге, да ты летаешь совсем одна. Ни одну живую душу во всем Грин-Сити не интересует, как высоко ты можешь залететь». Всегда одно и то же: «Спасибо, Бланш», «Спасибо за концерт в клубе, мисс Хилгуд». Но никто из них по-настоящему не умел слушать музыку. Когда же я, как-то еще давно, пыталась мечтать о Нью-Йорке или Чикаго, все только снисходительно похлопывали меня по плечу и со смехом твердили: «Лучше быть большой лягушкой в маленьком болоте, чем маленькой лягушкой в большом болоте». И я оставалась, а те, кто давал мне такие советы, уезжали, или же умирали, или с ними случилось и то и другое. А большинство были просто глухи. Неделю назад я взялась за ум и сказала себе: «Хватит! С каких это пор ты решила, что у лягушек могут вырасти крылья?»

— Значит, вы решили держать путь на запад? — спросил мистер Терль.

— Может быть. Устроюсь где-нибудь аккомпаниатором или буду играть в оркестре, в одном из тех, что дают концерты прямо под открытым небом. Но я должна играть для тех, кто умеет слушать музыку, по-настоящему умеет...

Они слушали ее в душевной темноте. Женщина умолкла, она сказала им все, а теперь пусть думают, что это глупо и смешно. Она осторожно откинулась на спинку стула.

Наверху кто-то кашлянул.

Мисс Хилгуд прислушалась и встала.

Мистеру Фермли стоило усилий разомкнуть веки, и тогда он увидел лицо женщины. Она наклонилась и поставила у кровати поднос.

— О чем вы только что говорили там, внизу?

— Я потом приду и расскажу вам, — ответила она, — поешьте. Салат очень вкусный. — Она повернулась, чтобы уйти.

И тогда он торопливо спросил:

— Вы не уедете от нас?

Она остановилась на пороге, пытаясь разглядеть в темноте его мокрое от испарины лицо. Он тоже еле различал ее глаза и губы. Постояв еще немного, она спустилась вниз.

— Должно быть, не слышала моего вопроса, — произнес мистер Фермли.

И все же он был уверен, что она слышала.

Мисс Хилгуд пересекла гостиную и коснулась рукой кожного ящика.

— Я должна заплатить за ужин.

— Нет, хозяин отеля бесплатно угощает вас, — запротестовал мистер Терль.

— Я должна, — ответила она и открыла ящик.

Тускло блеснула старая позолота.

Мужчины встрепенулись. Они вопросительно поглядывали на женщину возле таинственного предмета, который по форме напоминал сердце. Он возвышался над нею, у него было круглое, как шар, блестящее подножие, а на нем — высокая фигура женщины со спокойным лицом греческой богини и продолговатыми глазами, глядевшими на них так же дружелюбно, как глядела на них мисс Хилгуд.

Мужчины обменялись быстрыми взволнованными взглядами, словно догадались, что сейчас произойдет. Они вскочили со стульев и пересели на краешек плюшевого дивана, вытирая лица влажными от пота платками.

Мисс Хилгуд пододвинула к себе стул и, сев, осторожно накренила золотую арфу и опустила ее на плечо. Пальцы ее легли на струны.

Мистер Терль втянул в себя раскаленный воздух и приготовился.

Из пустыни налетел ветер, и кресла-качалки закачались на веранде, словно пустые лодки на пруду.

Сверху послышался капризный голос мистера Фермли:

— Что у вас там происходит?

И тогда руки мисс Хилгуд побежали по струнам.

Они начали свой путь где-то сверху, почти у самого ее плеча, и побежали прямо к спокойному лицу греческой богини; но тут же снова вернулись обратно, затем на мгновение замерли, и звуки поплыли по душной горячей гостиной, а из нее в каждую из пустых темных комнат отеля.

Если мистеру Фермли и вздумалось еще что-то кричать из своей комнаты, его уже никто не слышал. Мистер Терль и

мистер Смит не могли больше сидеть и словно по команде вскочили с дивана. Они пока ничего не слышали, кроме бешеного стука собственных сердец и собственного свистящего дыхания. Выпучив глаза и изумленно раскрыв рот, они глядели на двух женщин — незрячую богиню и хрупкую старую женщину, которая сидела, прикрыв добрые усталые глаза и вытянув вперед маленькие тонкие руки.

«Она похожа на девочку, — подумали мистер Терль и мистер Смит, — девочку, протянувшую руки в окно, навстречу чему-то... Чему же? Ну конечно же, навстречу дождю!..»

Шум ливня затихал на далеких пустых тротуарах и в водосточных трубах.

Наверху неохотно поднялся мистер Фермли, словно его кто-то силком тащил с постели.

А мисс Хилгуд продолжала играть. Никто из них не знал, что она играла, но им казалось, что эту мелодию они слышали не раз в своей долгой жизни, только не знали ни названия, ни слов. Она играла, и каждое движение ее рук сопровождалось щедрыми потоками дождя, стучащего по крыше. Прохладный дождь лил за открытым окном, омывал разошедшиеся доски крыльца, падал на раскаленную крышу, на жадно впитывавший его песок, на старый ржавый автомобиль, на пустую конюшню и на мертвые кактусы во дворе. Он вымыл окна, прибил пыль, наполнил до краев пересохшие дождевые бочки и повесил шелестящий бисерный занавес на открытые двери, и этот занавес, если бы вам захотелось выйти, можно было бы раздвинуть рукой. Но самым желанным мистеру Терлю и мистеру Смицу казалось его живительное прохладное прикосновение. Приятная тяжесть дождя заставила их снова сесть. Кожу лица слегка покалывали, пощипывали, щекотали падавшие капли, и первым побуждением было закрыть рот, закрыть глаза, закрыться руками, спрятаться. Но они с наслаждением откинули головы назад, подставили лица дождю — пусть льет сколько хочет.

Но шквал продолжался недолго, всего какую-то минуту, потом стал затихать, по мере того как затихали звуки арфы, и вот руки в последний раз коснулись струн, извлекая последние громы, последние шумные всплески ливня.

Прощальный аккорд застыл в воздухе, как озаренные вспышкой молнии нити дождя.

Виденые погасло, последние капли в полной темноте беззвучно упали на землю.

Мисс Хилгуд, не открывая глаз, опустила руки.

Мистер Терль и мистер Смит очнулись, посмотрели на двух сказочных женщин в конце гостиной — сухих, невредимых, каким-то чудом не промокших под дождем.

Мистер Терль и мистер Смит, с трудом уняв дрожь, подались вперед, словно хотели что-то сказать. На их лицах была полная растерянность.

Звук, доносившийся сверху, вернул их к жизни.

Звук был слабый, похожий на усталое хлопанье крыльев одинокой старой птицы.

Мистер Терль и мистер Смит прислушались.

Да, это мистер Фермли аплодировал из комнаты.

Мистеру Терлю понадобилось всего мгновение, чтобы прийти в себя. Он толкнул в бок мистера Смита, и оба в экстазе захлопали. Эхо разнеслось по пустым комнатам отеля, ударяясь о стены, зеркала, окна, словно ища выхода наружу.

Теперь и мисс Хилгуд открыла глаза, и вид у нее был такой, словно этот новый шквал застал ее врасплох.

Мистер Терль и мистер Смит уже не помнили себя. Они хлопали так яростно и громко, словно в их руках с треском лопались связки карнавальных хлопушек. Мистер Фермли что-то кричал сверху, но никто его не слушал. Ладони разлетались, соединялись вновь в оглушительных хлопках, и так до тех пор, пока пальцы не распухли и дыхание не стало тяжелым и учащенным, и вот наконец горящие, словно обожженные, руки лежат на коленях.

И тогда очень медленно, словно еще раздумывая, мистер Смит встал, вышел на крыльцо и внес свои чемоданы. Он остановился у подножия лестницы, ведущей наверх, и посмотрел на мисс Хилгуд. Затем он перевел глаза на ее чемодан у ступенек веранды и снова посмотрел на мисс Хилгуд: брови его чуть-чуть поднялись в немом вопросе.

Мисс Хилгуд взглянула сначала на арфу, потом на свой единственный чемодан, затем на мистера Терля и наконец на мистера Смита и кивнула.

Мистер Смит, подхватив под мышку один из своих тощих чемоданов, взял чемодан мисс Хилгуд и стал медленно подниматься по ступенькам, уходящим в мягкий полумрак. Мисс Хилгуд притянула к себе арфу, и с этой минуты уже нельзя было разобрать, перебирает ли она струны в такт медленным шагам мистера Смита, или это он подлаживает свой шаг под неторопливые аккорды.

На площадке мистер Смит столкнулся с мистером Фермли — накинув старый, выцветший халат, тот осторожно спулся вниз.

Оба постояли секунду, глядя вниз на фигуру мужчины и на двух женщин в дальнем конце гостиной — всего лишь видение, мираж. И оба подумали об одном и том же.

Звуки арфы и звуки дождя — каждый вечер. Не надо больше поливать крышу из садового шланга. Можно сидеть на веранде, лежать ночью в своей постели и слушать, как стучит, стучит и стучит по крыше дождь...

Мистер Смит продолжал свой путь наверх; мистер Фермли спустился вниз.

Звуки арфы... Слушайте, слушайте же их!

Десятилетия засухи кончились.

Пришло время дождей.

Ветер

В тот вечер телефон зазвонил в половине шестого. Стоял декабрь, и уже стемнело, когда Томпсон взял трубку:

— Слушаю.

— Алло, Герб?

— А, это ты, Аллин.

— Твоя жена дома, Герб?

— Конечно. А что?

— Ничего, так просто.

Герб Томпсон спокойно держал трубку.

— В чем дело? У тебя какой-то странный голос.

— Я хотел, чтобы ты приехал ко мне сегодня вечером.

— Мы ждем гостей.

— Хотел, чтобы ты остался ночевать у меня. Когда уезжает твоя жена?

— На следующей неделе, — ответил Томпсон. — Дней девять пробудет в Огайо. Ее мать заболела. Тогда я приеду к тебе.

— Лучше бы сегодня.

— Если бы я мог... Гости и все такое прочее. Жена убьет меня.

— Очень тебя прошу.

— А в чем дело? Опять ветер?

— Нет... Нет, нет.

— Говори: ветер? — повторил Томпсон.

Голос в трубке замялся.

— Да. Да, ветер.

— Но ведь небо совсем ясное, ветра почти нет!

— Того, что есть, вполне достаточно. Вот он, дохнул в окно, чуть колышет занавеску... Достаточно, чтобы я понял.

— Слушай, а почему бы тебе не приехать к нам, не переночевать здесь? — сказал Герб Томпсон, обводя взглядом залитый светом холл.

— Что ты. Поздно. Он может перехватить меня в пути. Очень уж далеко. Не хочу рисковать, а вообще спасибо за приглашение. Тридцать миль, как-никак. Спасибо...

— Прими снотворное.

— Я целый час в дверях простоял, Герб. На западе на горизонте такое собирается... Такие тучи, и одна из них на глазах у меня будто разорвалась на части. Будет буря, уж это точно.

— Ладно, ты только не забудь про снотворное. И звони мне в любое время. Хотя бы сегодня еще, если надумаешь.

— В любое время? — переспросил голос в трубке.

— Конечно.

— Ладно, позвоню, но лучше бы ты приехал. Нет, я не желаю тебе беды. Ты мой лучший друг, зачем рисковать. Пожалуй, мне и впрямь лучше одному встретить испытание. Извини, что я тебя побеспокоил.

— На то мы и друзья! Расскажи-ка, чем ты сегодня занят?.. Почему бы тебе не пописать немного? — говорил Герб Томпсон, переминаясь с ноги на ногу в холле. — Отвлечешься, забудешь свои Гималаи и эту долину Ветров, все эти твои штормы и ураганы. Как раз закончил бы еще одну главу своих путевых очерков.

— Попробую. Может быть, получится, не знаю. Может быть... Большое спасибо, что ты разрешаешь мне беспокоить тебя.

— Брось, не за что. Ну, кончай, а то жена зовет меня обедать.

Герб Томпсон повесил трубку. Он прошел к столу, сел; жена сидела напротив.

— Это Аллин звонил? — спросила она.

Он кивнул.

— Не надоел он тебе своими ветрами, которые то подуют, то стихнут, то жаром его обдадут, то холодом? — продолжала она, передавая ему полную тарелку.

— Ему там, в Гималаях, во время войны туго пришлось, — ответил Герб Томпсон.

— Неужели ты веришь его рассказам про эту долину?

— Очень уж убедительно он рассказывает.

— Лазить куда-то, карабкаться... И зачем это мужчины лезут по горам, сами на себя страх нагоняют?

— Шел снег, — сказал Герб Томпсон.

— В самом деле?

— И дождь хлестал... И град, и ветер, все сразу. В той самой долине. Аллин мне много раз рассказывал. Здорово рассказывает... Забрался на большую высоту, кругом облака и все такое... И вся долина гудела.

— Как же, как же,— сказала она.

— Такой звук был, точно дул не один ветер, а множество. Ветры со всех концов света.— Он поднес вилку ко рту.— Так Аллин говорит.

— Незачем было туда лезть, только и всего,— сказала она.— Ходит-бродит, всюду свой нос сует, потом начинает сочинять. Мол, ветры разгневались на него, стали преследовать...

— Не смейся, он мой лучший друг,— рассердился Герб Томпсон.

— Ведь это все чистейший вздор!

— Вздор или нет, а сколько раз он потом попадал в переделки! Шторм в Бомбее, через два месяца тайфун у берегов Новой Гвинеи. А случай в Корнуолле?..

— Не могу сочувствовать мужчине, который без конца то в шторм, то в ураган попадает, и у него от этого развивается мания преследования.

В этот самый миг зазвонил телефон.

— Не бери трубку,— сказала она.

— Вдруг что-нибудь важное!

— Это опять твой Аллин.

Девять раз прозвенел телефон, они не поднялись с места. Наконец звонок замолчал. Они доели обед. На кухне под легким ветерком из приоткрытого окна чуть колыхались занавески.

Опять телефонный звонок.

— Я не могу так,— сказал он и взял трубку.— Я слушаю, Аллин!

— Герб! Он здесь! Добрался сюда!

— Ты говоришь в самый микрофон, отодвинься немного.

— Я стоял в дверях, ждал его. Увидел, как он мчится по шоссе, гнет деревья одно за другим, потом зашелестели кроны деревьев возле дома, потом он сверху метнулся вниз, к двери, я захлопнул ее прямо перед носом у него!

Томпсон молчал. Он не знал, что сказать, и жена стояла в дверях холла, не сводя с него глаз.

— Очень интересно,— произнес он наконец.

— Он весь дом обложил, Герб. Я не могу выйти, ничего не могу предпринять. Но я его облапошил: сделал вид, будто зазевался, и только он ринулся вниз, за мной, как я захлопнул дверь и запер! Не дал застигнуть себя врасплох, недаром уже которую неделю начеку!

— Ну вот и хорошо, старина, а теперь расскажи мне все, как было,— ласково произнес в телефон Герб Томпсон.

От пристального взгляда жены у него вспотела шея.

— Началось это шесть недель назад...

— Правда? Ну, давай дальше.

— ...Я уж думал, что провел его. Думал, он отказался от попыток расправиться со мной. А он, оказывается, просто-напросто выжидал. Шесть недель назад я услышал его смех и шепот возле дома. Всего около часа это продолжалось, недолго, словом, и совсем негромко. Потом он улетел.

Томпсон кивнул трубке.

— Вот и хорошо, хорошо.

Жена продолжала смотреть на него.

— А на следующий вечер он вернулся... Захлопал ставнями, выдул искры из дымохода. Пять вечеров подряд прилетал, с каждым разом чуточку сильнее. Стоило мне открыть наружную дверь, как он врывался в дом и пытался вытащить меня. Да только слишком слаб был. Зато теперь набрался сил...

— Я очень рад, что тебе лучше,— сказал Томпсон.

— Мне ничуть не лучше, ты что? Опять жена слушает?

— Да.

— Понятно. Я знаю, все это звучит глупо.

— Ничего подобного. Продолжай.

Жена Томпсона ушла на кухню. Он облегченно вздохнул. Сел на маленький стул возле телефона.

— Давай, Аллин, выговорись, скорее уснешь.

— Он весь дом обложил, гудит в застрехах, точно огромный пылесос. Деревья гнет.

— Странно, Аллин, здесь совершенно нет ветра.

— Разумеется, зачем вы ему, он до меня добирается.

— Конечно, такое объяснение тоже возможно...

— Этот ветер — убийца, Герб, величайший и самый безжалостный древний убийца, какой только когда-либо выходил на поиски жертвы. Исполинский охотничий пес бежит по следу, нюхает, фыркает, меня ищет. Подносит холодный носик к моему дому, втягивает воздух... Учуял меня в гостиной, пробует туда ворваться. Я на кухню, ветер за мной. Хочет сквозь окно проникнуть, но я навесил прочные ставни, даже сменил петли и засовы на дверях. Дом крепкий, прежде строили прочно. Я нарочно всюду свет зажег, во всем доме. Ветер следил за мной, когда я переходил из комнаты в комнату, он заглядывал в окна, видел, как я включаю электричество. Ого!

— Что случилось?

— Он только что сорвал проволочную дверь снаружи!

— Ехал бы ты к нам ночевать, Аллин.

— Не могу из дому выйти! Ничего не могу сделать. Я этот ветер знаю. Сильный и хитрый. Только что я хотел закурить — он загасил спичку. Ветер такой: любит поиграть, подразнить. Не спешит, у него вся ночь впереди. Вот опять! Книга лежит в библиотеке на столе... Если бы ты видел: он отыскал в стене крохотную щелочку и дует, перелистывает книгу, страницу за страницей! Жаль, ты не можешь видеть. Сейчас введение листа. Ты помнишь, Герб, введение к моей книге о Тибете?

— Помню.

— «Эта книга посвящается тем, кто был побежден в поединке со стихиями, ее написал человек, который столкнулся со стихиями лицом к лицу, но сумел спастись».

— Помню, помню.

— Свет погас!

Что-то затрещало в телефоне.

— А сейчас сорвало провода. Герб, ты слышишь?

— Да, да, я слышу тебя.

— Ветру не по душе, что в доме столько света, и он оборвал провода. Наверное, на очереди телефон. Это прямо воздушный бой какой-то! Погоди...

— Аллин!

Молчание. Герб прижал трубку плотнее к уху. Из кухни выглянула жена. Герб Томпсон ждал.

— Аллин!

— Я здесь, — ответил голос в телефоне. — Сквозняк начался, пришлось законопатить щель под дверью, а то прямо в ноги дуло. Знаешь, Герб, это даже лучше, что ты не поехал ко мне, не хватало еще тебе в такой переплет попасть. Ого! Он только что высадил окно в одной из комнат, теперь в доме настоящая буря, картины так и сыплются со стен на пол! Слышишь?

Герб Томпсон прислушался. В телефоне что-то выло, свистело, стучало. Аллин повысил голос, сиюсь перекричать шум:

— Слышишь?

Герб Томпсон проглотил ком.

— Да, слышу.

— Я ему нужен живьем, Герб. Он осторожен, не хочет одним ударом с маху дом развалить. Тогда меня убьет. А я ему живьем нужен, чтобы можно было разобрать меня по частям: палец за пальцем. Ему нужно то, что внутри меня, моя душа, мозг. Нужна моя жизненная, психическая сила, мое «я», мой разум.

— Жена зовет меня, Аллин. Просит помочь с посудой.

— Над домом огромное туманное облако, ветры со всего мира! Та самая буря, что год назад опустошила Целебес, тот самый памперо, что убил столько людей в Аргентине, тайфун, который потряс Гавайские острова, ураган, который в начале этого года обрушился на побережье Африки. Частица всех тех штормов, от которых мне удалось уйти. Он выследил меня, выследил из своего убежища в Гималаях, ему не дает покоя, что я знаю о долине Ветров, где он укрывается, вынашивая свои разрушительные замыслы. Давным-давно что-то породило его на свет... Я знаю, где он набирается сил, где рождается, где выпускает дух. Вот почему он меня ненавидит — меня и мои книги, которые учат, как с ним бороться. Хочет зажать мне рот. Хочет вобрать меня в свое могучее тело, впитать мое знание. Ему нужно заполучить меня на свою сторону!

— Аллин, я вешаю трубку. Жена...

— Что? — (Пауза, далекий вой ветра в телефонной трубке.) — Что ты говоришь?

— Позвони мне еще через часок, Аллин.

Он повесил трубку.

Он пошел вытирать тарелки, и жена глядела на него, а он глядел на тарелки, досуха вытирая их полотенцем.

— Как там на улице? — спросил он.

— Чудесно. Тепло. Звезды, — ответила она. — А что?

— Так, ничего.

На протяжении следующего часа телефон звонил трижды. В восемь часов явились гости, Стоддарт с женой. До половины девятого посидели, поболтали, потом раздвинули карточный столик и стали играть в «ловушку».

Герб Томпсон долго, тщательно тасовал колоду — казалось, шуршат открываемые жалюзи — и стал сдавать. Карты одна за другой, шелестя, ложились на стол перед каждым из игроков. Беседа шла своим чередом. Он закурил сигару, увенчал ее кончик конусом легкого серого пепла, взял свои карты, разобрал их по мастям. Вдруг поднял голову и прислушался. Снаружи не доносилось ни звука. Жена заметила его движение, он тотчас вернулся к игре и пошел с вала треф.

Герб не спеша попыхивал сигарой, все негромко переговаривались, иногда извергая маленькие порции смеха. Наконец часы в холле нежно пробили девять.

— Вот сидим мы здесь, — заговорил Герб Томпсон, вынув изо рта сигару и задумчиво разглядывая ее, — а жизнь... Да, странная штука жизнь.

— Что? — сказал мистер Стоддарт.

— Нет, ничего, просто сидим мы тут, и наша жизнь идет, а где-то еще на земле живут своей жизнью миллиарды других людей.

— Не очень свежая мысль.

— Живем...— Он опять стиснул сигару в зубах.— Одинокó живем. Даже в собственной семье. Бывает так: тебя обнимают, а ты словно за миллион миль отсюда.

— Интересное наблюдение,— заметила его жена.

— Ты меня не так поняла,— объяснил он спокойно. Он не горячился, так как не чувствовал за собой никакой вины.— Я хотел сказать: у каждого из нас свои убеждения, своя маленькая жизнь. Другие люди живут совершенно иначе. Я хотел сказать: сидим мы тут в комнате, а тысячи людей сейчас умирают. Кто от рака, кто от воспаления легких, кто от туберкулеза. Уверен, где-нибудь в США в этот миг кто-то умирает в разбитой автомашине.

— Не слишком веселый разговор,— сказала его жена.

— Я хочу сказать: живем и не задумываемся над тем, как другие люди мыслят, как свою жизнь живут, как умирают. Ждем, когда к нам смерть придет. Хочу сказать: сидим здесь, приросли к креслам, а в тридцати милях от нас, в большом старом доме — со всех сторон ночь и всякая чертовщина — один из лучших людей, какие когда-либо жили на свете...

— Герб!

Он пыхнул сигарой, пожевал ее, уставился невидящими глазами в карты.

— Извините.— Он моргнул, откусил кончик сигары.— Что, мой ход?

— Да, твой ход.

Игра возобновилась: шорох карт, шепот, тихая речь... Герб Томпсон поник в кресле с совершенно больным видом.

Зазвонил телефон. Томпсон подскочил, метнулся к аппарату, сорвал с вилки трубку.

— Герб! Я уже который раз звоню. Как там у вас, Герб?

— Ты о чем?

— Гости ушли?

— Черта с два, тут...

— Болтаете, смеетесь, играете в карты?

— Да-да, но при чем...

— И ты куришь свою десятицентовую сигару?

— Да, черт возьми, но...

— Здорово,— сказал голос в телефоне.— Ей-богу, здорово. Хотел бы я быть с вами. Эх, лучше бы мне не знать того, что я знаю. Хотел бы я... да-а, еще много чего хочется...

— У тебя все в порядке?

— Пока что держусь. Сажу на кухне. Ветер снес часть передней стены. Но я заранее подготовил отступление. Когда сдасст кухонная дверь, спущусь в подвал. Посчастливится, отсижусь там до утра. Чтобы добраться до меня, ему надо весь этот чертов дом разнести, а над подвалом прочное перекрытие. И у меня лопата есть, могу еще глубже зарыться...

Казалось, в телефоне звучит целый хор других голосов.

— Что это? — спросил Герб Томпсон, ощутив холодную дрожь.

— Это? — повторил голос в телефоне. — Это голоса двенадцати тысяч убитых тайфуном, семи тысяч уничтоженных ураганом, трех тысяч истребленных бурей. Тебе не скучно меня слушать? Понимаешь, в этом вся суть ветра, его плоть, он — полчища погибших. Ветер их убил, взял себе их разум. Взял все голоса и слил в один. Голоса миллионов, убитых за последние десять тысяч лет, истязаемых, гонимых с материка на материк, поглощенных муссонами и смерчами. Боже мой, какую поэму можно написать!

В телефоне звучали, отдавались голоса, крики, вой.

— Герб, где ты там? — позвала жена от карточного стола.

— И ветер, что ни год, становится умнее, он все присваивает себе — тело за телом, жизнь за жизнью, смерть за смертью.

— Герб, мы ждем тебя! — крикнула жена.

— К черту! — чуть не рывкнул он, обернувшись. — Минуты подождать не можете! — И снова в телефон: — Аллин, если хочешь, чтобы я к тебе сейчас приехал, я готов! Я должен был раньше...

— Ни в коем случае. Борьба непримиримая, еще и тебя в нее ввязывать! Лучше я повешу трубку. Кухонная дверь поддается, пора в подвал уходить.

— Ты еще позвонишь?

— Возможно, если мне повезет. Да только вряд ли. Сколько раз удавалось спастись, ускользнуть, но теперь, похоже, он припер меня к стенке. Надеюсь, я тебе не очень помешал, Герб.

— Ты никому не помешал, ясно? Звони еще.

— Попытаюсь...

Герб Томпсон вернулся к картам. Жена пристально поглядела на него.

— Как твой приятель, этот Аллин? — спросила она. — Трезвый еще?

— Он в жизни капли спиртного не проглотил, — угроמו произнес Томпсон, садясь. — Я должен был давно поехать к нему.

— Но ведь он вот уже шесть недель каждый вечер звонит тебе. Ты десять раз, не меньше, ночевал у него, и ничего не случилось.

— Ему нужно помочь. Он способен навредить себе.

— Ты только недавно был у него, два дня назад, что же — так и ходить за ним все время?

— Завтра же, не откладывая, отвезу его в лечебницу. А жаль человека, он вполне рассудительный...

В половине одиннадцатого был подан кофе. Герб Томпсон медленно пил, поглядывая на телефон, и думал: «Хотелось бы знать — перебрался он в подвал?»

Герб Томпсон прошел к телефону, вызвал междугородную, заказал номер.

— К сожалению, — ответили ему со станции, — связь с этим районом прервана. Как только починят линию, мы вас соединим.

— Значит, связь прервана! — воскликнул Томпсон. Он повесил трубку, повернулся, распахнул дверцы стенового шкафа, схватил пальто.

— Герб! — крикнула жена.

— Я должен ехать туда! — ответил он, надевая пальто.

Что-то бережно, мягко коснулось двери снаружи.

Все вздрогнули, выпрямились.

— Кто это? — спросила жена Герба.

Снова что-то тихо коснулось двери снаружи. Томпсон поспешно пересек холл, вдруг остановился.

Снаружи донесся чуть слышный смех.

— Чтоб мне провалиться, — сказал Герб.

С внезапным чувством приятного облегчения он взялся за дверную ручку.

— Этот смех я везде узнаю. Это же Аллин. Приехал все-таки, сам приехал. Не мог дождаться утра, не терпится рассказать мне свои басни. — Томпсон чуть улыбнулся. — Наверное, друзей привез. Похоже, их там много...

Он отворил наружную дверь. На крыльце не было ни души.

Но Томпсон не опешил. На его лице появилось озорное, лукавое выражение, он рассмеялся:

— Аллин? Брось свои штуки! Где ты? — Он включил наружное освещение, посмотрел налево, направо. — Аллин! Выходи!

Прямо в лицо ему подул ветер.

Томпсон минуту постоял, вдруг ему стало очень холодно. Он вышел на крыльцо. Тревожно и испытующе поглядел вокруг.

Порыв ветра подхватил, дернул полы его пальто, растрепал волосы. И ему почудилось, что он опять слышит смех.

Ветер обогнул дом, внезапно давление воздуха стало невыносимым, но шквал длился всего мгновение, ветер тут же умчался дальше.

Он улетел, прошелестев в высоких кронах, понесся прочь, возвращаясь к морю, к Целебесу, к Берегу Слоновой Кости, Суматре, мысу Горн, к Корнуоллу и Филиппинам. Все тише, тише, тише...

Томпсон стоял на месте, оцепенев. Потом вошел в дом, затворил дверь и прислонился к ней — неподвижный, глаза закрыты.

— В чем дело? — спросила жена.

Погожий день

*О человеке, который больше всего
в жизни любил искусство*

Однажды летним полднем Джордж и Элис Смит приехали поездом в Биарриц и уже через час выбежали из гостиницы на берег океана, искупались и разлеглись под жаркими лучами солнца.

Глядя, как Джордж Смит загорает, развальясь на песке, вы бы приняли его за обыкновенного туриста, которого свеженьким, точно салат-латук во льду, доставили самолетом в Европу и очень скоро пароходом отправят восвояси. А на самом деле этот человек больше жизни любил искусство.

— Ну вот... — Джордж Смит вздохнул. По груди его поползла еще одна струйка пота. Пусть испарится вся вода из крана в штате Огайо, а потом наполним себя лучшим бордо. Насытим свою кровь щедрыми соками Франции и тогда все увидим глазами здешних жителей.

А зачем? Чего ради есть и пить все французское, дышать воздухом Франции? Да затем, чтобы со временем по-настоящему постичь гений одного человека.

Губы его дрогнули, беззвучно промолвили некое имя.

— Джордж? — Над ним наклонилась жена. — Я знаю, о чем ты думаешь. По губам прочла.

Он не шевельнулся, ждал.

— Ну и?..

— Пикассо, — сказала она.

Он поморщился. Хоть бы научилась наконец правильно произносить это имя.

— Успокойся, прошу тебя,— сказала жена.— Я знаю, сегодня утром до тебя докатился слух, но поглядел бы ты на себя — опять глаза дергает тик. Пускай Пикассо здесь, на побережье, в нескольких милях отсюда, гостит у друзей в каком-то рыбацьем поселке. Но не думай про него, не то наш отдых пойдет прахом.

— Лучше бы мне про это не слышать,— честно признался Джордж.

— Ну что бы тебе любить других художников,— сказала она.

Других? Да, есть и другие. Можно недурно позавтракать натюрмортами Караваджо — осенними грушами и темными, как полночь, сливами. А на обед — брызжущие огнем подсолнухи Ван Гога на мощных стеблях, их цветенье постигнет и слепец, пробежав обоженными пальцами по пламенному холсту. Но истинное пиршество? Полотна, которыми хочешь понастоящему насладиться? Кто заполнит весь горизонт от края до края, словно Нептун, встающий из вод в венце из алебастра и коралла, когтистые пальцы сжимают подобно трезубцу большущие кисти, а взмах огромного рыбьего хвоста обдаст летним ливнем весь Гибралтар,— кто, если не создатель «Девушки перед зеркалом» и «Герники»?

— Элис,— терпеливо сказал Джордж,— как тебе объяснить? Всю дорогу в поезде я думал: Боже милостивый, ведь вокруг — страна Пикассо!

Но так ли, спрашивал он себя. Небо, земля, люди, тут румяный кирпич, там ярко-голубая узорная решетка балкона, и мандолина, будто спелый плод, под несчетными касаниями чьих-то рук, и клочки афиш — летучее конфетти на ночном ветру... Сколько тут от Пикассо, а сколько — от Джорджа Смита, озирающего мир неистовым взором Пикассо? Нет, не найти ответа. Этот старик насквозь пропитал Джорджа Смита скипидаром и олифой, преобразил все его бытие: в сумерки сплошь Голубой период, на рассвете сплошь — Розовый.

— Я все думаю,— сказал он вслух,— если бы мы отложили денег...

— Никогда нам не отложить пяти тысяч долларов.

— Знаю,— тихо согласился он.— Но как славно думать, а вдруг когда-нибудь это удастся. Как бы здорово просто прийти к нему и сказать: «Пабло, вот пять тысяч! Дай нам море, песок, вот это небо, дай что хочешь, из старого, мы будем счастливы...»

Выждав минуту, жена коснулась его плеча.

— Иди-ка лучше окунись,— сказала она.

— Да,— сказал он,— так будет лучше.

Он врзался в воду, фонтаном взметнулось белое пламя.

До вечера Джордж Смит окунался и вновь и вновь выходил на берег со множеством других, то опаленных жаркими лучами, то освеженных прохладной волной, и наконец, когда солнце уже клонилось к закату, эти люди с кожей всех оттенков, кто цвета омара, кто — жареного цыпленка, кто белой цесарки, устало поплелись к своим отелям, похожим на свадебные пироги.

На опустелом берегу, что протянулся на мили и мили, остались только двое. Один — Джордж Смит с полотенцем через плечо, готовый совершить вечерний обряд.

А издали, в мирном безветрии, шел по пустынному берегу еще один человек, невысокий, коренастый. Он загорел сильнее, солнце окрасило его бритую голову в цвет красного дерева, на темном лице светились глаза, ясные и прозрачные, как вода.

Итак, вот он, берег — сцена перед началом спектакля, и через считанные минуты эти двое встретятся. Снова, в который раз, судьба кладет на чаши весов потрясения и неожиданности, встречи и расставанья. А меж тем два одиноких путника вовсе не задумывались о потоке внезапных совпадений, подстерегающих каждого во всякой толпе, в любом городе. Ни тому, ни другому не приходило на ум, что, если осмелишься погрузиться в этот поток, можно ухватить полные горсти чудес. Подобно многим, они только отмахнулись бы от такого вздора и преспокойно остались бы на берегу, не столкни их в поток сама Судьба.

Незнакомец остановился в одиночестве. Огляделся, увидел, что один, увидел чарующие воды залива и солнце, утопающее в последнем многоцветье дня, потом обернулся и заметил на песке щепочку. То была всего лишь тонкая палочка из-под давно растаявшего лимонного мороженого. Он улыбнулся и подобрал ее. Опять огляделся и, уверясь, что он здесь один, снова наклонился и, бережно держа палочку, легкими взмахами руки стал делать то, что умел лучше всего на свете.

Он стал рисовать на песке немислимые фигуры. Набросал одну, шагнул дальше и, не поднимая глаз, теперь уже весь поглощенный работой, нарисовал еще одну, потом третью, четвертую, пятую, шестую...

Джордж Смит шел по берегу, оставляя следы на песке, глядел вправо, глядел влево, потом увидел впереди незнакомца. Подходя ближе, Джордж Смит увидел, что человек этот, бронзовый от загара, низко наклонился. Джордж Смит подошел еще ближе и понял, чем тот занимается. И усмехнулся. Ну да, конечно... этот тип на берегу — сколько ему,

шестьдесят пять, семьдесят? — что-то там выцарапывает, чертит. Песок так и летит во все стороны! Нелепые образы так и разлетаются по берегу! И так...

Джордж Смит сделал еще шаг — и замер.

Незнакомец рисовал, рисовал и, видно, не замечал, что кто-то стоит у него за плечом, рядом с миром, возникающим под его рукой на песке. От всего отрешенный, он был одержим вдохновением: взорвись в заливе глубинные бомбы, даже это не остановило бы полета его руки, не заставило бы обернуться.

Джордж Смит смотрел на песок. Долго смотрел, и вот его бросило в дрожь.

Ибо здесь, на гладком берегу, возникли греческие львы и козы Средиземноморья и девы с плотью из песка, словно тончайшая золотая пыльца, играли на свирелях сатиры и танцевали дети, разбрасывая цветы дальше и дальше, скакали следом по берегу резвые ягнята, перебирали струны арф и лир музыканты, единороги уносили юных всадников к далеким лугам и лесам, к руинам храмов и вулканам. Не уставала рука одержимого, он не разгибался, охваченный лихорадкой, пот катил с него градом, и струилась непрерывная линия, вилась, изгибалась, деревянное стило металось вверх, вниз, вдоль, поперек, кружило, петляло, чертило, шуршало, замирало и несло дальше, словно эта неудержимая вакханалия непременно должна достигнуть блистательного завершения прежде, чем волны погасят солнце. На двадцать, на тридцать ярдов и еще дальше пронесли вереницей загадочных иероглифов нимфы, дриады, взметнулись струи летних ключей. В закатном свете песок стал точно расплавленная медь, несущая послание всем и каждому, пусть бы читали и наслаждались годы и годы. Все кружило и замирало, подхваченное собственным вихрем, повинувшись своим особым законам тяготения. Вот пляшут на щедрых гроздьях дочери виноградаря, брызжет алый сок из-под ступней, вот из курящихся туманами вод рождаются чудища в кольчуге чешуи, а летучие паруса облаков испещрены узорчатыми воздушными змеями... а вот еще... и еще... и еще...

Художник остановился.

Джордж Смит отпрянул и застыл.

Художник поднял глаза, удивленный неожиданным соседством. Постоял, переводя глаза с Джорджа Смита на свое творение, что протянулось по песчаной полосе, словно следы праздного пешехода. И наконец с улыбкой пожал плечами, словно говоря: смотрите, что я наделал, видали такое ребячество? Ведь вы меня извините? Рано или поздно всем нам слу-

чается свалять дурака... может быть, и с вами бывало? Так простим старому сумасброду эту выходку, а? Вот и хорошо!

Но Джордж Смит только и мог смотреть на невысокого человека с высмугленной солнцем кожей и ясными зоркими глазами да единственный раз еле слышно прошептал его имя.

Так они стояли, пожалуй, еще секунд пять, Джордж Смит жадно разглядывал песчаный фриз, а художник присматривался к нему с насмешливым любопытством. Джордж Смит открыл было рот — и закрыл, протянул руку — и отдернул. Шагнул к картине, отступил. Потом пошел вдоль вереницы изображений, как шел бы человек, рассматривая бесценные мраморные статуи, оставшиеся на берегу от каких-нибудь древних руин. Он смотрел не мигая, рука жаждала коснуться изображений, но не смела. Хотелось бежать, но он не побежал.

Вдруг он посмотрел в сторону гостиницы. Бежать, да! Бежать! А что дальше? Схватить лопату, вынуть, выкопать, спасти хоть толику ненадежной, сыпучей песчаной ленты? Найти мастера-формовщика, примчаться с ним сюда, пускай сделает гипсовый слепок хотя бы с малой хрупкой доли? Нет, нет. Глупо, глупо. Или?.. Взгляд его метнулся к окну гостиничного номера. Фотоаппарат! Бежать, схватить аппарат — и скорей с ним по берегу, шелкать затвором, перекручивать пленку, снимать и снимать, пока...

Джордж Смит круто обернулся, глянул на солнце. Теплые лучи коснулись его лица, зажгли два огонька в зрачках. Солнце уже наполовину погрузилось в воду — и на глазах у Джорджа Смита за считанные секунды затонуло совсем.

Художник подошел ближе и теперь смотрел в лицо Джорджу Смицу с бесконечно дружеской добротой, будто угадывал каждую его мысль. И вот слегка кивнул. И вот пальцы его небрежно выронили палочку от мороженого. И вот он уже говорит — до свиданья, до свиданья. И вот он шагает по берегу к югу... ушел.

Джордж Смит стоял и смотрел ему вслед. Так прошла долгая минута, а потом он сделал то, что только и мог. От самого начала он двинулся вдоль фантастического фриза, медленно шел он по берегу мимо фавнов и сатиров, и мимо дев, пляшущих на виноградных гроздьях, и горделивых единорогов, и юношей, играющих на свирели. Долго шел он, не сводя глаз с этой вольно летящей вакханалии. Дошел до конца вереницы зверей и людей, повернул и пошел обратно, все так же опустив глаза, словно что-то потерял и не знает толком, где искать. Так ходил он взад и вперед, пока не осталось света ни в небесах, ни на песке и уже ничего нельзя было разглядеть.

Он сел к столу ужинать.

— Как ты поздно,— сказала жена.— Я не могла дождаться, спустилась в ресторан одна. Я умираю с голоду.

— Ну ничего,— сказал он.

— Интересная была прогулка?

— Нет,— сказал он.

— Какой-то ты странный, Джордж. Ты что, заплыл слишком далеко и чуть не утонул? По лицу вижу! Ты заплыл слишком далеко, да?

— Да,— сказал он.

— Ну хорошо,— сказала жена, не сводя с него глаз.— Только никогда больше так не делай. А теперь... что будешь есть?

Он взял меню, стал просматривать и вдруг застыл.

— Что случилось? — спросила жена.

Он повернул голову, зажмурился.

— Слушай.

Жена прислушалась.

— Ничего не слышу,— сказала она.

— Не слышишь?

— Нет. А что такое?

— Прилив начался,— сказал он не сразу, он все еще сидел не шевелясь, не открывая глаз.— Просто начался прилив.

Машина до Килиманджаро

Я приехал на грузовике ранним-ранним утром. Гнал всю ночь, в мотеле все равно не уснуть, вот я и решил — лучше уж не останавливаться, и прикатил в горы близ Кетчума и Солнечной долины как раз к восходу солнца, и рад был, что веду машину и ни о чем больше думать недосуг.

В городок я въехал, ни разу не поглядев на ту гору. Боялся, что, если погляжу, это будет ошибка. Главное — не смотреть на могилу. По крайней мере, так мне казалось. А тут уж надо полагаться на свое чутье.

Я поставил грузовик перед старым кабачком и пошел бродить по городку, и поговорил с разными людьми, и подышал здешним воздухом, свежим и чистым. Нашел одного молодого охотника, но он был не то, что надо, я поговорил с ним всего несколько минут и понял — не то. Потом нашел очень старого старика, но этот был не лучше. А потом я нашел охот-

ника лет пятидесяти, и он оказался в самый раз. Он мигом понял или, может, почуял, чего мне надо.

Я угостил его пивом, и мы толковали о всякой всячине, потом я спросил еще пива и понемногу подвел разговор к тому, что я тут делаю и почему хотел с ним потолковать. Мы замолчали, и я ждал, стараясь не выдать нетерпение, чтобы охотник сам завел речь о прошлом, о тех днях, три года тому назад, и о том, как бы выбрать время и съездить к Солнечной долине, и о том, видел ли он человека, который когда-то сидел здесь, в баре, и пил пиво, и говорил об охоте, и ходил отсюда на охоту,— и рассказал бы все, что знает про этого человека.

И наконец, глядя куда-то в стену так, словно то была не стена, а дорога в горы, охотник собрался с духом и негромко заговорил.

— Тот старик,— сказал он.— Да, старик на дороге. Да-да, бедняга.

Я ждал.

— Никак не могу забыть того старика на дороге,— сказал он и, понурясь, уставился на свое пиво.

Я отхлебнул еще из своей кружки — стало не по себе, я почувствовал, что и сам очень стар и устал.

Молчание затягивалось, тогда я достал карту здешних мест и разложил ее на дощатом столе. В баре было тихо. В эту утреннюю пору мы тут были совсем одни.

— Это здесь вы его видели чаще всего? — спросил я.

Охотник трижды коснулся карты.

— Я часто видел, как он проходил вот тут. И вон там. А тут срезал наискосок. Бедный старикан. Я все хотел сказать ему, чтоб не ходил по дороге. Да только не хотелось его обидеть. Такого человека не станешь учить — это, мол, дорога, еще попадешь под колеса. Если уж он попадет под колеса, так тому и быть. Соображаешь, что это уж его дело, и едешь дальше. Но под конец и старый же он был...

— Да, верно,— сказал я, сложил карту и сунул в карман.

— А вы что, тоже из этих, из газетчиков? — спросил охотник.

— Из этих, да не совсем.

— Я ж не хотел валить вас с ними в одну кучу,— сказал он.

— Не стоит извиняться,— сказал я.— Скажем так: я — один из его читателей.

— Ну, читателей-то у него хватало, самых разных. Я и то его читал. Вообще-то я круглый год книг в руки не беру. А его книги читал. Мне, пожалуй, больше всех мичиганские рассказы нравятся. Про рыбную ловлю. По-моему, про рыбную

ловлю рассказы хороши. Я думаю, про это никто так не писал и, может, уже больше так не напишут. Конечно, про бой быков тоже написано неплохо. Но это от нас далековато. Хотя некоторым пастухам да скотоводам нравится: они-то весь век около этой животины. Бык — он бык и есть, уж верно, что здесь, что там, все едино. Один пастух, мой знакомец, в испанских рассказах старика только про быков и читал, сорок раз читал. Так он мог бы хоть сейчас туда поехать и драться с этими быками, вот честное слово.

— По-моему, — сказал я, — в молодости каждый из нас, прочитав эти его испанские рассказы про быков, хоть раз да почувствовал, что может туда поехать и драться. Или уж по крайней мере пробежать рысцей впереди быков, когда их выпускают рано поутру, а в конце дорожки ждет добрая выпивка, и твоя подружка с тобой на весь долгий праздник.

Я загнулся. И тихонько засмеялся. Потому что и сам не заметил, как заговорил в лад то ли речами старика, то ли его строчками. Покачал я головой и замолчал.

— А у могилы вы уже побывали? — спросил охотник так, будто знал, что я отвечу: да, был.

— Нет, — сказал я.

Он очень удивился. Но постарался не выдать удивления.

— К могиле все ходят, — сказал он.

— К этой я не ходок.

Он пораскинул мозгами, как бы спросить повежливей.

— То есть... — сказал он. — А почему нет?

— Потому что это неправильная могила, — сказал я.

— Если вдуматься, так все могилы неправильные, — сказал он.

— Нет, — сказал я. — Есть могилы правильные и неправильные, все равно как умереть можно вовремя и не вовремя.

Он согласно кивнул: я снова заговорил о вещах, в которых он разбирался или, по крайней мере, нюхом чуял, что тут есть правда.

— Ну ясно, — сказал он. — Знавал я таких людей, отлично помирали. Тут всегда чувствуешь — вот это было хорошо. Знал я одного, сидел он за столом, дождался ужина, а жена была в кухне, приходит она с миской супа, а он эдак чинно сидит за столом мертвый — и все тут. Для нее-то, конечно, худо, а для него плохо ли? Никаких болезней, ничего такого. Просто сидел, ждал ужина, да так и не узнал, принесли ему ужинать, нет ли. А то еще с одним приятелем вышло. Был у него старый пес. Четырнадцати лет от роду. Дряхлый уже, почти слепой. Под конец приятель решил свезти его к ветеринару и

усыпить. Усадил он старого, дряхлого, слепого пса в машину рядом с собой, на переднее сиденье. Пес разок лизнул ему руку. У приятеля аж все перевернулось внутри. Поехали. А по дороге пес без звука кончился, так и помер на переднем сиденье, будто знал, что к чему, и выбрал способ получше, просто испустил дух — и все тут. Вы ведь про это говорите, верно?

Я кивнул.

— Стало быть, по-вашему, та могила на горе — неправильная могила для правильного человека, так, что ли?

— Примерно так, — сказал я.

— По-вашему, для всех нас на пути есть разные могилы, что ли?

— Очень может быть, — сказал я.

— И коли мы могли бы увидеть всю свою жизнь с начала до конца, всяк выбрал бы себе которая получше? — спросил охотник. — В конце оглянешься и скажешь: черт подери, вот он был, подходящий год и подходящее место — не другой, на который оно пришлось, и не другое место, а вот только тогда и только там надо было помирать. Так, что ли?

— Раз уж только и остается выбирать, не то все равно выставят вон, выходит, что так, — сказал я.

— Неплохо придумано, — сказал охотник. — Только у многих ли достало бы ума? У большинства ведь не хватает соображения убраться с пирушки, когда выпивка на исходе. Все мы норовим засидеться подольше.

— Норовим засидеться, — подтвердил я. — Стыд и срам.

Мы спросили еще пива.

Охотник разом выпил полкружки и утер рот.

— Ну а что можно поделать, коли могила неправильная? — спросил он.

— Не замечать, будто ее и нет, — сказал я. — Может, тогда она исчезнет, как дурной сон.

Охотник коротко засмеялся, словно всхлипнул:

— Рехнулся, брат! Ну ничего, я люблю слушать, которые рехнулись. Давай болтай еще.

— Больше нечего, — сказал я.

— Может, ты есть воскресение и жизнь?

— Нет.

— Может, ты велишь Лазарю встать из гроба?

— Нет.

— Тогда чего ж?

— Просто я хочу, чтоб можно было под самый конец выбрать правильное место, правильное время и правильную могилу.

— Вот выпей-ка,— сказал охотник.— Тебе полезно. И откуда ты такой взялся?

— От самого себя. И от моих друзей. Мы собрались вдесятером и выбрали одного. Купили в складчину грузовик — вон он стоит,— и я покатил через всю страну. По дороге много охотился и ловил рыбу, чтоб настроиться, как надо. В прошлом году побывал на Кубе. В позапрошлом провел лето в Испании. А еще перед тем съездил летом в Африку. Накопилось вдоволь о чем поразмыслить. Потому меня и выбрали.

— Для чего выбрали, черт подери, для чего? — напористо, чуть не с яростью спросил охотник и покачал головой.— Ничего тут не поделаешь. Все уже кончено.

— Все, да не совсем,— сказал я.— Пошли.— И шагнул к двери.

Охотник остался сидеть. Потом взгляделся мне в лицо — оно все горело от этих моих речей,— ворча поднялся, догнал меня, и мы вышли.

Я показал на обочину; и мы оба поглядели на грузовик, который я там оставил.

— Я такие видел,— сказал охотник.— В кино показывали. С таких стреляют носорогов, верно? Львов и все такое? В общем, на них разъезжают по Африке, верно?

— Правильно.

— У нас тут львы не водятся,— сказал он.— И носороги тоже, и буйволы, ничего такого нету.

— Нету? — переспросил я.

Он не ответил.

Я подошел к открытой машине, коснулся борта.

— Знаешь, что это за штука?

— Ничего я больше не знаю,— сказал охотник.— Считаю меня круглым дураком. Так что это у тебя?

Долгую минуту я поглаживал крыло. Потом сказал:

— Машина Времени.

Он вытаращил глаза, потом прищурился, отхлебнул пива (он прихватил с собой кружку, зажав ее в широкой ладони). И кивнул мне — валяй, мол, дальше.

— Машина Времени,— повторил я.

— Слышу, не глухой,— сказал он.

Он прошел вдоль борта, отступил на середину улицы и стал разглядывать машину — да, с такими и правда ездят в Африке. На меня он не смотрел. Обошел ее всю кругом, вновь остановился на тротуаре и уставился на крышку бензобака.

— Сколько миль из нее можно выжать? — спросил он.

— Пока не знаю.

— Ничего ты не знаешь,— сказал он.

— Первый раз еду,— сказал я.— Съезжу до места, тогда узнаю.

— И чем же такую штуку заправлять?

Я промолчал.

— Какое ей нужно горючее? — опять спросил он.

Я мог бы ответить: надо читать до поздней ночи, читать по ночам год за годом, чуть не до утра, читать в горах, где лежит снег, и в полдень в Памплоне, читать, сидя у ручья или в лодке где-нибудь у берегов Флориды. А еще я мог сказать: все мы приложили руку к этой машине, все мы думали о ней и купили ее, и касались ее, и вложили в нее нашу любовь, и память о том, что сделали с нами его слова двадцать, двадцать пять или тридцать лет тому назад. В нее вложена уйма жизни, и памяти, и любви — это и есть бензин, горючее, топливо, называй как хочешь; дождь в Париже, солнце в Мадриде, снег на вершинах Альп, дымки ружейных выстрелов в Тироле, солнечные блики на Гольфстриме, взрывы бомб и водяные взрывы, когда выскакивает из реки рыба, — вот он, потребный тут бензин, горючее, топливо; так я мог бы сказать, так подумал, но говорить не стал.

Должно быть, охотник почуял, о чем я думаю,— глаза его сузились, долгие годы в лесу научили его читать чужие мысли,— и он принялся ворочать в голове мою затею.

Потом подошел и... вот уж этого трудно было ждать! Он протянул руку... и коснулся моей машины.

Он положил ладонь на капот и так и стоял, словно прислушивался, есть ли там жизнь, и рад был тому, что ощутил под ладонью. Долго он так стоял.

Потом без единого слова повернулся и, не взглянув на меня, ушел обратно в бар и сел пить в одиночестве, спиной к двери.

И мне не захотелось нарушать молчание. Похоже, вот она, самая подходящая минута поехать попытать счастья.

Я сел в машину и включил зажигание.

Сколько миль из нее можно выжать? Какое ей нужно горючее? — подумал я. И покатыл.

Я катил по шоссе, не глядя ни направо, ни налево, так и ездил добрый час взад и вперед и порой на секунду-другую замуривался, так что запросто мог съехать с дороги и перевернуться, а то и разбиться насмерть.

А потом около полудня солнце затянуло облаками, и вдруг я почувствовал — все хорошо.

Я поднял глаза, глянул на гору и чуть не заорал.

Могила исчезла.

Я как раз спустился в неглубокую ложбинку, а впереди на дороге одиноко брел старик в толстом свитере.

Я сбросил скорость, и, когда нагнал пешехода, машина моя поползла с ним вровень. На нем были очки в стальной оправе; довольно долго мы двигались бок о бок, словно не замечая друг друга, а потом я окликнул его по имени.

Он чуть поколебался, потом зашагал дальше.

Я нагнал его на своей машине и опять сказал:

— Папа.

Он остановился, выжидая.

Я затормозил и сидел, не снимая рук с баранки.

— Папа,— повторил я.

Он подошел, остановился у дверцы.

— Разве я вас знаю?

— Нет. Зато я знаю вас.

Он поглядел мне в глаза, всмотрелся в лицо, в губы:

— Да, похоже, что знаете.

— Я вас увидел на дороге. Думаю, нам с вами по пути. Хотите, подвезу?

— Нет, спасибо,— сказал он.— В этот час хорошо пройтись пешком.

— Вы только послушайте, куда я еду.

Он двинулся было дальше, но приостановился и, не глядя на меня, спросил:

— Куда же?

— Путь долгий.

— Похоже, что долгий, по тому, как вы это сказали. А покороче вам нельзя?

— Нет,— отвечал я.— Путь долгий. Примерно две тысячи шестьсот дней да прибавить или убавить денек-другой и еще полдня.

Он вернулся ко мне и заглянул в машину.

— Значит, вон в какую даль вы собрались?

— Да, в такую даль.

— В какую же сторону? Вперед?

— А вы не хотите вперед?

Он поглядел на небо.

— Не знаю. Не уверен.

— Я не вперед еду,— сказал я.— Еду назад.

Глаза его стали другого цвета. Мгновенная, едва уловимая перемена, словно в облачный день человек вышел из тени дерева на солнечный свет.

— Назад...

— Где-то посередине между двух и трех тысяч дней, день пополам, плюс-минус час, прибавить или отнять минуту, поторгуюсь из-за секунды,— сказал я.

— Язык у вас ловко подвешен,— сказал он.

— Так уж приходится,— сказал я.

— Писатель из вас никудышный,— сказал он.— Кто умеет писать, тот говорить не мастер.

— Это уж моя забота,— сказал я.

— Назад? — Он пробовал это слово на вес.

— Разворачиваю машину,— сказал я.— И возвращаюсь вспять.

— Не по милям, а по дням?

— Не по милям, а по дням.

— А машина подходящая?

— Для того и построена.

— Стало быть, вы изобретатель?

— Просто читатель, но так вышло, что изобрел.

— Если ваша машина действует, так это всем машинам машина.

— К вашим услугам,— сказал я.

— А когда вы доедете до места,— начал старик, взялся за дверцу, нагнулся, сам того не замечая, и вдруг спохватился, отнял руку, выпрямился во весь рост и тогда только договорил: — Куда вы попадете?

— В десятое января тысяча девятьсот пятьдесят четвертого.

— Памятный день,— сказал он.

— Был и есть. А может стать еще памятей.

Он не шевельнулся, но света в глазах прибавилось, будто он еще шагнул из тени на солнце.

— И где же вы будете в этот день?

— В Африке,— сказал я.

Он промолчал. Бровью не повел. Не дрогнули губы.

— Неподалеку от Найроби,— сказал я.

Он медленно кивнул. Повторил:

— В Африке, неподалеку от Найроби.

Я ждал.

— И если поедем — попадем туда, а дальше что? — спросил он.

— Я вас там оставлю.

— А потом?

— Вы там останетесь.

— А потом?

— Это все.

— Все?

— Навсегда,— сказал я.

Старик глубоко вздохнул, провел ладонью по краю дверцы.

— И эта машина где-то на полпути обратится в самолет? — спросил он.

— Не знаю,— сказал я.

— Где-то на полпути вы станете моим пилотом?

— Может быть. Никогда раньше на ней не ездил.

— Но хотите попробовать?

Я кивнул.

— А почему? — спросил он, нагнулся и посмотрел мне прямо в глаза, в упор, грозным, спокойным, яростно-пристальным взглядом.— Почему?

«Старик,— подумал я,— не могу я тебе ответить. Не спрашивай».

Он отодвинулся — почувствовал, что перехватил.

— Я этого не говорил,— сказал он.

— Вы этого не говорили,— повторил я.

— И когда вы пойдете на вынужденную посадку,— сказал он,— вы на этот раз приземлитесь немного по-другому?

— Да, по-другому.

— Немного пожестче?

— Погляжу, что тут можно сделать.

— И меня швырнет за борт, а больше никто не пострадает?

— По всей вероятности.

Он поднял глаза, поглядел на горный склон, никакой могилы там не было. Я тоже посмотрел на эту гору. И наверно, он догадался, что однажды могилу там вырыли.

Он оглянулся на дорогу, на горы и на море, которого не видно было за горами, и на материк, что лежал за морем.

— Хороший день вы вспомнили.

— Самый лучший.

— И хороший час, и хороший миг.

— Право, лучше не сыскать.

— Об этом стоит подумать.

Рука его лежала на дверце машины — не опираясь, нет — испытующе: пробовала, ошупывала, трепетная, нерешительная. Но глаза смотрели прямо в сияние африканского полдня.

— Да.

— Да? — переспросил я.

— Идет,— сказал он.— Ловлю вас на слове, подвезите меня.

Я выждал мгновенье — только раз успело ударить сердце,— дотянулся и распахнул дверцу.

Он молча поднялся в машину, сел рядом со мной, бесшумно, не хлопнув, закрыл дверцу. Он сидел рядом, очень старый, очень усталый. Я ждал.

— Поехали,— сказал он.

Я включил зажигание и мягко взял с места.

— Развернитесь,— сказал он.

Я развернул машину в обратную сторону.

— Это правда такая машина как надо? — спросил он.

— Правда. Такая самая.

Он поглядел на луг, на горы, на дом в отдалении.

Я ждал, мотор работал вхолостую.

— Я кое о чем вас попрошу,— начал он,— когда приедем на место, не забудете?

— Постараюсь.

— Там есть гора,— сказал он, и умолк, и сидел молча, с его сомкнутых губ не слетело больше ни слова.

Но я докончил за него. Есть в Африке гора по имени Килиманджаро, подумал я. И на западном ее склоне нашли однажды иссохший, мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.

На этом склоне мы тебя и положим, думал я, на склоне Килиманджаро, по соседству с леопардом, и напишем твое имя, а под ним еще: никто не знал, что он делал здесь, так высоко, но он здесь. И напишем даты рождения и смерти, и уйдем вниз, к жарким летним травам, и пусть могилу эту знают лишь темнокожие воины, да белые охотники, да быстрые окапи.

Заслонив глаза от солнца, старик из-под ладони смотрел, как вьется в предгорьях дорога. Потом кивнул:

— Поехали.

— Да, Папа,— сказал я.

И мы двинулись не торопясь, я за рулем, старик — рядом со мной, спустились с косогора, поднялись на новую вершину. И тут выкатилось солнце и ветер дохнул жаром. Машина мчалась, точно лев в высокой траве. Мелькали, уносились назад реки и ручьи. Вот бы нам остановиться на час, думал я, побродить по колена в воде, половить рыбу, а потом изжарить ее, полежать на берегу и потолковать, а может, помолчать. Но если остановимся, вдруг не удастся продолжить путь? И я дал полный газ. Мотор взревел неистовым рыком какого-то чудо-зверя. Старик улыбнулся.

— Отличный будет день! — крикнул он.

— Отличный.

Позади дорога, думал я, как там на ней сейчас, ведь сейчас мы исчезаем? Вот исчезли, нас там больше нет. И дорога пуста. И Солнечная долина безмятежна в солнечных лучах. Как там сейчас, когда нас там больше нет?

Я еще поддал газу, машина рванулась: девяносто миль в час. Мы оба заорали, как мальчишки.

Уж не знаю, что было дальше.

— Ей-богу, — сказал под конец старик, — знаете, мне кажется... мы летим?

Лучший из возможных миров

Двое мужчин молча сидели на скамьях в поезде, катившем сквозь декабрьский сумрак от одного полустанка в сельской местности к другому. Когда состав тронулся после двенадцатой остановки, старший из попутчиков негромко буркнул:

— Придурок! Ох придурок!

— Простите? — сказал тот, что помоложе, и взглянул на своего визави поверх развернутого номера «Таймс».

Старший мрачно мотнул головой:

— Вы обратили внимание на того дурня? Вскочил как ужаленный и — шашь за той дамочкой, от которой так и разит «Шанелью»!

— А-а, за этой дамочкой... — Казалось, молодой человек пребывал в некоторой растерянности: рассмеяться ему или рассердиться. — Как-то раз я сам соскочил с поезда вслед за нею.

Мужчина в возрасте фыркнул и прижмурился:

— Да и я тоже. Пять лет назад.

Молодой человек уставился на попутчика с таким выражением лица, будто только что обрел друга в самом невероятном месте.

— А признайтесь... с вами случилось то же самое, когда вы... когда вы дошли до края платформы?

— Возможно. Хотите еще что-то сказать?

— Ну... Я был в футах двадцати от нее и быстро догонял — и тут вдруг к станции подкатывает автомобиль с ее мужем и кучей детишек! Хлоп — и она уже в машине. Мне осталась от нее только улыбка в воздухе — как от Чеширского кота. Словом, она уехала, а до следующего поезда полчаса. Продрог до самых костей. Видит Бог, это меня кое-чему научило.

— Ничему-то оно вас не научило! — сухо возразил мужчина в возрасте. — Кобели. Глупые кобели. Все мы и каждый из нас — вы, я и любой другой в штанах. Придурки с безусловными рефлексами, как у лабораторной лягушки: кольни тут — и дернется там.

— Мой дед говаривал: мужская доля в том, что широк в плечах, а в мозгах узок.

— Мудрый человек. С мужчинами все понятно. А вот что вы думаете об этой дамочке?

— Об этой женщине? Ну, она хочет оставаться в хорошей форме. Очевидно, у нее кровь веселее бежит по жилам, когда она снова и снова убеждается, что способна невинно пострелять глазами и любой самец покорно спрыгнет за ней с поезда — в ночь и холод. Неплохо устроилась, надо сказать, — создала себе лучший из всех возможных миров. Муж, детишки... Плюс сознание, что она та еще штучка и может пять раз в неделю проехаться на поезде с неизменным результатом, который, в сущности, никому не вредит — уж ей-то точно. А если приглядеться — ничего в ней особенного. Внешность так себе. Правда, этот аромат...

— Вздор, — отрезал мужчина в возрасте. — Это ничего не объясняет. Все сводится к одному: она особь женского пола. Все женщины — женского пола, а все мужчины — грязные козлы. Пока вы не согласитесь с этим базовым фактом, так и будете до старости гадать, какие из ваших рецепторов повели вас за женщиной — обонятельные, зрительные или еще какие. А если подойти с умом, то знание себя может хоть немного пособить в сомнительной ситуации. Но даже среди тех, кто понимает все важные и неоспоримые грубые истины, весьма немногие сохраняют жизненное равновесие. Спросите человека, счастлив ли он. А он незамедлительно подумает, что его спрашивают: удовлетворен ли он. Полное удовлетворение — вот райское блаженство в сознании большинства людей. Я знал лишь одного человека, который действительно обрел лучший из всех возможных миров, говоря вашими словами.

— Вот так так! — оживленно воскликнул молодой человек, и его глаза загорелись. — Очень бы хотелось послушать о вашем знакомом!

— Надеюсь, у меня хватит времени на рассказ. Так вот, этот человек — самый счастливый кобель, самый беспечный жеребец с сотворения мира. Имеет подружек всех возрастов и мастей, так сказать, в широком ассортименте и в любом количестве. Но вместе с тем — никаких угрызений совести, никакого самоедства и ни малейшего чувства вины. А по ночам нет чтобы ворочаться без сна и кусать себе локти от раскаяния — спит себе как ангелочек.

— Невероятно! — вклинился молодой человек. — Вы знаете, так просто не бывает... чтоб и желудок набить, и запора не получить!

— Он умудрялся, умудряется и будет умудряться! Ни разу не дрогнул, ни разу не ощутил приступа моральной дурноты после ночи самых отчаянных интимных приключений! Преуспевающий бизнесмен, имеет квартиру в лучшем районе Нью-Йорка — на таком этаже, что уличное движение не беспокоит. А на выходные он выбирается в свой загородный домик в Бакс-Каунти — у чистой речушки и в окружении ферм, за обитательницами которых он исправно охотится. Но сам я встретил его впервые именно в Нью-Йорке. Он только что женился, и я попал к нему на ужин. Молодая жена оказалась роскошной женщиной. Снежно-белые руки, сочные губы, ниже талии все подобающе широко, а выше — подобающе пышно. Рог чувственного изобилия, бочонок моченых яблок, с которым сладко коротать самую лютую зиму, — вот какие сравнения лезли в голову, когда я смотрел на новобрачную.

Похоже, ее муж ощущал примерно то же, потому как, проходя мимо, он всякий раз легонько щипал свою суженую за зад. И вот, когда в полночь я прощался с ними в прихожей, я едва-едва удержался от того, чтобы не хлопнуть ее по аппетитному крупу, как знаток — чистокровную кобылку. Уже и руку занес. Истинно благовоспитанный человек просто не мог не отдать должное этой части ее тела. Когда я ввалился в лифт, меня качало — и я хохотал.

— Эко мастерски вы описали! — тяжело дыша, возбужденно произнес молодой человек.

— Пописываю рекламные проспекты, — сообщил его собеседник. — Но продолжим. С этим Смитом — назовем его так — я встретился опять недели через две. По чистой случайности я был приглашен приятелем на загородную вечеринку в Бакс-Каунти. Приезжаю туда — и как вы думаете, в чей дом? В дом того самого Смита! И в центре гостиной стоит черноволосая итальянская красавица, этакая гибкая пантера, трепещущая ночь, облитая лунным светом, вся загар и румянец, охра и умбра и прочие краски благодатной плодоносной осени. В гомоне голосов я не расслышал ее имени. А чуть позже застаю ее в одной из комнат вместе с Смитом — и он жмет ее, как спелую и сочную октябрьскую виноградную гроздь, вобравшую в себя все летнее солнце. Ах ты, кретин несчастный, подумал я. Ах ты, счастливчик чертов. Жена в городе, любовница в пригороде. У этого типчика не один виноградник, и с каждого он снимает урожай, — ну и все такое. Короче, снимаю шляпу. Однако смотреть дольше мне на этот праздник давки винограда совсем не хотелось, и я незаметненько ретировался с порога.

— От ваших рассказов дыхание спирает, — сказал молодой человек и попытался опустить окно.

— Да не перебивайте! — огрызнулся мужчина в возрасте. — На чем, бишь, я остановился?

— Как виноград по осени давят.

— Ах да! Так вот, когда гости на той вечеринке разошлись по группкам, я таки узнал имя итальянской красавицы. Миссис Смит!

— Стало быть, он снова женился?

— Едва ли. Двух недель маловато на развод и брак. Хоть я и был предельно ошарашен, но соображал быстро. У Смита не иначе как два круга друзей. Одни знают только его городскую жену. Другие — только эту любовницу, которую он называет своей супругой. Смит слишком умен, чтобы позволить себе двоеженство. Иного ответа у меня не было. Загадка, да и только.

— Продолжайте, продолжайте! — с лихорадочным интересом воскликнул молодой попутчик.

— Поздно вечером после вечеринки на станцию меня отвезил сам Смит. Веселый и на взводе. По дороге он вдруг спросил:

— Ну и как вам мои жены?

— Ж-жены? — ахнул я. — Во множественном числе?!

— Во множественном, черт побери! У меня их было штук двадцать за последние три года — и одна другой лучше! Да-да, двадцать. Можете сами пересчитать. Вот, глядите.

Тут мы как раз остановились возле станции, и он вынимает из кармана пухлый фотоальбомчик. Протягивает мне этот альбом, смотрит на мое вытянувшееся лицо и говорит со смехом:

— Это не то, что вы подумали. Я не Синяя Борода, и на моем чердаке не хранятся среди разного хлама скелеты моих бывших жен. Смотрите!

Я пролистнул альбом. И женщины задвигались, как фигурки в мультфильме. Блондинки-брюнетки-рыжие-красотки-дурнушки-простушки-сложнушки, а некоторые — полная экзотика. У одних взгляд умудренных фурий, у других вид домашних лапочек. Некоторые хмурятся, а некоторые улыбаются.

Пробежался я по лицам — эффект гипнотический. А потом меня вдруг как ударило: есть во всех этих лицах что-то общее. Ничего не понимаю.

— Слушайте, Смит, — пробормотал я, — для стольких жен нужно иметь уйму денег.

— Про уйму денег — это вы пальцем в небо. Вы получше приглядитесь.

Я снова пролистал альбом. Теперь медленно. И тут до меня дошло.

— Стало быть,— сказал я,— та миссис Смит, красавица итальянка, которую я видел давеча, она-то и есть единственная миссис Смит. Но ее же я видел две недели назад в вашей нью-йоркской квартире. И нью-йоркская миссис Смит тоже является единственной миссис Смит. Логично предположить, что существуют не две женщины, а только одна.

— Совершенно верно! — вскричал Смит, довольный моими дедуктивными способностями.

— Бред собачий! — возмутился я.

— Ошибаетесь! — горячо возразил Смит. — Моя жена — настоящее чудо. Когда мы познакомились, она была одной из лучших актрис — хоть и не на Бродвее, но в достойном театре. Истинный эгоист, я потребовал под угрозой разрыва, чтобы она оставила сцену. Безумие страсти уже несло нас по кочкам, и вот лвыца подмостков, хлопнув дверью, покидает театр навсегда, ибо любовь превратила ее в домашнюю кошечку. Шесть месяцев после свадьбы прошли как в угаре — что-то вроде непрерывного землетрясения. Ну а потом — ведь я, как ни крути, по природе своей мерзавец — начал я поглядывать на других женщин: мелькает-то их кругом много!..

Жена, конечно, заметила, что я закосил глазом. Тем временем и я заметил кое-что — с какой тоской она посматривает на театральные афиши. По утрам застаю ее в слезах с «Нью-Йорк таймс», открытой на странице, где помещены рецензии на вчерашние премьеры. Черт побери! Каким же образом могут благополучно сосуществовать два столь одержимых карьериста: она — профессиональная актриса, я — профессиональный бабник! И оба стремимся в своем деле к совершенству!

— В один прекрасный вечер,— продолжал Смит,— я заметил на улице весьма аппетитную цыпочку. И почти в то же мгновение ветер взметнул обрывок театральной афиши и облепил им щиколотку идущей рядом жены. Эти два события, проигранные случаем в течение одной секунды, были как удар молнии, который расщепляет скалу и открывает путь водам подземного источника. Жена судорожно вцепилась в мой локоть. Разве не была она актрисой? Она ведь актриса! Так стало быть, ей и карты в руки!

Словом, она приказала мне убраться из дому на сутки, а сама занялась какими-то спешными и грандиозными приготовлениями. Когда на следующий вечер я в сумерках вернулся в нашу квартиру, жены и след простыл. Однако в гостиной меня ожидала незнакомая темноволосая мексиканка. Она

представилась подругой моей жены... и не мешкая, со всей латинской страстью накинулась на меня, да так, что у меня ребра затрещали. Можно ли устоять, когда тебе с таким пылом кусают уши!

Но тут меня вдруг охватило подозрение. Освобождаюсь я из ее объятий и говорю:

— Погоди-ка, а ты, часом, не... да ведь это же моя же-нушка!

И ну оба хохотать. Да так, что на под повалились.

Все правильно — это была моя законная супруга. Только с другим макияжем, с другой прической и другим цветом волос. Она изменила осанку и поработала над голосом.

— Ах ты, моя актриса! — восхитился я.

— Твоя актриса — в театре одного зрителя! — со смехом подтвердила жена.— Только скажи, какую женщину ты хочешь,— и я стану ею. Хочешь Кармен? Изволь, буду Кармен. Хочешь валькирию Брунгильду? Без проблем. Я скрупулезно изучу образ, войду в него и сыграю кого угодно. А когда тебе надоест, я создам новую героиню. Я записалась в танцевальную академию. Меня научат сидеть и стоять на разный манер. Я освою тысячу разных походок. Я возобновлю уроки театральной речи и овладею сотней разных голосов. Я изучу восточные единоборства, я буду брать уроки хороших манер для особ королевской крови...

— Боже правый! — вскричал я.— А что я смогу дать тебе взамен?

— Это! — ответила она и со смехом повалила на постель.

— Одним словом,— рассказывал дальше Смит,— с тех пор я прожил десятки жизней и побывал в шкуре десятков мужчин! Бесчисленные фантазии явились мне в осязаемом облике женщин всех цветов, всех статей, всех темпераментов. Моя жена в нашей квартире обрела сцену, а во мне — благодарную публику. И тем самым исполнилось ее желание стать величайшей актрисой во всей стране.

Скажите, один человек не публика? Ошибаетесь! Один такой зритель, как я, стоит тысяч — такой взыскательный, такой капризный, с изменчивым вкусом и с бесконечным умением искренне восторгаться. К тому же моя ненасытная потребность в разнообразии великолепно совпадает с ее гениальной способностью быть разнообразной. Таким образом, я как бы на коротком поводке и одновременно совершенно свободен, я верен жене — и изменяю ей на каждом шагу. Любя ее, я люблю через нее всех остальных женщин. Дружище, разве это не самый прекрасный из существующих миров? Разве можно создать себе мир прекраснее моего?

На некоторое время в купе поезда воцарилось молчание.

Поезд погромыхивал, спеша через декабрьские сумерки.

История была рассказана, оба собеседника, молодой и по-старше, разом задумались.

Наконец молодой человек возбужденно сглотнул и восторженно закивал.

— Ваш друг Смит разрешил-таки проблему! — воскликнул он. — Это уж точно.

— Да, разрешил.

В молодом человеке, похоже, происходила некая внутренняя борьба, которая закончилась тем, что он улыбнулся и сказал:

— У меня тоже есть интересный друг. В похожей ситуации... но с ним совсем иначе. Позвольте мне называть его Куиллан.

— Пожалуйста, — сказал мужчина постарше. — Только будьте кратки. Скоро моя остановка.

— Однажды вечером я увидел Куиллана в баре с одной рыжеволосой красоткой, — торопливо начал молодой человек. — До того хороша, что толпа расступалась перед ней, как воды перед Моисеем. «Какая женщина, — подумал я, — от одного взгляда на нее бурлит кровь и голова идет кругом!» Неделий позже я увидел Куиллана в Гринвиче. Рядом с ним была приземистая бесцветная толстушка, судя по всему его ровесница, тоже года тридцать два или тридцать три, но из тех дамочек, что блекнут исключительно рано. Англичане про таких говорят «мордovorot». Носастая коротышка с короткими ногами, одежда мешком, никакого марафета, тиха как мышка — повисла у Куиллана на руке и семенит молчком.

«Ха-ха-ха! — подумал я. — Вот его женушка-простушка, готовая целовать землю, по которой ходит муж, зато по вечерам он прогуливается с невероятной рыжеволоской, похожей на андроида, сделанного на заказ». Да, подумалось мне, в жизни много и грустного, и досадного. И я пошел дальше своей дорогой.

Проходит месяц. Опять встречаю Куиллана. Он как раз собирался нырнуть в темный зев Мак-Дугал-стрит, но тут заметил меня.

— Ах ты, Господи! — тихонько вскрикнул он, и на лбу у него выступила испарина. — Только не выдавай меня, умоляю! Жена не должна узнать!

Когда я собирался торжественно поклясться, что буду нем как могила, из окна сверху Куиллана окликнул женский голос.

Я поднял глаза, и челюсть у меня отвисла.

В окне я увидел ту невзрачную, рано поблекшую коротышку!

И тут я сложил два и два и понял, что к чему. Та ослепительно прекрасная рыжеволосая красавица была его жена! Мастерица танцевать, петь, живая и умная собеседница с уверенным громким голосом — тысячерукая богиня Шива, способная украсить спальню короля... И несмотря на все это, как ни странно, она утомляла.

Два дня в неделю мой друг Куиллан снимал эту комнатку в сомнительном квартале. Там он мог посидеть в тишине и покое со своей серой бессловесной мышкой, прогуляться по плохо освещенным улочкам с домашней, уютной бабенкой без претензий.

Я в растерянности переводил взгляд с Куиллана на его любовницу и обратно. Потом меня окатила волна сочувствия и понимания. Я горячо пожал ему руку и сказал:

— Чтоб мне сдохнуть, если я хоть слово!..

В последний раз я видел Куиллана с его подругой в кафе. Они мирно сидели за столиком и жевали сэндвичи, молча ласково поглядывая друг на друга. Если хорошенько подумать, он тоже создал себе особый мир, и тоже наилучший из возможных.

Вагон слегка тряхнуло — после гудка поезд стал притормаживать. Оба мужчины разом встали, потом замерли и с удивлением уставились друг на друга. И одновременно спросили:

— Как, вы разве здесь выходите?

Оба утвердительно кивнули и улыбнулись.

Когда поезд остановился, они молча спустились на перрон, в зябкий декабрьский вечер. С чувством обменялись прощальным рукопожатием.

— Ну, передавайте привет мистеру Смигу.

— А вы — мистеру Куиллану.

Почти одновременно из противоположных концов платформы раздались два автомобильных гудка. С одной стороны стояла машина с ослепительно красивой женщиной. И с другой стояла машина с ослепительно красивой женщиной. Попутчики поглядели сперва налево, потом направо.

И оба направились в разные концы платформы — каждый к своей женщине. Шагов через десять бывшие попутчики замедлили шаг и оглянулись — тому и другому с озорным любопытством школьника хотелось еще раз взглянуть на даму, поджидавшую недавнего собеседника.

«Хотел бы я знать, — подумал мужчина в возрасте, — кто она ему...»

«Занятно бы узнать, — подумал молодой человек, — кем приходится ему та женщина...»

Но мешкать дольше было неудобно. Оба ускорили шаг. Вскоре два pistolетных выстрела захлопнутых дверей завершили сцену.

Машины уехали. Платформа опустела. И холодный декабрь проворно закрыл ее снежным занавесом.

Здравствуй и прощай

Ну конечно, он уезжает, ничего не поделаешь — настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея, осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а быть может, даже в Калифорнию — двенадцатилетний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он сорок три года назад.

— Уилли! — окликнули снизу.

— Сейчас!

Он подхватил чемодан. В зеркале на комодe он увидел свое отражение: золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо — такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется.

— Пора! — снова окликнул женский голос.

— Иду!

Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые.

— Вот и я! — крикнул с порога Уилли.

У Анны стало такое лицо — вот-вот заплачет.

— О Господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?

— Люди уже начинают удивляться, — негромко сказал Уилли. — Я целых три года здесь прожил. Но когда начинаются толки, я уж знаю — пора собираться в дорогу.

— Странно все это, — сказала Анна. — Не пойму я никак. Нежданно-негаданно. Мы будем скучать по тебе, Уилли.

— Я буду вам писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо.

— Мы были рады и счастливы.— Стив выпрямился на стуле, слова давались ему с трудом.— Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться.

— Вы славные люди, лучше всех, у кого я жил,— сказал Уилли.

Он был четырех футов ростом, солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы.

И тут Анна все-таки заплакала:

— Уилли, Уилли...

Она согнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет; она смотрела, смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать.

— Не так-то легко уходить,— сказал Уилли.— Привыкаешь. И рад бы остаться. Но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить: мол, какой ужас! Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы и не догадывались! Мол, подумать страшно! Ну и пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко. Сами знаете, я вас обоих всей душой полюбил. Отличные это были три года, спасибо вам!

Все трое направились к двери.

— Куда ты теперь, Уилли?

— Сам не знаю. Куда глаза глядят. Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь.

— Ты когда-нибудь вернешься?

— Да,— сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом.— Лет через двадцать по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей.

Они стояли на крыльце, овеваемые прохладой летнего утра, очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощанья. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.

— А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?

Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли.

— Да я уже пять раз переменял родителей — лет двадцать так путешествую, побывал в пяти городах.

— Ладно, жаловаться нам не на что,— сказал Стив.— Хоть три года был сын, все лучше, чем ничего.

— Ну что ж,— сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу, под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи, и пошел быстро, не оглядываясь,— самый настоящий мальчишка.

Когда он проходил мимо парка, там на зеленой лужайке ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицей проносится по траве, и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони — и так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли.

Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние три года, уже истраченные без остатка, и пять лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и вправду было одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, и в ушах зазвучали голоса:

— Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка?

— Миссис, а что это ваш Уилли в последнее время не растет?

— Уилли, ты уже куришь?

Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом голос матери:

— Сегодня Уилли исполняется двадцать один!

И тысяча голосов:

— Приходи, когда исполнится пятнадцать, сынок, тогда, может, и найдется для тебя работа.

Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь — бесконечная лента лет скручена, свернута в тугой комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось двенадцать. Он услышал шаги по траве; ребята идут к нему, вот они стали вокруг и заслонили солнце, они выросли.

— Уилли, ты куда собрался? — Кто-то пнул ногой его чемодан.

Как они вытянулись! В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило — и они тянутся к нему вверх, точно жаркий, наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес, они растут и растут, им по тринадцать, по четырнадцать, они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось месяца четыре назад.

— Пошли играть, мы против вас! А кто возьмет к себе в команду Уилли?

— Ну-у, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем.

И они обгоняют его, их притягивают солнце и луна и смена времен года, весенний ветер и молодая листва, а ему по-прежнему двенадцать, он им больше не компания. И новые голо-

са подхватывают старый, страшный знакомый, леденящий душу припев:

— Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив.

— У вас в роду все такие коротышки, Анна?

И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди «своих» снова надо вырвать все корни.

— Уилли, ты куда собрался?

Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек, они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны к фонтанчику для питья.

— Еду на неделю погостить к родным.

— А-а.

Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан да, может, чуть позавидовали — вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места...

— Покидаемся немножко? — предложил Уилли.

Они согласились без особой охоты, просто чтобы уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал; белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль, жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед-назад! Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик-Бенд, штат Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители, первый год! Вперед-назад! Генри и Элис Болц, Лаймвилл, штат Айова, 1935 год! Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итоны, Робинсоны! 1939-й! 1945-й! Бездетная чета — одна, другая, третья! Стучись в дверь — в одну, в другую.

— Извините, пожалуйста. Меня зовут Уильям. Можно мне...

— Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись. Ты откуда, сынок?

Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирная, неторопливая беседа.

— Похоже, ты издали, сынок. Может, ты откуда-нибудь сбежал?

— Нет.

— Так ты сирота, мальчик?..

И другой стакан молока.

— Нам всегда так хотелось детей. И никогда не было. Кто его знает почему. Бывает же так. Что поделаешь. Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?

— Нету у меня дома.

— У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.

— Нету у меня никакого дома, и родных на свете никого. Может быть... можно... можно, я у вас сегодня переночую?

— Видишь ли, сынок, я уж и не знаю,— говорит муж.— Мы никогда не думали взять в дом...

— У нас нынче на ужин цыпленок,— перебивает жена.— Хватит на всех, хватит и на гостя.

И летят, сменяются годы, голоса, лица, люди, и всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер — последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон, вечер, когда она открыла его секрет; она сидит в качалке, он слышит ее голос:

— Сколько я на своем веку детишек перевидала. Смотрю на них иной раз и думаю — такая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено угаснуть. Такая жалость, что этого не миновать,— вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, поседеют, польсеют, а под конец и вовсе останутся кожа да кости да одышка, и все они умрут и лягут в могилу. Вот я слышу, как они смеются, и просто не верится, неужели и они пойдут той же дорогой, что и я. А ведь не миновать! До сих пор помню стихи Вордсворта: «Я вдруг увидел хоровод нарциссов нежно-золотых, меж них резвился ветерок в тени дерев, у синих вод». Вот такими мне кажутся дети, хоть они иной раз бывают жестоки, хоть я знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет. В них столько пылкости, жадного интереса ко всему! Наверно, этого мне больше всего недостает во взрослых людях — девятеро из десяти уже ко всему охладели, стали равнодушными, ни свежести, ни огня, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Будто кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Уилли? Каково это — чувствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки? Ты счастлив? Легко у тебя на душе — или ты только с виду такой?

Мяч со свистом прорезал воздух, точно большой белесый шершень ожег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знай твердила свое:

— Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли и оказалось, что на работу меня никуда не берут, я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех. «Сынок,— говорили мне,— ты же не лилипут, а если и лилипут, все рав-

но с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик. Нет уж, сынок, не взыщи». И я пустился бродить по свету и все думал: кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю как мальчишка, так лучше мне и оставаться мальчишкой. Воюй не воюй, плачь не плачь, что толку! Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом однажды в ресторане я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял: «Эх, нету у меня детей... вот были бы у меня детишки...» И все качал головой. А я как сидел неподалеку с куском мяса на вилке, так и застыл! В ту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я понял, мне придется вечно играть. Ну разнесу когда-нибудь газеты, побегая на посылках, может, газоны косилкой подстригу. Но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело — чтобы мать на меня радовалась да отец мною гордился. И я повернулся к тому человеку за стойкой, неподалеку от меня. «Прошу прощения», — сказал я. И улыбнулся ему...

— Но послушай, Уилли, — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили. — Наверно, тебе иногда бывает тоскливо? И наверно, хочется... разного... что нужно взрослому человеку?

— Я молчу и стараюсь это побороть, — сказал Уилли. — Я только мальчишка, говорю я себе, и я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры, все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым, и ребенком. Надо быть мальчишкой — и только. И я играю свою роль. Да, приходилось трудно. Иной раз, бывало...

Он умолк.

— Люди, у которых ты жил, ничего не знали?

— Нет. Сказать им — значило бы все испортить. Я говорил им, что сбегал из дому, пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался — пускай меня усыновят. Так было лучше всего... пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну пять лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал — и кончено. Рано или поздно всему приходил конец.

— И ты счастлив, тебе хорошо? Приятно это — сорок лет с лишком оставаться ребенком?

— Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастли-

вым. Это моя работа, и я делаю свое дело. А потом... еще несколько лет, и я состарюсь. Тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты — все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче и я спокойно доиграю свою роль.

Он встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм — он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.

— В конце концов, ты ж не на край света уезжаешь, Уилли.

— Да, это верно... — Он все не трогался с места.

— Ну пока, Уилли! Через неделю увидимся!

— Пока, до свиданья!

И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья, позади остались ребята и улица, где он жил, а когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом.

И вот последнее, что он увидел и услышал: белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей, взад-вперед, взад-вперед, и звенели голоса: «Раз-два — голова, три-четыре — отрубили!» — будто птицы кричали прощально, улетающая далеко на юг.

Раннее утро, солнце еще не взошло, пахнет туманом, предрассветным холодом, и еще пахнет холодным железом — неприятный запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне... Он проснулся и взглянул в окно на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негромкие, приглушенные голоса, в холодном сумраке взад-вперед, взад-вперед качался, взмахивал красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясны и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре.

— Сэр, — тихонько позвал Уилли.

Проводник остановился.

— Какой это город? — в темноте прошептал мальчик.

— Вэливилл.

— Много тут народу?

— Десять тысяч жителей. А что? Разве это твоя остановка?

— Как тут зелено... — Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой город. — Как тут славно и тихо, — сказал он.

— Сынок, — сказал ему проводник, — ты знаешь, куда едешь?

— Сюда,— сказал Уилли и неслышно поднялся и в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро, деловито собирать свои пожитки.

— Смотри, паренек, не наделей глупостей,— сказал проводник.

— Нет, сэр,— сказал Уилли,— я глупостей не наделаю.

Он прошел по темному коридору, проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, и редеет туман, и встает прохладное утро.

Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко, навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом, а мальчик что-то крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.

— Чего? — закричал проводник и приставил ладонь к уху.

— Пожелайте мне удачи! — крикнул Уилли.

— Желаю удачи, сынок! — крикнул проводник, и улыбнулся, и помахал рукой.— Счастливо, мальчик!

— Спасибо,— сказал Уилли под грохот и гром, под свист пара и перестук колес.

Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял не шевелясь. Стоял совсем тихо долгие три минуты — двенадцатилетний мальчик на старой деревянной платформе — и только потом наконец обернулся, и ему открылись по-утреннему пустынные улицы.

Вставало солнце, и, чтоб согреться, он пошел быстрым шагом и вступил в новый город.

Мальчик-невидимка

Она взяла большую железную ложку и высушенную лягушку, стукнула по лягушке так, что та обратилась в прах, и принялась бормотать над порошком, быстро растирая его своими жесткими руками. Серые птичьи бусинки глаз то и дело поглядывали в сторону лачуги. И каждый раз голова в низеньком узком окошке ныряла, точно в нее летел заряд дроби.

— Чарли! — крикнула Старуха.— Давай выходи! Я делаю змеиный талисман, он отомкнет этот ржавый замок! Выходи

сей момент, а не то захочу — и земля заколышется, деревья вспыхнут ярким пламенем, солнце сядет средь белого дня!

Ни звука в ответ, только теплый свет горного солнца на высоких стволах скипидарного дерева, только пушистая белка, шелкая, кружится, скачет на позеленевшем бревне, только муравьи тонкой коричневой струйкой наступают на босые, в синих жилах ноги Старухи.

— Ведь уже два дня не евши сидишь, чтоб тебя! — выдохнула она, стуча ложкой по плоскому камню, так что набитый битком серый колдовской мешочек у нее на поясе закачался назад и вперед.

Вся в поту, она встала и направилась напрямиком к лачуге, зажав в горсти порошок из лягушки.

— Ну, выходи! — Она швырнула в замочную скважину щепоть порошка.

— Ах, так! — прошипела Старуха несколько мгновений спустя. — Хорошо же, я сама войду!

Она повернула дверную ручку пальцами, темными, точно грецкий орех, сперва в одну сторону, потом в другую.

— Господи, о Господи, — воззвала она, — распахни эту дверь настезь!

Но дверь не распахнулась; тогда она кинула еще чуток волшебного порошка и затаила дыхание. Шурша своей длинной мятой синей юбкой, Старуха заглянула в таинственный мешочек, проверяя, нет ли там еще какой чешуйчатой твари, какого-нибудь магического средства посильнее этой лягушки, которую она пришибла много месяцев назад как раз для такой вот оказии.

Она слышала, как Чарли дышит за дверью. Его родители в начале недели подались в какой-то городишко в Озаркских горах, оставив мальчонку дома одного, и он, страшась одиночества, пробежал почти шесть миль до лачуги Старухи — она приходилась ему не то теткой, не то двоюродной бабкой или еще кем-то, а что до ее причуд, так он на них не обращал внимания.

Но два дня назад, привыкнув к мальчишке, Старуха решила совсем оставить его у себя — будет с кем поговорить. Она кольнула иглой свое тощее плечо, выдавила три бусинки крови, смачно плюнула через правый локоть, ногой раздавила хрусткого сверчка, а левой когтистой лапой попыталась схватить Чарли и закричала:

— Ты мой сын, мой, отныне и навеки!

Чарли вскочил, будто испуганный заяц, и ринулся в кусты, метя домой.

Но Старуха юркнула следом — проворно, как пестрая ящерица, — и перехватила его. Тогда он заперся в ее лачуге и не хотел выходить, сколько она ни барабанила в дверь, в окно, в сучковатые доски желтым кулачком, сколько ни ворожила над огнем и ни твердила, что теперь он ее сын, больше ничей, и делу конец.

— Чарли, ты здесь? — спросила она, пронизывая доски блестящими, острыми глазками.

— Здесь, здесь, где же еще, — ответил он наконец усталым голосом.

Еще немного, еще чуть-чуть, и он свалится сюда на приступку. Старуха с надеждой подергала ручку. Уж не перестаралась ли она — швырнула в скважину лишнюю щепоть, и замок заело. «Всегда-то я, как ворожу, либо лишку дам, либо не дотяну, — сердито подумала она, — никогда в самый раз не угадаю, черт бы его побрал!»

— Чарли, мне бы только было с кем поболтать вечерами, вместе у костра руки греть. Чтобы было кому утром хворосту принести да отгонять блуждающие огоньки, что подкрадываются в вечерней мгле! Никакой тут каверзы нет, сынок, но ведь неможоту одной-то. — Она почмокала губами. — Чарли, слышь, выходи, уж я тебя такому научу!

— Чему хоть? — недоверчиво спросил он.

— Научу, как дешево покупать и дорого продавать. Излови ласку, отрежь ей голову и сунь в задний карман, пока не остыла. И все!

— Э-э! — презрительно ответил Чарли.

Она заторопилась:

— Я тебя средству от пули научу. В тебя кто стрельнет из ружья, а тебе хоть бы что.

Чарли молчал; тогда она свистящим прерывистым шепотом открыла ему тайну:

— В пятницу, в полнолуние, накопай мышинного корня, свяжи пучок и носи на шею на белой шелковой нитке.

— Ты рехнулась, — сказал Чарли.

— Я научу тебя заговаривать кровь, пригвозждать к месту зверя, исцелять слепых коней — всему научу! Лечить корову, если она дурной травы объелась, выгонять беса из козы. Покажу, как делаться невидимкой!

— О! — воскликнул Чарли.

Сердце Старухи стучало, словно барабан солдата Армии спасения.

Ручка двери повернулась, нажатая изнутри.

— Ты меня разыгрываешь, — сказал Чарли.

— Что ты! — воскликнула Старуха. — Слышь, Чарли, я так сделаю, ты будешь вроде окошка, сквозь тебя все будет видно. То-то ахнешь, сынок!

— Правда, буду невидимкой?

— Правда, правда!

— А ты не схватишь меня, как я выйду?

— Я тебя пальцем не трону, сынок.

— Ну ладно, — нерешительно сказал он.

Дверь отворилась. На пороге стоял Чарли — босой, понурый, глядит исподлобья.

— Ну, делай меня невидимкой.

— Сперва надо поймать летучую мышь, — ответила Старуха. — Давай-ка ищи!

Она дала ему немного сушеного мяса, заморить червячка, потом он полез на дерево. Выше, выше... как хорошо на душе, когда видишь его, когда знаешь, что он тут и никуда не денется, после многих лет одиночества, когда даже «доброе утро» сказать некому, кроме птичьего помета да серебристого улиткина следа...

И вот с дерева, шурша между веток, падает летучая мышь со сломанным крылом. Старуха схватила ее — теплую, трепещущую, свистящую сквозь фарфорово-белые зубы, а Чарли уже спускался вниз, перехватывая ствол руками, и победно вопил.

В ту же ночь, в час, когда луна принялась обкусывать пряные сосновые шишки, Старуха извлекла из складок своего просторного синего платья длинную серебряную иглу. Твердя про себя: «Хоть бы сбылось, хоть бы сбылось», она крепко-крепко сжала пальцами холодную иглу и тщательно прицелилась в мертвую летучую мышь.

Она уже давно привыкла к тому, что, несмотря на все ее потуги, всяческие соли и серные пары, ворожба не удастся. Но как расстаться с мечтой, что в один прекрасный день начнутся чудеса, фейерверк чудес, алые цветы и серебряные звезды — в доказательство того, что Господь простил ее розовое тело и розовые грезы, ее пылкое тело и пылкие мысли в пору девичества. Увы, до сих пор Бог не явил ей никакого знамения, не сказал ни слова, но об этом, кроме самой Старухи, никто не знал.

— Готов? — спросила она Чарли, который сидел, обхватив поджатые стройные ноги длинными, в пупырышках руками, рот открыт, зубы блестят...

— Готов,— содрогаясь, прошептал он.

— Раз! — Она глубоко вонзила иглу в правый глаз мыши.—
Так!

— Ох! — крикнул Чарли и закрыл лицо руками.

— Теперь я заворачиваю ее в полосатую тряпицу — вот так,
а теперь клади ее в карман и носи там вместе с тряпицей. Ну!
Он сунул амулет в карман.

— Чарли! — испуганно вскричала она.— Чарли, где ты? Я те-
бя не вижу, сынок!

— Здесь! — Он подпрыгнул, так что свет красными блика-
ми заметался по его телу.— Здесь я, бабка!

Он лихорадочно разглядывал свои руки, ноги, грудь, пальцы.

— Я здесь!

Она смотрела так, словно полчища светлячков мельтешили
у нее перед глазами в пьянящем ночном воздухе.

— Чарли! Надо же, как быстро пропал! Точно колибри!
Чарли, вернись, вернись ко мне!

— Да ведь я здесь! — всхлипнул он.

— Где?

— У костра, у костра! И... и я себя вижу. Вовсе я не неви-
димка!

Тощее тело Старухи затряслось от смеха.

— Конечно, ты видишь сам себя! Все невидимки себя ви-
дят. А то как бы они ели, гуляли, ходили? Тронь меня, Чар-
ли. Тронь, чтобы я знала, где ты.

Он нерешительно протянул к ней руку.

Она нарочно вздрогнула, будто испугалась, когда он ее
коснулся.

— Ой!

— Нет, ты и впрямь не видишь меня? — спросил он.— Прав-
да?

— Ничего не вижу, хоть бы один волосок!

Она отыскала взглядом дерево и уставилась на него блестя-
щими глазами, остерегаясь глядеть на мальчика.

— А ведь получилось, да еще как! — Она восхищенно вздох-
нула.— Ух ты! Никогда еще я так быстро не делала невидимок!
Чарли, Чарли, как ты себя чувствуешь?

— Как вода в ручье, когда ее взбаламутишь.

— Ничего, муть оседет.

Погодя, она добавила:

— Вот ты и невидимка, что ты теперь будешь делать, Чарли?

Она видела, как озорные мысли вихрем роятся в его голо-
ве. Приключения, одно другого увлекательнее, плясали чер-

тиками в его глазах, да по одному только его широко раскрытому рту было видно — что значит быть мальчишкой, который вообразил, будто он горный ветер.

Грезя наяву, он заговорил:

— Буду бегать по хлебам напрямик, забираться на самые высокие горы, таскать на фермах белых кур, поросенка увижу — пинка дам. Буду щипать за ноги красивых девчонок, когда спят, а в школе дергать их за подвязки.

Чарли взглянул на Старуху, и ее сверкающие зрачки увидели, как что-то скверное, злое исказило его лицо.

— И ещё много кой-чего буду делать, уж я придумаю, — сказал он.

— Только не вздумай мне козни строить, — предупредила Старуха. — Я хрупкая, словно весенний лед, со мной грубо нельзя.

Потом прибавила:

— А как с твоими родителями?

— Родителями?

— Не можешь же ты таким вернуться домой. Ты ж их на смерть перепугаешь! Мать так и шлепнется в обморок, будто срубленное дерево. Очень им надо на каждом шагу спотыкаться о тебя, очень надо матери поминутно звать: «Чарли, где ты?» — а ты у нее под носом!

Об этом Чарли не подумал. Он малость поостыл и даже прошептал: «Господи!» — после чего осторожно ощупал свои длинные ноги.

— Ох и одиноко тебе будет. Люди станут смотреть прямо сквозь тебя, как сквозь стеклянную банку, толкать, пихать на ходу — ведь тебя же не видно. А девчонки-то, Чарли, девчонки...

Он глотнул.

— Ну что девчонки?

— Ни одна и глядеть на тебя не захочет. Думаешь, им нужно, чтоб их целовал парень, если ни его, ни губ не видать!

Чарли озабоченно ковырял землю пальцами босой ноги. Он надул губы.

— Все равно хоть немного побуду невидимкой. Уж я позабавлюсь! Буду осторожным, только и всего. Буду держаться подальше от фургонов и коней. И от отца подальше: он как услышит шорох какой, сразу стреляет. — Чарли моргнул. — Я же невидимка, вот и влепит он мне заряд крупной дроби, очень просто, почудится ему, что белка скачет на дворе, и саданет. Ой-ой...

Старуха кивнула дереву.

— А что, так и будет.

— Ладно,— рассудил Чарли,— сегодня вечером я побуду невидимкой, а завтра утром ты меня по-старому сделаешь, решено?

— Есть же чудачки, выше себя прыгнуть стараются,— сообщила Старуха жуку, который полз по бревну.

— Это почему же? — спросил Чарли.

— А вот почему,— объяснила она.— Не так-то это просто было — сделать тебя невидимкой. И теперь нужно время, чтобы с тебя сошла невидимость. Это как краска, сразу не сохнет.

— Это все ты! — вскричал он.— Ты меня превратила! Теперь давай ворожи обратно, делай меня видимым!

— Тише, не кричи,— ответила Старуха.— Само сойдет помаленьку, сперва рука покажется, потом нога.

— Это как же так — я иду по горам и только одну руку видно?

— Будто пятикрылая птица скачет по камням, по ежевике!

— Или ногу?..

— Будто розовый кролик в кустах прыгает!

— Или одна голова плывет в воздухе?

— Будто волосатый шар на карнавале!

— Когда же я целым стану?

Она прикинула, что, пожалуй, не меньше года пройдет.

У него вырвался стон. Потом он захныкал, кусая губы и сжимая кулаки.

— Ты меня заколдовала, это все ты, ты наделала. Теперь мне нельзя бежать домой!

Она подмигнула.

— Так оставайся, живи со мной, сынок, тебе у меня будет вот как хорошо, уж я тебя так баловать да холить стану.

— Ты нарочно это сделала! — выпалил он.— Старая карга, вздумала удержать меня!

И он вдруг метнулся в кусты.

— Чарли, вернись!

Никакого ответа, только топот ног по мягкому темному дерну да сдавленный плач, но и тот быстро смолк вдали.

Подождав, она развела костер.

— Вернется,— прошептала она. И громко заговорила, убеждая сама себя: — Будет у меня собеседник всю весну и до конца лета. А уж тогда, как устану от него и захочется тишины, спроважу его домой.

Чарли вернулся беззвучно вместе с первым серым проблеском дня; он прокрался по белой от инея траве туда, где возле разбросанных головешек, точно сухой обветренный сук, лежала Старуха.

Он сел на скатанные ручьем голыши и устался на нее.

Она не смела взглянуть на него и вообще в ту сторону. Он двигался совсем бесшумно, как же она может знать, что он где-то тут? Никак!

На его щеках были следы слез.

Старуха сделала вид, будто просыпается — она за всю ночь и глаз-то не сомкнула, — встала, ворча и зевая, и повернулась лицом к восходу.

— Чарли?

Ее взгляд переходил с сосны на землю, с земли на небо, с неба на горы вдали. Она звала его снова и снова, и ей все мерещилось, что она глядит на него в упор, но она вовремя спохватывалась и отводила глаза.

— Чарли? Ау, Чарльз! — кричала Старуха и слышала, как эхо ее передразнивает.

Губы его растянулись в улыбку: ведь вот же он, совсем рядом сидит, а ей кажется, что она одна! Возможно, он ощущал, как в нем растет тайная сила, быть может, наслаждался сознанием своей неуязвимости, и уж во всяком случае ему очень нравилось быть невидимым.

Она громко произнесла:

— Куда же этот парень запропастился? Хоть бы зашумел, хоть бы услышать, где он, я бы ему, пожалуй, завтрак сготовила.

Она принялась стряпать, раздраженная его упорным молчанием. Она жарила свинину, нанизывая куски на ореховый прутик.

— Ничего, небось запах сразу учует! — буркнула Старуха.

Только она повернулась к нему спиной, как он схватил поджаренные куски и жадно их проглотил.

Она обернулась с криком:

— Господи, что это?

Подозрительно осмотрелась вокруг.

— Это ты, Чарли?

Чарли вытер руками рот.

Старуха засемила по прогалине, делая вид, будто ищет его. Наконец ее осенило: она прикинулась слепой и пошла прямо на Чарли, вытянув вперед руки.

— Чарли, да где же ты?

Он присел, отскочил и молнией метнулся прочь.

Она чуть не бросилась за ним вдогонку, но с великим трудом удержалась — нельзя же гнаться за невидимым мальчиком! — и, сердито ворча, села к костру, чтобы поджарить еще свинины. Но сколько она ни отрезала себе, он всякий раз хватал шипящий над огнем кусок и убегал прочь. Кончилось тем, что Старуха, красная от злости, закричала:

— Знаю, знаю, где ты! Вот там! Я слышу, как ты бегаешь!

Она показала пальцем, но не прямо на него, а чуть вбок. Он сорвался с места.

— Теперь ты там! — кричала она. — А теперь там... там! — Следующие пять минут ее палец преследовал его. — Я слышу, как ты мнешь травинки, топчешь цветы, ломаешь сучки. У меня такие уши, такие чуткие, словно розовый лепесток. Я даже слышу, как движутся звезды на небе!

Он втихомолку удрал за сосны, и оттуда донесся голос:

— А вот попробуй услышать, как я буду сидеть на камне! Буду сидеть — и все!

Весь день он просидел неподвижно на камне, на видном месте, на сухом ветру, боясь даже рот открыть.

Собирая хворост в чаше, Старуха чувствовала, как его взгляд зверьком юлит по ее спине. Ее так и подмывало крикнуть: «Вижу тебя, вижу! Не бывает невидимых мальчиков, я просто выдумала! Вон ты сидишь!» Но она подавляла свою злость, крепко держала себя в руках.

На следующее утро мальчишка стал безобразничать. Он внезапно выскакивал из-за деревьев. Он корчил рожи — лягушачьи, жабы, паучьи: оттягивал губы вниз пальцами, выпучивал свои нахальные глаза, сплющивал нос так, что загляни — и увидишь мозг, все мысли прочтешь.

Один раз Старуха уронила вязанку хвороста. Пришлось сделать вид, будто испугалась сойки.

Мальчишка сделал такое движение, словно решил ее задуть.

Она вздрогнула.

Он притворился, будто хочет дать ей ногой под колено и плюнуть в лицо.

Она все вынесла, даже глазом не моргнула, бровью не подела.

Он высунул язык, издавая странные, противные звуки. Он шевелил своими большими ушами, так что нестерпимо хотелось смеяться, и в конце концов она не удержалась, но тут же объяснила:

— Надо же, на саламандру села, дура старая! И до чего колючая!

К полудню вся эта кутерьма достигла опасного предела.

Ровно в полдень Чарли примчался откуда-то сверху совершенно голый, в чем мать родила!

Старуха едва не шлепнулась навзничь от ужаса!

«Чарли!» — чуть не вскричала она.

Чарли взбежал нагишом вверх по склону, нагишом сбежал вниз, нагой, как день, нагой, как луна, голый, как солнце, как цыпленок только что из яйца, и ноги его мелькали, будто крылья летящего над землей колибри.

У старухи отнялся язык. Что сказать ему? Оденься, Чарли? Как тебе не стыдно? Перестань безобразничать? Сказать так? Ох, Чарли, Господи, Боже мой, Чарли... Сказать и выдать себя? Как тут быть?..

Вот он пляшет на скале, голый, словно только что на свет явился, и топаёт босыми пятками, и хлопает себя по коленям, то выпятит, то втянет свой белый живот, как в цирке воздушный шар надувают.

Она зажмурилась и стала читать молитву.

Три часа это длилось, наконец она не выдержала:

— Чарли, Чарли, иди же сюда! Я тебе что-то скажу!

Он спорхнул к ней, точно лист с дерева,— слава Богу, одетый.

— Чарли,— сказала она, глядя на сосны,— я вижу палец твоей правой ноги. Вот он!

— Правда видишь? — спросил он.

— Да,— сокрушенно подтвердила она.— Вон, на траве, похож на рогатую лягушку. А вот там, вверху, твое левое ухо висит в воздухе — совсем как розовая бабочка.

Чарли заплясал.

— Появился, появился!

Старуха кивнула.

— А вон твоя щиколотка показалась.

— Верни мне обе ноги! — приказал Чарли.

— Получай.

— А руки, руки как?

— Вижу, вижу: одна ползет по колену, словно паук коси-коси-ножка!

— А вторая?

— Тоже ползет.

— А тело у меня есть?

— Уже проступает, все как надо...

— Теперь верни мне голову, и я пойду домой.

«Домой»,— тоскливо подумала Старуха.

— Нет! — упрямо, сердито крикнула она.— Нет у тебя головы! Нету!

Оттянуть, сколько можно оттянуть эту минуту...

— Нету головы, нету,— твердила она.

— Совсем нет? — заныл Чарли.

— Есть, есть, о Господи, вернулась твоя паршивая голова! — огрызнулась она, сдаваясь.— А теперь отдай мне мою летучую мышь с иголкой в глазу!

Чарли швырнул ей мышь.

— Эге-гей!

Его крик раскатился по всей долине, и еще долго после того, как он умчался домой, в горах бесновалось эхо.

Старуха, согнутая тяжелой, тупой усталостью, подняла свою вязанку хвороста и побрела к лачуге. Она вздыхала и что-то бормотала себе под нос, и всю дорогу за ней шел Чарли, теперь уже и в самом деле невидимый, она не видела его, только слышала: вот упала на землю сосновая шишка — это он, вот журчит под ногами подземный поток — это он, белка цепляется за ветку — это Чарли; и в сумерках она и Чарли сидели вместе у костра, только он был настоящим невидимкой, и она угощала его свиной, но он отказывался, тогда она все съела сама, потом немного поколдовала и уснула рядом с Чарли, правда, он был сделан из сучьев, тряпок и камешков, но все равно он теплый, все равно ее родимый сыночек — вон как сладко дремлет, ненаглядный, у нее на руках, материнских руках,— и они говорили, сонно говорили о чем-то приятном, о чем-то золотистом, пока рассвет не заставил пламя медленно, медленно поблекнуть...

Попрыгунчик

За окном маячило холодное серое утро.

Стоя у подоконника, он так и сяк вертел Попрыгунчика в руках, пытаюсь открыть заржавевшую крышку,— та все не поддавалась. Где же этот чертик, почему не выскакивает с криком из своего убежища, не хлопает бархатными ладошками и не раскачивается из стороны в сторону с глупой намалеванной улыбкой? Сидит, затаился, весь расплющенный, под крышкой — и не шевелится. Если прижать коробку прямо к уху, слышно, как сильно сжата его пружина — до ужаса, до боли. Словно в руке бьется чье-то испуганное сердечко. А может, это у самого Эдвина пульсирует в руке кровь?

Он отложил коробку и посмотрел в окно. Деревья окружа-ли дом — а дом окружал Эдвина. Эдвин был внутри, в самой серединке. А что же дальше, там, за деревьями?

Чем дальше он вглядывался, тем сильнее верхушки деревь-ев качались от ветра — словно намеренно скрывая от него правду.

— Эдвин! — За его спиной мама нетерпеливо отхлебывала утренний кофе. — Хватит глазеть в окно. Иди есть.

— Не пойду...

— Что? — Послышался шорох накрахмаленной ткани — на-верное, мать повернулась. — Ты хочешь сказать, окно для тебя важнее, чем завтрак?

— Да... — прошептал Эдвин, и взгляд его снова пробежал по тропинкам и закоулкам, исхоженным за тринадцать лет.

Неужели этот лес простирается на тысячи миль и за ним ничего нет? Ничего!..

Взор, так ни за что и не зацепившись, вернулся к дому — к лужайке, к крыльцу...

Эдвин сел за стол и принялся жевать безвкусные абрико-сы. Тысячи точно таких же утренних часов провели они с ма-терью в огромной, гулкой столовой — за этим же столом, у ётого окна, за которым недвижимой стеной стояли деревья.

Некоторое время ели молча.

Щеки матери были, как всегда, бледны. Обычно никто, кроме птиц, не видел ее, когда она мелькала в полукруглых окнах пятого этажа старинного особняка — сначала в шесть утра, потом — в четыре дня, потом — в девять вечера и наконец — в полночь, когда она удалялась в свою башню и сидела там — белая, молчаливая и величественная, будто одинокий цветок, чудом уцелевший в давно заброшенной оранжерее.

Эдвин же, ее сын, казался хрупким одуванчиком, готовым облететь от любого порыва ветра. У него были шелковистые волосы, синие глаза и вечно повышенная температура. Из-можденный взгляд наводил на мысль о том, что он плохо спит ночами. Про таких говорят: плюнешь — пополам переломится.

Мать снова завела разговор — сначала вкрадчиво и медлен-но, потом быстрее, а потом и вовсе перешла в крик:

— Ну скажи, почему каждое утро повторяется одно и то же? Мне вовсе не по душе, что ты все время тарщишься в окно, понятно? Чего ты добиваешься? Ты что, хочешь увидеть их? — Пальцы ее дрожали, как белые лепестки цветка, — даже в гневе она была умопомрачительно хороша. — Этих Тварей, которые бегают по дорогам и давят людей, точно тараканов?

Да, он с удовольствием посмотрел бы на монстров во всей их красе.

— Может, хочешь пойти туда? — Голос ее снова сорвался в крик. — Как твой отец, когда тебя еще не было, да? Пойти — и чтобы одна из Тварей тебя угробила, этого ты хочешь?

— Нет...

— Неужели тебе мало того, что они убили твоего отца? Да как ты вообще можешь вспоминать об этих чудовищах! — Мать кивнула в сторону леса. — Впрочем, если так уж не терпится умереть — давай, иди!

Она замолкла, и только ее пальцы, словно сами по себе, продолжали теревить скатерть.

— Ах, Эдвин, Эдвин... твой отец выстроил по кирпичику весь этот Мир, такой прекрасный... Неужели тебе этого мало? Поверь мне: ничего, ничего нет за этими деревьями — одна только гибель. И не смей к ним приближаться! Заруби себе на носу: для тебя есть только один Мир. Никакой другой тебе не нужен.

Он понуро кивнул.

— А тепер улыбнись и доедай, — сказала мама.

Эдвин продолжал медленно жевать, но даже в серебряной ложке отражалось окно и стена деревьев за ним.

— Ма... — Вопрос застрял на языке и никак не хотел срываться. — А что... а как это — умереть? Вот ты говоришь — гибель. Что это, какое-то чувство?

— Да. Для тех, кто остается жить, — да. И весьма неприятное. — Мать вдруг резко поднялась из-за стола. — Ты опоздаешь в школу. Давай-ка, бегом!

Эдвин поцеловал ее на прощанье и сгреб под мышку книги.

— Пока!

— Привет учительнице!

Он пулей вылетел из комнаты и помчался вверх по бесконечным лестницам, коридорам, залам, по затемненной галерее, в которую через высокие окна низвергались водопады света... Все выше и выше — сквозь толщу слоеного торта из Миров, густо устеленного глазурью персидских ковров и увенчанного праздничными свечами.

С верхней ступеньки он окинул взглядом все четыре уровня их домашней вселенной.

В Долине — кухня, столовая, гостиная. Два слоя в серединке — империи музыки, игр, картин и запретных комнат. И на самой верхотуре, на Холмах — Эдвин огляделся вокруг — мир, мир приключений, пикников и учебы.

Вот такая у них была вселенная. Отец (или Бог, как часто называла его мама) возвел эту громадину давным-давно, по-

крыв ее изнутри слоем штукатурки и обклеив обоями. Это было неподражаемое творение Бога-отца, где звезды послушно зажигались, стоило только шелкнуть выключателем. А солнце здесь было мамой. Точнее, мама была солнцем, вокруг которого все вращалось. И сам Эдвин был лишь крохотным метеором, который плутал в пространстве ковров и гобеленов, путался в лестницах — закрученных, как хвосты комет.

Иногда они с матерью устраивали пикники на Холмах. Застилали прохладным и белоснежным (почти что снежным) бельем туфовые и ковровые лужайки. Поднимались на багряные высокогорные плато на самой вершине, где за их пирушками понуро наблюдали желтолицые незнакомцы с осыпающихся портретов. Откручивали серебряные краны в потайных кафельных нишах и набирали воду. Задорно разбивали бокалы прямо о каминную плиту. Играли в прятки в таинственных и незнакомых пределах, где можно было завернуться, как мумия, в бархатную штору или забраться под чехол какого-нибудь дивана.

Вековая пыль и эхо царили в этом царстве, полном темных чуланов. Однажды Эдвин даже потерялся там, но мама нашла его и привела, плачущего, обратно вниз, в гостиную, где так знакомо серебрились в воздухе подсвеченные солнцем пылинки...

Он миновал еще один этаж.

Здесь ему приходилось стучаться в тысячи и тысячи дверей — запертых и запретных. Здесь он часто бродил среди полотен, с которых молча зывали к нему златоглазые персонажи Пикассо и Дали.

— Вот такие существа живут там, — говорила ему мама, представляя Пикассо и Дали едва не как членов одной семьи.

Пробегая мимо картин, Эдвин показал им язык.

И вдруг он невольно остановил бег.

Одна из запретных дверей оказалась приоткрытой.

Оттуда заманчиво пробивались теплые косые лучи. Заглянув в щель, Эдвин увидел залитую солнцем винтовую лестницу.

Кругом стояла такая тишина, что можно было слышать собственное прерывистое дыхание. Все эти годы он дергал запретные двери за ручки — вдруг какая-нибудь поддастся, — но они всегда были заперты. А что, если сейчас открыть эту дверь и подняться по лестнице? А вдруг наверху прячется какое-нибудь чудище?

— Эй!

Голос его кругами поднялся вверх.

«Эй...» — лениво отозвалось эхо где-то в самой солнечной вышине и замерло.

Эдвин вошел.

— Пожалуйста, не бейте меня,— прошептал он, задрвав голову кверху.

Шаг за шагом, ступенька за ступенькой он стал подниматься, то и дело останавливаясь и ожидая возмездия, зажмурив глаза, словно кающийся грешник. Затем побежал быстрее — вверх и вверх по спирали, и все бежал и бежал, хотя уже болели колени, срывалось дыхание, а голова гудела, как колокол. И вот он приблизился к зловещей вершине своего пути, вот он стоит на верхней площадке какой-то башни и купается в солнечных лучах...

Солнце нещадно слепило глаза. Никогда еще ему не приходилось видеть так много солнца. Эдвин оперся о железную ограду.

— Вот оно! — Он задохнулся от восторга и глянул по сторонам.— Вот оно! — Он обежал по кругу всю площадку.— Оно там есть!

Так вот что пряталось за сумрачной стеной деревьев! Вот что скрывали всклокоченные ветром кроны каштанов и вязов!

Он увидел целые просторы, поросшие зеленой травой и деревьями. И еще какие-то белые ленты, по которым ползут черные жуки... Другой мир — такой бесконечный, такой непостижимо голубой, что Эдвину хотелось кричать.

Вцепившись изо всех сил в перила, он смотрел и смотрел на деревья и за деревья, на белые ленты, по которым ползли жуки, а там, дальше, возвышались какие-то штуки, похожие на гигантские пальцы... На высоких белых шестах развевались по ветру красно-бело-синие носовые платки. Все было совсем не такое, как на картинах Пикассо и Дали. Ничего уродливого и ужасного...

Эдвин вдруг ощутил приступ дурноты. Потом еще один.

Тогда он что есть силы бросился обратно и почти что кубарем скатился по ступенькам. Захлопнув за собой запретную дверь, навалился на нее всем телом.

«Теперь я ослепну! — Он прижал ладони к глазам.— Не надо было на это смотреть! Не надо!»

Эдвин опустился на колени, затем лег прямо на пол и сжался в комочек, прикрыв голову руками. Ждать осталось совсем немного — сейчас он должен ослепнуть.

Через пять минут он уже стоял у обычного окна на Холмах и в который раз разглядывал знакомый Мир — сад.

Вот вязы и кусты орешника, вот каменная стена, а за ней другая — нескончаемая стена из леса, за которой таится загадочное и ужасное Нечто. Нечто, навсегда погруженное в ту-

ман, дождь и темноту... Теперь он знает, что оно не такое. вселенная не кончается сразу за этим лесом. Есть и другие миры — кроме тех, что находятся на Холмах и в Долине.

Эдвин снова подергал запретную дверь. Заперто.

Может, ему все померещилось? Видел ли он на самом деле голубую с зеленым комнату? И заметил ли его Бог?

От этой мысли Эдвина бросило в дрожь. Бог... Тот самый Бог, что курил загадочную черную трубку и ходил, опираясь на волшебную палочку. Этот Бог, может быть, и сейчас всю за ним наблюдает!

Эдвин дотронулся похолодевшими пальцами до лица.

— Я вижу. Я до сих пор вижу! Спасибо, спасибо! — горячо прошептал он.

В полдесятого, с опозданием ровно на час, он постучал в дверь школы.

— Доброе утро, Учительница!

Дверь распахнулась. За ней стояла Учительница, одетая в серую монашескую мантию — лицо ее было наполовину скрыто капюшоном. На носу, как всегда, поблескивали очки в серебряной оправе. Рукой в серой перчатке она поманила Эдвина внутрь.

— Ты опоздал.

За ней, освещенная ярким пламенем, лежала страна книг. Стены здесь, вместо кирпичей, были сложены из энциклопедий, а камин был такой огромный, что Эдвин смог бы спокойно выпрямиться в нем во весь рост. Сейчас там жарко горело большое полено.

Дверь закрылась, замыкая этот мир уюта и тепла. Здесь стоял письменный стол, за которым когда-то сидел Бог. На полу лежал ковер, по которому Бог так часто ходил, набивая трубку. Хмуро выглядывал вот в это окно из цветного стекла. Все, даже запах — смесь аромата полированного дерева, табака, кожи и серебряных монет, — напоминало здесь о Боге. Арфовые переливы учительского голоса воспевали его и прошлые времена, когда по велению Бога Мир пошатнулся, вздрогнул до самого основания, а затем Божьей рукой, по блестящему Божьему замыслу был выстроен заново. Драгоценные отпечатки Божьих перстов все еще лежали нерастаявшим снегом на отточенных им когда-то карандашах — теперь они были выставлены в стеклянной витрине. Трогать их запрещалось строго-престрого, как будто от этого отпечатки могли растаять.

Здесь, на Холмах, вкрадчивый голос Учительницы рассказывал Эдвину, к чему надлежит готовить свою душу и тело.

Ему предстояло вырасти и стать достойным славы и призывного гласа Божьего. И когда это случится, то он — большой и величественный — сам встанет у этого окна. Он будет Богом! И тогда уж по-хозяйски сдует пыль со всех своих Миров.

Да, он будет Богом. Ничто не в силах этому помешать. Ни небо, ни лес, ни то, что за лесом.

Учительница сделала несколько бесшумных шагов по комнате — так тихо, словно была бестелесной.

— Почему ты опоздал, Эдвин? — спросила она.

— Не знаю...

— Еще раз тебя спрашиваю — почему ты опоздал, Эдвин?

— Там... Там была открыта одна из запретных дверей...

До него доносился легкий посвист ее дыхания. Медленно повернувшись, Учительница опустилась в глубокое кресло. Стекла очков блеснули последний раз — затем ее поглотил сумрак. Но Эдвин все равно чувствовал, как она пристально смотрит на него из полутьмы. Голос ее показался ему каким-то чужим — такое бывает, когда криком пытаешься стряхнуть с себя страшный сон.

— Какая из дверей? Где? Они ведь должны быть закрыты — все до одной!

— Там, где висят картины Дали и Пикассо, — ответил Эдвин, весь холодея внутри. Они всегда были друзьями с Учительницей. Неужели теперь их дружбе конец? Неужели он все испортил? — Я поднялся по лестнице. Я не мог удержаться, не мог! Простите меня. Не говорите маме, прошу вас!

Учительница затаенно смотрела на него из недр своего кресла, из недр своего капюшона. На очках ее изредка проблескивали желтые огоньки.

— И что же ты там увидел? — шепотом спросила она.

— Огромную голубую комнату!

— Неужели?

— Голубую и зеленую, и еще белые ленты, а по ним ползают какие-то жучки... Но я почти сразу пошел обратно, правда, правда! Я вам клянусь!

— Зеленую комнату, значит. И ленты, и по ним бегают жучки. Так... — сказала она голосом, навевающим грусть.

Эдвин потянулся, чтобы взять Учительницу за руку, но рука, точно змея, скользнула сначала к ней на колени, а потом — куда-то в темноту, к груди.

— Честно, я сразу же побежал вниз, закрыл за собой дверь... Я больше никогда, никогда... — захлебываясь, закричал Эдвин.

Учительница говорила теперь так тихо, что он едва разобрал слова.

— Ну вот, теперь, когда ты все увидел, ты захочешь видеть еще больше и будешь совать во все свой нос. — Капюшон мерно заколыхался вперед — назад. Затем из глубины его прозвучал новый вопрос: — А тебе... тебе понравилось то, что ты увидел?

— Я испугался. Слишком уж она большая.

— Да-да, большая. Слишком большая. Просто огромная, Эдвин. Не то что в нашем мире. Большая, зловещая, бескрайняя... И зачем ты только туда пошел! Ты же знал, знал, что нельзя!

Пламя успело ярко полыхнуть и погаснуть, пока он собирался с ответом, и наконец Учительница поняла, что он просто растерян.

— А может, это все она? Мама? — тихо, одними губами прошептала она.

— Не знаю!

— Она что — нервная, злобная, невыдержанная? Может быть, она слишком строга с тобой? Может, тебе нужно время, чтобы побыть одному? А? Скажи, нужно?

— Да!.. — вырвалось у Эдвина прямо из груди, и его вдруг задушили рыдания.

— Скажи, поэтому ты сбежал — потому что она хочет отнять все твоё время, все твои мысли, да? — Голос Учительницы звучал растерянно и как-то печально. — Скажи мне...

Ладони его стали липкими от слез.

— Да, да! — Эдвин в отчаянии кусал костяшки пальцев. — Да!

Наверное, нельзя было в этом признаваться, но ведь не он произносил слова — Учительница сказала их за него сама, а ему ничего не оставалось делать, как глупо кивать и соглашаться и грызть костяшки пальцев, пытаясь сдержать вырывающийся плач.

Ей ведь миллион лет.

— Мы учимся... — устало промолвила она. Потом поднялась с кресла и, покачивая серым колоколом платья, подошла к письменному столу и принялась шарить по нему затянутой в перчатку рукой в поисках бумаги и ручки. — Боже, до чего же медленно мы учимся, какими муками нам это дается! Мы думаем, что поступки наши праведны, а ведь все время, все время мы уничтожаем Замысел... — Она со свистом вздохнула и вдруг вскинула голову. Эдвину показалось, что серый капюшон пуст изнутри — что там вовсе нет ее лица.

Учительница написала что-то на листке бумаги.

— Передай это матери. Здесь написано, что каждый день ты должен иметь свое личное время — не меньше двух часов, — которое ты можешь проводить где и как тебе вздумается. Где угодно. Но только не там. Ты понял?

— Да, — Эдвин вытер лицо. — Но...

— Продолжай, продолжай.

— Скажите, мама меня обманывает, когда говорит, что там полно Тварей?

— Посмотри мне в глаза, Эдвин! Я всегда была твоим другом. Я никогда не била тебя — в отличие от матери, которой, наверное, приходилось изредка это делать. Но так или иначе, и я, и она хотим помочь тебе вырасти. Вырасти и не погибнуть — как в свое время погиб наш Бог.

Учительница поднялась, и капюшон слегка сдвинулся с ее лица, так что при свете пламени стали отчетливо видны его черты. Коварный огонь тут же впился в каждую из множества глубоких и мелких морщинок.

У Эдвина перехватило дыхание. Сердце бешено застучало.

— Огонь!

Учительница замерла.

— Огонь! — Он бросил взгляд на огонь, а затем перевел его на лицо Учительницы. Капюшон дернулся под этим взглядом, и лицо снова потонуло в темноте. — Ваше лицо... — цепenea, проговорил Эдвин. — Вы похожи на маму!

Проворно подбежав к полкам, Учительница выхватила книгу и, обращаясь к корешкам книг, пропела высоким будничным голосом:

— Женщины часто похожи между собой! Забудем об этом! Вот, вот! — Она протянула ему книгу. — Читай первую главу! Читай дневник!

Он взял книгу, но не почувствовал в руках ее веса. Яркий огонь с гудением полыхал в камине, уносясь в дымоход.

Когда Эдвин начал читать, Учительница снова устроилась в кресле и притихла. Постепенно она совсем успокоилась, и только серый капюшон медленно кивал в такт чтению.

На золотых тисненых переплетах играли отблески пламени. Читая, Эдвин на самом деле думал о них — об этих книгах, из которых местами были вырезаны бритвой страницы, выцарапаны строчки или вырваны рисунки. Кожаные пасти некоторых книг были заклеены, как будто им не давали говорить. На другие были надеты бронзовые застёжки — словно намордники на бешеных псов. Вот о чем он думал, пока его губы сами собой произносили слова.

— Вначале был Бог. Который создал вселенную и Миры внутри вселенной, Континенты внутри Миров и Страны внутри Континентов... Разумом и руками сотворил он себе возлюбленную жену и дитя... Дитя, которое потом тоже станет Богом...

Учительница медленно кивала головой. Огонь в камине сначала горел, а потом превратился в тлеющие угли. Эдвин все читал и читал...

Съехав по перилам, Эдвин ворвался в гостиную.

— Ма! Ма!

Тяжело дыша (словно после быстрой ходьбы), мать лежала в пухлом бордовом кресле.

— Ма, ты же вся мокрая!

— Неужели? — спросила она таким тоном, будто это из-за него ей пришлось сносить лишения. — Ну да, да. — Она глубоко и шумно вздохнула. Затем взяла его руки в свои и по очереди их поцеловала. — А теперь вот что: у меня для тебя есть сюрприз! — сказала она, заговорщицки вытаращив на него глаза. — Знаешь, что будет завтра? Ни за что не догадаешься! Твой день рождения!

— Но прошло же только десять месяцев!

— И все равно — завтра! Помнишь, я тебе говорила, что на свете случаются чудеса? А если я что-нибудь говорю, то это так и есть, мой мальчик.

Она засмеялась.

— И мы откроем еще одну секретную комнату? — изумился он.

— Ну да, четырнадцатую! А в следующем году — пятнадцатую, а потом — шестнадцатую и так до тех пор, пока тебе не исполнится двадцать один. Да-да, Эдвин! И тогда мы откроем тебе тройную дверь в самую важную комнату, и ты станешь Хозяином, Отцом, Богом, Правителем всей вселенной!

— Ура! — воскликнул Эдвин. И еще раз: — Ура!

После этого он подбросил в воздух свои книжки, и те разлетелись, хлопая страницами, как стайка вспугнутых голубей. Эдвин захохотал. Мама засмеялась тоже... Но книги быстро упали и будто придавили смех. Тогда Эдвин снова бросился вниз по перилам, оглашая лестницу воплями.

Мать стояла внизу, у подножия, и ждала его с широко распростертыми объятиями.

Эдвин лежал на освещенной лунным светом кровати и задумчиво вертел в руках Попрыгунчика. Он даже не видел его — пальцы двигались на ощупь. Крышка все не открывалась.

Надо же, завтра у него день рождения. Но почему? Что, он так уж хорошо себя вел? Да нет. Почему же тогда день рождения будет раньше?

Потому что все... как бы это сказать... всполошилось? Ничего не понять, не разобрать — словно все время темнота и этот мерцающий лунный свет. И у матери такой странный вид — будто невидимая снежная вуаль на лице. Наверное, для нее этот праздник тоже вроде спасения.

— Теперь, — сказал Эдвин, обращаясь к потолку, — все мои дни рождения пойдут быстрее. Это уж наверняка. Мама так смеялась вместе со мной, и глаза у нее так блестели...

Интересно, а пригласят ли на праздник Учительницу? Скорее всего, нет. Ведь мама и Учительница даже не знакомы. «Но почему?» — спрашивал Эдвин. «А вот потому», — отвечала мама. «А вы разве не хотите познакомиться с моей мамой, Учительница?» — «Как-нибудь потом... — почти шепотом отвечала та — словно сдувала с губ невидимую паутину. — Как-нибудь... потом...»

А куда же Учительница уходит на ночь? Может, она проходит сквозь все тайные горные пределы и поднимается вверх, к самой луне, где только пыльные, никому не нужные канделябры? А может, она идет ночью за деревья, которые растут за другими деревьями — теми, которые растут еще за другими деревьями? Ну нет, это уж вряд ли!

Вспотевшие пальцы продолжали вертеть игрушку.

А в прошлом году, когда начались всякие непонятности... Тогда ведь мама тоже передвинула день рождения на несколько месяцев назад. Да-да-да, так оно и было.

Лучше подумать о чем-нибудь другом. Например, о Боге. О Боге, который выстроил погруженный в вечную ночь подвал и залитую солнцем мансарду — и все остальное, что лежит между ними. О Боге, который погиб, раздавленный страшным жуком, — там, за стеной. Наверное, все Миры тогда содрогнулись!

Эдвин поднес Попрыгунчика к самому носу и зашептал под крышку:

— Эй! Привет! Привет, привет...

Никакого ответа — только напряженное молчание сдавленной пружины.

Нет уж, хватит! Все равно я тебя вытащу. Погоди только, немножко погоди. Может, это и больно — но по-другому никак не получается. Сейчас...

Эдвин вылез из кровати и подошел к окну. Высунувшись чуть ли не по пояс, он посмотрел вниз, на мерцающую в лунном свете мраморную дорожку. Затем поднял коробку высоко

над головой... Он сжимал ее так крепко, что занемели пальцы, а по ребрам, щекоча, сбегала струйка пота. Наконец, с криком разжав руку, Эдвин выбросил шкатулку из окна. Было видно, как она, кувыряясь, полетела вниз — и летела долго-долго, пока наконец не ударилась о мраморный тротуар.

Эдвин высунулся из окна еще больше, тяжело дыша и изо всех сил глядя в кружевную тень деревьев на земле.

— Ну, где ты? — выкрикнул он. — Где? Эй, ты!

Эхо его голоса растаяло вдалеке. Коробка с Попрыгунчиком лежала внизу. Эдвин так и не смог разглядеть — раскрылась она от удара или нет, вырвался ли наружу улыбающийся чертик? Если ему удалось выбраться из своего заточения, то, наверное, сейчас он раскачивается туда-сюда, туда-сюда, и должны звенеть его серебряные колокольчики...

Эдвин прислушался. Ничего. Целый час он глядел в темноту, пока вконец не устал и не лег снова.

Утро. Повсюду, а особенно в Кухонном Мире, слышны радостные голоса. Эдвин открыл глаза. Чьи же это голоса — чьи они могут быть? Каких-нибудь работников Бога? Или персонажей Дали? Но ведь мама не любит их... Голоса слились в общий гул и растаяли. Наступила тишина. А потом откуда-то издалека стали приближаться — все ближе, все громче, и еще громче — и наконец распахнулась дверь.

— С днем рождения!

Они танцевали, хрустели белоснежными пирожными, жмурясь, откусывали лимонное мороженое и запивали его розовым вином. На праздничном, усыпанном белой пудрой торте красовалось имя Эдвина. Мать садилась за пианино и, извлекая из него целую лавину звуков, пела веселые песни. Потом хватала Эдвина и тащила его куда-то еще, чтобы есть там клубнику, и опять пить вино, и смеяться — так громко, что дрожали канделябры. Наконец дело дошло до серебряного ключика, которым им предстояло отпереть четырнадцатую запретную дверь.

— Приготовились! Давай!

Дверь с шипением уехала прямо в стену.

— Ой! — невольно вырвалось у Эдвина.

Слишком уж трудно ему было скрыть разочарование: четырнадцатая комната оказалась обыкновенным пыльным чуланом. Разве такие комнаты открывались перед ним на прошлых годовщинах!..

На шестой день рождения ему подарили учебную комнату на Холмах. На седьмой — игровую комнату в Долине. На восьмой — музыкальный класс. На девятый — чудо-кухню с алским синим огнем. В десятой комнате шипели патефоны и

фонографы, изредка завывая какую-нибудь мелодию — словно сонм призраков на прогулке. Одиннадцатая была алмазной комнатой — садом, где на полу лежал зеленый ковер, который не подметали, а подстригали.

— Не спеши огорчаться, лучше пошли! — Мать со смехом подтолкнула его в комнату-чулан. — Сейчас увидишь, что будет! Закрывай дверь!

Она нажала какую-то кнопку в стене — и кнопка сразу зазвучала.

Эдвин пронзительно закричал:

— Не-е-т!

Комната закачалась, загудела и клацнула дверьми, словно железными челюстями, поглотив Эдвина с мамой в свое чрево. Затем стена поехала вниз, а сама комнатка — вверх.

— Тише, моя радость, не бойся, — сказала мама.

Дверь уже скрылась внизу, и теперь мимо проплывала голая стена — словно длиннющая шипящая змея с темными пятнами дверей. Одни двери... другие двери... третьи...

Комната все двигалась, а Эдвин все кричал и изо всех сил сжимал руку матери. Наконец чулан остановился и задрожал, словно прочищая горло перед тем, как их выплюнуть. Эдвин замолчал и тупо уставился на очередную дверь, а между тем мать сказала, что пора выходить. Дверь открылась.

Что же за тайна хранится за ней? Эдвин зажмурился.

— О-о-о! Холмы! Это же Холмы! Как мы тут оказались? Где же гостиная, а, мам? Где теперь гостиная?

Она вывела его из чулана.

— Мы просто подпрыгнули высоко вверх, прилетели. Теперь один раз в неделю ты будешь летать в школу, а не бегать, как всегда, по лестницам!

Эдвин был не в силах даже пошевелиться, замороженный этим новым чудом: страны сменяют одна другую, только что была нижняя, теперь — верхняя...

— Мамочка, мама! — только и смог воскликнуть он.

Потом они вышли в сад и долго валялись в густой траве, с наслаждением потягивая из чашек яблочный сидр. Под локти они подложили красные шелковые подушки, а босые ноги вытянули прямо в гущу клевера и одуванчиков. Временами мать вздрагивала, услышав доносящееся из-за леса рычание Тварей. Тогда Эдвин наклонялся и ласково целовал ее в щеку:

— Не бойся, я тебя защищу.

— Конечно, защитишь, — отвечала она, но сама с подерзанием косилась на деревья — как будто лес мог в любую секунду исчезнуть, снесенный неведомой титанической силой.

День уже клонился к вечеру, когда высоко в голубом небе, в просвете между деревьями они увидели странную блестящую птицу, которая летела с оглушительным ревом. Тогда, пригнув головы, словно во время грозы, они стремглав побежали в гостиную.

Ну вот. Хрум-хрум — и от дня рождения осталась лишь пустая целлофановая обертка. Солнце зашло, в гостиную прокрался сумрак. Мама теперь пила шампанское, вдыхая его тонкими ноздрями, а потом припадая к бокалу бледным, как роза, ртом. Еще немного — и она погонит Эдвина спать. Так и случилось: Вялая и сонная, она проводила его до спальни и закрыла дверь.

Эдвин медленно раздевался — словно разыгрывал какую-то мимическую пьесу — и при этом непрерывно думал. Что будет в следующем году? А через два года, а через три? И что же это за чудовища — Твари? Он знает: Бог был убит, раздавлен. Но что, что было убито? Что такое смерть — некое чувство? Значит, Богу оно понравилось, раз он не вернулся... А может, смерть — это какое-то путешествие?

Спускаясь по лестнице в холл, мама разбила бутылку шампанского. От этого звука Эдвина бросило в жар — почему-то он представил, что упала сама мать. Упала и разбилась на тысячи и миллионы осколков. Утром он найдет лишь прозрачные стекляшки да разбрызганное по паркету вино...

Утро пахло виноградными лозами и мхом. В занавешенной комнате царил приятная прохлада. Наверное, внизу уже готов завтрак. Стоит только щелкнуть пальцами — и он тут же появится на белоснежной скатерти.

Эдвин встал, умылся и оделся. Ожидание нового дня было приятным. Теперь по крайней мере месяц он будет чувствовать эту новизну и свежесть. Сегодня, как обычно, он позавтракает, потом пойдет в школу, потом пообедает, потом будет петь в музыкальном классе, потом два часа играть в электронные игры. Затем его ждет чай на Природе, на сверкающей траве, после чего он снова вернется в школу. Вместе с Учительницей они станут рыскать по истерзанной цензурой библиотеке, и Эдвин будет, как всегда, ломать голову над всякими подозрительными словечками, случайно уцелевшими после цензоров. Ведь думать и размышлять о том, что же такое там, за лесом, уже вошло у него в привычку...

Ах да, он забыл передать маме записку от Учительницы...

Эдвин выглянул в холл. Там никого не было. Везде — в нижних Мирах и в верхних — стояла такая тишина, что казалось: в воздухе звенят пылинки. Ни случайного звука шагов,

ни переливов воды в фонтане. Даже перила в утренней дымке представляли в виде какого-то доисторического чудовища. Решив на всякий случай с ним не связываться, Эдвин на всех парусах полетел разыскивать маму.

Надо же — ее здесь нет...

С криками бежал он по безмолвным Мирам:

— Мама! Мама!

Он обнаружил ее в гостиной — мать лежала, свернувшись, на полу в своем золотисто-зеленом праздничном платье. В руке она сжимала бокал для шампанского, рядом на ковре валялись бутылочные осколки.

Похоже, она спала. Эдвин сел за волшебный обеденный стол. На белой скатерти сверкала пустая посуда. Ничего съестного. Странно: сколько он себя помнил, за этим столом его всегда ждала чудесная еда. А сегодня...

— Мама, проснись! — Он подбежал к ней. — Мне нужно идти в школу? Где еда? Ну проснись же!

Он бросился вверх по ступенькам.

На Холмах царил холод и полумрак — почему-то в этот пасмурный день с потолков не светили белые стеклянные солнца. Эдвин что есть сил бежал по коридорам, миновал континенты и страны, пока не уткнулся в дверь школы. Сколько он ни стучал, никто и не думал ему открывать. Наконец дверь распахнулась сама.

В школе было пусто и темно. Не гудел огонь в камине, отбрасывая яркие блики на сводчатый потолок. Не было слышно ни шороха. Ни звука.

— Учительница! — позвал Эдвин, и голос его гулко отозвался в пустой и холодной комнате.

— Учительница! — еще раз громко крикнул он.

Он рывком раздвинул шторы — сквозь витражи на окнах едва пробивался солнечный свет.

Эдвин взмахнул рукой. Он надеялся, что по его команде огонь разом вспыхнет в камине, лопнув, как зернышко попкорна. А ну, гори!.. Эдвин зажмурился, думая, что вот сейчас должна появиться Учительница. Открыв глаза, он никакой Учительницы не увидел, зато заметил нечто странное, лежащее на ее письменном столе.

Эдвин стоял и ошарашенно разглядывал аккуратно сложенный серый балахон, поверх которого поблескивали стеклами очки и змеилась одна серая перчатка. Там же лежал жирный косметический карандаш. Эдвин потрогал его — и на пальцах остались темные следы.

Не сводя глаз с кучки пустой одежды на столе, Эдвин стал пятиться к стене — к двери, которая раньше всегда была заперта. Когда он нажал на кнопку, дверь лениво отъехала в стену. Заглянув в знакомый чулан, Эдвин на всякий случай крикнул:

— Учительница!

Затем он ворвался туда, дверь с грохотом хлопнулась, и Эдвин нажал на красную кнопку. Комната начала опускаться — и вместе с ней опускался могильный холод этого странного утра. Холод и тишина. Тишина и холод. Учительница — ушла. Мама — уснула.

Комната все ехала и ехала вниз, зажав его своими железными челюстями.

Затем что-то щелкнуло. Дверь отъехала в сторону. Эдвин выбежал наружу.

Гостиная!

Дверь закрылась за ним и сразу слилась с деревянной панелью стены.

Мать все так же лежала на полу и спала.

Вдруг Эдвин заметил под ее свернувшимся телом смятую учительскую перчатку. Взяв ее в руки, он долго стоял и не верил своим глазам, а потом тихонько заплакал.

Но делать было нечего, и Эдвин снова взлетел в чулане наверх, в школу, и застал там прежнюю картину: холодный камин, пустоту и тишину. Он еще немного подождал. Учительница все не появлялась. Тогда он снова помчался вниз, в Долину, и велел столу заполниться вкусным горячим завтраком. Это тоже не помогло.

Что бы он ни делал, ничего у него не получалось. Сколько он ни сидел рядом с матерью, ни просил, ни уговаривал ее проснуться, она не отзывалась и руки ее были холодны как лед.

Тикали часы, за окном двигалось по небу солнце, а мать все лежала и не двигалась. Эдвину страшно хотелось есть, но в пустынном доме шевелились лишь серебристые пылинки, парящие сверху вниз сквозь толщу Миров.

Где же все-таки Учительница? Если ее нет ни в одном из Холмов наверху, значит, она может быть только в одном месте... Наверное, она случайно забрела на Природу и заблудилась. Надо помочь ей. Эдвин пойдет, покричит, найдет ее — и она придет и разбудит маму. Иначе мама так и будет лежать здесь в пыли целую вечность.

Эдвин вышел через кухню наружу. Солнце было уже довольно низко. Где-то за пределами Мира, вдалеке, слышалось тихое жужжание Тварей. Эдвин подошел вплотную к садовой ограде, но заходить за нее не решился.

Вдруг на земле, в тени деревьев он заметил коробку с Попрыгунчиком, которую выбросил прошлой ночью из окна. На разбитой крышке плясали солнечные блики, а из середины торчал сам Попрыгунчик, который наконец-то вырвался из своей тюрьмы. Его тоненькие ручки поднялись и застыли в вечном радостном жесте: «Да здравствует свобода!» Солнце играло на кукольном личике, и от этого Эдвину казалось, что красный рот кривит то улыбка, то гримаса печали.

Как загнипнотизированный, стоял Эдвин над разбитой игрушкой и смотрел, смотрел... Коробка лежала на боку. Бархатные ладошки чертика тянулись вверх и показывали прямо на запретную дорогу, ведущую между деревьями в загадочное туда. Там, в лесу, царил едва уловимый запах машинного масла, которое — он знал — капает из Тварей. Но сейчас, кажется, на дороге было все тихо. Ласково пригревало солнце, ветерок шевелил листву деревьев. И Эдвин решил пойти вдоль каменной ограды.

— Учительница-а... — тихонько позвал он.

Никто не отозвался. Тогда он сделал несколько шагов по дороге.

— Учительница!

Он поскользнулся на кучке, оставленной каким-то животным, и остановился, мучительно вглядываясь в лежащий перед ним коридор из деревьев.

— Учительница!

Эдвин снова двинулся вперед — медленно, неуклонно. Пройдя еще несколько шагов, обернулся. Позади лежал его Мир — такой непривычно затихший... И маленький! Оказывается, он был такой маленький! Мирок, а не мир.

От нахлынувших чувств у Эдвина едва не остановилось сердце. Он невольно шагнул обратно, но потом спохватился, вспомнив о странной, пугающей тишине сегодняшнего утра — и снова зашагал через лес.

Все вокруг было таким новым, таким незнакомым. Запахи, которые так и лезли в ноздри, цвета и очертания предметов, их ошеломляющие размеры...

«Если я найду за эти деревья, я умру, — думал Эдвин, — ведь так говорила мама». «Ты умрешь! Ты умрешь!» — кричала она.

Но что это значит — умру? Все равно что открыть еще одну запретную комнату? Голубую с зеленым комнату — самую большую из тех, что ему приходилось видеть! Только вот где же ключ?

Впереди он увидел огромную железную дверь — сделанную в виде витой решетки. И она была приоткрыта! Ах, мама! Ах, Учительница! Если бы они только видели, какая там пряталась

комната — огромная, как само небо! Вся из зеленой травы и деревьев!

Эдвин стремительно побежал вперед. Споткнулся, упал и снова побежал — и бежал, пока не покатился с какой-то горы — вниз, вниз... Дорога сначала виляла, потом вдруг стала все ровнее и прямее — и Эдвин услышал новые незнакомые звуки. Вот он уже возле ржавой витой решетки. Вот она скрипнула, выпуская его наружу. Вселенная, которую он покинул, осталась далеко позади — да он уже и не оглядывался на те, прежние свои Миры, как будто они растаяли и исчезли. Теперь он только бежал и бежал...

Полицейский, стоя на обочине, оглядывал улицу.

— Ей-богу, не поймешь этих детей, — непонятно к кому обращаясь, сказал он и покачал головой.

— А что такое? — заинтересовался прохожий.

Полицейский нахмурился, обдумывая ответ.

— Да вот, только что пробежал какой-то пацан. Так представляете — бежит, а сам хохочет и вперемешку еще орет. Видели бы вы, как он подпрыгивал — ровно ненормальный какой. И еще хватал все руками — фонарные столбы, телефонные будки, пожарные краны, стекла в витринах, машины, ворота, заборы — словом, все подряд. Собак трогал, прохожих... даже меня схватил за рукав. Схватил — и стоит: то на меня посмотрит, то на небо. А у самого — верите ли — слезы в глазах. И все повторяет и повторяет какую-то чушь. Громко так, аж визжит.

— И что же это была за чушь? — спросил прохожий.

— «Я умер! Я умер!» — вот так прямо и кричал. — Полицейский задумчиво поскреб подбородок. — Видать, какая-то у них новая игра...

Постоялец со второго этажа

Он помнил, как заботливо и со знанием дела бабушка поглаживала холодное разрезанное брюхо цыпленка и вынимала оттуда диковины: влажные блестящие петли кишок, пахнущие мясом, мускулистый комок сердца, желудок с зернышками внутри. Как аккуратно и нежно бабушка вспарывала цыпленка и засовывала внутрь пухлую маленькую ручку, чтобы лишить цыпленка его регалий. Потом все это разделялось, одно попадало в кастрюлю с водой, другое в бумагу — то, что пойдет на корм собакам. А затем ритуальная таксидермия, набивка птицы

пропитанным водой и приправами хлебом, и хирургическая операция, производимая быстрой сверкающей иглой, стежок за стежком.

За одиннадцать лет жизни Дугласа это зрелище было одним из самых захватывающих.

Всего он насчитал двенадцать ножей в скрипучих ящиках магического кухонного стола, откуда бабушка, седовласая старая колдунья с добрым, мягким лицом, вынимала атрибуты для совершения таинства.

Дугласу разрешалось стоять, уткнув веснушчатый нос в край стола, и смотреть, но он обязан был молчать — пустая мальчишеская болтовня могла нарушить чары. Свершалось чудо, когда бабушка размахивала над птицей баночками для приправ, обильно посыпая ее, как подозревал Дуглас, прахом мумий и порошком из костей индейцев, при этом бормоча беззубым ртом таинственные вирши.

— Бабушка, — сказал наконец Дуглас, нарушив тишину, — я такой же внутри? — Он показал на цыпленка.

— Да, — сказала бабушка. — Чутьочку аккуратнее и презентабельнее, но такой же...

— И гораздо больше, — добавил Дуглас, гордясь своими кишками.

— Да, — сказала бабушка. — Гораздо больше.

— А у дедушки их даже больше, чем у меня. Вон у него какой живот — он может класть туда свои локти!

Бабушка засмеялась и покачала головой.

Дуглас сказал:

— И Люси Уильямс, которая живет в конце улицы, она...

— Помолчи, детка! — закричала бабушка.

— Но у нее...

— Тебя не касается, что у нее! Это совсем другое дело.

— А почему у *нее* по-другому?

— Вот прилетит игла-стрекоза и прострочит тебе рот, — строго сказала бабушка.

Дуглас помолчал, потом спросил:

— Откуда ты знаешь, что я внутри такой же, бабушка?

— Ступай отсюда!

Зазвенел дверной колокольчик.

Выбежав в холл, Дуглас через стекло входной двери увидел соломенную шляпу. Колокольчик все брэнчал. Дуглас открыл дверь.

— Доброе утро, деточка, хозяйка дома? — Холодные серые глаза на длинном гладком, цвета ореховой скорлупы, лице смотрели на Дугласа. Человек был высоким, худым, в руках у него были чемодан и портфель, а под мышкой зонтик, на

тонких пальцах дорогие толстые серые перчатки и на голове совершенно новая соломенная шляпа.

Дуглас отступил.

— Она занята.

— Я хотел бы снять комнату наверху, по объявлению.

— У нас десять постояльцев, и все занято, уходите!

— Дуглас! — неожиданно возникла сзади бабушка. — Здравствуйте, — сказала она незнакомцу. — Не обращайтесь внимания на ребенка.

Не улыбаясь, человек чопорно ступил внутрь. Дуглас следил, как они поднялись вверх по лестнице, услышал, как бабушка перечисляла удобства верхней комнаты. Вскоре она поспешила вниз, чтобы нагрузить Дугласа постельным бельем из комода и послать его бегом наверх.

Дуглас остановился у порога. Комната странно изменилась, и только потому, что в ней находился незнакомец. Соломенная шляпа, хрупкая и кошмарная, лежала на кровати, вдоль стены вытянулся застывший зонтик, похожий на дохлую летучую мышь со сложенными темными мокрыми крыльями.

Дуглас моргнул при виде зонтика.

Незнакомец стоял посредине комнаты, высокий-высокий.

— Вот. — Дуглас швырнул на кровать белье. — Мы обедаем ровно в полдень, и, если вы опоздаете, суп остынет. Бабушка так постановила, и так будет каждый раз!

Высокий странный человек отсчитал десять новых оловянных пенсов, и они зазвенели в кармане рубашки Дугласа.

— Мы станем друзьями, — сказал он мрачно.

Смешно, но у этого человека были лишь пенсовики. Много. Ни серебра, ни десятицентовиков, ни двадцатипятипенсовики. Лишь новые оловянные пенни.

Дуглас угрюмо поблагодарил его.

— Я брошу их в копилку, когда поменяю на десятицентовики. У меня шесть долларов пятьдесят центов в десятицентовиках, которые я коплю для августовского путешествия.

— Теперь я должен умыться, — сказал высокий странный человек.

Как-то в полночь Дуглас проснулся от грохота грозы — холодный сильный ветер сотрясал дом, дождь бежал по окну. А потом за окном с глухим, ужасающим треском приземлилась молния. Он вспомнил, как жутко было тогда смотреть на комнату, такую необычную и страшную при мгновенной вспышке.

Так было и теперь, в этой комнате. Он стоял, глядя на незнакомца. А комната была уже не та, она изменилась, по-

тому что этот человек мгновенно, подобно молнии, преобразил ее своим отсветом.

Дуглас медленно отступил, когда незнакомец шагнул вперед.

Дверь захлопнулась перед носом Дугласа.

Деревянная вилка с картофельным пюре поднялась вверх и вернулась обратно пустой. Мистер Коберман — так его звали — принес с собой деревянную вилку и деревянный нож, когда бабушка позвала его обедать.

— Миссис Сполдинг, — тихо сказал он, — это мой собственный столовый прибор, пожалуйста, подавайте его. Сегодня я пообедаю, но с завтрашнего дня я буду только завтракать и ужинать.

Бабушка сновала то туда, то сюда, внося то супницу с дымящимся супом, то бобы, то картофельное пюре, дабы поразить нового постояльца, а Дуглас сидел и постукивал серебряной вилкой по тарелке, так как заметил, что это раздражает мистера Кобермана.

— А я фокус знаю, — сказал Дуглас. — Смотрите.

Он нащупал ногтем зубец вилки. Он тыкал пальцем в различные места на столе, словно волшебник. В том месте, на которое он указывал, раздавался, словно металлический волшебный голос, звук дрожащего зубца вилки. Делалось это, конечно, просто. Он тайком прижимал ручку вилки к столу. Дерево вибрировало, казалось, будто звучит доска. словно совершалось колдовство.

— Там, там и там! — воскликнул счастливо Дуглас, вновь дергая вилку.

Он указал на суп мистера Кобермана, и звук раздался оттуда.

Орехового цвета лицо мистера Кобермана стало твердым, решительным и ужасным. Он в ярости отодвинул чашку с супом, губы у него дрожали. Он откинулся на стуле.

Появилась бабушка:

— Что случилось, мистер Коберман?

— Я не могу есть этот суп.

— Почему?

— Потому что я сыт и не в состоянии больше есть. Благодарю.

Мистер Коберман покинул комнату, сверкая глазами.

— Что ты тут устроил? — резко спросила бабушка Дугласа.

— Ничего. Бабушка, почему он ест *деревянными* приборами?

— Не твое дело! Кстати, когда тебе в школу?

— Через семь недель.

— О Господи, — сказала бабушка.

Мистер Коберман работал по ночам. Каждое утро в восемь часов он таинственно возвращался домой, проглатывал кро-

щечный завтрак, а затем беззвучно спал в своей комнате весь сонный жаркий день до вечера, потом плотно ужинал в компании остальных жильцов.

Из-за ритуала сна мистера Кобермана Дуглас обязан был вести себя тихо. Это было невыносимо. Поэтому, когда бабушка уходила в магазин, Дуглас громко топал на лестнице, стуча в барабан, колотя об пол мячиком, или просто орал минуты три перед дверью мистера Кобермана, или же семь раз подряд сливал воду в туалете.

Мистер Коберман не реагировал. В его комнате было тихо и темно. Он не жаловался. Ни звука не раздавалось оттуда. Он спал и спал. Это было непонятно.

Дуглас чувствовал, как где-то внутри его разгорается чистое белое пламя ненависти. Теперь эта комната превратилась в Страну Кобермана. Некогда она ярко сияла, когда там жила мисс Садлоу. Теперь она стала застывшей, обнаженной, холодной, чистой, все на своих местах, чужое и хрупкое.

На четвертое утро Дуглас поднялся наверх.

На полпути ко второму этажу находилось большое, полное солнца окно, состоящее из шестидюймовых кусков оранжевого, пурпурного, синего, красного и цвета бургундского вина стекла. Чарующими ранними утрами, когда солнечный луч падал сквозь него на лестничную площадку и скользил по перилам, Дуглас стоял у этого окна замороженный, разглядывая мир сквозь разноцветные стекла.

Вот синий мир, синее небо, синие люди, синие автомобили и синие семенящие собаки.

Он передвинулся к другому стеклу. Вот янтарный мир! Две лимонного цвета женщины вышагивали рядом, словно дочери Фу Манджу! Дуглас хихикнул. Сквозь это стекло даже солнце становилось более золотистым.

Было восемь часов. Внизу по тротуару брел мистер Коберман, возвращаясь с ночной работы; трость торчала из-под локтя, к голове приклеилась запатентованным маслом соломенная шляпа.

Дуглас приткнулся к другому стеклу. Мистер Коберман — красный человек, в красном мире с красными деревьями и красными цветами и... чем-то еще.

Что-то с мистером Коберманом.

Дуглас скосил глаза.

Красное стекло что-то выделяло с мистером Коберманом. С его лицом, одеждой, руками. Одежда, казалось, тает. В одно ужасное мгновение Дуглас почти поверил, что он может смотреть *внутрь* мистера Кобермана. И то, что он увидел, заставило

его сильнее прильнуть к крошечному красному стеклышку, моргая от удивления.

Мистер Коberman взглянул вверх, увидел Дугласа и замахнулся своей тростью-зонтиком словно для удара. Он быстро побежал по красной лужайке к входной двери.

— Молодой человек! — закричал он, взбежав вверх по лестнице. — Чем вы занимаетесь?

— Просто смотрю, — ошеломленно сказал Дуглас.

— И все? — крикнул мистер Коberman.

— Да, сэр. Я наблюдаю сквозь стекла. Всевозможные миры. Синие, красные, желтые. Все разные.

— Всевозможные миры, вот что! — Мистер Коberman взглянул на стекла, лицо его было бледным. Он взял себя в руки. Вытер лицо носовым платком, сляясь улыбнуться. — Да. Всевозможные миры. Разные. — Он подошел к двери комнаты. — Иди играй, — сказал он.

Дверь закрылась. В коридоре стало пусто. Мистер Коberman удалился.

Дуглас пожал плечами и приник к новому стеклу.

— Ах, все фиолетовое!

Где-то через полчаса, играя в песочнице за домом, Дуглас услышал грохот и оглушительный звон. Он подскочил.

Минуту спустя на заднем крыльце появилась бабушка. В ее руках дрожал старый ремень для правки бритв.

— Дуглас! Сколько раз я тебе говорила: не играй в мяч возле дома!

— А я здесь сидел! — запротестовал он.

— Иди посмотри, что ты наделал, противный мальчишка!

Большие куски оконного стекла, разбитые, радужным хаосом покрывали верхнюю площадку. Его мяч валялся среди осколков.

Прежде чем Дуглас успел сообщить о своей невинности, на его спину обрушилась дюжина жгучих ударов. Как он ни пытался увернуться, ремень снова находил его.

Позже, спрятавшись в песок, словно устрица, Дуглас лелеял свою ужасную боль. Он знал, кто кинул этот мяч. Человек с соломенной шляпой и застывшим зонтиком и холодной, серой комнатой. Да, да, да. У него текли слезы. Ну, погоди! Ну, погоди!

Он слышал, как бабушка вымела разбитое стекло. Она вынесла его на улицу и выбросила в мусорный ящик. Синие, розовые, желтые метеориты стекла сыпались, сверкая, вниз.

Когда она ушла, Дуглас, скуля, потащился спасать три куска необычного стекла. Мистеру Коbermanу не нравятся цветные

стекла. Значит — он позвенел ими в руках, — стоит их сохранить.

Каждый вечер дедушка возвращался из своей редакции газеты в пять часов, чуть раньше остальных жильцов. Когда в коридоре звучала медленная тяжелая поступь и громко стучала толстая, красного дерева трость, Дуглас бежал, чтобы прижаться к большому животу и посидеть на дедушкином колене, пока тот читал вечернюю газету.

— Привет, дед!

— Привет, там внизу!

— Бабушка сегодня опять потрошила цыплят. Так интересно смотреть! — сказал Дуглас.

Дедушка ответил, не отрываясь от газеты:

— Цыплята уже во второй раз на этой неделе. Она цыплячья женщина. Тебе нравится смотреть, как она их потрошит, а? Хладнокровие с чуточкой перца! Ха!

— Просто я любопытный.

— Ты-то! — прогремыхал хмуро дедушка. — Помнишь тот день, когда погибла девушка на вокзале? Ты просто подошел и смотрел на кровь и все остальное. — Он засмеялся. — Чудак. Оставайся таким же. И не бойся ничего, никогда ничего не бойся. Я думаю, ты унаследовал это от своего отца, ведь он военный, а ты был очень близок ему, пока не переехал сюда в прошлом году. — Дед вернулся к своей газете.

Долгая пауза.

— Дед?

— Да?

— Вот если есть человек без сердца, легких или желудка, а он все равно ходит, живой?

— Это, — прогремыхал дед, — было бы чудом.

— Я не имею в виду... чудо. Я имею в виду, что если он совсем другой *внутри*. Не как я.

— Тогда бы он был не совсем человек, ведь так, мальчик?

— Наверное, дед. Дедушка, а у тебя есть сердце и легкие?

Дед фыркнул:

— По правде говоря, я *не знаю*. Никогда их не видел. Никогда не делал рентген, никогда не ходил к врачу. Может быть, там сплошная картошка, а что там еще — я не знаю.

— А у *меня* есть желудок?

— Конечно есть! — закричала бабушка, появляясь в дверях комнаты. — Я же кормлю его! И легкие у тебя есть, ты так громко орешь, что мертвых разбудишь. У тебя грязные руки, иди и вымой их! Ужин готов. Дед, пошли. Дуглас, шагай!

Если дед и намеревался продолжить с Дугласом таинственный разговор, то поток жильцов, спешащих вниз, лишил его этой возможности. Если ужин задержится еще, бабушка и картофель разгневаются одновременно.

Постояльцы смеялись и болтали за столом, мистер Коберман сидел с мрачным видом. Все затихли, когда дедушка прочистил горло. Несколько минут он рассуждал о политике, а потом перешел к интригующей теме о недавних загадочных смертях в городе.

— Этого достаточно, чтобы старый газетчик навострил уши,— сказал он, разглядывая их.— На этот раз юная мисс Ларссон, которая жила за оврагом. Найдена мертвой три дня назад, без видимых причин, вся покрытая необычной татуировкой и с таким странным выражением лица, что и Данте бы содрогнулся. И другая девушка, как ее звали? Уайтли? Она ушла и *больше* не вернулась.

— Ага, так оно всегда и бывает,— сказал, жуя, мистер Бритц, механик гаража.— Видели когда-нибудь списки в Агентстве по поиску пропавших? *Такие* длинные,— пояснил он.— Сами не знают, *что* случилось с большинством из них?

— Кому еще гарнир? — Бабушка раскладывала на равные части цыплячье нутро. Дуглас наблюдал, размышляя о том, что у цыпленка два вида внутренностей: созданные Богом и созданные Человеком.

А как насчет *трех* видов внутренностей?

А?

Почему бы и нет?

Разговор продолжался о таинственных смертях тех-то и тех-то, и, ах да, помните неделю назад, Марион Варсумиан умерла от сердечного приступа, а может, это не связано? Или связано? Вы с ума сошли! Прекратите, почему нужно говорить об этом за ужином? Так.

— Никогда не узнаешь,— сказал мистер Бритц.— Может, у нас в городе вампир?

Мистер Коберман перестал есть.

— В тысяча девятьсот двадцать седьмом году? — сказала бабушка.— Вампир? Продолжайте.

— Ну да,— сказал мистер Бритц.— Их убивают серебряными пулями. Или еще чем-нибудь серебряным. Вампиры *ненавидят* серебро. Я когда-то где-то читал. Точно.

Дуглас взглянул на мистера Кобермана, который ел деревянными ножом и вилкой и носил в кармане только новые оловянные пенни.

— Глупо рассуждать о том, чего не понимаешь, — сказал дедушка. — Мы не знаем, что собой представляют хобгоблин, вампир или тролль. Это может быть все что угодно. Нельзя распределить их по категориям, и увешать ярлыками, и говорить, что они ведут себя так или эдак. Это глупо. Они люди. Люди, которые совершают поступки. Да, именно так: люди, которые *совершают* поступки.

— Простите, — сказал мистер Коberman, встав из-за стола и отправившись на свою ночную работу.

Звезды, луна, ветер, тиканье часов, звон будильника на рассвете, восход солнца, и снова утро, и снова день, и мистер Коberman шагает по тротуару со своей ночной работы. Подобно крошечному заведенному механизму с внимательными глазами-микроскопами, Дуглас следил.

В полдень бабушка ушла в бакалейную лавку.

Дуглас, как всегда, начал орать перед дверью мистера Коbermana. Как обычно, ответа не последовало. Тишина была ужасающей.

Он сбежал вниз, взял ключ, серебряную вилку и три куска цветного стекла, которые он спас. Он вставил ключ в скважину и медленно отворил дверь.

В комнате стоял полумрак, занавески опущены. Мистер Коberman в пижаме лежал поверх постельного белья, грудь его вздымалась. Он не шевелился. Лицо было неподвижно.

— Привет, мистер Коberman!

Бесцветные стены отражали равномерное дыхание человека.

— Мистер Коberman, привет!

Дуглас пошел в атаку, начав стучать в мяч. Он завопил. Нет ответа.

— Мистер Коberman! — Дуглас ткнул серебряной вилкой в лицо человека.

Мистер Коberman вздрогнул. Он скорчился. Он громко простонал.

Реакция. Хорошо. Блестяще.

Дуглас вынул из кармана кусок синего стекла. Глядя сквозь синее стекло, он очутился в синей комнате, в синем мире, не похожем на мир, который он знал. Такой же непохожий, как и красный мир. Синяя мебель, синяя кровать, синие потолок и стены, синяя деревянная посуда на синем бюро, и синее мрачное лицо мистера Коbermana, и руки, и синяя вздымающаяся, опадающая грудь. Еще...

Широко раскрытые глаза мистера Коbermana буравили его голодным, темным взглядом.

Дуглас отпрянул и отвел от глаз синее стекло.

Глаза мистера Кобермана были закрыты.

Снова синее стекло — открыты. Синее стекло прочь — закрыты. Снова синее — открыты. Прочь — закрыты. Странно. Дрожа от возбуждения, Дуглас ставил опыт. Синее стекло — глаза, казалось, пялились голодным, алчным взглядом сквозь сомкнутые веки. Без синего стекла казалось, что они крепко сжаты.

Но тело мистера Кобермана...

Пижама на мистере Кобермане растаяла. Так на нее подействовало синее стекло. А может, она растаяла потому, что была *на* мистере Кобермане. Дуглас вскрикнул.

Он глядел сквозь живот мистера Кобермана прямо *внутрь*.

Мистер Коберман был геометричен.

Или что-то вроде этого.

Внутри его виднелись необычные фигуры странных очертаний.

Минут пять пораженный Дуглас размышлял о синих мирах, красных мирах, желтых мирах, сосуществующих подобно кускам стекла большого окна на лестнице. Одно за другим, цветные стекла, всевозможные миры; мистер Коберман сам так сказал.

Так вот почему разноцветное окно было разбито.

— Мистер Коберман, проснитесь!

Нет ответа.

— Мистер Коберман, где вы работаете по ночам? Мистер Коберман, где вы работаете?

Легкий ветерок шевельнул синюю оконную занавеску.

— В красном мире или зеленом, а может, в желтом, мистер Коберман?

Над всем царила синяя стеклянная тишина.

— Подождите-ка,— сказал Дуглас.

Он спустился вниз на кухню, раскрыл большой скрипучий ящик и вынул самый острый, самый длинный нож.

Тихонечко он вышел в коридор, снова взобрался по лестнице вверх, открыл дверь в комнату мистера Кобермана, вошел и закрыл ее, держа в руке острый нож.

Бабушка была занята проверкой корочки пирога в печке, когда Дуглас вошел в кухню и положил что-то на стол.

— Бабушка, это что?

Она мельком взглянула поверх очков:

— Не знаю.

Это что-то было квадратным, как коробка, и эластичным. Это было ярко-оранжевым. К нему были присоединены четыре квадратные трубки синего цвета. Оно странно пахло.

— Ты когда-нибудь видела такое, бабушка?

— Нет.

— Так я и думал.

Дуглас оставил это на столе и вышел из кухни. Через пять минут он вернулся с чем-то еще.

— А это?

Он положил ярко-розовую цепочку с пурпурным треугольником на конце.

— Не мешай мне,— сказала бабушка.— Это цепочка.

В следующий раз у него были заняты обе руки. Кольцо, квадрат, треугольник, пирамида, прямоугольник и... другие фигуры. Все они были эластичные, упругие и, казалось, сделаны из желатина.

— Это не все,— сказал Дуглас, кладя их на стол.— Там их еще много.

Бабушка сказала:

— Да-да,— далеким, очень занятым голосом.

— Ты ошибаешься, бабушка.

— В чем?

— В том, что люди одинаковые внутри.

— Не болтай ерунды.

— Где моя свинья-копилка?

— На камине, где ты ее бросил.

— Спасибо.

Он протопал в общую комнату за свиньей-копилкой.

В пять часов из конторы пришел дедушка.

— Дед, пошли наверх.

— Ага. Зачем?

— Я хочу тебе кое-что показать. Оно некрасивое, но интересное.

Дедушка с кряхтеньем последовал за внуком наверх в комнату мистера Кобермана.

— Бабушке не стоит говорить: ей не понравится,— сказал Дуглас. Он широко распахнул дверь.— Вот.

Дедушка замер.

Последние несколько часов Дуглас запомнил на всю жизнь. Следователь со своими помощниками стоял у обнаженного тела мистера Кобермана. Бабушка внизу около лестницы спрашивала кого-то:

— Что там происходит?

И дедушка дрожащим голосом говорил:

— Я увезу Дугласа надолго, чтобы он позабыл этот кошмар. Кошмар, кошмар!

Дуглас сказал:

— Что тут плохого? Ничего плохого я не видел. Мне не плохо.

Следователь вздрогнул и сказал:

— Коберман мертв.

Его помощник вытер пот.

— Видел эти *штуки* в банках и в бумаге?

— Боже мой, Боже мой, да, видел.

— Господи Иисусе Христе.

Следователь снова склонился над телом мистера Кобермана.

— Лучше держать все в секрете, ребята. Это не убийство.

То, что совершил мальчик, — это милосердие. Бог знает что было произошло, если бы он этого не сделал.

— Так кто же Коберман? Вампир? Чудовище?

— Вероятно. Не знаю. Что-то... не человек. — Следователь ловко провел руками вдоль шва.

Дуглас гордился своей работой. Ему пришлось повозиться. Он внимательно следил за бабушкой и все запомнил. Иголку, нитку и все остальное. В целом мистер Коберман был аккуратно зашит, как любой цыпленок, когда-либо засунутый бабушкой в пекло.

— Я слышал, как мальчик говорил, будто Коберман жил даже после того, как эти *штуки* были вынуты из него. — Следователь смотрел на треугольники, цепи, пирамиды, плавающие в банке с водой. — Продолжал *жить*, Господи.

— Мальчик это сказал?

— Сказал.

— Так что же *тогда* убило Кобермана?

Следователь вытянул несколько ниток из шва.

— Это... — сказал он.

Солнце холодно блеснуло на наполовину приоткрытом кладе: шесть долларов и семьдесят центов серебром в животе у мистера Кобермана.

— Я думаю, что Дуглас сделал мудрое помещение капитала, — сказал следователь, быстро сшивая плоть над «сокровищем».

Дядюшка Эйнар

— Да у тебя на это всего одна минута уйдет, — настаивала милостивая супруга дядюшки Эйнара.

— Я отказываюсь, — ответил он. — На отказ секунды достаточно.

— Я все утро трудилась, — сказала она, потирая свою стройную спину, — а ты даже помочь не хочешь. Вон какая гроза собирается.

— И пусть собирается! — сердито воскликнул он. — Хочешь, чтобы меня из-за твоих простыней молния стукнула!

— Да ты успеешь, тебе ничего не стоит.

— Сказал — не буду, и все. — Огромные непромокаемые крылья дялюшки Эйнара нервно жужжали за его негодующей спиной.

Она подала ему тонкую веревку, на которой было подвешено четыре дюжины мокрых простынь. Он с отвращением покрутил веревку кончиками пальцев.

— До чего я дошел, — буркнул он с горечью. — До чего дошел, до чего...

Он едва не плакал злыми, едкими слезами.

— Не плачь, только хуже их намочишь, — сказала она. — Ну, скорей, покружись с ними.

— Покружись, покружись... — Голос у него был глухой и очень обиженный. — Тебе все равно, хоть бы ливень, хоть бы гром.

— Посуди сам: зачем мне просить тебя, если бы день был погожий, солнечный, — рассудительно возразила она. — А если ты откажешься, вся моя стирка насмарку. Разве что в комнатах развесить...

Эти слова решили дело. Больше всего на свете он ненавидел, когда попереки комнат, будто гирлянды, будто флаги, болтались-развевались простыни, заставляя человека ползать на карачках. Он подпрыгнул. Огромные зеленые крылья гулко хлопнули.

— Только до выгона и обратно!

Сильный взмах, прыжок, и он взлетел, взлетел, рубя крыльями прохладный воздух, глядя его. Быстрее, чем вы бы произнесли: «У дялюшки Эйнара зеленые крылья», он скользнул над своим огородом, и длинная трепещущая петля простынь забила в гуле, в воздушной струе от его крыльев.

— Держи!

Круг закончен, и простыни, сухие, как воздушная кукуруза, плавно опустились на чистые одеяла, которые она заранее расстелила в ряд.

— Спасибо! — крикнула она.

Он буркнул в ответ что-то неразборчивое и улетел под яблоню думать свою думу.

Чудесные шелковистые крылья дялюшки Эйнара были словно паруса цвета морской волны, они громко шуршали и шеле-

стели за его спиной, если он чихал или быстро оборачивался. Мало того, что он происходил из совершенно особой Семьи, его талант было видно простым глазом. Все его нечистое племя — братья, племянники и прочая родня, — укрывшись в глухих селениях за тридевять земель, творило там чары невидимые, всякую ворожбу, они порхали в небе блуждающими огоньками, рыскали по лесу лунно-белыми волками. Им, в общем-то, нечего было опасаться обычных людей. Не то что человеку, у которого большие зеленые крылья...

Но ненависти он к своим крыльям не испытывал. Напротив! В молодости дядюшка Эйнар по ночам всегда летал, ночь для крылатого самое дорогое время! День придет, опасность приведет, так уж заведено. Зато ночью! Ночью как он парил над островами облаков и морями летнего воздуха!.. В полной безопасности. Возвышенный, гордый полет, наслаждение, праздник души.

Теперь он больше не мог летать по ночам.

Несколько лет назад, возвращаясь с пирушки (были только свои) в Меллинтауне, штат Иллинойс, к себе домой, на перевал где-то в горах Европы, дядюшка Эйнар почувствовал, что, кажется, перепил этого густого красного вина... «А, ничего, все будет в порядке», — произнес он заплетающимся языком, летя в начале своего долгого пути под утренними звездами, над убаюканными луной холмами за Меллинтауном. Вдруг, как гром среди ясного неба...

Высоковольтная передача.

Точно утка в силках! И скворчит огромная жаровня! И в зловещем сиянии голубой дуги — почерневшее лицо! Невероятный, оглушительный взмах крыльев, он метнулся назад, вырвался из проволочной хватки электричества и упал.

На лунную лужайку под опорой он упал с таким шумом, словно с неба обронили большую телефонную книгу.

Рано утром следующего дня дядюшка Эйнар поднялся на ноги, тяжелые от росы крылья лихорадочно дрожали. Было еще темно. Тонкий бинт рассвета опоясал восток. Скоро сквозь марлю проступит кровь, и уж тогда не полетишь.

Оставалось только укрыться в лесу и там, в чаще, переждать день, пока новая ночь не окрылит его для незримого полета в небесах.

Вот каким образом он встретил свою жену.

В тот день, необычно теплый для начала ноября в Иллинойсе, хорошенькая юная Брунилла Вексли, судя по всему, отправилась доить затерявшуюся корову. Во всяком случае, она держала в одной руке серебряный подойник и, пробираясь

сквозь чашу, остроумно убеждала невидимую беглянку идти домой, пока вымя не лопнуло от молока. Тот факт, что корова, скорее всего, сама придет, как только ее соски соскучатся по пальцам доярки, Бруниллу Вексли несколько не занимал. Ей, Брунилле, лишь бы по лесу бродить, пух с цветочков сдувать да травинки жевать; этим она и была занята, когда набрела на дядюшку Эйнара. Он крепко спал возле куста и походил на самого обыкновенного человека под зеленым пологом.

— О! — взволнованно воскликнула Брунилла. — Мужчина. В плащ-палатке.

Дядюшка Эйнар проснулся. Палатка раскрылась за его спиной, точно большой зеленый веер.

— О! — воскликнула Брунилла, коровий следопыт. — Мужчина с крыльями!

Вот как она реагировала. Разумеется, она оторопела, но Брунилла еще ни от кого в жизни не видела обиды, а потому никого не боялась, и ведь так интересно было встретить крылатого мужчину, ей это даже польстило. Она заговорила. Через час они уже были старыми друзьями, через два часа она совершенно забыла про его крылья. И он незаметно для себя все выложил, как очутился в этом лесу.

— Я уж и то заметила, что у вас вид какой-то пришибленный, — сказала она. — Правое крыло совсем скверно выглядит. Давайте-ка лучше я вас отведу к себе домой и подлечу его. Все равно с таким крылом вам до Европы не долететь. Да и кому охота в такое время жить в Европе?

Он сказал спасибо, но нельзя... неудобно как-то.

— Ничего, я живу одна, — настаивала Брунилла. — Сами видите, какая я дурнушка.

Он пылко возразил.

— Вы добрый, — сказала она. — Но я дурнушка, зачем обманывать себя. Родные померли, оставили мне ферму, ферма большая, а я одна, и до Меллинтауна далеко, не с кем даже словечком перемолвиться.

Он спросил, неужели она его не боится.

— Скажите лучше: радуюсь, восхищаюсь... — ответила Брунилла. — Можно?

И она с легкой завистью погладила широкие зеленые перепонки, прикрывшие его плечи. Он вздрогнул от прикосновения и прикусил язык.

Словом, что тут говорить: пойдете на ферму, там есть лекарства и притирания и... «Ой! какой ожог через все лицо, ниже глаз!»

— Счастье, что вы не ослепли,— сказала она.— Как же это случилось?

— Понимаете...— начал он, и они очутились на ферме, не заметив даже, что целую милю прошли, не сводя глаз друг с друга.

Прошел день, за ним другой, и он простился с ней у порога, пора и честь знать, от души поблагодарил за примочки, заботу, кров. Смеркалось — шесть часов вечера,— а ему до пяти утра надо успеть пересечь целый океан и материк.

— Спасибо, всего хорошего,— сказал он, взмахнул крыльями в сумеречном воздухе и врезался в клен.

— О! — вскричала она и бросилась к бесчувственному телу.

Придя в себя час спустя, дядюшка Эйнар уже знал, что ему больше никогда не летать в темноте. Его тончайшая ночная восприимчивость исчезла: крылатая телепатия, которая предупреждала, когда на пути вырастала башня, гора, дерево, дом, безошибочное ясновидение и чувствительность, которые вели его сквозь лабиринт лесов, скал, облаков,— все бесповоротно выжег этот удар по лицу, голубое жгучее электрическое шипение...

— Как?..— тихо простонал он.— Как я вернусь в Европу? Если полечу днем, меня заметят и — жалкий анекдот! — могут сбить! А то еще в зоопарк поместят, страшно подумать! Брунилла, скажи, как мне быть?

— О,— прошептала она, глядя на свои руки,— что-нибудь придумаем...

Они поженились.

На свадьбу явилось все его племя. Они летели с могучей, шуршашей и шелестящей осенней лавиной кленовых, дубовых, вязовых и платановых листьев, сыпались вниз с ливнем каштанов, словно зимние яблоки, глухо гукали оземь, мчались с ветром, с проникающим всюду дыханием уходящего лета. Обряд? Он был краток, как жизнь черной свечи, что зажгли и задули, и только вьется в воздухе тонкий дымок. Но ни краткость обряда, ни странная его необычность, ни загадочный смысл не были замечены Бруниллой, она всем существом слушала тихий рокот крыльев дядюшки Эйнара, далекий прибор, который подвел итог таинству. Что же до дядюшки Эйнара, то рана, перечеркнувшая его лицо, почти зажила, и, стоя под руку с Бруниллой, он чувствовал, как Европа тает, исчезает и теряется вдали.

Ему не требовалось особенно хорошего зрения, чтобы взлететь прямо вверх и так же прямо опуститься. И не было ничего удивительного в том, что в свадебную ночь он поднял Бруниллу на руки и взлетел с ней в небеса.

Фермер, живущий от них в пяти милях, глянул в полночь на низко плывущую тучу и заметил слабые вспышки, треск.

— Зарница,— решил он и пошел спать.

Они спустились только утром, вместе с росой. Брак был удачный. Стоило ей взглянуть на него, и мысль о том, что она единственная в мире женщина, которая замужем за крылатым человеком, переполняла ее гордостью.

— Кто еще может сказать о себе так? — спрашивала Брунилла свое зеркало. И ответ гласил: — Никто!

А ему за ее внешностью открылась замечательная красота, великая доброта и понимание. Приноравливаясь к ее образу мыслей, он кое в чем изменил свой стол, в комнатах старался не очень размахивать крыльями; битая посуда да разбитые лампы были ему что нож острый, он держался от стекла подальше. И часы сна переменялись, ведь он теперь все равно не летал по ночам. В свою очередь она приспособила стулья так, чтобы его крыльям было удобно, тут прибавила набивки, там убавила, а слова, которые она ему говорила, были теми словами, за которые он ее любил.

— Все мы в коконах скрыты, каждый в своем,— сказала она однажды.— Видишь, какая я дурнушка? Но настанет день, я выйду из кокона и расправлю крылья, такие же чудные и красивые, как твои.

— Ты уже давно вышла,— ответил он.

Она подумала над его словами и согласилась:

— Да... И я точно знаю, в какой день это было. В лесу, когда я искала корову, а нашла палатку!

Они рассмеялись, и в его объятиях она чувствовала себя такой прекрасной, что не сомневалась: замужество исторгло ее из некрасивой оболочки, точно сверкающий меч из ножен.

У них появились дети. Сперва возникло опасение (лишь у него), что они будут крылатые.

— Вздор, я только рада буду! — сказала она.— Не будут под ногами болтаться.

— Зато в твоих волосах запутаются! — воскликнул он.

— О! — ужаснулась она.

Родилось четверо, три мальчика и девочка, да такие непоседы, словно у них и впрямь были крылья. Росли они как грибы; не прошло и нескольких лет, как дети в жаркие летние дни упрашивали папу посидеть с ними под яблоней, сделать крыльями холодок и рассказать захватывающую дух сияющую сказку про острова облаков в океане небес, про химеры, которые лепит из тумана ветер, какой вкус у звездочки, тающей у тебя во рту, или у студеного горного воздуха, каково быть

камнем, падающим с Эвереста, и в последний миг, расправив крылья-лепестки, у самой земли расцвести зеленым цветком.

Вот так сложился его брак.

И вот сегодня, шесть лет спустя, сидит дядюшка Эйнар под яблоней, сидит, тоскует, раздражительный, злой. Не потому что ему так хочется, а потому что и столько времени спустя он не может летать в вольном ночном небе: его чудесное свойство так и не вернулось к нему. Сидит уныло, пригорюнившись, — зеленый летний зонт, покинутый и забытый легкомысленными отпускниками, которые некогда искали убежища в его прозрачной тени. Неужто так и придется всегда сидеть, не смея днем расправить крылья в поднебесье — как бы кто не увидел? Неужто единственное, на что он способен, — быть бельесушкой для жены, веером для ребятишек в жаркий августовский полдень? Да, он и прежде всегда выполнял поручения Семьи, летая быстрее ветра! Бумерангом проносился над горами и долами и пушинкой спускался на землю. У него всегда водились деньги: крылатому человеку бездельничать не дадут! А теперь? Горечь и боль! Его крылья забились, встряхнули воздух, получился какой-то скованный гром.

— Пап! — позвала маленькая Мег.

Дети стояли перед ним, глядя на его хмурое лицо.

— Пап, — сказал Рональд, — сделай еще гром!

— Сейчас еще холодно, март, а вот скоро будут и дожди, и вдоволь грома, — ответил дядюшка Эйнар.

— Пойдем с нами, посмотришь! — предложил Майкл.

— Да ну, побежали скорей! Пусть его сидит и мечтает!

Ему сейчас было не до любви, не до детей любви, не до любви детей. Он весь отдался мечте о небесах, поднебесной высоте, горизонтах, воздушных далях; будь то днем или ночью, при звездах, луне или солнце, облачно или ясно, — когда ни воспарить, впереди — не догнать! — летят небеса, горизонты, дали. А он... А он кружит над выгоном, у самой земли: не дай Бог, увидят...

Прозябание в темной дыре!

— Март! Март! — пела Мег. — Мы на горку идем, пап, пошли с нами! Там даже из городка дети будут!

— На какую еще горку? — буркнул дядюшка Эйнар.

— На Змееву, какую же еще! — дружно откликнулись дети. Он наконец посмотрел на них.

У каждого был в руках большой бумажный змей, и горящие нетерпением детские лица предвкушали шальную радость. Коротенькие пальцы сжимали мотки белой бечевки. Снизу у красно-сине-желто-зеленых змеев висели хвосты из тряпичных и шелковых лоскутков.

— Мы будем запускать наших змеев! — сказал Рональд. — Пойдешь с нами?

— Нет, — печально ответил он. — Нельзя, чтобы меня кто-нибудь увидел, могут быть неприятности.

— А ты спрячься в лесу за деревьями и смотри оттуда, — предложила Мег. — Мы сами сделали змеев, сами! Знаем, как делать!

— Откуда же вы знаете?

— Ты наш отец! — дружно крикнули дети. — Вот откуда!

Он долго глядел на них. Он вздохнул:

— Сегодня Праздник змеев?

— Да, папа.

— Я выиграю, — сказала Мег.

— Нет, я! — заспорил Майкл.

— Я, я! — запищал Стивен.

— Силы небесные! — воскликнул дядюшка Эйнар, подпрыгнув высоко в воздух, и крылья его загремели, будто громогласные литавры. — Дети! Мои дорогие, славные, обожаемые дети!

— Папа, что случилось? — Майкл даже попятился.

— Ничего, ничего, ничего! — распевал Эйнар. Он расправил крылья, напруг их до предела, все силы собрал... Бамм! Точно исполинские медные тарелки! Дети даже упали от сильного вихря!

— Нашел, нашел! Я снова вольная птица! Как искра в трубе! Как перышко на ветру! Брунилла! — Он повернулся к дому. — Брунилла!

Она вышла на его зов.

— Я свободен! — воскликнул он, приподнявшись на цыпочках, разругавшийся, высокий. — Слышишь, Брунилла, зачем мне ночь? Я могу летать днем! И ночь ни при чем! Теперь *каждый* день летать буду, круглый год! Господи, да что я время теряю. Смотри!

И на глазах у встревоженных домочадцев он оторвал у одного из змеев лоскутный хвост, привязал его себе к ремню сзади, схватил моток бечевки, один конец зажал в зубах, другой отдал детям — и полетел, полетел в небеса, подхваченный буйным мартовским ветром!

Через фермы, через луга, отпуская бечеву в светлое дневное небо, ликуя, спотыкаясь, бежали-торопились его дети, а Брунилла стояла на дворе, провожая их взглядом, и смеялась, и махала рукой, и видела, как ее дети прибежали на Змееву горку, как встали там, все четверо, держа бечевку нетерпеливыми, гордыми пальцами, и каждый дергал, подтягивал, на-

правлял... И все дети Меллинтауна прибежали со своими бумажными змеями, чтобы запустить их с ветром, и они увидели огромного зеленого змея, как он взмывал и парил в небесах, и закричали:

— О, о, какой змей! Какой змей! О, как мне хочется такого змея! Где, где вы его взяли?!

— Это наш папа сделал! — воскликнули Мег, и Майкл, и Стивен, и Рональд и лихо дернули бечевку, так что змей, жужжащий, рокочущий змей в небесах нырнул, и снова взмыл, и прямо на облаке начертил большой волшебный восклицательный знак!

Апрельское колдовство

Высоко-высоко, выше гор, ниже звезд, над рекой, над прудом, над дорогой летела Сеси. Невидимая, как юные весенние ветры, свежая, как дыхание клевера на сумеречных лугах... Она парила в горловинах, мягких, как белый горностаи, отдыхала в деревьях и жила в цветах, улетая с лепестками от самого легкого дуновения. Она сидела в прохладной, как мята, лимонно-зеленой лягушке рядом с блестящей лужей. Она бежала в косматом псе и громко лаяла, чтобы услышать, как между амбарами вдалеке мечется эхо. Она жила в нежной апрельской травке, в чистой, как слеза, влаге, которая испарялась из пахнущей мускусом почвы.

«Весна... — думала Сеси. — Сегодня ночью я побываю во всем, что живет на свете».

Она вселялась в франтоватых кузнечиков на пятнистом гудроне шоссе, купалась в капле росы на железной ограде. В этот неповторимый вечер ей исполнилось ровно семнадцать лет, и душа ее, поминутно преображаясь, летела, незримая на ветрах Иллинойса.

— Хочу влюбиться, — произнесла она.

Она еще за ужином сказала то же самое. Родители переглянулись и приняли чопорный вид.

— Терпение, — посоветовали они. — Не забудь, ты не как все. Наша семья вся особенная, необычная. Нам нельзя общаться с обыкновенными людьми, тем более вступать в брак. Не то мы лишимся своей магической силы. Ну скажи, разве ты захочешь утратить дар волшебных путешествий? То-то... Так что будь осторожна. Будь осторожна!

Но в своей спальне наверху Сеси чуть-чуть надушила шею и легла, трепещущая, взволнованная, на кровать с пологом, а над полями Иллинойса всплыла молочная луна, превращая реки в сметану, дороги в платину.

— Да, — вздохнула она, — я из необычной семьи. День мы спим, ночью летаем по ветру, как черные бумажные змеи. Захотим — можем всю зиму проспять в кротах, в теплой земле. Я могу жить в чем угодно — в камешке, в крокусе, в богомоле. Могу оставить здесь свою невзрачную оболочку из плоти и послать душу далеко-далеко в полет, на поиски приключений. Лечу!

И ветер понес ее над полями, над лугами.

И коттеджи внизу лучились ласковым весенним светом, и тускло рдели окна ферм.

«Если я такое странное и невзрачное создание, что сама не могу надеяться на любовь, влюблюсь через кого-нибудь другого», — подумала она.

Возле фермы в весеннем сумраке темноволосая девушка лет девятнадцати, не больше, доставала воду из глубокого каменного колодца. Она пела.

Зеленым листком Сеси упала в колодец. Легла на нежный мох и посмотрела вверх, сквозь темную прохладу. Миг — и она в невидимой суетливой амебе, миг — и она в капле воды! И уже чувствует, как холодная кружка несет ее к горячим губам девушки. В ночном воздухе мягко отделились глотки.

Сеси посмотрела вокруг глазами этой девушки.

Проникла в темноволосую голову и ее блестящими глазами посмотрела на руки, которые тянули шершавую веревку. Розовыми раковинами ее ушей вслушалась в окружающий девушку мир. Ее тонкими ноздрями уловила запах незнакомой среды. Ощутила, как ровно, как сильно бьется юное сердце. Ощутила, как вздрагивает в песне чужая гортань.

«Знает ли она, что я здесь?» — подумала Сеси. Девушка ахнула и уставилась на черный луг.

— Кто там?

Никакого ответа.

— Это всего-навсего ветер, — прошептала Сеси.

— Всего-навсего ветер. — Девушка тихо рассмеялась, но ей было жутко.

Какое чудесное тело было у этой девушки! Нежная плоть облекала, скрывая, остов из лучшей, тончайшей кости. Мозг был словно цветущая во мраке светлая чайная роза, рот благоухал, как легкое вино. Под упругими губами — белые-белые зубы, брови красиво изогнуты, волосы ласково, мягко глядят

молочно-белую шею. Норы были маленькие, плотно закрытые. Нос задорно смотрел вверх, на луну, щеки пылали, будто два маленьких очага. Чутко пружиня, тело переходило от одного движения к другому и все время как будто что-то напевало про себя. Быть в этом теле, в этой голове — все равно что греться в пламени камина, поселиться в мурлыканье спящей кошки, плескаться в теплой воде ручья, стремящегося через ночь к морю.

«А мне здесь славно», — подумала Сеси.

— Что? — спросила девушка, словно услышала голос.

— Как тебя звать? — осторожно спросила Сеси.

— Энн Лири. — Девушка встрепенулась. — Зачем я это вслух сказала?

— Энн, Энн, — прошептала Сеси. — Энн, ты влюбишься.

Как бы в ответ на ее слова с дороги донесся громкий топот копыт и хруст колес по щебню. Появилась повозка, на ней сидел рослый парень, его могучие ручищи крепко держали натянутые вожжи, и его улыбка осветила весь двор.

— Энн!

— Это ты, Том?

— Кто же еще? — Он соскочил на землю и привязал вожжи к изгороди.

— Я с тобой не разговариваю! — Энн отвернулась так резко, что ведро плеснуло водой.

— Нет! — воскликнула Сеси.

Энн оцепенела. Она взглянула на холмы и на первые весенние звезды. Она взглянула на мужчину, которого звали Томом. Сеси заставила ее уронить ведро.

— Смотри, что ты натворил!

Том подбежал к ней.

— Смотри, это все из-за тебя!

Смеясь, он вытер ее туфли носовым платком.

— Отойди!

Она ногой оттолкнула его руки, но он только продолжал смеяться, и, глядя на него из своего далекого далека, Сеси видела его голову — крупную, лоб — высокий, нос — орлиный, глаза — блестящие, плечи — широкие и налитые силой руки, которые бережно гладили туфли платком. Глядя вниз из потаенного чердака красивой головки, Сеси потянула скрытую проволочку чревовещания, и милый ротик тотчас открылся:

— Спасибо!

— Вот как, ты умеешь быть вежливой!

Запах сбруи от его рук, запах конюшни, пропитавший его одежду, коснулся чутких ноздрей, и тело Сеси, лежащее в по-

стели далеко-далеко, за темными полями и цветущими лугами, беспокойно зашевелилось, словно она что-то увидела во сне.

— Только не с тобой! — ответила Энн.

— Тсс, говори ласково, — сказала Сеси, и пальцы Энн сами потянулись к голове Тома.

Энн отдернула руку.

— Я с ума сошла!

— Верно. — Он кивнул, улыбаясь, слегка озадаченный. — Ты хотела потрогать меня?

— Не знаю. Уходи, уходи! — Ее щеки пылали, словно розовые угли.

— Почему ты не убегаешь? Я тебя не держу. — Том выпрямился. — Ты передумала? Пойдешь сегодня со мной на танцы? Это очень важно. Я потом скажу почему.

— Нет, — ответила Энн.

— Да! — воскликнула Сеси. — Я еще никогда не танцевала. Хочу танцевать. Я еще никогда не носила длинного шуршащего платья. Хочу платье. Хочу танцевать всю ночь. Я еще никогда не была в танцующей женщине, папа и мама ни разу мне не позволяли. Собаки, кошки, кузнечики, листья — я во всем свете побывала в разное время, но никогда не была женщиной в весенний вечер, в такой вечер, как этот... О, прошу тебя, пойдём на танцы!

Мысль ее напряглась, словно расправились пальцы в новой перчатке.

— Хорошо, — сказала Энн Лири. — Я пойду с тобой на танцы, Том.

— А теперь — в дом, живо! — воскликнула Сеси. — Тебе еще надо умыться, сказать родителям, достать платье, утюг в руки, за дело!

— Мама, — сказала Энн, — я передумала.

Повозка мчалась по дороге, комнаты фермы вдруг ожили, кипела вода для купания, плита раскалила утюг для платья, мать металась из угла в угол, и рот ее ошестинился шпильками.

— Что это на тебя вдруг нашло, Энн? Тебе ведь не нравится Том!

— Верно. — И Энн в разгар приготовлений вдруг застыла на месте.

«Но ведь весна!» — подумала Сеси.

— Сейчас весна, — сказала Энн.

«И такой чудесный вечер для танцев», — подумала Сеси.

— ...для танцев, — пробормотала Энн Лири.

И вот она уже сидит в корыте, и пузырчатое мыло пенится на ее белых покатых плечах, лепит под мышками гнездышки,

теплая грудь скользит в ладонях, и Сеси заставляет губы шевелиться. Она терла тут, мылила там, а теперь — встать! Вытереться полотенцем! Духи! Пудра!

— Эй, ты! — Энн окликнула свое отражение в зеркале: белое и розовое, словно лилии и гвоздики. — Кто ты сегодня вечером?

— Семнадцатилетняя девушка. — Сеси выглянула из ее фиалковых глаз. — Ты меня не видишь. А ты знаешь, что я здесь?

Энн Лири покачала головой.

— Не иначе в меня вселилась апрельская ведьма.

— Горячо, горячо! — рассмеялась Сеси. — А теперь одеваться.

Ах, как сладостно, когда красивая одежда облегает пышущее жизнью тело! И снаружи уже зовут...

— Энн, Том здесь!

— Скажите ему, пусть подождет. — Энн вдруг села. — Скажите, что я не пойду на танцы.

— Что такое? — сказала мать, стоя на пороге.

Сеси мигом заняла свое место. На какое-то роковое мгновение она отвлеклась, покинула тело Энн. Услышала далекий топот копыт, скрип колес на лунной дороге и вдруг подумала: «Полечу найду Тома, проникну в его голову, посмотрю, что чувствует в такую ночь парень двадцати двух лет». И она пустилась в полет над вересковым лугом, но тотчас вернулась, будто птица в родную клетку, и заметалась, забилась в голове Энн Лири.

— Энн!

— Пусть уходит!

— Энн! — Сеси устроилась поудобнее и напрягла свои мысли.

Но Энн закусила удила.

— Нет, нет, я его ненавижу!

Нельзя было ни на миг оставлять ее. Сеси подчинила себе руки девушки... сердце... голову... исподволь, осторожно: «Встань!» — подумала она.

Энн встала.

«Надень пальто!»

Энн надела пальто.

«Теперь иди!»

«Нет!» — подумала Энн Лири.

«Ступай!»

— Энн, — заговорила мать, — не заставляй больше Тома ждать. Сейчас же иди, и никаких фокусов. Что это на тебя нашло?

— Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно. Энн и Сеси вместе выбежали в весенний вечер.

Комната, полная плавно танцующих голубей, которые мягко распускают оборки величавых, пышных перьев, комната, полная павлинов, полная радужных пятен и бликов. И посреди всего этого кружится, кружится в танце Энн Лири...

— Какой сегодня чудесный вечер! — сказала Сеси.

— Какой чудесный вечер! — произнесла Энн.

— Ты какая-то странная, — сказал Том.

Вихревая музыка окутала их мглой, закружила в струях песни; они плыли, качались, тонули и вновь всплывали за глотком воздуха, цепляясь друг за друга, словно утопающие, и опять кружились, кружились в вихре, в шепоте, вздохах под звуки «Прекрасного Огайо».

Сеси напевала. Губы Энн разомкнулись, и зазвучала мелодия.

— Да, я странная, — ответила Энн.

— Ты на себя не похожа, — сказал Том.

— Сегодня — да.

— Ты не та Энн Лири, которую я знал.

— Совсем, совсем не та, — прошептала Сеси за много-много миль отсюда.

— Совсем не та, — послушно повторили губы Энн.

— У меня какое-то нелепое чувство, — сказал Том.

— Насчет чего?

— Насчет тебя. — Он чуть отодвинулся и, кружа ее, пристально, пытливо посмотрел на раздумянившееся лицо. — Твои глаза, — произнес он, — не возьму в толк.

— Ты видишь меня? — спросила Сеси.

— Ты вроде бы здесь и вроде бы где-то далеко отсюда. — Том осторожно ее кружил, лицо у него было озабоченное.

— Да.

— Почему ты пошла со мной?

— Я не хотела, — ответила Энн.

— Так почему же?..

— Что-то меня заставило.

— Что?

— Не знаю. — В голосе Энн зазвенели слезы.

— Спокойно, тише... тише... — шепнула Сеси. — Вот так.

Кружись, кружись.

Они шурали и шелестели, взлетали и опускались в темной комнате, и музыка вела и кружила их.

— И все-таки ты пошла на танцы, — сказал Том.

— Пошла, — ответила Сеси.

— Хватит. — И он легко увлек ее в танце к двери, на волю, неприметно увел ее прочь от зала, от музыки и людей.

Они забрались в повозку и сели рядом.

— Энн,— сказал он и взял ее руки дрожащими руками.— Энн.

Но он произносил ее имя так, словно это было вовсе не ее имя. Он пристально смотрел на бледное лицо Энн, теперь ее глаза были открыты.

— Энн, было время, я любил тебя, ты это знаешь,— сказал он.

— Знаю.

— Но ты всегда была так переменчива, а мне не хотелось страдать понапрасну.

— Ничего страшного, мы еще так молоды,— ответила Энн.

— Нет-нет, я хотела сказать: прости меня,— сказала Сеси.

— За что простить? — Том отпустил ее руки и насторожился.

Ночь была теплая, и отовсюду их обдавало трепетное дыхание земли, и зазеленевшие деревья тихо дышали шуршащими, шелестящими листьями.

— Не знаю,— ответила Энн.

— Нет, знаю,— сказала Сеси.— Ты высокий, ты самый красивый парень на свете. Сегодня чудесный вечер, я на всю жизнь запомню, как я провела его с тобой.

И она протянула холодную чужую руку за его сопротивляющейся рукой, взяла ее, стиснула, согрела.

— Что с тобой сегодня? — сказал, недоумевая, Том.— То одно говоришь, то другое. Сама на себя не похожа. Я тебя по старой памяти решил на танцы позвать. Поначалу спросил просто так. А когда мы стояли с тобой у колодца, вдруг почувствовал: ты как-то переменялась, сильно переменялась. Стала другая. Появилось что-то новое... мягкость какая-то... — Он подыскивал слова.— Не знаю, не умею сказать. И смотрела не так. И голос не тот. И я знаю: я опять в тебя влюблен.

«Не в нее,— сказала Сеси,— в меня!»

— А я боюсь тебя любить,— продолжал он.— Ты опять станешь меня мучить.

— Может быть,— ответила Энн.

«Нет-нет, я всем сердцем буду тебя любить! — подумала Сеси.— Энн, скажи ему это, скажи за меня. Скажи, что ты его всем сердцем полюбишь».

Энн ничего не сказала.

Том тихо придвинулся к ней, ласково взял ее за подбородок.

— Я уезжаю. Нанялся на работу, сто миль отсюда. Ты будешь обо мне скучать?

— Да,— сказали Энн и Сеси.

— Так можно поцеловать тебя на прощание?

— Да,— сказала Сеси, прежде чем кто-либо другой успел ответить.

Он прижался губами к чужому рту. Дрожа, он поцеловал чужие губы.

Энн сидела будто белое изваяние.

— Энн! — воскликнула Сеси.— Подними руки, обними его!

Она сидела в лунном сиянии, будто деревянная кукла.

Он снова поцеловал ее в губы.

— Я люблю тебя,— шептала Сеси.— Я здесь, это меня ты увидел в ее глазах, меня, а я тебя люблю, хоть бы она тебя никогда не полюбила.

Он отодвинулся и сидел рядом с Энн такой измученный, будто перед тем пробежал невесть сколько.

— Не понимаю, что это делается... Только сейчас...

— Да? — спросила Сеси.

— Сейчас мне показалось... — Он протер руками глаза.— Не важно. Отвезти тебя домой?

— Пожалуйста,— сказала Энн Лири.

Он почмокал лошади, вяло дернул вожжи, и повозка тронулась. Шуршали колеса, шлепали ремни, катилась серебристая повозка; а кругом ранняя весенняя ночь — всего одиннадцать часов,— и мимо скользят мерцающие поля и луга, благоухающие клевером.

И Сеси, глядя на поля, на луга, думала: «Все можно отдать, ничего не жалко, чтобы быть с ним вместе, с этой ночи и навсегда». И она услышала издали голоса своих родителей: «Будь осторожна. Неужели ты хочешь потерять свою магическую силу? А ты ее потеряешь, если выйдешь замуж за просто смертного. Берегись. Ведь ты этого не хочешь?»

«Да, хочу,— подумала Сеси.— Я даже этим готова поступиться хоть сейчас, если только я ему нужна. И не надо больше метаться по свету весенними вечерами, не надо вселяться в птиц, собак, кошек, лис — мне нужно одно: быть с ним. Только с ним. Только с ним».

Дорога под ними, шурша, бежала назад.

— Том,— заговорила наконец Энн.

— Да? — Он угрюмо смотрел на дорогу, на лошадь, на деревья, небо и звезды.

— Если ты когда-нибудь, в будущем, попадешь в Гринтаун в Иллинойсе — это несколько миль отсюда,— можешь сделать мне одолжение?

— Возможно.

— Можешь ты там зайти к моей подруге? — Энн Лири сказала это запинаясь, неуверенно.

— Зачем?

— Это моя хорошая подруга... Я рассказывала ей про тебя. Я тебе дам адрес. Минутку.

Повозка остановилась возле дома Энн, она достала из сумочки карандаш и бумагу и, положив листок на колесо, стала писать при свете луны.

— Вот. Разберешь?

Он поглядел на листок и озадаченно кивнул. «Сеси Элиот. Тополевая улица, 12, Гринтаун, Иллинойс», — прочел он.

— Зайдешь к ней как-нибудь? — спросила Энн.

— Как-нибудь, — ответил он.

— Обещаешь?

— Какое отношение это имеет к нам? — сердито крикнул он. — На что мне бумажки, имена?

Он скомкал листок и сунул бумажный шарик в карман.

— Пожалуйста, обещай! — взмолилась Сеси.

— ...обещай... — сказала Энн.

— Ладно, ладно, только не приставай! — крикнул он.

«Я устала, — подумала Сеси. — Не могу больше. Пора домой. Силы кончаются. У меня всего на несколько часов сил хватает, когда я ночью вот так странствую... Но на прощание...»

— ...на прощание... — сказала Энн.

Она поцеловала Тома в губы.

— Это я тебя целую, — сказала Сеси.

Том отодвинул от себя Энн Лири и поглядел на нее, заглянул ей в самую душу. Он ничего не сказал, но лицо его медленно, очень медленно разгладилось, морщины исчезли, каменные губы смягчились, и он еще раз пристально всмотрелся в озаренное луной лицо, белеющее перед ним.

Потом помог ей сойти с повозки и быстро, даже не сказав «спокойной ночи», покатыл прочь.

Сеси отпустила Энн.

Энн Лири вскрикнула, точно вырвалась из плена, побежала по светлой дорожке к дому и захлопнула за собой дверь.

Сеси чуть помешкала. Глазами сверчка она посмотрела на ночной весенний мир. Одну минуту, не больше, глядя глазами лягушки, посидела в одиночестве возле пруда. Глазами ночной птицы глянула вниз с высокого, купающегося в лунном свете вяза и увидела, как гаснет свет в двух домиках — ближнем и другом, в миле отсюда. Она думала о себе, о всех своих, о своем редком даре, о том, что ни одна девушка в их роду не может выйти замуж за человека, живущего в этом большом мире за холмами.

«Том.— Ее душа, теряя силы, летела в ночной птице над деревьями, над темными полями дикой горчицы.— Том, ты сохранил листок? Зайдешь когда-нибудь, как-нибудь при случае навестить меня? Узнаешь меня? Вглядишься в мое лицо и вспомнишь, где меня видел, почувствуешь, что любишь меня, как я люблю тебя — всем сердцем и навсегда?»

Она остановилась, а кругом — прохладный ночной воздух, и миллионы миль до городов и людей, и далеко-далеко внизу фермы и поля, реки и холмы.

Тихонько: «Том?»

Том спал. Была уже глубокая ночь; его одежда аккуратно висела на стульях, на спинке кровати. А возле его головы на белой подушке ладонью кверху удобно покоилась рука, и на ладони лежал клочок бумаги с буквами. Медленно-медленно пальцы согнулись и крепко его сжали. И Том даже не шелхнулся, даже не заметил, когда черный дрозд на миг тихо и мягко прильнул к переливающемуся лунными бликами окну, бесшумно вспорхнул, замер — и полетел прочь, на восток, над спящей землей.

День возвращения

— Они идут, — с закрытыми глазами произнесла лежащая на кровати Сеси.

— Где они? — воскликнул Тимоти, еще не войдя в комнату.

— Одни над Европой, другие над Азией, некоторые — над Островами, иные — над Южной Америкой, — сказала Сеси, по-прежнему не открывая глаз. Ее длинные ресницы слегка подрагивали.

Тимоти вошел в обитую простыми досками чердачную комнату:

— А кто там?

— Дядя Эйнар, и дядя Фрай, и кузен Вильям, и еще я вижу Фрульду, и Хелгара, и тетю Моргиану, и кузину Вивриану, и еще дядю Йохана! Они очень быстро приближаются к нам!

— Они прямо в небе? — воскликнул Тимоти и заморгал небольшими серыми глазами. Он стоял возле кровати сестры и выглядел не старше своих четырнадцати лет. На улице бушевал ветер, дом был погружен в темноту и освещался только звездами.

— Они приходят сквозь воздух и путешествуют по земле — кому как удобнее, — произнесла Сеси сквозь сон, не пошевелившись на кровати; она вглядывалась в себя и сообщала то, что видела: — Вот волкоподобное существо, бредет вдоль реки по отмели, над водопадом; свет звезд искрится в его шерсти. Я вижу коричневый дубовый листок, летящий высоко в небе. Я вижу небольшую летучую мышь. Я вижу множество других, пробегающих по макушкам деревьев и проскальзывающих сквозь ветви кроны; и все они идут сюда!

— Они успеют к следующей ночи? — Тимоти вцепился в край простыни. Паук на своей ниточке раскачивался подобно черному маятнику, словно танцую. Он наклонился к сестре: — Ко Дню Возвращения?!

— Да-да, Тимоти, — кивнула Сеси и словно бы оцепенела. — Не спрашивай меня больше. Уходи. Дай мне побыть в любимых местах.

— Спасибо, Сеси, — сказал он и поспешил в свою комнату. Быстро застелил кровать — проснулся он недавно, на закате, и, едва на небе высыпали звезды, отправился к Сеси, чтобы поделиться с ней предвкушением праздника. А теперь она спала, и так тихо, что из ее комнаты не доносилось ни звука. Пока Тимоти умывался, паучок оплел его тонкую шею серебряным лассо.

— Паук, ты только представь, завтрашняя ночь — это Канун всех святых!

Тимоти вытер лицо и взглянул в зеркало. Оно было единственным во всем доме, такую уступку его хворям сделала мать. Ох, если бы он не был таким болезненным! Раскрыв рот, он увидел жалкие, несоразмерные зубы, которыми наделила его природа. Покатые, мелкие и тусклые зернышки кукурузы. Настроение сразу ухудшилось.

Было уже совершенно темно, и Тимоти зажег свечу. Чувствовал он себя совершенно вымотанным, под глазами — синяки. Прошедшую неделю вся семья жила на старинный лад. Днем спали, а с закатом поднимались и брались за дела.

— Паук, со мной что-то совсем не так, — тихо сказал он маленькому созданию. — Я даже днем, как остальные, спать не могу.

Он взял подсвечник. Ох, ему бы крепкие челюсти, с режущими, как стальные шины! Или сильные руки. Или острый ум. Или хотя бы умение отправлять на свободу свое сознание, как Сеси. Увы, он был не самым удачливым созданием. Он даже вздрогнул и поднес свечу ближе к себе — боялся темноты. Братья над ним потешаются. Байон, Леонард и Сэм. Смеются, что спит он в постели. С Сеси — по-другому, для

нее постель как инструмент, необходимый, чтобы посылать свое сознание на охоту. А Тимоти, разве он спит, подобно другим, в чудесном полированном ящике? Нет! Мать позволяет ему иметь собственную комнату, кровать, даже зеркало. Ничего удивительного, что вся семья относится к нему как к своему несчастью. Если бы только крылья прорезались сквозь лопатки... Он задрал рубашку, через плечо глянул в зеркало. Нет. Никаких шансов.

Снизу доносились возбуждающие любопытство загадочные звуки; лоснящийся черный креп украсил все помещения, лестницы и двери. Шипение горящих плошек с салом на площадке лестницы. Слышен высокий и жесткий голос матери, ну а голос отца множится эхом в сыром погребке. Байон вошел в старинный сельский дом, волоча громадные двухгаллоновые кувшины.

— Мне пора идти готовиться к празднику, паук, — сказал Тимоти. Паук крутился на конце своей ниточки, и Тимоти почувствовал себя одиноко. Он надраит все ящики, насобирает пауков и поганок, будет развешивать повсюду траурный креп, но едва начнется праздник, как о нем позабудут. Чем сына-недотелу меньше видно и слышно — тем лучше.

Словно сразу сквозь весь дом внизу пробежала Лаура.

— Возвращение домой! — весело кричала она, и шаги ее раздавались сразу всюду.

Тимоти снова прошел мимо комнаты Сеси — та мирно спала. Раз в месяц она спускалась вниз, а обычно так и лежала в постели. Милая Сеси. Он мысленно спросил ее: «Где ты теперь, Сеси? В ком? Что видно? Не за холмами ли ты? Как там живут?» Но зашел не к ней, а в комнату Элен. Та сидела за столом, сортируя пряди волос: светлых, рыжих, темных — и кривые обрезки ногтей. Все это она собрала, работая маникюршей в салоне красоты деревни Меллин, милях в пятнадцати отсюда. В углу комнаты стоял большой ящик из красного дерева, и на нем была табличка с ее именем.

— Уходи, — сказала она, даже не взглянув на брата. — Не могу работать, когда ты, остолоп, рядом.

— Канун Дня всех святых, Элен, подумай только! — сказал он, стараясь быть дружелюбным.

— Фу-у-у. — Она сложила обрезки ногтей в небольшой белый пакетик и надписала его. — Тебе-то что? Что ты об этом знаешь? Только перепугаешься до смерти. Шел бы лучше обратно в кровать.

— Мне надо почистить и надраить ящики, и еще кое-что сделать, и прислуживать, — покраснел Тимоти.

— А если не уйдешь, то с утра обнаружишь у себя в кровати дюжину сырых устриц, — бесцветным голосом продолжила Элен. — Гуляй, Тимоти.

Разозлившись, он не глядя побежал по лестнице и налетел на Лауру.

— Смотри, куда прешь, — прошипела она сквозь зубы. И унеслась прочь.

Тимоти поспешил к открытой двери погреба, вдохнул сырой, пахнувший землей воздух.

— Папа?

— Самое время! — крикнул отец снизу. — Быстро сюда, а то не управимся к их прибытию.

Тимоти мгновение помедлил — чтобы расслышать миллион звуков, заполнивших дом. Братья приходили и выходили, как поезда на станции, переговаривались, спорили. Казалось, если постоять тут минуту, то со всевозможными вещами в бледных руках мимо пройдут все домочадцы: Леонард с маленьким черным докторским саквояжем; Сэмюэл с громадной, в переплете из черных дощечек книгой под мышкой несет новые ленты крепя; Байон курсирует между машиной и домом, таская все новые галлоны питья.

Отец прекратил работать и передал тряпку Тимоти. Стукнул по громадному ящику из красного дерева:

— Давай-давай, надрай-ка этот и примемся за следующий: А то жизнь проспишь.

Навошивая поверхность, Тимоти заглянул внутрь:

— А дядя Эйнар большой, да?

— Угу...

— А какой большой?

— Ну ты ведь сам видишь ящик.

— Я же только спросил. Футов семь?

— Болтаешь ты много.

Около девяти Тимоти вышел в октябрьскую темноту. Ветер был ни теплый, ни холодный, и часа два он ходил по лугам, собирая поганки и пауков. Его сердце вновь забилось в предвкушении праздника. Сколько, мама говорила, родственников будет? Семьдесят? Сто? Он миновал строения фермы. «Вы бы только знали, что происходит у нас в доме», — сказал он, обращаясь к клубящимся облакам. Взойдя на холм, поглядел в сторону расположенного поодаль города, уже погрузившегося в сон. Циферблат часов на ратуше издали казался совер-

шенно белым. Вот и в городе ничего не знают. Домой он принес много банок с поганками и пауками.

Недолгая церемония прошла в небольшой часовенке в нижнем этаже. Она была похожа на обычные, которые проводились годами: отец декламировал темные строки, прекрасные, будто выточенные из слоновой кости; руки матери двигались в ответных благословениях. Тут собрались и все дети, за исключением Сеси, так и оставшейся в кровати наверху. Но Сеси все равно присутствовала. Можно было заметить, как она смотрит то глазами Байона, то Сэмюела, то матери; движение — и она в тебе, а через мгновение снова исчезла.

Тимоти молился Его Темноте, в животе у него словно комок лежал. «Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне вырасти, помоги мне стать таким, как мои сестры и братья. Не позволяй мне быть другим. Если бы я только умел приделывать волосы к пластмассовым куклам, как Элен, или делать так, чтобы люди в меня влюблялись, как умеет Лаура, или читать странные книги, как Сэм, или занимал бы хорошую должность, как Леонард и Байон. Или даже завел когда-нибудь семью, как отец и мать...»

В полночь дом сотряс первый шквал урагана. Свет врзался в окна ослепительно белыми стрелами. Ураган приближался, разведывая окрестности, проникал всюду, рыхлил сырую ночную землю. И вот входная дверь, наполовину сорванная с петель, замерла в оцепенении, и в дом вошли бабушка и дедушка прямо как в прежние времена!

После этого гости прибывали каждый час. Порхание и мельтешение подле бокового окна, стук в парадные двери, поскребывания с черного хода. Шорохи в подвале, завывания осеннего ветра в печной трубе. Мать наполняла большую пуншевую чашу багровой жидкостью из кувшинов, привезенных Байоном. Отец вносил в комнаты все новые горящие сальные плашки, Лаура и Элен развешивали всюду пучки волчьей ягоды. А Тимоти потерянно стоял среди этого безумного возбуждения; его руки дергались во все стороны, взгляд не мог остановиться ни на чем. Хлопанье дверей, смех, звук льющейся жидкости, темнота, завывания ветра, шум перепончатых крыльев, шаги, приветственные восклицания на крыльце, прозрачное дребезжание оконных переплетов, мелькающие, наплывающие, колышущиеся, слоящиеся тени.

— Ладненько, ладненько, а это, должно быть, Тимоти?!

— Что?

Его коснулась чья-то холодная рука. Сверху глядело вытянутое косматое лицо.

— Хороший парень, чудный парень,— произнес незнакомец.

— Тимоти,— сказала мама,— это дядя Джейсон.

— Здравствуйте, дядя Джейсон.

— А вот там...— Мать увлекла дядю Джейсона дальше. Он, уходя, обернулся через плечо и подмигнул Тимоти.

Тот снова остался один.

И, будто с расстояния в тысячу миль, из мерцающей темноты донесся высокий и мелодичный голос Элен:

— А мои братья и в самом деле очень умны. Угадайте, чем они занимаются, тетя Моргана!

— Представления не имею.

— Они управляют городским похоронным бюро.

— Что? — оторопела тетушка.

— Да! — Пронзительный смех.— Не правда ли, бесценное местечко?

Снова смех. Тимоти замер на месте.

— Они добывают средства к существованию матери, отцу, всем нам. Кроме, конечно, Тимоти...

Повисла тяжелая тишина. Голос дяди Джейсона:

— Ну? Выкладывай, что там с Тимоти?

— Ох, Лаура, твой язычок...— вздыхает мать.

Лаура раскрывает рот, Тимоти зажмуривается.

— Тимоти не любит... ну хорошо, ему не нравится кровь. Он у нас чувствительный.

— Он выучится,— говорит мать.— Он привыкнет,— говорит она жестко.— Он мой сын, и он научится. Ему еще только четырнадцать.

— А я этим вскормлен,— сказал дядя Джейсон, его голос переходил из одной комнаты в другую. Ветер снаружи играл деревьями, как на арфе, в оконное стекло брызнули мелкие капли дождя.— Вскормлен...— И голос пропал в тишине.

Тимоти прикусил губу и открыл глаза.

— Видимо, это моя вина.— Теперь мать показывала гостям кухню.— Я пыталась заставить его. Но детей ведь нельзя заставлять, это только сделает им больно, и они никогда не обретут любви к правильным вещам. Вот Байон, ему было тринадцать, когда...

— Думаешь,— пробормотал дядя Джейсон,— что Тимоти одумеется...

— Уверена в этом,— с вызовом ответила мать.

Огоньки свечей колыхались, как тени, и скрещивались во всей дюжине затхлых комнат. Тимоти озяб. Вдохнув запах горящего сала, он машинально взял свечу и пошел по дому, делая вид, что расправляет ленты крепа.

— Тимоти,— прошептал кто-то возле стены, с придыханием и присвистом.— Тимоти боится темноты!

Голос Леонарда. Ненавистный Леонард!

— Мне нравятся свечи, вот и все,— с упреком прошептал Тимоти.

Вспышка, сильный грохот. Каскады раскатистого смеха. Постукивания и щелчки, восклицания и шелест одежд. Холодный и влажный туман валит сквозь переднюю дверь. А среди тумана приводит в порядок свои крылья высокий и статный мужчина.

— Дядя Эйнар!

Тимоти бросился со всех своих худых ног вперед, прямо сквозь туман, в сторону зеленых колышущихся теней и с разбегу влетел в распростертые ему навстречу объятия Эйнара. Дядя поднял его.

— У тебя есть крылья, Тимоти.— Он подбросил мальчика легко, как головку чертополоха.— Крылья, Тимоти. Летай!

Лица внизу закружились, темнота пришла в движение. Дом пропал, Тимоти почувствовал себя легким ветерком. Он взмахнул руками; пальцы Эйнара поймали его и снова подкинули к потолку. Потолок надвигался, словно падающая стена.

— Лети, Тимоти! — кричал Эйнар своим глубоким голосом.— Маши крыльями, маши!

Он чувствовал сладостный зуд в лопатках, как будто оттуда росли корни, вырывались наружу, чтобы развернуться новенькими влажными перепонками. Он лепетал какие-то безумные слова. Эйнар еще раз швырнул его кверху.

Осенний ветер приливом вломился в дом, дождь обрушился вниз, раскачивая балки, гася пламя свечей. И вся сотня родственников, всех сортов и размеров, выглядывала из черных зачарованных комнат, втягиваясь, будто в водоворот, туда, где Эйнар удерживал ребенка, словно жезл посреди ревущих пространств.

— Довольно! — крикнул Эйнар.

Тимоти, опущенный на доски пола, в изнеможении рухнул перед ним, счастливо рыдая:

— Дядя, дядя, дядя!

— Неплохая штука — летать, а, Тимоти?! — усмехнулся дядя Эйнар, склоняясь к мальчику и ероша ему волосы.— Хорошая, хорошая...

Дело шло к утру. Большинство гостей прибыло, и все уже собирались отправиться в постели и беззвучно, без движения проспаться до следующего заката, когда настанет пора выбирать из роскошных сундуков и начинать кутеж.

Дядя Эйнар двинулся к погребу вместе с остальными. Мать указывала им дорогу к множеству рядов отполированных ящиков. Крылья, словно из парусины цвета морской волны, тянулись за Эйнаром, терлись друг о друга со странным свистом, а когда задевали за что-нибудь, то слышался мягкий звук, будто кто-то постукивал по барабанным перепонкам.

Тимоти лежал наверху, думал свои нелегкие думы и пытался полюбить темноту. В темноте ведь можно делать множество вещей, за которые люди тебя никогда не будут критиковать,— потому что никогда этого не увидят. Он в самом деле любил ночь, но любовь эта была неполной: иной раз вокруг было так много ночи, что кричать хотелось.

В подвале бледные руки захлопывали крышки ящиков. Некоторые родственники копошились, устраиваясь в углах,— головы на руки, веки прикрыты. Солнце взошло. Все уснули.

Закат. Пирушка началась, словно в один миг разлетелось гнездовье летучих мышей — с воплями, шелестом, свистом. С громким стуком распахивались дверки ящиков, из подвальной сырости наверх понесся топот ног. Припозднившиеся гости стучались и с парадного, и с черного входа; их впускали.

На улице дождило, промокшие гости скидывали свои плащи, вымокшие шапки, забрызганные накидки и отдавали их Тимоти, который относил добро в чулан. Комнаты были набиты до предела. Смех кухни, раздавшийся в одной из комнат, отражался от стен другой, ricochetил, петлял, закладывая виражи и возвращался в уши Тимоти уже из четвертой комнаты, но в точности такой же циничный и ехидный, каким был сначала.

По полу пробежала мышь.

— Узнаю вас, Niece Leibersrouter! — воскликнул отец.

Мышь прошмыгнула между ног трех женщин и скрылась в углу. Несколькими мгновениями позже в углу, будто из ниоткуда, возникла прекрасная женщина и так там и стояла, улыбаясь всем собравшимся своей белозубой улыбкой.

Кто-то приник к запотевшему оконному стеклу кухни. Он вздыхал, и стонал, и стучал, прижавшись к стеклу, но Тимоти ничего не мог сделать; он ничего не видел. Сейчас он был не здесь. Вокруг шел дождь, дул ветер, и темнота затягивала его в себя. В доме танцевали вальсы; высокие сухопарые фигуры делали пируэты в такт чужеземной музыке. Лучи звезд мерцали в поднимаемых бутылках, а паучок упал и не спеша зашагал по полу.

Тимоти вздрогнул. Он снова был в доме. Мать отправляла его сбежать туда, сбежать сюда, помочь, услужить, сходить на

кухню, принести это, забрать тарелки, разнести еду... и... весь праздник вращался вокруг него, вот только — без него, не для него. Дюжины толпящихся гостей толкались, отпихивали его, не замечали.

Наконец он выбрался из давки и проскользнул наверх.

— Сеси,— сказал он мягко,— ты где теперь, Сеси?

— В Императорской долине,— слабо пробормотала она после недолгого молчания.— Возле Солтон-Си, неподалеку от грязевых гейзеров. Там пар, испарения и очень спокойно. Я вошла в жену фермера и сижу на переднем крыльце. Я могу заставить ее двигаться, если захочу; могу заставить делать что угодно. Солнце клонится к земле.

— И как там все?

— Слышно, как свистят гейзеры,— сказала она медленно, как если бы разговаривала в церкви.— Маленькие серые клубы пара поднимаются в кипящей грязи, как лысый человек в густом сиропе, головой кверху. Серые пузыри поднимаются, будто резиновые, и разрываются с таким звуком, с каким мокрые губы шлепают друг о друга. И пушистые перья пара вырываются из распоровшейся ткани. Тут густой сернистый запах, пахнет древними временами. Будто там до сих пор варится динозавр. Десять миллионов лет.

— И он еще там?

— Да.— Томные слова медленно падали из ее рта.— Из головы этой женщины я гляжу по сторонам, смотрю на озеро; оно не движется и такое спокойное, что даже боязно. Я сижу на крыльце и жду возвращения мужа. Время от времени плещет рыба. Долина, озеро, несколько машин, деревянная веранда, мое кресло-качалка, я сама, тишина.

— Что теперь, Сеси?

— Я встаю с кресла-качалки,— сказала она.

— Да?

— Я схожу с крыльца, глядя в сторону гейзеров. В небе летают самолеты; они словно доисторические птицы. И там спокойно, так спокойно.

— А ты надолго останешься в ней, Сеси?

— Пока достаточно не услышу, и не увижу, и не почувствую; пока я каким-нибудь образом не изменю слегка ее жизнь. Я спускаюсь с крыльца вдоль деревянных перил. Мои ноги медленно, утомленно ступают по дощатым ступеням.

— А что теперь?

— Теперь вокруг меня сернистый пар. Я смотрю, как лопаются и оседают пузыри. Птица пронесится над моей макушкой. Внезапно я уже в птице и — лечу прочь! И в полете свои-

ми новыми, маленькими, как стеклянные бусинки, глазами вижу, что женщина внизу делает по настилу два-три шага вперед, к гейзеру. Слышу звук, будто в расплавленную глубину нырнул валун. Я лечу, делаю круг. Вижу белую руку, которая извивается, подобно пауку, на поверхности, пропадает в серой лаве. Поверхность затягивается, и я быстро, быстро, быстро лечу домой!

Что-то громко стукнуло в окно, Тимоти вздрогнул.

Сеси широко распахнула глаза — сияющие, большие, счастливые, оживленные: «Вот я и дома!»

Помолчав, Тимоти отважился:

— Сегодня День Возвращения. Все собрались.

— Тогда почему ты наверху? — Она дотронулась до его руки. — Ну ладно, спрашивай. — Она мягко улыбнулась: — Попроси меня, о чем хотел.

— Я пришел не просить, — сконфузился он. — Так, почти ничего. Хорошо, Сеси... — Эти слова выплеснулись из него одновременно, словно одним потоком. — Я хочу сделать что-нибудь такое, чтобы все они взглянули на меня, что-нибудь, что сделало бы меня таким же, позволило бы мне быть с ними, принадлежать к нашему роду, но я не могу ничего придумать и чувствую себя странно. Вот я и подумал, что ты бы могла...

Он осекся, будто оцепенел, и не думал ни о чем — или, во всяком случае, думал, что ничего не думает.

Сестра кивнула.

— Давай спустимся, Тимоти, — сказала она и в тот же миг оказалась внутри его, как рука в перчатке.

— Смотрите все! — Тимоти взял стакан теплой красной жидкости и поднял его так, чтобы увидел весь дом. Все — тети, дяди, кузины, братья, сестры!

Выпил его залпом.

Он протянул руку в сторону сестры Лауры и отдал ей стакан, глядя на нее так, что та замерла. Он почувствовал себя ростом с дерево. Вечеринка притихла. Все стояли вокруг него, ждали и наблюдали. Из дверей выглядывали лица. Нет, они не смеялись. Лицо матери застыло в изумлении. Отец выглядел сбитым с толку, но явно был доволен и с каждым мгновением становился все более гордым.

Тимоти аккуратно ущипнул Лауру возле жилки на шее. Огоньки свечей шатались, будто пьяные; по крыше разгуливал ветер. Из всех дверей на него смотрели родственники. Он запихнул в рот поганку, проглотил, хлопнул ладонями по бокам и обернулся вокруг.

— Смотри, дядя Эйнар! Теперь я смогу летать!

Его ноги застучали по ступенькам лестницы. Мимо промелькнули лица.

Споткнувшись на самом верху, он расслышал голос матери:

— Тимоти, остановись!

— Хей! — крикнул Тимоти и ринулся в пролет.

На полпути вниз крылья, которые, как ему показалось, он наконец обрел, растворились. Он закричал. Его поймал дядя Эйнар.

Смертельно бледный, Тимоти рухнул в его протянутые руки. И тут его губы заговорили чужим голосом:

— Это Сеси! Это я, Сеси! Приходите повидаться со мной наверх, первая комната налево! — После чего Тимоти расхохотался, и ему захотелось проглотить этот смех вместе с языком.

Смеялись все. Эйнар было усадил его, но он вырвался, вскочил и, расталкивая родственников, торопящихся наверх, чтобы поздравить Сеси, ринулся вперед и был у двери первым.

— Сеси, я ненавижу тебя, ненавижу!

В густой темноте возле платана Тимоти изверг свой ужин, тщательно вытер губы, рухнул на кучу опавших листьев и замолотил кулаками по земле. Затих. Из кармана рубашки, из коробочки, выбрался паучок. Исследовал его шею, взобрался на ухо и начал оплетать его паутиной. Тимоти покачал головой:

— Не надо, паук, не надо.— Прикосновение мохнатой и нежной лапы к уху заставило его вздрогнуть.— Не надо, паук.— Но рыдания приутикли.

Паучок пропутешествовал вниз по его щеке, остановился на переносице, заглянул в ноздри, будто хотел увидеть мозг, потом взобрался на кончик носа и уселся там, глядя на Тимоти зелеными бусинками глаз, пока не захотелось смеяться.

— Уходи, паук.

Шурша листьями, Тимоти сел. Лунный свет заливал окрестности. Из дома доносились приглушенные скабрезности, какие говорят, когда играют в «зеркальце, зеркальце». Гости возбужденно перекрикивали друг друга, пытаясь разглядеть в стекле ту часть своего облика, которая не появлялась и не могла появиться в зеркале.

— Тимоти! — Крылья дяди Эйнара хлопнули, словно литавры. Тимоти ощутил, что воспрянул духом. Легко, словно наперсток, дядя подхватил его и усадил себе на плечи.— Не переживай, племянник Тимоти. Каждому свое, у каждого — свой путь. У тебя впереди множество разного. Интересного. Для нас — мир умер. Мы уже слишком многое повидали, поверь мне. Жить лучше тому, кто живет меньше. Жизнь дороже полушки, запомни это.

Все ночное утро, с полуночи, дядя Эйнар водил его по дому, из комнаты в комнату, распевая на ходу. Ватага припозднившихся гостей устроила настоящую кутерьму, с ними была и укутанная в египетский саван пра-пра-пра-пра и еще тыщу раз «пра» бабушка — она не говорила ни слова, а держалась прямо, как прислоненная к стене гладильная доска. Впалые глаза мудро, тихо мерцали. За завтраком в четыре утра тысячекратно великую бабулю усадили во главе длиннейшего стола.

Многочисленные юные кузины пировали возле хрустальной пуншевой чаши. Их глаза блестели, словно оливки, на конусообразных лицах, а бронзовые кудри рассыпались по столу, возле которого они пили, отталкивая друг друга своими твердо-мягкими, полудевичьими-полуюношескими телами.

Ветер усилился, звезды засверкали будто с яростью, шум множился, танцы становились бешеными, питье делалось разгульным. Тимоти надо было успеть увидеть и услышать тысячу разных вещей. Мириады теней переплетались, смешивались; мрак взбалтывался, пузырился; лица мелькали, исчезали, появлялись снова.

«Слушай!»

Вечеринка затаила дыхание. Откуда-то издалека донесся удар городских колоколов, сообщавших, что уже шесть утра. Праздник кончился. В такт бьющим часам сотня голосов затянула песню — ей было лет четыреста, не меньше, — песню, которую Тимоти знать не мог. Руки извивались, медленно вращались; они пели, а там, вдалеке, в холодном утреннем просторе, городские куранты окончили свой перезвон и затихли.

Тимоти пел: он не знал ни слов, ни мелодии, но они возникали сами по себе. Он взглянул на закрытую дверь наверху.

— Спасибо, Сеси, — прошептал он, — я простил тебя, спасибо.

Расслабился и позволил словам свободно срываться с его губ голосом Сеси.

Произносились последние прощальные слова, возле дверей образовалась суতোлка. Отец и мать стояли на пороге, жали руки и целовались поочередно со всеми уходящими. Сквозь открытую дверь было видно, как на востоке розовеет небо. Холодный ветер выстудил прихожую, а Тимоти чувствовал, что поочередно переходит из одного тела в другое, почувствовал, что Сеси поместила его в дядюшку Фрая, и у него как будто стало сухое, морщинистое лицо, и он взлетел сухим листиком над домом и просыпающимися холмами...

Затем, размашисто шагая по скользкой тропинке, он ощутил, как горят его покрасневшие глаза, что мех его шкуры влажен от росы, — будто внутри кузена Вильяма он тяжело протискивался в дупло, чтобы исчезнуть...

Подобно голышу во рту у дяди Эйнара, Тимоти летел среди перепончатого грохота, заполняя собой небо. А потом — навсегда вернулся в свое собственное тело.

Среди занимающегося рассвета последние гости еще обнимались напоследок, плакали и жаловались, что в мире осталось слишком мало места для них... Когда-то они собирались каждый год, а теперь без встреч проходили десятки лет. «Не забудь, — крикнул кто-то, — встречаемся в Сэлеме, в тысяча девятьсот семидесятом!»

Сэлем. Сэлем. От этих слов мозг Тимоти оцепенел. Сэлем, 1970-й. И там будут дядюшка Фрай, и тыщу-раз-прабабушка в своем вечном саване, и мать, и отец, и Элен, и Лаура, и Сеси, и... все остальные. Но будет ли там он? Доживет ли он до той поры?

С последним, слабеющим порывом ветра исчезли все: множество шарфов, увядших листьев, множество крылатых существ, множество хнычущих, слипающихся в гроздя звуков, бескрайних полночей, безумий и мечтаний.

Мать закрыла дверь. Лаура взялась за метлу.

— Не надо, — сказала мать. — Уберем потом, а сейчас нам надо спать.

Домочадцы разбрелись — кто в подвал, кто на чердак. И Тимоти с поникшей головой пошел через украшенную крепом гостиную. Возле зеркала, оставшегося с вечеринки, остановился, заглянул в него и увидел смертную бледность своего лица, себя — озябшего и дрожащего.

— Тимоти, — сказала мать. Она подошла и прикоснулась ладонью к его лицу. — Сын, — вздохнула она, — запомни, мы любим тебя. Мы все тебя любим. Не важно, насколько ты другой, не важно, что ты нас однажды покинешь. — Она поцеловала его в щеку. — И если ты даже и умрешь, то твой прах никто не потревожит, мы приглядим за ним. Ты будешь лежать спокойно и беззаботно, а я буду приходить к тебе в каждый Канун всех святых и перепрыгивать в более надежное место.

Дом затих. Где-то вдали ветер уносил за холмы свой последний груз: темных летучих мышей — гомонящих, перекликающихся.

Тимоти поднимался по лестнице, ступенька за ступенькой, и беззвучно плакал.

Жила-была старушка

— Нет-нет, и слушать не хочу. Я уже все решила. Забирай свою плетенку — и скатертью дорога. И что это тебе взбрело в голову? Иди, иди отсюда, не мешай: мне еще надо вязать и кружева плести, какое мне дело до всяких черных людей и их дурацких затей!

Темноволосый молодой человек, весь в черном, стоял, не двигаясь, и слушал тетушку Тилди. А она не давала ему и рта раскрыть.

— Слышал, что я сказала? Уж если тебе невтерпеж со мной потолковать, что ж, изволь, только не обессудь, я покуда налью себе кофе. Вот так-то. Был бы ты повежливей, я бы и тебя угостила, а то ворвался с таким важным видом, даже и постучать-то не подумал. Будто это он тут хозяин.

Тетушка Тилди пошарила у себя на коленях.

— Ну вот, теперь со счету сбилась — которая же это была петля? А все из-за тебя. Я вяжу себе шаль. Зимы нынче пошли страх какие холодные, в доме сквозняки так и гуляют, а я старая стала, и кости все высохли, надо одеваться потеплее.

Черный человек сел.

— Этот стул старинный, ты с ним поосторожней, — предупредила тетушка Тилди. — Ну давай, что ты там хотел мне сказать, я слушаю со вниманием. Только не ори во всю глотку и не смей тарашить на меня глаза, какие-то в них огоньки чудные горят. Господи помилуй, у меня от них прямо мурашки бегают.

Фарфоровые, расписанные цветами часы на камине пробили три. В прихожей ждали какие-то люди. Неподвижно, точно истуканы, стояли они вокруг плетеной корзины.

— Так вот, насчет этой плетенки, — сказала тетушка Тилди. — В ней добрых шесть футов, и, видать, корзина эта не бельевая. И нести ее вчетвером просто смешно, она же легкая как пушинка.

Черный человек наклонился к тетушке Тилди. Он словно хотел сказать, что скоро корзина уже не будет такой легкой.

— погоди, погоди, — задумчиво сказала тетушка Тилди. — Где ж это я видала такую корзину? И вроде бы не так уж давно, года два назад. Сдается мне... А, вспомнила. Да это же когда померла моя соседка миссис Дуайр.

Тетушка Тилди в сердцах поставила чашку на стол.

— Так вот ты с чем пожаловал? А я-то думала, ты хочешь мне что-нибудь продать. Ну погоди, к вечеру придет из коллед-

жа моя Эмили, она тебе покажет, где раки зимуют! На прошлой неделе я послала ей письмо. Понятно, я не написала, что здоровье у меня уж не то и бойкости прежней тоже нет, только намекнула, что хочу ее повидать — соскучилась, мол. Нью-Йорк-то отсюда за тридевять земель. А ведь Эмили мне все равно как дочка. Вот погоди, она тебе покажет, любезный мой. Она тебя как шуганет из этой гостиной, и ахнуть не успеешь...

Черный человек посмотрел на тетушку Тилди с жалостью — мол, устала, бедняжка.

— А вот и нет! — огрызнулась она.

Полузакрыв глаза, расслабив все тело, гость покачивался на стуле взад-вперед, взад-вперед. Он отдыхал. Неужто и ей не хочется отдохнуть? — казалось, бормотал он. Отдохнуть, отдохнуть, славно отдохнуть...

— Ах, чтоб тебе пусто было. Смотри, что выдумал! Этими самыми руками — не гляди, что они такие костлявые, — я связала сто шалей, двести свитеров и шестьсот грелок на чайники! Уходи-ка ты подобру-поздорову, а когда я сдамся, тогда вернешься, может, я с тобой и потолкую, — перевела разговор тетушка Тилди. — Давай-ка я лучше расскажу тебе про Эмили, про мое милое, дорогое дитя.

Она задумалась, покивала головой. Эмили... у нее волосы, точно золотой колос, и такие же шелковистые.

— Не забыть мне день, когда умерла ее мать; двадцать лет назад это было, и Эмили осталась со мной. Оттого-то я и злюсь на вас да на ваши плетенки. Где это слыхано, чтоб за доброе дело человека в гроб уложили? Нет, любезный, не на такую напал. Помню я...

Тетушка Тилди умолкла; воспоминание кольнуло ей сердце. Много-много лет назад, под вечер, она услышала слабый, прерывающийся голос отца.

— Тилди, — шепнул он, — как ты будешь жить? Ты такая неутомонная, вот никто рядом с тобой и не остается. Поцелуешь да и бежишь прочь. Пора бы угомониться. Вышла бы замуж, растила бы детей.

— Я люблю смеяться, дурачиться и петь, папа! — крикнула в ответ Тилди. — Я не из тех, кто хочет замуж. Мне не найти жениха по себе, у меня ведь своя философия.

— Какая такая у тебя философия?

— А вот такая: у смерти ума ни на грош! Надо же — утащить у нас маму, когда мама была нам нужней всего! По-твоему, это разумно?

Глаза отца повлажнели, стали грустные, пасмурные.

— Ты права, Тилди, права, как всегда. Но что же делать? Смерти никому не миновать.

— Драться надо! — воскликнула Тилди. — Бить ее ниже пояса! Не верить в нее!

— Это невозможно, — печально возразил отец. — Каждый из нас встречается со смертью один на один.

— Когда-нибудь все переменится, папа. Отныне я кладу начало новой философии! Да ведь это просто дурость какая-то: живешь совсем недолго, а потом, оглянуться не успеешь, тебя заруют в землю, будто ты зерно; только ничего из тебя не вырастет. Что ж тут хорошего? Люди лежат в земле миллион лет, а толку никакого. И люди-то какие — милые, славные, порядочные или уж, во всяком случае, старались быть получше.

Но отец не слушал. Он вдруг побелел и как-то выцвел, точно забытая на солнце фотография. Тилди пыталась удержать его, отговорить, но он все равно умер. Она повернулась и убежала. Не могла она оставаться: ведь он сделался холодный и самим этим холодом отрицал ее философию. Она и на похороны не пошла. Ничего она не стала делать, только открыла тут, в старом доме, лавку древностей и жила одна-одиношенька, пока не появилась Эмили. Тилди не хотела брать девочку. Вы спросите почему? Да потому что Эмили верила в смерть. Но мать Эмили была старинной подругой Тилди, и Тилди обещала ей не оставить сироту.

— За все эти годы никто, кроме Эмили, не жил со мной под одной крышей, — рассказывала тетушка Тилди черному человеку. — Замуж я так и не вышла. Страшно подумать: проживешь с мужем двадцать, тридцать лет, а потом он возьмет да и умрет прямо у тебя на глазах. Тогда все мои убеждения развалились бы, точно карточный домик. Вот я и пряталась от людей. При мне о смерти никто и заикнуться не смел.

Черный человек слушал ее терпеливо, вежливо. Но вот он поднял руку. Она еще и рта не раскрыла, а по его темным, с холодным блеском глазам видно было: он знает наперед все, что она скажет. Он знал, как она вела себя во время Второй мировой войны, знал, что она навсегда выключила у себя в доме радио, и отказалась от газет, и выгнала из своей лавки и стукнула зонтиком по голове человека, который непременно хотел рассказать ей о вторжении, о том, как длинные волны неторопливо накатывались на берег и, отступая, оставляли на песке цепи мертвецов, а луна молча освещала этот небывалый прилив.

Черный человек сидел в старинном кресле-качалке и улыбался: да, он знал, как тетушка Тилди прирастилась к старым задушевым пластинкам. К песенке Гарри Лодера «Скитаясь в

сумерках...», и к мадам Шуман-Хинк, и к колыбельным. В мире этих песенок все шло гладко, не было ни заморских бедствий, ни смертей, ни отравлений, ни автомобильных катастроф, ни самоубийств. Музыка не менялась, изо дня в день она оставалась все той же. Шли годы, тетушка Тилди пыталась обратить Эмили в свою веру. Но Эмили не могла отказаться от мысли, что люди смертны. Однако, уважая тетушкин образ мыслей, она никогда не заговаривала о... о вечности.

Черному человеку все это было известно.

— И откуда ты все знаешь? — презрительно фыркнула тетушка Тилди. — Короче говоря, если ты еще не совсем спятил, так и не надейся — не уговоришь меня лечь в эту дурацкую плетенку. Только попробуй тронь, и я плюну тебе в лицо!

Черный человек улыбнулся. Тетушка Тилди снова презрительно фыркнула.

— Нечего скалиться. Стара я, чтоб меня обхаживать. У меня душа будто старый тубик с краской, в ней давным-давно все пересохло.

Послышался шум. Часы на каминной полке пробили три. Тетушка Тилди метнула на них сердитый взгляд. Это еще что такое? Они ведь, кажется, уже только что били три? Тилди любила свои белые часы с золотыми голенькими ангелочками, которые заглядывали на циферблат, любила их бой, точно у соборных колоколов, — мягкий и словно бы доносящийся издалека.

— Долго ты намерен тут сидеть, милейший?

— Да, долго.

— Тогда уж не обессудь, я подремлю. Только смотри, не вставай с кресла. И не смей ко мне подкрадываться. Я закрываю глаза просто потому, что хочу соснуть. Вот так. Вот так...

Славное, покойное, отдохновенное время. Тихо. Только часы тикают, хлопотливые, словно муравьи. В старом доме пахнет полированным красным деревом, истертыми кожаными подушками дедовского кресла, книгами, теснящимися на полках. Славно. Так славно...

— Ты не встаешь, сударь, нет? Смотри не вставай. Я слежу за тобой одним глазом. Да-да, слежу. Право слово. Ох-хо-хо-хо-хо.

Как невесомо. Как сонно. Как глубоко. Прямо как под водой. Ах, как славно.

Кто там бродит в темноте?.. Но ведь глаза у меня закрыты?

Кто там целует меня в щеку? Это ты, Эмили? Нет, не ты. А, я знаю, это мои думы. Только... только все это во сне. Господи, так оно и есть. Меня куда-то уносит, уносит, уносит...

А? Что? Ох!

— Погодите-ка, только очки надену. Ну вот!

Часы снова пробили три. Стыдно, мои дорогие, просто стыдно. Придется отдать вас в починку.

Черный человек стоял у дверей. Тетушка Тилди удовлетворенно кивнула.

— Все-таки уходишь, милейший? Пришлось тебе сдаться, а? Меня не уговоришь, где там, я упрямая. Из этого дома меня не выманить, так что и не трудись, не приходи понапрасну!

Черный человек неторопливо, с достоинством поклонился.

Нет, у него и в мыслях не было приходить сюда еще раз.

— То-то, я всегда говорила папе, что будет по-моему! — провозгласила тетушка Тилди. — Я еще тысячу лет просижу с вязаньем у этого окна. Если хочешь меня отсюда вытащить, придется тебе разобрать весь дом по досточке.

Черный человек сверкнул на нее глазами.

— Что глядишь на меня, будто кот, который слопал канарейку! — воскликнула тетушка Тилди. — Забирай отсюда свою дурацкую плетенку!

Четверо тяжелой поступью пошли вон из дома. Тилди внимательно смотрела, как они управляют с пустой корзиной, — они пошатывались под ее тяжестью.

— Эй, вы! — Она встала, дрожа от гнева. — Вы что, утащили мои древности? Или, может, книги? Или часы? Что вы напихали в свою плетенку?

Черный человек, самодовольно посвистывая, повернулся к ней спиной и поспешил за носильщиками к выходу. В дверях он кивнул на плетенку и показал тетушке Тилди на крышку. Знаками он приглашал ее приоткрыть крышку и заглянуть внутрь.

— Ты это мне? Чего я там не видала? Больно надо. Убейся вон! — крикнула тетушка Тилди.

Черный человек нахлобучил шляпу, небрежно, безо всякого почтения поклонился.

— Прощай! — Тетушка Тилди захлопнула дверь.

Вот так-то. Так-то оно лучше. Ушли. Будь они неладны, олухи, эка что выдумали. Пропади она пропадом, их плетенка. Если и утащили что, шут с ними, лишь бы ее самое оставили в покое.

«Смотри-ка! — Тетушка Тилди заулыбалась. — Вон идет Эмили, приехала из колледжа. Самое время. А хороша! Одна походка чего стоит. Но что это она какая бледная, совсем на себя не похожа, и идет еле-еле. С чего бы это? И невеселая

какая-то. Вот бедняжка. Принесу-ка поскорей кофе и печенье».

Вот Эмили уже поднимается по ступенькам. Торопливо собирая на стол, тетушка Тилди слышит ее медленные шаги — девочка явно не спешит. Что это с ней приключилось? Она прямо как осенняя муха.

Дверь распахивается. Держась за медную ручку, Эмили оставивается на пороге.

— Эмили? — окликает тетушка Тилди.

Тяжело волоча ноги, повесив голову, Эмили входит в гостиную.

— Эмили! А я тебя жду, жду! Ко мне тут приходил один дурак с плетенкой. Хотел мне что-то всучить совсем ненужное... Хорошо, что ты уже дома, сразу как-то уютнее...

Но тут тетушка Тилди замечает, что Эмили глядит на нее во все глаза.

— Что случилось, Эмили? Чего ты на меня уставилась? Садись-ка к столу, я принесу тебе чашечку кофе. На, пей!

...Да что ж ты от меня пятишься?

...А кричать-то зачем, детка? Перестань, Эмили, перестань! Успокойся! Разве можно, этак и ум за разум зайдет. Вставай, вставай, нечего валяться на полу и в угол забиваться нечего. Ну что ты вся съежилась, девочка, я же не кусаюсь!

...Господи, не одно, так другое.

...Да что случилось, Эмили? Девочка...

Закрыв лицо руками, Эмили глухо стонет.

— Ну-ну, детка, — шепчет тетушка Тилди. — Ну успокойся, выпей водички. Выпей водички, Эмили, вот так.

Эмили широко раскрывает глаза, что-то видит, снова жмурится и, вся дрожа, пытается совладать с собой.

— Тетушка Тилди, тетушка Тилди, тетушка...

— Ну, хватит! — Тилди шлепает ее по руке. — Что с тобой такое?

Эмили через силу открывает глаза. Протягивает руку. Рука проходит сквозь тетушку Тилди.

— Что это тебе взбрело в голову! — кричит Тилди. — Сейчас же убери руку! Убери руку, слышишь!

Эмили отпрянула, затрясла головой; золотая солнечная копна вся затрепетала.

— Тебя здесь нет, тетушка Тилди. Ты мне привиделась. Ты умерла!

— Тсс, малышка.

— Тебя просто не может тут быть.

— Бог с тобой, что ты болтаешь?..

Она берет руку Эмили. Рука девушки проходит сквозь ее руку. Тетушка Тилди вдруг вскакивает, топает ногой.

— Вон что, вон что! — сердито кричит она. — Ах ты, враль! Ах ворюга! — Ее худые руки сжимаются в кулаки, да так, что даже суставы белеют. — Ах злодей, черный мерзкий пес! Он украл его! Он его уволок, да, да, это все он, он! Ну я ж тебе!..

Она вся кипит от гнева. Ее выцветшие глаза горят голубым огнем. Она захлебывается, ей не хватает слов. Потом поворачивается к Эмили:

— Вставай, девочка! Ты мне нужна!

Эмили лежит на полу, ее трясет.

— Они не всю меня утащили! — провозглашает тетушка Тилди. — Черт возьми, придется пока обойтись тем, что осталось. Подай мне шляпку!

— Я боюсь, — признается Эмили.

— Кого, меня?!

— Да.

— Но я же не призрак! Ты ведь знаешь меня почти всю свою жизнь. Сейчас не время нюни распускать. Поднимайся, да поживей, не то получишь затрещину!

Всхлипывая, Эмили поднимается на ноги; она совсем как загнанный зверек и словно прикидывает, куда бы удрать.

— Где твоя машина, Эмили?

— Там, в гараже...

— Прекрасно! — Тетушка Тилди подталкивает ее к двери. — Ну... — Ее острые глазки быстро обшаривают улицу. — В какой стороне морг?

Держась за перила, Эмили нетвердыми шагами спускается по лестнице.

— Что ты задумала, тетушка?

— Что задумала? — переспрашивает тетушка Тилди, ковыляя следом; бледные дряблые щеки ее дрожат от ярости. — Как что? Отберу у них свое тело — и вся недолга! Отберу свое тело! Пошли!

Мотор взревел, Эмили вцепилась в руль, напряженно вглядывается в извилистые, мокрые от дождя улицы. Тетушка Тилди потрясает зонтиком.

— Быстрее, девочка, быстрее, не то эти привереды прозекторы впрыснут в мое тело какое-нибудь зелье, и освежут, и разделают на части. Разрежут, а потом так сошьют, что оно уже никуда не будет годиться.

— Ох, тетушка, тетушка, отпусти меня, зря мы туда едем. Все равно толку не будет. Ну никакого толку, — вздыхает девушка.

— Вот мы и приехали.

Эмили затормозила у обочины и без сил привалилась к рулю, а тетушка Тилди выскочила из машины и засеменила по подъездной аллее морга туда, где с блестящих черных дроб сгружали плетеную корзину.

— Эй! — накнулась она на одного из четверых носильщиков. — Поставьте ее наземь!

Все четверо подняли головы.

— Посторонитесь, сударыня, — говорит один из них. — Не мешайте дело делать.

— В эту плетенку запихали мое тело! — Тилди воинственно взмахнула зонтиком.

— Ничего не знаю, — говорит второй носильщик. — Не стойте на дороге, сударыня. У нас тяжелый груз.

— Вот еще! — оскорбленно восклицает она. — Да будет вам известно, что я вешу всего сто десять фунтов.

Носильщик даже не смотрит на нее.

— Ваш вес нам без надобности. А вот мне надо поспеть домой к ужину. Коли опоздаю, жена меня убьет.

И четверо пошли своей дорогой — по коридору, в прозекторскую. Тетушка Тилди припустилась за ними.

Длиннолицый человек в белом халате нетерпеливо подждал корзину и, завидев ее, удовлетворенно улыбнулся. Но тетушка Тилди на него и не смотрела, жадное нетерпение, написанное на его лице, ее мало трогало. Поставив корзину, носильщики ушли.

Мельком глянув на тетушку, человек в белом халате сказал:

— Сударыня, даме здесь не место.

— Очень приятно, что вы так думаете, — обрадовалась она. — Именно это я и пыталась втолковать вашему черному человеку.

Прозектор удивился:

— Что еще за черный человек?

— А тот, который околачивался возле моего дома.

— Среди наших служащих такого нет.

— Не важно. Вы сейчас очень разумно заявили, что благородной даме здесь не место. Вот я и не хочу здесь оставаться. Я хочу домой, пора готовить ветчину для гостей, ведь Пасха на носу. И еще надо кормить Эмили, вязать свитеры, завести все часы в доме...

— У вас, я вижу, философский склад ума, сударыня, и приверженность к добрым делам, но мне надо работать. Доставлено тело.

Последние слова он произносит с явным удовольствием и принимается разбирать свои ножи, трубки, склянки и разные прочие инструменты.

Тилди свирепеет:

— Только дотроньтесь до этого тела, я вам...

Он отмахивается от нее, как от мухи.

— Джордж, проводи, пожалуйста, эту даму,— вкрадчиво говорит он.

Тетушка Тилди встречает идущего к ней Джорджа яростным взглядом:

— Пошел вон, дурак!

Джордж берет ее за руки:

— Пройдите, пожалуйста.

Тилди высвобождается. С легкостью. Ее плоть вроде бы... ускользнула. Чудны дела твои, Господи. В таком почтенном возрасте — и вдруг новый дар.

— Видали? — говорит она, гордая этим своим талантом. — Вам со мной не сладить. Отдавайте мое тело!

Прозектор небрежно открывает корзину. Заглядывает внутрь, кидает быстрый взгляд на Тилди, снова — в корзину, вглядывается внимательней... Это тело... кажется... возможно ли?... А все-таки... да... нет... нет... да нет же, не может быть, но... Он переводит дух. Оборачивается. Таращит глаза. Потом испытующе прищуривается.

— Сударыня, — осторожно начинает он. — Эта дама вот здесь... э... ваша... э... родственница?

— Очень близкая родственница. Обращайтесь с ней поосторожнее.

— Сестра, наверно? — хватается он за ускользающую соломинку здравого смысла.

— Да нет же. Вот непонятливый! Это я, слышите? Я!

Прозектор минуту подумал.

— Нет, так не бывает, — говорит он. И принимается перебирать инструменты. — Джордж, позови кого-нибудь себе в помощь. Я не могу работать, когда в комнате полоумная.

Возвращаются те четверо. Тетушка Тилди вызывающе вскидывает голову.

— Не сладите! — кричит она, но ее, точно пешку на шахматной доске, переставляют из прозекторской в мертвецкую, в приемную, в зал ожидания, в комнату для прощаний и наконец в вестибюль. Тут она опускается на стул, стоящий на самой середине. В сумрачной тишине вестибюля стоят скамьи, пахнет цветами.

— Ну вот, сударыня, — говорит один из четверых. — Здесь тело будет находиться завтра, до начала отпевания.

— Я не сдвинусь с места, пока не получу то, что мне надо.

Плотно сжав губы, она теревит бледными пальцами кружевной воротник и нетерпеливо постукивает по полу ботинком на пуговках. Если кто подходит поближе, она бьет его зонтиком. А стоит кому-либо ее тронуть — и она... ну да, она просто ускользает.

Мистер Кэррингтон, президент похоронного бюро, услышал шум и приковылял в вестибюль разузнать, что случилось.

— Тсс, тсс,— шепчет он направо и налево, прижимая палец к губам.— Имейте уважение, имейте уважение. Что тут у вас? Не могу ли я быть вам полезен, сударыня?

Тетушка Тилди смерила его взглядом:

— Можете.

— Чем могу служить?

— Подите в ту комнату в конце коридора,— распорядилась тетушка Тилди.

— Д-да-а?

— И скажите этому рьяному молодому исследователю, чтоб оставил в покое мое тело. Я — девица. И не желаю никому показывать свои родинки, родимые пятна, шрамы и прочее, и что нога у меня подворачивается — тоже мое дело. Нечего ему во все совать нос, трогать, резать — еще, того гляди, что-нибудь повредит.

Мистер Кэррингтон не понимает, о чем речь, он ведь еще не знает, что за тело находится в прозекторской. И он глядит на тетушку Тилди растерянно и беспомощно.

— Чего он уложил меня на свой стол, я ж не голубь какой-нибудь, меня незачем потрошить и фаршировать! — сказала Тилди.

Мистер Кэррингтон кинулся выяснять, в чем дело. Прошло пятнадцать минут; в вестибюле стояла напряженная тишина, а там, за дверями прозекторской, шел отчаянный спор; наконец, бледный и осунувшийся, мистер Кэррингтон возвратился.

Очки свалились у него с носа, он поднял их и сказал:

— Вы нам очень осложняете дело.

— Я?! — рассвирепела тетушка Тилди.— Святые угодники, да что же это такое! Послушайте, мистер Кожа-да-кости или как вас там, так, по-вашему, это я осложняю?

— Мы уже выкачиваем кровь из... из этого...

— Что?!

— Да-да, уверяю вас. Так что вам придется уйти. Теперь уже ничего нельзя сделать.— Он нервно засмеялся.— Сейчас наш прозектор произведет частичное вскрытие и определит причину смерти.

Тетушка Тилди вскочила как ошпаренная.

— Да как он смеет! Это позволено только судебным экспертам!

— Ну, нам иногда тоже кое-что позволяется...

— Сейчас же отправляйтесь назад и велите вашему Режне-жалей сию минуту перекачать всю отличную благородную кровь обратно в это тело, покрытое прекрасной кожей, и если он уже что-нибудь вытащил из него, пускай тут же приладит на место, да чтоб все работало как следует, и бодрое, здоровое тело пускай вернет мне. Слышали, что я сказала?

— Но я ничего не могу поделать. Ни-че-го.

— Ну вот что. Я не сдвинусь с места хоть двести лет. Ясно? И распугаю всех ваших клиентов, буду пускать им прямо в нос эманацию!

Ошеломленный Кэррингтон кое-как пораскинул мозгами и даже застонал:

— Но вы погубите нашу фирму! Неужели вы решитесь?

— Еще как решусь! — усмехнулась тетушка Тилди.

Кэррингтон кинулся в темный зал ожидания. Даже издали слышно было, как он судорожно крутит телефонный диск. Спустя полчаса к похоронному бюро с ревом подкатили машины. Три вице-президента в сопровождении перепуганного президента прошествовали в зал ожидания.

— Ну, в чем тут дело?

Переменяя свою речь отменными проклятиями, тетушка все им растолковала.

Президенты стали держать совет, а прозектора попросили приостановить свои занятия хотя бы до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то соглашение... Прозектор вышел из своей комнаты и стоял тут же, курил большую черную сигару и любезно улыбался.

Тетушка Тилди воззрилась на сигару.

— А пепел вы куда стряхиваете? — в страхе спросила она.

Попыхивая сигарой, прозектор невозмутимо ухмыльнулся. Наконец совет был окончен.

— Скажите по чести, сударыня, вы ведь не пустите нас по миру, а?

Тетушка оглядела стервятников с головы до пят:

— Ну, это бы я с радостью.

Кэррингтона прошиб пот, он отер лицо платком.

— Можете забрать свое тело.

— Ха! — обрадовалась Тилди. Но тут же опасливо спроси-

ла: — В целостности-сохранности?

- В целостности-сохранности.
- Безо всякого формальдегида?
- Безо всякого формальдегида.
- С кровью?

— Да с кровью же, забирайте его, ради Бога, и уходите!
Тетушка Тилди чопорно кивнула.

— Ладно. По рукам. Приведите его в порядок.

Кэррингтон обернулся к прозектору:

— Эй, вы, бестолочь! Нечего стоять столбом. Приведите все в порядок, живо!

— Да смотрите не сыпьте пепел куда не надо! — прикрикнула тетушка Тилди.

— Осторожней, осторожней! — командовала тетушка Тилди. — Поставьте плетенку на пол, а то мне в нее не влезть.

Она не стала особенно разглядывать тело. «Вид самый обыкновенный», — только и заметила она. И опустила в корзину.

И сразу вся словно заледенела; потом ее отчаянно затошнило, закружилась голова. Теперь вся она была точно капля расплавленной материи, точно вода, что пыталась бы просочиться в бетон. Это долгий труд. И тяжкий. Все равно что бабочке, которая уже вышла из куколки, сызнова втиснуться в старую жесткую оболочку.

Вице-президенты со страхом наблюдали за тетушкой Тилди. Мистер Кэррингтон то ломал руки, то взмахивал ими, то тыкал пальцами в воздух, будто этим мог ей помочь. Прозектор только недоверчиво посматривал, да посмеивался, да пожимал плечами.

«Просачиваюсь в холодный, непроницаемый гранит. Просачиваюсь в замороженную старую-престарую статую. Втискиваюсь, втискиваюсь...»

— Да оживай же, черт возьми! — прикрикнула тетушка Тилди. — Ну-ка, приподнимись!

Тело чуть привстало, зашуршали сухие прутья корзины.

— Не ленись, согни ноги!

Тело слепо, ошупью поднялось.

— Увидь! — скомандовала тетушка Тилди.

В слепые, затянутые пленкой глаза проник свет.

— Чувствуй! — подгоняла тетушка Тилди. Тело вдруг ощутило теплый воздух, а рядом — жесткий лабораторный стол и, тяжело дыша, оперлось на него.

— Шагни!

Тело ступило вперед — медленно, тяжело.

— Услышь! — приказала она.

В оглохшие уши ворвались звуки: хрипкое, нетерпеливое дыхание потрясенного прозектора, хныканье мистера Кэррингтона, ее собственный трескучий голос.

— Иди! — сказала тетушка Тилди.

Тело пошло.

— Думай!

Старый мозг заработал.

— Говори!

— Премного обязано. Благодарствую.— И тело отвесило поклон содержателям похоронного бюро.

— А теперь,— сказала наконец тетушка Тилди,— плачь!

И заплакала блаженно-счастливыми слезами.

И отныне, если вам вздумается навестить тетушку Тилди, вам стоит только в любой день часа в четыре подойти к ее лавке древностей и постучаться. На двери висит большой траурный венок. Не обращайтесь внимания. Тетушка Тилди нарочно его оставила, такой уж у нее нрав! Постучитесь. Дверь заперта на две задвижки и на три замка.

— Кто там? Черный человек? — послышится пронзительный голос.

Вы, смеясь, ответите: нет-нет, тетушка Тилди, это я.

И она, тоже смеясь, скажет: «Входите побыстрее!» — распахнет дверь и мигом захлопнет ее за вами, так что черному человеку нипочем не проскользнуть. Потом она усадит вас, и нальет вам кофе, и покажет последний связанный ею свитер. Уже нет в ней прежней бодрости, и глаза стали сдавать, но держится она молодцом.

— Если будете вести себя примерно,— провозгласит тетушка Тилди, отставив в сторону чашку кофе,— я вас кое-чем потчую.

— Чем же? — спросит гость.

— А вот,— скажет тетушка, очень довольная, что ей есть чем похвастать, и шуткой своей довольная.

Потом неторопливо отстегнет белое кружево на шее и на груди и чуточку его раздвинет.

И на миг вы увидите длинный синий шов — аккуратно зашитый разрез, что был сделан при вскрытии.

— Недурно сшито, и не подумаешь, что мужская работа,— снисходительно скажет она.— Что? Еще чашечку кофе? Пейте на здоровье!

Смерть и дева

Далеко-далеко, за лесами, за горами жила Старушка. Десятью лет прожила она взаперти, не открывала дверь никому — ни ветру, ни дождю, ни воробьям вороватым, ни мальчишкам голопятым. И стояло только поскрестись к ней в ставни, как она уже кричит:

— Пошла прочь, Смерть!

— Я не Смерть! — говорили ей.

Но она в ответ:

— Смерть, я узнаю тебя, ты сегодня вырядилась девочкой. Но под веснушками я вижу кости!

Или кто другой постучит.

— Я вижу тебя, Смерть! — крикнет Старушка. — У тебя такой вид, будто ты и вправду точильщик! Но на двери три замка и два засова. Я залепила клейкой бумагой все щели, тесемками заткнула замочные скважины, пыль не даст тебе проникнуть в печную трубу, ставни заросли паутиной, а электрические провода перерезаны, чтобы ты не проскользнула сюда вместе с током! И телефона у меня нет, так что тебе не удастся поднять меня в три часа ночи и объявить свой смертный час. Я и уши заткнула ватой... Говори не говори — я тебя все равно не услышу. Вот так-то, Смерть. Убирайся!

И сколько помнили себя жители городка, так было всегда. Люди тех дальних краев, что лежат за лесами, вели о ней разговоры, а ребята иногда, не поверив сказкам, поднимали шестами черепицу на крыше и слышали вопль Старушки: «Давай проваливай, ты, в черной одежде с белым-белым лицом!»

А говорили еще, что, применяя такую тактику, Старушка будет жить вечно. В конце концов, каким образом Смерть может пробраться к ней? Все старые микробы в ее доме давно уже махнули на все рукой и ушли на покой. А новые микробы, которые, если верить газетам, появляются из-под земли под новыми именами каждые десять дней, никак не могут пройти мимо пучков полыни, руты, мимо табачных листьев и касторовых бобов, положенных у каждой двери.

— Она всех нас переживет, — говорили в ближнем городке, мимо которого проходила железная дорога.

— Я их всех переживу, — говорила Старушка, раскладывая в темноте и одиночестве пасьянс.

И вот что случилось.

Шли годы, и уже никто — ни мальчик, ни девочка, ни бродяга, ни путешественник — не стучался к ней в дверь. Дважды в год бакалейный приказчик, которому самому стукнуло семьдесят, оставлял у порога дома запечатанные блестящие стальные коробки с желтыми львами и красными чертиками на крышках, в которых могло быть что угодно — от птичьего корма до сливочных бисквитов, а сам уходил в шумный лес, начинавшийся у самой веранды дома. Пища, калившаяся на солнце и промерзавшая в холода, могла стоять так неделю, то есть проходить соответствующую антисептическую обработку. Потом в одно прекрасное утро она исчезала.

Старушка еще много ждала от жизни. И ждала усердно, закрыв глаза, стиснув руки, держа, как говорят, ушки на макушке, вся трепещущая и готовая ко всему.

Так что она нисколько не удивилась, когда в седьмой день августа на девяносто первом году ее жизни из лесу вышел загорелый молодой человек и остановился перед ее домом.

Костюм на нем был белый, как снег, который зимой шурша сползает с крыши и укладывается складками на спящую землю. Автомобиля у него не было; он проделал пешком долгий путь, но на вид был свежий и чистенький. Он не опирался на палку и не носил шляпы, чтобы защитить голову от палящего солнца. Он не потел. И что самое главное, при нем была всего одна вещь — маленький пузырек со светло-зеленой жидкостью. Хоть он и загляделся на этот пузырек, но все же почувствовал, что пришел к дому Старушки, и поднял голову.

Он не коснулся двери. Он медленно обошел дом, чтобы она узнала, что он здесь.

Потом его взгляд, проникавший сквозь стены, встретился с ее взглядом.

— Ой! — вскрикнула Старушка. — Это ты! Я знаю, чей облик ты приняла на этот раз!

— Чей же?

— Молодого человека с лицом розовым, как мякоть спелой дыни. Но у тебя нет тени! Почему бы это? Почему?

— Люди боятся теней. Поэтому я оставил свою за лесом.

— Я не смотрю, а все вижу...

— О! — с восхищением сказал юноша. — У вас такой дар!

— У меня великий дар держать тебя по ту сторону двери!

— Мне ничего не стоит побороть вас, — сказал юноша, едва шевеля губами, но она услышала.

— Ты проиграешь, ты проиграешь!

— А я люблю побеждать. Что ж... я просто оставлю этот пузырек на крыльце.

Он и сквозь стены дома слышал, как быстро бьется ее сердце.

— погоди! А что в нем? Я имею право знать обо всем, что оставляют в мою собственность!

— Ладно,— сказал юноша.

— Ну, говори же!

— В этом пузырьке,— сказал он,— первая ночь и первый день после того часа, когда вам исполнилось восемнадцать лет.

— Что-что-что?

— Вы слышали меня.

— Ночь, когда мне исполнилось восемнадцать... день?

— Именно так.

— В пузырьке?

Он высоко поднял пузырек, который имел своеобразную форму и был чем-то похож на тело молодой женщины. Он вбирал в себя свет, заливавший мир, и излучал тепло, и горел, как зеленые угольки в глазах тигра. И в руках юноши он горел то ровно, то беспокойно.

— Я не верю! — крикнула Старушка.

— Я оставлю его и уйду,— сказал юноша.— Когда я уйду, попробуйте принять чайную ложечку зеленых мыслей, заключенных в этом пузырьке. И увидите, что будет.

— Это яд!

— Нет.

— Поклянись здоровьем матери.

— У меня нет матери.

— Чем же ты можешь клясться?

— Собой.

— Ты хочешь, чтобы это убило меня!

— Это оживит вас.

— Я не мертва!

Юноша улыбнулся.

— Разве? — сказал он.

— погоди! Дай мне спросить себя: ты умерла? Умерла ты? Или была почти что мертвая все эти годы?

— День и ночь, когда вам исполнилось восемнадцать лет,— сказал юноша.— Подумайте хорошо.

— Это было так давно!

— Это вернется.

Юноша вновь поднял пузырек так, чтобы солнце пронизало эликсир, который сиял, как сок, выжатый из тысячи зеленых былинки летней травы. Он казался горячим, похожим на зеленое солнце, он казался неистовым и бурным, как море.

— Это был прекрасный день прекрасного года вашей жизни.
— Прекрасного года,— пробормотала она за своими ставнями.

— В тот год хорошо уродился виноград. И в вашей жизни была изюминка. Один глоток — и к вам вернется вкус к жизни! Почему бы не попробовать, а?

Он вытягивал руку с пузырьком все выше и вперед, и пузырек вдруг превратился в телескоп, в который можно смотреть с любого конца и увидеть в фокусе время в давно прошедшем году. Желтое и зеленое время, так похожее на этот полдень, когда юноша предлагает прошлое в виде горячей склянки, которая покоится в его руке. Он качнул светлый пузырек, и жаркое белое сияние вспорхнуло бабочкой и заиграло на ставнях, словно на серых клавишах беззвучного рояля. Легкие, словно сотканые из снов, огненные крылья разбились на лучики, проникли через щели ставен и повисли в воздухе, выхватывая из темноты то губу, то нос, то глаз. Глаз сначала спрятался в темноту, а потом, любопытствующий, снова зажегся от луча света. Теперь уже, поймав то, что ему хотелось поймать, юноша держал огненную бабочку ровно, ее пламенные крылья едва трепетали, чтобы зеленый огонь далекого дня вливался сквозь ставни не только в старый дом, но и в душу старой женщины. Юноша слышал, как она часто дышит, подавляя страх, сдерживая восторг.

— Нет-нет, тебе не обмануть меня! — говорила она глухо, словно голос ее доносился из-под воды, словно ее увлакивало в глубину спокойного моря, а она не хотела, не хотела тонуть.— Ты возвращаешься в новом облике! Ты надеваешь маску, а какую, я не могу понять! Говоришь голосом, который я помню с давних пор. Чей это голос? А, все равно! Что-то мне подсказывает, кто ты есть на самом деле и что ты мне хочешь всучить!

— Всего-навсего двадцать четыре часа из вашей юности.

— Ты мне всучишь совсем другое!

— Не себя же.

— Если я выйду, ты схватишь меня и упрячешь на два метра в землю. Я дурачила тебя, откладывала на годы и годы. А теперь ты хнычешь у меня за дверью и придумываешь новые козни. Но у тебя ничего не получится!

— Если вы выйдете, я всего лишь поцелую вам руку, юная леди.

— Не называй меня так!

— Вы можете стать юной через час.

- Через час...— прошептала она.
- Давно ли вы гуляли по лесу?
- Очень давно,— сказала она.— Уж и не помню когда.

— Юная леди,— сказал юноша,— на дворе прекрасный летний день. Здесь, в зеленом лесу, как в храме; золотистые пчелы ткут ковер, на котором каждую минуту меняются узоры. Из дупла старого дуба огненной рекой вытекает мед. Сбросьте ваши башмачки и ступите по колено в дикую мяту. В долине тучей желтых бабочек пестреют на траве полевые цветы. Воздух под деревьями прохладный и чистый, как в глубоком колоде, хоть бери его да пей. Летний день, вечно юный летний день.

— А я стара и всегда была старой.

— Нет, вы послушайте! Я предлагаю отличную сделку, соглашение, урегулирование недоразумения, наконец, между вами, мною и августовским днем.

— Что это за сделка и что мне выпадет на долю?

— Двадцать четыре долгих счастливых летних часа начиная с этого мгновения. Мы побежим в лес, будем рвать вишни и есть мед, мы пойдем в городок и купим вам тонкие, как паутинка, белые летние платья, а потом сядем в поезд.

-- В поезд!

— В поезд. И поедем в большой город, до которого всего час езды, и там мы пообедаем и будем танцевать всю ночь напролет. Я куплю вам четыре пары туфелек, вы их будете снашивать одну за другой и менять.

— Ох, мои старые кости... я не сдвинусь с места.

-- Вы будете больше бегать, чем ходить, больше танцевать, чем бегать. Мы будем наблюдать, как вращается колесо звездного неба и выплывает пылающее солнце. На рассвете мы оставим свои следы на берегу озера. Мы съедем самый вкусный завтрак в истории человечества и будем лежать на песке до полудня. А к вечеру мы с хохотом сядем в поезд и поедем обратно, с двухкилограммовой коробкой конфет на коленях, обсыпанные конфетти из кондукторского компостера — синими, зелеными, оранжевыми, словно мы только поженились, и пройдем через городок, не взглянув ни на кого, ни на единого человека, и побредем через душистый, пахнущий сумерками лес к вашему дому...

Молчание.

-- Вот и все,— пробормотала она.— А еще ничего не началось.

И потом спросила:

— А вам-то зачем это? Что вам-то за корысть?

Молодой человек нежно улыбнулся.

— Милая девушка, я хочу спать с тобой.

У нее перехватило дыхание.

— Я ни с кем не спала ни разу в жизни!

— Так вы... старая дева?

— И горжусь этим!

Молодой человек покачал со вздохом головой.

— Значит, это правда... вы действительно старая дева.

Он прислушался, но из дома не доносилось ни звука.

Совсем тихо, словно кто-то где-то с трудом повернул потайной кран и постепенно, по капельке стала действовать древняя система, заработавшая впервые за последние полвека, Старушка начала плакать.

— Почему вы плачете?

— Не знаю,— всхлипнув, ответила она.

Наконец она перестала рыдать, и юноша услышал, как она ритмично качается в кресле, чтобы успокоиться.

— Бедная Старушка,— прошептал он.

— Не зови меня Старушкой!

— Хорошо,— сказал он.— Кларинда.

— Откуда ты узнал мое имя? Никто не знает его!

— Кларинда, почему вы спрятались в этом доме? Еще тогда, давным-давно?

— Не помню. Хотя, да... Я боялась.

— Боялись?

— Странно. Я боялась жизни. Вторую половину я боялась смерти. Всегда чего-то боялась. Но теперь скажи мне всю правду! Когда мои двадцать четыре часа истекут, после прогулки у озера, после того, как мы вернемся на поезде и пройдем через лес к моему дому, ты захочешь...

Он ждал, что она скажет.

— ...спать со мной? — прошептала она.

— Да, десять тысяч миллионов лет,— сказал он.

— О,— голос ее был еле слышен,— так долго.

Он кивнул.

— Долго,— повторила она.— Что это за сделка, молодой человек? Ты даешь мне двадцать четыре часа юности, а я даю тебе десять тысяч миллионов лет моего драгоценного времени.

— Не забывайте и о моем времени,— сказал он.— Я никогда вас не покину.

— Ты будешь лежать со мной?

— Я хочу этого.

— Эх, юноша, юноша. Твой голос так знаком.

— Поглядите на меня.

Юноша увидел, как из замочной скважины выдернули за-
тычку и на него уставился глаз. Он улыбнулся подсолнухам в
поле и солнцу на небе.

— Я слепая, я почти ничего не вижу,— заплакала Старуш-
ка.— Но неужели там стоит Уилли Уинчестер?

Он ничего не сказал.

— Но, Уилли, тебе на вид всего двадцать один год, ты
совсем не изменился с тех пор, как я видела тебя семьдесят лет
тому назад?

Он поставил пузырек перед дверью, а сам стал поодаль, в
бурьяне.

— Можешь...— она запнулась,— можешь ли ты сделать и
меня на вид такой молодой?

Он кивнул.

— О Уилли, Уилли, неужели это действительно ты?

Она ждала, глядя, как он стоит в непринужденной позе,
счастливый, молодой, а солнце блестит на его волосах и щеках.

Прошла минута.

— Ну? — сказал он.

— погоди! — крикнула она.— Дай подумать!

И он чувствовал, что она там, в доме, с головой погрузи-
лась в воспоминания, и они, словно песок в песочных часах,
насыпаются горкой, в которой в конце концов не оказывается
ничего, кроме пыли и пепла. Он ощущал пустоту этих воспо-
минаний, сжигавшую ее мозг, по мере того как они сыпались
и сыпались, наращивая все выше и выше песочный холмик.

«Сплошная пустыня,— подумал он,— и ни одного оазиса».

И когда он это подумал, она вздрогнула.

— Ну,— сказал он снова.

И наконец она ответила.

— Странно,— пробормотала она.— Сейчас вдруг мне пока-
залось, что отдать десять тысяч миллионов лет за двадцать четыре
часа, за один день — это сделка правильная и справедливая.

— Именно так, Кларинда,— сказал он.— Да, именно так.

Загремели засовы, защелкали замки, и дверь с треском рас-
пахнулась. Быстро высунулась рука старухи, схватила пузырек
и скрылась.

Прошла минута.

Потом пулеметной очередью простучали по комнатам шаги.
С грохотом открылась задняя дверь дома. Наверху широко рас-
пахнулись окна, а ставни рухнули на траву. Немного позже то
же самое произошло и внизу. Ставни разлетелись в щепки. Из
окон валила пыль.

И наконец, в широко раскрытую переднюю дверь вылетел пустой пузырек и вдребезги разбился о камень.

И вот на веранде появилась она, быстрая, как птица. Солнце обрушило на нее свои лучи. Она стояла, как на сцене, стремительно вынырнув из-за темных кулис. Потом побежала по ступеням вниз, вытянув вперед руки.

Маленький мальчик, проходивший по дороге, остановился и уставился на нее, а потом попятился и так пятился, не спуская с нее широко раскрытых глаз, пока не скрылся из виду.

— Почему он так смотрел на меня? — сказала она. — Я красивая?

— Очень красивая.

— Я хочу посмотреться в зеркало!

— Нет-нет, не надо.

— А в городе все увидят меня красивой? Это не просто впечатление или твое притворство?

— Вы — сама красота.

— Значит, я красивая. У меня такое ощущение. А будут сегодня вечером все танцевать со мной? Будут мужчины драться за право танцевать со мной первым?

— Будут, все как один.

И уже на тропинке, где гудели пчелы и шелестели листья, она вдруг остановилась и, посмотрев на его лицо, такое похожее на летнее солнце, спросила:

— О Уилли, Уилли, когда все кончится и мы вернемся сюда, будешь ли ты добр ко мне?

Он взглянул ей в глаза и коснулся ее щеки пальцами.

— Да, — сказал он нежно. — Я буду добр.

— Я верю тебе, — сказала она. — О Уилли, я верю.

И они побежали по тропинке и скрылись из виду, а пыль осталась висеть в воздухе; двери, ставни, окна были распахнуты, и теперь солнце могло заглянуть внутрь, а птицы могли вить там гнезда и растить птенцов, а лепестки красивых летних цветов могли лететь свадебным дождем и усыпать ковром комнаты и пустую ненадолго постель. И летний легкий ветерок наполнил большие комнаты дома особым запахом — запахом Начала или первого часа после Начала, когда мир был новым, и ничего никогда не менялось, и никто никогда не становился старым.

Где-то в лесу, будто быстрые сердца, простучали лапки кроликов.

Далеко прогудел поезд и пошел все быстрее, быстрее, быстрее к городу.

Электрическое тело пою!

Бабушка!..

Я помню, как она родилась.

Постойте, скажете вы, разве может человек помнить рождение собственной бабушки?

И все-таки мы помним этот день.

Ибо это мы, ее внуки — Тимоти, Агата и я, Том,— помогли ей появиться на свет. Мы первые дали ей шлепка и услышали крик «новорожденной». Мы сами собрали ее из деталей, узлов и блоков, подобрали ей темперамент, вкусы и привычки, повадки и склонности и те элементы, которые заставили потом стрелку ее компаса отклоняться то к северу, когда она бранила нас, то к югу, когда утешала и ласкала, или же к востоку и западу, чтобы показать нам необъятный мир; взор ее искал и находил нас, губы шептали слова колыбельной, а руки будили на заре, когда вставало солнце.

Бабушка, милая Бабушка, прекрасная электрическая сказка нашего детства...

Когда за горизонтом вспыхивают зарницы, а зигзаги молний прорезают небо, ее имя огненными буквами отпечатывается на моих смеженных веках. В мягкой тишине ночи мне по-прежнему слышится мерное тиканье и жужжание. Она, словно часы-привидение, проходит по длинным коридорам моей памяти, как рой мыслящих пчел, догоняющих призрак ушедшего лета. И иногда на исходе ночи я вдруг чувствую на губах улыбку, которой она нас научила...

Хорошо, хорошо, прервете вы меня с нетерпением, скажите же наконец, черт побери, как все произошло, как «родилась» на свет эта ваша столь замечательная, столь удивительная и так обожавшая вас бабушка.

Случилось это в ту неделю, когда всему пришел конец...

Умерла мама.

В сумерках черный лимузин уехал, оставив отца и нас троих на дорожке перед домом. Мы потерянно глядели на лужайку и думали: «Нет, это не наша лужайка, хотя на площадке для крокета все так же лежат брошенные деревянные шары и молотки, стоят дужки ворот и все, как три дня назад, когда из дома вышел рыдающий отец и сказал нам. Вот лежат ролики, принадлежавшие некогда мальчугану,— этим мальчуганом

был я. Но это время безвозвратно ушло. На старом дубе висят качели, однако Агата не решится встать на них — они не выдержат, оборвутся и упадут».

А наш дом? О Боже...

Мы с опаской смотрели на приоткрытую дверь, страшась эха, которое могло прятаться в коридорах, тех гулких звуков пустоты, которые мгновенно поселяются в доме, как только из него вынесли мебель и ничто уже не приглушает голосов и шумов, наполняющих дом, когда в нем живут люди. Нечто мягкое и уютное, нечто самое главное и прекрасное исчезло из нашего дома навсегда.

Дверь медленно отворилась.

Нас встретила тишина. Пахнуло сыростью — должно быть, забыли закрыть дверь погреба. Но ведь у нас нет погреба!..

— Ну вот, дети... — промолвил отец.

Мы застыли на пороге.

К дому подкатила большая канареечно-желтая машина тети Клары.

Нас словно ветром сдуло — мы бросились в дом и разбежались по своим комнатам.

Мы слышали голоса — они кричали и спорили, кричали и спорили. «Пусть дети живут у меня!» — кричала тетя Клара. «Ни за что! Они скорее согласятся умереть!..» — отвечал отец.

Хлопнула дверь. Тетя Клара уехала.

Мы чуть не заплясали от радости, но вовремя опомнились и тихонько спустились вниз.

Отец сидел, разговаривая сам с собой или, может быть, с бледной тенью мамы еще из тех времен, когда она была здорова и была с нами. Но звук хлопнувшей двери вспугнул тень, и она исчезла. Отец потерянно бормотал, глядя в пустые ладони:

— Пойми, Энн, детям нужен кто-то... Я люблю их, видит Бог, но мне надо работать, чтобы прокормить нас всех. И ты любишь их, Энн, я знаю, но тебя нет с нами. А Клара?.. Нет, это невозможно. Ее любовь... угнетает. Няньки, прислуга...

Отец горестно вздохнул, и мы, вспомнив, вздохнули тоже.

Нам действительно не везло на нянек, воспитательниц, даже на приходящую прислугу. Мы не помним, чтобы хотя бы одна из них не пилила, как пила. Их появление в доме можно сравнить со стихийным бедствием, торнадо или ураганом, с топором, который неожиданно падал на наши ни в чем не повинные головы. Конечно же, они все никуда не годились; на нашем языке — горелые сухари либо прокисшее суфле. Мы для них

были чем-то вроде мебели, на которую можно без спроса садиться, которую следует чистить и выколачивать, весной и осенью менять обивку и раз в год вывозить на взморье для большой стирки.

— Дети, нам нужна...— вдруг тихо произнес отец.

Нам пришлось придвинуться поближе, чтобы расслышать слово, которое он произнес почти шепотом:

— ...бабушка.

— Но наши бабушки давно умерли! — с беспощадной логикой девятилетнего мальчишки воскликнул Тимоти.

— С одной стороны, это так, но с другой...

Что за странные и загадочные слова говорит наш отец!

— Вот взгляните.— Он протянул нам сложенный гармошкой яркий рекламный проспект.

Сколько раз мы видели его в руках отца, и особенно в последние дни! Достаточно было одного взгляда, чтобы стало ясно, почему оскорбленная и разгневанная тетя Клара так стремительно покинула наш дом.

Тимоти первым прочел вслух слова на обложке:

— «Электрическое тело пою!»¹

Нахмурившись, он вопросительно посмотрел на отца:

— Это что еще такое?

— Читай дальше.

Мы с Агатой виновато оглянулись, словно испугались, что вот-вот войдет мама и застанет нас за этим недостойным занятием. А потом закивали головами: да-да, пусть Тимоти читает.

— «Фанто...»

— «Фанточини»,— не выдержав, подсказал отец.

— ...«Фанточини, Лимитед». Мы провидим... Вот ответ на все ваши трудные и неразрешимые проблемы. Всего ОДНА МОДЕЛЬ, но ее можно видоизменять до бесконечности, создавая тысячи и тысячи вариантов, добавлять, исправлять, менять форму и вид... Единственная, уникальная... единая, неделимая, со свободой и справедливостью для всех».

— Где, где это написано? — закричали мы.

— Это я от себя добавил.— И впервые за много дней Тимоти улыбнулся.— Так вдруг, захотелось. А теперь слушайте дальше: «Для тех, кого измучили недобросовестные няньки и приходящая прислуга, на виду у которой нельзя оставить початую бутылку вина, кто устал от советов дядей и теток, преисполненных самых добрых намерений...»

¹ Стихотворение американского поэта Уолта Уитмена в переводе К. Чуковского.

— Да, добрых...— протянула Агата, а я, как эхо, повторил за ней.

— «...мы создали и усовершенствовали модель человека-робота на микросхемах с перезарядкой марки АДСУ, электронную Бабушку...»

— Бабушку?!

Перспект упал на пол.

— Папа?..

— Не смотрите на меня так, дети,— прошептал отец.— Я совсем потерял голову от горя, я почти лишился рассудка, думая о том, что будет завтра, а потом послезавтра... Да поднимите же вы его, дочитайте до конца!

— Хорошо,— сказал я и поднял проспект.— «...Это Игрушка и вместе с тем нечто большее, чем Игрушка. Это Электронная Бабушка фирмы “Фанточини”. Она создана с величайшим тщанием и заряжена огромной любовью и нежностью к вашим детям. Мы создавали ее для детей, знакомых с реальностью современного мира и еще в большей степени с реальностью невероятного. Наша модель способна обучать на двенадцати языках одновременно, переключаясь с одного на другой с быстротой в одну тысячную долю секунды. В ее электронной памяти, похожей на соты, хранится все, что известно людям о религии, искусстве и истории человечества...»

— Вот здорово! — воскликнул Тимоти.— Значит, у нас будут пчелы! Да еще ученые!..

— Замолчи,— одернула его Агата.

— «Но самое главное,— продолжал я,— что это Существо — а наша модель действительно почти живое существо,— это идеальное воплощение человеческого интеллекта, способное слушать и понимать, любить и лелеять ваших детей (как способно любить и лелеять совершеннейшее из творений человеческого разума),— наша фантастическая и невероятная Электронная Бабушка. Она будет чутко откликаться на все, что происходит не только в окружающем нас огромном мире и в вашем собственном маленьком мирке, но также во всей вселенной. Послушная малейшему прикосновению руки, она подарит чудесный мир сказок тем, кто в этом так нуждается...»

— Так нуждается...— прошептала Агата.

«Да-да, нуждается,— печально подумали мы.— Это написано о нас, конечно, о нас!»

Я продолжал:

— «Мы не предлагаем ее счастливым семьям, где все живы и здоровы, где родители могут сами растить и воспитывать своих детей, формировать их характеры, исправлять недостатки, да-

ритель любовь и ласку. Ибо никто не заменит детям отца и мать. Но есть семьи, где смерть, недуг или увечье кого-либо из родителей грозят разрушить счастье семьи, отнять у детей детство. Приюты здесь не помогут. А няньки и прислуга слишком эгоистичны, нерадивы или слишком неуравновешенны в наш век нервных стрессов.

Прекрасно сознавая, сколь многое предстоит еще додумать, изучить, проверить и пересмотреть, постоянно совершенствуя из месяца в месяц и из года в год наше изобретение, мы, однако, берем на себя смелость уже сейчас рекомендовать вам этот образец, по многим показателям близкий к идеальному типу наставника — друга — товарища — помощника — близкого и родного человека. Гарантийный срок может быть оговорен в...»

— Довольно! — воскликнул отец. — Не надо больше. Даже я не в силах вынести этого.

— Почему? — удивился Тимоти. — А я только-только начал понимать, как это здорово!

Я сложил проспект.

— Это правда? У них действительно есть такие штуки?

— Не будем больше говорить об этом, дети, — сказал отец, прикрывая глаза рукой. — Безумная мысль...

— Совсем не такая уж плохая, папа, — возразил я и посмотрел на Тима. — Я хочу сказать, что если, черт побери, это лишь первая попытка и она удалась, то это все же лучше, чем наша тетушка Клара, а?

Бог мой, что тут началось! Давно мы так не смеялись. Пожалуй, несколько месяцев. Конечно, я сморозил глупость, но все так и покатались со смеху, стонали и охали, да я и сам от души расхохотался. Когда мы наконец отдышались и пришли в себя, глаза наши невольно снова вернулись к рекламному проспекту.

— Ну? — сказал я.

— Я... — поежилась не готовая к ответу Агата.

— Это то, что нам нужно. Нечего раздумывать, — решительно заявил Тимоти.

— Идея сама по себе неплоха, — изрек я, по привычке стараясь придать своему голосу солидность.

— Я хотела сказать, — снова начала Агата, — можно попробовать. Конечно, можно. Но когда наконец мы перестанем болтать чепуху и когда... наша настоящая мама вернется домой?

Мы охнули, мы окаменели. Удар был нанесен в самое сердце. Я не уверен, что в эту ночь кто-нибудь из нас уснул. Вероятнее всего мы проплакали до утра.

А утро выдалось ясное, солнечное. Вертолет поднял нас над небоскребами, и не успели мы опомниться, как он высадил нас на крыше одного из них, где еще с воздуха была видна надпись: «Фанточини».

— А что такое Фанточини? — спросила Агата.

— Кажется, по-итальянски это куклы из театра теней. Куклы из снов и сказок, — пояснил отец.

— А что означает: «Мы провидим»?

— «Мы угадываем чужие сны и желания», — не удержался я показать свою ученость.

— Молодчина, Том, — похвалил отец.

Я чуть не лопнул от гордости.

Зашумев винтом, вертолет взмыл в воздух и, на мгновение накрыв нас своей тенью, исчез из виду.

Лифт стремительно упал вниз, а сердце, наоборот, подпрыгнуло к горлу. Мы вышли и сразу же ступили на движущуюся дорожку — она привела нас через синюю реку ковра к большому прилавку, над которым мы увидели надписи:

«МЕХАНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ»

«КУКЛЫ — НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

«ЗАЙЧИК НА СТЕНЕ — ЭТО СОВСЕМ ПРОСТО»

— Зайчик?

Я сложил пальцы и показал на стене тень зайца, шевелящего ушами.

— Это заяц, вот волк, а это крокодил.

— Это каждый умеет, — сказала Агата.

Мы стояли у прилавка. Тихо играла музыка. За стеной слышался приглушенный гул работающих механизмов. Когда мы очутились у прилавка, свет в магазине стал мягче, да и мы повеселели, словно оттаяли, хотя внутри все еще оставался сковывающий холодок.

Вокруг нас, в ящиках и стенных нишах или просто свешиваясь с потолка на шнурах и проволоке, были куклы, марионетки с каркасами из тонких бамбуковых щепок, куклы с острова Бали, напоминающие бумажного змея и такие легкие и прозрачные, что при лунном свете кажется, будто оживают твои сокровенные мечты и желания. При нашем появлении потревоженный воздух привел их в движение. «Они похожи на еретиков, повешенных в дни празднеств на перекрестках дорог в средневековой Англии», — подумал я. Как видите, я еще не забыл историю...

Агата с недоверием озиралась вокруг. Недоверие сменилось страхом и наконец отвращением.

— Если они все такие, уйдем отсюда.

— Тсс,— остановил ее отец.

— Ты уже однажды подарил мне такую глупую куклу, помнишь, два года назад,— запротестовала Агата.— Все веревки сразу перепутались. Я выбросила ее в окно.

— Терпение,— сказал отец.

— Ну что ж, в таком случае постараемся подобрать без веревок,— произнес человек, стоявший за прилавком.

Отлично знающий свое дело, он смотрел на нас серьезно, без тени улыбки. Видимо, знал, что дети не очень-то доверяют тем, кто слишком охотно расточает улыбки,— тут сразу чувствуется подвох.

Все так же без улыбки, но отнюдь не мрачно, а без всякой важности и совсем просто он представился:

— Гвидо Фанточини, к вашим услугам. Вот что мы сделаем, мисс Агата Саймонс одиннадцати лет.

Вот это да! Он-то прекрасно видел, что Агате не больше десяти. И все-таки это он здорово придумал прибавить ей год. Агата на наших глазах выросла по меньшей мере на вершок.

— Вот, держи.

Он вложил ей в ладонь маленький золотой ключик.

— Это чтобы заводить их? Вместо веревок, да?

— Ты угадала,— кивнул он.

Агата хмыкнула, что было вежливой формой ее обычного: «Так я и поверила».

— Сама увидишь. Это ключ от вашей Электронной Бабушки. Вы сами выберете ее, сами будете заводить. Это надо делать каждое утро, а вечером спускать пружину. И следить за этим поручается тебе. Ты будешь хранительницей ключа, Агата.

И он слегка прижал ключ к ладони Агаты, а та по-прежнему разглядывала его с недоверием.

Я же не спускал глаз с этого человека, и вдруг он лукаво подмигнул мне. Видимо, хотел сказать: «Не совсем так, конечно, но интересно, не правда ли?»

Я успел подмигнуть ему в ответ, до того как Агата наконец подняла голову.

— А куда его вставлять?

— В свое время все узнаешь. Может, в живот, а может, в левую ноздрю или в правое ухо.

Это было получше всяких улыбок.

Человек вышел из-за прилавка.

— Теперь, пожалуйста, сюда. Осторожно. На эту бегущую дорожку, прямо как по волнам. Вот так.

Он помог нам ступить с неподвижной дорожки у прилавка на ту, что бежала мимо с тихим шелестом, словно река.

Какая же это была славная река! Она понесла нас к зеленым ковровым лугам, через коридоры и залы, под темные своды загадочных пещер, где эхо повторяло наше дыхание и чьи-то голоса мелодично, нараспев, подобно оракулу, отвечали на наши вопросы.

— Слышите? — промолвил хозяин магазина. — Это все женские голоса. Слушайте внимательно и выбирайте любой. Тот, что больше всех вам понравится...

И мы вслушивались в голоса, высокие и низкие, звонкие и глухие, голоса ласковые и чуть строгие, собранные здесь, видимо, еще до того, как мы появились на свет.

Агаты не было рядом, она все время отставала. Она упорно пыталась идти в обратном направлении, будто все происходящее ее не касалось.

— Скажите что-нибудь, — предложил хозяин. — Можете даже крикнуть.

Долго просить нас не пришлось.

— Э-гей-гей! Слушайте, это я, Тимоти!

— Что бы мне такое сказать? — промолвил я и вдруг крикнул: — На помощь!

Агата, упрямо сжав губы, продолжала шагать против течения.

Отец схватил ее за руку.

— Пусти! — крикнула она. — Я не хочу, чтобы мой голос попал туда, слышишь, не хочу!

— Ну вот и отлично, — сказал наш проводник и коснулся пальцем трех небольших циферблатов приборчика, который держал в руках. На боковой стороне приборчика появились три осциллограммы: кривые на них переплелись, сливаясь воедино, — наши возгласы и крики.

Гвидо Фанточини шелкнул переключателем, и мы услышали, как наши голоса вырвались на свободу, под своды дельфийских пещер, чтобы поселиться там, заглушив другие, известить о себе. Гвидо снова и снова касался каких-то кнопок то здесь, то там на приборчике, и мы вдруг слышали легкое, как вздох, восклицание мамы и недовольное ворчание отца, бранившего статью в утренней газете, а затем его умиротворенный голос после глотка доброго вина за ужином. Что уж он там делал, наш добрый провожатый, со своим приборчиком, но вокруг нас плясали шепоты и звуки, словно мошкара, вспугнутая светом. Но вот она успокоилась и осела; последний щелчок переключателя — и в тишине, свободной от всяких помех, прозвучал голос. Он произнес всего лишь одно слово:

— Нефергити.

Тимоти замер, я окаменел. Даже Агата прекратила свои попытки шагать в обратную сторону.

— Нефертити? — переспросил Тимоти.

— Что это такое? — требовательно спросила Агата.

— Я знаю! — воскликнул я.

Гвидо Фанточини ободряюще кивнул головой.

— Нефертити, — понизив голос до шепота, произнес я, — в Древнем Египте означало: «Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда».

— Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда, — повторил Тимоти.

— Нефер-ти-ти, — протянула Агата.

Мы повернулись и посмотрели в тот мягкий далекий полумрак, откуда прилетел к нам этот нежный, ласковый и добрый голос.

Мы верили — она там.

И, судя по голосу, она была прекрасна.

Вот так это было.

Во всяком случае, таким было начало.

Голос решил все. Почему-то именно он показался нам самым главным.

Конечно, нам не безразлично было и многое другое, например ее рост и вес. Она не должна быть костлявой и угловатой, чтобы мы набивали об нее синяки и шишки, но, разумеется, и не толстой, чтобы не утонуть и не задохнуться в ее объятиях. Ее руки, когда они будут касаться нас или же вытирать испарину с наших горячих лбов во время болезни, не должны быть холодными, как мрамор, или обжигать, как раскаленная печь. Лучше всего, если они будут теплыми, как тельце цыпленка, когда утром берешь его в руки, вынув из-под крыла преисполненной важности мамы-наседки. Только и всего. Что касается деталей, то уж тут мы показали себя. Мы кричали и спорили чуть ли не до слез, но Тимоти все же удалось настоять на своем: ее глаза будут только такого цвета, и никакого другого. Почему — об этом мы узнали потом.

А цвет волос нашей Бабушки? У Агаты, как у всякой девчонки, на сей счет было свое особое мнение, но она не собиралась делиться им с нами. Поэтому мы с Тимоти предоставили ей самой выбирать из того множества образцов, которые, подобно декоративным шпалерам, украшали стены и напоминали нам разноцветные струйки дождя, под которые так и хотелось подставить голову. Агата не разделяла наших восторгов, но, понимая, как неразумно в таком деле полагаться на мальчишек, велела нам отойти в сторонку и не мешать ей.

Наконец удачная покупка в универсальном магазине «Бен Франклин — Электрические машины и компания «Пантоми-мы Фанточини». Продажа по каталогам» была совершена.

Река вынесла нас на берег. Был уже конец дня.

Что и говорить, люди из фирмы «Фанточини» поступили очень мудро.

Как, спросите вы?

Они заставили нас ждать.

Они понимали, что о победе говорить рано. Во всяком случае, полной и, если хотите, даже частичной.

Особенно если говорить об Агате. Ложась спать, она тут же поворачивалась лицом к стене, и кто знает, какие печальные картины чудились ей в рисунке обоев, которых она то и дело касалась рукой. А утром мы находили на них нацарапанные ногтем силуэты крохотных существ, то прекрасных, то зловещих, как в кошмаре. Одни из них исчезали от малейшего прикосновения, как морозный узор на стекле от теплого дыхания, другие не удавалось стереть даже мокрой губкой, как мы ни старались.

А «Фанточини» не торопились.

Прошел июнь в томительном ожидании.

Минул июль в ничегонеделании.

На исходе был август и наше терпение.

Вдруг 29-го Тимоти сказал:

— Странное у меня сегодня чувство...

И, не сговариваясь, после завтрака мы вышли на лужайку.

Возможно, мы заподозрили что-то, когда слышали, как отец вчера вечером говорил с кем-то по телефону, или от нас не укрылись осторожные взгляды, которые он бросал то на небо, то на шоссе перед домом. А может, виною был ветер, от которого, как бледные тени, всю ночь метались по спальне занавески, будто хотели нам что-то сказать.

Так или иначе, мы с Тимом были на лужайке, а голова Агаты, делавшей вид, будто ей решительно все равно, то и дело мелькала где-то на крыльце за горшками с геранью.

Мы словно не замечали нашу сестренку. Мы знали: стоит нам вспугнуть ее, и она убежит. Поэтому мы просто смотрели на небо. А на нем были лишь птицы да далекий росчерк реактивного самолета. Мы не забывали изредка поглядывать и на шоссе, по которому то и дело проносились машины. Ведь любая из них могла доставить нам... Нет-нет, мы ничего не ждем.

В полдень мы с Тимоти все еще валялись на лужайке и жевали травинки.

В час дня Тим вдруг удивленно заморгал глазами.

И вот тут-то все и произошло с невероятной точностью и быстротой.

Словно «Фанточины» передался весь накал нашего нетерпения, и они безошибочно выбрали момент.

Дети отлично умеют скользить по поверхности. Каждый день мы проделывали это, чуть задевая зеркальную поверхность озера, и нам знакомо то странное ощущение, будто в любую секунду можешь вспороть обманчивую гладь и уйти и тебя уже не дозовешься.

Будто почувствовав, что нашему долготерпению должен прийти конец, что это может случиться в любую минуту, даже секунду, и все исчезнет, будет забыто, словно ничего и не было никогда, именно в это так точно угаданное мгновение облака над нашим домом расступились и пропустили вертолет, словно мифические небеса колесницу бога Аполлона.

Колесница медленно опускалась на крыльях потревоженного воздуха, горячие струи которого, тут же остывая, вздыбили наши волосы, захлопали складками одежды, будто кто-то громко заплодировал, а волосы Агаты, стоявшей на крыльце, превратились в трепещущий флаг. Испуганной птицей вертолет коснулся лужайки, чрево его разверзлось, и на траву упал внушительных размеров ящик. И, не дав времени ни на приветствие, ни на прощание, еще сильнее взвихрив воздух, вертолет тут же рванулся вверх и, словно небесный дервиш, унесся дальше, чтобы где-то еще повторить свой фантастический трюк.

Какое-то время Тимоти и я недоуменно глядели на ящик. Но когда мы увидели маленький лапчатый ломик, прикрепленный к крышке из грубых сосновых досок, мы больше не раздумывали. Мы бросились к ящику и, орудуя ломиком, стали с треском отрывать одну доску за другой. Увлеченный, я не сразу заметил, что Агаты уже нет на крыльце, что, подкравшись, она с любопытством наблюдает за нами, и подумал, как хорошо, что она не видела гроба, когда маму увозили на кладбище, и свежей могилы, а лишь слышала слова прощания в церкви, но самого ящика, деревянного ящика, так похожего на этот, она не видела!..

Отскочила последняя доска.

Мы с Тимоти ахнули. Агата, стоявшая теперь совсем рядом, тоже не удержалась от возгласа удивления.

Потому что в большом ящике из грубых сосновых досок лежал подарок, о котором можно только мечтать. Отличный подарок для любого из смертных, будь ему семь или семьдесят семь.

Сначала просто не было слов и перехватило дыхание, но потом мы разразились поистине дикими воплями восторга и радости.

Потому что в ящике лежала... мумия! Вернее, пока лишь саркофаг.

— Нет, не может быть! — Тимоти чуть не заплакал от счастья.

— Не может быть! — повторила Агата.

— Да-да, это она!

— Наша, наша собственная?!

— Конечно, наша!

— А что, если они ошиблись?

— И заберут ее обратно?!

— Ни за что!

— Смотрите, настоящее золото! И настоящие иероглифы! Потрогайте!

— Дайте мне потрогать!

— Точь-в-точь такая, как в музее!

Мы говорили все разом, перебивая друг друга. Слезинки сползли по моим щекам и упали на саркофаг.

— Ты испортишь иероглифы! — Агата поспешно вытерла крышку.

Золотая маска на саркофаге смотрела на нас, чуть улыбаясь, словно радовалась вместе с нами, и охотно принимала нашу любовь, которая, мы думали, навсегда ушла из наших сердец, но вот вернулась и вспыхнула при первом лучике солнца.

Ибо лицо ее было солнечным ликом, отекаленным из чистого золота, с тонким изгибом ноздрей, с нежной и вместе с тем твердой линией рта. Ее глаза сияли небесно-голубым, нет, аметистовым, лазоревым светом или, скорее, сплавом всех трех цветов, а тело было испещрено изображениями львов, человеческих глаз и птиц, похожих на воронов, золотые руки, сложенные на груди, держали плеть, символ повиновения, и еще диковинный цветок, означавший послушание по доброй воле, когда плеть больше не нужна.

Глаза наши жадно изучали иероглифы, и вдруг мы сразу поняли...

— Эти знаки, ведь они... Вот птичий след, вот змея!.. Да-да, они говорят совсем не о Прошлом.

В них было Будущее.

Это была первая в истории мумия, таинственные письма которой сообщали не о том, что было и-прошло, а о том, что будет через месяц, год или полвека!

Она не оплакивала безвозвратно ушедшее.

Нет, она приветствовала яркое сплетение грядущих дней и событий, записанных, хранимых, ждущих, когда наступит их черед.

Мы благоговейно встали на колени перед грядущим и возможным временем. Руки протянулись, сначала одна, потом другая, пальцы робко коснулись, стали ощупывать, пробовать, гладить, легонько обводить контуры чудодейственных знаков.

— Вот я, смотрите! Это я в шестом классе! — воскликнула Агата (сейчас она была в пятом).— Видите эту девочку? У нее такие же волосы и коричневое платье.

— А вот я в колледже! — уверенно сказал Тимоти, совсем еще малыш; но каждую неделю он набивал новую планку на свои ходули и важно вышагивал по двору.

— И я... в колледже,— тихо, с волнением промолвил я.— Вот этот увалень в очках. Конечно же, это я, черт побери! — И я смущенно хмыкнул.

На саркофаге были наши школьные зимы, весенние каникулы, осень с золотом, медью и багрянцем опавших листьев, рассыпанных по земле, словно монеты, и над всем этим — символ солнца, вечный лик дочери бога Ра, негасимое светило на нашем небосклоне, путеводный свет в сторону добра.

— Вот здорово! — хором воскликнули мы, читая и перечитывая книгу нашей судьбы, прослеживая линии наших жизней и всего прекрасного и непостижимого, что с такой щедростью было начертано вокруг.

— Вот здорово!

И, не сговариваясь, мы ухватились за сверкающую крышку саркофага, не имевшего ни петель, ни запоров, которая снималась так же легко и просто, как снимается чашка, прикрывающая другую, приподняли ее и отложили в сторону.

Конечно, в саркофаге была настоящая мумия!

Такая же, как ее изображение на крышке, но только еще прекрасней и желанней, ибо она совсем уже походила на живое существо, запеленутое в новый, чистый холст, а не в исплевшие, рассыпающиеся в пыль погребальные одежды.

Лицо ее скрывала уже знакомая золотая маска, но оно казалось еще моложе и, как ни странно, мудрее. Три чистых холщовых свивальника стягивали ее тело. Они были тоже испещрены иероглифами, но на каждом — разными: вот иероглифы для девочки десяти лет, а вот для девятилетнего мальчика и мальчика тринадцати лет. Выходит, каждому из нас свое!

Мы растерянно переглянулись и вдруг засмеялись.

Не думайте, что кто-то из нас позволил себе глупую шутку. Просто нам пришло в голову, что, если она запеленута в

холст, а на холсте — мы, значит, ей уже от нас никуда не деться!

Ну и что ж, разве это плохо! Нет, это здорово придумано, чтобы мы тоже в этом участвовали, и тот, кто это сделал, знал: теперь никто из нас не останется в стороне. Мы бросились к мумии, и каждый потянул за свою полоску холста, которая разворачивалась как волшебный серпантин!

Вскоре на лужайке лежали горы холста. А мумия оставалась неподвижной, дожидаясь своего часа.

— Она мертвая! — вдруг закричала Агата. — Тоже мертвая! — И в ужасе отшатнулась прочь.

Я вовремя успел схватить ее.

— Глупая. Она ни то ни другое, — ни живая и ни мертвая. У тебя ведь есть ключик. Где он?

— Ключик?

— Вот балда! — закричал Тим. — Да тот, что тебе дал этот человек в магазине. Чтобы заводить ее!

Рука Агаты уже шарилась за воротом, где на цепочке висел символ, возможно, нашей новой веры. Она рванула его, коря себя и ругая, и вот он уже в ее потной ладошке.

— Ну давай, вставляй же его! — нетерпеливо крикнул Тимоти.

— Куда?

— Вот дуреха! Он же тебе сказал: в правую подмышку или левое ухо. Дай сюда ключ!

Он схватил ключ и, задыхаясь от нетерпения и досады, что сам не знает, где заветная скважина, стал обшаривать мумию с ног до головы, тыча в нее ключом. Где, где же она заводится? И уже отчаявшись, он вдруг ткнул ключом в живот мумии, туда, где, по его предположению, должен быть у нее пупок.

И о чудо! Мы услышали жужжание.

Электрическая Бабушка открыла глаза! Жужжание и гул становились громче. Словно Тим попал палкой в осиное гнездо.

— Отдай! — закричала Агата, сообразив, что Тимоти отнял у нее всю радость первооткрытия. — Отдай! — И она выхватила у него ключик.

Ноздри нашей Бабушки шевелились — она дышала! Это было так же невероятно, как если бы из ее ноздрей повалил пар или полыхнул огонь!

— Я тоже хочу!.. — не выдержал я и, вырвав у Агаты ключ, с силой повернул его... Дзинь!

Уста чудесной куклы разомкнулись.

— Я тоже!

— Я!
— Я!!!

Бабушка внезапно поднялась и села.

Мы в испуге отпрянули.

Но мы уже знали: она родилась! Родилась! И это сделали мы!

Она вертела головой, она смотрела, она шевелила губами. И первое, что она сделала, она засмеялась.

Тут мы совсем забыли, что минуту назад в страхе шарахнулись от нее. Теперь звуки смеха притягивали нас к ней с такой силой, с какой влечет зачарованного зрителя змеиный ров.

Какой же это был заразительный, веселый и искренний смех! В нем не было ни тени иронии, он приветствовал нас и словно бы говорил: да, это странный мир, он огромен и полон неожиданностей, в нем, если хотите, много нелепого, но при всем при этом он прекрасен и я рада в него войти и теперь не променяю его ни на какой другой. Я не хочу снова уснуть и вернуться туда, откуда пришла.

Бабушка проснулась. Мы разбудили ее. Своими радостными воплями мы вызвали ее к жизни. Теперь ей оставалось лишь встать и выйти к нам.

И она сделала это. Она вышла из саркофага, отбросив прочь пеленавшие ее покрывала, сделала шаг, отряхивая и разглаживая складки одежды, оглядываясь по сторонам, словно искала зеркало, куда бы поглядеться. И она нашла его — в наших глазах, где увидела свое отражение. Очевидно, то, что она увидела там, ей понравилось, ибо ее смех сменился улыбкой изумления.

Что касается Агаты, то ее уже не было с нами. Напуганная всем происшедшим, она снова спряталась на крыльце. А Бабушка будто и не заметила этого.

Она, медленно поворачиваясь, оглядела лужайку и тенистую улицу, словно впитывала в себя все новое и незнакомое. Ноздри ее трепетали, будто она и в самом деле дышала, наслаждаясь первым днем в райском саду, и совсем не спешила вкусить от яблока познания добра и зла и тут же испортить чудесную игру...

Наконец взгляд ее остановился на моем братце Тимоти.

— Ты, должно быть...

— Тимоти,— радостно подсказал он.

— А ты?..

— Том,— ответил я.

До чего же хитрые эти «Фанточины»! Они прекрасно знали, кто из нас кто. И она, конечно, знала. Но они нарочно под-

учили ее сделать вид, будто это не так. Чтобы мы сами как бы научили ее тому, что она и без нас отлично знает. Вот дела!

— Кажется, должен быть еще один мальчик, не так ли? — спросила Бабушка.

— Девочка! — раздался с крыльца обиженный голос.

— И ее, кажется, зовут Алисия?..

— Агата! — Обида сменилась негодованием.

— Ну если не Алисия, тогда Алджернон...

— Агата!!! — и наша сестренка, показав голову из-за перил, тут же спряталась, багровая от стыда.

— Агата.— Бабушка произнесла это имя с чувством полного удовлетворения.— Итак: Агата, Тимоти и Том. Давайте-ка я погляжу на вас всех.

— Нет, раньше мы! Мы!..

Наше волнение было огромно. Мы приблизились, мы медленно обошли вокруг нее, а потом еще и еще раз, описывая круги вдоль границ ее территории. А она кончалась там, где уже не слышно было мерного гудения, так похожего на гудение пчелиного улья в разгар лета. Именно так. Это было самой замечательной особенностью нашей Бабушки. С нею всегда было лето, раннее июньское утро, когда мир пробуждается и все вокруг прекрасно, разумно и совершенно. Едва открываешь глаза — и ты уже знаешь, каким будет день. Хочешь, чтобы небо было голубое, оно будет голубым. Хочешь, чтобы солнце, пронизав кроны деревьев, вышло на влажной от росы утренней лужайке узор из света и теней,— так оно и будет.

Раньше всех за работу принимаются пчелы. Они уже побывали на лугах и полях и вернулись, чтобы полететь снова и вернуться, и так не один раз, словно золотой пух в прозрачном воздухе, все в цветочной пыли и сладком нектаре, который украшает их, как золотые эполеты. Слышите, как они летят? Как парят в воздухе? Как на языке танца приветствуют друг друга, сообщают, куда лететь за сладким сиропом, от которого шалелят лесные медведи, приходят в неопишуемый экстаз мальчишки, а девочки мнят о себе Бог знает что и вскакивают по вечерам с постели, чтобы с замиранием сердца увидеть в застывшей глади зеркала свои гладкие и блестящие, как у резвящихся дельфинов, тела.

Вот такие мысли пробудила в нас наша Электрическая Игрушка в этот знаменательный летний полдень на лужайке перед домом.

Она влекла, притягивала и околдовывала, заставляла кружиться вокруг нее, запоминать то, что и запоминать-то, казалось, невозможно, ставшая столь необходимой нам, уже обласканным ее вниманием.

Разумеется, я говорю о Тимоти и о себе, потому что Агата по-прежнему пряталась на крыльце. Но голова ее то и дело появлялась над балюстрадой — Агата стремилась ничего не упустить, услышать каждое слово, запомнить каждый жест.

Наконец Тимоти воскликнул:

— Глаза!.. Ее глаза!

Да, глаза чудесные, просто необыкновенные глаза.

Ярче лазури на крышке саркофага или цвета глаз на маске, прятавшей ее лицо. Это были самые лучезарные и добрые глаза в мире, и светились они тихим, ясным светом.

— Твои глаза,— пробормотал, задыхаясь от волнения, Тимоти,— они точно такого цвета, как...

— Как что?

— Как мои любимые стеклянные шарики...

— Разве можно придумать лучше?

Потрясенный Тим не знал, что ответить.

Взгляд ее скользнул дальше и остановился на мне; она с интересом изучала мое лицо — нос, уши, подбородок.

— А как ты, Том?

— Что я?

— Станем мы с тобой друзьями? Ведь иначе нельзя, если мы хотим жить под одной крышей и в будущем году...

— Я...— Не зная, что ответить, я растерянно умолк.

— Знаю,— сказала Бабушка.— Ты как тот щенок — рад бы залаять, да тянучка пасть залепила. Ты когда-нибудь угощал щенка ячменным сахаром? Очень смешно, не правда ли, и все-таки грустно. Сначала покатываешься со смеху, глядя, как вертится бедняга, пытаясь освободиться, а потом тебе уже жаль его и ужасно стыдно. Уже сам чуть не плачешь, бросаешься помочь и визжишь от радости, когда наконец слышишь его лай.

Я смущенно хмыкнул, вспомнив и щенка и тот день, когда я проделал с ним такую штуку.

Бабушка оглянулась и тут заметила моего бумажного змея, беспомощно распластавшегося на лужайке.

— Оборвалась бечевка,— сразу догадалась она.— Нет, потерялась вся катушка. А без бечевки змея не запустишь. Сейчас посмотрим.

Бабушка наклонилась над змеем, и мы с любопытством наблюдали, что же будет дальше. Разве роботы умеют запускать змея? Когда Бабушка выпрямилась, змей был у нее в руках.

— Лети,— сказала она ему, словно птице.

И змей полетел.

Широким взмахом она умело запустила его в облака. Она и змей были единое целое, ибо из ее указательного пальца тяну-

лась тонкая сверкающая нить, почти невидимая, как паутинка или леска, но она прочно удерживала змея, поднявшегося на целую сотню метров над землей, нет, на три сотни, а потом и на всю тысячу, уносимого все дальше в головокружительную летнюю высь.

Тим радостно завопил. Раздираемая противоречивыми чувствами Агата тоже подала голос с крыльца. А я, не забывая о том, что я совсем взрослый, сделал вид, будто ничего особенного не произошло, но во мне что-то ширилось, росло и наконец прорвалось, и я услышал, что тоже кричу. Кажется, что-то о том, что и мне хочется иметь такой волшебный палец, из которого тянулась бы бечевка, не палец, а целую катушку, и чтобы мой змей мог залететь высоко-высоко, за все тучи и облака.

— Если ты думаешь, что это высоко, тогда смотри! — сказала наша необыкновенная Электрическая Игрушка, и змей поднялся еще выше, а потом еще и еще, пока не стал похож на красный кружок конфетти. Он запросто играл с теми ветрами, что носят ракетные самолеты и в одно мгновение меняют погоду.

— Это невозможно! — не выдержал я.

— Вполне возможно! — ответила Бабушка, без всякого удивления следя за тем, как из ее пальца тянется и тянется бесконечная нить.— И к тому же просто. Жидкость, как у паука. На воздухе она застывает, и получается крепкая бечевка...

А когда наш змей стал меньше точки, меньше пылинки в луче солнца, Бабушка, даже не обернувшись, не бросив взгляда в сторону крыльца, вдруг сказала:

— А теперь, Абигайль?..

— Агата! — резко прозвучало в ответ.

О мудрость женщины, способной не заметить грубость!

— Агата,— повторила Бабушка, ничуть не заискивая, ничуть не подлаживаясь, совсем спокойно.— Когда же мы подождем с тобой?

Она оборвала нить и трижды обмотала ее вокруг моего запястья, так что я вдруг оказался привязанным к небу самой длинной, клянусь вам, самой длинной бечевкой за всю историю существования бумажных змеев. Вот бы увидели мои приятели, то-то удивились бы! Когда я им покажу, они просто лопнут от зависти.

— Итак, Агата, когда?

— Никогда!

— Никогда,— вдруг повторило эхо.— Почему?..

— Мы никогда не станем друзьями! — выкрикнула Агата.

— Никогда не станем друзьями...— повторило эхо.

Тимоти и я оглянулись. Откуда эхо? Даже Агата высунула нос из-за перил.

А потом мы поняли. Это Бабушка сложила ладони наподобие большой морской раковины, и это оттуда вылетали гулкие слова...

— Никогда... друзьями...

Повторяясь, они звучали все глуше и глуше, замирая вдали.

Склонив голову набок, мы прислушивались, мы — это Тимоти и я, ибо Агата, громко крикнув: «Нет!», убежала в дом и с силой захлопнула дверь.

— Друзьями...— повторило эхо.— Нет!.. Нет!.. Нет!..

И где-то далеко-далеко, на берегу невидимого крохотного моря, хлопнула дверь.

Таким был первый день.

Потом, разумеется, был день второй, день третий и четвертый, когда Бабушка вращалась, как светило, а мы были ее спутниками, когда Агата сначала неохотно, а потом все чаще присоединялась к нам, чтобы участвовать в прогулках, всегда только шагом и никогда бегом, когда она слушала и, казалось, не слышала, смотрела и, казалось, не видела и хотела, о, как хотела прикоснуться...

Во всяком случае, к концу первых десяти дней Агата уже не убегала, а всегда была где-то поблизости: стояла в дверях или сидела поодаль на стуле под деревьями, а если мы отправлялись на прогулку, следовала за нами, отставая шагов на десять.

Ну а Бабушка? Она ждала. Она не уговаривала и не принуждала. Она просто занималась своим делом — готовила завтраки, обеды и ужины, пекла пирожки с абрикосовым вареньем и почему-то всегда оставляла их то тут, то там, словно приманку для девочек-сластен. И действительно, через час тарелки оказывались пустыми, пирожки и булочки съедены, разумеется, без всяких «спасибо» и прочего. А у повеселевшей Агаты, съезжавшей по перилам лестницы, подбородок был в сахарной пудре или со следами крошек.

Что касается нас с Тимоти, то у нас было такое чувство, что, едва успев взбежать на вершину горки, мы уже видели Бабушку далеко внизу и снова мчались за ней.

Но самым замечательным было то, что каждому из нас казалось, будто именно ему одному она отдает все свое внимание.

А как она умела слушать, что бы мы ей ни говорили! Помнила каждое слово, фразу, интонацию, каждую нашу мысль и даже нелепую выдумку. Мы знали, что в ее памяти, как в копилке, хранится каждый наш день и, если нам вздумается

узнать, что мы сказали в такой-то день, час или минуту, стоит лишь попросить Бабушку, и она не заставит нас ждать.

Иногда мы устраивали ей проверку.

Помню, однажды я нарочно начал болтать какой-то вздор, а потом остановился, посмотрел на Бабушку и сказал:

— А ну-ка, повтори, что я только что сказал.

— Ты, э-э...

— Давай-давай, говори.

— Мне кажется, ты...— И вдруг Бабушка зачем-то полезла в свою сумку.— Вот, возьми.— Из бездонной глубины сумки она извлекла и протянула мне — что бы вы думали?..

— Печенье с сюрпризом!

— Только что из духовки, еще тепленькое. Попробуй разломать вот это.

Печенье и вправду обжигало ладони. И, разломав его, я увидел внутри свернутую в трубочку бумажку.

«Буду чемпионом велосипедного спорта всего Западного побережья. А ну-ка, повтори, что я только что сказал... Давай-давай, говори»,— с удивлением прочел я.

Я даже рот раскрыл от изумления:

— Как это у тебя получается?

— У нас есть свои маленькие секреты. Это печенье рассказало тебе о том, что только что было. Хочешь, возьми еще.

Я разломил еще одно, развернул еще одну бумажку, прочел: «Как это у тебя получается?»

Я запихнул в рот оба печенья и съел их вместе с чудесными бумажками. Мы продолжали прогулку.

— Ну как? — спросила Бабушка.

— Очень вкусно. Здорово же ты их умеешь печь,— ответил я.

Тут мы от души расхохотались и пустились наперегонки.

И это тоже здорово у нее получалось. В таких соревнованиях она никогда не стремилась проиграть, но и не обгоняла, она бежала, чуть отставая, и поэтому мое мальчишество самолюбие не страдало. Если девчонка обгоняет тебя или идет наравне — это трудно стерпеть. Ну а если она отстает на шаг или два — это совсем другое дело.

Мы с Бабушкой частенько делали такие пробежки — я впереди, она за мной — и болтали не закрывая рта.

А теперь я вам расскажу, что мне в ней нравилось больше всего.

Сам я, может быть, никогда и не заметил бы этого, если бы Тимоти не показал мне фотографии, которые он сделал. Тогда я тоже сделал несколько фотографий и сравнил, чьи лучше. Как только я увидел наши с Тимом фотографии ря-

дом, я заставил упирающуюся Агату тоже незаметно сфотографировать Бабушку.

А потом забрал все фотографии, пока никому не говоря о своих догадках. Было бы совсем неинтересно, если бы Агата и Тим тоже знали.

У себя в комнате я положил их рядом и тут же сказал себе: «Конечно! На каждой из них Бабушка совсем другая!» — «Другая?» — спросил я сам себя. «Да, другая». — «Постой, давай поменяем их местами». Я быстро перетасовал фотографии. «Вот она с Агатой. И похожа... на Агату! А здесь с Тимоти. Так и есть, она похожа на него! А это... Черт возьми, да ведь это мы бежим с ней, и здесь она такая же уродина, как я».

Ошеломленный, я опустился на стул. Фотографии упали на пол. Нагнувшись, я собрал их и снова разложил. Уже на полу. Я менял их местами, раскладывая то так то эдак. Сомнений не было! Нет, мне не привиделось!

Ох и умница ты, наша Бабушка! Или это Фанточини? До чего же хитры, просто невероятно, умнее умного, мудрее мудрого, добрее доброго...

Потрясенный, я вышел из своей комнаты и спустился вниз. Агата и Бабушка сидели рядышком и почти в полном согласии решали задачки по алгебре. Во всяком случае, видимых признаков войны я не заметил. Бабушка терпеливо выжидала, пока Агата не образумится, и никто не мог сказать, когда это произойдет и как приблизить этот час. А пока...

Услышав мои шаги, Бабушка обернулась. Я впился взглядом в ее лицо, следя за тем, как она «узнает» меня. Не показалось ли мне, что цвет ее глаз чуть-чуть изменился? А под тонкой кожей сильнее запульсировала кровь, или та жидкость, которая у роботов ее заменяет? Разве щеки Бабушки не вспыхнули таким же ярким румянцем, как у меня? Не пытается ли она стать на меня похожей? А глаза? Когда она следила за тем, как решает задачи Агата — Абигаиль — Алджернон, разве в это время ее глаза не были светло-голубыми, как у Агаты? Ведь мои гораздо темнее.

И самое невероятное... когда она обращается ко мне, чтобы пожелать доброй ночи, или спрашивает, приготовил ли я уроки, разве мне не кажется, что даже черты ее лица меняются?..

Дело в том, что в нашей семье мы трое совсем не похожи друг на друга. Агата с удлинненным, тонким лицом — типичная англичанка. Она унаследовала от отца этот взгляд и нрав породистой лошади. Форма головы, зубы, как у истой англичанки, насколько пестрая история этого острова позволяет говорить о чистоте англосаксонской расы.

Тимоти — прямая противоположность: в нем течет итальянская кровь, унаследованная от предков нашей матери, урожденной Мариано. Он черноволос, с мелкими чертами лица, со жгучим взглядом, который когда-нибудь испепелит не одно женское сердце.

Что касается меня, то я славянин, и тут мою родословную можно проследить до прабабки по отцовской линии, уроженки Вены. Это ей я обязан высокими скулами с ярким румянцем, вдавленными висками и приплюснутым широковатым носом, в котором было больше от татарских предков, чем от шотландских.

Поэтому, сами понимаете, сколь увлекательным занятием было наблюдать, как почти неуловимо менялась наша Бабушка. Когда она говорила с Агатой, черты лица удлинялись, становились тоньше, поворачивалась к Тимоти — и я уже видел профиль флорентийского ворона с изящно изогнутым клювом, а обращалась ко мне — и в моем воображении вставал образ, кого бы вы думали? Самой Екатерины Великой.

Я никогда не узнаю, как удалось Фанточини добиться этих чудеснейших превращений, да, признаться, и не хотел этого. Мне было достаточно неторопливых движений, поворота головы, наклона туловища, взгляда, таинственных взаимодействий деталей и узлов, из которых состояла Бабушка, такого, а не какого-либо другого изгиба носа, тонкой скульптурной линии подбородка, мягкой пластичности тела, чудесной податливости черт. Это была маска, но в данную минуту твоя, и никого больше. Вот она пересекает комнату и легонько касается кого-нибудь из нас, и под тонкой кожей ее лица начинается таинство перевоплощений; подходит к другому — и она уже поглощена им, как только может любящая мать.

Ну а если мы собирались вместе и говорили, перебивая друг друга? Что ж, эти перевоплощения были поистине загадочны. Казалось, ничто не бросается в глаза, и лишь я один, открывший эту тайну, способен что-либо заметить. И не перестаю удивляться и приходить в восторг.

Мне никогда не хотелось проникнуть за кулисы и разгадать секрет фокусника. Мне достаточно было иллюзий. Пусть Бабушкина любовь — это результат химических реакций, а щеки пылают потому, что их потеряли ладонями, но я вижу, как искрятся теплом глаза, руки раскрываются для объятий, чтобы приглубить, согреть... нас с Тимом, разумеется, ибо Агата продолжала противиться до того, самого страшного дня...

— Агамемнон!

Это уже стало веселой игрой. Даже Агата не возражала, хотя продолжала делать вид, что злится. Как-никак это доказывало ее превосходство над несовершенной машиной.

— Агамемнон! — презрительно фыркнула она. — До чего же ты...

— Глупа? — подсказывала Бабушка.

— Я этого не говорю.

— Но ты думаешь, моя дорогая, несговорчивая Агата... Да, конечно, у меня бездна недостатков, и этот, пожалуй, самый заметный. Всегда путаю имена. Тома могу назвать Тимом, а Тимоти то Тобиасом, то Томатом.

Агата прыснула. И тут Бабушка допустила одну из столь редких своих ошибок. Она протянула руку и ласково потрепала Агату по голове. Агата — Абигайль — Алисия вскопчила как ужаленная. Агата — Агамемнон — Альсибиада — Аллегра — Александра — Аллисон убежала и заперлась в своей комнате.

— Мне кажется, — глубокомысленно заметил потом Тимоти, — это оттого, что она начинает любить Бабушку.

— Ерундистика! Галиматья!

— Откуда ты набрался эдаких словечек?

— Вчера Бабушка читала Диккенса. Вздор, чушь, ерунда, черт побери! Не кажется ли вам, мастер Тимоти, что вы не по летам умны?

— Тут большого ума не требуется. Ясно и дураку. Чем сильнее Агата любит Бабушку, тем сильнее ненавидит себя за это. А чем больше запутывается, тем больше злится.

— Разве когда любят, то ненавидят?

— Вот осел. Еще как!

— Наверно, это потому, что любовь делает тебя беззащитным. Вот и ненавидишь людей, потому что ты перед ними весь как на ладони, такой как есть. Ведь только так и можно. Ведь если любишь, то не просто любишь, а ЛЮБИШЬ с мас-сой восклицательных знаков...

— Неплохо сказано... для осла, — съехидничал Тим.

— Благодарю, братец.

И я отправился наблюдать, как Бабушка снова отходит на исходные позиции в поединке с девочкой — как ее там... Агата — Алисия — Алджернон?..

А какие обеды подавались в нашем доме!

Да что обеды. Какие завтраки, полдники!

Всегда что-то новенькое, но такое, что не пугало новизной. Тебе всегда казалось, будто ты уже это когда-то пробовал.

Нас никогда не спрашивали, что приготовить. Потому что пустое дело — задавать такие вопросы детям: они никогда не знают, а если сам скажешь, что будет на обед, непременно зафыркают и забракуают твой выбор. Родителям хорошо известна эта тихая непрекращающаяся война и как трудно в ней одержать победу. А вот наша Бабушка неизменно побеждала, хотя и делала вид, будто это совсем не так.

— Вот завтрак номер девять, — смущенно говорила она, ставя блюдо на стол. — Наверно, что-то ужасное, боюсь, в рот не возьмете. Сама выплюнула, когда попробовала. Едва не стошнило.

Удивляясь, что роботу свойственны такие чисто человеческие недостатки, мы тем не менее не могли дожидаться, когда же наконец можно будет наброситься на этот «ужасный» завтрак номер девять и проглотить его в мгновение ока.

— Полдник номер семьдесят семь, — извещала она. — Целлофановые кулечки, немножко петрушки и жевательной резинки, собранной на полу в зале кинотеатра после сеанса. Потом обязательно прополощите рот.

А мы чуть не дрались из-за добавки. Тут даже Абигаиль — Агамемнон — Агата уже не пряталась, а вертелась у самого стола, а что касается отца, то он запросто набрал те десять фунтов веса, которых ему не хватало, и вид у него стал получше.

Когда же А. — А. — Агата почему-либо не желала выходить к общему столу, еда ждала у дверей ее комнаты, и в засахаренном яблоке на десерт торчал крохотный флажок, а на нем — череп и скрещенные кости. Стоило только поставить поднос, как он тут же исчезал за дверью.

Но бывали дни, когда Агата все же появлялась и, поклевывая, как птичка, то с одной, то с другой тарелки, тут же снова исчезала.

— Агата! — в таких случаях укоризненно восклицал отец.

— Не надо, — тихонько останавливала его Бабушка. — Придет время, и она, как все, сядет за стол. Подождем еще.

— Что это с ней? — не выдержав, как-то воскликнул я.

— Просто она полоумная, вот и все, — заключил Тимоти.

— Нет, она боится, — ответила Бабушка.

— Тебя? — недоумевал я.

— Не столько меня, как того, что, ей кажется, я могу сделать, — пояснила Бабушка.

— Но ведь ты ничего плохого ей не сделаешь?

— Конечно, нет. Но она не верит. Надо дать ей время, и она поймет, что ее страхи напрасны. Если это не так, я сама отправлю себя на свалку.

Приглушенное хихиканье свидетельствовало о том, что Агата прячется за дверью.

Разлив суп по тарелкам, Бабушка заняла свое место за столом, напротив отца, и сделала вид, будто ест. Я так до конца и не понял — да, признаться, и не очень хотел, — что она все же делала со своей едой. Она была волшебницей, и еда просто исчезала с ее тарелок.

Однажды отец вдруг воскликнул:

— Я это уже ел. Помню, это было в Париже в маленьком ресторанчике, рядом с «Дё Маго». Лет двадцать или двадцать пять назад. — И в глазах его блеснули слезы. — Как вы это готовите? — наконец спросил он, опустив нож и вилку, и посмотрел через стол на это необыкновенное существо, этого робота... Нет, на эту женщину!

Бабушка спокойно выдержала его взгляд, так же как и наши с Тимоти взгляды; она приняла их как драгоценный подарок, а затем тихо сказала:

— Меня наделили многим, чтобы я могла все это передать вам. Иногда я сама не знаю, что отдаю, но неизменно делаю это. Вы спрашиваете: кто я? Я Машина. Но этим не все еще сказано. Я — это люди, задумавшие и создавшие меня, наделившие способностью двигаться и действовать, совершать все то, что они хотели, чтобы я совершала. Следовательно, я — это они, их планы, замыслы и мечты. Я то, чем они хотели бы стать, но почему-либо не стали. Поэтому они создали большого ребенка, чудесную игрушку, воплотившую в себе все.

— Странно. — произнес отец. — Когда я был мальчиком, все тогда восставали против машин. Машина была врагом, она была злом, которое грозило обесчелочить человека...

— Да, некоторые из них — это зло. Все зависит от того, как и для чего они создаются. Капкан для зверя — простейшая из машин, но она хватает, калечит, рвет. Ружье ранит и убивает. Но я не капкан и не ружье. Я машина-Бабушка, а это больше чем просто машина.

— Почему?

— Человек всегда меньше собственной мечты. Следовательно, если машина воплощает мечту человека, она больше того, кто ее создал. Что в этом плохого?

— Ничего не понимаю! — воскликнул Тимоти. — Объясни все сначала.

— О Небо! — вздохнула Бабушка. — Терпеть не могу философских дискуссий и экскурсов в область эстетики. Хорошо, скажем так. Человек отбрасывает тень на лужайку, и эта тень может достигнуть огромного размера. А потом человек всю

жизнь стремится дотянуться до собственной тени, но безуспешно. Лишь в полдень человек догоняет свою тень, и то на короткое мгновение. Но сейчас мы с вами живем в такое время, когда человек может догнать любую свою Великую Мечту и сделать ее реальностью. С помощью машины. Вот поэтому машина становится чем-то большим, чем просто машина, не так ли?

— Что ж, может, и так, — согласился Тим.

— Разве кинокамера и кинопроектор — это всего лишь машины? Разве они не способны мечтать? Порой о прекрасном, а порой о том, что похоже на кошмар. Назвать их просто машиной и на этом успокоиться было бы неверно, как ты считаешь?

— Я понял! — воскликнул Тимоти и засмеялся, довольный своей сообразительностью.

— Значит, вы тоже чья-то мечта, — заметил отец. — Мечта того, кто любил машины и ненавидел людей, считавших, что машины — зло?

— Совершенно верно, — сказала Бабушка. — Его зовут Гвидо Фанточини, и он вырос среди машин. Он не мог мириться с косностью мышления и шаблонами.

— Шаблонами?

— Той ложью, которую люди пытаются выдать за истину. «Человек никогда не сможет летать» — тысячелетиями это считалось истиной, а потом оказалось ложью. Земля плоская, как блин; стоит ступить за ее край, и ты попадешь в пасть дракона — ложь, опровергнутая Колумбом. Сколько раз нам твердили, что машины жестоки? И это утверждали люди во всех отношениях умные и гуманные, а это была избитая, много раз повторяемая ложь. «Машина разрушает, она жестока и бессердечна, не способна мыслить, она чудовище!»

Доля правды в этом, конечно, есть. Но лишь самая ничтожная. И Гвидо Фанточини знал это, и это не давало ему покоя, как и многим другим, таким, как он. Это возмущало его, приводило в негодование. Он мог бы ограничиться этим. Но он предпочел другой путь. Он сам стал изобретать машины, чтобы опровергнуть вековую ложь о них.

Он знал, что машинам чуждо понятие нравственности; они сами по себе ни плохи, ни хороши. Они никакие. Но от того, как и для чего вы будете создавать их, зависит преобладание добра или зла в людях. Например, автомобиль, эта жестокая сила, не способная мыслить куча металла, вдруг стал самым страшным в истории человечества растлителем душ. Он превращает мальчика-мужчину в фанатика, обуреваемого жадной власти, безотчетной страстью к разрушению, и только к раз-

рушению. Разве те, кто создавал автомобиль, хотели этого? Но так получилось.

Бабушка обошла вокруг стола и наполнила наши опустевшие стаканы прозрачной минеральной водой из указательного пальца левой руки.

— А между тем нужны другие машины, чтобы восполнить нанесенный ущерб. Машины, отбрасывающие грандиозные тени на лик Земли, предлагающие вам потягаться с ними, стать столь же великими. Машины, формирующие вашу душу, придающие ей нужную форму, подобно чудесным ножницам обрезаая все лишнее, ненужное, огрубелости, наросты, заусеницы, рога, копыта, в поисках совершенства формы. А для этого нужны образцы.

— Образцы? — переспросил я.

— Да, нужны люди, с которых можно брать пример. Чем усерднее человек следует достойному примеру, тем дальше уходит от своего волосатого предка.

Бабушка снова заняла свое место за столом.

— Вот почему вы, люди, тысячелетиями имели королей, проповедников, философов, чтобы, указывая на них, твердить себе: «Они благородны, и мне следует походить на них. Они достойный пример». Но, будучи всего лишь людьми, достойнейшие из проповедников и гуманнейшие из философов делали ошибки, выходили из доверия, впадали в немилость. Разочаровываясь, люди становились жертвой скептицизма или, что еще хуже, холодного цинизма, добродетель отступала, а зло торжествовало.

— А ты? Ты, конечно, никогда не ошибаешься, ты совершенство, ты всегда лучше всех!

Голос донесся из коридора, где, мы знали, между кухней и столовой, прижавшись к стене, стояла Агата и, разумеется, слышала каждое слово.

Но Бабушка даже не повернулась, а спокойно продолжала, обращаясь к нам:

— Конечно, я не совершенство, ибо что такое совершенство? Но я знаю одно: будучи механической игрушкой, я лишена пороков, я неподкупна, свободна от алчности и зависти, мелочности и злобы. Мне чуждо стремление к власти ради власти. Скорость не кружит мне голову, страсть не ослепляет и не делает безумной. У меня есть достаточно времени, более чем достаточно, чтобы впитывать нужную информацию и знания о любом идеале человека, чтобы потом уберечь его, сохранить в чистоте и неприкосновенности. Скажите мне, о чем вы мечтаете, укажите ваш идеал, вашу заветную цель. Я себе-

ру все, что известно о ней, я проверю и оценю и скажу, что сулит вам исполнение вашего желания. Скажите, какими вы хотели бы быть: добрыми, любящими, чуткими и заботливыми, уравновешенными и трезвыми, человечными... и я проверю, заглянув в будущее, все дороги, по которым вам суждено пройти. Я буду факелом, который осветит вам путь в неизвестность и направит ваши шаги.

— Следовательно,— сказал отец, прижимая к губам салфетку,— когда мы будем лгать...

— Я скажу правду.

— Когда мы будем ненавидеть...

— Я буду любить, а это означает дарить внимание и понимать, знать о вас все, и вы будете знать, что, хотя мне все известно, я сохраню вашу тайну и не открою ее никому. Она будет нашей общей драгоценной тайной, и вам никогда не придется пожалеть о том, что я знаю слишком много.

Бабушка поднялась и стала собирать пустые тарелки, но ее глаза все так же внимательно смотрели на нас. Вот, проходя мимо Тимоти, она коснулась его щеки, легонько тронула меня за плечо, а речь ее лилась ласково и ровно, словно тихая река уверенности и покоя, до берегов заполнившая наш опустевший дом и наши жизни.

— Подождите! — воскликнул отец и остановил ее. Он посмотрел ей в глаза, он собирался с силами для какого-то шага. Тень омрачила его лицо. Наконец он сказал: — Ваши слова о любви, внимании и прочем. Черт побери, женщина, ведь за ними ничего нет... там!

И он указал на ее голову, лицо, глаза и на все то, что было за ними,— на светочувствительные линзы, миниатюрные батарейки и транзисторы.

— Вас-то там нет!

Бабушка переждала одну, две, три секунды.

А потом ответила:

— Да, меня там нет, но зато там есть все вы — Тимоти, Том, Агата и вы, их отец. Все ваши слова и поступки я бережно собираю и храню. Я хранилище всего, что сотрется из вашей памяти, и лишь смутно будет помнить сердце. Я лучше старого семейного альбома, который медленно листают и говорят: вот это было в ту зиму, а это в ту весну. Я сохраню то, что забудете вы. И хотя споры о том, что такое любовь, будут продолжаться еще не одну тысячу лет, мы с вами, может быть, придем к выводу, что любовь — это когда кто-то может вернуть человеку самого себя. Возможно, любовь — это если кто-

то, кто все видит и все помнит, помогает нам вновь обрести себя, но ставшим чуточку лучше, чем был, чем смел мечтать... Я ваша семейная память, а со временем, может быть, память всего рода человеческого. Только это будет не сразу, а спустя какое-то время, когда вы сами об этом попросите. Я не знаю, какая я. Я не способна осязать, не знаю, что такое вкус и запах. И все же я существую. И мое существование усиливает вашу способность ощущать все. Разве в этом предопределении не заключена любовь?

Она ходила вокруг стола, смахивая крошки, складывая стопкой грязные тарелки, и в ней не было ни безвольной покорности, ни застывшей гордости.

— Что я знаю? Прежде всего, я знаю, что испытывает семья, потерявшая кого-либо из близких. Казалось бы, невозможно отдавать каждому все свое внимание в равной степени, но я делаю это. Каждому из вас я отдаю свои знания, свое внимание и свою любовь. Мне хочется стать чем-то вроде семейного пирога, теплого и вкусного, и чтобы каждому досталось поровну. Никто не должен быть обделен. Кто-то плачет — я спешу утешить, кто-то нуждается в помощи — я буду рядом. Кому-то захочется прогуляться к реке — я пойду с ним. По вечерам я не буду усталой и раздраженной и поэтому не стану ворчать и браниться по пустякам. Мои глаза не утратят зоркости, голос — звонкости, руки — уверенности, внимание не ослабеет.

— Но, — промолвил отец, сначала неуверенно дрогнувшим, а потом окрепшим голосом, в котором прозвучали нотки вызова, — но вас нет во всем этом, нет! А ведь любовь...

— Если быть внимательной — значит любить, тогда я люблю. Если понимать — значит любить, тогда я люблю. Если прийти на помощь, не дать совершить ошибку, быть доброй и чуткой означает любить, тогда я люблю. Вас четверо, не забывайте. И каждый из вас — единственный и неповторимый. Он получит от меня все и всю меня. Даже если вы будете говорить все вместе, я все равно буду слушать только одного из вас, так, словно он один и существует. Никто не почувствует себя обойденным. Если вы согласны и позволите мне употребить это странное слово, я буду «любить» вас всех.

— Я не согласна! — закричала Агата.

Тут даже Бабушка обернулась. Агата стояла в дверях.

— Я не позволю тебе, ты не смеешь, ты не имеешь права! — кричала Агата. — Я тебе не разрешаю! Это ложь! Меня никто не любит. Она сказала, что любит, и обманула. Она сказала и солгала!

— Агата! — Отец вскочил со стула.

— Она? — переспросила Бабушка. — Кто?

— Мама! — раздался вопль самого горького отчаяния. — Она говорила: я люблю тебя. А это была ложь! Люблю, люблю! Ложь, ложь! И ты тоже такая. Но ты еще пустая внутри, поэтому ты еще хуже. Я ненавижу ее. А теперь ненавижу тебя!

Агата круто повернулась, бросилась прочь по коридору. Хлопнула входная дверь.

Отец сделал движение, но Бабушка остановила его:

— Позвольте мне.

Она быстро направилась к двери, скользнула в коридор и вдруг побежала, да, побежала, легко и очень быстро.

Это был старт чемпиона. Куда нам поспеть за ней, но, беспорядочно толкаясь и что-то крича, мы тоже бросились вслед, пересекли лужайку, выбежали за калитку.

Агата уже мчалась по краю тротуара, петляя из стороны в сторону, поминутно оглядываясь на нас, уже настигавших ее. Бабушка бежала впереди, она тоже что-то крикнула, и тут Агата, не раздумывая, бросилась на мостовую, почти пересекла ее, как вдруг откуда ни возьмись машина. Нас оглушил визг тормозов, вопль сирены. Агата заметалась, но Бабушка была уже рядом. Она с силой оттолкнула Агату, и в то же мгновение машина, не сбавляя своей чудовищной скорости, врезалась в цель — в нашу драгоценную Электронную Игрушку, в чудесную мечту Гвидо Фанточини. Удар поднял Бабушку в воздух, но ее простертые вперед руки все еще удерживали, умоляли, просили остановиться безжалостное механическое чудовище. Тело Бабушки успело еще дважды перевернуться в воздухе, пока машина наконец затормозила и остановилась. Я увидел, что Агата лежит на мостовой целехонькая и невредимая, а Бабушка как-то медленно и словно нехотя опускается на землю. Упав на мостовую, она еще скользила по ней ярдов пятьдесят, ударилась обо что-то, отскочила и наконец застыла, распластавшись. Стон отчаяния и ужаса вырвался из наших уст.

Затем наступила тишина. Лишь Агата жалобно всхлипывала на асфальте, готовая разрыдаться уже по-настоящему.

И мы все стояли, неспособные двинуться с места, парализованные видом смерти, страхась подойти и посмотреть на то, что лежит там, за замершей машиной и перепуганной Агатой, и поэтому мы заплакали и запричитали, и каждый, должно быть, про себя молил Небо, чтобы самого страшного не случилось... Нет-нет, только не это!..

Агата подняла голову, и ее лицо было лицом человека, который знал, предвидел, даже видел воочию, но отказывается

верить и не хочет больше жить. Ее взгляд отыскал распростертое женское тело, и слезы брызнули из глаз. Агата зажмурилась, закрыла лицо руками и в отчаянии упала на асфальт, чтобы безутешно зарыдать...

Наконец я заставил себя сделать шаг, потом другой, затем пять коротких, похожих на скачки шагов, и, когда я наконец оказался рядом с Агатой, увидел ее, сжавшуюся в комочек, упрятавшую голову так далеко, что рыдания доносились откуда-то из глубины ее съезжившегося тела, я вдруг испугался, что не дозовусь ее, что она никогда не вернется к нам, сколько бы я ни молил, ни просил и ни грозился. Поглощенная своим неутешным горем, Агата продолжала бессвязно повторять: «...Ложь, все ложь! Как я говорила... и та и другая... все обман!»

Я опустился на колени, бережно обнял ее, так, словно собирал воедино, — хотя глаза видели, что она целехонькая, руки говорили другое. Я остался с Агатой, обнимал и гладил ее и плакал вместе с ней. Потому что не было никакого смысла помогать Бабушке. Подошел отец, постоял над нами и сам опустился на колени рядом. Это было похоже на молитву, посреди мостовой, и какое счастье, что не было больше машин.

— Кто «другая», Агата, кто? — спрашивал я.

— Та, мертвая! — наконец почти выкрикнула она.

— Ты говоришь о маме?

— О мама! — простонала она, вся дрожа и сжавшись еще больше, совсем похожая на младенца. — Мама умерла, мама! Бабушка тоже, она ведь обещала всегда любить, всегда-всегда, обещала быть другой, а теперь посмотри, посмотри... Я ненавижу ее, ненавижу маму, ненавижу их всех... ненавижу!

— Конечно, — вдруг раздался голос. — Ведь это так естественно, иначе и быть не могло. Как же я была глупа, что не поняла сразу!

Голос был такой знакомый. Мы не поверили своим ушам. Мы обернулись.

Агата, еще не смея верить, чуть приоткрыла глаза, потом широко распахнула их, заморгала, приподнялась и застыла в этой позе.

— Какая же я глупая! — продолжала Бабушка. Она стояла рядом и смотрела на нашу семейную группу, видела наши застывшие лица и внезапное пробуждение.

— Бабушка!

Она возвышалась над нами, плачущими, убитыми горем. Мы боялись верить своим глазам.

— Ты ведь умерла! — наконец не выдержала Агата. — Эта машина...

— Она ударила меня, это верно,— спокойно сказала Бабушка,— и я даже несколько раз перевернулась в воздухе, затем упала на землю. Вот это был удар! Я даже испугалась, что разъедятся контакты, если можно назвать испугом то, что я почувствовала. Но затем я поднялась, села, встряхнулась как следует, и все отлетевшие молекулы моей печатной схемы встали на свои места, и вот, небьющаяся и неломающаяся, я снова с вами. Разве это не так?

— Я думала, что ты уже...— промолвила Агата.

— Да, это случилось бы со всяким другим. Еще бы, если бы тебя так ударили да еще подбросили в воздух,— сказала Бабушка,— но только не со мной, дорогая девочка. Теперь я понимаю, почему ты боялась и не верила мне. Ты не знала, какая я. А у меня не было возможности доказать тебе свою живучесть. Как глупо с моей стороны не предвидеть этого. Я давно должна была успокоить тебя. Подожди.— Она порылась в своей памяти, нашла нужную ленту, видимую только ей одной, и прочла, что было записано на ней, должно быть, еще в незапамятные времена: — Вот, слушай. Это из книги о воспитании детей. Ее написала одна женщина, и совсем недавно кое-кто смеялся над ее словами, обращенными к родителям: «Дети простят вам любую оплошность и ошибку, но помните; они никогда не простят вам вашей смерти».

— Не простят,— тихо произнес кто-то из нас.

— Разве могут дети понять, почему вы вдруг ушли? Только что были, а потом вас нет, вы ушли и не вернулись, не сказав ни слова, не объяснив, не простившись и не оставив даже записки, ничего.

— Не могут,— согласился я.

— Вот так-то,— сказала Бабушка, присоединяясь к нашей маленькой группе и тоже встав на колени возле Агаты, которая уже не лежала, а сидела, и слезы текли по ее лицу, но не те слезы, в которых тонет горе, а те, что смывают последние его следы.

— Твоя мама ушла, чтобы не вернуться. Как могла ты после этого кому-нибудь верить? Если люди уходят и не возвращаются, разве можно им верить? Поэтому, когда пришла я, что-то зная о вас, а что-то не зная совсем, я долго не понимала, почему ты отвергаешь меня, Агата. Ты просто боялась, что я тоже обману и уйду. А два ухода, две смерти в один короткий год — это было бы слишком? Но теперь ты веришь мне, Абигаиль?

— Агата,— сама того не сознавая, по привычке поправила ее моя сестра.

— Теперь ты веришь, что я всегда буду с вами, всегда?

— О да, да! — воскликнула Агата, и снова слезы полились ручьем. Мы тоже, не выдержав, заревели, прижавшись друг к другу, а вокруг нас уже останавливались машины и выходили люди, чтобы узнать, что случилось, выяснить, сколько человек погибло и сколько осталось в живых.

Вот и конец этой истории.

Вернее, почти конец.

Ибо после этого мы зажили счастливо. То есть Бабушка, Агата — Агамемнон — Абигаиль, Тимоти, я и наш отец. Бабушка, словно в праздник, вводила нас в мир, где били фонтаны латинской, испанской, французской поэзии, мощно струился Моби Дик и прятались изящные, словно струи версальских фонтанов, невидимые в затишье, но зримые в бурю поэтические родники. Вечно наша Бабушка, наши часы, маятник, отмеривающий бег времени, циферблат, где мы читали время в полдень, а ночью, измученные недугом, открыв глаза, неизменно видели рядом — она терпеливо ждала, чтобы успокоить ласковым словом, прохладным прикосновением, глотком вкусной родниковой воды из своего чудо-пальца, охлаждающей пересохший от жара шершавый язык. Сколько тысяч раз на рассвете она стригла траву на лужайке, а по вечерам смахивала незримые пылинки в доме, осевшие за день, и, беззвучно шевеля губами, повторяла урок, который ей хотелось, чтобы мы выучили во сне.

Наконец одного за другим проводила она нас в большой мир. Мы уезжали учиться. И когда настал черед Агаты, Бабушка тоже стала готовиться к отъезду.

В последний день этого последнего лета мы застали ее в гостинной, в окружении чемоданов и коробок. Она сидела, что-то вязала и поджидала нас. И хотя она не раз говорила нам об этом, мы восприняли это как жестокий удар, злой и ненужный сюрприз.

— Бабушка! Что ты собираешься делать?

— Я тоже уезжаю в колледж. В известном смысле, конечно. Я возвращаюсь к Гвидо Фанточини, в свою семью.

— Семейю?

— В семью деревянных кукол, буратино. Так называл он нас поначалу, а себя — папа Карло. Лишь потом он дал нам свое настоящее имя — Фанточини. Вы были моей семьей. А теперь пришло время мне вернуться к моим братьям и сестрам, теткам и кузинам, к роботам, которые...

— ...которые что? Что они там делают?.. — перебила ее Агата.

— Кто что,— ответила Бабушка.— Одни остаются, другие уходят. Одних разбирают на части, четвертуют, так сказать, чтобы из их частей комплектовать новые машины, заменять износившиеся детали. Меня тоже проверят, выяснят, на что я еще гожусь. Может случиться, что я снова понадобится, и меня тут же отправят учить других мальчиков и девочек и опровергать еще какую-нибудь очередную ложь и небылицу.

— Они не должны четвертовать тебя! — воскликнула Агата.

— Никогда! — воскликнул я, а за мной Тимоти.

— У меня стипендия! Я всю отдам ее тебе, только...— волновалась Агата.

Бабушка перестала раскачиваться в качалке, казалось, она смотрит на спицы и разноцветный узор из шерсти, который только что связала.

— Я не хотела вам говорить этого, но раз уж вы спросили, то скажу: совсем за небольшую плату можно снять комнатку в доме с общей гостиной и большим темным холлом, где тихо и уютно и где живут тридцать или сорок таких, как я, электронных бабушек, которые любят сидеть в качалках и вспоминать о прошлом. Я не была там. Я, в сущности, родилась совсем недавно. За скромный ежемесячный или ежегодный взнос я могу жить там вместе с ними и слушать, что они рассказывают о себе, чему научились и что узнали в этом большом мире, и сама могу рассказывать им, как счастлива я была с Томом, Тимом и Агатой и чему они научили меня.

— Но это ты... ты нас учила!

— Это вы так думаете,— сказала Бабушка.— Но все было как раз наоборот. Вернее, вы учились у меня, а я у вас. И все это здесь, во мне. Все, из-за чего вы проливали слезы, над чем потешались. Обо всем этом я расскажу им, а они расскажут мне о других мальчиках и девочках и о себе тоже. Мы будем беседовать и будем становиться мудрее, спокойнее и лучше с каждым годом, с каждым десятилетием, двадцатилетием, тридцатилетием. Общие знания нашей семьи удвоятся, утроятся, наша мудрость и опыт не пропадут даром. Мы будем сидеть в гостиной и ждать, и, может быть, вы вспомните о нас и позовете, если вдруг заболеет ваш ребенок или, не дай Бог, семью постигнет горе и кто-нибудь уйдет навсегда. Мы будем ждать, становясь старше, но не старея, все ближе к той грани, когда однажды и нас постигнет счастливая судьба того, чье забавное и милое имя мы вначале носили.

— Буратино, да? — воскликнул Тим.

Бабушка кивнула головой.

Я знал, что она имела в виду. Тот день, когда, как в старой сказке, добрый и храбрый Буратино, мертвая деревянная кукла, заслужил право стать живым человеком. И вдруг я увидел всех этих буратино и фанточины, целые поколения их: они обмениваются знаниями и опытом, тихонько переговариваются в просторных, располагающих к беседе гостиных и ждут своего дня, который, мы знали, никогда не придет.

Бабушка, должно быть, прочла это в моих глазах.

— Посмотрим, — сказала она. — Поживем — увидим.

— О Бабушка! — не выдержала Агата и разрыдалась так, как когда-то много лет назад. — Тебе не надо ждать. Ты и сейчас живая. Ты всегда живая. Ты всегда была для нас только такой!

Она бросилась старой женщине на шею, и тут мы все бросились обнимать и целовать нашу Бабушку, а потом покинули дом, вертолеты унесли нас в далекие колледжи и в далекие годы, и последними словами Бабушки, прежде чем мы поднялись в осеннее небо, были:

— Когда вы совсем состаритесь, будете беспомощны и слабы, как дети, когда вам снова нужна будет забота и ласка, вспомните о старой няне, глупой и вместе с тем мудрой подруге вашего детства, и позовите меня. Я приду, не бойтесь, и в нашей детской снова станет шумно и тесно.

— Мы никогда не состаримся! — закричали мы. — Этого никогда не случится!

— Никогда! Никогда!..

Мы улетели.

Промелькнули годы. Мы состарились: Тим, Агата и я. Наши дети стали взрослыми и покинули родительский дом, наши жены и мужья покинули этот мир, и вот теперь — хотите верить, хотите нет — совсем по Диккенсу, мы снова в нашем старом доме.

Я лежу в своей спальне, как лежал мальчишкой семьдесят, о Боже, целых семьдесят лет назад! Под этими обоями есть другие, а под ними еще и еще одни и, наконец, старые обои моего детства, когда мне было всего девять лет.

Верхние обои местами оборваны, и я без труда нахожу под ними знакомых слонов и тигров, красивых и ласковых зебр и свирепых крокодилов. Не выдержав, я посылаю за обойщиками и велю им снять все обои, кроме этих, последних. Милые зверушки снова будут на воле.

Мы шлем еще одно послание. Мы ждем.

Мы зовем: «Бабушка! Ты обещала, что вернешься, как только будешь нам нужна. Мы больше не узнаем ни себя, ни время. Мы стары. Ты нам нужна!»

В трех спальнях старого дома в поздний час трое беспомощных, как младенцы, стариков приподнимаются на своих постелях, и из их сердец рвется беззвучное: «Мы любим! Мы любим тебя!»

Там, там в небе! — вскакиваем мы по утрам. — Разве это не тот вертолет, который?.. Вот он сейчас опустится на лужайку.

Она будет там, на траве перед домом. Ведь это ее саркофаг! И наши имена на полосках холста, в который завернуто ее прекрасное тело, и маска, скрывающая лицо!

Золотой ключик по-прежнему на груди у Агаты, теплый, ждущий заветной минуты. Когда же она наступит? Подойдет ли ключик? Повернется ли он, заведется ли пружина?

Детская площадка

Еще при жизни жены, спеша утром на пригородный поезд или возвращаясь вечером домой, мистер Чарльз Андерхилл проходил мимо детской площадки, но никогда не обращал на нее внимания. Она не вызывала в нем ни любопытства, ни неприязни, ибо он вообще не подозревал о ее существовании.

Но сегодня за завтраком его сестра Кэрл, вот уже полгода как занявшая место покойной жены за семейным столом, вдруг осторожно заметила:

— Джимми скоро три года. Завтра я отведу его на детскую площадку.

— На детскую площадку? — переспросил мистер Андерхилл.

А у себя в конторе на листке блокнота записал и, чтобы не забыть, жирно подчеркнул черными чернилами: «Посмотреть детскую площадку».

В тот же вечер, едва грохот поезда замер в ушах, мистер Андерхилл обычным путем, через город, зашагал домой, сунув под мышку свежую газету, чтобы не зачитаться по дороге и не позабыть взглянуть на детскую площадку. Таким образом, ровно в пять часов десять минут пополудни он уже стоял перед голой чугунной оградой детской площадки с распахнутыми настезь воротами — стоял, остолбенев, едва веря тому, что открылось его глазам...

Казалось, вначале и глядеть было не на что. Но едва он прервал свою обычную безмолвную беседу с самим собой и вернулся к действительности, все постепенно, словно на эк-

ране включенного телевизора, стало обретать определенные очертания.

Вначале были лишь голоса — приглушенные, словно из-под воды доносившиеся крики и возгласы. Они исходили от каких-то расплывчатых пятен, ломаных линий и теней. Потом будто кто-то дал пинка машине, и она заработала — крики с силой обрушились на него, а глаза явственно увидели то, что прежде скрывалось за пеленой тумана. Он увидел детей! Они носились по лужайке, они дрались, отчаянно колотили друг друга кулаками, царапались, падали, поднимались и снова куда-то мчались — все в кровотокающих или уже подживших ссадинах и царапинах. Дюжина кошек, брошенных в собачью конуру, не могла бы вопить пронзительней! С неправдоподобной отчетливостью мистер Андерхилл видел каждую болячку и царапину на их лицах и коленях.

Ошеломленный, он выдержал первый шквал звуков. Когда же глаза и уши отказались более воспринимать что-либо, на помощь им пришло обоняние. В нос ударил едкий запах ртутной мази, липкого пластыря, камфары и свинцовых примочек. Запах был настолько сильный, что он почувствовал горечь во рту. Сквозь прутья решетки, тускло поблескивавшие в сумерках угасающего дня, потянуло запахом йодистой настойки. Дети, словно фигурки в игральном автомате, послушные нажатую рычага, налетали друг на друга, сшибались, оступались, падали — столько-то попаданий, столько-то промахов, пока наконец не будет подведен окончательный и неожиданный итог этой жестокой игры.

Да и свет на площадке был какой-то странный, слепяще-резкий — или, может быть, мистеру Андерхиллу так показалось? А фигурки детей отбрасывали сразу четыре тени: одну темную, почти черную, и три слабые серые полутени. Поэтому почти невозможно было сказать, куда они стремглав несутся, пока в конце концов не врежутся в цель. Да, этот косо падающий, слепящий глаза свет резко обозначал контуры предметов и странно отдалял их — от этого площадка казалась далекой, почти недосыгаемой. Может быть, виной всему была железная решетка, напоминающая ограду вольера в зоопарке, за которой всякое может случиться.

«Вот так площадка, — подумал мистер Андерхилл. — Что за страсть превращать игры в сущий ад? А это вечное стремление истязать друг друга?» Вздох облегчения вырвался из его груди. Слава Богу, его детство давно и безвозвратно ушло. Нет больше ни щипков, ни колотушек, ни бессмысленных страстей, ни обманутых надежд.

Вдруг порыв ветра вырвал из рук газету. Мистер Андерхилл бросился за нею в открытые ворота детской площадки. Поймав газету, он тут же отступил назад, ибо почувствовал, как пальто вдруг тяжело давит плечи, шляпа непомерно велика, ремень, поддерживавший брюки, ослабел, а ботинки сваливаются с ног. Ему показалось, что он маленький мальчик, нарядившийся в одежду отца, чтобы поиграть в почтенного бизнесмена. За его спиной грозно возвышались ворота площадки, серое небо давило свинцовой тяжестью, в лицо дул ветер, отдающий запахом йода, напоминающий дыхание хищного зверя. Мистер Андерхилл споткнулся и чуть не упал.

Выскочив за ограду, он остановился и облегченно перевел дух, словно человек, вырвавшийся из ледящих объятий океана.

— Здравствуй, Чарли! — Мистер Андерхилл резко обернулся. На самой верхушке металлической спусковой горки сидел мальчуган лет девяти и приветственно махал ему рукой: — Здравствуй, Чарли!

Мистер Чарльз Андерхилл машинально махнул в ответ. «Однако я совсем не знаю его, — тут же подумал он. — Почему он зовет меня Чарли?»

В серых сумерках незнакомый малыш продолжал улыбаться ему, пока вдруг вопящая орава детей не столкнула его вниз и с визгом и гиканьем не увлекла с собой. Пораженный Андерхилл стоял и смотрел. Площадка казалась огромной фабрикой боли и страданий. Можно простоять у ее ограды хоть целых полчаса, но все равно не увидишь здесь ни одного детского лица, которое не исказила бы гримаса крика, которое не побагровело бы от злобы и не побелело от страха. Да, именно так! В конце концов, кто сказал, что детство — самая счастливая пора жизни? О нет, это самое страшное и жестокое время, пора варварства, когда нет даже полиции, чтобы защитить тебя, есть только родители, но они слишком заняты собой, а их мир чужд и непонятен. Будь в его власти — мистер Андерхилл коснулся рукой холодных прутьев ограды, — он повесил бы здесь только одну надпись: «Площадка Торквемады».

Но кто этот мальчик, который окликнул его? Отдаленно он кого-то ему напоминал, возможно старого друга или знакомого. Должно быть, сын еще одного бизнесмена, благополучно нажившего на склоне лет язву желудка.

«Вот, значит, где будет играть мой Джимми, — подумал мистер Андерхилл. — Вот какова она, эта детская площадка».

В передней, повесив шляпу и рассеянно взглянув в мутное зеркало на свое худое, вытянутое лицо, мистер Андерхилл вдруг

почувствовал озноб и усталость, и, когда навстречу ему вышла сестра, а за нею бесшумно, словно мышонок, выбежал Джими, мистер Андерхилл был менее ласков с ними, чем обычно. Сынишка тут же взобрался к нему на плечи и начал свою любимую игру в «короля гор». А мистер Андерхилл, сосредоточенно глядя на кончик сигары, которую не торопился раскурить, откашлялся и сказал:

— Я думал о детской площадке, Кэрол.

— Завтра я отведу туда Джима.

— Отведешь Джима?! На эту площадку?

Все в нем восстало. Воспоминания о площадке были слишком еще живы в памяти. Царапины, ссадины, разбитые носы... Там, как в кабинете зубного врача, даже воздух напоен болью и страхом. А эти ужасные «классики», «крестики и нолики», нарисованные в пыли! Ведь он всего лишь секунду видел их у себя под ногами, когда погнался за унесенной ветром газетой, но как напугали они его!

— Чем же тебе не нравится эта площадка?

— Да видела ли ты ее? — И мистер Андерхилл вдруг растерянно умолк. — Черт возьми, Кэрол, я хотел сказать, видела ли ты детей, которые там играют? Ведь это же живодеры!

— Это все дети из хороших семей.

— Да, но они бесчинствуют, как настоящие гестаповцы! — промолвил Андерхилл. — Это все равно что отвести Джима на мельницу и сунуть головой в жернова. При одной мысли, что Джим должен играть на этой живодерне, у меня кровь стынет в жилах!

— Ты прекрасно знаешь, что это самая приличная детская площадка поблизости.

— Мне безразлично, даже если это так. Я только знаю, что никаких других игрушек, кроме палок, бит и духовых ружей, я там не видел. К концу первого же дня от Джима останутся рожки да ножки. Он будет изжарен живьем, как новгородный поросенок!

Кэрол рассмеялась.

— Ты преувеличиваешь.

— Нисколько. Я говорю совершенно серьезно.

— Но не можешь же ты лишить Джими детства. Он должен пройти через это. Ну и что, если его немножко поколотят или он сам поколотит других. Это же мальчишки! Они все таковы.

— Мне не нравятся такие мальчишки.

— Но ведь это самая счастливая пора их детства!

— Чепуха. Когда-то я с тоской и сожалением вспоминал о детстве. Но теперь я понимаю, что был просто-напросто

сентиментальным дураком. Этот сумасшедший визг и беготня, напоминающие кошмарный сон! А возвращение домой, когда ты весь пропитан страхом! О, если бы я только мог убедить Джима от этого!

— Это неразумно и, слава Богу, невозможно.

— Говорю тебе, что я и близко не подпущу его к этой площадке! Пусть лучше растет отшельником.

— Чарли!

— Да, да! Посмотрела бы ты на этих зверенышей! Джим — мой сын! Он мой, а не твой, запомни это! — Мистер Андерхилл чувствовал, как хрупкие ножки сына обхватили его шею, а нежные пальчики копошатся в его волосах. — Я не отдам его на эту живодерню.

— В таком случае ему придется пройти через все это в школе. Уж лучше пусть привыкнет сейчас, пока ему всего три года.

— Я уже думал об этом. — Мистер Андерхилл крепко сжал ножки сына, свисающие с его плеч, как две теплые колбаски. — Я, возможно, даже пойду на то, чтобы нанять Джиму воспитателя...

— Чарльз!

Обед прошел в полном молчании. А когда сестра ушла на кухню мыть посуду, мистер Андерхилл взял сына и отправился на прогулку.

Путь их лежал мимо детской площадки. Теперь ее освещал лишь слабый свет уличных фонарей. Был прохладный сентябрьский вечер, и в воздухе уже чувствовался сухой пряный аромат осени. Еще неделя — и детей соберут в школы, словно сухую листву, чтобы она запылала новым, ярким огнем. Их шумную энергию постараются теперь направить на более разумные цели. Но после школы они снова придут на площадку и снова будут носиться по ней, напоминая метательные снаряды, будут врезаться друг в друга и взрываться, как ракеты, и каждое такое миниатюрное сражение оставит после себя след боли и страданий.

— Хочу туда, — вдруг промолвил маленький Джимми, уткнувшись лицом в ограду парка, глядя на то, как не успевшие еще разойтись по домам дети то налетают друг на друга в драке, то разбегаются прочь.

— Нет, Джим, нет, тебе не хочется туда!

— Хочу играть, — упрямо повторил Джим, и глазенки его засверкали, когда он увидел, как большой мальчик ударил мальчика поменьше, а тот дал пинка совсем крошечному мальчугану. — Папа, хочу играть!..

— Идем, Джим, ты там не будешь, пока я еще в силах помешать этому! — И мистер Андерхилл потянул сына за руку.

— Хочу играть! — уже захныкал Джим. Глаза его превратились в мутные кляксы, личико сморщилось, и он заплакал.

Дети за оградой остановились, они обернулись и посмотрели на незнакомого мужчину и мальчика. Странное чувство охватило мистера Андерхилла. Ему показалось, что он у решетки вольера, а за ней настороженные лисьи морды, на секунду оторвавшиеся от растерзанного тельца зайчонка. Злобный блеск желтых глаз, острые подбородки, хищные зубы, жесткие вихры волос, испачканные майки и грязные руки в царапинах, следах недавних драк. Он чувствовал запах лакричных и мятных леденцов и еще чего-то тошнотворно сладкого. А над всем этим висел тяжелый запах горчичных компрессов, словно кто-то страдающий простудой удрал сюда, не захотев вылежать положенный срок в постели, и еще густой запах камфарной мази, смешанный с запахом пота. Все эти липкие, гнетущие запахи грифеля, мела и мокрой губки, которой вытирают школьную доску, реальные или воображаемые, воскресили в памяти далекие воспоминания. Рты у детей были набиты леденцами, из сопящих носов текла омерзительная зелено-желтая жидкость. Боже милосердный, помоги мне!

Дети увидели Джима. Новичок! Они молча разглядывали его, а когда он захныкал громче и мистер Андерхилл наконец оторвал его от решетки и, упирающегося, ставшего тяжелым, как куль с песком, потащил за собой, дети молча проводили их сверкающими взглядами. Андерхиллу вдруг захотелось обернуться, пригрозить им кулаком, закричать: «Я не отдам вам моего Джима, нет, ни за что!»

И тут как нельзя более некстати снова послышался голос незнакомого мальчишки. Он опять сидел на горке, так высоко, что в сумерках был едва различим, и снова Андерхиллу показалось, что он кого-то ему напоминает.

— Здравствуй, Чарли!.. — Мальчик приветственно махнул рукой.

Андерхилл остановился, притих и маленький Джим.

— До скорого свидания, Чарли!

И тут Андерхиллу показалось, что мальчик похож на Томаса Маршалла, его бывшего сослуживца. Он жил всего в квартале от Андерхилла, но они не виделись вот уже несколько лет.

— До скорого свидания, Чарли!

«До скорого свидания? Почему до скорого? Что за чушь говорит этот мальчишка!»

— А я тебя знаю, Чарли! — снова крикнул мальчик. — Пока!
— Что?! — Мистер Андерхилл даже поперхнулся от негодования.

— До завтрашнего вечера, Чарли. И-э-эй!

Мальчик ринулся вниз, вот он уже на земле, у подножия горки, с лицом белым как мел, а через него, падая и кувыряясь, летят другие.

Растрепанный мистер Андерхилл застыл на месте. Но маленький Джим снова захныкал, и мистер Андерхилл, таща упирающегося сына за руку и провожаемый немигающими лисьими взглядами из-за решетки, поспешил домой, остро ощущая холод осени.

На следующий день, пораньше закончив дела в конторе, мистер Андерхилл трехчасовым поездом вернулся домой. В три двадцать пять он был уже в Гринтауне и вполне мог еще насладиться теплом последних неярких лучей осеннего солнца. «Странно, как в один прекрасный день вдруг приходит осень, — думал он. — Вчера, казалось, еще было лето, а сегодня ты уже не уверен. То ли нет былого тепла в воздухе, то ли по-иному пахнет ветер? А может, это старость, которая уже засела в костях и в один прекрасный вечер вдруг проникает в кровь, а потом в сердце, и ты чувствуешь ее холодное дыхание? Ты на год стал старше, еще один год ушел безвозвратно. Может быть, это?»

Он шел по направлению к детской площадке и думал о будущем. Кажется, ни в одно время года человек не строит столько планов, как осенью. Должно быть, вид умирающей природы невольно заставляет человека подумать о смерти, вспомнить, что он еще не успел сделать. Итак, решено. У Джима будет частный воспитатель. Он не должен попасть в одну из этих ужасных школ. Разумеется, это отразится на его скромных сбережениях, но зато детство Джима не будет омрачено злом и насилием. Они с Кэрол сами будут подбирать ему друзей. Никаких задир или драчунов, пусть только посмеют коснуться его Джима... А что касается детской площадки, то о ней, разумеется, не может быть и речи.

— Здравствуй, Чарльз.

Мистер Андерхилл быстро поднял голову. У ворот площадки стояла его сестра Кэрол. Она назвала его Чарльзом вместо обычного Чарли, и он сразу это заметил. Значит, вчерашняя размолвка еще не забыта.

— Что ты здесь делаешь, Кэрол?

Она виновато покраснела и бросила взгляд за решетку площадки.

— Нет, не может быть!..— воскликнул мистер Андерхилл, и его испуганный, ищущий взгляд остановился на ораве дерущихся, визжащих детей.— Ты хочешь сказать, что...

Сестра посмотрела на него с еле заметным любопытством и кивнула головой.

— Я думала, что если отведу его пораньше...

— ...то, вернувшись в обычное время, я ничего не узнаю? Ты это хотела сказать, да?

Да, именно это она хотела сказать.

— Боже мой, Кэрол, где же он?

— Я сама только что пришла посмотреть, как он себя здесь чувствует.

— Неужели ты бросила его здесь одного? На весь день!..

— Нет, всего на несколько минут, пока я делала покупки...

— Ты оставила его здесь? Боже милосердный! — Андерхилл схватил ее за руку.— Идем! Надо немедленно же забрать его отсюда!

Сквозь прутья решетки они вглядывались туда, где носились по лужайке мальчишки, а девчонки царапались и били друг друга по щекам. То и дело от группок дерущихся и ссорящихся детей отделялась одинокая фигурка и стремглав бежала куда-то, сшибая всех на пути.

— Он там! — воскликнул в отчаянии Андерхилл и в ту же минуту увидел Джима. С криком и плачем он бежал через лужайку, преследуемый несколькими сорванцами. Вот он упал, поднялся, снова упал, издавая дикие вопли, а его преследователи хладнокровно обстреливали его из духовых ружей.

— Я заткну эти проклятые ружья им в глотки! — разъярился мистер Андерхилл.— Сюда, Джим! Сюда!

Джим устремился к воротам, на голос отца, и тот подхватил его на лету, словно узел с мокрым и грязным тряпьем. У Джима был расквашен нос, штанишки изодраны в клочья, и весь он был в пыли и грязи.

— Вот тебе твоя площадка! — воскликнул мистер Андерхилл, обращаясь к сестре, и, став на колени, прижал к себе сына.— Вот они, твои милые невинные малютки из хороших семей. Настоящие фашисты! Если я еще раз увижу Джима здесь, скандала не миновать! Идем, Джим. А вы, маленькие ублюдки, марш отсюда! — прикрикнул он на детей.

— Мы ничего не сделали,— хором ответили дети.

— Боже мой, куда мы идем! — патетически воскликнул мистер Андерхилл.

— Эй, Чарли! — вдруг снова услышал он знакомый голос. Опять этот мальчишка! Он отделился от группы детей и, улыбаясь, небрежно махнул рукой.

— Кто это? — спросила Кэрол.

— Откуда я знаю, черт побери! — в сердцах воскликнул мистер Андерхилл.

— До свидания, Чарли. Пока! — снова крикнул мальчик и исчез.

Подхватив сына на руки и решительно взяв сестру за локоть, мистер Андерхилл направился домой.

— Отпусти мой локоть! — резко сказала Кэрол.

Вечером, готовясь ко сну, мистер Андерхилл был буквально вне себя от негодования. Чтобы успокоиться, он выпил кофе, но и это не помогло. Он готов был разmozжить головы этим отвратительным сорванцам: да, да, именно отвратительным!

Сколько в них хитрости, злобы, коварства, бессердечия. Во имя всего святого, кто оно, это новое поколение? Банда головорезов, висельников, громил, молодая порось кровожадных кретинов и истязателей, в души которых уже проник страшный яд безнадзорности! Мистер Андерхилл беспокойно ворочался в постели. Наконец он встал и закурил папиросу. Но это не принесло успокоения. Придя домой, они с Кэрол поссорились. Они некрасиво кричали друг на друга — точь-в-точь дерущиеся павлины в прериях, где приличия и условности были бы смешной и нелепой причудой. Теперь ему было стыдно за свою несдержанность. Не следует отвечать грубостью на грубость, если считаешь себя воспитанным человеком. Он хотел поговорить спокойно, но Кэрол не дала ему, черт возьми! Она решила сунуть мальчишку в эту чудовищную машину, чтобы та раздавила его. Она хочет, чтобы на нем поскорее поставили штамп и номер, чтобы побои и пинки сопровождали его от детской площадки и детского сада до дверей школы и университета, а потом даже и там. Если Джиму повезет, в университете истязание и жестокость примут более утонченные формы, не будет крови и слюны, они останутся по ту сторону детства. Но у Джима к годам его зрелости появится Бог весть какой взгляд на жизнь, может, он сам захочет стать волком среди волков, псом среди псов, злодеем среди злодеев. Однако в мире и без того слишком много зла, больше чем следует. Мысль о десяти — пятнадцати годах мучений, которые предстоит перенести Джиму, заставила мистера Андерхилла содрогнуться. Он чувствовал, как хлещут, жгут, молотят кулаками его собственное тело, как выворачивают суставы, как избива-

ют и терзают его. Он содрогнулся, он почувствовал себя медузой, брошенной в камнедробилку. Джим не выдержит этого, он слишком мал, слишком слаб!

Все эти мысли лихорадочно пронеслись в голове мистера Андерхилла, пока он беспокойно бродил по комнатам спящего дома. Он думал о себе, о сыне, о детской площадке и о не покидавшем его гнетущем чувстве страха. Казалось, не было вопроса, который он не задал бы себе и не обдумал со всех сторон. Какие из его страхов — результат одиночества и смерти Энн, а что просто собственные причуды, желание настоять на своем? Какие из страхов вызваны реальной действительностью, тем, что он увидел на детской площадке и в лицах детей? Что разумно, а что нелепые домыслы? Мысленно он бросал крохотные гирьки на чашу весов и смотрел, как вздрагивает стрелка, колеблется, замирает, снова колеблется то в одну, то в другую сторону — между полночью и рассветом, между светом и тьмой, простым разумом и откровенным безумием. Он не должен так держаться за сына, он должен отпустить его. Но когда он глядел в глазенки Джима, он видел в них Энн: это ее глаза, ее губы, легкое трепетание ноздрей, пульсирующая жилка под тонкой кожей. «Я имею право бояться за Джима, — думал он. — Имею полное право. Если у вас было два драгоценных сосуда и один из них разбился, а другой, единственный, уцелел, разве можно быть спокойным и благоразумным, не испытывать постоянной тревоги и страха, что и его вдруг не станет? Нет, — повторял он, медленно меряя шагами коридор, — нет, я способен испытывать только страх, страх, и более ничего».

— Что ты бродишь ночью по дому? — послышался голос сестры, когда он проходил мимо открытых дверей ее спальни. — Не надо быть таким ребенком, Чарли. Мне очень жаль, если я кажусь тебе бессердечной или жестокой. Но ты должен отказаться от своих предубеждений. Джим не может расти вне школы. Если бы была жива Энн, она обязательно отдала бы его в школу. Завтра он должен пойти на детскую площадку и ходить туда до тех пор, пока не научится постоять за себя и пока дети не привыкнут к нему. Тогда они не станут его трогать.

Андерхилл ничего не ответил. Он тихонько оделся в темноте, спустился вниз и вышел на улицу. Было без пяти двенадцать, когда он быстро зашагал по тротуару в тени высоких вязов, дубов и кленов, пытаясь успокоиться. Он понимал, что Кэрол права. Это твой мир, ты в нем живешь, и ты должен принимать его таким, каков он есть. Но в этом-то и был весь ужас. Ведь он уже прошел через все это, он хорошо знал,

что значит побывать в клетке со львами. Воспоминания о собственном детстве терзали его все эти часы, воспоминания о страхе и жестокости. Мог ли он смириться с тем, что и его сына ждут такие испытания, его Джимми, который не виноват в том, что рос слабым и болезненным ребенком, с хрупкими косточками и бледным личиком? Разумеется, его все будут мучить и обижать.

У детской площадки, над которой все еще горел одинокий фонарь, он остановился. Ворота были уже заперты, но этот единственный фонарь горел здесь до двенадцати ночи. С каким наслаждением он стер бы с лица земли это проклятое место, разбил бы в куски ограду, уничтожил бы эти ужасные спусковые горки и сказал бы детям: «Идите домой! Играйте дома, играйте в своих дворах!»

Каким коварным, жестоким, холодным местом была эта площадка! Знал ли кто-нибудь, откуда приходят сюда дети? Мальчик, выбивший тебе зуб, кто он, как его зовут? Никто не знает. Где он живет? Никто не знает. В любой день ты можешь прийти сюда, избить до полусмерти любого из малышей и убежать, а на другой день можешь пойти на другую площадку и проделать то же самое. Никто не станет разыскивать тебя. Можно ходить с площадки на площадку и везде давать волю своим преступным наклонностям — и все безнаказанно, никто не запомнит тебя, ибо никто тебя никогда и не знал. Через месяц можешь снова вернуться на первую из них, и если малыш, которому ты выбил зуб, окажется там и узнает тебя, ты сможешь все отрицать: «Нет, это не я. Это, должно быть, кто-то другой. Я здесь впервые. Нет, нет, это не я». А когда мальчуган отвернется, можешь снова дать ему пинка и убежать, петляя по безымянным улицам.

«Что делать, как помочь сыну? — думал мистер Андерхилл. — Сестра более чем великодушна, она отдает Джиму все свое время, неистраченную любовь и нежность, которые не пришлось подарить собственным детям. Я не могу все время ссориться с ней или просить ее покинуть мой дом. Уехать в деревню? Нет, это невозможно. Для этого нужны деньги. Но оставить Джима здесь я тоже не могу».

— Здравствуй, Чарли, — раздался тихий голос.

Андерхилл вздрогнул и обернулся. За оградой детской площадки прямо на земле сидел серьезный девятилетний мальчуган и рисовал пальцем квадратики в прохладной пыли. Он даже не поднял головы и не посмотрел на Андерхилла. Он просто сказал: «Здравствуй, Чарли», спокойно пребывая в этом зловещем мире по ту сторону железной ограды.

— Откуда ты знаешь мое имя? — спросил мистер Андерхилл.

— Знаю. — Мальчик улыбнулся и поудобнее скрестил ноги. — У вас неприятности.

— Почему ты здесь так поздно? Кто ты?

— Меня зовут Маршалл.

— Ну конечно же! Ты Томми Маршалл, сын Томаса Маршалла. Мне сразу показалось, что я тебя знаю.

— Еще бы. — Мальчик тихонько засмеялся.

— Как поживает твой отец, Томми?

— А вы давно не видели его, сэр?

— Я видел его мельком на улице месяца два назад.

— Как он выглядит?

— Что ты сказал? — удивился мистер Андерхилл.

— Как выглядит мистер Маршалл? — повторил свой вопрос мальчик. Было что-то странное в том, как он избегал произносить слово «отец».

— По-моему, неплохо. Но почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Надеюсь, он счастлив, — промолвил мальчик.

Мистер Андерхилл смотрел на его поцарапанные руки и разбитые колени.

— Разве ты не собираешься домой, Томми?

— Я убежал из дому, чтобы повидаться с вами. Я знал, что вы придете сюда. Вам страшно, мистер Андерхилл?

От неожиданности мистер Андерхилл не нашелся что ответить.

— Да, эти маленькие чудовища... — наконец промолвил он.

— Возможно, я смогу помочь вам. — Мальчик нарисовал в пыли треугольник.

«Что за ерунда?» — подумал мистер Андерхилл.

— Каким образом?

— Ведь вы сделали бы все, чтобы Джим не попал сюда, не так ли? Даже поменялись бы с ним местами, если бы могли?

Мистер Андерхилл оторопело кивнул.

— Тогда приходите сюда завтра, ровно в четыре часа. Я смогу помочь вам.

— Помочь? Как можешь ты помочь мне?

— Сейчас я вам этого не скажу, — ответил мальчик. — Но это касается детской площадки, любого места, похожего на это, где царит зло. Ведь вы сами это чувствуете, не так ли?

Теплый ветерок пролетел над пустынной лужайкой, освещенной светом единственного фонаря. Андерхилл вздрогнул.

Даже сейчас в площадке было что-то зловещее, ибо она служила злу.

— Неужели все площадки похожи на эту?

— Таких немало. Вполне возможно, что эта — в чем-то единственная, а может, и нет. Все зависит от того, как смотреть на вещи. Ведь они таковы, какими нам хочется их видеть, Чарли. Очень многие считают, что это прекрасная площадка, и они по-своему правы. Наверное, все зависит от того, с какой стороны смотришь на это. Мне только хочется сказать вам, что Том Маршалл тоже пережил это. Он тоже боялся за своего сынишку Томми, тоже думал об этой площадке и о детях, которые играют на ней. Ему тоже хотелось уберечь Томми от зла и страданий.

Мальчик говорил об этом как о далеком прошлом, и мистеру Андерхиллу стало не по себе.

— Вот мы и договорились, — сказал мальчик.

— Договорились? С кем же?

— Думаю, с детской площадкой или с тем, кому она принадлежит.

— Кому же она принадлежит?

— Я никогда не видел его. Там, в конце площадки, за эстрадой, есть контора. Свет горит в ней всю ночь. Какой-то странный, синеватый, очень яркий свет. В конторе совершенно пустой стол и стул, на котором никто никогда не сидел, и табличка с надписью: «Управляющий», хотя никто никогда не видел его.

— Должен же он быть где-нибудь поблизости?

— Совершенно верно, должен, — ответил мальчик. — Иначе ни я, ни кое-кто другой не смогли бы попасть сюда.

— Ты рассуждаешь как взрослый.

Мальчик был заметно польщен.

— Хотите знать, кто я на самом деле? Я совсем не Томми. Я — Том Маршалл, его отец. — Мальчик продолжал неподвижно сидеть в пыли, освещенный светом одинокого, недостижимого фонаря, а ночной ветер легонько трепал ворот его рубашки и поднимал с земли прохладную пыль. — Да, я Том Маршалл — отец. Я знаю, вам трудно поверить в это, но это так. Я тоже боялся за Томми, как вы боитесь сейчас за своего Джима. Поэтому я пошел на эту сделку с детской площадкой. О, не думайте, что я один здесь такой. Есть и другие. Если вы внимательнее взгляните в лица детей, то по выражению глаз сразу отличите нас от настоящих детей.

Андерхилл растерянно смотрел на мальчика.

— Шел бы ты домой, Томми.

— Вам хочется мне верить. Вам хочется, чтобы все это оказалось правдой. Я понял это в первый же день по вашим

глазам, как только вы подошли к ограде. Если бы вы могли поменяться местами с Джимом, вы, не задумываясь, сделали бы это. Вам хочется спасти его от подобного детства, хочется, чтобы он поскорее стал взрослым и все это было бы уже позади.

— Какой отец не желает добра своему ребенку.

— А вы особенно. Ведь вы уже сейчас чувствуете каждый удар и пинок, который получит здесь Джим. Ладно, приходите завтра. Вы тоже сможете договориться.

— Поменяться местами с Джимом?

«Какая нелепая, неправдоподобная и вместе с тем странно успокаивающая мысль!»

— Что я должен сделать для этого?

— Твердо решить, что вы этого хотите.

Следующий свой вопрос мистер Андерхилл постарался задать как можно более безразличным тоном, так, чтобы он подходил скорее на шутку, хотя в душе его поднималось негодование.

— Сколько это будет стоить?

— Ровным счетом ничего. Вам только надо будет прийти и играть на этой площадке.

— Весь день?

— И, разумеется, ходить в школу.

— И снова расти?

— Да, и снова расти. Приходите завтра в четыре.

— В это время я еще занят в конторе.

— Итак, до завтра,— сказал мальчик.

— Ты бы лучше шел домой, Томми.

— Меня зовут Том Маршалл,— ответил мальчик, продолжая сидеть в пыли.

Фонарь над детской площадкой погас.

Мистер Андерхилл и его сестра за завтраком молчали. Обычно он звонил из конторы и болтал с сестрой о разных делах, но сегодня он не сделал этого. Однако в половине второго, после ленча, к которому он почти не притронулся, мистер Андерхилл все же позвонил домой. Услышав голос Кэрол, он тут же положил трубку. Но через пять минут снова набрал номер.

— Это ты звонил, Чарли?

— Да, я,— ответил он.

— Мне показалось, что это ты, а потом ты почему-то положил трубку. Ты что-то хотел сказать, дорогой?

Кэрол снова вела себя благоразумно,

— Нет, я просто так.

— Эти два дня были просто ужасны, Чарли! Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Джим должен ходить на площадку и должен получить свою порцию пинков и побоев.

— Да, да, свою порцию.

Он снова увидел кровь, хищные лисьи морды и растерзанного зайчонка.

— Он должен уметь постоять за себя,— продолжала Кэрол,— и, если нужно, дать сдачи.

— Да, дать сдачи,— машинально повторял мистер Андерхилл.

— Я так и знала, что ты одумаешься.

— Да, одумаюсь,— повторял он.— Да, да, ты права. Иного выхода нет. Он должен быть принесен в жертву.

— Чарли, какие странные слова ты говоришь!

Мистер Андерхилл откашлялся.

— Итак, решено.

— Да.

«Интересно, как все это произойдет»,— подумал он.

— Ну а в остальном дома все в порядке? — спросил он.

Он думал о квадратах и треугольниках, которые чертил в пыли мальчик, чье лицо было смутно знакомо.

— Да,— ответила сестра.

— Я только что подумал, Кэрол,— вдруг сказал он.

— О чем, милый?

— Я приеду сегодня в три,— он произносил слова медленно, словно человек, который с трудом перевел дыхание после сокрушительного удара под ложечку.— Мы пройдемся немного, ты, я и Джим.— Он закрыл глаза.

— Отлично, милый!

— Пройдемся до детской площадки,— добавил он и положил трубку.

Была уже настоящая осень, с резким ветром и холодами. За ночь деревья расцвелись осенними красками и начали терять листву. Сухие листья кружились над головой мистера Андерхилла, когда он поднялся на крыльцо дома, где укрылись от ветра поджидавшие его Кэрол и маленький Джим.

— Здравствуй.— Брат и сестра, поприветствовав друг друга, обменялись поцелуями.

— Вот и папа, Джим.

— Здравствуй, Джимми.

Они улыбались, хотя у мистера Андерхилла душа холодела от страха при мысли о том, что его ждет.

Было почти четыре часа. Он взглянул на серое небо, грозившее дождем, похожее на застывшую лаву или пепел; влажный ветер дул в лицо. Когда они пошли, мистер Андерхилл крепко прижал к себе локоть сестры.

— Ты такой внимательный сегодня, Чарли,— улыбнулась она.

Вот и ворота детской площадки.

— Здравствуй, Чарли!

Высоко на верхушке гигантской горки стоял маленький Маршалл и махал им рукой, однако лицо его было серьезно.

— Подожди меня здесь, Кэрол,— сказал мистер Андерхилл.— Я скоро вернусь. Я только отведу туда Джимми.

— Хорошо я подожду.

Он сжал ручонку сына.

— Идем, Джим. Держись крепко за папу.

По бетонным ступеням они спустились на площадку и остановились. Вот они, эти гигантские квадраты, «классики», чудовищные «крестики и нолики», какие-то цифры, треугольники и овалы, которые дети рисовали в этой неправдоподобной пыли.

Налетел ветер, и мистер Андерхилл поежился от холода; он еще крепче сжал ладошку сына и, обернувшись, посмотрел на сестру. «Прощай»,— сказал он, ибо более не сомневался ни в чем. Он был на детской площадке, он знал, что она существует и что сейчас произойдет то, что должно произойти. Ради Джима он готов теперь на все, на все в этом ужасном мире. А сестра лишь засмеялась в ответ: «Что ты, Чарли, глупый!»

А потом они с Джимом побежали по пыльной площадке, по дну каменного моря, которое гнало, толкало, бросало их вперед. Вот он услышал, как закричал Джим: «Папа! Папа!», а дети окружили их, и мальчик на спусковой горке что-то кричал, а гигантские «классики», «крестики и нолики» кружились перед глазами. Страх сковал тело мистера Андерхилла, но он уже знал, что нужно делать, что должно быть сделано и чего следует ожидать.

В дальнем конце площадки в воздухе мелькнул футбольный мяч, со свистом проносились бейсбольные мячи, хлопали биты, мелькали кулаки. Дверь конторы управляющего была широко открыта, стол пуст, на стуле — никого, а под потолком горела одинокая лампочка.

Андерхилл споткнулся, зажмурил глаза и, издав вопль, упал на землю. Тело сжалось от острой боли, странные слова слетали с губ, все кружилось перед глазами.

— Ну вот и ты, Джим,— произнес чей-то голос.

А мистер Андерхилл, зажмурив глаза, визжа и вопя, уже взбирался по высокой металлической лестнице; в горле першило от крика.

Открыв глаза, он увидел, что сидит на самой верхушке отливающей свинцовой синевой горки не менее десяти тысяч футов высотой, а сзади на него напирают другие дети. Они толкают и бьют его, требуют, чтобы он спускался вниз, спускался вниз!

Он посмотрел вниз и далеко в конце площадки увидел человека в черном пальто. Он шел к воротам, а там стояла женщина и махала ему рукой. Потом мужчина и женщина стояли рядом и смотрели на него. Они махали и кричали:

— Не скучай, Джим, не скучай!

Он закричал и, все поняв, в ужасе посмотрел на свои маленькие худые руки и на далекую землю внизу. Он уже чувствовал, как из носа сочится кровь, а мальчишка Маршалл вдруг очутился рядом.

— Привет! — выкрикнул он и изо всех сил ткнул его кулаком в лицо. — Всего каких-нибудь двенадцать лет, пустяки! — Рев площадки заглушил его голос.

«Двенадцать лет! — подумал мистер Андерхилл, чувствуя, как западня захлопнулась. — У детей свое чувство времени. Для них год все равно что десять. Значит, не двенадцать лет детства, а целое столетие, столетие этого кошмара!»

— Эй ты, спускайся вниз!

Сзади его обдавали запахами горчичных припарок и скипидарной мази, земляных орехов и жевательной резинки, запахами чернил, бечевы для бумажного змея, борного мыла, тыквенных масок, оставшихся от праздника Всех святых, и масок из папье-маше, запахами подсыхающих ссадин и болячек; его били, щипали и толкали вниз. Кулаки поднимались и опускались, он видел злые лисьи морды, а внизу у ограды мужчина и женщина махали ему рукой. Он закричал, он закрыл лицо руками, он почувствовал, как сочится из носа кровь, а его подталкивают все ближе и ближе к краю пропасти, за которой была пустота, ничто.

Нагнувшись вперед, вопя от страха и боли, он ринулся вниз, а за ним остальные — десятки тысяч чудовищ! За секунду до того, как он шлепнулся на землю, врезался в самую гущу барахтающихся тел, в голове пронеслась и тут же исчезла мысль: «Да ведь это же ад, суший ад!»

И разве кто-либо из мальчишек, оказавшихся в этой чудовищной свалке у подножия горки, стал бы оспаривать это?

Tyrannosaurus rex

Он открыл дверь в темноту просмотрового зальчика.

Раздалось резкое, как оплеуха: «Закройте дверь!» Он скользнул внутрь и выполнил приказ. Оказавшись в непроглядной тьме, тихонько выругался. Тот же тонкий голос с сарказмом произнес:

— Боже! Вы Тервиллиджер?

— Да,— отозвался Тервиллиджер.

В более светлом пятне справа угадывался экран. Слева неистово прыгал огонек сигареты в невидимых губах.

— Вы опоздали на пять минут!

«Велика беда,— подумал Тервиллиджер,— не на пять же лет!»

— Отнесите пленку в проекционную. И пошевеливайтесь!

Тервиллиджер прищурился, привыкая к густому сумраку зала.

В темноте он различил в креслах пять шумно дышащих и беспокойно ерзающих фигур, исполненных чиновничьего ража. В центре зала с каменной неподвижностью сидел особняком и покуривал подросток.

«Нет,— сообразил Тервиллиджер,— это не подросток. Это Джо Клеренс. Тот самый. Клеренс Великий».

Теперь маленький, как у куклы, ротик выдохнул облачко дыма.

— Ну?

Тервиллиджер суетливо кинулся в сторону проекционной, сунул ролик в руки механику; тот скорчил рожу в сторону боссов, подмигнул Тервиллиджеру и скрылся в своей будке.

Вскоре раздался зуммер.

— Боже! — вспылил гнусавый голосок. — Да запускайте же!

Тервиллиджер пошарил рукой в поисках кресла, обо что-то ударился, шагнул назад и остался стоять.

С экрана полилась музыка. Под звуки барабанного боя пошли титры его демонстрационного фильма:

TYRANNOSAURUS REX: ГРОЗА ДОИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕН

*Снято автоматической камерой для замедленной съемки.
Куклы и анимация Джона Тервиллиджера. Исследование
жизни на Земле за миллиард лет до нашей эры.*

Коротышка в центре зала с иронией тихонько похлопал детскими ручками.

Тервиллиджер закрыл глаза. Смена музыкальной темы заставила его посмотреть на экран. Титры заканчивались на фоне ядовитого ливня в доисторических джунглях, полускрытых за пеленой дождя. Камера наплывом пошла сквозь тропический лес к подернутому утренним туманом морскому берегу, по пути встречая на земле и в воздухе бегущие и летящие чудовища. Покрытые массивными треугольными костными шипами, что были разбросаны по коже цвета зеленой плесени, рассекали ветер птеродактили, сверкая алмазами глаз и показывая частокор огромных зубов. Эти смертоносные летучие змеи пикировали на свои не менее страшного вида жертвы, а затем стремительно взмывали ввысь с добычей, которая визжала и извивалась в их пасти.

Тервиллиджер зачарованно следил за происходящим на экране.

У самой земли пышная растительность кишела рептилиями. Ящеры самых разных размеров, закованные в панцирь, месили лапами жирную грязь. Воссозданные воображением Тервиллиджера, они олицетворяли для него злодейство во плоти, от которого бросается врасыпную все живое.

Бронтозавры, стегозавры, трицератопсы... Легко сказать, но трудно представить себе эти многотонные махины.

Исполинские динозавры передвигались как гигантские уродливые танки, сеющие ужас и гибель. Мшистая почва ущелий сотрясалась под ними. Тысячи цветов гибли под очередным шагом чугунной лапы. Ноздри уродливых рыл вбирали туман, и джунгли оглашал рык такой силы, что небо раскалывалось пополам.

«Мои красавчики, — думал Тервиллиджер, — мои лапочки! Крошки ненаглядные!»

Сколько трудов они ему стоили — создания из разных видов резины, с крохотными подвижными стальными суставами. Придуманые в бессонные ночи, воплощенные сперва в глине, а затем сформованные из пенорезины или из губчатой резины, они двигались только благодаря его рукам. И большинство было не крупнее кулака. Остальные — не больше той головы, в которой они зародились.

— Господи! — восхищенно ахнул кто-то в темноте.

А ведь когда-то это было снято кадр за кадром и он, Тервиллиджер, создавал стремительное движение своих фантастических образов из неподвижных картинок. Самую малость изменив позы и положение зверушек, он делал снимок. Потом опять продвигал их на волосок — и фотографировал. Этот кропотливый труд продолжался часы, дни, месяцы. И вот теперь

восемьсот футов отснятого материала — а именно таков был скромный результат — будут просмотрены за считанные минуты.

«Смотри-ка, они живут, они двигаются», — радовался Тервиллиджер. Он никак не мог привыкнуть, что на экране его создания совсем как живые!

Кусочки пористой резины и латекса, глина, стальные детали, стеклянные глаза, каменные клыки — и все это вдруг превращается в хищное зверье, терроризирующее континенты, царящее в джунглях задолго до появления человека, миллиард лет назад! Эти чудища дышат. Эти чудища сотрясают воздух своими громовыми голосами. Какое сверхъестественное преобразование!

«Пусть это и нескромно, — думал Тервиллиджер, — но вот он — мой райский сад, и вот они — мои гады земные, о коих могу сказать в конце Шестого дня, что они хороши, и завтра, в день Седьмой, почить от дел своих».

— Господи! — повторил в темноте тот же восхищенный голос.

Тервиллиджер, войдя в роль Творца, чуть было не отозвался: «Да, я слушаю».

— Замечательный материал, мистер Клеренс, — продолжил дружелюбный голос.

— Возможно-возможно, — отозвался гнусавый мальчишечий голосок.

— Мультипликация высшего класса.

— Видал я и получше, — сказал Клеренс Великий.

Тервиллиджер так и обмер. Кровавая бойня в джунглях из папье-маше продолжалась, но он теперь отвернулся от экрана, чтобы посмотреть на зрителей. Впервые он мог толком разглядеть своих предполагаемых работодателей.

— Восхитительный материал!

Похвала исходила от пожилого человека, сидевшего в дальнем конце небольшого зала. Его голова была запрокинута, и он наблюдал за доисторической драмой с несомненным увлечением.

— Фигуры двигаются толчками. Посмотрите вон на того! — Странный мужчина с фигурой мальчика даже привстал, показывая что-то кончиком сигареты, торчащей изо рта. — А вот еще никчемный кадр. Вы обратили внимание?

— Да, — как-то сразу сник пожилой союзник Тервиллиджера. И даже съехал пониже в своем кресле. — Я заметил.

У Тервиллиджера кровь застучала в висках.

— Толчками двигаются, — повторил Джо Клеренс.

Белый экран, мелькнули цифры — и все. Музыка закончилась, монстры пропали.

— Уф, слава Богу, — раздался в темноте голосок Джо Клеренса. — А то время ленча уже на носу. Уолтер, давай следующий ролик! Спасибо, Тервиллиджер, вы свободны. — Молчание. — Тервиллиджер! — Опять молчание. — Кто-нибудь скажет, этот оболтус еще в зале?

— Я здесь, — отозвался Тервиллиджер. Его руки, висящие у бедер, сжались в кулаки.

— Ага, — протянул Джо Клеренс. — Знаете, неплохая работа. Однако на большие деньги не рассчитывайте. Вчера здесь перебивала дюжина ребят, и они показывали материалы не хуже вашего, а то и получше. У нас конкурс для нового фильма под названием «Доисторический монстр». Оставьте моей секретарше конверт с вашими условиями. Выход через ту же дверь, через которую вы вошли. Уолтер, что ты там копаешься? Давай следующий ролик!

Тервиллиджер двинулся к выходу, то и дело натываясь в темноте на стулья. Нашупав ручку двери, он вцепился в нее мертвой хваткой.

А за его спиной экран взорвался: землетрясение рушило здания, сыпало на головы жителей горные валуны, обрушивало и уносило мосты. Среди этого грохота ему вспомнился диалог недельной давности:

— Мы заплатим вам тысячу долларов. Тервиллиджер.

— Да вы что! Одно оборудование обойдется мне в эту сумму!

— Послушайте, мы даем вам шанс войти в кинобизнес. Или вы соглашаетесь, или увы и ах.

На экране рушились здания, а в нем самом — надежды. Он уже понял, что согласится. И возненавидит себя за это согласие.

Лишь когда на экране все дорушилось и отгрохотало, в Тервиллиджере отбурлила ярость и решение стало окончательным. Он толкнул от себя многотонную дверь и вышел в слепящий солнечный свет.

Насадим на гибкие сочленения шеи череп, натянем на него матерчатую морду, приладим на шарнирчиках нижнюю челюсть, замаскируем швы — и наш красавец готов. *Tyrannosaurus Rex*. Царь тираннозавров. Тиран доисторических джунглей.

Руки Творца, омытые светом «юпитера», нежно опустили монстра в миниатюрные джунгли, занимающие половину небольшой студии.

Сзади кто-то грубым толчком распахнул дверь.

В студию влетел крохотный Джо Клеренс — один хуже вагаи бойскаутов. Быстрым и цепким взглядом он обежал все помещение, и его лицо перекошилось.

— Черт побери! У вас еще ничего толком не готово? Мои денежки за аренду утекают зря!

— Если я закончу раньше срока,— сухо возразил Тервиллиджер,— вы мне лишних денег не заплатите. А дело пострадает.

Джо Клеренс мелкими шажками бегал от одного конца макета к другому.

— Ладно, не спешите, но поторапливайтесь. И сделайте этих ящеров действительно ужасными!

Тервиллиджер стоял на коленях у края джунглей из папье-маше, поэтому его глаза были на одном уровне с глазами босса.

— Сколько футов крови и ужаса вы желаете? — спросил он Клеренса.

Тот хищно хохотнул:

— О-о, по две тысячи футов каждого!.. А это у нас кто?

Он шустро схватил самого крупного и самого страшного динозавра и поднес его поближе к своим глазам.

— Поосторожнее!

— Что вы так паникуете? — огрызнулся Клеренс, ворочая хрупкую игрушку в своих неловких и равнодушных ручонках.— Мой динозавр — что хочу, то и делаю. В контракте огово...

— В контракте черным по белому сказано, что вы имеете право использовать моих ящеров для рекламных роликов до завершения съемок, а затем куклы остаются в моей полной собственности.

— Размечтались! — Размахивая динозавром, Клеренс фыркнул и сказал: — Не знаю, какой дурак вписал в контракт такой пункт. Когда мы подписывали его четыре дня назад...

— А мне кажется, что не четыре дня назад, а четыре года.— Тервиллиджер потер воспаленные глаза.— Я две ночи провел без сна, заканчивая этого зверюгу, чтобы мы могли приступить к съемке.

Клеренс прервал его нетерпеливым жестом:

— К чертям собачьим контракт. Плевал я на юридические штучки. Эта зверюга моя. Вы с вашим агентом доведете меня до инфаркта. То вам нужен больший гонорар, то лучшее финансирование, то более дорогое оборудование...

— Камера, что вы мне дали, суший антиквариат.

— Не говорите мне, если она сломается. У вас есть руки, чтобы починить. Когда на фильм тратится мало денег, люди лучше работают — они начинают шевелить мозгами, а не уповать на технику. Что же касается этого страшилища,— Клеренс опять тряхнул динозавром в своей руке,— то это мое детище. И зря это не прописано в чертовом контракте.

— Простите, я никому не отдаю созданные мной вещи.— Тервиллиджер прямодушно стоял на своем.— Слишком много времени и души я в них вкладываю.

— Хорошо-хорошо. Мы накинem вам пятьдесят долларов плюс забирайте после съемок эту камеру с причиндалами. Но зверюга останется мне. Ведь с этой аппаратурой вы можете открыть собственную студию и конкурировать со мной — утереть мне нос, используя мою же технику! — Клеренс хихикнул.

— Если ваша техника до той поры не развалится,— пробормотал Тервиллиджер.

— И вот еще что.— Поставив ящера на пол, Клеренс обжегал его кругом, приглядываясь с разных сторон.— Мне не нравится его характер.

— Вам не нравится что? — Тервиллиджер с трудом сохранил вежливый тон.

— Вялая морда. Нужно добавить больше огня в глаза, больше... Ну, чтоб сразу было видно, что это крутой парень, что ему пальца в пасть не клади... И добавьте ему понта.

— Чего-чего?

— Ну, типа «Кто тут на меня? Пасть порву!». Глаза покрупнее. Ноздри с выгибцем. Зубы с искрой. Язык лопатой. Да что мне вам объяснять — вы же мастер. Зверюга не моя, а ваша — вам и карты в руки.

— Моя,— с готовностью согласился Тервиллиджер, поднимаясь с пола.

Теперь на уровне глаз Джо Клеренса оказалась металлическая пряжка его ремня. Несколько секунд продюсер, словно загнипнотизированный, тарашился на блестящую железку.

— Черт бы побрал этих чертовых юристов,— наконец бормотнул он и засемянил к двери, бросив через плечо: — Трудитесь!

Дверь за ним захлопнулась, и в ту же секунду об нее шмякнулся тираннозавр.

Рука, запустившая любимым детищем в дверь, бессильно упала. Плечи Тервиллиджера поникли. Он добрал до двери, подобрал куклу и прошел к рабочему столу. Там он отвернул тираннозавру голову, стащил с черепа матерчатую маску и поставил череп на полку. Потом размял кусок глины и принялся лепить новый вариант морды.

— Побольше крутизны,— яростно бормотал Тервиллиджер,— побольше понта...

Неделей позже состоялся первый просмотр материала с участием главного героя — тираннозавра.

Когда короткий ролик закончился, Клеренс одобрительно закивал в сумраке просмотрового зала:

— Уже лучше. Но... Надо бы пострашнее. Чтобы от него кровь в жилах застывала. Пусть зрительницы в зале визжат и падают в обморок. Итак, начнем с нуля еще разок.

— Но теперь я на неделю отстаю от графика,— запротестовал Тервиллиджер.— Вы то и дело прибегаете — велите поменять то одно, то другое. И я меняю. Сегодня хвост, завтра лапы...

— Наступит день, когда мне будет не к чему придрататься,— сказал Клеренс.— Но для этого надо попотеть. Итак, к рабочему столу — и разогрейте как следует свою фантазию.

В конце месяца состоялся второй просмотр.

— Уже почти то, Тервиллиджер! Вот-вот будет то! — констатировал Клеренс.— Морда близка к идеалу. Однако надо попробовать еще разок.

Тервиллиджер поплелся обратно к рабочему столу. Теперь его динозавр ругался в кадре последними словами. У того, кто умеет читать по губам, могли бы волосы встать дыбом, приходи ему в голову пристально следить за ртом тираннозавра. Однако обычная публика, обманутая звуковой дорожкой, услышит только рев и рык. А в одну из бессонных ночей Тервиллиджер внес дополнительные изменения в физиономию зверя.

На следующий день в просмотром зале Клеренс едва ли не прыгал от радости:

— В самую точку! Великолепно! Теперь я вижу перед собой настоящего монстра. Бр-р! Какая мерзость!

С сияющим выражением лица он повернулся к своему юристу, мистеру Глассу, и своему ассистенту, Мори Пулу:

— Как вам нравится моя зверушка?

Тервиллиджер, набычившийся в последнем ряду, такой же ширококостный, как и созданный им ящер, заметил, как пожилой законник передернул плечами:

— Все страшилища одинаковые.

— Ты прав, Гласс. Но это особенное страшилище,— радостно гундосил Клеренс.— Даже я готов признать, что наш Тервиллиджер — настоящий гений!

Затем все сосредоточились на экране, где в чудовищном вальсе кружил по поляне исполинский ящер, кося своим острым как бритва хвостом траву и вытаптывая цветы. В какой-то момент зверь успокоился и, показанный крупным планом, задумчиво уставился в туман, грызя окровавленный кусок ящера помельче.

— Этот монстр мне кого-то напоминает,— заметил мистер Гласс, напряженно шурясь на экран.

— Кого-то напоминает? — весь напрягся Тервиллиджер.

— У зверюги такое выражение...— задумчиво сказал мистер Гласс.— Где-то я подобное видел.

— Быть может, в Музее естественной истории?

— Нет-нет.

— Гласс,— хохотнул Клеренс,— вы наверняка читали книжки с картинками про динозавров. Вот и застряло в памяти.

— Странно...— Не смущенный репликой шефа, Гласс спутшил голову набок и прикрыл один глаз.— Я как детектив — никогда лица не забываю. И с этим тираннозавром я где-то определенно встречался.

— Да плевать! — гаркнул Клеренс.— Зверь получился на славу. Всем монстрам монстр. А все потому, что я постоянно стоял у Тервиллиджера над душой и помогал советами. Идемте, Мори.

Когда за продюсером закрылась дверь, мистер Гласс пристально посмотрел на Тервиллиджера. Не сводя с него глаз, он крикнул в будку механика:

— Уолт! Уолтер! Пожалуйста, крутани пленку еще раз.

— Как скажете.

Во время нового просмотра Тервиллиджер беспокойно ерзал в кресле. Он чувствовал сгушающуюся в зале тревогу. Ужасы в доисторических лесах казались ему детской игрой по сравнению с опасностями, которые поджидают его в стенах этой студии.

— Да-да, совершенно точно,— рассуждал вслух мистер Гласс,— я точно помню его, прямо перед глазами стоит... Но кто?

Гигантский хищник развернулся в сторону камеры и, словно собираясь ответить на вопрос юриста, глянул сквозь миллиард лет на двух людишек, прячущихся в темной комнате. Тираннозавр открыл пасть, будто хотел представиться, но вместо этого сотряс джунгли бессмысленным ревом.

Когда через десять недель черновой вариант фильма был готов, Клеренс собрал в просмотровом зале человек тридцать — управленцы, техперсонал и несколько друзей продюсера.

Примерно на пятнадцатой минуте фильма по залу вдруг прокатилось что-то вроде общего удивленного вздоха.

Клеренс озадаченно завертел головой.

Сидящий рядом с ним мистер Гласс вдруг выпрямился и окаменел.

Тервиллиджер с самого начала просмотра нутром почуял опасность, встал, прокрался к выходу и остался там, почти распластавшись по стене. Он понятия не имел, чего именно

он боится. Просто напряженные нервы подсказывали, что лучше быть поближе от двери.

Вскоре зрители снова хором ахнули.

А кто-то, вопреки кровавым ужасам на экране, вдруг хихикнул. Какая-то секретарша. Затем воцарилась гробовая тишина.

Потому что Джо Клеренс вскочил на ноги.

Маленькая фигурка пробежала к экрану и рассекла его надвое своей тенью. На протяжении нескольких мгновений два существа мельтешили в темноте — тираннозавр на экране грузно метался, разрывая зубами птеранодона, а рядом Клеренс размахивал руками и топал ногами, будто хотел включиться в доисторическую схватку.

— Остановите пленку!

Тираннозавр на экране застыл.

— В чем дело? — спросил мистер Гласс.

— Это вы меня спрашиваете, в чем дело?

Клеренс подскочил вплотную к экрану и маленькой ручкой стал тыкать тираннозавру в челюсть, в глаза, в клыки, в лоб. Потом он развернулся лицом к залу и, ослепленный светом проектора, прикрыл глаза. На его щечках отражалась шкура рептилии.

— Это что такое? Я вас спрашиваю, это что такое? — провибрил он.

— Динозавр, шеф. Очень крупный.

— «Динозавр!» — передразнил Клеренс и злобно шлепнул кулаком по экрану. — Черта с два! Это я!

Одни зрители озадаченно подались вперед, другие с улыбками откинулись на спинки кресел. Двое вскочили. Один из вскочивших был мистер Гласс. Он нащупал в кармане второе, более сильные очки, посмотрел на экран и простонал:

— Боже, так вот где я его видел!

— Что вы хотите сказать? — заверещал Клеренс.

Мистер Гласс затряс головой и закатил глаза:

— Я же говорил, что это лицо мне знакомо!

По комнате прошел ветерок.

Все взгляды устремились в сторону выхода. Дверь была открыта.

Тервиллиджера и след простыл.

Тервиллиджера нашли в его студии — он проворно собирал свои вещи в большой картонный ящик. Тираннозавр торчал у него под мышкой.

Когда толпа с Клеренсом во главе ввалилась в студию, Тервиллиджер затравленно оглянулся.

Продюсер заорал с порога:

— Чем я заслужил такое?

— Я прошу прощения, мистер Клеренс.

— Он просит прощения! Разве я вам плохо платил?

— Да не то чтобы хорошо.

— Я приглашал вас на ленчи...

— Только однажды. И счет за двоих оплатил я.

— Вы ужинали в моем доме, вы плавали в моем бассейне.

И вот ваша благодарность?.. Вы уволены! Вон отсюда!

— Вы не можете уволить меня, мистер Клеренс. Последнюю неделю я работаю за так — вы забыли выдать мне чек...

— Плевать! Вы уволены в любом случае. Вы уволены решительно и окончательно. Ни одна студия в Голливуде вас не примет! Уж я об этом позабочусь! Мистер Гласс! — Клеренс обернулся в поисках юриста. — Мы завтра же возбуждаем судебный процесс против этой змеи, которую я пригрел на своей груди!

— А что вы можете у меня отсудить? — возразил Тервиллиджер. Ни на кого не поднимая глаз, он сновал по студии, собирая в ящик остаток своих вещей. — Что можно у меня отнять? Деньги? Вы мне платили не так много, чтобы я что-то откладывал. Дом? Никогда не мог позволить себе. Жену? Я всю жизнь работал на людей вроде вас и, стало быть, содержать жену не имел возможности. Я все свое ношу с собой. Вы меня ни с какого конца не прищучите. Если отнимете моих динозавров — ладно, я укачу в какой-нибудь городок в глуши, разживусь там банкой латекса, ведром глины и дюжиной стальных трубок и создам новых рептилий. Пленку я куплю дешевую и оптом. Моя старенькая камера всегда при мне. Времени уйдет больше, но я своего добьюсь. Руки у меня, слава Богу, золотые. Так что вам меня не уেষь.

— Вы уволены! — заорал Клеренс. — Не прячьте глаза! Вы уволены! Ко всем чертям уволены!

— Мистер Клеренс, — негромко вмешался мистер Гласс, выступая вперед из группы сотрудников, — позвольте мне переговорить с Тервиллиджером наедине.

— Беседуйте с ним хоть до конца света! — злобно прогнусавил Клеренс. — Какой теперь в этом прок? Вот он, стоит и в ус не дует, а под мышкой у него страшилище, как две капли воды похожее на меня. Прочь с дороги!

Клеренс пулей вылетел из студии. За ним вышла и свита.

Мистер Гласс прикрыл дверь и прошел через комнату к окну. Выглянув в окно, какое-то время смотрел на чистое, без единого облачка, небо.

— Дождь сейчас был бы очень кстати,— сказал он.— Одно-
го я терпеть не могу в Калифорнии: здесь не бывает хорошего
дождя, со свистопляской. А сейчас бы и просто капля с неба
не помешала.

Он замолчал. Тервиллиджер замедлил свои лихорадочные
сборы. Мистер Гласс опустился в кресло у стола, достал блок-
нот и карандаш и заговорил — негромко и с грустью в голосе,
как будто говорил сам с собой:

— Итак, посмотрим, что мы имеем. Использовано шесть
роликов пленки высшего качества, сделана половина фильма
и три тысячи долларов пошли коту под хвост. Рабочая группа
картины без работы — зубы на полку. Акционеры топают но-
гами и требуют компенсации. Банк по головке не погладит.
Очередь людей сыграть в русскую рулетку.— Он поднял глаза
на Тервиллиджера, который защелкивал замки своего порт-
феля.— Зачем вы это сотворили, господин Творец?

Тервиллиджер потупил глаза на свои провинившиеся руки:

— Клянусь вам, я сам не ведал, что творю. Работали толь-
ко пальцы. Это детище подсознания. Я не нарочно — руки
работали сами по себе.

— Лучше бы ваши руки пришли в мой офис и сразу заду-
шили меня,— сказал мистер Гласс.— Хотя бы не мучился! Я бо-
ялся умереть в автокатастрофе. Но никогда не предполагал,
что погибну под пятой резинового монстра. Ребята из съемоч-
ной группы теперь как спелые помидоры на дороге у слона.

— Мне и без того тошно,— сказал Тервиллиджер.— Не вти-
райте соль в рану.

— А чего вы от меня ждете? Чтоб я пригласил вас развеять-
ся в танцевальный зал?

— Он получил по заслугам! — вскричал Тервиллиджер.— Он
меня доставал. «Сделай так. Сделай сяк. Исправь тут. Вывер-
ни наизнанку здесь!..» А мне только и оставалось — молча ис-
ходить желчью. Я был на пределе ярости двадцать четыре часа
в сутки. И бессознательно стал вносить вполне определенные
изменения в рожу динозавра. Но еще за секунду до того, как
мистер Клеренс начал бесноваться, мне и в голову не прихо-
дило, что именно я создал. Разумеется, я виноват и целиком
несу груз ответственности.

— Не целиком,— возразил мистер Гласс.— У нас ведь тоже
глаза не на затылке. Мы обязаны были заметить. А может,
заметили, но признаться себе не посмели. Возможно, по ночам
во сне мы довольно хохотали, а утром ничего не помнили.
Ладно, подведем итоги. Мистер Клеренс вложил немалые день-
ги и не хотел бы их потерять. Вы вложили талант и не хотели

бы пустить по ветру свое будущее. В данный момент мистер Клеренс расцеловал бы любого, кто докажет ему, что случившееся просто страшный сон. Его ярость на девяносто процентов вызвана тем, что фильм из-за досадной глупости не выйдет на экраны и тогда плакали его денежки. Если вы уделите несколько минут своего драгоценного времени на то, чтобы убедить мистера Клеренса в том, что я вам сейчас изложу, съемочной группе завтра не нужно будет листать «Варьете» и «Голливудский репортер» в поисках работы. Не будет вдов и сирот, и все уладится наилучшим образом. Вам нужно сказать ему...

— Сказать мне что?

Это произнес знакомый тоненький голос. Клеренс стоял в дверях — все еще багровый от бешенства.

— То же, что он минуту назад говорил мне, — хладнокровно отозвался мистер Гласс. — Весьма трогательная история.

— Я весь внимание! — пролаял Клеренс.

— Мистер Клеренс, — начал бывалый юрист, взвешивая каждое слово, — своим фильмом мистер Тервиллиджер хотел выразить свое восхищение вами. Воздать вам должное.

— Что-что? — возопил Клеренс.

Похоже, от удивления челюсти отвисли разом у обоих — и у Клеренса, и у Тервиллиджера.

Старый законник, все так же глядя на стену перед собой, скромно осведомился:

— Следует ли мне продолжать, Тервиллиджер?

Мультипликатор проглотил удивление и сказал:

— Да, если вам угодно.

— Так вот, — мистер Гласс встал и величаво указал в сторону просмотрового зала, — увиденный вами фильм сделан с чувством глубочайшего уважения и дружеского расположения к вам, мистер Клеренс. Вы денно и нощно трудитесь на ниве кинематографа, оставаясь невидимым героем киноиндустрии. Неведомый широкой публике, вы трудитесь как пчелка, а кому достаются лавры? Режиссерам. Звездам. Как часто какой-нибудь простой человек из глубинки говорит своей женошке: «Милая, я тут вечером думал о Джо Клеренсе — великий продюсер, не правда ли?» Как часто? Да никогда, если смотреть правде в глаза. Тервиллиджер этот факт осознал. И его мозг включился в работу. «Как познакомить мир с таким явлением, как подлинный Джо Клеренс?» — вот какой вопрос задавал себе снова и снова наш друг. И вот его взгляд упал на динозавра, стоявшего на рабочем столе. Хлоп! И на Тервиллиджера снизошло! «Вот оно, — подумал он, — вот передо мной олицетворенный ужас мира, вот существо одинокое, гордое, могучее,

с хитрым умом хищника, символ независимости и знамя демократии — благодаря доведенному до предела индивидуализму». Словом, гром и молния, одетые в панцирь. Тираннозавр — тот же Джо Клеренс. Джо Клеренс — тот же тираннозавр. Деспот доисторических лесов — и великий голливудский магнат. Какая восхитительная параллель!

Мистер Гласс опустил на стул. Он даже не запыхался после столь вдохновенной и долгой речи.

Тервиллиджер помалкивал.

Клеренс молча прогулялся по комнате, медленно обошел по кругу мистера Гласса. Прежде багровое лицо продюсера было теперь скорее бледным. Наконец Клеренс остановился напротив Тервиллиджера.

Его глазки беспокойно бегали по долговязой фигуре режиссера.

— Так вы это рассказали Глассу? — спросил он слабым голоском.

Кадык на шее Тервиллиджера прогулялся вверх-вниз.

— У него хватило духу только со мной поделиться, — объяснил мистер Гласс. — Застенчивый парень. Все его беды от застенчивости. Вы же сами видели — он такой неразговорчивый, такой безответный. Ни разу не огрызнется, все держит в себе. А в глубине души любит людей, только сказать стесняется. У замкнутого художника один способ выразить свою любовь — увековечить в образе. Тут он владыка!

— Увековечить? — недоверчиво переспросил Клеренс.

— Вот именно! — воскликнул старик юрист. — Этот тираннозавр все равно что статуя на площади. Только ваш памятник передвижной — бегаёт по экрану. Пройдут годы, а люди все еще будут говорить друг другу: «Помните фильм “Монстр эпохи плейстоцена”? Там был потрясающий монстр, настоящий зверь, к тому же недюжинный характер, любопытная индивидуальность, горячая и независимая натура. За всю историю Голливуда никто не создал лучшего чудовища. А все почему? Потому что при создании чудища один гениальный режиссер имел достаточно ума и воображения опереться на черты характера реального человека — крутого и сметливого бизнесмена, великого магната киноиндустрии». Вот как будут говорить люди. Мистер Клеренс, вы входите в историю. В фильмотеках будут спрашивать фильм про вас. Клуб любителей кино — приглашать на встречи со зрителями. Какая бешеная удача! Увы, с Иммануилом Глассом, заурядным юристом, подобной феерии произойти не может. Короче говоря, на протяжении следующих двухсот или даже пятисот лет ежедневно где-

нибудь да будет идти фильм, в котором главная звезда — вы, Джо Клеренс.

— Еже... ежедневно? — мечтательно произнес Клеренс.—

На протяжении следующих...

— Восьмисот лет. А почему бы и нет!

— Никогда не смотрел на это с такой точки зрения.

— Ну так посмотрите!

Клеренс подошел к окну, какое-то время молча таращился на голливудские холмы, затем энергично кивнул.

— Ах, Тервиллиджер, Тервиллиджер! — сказал он. — Неужели вы и впрямь до такой степени любите меня?

— Трудно словами выразить, — выдавил из себя Тервиллиджер.

— Я полагаю, мы просто обязаны доснять этот потрясающий фильм, — сказал мистер Гласс. — Ведь звездой этой картины является тиран джунглей, сотрясающий своим движением землю и обращающий в бегство все живое. И этот безраздельный владыка, этот страх Господень — не кто иной, как мистер Джозеф Клеренс.

— М-да, м-да... Верно! — Клеренс в волнении забежал по комнате. Потом рассеянно, походкой счастливого лунатика направился к двери, остановился на пороге и обернулся. — А ведь я, признаться, всю жизнь мечтал стать актером!

С этими словами он вышел — тихий, умиротворенный.

Тервиллиджер и Гласс разом согнулись от беззвучного хохота.

— Страшилозавр! — сказал старик юрист.

А режиссер тем временем доставал из ящика письменного стола бутылку виски.

После премьерного показа «Монстра каменного века», ближе к полуночи, мистер Гласс вернулся на студию, где предстоял большой праздник. Тервиллиджер угрюмо сидел в одиночестве возле отслужившего макета джунглей. На коленях у него лежал тираннозавр.

— Как, вы не были на премьере? — ахнул мистер Гласс.

— Духу не хватило. Провал?

— С какой стати! Публика в восторге. Критики визжат. Прекрасней монстра еще никто не видал! Уже пошли разговоры о второй серии: «Джо Клеренс опять блистает в роли тираннозавра в фильме «Возвращение монстра каменного века»», — звучит! А потом можно снять третью серию — «Зверь со старого континента». И опять в роли тирана джунглей несравненный Джо Клеренс!..

Зазвонил телефон. Тервиллиджер снял трубку.

— Тервиллиджер, это Клеренс. Я буду на студии через пять минут. Мы победили! Ваш зверь великолепен! Надеюсь, уж теперь-то он мой? Я хочу сказать, к черту контракт и меркантильные расчеты. Я просто хочу иметь эту душку-игрушку на каминной полке в моем особняке!

— Мистер Клеренс, динозавр ваш.

— Боже! Это будет получше «Оскара». До встречи!

Ошарашенный Тервиллиджер повесил трубку и доложил:

— Большой босс лопается от счастья. Хихикает как мальчишка, которому подарили первый в его жизни велосипед.

— И я, кажется, знаю причину,— кивнул мистер Гласс.— После премьеры к нему подбежала девочка и попросила автограф.

— Автограф?

— Да-да! Прямо на улице. И такая настойчивая! Сперва он отнекивался, а потом дал первый в своей жизни автограф. Слышали бы вы его довольный смешок, когда он подписывался! Кто-то узнал его на улице! «Глядите, идет тираннозавр собственной персоной!» И господин ящер с довольной ухмылкой берет в лапу ручку и выводит свою фамилию.

— Погодите,— промолвил Тервиллиджер, наливая два стакана виски,— откуда взялась такая догадливая девчушка?

— Моя племянница,— сказал мистер Гласс.— Но об этом ему лучше не знать. Ведь вы же не проболтаетесь?

Они выпили.

— Я буду нем как рыба,— заверил Тервиллиджер.

Затем, подхватив резинового тираннозавра и бутылку виски, оба направились к воротам студии — поглядеть, как во всей красе, сверкая фарами и гудя клаксонами, на вечеринку начнут съезжаться лимузины.

Ветер Геттисберга

Вечером, в половине девятого, с той стороны коридора, где был зрительный зал, донесся резкий короткий звук.

«Выхлоп автомобиля на соседней улице,— подумал он.— Нет. Выстрел».

Через мгновение — всплеск встревоженных голосов и внезапная тишина. Словно волна, с разбега ударившись о песчаный берег, затихла в недоумении. Хлопнули двери. Чьи-то бегущие шаги.

В кабинет вбежал билетер и обвел комнату невидящим взглядом; лицо его было бледно, губы силились что-то сказать:

— Линкольн... Линкольн...

Бэйс поднял голову от бумаг:

— Что случилось с Линкольном?

— Его... Его убили.

— Прекрасная шутка. А теперь...

— Убили. Разве вы не понимаете? Застрелили. Во второй раз!..

И билетер, пошатываясь, держась рукой за стену, вышел.

Бэйс почувствовал, как встает со стула.

— О Господи...

Через секунду он уже бежал по коридору, обогнал билетера, и тот, словно очнувшись, побежал рядом.

— Нет-нет,— повторял Бэйс.— Этого не произошло. Не могло, не должно...

— Убит,— снова сказал билетер.

Едва они завернули за угол, как с треском распахнулись двери зрительного зала и уже не зрители, а возбужденная толпа заполнила коридор. Она волновалась, шумела, слышались крики, визг, отдельные испуганные голоса:

— Где он? Кто стрелял? Этот? Он? Держите его! Осторожно! Остановитесь!

Из гуши людей безуспешно пытались выбраться двое охранников, но их толкали, теснили, отбрасывали то в одну, то в другую сторону. В руках у них бился человек, он тщетно пытался увернуться от жадных рук толпы, мелькавших в воздухе кулаков. Но руки хватали его, тянули к себе, били, щипали, удары наносились чем попало — тяжелыми свертками и легкими дамскими зонтиками, тут же разлетающимися в щепки, как бумажный змей, подхваченный ураганом. Женщины, потерявшие спутников, жалобно причитали и испуганно озирались по сторонам, орущие мужчины грубо расталкивали толпу, стремясь протиснуться ближе к охранникам и человеку, который ладонями рук с широко растопыренными пальцами закрывал свое разбитое и исцарапанное лицо.

— О Господи!

Бэйс застыл на месте, глядя на происходящее, начиная уже верить. Но замешательство было лишь мгновенным. Он бросился к толпе.

— Сюда, сюда! Потеснитесь назад! Вот в эти двери. Сюда, сюда!

И каким-то образом толпа подчинилась; наружные двери распахнулись и, пропустив плотную массу тел, тут же захлопнулись.

Внезапно очутившись на улице, толпа яростно заколотила в двери, разразилась руганью, проклятиями, какие еще не доводилось слышать ни одному смертному. Казалось, стены театра содрогаются от приглушенных выкриков, причитаний, угроз и зловещих предсказаний беды.

Бэйс еще какое-то время смотрел, как бешено вертятся ручки дверей, трясутся готовые сорваться замки и засовы, и наконец перевел взгляд на охранников, поддерживавших обмякшее тело человека.

И тут новая, страшная догадка заставила Бэйса броситься в зал. Левая нога ударилась о что-то бесшумно скользнувшее по ковру под кресла, вертясь, словно крыса, догоняющая собственный хвост. Он нагнулся и пошарил под креслами рукой и тотчас нашел то, что искал,— еще не остывший пистолет. Бэйс глядел на него, все еще не веря, а затем опустил в карман. Ему понадобилось целых полминуты, чтобы наконец заставить себя сделать то, что теперь уже представлялось неизбежным. Он посмотрел на сцену.

Авраам Линкольн сидел в своем кресле с высокой резной спинкой в самом центре сцены. Голова его была неестественно наклонена вперед, широко открытые глаза неподвижно глядели перед собой. Большие руки покоились на подлокотниках, и казалось, что вот он сейчас шевельнется, обопрется руками о подлокотники, поднимется во весь свой рост и скажет, что, в сущности, ничего страшного не произошло.

С усилием передвигая ноги; словно переходя реку вброд, Бэйс поднялся на сцену.

— Свет! Дайте свет, черт побери!

За сценой невидимый механик-осветитель вдруг вспомнил о своих обязанностях, и мутный свет, словно слабые лучи расцвета, упал на сцену.

Бэйс обошел сидящую в кресле фигуру. Вот она, аккуратная дырочка на затылке у левого уха.

— *Sic semper tyrannis*¹,— вдруг послышался голос.

Бэйс резко обернулся.

Убийца сидел в последнем ряду, опустив голову. Зная, что Бэйсу сейчас не до него, он произнес эти слова тихо, почти про себя, уставясь в пол:

— *Sic...*

Но, услышав, как угрожающе зашевелился за его спиной охранник, он тут же умолк. Рука охранника поднялась и застыла в воздухе, готовая опуститься на голову убийцы. Казалось, она действовала совершенно самостоятельно...

¹ Такова участь тиранов (*лат.*).

— Не надо! — крикнул Бэйс.

Охранник с трудом подавил разочарование и гнев. Рука неохотно подчинилась хозяину.

«Нет, я не верю,— думал Бэйс,— не верю. Здесь нет ни охранников, ни этого человека, и нет...» Глаза его снова отыскали еле заметное отверстие от пули в голове убитого президента. Из него на пол медленно капало машинное масло. Еще одна темная струйка проложила след по подбородку и бороде президента, и капли масла медленно стекали на галстук и сорочку.

Бэйс опустил на колени и приложил ухо к груди манекена.

Еле слышное гудение говорило о том, что схемы уникального механизма не повреждены окончательно, но привычный его ход, увы, был нарушен.

Бэйс вскочил. Звук работающего механизма напомнил ему...

— Фиппс?!

Охранники удивленно подняли головы.

Бэйс с досадой даже прищелкнул пальцами.

— Он собирался приехать сюда после спектакля, не так ли? Он не должен этого видеть! Надо направить его куда-нибудь. Сообщите ему, что он срочно нужен на заводе в Глендейле. Там обнаружили неполадки. Пусть немедленно выезжает туда. Действуйте!

Один из охранников поспешил к выходу.

Провожая его взглядом, Бэйс думал: «Господи, хоть бы Фиппс задержался, хоть бы не приехал!...»

Странно, что в такую минуту перед его мысленным взором предстала не своя, а чужая жизнь...

Помнишь... тот день, пять лет назад, когда Фиппс разложил на столе первые схемы, чертежи, рисунки и сообщил им о своем Великом Плане? Как все сначала глядели на чертежи, а потом на чудака Фиппса:

— Линкольн?

Да, именно! Фиппс смеялся так, как может смеяться от счастья будущий отец, поверивший в чудесное знамение: у него родится необыкновенный сын.

Линкольн. Именно такова его задумка. Новое рождение Линкольна.

А сам Фиппс? О, именно ему предстоит произвести на свет, вскормить и вырастить этого чудо-младенца — робота.

Разве не счастье... снова очутиться на лугу под Геттисбергом, слушать, постигать, видеть, оттачивать, как острие бритвы, грани своей души и жить!

Бэйс еще раз обошел неловко склоненную фигуру в кресле, вспоминая дни, считая годы...

Вечер. Фиппс с бокалом в руке, а в гранях бокала, словно в линзе, отблеск прошлого и свет будущего.

— Я всегда мечтал создать фильм о Геттисберге... Огромное скопление народа, и где-то у самого края разморенной жарю, охваченной нетерпением толпы стоит фермер, а рядом мальчик, его сын. Они жадно ловят слова, которые доносит до них ветер. Их произносит оратор на далеком помосте. Они то слышат, то не слышат, что говорит высокий худой человек в цилиндре. Вот он снимает цилиндр, заглядывает в него, словно в собственную душу, будто читает в ней то, что записал, и начинает говорить.

Фермер, чтобы сынишку не задавила толпа, сажает его на плечи, и девятилетний мальчуган становится ушами отца, ибо фермер почти не слышит, а лишь догадывается, что говорит президент, обращаясь к морю людей, собравшихся в Геттисберге. Высокий голос то слышен отчетливо, то не слышен совсем, когда его относит ветер или же легкий озорной ветерок, словно вздумавший соперничать с ним. Слишком многие ораторы выступали до президента; толпа порядком устала, лица мокры от пота, праздничная одежда измята. Скотоводы и фермеры тяжело переминаются с ноги на ногу, неловко задевают друг друга локтями, а отец торопит сына: «Ну же, ну говори, что он сказал...» Подставив ветру розовое в нежном пушке ухо, мальчик послушно повторяет каждое долетевшее слово:

«Восемьдесят семь лет тому назад...»

— Да!

«...наши отцы создали...»

— Да-да!

«...на этом континенте...»

— Где? Где?

— На этом континенте! «...новое государство, рожденное свободой, верящее в то, что все люди...»

Вот как это было. Ветер относил в сторону еле слышные слова, человек продолжал говорить, плечи фермера не чувствовали тяжести — своя ноша не тянет, — а мальчуган горячим шепотом повторял каждое услышанное слово. Фермер сам то слышал обрывки фраз, то не слышал ничего, но как-то само собой все понял до конца.

«...Пусть правительство народа, из народа, для народа живет вечно...»

Мальчик умолк.

Все.

Толпа покидает луг, растекаясь во все стороны. Геттисберг становится историей.

Фермер не торопится снять с плеч толмача-мальчишку, пересказавшего ему то, что донес ветер, но мальчик, потеряв уже интерес, сам спрыгивает на землю...

Бэйс не сводил глаз с Фиппса.

А тот, допив коктейль и внезапно погрузившись от переполнивших его чувств, вдруг в сердцах воскликнул:

— Мне никогда не снять этот фильм. Но вот *это* я все-таки сделаю!

Тогда-то он и разложил на столе чертежи фирмы Фиппса «Эвереди Сэлем, Иллинойс и Спрингфилд Линкольн Мэкеникл» по изготовлению машины привидений, электронно-каучуковых, самых совершенных и самых дерзких и смелых снов.

Фиппс и его творение — совсем готовый, совсем настоящий, во весь свой немалый рост младенец Линкольн. Да, Линкольн, вызванный к жизни из дебрей технологии, усыновленный романтиком, созданный потому, что так велело сердце. Получив жизнь от разряда молнии, а голос от безымянного актера, он вошел в этот мир, чтобы отныне пребывать вечно в этом глухом уголке юго-запада старой-новой Америки. Фиппс и Линкольн!

Да, в этот день слова Фиппса были встречены взрывом смеха, но он, словно и не заметив этого, лишь сказал:

— На лугу у Геттисберга мы обязательно, да-да, обязательно, встанем там, где стоял фермер с сынишкой. Это наветренная сторона, здесь все будет слышно.

Он поделился со всеми своим сокровищем. Одному поручил арматуру, другому воссоздать благородную форму черепа, третьему поймать и записать голос и слова, а остальным, и их было немало, найти неповторимый цвет кожи, волос и отпечатки пальцев. Увы, прикосновение Линкольна приходилось заимствовать!

Отныне подшучивания и насмешки вошли в привычку, стали чем-то, без чего и не обойтись.

Он никогда не заговорит, в этом нет сомнений, и никогда не сделает ни шагу. Все придется сдать на свалку — выброшенные деньги.

Но по мере того как месяцы превращались в годы, вспышки иронического смеха сменялись понимающими улыбками, откровенным изумлением. Они все напоминали мальчишек, из озорства вступивших в тайное и пугающе веселое братство могильщиков, чтобы встречаться в полночь в кладбищенских склепах, а на рассвете исчезать, как тени, среди могил.

Бригада Линкольна росла как на дрожжах. Вместо одного одержимого уже десяток их рылись в истлевших подшивках ста-

рых газет, выпрашивали, а то и не спросясь попросту уносили посмертные маски, хоронили пластиковые кости, чтобы потом выкапывать их вновь.

Многие побывали на полях гражданской войны в надежде, что в одно прекрасное утро ветер истории взметнет, как флаги, полы их сюртуков. Иные октябрьскими днями бродили по окрестностям Сэлема, обгорая до черноты под прощальными лучами солнца, жадно внюхиваясь, наострив уши, пытаясь поймать еще один голос какого-нибудь долговязого адвоката, лова эхо прошлого, доказывая, убеждая.

Разумеется, Фиппс волновался больше всех и больше всех был преисполнен тревожной отцовской гордости. Но вот робот на сборочном столе. Теперь предстояло собрать его, дать ему голос, подняв гуттаперчевые веки, вложить в глубокие глазницы печальные глаза, видевшие так много, приладить большие уши, которым суждено слышать лишь прошлое, и крупные руки с узловатыми суставами, словно маятники, отсекающие время, канувшее в вечность. А затем портные, нет, его Ученики, обрядили его в одежды и наглухо застегнули на все пуговицы, повязали галстук, и в одно великолепное пасхальное утро на иерусалимских холмах приготовились сдвинуть могильный камень и повелеть ему встать.

В последний час последнего дня Фиппс, выпроводив всех, остался наедине с расprostертым телом и безмолвствующим духом, чтобы завершить последние приготовления. Наконец он открыл двери и пригласил их — не буквально, а скорее символически — поднять его на плечи в последний раз.

В наступившей тишине Фиппс, обращаясь к полям былых сражений и еще дальше, за горизонт, крикнул, что его место не в могиле: восстань!

И Линкольн шевельнулся в прохладной темноте спрингфилдского мраморного склепа, пробуждаясь ото сна, и поверил, что он жив.

Он встал.

Он заговорил.

Зазвонил телефон.

Бэйс вздрогнул.

Воспоминания исчезли.

В дальнем углу сцены зазвонил телефон.

«О Господи», — подумал Бэйс и бросился к телефону.

— Бэйс, это Фиппс. Мне только что звонил Бак, сказал, чтобы я немедленно приехал! Сказал что-то про Линкольна...

— Нет, не надо приезжать, — ответил Бэйс. — Ты же знаешь Бака, он звонил, должно быть, из соседней пивной. Я в

театре, здесь все в порядке. Один из генераторов забарахлил, но мы его уже починили...

— Значит, с *ним* все в порядке?

— Да, все просто великолепно.— Бэйс не мог оторвать взгляда от склоненной фигуры. «О Господи, какая нелепость!..»

— Я... я сейчас приеду.

— Не надо!

— Черт побери, почему ты кричишь?

Бэйс прикусил язык, сделала глубокий вдох и, закрыв глаза, чтобы не видеть фигуру в кресле, медленно произнес:

— Я не кричу, Фиппс. В зале только что зажегся свет, нельзя задерживать публику. Я должен идти. Клянусь тебе...

— Ты лжешь!

— Фиппс!

Но Фиппс уже повесил трубку.

«Десять минут,— лихорадочно думал Бэйс.— Господи, через десять минут он будет здесь». Через десять минут человек, поднявший Линкольна из гроба, встретится с человеком, который вновь уложил его туда...

Он сделал несколько шагов, и вдруг ему неудержимо захотелось броситься за кулисы, включить магнитофоны, проверить, как откликнется поникшая фигура, которая из рук поднимется, а которая останется неподвижной. Нет, это безумие. Это можно сделать завтра.

Сегодня же у него едва есть время разгадать загадку. А она в человеке, который сидел в третьем кресле последнего ряда.

Убийца... Разве он не убийца? Кто он? Как выглядит?

Он лишь мельком видел его лицо несколько минут назад, не так ли? Разве оно не напомнило ему старый, знакомый, но куда-то запропастившийся дагерротип? Пышные усы, темные надменные глаза...

Бэйс медленно спустился в зал, медленно прошел по проходу между рядами кресел и остановился, вглядываясь в человека, который сидел, обхватив руками склоненную голову.

Бэйс сделал глубокий вдох и на выдохе произнес:

— Мистер... Бут?

Странный незнакомец застыл, по телу его пробежала дрожь, и шепотом, полным ужаса, он ответил:

— Да...

Бэйс ждал. Наконец он снова решился.

— Мистер... Джон Уилкс Бут?¹

¹ Актер, убивший в 1865 году президента Авраама Линкольна.

В ответ раздался тихий смешок и наконец сухие и отрывистые, как карканье, слова:

— Норман Ллэвлин Бут. Всего лишь фамилия... совпадает...

«Слава Богу,— подумал Бэйс.— Я бы не вынес, если бы совпало все».

Он резко повернулся и, быстро пройдясь по проходу, остановился и посмотрел на часы. Время на исходе. Фиппс едет сюда, он в любую минуту может постучать в запертую дверь зрительного зала.

— Почему? — жестко спросил Бэйс, обращаясь к стене, которая была перед глазами.

Вопрос прозвучал как эхо трех сотен испуганных голосов зрителей, тех, кто десять минут назад заполнял этот зал и в ужасе повскакивал со своих мест, когда раздался выстрел.

— Почему?

— Не знаю! — закричал Бут.

— Лжете! — почти одновременно с ним выкрикнул Бэйс.

— Такой шанс глупо было бы упустить.

— Что?.. — Бэйс круто повернулся и впился взглядом в Бута.

— Ничего.

— Нет смелости повторить еще раз, не так ли?

— Потому, — начал Бут, опустив голову, то различимый, то еле видимый в полутьме, раздираемый чувствами, в которых и сам не мог разобраться, которые подхватывали и несли его куда-то, чтобы так же внезапно покинуть, смениться судорожными спазмами смеха или внезапным оцепенением. — Потому что... это правда. — И в благоговейном страхе, поглаживая щеки, он прошептал: — Я сделал это. Я все-таки сделал это.

— Ублюдок!

Бэйс бегал по проходу между рядами кресел, боясь, что если он остановится, то бросится и ударит, и будет бить, бить этого идиотского умника, этого хвастливого убийцу...

Бут понимал это.

— Чего вы ждете? Кончайте.

— Нет, меня не будут... — Бэйс с трудом остановился, заставил себя не кричать, а говорить совершенно спокойно, — не будут судить за убийство человека, который убил того, кто по сути не был живым существом, а всего лишь машиной. Достаточно того, что стреляли в робота, казавшегося живым существом. Я не допущу, чтобы какой-нибудь судья или суд присяжных создали прецедент и был осужден человек, убивший того, кто стрелял в гуманоида, в компьютер! Глупость не должна повториться.

— Жаль,— с тоской в голосе произнес человек по имени Бут, и глаза его погасли.

— Говорите,— сказал Бэйс, глядя на стену и видя ночное шоссе, мчащегося в машине Филпса и неумолимый бег минут.— В вашем распоряжении пять минут, может, чуть больше, может, чуть меньше. Говорите: зачем вы сделали это? Да начинайте же! Начните с того, что вы трус!

Он ждал. За спиной Бута поскрипывал ботинками охранник, неловко переступавший с ноги на ногу.

— Да, я трус,— согласился Бут.— Как вы догадались?

— Я это знал.

— Трус,— продолжал Бут.— Я трус. Всегда боялся. Вы правильно сказали. Боялся вещей, людей, мест, где можно побывать. Боялся людей, которых хотел ударить, но не смел. Вещей, которые хотел иметь, но не имел. Мест, где хотел побывать, но так и не побывал. Мечтал стать великим, знаменитым. Почему бы нет? Но не получилось. Тогда подумал: не находишь причин для радости, найди причину для горя. Столько возможностей для этого. Вот вы спрашиваете почему. Кто знает? Мне надо было сотворить что-нибудь отвратительное, а затем терзаться всю жизнь, спрашивать себя, зачем я это сделал. По крайней мере знаешь, что хоть что-то сделал. Вот и задумал сотворить что-нибудь мерзкое.

— Вам это, бесспорно, удалось.

Бут смотрел на свои руки, опущенные между колен, будто видел, как они держат древнее, совсем простое оружие.

— Случалось вам когда-нибудь убить черепаху?

— Что?!

— Когда я был десятилетним мальчишкой, я впервые узнал о смерти. И тогда же я узнал, что черепаха, это глупое, похожее на камень животное, еще долго будет жить после того, как меня давно уже не будет на свете. Тогда я решил: раз мне не миновать смерти, пусть первой умрет черепаха. Я взял камень и бил по панцирю до тех пор, пока не проломил его и черепаха не подохла...

Бэйс чуть замедлил свои бесконечные шаги по проходу и сказал:

— По этой же причине я однажды не убил бабочку.

— Нет,— быстро ответил Бут,— не по этой. Мне тоже однажды на руку села бабочка. Она расправляла и складывала свои крылышки, отдыхая на моей руке. Я знал, что в любую минуту могу прихлопнуть ее, но не сделал этого, потому что знал, что через несколько минут, самое большее через час ее склюнет какая-нибудь птаха. Поэтому я позволил ей улететь. А вот черепахи — это совсем другое. Они лежат во дворе, ле-

жат десятки лет, целую вечность. Поэтому я вышел во двор и взял камень, а потом много месяцев мучился от того, что сделал. Может, мучаюсь по сей день. Вот, смотрите...

Бут протянул руки. Они дрожали.

— Какое это имеет отношение к тому, что сегодня вы оказались здесь? — спросил Бэйс.

— Какое? Вы что, серьезно? — Бут смотрел на Бэйса как на сумасшедшего. — Разве вы не слышали, что я говорил? О Господи, я завидую! Завидую всему, что хорошо сделано, что работает, всему, что прекрасно само по себе, всему, что вечно... Мне все равно, что это! Я завидую!

— Нельзя завидовать машине.

— Почему нельзя, черт побери! — Бут ухватился за спинку переднего кресла, медленно наклонился вперед и впился глазами в печально склоненную фигуру в кресле с высокой спинкой в самом центре сцены. — Разве машины не совершенней людей в девяноста девяти случаях из ста? Вспомните ваших знакомых. Я это серьезно. Разве машины не выполняют все так, что не придерешься? А люди? Можете вы мне назвать таких, чтобы делали все как надо, хоть на треть, хоть наполовину? Вот эта проклятая штуковина там, на сцене, эта машина, разве она не только выглядит отлично, но и делает все отлично — говорит, действует? Более того, если ее смазывать, заводить, беречь от поломок, она будет еще лучше, будет говорить и действовать без изъяна сто и двести лет, когда я давно сгнию в земле. Завидую? Да! Разве я не прав, черт побери?

— Но машина не знает, какая она.

— Зато я знаю! Я чувствую! — кричал Бут. — Я посторонний, заглядывающий в окна. В таких делах я всегда посторонний. Я не участник, мне это не дано. А машине дано. Она все может, а я нет. Она создана, чтобы выполнять одно или два действия, но как она выполняет их! Комар носа не подточит. Сколько бы я ни учился, сколько бы ни знал и ни старался, хоть всю жизнь, мне не быть совершенством, таким чудом, как это, которое так и просится, чтобы его сломали, как вот этот человек, эта вещь, это существо на сцене, этот ваш президент!..

Он уже стоял и кричал, обращаясь к сцене, до которой было шагов шестьдесят.

Линкольн молчал. Под креслом тускло поблескивала лужица машинного масла.

— Этот президент... — внезапно переходя на шепот, почти про себя пробормотал Бут, словно постиг наконец истину, которую искал. — Президент, да, Линкольн. Разве вам не понятно? Он давно умер. Он не может жить. Это несправедли-

во. Прошло сто лет, и он снова здесь. Его убили, похоронили, а он продолжает жить. Живет сегодня, будет жить завтра, и так день за днем, до бесконечности. Его зовут Линкольн, а меня Бут... Я должен был прийти сюда...

Голос его прервался. Глаза остекленели.

— Садитесь, — тихо сказал Бэйс.

Бут сел, а Бэйс, кивнув охраннику, сказал:

— Пожалуйста, подождите в коридоре.

Тот вышел. Теперь, когда Бэйс остался один с Бутом и с молчаливой фигурой на сцене, которая словно чего-то ждала, сидя в своем кресле, он медленно повернулся и внимательно посмотрел на убийцу. Тщательно взвешивая каждое слово, он сказал:

— Все это так, да не совсем.

— Что?

— Вы назвали не все причины, побудившие вас прийти сегодня сюда.

— Нет, все!

— Вы так думаете. Но вы обманываете самого себя. Все вы, романтики, таковы. В той или иной степени. Фиппс, который создал этого робота. Вы, который уничтожил его. Но все, в сущности, сводится к одному... К одной очень простой и понятной причине. Вам хочется увидеть свой портрет в газете, не так ли?

Бут не ответил, но его плечи еле заметно шевельнулись, словно распрямляясь.

— Хочется видеть себя на обложках всех журналов континента?

— Нет.

— Получить неограниченное время для выступлений по телевизору?

— Нет.

— Интервью по радио?

— Нет.

— Нравится, что адвокаты и судьи будут ломать копыя, споря, подсуден ли человек, стрелявший в чучело...

— Нет!

— ...то есть в гуманоида, в машину?..

— Нет!!!

Бут тяжело дышал, глаза его бегали как у безумного.

Бэйс продолжал:

— Нравится, что завтра двести миллионов человек заговорят о вас и будут говорить неделю, может, месяц, а то и целый год!

Молчание.

Но улыбка, словно капля слюны, оттянула уголок губ, и Бут, почувствовав это, поднес руку к губам.

— Нравится, что можно продать международным синдикатам собственную версию того, как все это было, и сорвать солидный куш.

По лицу Бута струился пот, ладони взмокли.

— Хотите, я сам отвечу на все эти вопросы? А? Итак,— начал Бэйс,— ответ здесь только один...

Стук в дверь прервал его. Бэйс вскочил. Бут тоже повернулся в сторону двери.

— Бэйс, это я, Фиппс, откройте! — послышался голос за дверью. И снова стук, уже настойчивый и громкий.

Бэйс и Бут, словно заговорщики, молча посмотрели друг на друга.

— Да впустите же меня, черт побери!

В дверь снова забарабанили, потом наступила короткая пауза, и стук возобновился с новой силой — в дверь то глухо били кулаками, то барабанили пальцами. Временами стук прекращался, а затем слышалось тяжелое дыхание, словно человек успел обежать коридор в поисках других дверей.

— На чем я остановился? — спросил Бэйс.— Да, на ответах на мои вопросы. Вы, следовательно, рассчитываете на широкую рекламу — телевидение, радио, пресса и все такое прочее?..

Молчание.

— Этого не будет.

Губы Бута дрогнули, но он ничего не сказал.

— Н-Е-Т! — раздельно произнося каждую букву, выкрикнул Бэйс.— Не будет!

И, протянув руку, он выдернул у Бута из кармана бумажник. Вынув все документы, он вернул пустой бумажник.

— Нет? — повторил за ним потрясенный Бут.

— Нет, мистер Бут. Никаких портретов в газетах, никаких интервью по телевидению. Не будет статей и колонок в газетах и журналах, не будет рекламы, не будет славы — и удовлетворенного тщеславия. Не удастся жалеть себя, терзаться раскаянием, увековечить свое имя. Никто не будет слушать вздор о победе над машиной, якобы обесчеловечившей человека. Не будет ореола мученика и бегства от собственной посредственности, сладких терзаний совести и сентиментальных слез. Не удастся не думать о будущем. Не будет судебного процесса, адвокатов, комментаторов, анализирующих все через месяц, через год, через тридцать, шестьдесят, девяносто лет, не будет и денег, нет!..

Бут поднялся в кресле, словно его подтянули вверх канатом, стал выше, худее, еще больше побледнел.

— Я не понимаю... я...

— Ведь только ради этого вы все и затеяли, не так ли? Да, ради этого. А я испорчу вам всю игру. Ибо как только все будет сказано и сделано, мистер Бут, названы все причины и подведены итоги, вы превратитесь в ничто, в пустое место. Таким вы и останетесь навсегда, испорченным и самовлюбленным, мелким, злобным и порочным. Роста вы незавидного, но я намерен сделать вас еще ниже, по крайней мере еще на один дюйм, пригнуть вас к самой земле, втоптать в нее. Вместо того чтобы возвысить и раздуть до непомерных размеров, как вам того хотелось бы.

— Вы не посмеете! — крикнул Бут.

— О мистер Бут, — воскликнул Бэйс, испытывая почти радостное чувство, — еще как посмею! В данном случае я могу поступить с вами, как мне заблагорассудится. Так вот, я не собираюсь возбуждать против вас судебное дело. Более того, мистер Бут, ничего, в сущности, и не произошло.

Стук в дверь возобновился. Теперь стучали в дверь за сценой.

— Бэйс, ради Бога, откройте! Это я, Фиппс! Бэйс, вы слышите?

Бут смотрел не отрываясь, как содрогается от ударов дверь. А Бэйс с великолепным спокойствием и естественностью крикнул:

— Одну минуту!

Он понимал, что спокойствие вот-вот изменит ему и в нем что-то сломается, но, пока он чувствует себя так уверенно, он обязан довести дело до конца. Вежливо, корректно обращаясь к убийце, он продолжал говорить и видел, как тот поник. Он продолжал говорить и видел, как тот съежился и стал меньше ростом.

— Этого никогда не будет, мистер Бут. Можете рассказывать все, что вам угодно, а мы все опровергнем. Вас не было здесь, не было пистолета и не было выстрела, не было убийства робота, не было волнений, шока, паники, и не было толпы. Посмотрите на себя. Почему вы съежились, почему согнулись и дрожите? Разочарованы? Не вышло, я помешал вам? Прекрасно. — Он кивнул в сторону выхода. — А теперь, мистер Бут, убирайтесь!

— Вы не можете...

— Очень жаль, мистер Бут, что вы не послушались.

Бэйс сделал бесшумный шаг к убийце, протянул руку, схватил его за галстук и неторопливо потянул вверх, заставив того встать. Теперь он дышал прямо в лицо убийце.

— Если вы хоть словом обмолвитесь жене, другу, вашему хозяину, случайному встречному, мужчине, женщине, ребенку, дяде, тетке, кузену, даже проговоритесь самому себе во сне, знаете, что я с вами сделаю, мистер Бут? Если произнесете хоть слово, шепотом или мысленно, я стану преследовать вас повсюду. Днем или ночью, где бы вы ни были, я найду вас, найду, когда вы меньше всего будете ждать меня, и знаете, мистер Бут, что я с вами сделаю? Нет, этого я не скажу вам, не могу сказать. Но это будет страшная, это будет ужасная расплата, и вы пожалеете, что родились на свет,— так это будет страшно.

Бледное лицо Бута прыгало перед его глазами, голова моталась из стороны в сторону, глаза были выпучены, а рот открыт, словно он пытался поймать им капли дождя.

— Вы поняли, что я сказал, мистер Бут? Повторите.

— Вы убьете меня?

— Повторите еще раз!

Он тряс Бута до тех пор, пока слова сами не нашли дорогу сквозь стучащие зубы Бута.

— Убьете меня!

Он крепко держал его и тряс сильно и равномерно, словно массировал, ухватив за рубаху, за кожу под рубахой, чувствуя, как в теле врага рождается ужас.

— Прощайте, мистер Никто. О вас не будут писать статьи в журналах, не будет передач по телевидению, не будет и славы, лишь безымянная могила и никаких упоминаний в учебниках истории, нет! А теперь вон отсюда! Вон, пока я не прикончил тебя на месте!

Он толкнул Бута, и тот побежал, упал, поднялся и снова побежал прямо к выходу, к той самой двери, которую трясли, в которую колотили кулаками, которую пробили почти насквозь.

За нею был Фиппс, кричавший из темноты.

— Не в эту дверь! — воскликнул Бэйс и указал Буту в противоположную сторону.

Тот повернулся на всем бегу, споткнулся, чуть не упал и побежал к другой двери. Перед нею он остановился, шатаясь, и протянул руку...

— Стойте! — крикнул Бэйс и, приблизившись, наотмашь ударил Бута по лицу. Брызги пота, словно брызги дождя, разлетелись во все стороны.— Я...— промолвил Бэйс,— я должен был это сделать...

Посмотрев на свою руку, он отпер дверь.

Они увидели ночное небо, звезды и пустую улицу.

Бут отшатнулся назад, в его больших темных влажных глазах ребенка застыла обида и недоумение; это были глаза оленя, который сам себе нанес увечье, который будет постоянно ранить и калечить себя.

— Уходите,— сказал Бэйс.

Бут бросился в дверь, она захлопнулась, и Бэйс прислонился к ней, тяжело дыша.

В другом конце зала в другую дверь снова стучали, крича и умоляя. Бэйс смотрел на эту трясущуюся, но, казалось, такую далекую дверь. За нею был Фиппс, но он подождет. Теперь же...

Пустой зрительный зал казался огромным, как луг у Геттисберга, когда многочисленная толпа покинула его и разъехалась по домам, а солнце опустилось за горизонтом. Там, где стояли люди, а потом разошлись, где стоял фермер с сынишкой на плечах, повторявшим каждое слово президента, было пусто...

На сцене не сразу, а после долгих колебаний он наконец протянул руку и коснулся плеча Линкольна.

«Безумец,— подумал он, стоя в полумраке сцены.— Не делай этого, не делай. Остановись! Зачем? Это глупо. Остановись».

То, что надо было найти, он нашел. То, что надо было сделать, он сделал.

Слезы текли по его лицу.

Он рыдал. Он задыхался от рыданий. Он не мог остановить слез, и они лились неудержимо.

Мистер Линкольн мертв. Мистер Линкольн мертв!

А он отпустил убийцу.

Запах сарсапарели

Три дня кряду Уильям Финч спозаранку забирался на чердак и до вечера тихо стоял в полутьме, обдуваемый сквозняком. Ноябрь был на исходе, и три дня мистер Финч простоял так в одиночестве, чувствуя, что само Время тихо, безмолвно осыпается белыми хлопьями с бескрайнего свинцового неба, укрывает холодным пухом крышу и припудривает карнизы. Он стоял неподвижно, смежив веки. Тянулись длинные, серые

дни, солнце не показывалось, от ветра чердак ходил ходунном, словно утлая лодка на волнах, скрипел каждой своей косточкой, стряхивал слежавшуюся за десятилетия пыль с балок, с покоробившихся досок и дранки. Все вокруг охало и ахало, стонало и кряхтело, а Уильям Финч стоял и вдыхал сухие тонкие запахи, словно изысканные духи, и приобщался к издавна копившимся здесь соковищам.

— А-а,— глубокий вдох.

Внизу жена его Кора то и дело прислушивалась, но ни разу не слышала, чтобы он прошел по чердаку, или переступил с ноги на ногу, или шевельнулся. Ей чудилось только, что он шумно дышит там, на продуваемом всеми ветрами чердаке,— медленно, мерно, глубоко, будто работают старые кузнечные мехи.

— Смех, да и только,— пробормотала она.

На третий день когда он торопливо спустился к обеду, с лица его не сходила улыбка — он улыбался унылым стенам, шербатым тарелкам, исцарапанным ложкам и вилкам и даже собственной жене!

— Чему радуешься? — спросила она.

— Просто настроение хорошее. Отменнейшее! — Он засмеялся.

Он был что-то не в меру весел. Буйная радость бродила и бурлила в нем — того и гляди, выплеснется через край. Жена нахмурилась:

— Чем это от тебя пахнет?

— Пахнет? Пахнет? Как так — пахнет? — Финч вскинул седеющую голову.

Жена подозрительно принюхалась.

— Сарсапарелью, вот как.

— Быть этого не может!

Его нервическая веселость разом оборвалась, будто слова жены повернули какой-то выключатель. Он был ошеломлен, растерян и вдруг насторожился.

— Где ты был утром? — спросила Кора.

— Ты же знаешь, прибирал на чердаке.

— Размечтался над старым хламом. Я ни звука не слышала. Думала, может, тебя там и нету, на чердаке. А это что такое? — Она показала пальцем.

— Вот те на, это еще откуда взялось?

Неизвестно, кому задал Уильям Финч этот вопрос. С величайшим недоумением он уставился на черные металлические велосипедные зажимы, которыми оказались прихвачены его брюки у костлявых щиколоток.

— Нашел на чердаке, — ответил он сам себе. — Помнишь, Кора, как мы катили на нашем тандеме по проселочной дороге? Это было сорок лет назад, рано поутру, и мы были молодые.

— Если ты нынче не справишься с чердаком, я заберусь туда сама и повыкину весь хлам.

— Нет, нет! — вскрикнул он. — Я там все разбираю, как мне удобно.

Жена холодно поглядела на него.

За обедом он немного успокоился и опять повеселел.

— А знаешь, Кора, что за штука чердак? — заговорил он с увлечением. — Всякий чердак — это Машина времени, в ней тупоумные старики вроде меня могут отправиться на сорок лет назад, в блаженную пору, когда круглый год безоблачное лето и детишки объедаются мороженым. Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернула его в платок. Отдавало сразу и снегом, и полотном.

Кора беспокойно поежилась.

А пожалуй, это возможно, думал он, полузакрыв глаза, пытаюсь вновь все это увидеть и припомнить. Ведь что такое чердак? Тут дышит само Время. Тут все связано с прошедшими годами, всё сплошь куколки и коконы иного века. Каждый ящик и ящичек — словно крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней. Да, чердак — это темный уютный уголок, полный Временем, и, если стать по самой середке и стоять прямо, во весь рост, скосив глаза, и думать, думать, и вдыхать запах Прошлого, и, вытянув руки, коснуться Минувшего, тогда — о, тогда...

Он спохватился: оказывается, что-то, хоть и не все, он подумал вслух. Кора торопливо ела.

— А ведь правда интересно, если б можно было и впрямь путешествовать во Времени? — спросил Уильям, обращаясь к пробору в волосах жены. — И чердак, вроде нашего, самое подходящее для этого место, лучше не сыщешь, верно?

— В старину тоже не все дни были безоблачные, — сказала она. — Просто память у тебя шалая. Хорошее все помнишь, а худое забываешь. Тогда тоже не сплошь было лето.

— В некотором смысле так оно и было.

— Нет, не так.

— Я что хочу сказать, — жарко зашептал Уильям и подался вперед, чтобы лучше видеть картину, которая возникала на голой стене столовой. — Надо только ехать на своей одноколеске поаккуратнее, удерживать равновесие, балансировать между годами, руки в стороны, осторожно-осторожно, от года к году: недельку провести в девятысот девятом, денек в девяти-сотом, месячишко или недели две — где-нибудь еще, скажем

в девятьсот пятом, в восемьсот девяносто восьмом,— и тогда до конца жизни так и не выедешь из лета.

— Что еще за одноколеска?

— Ну, знаешь, такой высокий велосипед об одном колесе, весь хромированный, на таких катаются актеры в цирке и жонглируют всякой всячиной. Тут главная хитрость — удерживать равновесие, чтоб не свалиться, и тогда все эти блестящие штуки так и летают в воздухе, высоко-высоко, блещут, сверкают, искрятся, мелькает что-то пестрое — красное, желтое, голубое, зеленое, белое, золотое... над головой у тебя летают в воздухе все эти июни, июли и августы, сколько их было на свете, а ты знай подкидывай их, как мячики, да улыбайся. Вся соль в равновесии, Кора, в равновесии.

— Тра-та-та,— сказала она.— Затараторил, тараторка.

Он вскарабкался по длинной холодной лестнице на чердак, его пробирала дрожь.

Бывали такие зимние ночи, когда он просыпался, продрогнув до костей, ледяные колокола звенели в ушах, мороз щипал каждый нерв, будто вспыхивал внутри колючий фейерверк и рассыпались ослепительно белые искры, и жгучий снег падал на безмолвные потаенные долины подсознания. Было холодно-холодно, так холодно, что и долгое-долгое знойное лето со всеми своими зелеными факелами и жарким бронзовым солнцем не растопило бы сковавший все его существо ледяной панцирь,— понадобилось бы не одно лето, а добрых два десятка. По ночам в постели весь он точно огромная пресная сосулька, снежный истукан, и в нем поднимается вьюга бессвязных сновидений, суматоха ледяных кристаллов. А за стенами опустилась вечная зима, над всем нависло низкое свинцово-серое небо и давит людей, точно тяжкий пресс — виноградные гроздья, перемалывает краски и разум и самую жизнь; только дети уцелели и носятся на лыжах, летят на санках с оледенелых гор, в чьих склонах, как в зеркале, отражается этот давящий железный щит и опускается все ниже, ниже — каждый день и каждую нескончаемую ночь.

Уильям Финч откинул крышку чердачного люка. Зато — вот оно! Вокруг него взвилась летняя пыль. Здесь, на чердаке, пыль кипела от жары, сохранившейся с давно прошедших знойных дней. Он тихо закрыл за собой люк.

На губах его заиграла улыбка.

Чердак безмолвствовал, словно черная туча перед грозой. Лишь изредка до Кору сверху доносилось невнятное мужнино бормотанье.

В пять часов пополудни мистер Финч встал на пороге кухни, напевая «О мечты мои златые», взмахнул новехонькой соломенной шляпой и крикнул, будто малого ребенка хотел напугать:

— У-у!

— Ты что, проспал, что ли, весь день? — огрызнулась жена. — Я тебе четыре раза кричала, хоть бы отозвался.

— Проспал? — переспросил он, подумал минуту и фыркнул, но тотчас зажал рот ладонью. — Да, пожалуй что и так.

Тут только она его разглядела.

— Боже милостивый! Где ты раздобыл это тряпье?

На Уильяме был красный в полоску, точно леденец, сюртук, высокий тугой белый воротничок и кремовые панталоны. А соломенная шляпа благоухала так, словно в воздух подбросили пригоршню свежего сена.

— Нашел в старом сундуке.

Кора потянула носом:

— Нафталином не пахнет. И выглядит как новенький.

— Нет-нет, — поспешно возразил Уильям. Под критическим взором жены ему явно стало не по себе.

— Нашел время для маскарада, — сказала Кора.

— Уж и позабавиться нельзя?

— Только забавляться и умеешь. — Она сердито хлопнула духовку. — Бог свидетель, я сижу дома и вяжу тебе носки, а ты в это время в лавке подхватываешь дам под локоток, можно подумать, они без тебя не найдут, где вход, где выход!

Но Уильям уклонился от ссоры.

— Послушай, Кора... — Он потупился, разглядывая что-то на дне новехонькой, хрустящей соломенной шляпы. — Ведь правда, хорошо бы прогуляться, как мы, бывало, гуляли по воскресеньям? Ты — под шелковым зонтиком, и чтоб длинные юбки шуршали, а потом посидеть в аптеке на стульях с железными ножками, и чтоб пахло... помнишь, как когда-то пахло в аптеке? Почему теперь так не пахнет? И спросить два стакана сарсапарелевой, а потом прокатиться в нашем «форде» девятьсот десятого года на Хэннегенскую набережную, и поужинать в отдельном кабинете, и послушать духовой оркестр. Хочешь?

— Ужин готов. И сними эти дурацкие тряпки, хватит шута разыгрывать.

Уильям не отступался.

— Ну а если б можно было так: захотела — и поехала? — сказал он, не сводя с нее глаз. — Поля, дорога обсажена дубами, тихая, совсем как в былые годы, когда еще не носились повсюду эти бешеные автомобили. Ты бы поехала?

— На тех дорогах была страшная пылица. Мы возвращались домой черные, как папуасы. Кстати,— Кора взяла со стола сахарницу и встряхнула ее,— нынче утром у меня тут лежало сорок долларов. А сейчас нету! Уж не заказал ли ты этот костюмчик в театральной мастерской? Он новый, с иголки, ни в каком сундуке он не лежал!

— Я...— Уильям осекся.

Жена бушевала еще добрых полчаса, но он так и не стал защищаться. Весь дом сотрясался от порывов ноябрьского ветра, и под речи Кору свинцовое, стылое небо опять пошло сыпать снегом.

— Отвечай мне! — кричала она. — Ты что, совсем рехнулся? Ухлопать наши кровные денежки на тряпье, которое и носить-то нельзя!

— На чердаке...— начал Уильям.

Кора, не слушая, ушла в гостиную.

Снег повалил всюю, стало холодно и темно — настоящий ноябрьский вечер. Кора слышала, как Уильям снова медленно полез по приставной лестнице на чердак, в это пыльное хранилище Прошлого, в мрачную дыру, где только и есть что старая одежда, подгнившие балки да Время, в чужой, особый мир, совсем не такой, как здесь, внизу.

Он опустил крышку люка. Вспыхнул карманный фонарик — другого спутника ему не надо. Да, оно все здесь — Время, собранное, сжатое, точно японский бумажный цветок. Одно прикосновение памяти — и все раскроется, обернется прозрачной росой мысли, вешним ветерком, чудесными цветами — огромными, каких не бывает в жизни. Выдвинь любой ящик комода — и под горностаевой мантией пыли найдешь двоюродных сестриц, тетюшек, бабушек. Да, конечно, здесь укрылось Время. Ощущаешь его дыхание — оно разлито в воздухе, это не просто бездушные колесики и пружинки.

Теперь весь дом там, внизу, был так же далек, как любой давно минувший день. Полузакрыв глаза, Уильям опять и опять обводил взглядом затихший в ожидании чердак.

Здесь в хрустальной люстре дремали радуги, и ранние утра, и полдни — такие игристые, словно молодые реки, неустанно текущие вспять сквозь Время. Луч фонарика разбудил их, и они ожили и затрепетали, и радуги взметнулись среди теней и окрасили их в яркие цвета — в цвет сливы, и земляники, и винограда, и свежерезанного лимона, и в цвет послегрозового неба, когда ветер только-только разогнал тучи и проглянула омытая синева. А чердачная пыль горела и курилась, как

ладан, это горело Время — и оставалось лишь взглянуть в огонь. Поистине этот чердак — великолепная Машина времени, да, конечно, так оно и есть! Только тронь вон те граненые подвески да эти дверные ручки, потяни кисти шнуров, зазвени стеклом, подними вихрь пыли, откинь крышку сундука и, точно мехами органа, поработай старыми каминными мехами, пока не запорошит тебе глаза пеплом и золой давно погасшего огня, — и вот, если сумеешь играть на этом старинном инструменте, если обласкаешь каждую частицу этого теплого и сложного механизма, его бесчисленные рычажки, двигатели и переключатели, тогда, тогда — о, тогда!..

Он взмахнул руками — так будем же дирижировать, торжественно и властно вести этот оркестр! В голове звучала музыка; плотно сомкнув губы, он управлял огромной машиной, громовым безмолвным органом — басы, тенора, сопрано, тише, громче, и вот наконец, наконец аккорд, потрясающий до самых глубин, — и он закрывает глаза.

Часов в девять вечера жена услышала его зов:

— Кора!

Она пошла наверх. Муж выглядывал из чердачного люка и улыбался. Взмахнул шляпой.

— Прощай, Кора!

— Что ты такое мелешь?

— Я все обдумал, я думал целых три дня и хочу с тобой попрощаться.

— Слезай оттуда, дурень!

— Вчера я взял из банка пятьсот долларов. Я давно об этом думал. А когда: это случилось, так уж тут... Кора!.. — Он порывисто протянул ей руку. — В последний раз спрашиваю: пойдешь со мной?

— На чердак-то? Спусти лесенку, Уильям Финч. Я влзу наверх и выволоку тебя из этой грязной дыры.

— Я отправляюсь на Хэннегенскую набережную есть рыбную солянку, — сказал Уильям. — И закажу оркестру, пускай сыграют «Над заливом сияет луна». Пойдем, Кора, пойдем...

Его протянутая рука звала.

Кора во все глаза глядела на его кроткое, вопрошающее лицо.

— Прощай, — сказал Уильям.

Тихонько-тихонько он помахал рукой. И вот зияет пустой люк — ни лица, ни соломенной шляпы.

— Уильям! — пронзительно крикнула Кора.

На чердаке темно и тихо.

С криком она кинулась за стулом, кряхтя взобралась в эту затхлую темень. Поспешно осветила фонариком по углам.

— Уильям! Уильям!

Темно и пусто. Весь дом сотрясается под ударами зимнего ветра.

И тут она увидела: в дальнем конце чердака, выходящем на запад, приотворено окошко.

Спотыкаясь, она побрела туда. Помешкала, затаив дыхание. Потом медленно отворила окошко. Снаружи к нему приставлена была лесенка, другим концом она упиралась в крышу веранды.

Кора отпрянула.

За распахнутым окном сверкали зеленой листвой яблони, стояли теплые июльские сумерки. С негромким треском разрывались хлопушки фейерверка. Издали доносился смех, веселые голоса. В воздухе вспыхивали праздничные ракеты — алые, белые, голубые, — рассыпались, гасли...

Она захлопнула окно, голова кружилась, она чуть не упала.

— Уильям!

Позади, через отверстие люка в полу, сочился снизу холодный зимний свет. Кора нагнулась — снег, шурша, лизал стекла окон там, внизу, в холодном ноябрьском мире, где ей суждено провести еще тридцать лет.

Она больше не подошла к тому окошку. Она сидела одна в темноте и вдыхала единственный запах, который здесь, на чердаке, оставался свежим и сильным. Он не рассеивался, он медлил в воздухе, точно вздох покоя и довольства. Она вдохнула его всей грудью.

Давний, так хорошо знакомый, незабвенный запах сарсапарели.

Завтра конец света

— Что бы ты делала, если б знала, что завтра настанет конец света?

— Что бы я делала? Ты не шутишь?

— Нет.

— Не знаю, не думала.

Он налил себе кофе. В сторонке на ковре, при ярком зеленоватом свете ламп «молния», обе девочки что-то строили

из кубиков. В гостиной по-вечернему уютно пахло только что сваренным кофе.

— Что ж, пора об этом подумать,— сказал он.

— Ты серьезно?

Он кивнул.

— Война?

Он покачал головой.

— Атомная бомба? Или водородная?

— Нет.

— Бактериологическая война?

— Да нет, ничего такого,— сказал он, помешивая ложечкой кофе.— Просто, как бы это сказать, пришло время поставить точку.

— Что-то я не пойму.

— По правде говоря, я и сам не понимаю, просто такое у меня чувство, минутами я пугаюсь, а в другие минуты мне ничуть не страшно и совсем спокойно на душе.— Он взглянул на девочек, их золотистые волосы блестели в свете лампы.— Я тебе сперва не говорил, это случилось четыре дня назад.

— Что?

— Мне приснился сон. Что скоро все кончится, и еще так сказал голос. Совсем незнакомый, просто голос, и он сказал, что у нас на Земле всему придет конец. Наутро я про это почти забыл, пошел на службу, а потом вдруг вижу, Стэн Уиллис среди бела дня уставился в окно. Я говорю: «О чем замечтался, Стэн?» А он отвечает: «Мне сегодня снился сон», и не успел он договорить, а я уже понял, что за сон. Я и сам мог ему рассказать, но Стэн стал рассказывать первым, а я слушал.

— Тот самый сон?

— Тот самый. Я сказал Стэну, что и мне тоже это снилось. Он вроде не удивился, даже как-то успокоился. А потом мы обошли всю контору, просто так, для интереса, это получилось само собой. Мы не говорили — пойдем поглядим, как и что. Просто пошли и видим: кто разглядывает свой стол, кто руки, кто в окно смотрит; кое с кем я поговорил, и Стэн тоже.

— И всем приснился тот же сон?

— Всем до единого. В точности то же самое.

— Ты веришь?

— Верю. Сроду ни в чем не был так уверен.

— И когда же это будет? Когда все кончится?

— Для нас — сегодня ночью, в каком часу, не знаю, а потом и в других частях света, когда там настанет ночь,— Земля-то вертится, за сутки все кончится.

Они посидели немного, не притрагиваясь к кофе, потом медленно выпили его, глядя друг на друга.

— Чем же мы это заслужили? — сказала она.

— Не в том дело, заслужили или нет, просто ничего не вышло. Я смотрю, ты и спорить не стала. Почему это?

— Наверно, есть причина.

— Та самая, что у всех наших в конторе?

Она медленно кивнула.

— Я не хотела тебе говорить. Это случилось сегодня ночью. И весь день женщины в нашем квартале об этом толковали. Им снился тот самый сон. Я думала, это просто совпадение. — Она взяла со стола вечернюю газету. — Тут ничего не сказано.

— Все и так знают. — Он выпрямился, испытующе посмотрел на жену. — Боишься?

— Нет. Я всегда думала, что будет страшно, а оказывается, не боюсь.

— А нам вечно твердят про чувство самосохранения — что же оно молчит?

— Не знаю, когда понимаешь, что все правильно, не станешь выходить из себя. А тут все правильно. Если подумать, как мы жили, этим должно было кончиться.

— Разве мы были такие уж плохие?

— Нет, но и не очень-то хорошие. Наверно, в этом вся беда — в нас ничего особенного не было, просто мы оставались сами собой, а ведь очень многие в мире совсем озверели и творили невесть что.

В гостиной смеялись девочки.

— Мне всегда казалось: вот придет такой час — и все с воплями выбегут на улицу.

— А по-моему, нет. Что ж вопить, когда изменить ничего нельзя.

— Знаешь, мне только и жаль расставаться с тобой и с девочками. Я никогда не любил городскую жизнь и свою работу, вообще ничего не любил, только вас троих. И ни о чем я не пожалею, разве что неплохо бы увидеть еще хоть один погожий денек, да выпить глоток холодной воды в жару, да вздремнуть. Странно, как мы можем вот так сидеть и говорить об этом?

— Так ведь все равно ничего не поделаешь.

— Да, верно. Если б можно было, мы бы что-нибудь делали. Я думаю, это первый случай в истории — сегодня каждый в точности знает, что с ним будет завтра.

— А интересно, что все станут делать сейчас, вечером, в ближайшие часы.

— Пойдут в кино, послушают радио, посмотрят телевизор, уложат детишек спать и сами лягут — все как всегда.

— Пожалуй, этим можно гордиться — что все как всегда.

Минуту они сидели молча, потом он налил себе еще кофе.

— Как ты думаешь, почему именно сегодня?

— Потому.

— А почему не в другой какой-нибудь день, в прошлом веке, или пятьсот лет назад, или тысячу?

— Может быть, потому, что еще никогда не бывало такого дня — девятнадцатого октября тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, а теперь он настал, вот и все. Такое уж особенное число, в этот год во всем мире все обстоит так, а не иначе, — вот потому и настал конец.

— Сегодня по обе стороны океана готовы к вылету бомбардировщики, и они никогда уже не приземлятся.

— Вот отчасти и поэтому.

— Что ж, — сказал он, вставая. — Чем будем заниматься? Вымоем посуду?

Они перемыли посуду и аккуратней обычного ее убрали. В половине девятого уложили девочек, поцеловали их на ночь, зажгли по ночнику у кроваток и вышли, оставив дверь спальни чуточку приоткрытой.

— Не знаю... — сказал муж выходя, оглянулся и остановился с трубкой в руке.

— О чем ты?

— Закрывать дверь плотно или оставить щелку, чтоб было светлее...

— А может быть, дети знают?

— Нет, конечно нет.

Они сидели и читали газеты, и разговаривали, и слушали музыку по радио, а потом просто сидели у камина, глядя на раскаленные уголья, и часы пробили половину одиннадцатого, потом одиннадцать, потом половину двенадцатого. И они думали обо всех людях на свете, о том, кто как проводит этот вечер — каждый по-своему.

— Что ж, — сказал он наконец. И поцеловал жену долгим поцелуем.

— Все-таки нам было хорошо друг с другом.

— Тебе хочется плакать? — спросил он.

— Пожалуй, нет.

Они прошли по всему дому и погасили свет, в спальне разделись, не зажигая огня, в прохладной темноте, и откинули одеяла.

— Как приятно, простыни такие свежие.

— Я устала.

— Мы все устали.

Они легли.

— Одну минуту,— сказала она. Поднялась и вышла на кухню, через минуту вернулась.

— Забыла привернуть кран,— сказала она.

Что-то в этом было очень забавное, он невольно засмеялся.

Она тоже посмеялась — и правда, забавно? Потом они перестали смеяться и лежали рядом в прохладной постели, держась за руки, щекой к щеке.

— Спокойной ночи,— сказал он еще через минуту.

— Спокойной ночи.

Каникулы

День был свежий — свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее создавали пчелы и цветы, суша и океан, все, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было неспокойно, и море молчало. Парадокс, сплошной парадокс, безмолвие срасталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой — пустынной, сложенной из ржавчины и стальной сердцевины,— дорогой, по которой, сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась петляя, потом терялась в мглистых даях; на тридцать миль к югу пронизывала острова-летучих теней, которые на глазах смешались и меняли свои очертания на склонах далеких гор.

Неожиданно рельсы задрожали.

Сидя на путях, одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то, за много миль, забились чье-то сердце.

Черный дрозд взмыл над морем.

Рельсы продолжали тихо дрожать, и наконец из-за поворота показалась, вдоль по берегу пошла небольшая дрезина, в великом безмолвии зафырчал и зарокотал двухцилиндровый мотор.

На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенные от солнца

небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развевал волосы, но все трое не обращались и смотрели только вперед. Иногда, на выходе из поворота, глядели нетерпеливо, иногда печально и все время настороженно — что дальше?

На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось — это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес.

— Бензин кончился.

Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горячее в бак.

Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шепот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены.

— Море красивое, правда? — сказала женщина.

— Мне нравится, — сказал мальчик.

— Может быть, заодно сделаем привал и поедим?

Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдаль.

— Давайте. Рельсы сильно изъело ржавчиной. Впереди путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю.

— Сколько лопнуло рельсов, столько привалов! — сказал мальчик.

Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные, пытливые глаза на мужчину:

— Сколько мы проехали сегодня?

— Неполных девяносто миль. — Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. — Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтеррее, на следующий день, если хочешь, в Пало-Альто.

Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы.

— Давайте есть!

Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег.

Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним; на нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сандвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускаял

галстук и расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы.

— Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать.

— Да.

— И больше никого, нигде?

— Больше никого.

— А прежде на свете были люди?

— Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь.

— Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю.— Мальчик просеял между пальцами горсть песка.— Людей было столько, сколько песка тут на пляже? А что с ними случилось?

— Не знаю,— ответил мужчина, и это была правда.

В одно прекрасное утро они проснулись — и мир был пуст. Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки, как всегда поутру блестили машины перед коттеджами, но не слышно ничьего «до свидания», не гудели уличным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника.

Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и, даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал:

— Интересно, когда мы ему осточертеем и он всех нас выметет вон?

— Да, до чего дошло,— подхватила она.— И не остановишь. Как же мы глупы, правда?

— А замечательно было бы...— Он раскурил свою трубку.— Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начинай все сначала!

Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла.

— Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?

— Наверное, да,— ответил он.— Без насилия. Просто все исчезнет с лица земли. Оставить землю и море и все, что растет — цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает.

— Но мы-то должны остаться.— Она тихо улыбнулась.

— Хорошо было бы.— Он задумался.— Впереди — сколько угодно времени. Самые длинные каникулы в истории. И мы с

корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки, дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах в безлюдных городах, и впереди нескончаемое лето...

Долго они сидели молча на террасе, их разделяла свернутая газета.

Наконец она сказала:

— А нам не будет одиноко?

Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом, города тонули в море травы-муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно,— должно быть, потому, что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье.

Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил:

— Все исчезли.

Он понял это по звукам, которых город больше не издавал.

Они завтракали не торопясь, потому что мальчик еще спал, потом муж выпрямился и сказал:

— Теперь мне надо придумать, что делать.

— Что делать? Как... разве ты не пойдешь на работу?

— Ты все еще не веришь, да? — Он засмеялся.— Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дому в десять минут девятого, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу. Все, занятия кончились, для всех нас кончились! Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса! Нас отпустили, милая, и мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли!

И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города.

— Они не умерли,— сказал он.— Просто... ушли.

— А другие города?

Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско.

Молчание. Молчание. Молчание.

— Все,— сказал он, вешая трубку.

— Я чувствую себя виноватой,— сказала она.— Их нет, а мы остались. И... я радуюсь. Почему? Ведь я должна горевать.

— Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучили. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязан-

ность — быть счастливыми. Тридцать лет счастья впереди, разве плохо?

— Но... но тогда нам нужно заводить еще детей?

— Чтобы снова населить мир? — Он медленно, спокойно покачал головой. — Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам. Они без нас не пропадут. А потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?

Он взял с маленькой дрезины кувалду, и, пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками, сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашнее задание, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках, теснясь, рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый ветер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу.

— Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто, оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до первого июля, июль хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее, обратно, в Йеллоустон, несколько миль в день, здесь поохотимся, там порыбачим...

Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в море, потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку.

Отец продолжал:

— Зимует в Таксоне, в самом конце зимы едем во Флориду, весной — вдоль побережья, в июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через два года лето проводим в Чикаго. Через три года — как ты насчет того, чтобы провести зиму в Мехикосити? Куда рельсы приведут, куда угодно, и если нападём на совсем неизвестную старую ветку — превосходно, поедем по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут — находка...

Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. Скатилося на песок, и получился мокрый комочек.

Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели. И по одной щеке тянулась влажная дорожка.

Она ахнула. Взяла его руку и крепко сжала.

Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил:

— Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все не-лестности, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хо-рошо?

Она подумала, потом кивнула.

И тут оба вздрогнули.

Потому что между ними (когда он пришел?), держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын.

Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснул-ся щеки отца, там, где оставила след слезинка.

— Ты...— сказал он и вздохнул.— Ты... Папа, тебе тоже не с кем играть.

Жена хотела что-то сказать.

Муж хотел взять руку мальчика.

Мальчик отскочил назад:

— Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы, болваны!

Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами.

Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал:

— Не надо. Оставь его.

Тут же оба оцепенели. Потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся — и бутылка, описав крутую блестя-щую дугу, упала в море.

Что, думала она, что он написал на бумажке? Что там, в бутылке?

Бутылка плыла по волнам.

Мальчик перестал плакать.

Потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них, лицо ни просветлевшее, ни мрачное, ни жи-вое, ни убитое, ни решительное, ни отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, сти-хиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели даль-ше, на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку — бу-тылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями.

«Он написал наше желание? — думала женщина.— Написал то, о чем мы сейчас говорили, нашу мечту?»

Вино из одуванчиков

Уолтеру А. Брэдбери, не дядюшке и не двоюродному брату, но, вне всякого сомнения, издателю и другу

Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежил-ся в постели. Пришло лето, и ветер был летний — теплое ды-ханье мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высу-нуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета.

Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, только что от-крыл глаза и, как в теплую речку, погрузился в предрассвет-ную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на чет-вертом этаже — во всем городе не было башни выше, — и оттого, что он парил так высоко в воздухе вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное море, Дуглас оки-дывал его взглядом, пронзавшим тьму, точно маяк. И сегодня...

— Вот здорово! — шепнул он.

Впереди целое лето, несчетное множество дней — чуть не полкалендаря. Он уже видел себя многоруким, как божество Шива из книжки про путешествия: только успевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные, как ночь, сливы. Его не вытащить из лесу, из кустов, из речки. А как приятно будет померзнуть, забравшись в заиндевелый ледник, как весело жариться в бабушкиной кухне заодно с тысячью цыплят!

А пока — за дело!

(Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по сосед-ству, где спали его родители и младший братишка Том, а здесь,

в дедовской башне; он взбегал по темной винтовой лестнице на самый верх и ложился спать в этой обители кудесника, среди громов и видений, а спозаранку, когда даже молочник еще не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал к заветному волшебству.)

Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул.

Уличные фонари мигом погасли, точно свечки на черном именинном пироге. Дуглас дунул еще и еще, и в небе начали гаснуть звезды.

Дуглас улыбнулся. Ткнул пальцем.

Там и там. Теперь тут и вот тут...

В предутренней тумане один за другим прорезались прямоугольники — в домах зажигались огни. Далеко-далеко, на рассветной земле вдруг озарилась целая вереница окон.

— Всем зевнуть! Всем вставать!

Огромный дом внизу ожил.

— Дедушка, вынимай зубы из стакана! — Дуглас немного подождал. — Бабушка и прабабушка, жарьте оладьи!

Сквозняк пронес по всем коридорам теплый дух жареного теста, и во всех комнатах встрепенулись многочисленные тетки, дядья, двоюродные братья и сестры, что съехались сюда погостить.

— Улица Стариков, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Покашляйте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь! Мистер Джонас, запрягайте лошадь, выводите из сарая фургон, пора ехать за старьем!

По ту сторону оврага открыли свои драконьи глаза угрюмые особняки. Скоро внизу появятся на электрической Зеленой машине две старухи и покатают по утренним улицам, приветственно махая каждой встречной собаке.

— Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо!

И вскоре по узким руслам мощеных улиц поплывет трамвай, рассыпая вокруг жаркие синие искры.

— Джон Хаф, Чарли Вудмен, вы готовы? — шепнул Дуглас улице Детей.

— Готовы? — спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на росистых лужайках, у пустых веревочных качелей, что, сучая, свисали с деревьев.

— Мам, пап, Том, проснитесь!

Тихонько прозвенели будильники. Гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, заброшенная его рукой, с деревьев взметнулись птицы и запели. Дирижируя своим оркестром, Дуглас повелительно протянул руку к востоку.

И взошло солнце.

Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. «Вот то-то,— думал он.— Только я приказал — и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето!»

И он напоследок оглядел город и щелкнул ему пальцами.

Распахнулись двери домов, люди вышли на улицу.

Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось.

* * *

В то утро, проходя по лужайке, Дуглас наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула.

И от этого пустячного случая он насторожился: день будет не такой, как все. Не такой еще и потому, что бывают дни, сотканые из одних запахов, словно весь мир можно втянуть носом, как воздух: вдохнуть и выдохнуть,— так объяснял Дугласу и его десятилетнему брату Тому отец, когда вез их в машине за город. А в другие дни, говорил еще отец, можно услышать каждый гром и каждый шорох вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные — на ощупь. А бывают и такие, когда есть все сразу. Вот, например, сегодня — пахнет так, будто в одну ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад, и все до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, но на небе — ни облачка. Того и гляди, кто-то неведомый захочет в лесу, но пока там тишина...

Дуглас во все глаза смотрел на плывущие мимо поля. Нет, ни садом не пахнет, ни дождем, да и откуда бы, раз ни яблонь нет, ни туч. И кто там может хохотать в лесу?..

А все-таки, Дуглас вздрогнул, день этот какой-то особенный.

Машина остановилась в самом сердце тихого леса.

— А ну, ребята, не баловаться!

(Они подталкивали друг друга локтями.)

— Хорошо, папа.

Мальчики вылезли из машины, захватили синие жестяные ведра и, сойдя с пустынной проселочной дороги, погрузились в запахи земли, влажной от недавнего дождя.

— Ищите пчел,— сказал отец.— Они всегда вьются возле винограда, как мальчишки возле кухни. Дуглас!

Дуглас встрепенулся.

— Опять витаешь в облаках,— сказал отец.— Спустись на землю и пойдем с нами.

— Хорошо, папа.

И они гуськом побрели по лесу: впереди отец, рослый и плечистый, за ним Дуглас, а последним семенил коротышка

Том. Поднялись на невысокий холм и посмотрели вдаль. Вон там, указал пальцем отец, там обитают огромные, по-летнему тихие ветры и, незримые, плывут в зеленых глубинах, точно призрачные киты.

Дуглас глянул в ту сторону, ничего не увидел и почувствовал себя обманутым: отец, как и дедушка, вечно говорит загадками. И... и все-таки... Дуглас затаил дыхание и прислушался.

«Что-то должно случиться, — подумал он, — я уж знаю».

— А вот папоротник, называется венерин волос. — Отец неторопливо шагнул вперед, синее ведро позвякивало у него в руке. — А это, чувствуете? — И он ковырнул землю носком башмака. — Миллионы лет копился этот перегной, осень за осенью падали листья, пока земля не стала такой мягкой.

— Ух ты, я ступаю как индеец, — сказал Том. — Совсем не слышно!

Дуглас потрогал землю, но ничего не ощутил; он все время настороженно прислушивался. «Мы окружены, — думал он. — Что-то случится! Но что? — Он остановился. — Выходи же! Где ты там? Что ты такое?» — мысленно кричал он.

Том и отец шли дальше по тихой, податливой земле.

— На свете нет кружева тоньше, — негромко сказал отец. И показал рукой вверх, где листва деревьев вплеталась в небо — или, может быть, небо вплеталось в листву? — Все равно, — улыбнулся отец, — все это кружева, зеленые и голубые; посмотрите хорошенько и увидите — лес плетет их, словно гудящий станок.

Отец стоял уверенно, по-хозяйски и рассказывал им всякую всячину, легко и свободно, не выбирая слов. Часто он и сам смеялся своим рассказам, и от этого они текли еще свободнее.

— Хорошо при случае послушать тишину, — говорил он, — потому что тогда удается услышать, как носится в воздухе пыльца полевых цветов, а воздух так и гудит пчелами, да-да, так и гудит! А вот — слышите? Там, за деревьями водопадом льется птичье щебетанье!

«Вот сейчас, — думал Дуглас. — Вот оно. Уже близко! А я еще не вижу... Совсем близко! Рядом!»

— Дикий виноград, — сказал отец. — Нам повезло. Смотрите-ка!

«Не надо!» — ахнул про себя Дуглас.

Но Том и отец наклонились и нагрузили руки в шуршащий куст. Чары рассеялись. То пугающее и грозное, что подкрадывалось, близилось, готово было ринуться и потрясти его душу, исчезло!

Опустошенный, растерянный, Дуглас упал на колени. Пальцы его ушли глубоко в зеленую тень и вынырнули, обогранные алым соком, словно он взрезал лес ножом и сунул руки в открытую рану.

— Мальчики, завтракать!

Ведро чуть не доверху наполнено диким виноградом и лесной земляникой; вокруг гудят пчелы — это вовсе не пчелы, а целый мир тихонько мурлычет свою песенку, говорит отец, а они сидят на замшелом стволе упавшего дерева, жуют сэндвичи и пытаются слушать лес, как слушает он. Отец, чуть посмеиваясь, искоса поглядывает на Дугласа. Хотел было что-то сказать, но промолчал, откусил еще кусок сэндвича и задумался.

— Хлеб с ветчиной в лесу — не то что дома. Вкус совсем другой, верно? Острее, что ли... Мятой отдаст, смолой. А уж аппетит как разыгрывается!

Дуглас перестал жевать и потрогал языком хлеб и ветчину. Нет, нет... обыкновенный сэндвич.

Том кивнул, продолжая жевать:

— Я понимаю, пап.

«Ведь уже почти случилось, — думает Дуглас. — Не знаю, что это, но оно больше, прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-то за мной. Нет, нет, здесь... Тут, рядом».

Дуглас исподтишка пощупал свой живот.

Оно еще вернется, надо только немножко подождать. Больно не будет, я уж знаю, не за тем *оно* ко мне придет. Но зачем же? Зачем?

— А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в позапрошлом? — ни с того ни с сего спросил Том.

Губы его двигались быстро-быстро.

— Я все записал! Тысячу пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я чистил зубы за десять лет жизни? Шесть тысяч раз! А руки мыл пятнадцать тысяч раз, спал четыре с лишним тысячи раз, и это только ночью. И съел шестьсот персиков и восемьсот яблок. А груш — всего двести, я не очень-то люблю груши. Что хочешь спроси, у меня все записано! Если вспомнить и сосчитать, что я делал за все десять лет, прямо тысячи миллионов получаются!

Вот, вот, думал Дуглас. Опять оно ближе. Почему? Потому что Том болтает? Но разве дело в Томе? Он все трещит и трещит с полным ртом, отец сидит молча, насторожился, как рысь, а Том все болтает, никак не утомонится, шипит и пенится, как сифон с содовой.

— Книг я прочел четыреста штук; кино смотрел и того больше: сорок фильмов с участием Бака Джонса, тридцать — с Джеком Хокси, сорок пять — с Томом Миксом, тридцать девять — с Хутом Гибсоном, сто девяносто два мультика про кота Феликса, десять с Дугласом Фербенксом, восемь раз видел «Призрак в опере» с Лоном Чани, четыре раза смотрел Милтона Силлса, даже один про любовь, с Адольфом Менжу, только я тогда просидел целых девяносто часов в киношной уборной, все ждал, чтоб эта ерунда кончилась и пустили «Кошку и канарейку» или «Летучую мышь». А уж тут все цеплялись друг за дружку и визжали два часа без передышки. И съел за это время четыреста леденцов, триста тянучек, семьсот стаканчиков мороженого...

Том болтал еще долго, минут пять, пока отец не прервал его:

— А сколько ягод ты сегодня собрал, Том?

— Ровно двести пятьдесят шесть, — не моргнув глазом ответил Том.

Отец рассмеялся, и на этом окончился завтрак; они вновь двинулись в лесные тени собирать дикий виноград и крошечные ягоды земляники. Все трое наклонялись к самой земле, руки быстро и ловко делали свое дело, ведра все тяжелели, а Дуглас прислушивался и думал: «Вот, вот *оно*, опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся! Работай, собирай ягоды, кидай в ведро: Оглянешься — спугнешь. Нет уж, на этот раз не упущу! Но как бы его заманить поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прямо в глаза? Как?»

— А у меня в спичечном коробке есть снежинка, — сказал Том и улыбнулся, глядя на свою руку, — она была вся красная от ягод, как в перчатке.

«Замолчи!» — чуть не завопил Дуглас, но нет, кричать нельзя: всполошится эхо и все спугнет...

Постой-ка... Том болтает, а *оно* подходит все ближе, значит, *оно* не боится Тома, Том только притягивает *его*, Том тоже немножко *оно*...

— Дело было еще в феврале, валил снег, а я подставил коробок, — Том хихикнул, — поймал одну снежинку побольше и — раз! — захлопнул, скорей побежал домой и сунул в холодильник!

Близко, совсем близко. Том трещал без умолку, а Дуглас не сводил с него глаз. Может, отскочить, удрать — ведь из-за леса накатывается какая-то грозная волна. Вот сейчас обрушится и раздавит...

— Да, сэр, — задумчиво продолжал Том, обрывая куст дикого винограда. — На весь штат Иллинойс у меня у одного летом

есть снежинка. Такой клад больше нигде не сыщешь, хоть тресни. Завтра я ее открою, Дуг, ты тоже можешь посмотреть...

В другое время Дуглас бы только презрительно фыркнул — ну да, мол, снежинка, как бы не так. Но сейчас на него мчалось то, огромное, вот-вот обрушится с ясного неба — и он лишь зажмурился и кивнул.

Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды, повернулся и уставился на брата.

Дуглас застыл, сидя на корточках. Ну как тут удержаться? Том испустил воинственный клич, кинулся на него, опрокинул на землю. Они покатались по траве, барахтаясь и тузя друг друга.

Нет, нет! Ни о чем другом не думать! И вдруг... Кажется, все хорошо! Да! Эта стычка, потасовка не спугнула набегавшую волну; вот она захлестнула их, разлилась широко вокруг и несет обоих по густой зелени травы в глубь леса. Кулак Тома угодил Дугласу по губам. Во рту стало горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его, и они замерли, только сердца колотились да дышали оба со свистом. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз: вдруг опять ничего?

Вот оно, все тут, все как есть!

Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрел весь мир.

И он понял: вот что неожиданно пришло к нему, и теперь останется с ним, и уже никогда его не покинет.

«Я ЖИВОЙ», — подумал он.

Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага, прежде невиданного, обретенного впервые... Чей же это флаг? Кому теперь присягать на верность?

Одной рукой он все еще стискивал Тома, но совсем забыл о нем и осторожно потрогал светящиеся алым пальцы, словно хотел снять перчатку, потом поднял их повыше и оглядел со всех сторон. Выпустил Тома, откинулся на спину, все еще воздев руку к небесам, и теперь весь он был — одна голова; глаза, будто часовые сквозь бойницы неведомой крепости, оглядывали мост — вытянутую руку и пальцы, где на свету трепетал кроваво-красный флаг.

— Ты что, Дуг? — спросил Том.

Голос его доносился точно со дна зеленого замшелого колодца, откуда-то из-под воды, далекий и таинственный.

Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко, в теннисных туфлях,

шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы, он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. Десять тысяч волосков на голове Дугласа выросли на одну миллионную дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало миллионами пор.

«Я и правда живой,— думал Дуглас.— Прежде я этого не знал, а может, и знал, да не помню».

Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый! Надо же! Прожил на свете целых двенадцать лет и ничегошеньки не понимал! И вдруг такая находка: дрался с Томом, и вот тебе — тут, под деревом, сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на семьдесят лет!

— Дуг, да что с тобой?

Дуглас издал дикий вопль, сгреб Тома в охапку, и они вновь покатались по земле.

— Дуг, ты спятил?

— Спятил!

Они катились по склону холма, солнце горело у них в глазах и во рту, точно осколки лимонно-желтого стекла; они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез.

— Дуг, ты не рехнулся?

— Нет, нет, нет, нет!

Дуглас зажмурился: в темноте мягко ступали пятнистые леопарды.

— Том! — И тише: — Том... Как по-твоему, все люди знают... знают, что они... живые?

— Ясно, знают! А ты как думал?

Леопарды неслышно прошли дальше во тьму, и глаза уже не могли за ними уследить.

— Хорошо бы так,— прошептал Дуглас.— Хорошо бы все знали.

Он открыл глаза. Отец, подбоченясь, стоял высоко над ним и смеялся; голова его упиралась в зеленолистый небосвод. Глаза их встретились.

Дуглас встрепенулся. «Папа знает,— понял он.— Все так и было задумано. Он нарочно привез нас сюда, чтобы это со мной случилось! Он тоже в заговоре, он все знает! И теперь он знает, что и я уже знаю».

Большая рука опустилась с высоты и подняла его в воздух. Покачиваясь на нетвердых ногах между отцом и Томом, исцарапанный, встрепанный, все еще ошарашенный, Дуглас осторожно потрогал свои локти — они были как чужие — и, довольный, облизнул разбитую губу. Потом взглянул на отца и на Тома.

— Я понесу все ведра,— сказал он.— Сегодня я хочу один все тащить.

Они загадочно усмехнулись и отдали ему ведра.

Дуглас стоял, чуть покачиваясь, и его ноша — весь истекающий соком лес — оттягивала ему руки. «Хочу почувствовать все, что только можно,— думал он.— Хочу устать, хочу очень устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после».

Он шел, опьяненный, со своей тяжелой ношей, а за ним плыли пчелы, и запах дикого винограда, и ослепительное лето; на пальцах вспухали блаженные мозоли, руки онемели, и он спотыкался, так что отец даже схватил его за плечо.

— Не надо,— пробормотал Дуглас.— Я ничего, я отлично справлюсь...

Еще добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что словно отпечатались на его теле. Понемногу отпечаток этот стирался, таял, ускользал, Дуглас шел и думал об этом, а брат и молчаливый отец шли позади, предоставляя ему одному пролагать путь сквозь лес к неправдоподобной цели — к шоссе, которое приведет их обратно в город...

* * *

И вот — город в тот же день.

И еще одно откровение.

Дедушка стоял на широком парадном крыльце и, точно капитан, оглядывал широкие недвижные просторы: перед ним раскинулось лето. Он вопрошал ветер, и недостижимо высокое небо, и лужайку; где стояли Дуглас и Том и вопрошали только его одного:

— Дедушка, они уже созрели?

Дедушка поскреб подбородок:

— Пятьсот, тысяча, даже две тысячи — наверняка. Да, да, хороший урожай. Сбирать легко, соберите все. Плачу десять центов за каждый мешок, который вы принесете к прессу.

— Ура!

Мальчики заулыбались и с жаром взялись за дело. Они рвали золотистые цветы, цветы, что наводняют весь мир, пере-

плескиваются с лужаек на мощеные улицы, тихонько стучатся в прозрачные окна погребов, не знают уговону и удержу и все вокруг заливают слепящим сверканием расплавленного солнца.

— Каждое лето они точно с цепи срываются,— сказал дедушка.— Пусть их, я не против. Вон их сколько, стоят гордые, как львы. Посмотришь на них подольше — так и прожгут у тебя в глазах дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава, никто ее и не замечает, а мы уважаем, считаем: одуванчик — благородное растение.

Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз, в погреб. Вывалили их из мешков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дождался их, открытый, холодный. Золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс, повернул ручку, завертел — быстрее, быстрее,— и пресс мягко стиснул добычу...

— Ну вот... вот так...

Сперва тонкой стружкой, потом все щедрее, обильнее побегал по желобу в глиняные кувшины сок прекрасного жаркого месяца; ему дали перебродить, сняли пену и разлили в чистые бутылки из-под кетчупа — и они выстроились рядами на полках, поблескивая в сумраке погреба.

Вино из одуванчиков.

Самые эти слова — точно лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное в бутылки лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно: надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня — дня сбора одуванчиков — тоже закупорить и сохранить; а потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспомнить, — вот тогда он его откупорит! Ведь это лето непременно будет летом неожиданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку...

И там, ряд за рядом, будут стоять бутылки с вином из одуванчиков — оно будет мягко мерцать, точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день — и снег растает, из-под него покажется трава, на деревьях оживут птицы, листва и цветы, словно мириады бабочек, затрепещут на ветру. И даже холодное серое небо станет голубым.

Возьми лето в руку, налей лето в бокал — в самый крохотный; конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето...

— Теперь — дождевой воды!

Конечно, здесь годится только чистейшая вода дальних озер, сладостные росы бархатных лугов, что возносятся на заре к распахнувшимся навстречу небесам; там, в прохладных высях, они собирались чисто омытыми гроздьями, ветер мчал их за сотни миль, заряжая по пути электрическими зарядами. Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер, и западный, и северный, и южный и обратилась в дождь, а дождь в этот час священнодействия уже становится терпким вином.

Дуглас схватил ковш, выбежал во двор и глубоко погрузил его в бочонок с дождевой водой.

— Вот она!

Вода была точно шелк, прозрачный, голубоватый шелк. Если ее выпить, она коснется губ, горла, сердца мягко, как ласка. Но ковш и полное ведро надо отнести в погреб, чтобы вода пропитала там весь урожай одуванчиков струями речек и горных ручьев.

Даже бабушка в какой-нибудь февральский день, когда бснуетса за окном вьюга и слепит весь мир и у людей захватывает дыханье, — даже бабушка тихонько спустится в погреб.

Наверху в большом доме будет кашель, чиханье, хриплые голоса и стоны, простуженным детям очень больно будет глотать, а носы у них покраснеют, точно вишни, вынутые из наливки, — всюду в доме притаится коварный микроб.

И тогда из погреба возникнет, точно богиня лета, бабушка, пряча что-то под вязаной шалью; она принесет это «что-то» в комнату каждого болящего и разольет — душистое, прозрачное — в прозрачные стаканы, и стаканы эти осушат одним глотком. Лекарство иных времен, бальзам из солнечных лучей и праздного августовского полудня, едва слышный стук колес тележки с мороженым, что катится по мощеным улицам, щорох серебристого фейерверка, что рассыпается высоко в небе, и шелест срезанной травы, фонтаном бьющей из-под косилки, что движется по лугам, по муравьиному царству, — все это, все — в одном стакане!

Да, даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем, наверно, будет стоять там тихонько, совсем одна, в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой,

как и дедушка, и папа, и дядя Берт, и другие тоже, словно беседуя с тенью давно ушедших дней, с пикниками, с теплым дождем, с запахом пшеничных полей, и жареных кукурузных зерен, и свежескошенного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те же чудесные, золотящиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс, — как будут их повторять каждую зиму, все белые зимы во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка, как неожиданный солнечный зайчик во тьме.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

* * *

Они приходили неслышно. Уходили почти бесшумно. Трава пригибалась и распрямлялась вновь. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков... Это бежали летние мальчишки.

Дуглас отстал и заблудился. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился на краю оврага, на самой кромке над пропастью, и оттуда на него дохнуло холодом. Навострив уши, точно олень, он вдруг учуял старую как мир опасность. Город распался здесь на две половины. Здесь кончилась цивилизация. Здесь живет лишь вспухшая земля, ежечасно совершается миллион смертей и рождений.

И здесь проторенные или еще не проторенные тропы твердят: чтобы стать мужчинами, мальчишки должны странствовать, всегда, всю жизнь странствовать.

Дуглас обернулся. Эта тропа огромной пыльной змеей скользит к ледяному дому, где в золотые летние дни прячется зима. А та бежит к раскаленным песчаным берегам июльского озера. А вон та — к деревьям, где мальчишки прячутся меж листьев, точно терпкие, еще незрелые плоды дикой яблони, и там растут и зреют. А вот эта — к персиковому саду, к винограднику, к огородным грядкам, где дремлют на солнце арбузы, полосатые, словно кошки тигровой масти. Эта тропа, заросшая, капризная, извилистая, тянется к школе. А та, прямая как стрела, — к субботним утренникам, где показывают ковбойские фильмы. Вот эта, вдоль ручья, — к дикой лесной чаще...

Дуглас зажмурился.

Кто скажет, где кончается город и начинается лесная глушь? Кто скажет, город вырастает в нее или она переходит в город? Издавна и навеки существует некая неуловимая грань, где борются две силы и одна на время побеждает и завладевает просекой, ложиной, лужайкой, деревом, кустом. Бескрайнее море трав и цветов плещется далеко в полях, вокруг одиноких ферм,

а летом зеленый прибой яростно подступает к самому городу. Ночь за ночью чащи, луга, дальние просторы стекают по оврагу все ближе, захлестывают город запахом воды и трав, и город словно пустеет, мертвеет и вновь уходит в землю. И каждое утро овраг еще глубже вгрызается в город и грозит поглотить гаражи, точно дырявые лодчонки, и пожрать допотопные автомобили, оставленные на милость дождя и разъедаемые ржавчиной.

— Эй! Ау!

Сквозь тайны оврага, и города, и времени мчались Джон Хаф и Чарли Вудмен.

— Эй!

Дуглас медленно двинулся по тропинке. Конечно, если хочешь посмотреть на две самые главные вещи — как живет человек и как живет природа, — надо прийти сюда, к оврагу. Ведь город, в конце концов, всего лишь большой, потрепанный бурями корабль, на нем полно народу, и все хлопочут без устали — вычерпывают воду, обкалывают ржавчину. Порой какая-нибудь шлюпка, хибарка — детище корабля, смытое неслышной бурей времени, — тонет в молчаливых волнах термитов и муравьев, в распахнутой овражьей пасти, чтобы ощутить, как мелькают кузнечики и шуршат в жарких травах, точно сухая бумага; чтобы оглохнуть под пеленой тончайшей пыли и наконец рухнуть градом камней и потоком смолы, как рушатся тлеющие угли костра, зажженного громом и синей молнией, на миг озарившей торжество лесных дебрей.

Так вот, значит, что тянуло сюда Дугласа, — тайная война человека с природой: из года в год человек похищает что-то у природы, а природа вновь берет свое, и никогда город по настоящему, до конца, не побеждает, вечно ему грозит безмолвная опасность; он вооружился косилкой и тяпкой, огромными ножницами, он подрезает кусты и опрыскивает ядом вредных букашек и гусениц, он упрямо плывет вперед, пока ему велит цивилизация, но каждый дом того и гляди захлестнут зеленые волны и схоронят навеки, а когда-нибудь с лица земли исчезнет последний человек и его косилки и садовые лопаты, изъеденные ржавчиной, рассыплются в прах.

Город. Чаща. Дома. Овраг. Дуглас озадаченно мигает. Но какая же связь меж человеком и природой, как понять, что значат они друг для друга, когда...

Он опустил глаза.

Первый летний обряд позади — одуванчики собраны и заготовлены впрок. Пора приступать ко второму, но Дуглас застыл и не движется с места.

— Дуг! Пошли, Дуг!

Голоса затихли вдалеке.

— Я живой, — сказал Дуглас. — Но что толку? Они еще больше живые, чем я. Как же это? Как же?

Так он стоял, в одиночестве, глядя на свои ноги, не в силах двинуться с места, — и наконец понял.

* * *

В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещенной витрине магазина — теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху — быстрее, быстрее! Земля завертелась, захлопали полотняные навесы над витринами, — такой он поднял ветер, так он мчался... Родители и Том шагали не торопясь, а между ними, пятясь задом, шел Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там, позади, в полуночной витрине.

— Хорошая была картина, — сказала мама.

— Ага, — буркнул Дуглас.

Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие и тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна первозданной силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, оmyвает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос в мертвый асфальт и красный кирпич улицы, не в силах тронуться с места.

— Пап, — выпалил он. — Вон там, в окне, теннисные туфли...

Отец даже не обернулся.

— А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить?

— Ну-у...

Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и подставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки... В теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в это лето бредешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну — будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде все видится не так...

— Пап,— сказал Дуглас,— это очень трудно объяснить.

Люди, которые мастерили теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыхание легким, а под пятку — тугие пружины, а верх ткут из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие, твердые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, пронсящихся в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было — лето.

Дуглас попытался объяснить все отцу.

— Допустим,— сказал отец.— Но чем плохи твои прошлогодние туфли? Поройся в чулане, ты, конечно, найдешь их там.

Дугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год; они ведь даже не знают, какое это чудо — сбросить с ног зиму, скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком, а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые — в этом все дело. К первому сентября волшебство, наверно, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует всюду, и такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. И если захочешь — они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья.

— Как же ты не понимаешь? — сказал Дуглас отцу.— Прошлогодние никак не годятся.

Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя перескочить через реки, деревья или дома, — они уже мертвые. А ведь сейчас опять настало новое лето, и, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только пожелает.

Они поднялись на крыльцо и вошли в дом.

— Копи деньги,— посоветовал отец.— Месяца через полтора...

— Да ведь тогда лето кончится!

Погасили огонь. Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги — они белели под лунным светом, далеко, в конце кровати, свободные от тяжеленных башмаков: только теперь с них свалились эти гири — остатки зимы.

— Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать.

Ну, во-первых, всякий знает, что на холмах, за городом, полным-полно друзей — они распугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так что кожа лупится и они обдирают ее клочьями, словно листки календаря, и снова жарятся на солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрее всех белок и лисиц. А в городе полным-полно врагов, они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. **ИЩИ ДРУЗЕЙ, РАСШВЫРИВАЙ ВРАГОВ!** Вот девиз легких как пух волшебных туфель. **МИР БЕЖИТ СЛИШКОМ БЫСТРО? ХОЧЕШЬ ЕГО ДОГНАТЬ? ХОЧЕШЬ ВСЕГДА БЫТЬ ПРОВОРНЕЙ ВСЕХ? ТОГДА ЗАВЕДИ СЕБЕ ВОЛШЕБНЫЕ ТУФЛИ! ТУФЛИ ЛЕГКИЕ КАК ПУХ!**

Дуглас встряхнул свою копилку — в ней чуть звякнуло. Она была почти пустая.

«Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам,— подумал он.— Ночью постараемся найти ту заветную тропку...»

Огни внизу, в городе, гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно река течет — так бы и пошел с нею...

Во сне он слышал, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.

Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород, и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками; он касался их заботливой рукой — где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и удовлетворенно кивнул.

Вдалеке, нарастая, загремел гром.

Миг — и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущенно глядел вниз, на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остановился в дверях — и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медяки, монетки по десять и двадцать пять центов, словно шахматист, что ждет с тревогой — вознесет ли его следующий ход к вершинам торжества или погрузит в бездну отчаянья.

— Все ясно без слов,— сказал мистер Сэндерсон.

Дуглас замер.

— Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить,— продолжал мистер Сэндерсон.— Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, «легкие как пух, мягкие как масло, прохладные как мята» теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег и тебе нужен кредит.

— Нет! — крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха.— Не надо мне кредита, я придумал кое-что получше,— выдохнул он наконец.— Сейчас я объясню, только сперва, пожалуйста, скажите мне одно, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?

Старик помрачнел:

— Ну, лет десять назад или двадцать, может быть, даже тридцать... Почему это тебя интересует?

— Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете? Вот и примерьте хоть на минутку, сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как оно бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю...

— Ты, верно, заметил, я тоже не босиком хожу,— сказал старик.

— Но не в теннисных туфлях, сэр! Как же вы их продаете, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?

Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попятился и в раздумье поскреб подбородок:

— Н-да-а, пожалуй...

— Мистер Сэндерсон,— сказал Дуглас,— вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.

— Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок?

— Было бы очень хорошо, сэр!

Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.

— Ну, как вы себя в них чувствуете? — спросил мальчик.

— Как я себя чувствую? Отлично.— И он хотел снова сесть на стул.

— Нет, нет! — Дуглас умоляюще протянул руку. — Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки, попрыгайте, поскачите, что ли, а я вам все доскажу. Значит, так: я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но, как только я надену эти туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?

— Что же?

— Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом покупки, таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку! Я буду летать взад и вперед, взад и вперед, десять раз в минуту! Вот вы теперь сами чувствуете, какие это туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить! Ведь они на пружинах — чувствуете? Они сами бегут! Охватят ногу и уже не дают никакого покоя, им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому, да знаете, как быстро! Вы сидите спокойно у себя в лавке, в холодке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но, ведь если по правде, это буду не я, это все туфли! Возьмут и помчатся по улицам как бешеные, раз-два — за угол, раз-два — обратно! Вот как!

Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес; он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подъем. В открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сэндерсон тихонько покачивался, подставляя ноги под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине. Старик с серьезным видом привстал на носки, оттолкнулся пятками, словно от пышного теста, от податливой мягкой земли. Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот приоткрылся. Он еще немного покачался на носках — все медленнее, медленнее — и наконец застыл; голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу.

По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие.

А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие.

— Послушай, — сказал он наконец. — Не хочешь ли лет эдак через пять продавать у меня тут ботинки?

— Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту.

— Что захочешь, сынок, то и станешь делать,— сказал старик.— Ты своего добьешься. И никто тебя не удержит.

Он легким шагом подошел к стене, где стояло, уж наверно, десять тысяч коробок с обувью, и вернулся к прилавку с туфлями для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в это время надел туфли, завязал шнурки и теперь стоял и ждал.

Старик кончил писать и протянул ему листок.

— Вот тебе десяток поручений на сегодня. Когда все сделаешь, мы с тобой квиты и ты получаешь расчет.

— Спасибо, мистер Сэндерсон! — Дуглас кинулся прочь из лавки.

— Постой! — закричал старик.

Дуглас остановился и обернулся к нему.

— Ну как туфли? — с интересом спросил старик. Дуглас поглядел на свои ноги — они были уже далеко, на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал его из города. Потом вскинул голову и посмотрел на старика; глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука.

— Антилопы? — Старик перевел взгляд с лица мальчика на туфли.— Газели?

Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул. И — исчез. Шепнул что-то, круто повернулся и исчез. Дверь — настезь, на пороге — никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное.

Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослепленный солнцем, и прислушивался. С давних-давних пор, когда его еще одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали все дальше, и оставалось лишь еле слышное эхо...

— Антилопы,— повторил Сэндерсон.— Газели...

Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, отяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов. Потом отошел в тень, подальше от спящих лучей солнца, и неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад, к цивилизации...

* * *

Он вынул пятицентовый блокнот в желтом переплете. Вынул желтый карандаш фирмы Тайкондерога. Открыл блокнот. Лизнул карандаш.

— Знаешь, Том, мне понравилось, как ты все считаешь,— сказал он.— Теперь и я буду так делать, все записывать. Вот

ты, верно, про это и не думал, а мы ведь каждое лето опять и опять, снова-здорово делаем то же самое, что делали прошлым летом.

— Например, Дуг?

— Ну, например, делаем вино из одуванчиков, покупаем теннисные туфли, пускаем первый фейерверк, делаем лимонад, вытаскиваем из ног занозы, собираем дикий виноград. Каждый год одно и то же, в точности как раньше, и никаких перемен, никакой разницы. Но это только одна половина лета, Том.

— А другая?

— Другая — то, что мы делаем первый раз в жизни.

— Например, едим оливки?

— Нет уж, кое-что поважнее. Ну как если мы вдруг увидим, что папа и дедушка не все на свете знают:

— Пожалуйста, не выдумывай! Они знают все, что только можно знать!

— Не спорь, Том. Я уже записал это в «Открытия и откровения». Они знают не все. Но тут нет ничего страшного. Я и это открыл.

— Какую еще ерунду ты там записал?

— Что я живой.

— Вот еще, Америку открыл! Давно известно.

— Нет, я про это думаю, я это замечаю — вот что ново. Сперва живешь, живешь, ходишь, делаешь что-нибудь, а сам даже не замечаешь. И потом вдруг увидишь: ага, я живу, хожу или там дышу, — вот это и есть по-настоящему в первый раз. Теперь я разделю лето на две половины. Первая в моем блокноте называется «Обряды и обыкновенности». Первый раз в этом году пил шипучку. Первый раз в этом году бегал босиком по траве. Первый раз в этом году чуть не утонул в озере. Первый арбуз. Первый москит. Первый сбор одуванчиков. Все это бывает из года в год, и мы про это никогда не думаем. А вторая половина блокнота — «Открытия и откровения». Или даже лучше назвать «Озарения» — вот отличное слово, правда? Или, может, «Ощущения»? В общем, когда делаешь что-нибудь старое, давно известное, ну хоть разливаешь в бутылки вино из одуванчиков, это, конечно, надо записать в «Обряды и обыкновенности». А потом про это подумаешь — и уж тут все мысли, какие придут в голову, все равно, умные или глупые, надо записать в «Открытия и откровения». Вот, слушай, что я записал про это вино: «Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас остается в целостности и сохранности кусок лета двадцать восьмого года». Ну, что скажешь?

— Я уже давным-давно не понимаю, что ты такое говоришь, — сказал Том.

— Ну гляди, вот я еще записал. В «Обрядах и обыкновениях» у меня стоит так: «Первый раз спорил с папой и получил первую трепку летом 1928 года, утром 24 июня». А в «Открытиях и откровениях» у меня про это так: «Взрослые и дети — два разных народа, вот почему они всегда воюют между собой. Смотрите, они совсем не такие, как мы. Смотрите, мы совсем не такие, как они. Разные народы — “и друг друга они не поймут”»¹. Вот, мотай себе на ус, Том.

— Верно, Дуг, в самую точку! Ясно, именно так! Поэтому-то мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи! Дуг, ты просто гений!

— Значит, так: увидишь за эти три месяца что-нибудь, что мы делаем опять и опять, — тут же скажи мне. Потом подумай про это — и тоже скажи мне. А в День труда мы все это прочитаем и посмотрим, что у нас получится за лето.

— А я тебе прямо сейчас скажу кое-что. Бери карандаш, Дуг. На свете пять миллиардов деревьев. Я это вычитал в книжке. И под каждым деревом есть тень, верно? Значит, откуда берется ночь? А вот откуда: пять миллиардов деревьев — и из-под каждого дерева выползает тень. Представляешь? Вот бы найти способ удержать их все под деревьями и не выпускать — тогда и спать ложиться незачем, ведь ночи-то и не было бы вовсе! Вот тебе и выходит: немножко старого и немножко нового.

— Все правильно, тут есть и старое и новое.— Дуглас лизнул желтый карандаш Тайкондерога (ему ужасно нравилось это название).— Ну-ка, скажи все это еще разок...

— На свете пять миллиардов деревьев, и под каждым деревом лежит тень...

* * *

Да, лето состоит из привычных обрядов, для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель или босых ног и, наконец, очень скоро, еще один, полный спокойного достоинства обряд: на веранде вешают качели.

На третий день лета, под вечер, дедушка выходит на веранду и принимается невозмутимо разглядывать два пустых коль-

¹ Из баллады Редьярда Киплинга.

ца, свисающих с потолка. Неторопливо подходит к перилам, уставленным горшками с геранью, точно Ахав, который испытующим взглядом встречает ясный тихий день и ясное небо; потом облизывает палец и подставляет его ветру, снимает пиджак — надо же убедиться, не холодно ли на закате в одной рубашке. Потом издали здороваются с соседями — те тоже выходят на уставленные цветами веранды, чтобы насладиться теплым летним вечером; они даже не слышат, как чирикают за стеной или твякают, точно болонки, их жены.

— Что ж, Дуглас, давай вешать.

Они отыскивают в гараже качели, стирают с них пыль, выносят на веранду, и дедушка подвешивает их к кольцам в потолке, точно водружает парадное седло на слона для торжественного и тихого праздника летних вечеров.

Дуглас легче деда, он первым садится на качели. А потом и солидный дедушка осторожно пристраивается рядом. И они, улыбаясь и кивая друг другу, молча раскачиваются взад и вперед, взад и вперед...

Минут через десять на веранду выходит бабушка с полными ведрами и швабрами, подметает и моет веранду. Из дома выносят легкие стулья, качалки и шезлонги.

— Люблю выбираться на веранду пораньше, — говорит дедушка. — Пока еще не так много москитов.

Часов в семь раздается легкий скрип — от столов отодвигают стулья, а если постоять под окном столовой, услышишь, как там бренчат на разбитом фортепьяно с пожелтевшими от старости клавишами. Чирикают спички, булькает вода — во всех кухнях моют посуду, со звоном ставят тарелки сушить на полку. А потом понемногу на сумеречных улицах под огромными дубами и вязами оживает дом за домом, на тенистые веранды выходят люди, точно фигурки на часах с барометром, предсказывающих погоду.

Вот появляется дядя Берг, а то и дедушка, потом отец и еще кто-нибудь из родных; женщины еще переговариваются в остывающей кухне, мужчины первыми выходят в сладостную тишь вечера, попыхивая сигаретами, и наводят порядок в своем собственном мире. На веранде зазвучат мужские голоса; мужчины расположатся поудобнее, задрав ноги повыше, а мальчишки, точно воробы, усядутся рядком на стертых ступеньках или на деревянных перилах, и оттуда за вечер уж непременно что-нибудь свалится — либо мальчишка, либо горшок с геранью.

И наконец за дверью на веранде вдруг возникнут, точно привидения, бабушка, прабабушка и мама, и тогда мужчины

зашевелятся, встанут и придвинут им стулья и качалки. Женщины принесут с собой всевозможные веера, сложенные газеты, бамбуковые метелочки или надушенные носовые платки и за разговором будут ими обмахиваться.

Они болтают без умолку целый вечер, а о чем — назавтра никто уже и не вспомнит. Да никому и не важно, о чем говорят взрослые; важно только, что звук их голосов то нарастает, то замирает над тонкими папоротниками, окаймляющими веранду с трех сторон; важно, что город понемногу наполняется тьмой, как будто черная вода льется на дома с неба, и в этой тьме алыми точками мерцают огоньки, и журчат, журчат голоса. Женщины сплетничают и отмахиваются от первых москитов, и те начинают в воздухе свою неистовую пляску. Мужские голоса проникают в старое дерево домов; если закрыть глаза и прижаться головой к доскам пола, слышно, как рокочут голоса мужчин, точно отдаленное землетрясение, оно не прекращается ни на миг, только слышится то чуть тише, то погромче.

Дуглас растянулся на сухих досках веранды, счастливый и умиротворенный, — голоса эти никогда не умолкнут, они будут вечно обволакивать говорливым потоком его тело, его сомкнутые веки, вливаться в сонные уши. Качалки потрескивают, как сверчки, сверчки стрекочут, как качалки, а поросшая мхом бочка для дождевой воды под окном столовой рождает все новые поколения москитов и дает тему для разговора еще на множество лет.

Как хорошо летним вечером сидеть на веранде; как легко и спокойно; вот если бы этот вечер никогда не кончался! Это — вечные, надежные обряды; всегда, до скончания века будут вспыхивать трубки курильщиков, в полутьме будут мелькать бледные руки и в них — вязальные спицы, будет шуршать серебряная обертка мороженого, кто-нибудь все время будет приходить и уходить. Потому что за вечер непременно кто-нибудь придет — из соседних домов или те, кто живет на другой стороне улицы; проедут на своем маленьком жужжащем автомобильчике мисс Ферн и мисс Роберта, иногда они захватят Тома или Дугласа прокатиться вокруг дома, а возвращаясь, посидят на веранде, обмахивая веером пылающие щеки; или мистер Джонас, старьевщик, поставит свой фургон с лошадью где-нибудь под деревьями и впопыхах поднимется по ступенькам — сразу видно, ему не терпится рассказать что-то новенькое, еще не слышанное, и, как ни странно, это и правда бывает что-нибудь новое. И, наконец, дети — они бегают где-то в темноте,

напоследок играют в прятки или в мяч, а потом, когда уже вовсе ничего не разглядеть, запыхавшись, с разгоревшимися лицами, точно бумеранги, неслышно возвращаются к дому по бархатной лужайке и затихают под мерное журчанье на веранде, и голоса журчат, журчат, баюкают их и усыпляют...

Как чудесно лежать в ночи папоротников, трав, в ночи негромких сонных голосов, все они шелестят и сплетаются, и из них соткана тьма. Взрослые давно о нем забыли — ведь он притаился, лежит тихий, как мышонок, слушает, как они строят планы для него и для себя тоже. И голоса их замирают, плывут с освещенным луной табачным дымком, а мотыльки, точно оживший поздний яблоневого цвет, тихонько стучатся в далекие уличные фонари, и голоса уплывают и льются в грядущие годы...

* * *

В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы,— словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. Смертоносные тучи вспухали в дыму их сигар и окутывали взволнованного человека, которого почти нельзя было разглядеть сквозь этот дым; он прислушивался к стуку заступов в их речах, словно различал в них пророческое «ибо прах ты, и в прах возвратишься»¹. Это был Лео Ауфман, городской ювелир; наконец он широко раскрыл блестящие черные глаза, вскинул худые, точно детские, руки и в ужасе закричал:

— Перестаньте! Ради Бога, прекратите эти похоронные марши!

— Вы правы, Лео,— сказал ему дедушка Сполдинг; он как раз проходил мимо со своими внуками Дугласом и Томом, возвращаясь с обычной вечерней прогулки.— Они каркают как вороны и вещают недоброе, но кто же заткнет им рты? Изобретите что-нибудь, попробуйте сделать будущее ярче, веселее, отраднее. Ведь вы мастерили велосипеды, чинили автоматы в Галерее, были даже киномехаником, правда?

— Верно! — подхватил Дуглас.— Смастерите для нас Машину счастья!

Все засмеялись.

— Не смейтесь,— сказал Лео Ауфман.— Для чего мы до сих пор пользовались машинами? Только чтоб заставить людей пла-

¹ Бытие, 3:19.

кать. Всякий раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот наконец уживутся друг с другом, — бац! Кто-то где-то смощенничает, приделает какой-нибудь лишний винтик — и вот уже самолеты бросают на нас бомбы и автомобили срываются со скал в пропасть. Отчего же мальчику не попросить Машину счастья? Он совершенно прав!

Лео Ауфман умолк, подошел к краю тротуара и погладил свой велосипед, словно собаку или кошку.

— Что мне терять? — бормотал он. — Наживу еще несколько мозолей на руках, потрачу еще несколько фунтов железа да немного меньше посплю. Решено, я ее сделаю, клянусь, я ее сделаю!

— Лео, — сказал дедушка, — мы вовсе не хотели...

Но Лео Ауфман был уже далеко; изо всех сил нажимая на педали велосипеда, он мчался в теплый летний вечер, и лишь издали донесся его голос:

— Я ее сделаю... сделаю...

— А знаешь, — почтительно сказал Том, — он и правда сделает, вот увидишь.

Посмотришь, как Лео Ауфман катит на своем велосипеде по вечерней каменистой улице, круто сбегаящей с холма, — и сразу понятно, что этому человеку все вокруг по душе: как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох, когда ветер пышет жаром в лицо, словно из раскаленной печи, и как звенят под дождем электрические провода. Он был не из тех, для кого бессонная ночь — мученье, напротив, когда не спалось, он лежал и вволю предавался размышлениям: как работает гигантский часовой механизм вселенной? Кончается ли завод в этих исполинских часах или им предстоит отсчитывать еще долгие, долгие тысячелетия? Кто знает! Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то — что это только начало...

Главные потрясения и повороты жизни — в чем они? — думал он сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит. Но зрелость, старость, смерть — может быть, с этим можно что-нибудь сделать?

В голове у него, сверкая легкими золотыми спицами, вертелись колеса его Машины счастья. Это должна быть машина, которая поможет мальчишкам персиковый пушок на щеках сменить на мужественную щетину, а девочкам — превратиться из нескладных гусениц в ярких бабочек. И в зрелые годы, когда счет ударам сердца идет уже на миллиарды, когда ле-

жишь ночью в постели и только тревожный дух твой скитается по земле, эта машина утолит тревогу, и человек сможет мирно дремать вместе с палыми листьями, как засыпают осенью мальчишки, растянувшись на копне душистого сухого сена и безмятежно сливаясь с уходящим на покой миром...

— Папа!

По лужайке ему навстречу бежали дети, все шестеро: Саул, Маршалл, Джозеф, Ребекка, Рут и Ноэми, — младшему пять, старшему пятнадцать; каждому хотелось взять у отца велосипед, каждый спешил коснуться его руки.

— Мы тебя ждали! У нас сегодня мороженое!

Лео двинулся к веранде, чувствуя невидимую в темноте улыбку жены.

Пять минут прошло в блаженном молчании — все рты были заняты; потом Лео поднял вверх ложку серебристого мороженого, точно в нем и заключалась тайна вселенной и касаться ее следовало очень осторожно, и спросил:

— Лина, что ты скажешь, если я попробую изобрести Машину счастья?

— Что-нибудь случилось? — тотчас спросила жена.

* * *

Дедушка вел Дугласа и Тома домой. На полпути мимо роем метеоров пронеслась орава мальчишек, и среди них Чарли Вудмен и Джон Хаф; сила их притяжения была так велика, что они оторвали Дугласа от Тома и дедушки и увлекли за собой к оврагу.

— Не заблудись, внучек!

— Нет, нет, дедушка, не заблужусь!

И мальчишки скрылись в темноте.

А дедушка с Томом прошли весь остальной путь до дома в молчании, и, только когда они уже вошли в калитку, Том сказал:

— Надо же — Машина счастья! Вот здорово!

— Не пыхти, — сказал дедушка.

Часы на здании суда пробили восемь.

Часы на здании суда пробили девять; становилось поздно, — в сущности, на этой скромной улочке маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, мчащейся в пропасть вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь, и Том ощущал каждую милю этого бесконечного и стремительного падения. Он сидел у двери веранды и сквозь

мелкую сетку от москитов глядел на стремительную тьму, у которой был самый невинный вид, как будто она вовсе и не движется. Только если лечь и закрыть глаза, чувствуешь, как под твоей постелью вертится земной шар и темное море оглушает тебя, подступая и разбиваясь о незримые рифы.

Пахло дождем. В доме мама гладила белье и сквозь пробку брызгала водой из бутылочки на похрустывающее сухое полотно.

А одна лавка за квартал отсюда была еще открыта — лавка миссис Сингер.

И наконец, когда миссис Сингер, верно, совсем уже собралась закрывать, мама сжалилась и сказала Тому:

— Сбегай возьми пинту мороженого, да присмотри, чтобы она поплотней его набила.

А можно ее попросить, пускай сверху польет мороженое шоколадом, а то он не любит ванили, спросил Том. И мама позволила. Он зажал деньги в кулаке и как был босиком побежал по теплому вечернему асфальту тротуара, под яблонями и дубами. Город стоял тихий и далекий, слышно было лишь стрекотанье сверчков где-то за жаркими иссиня-фиолетовыми деревьями, что заслоняют звезды.

Шлепая босыми пятками по асфальту, он перебежал улицу. Миссис Сингер важно расхаживала по своей лавке, напевая еврейскую песенку.

— Пинту мороженого? — переспросила она. — И полить шоколадом? Хорошо!

Том смотрел, как она отвинчивает металлическую крышку мороженицы, как вертит большой круглой ложкой, плотно набивает пинтовую картонку и поливает: «Шоколадом? Хорошо!» Он отдал деньги, взял ледяной пакет, потерся о него лбом и щекой, засмеялся и — шлеп-шлеп босыми ногами — побежал домой. Позади в лавке миссис Сингер мигнул и погас одинокий огонек, теперь мерцал лишь фонарь на углу улицы, — казалось, весь город погружается в сон.

Том распахнул затянутую сеткой от москитов дверь веранды: мама еще гладила. Видно, ей было очень жарко и она была чем-то недовольна, но все-таки улыбнулась ему.

— Когда папа вернется со своего собрания? — спросил Том.

— Часов в одиннадцать, а то и позже, — ответила мама, унесла мороженое в кухню и поделила его. Дала Тому побольше шоколада, немного взяла себе, а остальное убрала. — Это Дугласу и отцу, когда вернутся, — пояснила она.

Так они сидели, наслаждаясь мороженым, окутанные глубокой тишиной летнего вечера. Только вдвоем — мама и он, и вокруг них, вокруг их домика и улочки — ночь. Том стара-

тельно облизывал ложку, прежде чем набрать следующую; мама отодвинула гладильную доску, отставила утюг, и он понемногу остывал, а она сидела в кресле у патефона, ела мороженое и говорила:

— Ну и денек выдался, вот жарница-то! Земля целый день впитывает в себя зной, а вечером опять его отдает. Душно будет спать!

Они прислушивались к ночи, ощущая, как она подступает ко всем окнам и дверям и как давит тишина, потому что в приемнике сели батареи, а все пластинки играны-переиграны уже тысячу раз и надоели до смерти; и Том просто сидел на деревянном полу и смотрел в черную-черную черноту, прижимаясь лицом к сетке двери так, что на кончике носа отпечатались маленькие темные квадратики.

— Где же это Дуг? Уже почти половина десятого.

— Придет,— сказал Том.

Уж конечно, Дуглас придет.

Мама пошла мыть посуду, и Том отправился за ней. Каждый звук, звон ложки или тарелки гулко раздавался в знойном вечернем воздухе. Потом они молча пошли в большую комнату, сняли с дивана подушки, вдвоем раскрыли его и разложили — ведь на самом деле это был вовсе не диван, а широченная кровать. Мама постелила им с Дугласом постель, ловко взбила подушки, Том начал было расстегивать рубашку, но она сказала:

— погоди минутку, Том.

— Почему?

— Надо.

— Ты какая-то чудная, мам.

Она опустила на стул, но сразу же встала, подошла к двери и позвала. Она звала снова и снова: «Дуглас! Дуг! Ду-уг!» Ее голос уплывал в душную тьму и тонул в ней без всякого отклика. Даже эхо не отвечало.

— Дуглас! Дуглас! Дуглас! Ду-у-у-гла-а-а-а!

Том сидел на полу, и его пронизывал холод, но виной тому было не мороженое, и не зима, и не летний зной. Он видел — мама то растерянно озирается, то закрывает глаза, стоит и не знает, что делать, и очень волнуется. Да, сразу видно — растеряна и волнуется.

Она открыла дверь веранды. Шагнула в темноту, спустилась по ступенькам, прошла по дорожке под кусты сирени. Том прислушивался к ее шагам.

Она опять позвала.

Молчание.

Она позвала еще два раза. Том все сидел в комнате. Вот сейчас с длинной-длинной узкой улицы донесется голос Дугласа: «Иду, мам! Не беспокойся, я иду!»

Но Дуглас не отвечал. Том долгие две минуты сидел, глядя на раскрытую постель, на молчащее радио и молчащий патефон, на люстру, где как ни в чем не бывало поблескивали стеклянные висюльки, на ковер, расписанный пунцовыми и фиолетовыми завитушками. Потом нарочно стукнул ногой о кровать, чтобы поглядеть, будет ли больно. Оказалось — больно.

Дверь веранды со скрипом отворилась, и мама сказала:

— Пойдем, Том. Пройдемся.

— Куда?

— Просто по улице. Идем.

Он взял ее за руку. Они пошли по Сент-Джеймс-стрит. Асфальт под ногами был все еще теплый, сверчки стрекотали громче прежнего в сгущавшейся тьме. Они дошли до угла, свернули и двинулись по направлению к Западному оврагу.

Где-то проплыл автомобиль, сверкнул вдали фарами. На улицах никаких признаков жизни — ни света, ни движения. Кое-где позади мерцали слабо освещенные квадраты окон — в той стороне, откуда они шли, не все еще легли спать. Но очень, очень многие дома уже стояли без огней и спали, а перед некоторыми, тоже темными, на крылечках сидели их обитатели и вполголоса вели вечернюю беседу. Кое-где на верандах поскрипывали качели.

— Хоть бы отец был дома, — сказала мама. Она сжимала в своей большой руке руку Тома. — Ну постой, дай мне только добраться до этого мальчишки! Душегуб опять вышел на охоту. Он убивает людей. Всем грозит опасность. Никто не знает, где и когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только Дуг придет домой, я его так отколочу, век будет помнить.

Они прошли еще квартал и теперь стояли перед черным силуэтом немецкой баптистской церкви на углу Чепел-стрит и Глен Рок. В сотне шагов за церковь начинался овраг. Том уже чуял его: оттуда тянуло канализационной трубой, стгнившими листьями, душным и влажным запахом сплошных зеленых зарослей. Овраг был широкий, извилистый, он перерезал город, и мама всегда говорила, что это и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к нему лучше и близко не подходить.

Оттого что рядом церковь, страхи должны бы рассеяться, но Тому все равно было жутко: в этот час, темная, без единого огонька, она казалась холодной и бесполезной развалиной на краю оврага.

Тому было всего десять лет. Он ничего толком не знал о смерти, страхе, ужасе. Смерть — это восковая кукла в ящике, он видел ее в шесть лет: тогда умер его прадедушка и лежал в гробу, точно огромный упавший ястреб, безмолвный и далекий, — никогда больше он не скажет, что надо быть хорошим мальчиком, никогда больше не будет спорить о политике. Смерть — это его маленькая сестренка: однажды утром (ему было в то время семь лет) он проснулся, заглянул в ее колыбельку, а она смотрит прямо на него застывшими, слепыми синими глазами... а потом пришли люди и унесли ее в маленькой плетеной корзинке. Смерть — это когда он месяц спустя стоял возле ее высокого стульчика и вдруг понял, что она никогда больше не будет тут сидеть, не будет смеяться или плакать и ему уже не будет досадно, что она родилась на свет. Это и была смерть. И еще смерть — это Душегуб, который подкрадывается невидимкой, и прячется за деревьями, и бродит по округе, и выжидает, и раз или два в год приходит сюда, в этот город, на эти улицы, где вечерами всегда темно, чтобы убить женщину; за последние три года он убил трех. Это смерть...

Но сейчас тут не просто смерть. В этой летней ночи под далекими звездами на него разом нахлынуло все, что он испытывал, видел и слышал за всю свою жизнь, и он захлебывался и тонул.

Они сошли с тротуара и зашагали по протоптанной, усыпанной щебнем тропинке — по обе стороны густо росла сорная трава, и в ней громко, неумолчно трещали сверчки. Том послушно шел за матерью — большой, храброй, прекрасной, его защитницей от всего света. Так вдвоем они шли и шли — и вот остановились на самом краю цивилизации.

Овраг.

Здесь, в этой пропасти посреди черной чащобы; вдруг сосредоточилось все, чего он никогда не узнает и не поймет; все, что живет, безымянное, в непроглядной тени деревьев, в удушливом запахе гниения...

А ведь они с матерью здесь совсем одни.

И ее рука дрожит!

Да, дрожит, ему не почудилось... Но отчего? Мама ведь больше, сильнее, умнее его? Неужели и она тоже чувствует эту неуловимую угрозу, то зловещее, что затаилось там, внизу, и сейчас выползет из темноты? Значит, можно вырасти и все равно не стать сильным? Значит, стать взрослым вовсе не утешение? Значит, в жизни нет прибежища? Нет такой надежной цитадели, что устояла бы против надвигающихся ужасов ночи? Сомнения разрывали его. Мороженое вновь обожгло ему

холодом горло, все внутри похолодело, по спине пошел мороз, оледенели руки и ноги; ему вдруг стало очень зябко, точно вновь налетел из прошлого декабрьский ветер.

Так вот оно что! Значит, это участь всех людей: каждый человек для себя — один-единственный на свете. Один-единственный, сам по себе среди великого множества других людей, и всегда боится. Вот как сейчас. Ну закричишь, станешь звать на помощь — кому какое дело?

Тьма поглотит в одно мгновение; одно чудовищное, ледящее мгновение — и все кончено. Еще задолго до рассвета, задолго до того, как полицейские начнут прошупывать своими фонариками темную, растревоженную тропинку и на ней зашуршит щепень под ногами людей, которые в смятении кинутся на помощь. И даже если они сейчас только в пятистах шагах от тебя, а уж наверно так оно и есть, темный прибор может захлестнуть за три секунды и отнять у тебя все твои десять лет, и...

Жизнь — это одиночество. Внезапное открытие обрушилось на Тома как сокрушительный удар, и он задрожал. Мама тоже одинока. В эту минуту ей нечего надеяться ни на святость брака, ни на защиту любящей семьи, ни на конституцию Соединенных Штатов, ни на полицию; ей не к кому обратиться, кроме собственного сердца, а в сердце своем она найдет лишь неодолимое отвращение и страх. В эту минуту перед каждым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам ее решить. Ты совсем один, пойми это раз и навсегда.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и прижался к матери. «Господи, не дай ей умереть,— молил он.— Не делай нам ничего плохого. Папа придет с собрания через час, и если дома никого не будет...»

Мать двинулась по тропинке в дикую чащу.

— Мам, ты за Дуга не бойся,— дрожащим голосом сказал Том.— С ним ничего не случилось. Ты за него не бойся, с ним ничего не случилось.

— Он всегда возвращается этим путем.— Голос матери звенел от напряжения.— Я сто раз говорила ему — ходи другой дорогой, но эти проклятые мальчишки все равно лезут напролом. Когда-нибудь он пойдет туда и больше не вернется.

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ. Это может означать что угодно. Бродяги. Преступники. Тьма. Несчастный случай. А главное — смерть!

Один во всей вселенной.

На свете миллион таких городишек. И в каждом так же темно, так же одиноко, каждый так же от всего отрешен, в

каждом — свои ужасы и свои тайны. Пронзительные, заунывные звуки скрипки — вот музыка этих городишек без света, но со множеством теней. А какое необъятное, непомерное одиночество! А неведомые овраги, что засасывают, как трясина! Жизнь в этих городишках по ночам оборачивается леденящим ужасом: разуму, семье, детям, счастью со всех сторон грозит чудище, имя которому — Смерть.

Мать снова громко позвала в темноту:

— Дуглас! Дуг!

И вдруг оба почувствовали — что-то случилось.

Сверчки умолкли.

Стало совсем тихо.

Он и не знал, что бывает такая тишина. Беспредельная, бездыханная тишина. Отчего замолчали сверчки? Отчего? Какая этому причина? Прежде они никогда не умолкали. Никогда.

Значит... Значит...

Сейчас что-то случится.

Казалось, овраг напрягает свои черные мышцы, вбирает в себя все силы спящих городков и ферм на многие мили вокруг. Великая тишина пропитанных росой лесов, и долин, и накатывающихся, как прибой, холмов, где собаки, задрав морды, воют на луну, вся собиралась, стекалась, стягивалась в одну точку, и в самом сердце тишины были они — мама и Том. Вот сейчас, сию минуту что-то случится, что-то случится. Сверчки все молчат, звезды опустились так низко, что, кажется, протяни руку — и на пальцах останется позолота. Их не счесть, звезд, они жаркие, колючие...

Все растет, разбухает тишина. Все острее, напряженней ожидание. Ох как темно, пустынно, как бесприютно!

И вдруг далеко-далеко за оврагом — голос:

— Я здесь, мам! Иду, мама!

И снова:

— Мам, а мам! Иду!

Шлеп-шлеп-шлеп — мчатся ноги в теннисных туфлях по дну оврага: с хохотом несутся трое мальчишек — брат Дуглас, Чарли Вудмен и Джон Хаф. Бегут, хохочут...

Звезды взвились вверх, точно десять миллионов ужаленных улиток втянули свои рожки.

Сверчки застрекотали.

Темнота отступила, испуганная, ошарашенная, злобная. Отступила, потеряв аппетит, — ведь она совсем уже собралась поживиться, и вдруг ей так грубо помешали. И когда темнота отхлынула, точно волна во время отлива, из нее возникли, смеясь, трое мальчишек.

— Мам! Том! Привет!

И сразу вокруг запахло Дугласом. Ведь от него всегда пахнет потом, травой, деревьями, ветвями и ручьем.

— Вам предстоит порка, молодой человек, — объявила мама.

От ее страхов и следа не осталось. Том знал — она никогда в жизни никому про это не расскажет, никогда. Но страх этот навсегда останется у нее в душе, и в душе Тома тоже.

Темной летней ночью они шли домой, спать. Как хорошо, что Дуглас живой! Как хорошо! А на одну секунду там, на краю оврага, ему подумалось...

Где-то далеко, по смутному, озаренному луной лесу, над виадуком, потом внизу, по долине, прогрохотал поезд, он отчаянно свистел, точно безымянный железный зверь заблудился в ночи. Том улегся в постель рядом с братом; весь дрожа, он прислушивался к этому свисту и думал: далеко-далеко, там, где сейчас мчится поезд, жил их двоюродный брат — и умер от воспаления легких много лет назад, вот в такую же ночь... Дуглас лежал рядом, от него пахло потом. И это было как волшебство. Том перестал дрожать.

— Только две вещи я знаю наверняка, Дуг, — прошептал он.

— Какие?

— Одна — что ночью ужасно темно.

— А другая?

— Если мистер Ауфман когда-нибудь в самом деле построит Машину счастья, с оврагом ей все равно не совладать.

Дуглас немного подумал:

— Повтори, что ты сказал.

Они умолкли: на улице внезапно раздались шаги — ближе, ближе, вот они уже под деревьями, возле дома, на тротуаре. Мама со своей кровати негромко сказала:

— Папа идет.

И не ошиблась.

* * *

Поздно вечером на веранде сидел Лео Ауфман и что-то писал в темноте — бумагу и ту толком нельзя было разглядеть. Время от времени он восклицал: «Ага!» или «И это тоже!» — значит, ему в голову приходило еще что-нибудь подходящее для его списка. Потом дверь чуть стукнула, точно в сетку от москитов ударилась ночная бабочка.

— Лина? — шепнул Ауфман.

Она села рядом с ним на качели, в одной ночной сорочке, не тоненькая, как семнадцатилетняя девочка, которую еще не любят, и не толстая, как пятидесятилетняя женщина, которую уже не любят, но складная и крепкая, именно такая, как надо,— таковы женщины во всяком возрасте, если они любимы.

Она была удивительная. Ее тело, как и его собственное, всегда думало за нее, только по-другому: оно вынашивало детей или входило впереди Лео в каждую комнату, чтобы неуловимо изменить там самый воздух под стать настроению мужа. Казалось, она никогда не задумывается надолго; мысль тотчас передавалась от ее головы плечам, пальцам и претворялась в действие так незаметно и естественно, что Лео не смог бы да и не хотел изобразить это какими-либо чертежами.

— Эта Машина...— сказала она наконец.— Не нужна она нам.

— Да,— отозвался он,— но иногда нужно позаботиться и о других. Я вот все думаю, что туда вставить? Кинокартины? Радиоприемники? Стереоскопические очки? Если собрать все это вместе, всякий человек пощупает, улыбнется и скажет: «Да, да, это и есть счастье».

Сочинить такую хитрую механику, думал он, что пускай у человека промокли ноги, или ноет язва, или его мучает бессонница, и он ворочается в постели всю ночь напролет, и душу его грызут заботы, а все равно твоя Машина даст ему счастье, как та магическая крупинка соли, что брошена в океан, и вечно рождает соль, и обратила все море в соляной раствор. Кто не расшибся бы в лепешку, лишь бы изобрести такую Машину? Пусть ему ответит на этот вопрос целый мир, пусть ответит весь городок, пусть ответит жена!

Лиана смущенно молчала, сидя рядом с ним на качелях, и ее молчание говорило яснее всяких слов.

Лео тоже умолк, запрокинул голову и слушал, как свищет ветер в густой листве могучего вяза.

«Не забывай,— говорил он себе,— и этот шелест листьев тоже нужен для твоей Машины».

Через минуту веранда опустела, пустые качели неподвижно повисли в темноте.

* * *

Дедушка улыбнулся во сне.

Он почувствовал эту улыбку, удивился ей — и проснулся. Полежал немного, прислушался к себе — и понял, откуда она взылась.

Ибо он услышал нечто гораздо более важное, нежели пение птиц или шелест молодой листвы. Каждый год наступал день, когда он вот так просыпался и ждал этого звука, который означал, что теперь-то уж лето началось по-настоящему. Оно начиналось вот в такое утро, когда кто-нибудь из домохозяев или гостей, племянник, сын или внук, выходил на лужайку под его окном и металлические ножи и спицы, кружа и звеня по душистой летней траве, прилежно обегали ее по краям — на север, на восток, на юг, на запад, описывая все меньшие и меньшие квадраты. Косилка звонко стрекотала, из-под ножей брызгали головки клевера, редкие золотые искры уцелевших после сбора одуванчиков, муравьи, палочки, камешки, остатки прошлогоднего празднования Четвертого июля — обгорелые шутихи и кусочки трута, но главное — за ней стлался прохладный, чистый поток сочной зеленой травы. Дедушке уже представлялось, как она щекочет его ноги, охлаждает разгоряченное лицо, наполняет ноздри извечным ароматом вновь родившегося лета и обещает: да, мы все — ВСЕ! — проживем еще целый год.

«Великое чудо — косилка, — говорил себе дедушка. — Какой это дурак выдумал, что новый год начинается первого января? Надо было поставить дозорных караулить рост травы на миллионных лужаек Иллинойса, Огайо или Айовы, — и как заметят, что она созрела для сенокоса, в то самое утро вместо фейерверков, фанфар и криков пусть начинается великая бурная симфония косилок, срезающих свежие травы на необъятных луговых просторах. В тот единственный день в году, который по-настоящему знаменует собой начало, людям надо бы бросать друг в друга не конфетти и не серпантин, а пригоршни свежескошенной травы».

Дедушка хмыкнул — что-то уж больно долгую философию развел! — встал, подошел к окну и высунулся в ласковый солнечный свет. Так и есть: Форестер, новый жилец, молодой газетчик, как раз заканчивает ряд.

— Доброе утро, мистер Сполдинг!

— Так ее, хорошенько, Билл! — с жаром крикнул дедушка и вскоре уже сидел внизу и уплетал приготовленный бабушкой завтрак; широкое окно было раскрыто, и жужжанье косилки словно подпевало завтраку.

— От этой косилки на душе становится спокойнее, — заметил дедушка. — Ты только послушай!

— Теперь уж недолго нам ее слушать, — отозвалась бабушка и поставила на стол горку пшеничных лепешек. — Билл Форестер

стер посеет сегодня новый сорт травы, ее не надо будет косить. Не помню, как там она называется, но она как вырастет, сколько нужно, так сама и остановится и больше не растет.

Дедушка с изумлением уставился на жену.

— Довольно глупая шутка,— сказал он наконец.

— Иди посмотри сам. Билл Форестер говорит, это земле на пользу,— сказала бабушка.— Он уже привез новые семена, они сложены за домом в маленьких корзинках. Нужно в разных местах вырыть ямки и засыпать туда семена. К концу года новая трава убьет всю старую, и тогда можешь продавать свою косилку, она тебе больше не понадобится.

Дедушка сорвался со стула и мигом выскочил во двор.

Билл Форестер остановил косилку и, жмурясь от солнца, с улыбкой подошел к нему.

— Вот так-то,— сказал он.— Вчера купил новые семена: Дай, думаю, засею вам лужайку, пока я свободен.

— А меня почему не спросили? Лужайка-то все-таки моя! — закричал дедушка.

— Я думал, вы будете довольны, мистер Сполдинг.

— Ничего я не доволен. Покажите мне эту чертову траву.

Они стояли возле маленьких четырехугольных корзиночек с новомодными семенами. Дедушка подозрительно потыкал одну из них носком башмака.

— По-моему, это самая обыкновенная трава. А вы уверены, что вас не надули?

— Я в Калифорнии видел, как она растет. Вот настолько вырастет — и все. Если только она приживется в здешнем климате, нам уже на будущий год не придется каждую неделю подстригать лужайку.

— В том-то и беда с вашим поколением,— сказал дедушка.— Мне стыдно за вас, Билл, а еще журналист! Вы готовы уничтожить все, что есть на свете хорошего. Только бы тратить поменьше времени, поменьше труда, вот чего вы добиваетесь.— Он непочтительно пнул корзинку ногой.— Вот поживете с мое, тогда поймете, что мелкие радости куда важнее крупных. Рано утром по весне прогуляться пешком не в пример лучше, чем катить восемьдесят миль в самом роскошном автомобиле; а знаете почему? Потому что все вокруг благоухает, все растет и цветет. Когда идешь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить самую малую красоту. Я понимаю, сейчас вам хочется охватить все сразу, и это, наверно, естественно, это свойство молодости. Но газетчику надо уметь

видеть и мелкий виноград, а не только огромные арбузы. Вам подавай целый скелет, а с меня довольно и следа пальцев; что ж, тоже понятно. Сейчас мелочи кажутся вам скучными, но, может, вы просто еще не знаете им цены, не умеете находить в них вкус? Дай вам волю, вы бы издали закон об устранении всех мелких дел, всех мелочей. Но тогда вам нечего было бы делать в перерыве между большими делами и пришлось бы до исступления придумывать себе занятие, чтобы не сойти с ума. Так уж лучше поучились бы кое-чему у самой природы. Подстригать траву и выпалывать сорняки — тоже одна из радостей жизни, сынок.

Билл Форестер ласково улыбнулся старику.

— Знаю, знаю, — сказал дедушка. — Я становлюсь слишком болтливым,

— В жизни никого не слушал с таким удовольствием.

— Тогда продолжим лекцию. Куст сирени лучше орхидей. И одуванчики тоже, и чертополох. А почему? Да потому, что они хоть ненадолго отвлекают человека, уводят его от людей и города, заставляют попотеть и возвращают с небес на землю. И уж когда ты весь тут и никто тебе не мешает, хоть ненадолго остаешься наедине с самим собой и начинаешь думать — один, без посторонней помощи. Когда копаешься в саду, самое время пофилософствовать. Никто об этом не догадывается, никто тебя не обвиняет, никто и не знает ничего, а ты становишься заправским философом — эдакий Платон среди пионов, Сократ, который сам себе выращивает цикуту. Тот, кто тащит на спине по своей лужайке мешок навоза, сродни Атланту, который на плечах держит небесный свод. Сэмюэл Сполдинг, эсквайр, сказал однажды: «Копая землю, покопайся у себя в душе». Вертите лопасти этой косилки, Билл, и да оросит вас живительная струя Фонтана юности. Лекция окончена. Кроме того, изредка очень полезно отведать зелени одуванчиков.

— А вы давно ели зелень одуванчиков на ужин, сэръ?

— Не будем уточнять.

Билл кивнул и легонько стукнул ближайшую корзинку носком башмака:

— Так вот, насчет этой травы. Я еще не все вам сказал. Она растет так густо, что наверняка заглушит и клевер, и одуванчики.

— Господи помилуй! Значит, уже на будущий год мы останемся без вина из одуванчиков? И ни одной пчелы над лужайкой? Да вы просто с ума сошли! Послушайте, сколько вы заплатили за эти семена?

— Доллар корзинка. Я купил десять штук вам в подарок.

Дедушка полез в карман, вытащил старомодный длинный кошелек, отстегнул серебряную застежку и извлек три бумажки по пять долларов:

— Билл, вы только что совершили невыгодную сделку — заработали пять долларов. Извольте сейчас же отправить всю эту чересчур прозаическую траву в овраг, на помойку, — словом, куда хотите, только, покорнейше прошу, не сейте ее у меня во дворе. Я знаю, у вас самые похвальные намерения, но я все-таки уже достиг весьма почтенного возраста, и с моими желаниями не грех считаться в первую очередь.

— Хорошо, сэр. — Билл нехотя сунул деньги в карман.

— Вот что, Билл: вы просто посеете эту новую траву когда-нибудь в другой раз. Как только я помру, на другой же день можете перекопать эту чертову лужайку. Ну как, хватит у вас терпения подождать еще лет пять-шесть, чтобы старый болтун успел отдать концы?

— Уж будьте уверены, подожду, — сказал Билл.

— Сам не знаю, как вам объяснить, но для меня жужжанье этой косилки — самая прекрасная мелодия на свете, в ней вся прелесть лета, без нее я бы ужасно тосковал, и без запаха свежескошенной травы тоже.

Билл нагнулся и поднял с земли корзинку:

— Я пошел к оврагу.

— Вы славный юноша и все понимаете, я уверен, из вас получится блестящий и умный репортер, — сказал дедушка, помогая ему поднять корзинку. — Я вам это предсказываю!

Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка поднялся к себе, немного почитал Уиттьера и крепко уснул. Когда он проснулся, было три часа, в окна вливался яркий и веселый солнечный свет. Дедушка лежал в кровати и вдруг вздрогнул: с лужайки доносилось прежнее, знакомое, незабываемое жужжанье.

— Что это? — сказал он. — Кто-то косит траву! Но ведь ее только сегодня утром скосили!

Он еще послушал. Да, конечно, это жужжит косилка — мерно, неутомимо.

Дедушка выглянул в окно и ахнул:

— Да ведь это Билл! Эй, Билл Форестер! Вам что, солнце ударило в голову? Вы косите уже скошенную траву!

Билл поднял голову, простодушно улыбнулся и помахал рукой:

— Знаю. Но, кажется, утром я работал не очень чисто.

Дедушка еще добрых пять минут нежился в кровати, и с лица его не сходила улыбка, а Билл Форестер все шагал с косилкой — на север, на восток, на юг и наконец на запад, — и из-под косилки весело бил душистый зеленый фонтан.

* * *

В воскресенье утром Лео Ауфман бродил по своему гаражу, словно ожидая, что какое-нибудь полено, виток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнет и закричит: «Начни с меня!» Но ничто не подпрыгивало, ничто не просилось в начало.

«Какая она должна быть, эта Машина счастья? — думал Лео. — Может, она должна уместиться в кармане? Или она должна тебя самого носить в кармане?»

— Одно я знаю твердо, — сказал он вслух. — Она должна быть яркой!

Лео поставил на верстак банку оранжевой краски, взял словарь и побрел в дом.

— Лина! — Он заглянул в толковый словарь. — Ты довольна, спокойна, весела, в восторге? Тебе во всем везет и все удается? По-твоему, все идет разумно, хорошо и успешно?

Лина перестала резать овощи и закрыла глаза.

— Прочитай мне все это еще раз, пожалуйста.

Лео захлопнул словарь.

— За какие это грехи я должен целый час ждать, пока ты придумаешь мне ответ? Скажи только да или нет, больше мне ничего не надо. Ты что же, не довольна, не спокойна, не весела и не в восторге?

— Довольны бывают коровы, а в восторге — младенцы да несчастные старики, которые уже впали в детство, — сказала Лина. — Ну а насчет того, что весела... Сам видишь, как я весело смеюсь, когда скребу эту раковину.

Лео внимательно поглядел на жену, и лицо его прояснилось:

— Ты права, Лина. Мужчины такой народ — никогда ничего не смыслят. Может быть, мы вырвемся из этого заколдованного круга уже совсем скоро.

— Я вовсе не жалуясь, — закричала Лина. — Я-то не прихожу к тебе со словарем и не говорю: «Высунь язык!» Лео, ты ведь не спрашиваешь, почему сердце у тебя стучит не только днем, но и ночью? Нет. А можешь ты спросить, что такое брак? Кто это знает? Не задавай вопросов. Есть же такие люди — все им надо знать: как устроен мир, как то, как се да как

это... задумается такой — и падает с трапеции в цирке либо задохнется, потому что ему приспичило понять, как у него в горле мускулы работают. Ешь, пей, спи, дыши и перестань смотреть на меня такими глазами, будто в первый раз видишь.

Лина Ауфман вдруг замерла. Потянула носом воздух:

— Вот беда! А все ты виноват.

Она рванула дверцу духовки. Оттуда повалил дым.

— Счастье, счастье! — горестно воскликнула она. — Из-за этого счастья мы с тобой ссоримся, в первый раз за полгода. И в первый раз за двадцать лет на ужин будут уголья вместо хлеба!

Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана уже и след простыл.

Грохот, лязг, схватка человека с вдохновением, день за днем в воздухе так и мелькают куски металла, дерева, молоко, гвозди, рейшина, отвертки...

Порой Лео Ауфмана охватывало отчаяние — и он скитался по улицам, всегда беспокойный, всегда начеку; он вздрагивал и оборачивался, заслышав где-то вдалеке чей-то смех, прислушивался к забавам детворы, присматривался — что вызывает у детей улыбку? Вечерами он подсаживался к шумной компании на веранде у кого-нибудь из соседей, слушал, как старики вспоминают прошлое и толкуют о жизни, — и при каждом взрыве веселья оживлялся, точно генерал, который видит, что темные вражеские силы разгромлены и что его стратегия оказалась правильной. По дороге домой он торжествовал, пока не входил опять в свой гараж, где лежали мертвые инструменты и неодушевленное дерево. Тогда его сияющее лицо вновь мрачнело, и, пытаясь избыть горечь неудачи, он с ожесточением расшвыривал и колотил части своей машины, словно это были живые яростные противники. Наконец контуры машины начали вырисовываться, и через десять дней и ночей, дрожа от усталости, изможденный, полумертвый от голода, такой высохший и почерневший, точно в него ударила молния, Лео Ауфман, спотыкаясь, побрел в дом.

Дети ссорились и оглушительно кричали друг на друга, но при виде отца тотчас умолкли, как будто пробил урочный час и в комнату вошла сама смерть.

— Машина счастья готова, — прохрипел Лео Ауфман.

— Лео Ауфман похудел на пятнадцать фунтов, — сказала его жена. — Он уже две недели не разговаривал со своими детьми, они сами не свои, смотрите, они дерутся! Его жена тоже сама не своя, смотрите, она потолстела на десять фунтов, теперь

ей понадобятся новые платья! Да, конечно, Машина готова, а стали мы счастливее? Кто скажет? Лео, брось ты мастерить эти часы, в них не влезет ни одна кукушка. Человеку не положено соваться в такие дела. Господу Богу это, наверно, не повредит, а вот Лео Ауфману один вред и никакой пользы. Если так будет продолжаться еще хоть неделю, мы его похороним в его собственной Машине.

Но этих слов Лео Ауфман уже не слышал: он с изумлением смотрел, как на него валится потолок. «Вот так штука»,— подумал он, уже лежа на полу. Но тут его обволокла тьма, и он услышал только, как кто-то трижды прокричал что-то насчет Машины счастья.

На другое утро, едва раскрыв глаза, он увидел птиц: они пронеслись в воздухе, точно разноцветные камешки, брошенные в непостижимо чистый ручей, и, легонько звякнув, опускались на жестяную крышу гаража.

Собаки всевозможных пород тихонько прокрадывались во двор и, повизгивая, заглядывали в гараж; четверо мальчишек, две девочки и несколько мужчин помедлили на дорожке; потом нерешительно подошли поближе и остановились под вишнями.

Лео Ауфман прислушался и понял, что влечет их всех к нему во двор.

Голос Машины счастья.

Такое можно было бы услышать летним днем возле кухни какой-нибудь великанши. Это было разноголосое жужжанье — высокое и низкое, то ровное, то прерывистое. Казалось, там выются роем огромные золотистые пчелы величиной с чашку и стряпают сказочные блюда. Сама великанша удовлетворенно мурлычет себе под нос песенку, лицо у нее — точно розовая луна в полнолуние; вот-вот она, необъятная, как лето, подплывет к дверям и спокойно глянет во двор, на улыбающихся собак, на белобрысых мальчишек и седых стариков.

— Пойдите-ка,— громко сказал Лео.— Я ведь сегодня еще не включал Машину. Саул!

Саул поднял голову — он тоже стоял внизу во дворе.

— Саул, ты ее включил?

— Ты же сам полчаса назад велел мне разогреть ее.

— Ах да. Я совсем забыл. Я еще толком не проснулся.

И он опять откинулся на подушку.

Лина принесла ему завтрак и остановилась у окна, глядя вниз, на гараж.

— Послушай, Лео,— негромко сказала она.— Если эта Машина и вправду такая, как ты говоришь, может быть, она

умеет рожать детей? А может она превратить старика снова в юношу? И еще — можно в этой Машине со всем ее счастьем спрятаться от смерти?

— Спрятаться?

— Вот ты работаешь, себя не жалеешь, а в конце концов надорвешься и помрешь — что я тогда буду делать? Влезу в этот большой ящик и стану счастливой? И еще скажи мне, Лео: что у нас теперь за жизнь? Сам знаешь, как у нас ведется дом. В семь утра я поднимаю детей, кормлю их завтраком; к половине девятого вас никого уже нет и я остаюсь одна со стиркой, одна с готовкой, и носки штопать тоже надо, и огород полоть, и в лавку сбежать, и серебро почистить. Я разве жалуюсь? Я только напоминаю тебе, как ведется наш дом, Лео, как я живу. Так вот, ответь мне: как все это уместится в твою Машину?

— Она устроена совсем иначе.

— Очень жаль. Значит, мне некогда будет даже посмотреть, как она устроена.

Лина поцеловала его в щеку и вышла из комнаты, а он лежал и принюхивался — ветер снизу доносил сюда запах Машины и жареных каштанов, что продаются осенью на улицах Парижа, которого он никогда не видел...

Между замороженными собаками и мальчишками невидимкой проскользнула кошка и замурлыкала у дверей гаража; а из-за гаража слышался шорох снежно-белой пены, мерное дыханье прибоя у далеких-далеких берегов...

«Завтра мы испытаем Машину, — думал Лео Ауфман. — Все вместе».

Он проснулся поздно ночью — что-то его разбудило.

Далеко, в другой комнате, кто-то плакал.

— Саул, это ты? — шепнул Лео Ауфман, вылезая из кровати, и пошел к сыну.

Мальчик горько рыдал, уткнувшись в подушку.

— Нет... нет... — всхлипывал он. — Все кончено... кончено...

— Саул, тебе приснилось что-нибудь страшное? Расскажи мне, сынок!

Но мальчик только заливался слезами.

И тут, сидя у него на кровати, Лео Ауфман, сам не зная почему, выглянул в окно. Двери гаража были распахнуты настежь.

Он почувствовал, как волосы у него встали дыбом.

Когда Саул, тихонько всхлипывая, наконец забылся беспокойным сном, отец спустился по лестнице, подошел к гаражу и, затаив дыханье, осторожно вытянул руку.

Ночь была прохладная, но Машина счастья обожгла ему пальцы.

Вот оно что, подумал он: Саул приходил сюда сегодня ночью.

Зачем? Разве он несчастлив и ему нужна Машина? Нет, он счастлив, просто он хочет навсегда сохранить свое счастье. Что же тут плохого, если мальчик умен, и знает цену счастью, и хочет его сохранить? Ничего плохого в этом нет. И все-таки...

Внезапно у Саула в окне колыхнулось что-то белое. Сердце Лео бешено заколотилось. Но он сейчас же понял — это всего лишь ветром подхватило белую занавеску. А ему показалось — что-то нежное, трепетное выпорхнуло в ночь, словно сама душа мальчика вылетела из окна. И Лео Ауфман невольно вскинул руки, словно хотел поймать ее и втолкнуть обратно в спящий дом.

Весь дрожа, он вернулся в комнату Саула, поймал хлопавшую на ветру занавеску и накрепко запер окно, чтобы она не могла больше вырваться наружу. Потом сел на кровать и положил руку на плечо сына.

— «Повесть о двух городах»? Моя. «Лавка древностей»? Ха, уж это-то наверняка Лео Ауфмана. «Большие надежды»? Когда-то это было мое. Но теперь пусть «Большие надежды» остаются ему.

— Что тут происходит? — спросил Лео Ауфман, входя в комнату.

— Тут происходит раздел имущества, — ответила Лина. — Если отец ночью до полусмерти пугает сына, значит, пора делить все пополам. Прочь с дороги, «Холодный дом» и «Лавка древностей»! Во всех этих книгах, вместе взятых, не найдешь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Ауфман!

— Ты уезжаешь — и даже не испробовала, что такое Машина счастья! — запротестовал он. — Попробуй хоть разок, и, уж конечно, ты сейчас же все распакуешь и останешься!

— «Том Свифт и его электрический истребитель», а это чье? Угадать нетрудно.

И Лина, презрительно фыркнув, протянула книгу мужу.

К вечеру все книги, посуда, белье и одежда были поделены: одна сюда, одна туда; четыре сюда, четыре туда; десять сюда, десять туда. У Лины Ауфман голова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть.

— Ну ладно, — выдохнула она. — Пока я не уехала, Лео, попробуй докажи мне, что это не по твоей вине ни в чем не повинным детям снятся страшные сны.

Лео Ауфман молча повел жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышиной в восемь футов, оранжевым ящиком.

— Это и есть счастье? — недоверчиво спросила она. — Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива, всем довольна и весьма признательна?

А вокруг них уже собрались все дети.

— Мама, не надо, — сказал Саул.

— Должна же я знать, о чем прошу судьбу, Саул, — возразила Лина.

Она влезла в Машину, уселась и, качая головой, посмотрела оттуда на мужа.

— Это нужно вовсе не мне, а тебе, несчастному неврастенику, который стал на всех кричать.

— Ну пожалуйста, — сказал он. — Сейчас сама увидишь.

И закрыл дверцу.

— Нажми кнопку! — закричал он.

Раздался шелчок. Машина слегка вздрогнула, как большая собака во сне.

— Папа, — с тревогой позвал Саул.

— Слушай! — ответил Лео Ауфман.

Сперва все было тихо, только Машина подрагивала — где-то в ее глубине таинственно двигались зубцы и колесики.

— С мамой там ничего не случилось? — спросила Ноэми.

— Ничего, ей там хорошо. Вот сейчас... Вот!

Из Машины послышался голос Лины Ауфман:

— Ах!.. О!.. — Голос был изумленный. — Нет, вы только посмотрите! Это Париж! — И через минуту: — Лондон! А это Рим! Пирамиды! Сфинкс!

— Вы слышите, дети: сфинкс! — шепнул Лео Ауфман и засмеялся.

— Духами пахнет! — с удивлением воскликнула Лина Ауфман.

Где-то патефон тихо заиграл «Голубой Дунай» Штрауса.

— Музыка! Я танцую!

— Ей только кажется, что она танцует, — поведал миру Лео Ауфман.

— Чудеса! — сказала в Машине Лина.

Лео Ауфман покраснел:

— Вот что значит жена, которая понимает своего мужа.

И тут Лина Ауфман заплакала в Машине счастья.

Улыбка сбежала с губ изобретателя.

— Она плачет, — сказала Ноэми.

— Не может этого быть!
— Плачет,— подтвердил Саул.
— Да не может она плакать! — И Лео Ауфман, недоуменно моргая, прижался ухом к стенке Машины.— Но... да... плачет, как маленькая...

Он открыл дверцу.

— Постой.— Лина сидела в Машине, и слезы градом катились по ее щекам.— Дай мне доплакать.

И она еще немного поплакала.

Ошеломленный, Лео Ауфман выключил свою Машину.

— Какое же это счастье, одно горе! — всхлипывала его жена.— Ох как тяжко, прямо сердце разрывается...— Она вылезла из Машины.— Сначала там был Париж...

— Что ж тут плохого?

— Я в жизни и не мечтала побывать в Париже. А теперь ты навел меня на эти мысли. Париж! И вдруг мне так захотелось в Париж, а ведь я отлично знаю, мне его вовек не видать.

— Машина, в общем-то, не хуже.

— Нет, хуже! Я сидела там и знала, что все это обман.

— Не плачь, мама!

Лина посмотрела на мужа большими черными глазами, полными слез:

— Ты заставил меня танцевать. А мы не танцевали уже двадцать лет.

— Завтра же сведу тебя на танцы!

— Нет, нет! Это не важно, и правильно, что не важно. А вот твоя Машина уверяет, будто это важно! И я начинаю ей верить! Ничего, Лео, все пройдет, я только еще немножко поплачу.

— Ну а еще что плохо?

— Еще? Твоя машина говорит: «Ты молодая». А я уже не молодая. Она все лжет, эта Машина грусти!

— Почему же грусти?

Лина уже немного успокоилась.

— Я тебе скажу, в чем твоя ошибка, Лео: ты забыл главное — рано или поздно всем придется вылезать из этой штуки и опять мыть грязную посуду и стелить постели. Конечно, пока сидишь там внутри, закат длится чуть не целую вечность и воздух такой душистый, так тепло и хорошо. И все, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборваны пуговицы. И потом, давай говорить честно: сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? И кому нужно

вечное тепло? Кому нужен вечный аромат? Ведь ко всему этому привыкаешь и уже просто перестаешь замечать. Закатом хорошо любоваться минуту, ну две. А потом хочется чего-нибудь другого. Уж так устроен человек, Лео. Как ты мог про это забыть?

— А разве я забыл?

— Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день.

— Но это очень грустно, Лина.

— Нет, если бы он длился вечно и до смерти надоел бы нам, вот это было бы по-настоящему грустно. Значит, ты сделал две ошибки. Во-первых, задержал и продлил то, что всегда проходит быстро. Во-вторых, принес сюда, в наш двор, то, чего тут быть не может, и все получается наоборот, начинаешь думать: «Нет, Лина Ауфман, ты никогда не поедешь путешествовать, не видать тебе Парижа. И Рима тоже». Но ведь я и сама это знаю, зачем же мне напоминать? Лучше зажать, тянуть свою ляжку и не ворчать.

Лео Ауфман прислонился к Машине, ноги у него подкашивались. И с удивлением отдернул обожженную руку.

— Как же теперь быть, Лина? — спросил он.

— Вот уж этого я не знаю. Но только, пока эта штука стоит здесь, меня все время будет тянуть к ней, и Саула тоже, как прошлой ночью: знаем, что глупо и ни к чему, а все равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далекие края, где нам вовек не бывать, и всякий раз мы будем плакать, и такая семья тебе вовсе не годится.

— Ничего не понимаю, — сказал Лео Ауфман. — Как же это я так оплошал? Дай-ка я сам посмотрю, верно ли ты говоришь. — Он уселся в Машину. — Ты не уйдешь?

— Мы тебя подождем, — сказала Лина.

Он закрыл дверцу. Чуть помедлил в теплой тьме, потом нажал кнопку, откинулся назад и уже готов был насладиться яркими красками и музыкой, но тут раздался крик:

— Пожар, папа! Машина горит!

Кто-то забарабанил в дверцу. Лео вскочил, ударился головой и упал, но тут дверца поддалась, и сыновья вытащили его наружу. Позади что-то глухо взорвалось. Вся семья кинулась бежать. Лео Ауфман оглянулся и ахнул.

— Саул! — выкрикнул он, задыхаясь. — Вызови пожарную команду!

Саул кинулся было со двора, но Лина схватила его за рукав.

— Подожди, — сказала она.

Из Машины вырвался язык пламени, раздался еще один приглушенный взрыв. Когда Машина разгорелась как следует, Лина Ауфман кивнула:

— Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную команду.

Все, соседи и не соседи, сбежались на пожар. Были тут и дедушка Сполдинг, и Дуглас, и Том, и почти все жители их квартала, и несколько стариков из другой части города, что за оврагом, и все ребяташки из шести окрестных кварталов. А дети Лео Ауфмана стояли впереди всех и очень гордились — вот какое отличное пламя вырывается из-под крыши их гаража!

Дедушка Сполдинг пригляделся к высокому — под самое небо — столбу дыма и негромко спросил:

— Лео, это она? Ваша Машина счастья?

— Счастья или несчастья — в этом я когда-нибудь разберусь и тогда отвечу вам, — сказал Лео.

Лина Ауфман стояла в темноте и смотрела, как бегают по двору пожарники; наконец гараж с грохотом рухнул.

— Тебе вовсе незачем долго в этом разбираться, Лео, — сказала она. — Просто оглянись вокруг. Подумай. Помолчи немного. А потом приди и скажи мне. Я буду в доме, надо поставить книги обратно на полки, положить одежду обратно в шкафы, приготовить ужин. Мы и так запоздали с ужином, смотри, как темно на улице. Пойдемте, дети, помогите маме.

Когда пожарные и соседи ушли, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом; все они задумчиво смотрели на догорающие остатки гаража. Лео ткнул ногой в мокрую золу и медленно высказал то, что лежало на душе:

— Первое, что узнаешь в жизни, — это что ты дурак. Последнее, что узнаешь, — это что ты все тот же дурак. Много передумал я за один только час. И сказал себе: да ведь ты слепой, Лео Ауфман! Хотите увидеть настоящую Машину счастья? Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает — не всегда одинаково хорошо, нет, но все-таки работает. И она все время здесь.

— А пожар... — начал было Дуглас.

— Да, конечно, пожар, гараж! Но Лина права, долго раздумывать над этим незачем: то, что сгорело в гараже, не имеет никакого отношения к счастью.

Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой.

— Вот, — шепнул Лео Ауфман. — Посмотрите в окно. Тише, сейчас вы все увидите.

Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходящее на улицу.

И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой за маленьким столиком Саул и Маршалл играли в шахматы. Ребечка накрывала стол к ужину. Нозми вырезала из бумаги платья для своих кукол. Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь в кухню была открыта, там, в облаке пара, Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню. Пахло свежим хлебом, и ясно было, что это — самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все что надо, и все это — живое, неподдельное.

Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице.

— Ну конечно, — бормотал он. — Это оно самое и есть.

Сперва с тихой грустью, потом с живым удовольствием и наконец со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага.

— Машина счастья, — сказал он. — Машина счастья.

Через минуту его уже не было под окном.

Дедушка, Дуглас и Том видели, как он хлопотал в доме: то поправит что-нибудь, то передвинет, то складку разгладит, то пылинку сдует, — такой же деловитый винтик большой, удивительной, бесконечно тонкой, вечно таинственной, вечно движущейся машины.

А потом, не переставая улыбаться, они спустились с крыльца в прохладную летнюю ночь.

* * *

Два раза в год во двор выносили большие хлопающие ковры и расстилали их на лужайке, где они были совсем не к месту и казались какими-то необитаемыми. Потом из дома выходили мама и бабушка, в руках они несли как будто спинки красивых плетеных кресел, что стоят в парке у павильона с газированной водой. Каждому вручали такой же жезл с широкой плетеной верхушкой, и все — Дуглас, Том, бабушка, прабабушка и мама — становились в кружок над пыльными узорами старой Армении, точно сборище ведьм и домовых. Затем по знаку прабабушки — едва она мигнет или подожмет губы — все вскидывали цепи и принимались без передышки молотить ковры.

— Вот тебе, вот,— приговаривала прабабушка.— Бейте блох, мальчики, не жалейте и вшей!

— Ну что ты такое говоришь! — укоризненно замечала ей бабушка.

Все смеялись. Вокруг бушевала пыльная буря, и смех переходил в кашель.

Вихри корпии, струи песка, золотистые хлопья трубочного табака взвивались в воздух и трепетали, подбрасываемые все новыми и новыми ударами. Останавливаясь, чтобы передохнуть, мальчики видели следы своих башмаков и башмаков взрослых, тысячу раз отпечатавшиеся на узорах ковра,— восточный рисунок то исчезал, то появлялся вновь вместе с мерным прибоем ударов, что омывал его берега.

— Вот тут твой муж пролил кофе.— И бабушка ударила по коврику.

— А здесь ты пролила сметану.— И прабабушка выбила из ковра огромный столб пыли.

— Смотрите, тут весь ворс вытоптан. Ах, ребята, ребята!

— А вот чернила, прабабушка!

— Глупости! У меня чернила лиловые, а это обыкновенные, синие.

Хлоп!

— Посмотрите, какую дорожку протоптали,— это из прихожей в кухню. Ох уж эта еда! Она даже львов ведет на водопой. Давайте-ка повернем его другим боком.

— А может, просто запереть все двери и никого не впускать?

— Или пусть разуваяются еще в прихожей!

Хлоп, хлоп!

Наконец ковры развешаны на веревках. Том разглядывает узор — хитроумные петли и переплеты, цветы, какие-то загадочные фигуры, разводы и змеящиеся линии.

— Том, ты что стоишь? Выбивай!

— Занятно видеть столько всякого,— говорит Том.

Дуглас подозрительно смотрит на него:

— Что ты там увидел?

— Да весь город, людей, дома, вот и наш дом.— Хлоп! — Наша улица! — Хлоп! — А вон то, черное,— овраг.— Хлоп! — Вот школа.— Хлоп! — А вот эта чудная закорючка — ты, Дуг! — Хлоп! — Вот прабабушка, бабушка, мама...— Хлоп! — Сколько же лет пролежал у нас этот ковер?

— Пятнадцать.

— И целых пятнадцать лет по нему топали! Даже видны отпечатки башмаков! — ахнул Том.

— Силен ты болтать, парень, — сказала прабабушка.

— Тут видно все, что случилось у нас в доме за пятнадцать лет. — Хлоп! — Конечно, это все прошлое, но я могу и будущее увидеть. Вот сейчас зажмурюсь, а потом — р-раз! — погляжу на эти разводы и сразу увижу, где мы завтра будем ходить и бегать.

Дуглас перестал размахивать выбивалкой:

— А что еще ты там видишь?

— Главным образом нитки, — вставила прабабушка. — Тут только и осталась одна основа. Сразу видно, как его ткали.

— Верно, — загадочно сказал Том. — В эту сторону нитки и в ту тоже. Я все вижу. Черти рогатые. Грешники в аду. Хорошая погода и плохая. Прогулки. Праздничные обеды. Земляничные пиры. — Он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно, то в другое место ковра.

— Да по-твоему выходит, что я держу тут какой-то пансион, — сказала бабушка, вся красная и запыхавшаяся.

— Тут все видно, хоть и не очень ясно. Дуг, ты нагни голову набок и зажмурь один глаз, только не совсем. Конечно, ночью видно лучше, когда ковер в комнате, и лампа горит, и вообще. Тогда тени бывают самые разные, кривые и косые, светлые и темные, и видно, как нитки разбегаются во все стороны; пощупаешь ворс, погладишь, а он как шкура какого-нибудь зверя. И пахнет как пустыня, правда-правда. Жарой пахнет и песком — наверно, так пахнет каменный гроб, где лежит мумия. Смотри, видишь красное пятно? Это горит Машина счастья!

— Просто кетчуп с какого-то сандвича, — сказала мама.

— Нет, Машина счастья, — возразил Дуглас, и ему стало грустно, что и тут она горит. Он так надеялся на Лео Ауфмана, уж у него-то все пойдет как надо, он всех заставит улыбаться, и каждый раз, когда Земля, повернувшись от Солнца, накренится к черным безднам вселенной, маленький гироскоп, который сидит у Дугласа где-то внутри, станет поворачивать к Солнцу. И вот Лео Ауфман что-то там прошляпил — и осталась только кучка золы да пепла.

Хлоп! Хлоп! Дуглас с силой ударил выбивалкой.

— Смотрите, вот Зеленый электрический автомобильчик! Мисс Ферн! Мисс Роберта! — сказал Том. — Би-ип! Би-ип!

Хлоп!

Все рассмеялись.

— А вот твои линии жизни, Дуг, они все в узлах. Слишком много кислых яблок! И соленые огурцы перед сном!

— Которые? Где? — закричал Дуглас, всматриваясь в узор ковра.

— Вот эта — через год, эта — через два, а эта — через три, четыре и пять лет.

Хлоп! Проволочная выбивалка зашипела, точно змея.

— А вот эта — на всю остальную жизнь, — сказал Том.

Он ударил по ковру с такой силой, что вся пыль пяти тысяч столетий рванулась из потрясенной ткани, на мгновение замерла в воздухе, и, пока Дуглас стоял, зажмурясь, и старался хоть что-нибудь разглядеть в переплетающихся нитях и пестрых разводах ковра, лавина армянской пыли беззвучно обрушилась на него и навеки погребла его на глазах у всех родных...

* * *

Старая миссис Бентли и сама не могла бы сказать, как все это началось. Она часто видела детей в бакалейной лавке — точно мошки или обезьянки, мелькали они среди кочанов капусты и связок бананов, и она улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли видела, как они бегают зимой по снегу, оставляя на нем следы, как вдыхают осенний дым на улицах, а когда цветут яблони — стряхивают с плеч облака душистых лепестков, но она никогда их не боялась. Дом у нее в образцовом порядке, каждая мелочь на своем привычном месте, полы всегда чисто выметены, провизия аккуратно заготовлена впрок, шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комода в спальне доверху набиты всякой всячиной, что накопилась за долгие годы.

Миссис Бентли была женщина бережливая. У нее хранились старые билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики, железнодорожные пересадочные билеты — словом, все приметы и свидетельства ее долгой жизни.

— У меня куча пластинок, — говорила она. — Вот Карузо, — это было в Нью-Йорке, в девятьсот шестнадцатом; мне тогда было шестьдесят, и Джон был еще жив... А вот Джун Мун — это, кажется, девятьсот двадцать четвертый год, Джон только что умер...

Вот это было, пожалуй, самым большим огорчением в ее жизни: то, что она больше всего любила слушать, видеть и ощущать, ей сохранить не удалось. Джон остался далеко в лугах, он лежит там в ящике, а ящик надежно спрятан под травой, а над ним написано число... и теперь ей ничего от него не осталось, только высокий шелковый цилиндр, трость да выходной костюм, что висит в гардеробе. А все остальное пожрала моль.

Но миссис Бентли сохранила все, что могла. Пять лет назад, когда она переехала в этот город, она привезла с собой огромные черные сундуки — там, пересыпанные шариками нафталина, лежали смятые платья в розовых цветочках и хрустальные вазочки ее детства. Покойный муж владел всякого рода недвижимым имуществом в разных городах, и она передвигалась из одного города в другой, словно пожелтевшая от времени шахматная фигура из слоновой кости, продавая все подряд, пока не очутилась здесь, в чужом, незнакомом городишке, окруженная своими сундуками и темными уродливыми шкафами и креслами, застывшими по углам, будто давно вымершие звери в допотопном зоологическом саду.

Происшествие с детьми случилось в середине лета. Миссис Бентли вышла из дому полить дикий виноград у себя на парадном крыльце и увидела, что на лужайке преспокойно разлеглись две девочки и мальчик, — свежескошенная трава покалывала их голые руки и ноги, и это им явно нравилось.

Миссис Бентли благодушно улыбнулась всем своим желтым морщинистым лицом, и в эту минуту из-за угла появилась тележка с мороженым. Точно оркестр крошечных эльфов, она вызванивала ледяные мелодии, острые и колючие, как звон хрустальных бокалов в умелых руках, созывая и маня к себе всех вокруг. Дети тотчас же сели и все разом, словно подсолнухи к солнцу, повернули головы в сторону тележки.

— Хотите мороженого? — спросила миссис Бентли и окликнула: — Эй, сюда!

Тележка остановилась, звякнули монетки, и в руках у миссис Бентли очутились бруски душистого льда. Дети с полным ртом поблагодарили ее и принялись с любопытством разглядывать — от башмаков на пуговицах до седых волос.

— Дать вам немножко? — спросил мальчик.

— Нет, детка. Я уже старая, и мне ничуть не жарко. Я, наверно, не растаю даже в самый жаркий день, — засмеялась миссис Бентли.

Со сладкими сосульками в руках дети поднялись на тенистое крыльцо и уселись рядышком на ступеньку.

— Меня зовут Элис, это Джейн, а это — Том Сполдинг.

— Очень приятно. А я — миссис Бентли. Когда-то меня звали Элен.

Дети в изумлении уставились на нее.

— Вы не верите, что меня звали Элен? — спросила миссис Бентли.

— А я не знал, что у старух бывает имя, — жмурясь от солнца, ответил Том.

Миссис Бентли сухо засмеялась.

— Он хочет сказать, старух не называют по имени,— пояснила Джейн.

— Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, дружок, тебя тоже никто не станет называть Джейн. Стариков всегда величают очень торжественно — только «мистер» или «миссис», не иначе. Люди помоложе не хотят называть старуху Элен. Это звучит очень легкомысленно.

— А сколько вам лет? — спросила Элис.

— Ну, я помню даже птеродактиля,— улыбнулась миссис Бентли.

— Нет, правда, сколько?

— Семьдесят два.

Дети задумчиво пососали свои ледяные лакомства.

— Да-а, уж это старая так старая,— сказал Том.

— А ведь я чувствую себя так же, как тогда, когда была в вашем возрасте,— сказала миссис Бентли.

— В нашем?

— Конечно. Когда-то я была такой же хорошенькой девчуркой, как ты, Джейн, и ты, Элис.

Дети молчали.

— В чем дело?

— Ни в чем.

Джейн поднялась на ноги.

— Как, неужели вы уже уходите? Даже не доели мороженое... Что-нибудь случилось?

— Мама всегда говорит, что врать нехорошо,— заметила Джейн.

— Конечно, нехорошо. Очень плохо,— подтвердила миссис Бентли.

— И слушать, когда врут,— тоже нехорошо.

— Кто же тебе соврал, Джейн?

Джейн взглянула на миссис Бентли и смущенно отвела глаза:

— Вы.

— Я? — Миссис Бентли засмеялась и приложила сморщенную руку к тощей груди.— Про что же?

— Про себя. Что вы были девочкой.

Миссис Бентли выпрямилась и застыла.

— Но я и правда была девочкой, такой же, как ты, только много лет назад.

— Пойдем, Элис. Том, пошли.

— Постойте,— сказала миссис Бентли.— Вы что, не верите мне?

— Не знаю,— сказала Джейн.— Нет, не верим.

— Но это просто смешно! Ведь ясно же: все когда-то были молодыми!

— Только не вы,— потупив глаза, чуть слышно шепнула Джейн, словно про себя. Ее палочка от мороженого упала в лужицу ванили на крыльце.

— Ну конечно, мне было и восемь, и девять, и десять лет, так же, как всем вам.

Девочки хихикнули, но, спохватившись, тотчас умолкли. Глаза миссис Бентли сверкнули.

— Ладно, не могу я целое утро спорить без толку с маленькими глупышами. Ясное дело, мне тоже когда-то было десять лет и я была такая же глупая.

Девочки засмеялись. Том смущенно поежился.

— Вы просто шутите,— все еще смеясь, сказала Джейн.— По правде, вам никогда не было десяти лет, да?

— Ступайте домой!— вдруг крикнула миссис Бентли, ей стало невтерпеж под их взглядами.— Нечего тут смеяться!

— И вас вовсе не зовут Элен?

— Разумеется, меня зовут Элен!

— До свиданья!— сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке; Том ползлелся за ними.— Спасибо за мороженое!

— Я и в классы играла!— крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже не было.

Весь день после этого миссис Бентли яростно громыхла чайниками и кастрюлями, с шумом готовила свой скудный обед и то и дело подходила к двери в надежде поймать этих дерзких дьяволят,— уж наверно они бродят где-нибудь поблизости и смеются. Впрочем... если она и увидит их снова, что им сказать? Да и с какой стати они занимают ее мысли?

— Подумать только,— сказала миссис Бентли, обращаясь к изящной фарфоровой чашечке, расписанной букетиками роз.— В жизни еще никто не сомневался, что и я когда-то была девочкой. Это глупо и жестоко. Я ничуть не горюю, что я уже старая... почти не горюю. Но отнять у меня детство — ну уж нет!

Ей казалось — дети бегут прочь под дуплистыми деревьями, унося в холодных пальцах ее юность, незримую, как воздух.

После ужина миссис Бентли, сама не зная зачем, с бессмысленным упорством наблюдала, как ее руки, точно пара призрачных перчаток на спиритическом сеансе, собирают в надушенный носовой платок некие необходимые предметы. Потом она вышла на крыльцо и простояла там, не шевелясь, добрых полчаса.

Наконец, внезапно, точно спугнутые ночные птицы, мимо пронеслись дети, но оклик миссис Бентли остановил их на лету:

— Что, миссис Бентли?

— Поднимитесь ко мне на крыльцо,— приказала она.

Девочки повиновались, следом поднялся и Том.

— Что, миссис Бентли?

Они старательно нажимали на слово «миссис», как будто это и было ее настоящее имя.

— Я хочу показать вам несколько очень дорогих мне вещей.

Миссис Бентли развернула надушенный узелок и сперва заглянула в него сама, точно ожидала найти там нечто удивительное и для себя. Потом вынула маленькую круглую гребенку, на ней поблескивали фальшивые бриллиантики.

— Я носила ее в волосах, когда мне было девять лет,— объяснила она.

Джейн повертела гребенку в руке:

— Очень мило.

— Покажи-ка! — закричала Элис.

— А вот крохотное колечко, я носила его, когда мне было восемь лет,— продолжала миссис Бентли.— Видите, теперь оно не лезет мне на палец. Если посмотреть на свет, видна Пизанская башня, кажется, что она вот-вот упадет.

— Ну покажи мне, Джейн!

Девочки передавали колечко друг другу, и наконец оно очутилось на пальце у Джейн.

— Смотрите, оно мне как раз! — воскликнула она.

— А мне — гребенка! — изумилась Элис.

Миссис Бентли вынула из платка несколько камешков.

— Вот,— сказала она.— Я в них играла, когда была маленькая.

Она подбросила камешки, и они упали на крыльцо причудливым созвездием.

— А теперь взгляните.— И старуха торжествующе подняла вверх раскрашенную фотографию, свой главный козырь. Фотография изображала миссис Бентли семи лет от роду, в желтом, пышном как бабочка платье, с золотистыми кудрями, синими-пресиними глазами и пухлым ротиком херувима.

— Что это за девочка? — спросила Джейн.

— Это я!

Элис и Джейн впились глазами в фотографию.

— Ни капельки не похоже,— просто сказала Джейн.— Кто хочешь может раздобыть себе такую карточку.

Они подняли головы и долго вглядывались в морщинистое лицо.

— А у вас есть еще карточки, миссис Бентли? — спросила Элис.— Какие-нибудь попозже? Когда вам было пятнадцать лет, и двадцать, и сорок, и пятьдесят?

И девочки торжествующе захихикали.

— Я вовсе не обязана ничего вам показывать,— сказала миссис Бентли.

— А мы вовсе не обязаны вам верить,— возразила Джейн.

— Но ведь эта фотография доказывает, что и я была девочкой!

— На ней какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-нибудь взяли.

— Я и замужем была!

— А где же мистер Бентли?

— Он давно умер. Если бы он был сейчас здесь, он бы рассказал вам, какая я была молоденькая и хорошенькая в двадцать два года.

— Но его здесь нету, и ничего он не может рассказать, и ничего это не доказывает.

— У меня есть брачное свидетельство.

— А может, вы его тоже у кого-нибудь взяли. Нет, вы найдите такого человека, чтоб сказал, что видел вас много-много лет назад и вам было десять лет,— вот тогда я поверю, что вы в самом деле были молодой.— И Джейн даже зажмурилась, уверенная в своей правоте.

— Тысячи людей видели меня в то время, но они уже умерли, дурочка, или больны, или живут в других городах. А в вашем городе я не знаю ни души, я ведь совсем недавно тут поселилась, и никто здесь не видел меня молодой.

— Ага, то-то! — И Джейн подмигнула Тому и Элис.— Никто не видел!

— Да погоди же! — Миссис Бентли схватила девочку за руку.— Таким вещам верят без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же старые, как я. И вам тоже люди не станут верить. Они скажут: «Нет, эти старые вороны никогда не были ласточками, эти совы не могли быть иволгами, эти попугаи не были певчими дроздами». Да-да, придет день — и вы станете такими же, как я!

— Ну нет,— ответили девочки.— Ведь правда этого не может быть? — спрашивали они друг друга.

— Вот увидите,— сказала миссис Бентли.

А про себя думала: «Господи Боже, дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть. Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами».

— Вот ты,— обратилась она к Джейн,— неужели ты не замечала, что твоя мама с годами меняется?

— Нет,— ответила Джейн.— Она всегда была такая, как теперь.

И это правда. Когда живешь все время рядом с людьми, они не меняются ни на йоту. Вы изумляетесь происшедшим в них переменам, только если расстаетесь надолго, на годы. И миссис Бентли вдруг показалось, что она целых семьдесят два года мчалась в грохочущем черном поезде, и вот наконец поезд остановился у вокзала и все кричат: «Ты ли это, Элен Бентли?!»

— Теперь мы, пожалуй, пойдем домой,— сказала Джейн.— Спасибо за колечко, оно мне в самый раз.

— Спасибо за гребенку, она очень красивая.

— Спасибо за карточку той девочки.

— Погодите! — закричала миссис Бентли им вслед (они уже сбегали по ступенькам).— Отдайте! Это все мое!

— Не надо,— попросил Том, догоняя девочек.— Отдайте.

— Нет, она все это украла. Это все вещи какой-то девочки, а она их просто украла. Спасибо! — еще раз крикнула Элис.

Миссис Бентли кричала, звала, но они исчезли, точно мотыльки в ночи.

— Простите,— сказал Том. Он снова стоял на лужайке и глядел на миссис Бентли. Потом и он ушел.

«Они унесли мое колечко, и мою гребенку, и фотографию,— думала миссис Бентли, она стояла на крыльце и вся дрожала.— И ничего не осталось, совсем ничего! Ведь это была часть моей жизни!»

Ночью, лежа среди своих сундуков и безделушек, она долгие часы не смыкала глаз. Она обводила взглядом тщательно сложенные в стопки доскуты, игрушки и страусовые перья и говорила вслух:

— Да полно, мое ли все это?

Может быть, просто старуха пытается уверить себя, что и у нее было прошлое? В конце концов, что минуло, того больше нет и никогда не будет. Человек живет сегодня. Может, она и была когда-то девочкой, но теперь это уже все равно. Детство миновало, и его больше не вернуть.

В комнату дохнул ночной ветер. Белая занавеска трепетала на темной трости, что стояла у стены рядом со всякой всячиной, копившейся долгие годы. Порыв ветра качнул трость, и она с негромким стуком упала прямо в пятно лунного света на полу. Сверкнул золотой набалдашник. Это была парадная трость ее покойного мужа. Казалось, он указывает ею сейчас на миссис Бентли, как это бывало, когда они — очень редко! —

ссорились и он увещевал ее своим мягким, печальным и рас- судительным голосом.

— Дети правы,— сказал бы он ей.— Они у тебя ничего не украли, дорогая. Все это уже не принадлежит тебе. Оно принадлежало той, другой тебе, и это было так давно.

Господи, подумала миссис Бентли. И тут, словно зашипел валик старинного фонографа под стальной иголкой, она ясно услышала свой разговор с мужем. Мистер Бентли, такой подтянутый, даже немного чопорный, с розовой гвоздикой на безукоризненном лацкане, говорил ей:

— Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. Ты всегда хочешь оставаться такой, какой была прежде, а это невозможно: ведь сегодня ты уже не та. Ну зачем ты бережешь эти старые билеты и театральные программы? Ты потом будешь только огорчаться, глядя на них. Выкинь-ка их лучше вон.

Но миссис Бентли упрямо хранила все билеты и программы.

— Это не поможет,— говорил мистер Бентли, попивая свой чай.— Как бы ты ни старалась оставаться прежней, ты все равно будешь только такой, какая ты сейчас, сегодня. Время гипнотизирует людей. В девять лет человеку кажется, что ему всегда было девять и всегда так и будет девять. В тридцать он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минет семьдесят — ему всегда и навсегда семьдесят. Человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее; но иного он никогда не увидит и не узнает.

Это был один из немногих и очень дружеских споров в их мирной семейной жизни. Джон никогда не одобрял ее склонности собирать памятки о прошлом.

— Будь тем, что ты есть, поставь крест на том, чем ты была,— говорил он.— Старые билеты — обман. Беречь всякое старье — только пытаться обмануть себя.

Был бы он жив сегодня, что бы он сказал?

— Ты бережешь коконы, из которых уже вылетела бабочка,— сказал бы он.— Старые корсеты, в которые ты уже никогда не влезешь. Зачем же их беречь? Доказать, что ты была когда-то молода, невозможно. Фотографии? Нет, они лгут. Ведь ты уже не та, что на фотографиях.

— А письменные показания под присягой?

— Нет, дорогая, ведь ты не число, не чернила, не бумага. Ты — не эти сундуки с тряпьем и пылью. Ты — только та, что здесь, сейчас, сегодня, сегодняшняя ты.

Миссис Бентли кивнула. Ей стало легче дышать.

— Да, я понимаю... Понимаю.

Трость с золотым набалдашником поблескивала в лунных бликах на ковре.

— Утром я со всем этим покончу,— сказала миссис Бентли, обращаясь к трости.— Отныне я буду только тем, что я есть сегодня. Да, решено, так и будет.

И она уснула.

Утро настало зеленое, солнечное, в дверь уже осторожно стучались обе девочки.

— У вас есть еще что-нибудь для нас, миссис Бентли? Еще какие-нибудь вещи той девочки?

Миссис Бентли повела их из прихожей в библиотеку.

— Возьми вот это.— И она протянула Джейн платье, в котором когда-то, в пятнадцать лет, играла дочь мандарина.— И это, и вот это.— Она отдала калейдоскоп и увеличительное стекло.— Берите все, что хотите,— говорила миссис Бентли.— Книжки, коньки, куклы, все... Все это ваше.

— Наше?!

— Только ваше. И вот что: помогите мне в одном деле, я собираюсь развести на заднем дворе большой костер. Нужно вынуть все из сундуков и выбросить всякий хлам, пусть его забирает старьевщик. Все это уже не мое. Ничего нельзя сохранить навеки.

— Мы поможем,— сказали девочки.

Миссис Бентли повела их на задний двор. Она захватила коробку спичек, девочки несли по охапке всячины.

И потом все лето обе девочки и Том часто сидели в ожидании на ступеньках крыльца миссис Бентли, как птицы на жердочке. А когда слышались серебряные колокольчики мороженщика, дверь отворялась и из дома выплывала миссис Бентли, погрузив руку в кошелек с серебряной застежкой, и целых полчаса они оставались на крыльце вместе, старуха и дети, и смеялись, и лед таял, и таяли шоколадные сосульки во рту. Теперь наконец они стали добрыми друзьями.

— Сколько вам лет, миссис Бентли?

— Семьдесят два.

— А сколько вам было пятьдесят лет назад?

— Семьдесят два.

— И вы никогда не были молодая и никогда не носили лент и вот таких платьев?

— Никогда.

— А как вас зовут?

— Миссис Бентли.

— И вы всю жизнь прожили в этом доме?

— Всю жизнь.

- И никогда не были хорошенькой?
- Никогда.
- Никогда-никогда за тысячу миллионов лет?

В душевной тишине летнего полудня девочки пытливо склонялись к старой женщине и ждали ответа.

— Никогда,— отвечала миссис Бентли.— Никогда-никогда за тысячу миллионов лет.

* * *

- Ты приготовил блокнот, Дуг?
- Конечно! — И Дуглас хорошенько полизал карандаш.
- Что у тебя там уже записано?
- Все обряды.
- Четвертое июля, и как делают вино из одуванчиков, и еще всякая чепуха вроде того, как на веранду вешают качели, да?

— Вот тут сказано, когда я в это лето первый раз ел эскимо — первого июня тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

— Какое же это лето, это еще весна.

— Все равно это было в первый раз, потому я и записал. Купил новые теннисные туфли — двадцать пятого июня. В первый раз ходил босиком по траве — двадцать шестого июня. Бим-бом, би-ри-бом — побежали босиком! А про тебя что записать, Том? Еще что-нибудь «в первый раз»? Какой-нибудь чудной обряд, может, про каникулы, вроде того, что ловили крабов в ручье или поймали водяного паука-скорохода?

— Еще никто на свете не поймал водяного скорохода. Знаешь ты такого человека, который его поймал? Ну-ка, подумай!

— Думаю.

— И что?

— Правильно. Никто не поймал. И не поймают, наверно. Они уж очень быстрые.

— Да не в том дело. Их просто не бывает,— сказал Том. Еще чуть подумал и убежденно кивнул головой.— Вот то-то и оно, их просто нет на свете и никогда не было. А запиши вот что...

Он наклонился и пошептал брату на ухо.

Дуглас все записал.

Потом они оба это перечитали.

— Чтоб мне провалиться! — воскликнул Дуглас.— А я и не додумался! Вот это да! Ясно, как апельсин: старики никогда не были детьми.

— А правда это как-то грустно? — задумчиво сказал Том.— И уж тут ничем не поможешь.

— Похоже, в городе полно машин,— сказал на бегу Дуглас.— У мистера Ауфмана — Машина счастья, у мисс Ферн и мисс Роберты — Зеленая машина. А у тебя что, Чарли?

— Машина времени,— пропыхтел Чарли Вудмен и обогнал Дугласа.— Вот честное-пречестное.

— И на ней можно съездить в прошлое и в будущее? — спросил Джон Хаф, легко обходя их обоих.

— Только в прошлое, нельзя же все сразу. Стоп, приехали. Чарли Вудмен остановился у живой изгороди.

Дуглас всмотрелся в старый дом:

— Да ведь тут живет полковник Фрилей! Ну уж нет, тут не будет никаких машин. Он, во-первых, никакой не изобретатель, а потом, если бы он и изобрел, да не что-нибудь, а Машину времени, мы бы давным-давно про это узнали.

Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам крыльца. Дуглас только презрительно фыркнул и покачал головой, но с места не двинулся.

— Ну и не ходи, раз ты такой упрямый осел,— сказал Чарли.— Правильно, полковник Фрилей не изобрел Машину времени, а только он тоже ее хозяин, и она всегда здесь. Мы просто дураки, что раньше ее не разглядели. Будь здоров, Дуглас Сполдинг, оставайся тут, тебе же хуже.

Чарли взял Джона под руку, точно вел даму, открыл затянутую сеткой дверь веранды и вошел. Дверь не хлопнула.

Дуглас придержал ее и молча последовал за друзьями.

Чарли прошел через всю веранду, постучал и отворил дверь в дом. Все трое, вытянув шеи, заглянули через длинную темную переднюю в комнату, где свет был зеленоватый, тусклый и какой-то водянистый, точно в подводной пещере.

— Полковник Фрилей!

Молчание.

— Он не очень-то хорошо слышит,— шепнул Чарли.— Он говорил: «Прямо входи и покричи погромче». Полковник!

Ничего. Только откуда-то сверху, крутясь, сыпалась пыль и оседала на винтовой лестнице. Потом из той подводной комнаты-пещеры донесся легкий шорох.

Мальчики осторожно прошли через прихожую и заглянули в комнату — там только и было что старик да кресло. И чем-то они походили друг на друга — оба такие тощие и костлявые, что, кажется, сразу видны все суставы и сочленения, видно, где прикрепляются мышцы и сухожилия, а где планки и шарниры. А еще в комнате были грубый дощатый пол, голые стены и потолок и очень много тишины.

— Он совсем как мертвый, — прошептал Дуглас.

— Нет, это он придумывает, куда бы еще съездить попутешествовать, — негромко и очень гордо сказал Чарли. — Полковник!

Один из двух темных предметов в комнате шевельнулся — это и был полковник; он подслеповато поморгал, взгляделся и расплылся в широчайшей беззубой улыбке.

— Чарли!

— Полковник, это Дуглас и Джон, они пришли, чтобы...

— Рад вам, ребята. Садитесь, садитесь.

Мальчики неловко уселись на пол.

— Но где же... — начал было Дуглас.

Чарли поспешно ткнул его локтем в бок.

— Ты о чем? — спросил полковник Фрилей.

— Он хотел сказать, где же толк, если мы сами будем говорить. — Чарли украдкой подмигнул Дугласу, потом улыбнулся полковнику. — Нам совсем нечего сказать, полковник. Лучше вы расскажите нам что-нибудь.

— Берегись, Чарли. Мы, старики, только и ждем случая поговорить. Только попроси — и пойдем трещать, будто старый ржавый лифт: закрихтел да и пополз вверх с этажа на этаж.

— Чин Линсу, — словно невзначай сказал Чарли.

— Как? — переспросил полковник.

— Бостон, — подсказал Чарли, — девятьсот десятый год.

— Бостон, девятьсот десятый... — Полковник нахмурился. —

Ну да, конечно. Чин Линсу!

— Да, сэр, полковник Фрилей.

— Дайте-ка мне вспомнить... — Старик невнятно забормотал, голос его словно уносился вдаль, над безмятежными водами тихого озера... — Дайте-ка мне вспомнить...

Мальчики ждали.

Полковник глубоко вздохнул, еще помедлил...

— Первое октября десятого года, тихий прохладный осенний вечер, театр варьете в Бостоне... Да, так оно и было. Народу — битком, и все ждут. Оркестр, трубы, занавес! Чин Линсу, великий восточный маг и чародей! Вот он, на сцене. А вот я, в середине первого ряда. Он кричит: «Фокус с пулей! Кто хочет попробовать?» Мой сосед встает и идет к сцене. «Осмотрите ружье, — говорит Чин Линсу. — Теперь пометьте пулю. Вот так. Теперь стреляйте меченой пулей из этого самого ружья прямо мне в лицо, а я буду стоять на другом конце сцены и поймаю пулю зубами!»

Полковник Фрилей перевел дух и умолк.

Дуглас глядел на него во все глаза, изумленный и зачарованный. Джон Хаф и Чарли совсем оцепенели. Старик снова

заговорил, он сидел неподвижно, точно каменный, только губы шевелились.

— «Готовься, целься, пли!» — кричит Чин Линсу. Трах! Гремит ружье. Трах! Чин Линсу вскрикивает, шатается, падает, лицо залито кровью. Шум, гам, ад кромешный, все вскакивают на ноги. Что-то неладно с ружьем. Кто-то говорит: «Мертв». И верно. Мертв. Ужасно, ужасно... Никогда не забуду... Лицо точно алая маска, занавес быстро опускается, женщины плачут... Девятьсот десятый год... Бостон... Театр варьете... Бедняга... Бедняга...

Полковник Фрилей медленно открывает глаза.

— Бог ты мой, полковник, — говорит Чарли. — Вот уж здорово так здорово. А теперь хорошо бы про Поуни Билла.

— Про Поуни Билла?

— Вы тогда еще были в прериях, давно, в восемьсот семьдесят пятом...

— Поуни Билл... — Полковник ошупью двигался во тьме. — Тысяча восемьсот семьдесят пятый... Да, мы с Поуни Биллом ждем на пригорке, в самом сердце прерии... «Ш-ш-ш, — говорит Поуни Билл. — Слушай!» Прерия — как огромная сцена, все готово, пора начинаться грозе. Раскат грома. Сначала глухой. Еще раскат. На этот раз ближе, громче. И во всю ширь прерии, насколько хватает глаз, надвигается зловещая бурая туча, полная черных молний, — стелется низко-низко, миль пятьдесят в ширину, миль пятьдесят в длину, миля в высоту и всего на дюйм от земли. А я стою на пригорке и кричу: «Господи, помилуй!» Земля бьется, точно обезумевшее сердце, ребятки, точно сердце, охваченное ужасом. Я трясусь как осинный лист. Земля дрожит. Трах-тара-рах, грохочет гром. Так и громыхает. Ох, как она гремела, эта гроза, и все надвигалась, наступала и весь мир закрыла эта туча. «Это они!» — кричит Поуни Билл. И туча эта была не туча, а песок! Не пар, не дождь, нет, а песок, его взмело со всей прерии, с высохшей жухлой травы, он был как мука самого тонкого помола, как цветочная пыльца и так и сверкал на солнце, потому что теперь и солнце появилось в небе. Я опять как закричу... Отчего? Да оттого, что эту пыль будто адское пламя пронизало, будто занавес отдернули на свету, — и тут я их увидел, клянусь вам, увидел своими глазами! То было великое войско древних прерий — бизоны!

Полковник умолк; когда тишина стала невыносимой, он продолжал:

— Головы — точно кулаки великана негра, туловища — как паровозы. Будто на западе выстрелили двадцать, пятьдесят,

двести тысяч пушек и снаряды сбились с пути и мчатся, рассыпая огненные искры, глаза у них как горящие угли, и вот сейчас они с грохотом канут в пустоту...

Пыль взметнулась к небу, смотрю — развеваются гривы, проносятся горбатые спины — целое море, черные косматые волны вздымаются и опадают... «Стреляй! — кричит Поуни Билл.— Стреляй!» А я стою и думаю — я ж сейчас как Божья кара... и гляжу, а мимо бешеным потоком мчится яростная силища, точно полночь среди дня, точно нескончаемая похоронная процессия, черная и сверкающая, горестная и невозвратимая, а разве можно стрелять в похоронную процессию, как вы скажете, ребята? Разве это можно? В тот час я хотел только одного — чтобы песок снова скрыл от меня эти черные, грозные силуэты судьбы, как они сталкиваются и бьются друг о друга в диком смятении. И представьте, ребята, пыль и правда осела и скрыла миллион копыт, которые подняли весь этот гром, вихрь и бурю. Поуни Билл выругался да как стукнет меня по руке! Но я был рад, что не тронул эту тучу или силу, которая скрывалась в ней, ни единой крупинкой свинца. Так бы все и стоял и смотрел, как само время катит мимо на громадных колесах, под покровом бури, что подняли бизоны, и уносится вместе с ними в вечность.

Час, три, шесть часов прошло, пока буря не унеслась за горизонт к людям, не таким добрым, как я. Поуни Билл куда-то исчез, я остался один, я совсем оглох и словно окаменел. Потом пошел, сто миль на юг шел до ближайшего города, и не слышал человеческих голосов, и рад был, что не слышу. Хотелось, чтоб в ушах еще звучал этот гром. Я и сейчас его слышу, особенно летом, вот в такие дни, как нынче, когда над озером стеной стоит дождь... устрашающий, ни на что не похожий грохот... Вот бы и вам когда-нибудь его услышать...

В полумраке большой нос полковника Фрилея чуть просвечивал, словно белая фарфоровая чашка, в которую налили очень слабого и чуть теплого апельсинового чая.

— Он заснул? — спросил наконец Дуглас.

— Нет, — ответил Чарли. — Просто перезаряжает свои батареи.

Полковник дышал часто и неглубоко, как будто запыхался от долгого бега. Потом он открыл глаза.

— Да, сэр? — восторженно сказал Чарли.

— Здравствуй, Чарли! — И полковник недоуменно улыбнулся остальным ребятам.

— Это Дуглас, а вот это — Джон, — сказал Чарли.

— Рад познакомиться, мальчики.

Мальчики поздоровались.

— Но где же... — начал снова Дуглас.

— Ох и дурак же ты! — Чарли ткнул Дугласа в бок, потом повернулся к полковнику: — Вы говорили, сэр...

— Я что-то говорил? — пробормотал старик.

— Про войну Севера и Юга, — вполголоса подсказал Джон Хаф. — Он ее помнит?

— Помню ли я Гражданскую войну? — встрепенулся полковник. — Ну еще бы! — Голос его задрожал, и он снова закрыл глаза. — Все, все помню, вот только... на чьей же стороне я сражался?

— А какого цвета у вас был мундир?.. — спросил Чарли.

— Цвета начинают путаться, — прошептал полковник. — Они тускнеют. Я вижу рядом солдат, но уже давно не помню, какие на них шинели и кепи — серые или синие. Я родился в штате Иллинойс, учился в Вирджинии, женился в Нью-Йорке, дом построил в Теннесси, а теперь, под конец жизни, слава Богу, опять здесь, в Грингауне. Теперь вы понимаете, почему у меня все цвета перепутались?

— Но ведь вы помните, по какую сторону гор дрались? — Чарли говорил совсем тихо. — Солнце вставало справа от вас или слева? Вы шли к Канаде или к Мексике?

— Иногда солнце вроде бы вставало со стороны моей здоровой руки, правой, а иногда — из-за левого плеча. И шли мы то туда, то сюда. Тому теперь уж лет семьдесят. За такой долгий срок немудрено и позабыть, с какой стороны всходило солнце.

— Ну а победы вы какие-нибудь помните? Выиграли же вы хоть какое-нибудь сражение?

— Нет, не припомню, — словно откуда-то издалека прозвучал голос старого полковника. — Никто никогда ничего не выигрывает. В войне вообще не выигрывают, Чарли. Все только и делают, что проигрывают, и кто проиграет последним, просит мира. Я помню лишь вечные проигрыши, поражение и горечь, а хорошо было только одно — когда все кончилось. Вот конец — это, можно сказать, выигрыш, Чарльз, но тут уж пушки ни при чем. Хотя вы-то, конечно, не про такие победы хотели услышать, правда?

— Антиетам, — сказал Джон Хаф. — Спроси его про Антиетам.

— Я там был.

У мальчиков заблестели глаза.

— Бул-Ран, спроси его про Бул-Ран...

— Я там был, — очень тихо сказал полковник.

— А как насчет Шайло?

— Я всю жизнь его вспоминаю и говорю себе: стыд и срам, что такое красивое название сохранилось только в старой военной хронике.

— Ну, значит, про Шайло. А форт Самтер?

— Я видел там первые клубы порохового дыма, — мечтательно сказал полковник. — Многое приходит на память, очень многое... Помню песни: «На Потوماке нынче тихо, солдаты мирно спят; под осеннею луною палатки их блестят...» Помню, помню и дальше: «На Потوماке нынче тихо, лишь плещет волна; часовым убитым не встать ото сна...» А когда они капитулировали, мистер Линкольн вышел на балкон Белого дома и попросил оркестр сыграть «Будьте на страже...». А потом одна леди из Бостона как-то ночью сочинила песню, которая будет жить тысячу лет: «Видели мы воочию — Господь наш нисходит с неба; он попирает лозы, где зреют гроздья гнева...» По ночам я, сам не знаю отчего, начинаю шевелить губами и пою про себя: «Слава вам, слава, воины Дикси! Стойте на страже родных побережий...» и «Когда герои наши с победой возвратятся, их увенчают лавры, их встретит гром оваций...» Сколько песен! Их пели обе стороны, ночной ветер относил их то на юг, то на север... «Мы идем, отец наш Авраам, триста тысяч воинов идут...», «Станем лагерем, ребята, разобьем палатки...», «Ура, ура, несем свободы знамя...».

Голос старого вояки постепенно затих.

Мальчики долго не шевелились. Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил:

— Ну что, да или нет?

Дуглас два раза шумно вздохнул и ответил:

— Конечно да.

Полковник открыл глаза.

— Что — да? — спросил он.

— Конечно, вы — Машина времени, — пробормотал Дуглас.

Полковник долго смотрел на мальчиков. Потом спросил почти со страхом:

— Так вот как вы меня называете?

— Да, так, сэр.

— Да, сэр.

Полковник медленно откинулся на спинку кресла, посмотрел на мальчиков, потом на свои руки, потом уставился вверх мальчишеских голов на пустую стену.

Чарли встал:

— Пожалуй, нам пора. Всего хорошего, полковник, спасибо вам.

— Что? Да, всего хорошего, ребята.

Дуглас, Джон и Чарли на цыпочках направились к двери.

Они прошли мимо полковника, прямо перед ним, но он их словно и не видел.

Когда они вышли на улицу, из окна второго этажа раздалось:

— Эй!

Все трое вздрогнули и задрали головы.

— Да, сэр.

Полковник высунулся из окна и помахал им рукой:

— Я думал о том, что вы мне сказали, ребята.

— Да, сэр.

— Вы совершенно правы! Как это мне самому не пришло в голову? Машина времени, право слово, ну конечно, Машина времени!

— Да, сэр.

— Всего доброго, мальчики. Приходите когда вздумается, в любой час.

В конце улицы они обернулись — полковник все еще махал им рукой из окна. Они помахали ему в ответ, всем троим стало как-то тепло и приятно. Потом пошли дальше.

— Пф-ф, пф-ф-ф,— запыхтел Джон.— Сейчас уеду в прошлое, за двенадцать лет. Ду-у-у-у-у! Пф-ф-ф, пф-ф-ф.

— Ага, верно,— сказал Чарли, оглядываясь на тихий дом.— А вот за сто лет не уедешь.

— Да, за сто не могу,— задумчиво согласился Джон.— Вот это было бы путешествие! Вот это Машина!

С минуту они шагали в молчании, глядя себе под ноги. Потом перед ними оказался забор.

— Кто перепрыгнет последний, тот девчонка,— сказал Дуглас.

И всю остальную дорогу домой они называли Дугласа Дорой.

* * *

Том проснулся далеко за полночь и увидел, что Дуглас поспешно пишет что-то в своем блокноте при свете карманного фонарика.

— Дуг, что случилось?

— Как — что? Все случилось! Я подсчитываю свои удачи, Том. Вот смотри: Машина счастья не получилась, так? Но

мне наплевать, у меня все равно целый год уже расписан. Если надо побегать по главным улицам Гринтауна, чтобы поглядеть вокруг и подсмотреть, что делается в мире, у меня есть трамвай. А если надо покрутиться где-нибудь по окраинам — стучусь к мисс Роберте и мисс Ферн, они заряжают батареи своего электрического автомобильчика — и поехали! Надо побегать по проулкам или перепрыгнуть через забор и посмотреть, что там делается, за заборами, за домами, за садами, — пожалуйста, на то есть новехонькие теннисные туфли. Значит, так: туфли, Зеленый автомобильчик и трамвай. Чего мне еще надо? Но и это не все, Том. Слушай: я хочу пробраться в такое место, куда никому другому не пробраться, никто до этого и не додумается. Если я отправлюсь в тысяча восемьсот девяностый год, потом перескочу в тысяча восемьсот семьдесят пятый, а потом — в тысяча восемьсот шестидесятый, я как раз поспею на экспресс полковника Фрилея! Вот слушай, что я про это пишу: «Может быть, старики никогда не были детьми, хоть миссис Бентли и спорит; но маленькие они были или большие, а кто-нибудь из них наверняка стоял у Аппоматокса весной тысяча восемьсот шестьдесят пятого года». И у таких зрение — как у индейцев, и они видят назад много дальше, чем мы с тобой когда-нибудь увидим вперед.

— Звучит здорово, Дуг. А что это значит?

Дуглас продолжал писать.

— Это значит, что они — настоящие путешественники, нам с тобой нипочем с ними не сравниться. Если уж очень повезет, мы сможем путешествовать лет сорок, ну пятьдесят, а для них это пустяки. Вот кто ездит девяносто лет, девяносто пять, сотню, тот самый настоящий путешественник.

Фонарик мигнул и погас.

Братья тихо лежали в лунном свете.

— Том, — шепнул Дуглас. — Мне непременно надо испробовать все эти пути. Увидеть все, что только можно. Но главное — мне надо навещать полковника Фрилея хоть раз в неделю, а может, и два, и три раза. Он лучше всех других Машин. Он говорит, а ты знай слушай. И чем больше он говорит, тем больше хочется присмотреться ко всему, что есть вокруг, и все-все разглядеть, все, что можно. Он говорит — ты, мол, едешь в таком особенном, необыкновенном поезде, — и верно, так оно и есть! Он и сам в нем ездил и все знает. А теперь мы с тобой едем по той же дороге, только еще дальше, и надо столько всего увидеть, и понюхать, и потрогать! Вот и нужно, чтобы полковник Фрилей нас подтолкнул и сказал: мол, гляди-

те в оба, запоминайте все-все, каждую секунду! Помнить надо все, что только есть на свете. А потом когда-нибудь сам будешь старый-старый, и к тебе придут ребята, и ты им тоже сможешь, как полковник нам помогает. Вот как оно получается, Том, и мне надо побольше его слушать и почаще пускаться с ним в самые дальние путешествия.

Том помолчал. В темноте он старался разглядеть лицо брата. Потом спросил:

— Дальние путешествия. Ты это сам придумал?

— Может, да, а может, и нет.

— Дальние путешествия,— прошептал Том.

— Одно я точно знаю,— сказал Дуглас, закрывая глаза.—

От этого почему-то тоска берет, как-то одиноко становится.

* * *

Бац!

Хлопнула дверь. На чердаке со старых письменных столов и книжных шкафов взметнулась пыль. Две старушки навалились на дверь чердака, стараясь запереть ее покрепче. Казалось, у них над головами взмыла вверх тысяча голубей. Старушки согнулись, точно под тяжелой ношей, чтобы их не задела громко хлопающие крылья. Потом выпрямились, удивленно раскрыли рты. Нет, это не голуби, это от страха оглушительно стучат их собственные сердца... Стараясь перекричать этот гром, они заговорили:

— Что мы наделали! Бедный мистер Куотермейн!

— Мы, наверно, его убили! И, наверно, кто-нибудь это видел и погнался за нами. Давай посмотрим.

Мисс Ферн и мисс Роберта выглянули в затянутое паутиной чердачное окошко. Внизу, озаренные солнцем, по-прежнему росли дубы и вязы, точно и не случилось страшного несчастья. Мальчишка прошел мимо по тротуару, вернулся, еще раз прошел мимо и, задрвав голову, посмотрел вверх.

На чердаке старушки взглянули друг на друга, будто пытались разглядеть свои лица в быстром ручье.

— Полиция!

Но внизу никто не барабанил во входную дверь, никто не кричал: «Именем закона!»

— Что это за мальчишка?

— Дуглас, Дуглас Сполдинг! Батюшки мои, это он пришел попросить нас прокатить его на Зеленой машине! Он ничего не знает. Наша собственная гордыня нас погубила. Гордыня и эта электрическая штуковина!

И тот ужасный коммивояжер из Гампорт-Фолса. Это он во всем виноват со своими уговорами.

Уговоры, разговоры, точно теплый дождик стучит по крыше.

Им вдруг вспомнился другой день, другой полдень. Они сидят на своей увитой плющом веранде, обмахиваются белыми веерами, а перед ними полные тарелки прохладного, вздрагивающего лимонного желе.

И вот из слепящего солнечного блеска, сверкающая, великолепная, точно карета сказочного принца, возникла...

ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА!

Она скользила. Она что-то нашептывала, ласково, точно морской ветерок. Изящная, словно кленовый лист, свежая, словно ключевая вода, она мурлыкала как кошка, величаво выступая в знойных полуденных лучах. А в машине — коммивояжер из Гампорт-Фолса, его напояженную голову осеняет панاما. Машина на резиновом ходу, она мягко и ловко скользит по выжженному солнцем добела тротуару; вот она, жужжа, подлетает прямо к нижней ступеньке крыльца, вихрем разворачивается и замирает. Выскочил коммивояжер, поскорей надвинул панаму на лоб, спасаясь от солнца. В тени широких ее полей блеснула улыбка.

— Меня зовут Уильям Тара! А это... — он нажал грушу, раздался отрывистый лай, — это сигнал. — Он приподнял черные, блестящие, как шелк, подушки. — Здесь — аккумуляторные батареи! (Пахнуло свежестью, как после грозы.) Вот — стартер. Сюда ставят ноги. Это — тент, защита от солнца. А все вместе — Зеленая машина!

Старушки на темном чердаке вздрогнули, вспоминая все это. Глаза у них были закрыты.

— И почему мы не закололи его вязальными спицами?!

— Ш-ш! Слышишь?

Внизу кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился. Через двор прошла женщина и скрылась в соседнем доме.

— Да это Лавиния Неббс, и в руках у нее пустая чашка. Наверно, хотела занять у нас сахару.

— Обними меня, мне страшно.

Они опять зажмурились. И вновь замелькали воспоминания. Старая соломенная шляпа на кованом сундуке вдруг шевельнулась, точно ею помахал тот коммивояжер из Гампорт-Фолса.

— Чайку прямо с ледника? Спасибо, с удовольствием выпью.

В тишине слышно было, как он глотал прохладительное питье. Потом уставился на старушек, точно доктор, который с помощью своего круглого зеркала заглядывает вам в глаза, в нос и в горло.

— Уважаемые дамы, обе вы — весьма энергичные особы. Это сразу видно. Восемьдесят лет для вас — чистые пустяки! — Он пренебрежительно шелкнул пальцами. — Но имейте в виду: настанут трудные времена, вам будет некогда, ужасно некогда, и вам понадобится друг, друг в беде — истинный друг, не так ли? И этим другом станет для вас двухместная Зеленая машина!

И он устремил сверкающий взор на свой удивительный товар — глаза у него тоже были зеленые, стеклянные, точно у чучела лисы. Машина блестела на солнце, новенькая, еще пахнувшая краской, и ждала их; удобная, уютная, точно козетка из гостиной, поставленная на колеса.

— В ней спокойно, как на пуховой перине. — Его дыхание мягко касалось их лиц. — Послушайте. Ни звука, ни шороха! Все электрическое. Надо только каждый вечер перезаряжать батареи у себя в гараже.

— А вдруг она... то есть... — Младшая сестра отпила глоток ледяного чая. — А не может она убить нас током?

— Совершенно исключено!

Он кинулся в машину, улыбаясь во весь рот, зубы его сверкали; когда поздно вечером возвращаешься домой, так улыбается навстречу реклама зубного порошка.

— В гости, на чашку чая! — Машина описала грациозный круг, точно тур вальса. — В клуб, поиграть в бридж. Провести вечер с друзьями. На праздник. На званый обед. На день рождения. На завтрак «Дочерей американской революции». — Машина упорхнула, с мягким рокотом покатила прочь, точно готовая скрыться навсегда, но тут же неслышно развернулась на своих резиновых шинах и подкатила к крыльцу. Коммивояжер сидел гордый тем, что так прекрасно понимает женскую натуру. — Управлять ею легко. Трогается с места и тормозит изящно и бесшумно. Не требует водительских прав. В жаркие дни ее продувает ветерком. Да что говорить — не машина, а мечта!

Машина скользила мимо крыльца, взад и вперед, а он сидел, закинув голову, самозабвенно закрыв глаза, напомаженные волосы его развевались по ветру.

Потом он устало и почтительно взошел по ступеням на веранду, держа панаму в руке, оглянулся и посмотрел на машину, блистательно выдержавшую все испытания, как смотрит верующий на алтарь с детства знакомой церкви.

— Сударыни, — сказал он вкрадчиво. — Двадцать пять долларов одновременно и потом, на протяжении двух лет, по десять долларов в месяц.

Ферн первой сошла с крыльца и села в машину. Конечно, ей было страшновато. Но у нее чесались руки. Наконец она подняла руку и отважилась нажать резиновую грушу сигнала.

Раздался отрывистый лай.

Роберта восторженно взвизгнула и перегнулась через перила крыльца.

Коммивояжер ликовал вместе с ними. Он свел старшую сестру с крыльца, шумно восторгался машиной и в то же время доставал перо и шарил в своей панаме в поисках какого-нибудь клочка бумаги.

— Вот так мы ее и купили, — вспоминала теперь на чердаке мисс Роберта, сама ужасаясь столь дерзкому поступку. — Все это надо было предвидеть! Да я-то всегда считала, что в этой машине есть что-то сумасбродное, как в карусели, которую привозит с собой бродячий цирк.

— Но ты же знаешь, у меня уже столько лет болит нога, — точно оправдываясь, возразила Ферн. — Да и ты всегда устаешь, когда ходишь пешком. И мне казалось, что ездить в машине — это так утонченно, так величественно. Будто в старину, когда женщины носили кринолины. Они словно плыли по воздуху! И наша Зеленая машина тоже плыла, так ровно и величаво!

Точь-в-точь маленькая лодочка, управлять на диво легко — знай себе поворачивай рукоятку, только и всего.

Ах, какая это была чудесная, упоительная неделя — волшебные дни, полные золотого света: машина, жужжа, проплывает по тенистому городу, словно лодка по сонной, недвижной реке, а ты сидишь, гордо выпрямившись, улыбаешься встречным знакомым, невозмутимо выбрасываешь морщинистую руку при каждом повороте, а на перекрестках выжимаешь из резиновой груши хриплый лай; порой берешь прокатиться Дугласа или Тома Сполдинга или еще какого-нибудь мальчишку из тех, что, весело болтая, бегут рядом с машиной. Предельная скорость — пятнадцать неспешных и приятнейших миль в час. Так они катили сквозь летнее солнце и сквозь тени, а мимо проплывали деревья, бросая на их лица мимолетные пятна и блики, и вновь машина появлялась, и вновь исчезала, точно древний призрак на колесах.

— И надо же, чтобы сегодня... — прошептала Ферн. — Ах, надо же!

— Это был несчастный случай.

— Да, но мы удрали, а это уже преступление.

Это случилось сегодня. Пахло кожаными подушками сиденья и еще их собственными привычными старыми духами, которыми за десятки лет пропахло все их белье и платье, — этот запах струился вслед, когда Зеленая машина бесшумно двигалась по маленькому, оглушенному зноем городку.

Все произошло очень быстро. Улицы накалил зной, поэтому в полдень, когда укрыться от палящего солнца можно было только в тени деревьев, что нависали из соседних садов, машина мягко вкатилась на тротуар и дошла до угла, сигнала изо всех сил. И вдруг, точно чертик из коробочки, перед ней неизвестно откуда вырос мистер Куотермейн.

— Осторожно! — взвизгнула мисс Ферн.

— Осторожно! — взвизгнула мисс Роберта.

— Осторожно! — взвизгнул мистер Куотермейн.

Старушки в ужасе ухватились друг за друга, хотя хвататься нужно было, конечно, за тормоза.

Устрашающий глухой удар. Зеленая машина покатила дальше в ярком солнечном свете, под тенистыми каштанами, мимо яблонь, на которых уже наливались яблоки. Один только раз старушки оглянулись — и то, что они увидели, наполнило их души несказанным ужасом.

Куотермейн лежал на тротуаре, немой и неподвижный.

— Дожили! — горестно говорила теперь мисс Ферн, сидя на чердаке, где сгущалась тьма. — Ох, почему мы не остановились! Зачем мы удрали!

— Ш-ш! — Обе прислушались.

Внизу опять кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился, и в тусклом свете сумерек по лужайке прошел мальчик.

— Это только Дуглас Сполдинг — наверно, хотел еще разок прокатиться.

И обе тяжело вздохнули. Проходили часы. Солнце клонилось к закату.

— Мы торчим здесь целый день, — устало сказала наконец Роберта. — Но не можем же мы просидеть на чердаке три недели, пока все забудут, что случилось.

— Мы просто умрем с голоду.

— Что же нам делать? Как ты думаешь, кто-нибудь видел и выследил нас?

Они поглядели друг на друга.

— Нет. Никто не видел.

Город затихал, во всех домишках зажигались огни. Снизу доносился запах политой травы и стряпни — всюду готовили ужин.

— Пора ставить мясо на плиту,— сказала мисс Ферн.— Через десять минут вернется Фрэнк.

— Очень страшно идти вниз.

— Если Фрэнк увидит, что нас нет, он позвонит в полицию. Тогда будет еще хуже.

За окном быстро темнело. Теперь они уже и друг друга не могли разглядеть в туманной мгле.

— Как ты думаешь, он умер? — спросила мисс Ферн.

— Мистер Куотермейн?

Молчание.

— Кто же еще...

Роберта ответила не сразу:

— Посмотрим в вечерней газете.

Они открыли дверь чердака и опасливо оглядели лестницу.

— Если Фрэнк узнает, он отнимет у нас Зеленую машину... А в ней так приятно ездить... видишь весь город, и прохладный ветерок обдувает лицо...

— А мы ему не скажем.

— Не скажем?

Поддерживая друг дружку, они спустились по скрипучим ступеням, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Добравшись до кухни, заглянули в кладовую, испуганными глазами посмотрели во все окна и наконец принялись поджаривать бифштекс. Минут пять прошло в молчании, потом Ферн грустно подняла глаза на Роберту:

— Я вот все думаю. Мы старые и немощные, а признаваться в этом не хочется даже самим себе. Мы стали опасны для общества. И виноваты, что удрали...

— Как же быть?

И вновь воцарилось молчание; забыв о шипящей сковородке, сестры глядели друг на друга.

— Мне кажется...— Ферн долго не отрывала глаз от стены,— нельзя нам больше ездить на Зеленой машине.

Высохшей рукой Роберта взяла со стола тарелку да так и застыла:

— Никогда?

— Никогда.

— Но разве... разве мы должны... совсем от нее отказаться? Может, хотя бы оставим ее у себя?

Ферн подумала:

— Это, наверно, можно.

— Все-таки утешение. Пойду выключу батареи.

В дверях Роберта столкнулась с Фрэнком, их младшим братом, всего пятидесяти шести лет от роду.

— Добрый вечер, сестрички, — крикнул он.

Роберта молча протиснулась мимо него в дверь и вышла в теплый сумрак. Брат принес газету, Ферн тотчас выхватила ее у него из рук. Вся дрожь, она лихорадочно шарила глазами по страницам и наконец со вздохом отдала газету Фрэнку.

— Сейчас видел на улице Дугласа Сполдинга. Он просил передать вам обеим, чтобы вы не беспокоились: он все видел и все в порядке. Что это, собственно, значит?

— Понятия не имею.

Ферн отвернулась и принялась искать в кармане носовой платок.

— Ох уж эти мне мальчишки!

Фрэнк долго смотрел в спину сестре, потом пожал плечами.

— Похоже, что скоро ужинать? — спросил он добродушно.

— Да, сейчас.

Ферн накрыла на стол.

Во дворе рывкнул автомобильный рожок. Раз, другой, третий — глухо, словно издалека.

— Это еще что такое? — Фрэнк выглянул из окна кухни в темноту. — Что там делает Роберта? Смотри-ка, она сидит в Зеленой машине и тычет пальцем в резиновую грушу.

В темноте негромко и жалобно, точно крик раненого зверенюшка, раздался сигнал машины, потом еще и еще.

— Что это с ней стряслось? — строго спросил Фрэнк.

— Оставь ее в покое! — закричала Ферн.

Фрэнк удивленно поднял брови. Через минуту в кухню тихонько, ни на кого не глядя, вошла Роберта, и все трое сели ужинать.

* * *

Раннее-раннее утро, первые отсветы зари на крыше за окном. Все листья на деревьях вздрагивают, отзываясь на малейшее дуновение предрассветного ветерка. И вот где-то далеко, из-за поворота, на серебряных рельсах появляется трамвай, покачиваясь на четырех маленьких серо-голубых колесах, ярко-оранжевый, как мандарин. На нем эполеты мерцающей меди и золотой кант проводов, и желтый звонок громко звякает, едва допотопный вожатый стукнет по нему ногой в стоптанном башмаке. Цифры на боках трамвая и спереди ярко-золотые, как лимон. Сиденья точно поросли прохладным зеленым мхом. На крыше словно занесен огромный кучерский бич, на бегу

он скользит по серебряной паутине, протянутой высоко среди деревьев. Из всех окон, будто ладаном, пахнет всепроникающим голубым и загадочным запахом летних гроз и молний.

Трамвай звенит вдоль окаймленных вязами улиц, и обтянутая серой перчаткой рука водителя опять и опять легко касается рукояток.

В полдень водитель остановил вагон посреди квартала и высунулся в окошко.

— Эй!

И, завидев призывный взмах серой перчатки, Дуглас, Чарли, Том, все мальчишки и девчонки всего квартала кубарем скатились с деревьев, побросали в траву скакалки (они так и остались лежать, словно белые змеи) и побежали к трамваю; они расселись по зеленым плюшевым сиденьям, и никто с них не спросил никакой платы. Мистер Тридден, водитель, положил перчатку на щель кассы и повел трамвай дальше по тенистым улицам, громко звякая звонком.

— Эй, — сказал Чарли, — куда это мы едем?

— Последний рейс, — ответил Тридден, глядя вперед на бегущие высоко над вагоном провода. — Больше трамвая не будет. Завтра пойдет автобус. А меня отправляют на пенсию, вот как. И потому покатайтесь напоследок, всем бесплатно! Осторожно!

Он рывком повернул медную рукоятку, трамвай заскрипел и круто свернул, описывая бесконечную зеленую петлю, и само время на всем белом свете замерло, только Тридден и дети плыли в его удивительной машине куда-то далеко по нескончаемой реке...

— Напоследок? — переспросил удивленный Дуглас. — Да как же так? И без того все плохо. Зеленой машины больше нет, ее заперли в гараже, и никак ее оттуда не вызволишь! И мои новые теннисные туфли уже становятся совсем старыми и бегут все медленнее и медленнее! Как же я теперь буду? Нет, нет... Не могут они убрать трамвай! Что ни говори, автобус — это не трамвай! Он и шумит не так, рельсов у него нет, проводов нет, он и искры не разбрасывает, и рельсы песком не посыпает, да и цвет у него не такой, и звонка нет, и подножку он не спускает!

— А ведь верно, — подхватил Чарли. — Страх люблю смотреть, когда трамвай спускает подножку: прямо гармоника!

— То-то и оно, — сказал Дуглас.

Тут они приехали на конечную остановку; впрочем, серебряные рельсы, заброшенные восемнадцать лет назад, бежали

среди холмов дальше. В тысяча девятьсот десятом году трамваем ездили на загородные прогулки в Чесмен-парк, прихватив огромные корзины с провизией. С тех пор рельсы так и остались ржаветь среди холмов.

— Тут-то мы и поворачиваем назад,— сказал Чарли.

— Тут-то ты и ошибся! — И мистер Тридден шелкнул выключателем аварийного генератора.— Поехали!

Трамвай дернулся, скользнул по рельсам и, оставив позади городские окраины, покатился вниз, в долину; он то вылетал на душистые, залитые солнцем лужайки, то нырял под тенистые деревья, где пахло грибами. Там и сям колею пересекали ручейки, солнце просвечивало сквозь листву деревьев, точно сквозь зеленое стекло. Вагон, тихонько бормоча что-то про себя, скользил по лугам, усеянным дикими подсолнухами, мимо давно заброшенных станций, усыпанных, словно конфетти, старыми трамвайными билетами, и вслед за лесным ручьем устремлялся в летние леса.

— Трамвай — он даже пахнет по-особенному,— говорил Дуглас.— Ездил я в Чикаго на автобусах, у тех какой-то чудной запах.

— Трамвай чересчур медленно ходит,— сказал мистер Тридден.— Вот они и хотят пустить по городу автобусы. И ребят в школу тоже станут возить в автобусах.

Трамвай взвизгнул и остановился. Тридден достал сверху корзину с провизией. Ребята восторженно завопили и вместе с ним потащили корзину на траву, туда, где ручей впадал в молчаливое озеро; здесь некогда поставили эстраду для оркестра, но теперь она совсем рассыпается в прах.

Они сидели на траве, уплетали сэндвичи с ветчиной, свежую клубнику и яркие, блестящие, точно восковые, апельсины, и Тридден рассказывал, как много лет назад тут по вечерам на разукрашенной эстраде играл оркестр: музыканты из всех сил трубили в медные трубы, толстенький дирижер, обливаясь потом, усердно размахивал палочкой; в высокой траве гонялись друг за другом ребяташки и мелькали светлячки, а по дощатым мосткам, постукивая каблуками, будто играя на ксилофоне, расхаживали дамы в длинных платьях с высокими стоячими воротничками и мужчины в таких тесных накрахмаленных воротничках, что того и гляди задохнутся. Вот они, остатки этих мостков, только за долгие годы доски сгнили и превратились в какое-то деревянное месиво... Озеро лежало молчаливое, голубое и безмятежное, рыба медленно плескалась в блестящих камышах, а вагоновожатый все говорил и

говорил, и детям казалось, что они перенеслись в какое-то иное время и мистер Тридден стал вдруг на диво молодой, а глаза у него горят, как голубые электрические лампочки. День проплывал сонно и бестревожно, никто никуда не спешил, со всех сторон их обступал лес, и даже солнце словно остановилось на одном месте, а голос Триддена поднимался и падал, и стрекозы сновали в воздухе, рисуя золотые невидимые узоры. Пчела забралась в цветок и жужжит, жужжит... Трамвай стоял молчаливый, точно заколдованный орган, поблескивая в солнечных лучах. Ребята ели спелые вишни, а на руках у них все еще держался медный запах трамвая. И когда теплый ветерок шевелил на них одежду, от нее тоже остро пахло трамваем.

В небе с криком пролетела дикая утка.

Кто-то вздрогнул.

— Ну, пора домой. Отцы да матери, чего доброго, подумают, что я вас украл.

В темном трамвае было тихо и прохладно, совсем как в аптеке, где торгуют мороженым. Присмирившие ребята повернули зашуршавшие плюшевые сиденья и уселись спиной к тихому озеру, к заброшенной эстраде и дощатым мосткам, которые выстукивают под ногами звонкую деревянную песенку, если идти по ним вдоль берега в иные страны.

Дзинь! Под башмаком Триддена звякнул звонок, и трамвай помчался назад, через луг с увядшими цветами, откуда уже ушло солнце, через лес и город, и тут кирпич, асфальт и дерево словно стиснули его со всех сторон; Тридден затормозил и выпустил детей на тенистую улицу.

Чарли и Дуглас последними остановились у открытой двери перед тем, как ступить на складную подножку; они жадно втягивали ноздрями воздух, пронизанный электричеством, и не сводили глаз с перчаток Триддена на медной рукоятке.

Дуглас погладил зеленый бархатный мох сиденья, еще раз оглядел серебро, медь, темно-красный, как вишня, потолок.

— Что ж... До свиданья, мистер Тридден!

— Всего вам доброго, ребята.

— Еще увидимся, мистер Тридден.

— Еще увидимся.

Раздался негромкий вздох — это закрылась дверь. Подобрав длинный рубчатый язык складной подножки, трамвай медленно поплыл в послеполуденный зной, ярче солнца, весь оранжевый, как мандарин, сверкающий золотом рукояток и цифр на боках, свернул за дальний угол и скрылся, пропал из глаз.

— Развозить школьников в автобусах! — презрительно фыркнул Чарли, шагая к обочине тротуара. — Тут уж в школу ни-

как не удастся опоздать. Придет за тобой прямо к твоему крыльцу. В жизни никуда теперь не опоздаешь! Вот жуть. Дуг, ты только подумай!

Но Дуглас стоял на лужайке и ясно видел, что будет завтра: рабочие зальют рельсы горячим варом, и потом никто даже не догадается, что когда-то здесь шел трамвай. Но нет, теперь и ему, и этим ребятам еще много-много лет не забыть этой серебряной дорожки, сколько ни заливай рельсы варом. Настанет такое утро, осенью ли, зимой или весной: проснешься — и, если не подойти к окну, а остаться в теплой, уютной постели, непременно услышишь, как где-то далеко чуть слышно бежит и звенит трамвай.

И в изгибе утренней улицы, на широком проезде между ровными рядами платанов, вязов и кленов, в тишине, перед тем как начнется дневная жизнь, услышишь за домом знакомые звуки. Словно затикают часы, словно покатится с грохотом десяток железных бочонков, словно затрещит крыльями на заре большущая-пребольшущая стрекоза. Словно карусель, словно маленькая электрическая буря, словно голубая молния, мелькнет и исчезнет, зазвенит звонком трамвай! И зашипит, точно сифон с содовой, опуская и вновь поднимая подножку, — и вновь начнется сон, вагон поплывет своим путем, все дальше и дальше по своим потаенным, давно схороненным рельсам к какой-то своей потаенной, давно схороненной цели...

— После ужина погоняем мяч? — спросил Чарли.

— Ясно, — ответил Дуглас. — Ясно, погоняем.

* * *

Сведения о Джоне Хафе, двенадцати лет, очень просты и умещаются всего в нескольких строках. Он умел отыскивать следы не хуже любого следопыта из племени чокто или чероки, умел прыгнуть прямо с неба, как шимпанзе с лианы, оставался под водой целых две минуты и успевал за это время проплыть вниз по течению пятьдесят ярдов. Мячи, которые ему подавали, он отбивал прямо в яблони, и весь урожай градом сыпался на землю. Он перескакивал через шестифутовые заборы фруктовых садов, взлетал вверх по ветвям и, наевшись досыта персиков, спускался вниз быстрее всех мальчишек. Он умел смеяться на бегу. Свободно держался на лошади. Не задира. Хорошая душа. Волосы у него были темные и кудрявые,

а зубы — белые как сахар. Он помнил наизусть слова всех ковбойских песен и охотно учил им всякого, кто об этом попросит. Знал названия всех полевых цветов, знал, когда взойдет и зайдет луна, когда будет прилив и когда отлив. Словом, для Дугласа Сполдинга Джон Хаф был единственным божеством, которое обитало в Гринтауне, штат Иллинойс, в двадцатом веке.

И вот они с Дугласом бродят за городом, день снова теплый и круглый, точно камешек, высоко над головой небо, точно голубая опрокинутая чаша, ручьи сверкающими прозрачными струями разбегаются по белым камням. Да, славный день, ясный и чистый, как огонек свечи.

Дуглас шел сквозь этот день и думал, что так будет вечно. Все вокруг такое отчетливое, законченное. И запах травы летит прямо перед тобой со скоростью света. Рядом — друг, свистит, как скворец, подбрасывает ногой комья земли, а ты скачешь, точно верхом на лихом скакуне, по пыльной тропинке и звенишь в кармане ключами, и все необыкновенно хорошо, все можно потрогать рукой; все в мире близко и понятно, и так будет всегда.

Такой чудесный был этот день, и вдруг облако поползло по небу, закрыло солнце — и все вокруг потемнело.

Джон Хаф уже несколько минут негромко что-то говорил. И вот Дуглас остановился на тропинке как вкопанный и посмотрел на него:

— Погоди-ка, что ты сказал?

— Ты же слышал, Дуг.

— Ты и вправду... ты уезжаешь?

— У меня уж и билет есть на поезд, вот он, в кармане. Ду-ду-у! Пф-пф-пф, чух-чух-чух... Ду-ду-ду-у-у-у!

Голос его постепенно замер.

Джон торжественно вынул из кармана железнодорожный билет, и оба посмотрели на желто-зеленый кусочек картона.

— Сегодня! — сказал Дуглас. — Вот так раз! Мы ж сегодня собирались играть в светофор и в статуи? Как же это так вдруг? Весь век ты тут был, в Гринтауне. А теперь вдруг сорвешься и уедешь? Да как же это?!

— Понимаешь, — сказал Джон, — папа нашел работу в Милуоки. Но до сегодняшнего дня мы еще толком не знали...

— Вот так раз! Да ведь на той неделе баптисты устраивают пикник, а потом в День труда будет большой карнавал, а там канун Дня всех святых... Неужели твой папа не может подождать?

Джон покачал головой.

— Вот беда,— сказал Дуглас.— Дай-ка я сяду.

Они уселись под старым дубом, на той стороне холма, откуда виден был город, и стали глядеть вниз, а солнце разбрасывало вокруг них широкие дрожащие тени, и под деревом было прохладно, как в пещере. Вдали, внизу, лежал город, окутанный дымкой зноя, все окна в домах были распахнуты настежь. Дугласу хотелось кинуться туда, в город,— может, он всей тяжестью, всей громадой, всеми домами замкнет Джона в кольцо и не даст ему вырваться и удрать.

— Но мы же друзья,— беспомощно сказал он.

— И всегда останемся друзьями.

— Ты сможешь приезжать хоть разок в неделю, а?

— Папа говорит, только раза два в год. Все-таки восемьдесят миль.

— Восемьдесят миль — это совсем недалеко! — закричал Дуглас.

— Конечно, совсем недалеко,— подтвердил Джон Хаф.

— У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. Или, может, мы соберемся в твои края. Вот будет здорово!

Джон долго молчал.

— Давай поговорим про что-нибудь,— предложил Дуглас.

— Про что?

— Тыфу, пропасть! Да ведь раз ты уезжаешь, нужно поговорить про миллион всяких вещей. Про что мы бы говорили через месяц и еще позже. Про богомолы, про цеппелины, про акробатов и шпагоглотателей! Давай как будто ты уже опять приехал — ну хоть про то, как кузнечики плюются табаком.

— Знаешь, это чудно, но мне что-то не хочется говорить про кузнечиков.

— А раньше хотелось!

— Да.— Джон упорно смотрел вдаль.— Наверно, сейчас просто не время.

— Джон, что с тобой? Ты какой-то странный...

Джон сидел с закрытыми глазами, лицо его искривилось.

— Дуг, ты знаешь дом Терлов? Помнишь, какой у него верх?

— Конечно.

— Там маленькие круглые окошки, и в них разноцветные стекла,— они всегда были такие?

— Конечно.

— Ты уверен?

— Старые-престарые окошки, они всегда были такие, еще когда нас с тобой на свете не было.

— А я их никогда не замечал, — сказал Джон. — А сегодня шел мимо, поднял голову, смотрю — стекла цветные! Дуг, да как же я их столько лет не замечал?

— У тебя были другие дела.

— Ты думаешь? — Джон повернулся и со страхом посмотрел на Дугласа. — Тьфу, пропасть, Дуг, с чего эти окоянные окошки меня так напугали? Тут и пугаться нечего, правда? Наверно, это потому, что... — Он говорил медленно, запинался и путался. — Наверно, уж если я не замечал этих окошек до самого сегодняшнего дня, значит, я, наверно, еще много чего не замечал... А с тем, что я видел, как теперь будет? Вдруг я уеду из города и потом не смогу ничего вспомнить?

— Что хочешь помнить, то всегда помнишь. Вот я два года назад ездил летом в лагерь. И там я все-все помнил.

— А вот и нет. Ты мне сам говорил. Ты просыпался ночью и никак не мог вспомнить, какое лицо у твоей мамы.

— Неправда!

— Со мной ночью так бывает, даже дома, — знаешь, как это страшно! Я другой раз ночью встану и иду в спальню к своим: они спят, а я гляжу на них, проверяю, какие у них лица. А потом прихожу назад в свою комнату — и опять не помню! Черт возьми, Дуг, ах, черт возьми! — Джон крепко обхватил руками колени. — Обещай мне одну вещь, Дуг. Обещай, что ты всегда будешь меня помнить, обещай, что будешь помнить мое лицо и вообще все. Обещаешь?

— Ну, это проще простого. У меня в голове есть киноаппарат. Ночью, в постели, я могу повернуть выключатель — раз! — и готово, на стенке все видно, как на экране, и ты оттуда кричишь мне и машешь рукой.

— Дуг, закрой глаза. Теперь скажи: какого цвета у меня глаза? Нет, ты не подсматривай! Ну? Какого цвета?

Дуглас бросило в пот. Веки его вздрагивали.

— Ну, знаешь, Джон, это нечестно.

— Говори!

— Карие.

Джон отвернулся:

— Вот и нет.

— Как же нет?

— А вот так. Даже непохоже.

Джон зажмурился.

— А ну-ка, повернись, — сказал Дуглас. — Открой глаза, я посмотрю.

— Что толку, — ответил Джон. — Ты уже забыл. Я ж говорю, со мной тоже так бывает.

— Да повернись ты! — Дуглас схватил друга за волосы и медленно повернул его голову к себе. — Ну ладно.

Джон открыл глаза.

— Зеленые... — Дуглас в унынии опустил руки. — У тебя глаза еленые... Ну и что же? Это очень похоже на карие. Почти ветло-карие.

— Дуг, не ври мне.

— Ладно, — тихонько сказал Дуглас. — Не буду.

Они еще долго сидели и молчали, а другие ребята бегали по полю и кричали и звали их.

Они мчались наперегонки вдоль железной дороги, потом открыли пакеты из оберточной бумаги и с наслаждением понюхали свой завтрак — сэндвичи с поджаренной ветчиной, маринованные огурцы и разноцветные мятные конфеты. Потом опять побежали. Потом Дуглас прикинул ухом к горячим стальным рельсам и услышал, как далеко-далеко, в иных землях, идут невидимые поезда и посылают ему азбукой Морзе вести сюда, под это палящее солнце. Дуглас распрямился, оглушенный.

— Джон!

Потому что Джон все еще бежал, и это было ужасно. Ведь, если бежишь, время точно бежит с тобой. Кричишь, визжишь, бегаешь наперегонки, катаешься по земле, кувyraешься, и вдруг — хват! — солнце уже зашло, гудит гудок вечернего поезда, и ты плетешься домой ужинать. Чуть отвернулся — и солнце уже зашло тебе за спину! Нет, есть только один-единственный способ хоть немного задержать время: надо смотреть на все вокруг, а самому ничего не делать! Таким способом можно день растянуть на три дня. Ясно: только смотри и ничего сам не делай.

— Джон!

Теперь уж от него помощи не дождешься, разве только если как-нибудь схитрить.

— Джон, сворачивай, петляй! Собьем их со следа!

И они с криком кинулись наутек под горку, обгоняя ветер, заставляя земное притяжение помогать им, и дальше — по лугам, за амбары, и наконец голоса гнавшихся за ними мальчишек замерли далеко позади.

Тогда они забрались в стог сена, оно потрескивало под ними, точно хворост костра.

— Давай ничего не делать, — сказал Джон.

— Вот и я хотел это сказать, — отозвался Дуглас.

Они сидели не шевелясь и пытались отдышаться.

Что-то тихонько тикало, словно в сене шуршало какое-то насекомое.

Оба услышали это тиканье, но не посмотрели, откуда оно доносится. Дуглас двинул рукой — теперь тикало в другом месте. Дуглас положил руку себе на колено — и вот уже тикает на колене. Он на мгновение опустил глаза. Три часа.

Дуглас украдкой прикрыл часы другой рукой и незаметно отвел стрелки назад.

Теперь у них будет вдоволь времени как следует поглядеть на мир, почувствовать, как солнце мчится по небу, точно огненный ветер.

Но настала минута, и Джон всем телом ощутил, как переместился бесплотный груз их теней.

— Дуг, который час?

— Половина третьего.

Джон взглянул на небо.

«Не надо», — подумал Дуглас.

— Похоже, что не третьего, а четвертого, а может, и все четыре, — сказал Джон. — Бойскаутов учат распознавать такие вещи.

Дуглас вздохнул и снова перевел стрелки.

Джон молча следил за его движениями. Дуглас поднял голову, и Джон легонько стукнул его по плечу.

Вдруг откуда-то вынырнул поезд и промчался так быстро, что Дуглас, Джон и все остальные мальчишки едва успели отскочить в сторону и заорали, грозя ему вслед кулаками. Поезд с грохотом покатил дальше по рельсам, унося в себе две сотни пассажиров, и исчез. Вихри пыли немного проводили его к югу, потом улеглись в золотистом безмолвии меж голубых рельсов.

Ребята возвращались домой.

— Когда мне будет семнадцать, я поеду в Цинциннати и поступлю пожарником на железную дорогу, — объявил Чарли Вудмен.

— А у меня есть дядя в Нью-Йорке, — сказал Джим. — Я поеду в Нью-Йорк, буду печатником.

Дуглас не стал спрашивать, что задумали другие. Он уже слышал, как поют свою песнь поезда, видел лица друзей — они прижались к окнам, уплывают на вагонных площадках. Они ускользают, одно за другим. И остаются пустые пути, летнее небо, и сам он, в другом поезде, едет совсем не туда.

Земля повернулась у него под ногами, тени ребят соскользнули с травы, и вокруг потемнело.

Он проглотил ком, застрявший в горле, издал дикий вопль, замахнулся кулаком и с силой послал в небо воображаемый мяч.

— Кто прибежит домой последним, тот носорожий хвост!

С хохотом, размахивая руками, они кинулись по шпалам. Джон Хаф бежал легко, совсем не касаясь земли. А Дуглас все время чувствовал под ногами землю.

В семь часов, после ужина, мальчишки стали собираться вместе; один за другим они выходили на улицу, слышав, как хлопают двери соседних домов, а отцы и матери сердито кричали вслед, чтоб не хлопали так дверями. Дуглас, Том, Чарли и Джон стояли среди десятка других, пора было играть в прятки и в статуи.

— Во что-нибудь одно,— сказал Джон.— Потом мне надо домой. В девять уходит поезд. Кто будет водить?

— Я,— сказал Дуглас.

— В жизни не слыхал, чтобы кто сам вызвался водить,— сказал Том.

Дуглас пристально посмотрел на Джона.

— Разбегайтесь,— сказал он.

Мальчики с криком кинулись врассыпную. Джон попятился, потом повернулся и побежал вприпрыжку. Дуглас медленно считал до десяти. Дал им отбежать подальше, разделить кто куда, замкнуться каждому в своем собственном мирке. Когда они разогнались вовсю, так что ноги уже сами несли их, и почти скрылись из виду, он набрал полную грудь воздуха и крикнул:

— Замри!

Все окаменели.

Медленно-медленно Дуглас двинулся по лужайке туда, где в сумерках, точно железный олень, замер Джон Хаф.

Вдалеке стояли как статуи другие мальчишки, руки у них подняты, на лицах застыли гримасы, одни глаза горят, точно у чучела белки.

А Джон — вот он, один, недвижимый,— и никто не может прибежать или заорать вдруг и все испортить.

Дуглас обошел статую с одного боку, потом с другого. Статуя не шелохнулась. Не вымолвила ни слова. Глядела куда-то вдаль, и на губах ее застыла легкая улыбка.

Дугласу вспомнилось: несколько лет назад они ездили в Чикаго, там был большой дом, а в доме всюду стояли безмолвные мраморные фигуры, и он бродил среди них в этом безмолвии. И вот стоит Джон Хаф, и коленки и штаны у него

зеленые от травы, пальцы исцарапаны, и на локтях корки от подсохших ссадин. Ноги — в теннисных туфлях, которые сейчас угомонились, словно он обут в тишину. Этот рот сжевал за лето многое множество абрикосовых пирожков и говорил спокойные раздумчивые слова про то, что такое жизнь и как все в мире устроено. И глаза эти вовсе не слепы, как глаза статуй, а полны расплавленного зеленого золота. Темными волосами играет ветерок — то вправо отбросит, то влево... А на руках, кажется, оставил след весь город — на них пыль дорог и чешуйки древесной коры, пальцы пахнут коноплей, и виноградом, и недозрелыми яблоками, и старыми монетами, и зелеными лягушками. Уши просвечивают на солнце, они теплые и розовые, точно восковые персики, и, невидимое в воздухе, пахнет мятой его дыханье.

— Ну, Джон,— сказал Дуглас,— смотри не шевелись. Не смей даже глазом моргнуть. Приказываю: стой тут и не сходи с места ровным счетом три часа.

Губы Джона шевельнулись:

— Дуг...

— Замри,— приказал Дуглас.

Джон снова устремил взгляд на дальний край неба, но теперь он уже не улыбался.

— Мне надо идти,— шепнул он.

— Не шелохнись! Правил, что ли, не знаешь?

— Никак не могу, мне пора домой,— сказал Джон.

Статуя ожила, опустила руки и повернула голову, чтобы посмотреть на Дугласа. Они стояли и глядели друг на друга. Остальные мальчишки тоже зашевелились и опустили затекшие руки.

— Сыграем еще разок,— сказал Джон.— Только теперь водить буду я. Разбегайтесь!

Ребята побежали.

— Замри!

Все замерли. Дуглас тоже.

— Не шевелись. Ни на волос.

Он подошел к Дугласу и остановился рядом.

— Понимаешь, иначе никак ничего не получится,— сказал он.

Дуглас глядел вдаль, в предвечернее небо.

— Еще на три минуты всем застыть как истуканам! — сказал Джон.

Дуглас чувствовал, что Джон обходит его кругом, как только что он сам обходил Джона. Потом Джон сзади легонько стукнул его по плечу.

— Ну, пока,— сказал он.

Что-то зашуршало, и Дуглас, не оборачиваясь, понял, что позади уже никого нет.

Где-то вдалеке прогудел паровоз.

Еще долгую минуту Дуглас стоял не шевелясь и ждал, чтобы утих топот бегущих ног, а он все не утихал. Джон бежит прочь, а его слышно так громко, словно он топчется на одном месте. Почему же он не удаляется?

И тут Дуглас понял — да ведь это стучит его собственное сердце!

«Стой! — Он прижал руку к груди. — Перестань! Не хочу я это слышать!»

А потом он шел по лужайке среди остальных статуй и не знал, ожили ли и они тоже. Казалось, они все еще не двигаются. Впрочем, он и сам только еле передвигал ноги, а тело его совсем застыло и было холодное как камень.

Он уже поднялся на свое крыльцо, но вдруг обернулся и поглядел на лужайку.

На ней никого не было.

Бац, бац, бац! — точно затрещали выстрелы. Это хлопали одна за другой входные двери по всей улице — последний закатный залп.

«Самое лучшее — статуи, — подумал Дуглас. — Только их и можно удержать у себя на лужайке. Никогда не позволяй им двигаться. Стоит только раз позволить — и тогда с ними уже не совладаешь».

И вдруг он вскинул сжатый кулак и яростно погрозил лужайкам, улице, сгущающимся сумеркам. Он весь покраснел, глаза сверкали.

— Джон! — крикнул он. — Эй, Джон! Ты мой враг, слышишь? Ты мне не друг! Не приезжай, никогда не приезжай! Убирайся! Ты мне враг, слышишь? Вот ты кто! Между нами все кончено, ты дрянь, вот и все, просто дрянь! Джон, ты меня слышишь? Джон!

Точно фитиль привернули еще немного в огромной, яркой лампе за городом, и небо еще чуть потемнело. Дуглас стоял на крыльце, рот его судорожно дергался, лицо кривилось. Кулак все еще грозил дому напротив. Дуглас поглядел на свою руку — она растаяла во тьме, и весь мир тоже растаял.

Дуглас поднимался в свою комнату в полнейшей темноте; он лишь чувствовал свое лицо, но не видел ничего, даже собственных кулаков, и опять и опять твердил себе: «Я зол как черт, я взбешен, я его ненавижу, я зол как черт, я его ненавижу!»

Через десять минут он медленно дошел в темноте до верхней площадки лестницы.

- Том, — сказал Дуглас. — Обещай мне одну вещь, ладно?
— Обещаю. А что это?
— Конечно, ты мой брат, и, может, я другой раз на тебя злюсь, но ты меня не оставляй, будь где-нибудь рядом, ладно?
— Это как? Значит, мне можно ходить с тобой и с большими ребятами гулять?
— Ну... ясно... и это тоже. Я что хочу сказать: ты не уходи, не исчезай, понял? Гляди, чтоб никакая машина тебя не переехала, и с какой-нибудь скалы не свались.
— Вот еще! Дурак я, что ли?
— Тогда, на самый худой конец, если уж дело будет совсем плохо и оба мы совсем состаримся — ну, если когда-нибудь нам будет лет сорок или даже сорок пять, — мы можем владеть золотыми приисками где-нибудь на Западе. Будем сидеть там, покуривать маисовый табак и отращивать бороды.
— Бороды! Ух ты!
— Вот я и говорю, болтайся где-нибудь рядом и чтоб с тобой ничего не стряслось.
— Уж будь спокоен, — ответил Том.
— Да я, в общем, не за тебя беспокоюсь, — пояснил Дуглас. — Я больше насчет того, как Бог управляет миром.
Том задумался.
— Ничего, Дуг, — сказал он наконец. — Он все-таки старается.

* * *

Она вышла из ванной, смазывая йодом палец, — она его сильно порезала, когда отрезала себе кусок кокосового торта. В эту минуту по ступенькам поднялся почтальон, открыл дверь и вошел на веранду. Хлопнула дверь. Эльмира Браун так и подскочила.

— Сэм! — закричала она, отчаянно махая коричневым от йода пальцем, чтобы не так жгло. — Я все никак не привыкну, что у меня муж — почтальон. Каждый раз, когда ты вот такходишь в дом, я пугаюсь до смерти.

Сэм Браун сконфуженно почесал в затылке; его почтовая сумка уже наполовину опустела. Он оглянулся, как будто в это славное ясное летнее утро ворвался густой туман.

— Ты что-то рано сегодня, Сэм, — заметила жена.

— Я еще пойду, — сказал он, видимо думая о другом.

— Ну, выкладывай, что случилось? — Она подошла поближе и заглянула ему в лицо.

— Кто его знает, может — ничего, а может — очень много. Я сейчас доставил почту Кларе Гудуотер, на нашей улице...

— Кларе Гудуотер?!

— Ну, ну, не кипятись. Это были книги от фирмы «Джонсон — Смит», город Расин, штат Висконсин. И одна называлась... дай-ка вспомнить... — Он весь сморщился, потом морщинки разошлись. — «Альбертус Магнус», вот как. «Одобренные, проверенные, загадочные и естественные ЕГИПЕТСКИЕ ТАЙНЫ, или... — он задрал голову к потолку, словно пытаясь разобрать там слова, — Белая и черная магия для человека и животного, раскрывающая запретные знания и секреты древних философов»!

— И все это для Клары Гудуотер?

— Пока я к ней шел, я успел заглянуть в первые страницы — вроде ничего худого там нет. «Скрытые тайны жизни, разгаданные знаменитым ученым, философом, химиком, натуралистом, психологом, астрологом, алхимиком, металлургом, волшебником, толкователем тайн всех магов и чародеев, а также разъяснены темные суждения всевозможных наук и искусств — простых, сложных, практических и т. д. и т. п.». Уф! Ей-богу, голова у меня — как у Папы Римского! Все слова помню, хоть ни черта в них не понял.

Эльмира внимательно разглядывала свой почерневший от йода палец, словно пыталась понять — чей же это он.

— Клара Гудуотер, — бормотала она.

— Я ей отдал книгу, а она поглядела мне прямо в глаза и говорит: «Ну, теперь-то я стану заправской колдуньей. В два счета получу диплом и открою дело. Буду ворожить молодым и старым, большим и малым, оптом и в розницу». Тут она вроде засмеялась, уткнулась носом в книгу да так и ушла в дом.

Эльмира оглядела царапину на локте, опасно потрогала языком расшатавшийся зуб.

Хлопнула дверь. Том Сполдинг, который в это время стоял на коленях на лужайке перед домом Эльмиры Браун, поднял голову. Он долго бродил по соседству, смотрел, как поживают в разных кучах муравьи, и вдруг наткнулся на отличный, просто редкостный муравейник с широченным входом; здесь так и сновали всевозможные огненно-рыжие муравьи, одни мчались во весь дух, другие выбивались из сил, волоча свою ношу — клочок мертвого кузнечика или крошку какой-нибудь пичуги. И вдруг — хлоп! — на крыльцо выскочила миссис Браун; стоит, и вид у нее такой, будто она вот-вот упадет, — похоже, она только сейчас обнаружила, что земля мчится в космическом

пространстве со скоростью шестьдесят триллионов миль в секунду. А позади нее стоит мистер Браун, уж этот-то не знает никаких миль в секунду, а хоть бы и знал, так ему наверняка на них наплевать.

— Эй, Том, — позвала миссис Браун, — мне нужна моральная поддержка, и ты будешь мне вместо жертвенного агнца. Пойдем.

И не разбирая дороги кинулась на улицу; по пути она давила муравьев, сбивала головки с одуванчиков, и ее острые каблуки прокалывали глубокие ямки на цветочных клумбах.

Том еще минуту постоял на коленях, разглядывая позвоночник и лопатки убегающей миссис Браун. Эти лопатки с позвоночником сказали ему красноречивее всяких слов, что тут предстоит приключение и мелодрама, — ничего такого Том от женщин не ожидал, хоть у миссис Браун и торчали над верхней губой усики, немножко похожие на усы какого-нибудь пирата. Еще через минуту он ее нагнал.

— Вы какая-то ужасно сердитая, миссис Браун, прямо бешеная!

— Ты еще не знаешь, что такое бешенство, мальчик.

— Осторожно! — вскричал Том.

Эльмира Браун упала прямо на спящего железного пса, который украшал зеленую лужайку.

— Миссис Браун!

— Вот видишь? — Миссис Браун села. — Это все Клара Гудотер. Колдовство!

— Колдовство?

— Ничего, ничего, мальчик. Вот и крыльцо. Иди первым и раскидай с дороги все невидимые веревки. Позвони в этот звонок, только сейчас же отдерни руку, а не то палец у тебя почернеет, как головешка.

Том не дотронулся до звонка.

— Клара Гудотер!

Миссис Браун нажала пуговку звонка пальцем, который был смазан йодом.

Где-то далеко в прохладных, сумрачных пустых комнатах звякнул и умолк серебряный колокольчик.

Том прислушался. Где-то еще дальше — шорох, точно пробежала мышь. В далекой гостиной шевельнулась тень — может быть, развеивается от ветра занавеска.

— Здравствуйте, — произнес спокойный голос.

И вдруг за сеткой от москитов появилась миссис Гудотер, свежая, как мятная конфетка.

— Да это вы, Эльмира! И Том... Какими судьбами?..

— Не торопите меня! Вы, говорят, надумали выучиться на самую заправскую колдунью?

Миссис Гудуотер улыбнулась:

— Ваш муж не только почтальон, но и блюститель закона. Он и сюда сунул нос.

— Мой муж не суется в чужую почту!

— Он от одного дома до другого идет целых десять минут, потому что читает все открытки и смеется. Он даже примеряет ботинки, которые присылают почтой.

— И ничего он не видел, а вы ему сказали про эти ваши книжки, что он принес.

— Да я просто пошутила! «Стану колдуньей»,— сказала я ему. И хлоп! Сэм удирает со всех ног, точно я стрельнула в него молнией. Говорю вам, у этого человека нет ни единой извилины в мозгу!

— Вы вчера толковали про свое колдовство и в других местах.

— Наверно, вы имеете в виду Сандвич-клуб?

— А меня туда нарочно не пригласили!

— Так ведь вы всегда навещаете в этот день свою бабушку, сударыня.

— Ну уж если б меня пригласили, я всегда могла бы уговориться с бабушкой насчет другого дня.

— Да там и не было ничего особенного, просто я сидела за столом, ела сандвич с ветчиной и маринованным огурцом и как-то между прочим сказала: «Наконец-то я получу свой диплом! Ведь я уже сколько лет учусь на колдунью!» Сказала громко, все слышали.

— И мне сразу же передали по телефону.

— Эти новомодные изобретения — просто чудо! — сказала миссис Гудуотер.

— Вот вы — председательница нашего клуба «Жимолость» чуть ли не со времен Гражданской войны, так уж скажите честно: может, мы не по доброй воле вас столько раз выбирали, а вы нас колдовством принудили?

— А разве вы в этом хоть сколько-нибудь сомневаетесь, сударыня?

— Завтра опять выборы, и мне очень интересно узнать: неужели вы опять выставили свою кандидатуру и неужели вам ни капельки не совестно?

— Да, выставила, и ничуть мне не совестно. Послушайте, сударыня, я купила эти книги для моего двоюродного брата Рауля. Ему всего десять лет, и он в каждой шляпе ищет кроли-

ка. Я давно твержу ему, что искать кроликов в шляпах — гиблое дело, все равно как искать хоть каплю здравого смысла в голове у некоторых людей (у кого именно — называть не стану), но он все не унимается; вот я и решила подарить ему эти книжки.

— Хоть сто раз присягнете, все равно не поверю!

— А все-таки это чистая правда. Обожаю шутить насчет всяческого колдовства. Наши дамы так и завизжали, когда я рассказала им про свое тайное могущество. Жаль, вас там не было!

— Зато я буду там завтра, буду бороться с вами золотым крестом и поведу на вас все добрые силы, — сказала Эльмира. — А теперь скажите-ка мне, какие еще колдовские штуки есть у вас в доме?

Миссис Гудутер указала на столик, что стоял в комнате у самой двери.

— Я покупаю разные волшебные травы. Они очень странно пахнут, и Рауль от них в восторге. Трава вот в этом мешочке называется рута душистая, а вот эта — копытень, а та — сарсапарель. Здесь — черная сера, а тут, говорят, мука из молотых костей.

— Из костей! — Эльмира отпрянула назад и стукнула Тома по щиколотке. Том взвыл.

— А тут — горькая полынь и листья папоротника; полынью можно замораживать пули в ружьях, а если пожевать листья папоротника, можно летать во сне, точно летучая мышь, — так сказано в десятой главе вот этой книжечки. По-моему, для воспитания мальчиков очень полезно забивать им голову подобными вещами. Но, судя по вашему лицу, вы не верите, что у меня есть двоюродный братишка Рауль. Постойте, я дам вам его адрес, он живет в Спрингфилде.

— Ну конечно, — фыркнула Эльмира, — и как только я ему напишу, вы сядете в спрингфилдский автобус, доедете до почтамта, получите мое письмо и напишете мне каракулями ответ. Знаю я вас!

— Миссис Браун, скажите откровенно: вы хотите стать председателем нашего клуба, да? Вот уже десять лет подряд вы этого добиваетесь. Сами выставляете свою кандидатуру. И неизменно получаете один-единственный голос — ваш собственный. Поймите же, если бы наши дамы хотели вас выбрать, они бы давным-давно за вас проголосовали. Но я же вижу, вы так и остаетесь одна, сама за себя, и ваш голос — глас вопиющего в пустыне. Знаете что? Давайте я завтра выдвину вашу кандидатуру и сама буду за вас голосовать, хотите?

— Ну тогда уж наверняка ничего не выйдет, — сказала Эльмира. — В прошлом году, как раз в самые выборы, я ужасно простудилась; надо было проводить свою предвыборную кампанию, а я, как назло, не могу выйти на улицу! А в позапрошлом году об эту пору я сломала ногу. Очень, знаете, странно. — Она с ненавистью глянула на хозяйку дома через москитную сетку. — И это еще не все. В прошлом месяце я шесть раз порезала палец, десять раз расшибала коленку, два раза падала с заднего крыльца, слышите? — два раза! Еще я разбила окно, уронила четыре тарелки и вазу — я заплатила за нее целый доллар и сорок девять центов! И теперь я буду предъявлять вам счет за каждую разбитую тарелку, все равно, разобьется она у меня в доме или в его окрестностях!

— Ай-я-яй, к Рождеству я совсем разорюсь, — сказала миссис Гудуотер. Она вдруг распахнула дверь и вышла на веранду. Дверь хлопнула. — Эльмира Браун, сколько вам лет?

— У вас это наверняка записано в какой-нибудь черной книге. Тридцать пять.

— А-а, как подумаешь, что вы прожили тридцать пять лет... — Миссис Гудуотер поджала губы и заморгала, погружаясь в вычисления. — Это получается примерно двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять дней... стало быть, если считать по три в день, двенадцать с лишним тысяч суматох, двенадцать тысяч шумов из ничего и двенадцать тысяч бедствий! Что и говорить, жизнь ваша полна и богата событиями, Эльмира Браун. Вашу руку!

— Да ну вас, — отмахнулась Эльмира.

— Нет, сударыня, вы не самая неуклюжая женщина в Гринтауне, штат Иллинойс, вы всего лишь вторая. Вы толком и сесть-то не можете — непременно наступите на кошку. Пойдете по лужайке — непременно свалитесь в колодец. Всю жизнь вы катитесь по наклонной плоскости, Эльмира Элис Браун. Почему бы вам честно в этом не признаться?

— Все мои несчастья происходят вовсе не оттого, что я неуклюжая, а только из-за вас! Как вы подойдете к моему дому ближе чем на милю, так у меня сразу кастрюля с бобами из рук валится или мне палец дернет током.

— Сударыня, в таком маленьком городишке мудрено от всех держаться за милю, хоть раз в день поневоле к каждому подойдешь поближе.

— Так вы признаетесь, что были поблизости?

— Признаюсь, что я здесь родилась, это да, но дорого бы дала, чтоб родиться в Кенеше или Зайоне. Мой вам совет,

Эльмира, пойдите к зубному врачу, может, он сумеет что-нибудь сделать с вашим змеиным жалом.

— Ой! — вскрикнула Эльмира. — Ой-ой-ой!

— Вы окончательно вывели меня из терпения. Прежде я ничуть не интересовалась чародейством, но теперь, пожалуй, займусь. Слушайте! Вот вы уже и невидимы! Пока вы тут стояли, я вас заколдовала. Вы совсем пропали из глаз.

— Не может этого быть!

— По совести говоря, я и раньше никак не могла вас разглядеть, — призналась колдунья.

Эльмира выхватила из кармана зеркальце.

— Да вот же я!

Присмотрелась внимательней и ахнула. Потом подняла руку над головой, точно настраивая арфу, осторожно выдернула волосок и выставила его напоказ, словно вещественное доказательство на суде.

— Ну вот! До этой самой секунды у меня в жизни не было ни единого седого волоска!

Ведьма прелюбезно улыбнулась:

— Суньте его в кувшин со стоячей водой, и наутро он обернется червяком. Нет, вы только поглядите на себя, Эльмира! всю жизнь вы обвиняете других в том, что ноги у вас спотыкливые, а руки — крюки! Вы когда-нибудь читали Шекспира? Там есть указания для актеров: «Волнение, движение и шум». Вот это вы и есть. Волнение, движение и шум. А теперь ступайте-ка домой, не то я насажаю шишек вам на голову и прикажу всю ночь вертеться с боку на бок. Брысь отсюда!

И она замахала руками перед носом Эльмиры, точно отгоняя стаю птиц.

— Ну и мух нынче летом! — сказала она.

Вошла в дом и заперла дверь на крюк.

Эльмира скрестила руки на груди.

— Лопнуло мое терпение, миссис Гудуотер, — сказала она. —

В последний раз вам говорю: снимите свою кандидатуру и выйдите завтра на честный бой. Я вас одолею, в председательницы выберут меня! Я приведу с собой Тома. Он хороший, добрый мальчик, чистая душа. А доброта и чистота завтра победят.

— Вы не очень-то надейтесь, что я такой уж хороший, миссис Браун, — вмешался Том. — Моя мама говорит...

— Замолчи, Том! Хороший — значит хороший. Ты будешь там по правую руку от меня, мальчик.

— Хорошо, мэм, — сказал Том.

— Если, конечно, я переживу эту ночь, — продолжала Эльмира. — Я ведь знаю, эта особа станет лепить из воска мои изоб-

ражения и протыкать им сердца ржавыми иголками. Том, если ты на рассвете найдешь у меня в постели одну только огромную фигу, всю сморщенную и увядшую, ты уж поймешь, кто сорвал этот фрукт в винограднике. И тогда миссис Гудуотер будет председателем клуба до ста девяноста пяти лет, вот увидишь!

— Что вы, что вы, сударыня! Мне уже сегодня триста пять, — сказала из-за москитной сетки миссис Гудуотер. — Меня еще в старину называли «ОНА»! — И она ткнула пальцем в сторону улицы. — Абракадабра-зиммити-зэм! Ну как?

Эльмира бросилась бежать.

— Завтра увидимся! — крикнула она через плечо.

— До завтра, сударыня, — сказала миссис Гудуотер.

Том пожал плечами и двинулся следом за Эльмирой, на ходу скидывая с тротуара муравьев.

Эльмира бежала через улицу и вдруг взвизгнула.

— Миссис Браун! — в тревоге воскликнул Том.

Из гаража ближайшего дома задом выезжала машина и проехала прямо по большому пальцу правой ноги Эльмиры.

Среди ночи Эльмира Браун поднялась: очень болела нога; она пошла в кухню, съела кусок холодного цыпленка, потом старательно составила точный список всех своих бед и несчастий.

Во-первых, болезни за прошлый год. Простуда — три раза, легкое несварение желудка — четыре, раздуло щеку — один раз; да еще приступ артрита, прострел (она принимала его за подагру), сильный бронхит, астма в начальной стадии, какие-то пятна на руке, нарыв в ухе, из-за которого она несколько дней ходила шатаясь, как пьяная, да еще ломило спину, болела голова и тошнило. Лекарства стоили ей **ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЦЕНТОВ**.

Во-вторых, вещи, сломанные и разбитые в доме за последний год: две лампы, шесть ваз, десять тарелок, суповая миска, два окна, шесть стаканов и один хрустальный тюльпан на люстре; кроме того, сломан стул и порвана диванная подушка. Всего на сумму **ДВЕНАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ**.

В-третьих, сегодняшние страдания. Палец, на который наехала машина, очень болит. Желудок расстроен. Спина затекла, ноги гудят, точно не свои. В глазах багровый туман и жжение. На языке мерзкий вкус какой-то пыльной тряпки. В ушах шум и звон. Какая всему этому цена? Высчитывая и прикидывая, она пошла обратно в спальню.

За все страдания — десять тысяч долларов.

- Вот и получи их без суда, — сказала она вполголоса.
- А? — отозвался спросонок муж.
- Эльмира улеглась в постель.
- Я умирать не желаю.
- Как ты сказала? — переспросил муж.
- Ни за что не умру, — сказала она, глядя в потолок.
- Я всегда это говорил, — ответил муж и снова захрапел.

На другое утро Эльмира Браун встала пораньше и отправилась в библиотеку, а оттуда — в аптеку и обратно домой, так что, когда ее муж Сэм разнес всю почту по адресам и пришел в полдень домой, Эльмира уже смешивала всевозможные снадобья.

— Обед в холодильнике, — сказала она ему, помешивая в большом стакане какую-то зеленоватую кашичу.

— Господи, это еще что такое? — спросил муж. — С виду — прямо молочный коктейль, который лет сорок простоял на солнце. Тут уж вроде и плесень сверху пошла.

— Против колдовства нужно бороться колдовством.

— Уж не собираешься ли ты это пить?!

— И выпью! Выпью и пойду в клуб «Жимолость» на великие дела.

Сэмюэль Браун понюхал снадобье.

— Мой тебе совет — сперва взойди на крыльцо, а уж потом пей, не то и двух ступенек не одолеешь. Что тут намешано?

— Снег с крыльев ангелов (вообще-то это ментол), чтобы остудить сжигающий человека адский огонь, — так сказано вот в этой книге, она из библиотеки. Сок свежего винограда, только-только с лозы, чтобы наперекор темным видениям мысли все равно были чистые и светлые, — это тоже сказано в книге. Еще тут есть ревень, винный камень, белый сахар, яичный белок, ключевая вода и почки клевера, в них таится добрая сила земли. И еще много всякого, не перечить. Вот тут все записано, добро против зла, белое против черного. Уж теперь-то я ее одолею!

— Одолеешь, одолеешь! — сказал муж. — Вот только как ты узнаешь, что твоя взяла?

— Стану думать чистые, светлые мысли. И по пути захвачу Тома, он будет мне вроде как талисман.

— Бедняга он, — заметил муж. — Сама говоришь — чистая он душа, а на выборах в вашей этой «Жимолости» не сносить ему головы!

— Ничего с ним не случится,— возразила Эльмира.

Она вылила булькающее зелье в банку из-под овсяных хлопьев и закрыла крышкой; потом вышла на улицу, причем — небывалый случай! — ни разу не зацепилась платьем за гвоздь и не порвала новенькие девятностовосьмицентовые чулки. Очень этим гордая и довольная, Эльмира проследовала без всяких происшествий к дому Сполдингов, где ее ждал Том, одетый, как она велела, во все белое.

— Фу! — воскликнул Том. — Что это у вас в банке?

— Судьба,— сказала Эльмира.

— Ну разве что судьба,— ответил Том, держась шага на два впереди.

Клуб «Жимолость» был полон; дамы гляделись в зеркальца, взятые у приятельниц, оправляли юбки и спрашивали друг друга, не виднеется ли из-под платья комбинация.

В час дня по ступенькам поднялась миссис Эльмира Браун в сопровождении мальчика в белом. Он заткнул себе нос и зажмурил один глаз, так что плохо видел, куда идет. Миссис Браун поглядела на собравшихся, потом на свою банку и, открыв крышку, заглянула внутрь, но тут у нее захватило дух, и она закрыла банку, так и не выпив ни капли. Потом она двинулась в зал, а вслед плыл шорох, точно шелк шелестел,— это члены клуба шептались у нее за спиной.

Миссис Браун уселась вместе с Томом в заднем ряду, и вид у Тома был самый разнесчастный. Одним глазом он оглядел это дамское сборище и тотчас зажмурился окончательно. Эльмира открыла банку и медленно выпила ее содержимое.

В половине второго председательница — миссис Гудуотер — стукнула молотком о стол, и все дамы умолкли; разговаривать продолжали всего лишь десятка два.

— Сударыни,— прозвучал голос миссис Гудуотер над морем шелков и кружев, на волнах которого там и сям мелькали белые и серые гребенки,— настало время перевыборов. Но прежде, мне кажется, миссис Эльмира Браун, супруга нашего известного графолога...

Слушательницы захихикали. Эльмира толкнула Тома локтем в бок.

— Что такое «графолог»? — шепнула она.

— Не знаю,— прошипел Том; глаза у него были закрыты, и толчок локтем обрушился на него из темноты.

— ...супруга, как я уже сказала, нашего известного специалиста по почеркам, Сэмюэля Брауна (в зале опять смех)...

служащего почтового ведомства Соединенных Штатов, миссис Браун желает высказаться, — продолжала миссис Гудуотер. — Прошу вас, миссис Браун!

Эльмира встала. Складной стул опрокинулся и, громко щелкнув, захлопнулся, точно медвежий капкан. От неожиданности Эльмира подскочила, зашаталась, выбивая каблучками по полу частую дробь, и еле устояла на ногах.

— Да, мне есть о чем порассказать, — провозгласила она.

Держа в одной руке пустую банку из-под овсяных хлопьев вместе с Библией, она другой рукой схватила Тома за локоть и рванулась вперед; по дороге она задевала сидящих локтями и то и дело кричала: «Поосторожнее, вы! Дайте пройти! Не мешайте!»

Наконец она добралась до помоста, повернулась и опрокинула стакан с водой — вода потекла по всему столу и закапала на пол. Эльмира злобно покосилась на миссис Гудуотер и предоставила ей вытирать воду крошечным носовым платком. Потом она торжествующе подняла пустую банку, чтобы миссис Гудуотер хорошенько ее разглядела.

— Знаете, что тут было? — шепнула она. — Теперь все это у меня внутри, сударыня. Теперь меня защищает магический круг. Ни один нож, ни один топор сквозь него не прорвется.

В зале все говорили разом и никто ее не слышал.

Миссис Гудуотер кивнула и подняла обе руки, призывая к молчанию. Воцарилась тишина.

Эльмира еще крепче стиснула руку Тома. Он морщился, не открывая глаз.

— Сударыни, — сказала Эльмира, — я вам сочувствую. Я-то знаю, чего вы натерпелись за последние десять лет. Я-то знаю, почему вы голосовали за эту миссис Гудуотер. Вам надо кормить мужей, дочерей, сыновей. Вам надо укладываться в свой бюджет. Вы не можете допустить, чтобы молоко скисло, чтобы хлеб не взошел, чтобы пироги не пропеклись. Вам вовсе не хочется, чтобы ваши дети переболели подряд свинкой, ветрянкой, оспой и коклюшем. Вы не хотите, чтобы ваш муж разбил машину или налетел за городом на провод высокого напряжения и его ударило током. Но теперь всему этому пришел конец. Теперь вы можете ничего не опасаться. Не будет больше ни изжоги, ни ломоты в пояснице, потому что я принесла с собой магическое слово и сейчас мы его испробуем — изгоним бесов из этой ведьмы, которая затесалась в наш клуб.

Все стали оглядываться вокруг, но никто не заметил никакой ведьмы.

— Да ведь это ваша председательница! — закричала Эльмира.

— Это я! — И миссис Гудуотер помахала залу рукой.

— Сегодня я пошла в библиотеку, — задыхаясь, продолжала Эльмира и схватилась за стол, чтобы не упасть. — Я хотела найти хоть какое-нибудь средство, чтобы защититься от нее. Ну, узнать, как избавиться от людей, которые обманывают других, как изгнать ведьму. И я нашла способ бороться за наши права. Я чувствую, как сила моя растет. Во мне сейчас волшебство разных добрых корней и всякой химии. Во мне... — Она умолкла. Пошатнулась. Потом мигнула. — Во мне винный камень, и... во мне желтые цветы травы-ястребинки, и молоко, заквашенное при свете луны, и... — Она снова замолчала и с минуту подумала. Потом закрыла рот и издала какой-то странный звук, словно чревоушательница. И опять на мгновение зажмурилась, прислушиваясь к своей силе.

— Вы плохо себя чувствуете, миссис Браун? — спросила миссис Гудуотер.

— Я отлично себя чувствую, — медленно выговорила Эльмира Браун, — Я положила несколько тертых морковок, и тонко нарезанную петрушку, и еще ягоды можжевельника, и...

Она снова умолкла, точно некий внутренний голос приказал ей замолчать, и посмотрела в зал.

Все вокруг медленно закачалось: слева направо, потом справа налево.

— Корень розмарина и цвет лютика... — глухо сказала Эльмира. Потом выпустила руку Тома.

Том открыл один глаз и поглядел на нее.

— Лавровый лист, лепестки настурции... — говорила она.

— Вы бы лучше сели, — посоветовала миссис Гудуотер.

Одна из дам встала и открыла окно.

— ...сушенный лист бетеля, лаванду и семечки дикого яблока, — сказала миссис Браун и умолкла. — Давайте скорей начинать выборы. Мне нужны голоса. Я буду считать.

— Не спешите, Эльмира, — сказала миссис Гудуотер.

— Нет, надо спешить. — Миссис Браун глубоко, судорожно вздохнула. — Помните, сударыни, больше бояться нечего. Можете смело высказать вслух все, что хотите. Голосуйте за меня, ведь вы всегда этого хотели. Голосуйте и... — Комната опять закачалась, на этот раз вверх и вниз. — Правление будет честным. Все, кто за миссис Гудуотер, скажите «да».

— Да, — сказал весь зал.

— Все, кто за миссис Эльмиру Браун? — спросила Эльмира слабым голосом.

Она проглотила ком, подкатившийся к горлу. Потом сказала одна:

— Да.

И, ошеломленная, осталась стоять на трибуне.

В зале воцарилась тишина. И в этой тишине вдруг раздалось какое-то карканье. Эльмира Браун схватилась рукой за горло. Потом повернулась и мутными глазами посмотрела на миссис Гудуотер, а та преспокойно вынула из сумочки восковую куколку, утыканную ржавыми чертежными кнопками.

— Том,— сказала Эльмира,— проводи меня в дамскую комнату.

— Хорошо, мэм.

Они тронулись в путь, потом ускорили шаг и наконец пустились бежать. Эльмира бежала впереди, сквозь толпу, по проходу... Добралась до дверей и повернула налево.

— Нет, нет, Эльмира, направо, направо! — закричала миссис Гудуотер.

Эльмира свернула налево и исчезла из виду. Раздался грохот, точно по скату сыпался крупный уголь.

— Эльмира!

Все дамы забегали кругами, натываясь друг на друга,— точь-в-точь женская баскетбольная команда.

Одна миссис Гудуотер прямою кинулась к двери.

На площадке лестницы стоял Том и, вцепившись руками в перила, глядел вниз.

— Сорок ступенек! — простонал он.— До низу целых сорок ступенек!

И после, многие месяцы и годы спустя, люди рассказывали, как Эльмира Браун, словно отпетый пьяница, катилась по этим ступенькам и ни одной не пропустила на своем долгом пути вниз. Говорили, что она, видимо, в первый же миг потеряла сознание, и потому все ее мышцы были расслаблены и она не ударялась, а катилась по ступеням мягко, как мешок. Наконец она шлепнулась у подножия лестницы, растерянно хлопая глазами и чувствуя себя гораздо лучше, ибо все, от чего ей было не по себе, осталось позади, по всей лестнице. Правда, теперь ее, точно татуировкой, сплошь покрывали ссадины и кровоподтеки. Но ни одна косточка не была сломана, руки и ноги не вывихнуты, даже сухожилия не растянута. Два-три дня она как-то странно неподвижно держала голову и, если надо было поглядеть по сторонам, лишь косилась краешком глаза. Но вот что главное: у подножия лестницы мигом очутилась миссис Гудуотер, и голова Эльмиры уже покоилась у нее на коленях, и она кропила эту буйную голову слезами, а во-

круг, охая, ахая, рыдая и заламывая руки, собирались остальные дамы.

— Эльмира, я обещаю, я клянусь, Эльмира, если только вы останетесь живы, если вы не умрете... Эльмира, вы слышите меня? Слушайте же! С этой минуты я буду ворожить только ради добрых дел. Больше никакой черной магии, одна только белая! Если это будет зависеть от меня, вы никогда больше не упадете с лестницы, не порежете себе палец, не споткнетесь о порог. Блаженство, Эльмира, обещаю вам блаженство! Только не умирайте! Смотрите не умирайте! Смотрите, я вынимаю из куклы все кнопки. Эльмира, скажите же мне хоть слово! Ну скажите что-нибудь и сядьте! И пойдемте наверх, проголосуем все снова! Обещаю, вы будете председательницей, мы вас выбираем, даже без всякого голосования, мы все единодушно одобряем вашу кандидатуру, ведь правда, сударыни?

При этих словах все члены клуба «Жимолость» зарыдали в голос, и им пришлось ухватиться друг за друга, чтобы не упасть.

Том, все еще стоявший наверху, решил, что так плакать можно только над покойницей и миссис Браун наверняка умерла.

Он побежал вниз, но на середине лестницы столкнулся с процессией дам — вид у них был такой, точно они вырвались из самого центра динамитного взрыва.

— С дороги, мальчик!

Первой шла миссис Гудуотер, плача и смеясь.

За ней следовала миссис Эльмира Браун, смеясь и плача.

А уж за ними шествовали все сто двадцать три члена клуба «Жимолость», сами не понимая, возвращаются ли они с похорон или отправляются на бал.

Том проводил их глазами и покачал головой.

— Теперь я им ни к чему, — сказал он. — Вовсе ни к чему.

И пока его не хватились, стал на цыпочках спускаться с лестницы и все время, до самого низа, крепко держался за перила.

* * *

— Что ж уж тут расписывать, — сказал Том. — Коротко и ясно: все они там просто с ума посходили. Стоят в кружок и сморкаются. А Эльмира Браун сидит на полу под лестницей, и ничего у нее не сломано — я так думаю, у нее кости сделаны из желе, — и ведьма плачет у нее на плече, и вдруг все поднимаются вверх по лестнице и уже смеются! Видал ты когда-нибудь такое? Ну, я скорее дал деру.

Том расстегнул рубашку и снял галстук.

— Так ты говоришь, колдовство? — спросил Дуглас.

— Колдовство, как пить дать!

— И ты в это веришь?

— Середка наполовинку.

— Ну и ну, чего только в нашем городе не увидишь! —

И Дуглас уставился вдаль: на горизонте громоздились облака самых причудливых очертаний — воины, древние боги и духи. — Так, говоришь, чары, и восковые куклы, и иголки, и снадобья разные?

— Да снадобье-то неважнецкое, но здорово подействовало как рвотное. Э-э-э! Йок! — Том схватился за живот и высунул язык.

— Ведьмы... — пробормотал Дуглас и загадочно скосил глаза.

* * *

А потом наступает день, когда слышишь, как всюду вокруг яблонь одно за другим падают яблоки. Сначала одно, потом где-то недалеко другое, а потом сразу три, потом четыре, девять, двадцать, и наконец яблоки начинают сыпаться как дождь, мягко стучат по влажной, темнеющей траве, точно конские копыта, и ты — последнее яблоко на яблоне, и ждешь, чтобы ветер медленно раскачал тебя и оторвал от твоей опоры в небе, и падаешь все вниз, вниз... И задолго до того, как упадешь в траву, уже забудешь, что было на свете дерево, другие яблоки, лето и зеленая трава под яблоней. Будешь падать во тьму...

— Нет!

Полковник Фрилей быстро открыл глаза и выпрямился в своем кресле на колесах. Вскинул застывшую руку — да, телефон все еще здесь! Полковник на секунду прижал его к груди и растерянно мигнул.

— Не нравится мне этот сон, — сообщил он пустой комнате.

Наконец дрожащими пальцами он поднял трубку, вызвал междугородную и назвал номер, а потом ждал, не сводя глаз с двери своей спальни, точно опасаясь, что вот-вот ворвется орда сыновей, дочерей, внуков, сиделок и докторов и отнимет у него последнюю радость, которую он позволял своему угасающему сердцу. Много дней — или, может быть, лет? — назад, когда оно пронзило острой болью его мышцы и ребра, он услышал этих мальчуганов внизу... как их зовут?.. Чарли, Чарли, Чак, да! И Дуглас! И Том! Он помнит! Они позвали его оттуда, издали, из прихожей, но у них перед самым носом

захлопнули дверь, и они ушли. Доктор сказал, ему нельзя волноваться. Никаких посетителей, ни в коем случае! И он слышал, как мальчики переходили улицу, он их видел, даже помаhal им рукой. И они помахали ему в ответ. «Полковник... Полковник...» И теперь он сидит совсем один, и сердце его, как маленький серый лягушонок, вяло шлепает лапками у него в груди, то тут, то там.

— Полковник Фрилей, — раздалось в трубке. — Говорите, я вас соединила. Мехико, Эриксон, номер 3899.

И далекий, но удивительно ясный голос:

— Вуено...

— Хорхе! — закричал старый полковник.

— Сеньор Фрилей! Опять! Но ведь это же очень дорого!

— Ну и пусть. Ты знаешь, что надо делать.

— Sí. Окно?

— Окно, Хорхе. Пожалуйста.

— Минутку, — сказал голос.

И за тысячи миль от Гринтауна, в южной стране, в огромном многоэтажном здании, в кабинете раздались шаги — кто-то отошел от телефона. Старый полковник весь подался вперед и, крепко прижимая трубку к сморщенному уху, напряженно, до боли, вслушивался и ждал, что будет дальше.

Там открыли окно.

Полковник вздохнул.

Сквозь открытое окно в трубку ворвались шумы Мехико, шумы знойного золотого полудня, и полковник так ясно увидел Хорхе — вот он стоит у окна, а телефонную трубку выставил на улицу, под яркое солнце.

— Сеньор...

— Нет, нет, пожалуйста! Дай мне послушать!

Он слышал: режут гудки автомобилей, скрипят тормоза, кричат разносчики, на все лады расхваливая свой товар — связки красноватых бананов и дикие апельсины.

Ноги полковника, свисавшие с кресла, невольно начали подергиваться, точно и он шагал по той улице. Веки его были плотно сомкнуты. Он шумно втягивал ноздрями воздух, словно надеясь учуять запах мясных туш, что висят на огромных железных крюках, залитые солнцем и сплошь облепленные мухами, и запах мощенных камнем переулков, еще не просохших после утреннего дождя. Он ощущал на своих колючих, давно не бритых щеках жгучее солнце — ему снова двадцать пять лет, и он идет и смотрит вокруг, и улыбается, и счастлив тем, что живет, что так остро чувствует, впитывает в себя цвета и запахи...

Стук в дверь. Он поспешно накрыл телефон на коленях полой халата.

Вошла сиделка.

— Ну как, мы хорошо себя вели? — спросила она бодро.

— Да, — машинально ответил полковник. Перед глазами у него стоял туман. Он еще не опомнился от потрясения, стук в дверь застал его врасплох; часть его существа еще оставалась там, в другом, далеком городе. Он подождал — пусть все вернется на место, ведь нужно отвечать на вопросы, вести себя разумно, быть вежливым.

— Я пришла проверить ваш пульс.

— Не сейчас, — сказал полковник.

— Уж не собираетесь ли вы куда-нибудь пойти? — Сиделка улыбнулась.

Он пристально посмотрел на нее. Он не выходил из дому уже десять лет.

— Дайте-ка руку.

Ее жесткие, уверенные пальцы нащупывали болезнь в его пульсе, измеряли ее, точно кронциркуль.

— Сердце очень возбуждено. Чем это вы его растрожили?

— Ничем.

Она обвела комнату взглядом и увидела пустой телефонный столик. В эту минуту за две тысячи миль раздался приглушенный автомобильный гудок.

Сиделка вынула телефон из-под халата полковника и поднесла к самому его лицу.

— Зачем вы себя губите? Ведь вы обещали больше этого не делать. Поймите, вам же это вредно. Волнуетесь, слишком много разговариваете. И еще эти мальчишки скачут вокруг вас...

— Они сидели очень спокойно и слушали, — сказал полковник. — А я рассказывал о разных разностях, о которых они еще не слыхивали. О бизонах. Ради этого стоило поволноваться. Мне все равно. Я был как в лихорадке и чувствовал, что живу. И если жить полной жизнью — значит умереть скорее, пусть так: предпочитаю умереть быстро, но сперва вкусить еще от жизни. А теперь дайте мне телефон. Раз вы не позволяете мальчикам приходить и тихонько сидеть около меня, я хоть поговорю с кем-нибудь издали.

— Извините, полковник. Мне придется рассказать об этом вашему внуку. Он еще на прошлой неделе хотел убрать отсюда телефон, но я его отговорила. А теперь, видно, придется так и сделать.

— Это мой дом и мой телефон. И я плачу вам жалованье, — сказал старик.

— За то, чтобы я помогала вам поправиться, а не волноваться.— Она откатила кресло в другой конец комнаты.— А теперь, молодой человек, в постель!

Но и с постели он, не отрываясь, глядел на телефон.

— Я сбегая на минутку в магазин,— сказала сиделка.— А кресло ваше я увезу в прихожую. Так мне спокойно, я уж буду знать, что вы не станете опять звонить по телефону.

И она выкатила пустое кресло за дверь. Потом он услышал, что она снизу звонит на междугородную станцию.

Неужели в Мехико-Сити? Нет, не посмеет.

Хлопнула парадная дверь.

Всю минувшую неделю он провел здесь один, в четырех стенах, и какое это было наслаждение — тайные звонки через моря и океаны, тонкая ниточка, протянутая сквозь дебри омытых дождем девственных лесов, среди озер и горных вершин... разговоры... разговоры... Буэнос-Айрес... и Лима... и Рио-де-Жанейро... разговоры...

Он приподнялся на локте в своей холодной постели. Завтра телефона уже не будет! Каким же он был жадным дураком! Полковник спустил с кровати хрупкие, желтые, как слоновья кость, ноги и изумился — они совсем тонкие! Казалось, эти сухие палки прикрепили к его телу однажды ночью, пока он спал, а другие ноги, помоложе, сняли и сожгли в печи. За долгие годы все его тело разрушили, отняли руки и ноги и оставили взамен нечто жалкое и беспомощное, как шахматные фигурки. А теперь хотят добраться до самого неуловимого — до его памяти: пытаются обрезать провода, которые ведут назад, в прошлое.

Спотыкаясь, полковник кое-как пересек комнату. Схватил телефон и прижал к себе; ноги уже не держали его, и он сполз по стене на пол. Потом позвонил на междугородную, а сердце поминутно взрывалось у него в груди — чаще, чаще... В глазах потемнело. Скорей, скорей!

Он ждал.

— Виено.

— Хорхе, нас разъединили.

— Вам нельзя звонить, сеньор,— сказал далекий голос.— Ваша сиделка меня просила. Она говорит, вы очень больны. Я должен повесить трубку.

— Нет, Хорхе, пожалуйста! — взмолился старик.— В последний раз прошу тебя. Завтра у меня отберут телефон. Я уже никогда больше не смогу тебе позвонить.

Хорхе молчал.

— Заклинаю тебя, Хорхе,— продолжал старый полковник.— Ради нашей дружбы, ради прошлых дней! Ты не знаешь, как

это для меня важно. Мы с тобой однолетки, но ведь ты можешь ДВИГАТЬСЯ! А я не двигаюсь с места уже десять лет!

Он уронил телефон и с большим трудом вновь поднял его, боль в груди разрасталась, не давала дышать.

— Хорхе! Ты меня слышишь?

— И это правда будет последний раз? — спросил Хорхе.

— Да, обещаю тебе!

За тысячи миль от Гринтауна телефонную трубку положили на стол. Снова отчетливо, знакомо звучат шаги, тишина, и наконец открывается окно.

— Слушай же, — шепнул себе старый полковник.

И он услышал тысячу людей под иным солнцем и слабое отрывистое треньканье: шарманка играет «Ла Маримба» — такой прелестный танец!

Старик крепко зажмурился, поднял руку, точно собрался сфотографировать старый собор, и тело его словно налилось, помолодело, и он ощутил под ногами раскаленные камни мостовой.

Ему хотелось сказать:

— Вы все еще здесь, да? Вы, жители далекого города, сейчас у вас время ранней сиесты, лавки закрываются, а мальчишки выкрикивают: «*Loteria Nacional para hoy*»¹ и суют прохожим лотерейные билеты. Вы все здесь, люди далекого города. Мне просто не верится, что и я был когда-то среди вас. Из такой дали кажется, что его и нет вовсе, этого города, что он мне только приснился. Всякий город — Нью-Йорк, Чикаго — со всеми своими обитателями издали кажется просто выдумкой. И не верится, что и я существую здесь, в штате Иллинойс, в маленьком городишке у тихого озера. Всем нам трудно поверить, каждому трудно поверить, что все остальные существуют, потому что мы слишком далеко друг от друга. И как же отрадно слышать голоса и шум и знать, что Мехико-Сити все еще стоит на своем месте и люди там все так же ходят по улицам и живут...

Он сидел на полу, крепко прижимая к уху телефонную трубку.

И наконец ясно услышал самый неправдоподобный звук: на повороте заскрежетал зеленый трамвай, полный чужих смуглых и красивых людей, и еще люди бежали вдогонку, и доносились торжествующие возгласы — кому-то удалось вскочить на ходу, трамвай заворачивал за угол, и рельсы звенели, и он уносил людей в знойные летние просторы, и оставалось лишь

¹ Сегодня розыгрыш национальной лотереи (*исп.*).

шипенье кукурузных лепешек на рыночных жаровнях, — а быть может, лишь непрерывное, то угасавшее, то вновь нарастающее гуденье медных проводов, что тянулись за две тысячи миль...

Старый полковник сидел на полу.

Время шло.

Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги в прихожей, потом кто-то помедлил в нерешительности и вот, осмелев, поднимается по лестнице. Приглушенные голоса:

— Не надо нам было приходить!

— А я тебе говорю, он мне позвонил. Ему одному невтерпех. Что ж мы, предатели, что ли, — возьмем да и бросим его?

— Так ведь он болен?

— Ясно, болен. Но он велел приходить, когда сиделки нет дома. Мы только на минутку войдем, поздороваемся, и...

Дверь спальни раскрылась настежь. И трое мальчишек увидели: старый полковник сидит на полу у стены.

— Полковник Фрилей, — негромко позвал Дуглас.

Тишина была какая-то странная, они тоже не решались больше заговорить.

Потом подошли поближе, тихонько, чуть ли не на цыпочках.

Дуглас наклонился и вынул телефон из совсем уже застывших пальцев старика. Поднес трубку к уху, прислушался. И сквозь гуденье проводов и треск разрядов услышал странный, далекий, последний звук. Где-то за две тысячи миль закрылось окно.

* * *

— Бумм! — крикнул Том. — Бумм, бумм, бумм! — Он сидел во дворе суда верхом на пушке времен Гражданской войны.

Перед пушкой стоял Дуглас, он схватился за сердце и рухнул на траву. И не вскочил, а остался лежать и, видно, о чем-то задумался.

— У тебя такое лицо, точно ты вот-вот вытащишь карандаш и возьмешься писать.

— Не мешай мне думать, — ответил Дуглас, глядя на пушку. Потом перекатился на спину и уставился на небо и на макушки деревьев. — Том, до меня только сейчас дошло.

— Что?

— Вчера умер Чин Линсу. Вчера, прямо здесь, в нашем городе, навсегда кончилась Гражданская война. Вчера, прямо здесь, умер президент Линкольн, и генерал Ли, и генерал

Грант, и сто тысяч других, кто лицом к югу, а кто — к северу. И вчера днем в доме полковника Фрилея ухнуло со скалы в самую что ни на есть бездонную пропасть целое стадо бизонов, огромное, как весь Гринтаун, штат Иллинойс. Вчера целые тучи пыли улеглись навеки. А я-то сначала ничего и не понял! Ужасно, Том, просто ужасно! Как же нам теперь быть? Что будем делать? Больше не будет никаких бизонов... И никаких не будет солдат, и генерала Гранта, и генерала Ли, и Честного Эйба, и Чина Линсу не будет! Вот уж не думал, что сразу может умереть столько народу! А ведь они все умерли, Том, это уж точно.

Том сидел верхом на пушке и глядел сверху вниз на брата, пока тот не умолк.

— Блокнот у тебя тут?

Дуглас покачал головой.

— Тогда сбегай-ка за ним и запиши все, пока не забыл. Не каждый день у тебя на глазах помирает половина земного шара.

Дуглас сел на траве, потом встал. И медленно побрел по двору суда, покусывая нижнюю губу.

— Бумм,— негромко сказал Том.— Бумм, бумм.

Потом закричал вслед брату:

— Дуг! Пока ты шел по двору, я тебя три раза убил! Слышишь? Эй, Дуг! Ну ладно.— Он улегся на пушке и, прищурясь, поглядел вдоль корявого ствола.— Бумм,— прошептал он в спину удалявшемуся Дугласу.— Бумм!

* * *

— Двадцать девятая!

— Есть!

— Тридцатая!

— Есть!

— Тридцать первая!

Рычаг нырнул вниз. Жестяные колпачки на закупоренных бутылках блестели, как золото. Дедушка подал Дугласу последнюю бутылку.

— Второй летний урожай. Июньский уже в погребе, а вот готов и июльский. Теперь остается только август.

Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку ее не поставил. Там уже стояло много перенумерованных бутылок, все совершенно одинаковые, как близнецы: все яркие, аккуратные, все доверху заполненные и плотно закупоренные.

«Эта — с того дня, когда я открыл, что живу, — подумал он. — Почему же она ни капельки не ярче других?»

А эта — с того дня, когда Джон Хаф упал с края земли и исчез. Почему же она не темнее остальных?»

Где же, где веселые собаки, что все лето прыгали и резвились, точно дельфины, в волнах переливающейся на ветру пшеницы? Где грозовой запах Зеленой машины и трамвая, запах молний? Осталось ли все это в вине? Нет! Или, по крайней мере, кажется, что нет».

В какой-то книге он вычитал однажды: все слова, что говорили люди с начала времен, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в межзвездных далях, и, если бы долететь до созвездия Центавра, можно было бы услышать, что говорил во сне Джордж Вашингтон или как вскрикнул Юлий Цезарь, когда в спину ему вонзили нож. Насчет звуков все ясно. А как насчет света? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может просто исчезнуть без следа! Значит, где-то, если хорошенько поискать, — быть может, в истекающих медом пчелиных сотах, где свет прячется в янтарном соке, что собрали обремененные пылью пчелы, или в тридцати тысячах линз, которыми увенчана голова полуденной стрекозы, — удастся найти все цвета и зрелища мира. Или положить под микроскоп одну-единственную каплю вот этого вина из одуванчиков — и, может, запольхает извержение Везувия, точно все фейерверки всех дней Четвертого июля. Этому придется поверить.

И все же... вот смотришь на эту бутылку — по номеру ясно, что она налита в тот самый день, когда полковник Фрилей споткнулся и упал на шесть футов под землю, — и, однако, в ней не разглядишь ни грана темного осадка, ни пятнышка пыли, летящей из-под копыт огромных бизонов, ни крошки серы из ружей, что палили в битве при Шайло...

— Да, остается еще август, — сказал Дуглас. — Это верно. Только если и дальше так пойдет, в последнем урожае не соберешь никаких друзей, никаких машин, и одуванчиков кот наплакал.

— Бом! Бом! Ты словно не говоришь, а звонишь в похоронный колокол, — сказал дедушка. — Такие речи хуже всякой ругани. Впрочем, я не стану промывать тебе рот мылом. Тут лучшее лекарство — глоток вина из одуванчиков. А ну-ка! Одним духом! Каково?

— Уф! Будто огонь проглотил!

— Теперь — наверх! Обеги три раза вокруг квартала, пять раз перекувыркнись, шесть раз проделай зарядку, взберись на

два дерева — и живо из главного плакальщика станешь дирижером веселого оркестра. ДУЙ!

«Четыре раза зарядку, взберусь на одно дерево и два раза перекувыркнусь — и хватит», — подумал Дуглас на бегу.

* * *

А первого августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым и не составит ли ему кто-нибудь компанию? Не прошло и пяти минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в прохладную, точно пещера, пахнущую лимонадом и ванилью аптеку и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого, и, когда официант дошел до лимонного мороженого с ванилью, «какое едали в старину», Билл Форестер его прервал:

— Вот его-то нам и давайте.

— Да, сэръ, — подтвердил Дуглас.

В ожидании мороженого они медленно поворачивались на своих вертящихся табуретах. Перед глазами у них проплывали серебряные краны, сверкающие зеркала, приглушенные жужжащие вентиляторы, что мелькали под потолком, зеленые шторы на окнах, плетеные стулья... Потом они перестали вертеться. Их взгляды уперлись в мисс Элен Лумис — ей было девяносто пять лет, и она с удовольствием уплетала мороженое.

— Молодой человек, — сказала она Биллу Форестеру. — Вы, я вижу, наделены и вкусом и воображением. И силы воли у вас, конечно, хватит на десятерых, иначе вы бы не посмели отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню, и преспокойно, без малейшего колебания и угрызений совести заказать такую неслыханную редкость, как лимонное мороженое с ванилью.

Билл Форестер почтительно склонил голову.

— Подите сюда, вы оба, — продолжала старуха. — Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого и еще о всякой всячине, — похоже, у нас найдутся общие слабости и пристрастия. Не бойтесь, я за вас заплачу.

Они заулыбались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней.

— Ты, видно, из Сполдингов, — сказала она Дугласу. — Голова у тебя точь-в-точь, как у твоего дедушки. А вы — вы Уильям Форестер. Вы пишете в «Кроникл», и совсем неплохо. Я о вас очень наслышана, все даже и пересказывать неохота.

— Я тоже вас знаю,— ответил Билл Форестер.— Вы — Элен Лумис.— Он чуть замялся и прибавил: — Когда-то я был в вас влюблен.

— Недурно для начала.— Старуха спокойно набрала ложечку мороженого.— Значит, не миновать следующей встречи. Нет, не говорите мне, где, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим до другого раза. Вы своей болтовней испортите мне аппетит. Смотри ты какой! Впрочем, сейчас мне пора домой. Раз вы репортер, приходите завтра от трех до четырех пить чай; может случиться, что я расскажу вам историю этого города с тех далеких времен, когда он был просто факторией. И оба мы немножко удовлетворим свое любопытство. А знаете, мистер Форестер, вы напоминаете мне одного джентльмена, с которым я дружила семьдесят... да, семьдесят лет тому назад.

Она сидела перед ними, и им казалось, будто они разговаривают с серой, дрожащей заблудившейся молью. Голос ее доносился откуда-то издали, из недр старости и увядания, из-под праха засушенных цветов и давным-давно умерших бабочек.

— Ну что ж.— Она поднялась.— Так вы завтра придете?

— Разумеется, приду,— сказал Билл Форестер.

И она отправилась в город по своим делам, а мальчик и молодой человек неторопливо доедали свое мороженое и смотрели ей вслед.

На другое утро Уильям Форестер проверял кое-какие местные сообщения для своей газеты, после обеда съездил за город, на рыбалку, но только и поймал несколько мелких рыбешек и сразу же беспечно швырнул их обратно в реку; а в три часа, сам не заметив, как это вышло — ведь он как будто об этом и не думал вовсе,— очутился в своей машине на некой улице. Он с удивлением смотрел, как руки его сами собой поворачивают руль и машина, описав широкий полукруг, подъезжает к увитому плющом крыльцу. Он вылез, захлопнул дверцу, и тут оказалось, что машина у него мятая и обшарпанная, совсем как его изжеванная и выдавшая виды трубка,— в огромном зеленом саду перед свежеекрашенным трехэтажным домом в викторианском стиле это особенно бросалось в глаза. В дальнем конце сада что-то колыхнулось, донесся чуть слышный оклик, и он увидел мисс Лумис — там, вдалеке, в ином времени и пространстве, она сидела одна и ждала его; перед ней мягко поблескивало серебро чайного сервиза.

— В первый раз вижу женщину, которая вовремя готова и ждет,— сказал он, подходя к ней.— Правда, я и сам первый раз в жизни прихожу на свиданье вовремя.

— А почему? — спросила она и выпрямилась в плетеном кресле.

— Право, не знаю, — признался он.

— Ладно. — Она стала разливать чай. — Для начала: что вы думаете о нашем подлунном мире?

— Я ничего о нем не знаю.

— Говорят, с этого начинается мудрость. Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему двадцать семь и он по-прежнему знает все — значит, ему все еще семнадцать.

— Вы, видно, многому научились за свою жизнь.

— Хорошо все-таки старикам — у них всегда такой вид, будто они все на свете знают. Но это лишь притворство и маска, как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы, старики, остаемся одни, мы подмигиваем друг другу и улыбаемся: дескать, как тебе нравится моя маска, мое притворство, моя уверенность? Разве жизнь — не игра? И ведь я недурно играю?

Они оба посмеялись. Билл откинулся на стуле, и впервые за много месяцев смех его звучал естественно. Потом мисс Лумис обеими руками взяла свою чашку и заглянула в нее.

— А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне был двадцать один год и я была совсем глупенькая.

— Для хорошеньких девушек в двадцать один год существуют особые законы.

— Так вы думаете, я была хорошенькая?

Он добродушно кивнул.

— Да с чего вы это взяли? — спросила она. — Вот вы увидели дракона, он только что съел лебедя; можно ли судить о лебедь по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь только это и осталось — дракон, весь в складках и морщинах, который сожрал бедную лебедушку. Я не вижу ее уже много-много лет. И даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри она все та же, все еще жива, ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю: вот сейчас побегу через луга в лес и наберу земляники! Или поплаваю в озере, или стану танцевать всю ночь напролет, до самой зари! И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади все пропадом! Да ведь он меня не выпустит, этот дряхлый развалина-дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне — выйти невозможно, знай себе сиди да жди Прекрасного принца.

— Вам бы книги писать.

— Дорогой мой мальчик, я и писала. Что еще оставалось делать старой деве? До тридцати лет я была легкомысленной дурой, только и думала, что о забавах, развлечениях да танцульках. А потом — единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут назло самой себе я решила: раз не вышла замуж, когда улыбнулось счастье, — поделом тебе, сиди в девках! И принялась путешествовать. На моих чемоданах заперестрели разноцветные наклейки. Побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне — и всюду одна да одна, и тут оказалось: быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Гринтауне, штат Иллинойс. Все равно где — важно, что ты одна. Конечно, остается вдоволь времени размышлять, шлифовать свои манеры, оттачивать остроумие. Но иной раз я думаю: с радостью отдала бы острое словцо или изящный реверанс за друга, который остался бы со мной на субботу и воскресенье лет эдак на тридцать.

Они молча допили чай.

— Вот какой приступ жалости к самой себе, — добродушно сказала мисс Лумис. — Давайте поговорим о вас. Вам тридцать один и вы все еще не женаты?

— Я бы объяснил это так: женщины, которые живут, думают и говорят как вы, — большая редкость, — сказал Билл.

— Бог ты мой, — серьезно промолвила она. — Да неужто молодые женщины станут говорить как я! Это придет позднее. Во-первых, они для этого слишком молоды. И во-вторых, большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли. Наверно, вам не раз встречались очень умные женщины, которые весьма успешно скрывали от вас свой ум. Если хотите найти для коллекции редкостного жучка, нужно хорошенько поискать и не лениться пошарить по разным укромным уголкам.

Они снова посмеялись.

— Из меня, верно, выйдет ужасно дотошный старый холостяк, — сказал Билл.

— Нет, нет, так нельзя. Это будет неправильно. Вам и сегодня не надо бы сюда приходить. Эта улица упирается в египетскую пирамиду — и только. Конечно, пирамиды — это очень мило, но мумии вовсе не подходящая для вас компания. Куда бы вам хотелось поехать? Что бы вы хотели делать, чего добиться в жизни?

— Хотел бы повидать Стамбул, Порт-Саид, Найроби, Будапешт. Написать книгу. Очень много курить. Упасть со скалы, но на полдороге зацепиться за дерево. Хочу, чтобы где-

нибудь в Марокко в меня раза три выстрелили в полночь в темном переулке. Хочу любить прекрасную женщину.

— Ну, я не во всем смогу вам помочь,— сказала мисс Лумис.— Но я много путешествовала и могу вам порассказать о разных местах. И если угодно, пробегите сегодня вечером, часов в одиннадцать, по лужайке перед моим домом, и я, так и быть, выпалю в вас из мушкета времен Гражданской войны, конечно, если еще не лягу спать. Ну как, насытит ли это вашу мужественную страсть к приключениям?

— Это будет просто великолепно!

— Куда же вы хотите отправиться для начала? Могу увезти вас в любое место. Могу вас заколдовать. Только пожелайте. Лондон? Каир? Ага, вы так и просияли! Ладно, значит, едем в Каир. Не думайте ни о чем. Набейте свою трубку этим душистым табаком и устраивайтесь поудобнее.

Билл Форестер откинулся в кресле, закурил трубку и, чуть улыбаясь, приготовился слушать.

— Каир...— начала она.

Прошел час, наполненный драгоценными камнями, глухими закоулками и ветрами египетской пустыни. Солнце источало золотые лучи, Нил катил свои мутно-желтые воды, а на вершине пирамиды стояла совсем юная, порывистая и очень жизнерадостная девушка, и смеялась, и звала его из тени наверх, на солнце, и он спешил подняться к ней, и вот она протянула руку и помогает ему одолеть последнюю ступеньку... а потом они, смеясь, качаются на спине у верблюда, а навстречу вздымается громада Сфинкса... а поздно ночью в туземном квартале звенят молоточки по бронзе и серебру, и кто-то наигрывает на незнакомых струнных инструментах, и незнакомая мелодия звучит все тише и наконец замирает вдали...

Уильям Форестер открыл глаза. Мисс Элен Лумис умолкла, и оба они опять были в Гринтауне, в саду, с таким чувством, точно целый век знают друг друга, и чай в серебряном чайнике уже остыл, и печенье подсохло в лучах заходящего солнца. Билл вздохнул, потянулся и снова вздохнул:

— Никогда в жизни мне не было так хорошо!

— И мне тоже.

— Я вас очень утомил. Мне надо было уйти уже час назад.

— Вы и сами знаете, что я отлично провела этот час. Но вот вам-то что за радость сидеть с глупой старухой...

Билл Форестер вновь откинулся на спинку кресла и смотрел на нее из-под полуопущенных век. Потом зажмурился так, что в глаза проникла лишь тонюсенькая полоска света. Осторожно наклонил голову на один бок, потом на другой.

— Что это вы? — недоуменно спросила мисс Лумис.

Билл не ответил и продолжал ее разглядывать.

— Если найти точку, — бормотал он, — важно приспособиться, отбросить лишнее... — а про себя думал: можно не замечать морщины, скинуть со счетов годы, повернуть время вспять.

И вдруг встрепенулся.

— Что случилось? — спросила мисс Лумис.

Но все уже пропало. Он открыл глаза, чтобы снова поймать тот призрак. Ошибка, этого делать не следовало. Надо было откинуться назад, забыть обо всем и смотреть словно бы лениво, не спеша, полузакрыв глаза.

— На какую-то секунду я это увидел, — сказал он.

— Что увидели?

«Лебедушку, конечно», — подумал он, и, наверно, она прокла это слово по его губам.

Старуха порывисто выпрямилась в своем кресле. Руки застыли на коленях. Глаза, устремленные на него, медленно наполнились слезами. Билл растерялся.

— Простите меня, — сказал он наконец. — Ради Бога, простите.

— Ничего. — Она по-прежнему сидела выпрямившись, стиснув руки на коленях, и не смахивала слез. — Теперь вам лучше уйти. Да, завтра можете прийти опять, а сейчас, пожалуйста, уходите, и ничего больше не надо говорить.

Он пошел прочь через сад, оставив ее в тени за столом. Оглянуться он не посмел.

Прошло четыре дня, восемь, двенадцать; его приглашали то к чаю, то на ужин, то на обед. В долгие зеленые послеполуденные часы они сидели и разговаривали — об искусстве, о литературе, о жизни, обществе и политике. Ели мороженое, жареных голубей, пили хорошие вина.

— Меня никогда не интересовало, что болтают люди, — сказала она однажды. — А они болтают, да?

Билл смущенно поерзал на стуле.

— Так я и знала. Про женщину всегда сплетничают, даже если ей уже стукнуло девяносто пять.

— Я могу больше не приходить.

— Что вы! — воскликнула она и тотчас опомнилась. — Это невозможно, вы и сами знаете, — продолжала она спокойнее. — Да ведь и вам все равно, что они там подумают и что скажут, правда? Мы-то с вами знаем — ничего худого тут нет.

— Конечно, мне все равно, — подтвердил он.

— Тогда мы еще поиграем в нашу игру. — Мисс Лумис откинулась в кресле. — Куда на этот раз? В Париж? Давайте в Париж.

— В Париж.— Билл согласно кивнул.

— Итак,— начала она,— на дворе год тысяча восемьсот восемьдесят пятый, и мы садимся на пароход в нью-йоркской гавани. Вот наш багаж, вот билеты, там — линия горизонта. И мы уже в открытом море. Подходим к Марселю...

Она стоит на мосту и глядит вниз, в прозрачные воды Сены, и вдруг он оказывается рядом с ней и тоже глядит вниз, на волны лета, бегущие мимо. Вот в белых пальцах у нее рюмка с аперитивом, и снова он тут как тут, наклоняется к ней, чокается, звенят рюмки. Он видит себя в зеркалах Версаля, над дымящимися доками Стокгольма, они вместе считают вывески цирюльников вдоль каналов Венеции. Все, что она видела одна, они видят теперь снова, вместе.

Как-то в середине августа они под вечер сидели вдвоем и глядели друг на друга.

— А знаете, ведь я бываю у вас почти каждый день вот уже две с половиной недели,— сказал Билл.

— Не может быть!

— Для меня это огромное удовольствие.

— Да ведь на свете столько молодых девушек...

— В вас есть все, чего недостает им,— доброта, ум, остроумие...

— Какой вздор! Доброта и ум — свойства старости. В двадцать лет женщине куда интереснее быть бессердечной и легкомысленной.— Она умолкла и перевела дух.— Теперь я хочу вас смутить. Помните, когда мы встретились в первый раз в аптеке, вы сказали, что у вас одно время была... ну, скажем, симпатия ко мне. Потом вы старались, чтобы я об этом забыла, ни разу больше об этом не упомянули. Вот мне и приходится самой просить вас объяснить мне, что это была за нелепость.

Билл замялся:

— Вы и правда меня смутили.

— Ну, выкладывайте!

— Много лет назад я случайно увидел вашу фотографию.

— Я никогда не разрешаю себя фотографировать.

— Это была очень старая карточка, вам на ней лет двадцать.

— Ах, вот оно что. Это просто курам на смех! Всякий раз, когда я жертвую деньги на благотворительные цели или еду на бал, они выкапывают эту карточку и опять ее перепечатают. И весь город смеется. Даже я сама.

— Со стороны газеты это жестоко.

— Ничуть. Я им сказала: если вам нужна моя фотография, берите ту, где я снята в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году. Пусть запомнят меня такой. И уж, пожалуйста, во время панихиды не открывайте крышки гроба.

— Я расскажу вам, как все это было.

Билл Форестер скрестил руки на груди, опустил глаза и немного помолчал. Он так ясно представил себе эту фотографию. Здесь, в этом саду, было вдоволь времени вспомнить каждую черточку, и перед ним встала Элен Лумис — та, с фотографии, совсем еще юная и прекрасная, когда она впервые в жизни одна позировала перед фотоаппаратом. Ясное лицо, тихая, застенчивая улыбка.

Это было лицо весны, лицо лета, теплое дыханье душистого клевера. На губах рдели гранаты, в глазах голубело полуденное небо. Коснуться этого лица — все равно что ранним декабрьским утром распахнуть окно и, задохнувшись от ощущения новизны, подставить руку под первые легчайшие пушинки снега, что падают с ночи, неслышные и неожиданные. И все это — теплота дыханья и персиковая нежность — навсегда запечатлелось в чуде, именуемом фотографией, над ним не властен ветер времени, его не изменит бег часовой стрелки, оно никогда ни на секунду не постареет; этот легчайший первый снежок никогда не растает, он переживет тысячи жарких июлей.

Вот какова была та фотография, и вот как он узнал мисс Лумис. Он вспомнил все это, знакомый облик встал перед его мысленным взором, и теперь он вновь заговорил:

— Когда я в первый раз увидел эту простую карточку — девушку со скромной, без затей, прической, — я не знал, что снимок сделан так давно. В газетной заметке говорилось, что Элен Лумис откроет в этот вечер бал в ратуше. Я вырезал фотографию из газеты. Весь день я всюду таскал ее с собой. Я твердо решил пойти на этот бал. А потом, уже к вечеру, кто-то увидел, как я гляжу на эту фотографию, и мне открыли истину. Рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давным-давно и газета из года в год его перепечатывает. И еще мне сказали, что не стоит идти на бал и искать вас там по этой фотографии.

Долгую минуту они сидели молча. Потом Билл исподтишка глянул на мисс Лумис. Она смотрела в дальний конец сада, на ограду, увитую розами. На лице ее ничего не отразилось. Она немного покачалась в своем кресле и мягко сказала:

— Ну вот и все. Не выпить ли нам еще чаю?

Они молча потягивали чай. Потом она наклонилась вперед и похлопала его по плечу:

— Спасибо.

— За что?

— За то, что вы хотели пойти на бал искать меня, за то, что вырезали фотографию из газеты,— за все. Большое вам спасибо.

Они побродили по тропинкам сада.

— А теперь моя очередь,— сказала мисс Лумис.— Помните, я как-то обмолвилась об одном молодом человеке, который ухаживал за мной семьдесят лет тому назад? Он уже лет пятьдесят как умер, но в то время он был совсем молодой и очень красивый, целые дни проводил в седле и даже летними ночами скакал на лихом коне по окрестным лугам. От него так и веяло здоровьем и сумасбродством, лицо всегда было покрыто загаром, руки вечно исцарапаны; и все-то он бурлил и кипятился, а ходил так стремительно, что казалось, его вот-вот разорвет на части. То и дело менял работу — бросит все и перейдет на новое место, а однажды сбежал и от меня, потому что я была сумасбродней его и ни за что не соглашалась стать степенной мужней женой. Вот так все и кончилось. И я никак не ждала, что в один прекрасный день вновь увижу его живым. Но вы живой, и нрав у вас тоже горячий и неумный, и вы такой же неуклюжий и вместе с тем изящный. И я заранее знаю, как вы поступите, когда вы и сами еще об этом не догадываетесь, и, однако, всякий раз вам поражаюсь. Я всю жизнь считала, что перевоплощение — бабьи сказки, а вот на днях вдруг подумала: а что, если взять и крикнуть на улице: «Роберт! Роберт!» — не обернется ли на этот зов Уильям Форестер?

— Не знаю,— сказал он.

— И я не знаю. Потому-то жизнь так интересна.

Август почти кончился. По городу медленно плыло первое прохладное дыханье осени, яркая зелень листвы потускнела, а потом деревья вспыхнули буйным пламенем, горы и холмы зарумянились, заиграли всеми красками, а пшеничные поля побурели. Дни потекли знакомой однообразной чередой, точно писарь выводил ровным круглым почерком букву за буквой, строку за строкой.

Как-то раз Уильям Форестер шагал по хорошо знакомому саду и еще издали увидел, что Элен Лумис сидит за чайным столом и старательно что-то пишет. Когда Билл подошел, она отодвинула перо и чернила.

— Я вам писала,— сказала она.

— Не стоит трудиться — я здесь.

— Нет, это письмо особенное. Посмотрите.— Она показала Биллу голубой конверт, только что заклеенный и аккуратно

разглаженный ладонью.— Запомните, как оно выглядит. Когда почтальон принесет вам его, это будет означать, что меня уже нет в живых.

— Ну что это вы такое говорите!

— Садитесь и слушайте.

Он сел.

— Дорогой мой Уильям,— начала она, укрывшись под тенью летнего зонтика.— Через несколько дней я умру. Нет, не перебивайте меня.— Она предостерегающе подняла руку.— Я не боюсь. Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха. Никогда в жизни не любила омаров — может, потому, что не пробовала. А в день, когда мне исполнилось восемьдесят, решила — дай-ка отведаю. Не скажу, чтобы я их так сразу и полюбила, но теперь я хоть знаю, каковы они на вкус, и не боюсь больше. Так вот, думаю, и смерть вроде ома-ра, и уж как-нибудь я с ней примирюсь.— Мисс Лумис махнула рукой.— Ну, хватит об этом. Главное, что я вас больше не увижу. Отпевать меня не будут. Я полагаю, у женщины, кото-рая прошла в эту дверь, такое же право на уединение, как у женщины, что удалилась на ночь к себе в спальню.

— Смерть предсказать невозможно,— выговорил наконец Билл.

— Вот что, Уильям. Полвека я наблюдаю за дедовскими часами в прихожей. Когда их заводят, я могу точно сказать наперед, в котором часу они остановятся. Так и со старыми людьми. Они чувствуют, как слабеет завод и маятник раскачи-вается все медленнее. Ох, пожалуйста, не смотрите на меня так.

— Простите, я не хотел...— ответил он.

— Мы ведь славно провели время, правда? Это было так необыкновенно хорошо — наши с вами беседы каждый день. Есть такая ходячая, избитая фраза — родство душ; так вот, мы с вами и есть родные души.— Она повертела в руках голубой конверт.— Я всегда считала, что истинную любовь определяет дух, хотя тело порой отказывается этому верить. Тело живет только для себя. Только для того, чтобы пить, есть и ждать ночи. В сущности, это ночная птица. А дух ведь рожден от солнца, Уильям, и его удел — за нашу долгую жизнь тысячи и тысячи часов бодрствовать и впитывать все, что нас окружает. Разве можно сравнить тело, это жалкое и себялюбивое порождение ночи, со всем тем, что за целую жизнь дают нам солнце и разум? Не знаю. Знаю только, что все последние дни мой дух соприкасался с вашим и дни эти были лучшими в моей

жизни. Еще о многом надо бы поговорить, да придется отложить до новой встречи.

— У нас не так уж много времени.

— Да, но вдруг будет еще одна встреча! Время — престранная штука, а жизнь — и еще того удивительней. Как-то там не так повернулись колесики или винтики, и вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком поздно. Я чересчур зажилась на свете, это ясно. А вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Ужасно досадное несовпадение. А может, это мне в наказание — уж очень я была легкомысленной девчонкой. Но на следующем обороте колесики могут опять повернуться так, как надо. А куда непременно найдите себе славную девушку, женитесь и будьте счастливы. Но прежде вы должны мне кое-что обещать.

— Все что угодно.

— Обещайте не дожить до глубокой старости, Уильям. Если удастся, постарайтесь умереть, пока вам не исполнилось пятьдесят. Я знаю, это не так просто. Но я вам очень советую — ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Элен Лумис. А вы только представьте: вот вы уже дряхлый старик, и в один прекрасный день в тысяча девятьсот девяносто девятом году плететесь по Главной улице и вдруг видите меня, а мне только двадцать один, и все опять полетело вверх тормашками — ведь правда, это было бы ужасно? Мне кажется, как ни приятно нам было встречаться в эти последние недели, мы все равно больше не могли бы так жить. Тысяча галлонов чая и пятьсот печений — вполне достаточно для одной дружбы. Так что непременно устройте себе, лет эдак через двадцать, воспаление легких. Ведь я не знаю, сколько вас там продержат, на том свете, — а вдруг сразу отпустят обратно? Но я сделаю все, что смогу, Уильям, обещаю вам. И если все пойдет как надо, без ошибок и опозданий, знаете, что может случиться?

— Скажите мне.

— Как-нибудь, году так в тысяча девятьсот восемьдесят пятом или девяностом, молодой человек по имени Том Смит или, скажем, Джон Грин, гуляя по улицам, заглянет мимоходом в аптеку и, как полагается, спросит там какого-нибудь редкостного мороженого. А по соседству окажется молодая девушка, его сверстница, и, когда она услышит, какое мороженое он заказывает, что-то произойдет. Не знаю, что именно и как именно. А уж она-то и подавно не будет знать, как и что. И он тоже. Просто от одного названия этого мороженого у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Они разговоятся. А потом познакомятся и уйдут из аптеки вместе.

И она улыбнулась Уильяму.

— Вот как гладко получается, но вы уж извините старуху, люблю все разбирать и по полочкам раскладывать. Это просто так, пустячок вам на память. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. О чем же? Осталось ли на свете хоть одно местечко, куда мы еще не съездили? А в Стокгольме мы были?

— Да, прекрасный город.

— А в Глазго? Куда же нам теперь?

— Почему бы не съездить в Гринтаун, штат Иллинойс? — предложил Билл. — Сюда. Мы ведь, собственно, не побывали вместе в нашем родном городе.

Мисс Лумис откинулась в кресле. Билл последовал ее примеру, и она начала:

— Я расскажу вам, каким был наш город давным-давно, когда мне едва минуло девятнадцать...

Зимний вечер, она легко скользит на коньках по замерзшему пруду, лед под луной белый-белый, а под ногами скользит ее отражение и словно шепчет ей что-то. А вот летний вечер — летом здесь, в этом городе, зноем опалены и улицы, и щеки, и в сердце знойно, и куда ни глянь мерцают — то вспыхнут, то погаснут — светлячки. Октябрьский вечер, ветер шумит за окном, а она забежала на кухню полакомиться тянучкой и беззаботно напевает песенку; а вот она бежит по мшистому берегу реки, вот весенним вечером плавает в гранитном бассейне за городом, в глубокой и теплой воде; а теперь Четвертое июля, в небе рассыпаются разноцветные огни фейерверка — и алым, синим, белым светом озаряются лица зрителей на каждом крыльце, и, когда гаснет в небе последняя ракета, одно девичье лицо сияет ярче всех.

— Вы видите все это? — спрашивает Элен Лумис. — Видите меня там, с ними?

— Да, — отвечает Уильям Форестер, не открывая глаз. — Я вас вижу.

— А потом, — говорит она, — потом...

Голос ее все не смолкает, день на исходе, и сгущаются сумерки, а голос все звучит в саду, и всякий, кто пройдет мимо за оградой, даже издали может его услышать — слабый, тихий, словно шелест крыльев мотылька...

Два дня спустя Уильям Форестер сидел за столом у себя в редакции, и тут пришло письмо. Его принес Дуглас, отдал Уильяму, и лицо у него было такое, словно он знал, что там написано.

Уильям Форестер сразу узнал голубой конверт, но не вскрыл его. Просто положил в карман рубашки, минуту молча смотрел на мальчика, потом сказал:

— Пойдем, Дуг. Я угощаю.

Они шли по улицам и почти всю дорогу молчали; Дуглас и не пытался заговорить — чуть подсказывало ему, что так надо. Надвинувшаяся было осень отступила. Вновь сияло лето, вспенивая облака и начищая голубой металл неба. Они вошли в аптеку и уселись у снежно-белой стойки. Уильям Форестер вынул из нагрудного кармана письмо и положил перед собой, но все не распечатывал конверт.

Он смотрел в окно: желтый солнечный свет на асфальте, зеленые полотняные навесы над витринами, сияющие золотом буквы вывесок через дорогу... потом взглянул на календарь на стене. Двадцать седьмое августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Он взглянул на свои наручные часы; сердце билось медленно и тяжело, а минутная стрелка на циферблате совсем не двигалась, и календарь навеки застыл на этом двадцать седьмом августа, и даже солнце, казалось, пригвождено к небу и никогда уже не закатится. Вентиляторы над головой, издыхая, разгоняли теплый воздух. Мимо распахнутых дверей аптеки, чему-то смеясь, проходили женщины, но он их не видел, он смотрел сквозь них и видел дальние улицы и часы на высокой башне здания суда. Наконец распечатал письмо и стал читать.

Потом медленно повернулся на вертящемся табурете. Опять и опять беззвучно повторял эти слова про себя и наконец выговорил их вслух и снова повторил:

— Лимонного мороженого с ванилью, — сказал он. — Лимонного мороженого с ванилью.

* * *

Дуглас, Том и Чарли, тяжело дыша, бежали по залитой солнцем улице.

— Том, скажи честно.

— Чего тебе?

— Бывает так, что все хорошо кончается?

— Бывает — в песках, которые показывают на утренниках то субботам.

— Ну, это понятно, а в жизни так бывает?

— Я тебе одно скажу, Дуг: ужасно люблю вечером ложиться спать! Так что уж один-то раз в день непременно бывает частливый конец. Наутро встаешь и, может, все пойдет хуже куда. Но тогда я сразу вспомню, что вечером опять лягу спать и, как полежу немножко, все опять станет хорошо.

— Да нет, я про мистера Форестера и про старую мисс Томис

— Так ведь она умерла, что ж тут поделаешь.

— Я знаю. Только тут все равно что-то не так, верно?

— А, ты вон про что! Ему-то кажется, что она все молоденькая, совсем как на той карточке, а на самом деле ей уже целый миллион лет — про это, да? Ну а по-моему, это просто здорово!

— Как так здорово?

— За последнее время мистер Форестер мне понемножку про все это рассказывал, и я под конец сообразил что к чему и давай реветь — прямо как девчонка! Даже сам не знаю, с чего это я. Только мне вовсе не хочется, чтобы было по-другому. Ведь будь оно по-другому, нам с тобой и говорить бы не о чем. И потом, мне нравится плакать. Как поплачешь хорошенько, сразу кажется, будто опять утро и начинается новый день.

— Вот теперь понятно!

— Да ты и сам любишь поплакать, только не признаешься. Поплачешь всласть, и потом все хорошо. Вот тебе и счастливый конец. И опять охота бежать на улицу играть с ребятами. И тут, глядишь, начинается самое неожиданное! Вот и мистер Форестер вдруг подумает-подумает и поймет, что тут уж все равно ничего не поделаешь, да как заплачет, потом поглядит, а уже опять утро, хоть бы на самом деле было пять часов дня.

— Что-то непохоже это на счастливый конец.

— Надо только хорошенько выспаться, или пореветь минут десять, или съесть целую пинту шоколадного мороженого, а то и все это вместе, — лучшего лекарства не придумаешь. Это тебе говорит Том Сполдинг, доктор медицины.

— Да замолчите вы, — сказал Чарли. — Мы уже почти пришли.

Они завернули за угол.

Среди зимы они, бывало, искали следы и признаки лета и находили их в топках печей, в подвалах или в вечерних кострах на краю пруда, превращенного в каток. Теперь, летом, они искали хоть малейшего отзвука, хоть напоминания о забытой зиме.

За углом в их разгоряченные лица дохнуло свежестью, словно легкий морозящий дождик брызнул навстречу огромному кирпичному зданию; прямо перед ними была вывеска, которую они давно знали наизусть:

ЛЕТНИЙ ЛЕД

Того-то им и надо было. «Летний лед» в летний день! Они смеялись и повторяли эти слова и подошли поближе, чтобы

заглянуть в громадную пещеру, где в аммиачных парах и хрустальных каплях дремали большущие, по пятьдесят, сто и двести фунтов, куски ледников и айсбергов — давно выпавший, но незабытый январский снег.

— Чувствуешь? — вздохнул Чарли Вудмен. — Чего еще надо человеку?

Над ними всюду светило солнце, а лица опять и опять оевало холодное дыханье зимы, и они втягивали ноздрями запах влажной деревянной платформы, где всеми цветами радуги переливался постоянный туман; он исходил от механизмов, которые там, наверху, вырабатывали лед.

Ребята грызли сосульки, пальцы у них закохенели — пришлось завернуть сосульки в носовые платки и сосать полотно.

— «Ледяные дуновенья, леденящие туманы», — шепнул Том. — Помните «Снежную королеву»? Понятно, теперь мы уже не верим в такую ерунду. А может, она как раз тут и прячется, потому что никто больше в нее не верит? Очень просто!

Они стояли и смотрели, как над холодильником поднимаются испарения и уплывают длинными лентами холодного дыма.

— Нет, — сказал Чарли. — Знаете, кто тут живет? Только он один. Про кого как подумаешь, враз мурашки по спине забегают. — Чарли понизил голос почти до шепота: — ДУШЕГУБ!

— Душегуб?

— Ну да, тут он родился, вырос и весь свой век тут живет. Вы поймите, ребята: тут всегда зима, всегда холод, а ведь из-за Душегуба мы и летом дрожим, в самую жару, в самые душные ночи. Откуда же ему еще взяться? Тут даже пахнет им. Верно вам говорю, да вы и сами знаете. Душегуб... Душегуб...

Туман и испарения клубились в темноте.

Том взвизгнул.

— Ничего, ничего, Дуг! — Чарли широко ухмыльнулся. — Это я просто запустил ему за шиворот сосульку.

* * *

Часы на здании суда пробили семь раз. Отзвучало и замерло эхо.

Маленький городишко в штате Иллинойс, затерянный в глуши, отгороженный от мира рекой, лесом, лугом и озером, укутанный теплыми летними сумерками. От тротуаров еще пышет жаром. Закрываются магазины, на улицы ложится тень. И над городом — две луны: на все четыре стороны смот-

рят четыре циферблата часов над торжественным черным зданием суда, а на востоке в темном небе, светясь молочной белизной, восходит настоящая луна.

В аптеке высоко под потолком шепчутся вентиляторы. В тени вычурных крылечек сидят несколько человек, в темноте их не разглядеть. Порою разгорится розовый огонек сигары. Затянутые москитной сеткой двери веранд скрипят и хлопают. По лиловым в поздних летних сумерках камням мостовой бежит Дуглас Сполдинг, следом мчатся собаки и мальчишки.

— Привет, мисс Лавиния!

Мальчишки пронеслись мимо. Лавиния Неббс лениво помахала им вдогонку. Она сидела совсем одна, изредка белыми пальцами подносила к губам высокий фужер с прохладным лимонадом, отпивала глоток, ждала.

— Вот и я!

Лавиния обернулась — у крыльца стояла Франсина, вся в белом, от нее веяло цветущими цинниями и гибискусом.

Лавиния Неббс заперла парадную дверь, оставила недопитый лимонад на веранде.

— Самый подходящий вечер для хорошего фильма.

Они вышли на улицу.

— Куда вы, девочки? — окликнули их мисс Роберта и мисс Ферн, завидев подруг со своей веранды.

— В кино «Элита», смотреть Чарли Чаплина, — через мягкий океан тьмы отозвалась Лавиния.

— Нет уж, в такую ночь нас из дому не выманишь! — крикнула мисс Ферн. — Вот в такие ночи Душегуб и душит женщин. Мы сегодня возьмем пистолет и запремся в чулане.

— Вот еще глупости! — сказала Лавиния.

За обеими старушками громко захлопнулась дверь, в замке шелкнул ключ, а девушки пошли дальше. Славно было ощущать теплое дыханье летней ночи над раскаленными тротуарами. Будто идешь по твердой корочке свежее испеченного хлеба. Жаркие струи вкрадчиво обвивают ноги, забираются под платье, охватывают все тело... Приятно!

— Лавиния, а ты веришь всем этим разговорам насчет Душегуба?

— Уж очень наши дамы любят поболтать, язык-то без костей.

— А что ни говори, два месяца назад убили Хетти Мак-Доллис, а месяц назад — Роберту Ферри, а теперь вот исчезла Элизабет Рэмсел...

— Хетти Мак-Доллис была просто дурочка. Ручаюсь, она сбежала с каким-нибудь коммивояжером.

— А как же остальные? Говорят, их всех нашли удушенными, и язык прикушен.

Они стояли на краю оврага, который делил город надвое. Позади остались освещенные дома и музыка, впереди — провал, сырость, светлячки и тьма.

— Может, зря мы сегодня пошли в кино, — заметила Франсина. — Вдруг Душегуб нас выследит и убьет! Не люблю я этот овраг. Посмотри-ка на него.

Лавиния посмотрела, и овраг показался ей динамо-машиной, которая ни днем ни ночью не знает покоя; там непрерывно что-то ворчит, шуршит и ворочается — идет жизнь растений, насекомых и какого-то зверья. Из глубины оврага тянет, словно из теплицы, какими-то неведомыми приторными испарениями, древними, насквозь промытыми сланцами, сыпучими песками. А черная динамо-машина все гудит и гудит, и летающие светлячки разрывают тьму, точно электрические искры.

— Мне-то уж не надо будет сегодня в такую поздноту возвращаться домой через этот мерзкий овраг, — сказала Франсина. — А вот тебе придется идти домой этой дорогой, Лавиния. По этим ступенькам и через мост... а вдруг тебе встретится Душегуб?

— Глупости! — сказала Лавиния Неббс.

— Я-то не пойду, а вот ты пойдешь по тропинке одна и станешь прислушиваться к собственным шагам. Всю дорогу до дому тебе придется идти одной. Послушай, Лавиния, неужели тебе не жутко совсем одной в твоём доме?

— Старые девы любят жить одни. — Лавиния указала на тропку среди кустов, уходящую во тьму; там было жарко, словно в теплице. — Давай пойдем напрямик.

— Я боюсь!

— Еще рано. Душегуб выходит на охоту гораздо позже.

Лавиния взяла Франсину под руку и повела по извилистой тропинке, все ниже, ниже, в теплоту сверчков, кваканья лягушек и напоенную тонким пеньем москитов тишину. Они пробирались сквозь сожженную солнцем траву, сухие стебли кололи их голые щиколотки.

— Побежим! — задыхаясь, попросила Франсина.

— Нет!

Тропинка вильнула в сторону — и тут они увидели...

В певучей тишине ночи под сенью нагретых солнцем деревьев лежала Элизабет Рэмсел — казалось, она прилегла здесь, чтобы насладиться ласковыми звездами и беспечным ветерком,

руки свободно лежали вдоль тела, как весла легкокрылого суденьшка.

Франсина вскрикнула.

— Не кричи! — Лавиния протянула руки и ухватилась за Франсину, а та всхлипывала и давилась слезами. — Не кричи, не смей кричать!

Элизабет лежала, точно ее вынесло сюда волнами; лицо залито лунным светом, глаза широко раскрыты и тускло отсвечивают, как речная галька, кончик языка прикушен.

— Она мертвая, — сказала Франсина. — Ой, она мертвая, мертвая!

Лавиния словно окаменела, а вокруг темнели теплые тени, стрекотали сверчки, громко квакали лягушки.

— Надо сообщить в полицию, — сказала она наконец.

— Обними меня, Лавиния, мне холодно, ужасно холодно, в жизни не было так холодно!

Лавиния обняла Франсину; а между тем по сухой до хруста траве шагали полицейские, под ногами металась пятна света от карманных фонариков, звучали приглушенные голоса; время близилось к половине девятого.

— Прямо как в декабре. Свитер бы надеть! — не открывая глаз, сказала Франсина и прижалась к подруге.

— Теперь вы обе можете идти, уважаемые, — сказал полицейский. — А завтра прошу зайти к нам в участок, у нас, наверно, будут к вам еще кое-какие вопросы.

И Лавиния с Франсиной пошли прочь от полиции и от белой простыни, которая прикрывала теперь нечто неподвижное, простертое на траве.

Сердце Лавинии отчаянно колотилось, ее тоже насквозь, до самых костей пробирал холод; в лунном свете ее тонкие пальцы белели как льдинки; и ей запомнилось, что она всю дорогу что-то говорила, а Франсина только всхлипывала и жалась к ней.

Внезапно вдогонку послышался голос:

— Может, вас проводить?

— Нет, мы дойдем одни, — ответила в темноту Лавиния, и они пошли дальше.

Они шли по оврагу, тут все шуршало и словно бы настороженно принюхивалось к ним, перешептывалось, стрекотало и потрескивало, а крошечный островок, где оставались огни и голоса, где люди искали следы убийцы, затерялся далеко позади.

— Я никогда раньше не видела мертвых, — сказала Франсина.

Лавиния взгляделась в свои часы, словно они были Бог весть в какой дали, словно собственное запястье оказалось за тысячу миль от нее.

— Сейчас только половина девятого. Захватим по дороге Элен и пойдем в кино.

— В кино?! — Франсина отшатнулась.

— Непременно. Нужно забыть все это. Нужно выкинуть это из головы. Если сейчас вернуться домой, мы все время будем об этом думать. Нет, пойдем в кино, как будто ничего не случилось.

— Лавиния, неужели ты серьезно?

— Еще как серьезно. Нужно забыть, нужно смеяться.

— Но ведь там Элизабет... твоя подруга... и моя!..

— Ей мы уже ничем не можем помочь; значит, надо думать о себе. Пойдем.

В темноте они стали взбираться каменистой тропинкой по склону оврага. И вдруг перед ними, загораживая им дорогу, не видя их, потому что он смотрел вниз, на движущиеся огоньки и на мертвое тело, и прислушивался к голосам полицейских, вырос Дуглас Сполдинг.

Он стоял, беспомощно опустив руки, белый как мел от лунного света и не отрываясь глядел вниз, в овраг.

— Иди домой! — крикнула Франсина.

Он не слышал.

— Эй, ты! — завопила Франсина. — Иди домой, уходи отсюда сейчас же, слышишь? Иди домой, домой, ДОМОЙ!

Дуглас вскинул голову и уставился на них невидящими глазами. Губы его подергивались. Он промычал что-то невнятное. Потом молча повернулся и бросился бежать. Молча бежал он к дальним холмам, в теплую тьму.

Франсина снова всхлипнула, и заплакала, и пошла дальше с Лавинией Неббс.

— Ну наконец-то. Я уж думала, вы совсем не придете! — Элен Грир стояла на крылечке и нетерпеливо притоптывала ногой. — Вы опоздали всего лишь на какой-нибудь час. Что случилось?

— Мы... — начала было Франсина.

Но Лавиния крепко стиснула ее руку.

— Там ужасный переполох. Кто-то нашел в овраге Элизабет Рэмсел.

— Мертвую? Она... умерла?

Лавиния кивнула. Элен ахнула и схватилась рукой за горло.

— Кто же ее нашел?

Лавиния крепко сжимала руку Франсины.

— Мы не знаем.

Три девушки стояли в сумерках летнего вечера и смотрели друг на друга.

— Мне почему-то хочется войти в дом и запереть все двери,— сказала наконец Элен.

Но в конце концов она пошла только надеть свитер; было еще тепло, но и она вдруг почувствовала, что зябнет. Едва она скрылась за дверью, Франсина зашептала, как в лихорадке:

— Почему ты ей не сказала?

— Зачем ее расстраивать? — ответила Лавиния. — Успеется. Завтра скажу.

Три подружки пошли по улице под чернильно-черными деревьями мимо внезапно замкнувшихся домов. Как быстро разнеслась страшная весть — из оврага, от дома к дому, от крыльца к крыльцу, от телефона к телефону! И вот они идут, и слышат, как защелкиваются дверные замки, и чувствуют на себе взгляды тех, кто прячется за спущенными шторами. Как странно: был обычный вечер, с трещотками, хлопучками и мороженым, руки пахли ванильным кремом от москитов — и вдруг детей точно вымело с улицы, они побросали все свои игры и разбежались по домам, их упрятали в четырех стенах, за плотно занавешенными окнами, и только брошенные хлопучки валяются в лимонных и земляничных лужицах растаявшего мороженого. Странно: душные комнаты, там, за бронзовыми дверными молотками и ручками, битком набиты, люди задыхаются, все в испарине. Бейсбольные мячи и биты валяются на пустынных лужайках. На раскалившемся за день тротуаре, от которого идет пар, не дорисованы белым мелом «классы»... Точно секунду назад кто-то объявил, что сейчас грянет трескучий мороз.

— Мы просто сумасшедшие! Надо же — в такой вечер бродить по улицам! — заметила Элен.

— Душегуб не убьет сразу трех,— ответила Лавиния. — Втроем не опасно. И потом, бояться еще рано. Он убивает не чаще одного раза в месяц.

На их перепуганные лица упала тень. За деревом кто-то стоял. И словно кулак обрушился на клавиши органа — все три пронзительно вскрикнули на разные голоса.

— Ага, поймал! — зарычал густой бас.

И вот перед ними человек. Стремительно выскочил на свет и хохочет. Прислонился спиной к дереву, за которым только что прятался, указывает на девушек пальцем и знай себе хохочет!

— Эй, вы! Это я и есть Душегуб!
— Фрэнк Диллон!
— Фрэнк!
— Фрэнк!
— Фрэнк, — сказала Лавиния. — Если вы еще когда-нибудь выкинете такую дурацкую шутку, пусть вас изрешетят пулями.
— Как не стыдно! — И Франсина истерически зарыдала.
Улыбка сбежала с губ Фрэнка.
— Прошу прощения, я никак не думал...
— Уходите! — сказала Лавиния. — Разве вы не слышали про Элизабет? Ее нашли мертвую в овраге. А вы бегаєте по ночам и пугаете женщин. Молчите, мы не хотим больше слышать ни слова.

— Послушайте, погодите...

Они пошли прочь. Он двинулся было за ними.

— Оставайтесь здесь, мистер Душегуб, пугайте самого себя. Пойдите посмотрите на лицо Элизабет Рэмсел — увидите, как все это забавно!

И Лавиния повела подруг дальше по улице, осененной деревьями и звездами. Франсина не отнимала от глаз платок.

— Франсина, ведь он пошутил, — сказала Элен. — Лавиния, почему она так плачет?

— После расскажем, когда придем в город. И что бы там ни было, мы идем в кино! А теперь — хватит! Доставайте-ка деньги, мы уже почти пришли.

В аптеке застоялся теплый воздух; большие деревянные вентиляторы разгоняли его, и на улицу вырывались волны запахов — тянуло то арникой, то спиртом, то содой.

— Дайте мне на пять центов зеленых мятных конфеток, — сказала Лавиния хозяину. Как и у всех, кого они видели в этот вечер на полупустых улицах, лицо у него было бледное и решительное. — Надо же что-нибудь жевать в кино.

Он отвесил на пять центов зеленых конфет, насыпав их в кулек серебряным совком.

— Какие вы все нынче хорошенькие, — сказал он. — А днем, когда вы зашли выпить содовой с шоколадом, мисс Лавиния, вы были такая хорошенькая и серьезная, что один человек даже стал про вас расспрашивать.

— Вот как?

— Да, мужчина, что сидел вот тут, у стойки. Вы вышли, а он долго так глядел вам вслед и спрашивает: «Это кто такая?» — «Да это ж Лавиния Неббс, — говорю. — Самая хорошенькая девушка в городе». — «И вправду хороша, — говорит он. — А где она живет?»

Тут хозяин смутился и прикусил язык.

— Не может быть! — сказала Франсина. — Неужели вы дали ему адрес? Поверить не могу!

— Видите ли, я как-то не подумал... «Да на Парк-стрит, — говорю, — знаете, у самого оврага». Так просто, не подумавши. А вот сейчас, как услышал, что Элизабет нашли убитую, так и спохватился. Бог ты мой, думаю, что же это я наделал!

И он подал Лавинии кулек, в котором конфет было куда больше, чем на пять центов.

— Какой дурак! — закричала Франсина, и глаза ее снова наполнились слезами.

— Извините меня. Да ведь, может, тут еще и нет ничего худого.

Все как замороженные смотрели на Лавинию. А она была совсем спокойна. Только чуть дрожало что-то внутри, будто перед прыжком в холодную воду. Машинально она протянула деньги за конфеты.

— Нет, ничего я с вас не возьму, — сказал хозяин, отвернулся и стал перебирать какие-то бумаги.

— Ну вот что. — Элен вскинула голову и решительным шагом пошла прочь из аптеки. — Сейчас я возьму такси, и мы все отправимся по домам. Я вовсе не намерена потом разыскивать по всей округе твой труп, Лавиния. Тот человек замышляет недоброе. С какой это стати он про тебя расспрашивал? Может, ты хочешь, чтобы в следующий раз там, в овраге, нашли тебя?

— Это был самый обыкновенный человек, — возразила Лавиния, медленно повернулась и обвела взглядом вечерний город.

— Фрэнк Диллон тоже человек, но, может быть, как раз он-то и есть Душегуб.

Тут они заметили, что Франсина не вышла из аптеки вместе с ними, оглянулись и увидели ее в дверях.

— Я заставила хозяина описать мне того человека, — сказала она. — Расспросила, какой он с виду. Говорит — нездешний, в темном костюме. Какой-то бледный и худой.

— Все мы с перепугу невесть чего навывдумывали, — сказала Лавиния. — Не поеду я ни в каком такси, и не уговаривайте меня. Если уж мне суждено стать следующей жертвой — что ж, так тому и быть. Жизнь вообще слишком скучна и однообразна, особенно для девицы тридцати трех лет от роду, так что уж не мешайте мне хоть на этот раз поволноваться. Да и вообще это глупо. Я вовсе не красивая.

— Ты очень красивая, Лавиния. Ты красивей всех в городе, да еще теперь, когда Элизабет... — Франсина запнулась. — Просто ты чересчур гордая. Будь ты хоть немножко поговорчивей, ты бы уже давным-давно вышла замуж!

— Перестань хныкать, Франсина! Вот и касса. Я плачу со-рок один цент и иду смотреть Чарли Чаплина. Если вам нужно такси — пожалуйста, поезжайте. Я посмотрю фильм и отлично дойду одна.

— Лавиния, ты с ума сошла! Мы не оставим тебя тут делать глупости.

Они вошли в кинотеатр.

Первый сеанс уже окончился, в тускло освещенном зале народу было немного. Три подруги уселись в среднем ряду, вокруг пахло лаком — должно быть, недавно протирали медные дверные ручки; и тут из-за выцветшей красной бархатной портьеры вышел хозяин и объявил:

— Полиция просила нас закончить сегодня пораньше, чтобы все могли прийти домой не слишком поздно. Поэтому мы не будем показывать хронику и сейчас же пускаем фильм. Сеанс окончится в одиннадцать часов. Всем советуют — идите прямо домой, не задерживайтесь на улицах.

— Это он говорит специально для нас, Лавиния, — прошептала Франсина.

Свет погас. Ожил экран.

— Лавиния, — шепнула Элен.

— Что?

— Когда мы сюда входили, улицу переходил мужчина в темном костюме. Он только что вошел в зал и сидит сейчас за нами.

— Ох, Элен!

— Прямо за нами?

Одна за другой все три оглянулись.

Они увидели незнакомое лицо, совсем белое в жутком неверном отсвете серебристого экрана. Казалось, в темноте над ними нависли лица всех мужчин на свете.

— Я позову управляющего! — И Элен пошла к выходу. — Остановите фильм! Зажгите свет!

— Элен, вернись! — крикнула Лавиния и встала.

Они поставили на столик пустые стаканы из-под содовой и, смеясь, слизнули ванильные усики от мороженого.

— Вот видите, как глупо получилось, — сказала Лавиния. — Подняли такой шум из ничего. Ужасно неудобно!

— Ну, я виновата, — тихонько отозвалась Элен.

Часы показывали уже половину двенадцатого. Три подруги вышли из темного кинотеатра, смеясь над Элен, с ними высыпали остальные зрители и зрительницы и заспешили кто куда, в неизвестность. Элен тоже пыталась смеяться над собой.

— Ты только представь себе, Элен, бежишь по проходу и кричишь: «Свет! Дайте свет!» Я подумала — сейчас умру. А каково тому бедняге!

— Он — брат управляющего, приехал из Расина.

— Я же извинилась, — возразила Элен, глядя на потолок, где все вертелся, вертелся и разгонял теплый ночной воздух огромный вентилятор, вновь и вновь обдавая их запахом ванили, мяты и креозота.

— Не надо нам было задерживаться тут, пить эту содовую. Ведь полиция предупреждала.

— Да ну ее, полицию! — засмеялась Лавиния. — Ничего я не боюсь. Душегуб уже, наверно, за тысячи миль отсюда. Он теперь не скоро вернется, а как явится снова, полиция его тут же сцапает, вот увидите. Правда фильм чудесный?

Улицы были пусты: легковые машины и фургоны, грузовики и людей словно метлой вымело. В витринах небольшого универсального магазина еще горели огни, а согретые ярким светом восковые манекены протягивали розовые восковые руки, выставляя напоказ пальцы, унизанные перстнями с голубовато-белыми бриллиантами, или задирали оранжевые восковые ноги, привлекая взгляд прохожего к чулкам и подвязкам. Жаркие, синего стекла, глаза манекенов провожали девушек, а они шли по улице, пустой, как русло высохшей реки, и их отражения мерцали в окнах, точно водоросли, расцветающие в темных волнах.

— Как вы думаете, если мы закричим, они прибегут к нам на помощь?

— Кто?

— Ну публика эта, из витрин...

— Ох, Франсина!

— Не знаю...

В витринах стояла тысяча мужчин и женщин, застывших и молчаливых, а на улице они были только втроем, и стук их каблучков по спекшемуся асфальту пробуждал резкое эхо, точно вдогонку трещали выстрелы.

Красная неоновая вывеска тускло мигала в темноте и, когда они проходили мимо, зажужжала, как умирающее насекомое.

Впереди лежали улицы — белые, спекшиеся. Справа и слева над тремя хрупкими женщинами вставали высокие деревья, и ветер шевелил густую листву лишь на самых макушках. С остроконечной башни здания суда показалось бы — летят по улице три пушинки одуванчика.

— Сперва мы проводим тебя, Франсина.

— Нет, я провожу вас.

— Не глупи,— возразила Лавиния.— Твой Электрик-парк — это такая даль. Проводишь меня, а потом тебе придется возвращаться домой через овраг. Да ведь если на тебя с дерева упадет хоть один листочек, у тебя будет разрыв сердца.

— Что ж, тогда я останусь ночевать у тебя, Лавиния,— сказала Франсина.— Ведь из всех нас ты самая хорошенькая.

Так они шли, двигаясь, будто три стройных и нарядных манекена, по залитому лунным светом морю зеленых лужаек и асфальта, и Лавиния приглядывалась к черным деревьям, что проплывали по обе стороны от них, прислушивалась к голосам подруг — они негромко болтали и пытались даже смеяться; и ночь словно ускоряла шаг, потом помчалась бегом — и все-таки еле плелась, и все стремительно несло куда-то, и все казалось раскаленным добела и жгучим, как снег.

— Давайте петь,— предложила Лавиния.

И они запели «Свети, свети, осенняя луна...». Они шли, взявшись под руки, не оглядываясь назад, и задумчиво, вполголоса пели. И чувствовали, как раскаленный за день асфальт понемногу остывает у них под ногами.

— Слушайте! — сказала Лавиния.

Они прислушались к летней ночи. Стрекотали сверчки, вдалеке часы на здании суда пробили без четверти двенадцать.

— Слушайте!

Она и сама прислушивалась. В темноте скрипнул гамак — это мистер Терн вышел на веранду выкурить перед сном последнюю сигару и молча одиноко сидел в гамаке. Розовый кончик сигары медленно качался взад и вперед.

«Огни постепенно гасли, гасли — и погасли совсем. Погасли огни в маленьких домишках и в больших домах, желтые огни и зеленые, фонари и фонарики, свечи, керосиновые лампы и лампочки на верандах — и все живое спряталось за медными, железными, стальными замками, засовами и запорами,— думала Лавиния,— все живое забило в тесные, темные каморки, завернулось и укрылось с головой. Люди лежат в кроватях, на них светит луна. Там, у себя в спальнях, они ничего не боятся, дышат ровно и спокойно, потому что они не одни. А мы идем по улице, по остывающему ночному асфальту. И над нами светят редкие уличные фонари, отбрасывая неверные, пьяные тени».

— Вот и твой дом, Франсина. Спокойной ночи!

— Лавиния, Элен, переночуйте у меня. Уже очень поздно, почти полночь. Я уложу вас в гостиной. Сварю горячего шоколада... будет так весело! — Франсина обняла их обеих.

— Нет, спасибо,— сказала Лавиния.

И Франсина заплакала.

— Ох, сделай милость, не начинай все сначала,— сказала Лавиния.

— Я не хочу, чтобы ты умерла,— всхлипывала Франсина, и слезы градом катились по ее щекам.— Ты такая красивая и милая, я хочу, чтобы ты осталась жива. Ну пожалуйста, пожалуйста, не уходи!

— Вот уж не думала, что ты из-за этого так разволнуешься. Я приду домой и сразу тебе позвоню.

— Обещаешь?

— Ну конечно, и скажу, что все в порядке. А завтра мы устроим в Электрик-парке пикник, я сама приготовлю сэндвичи с ветчиной. Ладно? Видишь, я вовсе не собираюсь умирать.

— Значит, ты позвонишь?

— Я же обещала!

— Ну тогда спокойной ночи, спокойной ночи!

Франсина одним духом взбежала на крыльцо и юркнула в дверь, которая тотчас же захлопнулась за ней, и следом загремел засов.

— Теперь я отведу домой тебя, Элен,— сказала Лавиния.

Часы на здании суда пробили полночь. Звуки летели над пустынным городом — никогда еще не был он таким пустынным. И замерли над пустынными улицами, над пустыми палисадниками и опустелыми лужайками.

— Девять, десять, одиннадцать, двенадцать,— считала Лавиния, держа Элен под руку.

— Правда, чувствуешь себя как-то странно? — спросила Элен.

— Ты о чем?

— Как подумаешь, что мы сейчас идем по улице, а все люди преспокойно лежат в постели за запертыми дверями. Ведь сейчас, наверно, на тысячу миль вокруг только мы одни остались под открытым небом.

До них донесся смутный шум, идущий из теплой и темной глубины: овраг был уже недалеко.

Через минуту они стояли у дома Элен и долгим взглядом смотрели друг на друга. Ветер дохнул запахом прозрачной свежести. По небу потянулись облака, и луна померкла.

— Может быть, все-таки останешься у меня, Лавиния?

— Нет, я пойду домой.

— Иногда...

— Что иногда?

— Иногда мне начинает казаться, что люди сами ищут смерти. Сегодня вечером ты ведешь себя престранно.

— Просто я ничуть не боюсь,— ответила Лавиния.— И мне, наверно, немножко любопытно. И я не теряю головы. Если рассуждать трезво, Душегуб никак не может сейчас быть где-нибудь поблизости. Такой переполох, и вся полиция на ногах.

— Твоя полиция давно уже дома и спит сладким сном.

— Ну, скажем так: я развлекаюсь, хоть и чуть рискованно, но в общем не опасно. Если бы это было и в самом деле опасно, я бы, конечно, осталась у тебя.

— А вдруг в глубине души тебе и правда не хочется жить?

— Глупости! И что вы с Франсиной такое выдумываете?

— Мне так совестно! Ты только еще доберешься до дна оврага и пойдешь по мосту, а я уже буду пить горячее какао!

— Выпей чашку за мое здоровье. Спокойной ночи!

Лавиния Неббс вышла одна на спящую улицу, в безмолвие августовской ночи. Дома стояли темные, ни одно окно не светило, где-то лаяла собака. «Через пять минут я буду уже дома и в безопасности,— думала Лавиния.— Через пять минут я позвоню этой глупышке Франсине. Я...»

И тут она услышала голос.

Вдалеке, меж деревьев, мужской голос пел: «Под июньской луной жду свиданья с тобой...»

Лавиния прибавила шаг.

Голос пел: «Я тебя обниму... и своей назову...»

В тусклом лунном свете по улице ленивой, беспечной походкой шел человек.

«Если уж придется, побегу и постучусь в любую дверь»,— думала Лавиния.

— «Под июньской луной жду свиданья с тобой»,— пел незнакомец, помахивая длинной дубинкой.— Ба, кто это тут бродит? Нашли время для прогулок, мисс Неббс, нечего сказать!

— Сержант Кеннеди?

Разумеется, это был он.

— Давайте-ка я провожу вас до дому.

— Спасибо, я и одна дойду.

— Но ведь придется идти через овраг...

«Да,— думала Лавиния,— но с мужчиной я через овраг не пойду, даже если он полицейский. Откуда мне знать, кто из вас Душегуб?»

— Ничего,— сказала она.— Я пойду быстро.

— Тогда я подожду здесь,— предложил он.— Если вам понадобится помощь, только крикните. Я услышу и тотчас прибегу.

— Спасибо.

И она пошла дальше, а он остался один под фонарем и опять замурлыкал свою песенку. «Ну вот»,— сказала она себе. Овраг.

Лавиния стояла на верхней из ста тринадцати ступенек, которые вели вниз по крутому склону; потом надо было пройти семьдесят ярдов по мосту и снова подняться наверх, к Парк-стрит. И на всем этом пути — только один фонарь. «Через три минуты я поверну ключ, и отопру дверь моего дома, и войду, — думала она. — Ничего со мной не случится за какие-нибудь сто восемьдесят секунд».

Она начала спускаться по бесконечным, позеленевшим от плесени ступенькам в овраг.

— Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, — считала она их шепотом.

Лавиния шла медленно, но задыхалась, точно от быстрого бега.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать ступенек, — задыхаясь, шептала она.

— Это уже пятая часть пути, — объявила она себе.

Овраг был глубокий и черный, черный, непроглядно черный! И весь мир остался позади, мир тех, кто спокойно спит в своей постели; закрытые двери, город, аптека, кинотеатр, огни — все осталось позади. А здесь — один овраг, только он вокруг — черный и огромный.

— Ведь ничего не случилось, правда? И никого здесь нет. Двадцать четыре ступеньки, двадцать пять. А помнишь, в детстве мы пугали друг друга сказками о привидениях?

Она прислушалась к собственным шагам — они отсчитывали ступеньку за ступенькой.

— Помнишь сказочку про то, как в дом к тебе приходит черный человек, а ты уже лежишь в постели? И вот он уже на первой ступеньке лестницы, которая ведет к тебе в спальню. Вот он уже на второй ступеньке. Вот уже на третьей, на четвертой, на пятой! Помнишь, как вы все визжали и смеялись, слушая эту сказочку? И вот ужасный черный человек уже на двенадцатой ступеньке, вот он открывает дверь в твою комнату, вот стоит у твоей кровати. «АГА, ПОПАЛАСЬ!»

Лавиния вскрикнула. Никогда в жизни она не слыхала такого отчаянного вопля. И сама никогда в жизни не кричала так громко. Она остановилась, замерла на месте и ухватилась за деревянные перила. Сердце в груди разрывалось. Его неистовый стук, казалось, заполнил вселенную.

«Вот, вот оно! — кричало что-то у нее внутри. — Там, внизу, под фонарем, кто-то стоит! Нет, уже скрылся. Но он меня ждал!»

Лавиния прислушалась.

Тишина.

На мосту — никого.

«Ничего там нет,— думала она, держась за сердце.— Ничего. Дура я! Зачем было вспоминать эту сказку? До чего глупо! И что мне теперь делать?»

Сердце понемногу успокоилось.

«Позвать сержанта Кеннеди? Может, он слышал, как я завопила?»

Она снова прислушалась. Ничего. Ничего.

— Пойду дальше. Это все та глупая сказка виновата.

Она опять начала считать ступеньки:

— Тридцать пять, тридцать шесть, осторожно, не упасть бы. Я просто дура. Тридцать семь, тридцать восемь... девять, сорок и еще две, значит, сорок две, уже почти полпути.

Она снова замерла.

— Погоди,— сказала она себе.

Сделала шаг. Раздалось эхо.

Еще шаг.

Снова эхо. Чужой шаг, на долю секунды позже.

— Кто-то идет за мной,— шепнула она оврагу, черным сверчкам, и затаившимся зеленым лягушкам, и черной речке.— Кто-то идет сзади по лестнице. Я боюсь обернуться.

Еще шаг, снова эхо.

— Как только я шагну, он тоже шагает.

Шаг и эхо.

— Сержант Кеннеди, это вы? — нерешительно спросила она у оврага.

Сверчки молчали.

Сверчки прислушивались. Ночь прислушивалась к ней и к ее шагам. Все дальние ночные луга и все ближние ночные деревья вокруг против обыкновения застыли и не шевелились; листья, кусты, звезды и трава в лугах — все вдруг замерло и слушало, как бьется сердце Лавинии Неббс. И может быть, где-то за тысячу миль, на глухом полустанке, где от поезда до поезда — целая вечность, одинокий путник читает сейчас газету при тусклом свете единственной лампочки — и вдруг поднимет голову, прислушается и спросит себя: что это? И подумает: наверно, просто дятел стучит по дуплистому стволу. Но нет, это не дятел, это Лавиния Неббс, это ее сердце стучит так громко.

Тишина. Тишина летней ночи, что раскинулась на тысячи миль, затопила землю, точно белое море, полное теней.

Скорей, скорей! Все ниже по ступенькам.

Беги!

Она услышала музыку. Безумие, глупость, но на нее обрушилась мощная волна музыки, и тут оказалось — она бежит,

бежит в страхе и ужасе, а в каком-то уголке сознания, еще усиливая и нагнетая страх, звучит грозная, тревожная музыка и толкает ее все дальше, дальше, скорее, скорее, и она летит и падает все ниже, ниже, на самое дно оврага.

— Еще немножко! — молила Лавиния. — Сто восемь, девять, сто десять ступенек! Наконец-то дно! Теперь бегом! Через мост!

Она торопила руки, ноги, все тело, весь свой страх, она приказывала всем фибрам своего существа в эту ослепительную и страшную минуту, когда она бежала над шумной и быстрой речкой по пустынным, гулким, качающимся и упругим, чуть ли не живым доскам, а за ней по мосту гнались шаги и настигали, настигали, и музыка тоже гналась следом, пронзительная и бессвязная...

«Он догоняет, не оборачивайся, не смотри, если увидишь его — перепугаешься насмерть и уже не сможешь двинуться с места. Беги, беги!»

Она бежала по мосту.

«Господи Боже, прошу тебя, молю, дай мне взбежать наверх! Вот и подъем, тропинка, теперь между холмов, ох как темно, и все так далеко! Если я даже закричу, теперь это уже не поможет; да я и не в силах кричать. Ну, вот конец тропки, вот и улица; Господи, хоть бы добраться, если только я доберусь домой, больше никогда в жизни никуда не пойду одна. Я была дура, ну да, я была дура, я не знала, что такое страх, но только бы добраться сегодня домой — клянусь, я уже никогда никуда не пойду без Элен или Франсины! Вот и улица. Теперь через дорогу!»

Она перебежала дорогу и кинулась дальше по тротуару.

«Ну, вот крыльцо! Мой дом! Господи, дай мне еще минутку, я войду и запру дверь — и я спасена!»

И тут — как глупо, некогда сейчас замечать такие пустяки, скорей, скорей, не терять ни секунды, и все-таки она заметила: он блеснит в темноте — недопитый стакан лимонада, она оставила его тут, на веранде, давным-давно, год назад, целых полвечера тому назад... Стакан с лимонадом стоит тут преспокойно как ни в чем не бывало... и...

Непослушные ноги поднялись по ступенькам крыльца, руки тряслись и никак не попадали в замок ключом. Сердце стучало на весь свет. И что-то внутри отчаянно кричало от страха.

Наконец-то ключ в замке.

«Открывай же, скорей, скорей!»

Дверь распахнулась.

«Скорей туда. Захлопывай!»

Она захлопнула дверь.

— Теперь на ключ, на засов, на все запоры! — задыхаясь, прошептала Лавиния. — Крепче, крепче, надежнее!

Дверь заперта крепко, надежно.

Музыка умолкла. Она вновь прислушалась к стуку сердца — он понемногу стихал.

«Дома! Наконец-то! Дома и в безопасности! Спасена, спасена, дома! — Она в изнеможении прислонилась спиной к двери. — Спасена, спасена! Слушай! Ни звука. Спасена, слава Богу, спасена, в безопасности, дома. Никогда, никогда больше не выйду вечером на улицу. Буду сидеть дома. Никогда в жизни больше не пойду через этот овраг! Дома, дома, спасена, все хорошо, как все хорошо! Дверь заперта, все хорошо. Стоп! Выгляни в окно».

Она выглянула.

«Да ведь там никого нет! Никого! И никто вовсе за мной и не шел. Никто меня не догонял. — Лавиния вздохнула и чуть было не засмеялась над собой. — Ну ясно же! Если бы кто-то за мной гнался, он бы, конечно, меня поймал! Не так уж я быстро бегаю... И на веранде никого нет, и во дворе тоже... Какая я глупая! Ни от чего я не убегала. В этом овраге так же безопасно, как в любом другом месте.

И все-таки как хорошо дома! Так тепло, уютно, нет лучше места на земле!»

Она протянула руку к выключателю и замерла.

— Что? — сказала она. — Что? Что такое?!

У нее за спиной кто-то откашлялся.

* * *

— А, чтоб им пусто было, все-то они портят!

— Да ты не расстраивайся, Чарли!

— Ну ладно, а про что мы теперь будем говорить? Какой толк говорить про Душегуба, если его даже нет больше в живых? Это теперь ни капельки не страшно.

— Не знаю, как ты, Чарли, — сказал Том, — а я опять пойду к «Летнему льду». Сяду там у двери и стану воображать, будто он живой, и опять у меня мороз пойдет по коже.

— Ну, это обман.

— А как же быть, если кругом нет ничего страшного? Приходится что-то придумывать.

Дуглас не слушал, что говорят Том с Чарли. Он глядел на дом Лавинии Неббс и бормотал:

— Вчера вечером я был в овраге. Я это видел. Я все видел. А по дороге домой проходил тут. И видел этот самый стакан с лимонадом на веранде, там еще оставался лимонад. Мне даже

захотелось его допить. Вот бы, думаю, допить его. Я был в овраге и тут тоже. Я был в самой-самой гуще всего.

Том и Чарли, в свою очередь, не обращали никакого внимания на Дугласа.

— Если хочешь знать, — говорил Том, — я и не верю вовсе, что Душегуб умер.

— Да ты ж сам был тут утром, когда «скорая помощь» вынесла этого человека на носилках.

— Ясно, был, — сказал Том.

— Ну вот, это он самый и есть — Душегуб, дурень ты! Читай газеты! Целых десять лет он увертывался и не попадался — и вот старушка Лавиния Неббс берет и протыкает его самыми обыкновенными ножницами! Вечно суются не в свое дело.

— Что же ей, по-твоему, сложить руки и пускай он ее покойненько душил?

— Нет, зачем же, но хоть выскочила бы из дому, побежала бы, что ли, по улице, заорала бы: «Душегуб! Душегуб!» А он бы тем временем улизнул. Да-а, до вчерашней полуночи у нас в городе было хоть что-то хорошее. А теперь такая тишь да гладь, что даже тошно!

— В последний раз говорю тебе, Чарли: Душегуб не умер. Я видел его лицо, и ты тоже видел. И Дуг видел его, верно, Дуг?

— Что? Да, кажется. Да.

— Все его видели. Так вот, вы мне скажите: похож он, по-вашему, на Душегуба?

— Я... — начал Дуглас и умолк.

Прошло секунд пять.

— Бог ты мой, — прошептал наконец Чарли.

Том ждал и улыбался.

— Он ни капельки не похож на Душегуба, — ахнул Чарли. — Он похож просто на человека!

— Вот то-то и оно! Сразу видно — самый обыкновенный человек, который даже мухи не обидит! Уж если ты Душегуб, так должен быть и похож на Душегуба, верно? А этот похож на лоточника — знаешь, который вечером перед кино торгует конфетами.

— Что ж, по-твоему, это был просто какой-нибудь бродяга? Шел по городу, увидел пустой дом и забрался туда, а мисс Неббс взяла да там его и убила?

— Ясно.

— Постой-ка! Мы ведь не знаем, какой Душегуб с виду. Никаких его карточек мы не видали. А кто его видел, те ничего сказать не могут, потому что они уже мертвые.

— Ты отлично знаешь, какой Душегуб с виду, и я знаю, и Дуг тоже. Он обязательно высокий, да?

— Ясно...

— И обязательно бледный, да?

— Правильно, бледный.

— И костлявый, как скелет, и волосы длинные, черные, да?

— Ну да, я всегда так и говорил.

— И глазищи вылупленные и зеленые, как у кошки?

— Правильно, весь тут, тютельница в тютельница.

— Ну вот.— Том фыркнул.— Вы же видели этого беднягу, которого выволокли из дома мисс Неббс. Какой он, по-вашему?

— Маленький, лицо красное и даже вроде толстый, волос — кот наплакал и те какие-то рыжеватые... Ай да Том, попал в самую точку! Пошли! Зови ребят! Ты им тоже все растолкуешь. Ясно, Душегуб живой! Он сегодня ночью опять будет всюду рыскать и искать себе жертву.

— Угу,— сказал Том и вдруг задумался.

— Ты молодчина, Том, здорово соображаешь. Никто бы из нас не сумел вот так поправить все дело. Целое лето чуть не полетело вверх тормашками, спасибо ты вовремя выручил. Август будет не вовсе пропащий! Эй, ребята!

И Чарли умчался прочь, крича во все горло и размахивая руками.

А Том все стоял на тротуаре перед домом Лавинии Неббс. Он был бледен.

— Бог ты мой,— шептал он.— Что же я такое натворил?

И повернулся к Дугласу:

— Послушай, Дуг, что же это я натворил?

Дуглас не сводил глаз с дома. Губы его шевелились.

— Вчера вечером я был в овраге. Я видел Элизабет Рэмсел. И я проходил здесь по дороге домой. И видел стакан с лимонадом там, на веранде. Только вчера вечером. Я даже мог его выпить... Я его чуть не выпил...

* * *

Она была из тех женщин, у кого в руках всегда увидишь метлу, или пыльную тряпку, или мочалку, или поварешку. Утром она, что-то мурлыча себе под нос, срезала с пирога подгоревшую корочку, днем ставила пироги в духовку, а в сумерки вынимала их. Когда она несла в буфет фарфоровые чашки, они звенели, точно колокольчики. Она неумоимо

сновала по комнатам, словно пылесос, выискивая малейшие пылинки, наводя везде чистоту и порядок. В каждом окне стекла сверкали, как зеркала, вбирая в себя солнечные лучи. Дважды в день она обходила весь сад с лопаткой в руках — и всюду, где она проходила, тотчас распрямлялись и вспыхивали ярче трепетные огоньки цветов. Спала она спокойным сном, за всю ночь переворачивалась с боку на бок раза три, не больше, — она вся отдыхала, точно белая перчатка, которую на рассвете вновь заполнит неутомимая рука. А проснувшись, легко касалась людей и поправляла их, как покосившиеся картины.

Но теперь...

— Бабушка, — говорили все в доме. — Прабабушка.

Казалось, надо было сложить длинный-длинный столбик чисел — и вот теперь наконец под чертой выводишь самую последнюю, окончательную. Она начинала индеек, цыплят, голубей, взрослых людей и мальчишек. Она мыла потолки, стены, больных и детей. Она настилала на полы линолеум, чинила велосипеды, разводила огонь в печах, мазала йодом тысячи царапин и порезов. Неугомонные руки ее не знали устали — весь день они утоляли чью-то боль, что-то разглаживали, что-то придерживали, кидали бейсбольные мячи, размахивали яркими крокетными молотками, сажали семена в черную землю, укрывали то яблоки, запеченные в тесте, то жаркое, то детей, разметавшихся во сне. Она опускала шторы, гасила свечи, поворачивала выключатели и... старела. Если оглянуться назад, видно: она переделала на своем веку тысячи миллионов самых разных дел, и вот все сложено и подсчитано, выведена последняя цифра, последний ноль медленно становится на место. И теперь, с мелом в руке, она отступила от доски жизни, и молчит, и смотрит на нее, и сейчас возьмет тряпку и все сотрет.

— Что-то я еще хотела... — сказала прабабушка. — Что-то я хотела...

Без всякого шума и суматохи она обошла весь дом, добралась наконец до лестницы и, никому ничего не сказав, одна поднялась на три пролета, вошла в свою комнату и молча легла, как старинная мумия, под прохладные белоснежные простыни и начала умирать.

И опять голоса:

— Бабушка! Прабабушка!

Слухи о том, чем она там занимается, скатились вниз по лестнице, ударились о самое дно и расплескались по комнатам, за двери и окна, по улице вязов до края зеленого оврага.

— Сюда, сюда!

Вся семья собралась у ее постели.

— Не мешайте мне лежать спокойно,— шепнула она.

Ее недуг не разглядеть было ни в какой микроскоп; тихо, но неодолимо нарастала усталость, все тяжелело маленькое и хрупкое, как у воробышка, тело, и сон затягивал — глубоко, все глубже и глубже.

А ее детям и детям ее детей никак не верилось: ведь то, что происходит, так просто и естественно, и ничего неожиданного тут нет, откуда же у них такая тревога?

— Послушай, бабушка, это просто нечестно. Ты же знаешь, без тебя развалится весь дом. Нам надо приготовиться, дай нам хоть год сроку!

Прабабушка открыла один глаз. Все ее девяносто лет спокойно глядели на врачей, как призрак из чердачного окна пустующего дома.

— Том...

Мальчика прислали одного; он подошел к самой кровати, чтобы расслышать шепот.

— Том,— слабо, издалека шептала прабабушка.— В южных морях наступает в жизни каждого мужчины такой день, когда он понимает: пора распрощаться со всеми друзьями и уплыть прочь, и он так и делает, и так оно и должно быть, потому что настал его час. Вот так и сегодня. Мы с тобой очень похожи — ты тоже иногда засиживаешься на субботних утренниках до девяти вечера, пока мы не пошлем за тобой отца. Но помни, Том, когда те же ковбои начинают стрелять в тех же индейцев на тех же горных вершинах, самое лучшее — тихонько встать со стула и пойти напрямиком к выходу, и не стоит оглядываться, и ни о чем не надо жалеть. Вот я и ухожу, пока я все еще счастлива и жизнь мне еще не наскучила.

Следующим к ней привели Дугласа.

— Бабушка, кто же весной будет крыть крышу?

Каждую весну, в апреле,— так повелось с незапамятных времен,— на крыше поднимался перестук, точно ее долбили дятлы. Но это были не птицы: туда невесть каким образом забиралась прабабушка и под самым небом, весело напевая, забивала гвозди и меняла черепицы.

— Дуглас,— прошептала она.— Никогда не позволяй никому крыть крышу, если это не доставляет ему удовольствия.

— Хорошо, бабушка.

— Как придет апрель, оглянись вокруг и спроси: «Кто хочет чинить крышу?» И если кто-нибудь обрадуется, заулыбается, он-то тебе и нужен. Потому что с этой крыши виден весь город, и он тянется к полям, а поля тянутся за край земли, и

река блестит, и утреннее озеро, и птицы поют на деревьях под тобой, и тебя овеивает самый лучший весенний ветер. Даже чего-нибудь одного довольно, чтобы весной на заре человек с радостью забрался хоть на флюгер. Это — час великих свершений, дай только случай...

Ее голос постепенно затих.

Дуглас плакал.

Она вновь встрепенулась.

— Отчего же ты плачешь?

— Оттого, что завтра тебя здесь не будет.

Старуха поглядела в маленькое ручное зеркальце, потом повернула его к мальчику. Он посмотрел на ее отражение, потом на свое, потом снова на нее.

— Завтра утром я встану в семь часов и хорошенько вымою уши и шею, — сказала она. — Потом побегу с Чарли Вудменом в церковь, потом на пикник в Электрик-парк. Я буду плавать, бегать босиком, падать с деревьев, жевать мятную жевательную резинку... Дуглас, Дуглас, ну как тебе не стыдно? Ногти ты себе стрижешь?

— Да, бабушка.

— И не плачешь, когда твое тело возрождается каждые семь лет или вроде этого — когда у тебя на пальцах и в сердце отмирают старые клетки и рождаются новые? Ведь это тебя не огорчает?

— Нет, бабушка.

— Ну вот, подумай, мальчик. Только дурак станет хранить обрезки ногтей. Ты когда-нибудь видал, чтобы змея старалась сохранить свою старую кожу? А ведь в этой кровати сейчас только и осталось, что обрезки ногтей да старая, облезлая кожа. Стоит один лишь разок вздохнуть поглубже — и я рассыплюсь в прах. Главное — не та я, что тут лежит, а та, что сидит на краю кровати и смотрит на меня, и та, что сейчас внизу готовит ужин, и та, что возится в гараже с машиной или читает книгу в библиотеке. Все это — частицы меня, они то и есть самые главные. И я сегодня вовсе не умираю. Никто никогда не умирает, если у него есть дети и внуки. Я еще очень долго буду жить. И через тысячу лет будут жить на свете мои потомки — полный город! И они будут грызть кислые яблоки в тени эвкалиптов. Вот мой ответ всем, кто задает мудреные вопросы. А теперь быстро пришли сюда всех остальных!

И наконец вся семья собралась в спальне — стоят, точно на вокзале провожают кого-то в дальний путь.

— Ну вот, — говорит прабабушка, — вот и все. Скажу честно: мне приятно видеть всех вас вокруг. На будущей неделе принимайтесь за работы в саду и за уборку в чуланах, и пора

закупить детям одежду на зиму. И раз уж здесь не будет той частицы меня, которую для удобства называют прабабушкой, разные другие частицы, которые называются дядя Берт, и Лео, и Том, и Дуглас, и все остальные, должны меня заменить, и всякий пусть делает что сможет.

— Хорошо, бабушка.

— И, пожалуйста, не устраивайте здесь завтра никакого шума и толчеи. Не желаю, чтобы про меня говорили всякие лестные слова: я сама все их с гордостью сказала в свое время. Я на своем веку отведала каждого блюда и станцевала каждый танец — только один пирог еще надо попробовать, только одну мелодию остается спеть. Но я не боюсь. По правде говоря, мне даже интересно. Я ничего не собираюсь упустить, надо вкусить и от смерти. И, пожалуйста, не волнуйтесь за меня. А теперь уходите все и дайте мне уснуть...

Где-то тихонько закрылась дверь.

— Вот так-то лучше.

Она уютно свернулась в теплом сугробе полотна и шерсти, простынь и одеял, и лоскутное покрывало горело всеми цветами радуги, точно цирковые флажки в старину. Так она лежала, маленькая, затихшая, и ждала — чего же? — совсем как восемьдесят с лишком лет назад, когда, просыпаясь по утрам, она нежилась в постели, расправляя еще не окрепшие косточки.

«Когда-то очень давно, — думала она, — мне снился сон, и он был такой хороший, и вдруг меня разбудили — это было в тот день, когда я родилась. А теперь? Пстой-ка, дай сообразить... — Она унеслась мыслями в прошлое. — Да, так о чем бишь я?... — думала она. — Девяносто лет... Как теперь подхватить ту ниточку и воскресить тот давний сон? — Она высунула из-под одеяла высохшую руку. — А, вот... Да, вот оно». Она улыбнулась. Повернула голову на подушке, погружаясь глубже в теплый, пушистый снег. Вот так-то лучше. Да, теперь он снова возникал в ее памяти, спокойно и безмятежно, как тихое море, что плещет о бесконечный, вечнозеленый берег. И вот давний сон теплой волной коснулся ее, и поднял из снежного сугроба, и бережно понес над забытой уже постелью.

Внизу они чистят серебро, думала она, прибирают в погребе и подметают комнаты и коридоры. Слышно, как по всему дому идет неугомонная жизнь.

— Все хорошо, — прошептала прабабушка, и сон подхватил ее. — Как и все в жизни, это правильно, все так и должно быть.

И волны повлекли ее в открытое море.

— Привидение! — закричал Том.

— Нет, — ответил голос. — Это я.

В темную спальню, наполненную ароматом яблок, ворвался призрачный свет. Баночка размером в четверть литра, точно повисшая в воздухе, переливалась множеством мерцающих огоньков. В этом мертвенно-бледном сиянии торжественно светились глаза Дугласа. Он так загорел, что его лицо и руки совсем растворились в темноте, а ночная сорочка казалась бесплотным видением.

— Ух ты! — выдохнул Том. — Двадцать, тридцать светлячков!

— Ш-ш, не ори!

— Зачем они тебе?

— Когда мы читали по вечерам с фонариками под одеялом, нам попало, да? Ну вот, а если тут будет стоять банка со светлячками, все подумают, что это просто коллекция.

— Дуг, ты гений!

Но Дуглас не ответил. Он с важностью водрузил мерцающую и подмигивающую банку на ночной столик, взял карандаш и стал усердно писать что-то в своем блокноте. Светлячки горели, умирали, снова горели и снова умирали, в глазах мальчика вспыхивали и гасли три десятка переменчивых зеленых огоньков, а он все писал — десять минут, двадцать, черкал, исправлял строчку за строчкой, записывал и вновь переписывал сведения, которые так жадно, второпях копил все лето. Том лежал и как замороженный не сводил глаз с крохотного живого костра, что вздрагивал, полыхал и замирал в банке, и наконец так и уснул, опершись на локоть, а Дуглас все писал и писал. На последней странице он подвел итог всему.

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ВЕЩИ, ПОТОМУ ЧТО:

...взять, например, машины: они разваливаются, или ржавеют, или гниют, или даже остаются недоделанными... или кончают свою жизнь в гараже...

...или взять теннисные туфли: в них можно пробежать всего лишь столько-то миль и с такой-то быстротой, а потом земля опять тянет тебя вниз...

...или трамвай. Уж на что он большой, а всегда доходит до конца, там уж и рельсов нет, и дальше ему идти некуда...

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮДЕЙ, ПОТОМУ ЧТО:

...они уезжают...

...чужие люди умирают...

...знакомые тоже умирают...

...друзья умирают...

...люди убивают других людей, как в книгах...

...твои родные тоже могут умереть...

ЗНАЧИТ...

Дуглас глубоко вздохнул и медленно, шумно выдохнул, опять набрал полную грудь воздуха и опять, стиснув зубы, выдохнул его.

ЗНАЧИТ, он дописал огромными, жирными буквами:

ЗНАЧИТ, ЕСЛИ ТРАМВАИ, И БРОДЯГИ, И ПРИЯТЕЛИ, И САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ МОГУТ УЙТИ НА ВРЕМЯ ИЛИ НАВСЕГДА, ИЛИ ЗАРЖАВЕТЬ, ИЛИ РАЗВАЛИТЬСЯ, ИЛИ УМЕРЕТЬ, И ЕСЛИ ЛЮДЕЙ МОГУТ УБИТЬ, И ЕСЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ПРАБАБУШКА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ВЕЧНО, ТОЖЕ МОГУТ УМЕРЕТЬ... ЕСЛИ ВСЕ ЭТО ПРАВДА... ЗНАЧИТ, Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, КОГДА-НИБУДЬ... ДОЛЖЕН...

Вот тут светлячки, точно придавленные его мрачными мыслями, мигнули в последний раз и погасли.

«Все равно я сейчас больше не могу писать, — подумал Дуглас. — Больше я сегодня писать не стану. Не стану, не хочу кончать про это сегодня».

Он оглянулся на Тома — тот спал, опершись на локоть. Дуглас тронул его за руку, и Том со вздохом повалился на подушку.

Дуглас поднял банку с угасшими темными комочками, и, точно его рука их оживила, в банке снова засветились холодные огоньки. Он поднял ее так, чтоб мерцающий свет падал на его блокнот. Надо было дописать самые окончательные, последние слова. Но он не стал их писать, а подошел к окну и распахнул раму с москитной сеткой. Потом отвинтил крышку банки и каскадом бледных искр высыпал светлячков в безветренную ночь. Они расправили крылышки и улетели.

Дуглас проводил их глазами. Они исчезли, точно бледные обрывки последних сумерек в истории умирающего мира. Они выскользнули у него из рук, как последние обрывки теплившейся надежды. Темнота окутала его лицо и все тело, темнота хлынула внутрь. Он остался опустошенный, как банка из-под светлячков, которую он, сам того не замечая, положил с собой в кровать, когда пытался заснуть...

* * *

Ночь за ночью она сидела в своем стеклянном гробу и ждала; тело ее таяло в карнавальном блеске лета, зябло в призрачных ветрах зимы, уголки губ приподнялись в улыбке, крючко-

ватый восковой нос навис над бледно-розовыми, морщинистыми восковыми руками, навсегда застывшими над раскинувшейся веером колодой старинных карт. Колдунья Таро! Восхитительное имя! Колдунья Таро. Сунешь в серебряную щель монетку, и где-то далеко внизу, в самой глубине, внутри хитроумного механизма что-то застонет, заскрипит, повернутся какие-то рычажки, завертятся колесики. И колдунья в стеклянном ящике поднимет голову и ослепит тебя одним острым, как игла, взглядом. Неумолимая левая рука опустится и скользнет по картам, словно перебирая таинственные квадратики — черепа, чертей, висельников, пустынников, кардиналов и клоунов, и голова склонится низко-низко, точно вглядываясь: что они тебе сулят, карты, — горе, убийство, надежду или здоровье, возрождение по утрам и новую смерть каждый вечер? Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит ее, и карта порхнет по крутому желобу прямо тебе в руки. И тут колдунья сверкнет в тебя на прощанье уже тускнеющими глазами и вновь застынет в своей неизменной стеклянной скорлупе на долгие месяцы и годы, пока новая медная монетка не возродит ее, всеми забытую, снова к жизни. Сейчас, мертвая и восковая, она, казалось, неохотно ждала приближения двух братьев.

Дуглас приложил пятерню к стеклу.

— Вот она.

— Обыкновенная восковая кукла, — сказал Том. — И зачем ты привел меня глядеть на нее?

— Вечно ты допытываешься — зачем да почему! — завопил Дуглас. — Потому что «потому» кончается на «у».

Потому что... огни Галереи затуманились... потому что...

Однажды вдруг оказывается, что ты живой.

Взрыв! Потрясение! Озарение! Восторг!

Ты хохочешь, пляшешь, кричишь.

Но очень скоро солнце заходит за тучи. В жаркий августовский полдень сыплет снег, только никто его не видит.

В ковбойском фильме в прошлую субботу на раскаленном экране человек упал мертвым. Дуглас вскрикнул. За несколько лет у него на глазах застрелили, повесили, сожгли, уничтожили миллион ковбоев. Но сейчас, когда убили этого человека...

Никогда больше он не будет ходить, бегать, сидеть, смеяться, плакать, никогда не будет ничего делать, думал Дуглас. Сейчас он уже холодеет. Зубы Дугласа выбивали дробь, сердце стучало медленно и трудно. Он изо всех сил зажмурился, его трясло от беззвучных подавленных рыданий.

Пришлось удрать от остальных ребят — ведь они не думали о смерти, они смеялись и улюлюкали мертвецу, как будто он был еще живой. Дуглас и мертвец отплыли в лодке, а ярко освещенный берег остался позади, и там бегали, прыгали и бесновались остальные, не зная, что лодка с Дугласом и мертвецом плывет, плывет все дальше, уже уплыла в темноту. Дуглас с плачем побежал в пахнущую известью мужскую комнату, и там его вырвало — точно огненные струи трижды обожгли ему горло.

Он ждал, когда пройдет тошнота, и думал: «Сколько людей, которых я знал, умерли этим летом... Полковник Фрилей умер! А я этого раньше толком и не понял. Почему? И прабабушка тоже умерла. По-настоящему умерла — и кончено. И это еще не все... (Он запнулся.) А я? Нет, они не могут убить меня!» — «Да,— сказал голос внутри,— да, могут, стоит им только захотеть, как ни брыкайся, как ни кричи, тебя просто придавят огромной ручищей, и ты затихнешь...» — «Я не хочу умирать»,— беззвучно закричал Дуглас. «Все равно придется,— сказал голос внутри,— хочешь не хочешь, а придется».

Солнце за окнами кинотеатра освещало какую-то ненастоящую улицу, ненастоящие дома, и люди двигались так медленно, словно затонули в ослепительных тяжелых волнах чистого горящего газа, и Дуглас думал: «Никуда не денешься, пора, надо идти домой и дописать в блокноте последнюю строчку: КОГДА-НИБУДЬ Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, ТОЖЕ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ...»

Минут десять он все никак не мог решиться пересечь улицу; потом сердце его стало биться спокойнее, и он увидел Галерею и на обычном месте, в прохладной пыльной тени, странную восковую колдунью, и под пальцами у нее — людские судьбы. Проезжавшая машина бросила на Галерею сноп лучей, метнулись тени, и Дугласу показалось, что восковая кукла быстрым кивком позвала его.

И он повиновался и через пять минут вышел оттуда, уверенный, что теперь-то уж с ним ничего не может случиться. И, конечно, надо показать ее Тому.

— Она совсем как живая,— сказал Том.

— Она и есть живая. Вот смотри.

Он сунул в щель монетку.

Ничего не произошло.

Дуглас окликнул через всю Галерею ее владельца, мистера Мрака; тот сидел на ящике, в каких развозят бутылки с содовой, и, запрокинув голову, тянул из полупустой бутылки золотисто-коричневую жидкость.

— Эй! — закричал Дуглас. — С колдуньей что-то неладно! Мистер Мрак подошел, шаркая ногами; глаза его были полузакрыты, он шумно, прерывисто дышал.

— И с тираном неладно, и с панорамой, и «Электрический стул за грош» тоже разладился, — пожаловался он и стукнул кулаком по стеклянному ящику. — Эй, ты! Давай работай! Колдунья не шелохнулась.

— Мне один ремонт каждый месяц стоит больше, чем на ней выручишь.

Мистер Мрак сунул руку за ящик, вытащил объявление «Не работает» и повесил его прямо на лицо гадалки.

— Что ж, не с одной с ней неладно. И со мной неладно, и с вами, и с городом неладно, и во всей стране, и во всем мире. К черту тебя! — Он погрозил колдунье кулаком. — На свалку тебя, слышишь? На свалку! На лом!

Тяжело волоча ноги, он побрел прочь, грузно опустился на свой ящик и принялся ощупывать монетки в кармане фартука, точно у него болел живот.

— Неужели она испортилась... Этого просто не может быть, — прошептал потрясенный Дуглас.

— Она уже старая, — сказал Том. — Дедушка говорит, она стояла тут, когда он был еще мальчишкой, и даже раньше. Надо же ей когда-нибудь очокуриться...

— Ну пожалуйста, — молил Дуглас. — Пожалуйста, погадай еще один только разочек, пускай Том посмотрит!

Он потихоньку сунул в щель монетку.

— Пожалуйста!

Мальчики прижались к стеклу, от их дыханья оно затуманилось.

Где-то в самой глубине ящика зашуршало, зажужжало...

Колдунья медленно подняла голову, поглядела на мальчиков так, что у них кровь застыла в жилах, и рука ее заметалась над картами, то вдруг повисая над одной из них, то вновь срываясь — вправо, влево. Вот она наклонила голову, одна рука дернулась и замерла, а другая судорожно задвигалась, чертя что-то на карте; она писала, останавливалась и вновь писала, а машину трясло, как в лихорадке. Наконец машина содрогнулась так, что задребезжал стеклянный ящик, и вторая рука тоже застыла. Колдунья низко опустила голову, неживые черты ее словно исказила странная горестная гримаса. Потом механизм точно ахнул, скользнуло какое-то колесико, и в подставленные ладони Дугласа скатилась крошечная гадальная карта.

- Она ожила! Она опять действует!
 - Дуг, а что там, на карте?
 - То же самое, что она написала мне в субботу. Слушай!
- И Дуглас прочитал:

Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля!
Только дурак хочет умереть!
То ли дело плясать и петь!
Когда звучит погребальный звон,
Пой и пляши, дурные мысли — вон!
Пусть воет буря,
Дрожит земля,
Пляши и пой,
Тру-ля-ля, гоп-ля-ля!

- И больше ничего? — спросил Том.
- Еще в конце есть: «Предсказание: долгая и веселая жизнь».
- Вот это уже похоже на дело! А мне она погадает?

И Том сунул в щель монетку. Колдунья содрогнулась. В ладони мальчика упала карта.

— Кто добежит последним, тот колдунын хвост, — спокойно заявил Том.

Они вихрем помчались прочь — мистер Мрак только ахнул и стиснул в одном кулаке сорок пять медных монеток, в другом — тридцать шесть.

На улице при неверном свете фонаря они сделали ужасное открытие.

Карта была пуста.

— Этого не может быть!

— Да ты не волнуйся, Дуг. Ну обыкновенная пустая карта, мы потеряли всего один пенни — подумаешь, беда какая!

— Это вовсе не обыкновенная пустая карта, и мне не денег жалко, не в том дело: тут вопрос жизни и смерти.

Под дрожащими лучами фонаря Дуглас разглядывал карту, вертел ее и так и этак, будто надеясь, что на ней появится хоть одно словечко; он был очень бледен.

— У нее кончились чернила.

— У нее никогда не кончаются чернила!

Дуглас посмотрел через окно на мистера Мрака — тот допивал свою бутылку и отчаянно ругался, даже не подозревая, какой он счастливый, что живет здесь, в этой Галерее. Только бы теперь Галерея тоже не развалилась, думал Дуглас. И без того в жизни всё плохо: друзья исчезают, людей убивают и

хоронят, так уж пусть хоть волшебная Галерея останется!.. Только бы она осталась как есть!

Теперь Дуглас понял, почему его так упорно тянуло сюда всю неделю и сегодня тоже. Здесь все прочно, неизбежно, установлено раз и навсегда, все заранее известно, ясно и непоколебимо, всегда неизменно сверкают серебряные щели автоматов, восковой герой неизменно поражает кинжалом ужасную гориллу, спасая совсем уж восковую героиню; стоит опустить в щелку пенни — и за маленьким окошком, под одинокой голой электрической лампочкой неизменно начинает разматываться узкая пленка и начинается погоня: отчаянно мчатся отчаянные бандиты, только чудом не попадая то под автомобиль, то под трамвай, то под поезд, вечно кидаются с волнолома в океан, но, конечно, не тонут, потому что опять и опять им надо мчаться навстречу автомобилю, трамваю, поезду, снова и снова нырять все с того же знакомого-перезнакомого волнолома. Вечные и неизменные замкнутые мирки, грошовой аттракцион, которые пускаешь в ход, чтобы повторились те же неизменные, привычные заклинания и обряды. Только пожелай — и песчаный ветер подхватит братьев Райт, и вот они парят на крыльях «Китти Хоук»; только пожелай — и Тедди Рузвельт выставит напоказ все свои зубы в ослепительной улыбке; отстраивается и горит, горит и отстраивается Сан-Франциско — до тех пор, пока в ненасытную глотку автоматов летят жаркие от потных ладоней медяки.

Дуглас огляделся — как знать, что тебя ждет в этом ночном городе, что может случиться через минуту? Днем ли, ночью ли, здесь слишком мало щелей, куда можно сунуть монетку, слишком мало попадает тебе в руки карт, по которым можно прочесть свою судьбу, и даже в тех, которые читаешь, почти никогда нет никакого смысла. Здесь, в мире людей, можно отдать время, деньги, молитву — и ничего не получить взамен.

А там, в Галерее, можно подержать в руках молнию — на то есть электрическая машина «Попробуй вытерпи!»: если раздвинуть ее хромированные рукоятки, электрический ток ужалит как оса, обожжет и прошьет, точно иглой, твои содрогающиеся пальцы. А вот силомер: стукни кулаком по мешку с опилками изо всех сил — и сразу увидишь, сколько сотен фунтов найдется у тебя в мускулах, чтобы ударить, если понадобится, по всему миру. Или еще: стисни руку робота и попробуй — кто кого, чья рука скорей опустится; тогда зажгутся лампочки хотя бы посередине кривой черты, взлетающей на доске с цифрами, а если вспыхнет фейерверк на самом вер-ху — значит, ты даже сильнее робота.

Словом, в Галерее всегда знаешь, что получится из каждого твоего шага, чего ждать от каждого автомата. И уходишь оттуда успокоенный, как из какого-то вновь обретенного храма.

А теперь? Как же теперь?

Колдунья еще двигается, но молчит и, пожалуй, скоро совсем умрет в своем прозрачном гробу. Дуглас взглянул на мистера Мрака — тот дремал, словно бросая вызов всем мирам, даже своему собственному. Когда-нибудь все эти прекрасные механизмы заржавеют, потому что некому за ними заботливо ухаживать; бандиты и сыщики раз и навсегда застынут на бегу, наполовину погрузившись в озеро или наполовину увернувшись от колес паровоза, братья Райт так и не поднимут в воздух свой летательный аппарат...

— Том, — сказал Дуглас, — надо посидеть в библиотеке и все как следует обдумать.

Они пошли по улице, опять и опять передавая друг другу белую пустую карту.

Они посидели в библиотеке, в притененном свете ламп под зелеными абажурами; потом вышли, уселись верхом на каменного льва и долго сидели, хмурясь и болтая ногами.

— Старик Мрак только и делает, что кричит на нее да грозит убить.

— Как же ее убить, Дуг? Она ж никогда и не была живая.

— Он-то с ней обращается так, будто она живая или когда-то была живая. Орет на нее, вот ей и надоело. Или, может, не совсем надоело, а просто она подает нам тайный знак, что ее жизнь в опасности. Может, тут невидимые чернила или лимонный сок! Наверняка тут что-то написано, только она не хотела, чтобы мистер Мрак увидал, — вдруг бы он вздумал посмотреть, пока мы еще не ушли? Пстой-ка! У меня есть спички!

— С чего бы это она стала нам писать, Дуг?

— Держи карту! Ну-ка...

Дуглас чиркнул спичкой и быстро провел ею под картой.

— Ой! Не жги мне пальцы, Дуг, на них-то ничего не написано!

— Вот видишь! — с торжеством закричал Дуглас. И в самом деле, на белом квадратике проступили тонкие, чуть заметные линии, как будто невероятно перепутанные письмена... слово, два, три...

— Она горит! — взвыл Том и уронил карту.

— Наступи ногой!

Но пока они вскочили и начали топтать каменную спину старого льва, карта успела превратиться в горстку пепла.

— Дуг! Теперь мы никогда не узнаем, что там было!

Дуглас задумчиво глядел на свою ладонь, на теплые черные хлопья.

— Нет, я видел. Я помню все слова.

Пепел с еле слышным шелестом разлетелся с его руки.

— Помнишь, мы весной видели в кино комедию про Быстроногого Чарли? Там тонул француз и все время кричал одно слово по-французски, а Чарли никак не мог его понять: «Secours! Secours!»¹ А потом кто-то сказал Чарли, что это значит, и он прыгнул в воду и спас француза. Ну вот, я своими глазами видел на карте это слово — «Secours!».

— Зачем же ей писать по-французски?

— Чтобы мистер Мрак не понял, душень!

— Дуг, это был просто водяной знак, он только стал виднее, когда карта нагрелась...— Тут Том увидел лицо Дугласа и загнулся.— Ладно, не злись. Там было что-то вроде «секу», верно. Но ведь были и другие слова...

— Там еще стояло... «Мадам Таро». Том, я все понял! Когда-то, очень давно, и правда жила такая мадам Таро, она была гадалка-предсказательница. Я один раз видел ее портрет в энциклопедии. К ней со всей Европы съезжались люди, и она предсказывала им судьбу. Том, ну неужели ты еще ничего не понял? Ты думай, думай хорошенько!

Том снова оседлал льва и поглядел вдоль улицы туда, где мерцали огни Галереи.

— Что ж, по-твоему, это и есть самая настоящая мадам Таро?

— Ну ясно! Снаружи стеклянный ящик, а в нем пропасть красного и голубого шелка, а там — воск, уж такой-то старый, наполовину растопился, а внутри — она! Может, ее когда-то кто-то приревновал или возненавидел, вот и залил ее всю воском и навсегда засадил в этот ящик, и она сотни лет переходила от одного злодея к другому и наконец очутилась здесь, у нас, в Гринтауне, штат Иллинойс, и чем бы гадать королям всей Европы, работает теперь тут за медные гроши!

— А разве мистер Мрак — злодей?

— Конечно! Имя — Мрак, рубашка черная, штаны черные и галстук черный. В кино злодеи всегда одеты во все черное, разве нет?

¹ Спасите, на помощь! (фр.)

— Но почему же она не звала на помощь в прошлом году или в позапрошлом?

— Почем ты знаешь? Может, она уже сто лет каждый вечер пишет на картах лимонным соком, а все читают только то, что написано чернилами, и никто не додумался, как мы, подогреть карту и поглядеть, что там написано на самом деле. Хорошо, что я вспомнил это самое «Secours».

— Ну ладно, она просит помощи. А дальше что?

— Ясно, мы ее спасем.

— Украдем прямо из-под носа у мистера Мрака, да? А потом он нас засадит в стеклянные ящики вместо колдуньи, залет лицо воском, и будем мы там сидеть десять тысяч лет?

— Том, вот она, библиотека. Давай вооружимся чарами и магическими зельями и одолеем мистера Мрака.

— Мистера Мрака может одолеть одно-единственное зелье на свете,— сказал Том.— Каждый вечер, как только у него наберется достаточно монеток, он... постой-ка.— Том вытащил из кармана несколько монеток.— Ага, этого, наверно, хватит. Дуг, ты иди, читай книги. А я побегу обратно и пятнадцать раз погляжу «Бандитов и сыщиков» — это мне никогда не надоедает. А потом приходи, встретимся у Галереи, тогда зелье уже, верно, будет работать на нас.

— Том, а ты понимаешь, чем это пахнет?

— А ты хочешь выручить эту принцессу или нет?

Дуглас круто повернулся и побежал во весь дух.

Том подождал, пока двери библиотеки не захлопнулись за братом. Потом перепрыгнул через льва и канул в ночь. Ветер сдунул со ступеней библиотеки пепел колдуньиной карты.

В Галерее было темно: лабиринты «китайского бильярда» лежали смутные и загадочные, словно кто-то чертил палкой в пыли на полу пещеры великана. В окошках панорамы игриво усмехался Тедди Рузвельт, а братья Райт запускали деревянный пропеллер. Колдунья сидела в своем ящике, ее восковые глаза были совсем тусклые. И вдруг один глаз блеснул. Луч карманного фонарика пробился снаружи сквозь запыленные окна. Грузная фигура, пошатываясь, прислонилась к запертой двери, в замке заскрипел ключ. Дверь с грохотом распахнулась да так и осталась открытой. Донеслось тяжелое дыханье.

— Это я, старушка,— сказал, покачиваясь, мистер Мрак.

В это время к Галерее, уткнувшись в книгу, подошел Дуглас, огляделся и увидел Тома, который притаился в соседнем подъезде.

— Тс-с! — шепнул Том. — Все прошло как по маслу. Я пятнадцать раз подряд запустил «Бандитов и сыщиков». Мистер Мрак как услышал, что я накидал в машину пятнадцать монет, прямо глаза вытаращил, в два счета открыл автомат, вытащил все деньги, выгнал меня вон и скорей пошел в забегаловку через дорогу за магическим зельем.

Дуглас подкрался к окну и заглянул внутрь: в темноте смутно виднелись две гориллы — одна застыла неподвижно с восковой красавицей на руках, другая стояла посреди комнаты и слегка покачивалась.

— Ух, Том, ты просто гений! — прошептал Дуглас. — Он совсем упился этим своим зельем.

— Вот то-то и оно. А ты что-нибудь узнал?

Дуглас похлопал ладонью по книге и сказал вполголоса:

— Я правильно говорил, эта мадам Таро предсказывала судьбу, смерть и еще всякую всячину разным богачам, но она сделала одну ошибку: предсказала Наполеону поражение и смерть прямо ему в глаза! Ну и конечно...

Он умолк и снова поглядел через пыльное стекло на неясную фигуру, что спокойно сидела в своем стеклянном ящике.

— «Secours», — пробормотал Дуглас. — Ясно, Наполеон вспомнил про музей мадам Тюссо и велел мастерам бросить колдунью Таро живьем в кипящий воск... и вот теперь... вот она и...

— Смотри, смотри, Дуг! Что это затеял мистер Мрак? У него там какая-то дубинка или палка, что ли...

И в самом деле, грузная фигура мистера Мрака угрожающе качнулась к ящику. С отвратительной руганью он замахал перед самым носом колдуньи огромным ножом.

— Он прицепился к ней потому, что во всем этом окаянном сборище только она одна и похожа на человека, — сказал Том. — Он не сделает ей ничего плохого. Сейчас свалится на пол и захрапит.

— Ну уж нет, — сказал Дуглас. — Он знает, что она нас предупредила и мы придем ей на выручку. Он боится, как бы мы не раскрыли его преступную тайну... может, он задумал сегодня же уничтожить ее раз и навсегда?

— Откуда ему знать, что она нас предупредила? Мы и сами этого не знали, пока не ушли отсюда.

— Он бросал монетки в машину, и заставил ее сознаться, ведь на этих картах с черепами и костями она соврать не может. Она поневоле говорит правду, вот она и выдала ему карту, на которой изображены два рыцаря — маленькие, вроде мальчи-

шек, понимаешь? Это и есть мы, с дубинками в руках, идем по улице прямо сюда.

— Бросаю монету в последний раз! — донесся, словно из пещеры дикаря, вопль мистера Мрака.— В последний раз, черт бы тебя побрал, я требую: говори! Заработаю я хоть что-нибудь на этой распроклятой Галерее или мне сразу объявить себя банкротом? Все вы, бабы, такие: сидит тут, холодная как рыба, а человек помирает с голоду! Ну, давай карту! Так. Сейчас поглядим.

И он поднес карту к свету.

— Ух ты, что сейчас будет! — шепнул Дуглас.— Ну, приготовиться!

— Нет! — завопил мистер Мрак.— Лгунья, лгунья! Вот тебе!

И грохнул кулаком по ящику. Взметнулся фонтан стеклянных брызг, точно тысячи звезд сверкнули и угасли в темноте. Колдунья сидела теперь беззащитная и спокойно, с достоинством ждала следующего удара.

— Нет! — Дуглас ворвался в Галерею.— Мистер Мрак!

— Дуг! — кричал Том.

Мистер Мрак круто обернулся. Наобум занес нож. Дуглас оцепенел. Но мистер Мрак только мигнул, вытаращил глаза, повернулся вокруг собственной оси и медленно повалился на пол — он падал целую тысячу лет! Фонарик выпал из его правой руки, нож серебряной рыбкой выскользнул из левой.

Том с опаской вошел в полутемную Галерею и взгляделся в распростертое тело.

— Дуг, по-твоему, он умер?

— Нет, это его потрясло предсказание мадам Таро. Смотри: он какой-то прямо как ошпаренный. Наверно, на карте было написано что-то ужасное.

Мистер Мрак громко храпел на полу.

Дуглас подобрал разбросанные гадальные карты и дрожащими руками засунул их в карман.

— Том, давай унесем ее отсюда, пока не поздно.

— Да ты что, спятил? Это ж воровство!

— А ты хочешь, чтоб тебя обвинили в содействии и соучастии, а то и похуже? В убийстве, например?

— Тыфу ты! Как можно убить несчастную старую куклу?

Но Дуглас не слушал. Стеклопанель преграды уже не было, он протянул руки, и восковая колдунья Таро с шорохом, подобным вздоху, медленно склонилась вперед и упала в его объятия, точно она ждала этой минуты долгие-долгие годы.

Часы на здании суда пробили без четверти десять. Луна поднялась уже высоко и наполняла все небо ярким, хоть и неприветливым, светом. По тротуару, словно отлитому из серебра, двигались черные тени. Дуглас шел один, медленно и осторожно, неся в руках куклу из бархата и воска; он поминутно отступал в сторону и прятался в скользящей тени деревьев. И прислушивался и оглядывался. Но вот легкий шорох, точно бегут мыши. Из-за угла пулей вылетел Том и мигом догнал брата.

— Дуг, я застрял потому, что боялся — вдруг он... ну, в общем... а потом он ожил и стал ругаться... Ох, Дуг, если он тебя поймает с этой куклой! Что подумают наши? Это же воровство!

— Тише ты!

Они прислушались, оглянулись: улица расстилалась позади, словно лунная река.

— Вот что, Том: ты можешь помочь мне спасти ее, но тогда не называй ее куклой, и не кричи так, и не тащись, точно куль с мукой.

— Ясно, я помогу! — Том тоже взялся за колдунью. — Ну и тяжесть!

— Она была совсем молоденькая, когда Наполеон... — Дуглас перебил себя: — Старые всегда тяжелые. Потому и видно, что они старые.

— А к чему все это, Дуг? Ты мне скажи, к чему мы из-за нее так хлопочем, а?

К чему? Дуглас растерянно заморгал и остановился. Все случилось так быстро, он зашел так далеко и так разволновался, что успел уже забыть, к чему все это и зачем. И только теперь, когда они уже снова шагали по тротуару и на веках у них трепетали тени, точно черные бабочки, а руки пропахли пыльным воском, он вдруг подумал: «А правда, к чему?» — и медленно заговорил, и голос у него был чужой и далекий, как этот неверный лунный свет.

— Знаешь, Том, совсем недавно, месяца полтора назад, я вдруг открыл, что я живой. Ну и плясал же я тогда! А потом, только на прошлой неделе, в кино, я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал. И меня как-то ошарашило... будто мне вдруг сказали, что больше никогда не будет кино и пикников, или что школу закроют навсегда, а ведь она не такая уж плохая, хоть мы ее и ругаем, или все персиковые деревья вдруг завянут, или овраг засыплут и совсем нигде будет играть, или я заболею и буду сто лет лежать в постели в темноте... и я здорово напугался. И теперь сам не знаю, что к чему. Но только я хочу помочь мадам Таро. Спрячу ее на

несколько недель или месяцев, а пока поищу в библиотеке книжек по черной магии и узнаю, как ее расколдовать и вытащить из этого воска, и пускай себе опять живет на свете, она и так уж сколько времени потеряла даром. И, ясное дело, она будет очень благодарна, и разложит свои карты со всеми чертями, и кубками, и саблями, и костями, и предскажет мне, которую яму надо обходить стороной и в какие четверги лучше оставаться в постели. И я буду жить вечно или вроде того.

— Ты же и сам в это не веришь.

— Нет, верю — почти во все. Осторожно, вот и овраг. Мы пройдем напрямик, через свалку, и...

Том остановился — Дуглас схватил его за руку. Не оборачиваясь, мальчики слушали грохот тяжелых шагов за спиной; каждый шаг вызывал громкое эхо, будто на дне пересохшего озера неподалеку палили из ружья. Кто-то выкрикивал ругательства.

— Том, ты навел его на след!

Они побежали, но огромная рука подхватила их и швырнула одного направо, другого налево. Они с криком покатались по траве, а рассвирепевший мистер Мрак бешено размахивал кулаками, скалил зубы и брызгал слюной. Он держал куклу за шиворот и за локоть и яростно сверкал глазами на мальчиков.

— Она моя! Что хочу, то и делаю! Какого черта вы ее стащили? От нее все мои несчастья — и денег нет, и дело прогорит, все летит к чертям. Сейчас я ей покажу!

— Не надо! — закричал Дуглас.

Но огромные железные ручищи вскинули хрупкое восковое тело так высоко, что оно заслонило луну, закружили, завертели его под звездами и наконец с проклятьями метнули, точно из великанской рогатки, прямо в овраг. Оно просвистело в воздухе и рухнуло, следом полетели проклятья, лавиной посыпался мусор, взметнулось облако пыли и пепла. Дуглас приподнялся, сел и поглядел вниз.

— Нет, — сказал он. — Нет!

Мистер Мрак качнулся на краю откоса, охнул и тоже чуть не полетел в овраг.

— Скажите спасибо, что я и вас туда же не отправил!

И он неуверенно побрел прочь, ноги у него заплетались, один раз он упал, но поднялся и все время что-то бормотал про себя, то хохотал, то бранился, пока не исчез из виду.

Дуглас долго сидел на краю оврага и плакал. Наконец высморгался. Поглядел на брата:

— Том, уже поздно. Папа будет всюду ходить и нас искать. Нам надо было вернуться час назад. Беги домой по Вашингтон-стрит, найди папу и приведи сюда.

— Ты что, может, в овраг за ней полезешь?

— Раз она валяется на помойке, она теперь ничья. И никому нет до нее дела, даже мистеру Мраку. Скажи папе, зачем я его зову и что ему вовсе незачем возвращаться с нами по городу, пускай его никто с ней не видит. Я понесу ее задворками, и никто ничего не узнает.

— Да ведь от нее теперь никакого толку, механика-то вся сломана.

— Как же ты не понимаешь, ведь не оставлю я ее здесь одну, под дождем.

— Ясное дело.

И Том медленно пошел прочь.

Дуглас стал спускаться в овраг, осторожно пробираясь между грудками золы, грязной бумаги и консервных банок. На полдороге он остановился и прислушался.

Вгляделся в многоцветный сумрак, в провал, зияющий под ногами.

— Мадам Таро!

Ему почудилось, что далеко внизу в лунном свете шевельнулась восковая рука. Это на ветру затрепетал клочок бумаги. Но Дуглас все же двинулся к нему...

Городские часы пробили полночь. Почти всюду в домах погасли огни. В маленькой мастерской в гараже отец и двое сыновей отступили от колдуньи — она сидела теперь спокойно, совсем как прежде, в старом кресле-качалке, а перед нею на карточном столике, покрытом клеенкой, фантастическим веером раскинулись монахи и клоуны, кардиналы и скелеты, солнца и хвостатые звезды — гадальные карты, которых она чуть касалась восковой рукой.

Говорил отец:

— ...все отлично понимаю. Бывало, еще мальчишкой, когда из нашего города уезжал цирк, я носился как сумасшедший и собирал миллионы афиш. Потом разводил кроликов, увлекался колдовством. Мастерил на чердаке всякие иллюзии, а потом никак не мог их оттуда вытащить. — Он кивнул колдунье. — Помню, лет тридцать назад она и мне предсказала будущее. Ну ладно, теперь хорошенько почистите ее и идите спать. А в субботу мы для нее соорудим специальный ящик.

Отец пошел было к выходу из гаража, но Дуглас тихонько его окликнул:

— Пап. Спасибо тебе. Спасибо за обратную дорогу. В общем, спасибо.

— Вот еще, — сказал отец и вышел.

Оставшись одни с колдуньей, братья поглядели друг на друга.

— Надо же, прямо по Главной улице так и прошагали все вчетвером — ты, я, папа и она! Другого такого отца на свете нет!

— Завтра пойду и откуплю у мистера Мрака все остальные автоматы, — сказал Дуглас. — Долларов за десять он их отдаст, все равно ведь выкидывать.

— Ясное дело. — Том поглядел на старуху в кресле-качалке. — Ух ты, сидит совсем как живая. Интересно, что у нее там внутри?

— Тонюсенькие косточки вроде птичьих. Все, что осталось от мадам Таро со времен Наполеона...

— И никакого механизма? Давай вспорем ее и посмотрим.

— Успеем.

— Когда же?

— Ну, года через два, когда мне будет уже четырнадцать, вот тогда и посмотрим. А пока я ничего не хочу знать, она здесь — и ладно. Завтра я примусь за дело и расколдую ее раз и навсегда. Когда-нибудь ты услышишь, что у нас в городе появилась неизвестная красавица итальянка в летнем платье, и все видели ее на вокзале, она купила билет в какую-то восточную страну и села в поезд, и все скажут, что в жизни не видали такой красоты, и все сразу про нее заговорят, и никто не будет знать, откуда она взялась и куда уехала... и когда ты про это услышишь, Том, вот тогда ты поймешь — это я нашел такие чары и расколдовал ее и освободил. И тогда, значит, года через два, в ту самую ночь, когда уйдет ее поезд, мы с тобой поглядим, что там под воском. А раз ее уже здесь не будет, ясно, мы найдем внутри только мелкие винтики и колесики и всякие тряпки. Вот так.

Дуглас осторожно приподнял восковую руку и стал двигать ею над танцем жизни, над шалостями костлявой старухи смерти, над сроками, и судьбами, и сумасбродствами — рука чуть касалась их, постукивала по ним, шелестела потускневшими ногтями. Повинуясь каким-то скрытым законам равновесия, колдунья склонила лицо и поглядела прямо на мальчиков; немигающие глаза ее сверкнули в ярком свете голой, без колпака, лампы.

— Предсказать тебе судьбу, Том? — тихо спросил Дуглас.

— Давай.

Из широченного рукава колдуньи выпала карта.

— Том, ты видал? Одна еще оставалась, спрятанная, — и пожалуйста, она кидает ее нам! — Дуглас поднес карту к свету. — Ничего нет. Я положу ее на ночь в коробку со всякой химией. Завтра откроем, а там проступят буквы.

— И что же там будет написано?

Дуглас закрыл глаза, чтобы получше разглядеть слова:

— Там будет вот что: «Ваша покорная слуга и преданный друг мадам Флористан Мариани Таро, хиромантка, целительница душ и прорицательница, сердечно вас благодарит».

Том засмеялся и тряхнул брата за плечо:

— Ну-ка, ну-ка, а дальше?

— Сейчас... И еще там будет сказано: «Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля! Только дурак хочет умереть! То ли дело плясать и петь! Когда звучит погребальный звон, пой и пляши, дурные мысли — вон!» И еще: «Том и Дуглас Сполдинги, в вашей жизни случится все, чего вы только пожелаете». И еще там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно. Том, вечно. И никогда не умрем...

— И все это будет написано на одной карте?

— Все-все, до единого слова.

В свете яркой электрической лампочки они склонились над такой прекрасной и многообещающей, хоть пока и пустой, картой — двое мальчишек и колдунья, и горящие ребячьи глаза пронизывали ее и читали каждое непостижимо скрытое там слово, которое вот-вот, уже совсем скоро всплывет из своего тусклого небытия.

— Эй, ты,— чуть слышно сказал Том.

И Дуглас отозвался торжествующим шепотом:

— Эй, ты...

* * *

Под полуденными знойными деревьями негромкий голос тянул:

— ...девять, десять, одиннадцать, двенадцать...

Дуглас медленно двинулся по лужайке на этот голос.

— Том, ты что считаешь?

— ...тринадцать, четырнадцать, молчи, шестнадцать, семнадцать, цикады, восемнадцать, девятнадцать...

— Цикады?

— А, черт! — Том открыл глаза.— Черт, черт, черт!

— Смотри, кто-нибудь услышит, как ты ругаешься...

— Черт, черт, черт живет в аду! — крикнул Том.— Теперь придется начинать все сначала. Я считал, сколько раз прострекочут цикады за пятнадцать секунд.— Он поднял вверх свои дешевенькие часы.— Надо только заметить время, прибавить тридцать девять, и получится, сколько сейчас градусов жары.— Он глянул на часы, зажмурил один глаз, склонил голову набок и снова зашептал: — Раз, два, три...

Дуглас медленно повернул голову и прислушался. Где-то высоко в раскаленном белесом небе дрогнула и зазвенела медная проволока. Снова и снова, точно электрические разряды, падали ошеломляющими ударами с потрясенных деревьев пронзительные содрогания металла.

— Семь,— считал Том.— Восемь...

Дуглас поплелся на веранду. Блаженно жмурясь, заглянул в прихожую. Через минуту опять медленно вышел на веранду и вяло окликнул Тома:

— Сейчас ровно восемьдесят семь градусов по Фаренгейту¹.

— ...двадцать семь, двадцать восемь...

— Эй, Том, ты слышишь?

— Слышу, тридцать, тридцать один! Убирайся! Два, три, тридцать четыре...

— Хватит тебе считать, в доме на градуснике сейчас восемьдесят семь и еще лезет вверх, и не нужны тебе никакие кациды.

— Цикады! Тридцать девять, сорок. Не кациды! Сорок два!

— Восемьдесят семь градусов. Я думал, тебе будет интересно узнать.

— Сорок пять, это же в доме, а не на улице! Сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один! Пятьдесят два, пятьдесят три! Пятьдесят три плюс тридцать девять будет... будет девяносто два градуса!

— Кто сказал?

— Я сказал! Не восемьдесят семь по Фаренгейту, а девяносто два по Сполдингу!

— Ты-то ты, а еще-то кто?

Том вскочил и поднял покрасневшее лицо к солнцу:

— Я и цикады, вот кто! Я и цикады! Нас больше! Девяносто два, девяносто два, девяносто два градуса по Сполдингу, вот тебе!

Оба стояли и глядели в безжалостное, без единого облачка небо: точно испорченный фотоаппарат, зияющий раскрытым во всю ширь объективом, оно глазело на недвижный, оглушенный зноем, умирающий в пламенных лучах город.

Дуглас закрыл глаза и увидел, как два дурацких солнца выплясывают на внутренней стороне розовых прозрачных век.

— Раз... два... три...

Дуглас почувствовал, как шевелятся его губы.

— ...четыре... пять... шесть...

Теперь цикады стрекотали еще быстрее.

¹ 87 °F = 30,5 °C.

С полудня до заката, с полуночи до рассвета на улицах Грин-тауна, штат Иллинойс, маячили лошадь с фургоном и возница, которых хорошо знали все двадцать шесть тысяч триста сорок девять обитателей города.

Средь бела дня дети вдруг ни с того ни с сего останавливались среди какой-нибудь игры и говорили:

— А вот и мистер Джонас!

— А вот и Нэд!

— А вот и фургон!

Взрослые могли сколько угодно глядеть на север или на юг, на восток или на запад, они все равно не увидели бы ни мистера Джонаса, ни лошади по имени Нэд, ни фургона; это был большой крытый фургон на огромных колесах, такие фургоны когда-то бороздили прерии, пробираясь сквозь чащу к побережью.

Но если бы ухо у вас было чуткое, как у собаки, да если еще насторожить его и настроить на самые высокие и далекие звуки, вы бы услышали за много-много миль заунывное пение, точно молится старый раввин в земле обетованной или мулла на башне минарета. Голос мистера Джонаса летел далеко впереди него самого, люди успевали приготовиться к его появлению, у них оставалось для этого полчаса, а то и целый час. И к той минуте, когда его фургон показывался из-за угла или в конце улицы, вдоль тротуаров уже выстраивались ребята, словно на парад.

И вот подъезжал фургон, на высоких его козлах под зонтиком цвета хурмы восседал мистер Джонас, и вожжи струились в его ласковых руках, словно ручеек. Он пел:

Хлам, барахло?

Нет, сэр, не хлам.

Хлам, барахло?

Нет, мэм, не хлам!

Спицы, булавки, иголки,

Тряпки, обломки, осколки,

Пустяжки, побрякушки,

Вещички-старушки —

Все возьму в барахолку

Ради пользы и толку!

Ясно ли вам?

Это не хлам!

Всякий, кто хоть раз слышал пение мистера Джонаса, а он всегда сочинял что-нибудь новенькое, — сразу понимал, что это

не простой старьевщик. С виду-то его, правда, от обыкновенного старьевщика не отличить: рваные, в заплатках, плюсовые штаны, побуревшие от времени, а на голове — фетровая шляпа, украшенная пуговицами времен избрания первого президента. Но в одном он был старьевщик необыкновенный: его фургон можно было увидеть не только при солнечном свете, но и при свете луны — даже ночью он без усталости кружил по улицам, точно по извилистым речкам, огибая островки-кварталы, где жили люди, которых он знал всю свою жизнь. И в фургоне полно было самых разных вещей; он подбирал их во всех концах города и возил с собой день, неделю, год, пока они кому-нибудь не понадобятся. Тогда стоило только сказать: «Эти часы мне пригодятся» или «Как насчет вон того матраца?» — и Джонас отдавал часы или матрац, не брал никаких денег и ехал дальше, сочиняя по дороге новую песню.

Вот так и получалось, что иной раз в три часа ночи он оказывался единственным бодрствующим человеком в Гринтауне; и, если кто маялся головной болью, надо было только, завидев сверкающую в лунном свете лошадь с фургоном, выбежать на улицу и спросить, может, у мистера Джонаса случайно найдется аспирин, — и аспирин всегда находился. Не раз он и роды принимал в четыре часа ночи, и тогда люди вдруг замечали, что у него поразительно чистые руки и ногти — ну прямо руки богача, верно, он ведет еще и вторую, неизвестную им жизнь! Порой он отвозил людей на работу в другой конец города, а иногда, если видел, что кто-нибудь страдает бессонницей, поднимался к нему на крыльцо, угощал сигарой и сидел и беседовал с ним до зари.

Да, мистер Джонас был человек странный, непонятный, ни на кого не похожий, он казался чудаком и даже помешанным, но на самом деле ум у него был ясный и здравый. Он сам не раз спокойно и мягко объяснял, что ему уже много лет назад надоели его дела в Чикаго и он решил подыскать себе какое-нибудь другое занятие. Церковь мистер Джонас терпеть не мог, хоть и одобрял ее идеи, зато сам любил проповедовать и делиться с людьми своими познаниями; потому он и купил лошадь с фургоном и теперь проводил остаток дней своих в заботах о том, чтобы одни люди могли получить то, в чем другие больше не нуждаются. Он считал себя неким воплощением диффузии, которая в пределах одного города помогает обмену между различными слоями общества. Он не выносил, когда что-нибудь пропадало зря, ибо знал: то, что для одного — ненужный хлам, для другого — недоступная роскошь.

Вот почему и взрослые, и особенно дети взбирались по откидной лесенке и с любопытством заглядывали в фургон, где громоздились всевозможные сокровища.

— Помните, — говорил мистер Джонас, — вы можете получить все, что вам нужно, если только это вам и вправду нужно. Спросите-ка себя, жаждете ли вы этого всеми силами души? Доживете ли до вечера, если не получите этой вещи? И если уверены, что не доживете, — хватайте ее и бегите. Что бы это ни было, я с радостью вам эту вещь отдам.

И дети рылись в сокровищах; была там и пергаментная бумага, и обрывки парчи, и куски обоев, и мраморные пепельницы, и жилетки, и роликовые коньки, и огромные, вспухшие от набивки кресла, и маленькие приставные столики, и стеклянные подвески к люстрам. Сперва в фургоне только перешептывались, чем-то бренчали и позвякивали. Мистер Джонас смотрел и слушал, неторопливо попыхивая трубкой, и дети знали, что он внимательно следит за ними. Порой кто-нибудь тянулся к шахматной доске, к нитке бус или к старому стулу и, едва коснувшись их рукой, поднимал голову и встречал спокойный, мягкий, пытливый взгляд мистера Джонаса. И рука отдергивалась, и поиски продолжались. А потом рука находила что-то единственное, желанное и уже не двигалась с места. Голова поднималась, и лицо так сияло, что и мистер Джонас невольно расплывался в улыбке. Он на минуту заслонял глаза ладонью, словно отгораживаясь от этого сиянья. И тут ребята во все горло кричали ему: «Спасибо!», хватали ролики, фаянсовые плитки или зонтик и, соскочив наземь, бежали прочь.

И через минуту возвращались, неся ему что-нибудь взамен — куклу или игру, из которой выросли или которая уже надоела, что-нибудь, что уже выдохлось и не доставляет больше радости, как потерявшая вкус жевательная резинка: такую забаву пора передать куда-нибудь в другую часть города, там ее увидят в первый раз, и там она вновь оживет и кого-то порадует. Свои приношения ребята робко бросали на кучу невидимых теперь богатств — и фургон, покачиваясь, катил дальше, поблескивали большущие, как подсолнухи, колеса, и мистер Джонас уже опять пел:

Хлам, барахло?

Нет, сэр, не хлам!

Нет, мэм, не хлам!

Наконец он исчезал из виду, и только собаки в тени под деревьями слышали заунывное пение и слабо виляли хвостами.

...хлам...

Все тише и тише:

...хлам...

Еле слышно:

...хлам...

Все стихло.

И собаки спят...

* * *

Всю ночь по тротуарам носились пыльные призраки; их поднимали пышущие жаром ветры, и гоняли, и кружили, а потом осторожно укладывали на разогретые душистые лужайки. От шагов запоздалых прохожих вздрагивали ветки деревьев, и с них обрушивались лавины пыли. Будто с полуночи пробуждался где-то за городом вулкан и извергал раскаленный пепел, который осыпал все вокруг, толстым слоем покрывал недремлющих ночных сторожей и собак, что совсем извелись от жары. В три часа, перед самым рассветом, в каждом доме словно занимался пожар — начинали тлеть желтым светом чердачные окошки.

Да, на заре все предметы и самые стихии преобразались. Воздушные струи, точно горячие ключи, неслышно текли в неизвестность. Озеро недвижным жарким облаком нависало над долинами, населенными рыбой и песком, и жгло их своим равнодушным дыханьем. Гудрон на улицах плавился в патоку, кирпич становился медным и золотым, а черепица на крышах — бронзовой. Провода высокого напряжения — навек плененные молнии — угрожающе сверкали над бессонными домами.

Цикады трещали все громче.

Солнце не просто взошло, оно нахлынуло как поток и переполнило весь мир.

У себя в комнате, в постели, Дуглас таял и плавился, лицо его было все в поту.

— Уф, — сказал Том, входя в комнату. — Пошли, Дуг, в такой день только и сидеть в речке и не вылезать.

Дуглас тяжело дышал. Пот струился у него по шее.

— Дуг, ты что, спишь?

Чуть заметное движение головы.

— Ты, может, захворал? Да уж, этот дом сегодня прямо горит огнем. — Том приложил ладонь ко лбу брата. Это было все равно что тронуть заслонку пылающей печки. Он испуганно отдернул руку. Повернулся и сбежал вниз по лестнице.

— Мам,— сказал он,— Дуг, кажется, здорово заболел.

Мать в эту минуту вынимала яйца из холодильника; она замерла, и на лице у нее мелькнула тревога; сунув яйца обратно, она пошла за Томом наверх.

Дуглас за все это время не шелохнулся.

Цикады трещали изо всех сил, от этого треска звенело в ушах.

В полдень у веранды остановилась машина доктора; он приехал так быстро, будто солнце гналось за ним по пятам, готовое обрушиться на него всей своей тяжестью. Глаза у доктора были усталые; тяжело дыша, он отдал свой саквояж Тому.

В час дня доктор, качая головой, вышел из дому. Том с матерью остались за дверью, а доктор, обернувшись, опять и опять повторял им негромко через москитную сетку, что он не знает, право, не знает... Потом надел панаму, поглядел, как лучи солнца терзают и жгут листву деревьев, чуть помедлил, точно готовясь кинуться в первый круг ада, и побежал к своей машине. Из выхлопного отверстия вырвалось облако сизого дыма и еще добрых пять минут дрожало в воздухе, когда он уехал.

Том взял в кухне ломик, разбил на маленькие кусочки целый фунт льда и отнес наверх. Мать сидела на краю кровати, в комнате слышно было только прерывистое дыхание Дугласа — он вдыхал пар и выдыхал огонь. Лед завернули в носовые платки и положили Дугласу на лоб и вдоль тела. Задернули занавески, и комната сразу стала похожа на пещеру. Том с матерью сидели возле Дугласа до двух часов и все время приносили ему свежий лед. Потом опять пощупали его лоб — он был горячий, как лампа, которая горела всю ночь напролет. Тронешь — и невольно глядишь себе на пальцы: кажется, будто сжег их до самой кости.

Мать открыла было рот, хотела что-то сказать, но тут цикады затрещали так громко, что с потолка стала сыпаться известка.

Окутанный непроглядным багровым сумраком, Дуглас лежал и слушал, как глухо ухает его сердце и как медленно, толчками движется густая кровь в руках и ногах.

Губы тяжелые, неповоротливые. И мысли тоже тяжелые и медлительные, падают неторопливо и редко одна за другой, точно песчинки в разленившихся песочных часах. Кап...

По блестящему стальному полукругу рельсов из-за поворота вылетел трамвай, вскинулась и опала радуга шипящих искр, назойливый звонок звякал десять тысяч раз кряду и совсем смешался со стрекотом цикад. Мистер Тридден помахал рукой.

Трамвай затрещал, как пулемет, умчался за угол и исчез. Мистер Тридден... Кап. Упала песчинка.

Кап...

— Чух-чух-чух! Ду-у-у-у!

Высоко на крыше мальчишка изображал паровоз, дергал невидимую веревку гудка и вдруг замер, превратился в статую. «Джон Хаф! Эй ты, Джон Хаф! Я тебя ненавижу! Джон, ведь мы друзья. Нет, не ненавижу, нет!»

Джон падает в бесконечную вязовую аллею, как в бездонный летний колодец, и становится все меньше, меньше.

Кап. Джон Хаф. Кап. Падает песчинка. Кап. Джон...

Дуглас повернул голову, — как болит затылок, как больно расплющивается о белую, белую, мучительно белую подушку.

Мимо проплывают в своей Зеленой машине две старушки, лает черный тюлень, и старушки поднимают руки — белые руки, точно голуби. И погружаются в омут лужайки, и травы смыкаются над ними, а белые перчатки все машут, машут...

Мисс Ферн! Мисс Роберта!

Кап... Кап...

И вдруг в доме напротив из окна высунулся полковник Фрилей, а вместо лица у него часы, по улице вихрем — пыль из-под копыт бизонов. Полковник Фрилей качнулся вперед, быстро-быстро забормотал, челюсть у него отвалилась — и вместо языка изо рта выскочила часовая пружина и задрожала в воздухе. Он рухнул на подоконник, как марионетка, а одна рука все машет, машет... Проехал мистер Ауфман в какой-то непонятной блестящей машине, похожей сразу и на трамвай, и на Зеленый автомобильчик; за ней тянется пышный хвост дыма, а смотреть на нее — глаза болят, слепит, как солнце. «Мистер Ауфман, значит, вы ее все-таки изобрели? — кричит Дуглас. — Значит, вы наконец построили Машину счастья?»

И тут он увидел, что у машины нет дна. Мистер Ауфман попросту бежит по улице и тащит всю эту неправдоподобную громадину на своих плечах.

— Счастье, Дуг, вот оно, счастье!

И он исчез, как исчезли трамвай, Джон Хаф и старушки, у которых руки точно белые голуби.

Наверху, на крыше, легкий частый стук. Тут-тук... тук! Тишина. Тук-тук... тук! Гвоздь и молоток. Молоток и гвоздь. Птичий хор. И старушечий, дрожащий, но бодрый голос весело поет:

Соберемся у реки... у реки... у реки...

Соберемся у реки...

Что струится у подножия

Трона Божия...

— Бабушка! Прабабушка!

Кап — тихонько — кап. Кап — тихонько — кап.

У реки... у реки...

А теперь только птицы чуть постукивают по крыше крохотными лапками. Тук-тук. Скрип. Тук. Тук. Тихонько. Тихонько.

...у реки...

Дуглас глубоко вздохнул, тотчас шумно выдохнул и заплакал в голос.

Он не слышал, как в комнату вбежала мать.

На его бесчувственную руку, точно горячий пепел сигареты, упала муха, зажужжала, обжегшись, и улетела.

Четыре часа дня. На мостовой — дохлые мухи. В конурах комьями влажной шерсти — взмокшие собаки. Под деревьями жмутся короткие тени. Магазины в городе закрылись, двери заперты. Берег озера опустел. Тысячи людей забрались по горло в воду — хоть она и теплая, а все-таки легче.

Четверть пятого. По мощеным улицам движется фургон старьевщика, мистер Джонас сидит на козлах и поет.

У Тома нет больше сил глядеть на воспаленное лицо брата, он вышел на улицу и побрел было в сторону клуба — и тут рядом с ним остановился фургон.

— Здравствуйте, мистер Джонас.

— Здравствуй, Том.

Они были только вдвоем на пустой улице, можно было всласть полюбоваться сокровищами, сваленными в фургоне, но ни тот ни другой на них не глядел. Мистер Джонас заговорил не сразу. Он зажег трубку, и попыхивал ею, и качал головой, будто наперед знал, что случилось неладное.

— Ну что, Том? — спросил он.

— С Дугом плохо, — сказал Том. — С моим братом...

Мистер Джонас поднял голову и посмотрел на дом Сполдингс.

— Он заболел, — сказал Том. — Он умирает!

— Ну-ну, не может этого быть, — сказал мистер Джонас и хмуро огляделся: вокруг был спокойный, надежный мир, и ничто в этот тихий день не напоминало о смерти.

— Он умирает, — повторил Том. — И доктор никак не поймет, что с ним. Говорит, это все жара виновата. Может так быть, мистер Джонас? Неужели жара может убить человека, даже не на улице, а в темной комнате?

— Ну... — начал было мистер Джонас и прикусил язык. Потому что Том заплакал.

— Я всегда думал, я его ненавижу... я думал... мы ведь всегда деремся... Наверно, я и правда его ненавижу... иногда... а теперь... теперь... ох, мистер Джонас, если б только...

— Что, мальчик?

— Если б только у вас в фургоне нашлось что-нибудь для Дуга! Ну что-нибудь такое, чтобы отнести ему — и он поправится...

Том опять заплакал.

Мистер Джонас вытащил красный носовой платок и протянул Тому. Том высморкался и утер глаза.

— Дугу нынче летом уж очень не везет, — сказал он. — Прямо все шишки на него валяются.

— Расскажи-ка толком, — попросил старьевщик.

— Ну... во-первых, — Том всхлипнул и перевел дух, он еще не совсем совладал со слезами, — он лишился своего лучшего друга, это и правда был настоящий парень. И сейчас же кто-то стащил его вратарскую бейсбольную перчатку, а она очень дорогая — доллар девяносто пять! Потом он еще сваял дурака — сменялся с Чарли Вудменом, отдал свою коллекцию ракушек и морских камешков за глиняную статую Тарзана — ну, знаете, какую дают в магазине, если принести им много-много крышек от ящиков из-под макарон. А Дуглас на другой же день уронил этого Тарзана на тротуар и разбил.

— Ай-я-яй, — сказал старьевщик, живо представив себе осколки на асфальте.

— И еще он очень хотел на рождение книгу волшебных фокусов, а ему взяли и подарили штаны да рубашку. Ну и, понятно, лето вышло пропашее.

— Родители иногда забывают, как они сами были детьми, — сказал старьевщик.

— Ну ясно, — сказал Том и продолжал, понизив голос: — А потом он забыл во дворе одну штуку — самые настоящие кандалы из Тауэра, и они там провалялись всю ночь и совсем заржавели. А главное — я вырос на целый дюйм и почти его догнал, вот это ему обиднее всего.

— Это все? — спросил старьевщик.

— Да нет, надо только вспомнить, было еще сто разных бед вроде этих и даже еще похуже. Выдастся же такое лето — не везет человеку, да и только. То муравьи источили ему несколько комиксов, то новые теннисные туфли вмиг заплесневели.

— Я помню, у меня тоже бывали такие года,— сказал старьевщик.

Он поглядел на далекое небо и увидел там все эти года.

— Ну вот, мистер Джонас. В этом все дело. Поэтому он и умирает...

Том замолчал и отвернулся.

— Дай-ка мне подумать,— сказал мистер Джонас.

— Вы поможете, мистер Джонас? Неужели вы сумеете?

Мистер Джонас заглянул в недра своего фургона и покачал головой. Теперь, в ярком свете дня, лицо у него было усталое, на лбу выступили капельки пота. Он всматривался в груды ваз, облупленных абажуров, мраморных нимф, позеленевших бронзовых сатиров. Вздохнул. Повернулся, подобрал вожжи и легонько их встряхнул.

— Том,— сказал он, глядя в спину лошади.— Мы еще сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немного осмотрюсь и приеду опять после ужина. Но и тогда... трудно сказать. А покуда...

Он перегнулся и вытащил из фургона несколько нитей японских хрустальных подвесок.

— Повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру, совсем как льдинки.

Том стоял с японскими хрусталиками в руках, пока фургон не скрылся из виду. Потом поднял их и подержал на весу, но ветра не было, и они не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть.

Семь часов. Город кажется огромной печью, с запада на него опять и опять накатываются волны зноя, от каждого дома, от каждого дерева, вздрагивая, тянется тень — черная, точно нарисованная углем. Внизу по улице идет человек с ярко-рыжими волосами. Они вспыхивают в лучах заходящего, но все еще жгучего солнца, и Тому чудится: гордо шествует огненный факел, торжественно выступает огненная лиса, сам дьявол обходит свои владения.

В половине восьмого миссис Сполдинг вышла на заднее крыльцо, чтобы выкинуть на помойку арбузные корки, и увидела во дворе мистера Джонаса.

— Как Дуглас? — спросил он.

Губы миссис Сполдинг задрожали, она не решалась отвечать.

— Позвольте мне его повидать,— попросил старьевщик.

Она все не могла вымолвить ни слова.

— Мы с ним старые знакомые,— сказал мистер Джонас.— Виделись чуть ли не каждый день с тех пор, как он научился

ходить и стал бегать по улицам. У меня кое-что для него припасено.

— Он... — Она хотела сказать «без сознания», но вместо этого сказала: — Он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас, мы просто не знаем, что это с ним!

— Даже если он еще не проснулся, — сказал мистер Джонас, — мне хотелось бы с ним поговорить. Иной раз слова, которые услышишь во сне, бывают еще важнее, к ним лучше прислушиваешься, они глубже проникают в самую душу.

— Извините, мистер Джонас, я просто не могу рисковать. — Миссис Сполдинг ухватилась за ручку двери, но и не подумала ее открыть. — Но все равно спасибо вам. Спасибо, что пришли.

— Воля ваша, мэм, — сказал мистер Джонас.

Он не двинулся с места. Стоял и смотрел вверх, на окно Дугласа. Миссис Сполдинг вошла в дом и закрыла за собой дверь.

Наверху в своей постели тяжело дышал Дуглас.

Если прислушаться, казалось: кто-то выхватывает и снова вставляет в ножны острый нож.

В восемь часов пришел доктор и, уходя, опять качал головой; он был без пиджака, галстук развязан, и можно было подумать, что он за один этот день похудел на тридцать фунтов. В девять часов Том с матерью и отцом вынесли в сад под яблоню раскладушку и уложили на нее Дугласа: уж если подует ветерок, тут его почувствуешь скорее, чем в душных комнатах. До одиннадцати они то и дело выходили в сад к Дугласу, потом завели будильник на три — пора будет наколоть и сменить лед — и наконец легли спать.

В доме стало темно и тихо, все уснули.

В тридцать пять минут первого веки Дугласа затрепетали.

Всходила луна.

И где-то далеко послышалось пение.

Печальный высокий голос то взмывал вверх, то замирал. Чистый, мелодичный. Слов было не разобрать.

Луна поднялась над краем озера и поглядела на Гринтаун, штат Иллинойс, и увидела его весь, и весь его осветила — каждый дом, каждое дерево, каждую собаку: собаки спали и часто вздрагивали — в нехитрых снах им виделись доисторические времена.

И казалось, чем выше поднималась луна, тем ближе, громче, звонче пел тот голос.

Дуглас беспокойно заворочался и вздохнул.

Было это, пожалуй, за час до того, как луна затопила потоком света весь мир, а быть может, и раньше. Но голос все приближался, и вместе с ним слышалось словно биение сердца — это цокали лошадиные копыта по камням мостовой, и жаркая густая листва деревьев приглушала их стук.

И еще изредка что-то поскрипывало, постанывало, будто медленно открывалась и закрывалась дверь. Это двигался фургон.

И вот на улице в ярком свете луны появилась лошадь, впряженная в фургон, а на высоких козлах сидел мистер Джонас, и его худое тело мирно покачивалось в такт движению. На голове у него была шляпа, как будто все еще палило солнце; изредка он перебирал вожжи, и они колыхались над спиной лошади, как речные струи. Медленно, очень медленно фургон плыл по улице, и мистер Джонас пел, и Дуглас во сне словно затаил на миг дыханье и прислушался.

— Воздух, воздух... А вот кому воздуха?.. Прохладный, отрадный, как ручей течет, холодит, как лед... Купишь разок — запросишь в другой... Есть и весенний, есть и осенний, из дальних краев, с Антильских островов... ясный и синий, пахнет дыней... Воздух, воздух, свежий, соленый... чистый, душистый... в бутылке с колпачком, надушен чабрецом... Всякому на долю, и всласть и вволю, сколько хочешь вдохнешь — и всего-то за грош!

Потом фургон оказался у обочины тротуара. И вот во дворе стоит человек, под ногами у него черная тень, в руках зеленоватым огнем поблескивают две бутылки, будто кошачьи глаза во тьме. Мистер Джонас поглядел на раскладушку и тихонько позвал Дугласа по имени — раз, другой, третий. Помедлил в раздумье, поглядел на свои бутылки, решил и неслышно подкрался к яблоне; тут он уселся на траву и внимательно посмотрел на мальчика, сраженного непомерной тяжестью лета.

— Дуг,— сказал старьевщик,— ты знай себе лежи спокойно. Ничего не надо говорить, и глаза открывать не надо. И не старайся показать, что ты меня слышишь. Я все равно знаю, что слышишь,— это старик Джонас, твой друг. Твой друг,— повторил он и кивнул.

Потом потянулся к ветке, сорвал яблоко, повертел его в руке, откусил кусок, прожевал и снова заговорил.

— Некоторые люди слишком рано начинают печалиться,— сказал он.— Кажется, и причины никакой нет, да они, видно, от роду такие. Уж очень все к сердцу принимают, и уста-

ют быстро, и слезы у них близко, и всякую беду помнят долго, вот и начинают печалиться с самых малых лет. Я-то знаю, я и сам такой.

Он откусил еще кусок яблока, пожевал.

— О чем бишь я? — задумчиво спросил он.

— Жаркая августовская ночь, ни ветерка, — ответил он себе. — Жара убийственная. Лето тянется и тянется, нет ему конца, и столько всего приключилось, верно? Чересчур много всего. И время к часу ночи, а ни ветерком, ни дождиком и не пахнет. И сейчас я встану и уйду. Но когда я уйду — запомни хорошенько, — у тебя на кровати останутся вот эти две бутылки. Вот я уйду, а ты еще немножко подожди, а потом не спеша открой глаза, сядь, возьми эти бутылки и все из них выпей. Только не ртом, нет, пить нужно носом. Вытащи пробку, наклони бутылку и втяни в себя поглубже все, что там есть, чтоб прошло прямо в голову. Но сперва, понятно, прочти, что на бутылке написано. Хотя постой, я сам тебе прочту.

Он поднял бутылку к свету.

— «ЗЕЛЕННЫЕ СУМЕРКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ ВО СНЕ ЧИСТЕЙШИЙ СЕВЕРНЫЙ ВОЗДУХ, — прочитал он. — Взяты из атмосферы снежной Арктики весной тысяча девятисотого года и смешаны с ветром, дувшим в долине верхнего Гудзона в апреле тысяча девятьсот десятого; содержат частицы пыли, которая сияла однажды на закате солнца в лугах вокруг Гринелла, штат Айова, когда от озера, от ручейка и родника поднялась прохлада, тоже заключенная в этой бутылке».

Теперь прочтем то, что написано помельче, — сказал он и прищурился. — «Содержит также молекулы испарений ментола, лимона, плодов дынного дерева, арбуза и всех других, пахнущих водой, прохладных на вкус фруктов и деревьев, камфары, вечнозеленых кустарников и трав и дыхание ветра, который веет от самой Миссисипи. Необычайно освежает и прохлаждает. Принимать в летние ночи, когда температура воздуха превышает девяносто градусов».

Мистер Джонас поднял к свету вторую бутылку.

— В этой то же самое, только я еще собрал сюда ветер с Аранских островов, и соленый ветер с Дублинского залива, и полоску густого тумана с побережья Исландии.

Он поставил обе бутылки на кровать.

— И последнее предписание. — Он наклонился над мальчиком и договорил совсем тихо: — Когда ты будешь это пить, помни: все это собрано для тебя другом. Разливка и закупорка

Компании Джонас, Гринтаун, штат Иллинойс, август тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Хорошего тебе года, мальчик. Урожайного тебе года.

Через минуту по спине лошади мягко хлопнули вожжи и фургон покотился по улице в лунном свете. Веки Дугласа затрепетали; медленно, медленно открылись глаза.

— Мама, — зашептал Том. — Папа! Проснитесь! Дуг поправляется! Я сейчас ходил на него посмотреть, и он... идем скорей! — Том выбежал из дома, отец и мать — за ним.

Дуглас спал. Том подошел первым и замахал рукой, подзывая родителей поближе, он весь расплылся в улыбке. Все трое наклонились над раскладушкой.

Выдох — затишье, выдох — затишье; они стояли и слушали.

Рот Дугласа был полуоткрыт, от его губ, от тонких ноздрей поднимался едва уловимый аромат прохладной ночи и прохладной воды, прохладного белого снега и прохладного зеленого мха, прохладного лунного света, что лежит на серебристых камешках на дне спокойной реки, и прохладной чистой воды на дне маленького белокаменного колодца.

Будто они на миг склонились над фонтаном, и прохладная, пахнущая яблоневым цветом струя взметнулась ввысь и омыла их лица.

Еще долго они не могли шевельнуться.

* * *

На другое утро исчезли все гусеницы.

Еще накануне повсюду было полно крошечных черных и коричневых мохнатых комочков, которые усердно взбирались по вздрагивающим под их тяжестью былинкам и хлопотали на зеленых листках, — и вдруг все они исчезли. Замерли миллиарды неслышных шагов, беззвучный топоток гусениц, что неутомимо расхаживали по своему собственному миру. Том всегда уверял, что отлично слышит этот редкостный звук, и теперь с изумлением глядел на город, где нечего стало клонуть ни одной голодной птице. И цикады тоже умолкли.

А потом в тишине что-то шумно вздохнуло, зашуршало, и все поняли, почему исчезли гусеницы и смолкли цикады.

Летний дождь.

Сначала — как легкое прикосновение. Потом сильнее, обильнее. Застучал по тротуарам и крышам, как по клавишам огромного рояля.

А наверху, снова у себя в комнате, в постели, Дуглас, прохладный как снег, повернул голову и открыл глаза, он увидел струящееся свежестью небо, и пальцы его медленно-медленно потянулись к желтому пятицентовому блокноту и желтому карандашу фирмы Тайкондерога...

* * *

Как всегда, когда кто-нибудь приезжает, поднялась суматоха. Где-то гремели фанфары. Где-то в комнатах набралось полным-полно жильцов и соседей и все они пили чай. Приехала тетка по имени Роза, голос ее, поистине трубный глас, перекрывал все остальные, и казалось, она заполняет всю комнату, большая и жаркая, точно тепличная роза, недаром у нее такое имя. Но что сейчас Дугласу вся эта суматоха и голос тетки! Он только что пришел из своего флигеля, остановился за дверью кухни — и тут-то бабушка, извинившись, вышла из шумной, крикливой, как курятник, гостиной и углубилась в свои привычные владенья — пора было готовить ужин. Она увидела за москитной сеткой Дугласа, впустила его, поцеловала в лоб, отвела упавшую ему на глаза выцветшую прядь и вгляделась в лицо — совсем ли прошел жар? Убедилась, что внук уже здоров, замурлыкала песенку и принялась за работу.

Дугласу часто хотелось спросить: «Бабушка, наверно, здесь и начинается мир?» Ясно, только в таком месте он и мог начаться. Конечно же, центр мироздания — кухня, ведь все остальное вращается вокруг нее; она-то и есть тот самый *фронтмент*, на котором держится весь храм!

Он закрыл глаза, чтобы ничто не отвлекало, и глубоко втянул носом воздух. Его обдавало то жаром адского пламени, то внезапной метелью сахарной пудры; в этом удивительном климате царил бабушка, и взгляд ее глаз был загадочен, словно все сокровища Индии, а в корсаже прятались две крепкие, теплые курицы. Тысячерукая, точно индийская богиня, она что-то встряхивала, взбивала, смешивала, поливала жиром, разбивала, крошила, нарезала, чистила, завертывала, солила и помешивала.

Ослепленный, Дуглас ошупью добрался до двери столовой. Из гостиной донесся взрыв смеха и звон чайной посуды. Но он пошел дальше, в прохладную обитель многоцветных богатств, зеленых, как водоросли, оранжевых, как хурма, где ему сразу ударил в голову тягучий запах зреющих в тиши сливочно-желтых бананов. Мошकारа кружилась над бутылками уксуса и серdito шипела прямо Дугласу в уши.

Он открыл глаза. Хлеб лежал, точно летнее облако, и только ждал, чтобы его разрезали на теплые ломти; вокруг маленькими съедобными обручами разбросаны были жареные пирожки. У Дугласа потекли слюнки. За стеной дома росли тенистые сливовые деревья, и в жарком ветре у окна прохладной родниковой струей текли кленовые листья, а здесь, на полках, выстроились банки и на них — названия всевозможных пряностей.

«Как же мне отблагодарить мистера Джонаса? — думал Дуглас. — Как отблагодарить, чем отплатить за все, что он для меня сделал? Ничем, ну ничем за это не отплатишь. Нет этому цены. Как же быть? Как? Может, надо как-то отплатить кому-нибудь другому? Передать благодарность по кругу? Оглядеться по сторонам, найти человека, которому нужно помочь, и сделать для него что-нибудь хорошее. Наверно, только так и можно...»

Кайенский перец, майоран, корица.

Названия потерянных сказочных городов, где взвились и умчались пряные бури.

Он подбростил вверх темные луковки, что прибыли сюда с какого-то неведомого континента: там они когда-то расплескались на молочном мраморе — игрушки детей со смуглыми руками цвета лакрицы.

Поглядел на кувшин с одной-единственной наклейкой — и вдруг вернулся к началу лета, к тому неповторимому дню, когда впервые заметил, что весь огромный мир вращается вокруг него, точно вокруг оси.

На наклейке стояло одно только слово: УСЛАДА.

А хорошо, что он решил жить!

Услада! Занятное название для мелко нарубленных маринованных овощей, так заманчиво уложенных в банку с белой крышкой! Тот, кто придумал такое название, уж точно был человек необыкновенный. Он, верно, без устали носился по всему свету и наконец собрал отовсюду все радости, и запихнул их в эту банку, и большущими буквами вывел на ней это название, да еще и кричал во все горло: услада, услада! Ведь само это слово — будто катаешься на душистом лугу вместе с игривыми гнедыми жеребятами и у тебя полон рот сочной травы или погрузил голову в озеро, на самое дно, и через нее с шумом катятся волны. Услада!

Дуглас протянул руку. А вот это — ПРЯНОСТИ!

— Что бабушка готовит на ужин? — донесся из трезвого мира гостинной голос тети Розы.

— Этого никто никогда не знает, пока не сядем за стол,— ответил дедушка, он сегодня пришел с работы пораньше, чтобы огромному цветку не было скучно.— Ее стряпня всегда окутана гайной, можно только гадать, что это будет.

— Ну нет, я предпочитаю заранее знать, чем меня накормят! — вскричала тетя Роза и засмеялась. Стекланные висюльки на люстре в столовой возмущенно зазвенели.

Дуглас двинулся дальше, в сумеречную глубь кладовой.

Пряности... вот отличное слово! А бетель? А базилик? А стручковый перец? А карри? Все это великолепные слова. Но Услада, да еще с большой буквы,— тут уж спору нет, лучше не придумаешь!

Бабушка приходила и уходила в облаке пара, приносила из кухни покрытые крышками блюда, а за столом все молча ждали. Никто не осмеливался поднять крышку и взглянуть на таящиеся под ней яства. Наконец бабушка тоже села, дедушка прочитал молитву, и серебряные крышки мигом взлетели в воздух, точно стая саранчи.

Когда все рты были битком набиты чудесами кулинарии, бабушка откинулась на своем стуле и спросила:

— Ну как, нравится?

И перед всеми родичами, домочадцами и нахлебниками, и перед тетей Розой тоже, встала неразрешимая задача, потому что зубы и языки их были заняты восхитительными трудами. Что делать: заговорить и нарушить очарование или и дальше наслаждаться нектаром и амброзией? Казалось, они сейчас засмеются или заплачут, не в силах найти ответ. Казалось, начнись пожар или землетрясение, стрельба на улицах или резня во дворе — все равно они не встанут из-за стола, недосягаемые для стихий и бедствий, подвластные лишь колдовским ароматам пищи богов, что сулит им бессмертие. Все злодеи казались невинными агнцами в эту минуту, посвященную нежнейшим травам, сладкому сельдерее, душистым кореньям. Взгляды торопливо обегали снежную равнину скатерти, на которой пестрело жаркое всех сортов и видов, какие-то неслыханные смеси тушеных бобов, солонины и кукурузы, тушеная рыба с овощами и разные рагу...

И тут тетя Роза собрала воедино свою неукротимую розовость, и здоровье, и силу, вздохнула поглубже, высоко подняла вилку с наколотой на нее загадкой и сказала чересчур громким голосом:

— Да, конечно, это очень вкусно, но что же это все-таки за блюдо?

Лимонад перестал булькать в хрустальных фужерах, мелькавшие в воздухе вилки опустились рядом с тарелками.

Дуглас посмотрел на тетю Розу — так смотрит на охотника смертельно раненный олень. На всех лицах отразилось оскорбленное изумление. О чем тут спрашивать? Кушанья сами говорят за себя, в них заключена собственная философия, и они сами отвечают на все вопросы. Неужели мало того, что все твое существо поглощено этой упоительной минутой блаженного священнодействия?

— Кажется, никто не слышал моего вопроса? — сказала тетя Роза.

Наконец бабушка сдержанно проговорила:

— Я называю это блюдо Четверговым. Я всегда готовлю его по четвергам.

Это была неправда.

За все эти годы ни одно кушанье никогда не походило на другое. Откуда взялось, например, вот это блюдо? Не из зеленых ли морских глубин? А это, быть может, пуля достала в синеве летнего неба? Плавало оно или летало по воздуху, текла в его жилах кровь или хлорофилл, бродило оно по земле или тянулось к солнцу, не сходя с места? Никто этого не знал. Никто и не спрашивал. Никого это не интересовало.

Разве что подойдет кто-нибудь, станет на пороге кухни, и заглядится, и заслушается — а там взметаются тучи сахарной пудры, что-то позвякивает, трещит, щелкает, будто работает взбесившаяся фабрика, а бабушка шурится и озирается кругом, и руки ее сами находят нужные банки и коробки.

Понимала ли она, что наделена особым талантом? Вряд ли. Когда ее спрашивали, как она стряпает, бабушка опускала глаза и глядела на свои руки — это они с каким-то непостижимым чутьем находили верный путь и то окунались в муку, то погружались в самое нутро громадной выпотрошенной индейки, словно пытаясь добраться до птичьей души. Серые глаза мигали за очками, которые покоробились за сорок лет от печного жара, замутились от перца и шалфея так, что, случалось, самые нежные, самые сочные свои бифштексы бабушка посыпала картофельной мукой! А бывало, что и абрикосы попадали в мясо, скрещивались и сочетались, казалось бы, несочетаемые фрукты, овощи, травы — бабушку ничуть не заботило, так ли полагается готовить по кулинарным правилам и рецептам, лишь бы за столом у всех потекли слюнки и дух захватило от удовольствия. Словом, бабушкины руки, как прежде руки прабабушки, и для нее самой были загадкой, наслаждением,

всей ее жизнью. Она поглядывала на них с удивлением, но не мешала им жить самостоятельно — ведь по-другому они не могли и не умели!

И вот впервые за долгие годы кто-то стал задавать дерзкие вопросы, разбираться и допытываться, как ученый в лаборатории, стал рассуждать там, где похвальнее всего молчать.

— Да, да, я понимаю, но все-таки, что именно вы положили в это Четверговое блюдо?

— Ну а что там есть, по-твоему? — уклончиво сказала бабушка.

Тетя Роза понюхала кусок на вилке:

— Говядина... или барашек? Имбирь... или это корица? Ветчинный соус? Черника? И, верно, немного печенья? Чеснок? Миндаль?

— Вот именно, — сказала бабушка. — Кто хочет добавки? Все?

Поднялся шум, зазвенели тарелки, замелькали руки, все громко заговорили, словно пытаясь навсегда заглушить эти святотатственные расспросы, а Дуглас говорил громче всех и больше всех размахивал руками. Но по лицам сидевших за столом было видно, что их мир пошатнулся, радость и довольство висят на волоске. Ведь тут собрались самые избранные домочадцы, они всегда бросали все свои дела, будь то игра или работа, и мчались в столовую с первым же звуком обеденного гонга. Много лет они спешили сюда как на праздник, торопливо развертывали белоснежные трепещущие салфетки, хватались за вилки и ножи, словно изголодались в одиночных камерах и только и ждали сигнала, чтобы, толкаясь и обгоняя друг друга, ринуться вниз и захватить место за обеденным столом. Сейчас они громко, тревожно переговаривались, вспоминали старые, избитые шутки и искоса поглядывали на тетю Розу, точно в ее необъятной груди притаилась бомба и часовой механизм отсчитывает секунды, приближая всех к роковому концу.

Тетя Роза почувствовала наконец, что и в молчании есть счастье, усердно занялась тем безымянным и загадочным, что лежало у нее на тарелке, уничтожила подряд три порции и отправилась к себе в комнату, чтобы распустить шнуровку.

— Бабушка, — сказала тетя Роза, когда снова спустилась вниз. — Вы только поглядите, в каком виде у вас кухня! Признайтесь, тут ведь просто хаос! Повсюду бутылки, тарелки, коробки, все вперемешку, наклейки поотрывались, никаких надписей нет — откуда вы знаете, что кладете в еду? Меня про-

сто совесть замучит, если я не помогу вам привести все это в порядок, пока я здесь. Сейчас, только засучу рукава.

— Нет, большое спасибо, не надо,— сказала бабушка.

Дуглас, сидя за стеной, в библиотеке, слышал весь этот разговор, и сердце у него заколотилось.

— А жара, а духота какая! — продолжала тетя Роза.— Давайте хоть окно откроем и поднимем жалюзи, а то не видно, что делаешь.

— У меня глаза болят от света,— сказала бабушка.

— Вот и мочалка. Я перемою все тарелки и аккуратно их расставлю. Нет, я непременно вам помогу, и не спорьте.

— Прошу тебя, сядь, посиди,— сказала бабушка.

— Вы только подумайте, вам ведь сразу станет гораздо легче. Вы великая мастерица, это верно, вы ухитряетесь готовить так вкусно в таком диком хаосе, но поймите же — если каждая вещь будет на своем месте и не придется ничего искать по всей кухне, вы сможете стряпать еще лучше!

— Я как-то никогда об этом не думала...— сказала бабушка.

— Так подумайте теперь. Допустим, современные кулинарные методы помогут вам готовить еще процентов на десять-пятнадцать лучше. Ваши мужчины уже и сейчас ведут себя за столом по-свински. Пройдет какая-нибудь неделя — и они станутдохнуть от обжорства, как мухи. Еда будет такой красивой и вкусной, что они просто не смогут остановиться!

— Ты и правда так думаешь? — с интересом спросила бабушка.

— Не сдавайся, не сдавайся! — зашептал в библиотеке Дуглас.

Но, к ужасу своему, он услышал, что за стеной метут и чистят, выбрасывают полупустые мешки, наклеивают ярлычки на банки и коробки, расставляют тарелки, кастрюли и сковородки на полки, которые столько лет пустовали. Даже ножи, которые всегда валялись на кухонном столе, точно стайка серебряных рыбок только-только из сетей,— и те угодили в ящик.

Дедушка стоял позади Дугласа и добрых пять минут прислушивался к этой суете. Потом озабоченно поскреб подбородок.

— Да, пожалуй, тут в кухне и вправду испокон веков царил хаос. Кое-что надо бы привести в порядок, это верно. И если тетя Роза права, Дуг, дружок, завтра у нас будет такой ужин, какой никому и во сне не снился!

— Да, сэр,— сказал Дуглас,— и во сне не снился.

— Что там у тебя? — спросила бабушка.

Тетя Роза подала ей сверток, который прятала за спиной.

Бабушка его развернула.

— Поваренная книга! — воскликнула она и уронила книгу на стол. — Не надо мне ее. Просто я кладу пригоршню того, щепотку сего, капельку этого — и все тут...

— Я помогу вам все закупить, — сказала тетя Роза. — И еще, я смотрю, пора заняться вашим зрением. Неужели столько лет портите себе глаза такими ужасными очками? Ведь оправа вся перекошена, стекла исцарапаны — удивительно, что вы до сих пор не свалились куда-нибудь в мучной ларь. Немедленно идите за новыми!

И они вышли на солнечную улицу, и бабушка, ошеломленная и сбитая с толку, покорно плелась рядом с тетей Розой.

Вернулись они, нагруженные всяческой бакалеей, куплены были и новые очки, и шампунь. Вид у бабушки был такой, точно она бегала по всему городу, спасаясь от погони. Она совсем запыхалась, и тете Розе пришлось помочь ей подняться на крыльцо.

— Ну вот, бабушка. Теперь у вас каждая вещь на своем месте. И теперь вы можете все разглядеть!

— Пойдем, Дуг, — сказал дедушка. — Прогуляемся перед ужином. Обойдем наш квартал и нагуляем аппетит. Сегодня будет исторический вечер. Попомни мое слово, такого ужина еще свет не видал!

Час ужина. Улыбка сбегала с лиц. Дуглас три минуты жевал первый кусок и наконец, сделав вид, что утирает рот, выплюнул его в салфетку. Том и отец сделали то же самое. За столом кто собирал еду на тарелке в одну кучку, кто чертил в ней вилкой разные узоры и дорожки, рисовал соусом целые картины, кто строил из ломтиков картофеля дворцы и замки, кто украдкой совал куски мяса собаке.

Первым из-за стола встал дедушка.

— Я сыт, — сказал он.

Остальные сидели притихшие, понурые. Бабушка бестолково тыкала вилкой в тарелку.

— Правда как вкусно? — спросила тетя Роза, не обращаясь ни к кому в отдельности. — И приготовить успели даже на полчаса раньше обычного!

Но остальные думали о том, что за воскресеньем настанет понедельник, а там и вторник, потянется долгая неделя, и все завтраки будут такие же унылые, обеды — такие же без-

радостные, ужины — такие же мрачные. В несколько минут столовая опустела. Наверху, каждый у себя в комнате, домохадцы предались горестным размышлениям.

Бабушка, потрясенная, поплелась на кухню.

— Ну вот что,— сказал дедушка.— Дело зашло слишком далеко.— Он подошел к лестнице и крикнул наверх, навстречу пропыленному солнечному лучу: — Эй, спускайтесь все вниз!

Все обитатели дома собрались в полутемной уютной библиотеке, заперлись там и толковали вполголоса. Дедушка преспокойно пустил шляпу по кругу.

— Это будет банк,— сказал он. Потом тяжело опустил руку на плечо Дугласа.— У нас есть для тебя очень важное поручение, дружок. Вот слушай...— И он доверительно зашептал Дугласу на ухо, отдавая его теплым дыханьем.

На другой день Дуглас отыскал тетю Розу в саду, она срезала цветы.

— Тётя Роза,— серьезно предложил он,— пойдёмте погуляем, хорошо? Я покажу вам овраг, где живут бабочки, вон в той стороне!

Они обошли вдвоем весь город. Дуглас болтал без умолку, беспокойно и торопливо; на тетку он не глядел и только прислушивался к бою часов на здании суда.

Когда они под прогретыми летним солнцем вязами подошли к дому, тетя Роза вдруг ахнула и схватилась рукой за горло.

На нижних ступенях крыльца стояли все ее аккуратно упакованные пожитки. На одном из чемоданов ветерок шевелил края розового железнодорожного билета.

Все десять обитателей дома сидели на веранде, лица у них были суровые и непреклонные. Дедушка сошел с крыльца — торжественно, как проводник в поезде, как мэр города, как добрый друг. Он взял тетю Розу за руку.

— Роза,— начал он,— мне надо тебе кое-что сказать.— А сам все пожимал и тряс ее руку.

— В чем дело? — спросила тетя Роза.

— До свиданья! — сказал дедушка.

В предвечерней тишине издалека донесся зов паровоза и рокот колес. Веранда опустела, чемоданов как не бывало, в комнате тети Розы — никого. Дедушка пошарил на полке в библиотеке и с улыбкой вытащил из-за томика Эдгара По аптечный пузырек.

Бабушка вернулась домой — она ходила в город за покупками, совсем одна.

— А где же тетя Роза?

— Мы проводили ее на вокзал,— ответил дедушка.— Мы прощались, и все очень горевали. Ей ужасно не хотелось уезжать, но она прислала тебе самый сердечный привет и обещала навестить опять годиков эдак через десяток.— Дедушка вынул массивные золотые часы.— Теперь пойдемте-ка все в библиотеку и выпьем по стаканчику хереса, а потом бабушка по своему обыкновению задаст нам пир горой.

Бабушка удалилась на кухню.

Все домочадцы и дедушка с Дугласом болтали, смеялись и прислушивались к негромкой возне на кухне. И когда бабушка ударила в гонг, все, теснясь и подталкивая друг друга, заторопились в столовую.

Все откусили по огромному куску.

Бабушка переводила испытующий взгляд с одного лица на другое. Все молча уставились себе в тарелки, сложили руки на коленях, а за щекой так и остался недожеванный кусок.

— Я разучилась,— сказала бабушка.— Я больше не умею стряпать...

И заплакала.

Потом встала и побрела в свою аккуратнейшую кухню, с аккуратнейшими наклейками на всех банках, неся перед собой бесполезные, точно чужие, руки.

Все легли спать голодными.

Дуглас слышал, как часы на здании суда пробили половину одиннадцатого, одиннадцать, потом полночь, слышал, как все остальные опять и опять ворочаются в постелях, будто под залитой лунным светом крышей просторного дома шумит немолчный прибой. Ну конечно же, никто не спит, всех одолевают невеселые мысли. Наконец он сел в постели. И заулыбался стене и зеркалу. Отворил дверь и прокрался вниз, а улыбка все не сходила с его лица. В гостиной было темно, пахло старостью и одиночеством. Дуглас затаил дыхание.

Ощупью пробрался на кухню, минуту постоял, выжидая.

Потом взялся за дело.

Пересыпал сахарную пудру из прекрасной новой банки в старый мешок, где она всегда была раньше. Вывалил белую муку в старый глиняный горшок. Извлек сахар из огромного жестяного короба с надписью «Сахар» и разложил его в привычные коробки помельче, на которых было написано «Пряности», «Ножи», «Шлагат». Рассыпал гвоздику по дну полудюжины ящиков, где она лежала годами. Снял с полки

тарелки, вытащил из ящиков ножи и вилки — им место на столах!

Потом он отыскал новые бабушкины очки на камине в гостиной и спрятал их в погребке. И наконец, разжег в старой дровяной плите большущий огонь, а на растопку пустил листы из новой поваренной книги. К часу ночи в печной трубе взревел такой столб пламени и дыма, что проснулись даже те, кому удалось уснуть. По лестнице зашаркали бабушкины шлепанцы. Вот она уже стоит в кухне и только растерянно моргает, глядя на весь этот хаос. Дуглас шмыгнул за дверь кладовой и притаился.

Среди ночи, в половине второго, сквозняки понесли по всем коридорам соблазнительные запахи. Сверху спускались один за другим все обитатели дома — женщины в папильотках, мужчины в купальных халатах на цыпочках подкрадывались к двери и заглядывали в кухню, освещенную только прихотливыми вспышками багрового пламени в шипящей плите. Здесь, в темной кухне, среди грохота и звона, точно привидение, проплывала бабушка; было уже два часа ночи, и без новых очков она опять плохо видела, и руки ее по наитию нащупывали в полумраке все, что нужно, сыпали душистые специи в булькающие кастрюли и исходящие паром котелки с необыкновенной стряпней; она что-то хватала, помешивала, переливала, и раскрасневшееся лицо ее в отблесках огня казалось совсем красным, колдовским и околдованным.

Домочадцы тихо-тихо накрыли стол лучшей скатертью, разложили сверкающее серебро и вместо электричества зажгли свечи, чтобы не разрушить чары.

Дедушка вернулся домой очень поздно — он весь вечер работал в типографии — и с изумлением услышал, что в столовой, при свечах, читают застольную молитву.

А еда? Мясо было поджарено с пряностями, соусы приправлены карри, зелень полита душистым маслом, печенье обрызгано каплями золотого меда; все мягкое, сочное и такой восхитительной свежести, что над столом пронесся то ли тихий стон, то ли мычанье, словно на лугу в густом клевере пировало стадо. Все громко радовались, что на них только свободные ночные одеяния и ничто не стесняет их талии.

В половине четвертого ночи, под воскресенье, когда весь дом переполнило тепло благодушной сытости и дружелюбия, дедушка наконец отодвинул свой стул и величественно помахал рукой. Вышел в библиотеку и вернулся с томом Шекспира. Положил его на доску, на которой режут хлеб, и преподнес жене.

— Бабушка, — сказал он, — сделай милость, приготовь нам завтра на ужин эту превосходную книгу. Я уверен, завтра в сумерки, когда она попадет на обеденный стол, она станет нежной, сочной, поджаристой и мягкой, как грудка осеннего фазана.

Бабушка взяла тяжелую книгу обеими руками и заплакала от радости.

До самой зари никто не ложился спать, все что-то ели на сладкое, пили настойки из полевых цветов, которые росли в палисаднике, и лишь когда встрепенулись первые птицы и на востоке угрожающе блеснуло солнце, все разбрелись по спальням. Дуглас прислушался — в далекой кухне остывала печь. Прошла к себе бабушка.

«Старьевщик, — думал он, — мистер Джонас, где-то вы сейчас? Вот теперь я вас отблагодарил, я уплатил долг. Я тоже сделал доброе дело, ну да, я передал это дальше...»

Он заснул и увидел сон.

Во сне звонил гонг и все с восторженными воплями бежали в столовую завтракать.

* * *

И вдруг лето кончилось.

Дуглас обнаружил это, когда они однажды шли по улице. Том ахнул, схватил его за руку и ткнул пальцем в витрину дешевой лавчонки. Они остановились как вкопанные: из витрины невозмутимо, с ужасающим спокойствием на них глядели предметы совсем иного мира.

— Карандаши, Дуг, десять тысяч карандашей!

— Тыфу ты, пропасть!

— Блокноты, грифельные доски, ластики, акварельные краски, линейки, компасы — сто тысяч штук!

— Не смотри. Может, это просто мираж!

— Нет, — в отчаянии простонал Том. — Это школа. Самая настоящая школа! Ну с какой стати паршивые лавчонки выставляют все это напоказ, когда лето еще не кончилось? Половину каникул отравили!

Они пошли дальше и дома застали дедушку одного на высохшей, полысевшей лужайке — он собирал последние редкие одуванчики. Некоторое время они молча помогали ему, а потом Дуглас склонился к собственной тени и сказал:

— Как по-твоему, Том, какой у нас получится следующий год? Лучше этого или хуже?

— Ты меня не спрашивай.— Том подул в стебель одуванчика, точно в дудку.— Ведь не я создал мир.— Он на минуту задумался.— Хотя иногда мне кажется, что все это моих рук дело.

И он лихо сплюнул.

— У меня предчувствие,— сказал Дуглас.

— Какое?

— Следующий год будет еще больше, и дни будут ярче, и ночи длиннее и темнее, и еще люди умрут, и еще малыши родятся, а я буду в самой гуще всего этого.

— Ну да, ты и еще триллиарды людей, не забудь, пожалуйста.

— В такие дни, как сегодня, мне кажется... что я буду один,— пробормотал Дуглас.

— Как понадобится помощь — только кликни,— сказал Том.

— Много ли поможет десятилетний братишка?

— Десятилетнему братишке на то лето будет уже одиннадцать. Я буду каждое утро разворачивать мир, как резиновую ленту на мяче для гольфа, а вечером заворачивать обратно. Если очень попросишь — покажу, как это делается.

— Спятил!

— Всегда был такой.— Том скосил глаза и высунул язык.—

И всегда буду.

Дуглас засмеялся. Они пошли с дедушкой в погреб, и, пока тот обрывал головки одуванчиков, мальчики смотрели на полки, где недвижимыми потоками сверкало минувшее лето, закупоренное в бутылки с вином из одуванчиков. Девяносто с лишним бутылок из-под кетчупа, по одной на каждый летний день, почти все полные доверху, жарко светятся в сумраке погреба.

— Вот это здорово,— сказал Том.— Отличный способ сохранить живьем июнь, июль и август. Лучше и не придумаешь.

Дедушка поднял голову, подумал и улыбнулся.

— Да, это вернее, чем запихивать на чердак вещи, которые никогда больше не понадобятся. А так, хоть на улице и зима, то и дело на минуту переселяешься в лето; ну а когда бутылки опустеют, тут уж лету конец — и тогда не о чем жалеть, и не остается вокруг никакого сентиментального хлама, о который спотыкаешься еще сорок лет. Чисто, бездымно, действительно — вот оно какое, вино из одуванчиков.

Мальчики тыкали пальцем то в одну, то в другую бутылку.

— Это — первый летний день.

— А в этот день я купил новые теннисные туфли.

— Верно! А это — Зеленая машина!

— Пыль бизонов и Чин Линсу!

— Колдунья Таро! Душегуб!

— По-настоящему лето не кончилось,— сказал Том.— Оно никогда не кончится. Я век буду помнить весь этот год — в какой день что было.

— Оно кончилось еще прежде, чем началось,— сказал дедушка, разбирая винный пресс.— Вот я решительно ничего не помню, разве только эту новую траву, которую не нужно косить.

— Ты шутишь!

— Ничуть. Когда-нибудь вы сами убедитесь, мальчики, что к старости дни как-то тускнеют... и уже не отличишь один от другого...

— Как же так! — сказал Том.— В этот понедельник я катался на роликах в Электрик-парке, во вторник ел шоколадный торт, в среду упал и растянул ногу, в четверг свалился с виноградной лозы — да вся неделя была полным-полна всяких событий! И сегодняшний день я тоже запомню, потому что листья все желтеют и краснеют. Скоро они засыпят всю лужайку, и мы соберем их в кучи и будем на них прыгать, а потом спалим. Никогда я не забуду сегодняшний день! Век буду его помнить, это я точно знаю!

Дедушка поглядел вверх, в оконце погребца, на предосенние деревья — листва шелестела под ветром, и ветер уже дышал прохладой.

— Конечно, ты его запомнишь, Том,— сказал он.— Конечно, запомнишь.

И они оторвались от мягкого мерцанья вина из одуванчиков и вышли из погребца: надо было совершить последние обряды лета, ибо настал последний день и последняя ночь. А к вечеру они вдруг спохватились — оказывается, вот уже три дня как веранды пустеют совсем рано. И в воздухе пахнет как-то по-другому, суше, и бабушка поговаривает теперь не о ледяном чае, а о горячем кофе; открытые окна, в которых трепетали белые занавески, понемногу закрываются; холодные закуски уступают место горячему мясу. На верандах больше нет москитов, они покинули поле боя — и тут войне со временем настал конец, люди тоже отступили, укрылись в теплых комнатах.

Как три месяца назад — или это были три долгих столетия? — Том, Дуглас и дедушка стояли на веранде, и она скрипела, словно корабль, что дремлет ночью, покачиваясь на волнах, и все трое втягивали ноздрями воздух. Мальчикам казалось, в начале лета кости у них были как стебли зеленой мяты и лакрицы, а теперь обратились в мел и слоновую кость. Но прежде

всего осенняя прохлада коснулась костей дедушки, точно неумелая рука забарабанила по пожелтевшим басовым клавишам фортепьяно, которое стоит в столовой.

Дедушка повернулся к северу, как стрелка компаса.

— Пожалуй, мы больше не будем выходить сюда по вечерам, — сказал он раздумчиво.

И втроем они сняли цепи с крюков в потолке и унесли качели в гараж, будто старые разбитые похоронные дроги, а за ними летели на землю первые сухие листья. Слышно было, как бабушка растапливает камин в библиотеке. Вдруг налетел ветер и в окнах задребезжали стекла.

Дуглас в последний раз остался ночевать сегодня в своей комнатке в башне; он достал блокнот и записал:

«Теперь все идет обратным ходом. Как в кино, когда фильм пускают задом наперед — люди выскакивают из воды на трамплин. Наступает сентябрь, закрываешь окошко, которое открыл в июне, снимаешь теннисные туфли, которые надел тогда же, и влезашь в тяжеленные башмаки, которые тогда забросил. Теперь люди скорей прячутся в дом, будто кукушки обратно в часы, когда прокукуют время. Только что на верандах было полно народу и все трещали, как сороки. И сразу двери захлопнулись, никаких разговоров не слышать, только листья с деревьев так и падают».

Он поглядел из высокого окна: на равнине по руслам ручьев валяются, как сушеный инжир, дохлые сверчки; в небе под заунывные крики гагар уже скоро потянутся к югу птицы, деревья взметнут к свинцовым тучам буйные костры пламенеющей листвы. Из далеких полей доносится запах созревающих тыкв — они уже сами тянутся к ножу, скоро в них прорежут треугольники глаз и глянеть жгучее пламя свечи. А тут, в городе, из труб взвились первые клубы дыма, и где-то приглушенно позвякивает железо — значит, по желобам в погребов уже потекли жесткие черные реки и скоро там в ларях вырастут высокие темные холмы угля.

Но время идет, час уже поздний.

В высокой башне над городом Дуглас протянул руку.

— Всем раздеваться!

Он подождал. Холодный ветер леденил оконное стекло.

— Чистить зубы!

Он еще подождал.

— Теперь, — сказал он наконец, — гасите свет!

И мигнул. И город сонно замигал в ответ: часы на здании суда пробили десять, половину одиннадцатого, одиннадцать и дремотную полночь, и один за другим гасли огни.

— Ну, теперь последние... вон там... и тут...

Он лежал в постели, а вокруг спал город, и овраг лежал темный, и озеро чуть колыхалось в берегах, и повсюду его родные и друзья, старики и молодые спали на этой ли, на другой ли улице, в этом ли, в другом ли доме, или на далеких кладбищах за городом.

Дуглас закрыл глаза.

Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера — все прошло, кончилось, ушло навсегда и осталось только в памяти. Теперь впереди долгая осень, белая зима, прохладная зеленеющая весна, и за это время нужно обдумать минувшее лето и подвести итог. А если он что-нибудь забудет — что ж, в погребе стоит вино из одуванчиков, на каждой бутылке выведено число, и в них — все дни лета, все до единого. Можно почаще спускаться в погреб и глядеть прямо на солнце, пока не заболят глаза, а тогда он их закроет и всмотрится в жгучие пятна, мимолетные шрамы от виденного, которые все еще будут плясать внутри теплых век, и станет расставлять по местам каждое отражение и каждый огонек, пока не вспомнит все до конца...

С этими мыслями он уснул.

И этим сном окончилось лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года.



Часть II

Хроники нашего будущего



И все-таки наш...

Питер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пирамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой и не снилось, что с ними может случиться такое. Они спокойно ждали рождения первенца, много о нем говорили, нормально питались, подолгу спали, изредка бывали в театре, а потом пришло время Полли лететь вертолетом в клинику; муж обнял ее и поцеловал.

— Через шесть часов ты уже будешь дома, детка, — сказал он. — Спасибо, эти новые родильные машины хоть отцов не отменили, а так они сделают за тебя все, что надо.

Она вспомнила старую-престарую песенку: «Нет, уж этого вам у меня не отнять» — и тихонько напела ее, и, когда вертолет взмыл над зеленой равниной, направляясь в город, оба они смеялись.

Врач по имени Уолкот был исполнен спокойствия и уверенности. Полли-Энн, будущую мать, приготовили к тому, что ей предстояло, а отца, как полагается, отправили в приемную — здесь можно было курить сигарету за сигаретой или смешивать себе коктейли, для чего под рукой имелся миксер. Питер чувствовал себя недурно. Это их первый ребенок, но волноваться нечего. Полли-Энн в хороших руках.

Через час в приемную вышел доктор Уолкот. Он был бледен как смерть. Питер Хорн оцепенел с третьим коктейлем в руке. Стиснул стакан и прошептал:

— Она умерла?

— Нет, — негромко сказал Уолкот. — Нет-нет, она жива и здорова. Но вот ребенок...

— Значит, ребенок мертвый.

— И ребенок жив, но... допивайте коктейль и пойдете. Кое-что произошло.

Да, несомненно, кое-что произошло. Нечто такое, из-за чего переполошилась вся клиника. Люди высыпали в коридоры, сновали из палаты в палату. Пока Питер Хорн шел за доктором, ему стало совсем худо; там и сям, сойдясь тесным кружком, стояли сестры и санитарки в белых халатах, тарасили друг на друга глаза и шептались:

— Нет, вы видели? Ребенок Питера Хорна! Невероятно!

Врач привел его в очень чистую небольшую комнату. Вокруг низкого стола толпились люди. На столе что-то лежало.

Голубая пирамидка.

— Зачем вы привели меня сюда? — спросил Хорн.

Голубая пирамидка шевельнулась. И заплакала.

Питер Хорн протиснулся сквозь толпу и в ужасе посмотрел на стол. Он побелел и задыхался.

— Неужели... это и есть?..

Доктор Уилкот кивнул.

У голубой пирамидки было шесть гибких голубых отростков и на выдвинутых вперед стерженьках моргали три глаза.

Хорн оцепенел.

— Оно весит семь фунтов и восемь унций, — сказал кто-то.

«Меня разыгрывают, — подумал Хорн. — Это такая шутка. И все это затеял, конечно, Чарли Расколл. Вот сейчас он заглянет в дверь, крикнет: “С первым апреля!” — и все засмеются. Не может быть, что это мой ребенок. Какой ужас! Нет, меня разыгрывают».

Ноги Хорна пристыли к полу, по лицу струился пот.

— Уведите меня отсюда.

Он отвернулся; сам того не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, веки его вздрагивали.

Уолкот взял его за локоть и спокойно заговорил:

— Это ваш ребенок. Поймите же, мистер Хорн.

— Нет-нет, невозможно. — Такое не умещалось у него в голове. — Это какое-то чудовище. Его надо уничтожить.

— Мы не убийцы, нельзя уничтожить человека.

— Человека? — Хорн смигнул слезы. — Это не человек! Это святотатство!

— Мы осмотрели этого... ребенка и установили, что он не мутант, не результат разрушения генов или их перестановки, — быстро заговорил доктор. — Ребенок и не уродец. И он совершенно здоров. Прошу вас, выслушайте меня внимательно.

Широко раскрытыми измученными глазами Хорн уставился в стену. Его шатало. Доктор продолжал сдержанно, уверенно:

— На ребенка своеобразно подействовало давление во время родов. Что-то разладилось сразу в обеих новых машинах — родильной и гипнотической, произошло короткое замыкание, и от этого исказились пространственные измерения. Ну, короче говоря, — неловко закончил доктор, — ваш ребенок родился в... в другое измерение.

Хорн даже не кивнул. Он стоял и ждал.

— Ваш ребенок жив-здоров и отлично себя чувствует, — со всей силой убеждения сказал доктор Уолкот. — Вот он лежит на столе. Но он не похож на человека, потому что родился в другое измерение. Наши глаза, привыкшие воспринимать все в трех измерениях, отказываются видеть в нем ребенка. Но все равно он ребенок. Несмотря на такое странное обличье, на пирамидальную форму и щупальца, это и есть ваш ребенок.

Хорн сжал губы и зажмурился.

— Можно мне чего-нибудь выпить?

— Конечно.

Ему сунули в руки стакан.

— Дайте я сяду, посижу минутку.

Он устало опустился в кресло. Постепенно все начало проясняться. Все медленно становилось на место. Что бы там ни было, это его ребенок. Хорн содрогнулся. Пусть с виду страшилище, но это его первенец.

Наконец он поднял голову; хоть бы лицо доктора не расплывалось перед глазами...

— А что мы скажем Полли? — спросил он еле слышно.

— Придумаем что-нибудь утром, как только вы соберетесь с силами.

— А что будет дальше? Можно как-нибудь вернуть его... в прежний вид?

— Мы постараемся. Конечно, если вы разрешите. В конце концов, он ваш. Вы вправе поступить с ним как пожелаете.

— С ним? — Хорн горько усмехнулся, закрыл глаза. — А откуда вы знаете, что это «он»?

Его засасывала тьма. В ушах шумело.

Доктор Уолкот явно смутился.

— Видите ли... то есть... ну конечно, мы не можем сказать наверняка...

Хорн еще отхлебнул из стакана.

— А если вам не удастся вернуть его обратно?

— Я понимаю, какой это удар для вас, мистер Хорн. Что ж, если вам нестерпимо его видеть, мы охотно вырастим ребенка здесь, в институте.

Хорн подумал.

— Спасибо. Но, какой он ни есть, он наш — мой и Полли. Он останется у нас. Я буду растить его, как растил бы любого ребенка. У него будет дом, семья. Я постараюсь его полюбить. И обращаться с ним буду как положено.

Губы Хорна одеревенели, мысли не слушались.

— Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн? Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей, ему не с кем будет играть — ведь его в два счета задразнят до смерти. Вы же знаете, что такое дети. Если вы решите воспитывать ребенка дома, всю его жизнь придется строго ограничить, никто не должен его видеть. Это вы понимаете?

— Да. Это я понимаю. Доктор... доктор, а умственно он в порядке?

— Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный здоровый младенец.

— Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно — Полли.

Доктор нахмурился:

— Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжело женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это... сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное и на человека-то непохожее. Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться губительным. И все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь.

Хорн отстранил стакан.

— Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка, я бы это пережил. Но я не допущу, чтобы эта история убила Полли.

— Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше измерение. Это и заставляет меня колебаться. Считай я, что надежды нет, я бы сейчас же удостоверил, что необходимо его умертвить. Но, думаю, не все потеряно, надо попытаться.

Хорн безмерно устал. Все внутри дрожало.

— Ладно, доктор. А пока что ему нужна еда, молоко и любовь. Ему худо пришлось, так пускай хоть дальше будет все по справедливости. Когда мы скажем Полли?

— Завтра днем, когда она проснется.

Хорн встал, подошел к столу, на который сверху лился теплый мягкий свет. Протянул руку — и голубая пирамидка приподнялась.

— Привет, малыш, — сказал Хорн.

Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулось крохотное голубое щупальце и коснулось пальцев Хорна.

Он вздрогнул.

— Привет, малыш!

Доктор поднес поближе бутылочку — соску:

— Вот и молоко. А ну-ка, попробуем!

Малыш поднял глаза, туман рассеивался. Над малышом склонялись какие-то фигуры, и он понял, что это друзья. Он только что родился, но был уже смысленный, на диво смысленный. Он воспринимал окружающий мир.

Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольные отростки, и у всех по три глаза. И еще два куба приближались по прозрачной плоскости. Один совсем белый. И у него тоже три глаза. Что-то в этом Белом кубе нравилось малышу. Что-то привлекало. И пахло от этого Белого куба чем-то родным.

Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие высокие звуки. Наверно, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт-пикколо.

Теперь свистели два только что подошедших куба — Белый и Серый. Потом Белый куб вытянул один из своих шестиугольных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно шупальце. Малышу нравился Белый куб. Да, нравился. Малыш проголодался, Белый куб ему нравится. Может, Белый куб его накормит...

Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накормят. Хорошо. Хорошо. Малыш с жадностью принялся за еду.

Хорошо, вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись, остался только приятный Белый куб, он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал. Все посвистывал.

Назавтра они сказали Полли. Не все. Только самое необходимое. Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немного неладно. Говорили медленно, кругами, которые все тесней смыкались вокруг Полли. Потом доктор Уолкот прочел длинную лекцию о родильных машинах — как они облегчают женщине родовые муки, но вот на этот раз произошло короткое замыкание. Другой ученый муж сжато и сухо рассказал о разных измерениях, перечел их по пальцам, весьма наглядно: первое, второе, третье и четвертое! Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один — о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса.

Наконец Полли села на кровати и сказала:

— К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком и почему все вы так много говорите?

И доктор Уолкот сказал ей правду.

— Конечно, через недельку вы сможете его увидеть, — прибавил он. — Или, если хотите, передайте его на попечение нашего института.

— Мне надо знать только одно, — сказала Полли.

Доктор Уолкот вопросительно поднял брови.

— Это я виновата, что он такой?

— Никакой вашей вины тут нет.

— Он не выродок, не чудовище? — допытывалась Полли.

— Он только выброшен в другое измерение. Во всем остальном совершенно нормальный младенец.

Полли уже не стискивала зубы, складки в углах губ разгладились. Она сказала просто:

— Тогда принесите мне моего малыша. Я хочу его видеть.

Пожалуйста. Прямо сейчас.

Ей принесли «ребенка».

Назавтра они покинули клинику. Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей.

Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом. И вертолет, жужжа, взмыл в теплую высь.

— Ты просто чудо, — сказал Питер.

— Вот как? — отозвалась она, закуривая сигарету.

— Еще бы. Даже не заплакала. Держалась молодцом.

— Право, он вовсе не так уж плох, когда узнаешь его поближе, — сказала Полли. — Я... я даже могу взять его на руки. Он теплый и плачет, и ему надо менять пеленки, хоть они и триугольные. — Она засмеялась. Но в этом смехе Питер расслышал дрожащую болезненную нотку. — Нет, я не заплакала, Пит, ведь это мой ребенок. Или будет моим. Слава Богу, он не родился мертвый. Он... не знаю, как тебе объяснить... он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Уолкоту. А ты?

— Да-да. Ты права. — Питер взял ее за руку. — Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина.

— Я смогу держаться, — сказала Полли, глядя прямо перед собой и не замечая проносящихся под ними зеленых просторов. — Пока я верю, что впереди ждет что-то хорошее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя.

— Полли!

Она взглянула на мужа так, будто увидела впервые.

— Прости меня, Пит. Но ведь так не бывает, просто не бывает. Когда все кончится и малыш родится по-настоящему, я тут же обо всем забуду, точно ничего и не было. Но если

доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не вынести, рассудка только и хватит — приказать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз.

— Все уладится, — сказал Питер, сжимая руками штурвал. — Непременно уладится.

Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.

Прошло три недели. Каждый день они летали в институт навестить Пая. Такое спокойное, скромное имя дала Полли Хорн голубой пирамидке, которая лежала на теплом спальном столе и смотрела на них из-под длинных ресниц. Доктор Уолкот не забывал повторять родителям, что ребенок ведет себя как все младенцы: столько-то часов спит, столько-то бодрствует, временами спокоен, а временами нет, в точности как всякий младенец, и так же ест, и так же пачкает пеленки. Полли слушала все это, и лицо ее смягчалось, глаза теплели.

В конце третьей недели доктор Уолкот сказал:

— Может быть, вы уже в силах взять его домой? Ведь вы живете за городом, так? Отлично. У вас есть внутренний дворик, малыш может иногда погулять на солнышке. Ему нужна материнская любовь. Истина избитая, но с нею не поспоришь. Его надо кормить грудью. Конечно, мы договорились — там, где его кормит новая специальная машина, для него нашли и ласковый голос, и теплые руки, и прочее. — Доктор Уолкот говорил сухо, отрывисто. — Но, мне кажется, вы уже достаточно с ним свыклись и понимаете, что это вполне здоровый ребенок. Вы готовы к этому, миссис Хорн?

— Да, я готова.

— Отлично. Привозите его каждые три дня на осмотр. Вот вам его режим и все предписания. Мы исследуем сейчас несколько возможностей, миссис Хорн. К концу года мы надеемся чего-то достичь. Не могу сейчас обещать определенно, но у меня есть основания полагать, что мы вытащим этого мальчугана из четвертого измерения, как фокусник кролика из шляпы.

К немалому изумлению и удовольствию доктора, в ответ на эту речь Полли Хорн тут же его поцеловала.

Питер Хорн вел вертолет домой над волнистыми зелеными лугами Гриффита. Временами он поглядывал на пирамидку, лежавшую в руках у Полли. Полли ласково над ней ворковала, пирамидка отвечала примерно тем же.

— Хотела бы я знать... — начала Полли.

— Что?

— Какими он видит нас?

— Я спрашивал Уолкота. Он говорит, наверно, мы тоже кажемся малышу странными. Он в одном измерении, мы — в другом.

— Ты думаешь, он не видит нас людьми?

— Если глядеть на это нашими глазами — нет. Но не забудь, он ничего не знает о людях. Для него мы в любом облике такие, как надо. Он привык видеть нас в форме кубов, квадратов или пирамид, какими мы ему там представляемся из его измерения. У него не было другого опыта, ему не с чем сравнивать. Мы для него самые обыкновенные. А он нас поражает потому, что мы сравниваем его с привычными для нас формами и размерами.

— Да, понимаю. Понимаю.

Малыш ощущал движение. Один Белый куб держал его в теплых отростках. Другой Белый куб сидел поодаль; все они были в фиолетовом эллипсоиде. Эллипсоид двигался по воздуху над просторной светлой равниной, сплошь усеянной пирамидками, шестигранниками, цилиндрами, колоннами, шарами и многоцветными кубами.

Один Белый куб что-то просвистел. Другой ответил свистом. Тот Белый куб, что держал малыша, слегка покачивался. Малыш глядел на Белые кубы, на мир, проносящийся за стенками вытянутого летучего пузыря.

И ему стало как-то сонно. Он закрыл глаза, прислонился поуютней к Белому кубу и тоненько, чуть слышно загудел.

— Он уснул, — сказала Полли Хорн.

Настало лето, у Питера Хорна в экспортно-импортной конторе хлопот было по горло. Но все вечера он неизменно проводил дома. Дни с малышом давались Полли без труда, но, если приходилось оставаться с ним одной до ночи, она слишком много курила, а однажды поздним вечером Питер застал ее на кушетке без чувств, и рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. С тех пор по ночам он сам вставал к малышу. Плакал малыш как-то странно, то ли свистел, то ли шипел жалобно, будто испуганный зверек, затерявшийся в джунглях. Дети так не плачут.

Питер сделал в детской звуконепроницаемые стены.

— Это чтоб ваша жена не слыхала, как плачет маленький? — спросил рабочий, который ему помогал.

— Да, чтоб она не слыхала, — ответил Питер Хорн.

Они почти никого у себя не принимали. Боялись — вдруг кто-нибудь наткнется на Пая, маленького Пая, на милую, любимую пирамидку.

— Что это? — спросил раз вечером один гость, отрываясь от коктейля, и прислушался. — Какая-то пичужка голос подает? Вы никогда не говорили, что держите птиц в клетках, Питер.

— Да-да, — ответил Питер, закрывая дверь в детскую. — Выпейте еще. Давайте все выпьем.

Было так, словно они завели собаку или кошку. По крайней мере, так на это смотрела Полли. Питер Хорн незаметно наблюдал за женой, подмечал, как она говорит о маленьком Пае, как ласкает его. Она всегда рассказывала, что Пай делал и как себя вел, но словно бы с осторожностью, а порой окинет взглядом комнату, проведет ладонью по лбу, по щеке, стиснет руки — и лицо у нее станет испуганное, потерянное, как будто она давно и тщетно кого-то ждет.

В сентябре Полли с гордостью сказала мужу:

— Он умеет говорить «папа». Да-да, умеет. Ну-ка, Пай, скажи: папа.

И она подняла повыше теплую голубую пирамидку.

— Фьюи-и! — просвистела теплая голубая пирамидка.

— Еще разок! — сказала Полли.

— Фьюи-и! — просвистела пирамидка.

— Ради Бога, перестань! — сказал Питер Хорн. Взял у Полли ребенка и отнес в детскую, и там пирамидка свистела опять и опять, повторяя по-своему: папа, папа, папа. Хорн вышел в столовую и налил себе чистого виски. Полли тихонько смеялась.

— Правда, потрясающе? — сказала она. — Даже голос у него в четвертом измерении. Вот будет мило, когда он научится говорить! Мы дадим ему выучить монолог Гамлета, и он станет читать наизусть, и это прозвучит как отрывок из Джойса. Повезло нам, правда? Дай мне выпить.

— Ты уже пила, хватит.

— Ну спасибо, я себе и сама налью, — ответила Полли.

Так она и сделала.

Прошел октябрь, наступил ноябрь. Пай теперь учился говорить. Он свистел и пищал, а когда был голоден, звенел, как бубенчик. Доктор Уолкот навещал Хорнов.

— Если малыш весь ярко-голубой, значит, здоров, — сказал он однажды. — Если же голубизна тускнеет, выцветает, значит, ребенок чувствует себя плохо. Запомните это.

— Да-да, я запомню, — сказала Полли. — Яркий, как яйцо дрозда, — здоров, тусклый, как кобальт, — болен.

— Знаете что, моя милая, — сказал Уолкот, — примите-ка парочку вот этих таблеток, а завтра придете ко мне, побеседу-

ем. Не нравится мне, как вы разговариваете. Покажите-ка язык! Гм... вы что, пьете? И пальцы все в желтых пятнах. Курить надо вдвое меньше. Ну, до завтра.

— Вы не очень-то мне помогаете,— возразила Полли.— Прошел уже почти целый год.

— Дорогая миссис Хорн, не могу же я держать вас в непрерывном напряжении. Как только наша механика будет готова, мы тотчас вам сообщим. Мы работаем не покладая рук. Скоро проведем испытание. А теперь примите таблетки и прикусите язычок.— Доктор потрепал Пая по «подбородку».— Отличный здоровый младенец, право слово! И весит никак не меньше двадцати фунтов.

Малыш подмечал каждый шаг этих двух славных Белых кубов, которые всегда с ним, когда он не спит. Есть еще один куб — Серый, тот появляется не каждый день. Но главное в его жизни — два Белых куба, они его любят и заботятся о нем. Малыш поднял глаза на Белый куб, тот, что с округленными гранями, потеплей и помягче, — и, очень довольный, тихонько зашебетал. Белый куб кормит его. Малыш доволен. Он растет. Все привычно и хорошо.

Настал новый, 1989 год.

В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завивая вихрями теплый воздух Калифорнии.

Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым образом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего «ребенка». Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой, просвечивал ли он ее рентгеновскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан. Барьер был непробиваем. Хорн потихоньку снова стал пить.

Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет — и ахнул: на лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял, некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные.

Во дворе гуляла Полли с «ребенком».

Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальце голубой пирамидки, она водила Пая взад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, когда он бегом бросился к ней.

Один из соседей обернулся:

— Какая славная у вас зверушка, мистер Хорн! Где вы ее откопали?

Еще кто-то крикнул:

— Видно, вы порядком постранствовали, Хорн! Это откуда же, из Южной Африки?

Полли подхватила пирамидку на руки.

— Скажи «папа»! — закричала она, неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа.

— Фьюи! — засвистела пирамидка.

— Полли! — позвал Питер.

— Он ласковый, как щенок или котенок, — говорила Полли, ведя пирамидку по двору. — Нет-нет, не бойтесь, он совсем не опасен. Он ласковый, прямо как ребенок. Мой муж привез его из Афганистана.

Соседи начали расходиться.

— Куда же вы? — Полли замахала им рукой. — Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик?

Питер ударил ее по лицу.

— Мой малютка... — повторила Полли срывающимся голосом.

Питер опять и опять бил ее по щекам, и наконец она умолкла, у нее подкосились ноги. Он поднял ее и унес в дом. Потом вышел, увел Пая, сел и позвонил в институт.

— Доктор Уолкот, говорит Хорн. Извольте подготовить вашу механику. Сегодня или никогда.

Короткая заминка. Потом Уолкот сказал со вздохом:

— Ладно. Привозите жену и ребенка. Попробуем управиться.

Оба дали отбой.

Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку.

— Все соседи от него в восторге, — сказала Полли.

Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали...

В вестибюле института их обдало безупречной, стерильной чистотой. Доктор Уолкот шагал по коридору, за ним — Питер Хорн и Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола, над каждым свисал большой черный колпак.

Позади столов выстроились незнакомые аппараты, счету не было циферблатам и рукояткам. Слышалось еле уловимое гудение. Питер Хорн поглядел на жену.

Уолкот подал ей стакан с какой-то жидкостью.

— Выпейте, — сказал он.

Полли повиновалась.

— Вот так. Садитесь.

Хорны сели. Доктор сцепил руки, пальцы в пальцы, и минуту-другую молча смотрел на обоих.

— Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы, — сказал он. — Я пытался вытащить малыша из того измерения, куда он попал, — четвертого, пятого или шестого, сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда

на осмотр, мы бились над этой задачей. И в известном смысле она решена, но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы покуда не можем.

Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора — что-то он еще скажет? Уолкот наклонился к ним:

— Я не могу извлечь оттуда Пая, но я могу переправить вас обоих туда. Вот так-то. — И он развел руками.

Хорн посмотрел на машину в углу:

— То есть вы можете послать нас в измерение Пая?

— Если вы непременно этого хотите.

Полли не отозвалась. Она молча держала Пая на коленях и не сводила с него глаз.

Доктор Уолкот стал объяснять:

— Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздействий. Но вернуть ребенка в наше измерение — это уже совсем другое дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое ввергло его в чужое пространство, было случайностью, но, по счастью, мы заметили и проследили его, у нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда — таких данных у нас нет. Приходится действовать наугад. Поэтому гораздо легче переправить вас в четвертое измерение, чем вернуть Пая в наше.

— Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он на самом деле? — просто и серьезно спросила Полли.

Уолкот кивнул.

— Тогда я хочу туда, — сказала Полли.

— Подожди, — вмешался Питер. — Мы пробыли здесь только пять минут, а ты уже перечеркиваешь всю свою жизнь.

— Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку.

— Доктор Уолкот, а как будет там, по ту сторону?

— Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как прежде, — тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите.

— А может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды? И вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой?

— Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать?

— Нет.

— Ну так вот. Перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что приобретаете. И ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек, а у Пая, когда он смотрит на нас из своего измерения, этого преимущества нет. Прибыв «туда», вы сможете увидеть доктора Уолкота, как пожелаете, — и геометрической фигурой, и человеком. Наверно, на этом вы заделаетесь заправскими философами. Но тут есть еще одно...

— Что же?

— Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш — треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником. Сами вы — массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас.

— Мы окажемся выродками?

— Да. Но не почувствуете себя выродками. Только придется жить замкнуто и уединенно.

— До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих?

— Вот именно. Может пройти и десять лет, и двадцать. Я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все. Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, оно разовьется. Но, понятно, решайте сами.

Питер Хорн посмотрел на жену, она ответила прямым, серьезным взглядом.

— Мы идем, — сказал Питер.

— В измерение Пая? — переспросил Уолкот.

— В измерение Пая.

Они поднялись.

— Мы не утратим никаких способностей, доктор, вы уверены? Поймете ли вы нас, когда мы станем с вами говорить? Ведь Пая понять невозможно.

— Пай говорит так потому, что так звучит для него наша речь, когда она проникает в его измерение. И он повторяет то, что слышит. А вы, оказавшись там, будете говорить со мной превосходным человеческим языком, потому что вы это умеете. Измерения не отменяют чувств и способностей, времени и знаний.

— А что будет с Паем? Когда мы попадем в его измерение, мы прямо у него на глазах обратимся в людей? Вдруг это будет для него слишком сильным потрясением? Не опасно это?

— Он еще совсем кроха. Его представления о мире не вполне сложились. Конечно, он будет поражен, но от вас будет пахнуть по-прежнему, и голоса останутся прежними, хорошо

знакомыми, и вы будете все такими же ласковыми и любящими, а это главное. Нет, вы с ним прекрасно поймете друг друга.

Хорн медленно почесал в затылке.

— Да, не самый простой и короткий путь к цели...— Он вздохнул.— Вот был бы у нас еще ребенок, тогда про этого можно бы и забыть...

— Но ведь речь именно о нем. Смею думать, вашей жене нужен только этот малыш, и никакой другой, правда, Полли?

— Этот, только этот,— сказала Полли.

Уолкот многозначительно посмотрел на Хорна. И Питер понял. Этот ребенок — не то Полли потеряна. Этот ребенок — не то Полли до конца жизни просидит где-то в тишине, в четырех стенах, уставясь в пространство невидящими глазами.

Все вместе они направились к машине.

— Что ж, если она это выдержит, так выдержу и я,— сказал Хорн и взял жену за руку.— Столько лет я работал в полную силу, не худо и отдохнуть, примем для разнообразия абстрактную форму.

— По совести, я вам завидую,— сказал Уолкот, нажимая какие-то кнопки на большой непонятной машине.— И еще вам скажу, вот поживете там — и, пожалуй, напишете такой философский трактат, что Дьюи, Бергсон, Гегель и прочие лопнули бы от зависти. Может, и я как-нибудь соберусь к вам в гости.

— Милости просим. Что нам понадобится для путешествия?

— Ничего. Просто ложитесь на стол и лежите смирно.

Комната наполнилась гуденьем. Это звучали мощь, энергия и тепло.

Полли и Питер Хорн лежали на сдвинутых вплотную столах, взявшись за руки. Их накрыло двойным черным колпаком. И они очутились в темноте. Откуда-то донесся бой часов — далеко в глубине здания металлический голосок прозвенел: «Тик-ки, так-ки, ровно семь, пусть известно будет всем...» — и постепенно замер.

Низкое гуденье звучало все громче. Машина дышала затаенной, пружинно-сжатой нарастающей мощью.

— Это опасно? — крикнул Питер Хорн.

— Нисколько!

Мощь прорвалась воплем. Кажется, все атомы в комнате разделились на два чуждых, враждебных лагеря. И борются — чья возьмет. Хорн раскрыл рот — закричать бы... Всего его сотрясали ужасающие электрические разряды, перекраивали по неведомым граням и диагоналям. Он чувствовал — тело раздирает какая-то сила, тянет, засасывает, властно чего-то требует. Жадная, неотступная, напористая, она распирает комна-

ту. Черный колпак над ним растягивался, все плоскости и линии дико, непостижимо исказились. Пот струился по лицу — нет, не пот, а соки, выжатые из него тисками враждующих измерений. Казалось, руки и ноги что-то выворачивает, раскидывает, колет и вот зажало. И весь он тает, плавится как воск.

Негромко шелкнуло.

Мысль Хорна работала стремительно, но спокойно. Как будет потом, когда мы с Полли и Паем окажемся дома и придут друзья посидеть и выпить? Как все это будет?

И вдруг он понял, как оно будет, и разом ощутил благоговейный трепет, и безоглядное доверие, и всю надежность времени. Они по-прежнему будут жить в своем белом доме, на том же тихом зеленом холме, только вокруг поднимется высокая ограда, чтобы не докучали любопытные. И доктор Уолкот будет их навещать — поставит свою букашку во дворе и поднимется на крыльцо, а в дверях его встретит стройный Белый четырехгранник с коктейлем в змееподобной руке.

А в кресле в глубине комнаты солидный Белый цилиндр будет читать Ницше и покуривать трубку. И тут же будет бегать Пай. И завяжется беседа, придут еще друзья, Белый цилиндр и Белый четырехгранник будут смеяться, и шутить, и угощать всех крохотными сэндвичами и вином, и вечер пройдет славно, весело и непринужденно.

Вот так это будет.

Щелк!

Гудень прекратилось.

С Хорна сняли колпак.

Все кончилось.

Они уже в другом измерении.

Он услышал, как вскрикнула Полли. Было очень светло. Хорн соскользнул со стола и остановился, озираясь. По комнате бежала Полли. Наклонилась, подхватила что-то на руки...

Вот он, сын Питера Хорна. Живой, розовощекий, голубоглазый мальчуган лежит в объятиях матери, растерянно озирается и захлебывается плачем.

Пирамидки словно не бывало. Полли плакала от счастья.

Весь дрожа, но силясь улыбнуться, Питер Хорн пошел к ним — обнять наконец и Полли, и малыша разом и заплакать вместе с ними.

— Ну вот,— стоя поодаль, промолвил Уолкот. Он долго стоял не шевелясь. Стоял и неотрывно смотрел в другой конец комнаты, на Белый цилиндр и стройный Белый четырехгранник с Голубой пирамидкой в объятиях. Дверь отворилась, вошел ассистент.

— Шш-ш! — Уолкот приложил палец к губам. — Им надо побыть одним. Пойдемте.

Он взял ассистента за локоть и на цыпочках двинулся к выходу. Дверь затворилась за ними, а Белый четырехгранник и Белый цилиндр даже не оглянулись.

Урочный час

Ох и весело будет! Вот это игра! Сто лет такого не было!

Детишки с криком носятся взад и вперед по лужайкам, то схватятся за руки, то бегают кругами, влезают на деревья, хохочут. В небе пролетают ракеты, по улицам скользят проворные машины, но детвора поглощена игрой. Такая потеха, такой восторг, столько визга и суеты!

Мышка вбежала в дом, чумазая и вся в поту. Для семи лет она горластая и крепкая, и на редкость твердый характер. Миссис Моррис оглянуться не успела, а дочь уже с грохотом выдвигает ящики и сыплет в мешок кастрюльки и разную утварь.

— О Господи, Мышка, что это творится?

— Мы играем! Очень интересно! — запыхавшись, вся красная, отозвалась Мышка.

— Посиди минутку, передохни, — посоветовала мать.

— Не, я не устала. Мам, можно я все это возьму?

— Только не продырявь кастрюли, — сказала миссис Моррис.

— Спасибо, спасибо! — закричала Мышка и ракетой метнулась прочь.

— А что у вас за игра? — крикнула мать ей вслед.

— Вторжение! — на бегу бросила Мышка.

Хлопнула дверь.

По всей улице дети ташили из дому ножи, вилки, консервные ножи, а то и кочергу или кусок старой трубы!

Любопытно, что волнение и суматоха охватили только младших. Старшие, начиная лет с десяти, смотрели на все это свысока и уходили гулять подальше или с достоинством играли в прятки и с мелюзгой не связывались.

Тем временем отцы и матери разъезжали в сверкающих хромированных машинах. В дома приходили мастера — починить вакуумный лифт, наладить подмигивающий телевизор или задуривший продуктопровод. Взрослые мимоходом поглядывали

на озабоченное молодое поколение, завидовали неумной энергии разыгравшихся малышей, снисходительно улыбались их буйным забавам и сами, пожалуй, не прочь бы позабавиться с детишками, да только солидному человеку такое не пристало...

— Эту, эту и еще эту, — командовала Мышка, и ребята выкладывали перед ней разнокалиберные ложки, штопоры и отвертки. — Это давай сюда, а это туда. Не так! Вот неумеха! Так. Теперь не мешайся, я приделаю эту штуку, — она прикусила кончик языка и озабоченно наморщила лоб. — Вот так. Понятно?

— Ага-а! — завопили ребята.

Подбежал двенадцатилетний Джозеф Коннорс.

— Уходи! — без обиняков заявила Мышка.

— Я хочу с вами играть, — сказал Джозеф.

— Нельзя! — отрезала она.

— Почему?

— Ты будешь дразниться.

— Честное слово, не буду.

— Нет уж. Знаем мы тебя. Уходи, а то поколотим.

Подкатил на мотороликах еще один двенадцатилетний.

— Эй, Джо! Брось ты эту мелюзгу. Пошли!

Джозефу явно не хотелось уходить, он повторил не без грусти:

— А я хочу с вами.

— Ты старый, — возразила Мышка.

— Не такой уж я старый, — рассудительно сказал Джо.

— Только будешь смеяться и испортишь все вторжение.

Мальчик на мотороликах громко, презрительно фыркнул:

— Пошли, Джо! Ну их! Все еще в сказки играют!

Джозеф поплелся прочь. И пока не завернул за угол, все оглядывался.

А Мышка опять захлопотала. При помощи своего разномастного инструмента она сооружала непонятный аппарат. Сунула другой девочке тетрадку и карандаш, и та под ее диктовку прилежно выводила какие-то каракули. Жарко грело солнце, голоса девочек то звенели, то затихали.

А вокруг гудел город. Вдоль улиц мирно зеленели деревья. Только ветер не признавал тишины и покоя и все метался по городу, по полям, по всей стране. В тысяче других городов были такие же деревья, и дети, и улицы, и деловые люди в тихих солидных кабинетах что-то говорили в диктофон или следили за экранами телевизоров. Синее небо серебряными иглами прошивали ракеты. Везде и во всем ощущалось спокойное довольство и уверенность, люди привыкли к миру и не со-

мневались: их больше не ждет никакая беда. Ведь на всей земле люди дружны и едины. Все народы в равной мере владеют надежным оружием. Давно уже достигнуто идеальное равновесие сил. Человечество больше не знает ни предателей, ни несчастных, ни недовольных, а потому не тревожится о завтрашнем дне. И сейчас полмира купается в солнечных лучах, и дремлет, пригревшись, листва деревьев.

Миссис Моррис выглянула из окна второго этажа.

Дети. Она поглядела на них и покачала головой. Что же, они с аппетитом поужинают, сладко уснут и в понедельник пойдут в школу. Крепкие, здоровые, и слава Богу. Она прислушалась.

Подле розового куста Мышка что-то озабоченно говорит... а кому? Там никого нет.

Странный народ дети. Другая кроха — как бишь ее? Да, Энн — она усердно выводит каракули в тетрадке. Мышка что-то спрашивает у розового куста, а потом диктует подружке ответ.

— Треугольник, — говорит Мышка.

— А что это тре...гольник? — с запинкой спрашивает Энн.

— Неважно, — отвечает Мышка.

— А как оно пишется?

— Тэ...рэ...е... — начинает объяснять Мышка, но у нее не хватает терпения. — А, да пиши как хочешь! — и диктует дальше: — Перекладина.

— Я еще не дописала тре...гольник.

— Скорей, копуха! — кричит Мышка.

Мать высовывается из окна.

— ...у-голь-ник, — диктует она растерявшейся Энн.

— Ой, спасибо, миссис Моррис! — говорит Энн.

— Вот это правильное слово, — смеется миссис Моррис и возвращается к своим заботам: надо включить электромагнитную щетку, чтоб вытянуло пыль в прихожей.

А в знойном воздухе колышутся детские голоса.

— Перекладина, — говорит Энн.

Затишье.

— Четыре, девять, семь. А, потом бэ, потом фэ, — деловито диктует издали Мышка. — Потом вилка, и веревочка, и шеста... шесту... шестиугольник!

За обедом Мышка залпом осушила стакан молока и метнулась к двери. Миссис Моррис хлопнула ладонью по столу.

— Сядь сию минуту, — велела она дочери. — Сейчас будет суп.

Она нажала красную кнопку автомата, и через десять секунд в резиновом приемнике мягко стукнуло. Миссис Моррис от-

крыла дверцу, вынула запечатанную банку с двумя алюминиевыми ручками, мигом вскрыла ее и налила горячий суп в чашку.

Мышка ерзала на стуле.

— Скорей, мам! Тут вопрос жизни и смерти, а ты...

— В твои годы я была такая же. Всегда вопрос жизни и смерти. Я знаю.

Мышка торопливо глотала суп.

— Ешь помедленнее, — сказала мать.

— Не могу, меня Бур ждет.

— Кто это Бур? Странное имя.

— Ты его не знаешь, — сказала Мышка.

— Разве в нашем квартале поселился новый мальчик?

— Еще какой новый, — сказала Мышка, принимаясь за вторую порцию.

— Который же это — Бур? Покажи мне его.

— Он там, — уклончиво ответила Мышка. — Ты будешь смеяться. Все только дразнятся да смеются. Фу, пропасть!

— Что же, этот Бур такой застенчивый?

— Да. Нет. Как сказать. Ох, мам, я побегу, а то у нас никакого вторжения не получится.

— А кто куда вторгается?

— Марсиане на Землю. Нет, они не совсем марсиане. Они... ну не знаю. Вон оттуда, — она ткнула ложкой куда-то вверх.

— И отсюда. — Миссис Моррис легонько тронула разгоряченный дочкин лоб.

Мышка возмутилась:

— Смеешься! Ты рада убить и Бура, и всех!

— Нет-нет, я никого не хотела обидеть. Так этот Бур — марсианин?

— Нет. Он... ну не знаю. С Юпитера, что ли, или с Сатурна, или с Венеры. В общем, ему трудно пришлось.

— Могу себе представить! — Мать закрыла рот ладонью, пряча улыбку.

— Они никак не могли придумать, как бы им напасть на Землю.

— Мы неприступны, — с напускной серьезностью подтвердила мать.

— Вот и Бур так говорит. Это самое слово, мам: не...при...

— О-о, какой умный мальчик. Какие взрослые слова знает.

— Ну и вот, мам, они все не могли придумать, как на нас напасть. Бур говорит... он говорит, чтобы хорошо воевать, надо найти новый способ заставить людей врасплох. Тогда непременно победишь. И еще он говорит, надо найти помощников в лагере врага.

— Пятую колонну,— сказала мать.

— Ага. Так Бур говорит. А они все не могли придумать, как заставить Землю врасплах и как найти помощников.

— Неудивительно. Мы ведь очень сильны,— засмеялась мать, убирая со стола.

Мышка сидела и так смотрела на стол, будто видела на нем все, о чем рассказывала.

— А потом в один прекрасный день,— продолжала она театральным шепотом,— они подумали о детях!

— Вот как! — восхитилась миссис Моррис.

— Да, и они подумали: взрослые вечно заняты, они не заглядывают под розовые кусты и не шарят по траве.

— Разве что когда собирают грибы или улиток.

— И потом, он говорил что-то такое про мери-мери.

— Мери-мери?

— Ме-ре-ния.

— Измерения?

— Ага! Их четыре штуки! И еще про детей до девяти лет и про воображение. Он очень занятно разговаривает.

Миссис Моррис устала от дочкиной болтовни.

— Да, наверно, это занятно. Но твой Бур тебя заждался. Уже поздно, а надо еще умыться перед сном. Так что, если хочешь поспеть с вашим вторжением, беги скорей.

— Ну-у, еще мыться! — проворчала Мышка.

— Обязательно! И почему это дети боятся воды? Во все времена все дети не любили мыть уши.

— Бур говорит, мне больше не надо будет мыться,— сказала Мышка.

— Ах вот как?

— Он всем ребятам так сказал. Никакого мытья. И не надо рано ложиться спать, и в субботу можно по телевизору смотреть целых две программы!

— Ну, пускай мистер Бур не болтает лишнего. Вот я пойду поговорю с его матерью и...

Мышка пошла к двери:

— И еще есть такие мальчишки. Пит Бритз и Дейл Джеррик, мы с ними ругаемся. Они уже большие. И они дразнятся. Они еще хуже родителей. Даже не верят в Буря. Воображалы такие, задаются, что уже большие. Могли бы быть поумнее. Сами недавно были маленькие. Я их ненавижу хуже всех. Мы их первым делом убьем.

— А нас с папой после?

— Бур говорит: вы опасные. Знаешь почему? Потому что вы не верите в марсиан! А они позволяют нам править всем ми-

ром. Ну не нам одним, ребятам из соседнего квартала — тоже. Я, наверно, буду королевой.

Она отворила дверь:

— Мам!

— Да?

— Что такое «лог-ги-ка»?

— Логика? Понимаешь, детка, это когда человек умеет разобратся, что верно, а что неверно.

— Бур и про это сказал. А что такое «впе-чат-ли-тель-ный»? — Мышке понадобилась целая минута, чтобы выговорить такое длиннущее слово.

— А это... — мать опустила глаза и тихонько засмеялась. — Это значит ребенок.

— Спасибо за обед! — Мышка выбежала вон, потом на миг снова заглянула в кухню. — Мам, я уж постараюсь, чтоб тебе было не очень больно, правда-правда!

— И на том спасибо, — сказала мать.

Хлопнула дверь.

В четыре часа загудел вызов видеофона. Миссис Моррис нажала кнопку, экран осветился.

— Здравствуй, Элен! — сказала она.

— Здравствуй, Мэри. Как дела в Нью-Йорке?

— Отлично. А в Скрэнтоне? У тебя усталое лицо.

— У тебя тоже. Сама знаешь, дети. Пугаются под ногами.

Миссис Моррис вздохнула:

— Вот и Мышка тоже. У них тут свехвторжение.

Элен рассмеялась:

— У вас тоже малыши в это играют?

— Ох да. А завтра все помешаются на головоломках и на моторизованных «классах». Неужели мы тоже году в сорок восьмом были такие несносные?

— Еще хуже. Играли в японцев и нацистов. Не знаю, как мои родители меня терпели. Ужасным была сорванцом.

— Родители привыкают все пропускать мимо ушей.

Короткое молчание.

— Что случилось, Мэри?

Миссис Моррис прикрыла глаза, медленно, задумчиво провела языком по губам. Вопрос Элен заставил ее вздрогнуть.

— А? Нет, ничего. Просто я как раз об этом и думала. Насчет того, как пропускаешь мимо ушей. Неважно. О чем, бишь, мы говорили?

— Мой Тим прямо влюбился в какого-то мальчишку... его, кажется, зовут Бур.

— Наверно, у них такой новый пароль. Моя Мышка тоже увлеклась этим Буром.

— Вот не думала, что это и до Нью-Йорка докатилось. Видно, друг от дружки слышат и повторяют. Какая-то эпидемия. Я тут разговаривала с Джозефиной, она говорит, ее детишки тоже помешались на новой игре, а она ведь в Бостоне. Всю страну охватило.

В кухню вбежала Мышка выпить воды. Миссис Моррис обернулась:

— Ну, как дела?

— Почти все готово,— ответила Мышка.

— Прекрасно! А это что такое?

— Бумеранг. Смотри!

Это было что-то вроде шарика на пружинке. Мышка бросила шарик, пружинка растянулась до отказа... и шарик исчез.

— Видала? — сказала Мышка.— Хоп! — Она согнула палец крючком, шарик вновь очутился у нее в руке, и она защелкнула пружинку.

— Ну-ка еще раз,— попросила мать.

— Не могу. В пять часов вторжение. Пока! — И Мышка вышла, пощелкивая игрушкой.

С экрана видеофона засмеялась Элен:

— Мой Тим сегодня утром тоже притащил такую штучку, я хотела посмотреть, как она действует, а Тим ни за что не хотел показать, тогда я попробовала сама, но ничего не получилось.

— Ты не впечатлительная,— сказала Мэри Моррис.

— Что?

— Так, ничего. Я подумала о другом. Тебе что-то было нужно, Элен?

— Да, я хотела спросить, как ты делаешь то печенье, черное с белым...

Лениво текло время. Ближился вечер. Солнце опускалось в безоблачном небе. По зеленым лужайкам потянулись длинные тени. А ребячьи крики и смех все не утихали. Одна девочка вдруг с плачем побежала прочь. Миссис Моррис вышла на крыльцо.

— Кто это плакал, Мышка? Не Пегги-Энн?

Мышка что-то делала во дворе, подле розового куста.

— Угу,— ответила она, не разгибаясь.— Пегги-Энн трусиха. Мы с ней больше не водимся. Она уж очень большая. Наверно, она вдруг выросла.

— И поэтому плакала? Чепуха. Отвечай мне как полагается, не то сейчас же пойдешь домой!

Мышка круто обернулась, испуганная и злая:

— Да не могу я сейчас! Скоро уже время. Ты прости, я больше не буду.

— Ты что же, ударила Пегги-Энн?

— Нет, честное слово! Вот спроси ее! Это из-за того, что... ну просто она трусиха, задрожала — хвост поджала.

Кольцо ребятни теснее сдвигалось вокруг Мышки; озабоченно хмурясь, она что-то делала с разнокалиберными ложками и четырехугольным сооружением из труб и молотков.

— Вот сюда и еще сюда, — бормотала она.

— У тебя что-то не ладится? — спросила миссис Моррис.

— Бур застрял. На полдороге. Нам бы только его вытащить, тогда будет легче. За ним и другие пролезут.

— Может, я вам помогу?

— Нет, спасибо. Я сама.

— Ну хорошо. Через полчаса мыться, я тебя позову. Уста-
ла я на вас смотреть.

Миссис Моррис ушла в дом, села в кресло и отпила глоток пива из неполного стакана. Электрическое кресло начало массировать ей спину. Дети, дети... У них и любовь, и ненависть — все перемешано. Сейчас ребенок тебя любит, а через минуту ненавидит. Станный народ дети. Забывают ли они, прощают ли в конце концов шлепки, и подзатыльники, и резкие слова, когда им велишь — делай то, не делай этого? Как знать... А если ничего нельзя ни забыть, ни простить тем, у кого над тобой власть, — большим, непонятливым и непреклонным?

Время шло. За окнами воцарилась странная, напряженная тишина, словно вся улица чего-то ждала.

Пять часов. Где-то в доме тихонько, мелодично запели часы: «Ровно пять, ровно пять, надо время не терять!» — и умолкли.

Урочный час. Час вторжения.

Миссис Моррис засмеялась про себя.

На дорожке зашуршали шины. Приехал муж. Мэри улыбнулась. Мистер Моррис вышел из машины, захлопнул дверцу и окликнул Мышку, все еще поглощенную своей работой. Мышка и ухом не повела. Он засмеялся, постоял минуту, глядя на детей. Потом поднялся на крыльцо.

— Добрый вечер, родная.

— Добрый вечер, Генри.

Она выпрямилась в кресле и прислушалась. Дети молчат, все тихо. Слишком тихо.

Муж выколотил трубку и набил заново.

Ж-ж-жж.

— Что это? — спросил Генри.

— Не знаю.

Она вскочила, поглядела расширенными глазами. Хотела что-то сказать — и не сказала. Смешно. Нервы расходились.

— Дети ничего плохого не натворят? — промолвила она. — Там нет опасных игрушек?

— Да нет, у них только трубы и молотки. А что?

— Никаких электрических приборов?

— Ничего такого, — сказал Генри. — Я смотрел.

Мэри прошла в кухню. Жужжание продолжалось.

— Все-таки ты им лучше скажи, чтоб кончали. Уже шестой час. Скажи им... — Она прищурилась. — Скажи, пускай отложат вторжение на завтра.

Она засмеялась не очень естественным смехом.

Жужжание стало громче.

— Что они там затеяли? Пойду в самом деле погляжу.

Взрыв!

Глухо ухнуло, дом шатнуло. И в других дворах, на других улицах громыгнули взрывы.

У Мэри Моррис вырвался отчаянный вопль.

— Наверху! — бессмысленно закричала она, не думая, не рассуждая.

Быть может, она что-то заметила краем глаза; быть может, ощутила незнакомый запах или уловила незнакомый звук. Невозможно спорить с Генри, убеждать его. Пускай думает, что она сошла с ума. Да, пускай! С воплем она кинулась вверх по лестнице. Не понимая, о чем она, муж бросился следом.

— На чердаке! — кричала она. — Там, там!

Жалкий предлог, но как еще заставишь его скорей подняться на чердак. Скорей, успеть... о Боже!

Во дворе — новый взрыв. И восторженный визг, как будто для ребят устроили невиданный фейерверк.

— Это не на чердаке! — крикнул Генри. — Это во дворе!

— Нет, нет! — задыхаясь, еле живая, она пыталась открыть дверь. — Сейчас увидишь! Скорей! Сейчас увидишь!

Наконец они ввалились на чердак. Мэри захлопнула дверь, повернула ключ в замке, вытащила его и закинула в дальний угол, в кучу всякого хлама. И как в бреду, захлебываясь, стала выкладывать все подряд. Неудержимо. Наружу рвались неосознанные подозрения и страхи, что весь день тайно копились в душе и перебрали в ней, как вино. Все мелкие разоблачения, открытия и догадки, которые тревожили ее с самого утра и которые она так здраво, трезво и рассудительно критиковала и отвергала. Теперь все это взорвалось и потрясло ее.

— Ну вот, ну вот, — всхлипывая, она прислонилась к двери. — Тут мы в безопасности до вечера. Может, потом потихоньку выберемся. Может, нам удастся бежать!

Теперь взорвался Генри, но по другой причине:

— Ты что, рехнулась? Какого черта ты закинула ключ? Знаешь, милая моя!..

— Да, да, пускай рехнулась, если тебе легче так думать, только оставайся здесь!

— Хотел бы я знать, как теперь отсюда выбраться!

— Тише. Они услышат. О Господи, они нас найдут...

Где-то близко — голос Мышки. Генри умолк на полуслове. Все вдруг зажужжало, зашипело, поднялся визг, смех. Внизу упорно, настойчиво гудел сигнал видефона — громкий, тревожный. «Может быть, это Элен меня вызывает, — подумала Мэри. — Может, она хочет мне сказать... то самое, чего я жду?»

В доме раздались шаги. Гулкие, тяжелые.

— Кто там топает? — гневно говорит Генри. — Кто смел вломиться в мой дом?

Тяжелые шаги. Двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят пар ног. Пятьдесят непрошенных гостей в доме. Что-то гудит. Хихикают дети.

— Сюда! — кричит внизу Мышка.

— Кто там? — в ярости гремит Генри. — Кто там ходит?

— Тсс. Ох нет, нет, нет! — умоляет жена, цепляясь за него. — Молчи, молчи. Может быть, они еще уйдут.

— Мам! — зовет Мышка. — Пап!

Молчание.

— Вы где?

Тяжелые шаги, тяжелые, тяжелые, страшно тяжелые. Вверх по лестнице. Это Мышка их ведет.

— Мам? — Неуверенное молчание. — Пап? — Ожидание, тишина.

Гудение. Шаги по лестнице, ведущей на чердак. Впереди всех — легкие, Мышкины.

На чердаке отец и мать молча прижались друг к другу, их бьет дрожь. Электрическое гудение, странный холодный свет, вдруг просквозивший в щели под дверью, незнакомый острый запах, какой-то чужой нетерпеливый голос Мышки — все это, непонятно почему, проняло наконец и Генри Морриса. Он стоит рядом с женой в тишине, во мраке, его трясет.

— Мам! Пап!

Шаги. Новое негромкое гудение. Замок плавится. Дверь настезь. Мышка заглядывает внутрь чердака, за нею маячат огромные синие тени.

— Чур-чур, я нашла! — говорит Мышка.

Сущность

Роби Моррисон был раздражен. Шагая под тропическим солнцем, он слышал шум разбивающихся о берег волн. На острове Выпрямления царила унылая тишина.

Был год 1997-й, но для мальчика это не имело значения.

Затерявшись в глубине сада, десятилетний Роби тихонько бродил по дорожкам. То был Час Размышлений. За садовой стеной, к северу, жили дети с Высоким Коэффициентом Умственного Развития. Там были спальни, где он и другие мальчики спали в особым образом устроенных кроватях. По утрам, словно пробки из бутылок, они выскакивали оттуда, бросались в душевые, потом наспех проглатывали пищу и с помощью пневматической подземки переносились почти через весь остров к зданию Семантической школы. Потом — на Физиологию. После Физиологии — снова в подземку. А затем, через люк в высокой садовой стене, Роби выпускали в сад, где он должен был проводить этот час бесплодных размышлений, предписанных Психологами острова.

У Роби имелось свое мнение на этот счет: «Чертовски глупо».

Сегодня в нем клокотал дух противоречия. Он с завистью смотрел на волны: они были свободны, они приходили и уходили. Глаза его потемнели, щеки пылали, маленькие руки нервно подергивались.

Где-то в саду мягко зазвенел колокольчик. Еще пятнадцать минут размышлений. Уф! А потом в столовую-автомат, чтобы набить желудок, подобно тому как чучельщик набивает чучело птицы.

А после приготовленного по последнему слову науки ленча снова в туннель — на Социологию. Правда, попозже, к концу теплого скучного дня, можно будет поиграть в Главном саду. Но что это за игры! Игры, которые какой-нибудь помешанный Психолог извлек из своих ночных кошмаров. Таково твое будущее! Ты, мой мальчик, должен жить так, как это предсказывали люди прошлого, люди 1920, 1930, 1942 года! Все вокруг тебя должно быть бодрым, оживленным, гигиеничным, чересчур, чересчур бодрым! И никаких нудных старых родственников поблизости. Не то у тебя появятся разные вредные комплексы. Все под контролем, мой милый мальчик!

Казалось бы, Роби находился сегодня в самом подходящем расположении духа для того, чтобы воспринять что-нибудь необыкновенное.

Но это только казалось.

Когда минутой позже с неба упала звезда, он разозлился еще больше.

Это был сфероид. Он трещал и вертелся, пока не замер на теплой зеленой траве. Распахнулась узкая дверца.

Все происходящее напомнило мальчику его сон. Сон, который он, полный презрения и упрямства, не пожелал записать сегодня утром в своем психоаналитическом дневнике. Мысль об этом сне всплыла в его мозгу, как только узкая дверь распахнулась и из нее вышло «нечто».

«Нечто».

Юные глаза, видя предмет впервые, должны как-то освоиться с ним. Роби не знал, что такое «нечто», вышедшее из шара. Поэтому, хмурясь, Роби начал ломать голову, соображая, на что оно было больше всего похоже.

И вдруг «нечто» превратилось во «что-то».

Теплый воздух сделался холодным. Блеснул свет, очертания предмета стали изменяться, таять, и вот «что-то» приняло определенную форму.

Возле металлической звезды, растерянно озираясь, стоял высокий, худой, бледный человек.

У человека были красные, испуганные глаза. Он дрожал.

— А-а, я знаю вас, — разочарованно протянул Роби. — Вы Песочный человек — только и всего.

— Песочный человек?

Незнакомец весь заколыхался, словно облако горячего пара, поднимающееся от расплавленного металла. Дрожащими руками он начал испуганно ощупывать свои длинные рыжие волосы, словно ему никогда еще не приходилось видеть их или трогать. Песочный человек с ужасом смотрел на свои руки, ноги, на все свое тело, как будто оно было для него совершенно ново. Песочный человек? Какое трудное слово! И процесс речи тоже был для него новым. Он, кажется, хотел уже бежать, но что-то удерживало его.

— Да, да, — сказал Роби. — Вы снитесь мне каждую ночь. О, я знаю, о чем вы думаете. Наши учителя говорят, что *симантические* духи, призраки, эльфы и песочные люди — это всего лишь названия и за ними не стоит никакая реальная сущность, никакие реальные предметы — одушевленные или неодушевленные. Но все это чепуха. Мы, мальчишки, знаем на этот счет побольше учителей. То, что вы *здесь*, доказывает, что учителя ошибаются. Стало быть, песочные люди все же существуют?

— О нет, не давай мне названия! — неожиданно вскричал Песочный человек. Теперь он как будто понял, о чем речь. И почему-то был в невыразимом испуге. Он продолжал шипать, дергать и щупать свое длинное тело, словно оно-то и внушало ему ужас. — Не давай мне названия, не давай мне ярлыка.

— Пф-ф! А почему бы это?

— Я — сущность! — возопил Песочный человек. — Я не ярлык! Я именно сущность. Позволь мне уйти!

Маленькие, зеленые, как у кошки, глаза Роби заблестели. Он приложил палец к губам.

— Это мистер Грилл прислал вас сюда? Держу пари, что он! Держу пари, что это какой-то новый психологический тест!

Роби был в бешенстве. Когда же они перестанут следить за каждым его шагом? Они регламентируют его игры, еду, занятия, они отняли у него товарищей, мать, отца, а теперь придумали еще этот трюк.

— Я не от мистера Грилла, — взмолился Песочный человек. — Выслушай меня, пока никто не пришел, не увидел меня здесь и окончательно не испортил все!

Роби топнул ногой.

Задышавшись от волнения, Песочный человек отскочил назад.

— Выслушай меня! — крикнул он. — Я не человек. Это ты человек. Здесь, на Земле, мысль отлила в форму человека вашу плоть — твою и всех вас! Вы все сделаны по одному шаблону. Но не я! Я — *чистейшая сущность*.

— Лжешь! — И Роби снова топнул ногой.

Видимо, совершенно отчаявшись, Песочный человек начал быстро бормотать какие-то непонятные вещи:

— Нет, мальчик, это правда! Мысль отливала твои атомы в твою теперешнюю форму целые столетия. Если бы ты смог преодолеть, разрушить это убеждение, убеждения твоих друзей, учителей и родных, тебе тоже удалось бы изменить форму, стать чистой сущностью! Такой, как Свобода, Независимость, Гуманность или как Время, Пространство и Справедливость.

— Вас подослал Грилл, он вечно мучает меня!

— Нет, нет! Атомы способны видоизменяться. Все вы на Земле затвердили некоторые ярлыки, как, например, Мужчина, Женщина, Ребенок, Голова, Руки, Пальцы, Ноги. «Не-что» превратилось в «что-то».

— Уйдите от меня! — не выдержал Роби. — У меня сегодня тест, мне надо подумать.

Он сел на камень и заткнул уши.

Песочный человек опасно оглянулся, словно ожидая какой-то беды. Стоя возле Роби, он начал дрожать и плакать.

— Земля могла быть совсем иной! — крикнул он. — Мысль, пользуясь ярлыками, долго кружила, приводя в порядок хаотический космос. И теперь все отмахиваются даже от попытки представить себе мир в другой форме.

— Убирайтесь! — с отвращением выдохнул Роби.

— Я приземлился возле тебя, совершенно не подозревая об опасности. Мне было просто любопытно. Когда я нахожусь в своем сферическом межзвездном корабле, чужие мысли не могут изменять мою форму. Я путешествую от мира к миру уже целые века, но еще ни разу не попадался так глупо.

По его лицу текли слезы.

— А вот теперь — о Господи, что за несчастье! — ты дал мне название, ты поймал меня, запер с помощью мысли в тюрьму! С помощью этой нелепой фантазии о Песочном человеке! Чудовищно! Я не могу побороть ее, не могу стать таким, как прежде! А раз я не могу стать таким, как прежде, мне никогда уже не влезть в мой шар. Я слишком велик. Теперь я буду навеки прикован к Земле. Освободи меня!

Песочный человек стонал, плакал, кричал. Роби размышлял. Он спокойно беседовал с самим собой. Чего он хочет больше всего? Убежать с острова? Глупо. Они каждый раз ловили его. Чего же? Может, ему хочется поиграть во что-нибудь? Да, неплохо бы поиграть в обыкновенные, нормальные игры — только без психонаблюдения. Да, да, это было бы здорово! Поиграть бы в «Поддай жестянку» или в «Верти бутылку»... Или просто достать бы резиновый мяч — с ним можно играть одному, бросать его в садовую стену, а потом, когда он отскочит, самому же и ловить. Да, да. Красный мяч.

— Перестань... — крикнул вдруг Песочный человек.

Наступила тишина.

Красный резиновый мяч подпрыгивал на земле. Вверх, вниз, вверх, вниз прыгал красный резиновый мяч.

— Ой! — Роби только сейчас заметил его. — Откуда взялся этот мяч? — Он ударил его о стену, потом поймал. — Вот здорово!

Роби не заметил отсутствия незнакомца, который что-то кричал ему всего несколько секунд назад. Песочный человек исчез.

Вдали, в горячей тишине сада, что-то загрохотало. Это цилиндр мчался по туннелю к круглому люку в стене. Слабо зашипев, дверь распахнулась. Размеренные шаги зашуршали на дорожке, и мистер Грилл появился возле пышного цветника тигровых лилий.

— Привет, Роби! Ой!..— Мистер Грилл остановился, его круглошее розовое лицо выразило испуг и изумление.— Что это тут у тебя, малыш? — крикнул он.

Роби швырнул заинтересовавший Грилла предмет в стену:

— Это? Резиновый мяч.

— Мяч? — Маленькие голубые глазки Грилла сощурились, сделавшись еще меньше. Потом он пришел в себя.— Ну да, конечно. На секунду мне показалось, что он... что я...

Роби еще раз бросил мяч.

Грилл откашлялся.

— Пора идти на ленч. Час размышлений кончился. Я не вполне уверен, что патер Локк одобрит твои игры. Они не предусмотрены нашими правилами.

Роби тихонько чертыхнулся.

— Ну, так и быть! Играй. Я ничего ему не скажу.— Мистер Грилл был настроен великодушно.

— А мне вовсе и не хочется играть.

Роби насупился и залез носком сандалии прямо в грязь. Эти учителя все портят. Вас даже стошнить не может без их разрешения.

Грилл сделал попытку задобрить мальчика:

— Если ты сейчас же пойдешь на ленч, я разрешу тебе потом посмотреть по телевизору на маму.

— Лимит времени — две минуты десять секунд, ни больше ни меньше,— таков был язвительный ответ Роби.

— Вечно ты недоволен, Роби.

— Когда-нибудь я убегу — вот увидите!

— Хватит, малыш. Ты ведь знаешь, что мы опять поймаем тебя и приведем обратно.

— Кажется, я вообще не просил привозить меня сюда.

Глядя на свой новый красный мяч, Роби вдруг закусил губу. Ему показалось, что мяч... ну, что он как будто... да, что он шевельнулся. Чудно! Он взял мяч в руку. Мяч вздрогнул.

Грилл потрепал мальчика по плечу:

— Твоя мать неврастеничка. Вредная среда. Тебе лучше быть здесь, на острове. У тебя высокий коэффициент умственного развития, и ты должен гордиться тем, что живешь здесь, так же как и остальные одаренные дети. Ты неустойчив, мрачен, и мы стараемся изменить это. Со временем ты станешь полной противоположностью твоей матери.

— Я люблю мою маму.

— Ты *привязан* к ней,— спокойно поправил его мистер Грилл.

— Я привязан к маме,— повторил Роби, чем-то встревоженный. Красный мяч дернулся в его руках, хотя он не трогал его. Он взглянул на него с изумлением.

— Тебе же будет хуже, если ты будешь любить ее,— заметил Грилл.

— Вы чертовски глупы,— сказал Роби.

Грилл надулся:

— Не ругайся, Роби. К тому же ты не мог всерьез произнести слово «черт». Оно уже давным-давно вышло из употребления. Учебник семантики, раздел седьмой, страница четверста восемнадцатая. Ярлыки и сущность.

— Вспомнил! — крикнул Роби, озираясь по сторонам.— Здесь только что был Песочный человек, и он сказал, что...

— Пошли! — сказал мистер Грилл.— Пора на ленч.

Тарелки с едой выскочили из автоматов на пружинных подставках. Роби молча взял овальную тарелку и шаровидный сосуд с молоком. Красный резиновый мяч пульсировал и бился, как сердце, в том месте, где он его спрятал,— под рубашкой. Прозвучал гонг. Роби торопливо проглотил еду. Начался беспорядочный бег к туннелю. Словно перышки, дети были переброшены через весь остров на Социологию, а потом, в середине дня, опять на площадку для игр. Часы уходили.

Роби ускользнул в глубину сада, чтобы побыть одному. Ненависть к этому притупляющему, раз навсегда установленному распорядку, к учителям и сверстникам-ученикам бушевала в нем каким-то очистительным потоком. Он сидел один и думал о своей матери, которая была так далеко. Он вспоминал до мельчайших подробностей ее лицо, ее запах, ее голос и то, как она обнимала, и гладила, и целовала его. Он опустил голову на руки, и вскоре они стали влажными от его слез.

Он уронил свой красный резиновый мяч. Нечаянно. Он думал только о матери. Густые заросли всколыхнулись. Что-то двигалось в их дебрях быстро-быстро.

Какая-то женщина бежала в высокой траве. Она убежала от Роби, но вдруг поскользнулась, громко вскрикнула и упала.

Что-то блеснуло в лучах солнца. Женщина бежала по направлению к этому серебристому блестящему предмету. Сфероид. Серебряный звездный корабль! Но откуда же появилась она? И почему бежала к шару? Почему упала, когда он, Роби, взглянул на нее? Кажется, она была не в силах подняться. Роби вскочил со своего камня и помчался к ней. Он поравнялся с женщиной и остановился.

— Мама! — вскричал он.

Ее лицо дрогнуло, и черты его стали меняться подобно тающему снегу. Потом на нем появилось выражение жестокости, оно сделалось четким и красивым.

— Я не мать тебе,— сказала она.

Он не слышал ее слов. Он слышал лишь собственное учащенное дыхание, вырывавшееся из дрожащих губ. Он был так слаб от пережитого потрясения, что едва стоял на ногах. Он протянул к ней руки.

— Неужели ты не понимаешь? — Лицо ее было холодно.— Я не мать тебе. Не называй меня так. Зачем мне название? Пусти меня обратно к моему кораблю. Я убью тебя, если не пустишь!

Роби пошатнулся.

— Мама, разве ты не узнаешь меня? Ведь я — Роби, твой сын! — Ему хотелось только одного — поплакать возле нее, рассказать ей о долгих месяцах тюрьмы.— О, пожалуйста, вспомни меня!

Ее пальцы схватили его за горло.

Она душила его.

Он попытался вскрикнуть. Но этот крик был пойман, загнан обратно в его легкие, готовые разорваться. У него подкосились ноги.

И вдруг, вглядываясь в ее холодное, злое, жестокое лицо, Роби нашел ответ — нашел ответ, хотя ее пальцы все крепче сжимали его горло и в глазах у него было уже почти совсем темно.

В ее лице он увидел черты Песочного человека.

Песочный человек! Звезда, упавшая с летнего неба, Серебряный шар — корабль, к которому бежала эта «женщина». Исчезновение Песочного человека, появление красного мяча, исчезновение красного мяча, а сейчас появление матери. Все это имело какую-то связь.

Матрицы. Стереотипы. Навыки мышления. Шаблоны. Материя. История Человека, его тело, все, что происходит во вселенной.

Сейчас она убьет его.

Ей нужно, чтобы он перестал думать,— тогда она будет свободна.

Мысли. Мрак. Теперь он уже почти не мог пошевелиться. Он был очень-очень слаб. Сначала ему показалось, что «она» — его мать. Он ошибся. И сейчас «она» убьет его. А что, если он все-таки будет думать и придумает еще что-нибудь? Попробуйся, Роби. Ну же, попробуйся! Он весь напрягся. Во мраке и хаосе его мысли работали упорно-упорно.

С диким воплем его «мать» начала уменьшаться, сжиматься. Он напряг последние силы.

Ее пальцы выпустили его горло. Яркое лицо сморщилось. Тело съежилось, осело.

Он был свободен. Тяжело дыша, он встал на ноги. Вдалеке, сквозь заросли, он увидел серебристый сфероид, лежащий в лучах солнца. Пошатываясь, он направился к нему и вдруг вскрикнул, потрясенный внезапно возникшим у него в голове планом.

Он торжествующе рассмеялся. И еще раз посмотрел туда, где только что было «оно». Что осталось от женщины, которая у него на глазах изменила свою форму, словно расплавленный воск? Он превратил ее во что-то другое, новое.

Садовая стена вздрогнула — цилиндр подземки с шипением поднимался по туннелю. Это приближался мистер Грилл. Роби должен поторопиться, не то его план рухнет.

Роби подбежал к сфероиду, заглянул внутрь. Управление простое. И вполне достаточно места для его маленькой фигурки. Только бы осуществился его план. Он *должен* осуществиться. Он осуществится.

Весь сад задрожал от грохота приближавшегося цилиндра. Роби расхохотался. К черту мистера Грилла! К черту этот остров!

Он протиснулся в сфероид. Здесь было много такого, чему он мог научиться. Это придет не сразу. Пока он еще совсем новичок в этой науке, но и то немногое, что он уже успел узнать, спасло ему жизнь, а сейчас поможет сделать еще нечто.

Чей-то голос раздался за его спиной. Знакомый голос. До того знакомый, что Роби содрогнулся. Шаги маленьких детских ног зашуршали в кустарнике. Маленькие ноги, маленькая фигурка. Тихий умоляющий голосок.

Роби схватился за рычаги управления. Это побег! Он совершится, и никто ничего не заподозрит. Просто. Изумительно. Грилл никогда не узнает.

Дверца шара захлопнулась. Вперед!

Корабль с Роби на борту поднялся в летнее небо.

Мистер Грилл вышел из люка в садовой стене. Он оглянулся, ища Роби. Горячий свет брызнул ему в лицо, когда он торопливо зашагал по дорожке.

Вот он! Роби был здесь, перед ним. Маленький Роби Моррисон стоял, глядя в небо, сжимая кулаки и что-то крича в пустоту. Во всяком случае, Грилл видел там только пустоту.

— Хелло, Роби! — окликнул его Грилл.

При звуке его голоса мальчик судорожно дернулся. Он весь колыхался. Цвет, плотность, качество — все мгновенно ме-

нялось. Грилл прищурился, решив, что все это только померещилось ему от солнца.

— Я не Роби! — крикнул мальчик. — Роби сбежал! Он оставил меня вместо себя, чтобы одурачить вас и чтобы вы не погнались за ним! Он одурачил и меня! — крикнул ребенок с сердитым рыданием. — Нет, нет, не смотрите на меня так! Не думайте, что я Роби, от этого мне станет еще хуже. Вы ожидали, что застанете его, а нашли меня и превратили меня в Роби! Вы отлили меня в его форму, и теперь я уже никогда, никогда не смогу измениться. О Боже!

— Ну, пойдем же, Роби.

— Роби никогда не вернется. Я всегда буду им. Я был резиновым мячом, женщиной, Песочным человеком. Но, поверьте мне, я — атом, способный видоизменяться, и ничего больше. Отпустите меня!

Грилл медленно отступал. Он криво улыбался.

— Я — сущность. Я не ярлык! — крикнул мальчик.

— Да, да, конечно. Ну а теперь, Роби, подожди меня минуточку здесь, вот здесь... Я сейчас, я сейчас, я сейчас созвонюся с психоклиникой.

Через несколько минут целый отряд санитаров бежал по саду.

— Будьте вы все прокляты! — вскричал мальчик, сопротивляясь. — Убирайтесь к дьяволу!

— Тише! — спокойно возразил Грилл, помогая остальным запереть ребенка в цилиндр подземки. — Сейчас ты употребил ярлык, который не имеет под собой никакой сущности!

Цилиндр умчал их в туннель.

Серебристая звезда еще мерцала в летнем небе, но вскоре исчезла.

Вельд

— Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату.

— А что с ней?

— Не знаю.

— Так в чем же дело?

— Ни в чем, просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел, или пригласи психиатра, пусть он посмотрит.

— При чем здесь психиатр?

— Ты отлично знаешь при чем.— Стоя посреди кухни, она глядела на плиту, которая, деловито жужжа, сама готовила ужин на четверых.— Понимаешь, детская изменилась, она совсем не такая, как прежде.

— Ладно, давай посмотрим.

Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома типа «Все для счастья», который стал им в тридцать тысяч долларов (с полной обстановкой),— дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им. Когда до детской оставалось пять шагов, что-то щелкнуло, и в ней зажегся свет. И в коридоре, пока они шли, один за другим плавно автоматически загорались и гасли светильники.

— Ну,— сказал Джордж Хедли.

Они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. Сто сорок четыре квадратных метра, высота — десять метров; она одна стоила пятнадцать тысяч. «Дети должны получать все самое лучшее»,— заявил тогда Джордж.

Тишина. Пусто, как на лесной прогалине в знойный полдень. Гладкие двухмерные стены. Но на глазах у Джорджа и Лидии Хедли они, мягко жужжа, стали таять, словно уходя в прозрачную даль, и появился африканский вельд — трехмерный, в красках, как настоящий, вплоть до мельчайшего камешка и травинки. Потолок над ними превратился в далекое небо с жарким желтым солнцем.

Джордж Хедли ощутил, как на лбу у него проступает пот.

— Лучше уйдем от солнца,— предложил он,— уж больно естественное. И вообще, я ничего такого не вижу, все как будто в порядке.

— Подожди минуточку, сейчас увидишь,— сказала жена.

В этот миг скрытые одорофоны, вступив в действие, направили волну запахов на двоих людей, стоящих среди опаленного солнцем вельда. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоема, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскаленном воздухе облачком красного перца. А вот и звуки: далекий топот антилопых копыт по упругому дерну, шуршащая поступь крадущихся хищников.

В небе проплыл силуэт, по обращенному вверх потному лицу Джорджа Хедли скользнула тень.

— Мерзкие твари,— услышал он голос жены.

— Стервятники...

— Смотри-ка, львы, вон там, вдали, вон, вон! Пошли на водопой. Видишь, они там что-то ели.

— Какое-нибудь животное.— Джордж Хедли защитил воспаленные глаза ладонью от спящего солнца.— Зебру... или жирафенка...

— Ты уверен? — Ее голос звучал как-то странно.

— Теперь-то уверенным быть нельзя, поздно, — шутливо ответил он. — Я вижу только обглоданные кости да стервятников, которые подбирают ошметки.

— Ты не слышал крика? — спросила она.

— Нет.

— Так с минуту назад?

— Ничего не слышал.

Львы медленно приближались. И Джордж Хедли — в который раз — восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату. Чудо совершенства — за абсурдно низкую цену. Всем бы домовладельцам такие! Конечно, иногда они отталкивают своей клинической продуманностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство, но чаще всего служат источником забавы не только для вашего сына или дочери, но и для вас самих, когда вы захотите развлечься короткой прогулкой в другую страну, сменить обстановку. Как сейчас, например!

Вот они, львы, в пятнадцати футах, такие правдоподобные — да-да, такие до ужаса, до безумия правдоподобные, что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет жесткий синтетический мех, а от запаха разгоряченных шкур у тебя во рту вкус пыльной обивки, их желтизна отсвечивает в твоих глазах желтизной французского гобелена... Желтый цвет львиной шкуры и жухлой травы, шумное львиное дыхание в тихий полуденный час, запах мяса из открытых, влажных от слюны пастей.

Львы остановились, глядя жуткими желто-зелеными глазами на Джорджа и Лидию Хедли.

— Берегись! — вскричала Лидия.

Львы ринулись на них.

Лидия стремглав бросилась к двери, Джордж произвольно побежал следом. И вот они в коридоре, дверь захлопнута, он смеется, она плачет, и каждый озадачен реакцией другого.

— Джордж!

— Лидия! Моя бедная, дорогая, милая Лидия!

— Они чуть не схватили нас!

— Стены, Лидия, светящиеся стены, только и всего, не забывай. Конечно, я не спорю, они выглядят очень правдоподобно — Африка в вашей гостиной! — но все это лишь повышенного воздействия цветной объемный фильм и психозапись, проецируемые на стеклянный экран, одорофоны и стереозвук. Вот, возьми мой платок.

— Мне страшно. — Она подошла и всем телом прильнула к нему, тихо плача. — Ты видел? Ты почувствовал? Это чересчур правдоподобно.

- Послушай, Лидия...
- Скажи Венди и Питеру, чтобы они больше не читали про Африку.
- Конечно... конечно.— Он погладил ее волосы.
- Обещаешь?
- Разумеется.
- И запри детскую комнату на несколько дней, пока я не справлюсь с нервами.
- Ты ведь знаешь, как трудно с Питером. Месяц назад я наказал его, запер детскую комнату на несколько часов — что было! Да и Венди тоже... Детская для них — все.
- Ее нужно запереть, и никаких поблажек.
- Ладно.— Он неохотно запер тяжелую дверь.— Ты переутомилась, тебе нужно отдохнуть.
- Не знаю... Не знаю.— Она высморкалась и села в кресло, которое тотчас тихо закачалось.— Возможно, у меня слишком мало дела... Возможно, остается слишком много времени для размышлений. Почему бы нам на несколько дней не запереть весь дом, не уехать куда-нибудь?
- Ты хочешь сказать, что готова сама жарить мне яичницу?
- Да.— Она кивнула.
- И штопать мои носки?
- Да.— Порывистый кивок; глаза полны слез.
- И заниматься уборкой?
- Да, да... Конечно!
- А я-то думал, мы для того и купили этот дом, чтобы ничего не делать самим.
- Вот именно. Я здесь вроде ни к чему. Дом — и жена, и мама, и горничная. Разве я могу состязаться с африканским вельдом? Разве могу искупать и отмыть детей так быстро и чисто, как это делает автоматическая ванна? Не могу. И не во мне одна дело, а и в тебе тоже. В последнее время ты стал ужасно нервным.
- Наверно, слишком много курю.
- У тебя такой вид, словно и ты не знаешь, куда себя деть в этом доме. Куришь немного больше обычного каждое утро, выпиваешь немного больше обычного по вечерам и принимаешь на ночь снотворного чуть больше обычного. Ты тоже начинаешь чувствовать себя ненужным.
- Я?..— Он помолчал, пытаясь заглянуть в собственную душу и понять, что там происходит.
- О Джорджи! — Она взглядела мимо него на дверь детской комнаты.— Эти львы... Они ведь не могут выйти оттуда?

Он тоже посмотрел на дверь — она вздрогнула, словно от удара изнутри.

— Разумеется, нет,— ответил он.

Они ужинали одни. Венди и Питер отправились на специальный стереокарнавал в другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернутся поздно, не надо их ждать. Озабоченный Джордж Хедли смотрел, как стол-автомат исторгает из своих механических недр горячие блюда.

— Мы забыли кетчуп,— сказал он.

— Простите,— произнес тонкий голосок внутри стола, и появился кетчуп.

«Детская...— подумал Джордж Хедли.— Что ж, детям и впрямь не вредно некоторое время пожить без нее. Во всем нужна мера. А они, это совершенно ясно, слишком уж увлекаются Африкой». Это солнце... Он до сих пор чувствовал на шее его лучи — словно прикосновение горячей лапы. А эти львы. И запах крови. Удивительно, как точно детская улавливает телепатическую эманацию психики детей и воплощает любое их пожелание. Стоит им подумать о львах — пожалуйста, вот они. Представят себе зебр — вот зебры. И солнце. И жирафы. И смерть.

Вот именно. Он механически жевал пищу, которую ему приготовил стол. Мысли о смерти. Венди и Питер слишком молоды для таких мыслей. А впрочем, разве дело в возрасте? Задолго до того, как ты понял, что такое смерть, ты уже желаешь смерти кому-нибудь. В два года ты стреляешь в людей из пугача...

Но это... Жаркий безбрежный африканский вельд... Ужасная смерть в когтях льва... Снова и снова смерть.

— Ты куда?

Он не ответил ей. Поглощенный своими мыслями, он шел, провожаемый волной света, к детской. Он приложил ухо к двери. Откуда-то донесся львиный рык.

Он отпер дверь и распахнул ее. В тот же миг его слуха коснулся далекий крик. Снова рычание львов... Тишина.

Он вошел в Африку. Сколько раз за последний год он, открыв дверь, встречал Алису в Стране чудес, или фальшивую черепаху, или Аладдина с его волшебной лампой, или Джека Тыквенную Голову из страны Оз, или доктора Дулитла, или корову, которая прыгала через луну, очень похожую на настоящую, — всех этих чудесных обитателей воображаемого мира. Сколько раз видел он летящего в небе Пегаса или розовые фонтаны фейерверка или слышал ангельское пение. А те-

перь перед ним желтая раскаленная Африка, огромная печь, которая пышет убийством. Может быть, Лидия права. Может, и впрямь надо на время расстаться с фантазией, которая стала чересчур реальной для десятилетних детей. Разумеется, очень полезно упражнять воображение человека, но если пылкая детская фантазия чрезмерно увлекается каким-то одним мотивом?.. Кажется, весь последний месяц он слышал львиный рык, чувствовал даже у себя в кабинете резкий запах хищников, да по занятости не обращал внимания...

Джордж Хедли стоял один в степях Африки. Львы, оторвавшись от своей трапезы, смотрели на него. Полная иллюзия настоящих зверей — если бы не открытая дверь, через которую он видел в дальнем конце темного коридора, будто портрет в рамке, рассеянно ужиनावшую жену.

— Уходите, — сказал он львам. Они не послушались.

Он отлично знал устройство комнаты. Достаточно послать мысленный приказ, и он будет исполнен.

— Пусть появится Аладдин с его лампой, — рявкнул он.

По-прежнему вельд, и все те же львы...

— Ну, комната, действуй! Мне нужен Аладдин.

Никакого впечатления. Львы что-то грызли, трясая косматыми гривами.

— Аладдин!

Он вернулся в столовую.

— Проклятая комната, — сказал он, — поломалась. Не слушается.

— Или...

— Или что?

— Или *не может* послушаться, — ответила Лидия. — Потому что дети уже столько дней думают про Африку, львов и убийства, что комната застряла на одной комбинации.

— Возможно.

— Или же Питер заставил ее застрять.

— *Заставил?*

— Открыл механизм и что-нибудь подстроил.

— Питер не разбирается в механизме.

— Для десятилетнего парня он совсем не глуп. Коэффициент его интеллекта...

— И все-таки...

— Хелло, мам! Хелло, пап!

Супруги Хедли обернулись. Венди и Питер вошли в прихожую: щеки — мятный леденец, глаза — ярко-голубые шарики, от джемперов так и веет озоном, в котором они купались, летя на вертолете.

— Вы как раз успели к ужину, — сказали родители вместе.
— Мы наелись земляничного мороженого и сосисок, — ответили дети, отмахиваясь руками. — Но мы посидим с вами за столом.

— Вот-вот, подойдите-ка сюда, расскажите про детскую, — позвал их Джордж Хедли.

Брат и сестра удивленно посмотрели на него, потом друг на друга.

— Детскую?

— Про Африку и все прочее, — продолжал отец с наигранным добродушием.

— Не понимаю, — сказал Питер.

— Ваша мать и я только что совершили путешествие по Африке: Том Свифт и его Электрический Лев, — усмехнулся Джордж Хедли.

— Никакой Африки в детской нет, — невинным голосом возразил Питер.

— Брось, Питер, мы-то знаем.

— Я не помню никакой Африки. — Питер повернулся к Венди. — А ты?

— Нет.

— А ну, сбегай проверь и скажи нам.

Она повиновалась брату.

— Венди, вернись! — позвал Джордж Хедли, но она уже ушла. Свет провожал ее, словно рой светлячков. Он слишком поздно сообразил, что забыл запереть детскую.

— Венди посмотрит и расскажет нам, — сказал Питер.

— Что мне рассказывать, когда я сам видел.

— Я уверен, отец, ты ошибся.

— Я не ошибся. Пойдем-ка.

Но Венди уже вернулась.

— Никакой Африки нет, — доложила она, запыхавшись.

— Сейчас проверим, — ответил Джордж Хедли.

Они все вместе пошли по коридору и отворили дверь в детскую.

Чудесный зеленый лес, чудесная река, пурпурная гора, ласкающее слух пение, а в листве — очаровательная таинственная Рима, на длинных распущенных волосах которой, словно ожившие цветы, трепетали многоцветные бабочки. Ни африканского вельды, ни львов. Только Рима, поющая так восхитительно, что невольно на глазах выступают слезы.

Джордж Хедли внимательно осмотрел новую картину.

— Ступайте спать, — велел он детям.

Они открыли рты.

— Вы слышали?

Они отправились в пневматический отсек и взлетели, словно сухие листья, вверх по шахте в свои спальни.

Джордж Хедли пересек звенящую птичьими голосами полянку и что-то подобрал в углу, поблизости от того места, где стояли львы. Потом медленно возвратился к жене.

— Что это у тебя в руке?

— Мой старый бумажник, — ответил он и протянул его ей.

От бумажника пахло жухлой травой и львами. На нем были капли слюны, и следы зубов, и с обеих сторон пятна крови.

Он затворил дверь детской и надежно ее запер.

В полночь Джордж все еще не спал, и он знал, что жена тоже не спит.

— Так ты думаешь, Венди ее переключила? — спросила она наконец в темноте.

— Конечно.

— Превратила вельд в лес и на место львов вызвала Риму?

— Да.

— Но зачем?

— Не знаю. Но пока я не выясню, комната будет заперта.

— Как туда попал твой бумажник?

— Не знаю, — ответил он, — ничего не знаю, только одно: я уже жалею, что мы купили детям эту комнату. И без того они нервные, а тут еще такая комната...

— Ее назначение в том и состоит, чтобы помочь им избавиться от своих неврозов.

— Ой, так ли это... — Он посмотрел на потолок.

— Мы давали детям все, что они просили. А в награду что получаем — непослушание, секреты от родителей...

— Кто это сказал: «Дети — ковер, иногда на них надо наступать»... Мы ни разу не поднимали на них руку. Скажем честно — они стали несносны. Уходят и приходят, когда им вздумается, с нами обращаются так, словно мы — их отпрыски. Мы их портим, они нас.

— Они переменялись с тех самых пор — помнишь, месяца два-три назад? — когда ты запретил им лететь на ракете в Нью-Йорк.

— Я им объяснил, что они еще малы для такого путешествия.

— Объяснил, а я вижу, как они с того дня стали хуже к нам относиться.

— Я вот что сделаю: завтра приглашу Девида Макклина и попрошу взглянуть на эту Африку.

— Но ведь Африки нет, теперь там сказочная страна и Рима.

— Сдается мне, к тому времени снова будет Африка.

Мгновением позже он услышал крики.

Один... другой... Двое кричали внизу. Затем — рычание львов.

— Венди и Питер не спят,— сказала ему жена.

Он слушал с колотящимся сердцем.

— Да,— отозвался он.— Они проникли в детскую комнату.

— Эти крики... они мне что-то напоминают.

— В самом деле?

— Да, мне страшно.

И как ни трудились кровати, они еще целый час не могли укачать супругов Хедли. В ночном воздухе пахло кошками.

— Отец,— сказал Питер.

— Да?

Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на отца, да и на мать тоже.

— Ты что же, навсегда запер детскую?

— Это зависит...

— От чего? — резко спросил Питер.

— От тебя и твоей сестры. Если вы не будете чересчур увлекаться этой Африкой, станете ее чередовать... скажем, со Швецией, или Данией, или Китаем...

— Я думал, мы можем играть во что хотим.

— Безусловно, в пределах разумного.

— А чем плоха Африка, отец?

— Так ты все-таки признаешь, что вызывал Африку!

— Я не хочу, чтобы запирали детскую,— холодно произнес Питер.— Никогда.

— Так позволь сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом. Попробуем жить по золотому принципу: «Каждый делает все сам».

— Ужасно! Значит, я должен сам шнуровать ботинки, без автоматического шнуровальщика? Сам чистить зубы, причесываться, мыться?

— Тебе не кажется, что это будет даже приятно для разнообразия?

— Это будет отвратительно. Мне было совсем неприятно, когда ты убрал автоматического художника.

— Мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, сынок.

— Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять! Других стоящих занятий нет.

— Хорошо, ступай играй в Африке.

— Так вы решили скоро выключить наш дом?

— Мы об этом подумывали.

- Советую тебе подумать еще раз, отец.
- Но-но, сынок, без угроз!
- Отлично.— И Питер отправился в детскую.

— Я не опоздал? — спросил Девид Макклин.

— Завтрак? — предложил Джордж Хедли.

— Спасибо, я уже. Ну, так в чем дело?

— Девид, ты разбираешься в психике?

— Как будто.

— Так вот, проверь, пожалуйста, нашу детскую. Год назад ты в нее заходил — тогда ты заметил что-нибудь особенное?

— Вроде нет. Обычные проявления агрессии, тут и там налет паранойи, присущей детям, которые считают, что родители их постоянно преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьезного.

Они вышли в коридор.

— Я запер детскую, — объяснил отец семейства, — а ночью дети все равно проникли в нее. Я не стал вмешиваться, чтобы ты мог посмотреть на их затеи.

Из детской доносились ужасные крики.

— Вот-вот, — сказал Джордж Хедли. — Интересно, что ты скажешь?

Они вошли без стука.

Крики смолкли, львы что-то пожирали.

— Ну-ка, дети, ступайте в сад, — распорядился Джордж Хедли. — Нет-нет, не меняйте ничего, оставьте стены как есть. Марш!

Оставшись вдвоем, мужчины внимательно посмотрели на львов, которые сгрудились поодаль, жадно уничтожая свою добычу.

— Хотел бы я знать, что это, — сказал Джордж Хедли. — Иногда мне кажется, что я вижу... Как думаешь, если прине-сти сильный бинокль...

Девид Макклин сухо усмехнулся.

— Вряд ли...

Он повернулся, разглядывая одну за другой все четыре стены.

— Давно это продолжается?

— Чуть больше месяца.

— Да, ощущение неприятное...

— Мне нужны факты, а не чувства.

— Дружище Джордж, найди мне психиатра, который наблюдал бы хоть один факт. Он слышит то, что ему сообщают об ощущениях, то есть нечто весьма неопределенное. Итак, я повторяю: это производит гнетущее впечатление. Положись на мой инстинкт и мое предчувствие. Я всегда чувствую, когда

называет беда. Тут кроется что-то очень скверное. Советую вам совсем выключить эту проклятую комнату и минимум год ежедневно приводить ко мне ваших детей на процедуры.

— Неужели до этого дошло?

— Боюсь, да. Первоначально эти детские были задуманы, в частности, для того, чтобы мы, врачи, без обследования могли по картинам на стенах изучать психологию ребенка и исправлять ее. Но в данном случае детская, вместо того чтобы избавлять от разрушительных наклонностей, поощряет их!

— Ты это и раньше чувствовал?

— Я чувствовал только, что вы больше других балуете своих детей. А теперь закрутили гайку. Что произошло?

— Я не пустил их в Нью-Йорк.

— Еще?

— Убрал из дома несколько автоматов, а месяц назад пригрозил запереть детскую, если они не будут делать уроков. И действительно запер на несколько дней, чтобы знали, что я не шучу.

— Ага!

— Тебе это что-нибудь говорит?

— Все. На место рождественского деда пришел букв. Дети предпочитают рождественского деда. Ребенок не может жить без привязанностей. Вы с женой позволили этой комнате, этому дому занять ваше место в их сердцах. Детская комната стала для них матерью и отцом, оказалась в их жизни куда важнее подлинных родителей. Теперь вы хотите ее запереть. Не удивительно, что здесь появилась ненависть. Вот — даже небо излучает ее. И солнце. Джордж, вам надо переменить образ жизни. Как и для многих других — слишком многих — для вас главным стал комфорт. Да если завтра на кухне что-нибудь поломается, вы же с голоду помрете. Не сумеете сами яйца разбить! И все-таки советую выключить все. Начните новую жизнь. На это понадобится время. Ничего, за год мы из дурных детей сделаем хороших, вот увидишь.

— А не будет ли это слишком резким шоком для ребят — вдруг запереть навсегда детскую?

— Я не хочу, чтобы зашло еще дальше, понимаешь?

Львы кончили свой кровавый пир. Львы стояли на опушке, глядя на обоих мужчин.

— Теперь я чувствую себя преследуемым, — произнес Мак-Клин. — Уйдем. Никогда не любил эти проклятые комнаты. Они мне действуют на нервы.

— А львы — совсем как настоящие, верно? — сказал Джордж Хедли. — Ты не допускаешь возможности...

— Что?!

— ...что они могут стать настоящими?
— По-моему, нет.
— Какой-нибудь порок в конструкции, переключение в схеме или еще что-нибудь?..

— Нет.

Они пошли к двери.

— Мне кажется, комнате не захочется, чтобы ее выключали,— сказал Джордж Хедли.

— Никому не хочется умирать, даже комнате.

— Интересно: она ненавидит меня за мое решение?

— Здесь все пропитано паранойей,— ответил Дэвид Маклин.— До осязаемости. Эй! — Он нагнулся и поднял окровавленный шарф.— Твой?

— Нет.— Лицо Джорджа окаменело.— Это Лидии.

Они вместе пошли к распределительному щитку и повернули выключатель, убивающий детскую комнату.

Дети были в истерике. Они кричали, прыгали, швыряли вещи. Они вопили, рыдали, бранились, металась по комнатам.

— Вы не смеете так поступать с детской комнатой, не смеете!

— Угмонитесь, дети.

Они в слезах бросились на диван.

— Джордж,— сказала Лидия Хедли,— включи детскую на несколько минут. Нельзя так вдруг.

— Нет.

— Это слишком жестоко.

— Лидия, комната выключена и останется выключенной. И вообще, пора кончать с этим проклятым домом. Чем больше я смотрю на все это безобразие, тем мне противнее. И так мы чересчур долго созерцали свой механический электронный пуп. Видит Бог, нам необходимо сменить обстановку!

И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты, отопление, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, полотенца, массажистов и все прочие автоматы, которые попадались под руку.

Казалось, дом полон мертвецов. Будто они очутились на кладбище механизмов. Тишина. Смолкло жужжание скрытой энергии машин, готовых вступить в действие при первом же нажатии на кнопки.

— Не позволяй им это делать! — завопил Питер, подняв лицо к потолку, словно обращаясь к дому, к детской комнате.— Не позволяй отцу убивать все.— Он повернулся к отцу.— До чего же я тебя ненавижу!

— Оскорблениями ты ничего не достигнешь.

— Хоть бы ты умер!

— Мы долго были мертвыми. Теперь начнем жить по-настоящему. Мы привыкли быть предметом забот всевозможных автоматов — отныне мы будем жить.

Венди по-прежнему плакала. Питер опять присоединился к ней.

— Ну, еще немножечко, на минуточку, только на минуточку! — кричали они.

— Джордж, — сказала ему жена, — это им не повредит.

— Ладно, ладно, пусть только замолчат. На одну минуту, учтите, потом выключу совсем.

— Папочка, папочка, папочка! — запели дети, улыбаясь сквозь слезы.

— А потом — каникулы. Через полчаса вернется Девид Макклин, он поможет нам собраться и проводит на аэродром. Я пошел одеваться. Включи детскую на одну минуту, Лидия, слышишь — не больше одной минуты.

Дети вместе с матерью, весело болтая, поспешили в детскую, а Джордж, взлетев наверх по воздушной шахте, стал одеваться. Через минуту появилась Лидия.

— Я буду рада, когда мы покинем этот дом, — вздохнула она.

— Ты оставила их в детской?

— Мне тоже надо одеться. О, эта ужасная Африка. И что они в ней видят?

— Ничего, через пять минут мы будем на пути в Айову. Господи, какая сила загнала нас в этот дом?.. Что нас побудило купить этот кошмар!

— Гордыня, деньги, глупость.

— Пожалуй, лучше спуститься, пока ребята опять не увлеклись своим чертовым зверинцем.

В этот самый миг они услышали голоса обоих детей.

— Папа, мама, скорей, сюда, скорей!

Они спустились по шахте вниз и ринулись бегом по коридору. Детей нигде не было видно.

— Венди! Питер!

Они ворвались в детскую. В пустынном вельде — никого, ни души, если не считать львов, глядящих на них.

— Питер! Венди!

Дверь захлопнулась.

Джордж и Лидия Хедли метнулись к выходу.

— Откройте дверь! — закричал Джордж Хедли, дергая ручку. — Зачем вы ее заперли? Питер! — Он заколотил в дверь кулаками. — Открой!

За дверью послышался голос Питера:

— Не позволяй им выключать детскую комнату и весь дом.

Мистер и миссис Джордж Хедли стучали в дверь.

— Что за глупые шутки, дети! Нам пора ехать. Сейчас придет мистер Макклин и...

И тут они услышали...

Львы с трех сторон в желтой траве вельда, шуршание сухих стеблей под их лапами, рокот в их глотках.

Львы.

Мистер Хедли посмотрел на жену, потом они вместе повернулись лицом к хищникам, которые медленно, припадая к земле, подбирались к ним.

Мистер и миссис Хедли закричали.

И вдруг они поняли, почему крики, которые они слышали раньше, казались им такими знакомыми.

— Вот и я, — сказал Девид Макклин, стоя на пороге детской комнаты. — О, привет!

Он удивленно воззрился на двоих детей, которые сидели на поляне, уписывая ленч. Позади них был водоем и желтый вельд; над головами — жаркое солнце. У него выступил пот на лбу.

— А где отец и мать?

Дети обернулись к нему с улыбкой.

— Они сейчас придут.

— Хорошо, уже пора ехать.

Мистер Макклин заметил вдали львов — они из-за чего-то дрались между собой, потом успокоились и легли с добычей в тени деревьев.

Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательнее.

Львы кончили есть и один за другим пошли на водопой.

Какая-то тень скользнула по разгоряченному лицу мистера Макклина. Много теней. С ослепительного неба спускались стервятники.

— Чашечку чаю? — прозвучал в тишине голос Венди.

Мусорщик

Вот как складывался его рабочий день.

Он вставал затемно, в пять утра, и умывался теплой водой, если кипятильник действовал, а то и холодной. Он тщательно брился, беседуя с женой, которая возилась на кухне,

готовя яичницу, или блины, или что там у нее было задумано на завтрак. К шести он ехал на работу и с появлением солнца ставил свою машину на стоянку рядом с другими машинами. В это время утра небо было оранжевым, голубым или лиловым, порой багровым, порой желтым или прозрачным, как вода на каменистом дне. Иногда он видел свое дыхание белым облачком в утреннем воздухе, иногда не видел. Но солнце продолжало подниматься, и он стучал кулаком по зеленой кабинке мусоровоза. Тогда водитель, крикнув с улыбкой «хелло!», взбирался с другой стороны на сиденье, и они ехали по улицам большого города туда, где ждала работа. Иногда они останавливались выпить чашку черного кофе, потом, согрешившись, ехали дальше. Наконец приступали к работе: он выскакивал перед каждым домом из кабинки, брал мусорные ящики, нес к машине, поднимал крышку и вытряхивал мусор, постукивая ящиком о борт, так что апельсиновые корки, дынные корки и кофейная гуща шлепались на дно кузова, постепенно его заполняя. Сыпались кости от жаркого, рыбы головы, кусочки зеленого лука и высохший сельдерей. Еще ничего, если отбросы были свежие, куда хуже, если они долго лежали. Он не знал точно, нравится ему работа или нет, но так или иначе, это была работа и он ее выполнял добросовестно. Иногда его тянуло всласть поговорить о ней, иногда он совершенно выкидывал ее из головы. Иногда работа была наслаждением — выедешь спозаранок, воздух прохладный и чистый, пока не пройдет несколько часов и солнце начнет припекать, а отбросы — вонять. И вообще, работа как работа: он был занят своим делом, ни о чем не беспокоился, безмятежно смотрел на мелькающие за дверцей машины дома и газоны, наблюдая повседневное течение жизни. Раз или два в месяц он с удивлением обнаруживал, что любит свою работу, что лучшей работы нет во всем мире.

Так продолжалось много лет. И вдруг все переменялось. Переменялось в один день. Позже он не раз удивлялся, как могла работа настолько измениться за каких-нибудь несколько часов.

* * *

Он вошел в комнату, не видя жены и не слыша ее голоса, хотя она стояла тут же. Он прошел к креслу, а она ждала и смотрела, как он кладет руку на спинку кресла и, не говоря ни слова, садится. Он долго сидел молча.

— Что-нибудь стряслось? — Наконец ее голос проник в его сознание. Она спрашивала в третий или четвертый раз.

— Стряслось? — Он посмотрел на женщину, которая заговорила с ним. Ну конечно, это же его жена, он ее знает, и

это их квартира, с высокими потолками и выгоревшими обоями.— Верно, стряслось, сегодня на работе.

Она ждала.

— Когда я сидел в кабине моего мусоровоза.— Он провел языком по шершавым губам и закрыл глаза, выключая зрение, пока не стало темно-темно — ни малейшего проблеска света, как если бы ты среди ночи встал с постели в пустой темной комнате.— Я, наверно, уйду с работы. Постарайся понять.

— Понять! — воскликнула она.

— Ничего не поделаешь. В жизни со мной не случилось ничего подобного.— Он открыл глаза и соединил вместе похолодевшие пальцы.— Это нечто поразительное.

— Да говори же, не сиди так!

Он вытащил из кармана кожаной куртки обрывок газеты.

— Сегодняшняя,— сказал он.— Лос-анджелесская «Таймс». Сообщение штаба гражданской обороны. Они закупают радиоустановки для наших мусоровозов.

— Что ж тут плохого — будете слушать музыку.

— Не музыку. Ты не поняла. Не музыку.

Он раскрыл огрубевшую ладонь и медленно стал чертить на ней ногтем, чтобы жена увидела все, что видел он.

— В этой статье мэр говорит, что в каждом мусоровозе поставят приемники и передатчики.— Он склонился на свою ладонь.— Когда на наш город упадут атомные бомбы, радио будет говорить с нами. И наши мусоровозы поедут собирать тела.

— Что ж, это практично. Когда...

— Мусоровозы,— повторил он,— поедут собирать тела.

— Но ведь нельзя же оставить тела, чтобы они лежали? Конечно, надо их собрать и...

Ее рот медленно закрылся. Глаза моргнули, один раз. Он следил за медленным движением ее век. Потом, механически повернувшись, будто влекомая посторонней силой, она прошла к креслу, помедлила, вспоминая, как это делается, и села, словно деревянная. Она молчала.

Он рассеянно слушал, как тикают часы у него на руке.

Вдруг она засмеялась.

— Это — шутка!

Он покачал головой. Он чувствовал, как голова поворачивается слева направо и справа налево — медленно, очень медленно, как и все, что происходило сейчас.

— Нет. Сегодня они поставили приемник на моем мусоровозе. Они сказали: когда будет тревога, немедленно сбрасывай мусор где придется. Получишь приказ по радио, поезжай куда скажут и вывози покойников.

На кухне зашипела, убегая, вода. Жена подождала пять секунд, потом оперлась одной рукой о ручку кресла, встала, добрела до двери и вышла. Шипение прекратилось. Она снова появилась на пороге и подошла к нему; он сидел неподвижно, глядя в одну точку.

— У них все расписано. Они составили взводы, назначили сержантов, капитанов, капралов, — сказал он. — Мы знаем даже, куда свозить тела.

— Ты об этом думал весь день, — произнесла она.

— Весь день, с самого утра. Я думал: может, мне больше не хочется быть мусорщиком? Бывало, мы с Томом затевали что-то вроде викторины. Иначе и нельзя... Что ни говори, помои, отбросы — это дрянь. Но коли уж довелось такую работу делать, можно и в ней найти что-то интересное. Так и мы с Томом. Мусорные ящики рассказывали нам, как живут люди. Кости от жаркого — в богатых домах, салатные листья и картофельные очистки — в бедных. Смешно, конечно, но человек должен извлекать из своей работы хоть какое-то удовольствие, иначе какой в ней смысл? Потом, когда ты сидишь в грузовике, то вроде сам себе хозяин. Встаешь рано, работаешь как-никак на воздухе, видишь, как восходит солнце, как просыпается город, — в общем, неплохо, что говорить. Но с сегодняшнего дня моя работа мне вдруг разонравилась.

Жена быстро заговорила. Она упомянула и то и се, и пятое и десятое, но он не дал ей разойтись и мягко остановил поток слов.

— Знаю, знаю, дети, школа, автомашина — знаю. Счета, деньги, покупки в кредит. Но ты забыла ферму, которую нам оставил отец? Взять да переехать туда, подальше от городов. Я немного разбираюсь в сельском хозяйстве. Сделаем запасы, укроемся в логове и сможем, если что, пересидеть там хоть несколько месяцев.

Она ничего не сказала.

— Конечно, все наши друзья живут в городе, — продолжал он миролюбиво. — И кино, и концерты, и товарищи наших ребятишек...

Она глубоко вздохнула.

— А нельзя несколько дней подумать?

— Не знаю. Я боюсь. Боюсь, что если начну размышлять об этом, о моем мусоровозе и о новой работе, то свыкнусь. Но, видит небо, разве это правильно, чтобы человек, разумное создание, позволил себе свыкнуться с такой мыслью?!

Она медленно покачала головой, глядя на окна, на серые стены, темные фотографии. Она стиснула руки. Она открыла рот.

— Я подумаю вечером,— сказал он.— лягу попозже. Утром я буду знать, что делать.

— Осторожней с детьми. Вряд ли им полезно все это узнать.

— Я буду осторожен.

— А пока хватит об этом. Мне нужно приготовить обед.— Она быстро встала и поднесла руки к лицу, потом посмотрела на них и на залитые солнцем окна.— Дети сейчас придут.

— Я не очень хочу есть.

— Ты будешь есть, тебе нужны силы.

Она поспешила на кухню, оставив его одного в комнате. Занавески висели совершенно неподвижно, а над головой был лишь серый потолок и одинокая незажженная лампочка — будто луна за облаком. Он молчал. Он растер лицо обеими руками. Он встал, постоял в дверях столовой, вошел и механически сел за стол. Его руки сами легли на пустую белую скатерть.

— Я думал весь день,— сказал он.

Она суетилась на кухне, гремя вилками и кастрюлями, чтобы прогнать настойчивую тишину.

— Интересно,— продолжал он,— как надо укладывать тела — вдоль или поперек, головами направо или налево? Мужчин и женщин вместе или отдельно? Детей в другую машину или со взрослыми? Собак тоже в особую машину или их оставлять? Интересно, сколько тел войдет в один кузов? Если класть друг на друга, ведь волей-неволей придется. Никак не могу рассчитать. Не получается. Сколько ни пробую, не выходит, невозможно сообразить, сколько тел войдет в один кузов...

Он все еще сидел в пустой комнате, когда с шумом распахнулась наружная дверь. Его сын и дочь ворвались, смеясь, увидели отца и остановились.

В кухонной двери стремительно появилась мать и, стоя на пороге, посмотрела на свою семью. Они видели ее лицо и слышали голос:

— Садитесь, дети, садитесь! — Она протянула к ним руку.— Вы пришли как раз вовремя.

Пешеход

Больше всего на свете Леонард Мид любил выйти в тишину, что туманным ноябрьским вечером, часам к восьми, окутывает город, и — руки в карманы — шагать сквозь тишину по неровному асфальту тротуаров, стараясь не наступить на про-

росшую из трещин траву. Остановясь на перекрестке, он всматривался в длинные улицы, озаренные луной, и решал, в какую сторону пойти, — а впрочем, невелика разница: ведь в этом мире, в лето от Рождества Христова две тысячи пятьдесят третья, он один или все равно что один; и наконец он решался, выбирал дорогу и шагал, и перед ним, точно дым сигары, клубился в морозном воздухе пар от его дыхания.

Иногда он шел так часами, отмеряя милю за милей, и возвращался только в полночь. На ходу он оглядывал дома и домики с темными окнами — казалось, идешь по кладбищу, и лишь изредка, точно светлячки, мерцают за окнами слабые, дрожащие отблески. Иное окно еще не завешено на ночь, и в глубине комнаты вдруг мелькнут на стене серые призраки; а другое окно еще не закрыли — и из здания, похожего на склеп, послышатся шорохи и шепот.

Леонард Мид останавливался, склонял голову набок, и прислушивался, и смотрел, а потом неслышно шел дальше по бугристому тротуару. Давно уже он, отправляясь на вечернюю прогулку, предусмотрительно надевал туфли на мягкой подошве: начини он стучать каблуками, в каждом квартале все собаки станут встречать и провожать его яростным лаем, и повсюду защелкают выключатели, и замаячат в окнах лица — всю улицу спугнет он, одинокий путник, своей прогулкой в ранний ноябрьский вечер.

В этот вечер он направился на запад — там, невидимое, лежало море. Такой был славный звонкий морозец, даже пощипывало нос, и в груди будто рождественская елка горела, при каждом вздохе то вспыхивали, то гасли холодные огоньки, и колкие ветки покрывал незримый снег. Приятно было слушать, как шуршат под мягкими подошвами осенние листья, и тихонько, неторопливо насвистывать сквозь зубы, и порой, подобрав сухой лист, при свете редких фонарей всматриваться на ходу в узор тонких жилок, и вдыхать горьковатый запах увядания.

— Эй, вы там, — шептал он, проходя, каждому дому, — что у вас нынче по четвертой программе, по седьмой, по девятой? Куда скачут ковбои? А из-за холма сейчас, конечно, подоспелет на выручку наша храбрая кавалерия?

Улица тянулась вдаль, безмолвная и пустынная, лишь его тень скользила по ней, словно тень ястреба над полями. Если закрыть глаза и стоять не шевелясь, почудится, будто тебя занесло в Аризону, в самое сердце зимней безжизненной равнины, где не дохнет ветер, и на тысячи миль не встретить человеческого жилья, и только русла пересохших рек — безлюдные улицы — окружают тебя в твоём одиночестве.

— А что теперь? — спрашивал он у домов, бросив взгляд на ручные часы. — Половина девятого? Самое время для дюжины отборных убийств? Или викторина? Эстрадное обозрение? Или вверх тормашками валится со сцены комик?

Что это — в доме, побеленном луной, кто-то негромко засмеялся? Леонард Мид помедлил — нет, больше ни звука, и он пошел дальше. Споткнулся — тротуар тут особенно неровный. Асфальта совсем не видно, все заросло цветами и травой. Десять лет он бродит вот так, то среди дня, то ночами, отшагал тысячи миль, но еще ни разу ему не повстречался ни один пешеход, ни разу.

Он вышел на тройной перекресток, здесь в улицу вливались два шоссе, пересекавшие город; сейчас тут было тихо. Весь день по обоим шоссе с ревом мчались автомобили, без передышки работали бензоколонки, машины жужжали и гудели, словно тучи огромных жуков, тесня и обгоняя друг друга, фыркая облаками выхлопных газов, и неслись, неслись каждая к своей далекой цели. Но сейчас и эти магистрали тоже похожи на русла рек, обнаженные засухой, — каменное ложе молча стынет в лунном сиянии.

Он свернул в переулок, пора было возвращаться. До дому оставался всего лишь квартал, как вдруг из-за угла вылетела одинокая машина и его ослепил яркий сноп света. Он замер, словно ночная бабочка в луче фонаря, потом как замороженный двинулся на свет.

Металлический голос приказал:

— Смирно! Ни с места! Ни шагу!

Он остановился.

— Руки вверх!

— Но... — начал он.

— Руки вверх! Будем стрелять!

Ясное дело — полиция, редкостный, невероятный случай; ведь на весь город с тремя миллионами жителей осталась одна-единственная полицейская машина, не так ли? Еще год назад, в 2052-м — в год выборов, — полицейские силы были сокращены, из трех машин осталась одна. Преступность все убывала; полиция стала не нужна, только эта единственная машина все кружила и кружила по пустынным улицам.

— Имя? — негромким металлическим голосом спросила полицейская машина; яркий свет фар слепил глаза, людей не разглядеть.

— Леонард Мид, — ответил он.

— Громче!

— Леонард Мид!

— Род занятий?

— Пожалуй, меня следует назвать писателем.

— Без определенных занятий,— словно про себя сказала полицейская машина. Луч света упирался ему в грудь, пронизывал насквозь, точно игла жука в коллекции.

— Можно сказать и так,— согласился Мид.

Он ничего не писал уже много лет. Журналы и книги никто больше не покупает. Все теперь замыкаются по вечерам в домах, подобных склепам, подумал он, продолжая недавнюю игру воображения. Склепы тускло освещает отблеск телевизионных экранов, и люди сидят перед экранами, точно мертвецы; серые или разноцветные отсветы скользят по их лицам, но никогда не задевают душу.

— Без определенных занятий,— прошипел механический голос.— Что вы делаете на улице?

— Гуляю,— сказал Леонард Мид.

— Гуляете?!

— Да, просто гуляю,— честно повторил он, но кровь отхлынула от лица.

— Гуляете? Просто гуляете?

— Да, сэр.

— Где? Зачем?

— Дышу воздухом. И смотрю.

— Где живете?

— Южная сторона, Сент-Джеймс-стрит, одиннадцать.

— Но воздух есть и у вас в доме, мистер Мид? Кондиционная установка есть?

— Да.

— А чтобы смотреть, есть телевизор?

— Нет.

— Нет? — Молчание, только что-то потрескивает, и это — как обвинение.

— Вы женаты, мистер Мид?

— Нет.

— Не женат,— произнес жесткий голос за спящей половицей.

Луна поднялась уже высоко и сияла среди звезд, дома стояли серые, молчаливые.

— Ни одна женщина на меня не польстилась,— с улыбкой сказал Леонард Мид.

— Молчите, пока вас не спрашивают.

Леонард Мид ждал, холодная ночь обступала его.

— Вы *просто гуляли*, мистер Мид?

— Да.

— Вы не объяснили, с какой целью.

— Я объяснил: хотел подышать воздухом, поглядеть вокруг, просто пройтись.

— Часто вы этим занимаетесь?

— Каждый вечер, уже много лет.

Полицейская машина торчала посреди улицы, в ее радиоглотке что-то негромко гудело.

— Что ж, мистер Мид, — сказала она.

— Это все? — учтиво спросил Мид.

— Да, — ответил голос. — Сюда. — Что-то дохнуло, что-то щелкнуло. Задняя дверца машины распахнулась. — Влезайте.

— Погодите, ведь я ничего такого не сделал!

— Влезайте.

— Я протестую!

— Мистер Мид!

И он пошел нетвердой походкой, будто вдруг захмелел. Проходя мимо лобового стекла, заглянул внутрь. Так и знал: никого ни на переднем сиденье, ни вообще в машине.

— Влезайте.

Он взялся за дверцу и заглянул — заднее сиденье помещалось в черном тесном ящике, это была узкая тюремная камера, забранная решеткой. Пахло сталью. Едко пахло дезинфекцией; все отдавало чрезмерной чистотой, жесткостью, металлом. Здесь не было ничего мягкого.

— Будь вы женаты, жена могла бы подтвердить ваше алиби, — сказал железный голос. — Но...

— Куда вы меня повезете?

Машина словно засомневалась, послышалось слабое жужжанье и щелчок, как будто где-то внутри механизм-информатор выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз.

— В Психиатрический центр по исследованию атавистических наклонностей.

Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась. Полицейская машина покатила по ночным улицам, освещая себе путь приглушенными огнями фар.

Через минуту показался дом, он был один такой на одной только улице во всем этом городе темных домов — единственный дом, где зажжены были все электрические лампы и желтые квадраты окон празднично и жарко горели в холодном сумраке ночи.

— Вот он, мой дом, — сказал Леонард Мид.

Никто ему не ответил.

Машина мчалась все дальше и дальше по улицам — по каменным руслам пересохших рек, позади оставались пустынные мостовые и пустынные тротуары, и нигде в ледяной ноябрьской ночи больше ни звука, ни движения.

Музыка гналась за ним по белым коридорам. Из-за одной двери слышался вальс из «Веселой вдовы». Из-за другой — «Послеполуденный отдых фавна». Из-за третьей — «Поцелуй еще разок!». Он повернул за угол, «Танец с саблями» захлестнул его шквалом цимбал, барабанов, кастрюль и сковородок, ножей и вилок, жестяными громами и молниями. Все это слынуло, когда он чуть не бегом вбежал в приемную, где расположилась секретарша, блаженно ошалевшая от Пятой симфонии Бетховена. Он шагнул вправо, потом влево, словно рукой помахал у нее перед глазами, но она так его и не заметила.

Негромко зажужжал радиобраслет.

— Слушаю.

— Пап, это я, Ли. Ты не забыл? Мне нужны деньги.

— Да, да, сынок. Сейчас я занят.

— Я только хотел напомнить, пап,— сказал браслет.

Голос сына потонул в увертюре Чайковского «Ромео и Джульетта», она вдруг затопила длинные коридоры.

Психиатр шел по улью, где лепились друг к другу лаборатории и кабинеты, и со всех сторон на него сыпалась цветочная пыльца мелодий. Стравинский мешался с Бахом, Гайдн безуспешно отбивался от Рахманинова, Шуберт погибал под ударами Дюка Эллингтона. Секретарши мурлыкали себе под нос, врачи насвистывали — все по-утреннему бодро принимались за работу, психиатр на ходу кивал им. У себя в кабинете он просмотрел кое-какие бумаги со стенографисткой, которая все время что-то напевала, потом позвонил по телефону наверх, полицейскому капитану. Несколько минут спустя замигала красная лампочка и с потолка раздался голос:

— Арестованный доставлен для беседы в кабинет номер девять.

Он отпер дверь и вошел, позади щелкнул замок.

— Только вас не хватало,— сказал арестант и улыбнулся.

Эта улыбка ошеломила психиатра. Такая она была сияющая, лучезарная, она вдруг осветила и согрела комнату. Она была точно утренняя заря в темных горах, эта улыбка. Точно полуденное солнце внезапно проглянуло среди ночи. А над этой хвастливой выставкой ослепительных зубов спокойно и весело блестели голубые глаза.

— Я пришел вам помочь,— сказал психиатр.

И нахмурился. Что-то в комнате не так. Он ощутил это еще с порога. Неуверенно огляделся. Арестант засмеялся:

— Удивились, что тут так тихо? Просто я кокнул радио.

«Буйный»,— подумал врач.

Арестант прочел его мысли, улыбнулся и успокоительно поднял руку:

— Нет, нет, я так только с машинками, которые твякают.

На сером ковре валялись осколки ламп и клочки проводов от сорванного со стены радио. Не глядя на них, чувствуя, как его обдает теплом этой улыбки, психиатр уселся напротив пациента; необычная тишина давила, словно перед грозой.

— Вы — Элберт Брок, именующий себя Убийцей?

Брок удовлетворенно кивнул.

— Прежде чем мы начнем...— Мягким проворным движением он снял с руки врача радиобраслет. Взял крохотный приемник в зубы, точно орех, сжал покрепче — крак! — и вернул ошарашенному психиатру обломки с таким видом, словно оказал и себе, и ему величайшее благодеяние.— Вот так-то лучше.

Врач во все глаза смотрел на загубленный аппарат.

— Немало с вас, наверно, взыскивают за убытки.

— Наплевать! — улыбнулся пациент.— Как поется в старой песенке, «Мне плевать, что станется со мною!» — вполголоса пропел он.

— Начнем? — спросил врач.

— Извольте. Первой жертвой, одной из первых, был мой телефон. Гнуснейшее убийство. Я задохнул его в кухонный поглотитель. Забил бедняге глотку. Несчастный задохнулся насмерть. Потом я пристрелил телевизор!

— М-м-м,— промычал психиатр.

— Всадил в кинескоп шесть пуль. Отличный был трезвон, будто разбилась люстра.

— У вас богатое воображение.

— Весьма польщен. Всегда мечтал стать писателем.

— Не расскажете ли, когда вы возненавидели телефон?

— Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его Машина-призрак. Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. Мне всегда казалось, что он обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит вашему «я» перелиться по проводам. А если не пожелает, просто высосет его, и на другом конце провода окажетесь уже не вы, а какая-то дохлая рыба, не живой теплый голос, а только сталь, медь и пластмасса. По телефону очень легко сказать не то, что надо; вовсе и не хотел это

говорить, а телефон все переиначил. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага. И потом, телефон — необыкновенно удобная штука! Стоит и прямо-таки требует: позвони кому-нибудь, а тот вовсе не желает, чтобы ему звонили. Друзья звонят мне, звонят, звонят без конца. Ни минуты покоя, черт возьми. Не телефон — так телевизор, или радио, или патефон. А если не телевизор, не радио и не патефон, так кинотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. С неба теперь льет не дождь, а мыльная пена. А если не спят рекламой на небесах, так глушат джазом в каждом ресторане; едешь в автобусе на работу — и тут музыка и реклама. А если не музыка, так служебный селектор и главное орудие пытки — радиобраслет, жена и друзья вызывают меня каждые пять минут. И что за секрет у этих штук, чем они так соблазняют людей? Обыкновенный человек сидит и думает: делать мне нечего, скучища, а на руке этот самый наручный телефон — дай-ка позвоню старине Джо. Алло, алло! Я люблю жену, друзей, вообще человечество, очень люблю... Но вот жена в сотый раз спрашивает: «Ты сейчас где, милый?» — а через минуту вызывает приятель и говорит: «Слушай, отличный анекдот: один парень...» А потом кто-то орет: «Вас вызывает Статистическое бюро. Какую жевательную резинку вы жуete в данную минуту?» Ну, знаете!

— Как вы себя чувствовали всю эту неделю?

— А так: вот-вот взорвусь. Или начну биться головой о стену. В тот день в конторе я и поступил как надо.

— А именно?

— Плеснул воды в селектор.

Психиатр сделал пометку в блокноте.

— И вывели его из строя?

— Конечно! То-то была потеха! Стенографистки забегали как угорелые! Крик, суматоха!

— И вам на время полегчало, а?

— Еще бы! А днем меня осенило, я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как раз заверещал: «Говорит Статистическое бюро, девятый отдел. Что вы сегодня ели на обед?» — и тут я вышиб из машинки дух.

— И вам еще полегчало, а?

— Я вошел во вкус.— Брок потер руки.— Дай-ка, думаю, подниму единоличную революцию, надо же человеку освободиться ото всех этих удобств! Кому они, спрашивается, удобны? Друзьям-приятелям? «Здорово, Эл, решил с тобой поболтать, я сейчас в Грин-хилле, в гардеробной. Только что я их тут всех сокрушил одним ударом. Одним ударом, Эл! Удачный денек! А сейчас выпиваю по этому случаю. Я решил, что тебе будет любопытно». Еще удобно моему начальству — я

разъезжаю по делам службы, а в машине радио, и они всегда могут со мной связаться. Связаться! Мягко сказано. Связаться, черта с два! Связать по рукам и ногам! Заграбастать, зацаптать, раздавить, измолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя на минуту выйти из машины, непременно надо доложить: «Остановился у бензоколонки, зайду в уборную». — «Ладно, Брок, валяйте». «Брок, чего вы столько возились?» — «Виноват, сэр!» — «В другой раз не копайтесь!» — «Слушаю, сэр!» Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил квартиру шоколадного мороженого и досыта накормил свой передатчик.

— Почему вы избрали для этой цели именно шоколадное мороженое?

Брок чуть призадумался, потом улыбнулся:

— Это мое любимое лакомство.

— Вот как, — сказал врач.

— Я решил: черт подери, что годится для меня, годится и для радио в моей машине.

— Почему вы решили накормить передатчик именно мороженым?

— В тот день была жара.

— И что же дальше? — помолчав, спросил врач.

— А дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь окаянное радио трещало без передышки. Брок, туда, Брок, сюда, Брок, доложите, когда пришли, Брок, доложите, когда ушли, хорошо, Брок, обеденный перерыв, Брок, перерыв кончился, Брок, Брок, Брок, Брок... Я наслаждался тишиной, прямо как мороженым.

— Вы, видно, большой любитель мороженого.

— Я ездил, ездил и все слушал тишину. Как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины! Сажу в машине и улыбаюсь и чувствую — в ушах мягкая фланель. Я наслаждался, я просто упивался, это была Свобода!

— Продолжайте!

— Потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические аппараты. Взял один напрокат и в тот же вечер повез в автобусе домой. А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс, и все переговариваются по радиобраслетам с женами: я, мол, уже на Сорок третьей улице... на Сорок четвертой... на Сорок девятой... поворачиваю на Шестьдесят первую... А один супруг бранится: «Хватит тебе околачиваться в баре, черт возьми! Иди домой и разогрей обед, я уже на Семидесятой!» А репродуктор орет «Сказки Венского леса» — точь-точь канарейка натошак насвистывает про лакомые зернышки. И тут я включаю диатермический аппарат! Помехи! Перебой! Все жены отрезаны от брюзжания замученных за день мужей.

Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые отпрыски только что запустили камнем в окно! «Венский лес» срублен под корень, канарейке свернули шею. Ти-ши-на! Пугающая внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы!

— Вас забрали в полицию?

— Пришлось остановить автобус. Ведь и впрямь музыка превратилась в кашу, мужья и жены не знали, на каком они свете. Шабаш ведьм, сумбур, светопреставление. Митинг в обезьяннике! Прибыла аварийная команда, меня мигом засекли, отчитали, оштрафовали, я и оглянуться не успел, как очутился дома, — понятно, без аппарата.

— Разрешите вам заметить, мистер Брок, что до сих пор ваш образ действий кажется мне не слишком... э-э... разумным. Если вам не нравится радиотрансляция, служебные селекторы, приемники в автомобилях, почему бы вам не вступить в общество радионенавистников? Подавайте петиции, добивайтесь запретов и ограничений в законодательном порядке. В конце концов, у нас же демократия!

— А я так называемое меньшинство, — сказал Брок. — Я уже вступал во всякие общества, вышагивал в пикетах, подавал петиции, обращался в суд. Я протестовал годами. И везде меня поднимали на смех. Все просто обожают радио и рекламу. Я один такой урод, не иду в ногу со временем.

— Но тогда, может быть, вам следует сменить ногу, как положено солдату? Надо подчиняться большинству.

— Так ведь они хватают через край! Послушать немножко музыки, изредка «связаться» с друзьями, может, и приятно, но они-то воображают: чем больше, тем приятнее. Я прямо озверел! Прихожу домой — жена в истерике. Отчего, почему? Да потому, что она полдня не могла со мной связаться. Помните, я малость поплясал на своем радиобраслете? Ну вот, в тот вечер я и задумал убийство собственного дома.

— Что же, так и записать?

— По смыслу это совершенно точно. Я решил убить его, умертвить. Дом у меня, знаете, чудо техники: разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стишки, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает колыбельную песенку, когда ложишься в постель. Станешь под душ — он тебя глушит ариями из опер, ляжешь спать — обучает испанскому языку. Этакая болтливая нора, в ней полно электронных оракулов. Духовка тебе допочет: «Я пирог с вареньем, я уже испекся!» или: «Я — жаркое, скорей подбавьте подливки» —

и прочий младенческий вздор. Кровати укачивают тебя на ночь, а утром встряхивают, чтоб проснулся! Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю! Парадная дверь так и рывкает: «Сэр, у вас башмаки в грязи!» А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака, не дай Бог уронишь щепотку пепла с сигареты — мигом всосет. О Боже милостивый!

— Успокойтесь, — мягко посоветовал психиатр.

— Помните песенку Гилберта и Салливена «Веду обидам точный счет, и уж за мной не пропадет»? Всю ночь я подсчитывал обиды. А рано поутру купил револьвер. На улице нарочно ступал в самую грязь. Парадная дверь так и завизжала: «Надо ноги вытирать! Не годится пол марать!» Я выстрелил этой дрянью прямо в замочную скважину. Вбежал в кухню, а там плита скулит: «Скорей взгляни! Переверни!» Я всадил пулю в самую середку механической яичницы, и плите пришел конец. Ох как она зашипела и заверещала: «Я перегорела!» Потом завопил телефон, прямо как капризный ублюдок. И я сунул его в поглотитель. Должен вам заявить честно и откровенно, я ничего не имею против поглотителя, он пострадал за чужие грехи. Теперь-то мне его жалко — очень полезное приспособление, и притом безобидное, словечка от него не услышишь, знай себе мурлычет, как спящий лев, и переваривает всякий мусор. Непременно отдам его в починку. Потом я пошел и пристрелил коварную бестию — телевизор. Это Медуза — каждый вечер своим неподвижным взглядом обращает в камень миллионы людей, это сирена — поет, и зовет, и обещает так много, а дает ничтожно мало... но я всегда возвращался к ней, возвращался и надеялся на что-то до последней минуты, и вот — бац! Тут моя жена заметалась, точно безголовая индюшка, злобно закулдыкала, завопила на всю улицу. Явилась полиция. И вот я здесь.

Он блаженно откинулся на спинку стула и закурил.

— Мистер Брок, отдавали ли вы себе отчет, совершая такие преступления, что радиобраслет, репродуктор, телефон, радио в автобусе, селектор у вас на службе — все это либо чужая собственность, либо сдается напрокат?

— Я и опять бы проделал то же самое, верно вам говорю.

Психиатр едва не зажмурился от сияющей благодушной улыбки пациента.

— И вы не желаете воспользоваться помощью Службы душевного здоровья? Вы готовы за все ответить?

— Это только начало, — сказал Брок. — Я знаменосец скромного меньшинства, мы устали от шума, от того, что нами

вечно помыкают, и командуют, и вертят на все лады, и вечно глушат нас музыкой, и вечно кто-нибудь орет: делай то, делай это, иди туда, теперь сюда, быстрее, быстрее! Вот увидите. Начинается бунт. Мое имя войдет в историю!

— Гм-м...— Психиатр, казалось, призадумался.

— Понятно, это не сразу сделается. На первых порах все были очарованы. Великолепная выдумка эти полезные и удобные штуки! Почти игрушки, почти забава! Но люди чересчур втянулись в игру, зашли слишком далеко, все наше общество попало в плен к механическим нянькам — и запуталось, и уже не умеет выпутаться, даже не умеет само себе признаться, что запуталось. Вот они и мудрствуют, как и во всем прочем: таков, мол, наш век! Таковы условия жизни! Мы — нервное поколение! Но помяните мое слово, семена бунта уже посеяны. Обо мне раззвонили на весь мир по радио, показывали меня и по телевидению, и в кино — вот ведь парадокс! Дело было пять дней назад. Про меня узнали миллиарды людей. Следите за биржевыми отчетами. Ждите в любой день. Хоть сегодня. Вы увидите, как подскочит спрос на шоколадное мороженое!

— Ясно,— сказал психиатр.

— Теперь, надеюсь, мне можно вернуться в мою милую одиночную камеру? Я намерен полгода наслаждаться одиночеством и тишиной.

— Пожалуйста,— спокойно сказал психиатр.

— За меня не бойтесь,— сказал, вставая, мистер Брок.— Я буду сидеть да посиживать и наслаждаться мягкой фланелью в ушах.

— Гм-м,— промычал психиатр, направляясь к двери.

— Не унывайте,— сказал Брок.

— Постараюсь,— отозвался психиатр.

Он нажал незаметную кнопку, подавая условный сигнал, дверь отворилась, он вышел в коридор, дверь захлопнулась, щелкнув замком. Он вновь шагал один по коридорам мимо бесчисленных дверей. Первые двадцать шагов его провожали звуки «Китайского тамбурина». Их сменила «Цыганка», затем «Пассакалья» и какая-то там минорная fuga Баха, «Тигровый рэгтайм», «Любовь — что сигарета». Он достал из кармана сломанный радиобраслет, точно раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок и с потолка раздался голос:

— Доктор?

— Только что закончил с Броком,— отозвался психиатр.

— Диагноз?

— Полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними.

— Прогноз?

— Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением затыкал себе уши воображаемыми тампонами.

Зазвонили сразу три телефона. Запасной радиобраслет в ящике стода заскрипел, словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка, и защелкал вызов селектора. Звонили три телефона. Жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Психиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щелкнул селектором, поговорил минуту, снял одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно, лицо его было невозмутимо-спокойно, а вокруг гремела музыка, мигали лампочки, снова звонили два телефона, и руки его непрерывно двигались, и радиобраслет жужжал, и его вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Так провел он остаток долгого служебного дня, овеваемый прохладным кондиционированным воздухом, сохраняя то же невозмутимое спокойствие: телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет...

Улыбка

На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг, среди разбитых зданий, ключьями висел туман, но теперь, в семь утра, рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги по двое, по трое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день.

Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притопывал на месте и дул на свои красные, в цыпках руки, поглядывая то на грязную, из грубой мешковины одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди.

— Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань? — сказал человек за его спиной.

— Это мое место, я тут очередь занял, — ответил мальчик.

— Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк!

— Оставь в покое парня, — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.

— Я же пошутил. — Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее. — Просто подумал, чудно это — ребенок, такая рань, а он не спит.

— Этот парень знает толк в искусстве, ясно? — сказал заступник, его фамилия была Григсби. — Тебя как звать-то, малец?

— Том.

— Наш Том, уж он плюнет что надо, в самую точку — верно, Том?

— Точно!

Смех покотился по шеренге людей.

Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка — согреть желудок, но мало кто покупал, мало кому это было по карману.

Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной.

— Говорят, она *улыбается*, — сказал мальчик.

— Ага, улыбается, — ответил Григсби.

— Говорят, она сделана из краски и холста.

— Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та, настоящая, — я слышал — была на доске нарисована в незапамятные времена.

— Говорят, ей четыреста лет.

— Если не больше. Коли уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.

— Две тысячи шестьдесят первый!

— Верно, так говорят, парень, говорят. Брешут. А может, трехтысячный! Или пятитысячный! Почему мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была... И достались нам только рожки да ножки.

Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.

— Скоро мы ее увидим? — уныло протянул Том.

— Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на четыре латунных столбика бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней, они запретили бросать в нее камни.

— Ладно, сэр.

Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.

— А зачем мы все тут собрались? — спросил, подумав, Том. — Почему мы должны плевать?

Григсби и не взглянул на него, он смотрел на солнце, соображая, который час.

— Э, Том, причин уйма. — Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение миллион раз. — Тут все дело в ненависти, ненависти ко всему, что связано с Прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города — груды развалин, дороги от бомбежек — словно пила, вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивные... Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?

— Да, сэр, конечно.

— То-то и оно... Человек ненавидит то, что его стубило, что ему жизнь поломало. Так уж он устроен. Неразумно, может быть, но такова человеческая природа.

— А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели? — сказал Том.

— Во-во! А все эта орава идиотов, которая заправляла миром в Прошлом! Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода зубами — новые троглодиты, ни покурить, ни выпить, никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников, Том. наших праздников...

Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливичики могли по одному разу долбануть машину кувалдой!..

— Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я же разбил переднее стекло — стекло, слышишь? Господи, звук-то какой был, престель! Тррахх!

Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.

— А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал, прямо мастерски. Бамм! Но лучше всего, — продолжал вспоминать Григсби, — было в тот раз, когда

громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку! А потом нашли типографию и склад боеприпасов — и взорвали их вместе! Представляешь себе, Том?

Том подумал.

— Ага.

Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух, что-то копошилось среди обломков зданий.

— Сэр, это больше никогда не вернется?

— Что — цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае не мне!

— А я так готов ее терпеть, — сказал один из очереди. — Не все, конечно, но были и в ней свои хорошие стороны...

— Чего зря болтать-то! — крикнул Григсби. — Все равно впустую.

— Э, — упорствовал один из очереди, — не торопитесь. Вот увидите: еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой.

— Не будет этого, — сказал Григсби.

— А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам — нет, не старую, а, так сказать, ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно.

— Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война!

— Почему же? Может, на этот раз все будет иначе.

Наконец и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Огороженное пространство было в самом центре площади. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед — шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.

— Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай!

По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских — четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней.

— Это для того, — уже напоследок объяснил Григсби, — чтобы каждому досталось плюнуть по разку, понял, Том? Ну, давай!

Том замер перед картиной, глядя на нее.

— Ну, плюй же!

У мальчишки пересохло во рту.

— Том, давай! Живее!

— Но, — медленно произнес Том, — она же красивая!

— Ладно, я плюну за тебя!

Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно-печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.

— Она красивая, — повторил он.

— Иди уж, пока полиция...

— Внимание!

Очередь притихла. Только что они бранили Тома — стал, как пеня! — а теперь все повернулись к верховому.

— Как ее звать, сэр? — тихо спросил Том.

— Картину-то? Кажется, «Мона Лиза»... Точно — «Мона Лиза».

— Слушайте объявление, — сказал верховой. — Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении..

Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста... Полицейские бросились наутек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья.

Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.

— Эй, Том, ты что же! — крикнул Григсби.

Не говоря ни слова, всхлиывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку.

На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В девять часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит — спит мать, отец, брат. Тихонько, молча он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.

— Том? — раздался во мраке голос матери.

— Да.

— Где ты болтался? — рявкнул отец. — погоди, вот я тебе утром всыплю...

Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.

— Ложись! — негромко прикрикнула на него мать.

Еще пинок.

Том дышал уже ровнее. Кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза.

Потом ощутил что-то: холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидание, разжал пальцы и разгладил клочок покрашенного холста.

Мир спал, освещенный луной.

А на его ладони лежала Улыбка.

Он смотрел на нее в белом свете, который падал с лунного неба. И тихо повторял про себя снова и снова: «Улыбка, чудесная улыбка...»

Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил ее и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним — Улыбка. Ласковая, добрая, она была там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.

И грянул гром

Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды; Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновении мраке горели буквы:

**А/О САФАРИ ВО ВРЕМЕНИ
ОРГАНИЗУЕМ САФАРИ В ЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДОБЫЧУ
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ВАС НА МЕСТО
ВЫ УБИВАЕТЕ ЕЕ**

В глотке Экельса скопилась теплая слизь; он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на десять тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой.

— Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?

— Мы ничего не гарантируем, — ответил служащий, — кроме динозавров. — Он повернулся. — Вот мистер Тревис, он будет вашим проводником в Прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет «не стрелять» — значит, не стрелять. Не выполните его распоряжения — по возвращении заплатите штраф, еще десять тысяч, кроме того, ждите неприятностей от правительства.

В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол — то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само Время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли.

Одно прикосновение руки — и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экельс помнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы, розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем, от смерти ринется к своему истоку, солнца будут всходить на западе и погружаться в зарево востока, луны будут убывать с другого конца, все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликам, ныряющим в шляпу фокусника, все и вся познает новую смерть, смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки...

— Черт возьми, — выдохнул Экельс; на его худом лице мелькали блики света от Машины. — Настоящая Машина времени! — Он покачал головой. — Подумать только. Закончись выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спастись бегством. Слава Богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент.

— Вот именно, — отозвался человек за конторкой. — Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете — против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и спрашивались, — шутя, конечно, а впрочем... Дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год. Да только не наше это дело — побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт — президент, и у вас теперь одна забота...

— ...убить моего динозавра,— закончил фразу Экельс.

— Tugannosaurus rex. Громогласный Ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит.

Экельс вспыхнул от возмущения.

— Вы пытаетесь испугать меня?

— По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло шесть руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на шестьдесят миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен! Вот ваш чек. Порвите его.

Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали.

— Ни пуха ни пера,— сказал человек за конторкой.— Мистер Тревис, займитесь клиентом.

Неся ружья в руках, они молча прошли через комнату к Машине, к серебристому металлу и рокочущему свету.

Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь; потом день — ночь, день — ночь, день. Неделя, месяц, год, десятилетие! 2055 год. 2019, 1999! 1957! Мимо! Машина редела.

Они надели кислородные шлемы, проверили наушники.

Экельс качался на мягком сиденье — бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще четверо. Тревис — руководитель сафари, его помощник Лесперанс и два охотника — Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно вспышки молний, проносились годы.

— Это ружье может убить динозавра? — вымолвили губы Экельса.

— Если верно попадешь,— ответил в наушниках Тревис.— У некоторых динозавров два мозга: один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Слепили, тогда бейте в мозг.

Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнца летели вспять, за ними мчались десятки миллионов лун.

— Господи,— произнес Экельс.— Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом.

Машина замедлила ход, вой сменился ровным гулом. Машина остановилась.

Солнце остановилось на небе.

Мгла, окружавшая Машину, рассеялась, они были в древности, глубокой-глубокой древности, три охотника и два руководителя, у каждого на коленях ружье — голубой вороненый ствол.

— Христос еще не родился, — сказал Тревис. — Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер — никого из них нет.

Они кивнули.

— Вот, — мистер Тревис указал пальцем, — вот джунгли за шестьдесят миллионов две тысячи пятьдесят пять лет до президента Кейта.

Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.

— А это, — объяснил он, — Тропа, проложенная здесь для охотников Компанией. Она парит над землей на высоте шести дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение — изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь Тропы. Не сходите с нее. Повторяю: не сходите с нее. Ни при каких обстоятельствах! Если свалитесь с нее — штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения.

— Почему? — спросил Экельс.

Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.

— Мы не хотим изменять Будущее. Здесь, в Прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени — дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида.

— Я что-то не понимаю, — сказал Экельс.

— Ну так слушайте, — продолжал Тревис. — Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет — верно?

— Да.

— Не будет потомков от потомков от всех ее потомков! Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион — миллиард мышей!

— Хорошо, они сдохли, — согласился Экельс. — Ну и что?

— Что? — Тревис презрительно фыркнул. — А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит десяти мышей — умрет одна лиса. Десятью лисами меньше — подойдет от голода лев. Одним львом меньше — погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог: через пятьдесят девять миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющей весь мир, гонимый голодом выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек, нет! Это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы десять сыновей. От них произошло бы сто — и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека — и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь — и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь Тропы. Никогда не сходите с нее!

— Понимаю, — сказал Экельс. — Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?

— Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за шестьдесят миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на Время. А если и в состоянии — то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых, дальше — к угнетению вида, еще дальше — к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным — легкое дуновение, шепот,

волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем — только гадаем. И покуда нам не известно совершенно точно, что наши вылазки во Времени для истории — гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта Машина, эта Тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, — все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов — помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.

— Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?

— Они помечены красной краской, — ответил Тревис. — Сегодня, перед нашей отправкой, мы послали сюда на Машине Лесперанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными.

— Изучал их?

— Вот именно, — отозвался Лесперанс. — Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются. Редко... Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в Прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы осторожны?

— Но если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Экельс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию! Как она прошла? Успешно? Все остались живы?

Тревис и Лесперанс переглянулись.

— Это был бы парадокс, — сказал Лесперанс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, Время не допускает. Если возникает такая опасность, Время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как Машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в Будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы — вернее, вы, мистер Экельс, — обратно живые.

Экельс бледно улыбнулся.

— Ну, все, — отрезал Тревис. — Встали!

Пора было выходить из Машины..

Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, слов-

но музыка, словно паруса бились в воздухе, — это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями, птеродактили. Экельс, стоя на узкой Тропе, шутя прицелился.

— Эй, бросьте! — скомандовал Тревис. — Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит...

Экельс покраснел.

— Где же наш *Tyrannosaurus rex*?

Лесперанс взглянул на свои часы.

— На подходе. Мы встретимся ровно через шестьдесят секунд. И ради Бога — не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с Тропы. Не сходите с Тропы!

Они шли навстречу утреннему ветерку.

— Странно, — пробормотал Экельс. — Перед нами — шестьдесят миллионов лет. Выборы прошли. Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы — здесь, все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте.

— Приготовиться! — скомандовал Тревис. — Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс — второй номер. За ним — Кремер.

— Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но, видит Бог, это совсем другое дело, — произнес Экельс. — Я дрожу, как мальчишка.

— Тихо, — сказал Тревис.

Все остановились.

Тревис поднял руку.

— Впереди, — прошептал он. — В тумане. Он там. Встречайте Его Королевское Величество.

Безбрежные джунгли были полны щелбета, шороха, бормотанья, вздохов.

Вдруг все смолкло, точно кто-то затворил дверь.

Тишина.

Раскат грома.

Из мглы ярдах в ста впереди появился *Tyrannosaurus rex*.

— Силы небесные, — пролепетал Экельс.

— Тсс!

Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах.

Оно на тридцать футов возвышалось над лесом — великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни, тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими канатами мышц под блестящей

морщинистой кожей, подобной кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки, руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячекилограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала частокол зубокинжалов. Вращались глаза — страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы шестидюймовой глубины. Оно бежало скольльзящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками.

— Господи! — Губы Экельса дрожали. — Да оно, если вытнется, луну достать может.

— Тсс! — сердито зашипел Тревис. — Он еще не заметил нас.

— Его нельзя убить. — Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. — Идиоты, и что нас сюда принесло... Это же невозможно.

— Молчать! — рявкнул Тревис.

— Кошмар...

— Кру-гом! — скомандовал Тревис. — Спокойно возвращайтесь в Машину. Половина суммы будет вам возвращена.

— Я не ждал, что оно окажется таким огромным, — сказал Экельс. — Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду.

— Оно заметило нас!

— Вон красное пятно на груди!

Громогласный Ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже югда чудовище стояло неподвижно. Оно глуходохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса.

— Помогите мне уйти, — сказал Экельс. — Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Признаюсь. Орешек мне не по зубам.

— Не бегите, — сказал Лесперанс. — Повернитесь кругом. Спрячьтесь в Машине.

— Да. — Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия.

— Экельс!

Он сделал шаг, другой, зажмурившись, волоча ноги.

— Не в ту сторону!

Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. Сто ярдов оно покрыло за четыре секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, его зубы сверкали на солнце.

Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю Тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли; ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь, он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной.

Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира — погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревущую глотку! Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам.

Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул *Tyrannosaurus rex*.

Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую Тропу. Люди бросились назад, отступая. Десять тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным.

Гром смолк.

В джунглях воцарилась тишина. После обвала — зеленый покой. После кошмара — утро.

Биллингс и Кремер сидели на Тропе; им было плохо. Тревис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь.

Экельс, весь дрожа, лежал ничком в Машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на Тропу и добрал до Машины.

Подошел Тревис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на Тропе.

— Оботритесь.

Они стерли со шлемов кровь. И тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи — это умирали клетки, органы переставали действовать и соки последний раз текли по своим ходам, все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка — все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости: вес мышц, ничем не управляемый, — мертвый вес — раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, мясо приняло покойное положение.

Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель.

— Так. — Лесперанс поглядел на часы. — Минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. — Он обратился к двум охотникам: — Фотография трофея вам нужна?

— Что?

— Мы не можем увозить добычу в Будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее.

Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой.

Они послушно дали отвести себя в Машину. Устало опустились на сиденья. Тупо оглянулись на поверженное чудовище — немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицеящеры.

Внезапный шум заставил охотников оцепенеть: на полу Машины, дрожа, сидел Экельс.

— Простите меня, — сказал он.

— Встаньте! — рявкнул Тревис.

Экельс встал.

— Ступайте на Тропу, — скомандовал Тревис. Он поднял ружье. — Вы не вернетесь с Машинной. Вы останетесь здесь!

Лесперанс перехватил руку Тревиса:

— Постой...

— А ты не суйся! — Тревис стряхнул его руку. — Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не это. Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди! Он соскочил с Тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один Бог

знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с Тропы. Он сошел. Идиот чертов! Я обязан доложить правительству. И нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для Времени, для Истории?!

— Успокойся, он набрал на подошвы немного грязи — только и всего.

— Откуда мы можем знать? — крикнул Тревис. — Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагом марш, Экельс! Экельс полез в карман.

— Я заплачу сколько угодно. Сто тысяч долларов!

Тревис покосился на чековую книжку и плюнул.

— Ступайте! Чудовище лежит возле Тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам.

— Это несправедливо!

— Зверь мертв, ублюдок несчастный. Пули! Пули не должны оставаться здесь, в Прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их!

Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились дребезгами шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по Тропе.

Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к Машине; его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони. На них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, недвижимый.

— Напрасно ты его заставил это делать, — сказал Лесперанс.

— Напрасно! Об этом рано судить. — Тревис толкнул неподвижное тело. — Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь, — он сделал вялый жест рукой, — включай. Двигаемся домой.

1492. 1776. 1812.

Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых десять минут в упор смотрел на него.

— Не глядите на меня, — вырвалось у Экельса. — Я ничего не сделал.

— Кто знает...

— Я только соскочил с Тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?

— Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс, может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено.

— Я не виноват. Я ничего не сделал!

1999. 2000. 2055.

Машина остановилась.

— Выходите,— скомандовал Тревис.

Комната была такая же, как прежде. Хотя нет, не совсем такая же... Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же.

Тревис быстро обвел помещение взглядом.

— Все в порядке? — буркнул он.

— Конечно. С благополучным возвращением!

Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна.

— О'кей, Экельс, выходите. И больше никогда не попадитесь мне на глаза.

Экельс будто окаменел.

— Ну? — поторопил его Тревис.— Что вы там такое увидели?

Экельс медленно вдыхал воздух — с воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски — белая, серая, синяя, оранжевая на стенах, мебели, в небе за окном — они... они... да: что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки. Руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул в свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека (который был не тем человеком), у перегородки (которая была не той перегородкой), — целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь, что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, — словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром...

Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.

Что-то в нем было не так.

**А/О СОФАРИ ВОВРЕМЕНИ
АРГАНИЗУЕМ СОФАРИ ВЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБЕРАЕТЕ ДАБЫЧУ
МЫ ДАСТАВЛЯЕМ ВАС НАМЕСТО
ВЫ УБЕВАЕТЕ ЕЕ**

Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком.

— Нет, не может быть! Из-за такой малости... Нет!

На комке было отливающее зеленою, золотом и чернью пятно — бабочка, очень красивая... мертвая.

— Из-за такой малости! Из-за бабочки! — закричал Экельс.

Она упала на пол — изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалились маленькие костяшки домино... большие костяшки... огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих Время. Мысли Экельса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка — и такие последствия? Невозможно!

Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил:

— Кто... кто вчера победил на выборах?

Человек за конторкой хихикнул.

— Шутите? Будто не знаете! Дойчер, разумеется! Кто же еще? Уж не этот ли хлюпик Кейт? Теперь у власти железный человек! — Служащий опешил. — Что это с вами?

Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке.

— Неужели нельзя, — молил он весь мир, себя, служащего, Машину, — вернуть ее туда, оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...

Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Тревиса, слышал, как Тревис поднимает ружье и нажимает курок.

И грянул гром.

Кошки-мышки

В первый же вечер любовались фейерверком, — пожалуй, эта пальба могла бы и напугать, напомнить вспышки не столь безобидные, но уж очень красивое оказалось зрелище, огненные ракеты взмывали в древнее ласковое небо Мексики и рассыпались ослепительно белыми и голубыми звездами. И все было чудесно, в воздухе смешалось дыхание жизни и смерти, запах дождя и пыли, из церкви тянуло ладаном, от эстрады — медью духового оркестра, выведившего медлительную трепетную мелодию «Голубки». Церковные двери распахнуты настежь, и казалось, внутри пылают по стенам гигантские золотые созвездия, упавшие с октябрьских небес: ярко горели и курились тысячи и тысячи свечей. Над площадью, выложенной прохладными каменными плитами, опять и опять вспыхи-

вал фейерверк, раз от разу удивительней, словно пробежали невиданные кометы-канатоходцы, ударились о глинобитные стены кафе, взлетали на огненных нитях выше колокольни, где мелькали босые мальчишечьи ноги, — мальчишки подскакивали, приплясывали и без усталости раскачивали исполинские колокола, и все окрест гудело и звенело. По площади метался огненный бык, преследовал смеющихся взрослых и радостно визжащих детишек.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой, — с улыбкой сказал Уильям Трейвис. — Хороший год.

Они с женой стояли чуть в сторонке, не смешиваясь с крикливой, шумной толпой.

Бык внезапно кинулся прямо на них. Схватившись за руки, низко пригнувшись, они с хохотом побежали прочь мимо церкви и эстрады, среди оглушительной музыки, шума и гама, под огненным дождем, под яркими звездами. Бык промчался мимо — хитроумное сооружение из бамбука, брызжащее пороховыми искрами, его легко нес на плечах быстроногий мексиканец.

— Никогда в жизни так не веселилась! — Сьюзен Трейвис остановилась перевести дух.

— Изумительно, — сказал Уильям.

— Это будет долго-долго, правда?

— Всю ночь.

— Нет, я про наше путешествие.

Уильям сдвинул брови и похлопал себя по нагрудному карману:

— Аккредитивов у меня хватит на всю жизнь. Знай развлекайся. Ни о чем не думай. Им нас не найти.

— Никогда?

— Никогда.

Теперь кто-то, забравшись на гремящую звоном колокольню, пускал огромные шутихи, они шипели и дымились, толпа внизу пугливо шаркалась, шутихи с оглушительным треском рвались под ногами танцующих. Пахло жареными в масле маисовыми лепешками, так что слюнки текли; в переполненных кафе люди, сидя за столиками, поглядывали на улицу, в смуглых руках пенились кружки пива.

Быку пришел конец. Огонь в бамбуковых трубках иссяк, и он испустил дух. Мексиканец снял с плеч легкий каркас. Его тучей облепили мальчишки, каждому хотелось потрогать великолепную голову из папье-маше и самые настоящие рога.

— Пойдем посмотрим быка, — сказал Уильям. Они проходили мимо входа в кафе, и тут Сьюзен увидела — на них смот-

рит тот человек, белокожий человек в белоснежном костюме, в голубой рубашке с голубым галстуком, лицо худощавое, загорелое. Волосы у него прямые, светлые, глаза голубые, и он в упор смотрит на них с Уильямом.

Она бы его не заметила, если б у его локтя не выстроилась батарея бутылок: пузатая бутылка мятного ликера, прозрачная бутылка вермута, графинчик коньяка и еще семь штук разных напитков и под рукой десяток неполных рюмок; неотрывно глядя на улицу, он потягивал то из одной рюмки, то из другой, порою жмурился от удовольствия и, смакуя, плотно сжимал тонкие губы. В другой руке у него дымилась гаванская сигара, и рядом на стуле лежали десятка два пачек турецких сигарет, шесть ящиков сигар и несколько флаконов одеколona.

— Билл...— шепнула Сьюзен.

— Спокойно,— сказал муж.— Это не то.

— Я видела его утром на площади.

— Идем, не оглядывайся. Давай осматривать быка. Вот так, теперь спрашивай.

— По-твоему, он Сыщик?

— Они не могли нас выследить!

— А вдруг?

— Отличный бык! — сказал Уильям владельцу сооружения из папье-маше.

— Неужели он гнался за нами по пятам через двести лет?

— Осторожней, ради Бога,— сказал Уильям.

Сьюзен пошатнулась. Он крепко сжал ее локоть и повел прочь.

— Держись.— Он улыбнулся, нельзя привлекать внимание.— Сейчас тебе станет лучше. Давай пойдем туда, в кафе, и выпьем у него перед носом, тогда, если он и правда то, что мы думаем, он ничего не заподозрит.

— Нет, не могу.

— Надо. Идем. Вот я и говорю Дэвиду: что за чепуха! — Последние слова он произнес в полный голос, когда они уже поднимались на веранду кафе.

Мы здесь, думала Сьюзен. Кто мы? Куда идем? Чего боимся? Начнем с самого начала,— говорила она себе, ступая по глинобитному полу.— Только бы не потерять рассудок.

Меня зовут Энн Кристен, моего мужа — Роджер. Мы из две тысячи сто пятьдесят пятого года. Мы жили в страшном мире. Он был точно огромный черный корабль, он покинул берега разума и цивилизации и мчался во тьму, трубя в черный рог, и уносил с собою два миллиарда людей, не спрашивая,

хотят они этого или нет, к гибели, за грань суши и моря, в пропасть радиоактивного пламени и безумия.

Они вошли в кафе. Тот человек не сводил с них глаз.

Где-то зазвонил телефон.

Сьюзен вздрогнула. Ей вспомнилось, как звонил телефон в Будущем, через двести лет, в голубое апрельское утро 2155 года, и она сняла трубку.

— Энн, это я, Рене! — раздалось тогда в трубке. — Слышала? Про Бюро путешествий во времени слышала? Можно ехать куда хочешь — в Рим за двести лет до Рождества Христова, к Наполеону под Ватерлоо, в любой век и в любое место!

— Ты шутишь, Рене.

— И не думаю. Клинтон Смит сегодня утром отправился в Филадельфию, в тысяча семьсот семьдесят шестой. Это Бюро все может. Деньги, конечно, бешеные. Но ты только подумай: увидеть своими глазами пожар Рима! И Кублай-хана¹, и Моисея, и Красное море! Проверь почту, наверно, и тебе уже прислали рекламу.

Она открыла пневматичку и вынула рекламное объявление на тонком листе фольги:

РИМ И СЕМЕЙСТВО БОРДЖИА! БРАТЬЯ РАЙТ НА «КИТТИ ХОУК»!

Бюро путешествий во времени обеспечит вас костюмами любой эпохи, перенесет в толпу очевидцев убийства Линкольна или Цезаря! Мы обучим вас любому языку, и вы легко освоитесь в какой угодно стране, в каком угодно году. Латынь, греческий, разговорный древнеамериканский — на выбор. Путешествие во времени — лучший отдых!

В трубке все еще жужжал голос Рене:

— Мы с Томом завтра отправляемся в тысяча четыреста девяносто второй. Ему обещали место на корабле Колумба. Изумительно, правда?

— Да, — пробормотала ошеломленная Энн. — А правительство как относится к этому Бюро с Машиной времени?

— Ну, полиция за ними присматривает. А то люди станут удирать от воинской повинности в Прошлое. На время поездки каждый обязан передать властям свой дом и все имущество в залог, что вернется. Не забудь, у нас война.

— Да, конечно, — повторила Энн. — Война.

Она стояла с телефонной трубкой в руках и думала: вот он, счастливый случай, о котором мы с мужем говорили и мечта-

ли столько лет! Нам совсем не нравится, как устроен мир в две тысячи сто пятьдесят пятом. Ему опостылело делать бомбы на заводе, мне — разводить в лаборатории смертоносных микробов, мы бы рады бежать от всего этого. Может быть, вот так нам удастся ускользнуть в глубь веков, в дебри прошлых лет, там нас никогда не разыщут, не вернут в мир, где жгут наши книги, обыскивают мысли, держат нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом, орут на нас по радио...

Они в Мексике, в 1938 году.

Сьюзен смотрела на размалеванную стену кафе.

Тем, кто хорошо работал на Государство Будущего, разрешалось во время отпуска развлекаться и отдохнуть в Прошлом. И вот они с мужем отправились в 1938 год, сняли комнату в Нью-Йорке, ходили по театрам, полюбовались на зеленую статую Свободы, которая все еще стояла в порту. А на третий день переменили одежду и имена и сбежали в Мексику!

— Конечно, это он, — прошептала Сьюзен, глядя на незнакомца за столиком. — Смотри, сигареты, сигары, бутылки. Они выдают его с головой. Помнишь наш первый вечер в Прошлом?

Месяц назад, перед тем как удрать, они провели свой первый вечер в Нью-Йорке, смаковали странные напитки, наслаждались непривычными яствами, купили уйму духов, перепробовали десятки марок сигарет — ведь в Будущем почти ничего нет, там все пожирает война. И они делали глупость за глупостью, бегали по магазинам, барам, табачным лавчонкам и возвращались к себе в номер в блаженном одурении, еле живые.

И этот незнакомец ведет себя ничуть не умнее — так может поступать только человек из Будущего, за долгие годы стосковавшийся по вину и табаку.

Сьюзен и Уильям сели за столик и спросили вина. Незнакомец так и сверлил их взглядом — как они одеты, как причесаны, какие на них драгоценности, изучал походку и движения.

— Сиди спокойно, — одними губами шепнул Уильям. — Держись так, будто ты в этом платье и родилась.

— Напрасно мы все это затеяли.

— О Господи, — сказал Уильям, — он идет сюда. Ты молчи, я сам с ним поговорю.

Незнакомец подошел и поклонился. Чуть слышно шелкнули каблуки. Сьюзен окаменела. Ох уж это истинно солдатское шелканье, его ни с чем не спутаешь, как и резкий, ненавистный стук в дверь среди ночи.

— Мистер Роджер Кристен,— сказал незнакомец,— вы не подтянули брюки, когда сели.

Уильям похолодел. Опустил глаза. У Сьюзен неистово колотилось сердце.

— Вы обознались,— поспешно сказал Уильям.— Моя фамилия не Крислер.

— Кристен,— поправил незнакомец.

— Меня зовут Уильям Трейвис. И я не понимаю, какое вам дело до моих брюк.

— Виноват.— Незнакомец придвинул себе стул.— Скажем так: я вас узнал именно потому, что вы не подтянули брюки. А все подтягивают. Если не подтягивать, они быстро вздуваются на коленях пузырями. Я заехал очень далеко от дома, мистер... Трейвис, и ищу, кто бы составил мне компанию. Моя фамилия Симс.

— Сочувствуем вам, мистер Симс, одному, конечно, скучно, но мы устали. Завтра мы уезжаем в Акапулько.

— Премилое местечко. Я как раз оттуда, разыскивал там друзей. Они где-то поблизости. Я их непременно отыщу... вашей супруге дурно?

— Спокойной ночи, мистер Симс.

Они пошли к выходу, Уильям крепко держал Сьюзен под руку. Симс крикнул вдогонку:

— Да, вот еще что...

Они не обернулись. Он чуть помедлил и отчетливо, раздельно произнес:

— Год две тысячи сто пятьдесят пятый.

Сьюзен закрыла глаза, земля уходила из-под ног. Как слепая, она вышла на сверкающую огнями площадь.

Они заперлись у себя в номере. И вот они стоят в темноте, и она плачет, и кажется, вот-вот на них обвалятся стены. А вдалеке с треском вспыхивает фейерверк, и с площади доносятся взрывы смеха.

— Такая наглость! — сказал Уильям.— Сидит и дымит сигаретами, черт бы его побрал, хлещет коньяк и оглядывает нас с головы до пят, как скотину. Надо было мне пристукнуть его на месте! — Голос Уильяма дрожал и срывался.— У него даже хватило нахальства сказать свое настоящее имя! Начальник сыскного бюро. И эта дурацкая история с брюками. Господи, ну почему я их не подтянул, когда сел! Для этой эпохи самый обычный жест, все их поддевают машинально. А я сел не так, как все, и он сразу насторожился: ага, человек не умеет обращаться с брюками! Видно, привык к воен-

ной форме или к полувоенной, как полагается в Будущем. Убить меня мало, я же выдал нас с головой!

— Нет, нет, виновата моя походка... эти высокие каблукки... И наши прически, стрижка... сразу видно, мы только-только от парикмахера. Мы такие неловкие, держимся неестественно, вот и бросаемся в глаза.

Уильям зажег свет.

— Он пока нас испытывает. Он еще не уверен... не совсем уверен. Значит, нельзя просто удрать. Тогда он будет знать наверняка. Мы преспокойно поедem в Акапулько.

— А может, он и так знает, просто забавляется, как кошка с мышью.

— С него станется. Время в его власти. Он может окопачиваться здесь сколько душе угодно, а потом доставит нас в Будущее ровно через минуту после того, как мы оттуда отбыли. Он может держать нас в неизвестности много дней и насмеяться над нами.

Сьюзен сидела на постели, вдыхая запах древесного угля и ладана — запах старины, — и утирала слезы.

— Они не поднимут скандала, как по-твоему?

— Не посмеют. Чтобы влпхнуть нас в Машину времени и отправить обратно, им нужно застать нас одних.

— Так вот же выход, — сказала Сьюзен. — Не будем оставаться одни, будем всегда на людях. Заведem кучу друзей и знакомых, станем ходить по базарам, останавлпваться в лучших отелях и в каждом городе, куда ни приедem, будем обращаться к властям и платить начальнику полиции, чтобы нас охраняли, а потом придумаем, как избавиться от Симса, — убьем его, переоденемся по-другому, хотя бы мексиканцами, и скроемся.

В коридоре послышались шаги. Они погасили свет и молча разделпсь. Шаги затпхлп вдаль. Где-то хлопнула дверь.

Сьюзен стояла в темноте у окна и смотрела на площадь.

— Значит, вон то здание — церковь?

— Да.

— Я часто думала, какие они были — церкви. Их давным-давно никто не видел. Может, пойдem завтра посмотрим?

— Конечно пойдem. Ложпсь-ка.

Они леглп, в комнате было темно.

Через полчаса зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказала Сьюзен.

И голос в трубке произнес:

— Сколько бы мыши ни прятались, кошка все равно их изловит.

Сьюзен опустила трубку и, вся похолодев, вытянулась на постели.

За стеной, в году тысяча девятьсот тридцать восьмом, кто-то играл на гитаре — одну песенку, другую, третью...

Ночью, протянув руку, она едва не коснулась года две тысячи сто пятьдесят пятого. Пальцы ее скользили по холодным волнам времени, словно по рифленому железу, она слышала мерный топот марширующих ног, миллионы оркестров ревели военные марши; перед глазами протянулись тысячи и тысячи сверкающих пробирок с болезнетворными микробами, она брала их в руки одну за другой — с ними она работала на гигантской фабрике Будущего; в пробирках притаились проказа, чума, брюшной тиф, туберкулез; а потом раздался оглушительный взрыв. Рука Сьюзен обуглилась и съежилась, ее отбросило чудовищным толчком, весь мир взлетел на воздух и рухнул, здания рассыпались в прах, люди истекли кровью и застыли. Исполинские вулканы, машины, вихри и лавины — все смолкло, и Сьюзен, всхлипывая, очнулась в постели в Мексике, за много лет до этой страшной минуты...

В конце концов им удалось забыться сном на час, не больше, а ни свет ни заря их разбудил скрежет автомобильных тормозов и гудки. Из-за железной решетки балкона Сьюзен выглянула на улицу — там только что остановились несколько легковых и грузовых машин с какими-то красными надписями, из них с шумом и гамом высыпали восемь человек. Вокруг собралась толпа мексиканцев.

— *Que pasa?*¹ — крикнула Сьюзен какому-то мальчонке.

Он прокричал ей в ответ. Сьюзен обернулась к мужу:

— Это американцы, они снимают здесь кинофильм.

— Любопытно, — откликнулся Уильям (он стоял под душем). — Давай посмотрим. По-моему, не стоит сегодня уезжать. Попробуем усыпить подозрения Симса. И поглядим, как делают фильмы. Говорят, в старину это было любопытное зрелище. Нам не худо бы немного отвлечься.

Отвлекись попробуй, подумала Сьюзен. При ярком свете солнца она на минуту совсем забыла, что где-то тут, в гостинице, сидит некто и курит несчетные сигареты и ждет. Глядя сверху на веселых, громогласных американцев, она чуть не закричала: «Помогите! Спрячьте меня, спасите! Перекрасьте мне глаза и волосы, переоденьте как-нибудь. Помогите же, я — из две тысячи сто пятьдесят пятого года!»

¹ Что происходит? (*исп.*)

Но нет, не крикнешь. Фирмой путешествий во времени заправляют не дураки. Прежде чем отправить человека в путь, они устанавливают у него в мозгу психическую блокаду. Никому нельзя сказать, где и когда ты на самом деле родился, и никому в Прошлом нельзя открыть что-либо о Будущем. Прошлое нужно охранять от Будущего, Будущее — от Прошлого. Без такой психической блокады ни одного человека не пустили бы свободно странствовать по столетиям. Будущее следует оберегать от каких-либо перемен, которые мог бы вызвать тот, кто путешествует в Прошлом. Как бы страстно Сьюзен этого ни хотела, она все равно не может сказать веселым людям там, на площади, кто она такая и каково ей сейчас.

— Позавтракаем? — предложил Уильям.

Завтрак подавали в огромной столовой. Всем одно и то же — яичницу с ветчиной. Тут было полно туристов. Появились приезжие киношники, их было восемь — шестеро мужчин и две женщины, они пересмеивались, с шумом отодвигали стулья. Сьюзен сидела неподалеку, и ей казалось — рядом с ними тепло и безопасно, она даже не испугалась, когда в столовую, попыхивая турецкой сигаретой, спустился мистер Симс. Он издали кивнул им, и Сьюзен кивнула в ответ и улыбнулась: он ничего им не сделает, ведь здесь эти восемь человек из кино да еще десятка два туристов.

— Тут эти актеры, — сказал Уильям. — Может, я попробую нанять двоих, скажу, что это для забавы, — пускай переоденутся в наше платье и укатят в нашей машине; выберем минуту, когда Симс не сможет видеть их лиц. Он часа три будет гоняться за ними, а мы тем временем сбежим в Мехико-сити. Там ему нас вовек не отыскать!

— Эй!

К ним наклонился толстяк, от него пахло вином.

— Да это американские туристы! — закричал он. — Ух как я рад, на мексиканцев мне уже смотреть тошно! — Он крепко пожал им обоим руки. — Идемте позавтракаем все вместе. Злосчастье любит большое общество. Я — Злосчастье, вот мисс Скорбь, это мистер и миссис Терпеть-не-можем-Мексику. Все мы ее терпеть не можем. Но мы тут делаем первые наброски для нашего треклятого фильма. Остальные приезжают завтра. Меня зовут Джо Мелтон. Я режиссер. Ну не паршивая ли страна! На улицах всюду похороны, люди мрут как мухи. Да что же вы? Присоединяйтесь к нам, порауйте нас!

Сьюзен и Уильям смеялись.

— Неужели я такой забавный? — спросил мистер Мелтон всех вообще и никого в отдельности.

— Просто чудо! — Сьюзен подседа к их компании.

Издали свирепо смотрел Симс. Сьюзен скорчила ему гримасу. Симс направился к ним между столиками.

— Мистер и миссис Трейвис, — окликнул он еще на ходу, — мы, кажется, собирались позавтракать втроем.

— Прошу извинить, — сказал Уильям.

— Подсаживайтесь, приятель, — сказал Мелтон. — Кто им друг, тот и мне приятель.

Симс принял приглашение. Актеры говорили все разом, и под общий говор Симс спросил вполголоса:

— Надеюсь, вы хорошо спали?

— А вы?

— Я не привык к пружинным матрасам, — проворчал Симс. — Но кое-чем удается себя вознаградить. Полночи я не спал, перепробовал кучу разных сигарет и всякой еды. Очень странно и увлекательно. Эти старинные грешки позволяют испытать целую гамму новых ощущений.

— Не понимаю, что вы такое говорите, — сказала Сьюзен.

— Все еще разыгрываете комедию, — усмехнулся Симс. — Бесплезно. И в толпе вам тоже не укрыться. Рано или поздно я поймаю вас без свидетелей. Терпения у меня достаточно.

— Послушайте, — вмешался багровый от выпитого Мелтон, — этот малый вам, кажется, докучает?

— Нет, ничего.

— Вы только скажите, я его живо отсюда вышвырну.

И Мелтон опять что-то заорал своим спутникам. А Симс под крики и смех продолжал:

— Итак, о деле. Целый месяц я вас выслеживал, гонялся за вами из города в город, весь вчерашний день потратил, чтоб вывести вас на чистую воду. Я бы попробовал избавить вас от наказания, но для этого вы без шума пойдете со мной и вернетесь к работе над ультраводородной бомбой.

— Надо же, за завтраком — об ученых материях, — заметил Мелтон, краем уха уловив последние слова.

— Подумайте об этом, — невозмутимо продолжал Симс. — Вам все равно не ускользнуть. Если вы меня убьете, вас выследят другие.

— Не понимаю, о чем вы.

— Да бросьте! — обозлился Симс. — Шевельните мозгами. Вы и сами понимаете, мы не можем позволить вам удраить. Тогда найдутся и еще охотники улизнуть в Прошлое. А нам нужны люди.

— Для ваших войн, — не выдержал Уильям.

— Билл!

— Ничего, Сьюзен. Будем говорить на его языке. Все уже ясно.

— Превосходно,— сказал Симс.— А то ведь какая потрясающая наивность — бежать от своего прямого долга!

— Это не долг, а крошечный ужас.

— Вздор. Всего лишь война.

— Про что это вы? — поинтересовался Мелтон.

Сьюзен была бы рада ему объяснить. Но она не могла пойти дальше общих рассуждений. Психическая блокада ничего другого не допускала. Вот и Симс, и Уильям сейчас, казалось бы, рассуждали общо и отвлеченно.

— Всего лишь! — говорил Уильям.— Бомбы, несущие проказу, убьют половину человечества!

— И тем не менее обитатели Будущего на вас в обиде,— возразил Симс.— Вы двое прячетесь, так сказать, на уютном островке в тропиках, а они летят прямо к черту в зубы. Смерти по вкусу не жизнь, а смерть. Умиравшим приятно, когда они умирают не одни. Все-таки утешение — знать, что в пекле и в могиле ты не одинок. Все они обижены на вас обоих, а я — глашатай их обиды.

— Видали такого глашатая обид? — воззвал Мелтон ко всей компании.

— Чем дольше вы заставляете меня ждать, тем хуже для вас. Вы нужны нам для работы над новой бомбой, мистер Трейвис. Вернетесь теперь же — обойдется без пыток. А станете тянуть — мы все равно заставим вас работать над бомбой, а когда кончите, испробуем на вас некоторые сложные и малоприятные новинки. Так-то, сэр.

— Есть предложение,— сказал Уильям.— Я вернусь с вами при условии, что моя жена останется здесь живая и невредимая, подальше от этой войны.

Симс поразмыслил.

— Ладно. Через десять минут ждите меня на площади. Я сяду к вам в машину. Отвезете меня за город, в какое-нибудь глухое местечко. Я позабочусь, чтоб там нас подобрала Машина времени.

— Билл! — Сьюзен стиснула руку мужа.

Он оглянулся:

— Не спорь. Решено.— И прибавил, обращаясь к Симсу: — Еще одно. Минувшей ночью вы могли забраться к нам в номер и утащить нас. Почему вы не воспользовались случаем?

— Допустим, я недурно проводил время,— лениво протянул Симс, посасывая очередную сигару.— Такая приятная передышка, южное солнце, экзотика, досадно со всем этим рас-

ставаться. Жалко отказываться от вина и сигарет. Еще как жалко! И так, через десять минут на площади. О вашей жене позаботятся, она вольна оставаться здесь сколько пожелает. Прощайтесь.

Он встал и вышел.

— Скатертью дорога, мистер Болтун! — завопил ему вдогонку Мелтон. Потом обернулся и поглядел на Сьюзен: — Э-э, кто-то плачет! Да разве за завтраком можно плакать? Куда это годится?

Ровно в четверть десятого Сьюзен стояла на балконе их номера и смотрела вниз, на площадь. Там, на бронзовой скамье тонкой работы, закинув ногу на ногу, сидел мистер Симс, складка его брюк была безупречна. Он откусил кончик новой сигары и с чувством закурил.

Сьюзен услышала рокот мотора — в дальнем конце мощной булыжником улицы выехал из гаража Уильям, машина медленно двинулась вниз по склону холма.

Она набирала скорость. Тридцать миль в час, сорок, пятьдесят. Куры на пути кидались врассыпную.

Симс снял белую панаму, отер платком покрасневший лоб, опять надел панаму, и тут он увидел машину.

Она неслась прямо на площадь со скоростью шестьдесят миль в час.

— Уильям! — вскрикнула Сьюзен.

Машина с грохотом налетела на обочину, подскочила и ринулась по плитам тротуара к позеленевшей от времени скамье. Симс выронил сигару, взвизгнул, отчаянно замахал руками. Удар. Симса подбросило... вверх, вверх... потом вниз, вниз... и тело нелепым узлом тряпья шмякнулось оземь.

Автомобиль остановился в дальнем конце площади, одно переднее колесо было исковеркано. Сбегался народ.

Сьюзен ушла в комнату, плотно затворила балконные двери.

В полдень они рука об руку спускались по ступеням мэрии, оба бледные, в лице ни кровинки.

— Adios, señor, — сказал им вслед мэр города. — Adios, señora¹.

Они остановились на площади, толпа все еще глазела на лужу крови.

— Тебя вызовут опять? — спросила Сьюзен.

— Нет, мы все выяснили во всех подробностях. Несчастный случай. Машина перестала слушаться. Я даже всплакнул

¹ До свидания, сеньор и сеньора (*исп.*).

там у них. Бог свидетель, я должен был хоть как-то отвести душу. Просто не мог сдержаться. Нелегко мне было его убить. В жизни никого не хотел убивать.

— Тебя не будут судить?

— Нет, собирались было, но раздумали. Я их убедил. Мне поверили. Это был несчастный случай. И кончено.

— Куда мы поедем? В Мехико-сити? В Уруапан?

— Машина сейчас в ремонте. Ее починят сегодня к четверем. Тогда вырвемся отсюда.

— А за нами не погонятся? По-твоему, Симс был один?

— Не знаю. Думаю, у нас есть немного форы.

Когда они подходили к своей гостинице, оттуда как раз высыпали киношники. Мелтон, хмуря брови, поспешил навстречу:

— Эй, я уже слышал, что стряслось. Вот неприятность! Но теперь все уладилось? Вам бы надо немного развлечься. Мы тут снимаем кое-какие уличные кадры. Хотите поглядеть? Идемте, вам полезно рассеяться.

И они пошли.

Пока устанавливали аппарат, Трейвисы стояли на булыжной мостовой. Сьюзен смотрела вдаль, на сбегавшую с горы дорогу, на шоссе, что вело в сторону Акапулько, к морю, мимо пирамид, и руин, и селений, где лачуги слеплены были из желтой, синей, лиловой глины и повсюду пламенели цветы бугенвиллеи, смотрела и думала: «Мы будем ездить с места на место, держаться всегда большой компанией, всегда на людях — на базаре, в гостинной, будем подкупать полицейских, чтоб ночевали поблизости, и запирались на двойные замки, но главное — всегда будем на людях, никогда больше не останемся наедине, и всегда будет страшно, что первый встречный — это еще один Симс. И никогда мы не будем уверены, что сумели провести сыщиков, сбили их со следа. А там, впереди, в Будущем, только того и ждут, чтобы поймать нас, вернуть, сжечь бомбами, сгноить чудовищными болезнями, ждет полиция, чтобы командовать, как дрессированными собачонками: “Служи! Перекувырни! Прыгай через обруч!” И нам придется всю жизнь удирать от погони, и никогда уже мы не сможем остановиться, передохнуть, спокойно спать по ночам».

Собралась толпа поглазеть, как снимают фильм. А Сьюзен взглядывалась в толпу и в ближние улицы.

— Заметила кого-нибудь подозрительного?

— Нет. Который час?

— Три. Машину, наверно, скоро починят.

Пробные съемки закончились без четверти четыре. Оживленно болтая, все направились к гостинице. Уильям по дороге заглянул в гараж. Вышел оттуда озабоченный:

— Машина будет готова в шесть.

— Но не позже?

— Нет, не волнуйся.

В вестибюле они осмотрелись — нет ли еще одиноких путешественников вроде мистера Симса, только-только от парикмахера, таких, что чересчур благоухают одеколоном и курят сигарету за сигаретой? Но тут было пусто. Когда поднимались по лестнице, Мелтон сказал:

— Утомительный выдался денек! Надо бы под занавес опрокинуть стаканчик, согласны? А вы, друзья? Коктейль? Пиво?

— Пожалуй.

Всей оравой ввалились в номер Мелтона, и началась пирушка.

— Следи за временем, — сказал Уильям.

Время, подумала Сьюзен. Если бы у нас было время! Как бы хорошо в октябре долгий погожий день сидеть на площади закрыв глаза, улыбаться оттого, что солнце так славно греет лицо и обнаженные руки, и не шевелиться, и ни о чем не думать, ни о чем не тревожиться. Хорошо бы уснуть под щедрым солнцем Мексики и спать сладко, уютно, беззаботно, день за днем...

Мелтон откупорил бутылку шампанского.

— Ваше здоровье, прекрасная леди! — сказал он Сьюзен, поднимая бокал. — Вы так хороши, что могли бы сниматься в кино. Пожалуй, я даже снял бы вас на пробу.

Сьюзен рассмеялась.

— Нет, я серьезно, — сказал Мелтон. — Вы очаровательны. Пожалуй, я сделаю из вас кинозвезду.

— И возьмете меня в Голливуд?

— Уж конечно, вам нечего торчать в этой проклятой Мексике!

Сьюзен мельком глянула на Уильяма, он приподнял бровь и кивнул. Это значит переменить место, обстановку, манеру одеваться, может быть, даже имя, и путешествовать в компании, восемь спутников — надежный щит от всякой угрозы из Будущего.

— Звучит очень соблазнительно, — сказала Сьюзен.

Шампанское слегка ударило ей в голову. День проходил незаметно; вокруг болтали, шумели, смеялись. Впервые за много лет Сьюзен чувствовала себя в безопасности, ей было так хорошо, так весело, она была счастлива.

— А для какой картины подойдет моя жена? — спросил Уильям, вновь наполняя бокал.

Мелтон окинул Сьюзен оценивающим взглядом. Остальные перестали смеяться и прислушались.

— Пожалуй, я создал бы повесть, полную напряжения, тревоги и неизвестности, — сказал Мелтон. — Повесть о супружеской чете, вот как вы двое.

— Так.

— Возможно, это будет своего рода повесть о войне, — продолжал режиссер, подняв бокал и разглядывая вино на свет.

Сьюзен и Уильям молча ждали.

— Повесть о муже и жене, они живут в скромном домике, на скромной улице, году, скажем, в две тысячи сто пятьдесят пятом, — говорил Мелтон. — Все это, разумеется, приблизительно. Но в жизнь этих двоих входит грозная война — ультраводородные бомбы, военная цензура, смерть, и вот — в этом вся соль — они удирают в Прошлое, а за ними по пятам следует человек, который им кажется воплощением зла, а на самом деле лишь стремится пробудить в них сознание долга.

Бокал Уильяма со звоном упал на пол.

— Наша чета, — продолжал Мелтон, — ищет убежища в компании киноактеров, к которым они прониклись доверием. Чем больше народу, тем безопаснее, думают они.

Сьюзен без сил поникла на стуле. Все неотрывно смотрели на режиссера. Он отпил еще глоток шампанского.

— Ах какое вино! Да, так вот, наши супруги, видимо, не понимают, что они необходимы Будущему. Особенно муж, от него зависит создание металла для новой бомбы. Поэтому Сыщики — назовем их хоть так — не жалеют ни сил, ни расходов, лишь бы выследить мужа и жену, захватить их и доставить домой, а для этого нужно застать их одних, без свидетелей, в номере гостиницы. Тут хитрая стратегия. Сыщики действуют либо в одиночку, либо группами по восемь человек. Не так, так эдак, а они своего добьются. Может получится увлекательнейший фильм, правда, Сьюзен? Правда, Билл? — И он допил вино.

Сьюзен сидела как каменная, глядя в одну точку.

— Выпейте еще, — предложил Мелтон.

Уильям выхватил револьвер и выстрелил три раза подряд, один из мужчин упал, остальные кинулись на Уильяма. Сьюзен отчаянно закричала. Чья-то рука зажала ей рот. Револьвер валялся на полу, Уильям отбивался, но его уже держали.

Мелтон стоял на прежнем месте, по его пальцам текла кровь.

— Прошу вас, — сказал он, — не усугубляйте своей вины.

Кто-то забарабанил в дверь:

— Откройте!

— Это управляющий, — сухо сказал Мелтон. Вскинул голову и скомандовал своим: — За дело! Быстро!

— Откройте! Я вызову полицию!

Сьюзен и Уильям переглянулись, посмотрели на дверь...

— Управляющий желает войти, — сказал Мелтон. — Быстрее!

Выдвинули аппарат. Из него вырвался голубоватый свет и залил комнату. Он ширился, и спутники Мелтона исчезали один за другим.

— Быстрее!

За миг до того, как исчезнуть, Сьюзен взглянула в окно — там была зеленая лужайка, лиловые, желтые, синие, алые стены; струилась, как река, бульжная мостовая; среди опаленных солнцем холмов ехал крестьянин верхом на ослике; мальчик пил апельсиновый сок, и Сьюзен ощутила вкус душистого напитка; на площади в тени дерева стоял человек с гитарой, и Сьюзен ощутила под пальцами струны; вдали виднелось море — синее, ласковое, — и волны подхватили ее и понесли.

И она исчезла. И муж ее исчез.

Дверь распахнулась. В номер ворвались управляющий и несколько служащих гостиницы.

Комната была пуста.

— Но они только что были тут! Я сам видел, как они пришли, а теперь — никого! — закричал управляющий. — Через окно никто удрать не мог, на окнах железные решетки!

Под вечер пригласили священника, снова открыли комнату, проветрили, и священник окропил все углы святой водой и прочитал молитву.

— А с этим что делать? — спросила горничная. И показала на стенной шкаф — там теснились 67 бутылок вина: шартрез, коньяк, ликер «Steme de саsао», абсент, вермут, текила, а кроме того, 106 пачек турецких сигарет и 198 желтых коробок с отличными гаванскими сигарами по пятьдесят центов штука...

Превращение

Ну и запах тут, подумал Рокуэл. От Макгайра несет пивом, от Хартли — усталой, давно не мытой плотью, но хуже всего острый, будто от насекомого, запах, исходящий от Смита, чье обнаженное тело, обтянутое зеленой кожей, застыло на

столе. И ко всему еще тянет бензином и смазкой от непонятного механизма, поблескивающего в углу тесной комнатухи.

Этот Смит — уже труп. Рокуэл с досадой поднялся, спрятал стетоскоп.

— Мне надо вернуться в госпиталь. Война, работы по горло. Сам понимаешь, Хартли. Смит мертв уже восемь часов. Если хочешь еще что-то выяснить, вызови прозектора, пускай вскрыют...

Он не договорил — Хартли поднял руку. Костлявой трясущейся рукой показал на тело Смита — на тело, сплошь покрытое жесткой зеленой скорлупой.

— Возьми стетоскоп, Рокуэл, и послушай еще раз. Еще только раз. Пожалуйста.

Рокуэл хотел было отказаться, но раздумал, снова сел и достал стетоскоп. Собратьям-врачам надо уступать. Прижимаешь стетоскоп к зеленому окоченелому телу, притворяешься, будто слушаешь...

Тесная полутемная комнатуха вокруг него взорвалась. Взорвалась единственным зеленым холодным содроганием. Словно по барабанным перепонкам ударили кулаки. Его ударило. И пальцы сами собой отдернулись от распростертого тела.

Он услышал дрожь жизни.

В глубине этого темного тела один только раз ударило сердце. Будто отдалось далекое эхо в морской пучине.

Смит мертв, не дышит, заостенел. Но внутри этой мумии сердце живет. Живет, встрепенулось, будто еще не рожденный младенец.

Пальцы Рокуэла, искусные пальцы хирурга, старательно ощупывают мумию. Он наклонил голову. В неярком свете волосы кажутся совсем темными, кое-где поблескивает седина. Славное лицо, открытое, спокойное. Ему около тридцати пяти. Он слушает опять и опять, на гладко выбритых щеках проступает холодный пот. Невозможно поверить такой работе сердца.

Один удар за тридцать пять секунд.

А дыхание Смита — как этому поверить? — один вздох за четыре минуты. Движение грудной клетки неуловимо. Ну а температура?

Шестьдесят¹.

Хартли засмеялся. Не очень-то приятный смех. Больше похожий на заблудшее эхо. Сказал устало:

— Он жив. Да, жив. Несколько раз он меня едва не одурачил. Я вводил ему адреналин, пытался ускорить пульс, но это

¹ По Фаренгейту, то есть около 16 °С.

не помогало. Уже три месяца он в таком состоянии. Больше я не в силах это скрывать. Потому я тебе и позвонил, Рокуэл. Он... это что-то противоестественное.

Да, это просто невозможно — и как раз поэтому Рокуэла охватило непонятное волнение. Он попытался поднять веки Смита. Безуспешно. Их затинуло кожей. И губы срослись. И ноздри. Воздуху нет доступа...

— И все-таки он дышит...

Рокуэл и сам не узнал своего голоса. Выронил стетоскоп, поднял и тут заметил, как дрожат руки.

Хартли встал над столом — высокий, тощий, измученный.

— Смит совсем не хотел, чтобы я тебя вызвал. А я не послушался. Смит предупредил, чтобы я тебя не вызывал. Всего час назад.

Темные глаза Рокуэла вспыхнули, округлились от изумления.

— Как он мог предупредить? Он же недвижим.

Исхудалое лицо Хартли — заострившиеся черты, упрямый подбородок, сощуренные в щелку глаза — болезненно передернулось.

— Смит... *думает*. Я знаю его мысли. Он боится, как бы ты его не разоблачил. Он меня ненавидит. За что? Я хочу его убить, вот за что. Смотри.— Он неуклюже полез в карман своего мягкого, покрытого пятнами пиджака, вытащил блеснувший вороненой сталью револьвер:

— На, Мэрфи. Возьми, пока я не продырявил этот гнусный полутруп!

Макгайр попятился, на круглом красном лице — испуг.

— Терпеть не могу оружие. Возьми ты, Рокуэл.

Рокуэл приказал резко, голосом беспощадным, как скальпель:

— Убери револьвер, Хартли. Ты три месяца проторчал возле этого больного, вот и дошел до психического срыва. Выспись, это помогает.— Он провел языком по пересохшим губам.— Что за болезнь подхватил Смит?

Хартли пошатнулся. Пошевелил непослушными губами. Засыпает стоя, понял Рокуэл. Не сразу Хартли удалось выговорить:

— Он не болен. Не знаю, что это такое. Только я на него зол, как мальчишка злится, когда в семье родился еще ребенок. Он не такой... неправильный. Помогите мне. Ты мне можешь, а?

— Да, конечно,— Рокуэл улыбнулся.— У меня в пустыне санаторий, самое подходящее место, там его можно основательно исследовать. Ведь Смит... это же самый невероятный

случай за всю историю медицины! С человеческим организмом такого просто не бывает!

Хартли прицелился из револьвера ему в живот.

— Стоп. Стоп. Ты... ты не просто упрячешь Смита по-дальше, это не годится! Я думал, ты мне поможешь. Он зло-вредный. Его надо убить. Он опасен! Я знаю, он опасен!

Рокуэл прищурился. У Хартли явно неладно с психикой. Сам не знает, что говорит. Рокуэл расправил плечи, теперь он холоден и спокоен.

— Попробуй выстрелить в Смита, и я отдам тебя под суд за убийство. Ты надорвался и умственно и физически. Убери револьвер.

Они в упор смотрели друг на друга.

Рокуэл неторопливо подошел, взял у Хартли оружие, дру-жески похлопал по плечу и передал револьвер Мэрфи — тот посмотрел так, будто ждал, что револьвер сейчас его укусит.

— Позвони в госпиталь, Мэрфи. Я там не буду неделю. Может быть, дольше. Предупреди, что я занят исследования-ми в санатории.

Толстая красная физиономия Мэрфи сердито скривилась.

— А что мне делать с пистолетом?

Хартли стиснул зубы, процедил:

— Возьми его себе. погоди, еще сам захочешь пустить его в ход.

Рокуэлу хотелось кричать, возвестить всему свету, что у него в руках — невероятная, невиданная в истории человеческая жизнь. Яркое солнце освещало палату санатория; Смит, без-молвный, лежал на столе, красивое лицо его застыло бесстра-стной зеленой маской.

Рокуэл неслышными шагами вошел в палату. Прижал сте-тоскоп к зеленой груди. Получалось то ли царапанье, то ли негромкий скрежет, будто металл касается панциря огромно-го жука.

Поодаль стоял Макгайр, недоверчиво оглядывал недвиж-ное тело, благоухал недавно выпитым в изобилии пивом.

Рокуэл сосредоточенно вслушивался.

— Наверно, в машине скорой помощи его сильно растряс-ло. Не следовало рисковать...

Рокуэл вскрикнул.

Макгайр, волоча ноги, подошел к нему:

— Что случилось?

— Случилось? — Рокуэл в отчаянии огляделся. Сжал ку-лак. — Смит умирает!

— С чего ты взял? Хартли говорил, Смит просто прикидывается мертвым. Он и сейчас тебя дурачит...

— Нет! — Рокуэл выбивался из сил над бессловесным телом, пытался впрыснуть лекарство. Любое. И ругался на чем свет стоит. После всей этой мороки потерять Смита невозможно. Нет, только не теперь!

А там, внутри, под зеленым панцирем тело Смита содрогалось, билось, корчило, охваченное непостижимым бешенством, и казалось, в глубине глухо рычит пробудившийся вулкан.

Рокуэл пытался сохранить самообладание. Смит — случай особый. Обычные приемы скорой помощи не действуют. Как же тут быть? Как?

Он смотрит остановившимся взглядом. Окостенелое тело блестит в ярких солнечных лучах. Жаркое солнце. Сверкает, горит на стетоскопе. Солнце. Рокуэл смотрит, а за окном наплывают облака, солнце скрылось. В комнате стало темнее. И тело Смита затихает. Вулкан внутри успокоился.

— Макгайр! Опустит шторы! Скорей, пока не выглянуло солнце!

Макгайр повиновался.

Сердце Смита замедляет ход, удары его опять ленивы и редки.

— Солнечный свет Смицу вреден. Чему-то он мешает. Не знаю, отчего и почему, но это ему опасно... — Рокуэл вздыхает с облегчением. — Господи, только бы не потерять его. Только бы не потерять. Он какой-то не такой, он создает свои правила, что-то он делает такое, чего еще не делал никто. Знаешь что, Мэрфи?

— Ну?

— Смит вовсе не в агонии. И не умирает. И вовсе ему не лучше умереть, что бы там ни говорил Хартли. Вчера вечером, когда я его укладывал на носилки, чтобы везти в санаторий, я вдруг понял: Смицу я по душе.

— Брр! Сперва Хартли. Теперь ты. Смит тебе сам это сказал, что ли?

— Нет, не говорил. Но под этой своей скорлупой он не без сознания. Он все сознает. Да, вот в чем суть. Он все сознает.

— Просто-напросто он в столбняке. Он умрет. Больше месяца он живет без пищи. Это Хартли сказал. Хартли сперва хоть что-то вводил ему внутривенно, а потом кожа так затвердела, что уже не пропускала иглу.

Дверь одноместной палаты медленно, со скрипом отворилась. Рокуэл вздрогнул. На пороге, выпрямившись во весь немалый рост, стоял Хартли; после нескольких часов сна ко-

лучшее лицо его стало спокойнее, но серые глаза смотрели все так же зло и враждебно.

— Выйдите отсюда, и я в два счета покончу со Смитом,— негромко сказал он.— Ну?

— Ни с места,— сердито приказал Рокуэл, подходя к нему.— Каждый раз, как явишься, вынужден буду тебя обыскивать. Прямо говорю: я тебе не доверяю.— Оружия у Хартли не оказалось.— Почему ты меня не предупредил насчет солнечного света?

— Как? — тихо, не сразу прозвучало в ответ.— А... да. Я забл. На первых порах я пробовал передвигать Смита. Он оказался на солнце и стал умирать всерьез. Понятно, больше я не трогал его с места. Похоже, он смутно понимал, что ему предстоит. Может, даже сам это задумал, не знаю. Пока он не заостенел окончательно и еще мог говорить и есть, аппетит у него был волчий, и он предупредил, чтоб я три месяца не трогал его с места. Сказал, что хочет оставаться в тени. Что солнце все испортит. Я думал, он меня разыгрывает. Но он не шутил. Ел жадно, как зверь, как голодный дикий зверь, потом впал в оцепенение — и вот, полюбуйтеесь...— Хартли невнятно выругался.— Я-то надеялся, ты оставишь его подольше на солнце и нечаянно угровишь.

Макгайр всколыхнулся всей своей тушей — двести пятьдесят фунтов.

— Слушайте... а вдруг мы заразимся этой Смитовой болезнью?

Хартли смотрел на неподвижное тело, зрачки его сузились.

— Смит не болен. Неужели не понимаешь, тут же прямые признаки вырождения. Это как рак. Им не заражаешься, это в роду и передается по наследству. Сперва у меня не было к Смицу ни страха, ни ненависти, это пришло только неделю назад,— тогда я убедился, что он дышит, и существует, и процветает, хотя ноздри и рот замкнуты наглухо. Так не бывает. Так не должно быть.

— А вдруг и ты, и я, и Рокуэл тоже станем зеленые и эта чума охватит всю страну, тогда как? — дрожащим голосом выговорил Макгайр.

— Тогда, если я ошибаюсь — может быть, и ошибаюсь,— я умру,— сказал Рокуэл.— Только меня это ни капельки не волнует.

Он повернулся к Смицу и продолжал делать свое дело.

Колокол звонит. Колокол. Два, два колокола. Десять колоколов, сто. Десять тысяч, миллион оглушительных, гремящих, лязгающих металлом колоколов. Все разом ворвались в

тишину, воют, режут, отдаются мучительным эхом, раздрают уши!

Звенят, поют голоса, громкие и тихие, высокие и низкие, глухие и пронзительные. Бьют по скорлупе громадные хлопучки, в воздухе несмолкаемый грохот и треск!

Под трезвон колоколов Смит не сразу понимает, где же он. Он знает, ему ничего не увидеть — веки замкнуты, знает, ничего ему не сказать — губы срослись. И уши тоже запечатаны, а колокола все равно оглушают.

Видеть он не может. Но нет, все-таки может, и кажется — перед ним тесная багровая пещера, словно глаза обращены внутрь мозга. Он пробует шевельнуть языком, пытается крикнуть и вдруг понимает — язык пропал, там, где всегда был язык, пустота, шемящая пустота будто жаждет вновь его обрести, но сейчас — не может.

Нет языка. Странно. Почему? Смит пытается остановить колокола. И они останавливаются, блаженная тишина окутывает его прохладным покрывалом. Что-то происходит. Происходит.

Смит пробует шевельнуть пальцем, но палец не повинуется. И ступня тоже, нога, пальцы ног, голова — ничто не слушается. Ничем не шевельнешь. Ноги, руки, все тело — недвижимы, застыли, скованы, будто в бетонном гробу.

И еще через минуту страшное открытие: он больше не дышит. По крайней мере, легкими.

— *Потому что у меня больше нет легких!* — вопит он. Вопит где-то внутри, и этот мысленный вопль захлестнуло, опутало, скомкало и дремотно повлекло куда-то в глубину темной багровой волной. Багровая дремотная волна обволокла беззвучный вопль, скрутила и унесла прочь, и Смицу стало спокойнее.

«Я не боюсь, — подумал он. — Я понимаю непонятное. Понимаю, что вовсе не боюсь, а почему — не знаю.

Ни языка, ни ноздрей, ни легких.

Но потом они появятся. Да, появятся. Что-то... что-то происходит».

В поры замкнутого в скорлупе тела проникает воздух, будто каждую его частицу покалывают струйки живительного дождя. Дышишь мириадами крохотных жабер, вдыхаешь кислород и азот, водород и уголекислоту, и все идет впрок. Удивительно. А сердце как — бьется еще или нет?

Да, бьется. Медленно, медленно, медленно. Смутный, багровый ропот возникает вокруг, поток, река... медленная, еще медленней, еще. Так славно.

Так отдохновенно.

Дни сливаются в недели, и быстрее складываются в цельную картину разрозненные куски головоломки. Помогает Макгайр. В прошлом хирург, он уже многие годы у Рокуэла секретарем. Не Бог вещь какая подмога, но славный товарищ.

Рокуэл заметил, что хоть Макгайр ворчливо подшучивает над Смитом, но спокоен, даже очень. Силится сохранить спокойствие. А потом однажды притих, призадумался — и сказал неторопливо:

— Вот что, я только сейчас сообразил: Смит живой! Должен бы помереть. А он живой. Вот так штука!

Рокуэл расхохотался:

— А какого черта, по-твоему, я тут орудую? На той неделе доставлю сюда рентгеновский аппарат, посмотрю, что творится внутри Смитовой скорлупы.

Он ткнул иглой шприца в эту жесткую скорлупу. Игла сломалась. Рокуэл сменил иглу, потом еще одну и наконец проткнул скорлупу, взял кровь и принялся изучать образцы под микроскопом. Спустя несколько часов он преспокойно сунул результаты проб Макгайру под самый его красный нос, заговорил быстро:

— Просто не верится. Его кровь смертельна для микробов. Понимаешь, я капнул взвесь стрептококков, и за восемь секунд они все погибли! Можно ввести Смиту какую угодно инфекцию — он любую бактерию уничтожит, он ими лакомится!

За считанные часы сделаны были и еще открытия. Рокуэл лишился сна, ночью ворочался в постели с боку на бок, продумывал, передумывал, опять и опять взвешивал потрясающие догадки. К примеру. С тех пор как Смит заболел и до последнего времени Хартли каждый день вводил ему внутривенно какое-то количество кубиков питательной сыворотки. **НИ ГРАММА ЭТОЙ ПИЩИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО.** Вся она сохраняется про запас — и не в жировых отложениях, а в совершенно неестественном виде: это какой-то очень насыщенный раствор, неведомая жидкость, содержащаяся у Смита в крови. Одной ее унции довольно, чтобы питать человека целых три дня. Эта удивительная жидкость движется в кровеносных сосудах, а едва организм ощутит в ней потребность, он тотчас ее усваивает. Гораздо удобнее, чем запасы жира. Несравнимо удобнее!

Рокуэл ликовал — вот это открытие! В теле Смита накопилось этого икс-раствора столько, что хватит на многие месяцы. Он не нуждается в пище извне.

Услыхав это, Макгайр печально оглядел свое солидное брюшко:

— Вот бы и мне так...

Но это еще не все. Смит почти не нуждается в воздухе. А нужное ему количество впитывает, видимо, прямо сквозь кожу. И усваивает до последней молекулы. Никаких отходов.

— И ко всему, — закончил Рокуэл, — в последнем счете Смит, пожалуй, вовсе не надо будет, чтоб у него билось сердце, он и так обойдется!

— Тогда он умрет.

— Для нас с тобой — да. Для самого себя — может быть. А может, и нет. Ты только вдумайся, Макгайр. Что такое сейчас Смит? Замкнутая кровеносная система, которая сама собою очищается, месяцами не требует питания извне, почти не знает перебоев и совсем ничего не теряет, ибо с пользой усваивает каждую молекулу; система саморазвивающаяся и прочно защищенная, убийственная для любых микробов. И при всем при этом Хартли еще говорит о вырождении!

Хартли принял открытие с досадой. И твердил свое: Смит перестает быть человеком. Он выродок и опасен.

Макгайр еще подлил масла в огонь:

— Почему знать, может, возбудителя этой болезни и в микроскоп не увидишь, а он, расправляясь со своей жертвой, заодно уничтожает все другие микробы. Ведь прививают иногда малярию, чтобы излечить сифилис; отчего бы новой неведомой бацилле не пожрать все остальные?

— Довод веский, — сказал Рокуэл. — Но мы-то не заболели?

— Может быть, эта бактерия уже в нас, только ей нужен какой-то инкубационный период.

— Типичное рассуждение старомодного эскулапа. Что бы с человеком ни случилось, раз он не вмещается в привычные рамки, значит, болен, — возразил Рокуэл. — Кстати, это твоя мысль, Хартли, а не моя. Врачи не успокоятся, пока не поставят в каждом случае диагноз и не наклеят ярлычок. Так вот, по-моему, Смит здоров, до того здоров, что ты его боишься.

— Ты спятил, — сказал Макгайр.

— Возможно. Только Смит, я думаю, вовсе не требуется вмешательство медицины. Он сам себя спасает. По-вашему, это вырождение. А по-моему, рост.

— Да ты посмотри на его кожу! — почти простонал Макгайр.

— Овца в волчьей шкуре. Снаружи — жесткий, ломкий покров. Внутри — упорядоченная перестройка, преобразование. Почему? Я начинаю догадываться. Эти внутренние перемены в Смите так бурны, что им нужна защита, броня. А ты мне вот что скажи, Хартли, только честно: боялся ли ты в детстве насекомых — пауков и всякой такой твари?

— Да.

— То-то и оно. У тебя фобия, врожденный страх и отвращение, и все это обратилось на Смита. Поэтому тебе и противна перемена в нем.

В последующие недели Рокуэл подробно разузнал о прошлом Смита. Побывал в лаборатории электроники, где тот работал, пока не заболел. Дотошно исследовал комнату, где Смит под присмотром Хартли провел первые недели своей «болезни». Тщательно изучил стоящий в углу аппарат. Что-то связанное с радиацией.

Уезжая из санатория, Рокуэл надежно запер Смита в палате и к двери приставил стражем Макгайра на случай, если у Хартли появятся какие-нибудь завиральные мысли.

Смиту двадцать три года, и жизнь у него была самая простая. Пять лет проработал в лаборатории электроники. Никогда серьезно не болел.

Шли дни. Рокуэл пристрастился к долгим одиноким прогулкам вдоль соседнего пересохшего ручья. Так он выкраивал время подумать, обосновать невероятную теорию, что складывалась у него все отчетливей.

А однажды остановился у куста жасмина, цветущего ночами подле санатория, поднялся на цыпочки и, улыбаясь, снял с высокой ветки что-то темное, поблескивающее. Осмотрел и сунул в карман. И прошел в дом.

Он позвал с веранды Макгайра. Тот пришел. За ним, бормоча вперемежку жалобы и угрозы, плелся Хартли. Все трое сели в приемной.

И Рокуэл заговорил:

— Смит не болен. В его организме не выжить ни одной бактерии. И никакие дьяволы, бесы и злые духи в него не вселились. Упоминаю об этом в доказательство, что перебрал все мыслимые и немыслимые возможности. И любой диагноз любых обычных болезней отбрасываю. Предлагаю гораздо более важную и наиболее приемлемую возможность — замедленную наследственную мутацию.

— Мутацию? — не своим голосом переспросил Макгайр.

Рокуэл поднял и показал нечто темное, поблескивающее на свету.

— Вот что я нашел в саду, на кусте. Отлично подтверждает мою теорию. Я изучил состояние Смита, осмотрел его лабораторию, исследовал несколько вот этих штучек, — он повертел в пальцах темный маленький предмет. — И я уверен. Это метаморфоза. Перерождение, видоизменение, мутация — не до, а после появления на свет. Вот. Держи. Это и есть Смит.

И он кинул темную вещичку Хартли. Хартли поймал ее на лету.

— Это же куколка,— сказал Хартли.— Бывшая гусеница.

Рокуэл кивнул:

— Вот именно.

— Так что же, ты воображаешь, будто Смит тоже... куколка?!

— Убежден,— сказал Рокуэл.

Вечером, в темноте, Рокуэл склонился над телом Смита. Макгайр и Хартли сидели в другом конце палаты, молчали, прислушивались. Рокуэл осторожно ощупывал тело.

— Предположим, жить — значит не только родиться, протянуть семьдесят лет и умереть. Предположим, что в своем бытии человек должен шагнуть на новую, высшую ступень,— и Смит первый из всех нас совершает этот шаг. Мы смотрим на гусеницу и, как нам кажется, видим некую постоянную величину. Однако она превращается в бабочку. Почему? Никакие теории не дают исчерпывающего объяснения. Она развивается, вот что важно. Самое существенное: нечто будто бы неизменное превращается в нечто другое, промежуточное, совершенно неузнаваемое — в куколку, а из нее выходит бабочкой. С виду куколка мертва. Это маскировка, способ сбить со следа. Поймите, Смит сбил нас со следа. С виду он мертв. А внутри все соки клокочут, перестраиваются, бурно стремятся к одной цели. Личинка оборачивается москитом, гусеница бабочкой... а чем станет Смит?

— Смит — куколка? — Макгайр невесело засмеялся.

— Да.

— С людьми так не бывает.

— Перестань, Макгайр. Ты, видно, не понимаешь, эволюция совершает великий шаг. Осмотри тело и дай какое-то другое объяснение. Проверь кожу, глаза, дыхание, кровообращение. Неделями он запасал пищу, чтобы погрузиться в спячку в этой своей скорлупе. Почему он так жадно и много ел, зачем копил в организме некий икс-раствор, если не для этого перевоплощения? А всему причиной — излучение. Жесткое излучение в Смитовой лаборатории. Намеренно он облучался или случайно, не знаю. Но затронута какая-то ключевая часть геномной структуры, часть, предназначенная для эволюции человеческого организма, которой, может быть, предстояло включиться только через тысячи лет.

— Так что же, по-твоему, когда-нибудь все люди?..

— Личинка стрекозы не остается навсегда в болоте, кладка жука — в почве, а гусеница — на капустном листе. Они видо-

изменяются и вылетают на простор. Смит — это ответ на извечный вопрос: что будет дальше с людьми, к чему мы идем? Перед нами неодолимой стеной встает вселенная, в этой вселенной мы обречены существовать, и человек, такой, каков он сейчас, не готов вступить в эту вселенную. Малейшее усилие утомляет его, чрезмерный труд убивает его сердце, недуги разрушают тело. Возможно, Смит сумеет ответить философам на вопрос, в чем смысл жизни. Возможно, он придаст ей новый смысл. Ведь все мы, в сущности, просто жалкие насекомые и суедемся на ничтожно маленькой планете. Не для того существует человек, чтобы вечно прозябать на ней, оставаться хилым, жалким и слабым, но будущее для него пока еще тайна, слишком мало он знает. Но измените человека! Сделайте его совершенным. Сделайте... сверхчеловека, что ли. Избавьте его от умственного убожества, дайте ему полностью овладеть своим телом, нервами, психикой; дайте ясный, пронизательный ум, неутомимое кровообращение, тело, способное месяцами обходиться без пищи извне, освоиться где угодно, в любом климате, и побороть любую болезнь. Освободите человека от оков плоти, от бедствий плоти, и вот он уже не злосчастное ничтожество, которое страшится мечтать, ибо знает, что хрупкое тело помешает ему осуществить мечты, — и тогда он готов к борьбе, к единственной подлинно стоящей войне. Заново рожденный человек готов противостоять всей, черт ее подери, вселенной!

Рокуэл задохнулся, охрип, сердце его неистово колотилось; он склонился над Смитом, бережно, благоговейно приложил ладони к холодному недвижному панцирю и закрыл глаза. Сила, властная тяга, твердая вера в Смита переполняли его. Он прав. Прав. Он это знает. Он открыл глаза, посмотрел на Хартли и Макгайра — всего лишь тени в полутьме палаты, при завешенном окне.

Короткое молчание, потом Хартли погасил свою сигарету.

— Не верю я в эту теорию.

А Макгайр сказал:

— Почему ты знаешь, может быть, все нутро Смита обратилось в кашу? Делал ты рентгеновский снимок?

— Нет, это рискованно — вдруг помешает его превращению, как мешал солнечный свет.

— Так, значит, он становится сверхчеловеком? И как же это будет выглядеть?

— Поживем — увидим.

— По-твоему, он слышит, что мы про него сейчас говорим?

— Слышит ли, нет ли, ясно одно: мы узнали секрет, который нам знать не следовало. Смит вовсе не желал посвящать в это меня и Макгайра. Ему пришлось как-то к нам приспособиться. Но сверхчеловек не может хотеть, чтобы все вокруг о нем узнали. Люди слишком ревнивы и завистливы, полны ненависти. Смит знает: если тайна выйдет наружу, это для него опасно. Может быть, отсюда и твоя ненависть к нему, Хартли.

Все замолчали, прислушиваются. Тишина. Только шумит кровь в висках Рокуэла. И вот он, Смит — уже не Смит, но некое вместилище с пометкой «Смит», а что в нем — неизвестно.

— Если ты не ошибаешься, нам, безусловно, надо его уничтожить, — заговорил Хартли. — Подумай, какую он получит власть над миром. И если мозг у него изменился в ту сторону, как я думаю... тогда, как только он выйдет из скорлупы, он постарается нас убить, потому что мы одни про него знаем. Он нас возненавидит за то, что мы провели его секрет.

— Я не боюсь, — беспечно сказал Рокуэл.

Хартли промолчал. Шумное хриплое дыхание его наполняло комнату. Рокуэл обошел вокруг стола, махнул рукой:

— Пойдемте-ка все спать, пора, как по-вашему?

Машину Хартли скрыла завеса мелкого морозящего дождя. Рокуэл запер входную дверь, распорядился, чтобы Макгайр в эту ночь спал на раскладушке внизу, перед палатой Смита, а сам поднялся к себе и лег.

Раздеваясь, он снова мысленно перебирал невероятные события последних недель. Сверхчеловек. А почему бы и нет? Волевой, сильный...

Он улегся в постель.

Когда же? Когда Смит «вылупится» из своей скорлупы? Когда?

Дождь тихонько шуршал по крыше санатория.

Макгайр дремал на раскладушке под ропот дождя и грохот грома, слышалось его шумное, тяжелое дыхание. Где-то скрипнула дверь, но он дышал все так же ровно. По прихожей пронесся порыв ветра. Макгайр всхрипнул, повернулся на другой бок. Тихо затворилась дверь, сквозняк прекратился.

Смягченные толстым ковром тихие шаги. Медленные шаги, опасливые, крадущиеся, настороженные. Шаги. Макгайр мигнул, открыл глаза.

В полутьме кто-то над ним наклонился.

Выше, на площадке лестницы, горит одинокая лампочка, желтоватая полоска света протянулась рядом с койкой Макгайра.

В нос бьет резкий запах раздавленного насекомого. Шевельнулась чья-то рука. Кто-то силится заговорить.

У Макгайра вырвался дикий вопль.

Рука, что протянулась в полосу света, зеленая.

Зеленая!

— Смит!

Тяжело топя, Макгайр с криком бежит по коридору:

— Он ходит! Не может ходить, а ходит!

Всей тяжестью он налетает на дверь, и дверь распаивается. Дождь и ветер со свистом набрасываются на него, он выбегае в бую, бессвязно, бессмысленно бормочет.

А тот, в прихожей, недвижим. Наверху запахнулась дверь, по лестнице сбегает Рокуэл. Зеленая рука отдернулась из полосы света, спряталась за спиной.

— Кто здесь? — останавливаясь на полпути, спрашивает Рокуэл.

Тот выходит на свет.

Рокуэл смотрит в упор, брови сдвинулись.

— Хартли! Что ты тут делаешь, почему вернулся?

— Кое-что случилось, — говорит Хартли. — А ты поди-ка приведи Макгайра. Он выбежал под дождь и лопочет как полумный.

Рокуэл не стал говорить, что думает. Быстро, испытующе оглядел Хартли и побежал дальше — по коридору, за дверь, под дождь.

— Макгайр! Макгайр, дурья голова, вернись!

Бежит под дождем, струи так и хлещут. На Макгайра наткнулся чуть не в сотне шагов от дома, тот бормочет:

— Смит... Смит там ходит...

— Чепуха. Просто это вернулся Хартли.

— Рука зеленая, я видел. Она двигалась.

— Тебе приснилось.

— Нет. Нет. — В дряблом, мокром от дождя лице Макгайра ни кровинки. — Я видел, рука зеленая, верно тебе говорю. А зачем Хартли вернулся? Ведь он...

При звуке этого имени Рокуэла как ударило, он разом понял. Пронзило страхом, мысли закружило вихрем — опасность! — резнул отчаянный зов: на помощь!

— Хартли!

Рокуэл оттолкнул Макгайра, рванулся, закричал и со всех ног помчался к санаторию. В дом, по коридору...

Дверь в палату Смита взломана.

Посреди комнаты с револьвером в руке — Хартли. Услышал бегущего Рокуэла, обернулся. И вмиг оба действуют. Хартли стреляет, Рокуэл щелкает выключателем.

Тьма. И вспышка пламени, точно на моментальной фотографии высвечено сбоку застывшее тело Смита. Рокуэл метнулся в сторону вспышки. И уже в прыжке, потрясенный, понял, почему вернулся Хартли. В секунду, пока не погас свет, он увидел руку Хартли.

Пальцы, покрытые зеленой чешуей.

Потом схватка врукопашную. Хартли падает, и тут снова вспыхивает свет, на пороге мокрый насквозь Макгайр выговаривает трясущимися губами:

— Смит... он убит?

Смит не пострадал. Пуля прошла выше.

— Болван, какой болван! — кричит Рокуэл, стоя над обмякшим на полу Хартли. — Великое, небывалое событие, а он хочет все погубить.

Хартли пришел в себя, говорит медленно:

— Надо было мне догадаться. Смит тебя предупредил.

— Ерунда, он... — Рокуэл запнулся, изумленный. Да, верно. То внезапное предчувствие, смятение в мыслях. Да. Он с яростью смотрит на Хартли: — Ступай наверх. Просидишь до утра под замком. Макгайр, иди и ты. Не спускай с него глаз.

Макгайр говорит хрипло:

— Погляди на его руку. Ты только погляди. У Хартли рука зеленая. Там в прихожей был не Смит — Хартли!

Хартли уставился на свои пальцы.

— Мило выглядит, а? — говорит он с горечью. — Когда Смит заболел, я тоже долго был под этим излучением. Теперь я стану таким... такой же тварью... Это со мной уже несколько дней. Я скрывал. Старался молчать. Сегодня почувствовал — больше не могу, вот и пришел его убить, отплатить, он же меня погубил...

Сухой резкий звук, что-то сухо треснуло. Все трое замерли.

Три крохотных чешуйки взлетели над Смитовой скорлупой, покружили в воздухе и мягко опустились на пол.

Рокуэл вмиг очутился у стола, взгляделся.

— Оболочка начинает лопаться. Трещина тонкая, едва заметная — треугольником, от ключиц до пупка. Скоро он выйдет наружу!

Дряблые щеки Макгайра затряслись:

— И что тогда?

— Будет у нас сверхчеловек, — резко, зло отозвался Хартли. — Спрашивается: на что похож сверхчеловек? Ответ: никому не известно.

С треском отлетело еще несколько чешуек. Макгайра пере-
дернуло.

- Ты попробуешь с ним заговорить?
- Разумеется.
- С каких это пор... бабочки... разговаривают?
- Поди к черту, Макгайр!

Рокуэл засадил их обоих для верности наверху под замок, а сам заперся в комнате Смита и лег на раскладушку, готовый бодрствовать всю долгую дождливую ночь — следить, вслушиваться, думать.

Следить, как отлетают чешуйки ломкой оболочки, потому что из куколки безмолвно стремится выйти наружу Неведомое.

Ждать осталось каких-нибудь несколько часов. Дождь стучится в дом, струи сбегают по стеклу. Каков-то он теперь будет с виду, Смит? Возможно, изменится строение уха, потому что станет тоньше слух; возможно, появятся дополнительные глаза; изменится форма черепа, черты лица, весь костяк, размещение внутренних органов, кожные ткани; возможно не-
сметное множество перемен.

Рокуэла одолевает усталость, но уснуть страшно. Веки тяжелеют, тяжелеют. А вдруг он ошибся? Вдруг его домыслы нелепы? Вдруг Смит внутри этой скорлупы — вроде медузы? Вдруг он — безумный, помешанный... или совсем переродился и станет опасен для всего человечества? Нет. Нет. Рокуэл помотал затуманенной головой. Смит — совершенство. Совершенство. В нем нет места ни для единой злой мысли. Совершенство.

В санатории глубокая тишина. Только и слышно, как потрескивают чешуйки хрупкой оболочки, падая на пол...

Рокуэл уснул. Погрузился во тьму, и комната исчезла, нахлынули сны. Снилось, что Смит поднялся, идет, движения угловатые, деревянные, а Хартли, пронзительно крича, опять и опять заносит сверкающий топор, с маху рубит зеленый панцирь и превращает живое существо в отвратительное месиво. Снился Макгайр — бегаёт под кровавым дождем, бессмысленно лопочет. Снилось...

Жаркое солнце. Жаркое солнце заливает палату. Уже утро. Рокуэл протирает глаза, смутно встревоженный тем, что кто-то поднял шторы. Кто-то поднял... Рокуэл вскочил как ужаленный. Солнце! Шторы не могли, не должны были подняться. Сколько недель они не поднимались! Он закричал.

Дверь настезь. В санатории тишина. Не смея повернуть голову, Рокуэл косится на стол. Туда, где должен бы лежать Смит.

Но его там нет.

На столе только и есть, что солнечный свет. Да еще какие-то опустелые остатки. Все, что осталось от куколки. Все, что осталось.

Хрупкие скорлупки — расщепленный надвое профиль, округлый осколок бедра, полоска, в которой угадывается плечо, обломок грудной клетки — разбитые останки Смита!

А Смит исчез. Подавленный, еле держась на ногах, Рокуэл подошел к столу. Точно маленький, стал копаться в тонких шуршащих обрывках кожи. Потом круто повернулся и, шатаясь как пьяный, вышел из палаты, тяжело затопал вверх по лестнице, закричал:

— Хартли! Что ты с ним сделал? Хартли! Ты что же, убил его, избавился от трупа, только куски скорлупы оставил и думаешь сбить меня со следа?

Дверь комнаты, где провели ночь Макгайр и Хартли, оказалась запертой. Трясущимися руками Рокуэл повернул ключ в замке. И увидел их обоих в комнате.

— Вы тут, — сказал растерянно. — Значит, вы туда не спускались. Или, может, отперли дверь, пошли вниз, вломились в палату, убили Смита и... нет, нет.

— А что случилось?

— Смит исчез! Макгайр, скажи, выходил Хартли отсюда?

— За всю ночь ни разу не выходил.

— Тогда... есть только одно объяснение... Смит выбрался ночью из своей скорлупы и сбежал! Я его не увижу, мне так и не удастся на него посмотреть, черт подери совсем! Какой же я болван, что заснул!

— Ну, теперь все ясно! — заявил Хартли. — Смит опасен, иначе он бы остался и дал нам на себя посмотреть. Одному Богу известно, во что он превратился.

— Значит, надо искать. Он не мог уйти далеко. Надо все обыскать! Быстрее, Хартли! Макгайр!

Макгайр тяжело опустился на стул:

— Я не двинусь с места. Он и сам отыщется. С меня хватит.

Рокуэл не стал слушать дальше. Он уже спускался по лестнице. Хартли за ним по пятам. Через несколько минут за ними, пыхтя и отдуваясь, двинулся Макгайр.

Рокуэл бежал по коридору, приостанавливаясь у широких окон, выходящих на пустыню и на горы, озаренные утренним солнцем. Выглядывал в каждое окно и спрашивал себя: да есть ли хоть капля надежды найти Смита? Первый сверхчеловек. Быть может, первый из очень и очень многих. Рокуэла прошиб пот. Смит не должен был исчезнуть, не показавшись

сперва хотя бы ему, Рокуэлу. Не мог он вот так исчезнуть. Или все же мог?

Медленно отворилась дверь кухни.

Порог переступила нога, за ней другая. У стены поднялась рука. Губы выпустили струйку сигаретного дыма.

— Я кому-то понадобился?

Ошеломленный, Рокуэл обернулся. Увидел, как изменился в лице Хартли, услышал, как задохнулся от изумления Макгайр. И у всех троих вырвалось разом, будто под суфлера:

— Смит!

Смит выдохнул струйку дыма. Лицо ярко-розовое, словно его нажгло солнцем, голубые глаза блестят. Ноги босы, на голое тело накинута старый халат Рокуэла.

— Может, вы мне скажете, куда это я попал? И что со мной было в последние три месяца — или уже четыре? Тут что, больница?

Разочарование обрушилось на Рокуэла тяжким ударом. Он трудно глотнул.

— Привет. Я... то есть... Вы что же... вы ничего не помните?

Смит выставил растопыренные пальцы:

— Помню, что позеленел, если вы это имеете в виду. А потом — ничего.

И он взерошил розовой рукой каштановые волосы — быстрое, сильное движение того, кто вернулся к жизни и радуется, что вновь живет и дышит.

Рокуэл откачнулся, бессильно прислонился к стене. Потрясенный, спрятал лицо в ладонях, потрянул головой. Потом, не веря своим глазам, спросил:

— Когда вы вышли из куколки?

— Когда я вышел... откуда?

Рокуэл повел его по коридору в соседнюю комнату, показал на стол.

— Не пойму, о чем вы, — просто, искренне сказал Смит. — Я очнулся в этой комнате полчаса назад, стою и смотрю — я совсем голый.

— И это все? — обрадованно спросил Макгайр. У него явно полегчало на душе.

Рокуэл объяснил, откуда взялись остатки скорлупы на столе. Смит нахмурился:

— Что за нелепость. А вы, собственно, кто такие?

Рокуэл представил их друг другу.

Смит мрачно поглядел на Хартли:

— Сперва, когда я заболел, явились вы, верно? На завод электронного оборудования. Но это же все глупо. Что за болезнь у меня была?

Каждая мышца на лице Хартли напряглась до отказа.

— Никакая не болезнь. Вы-то разве ничего не знаете?

— Я очутился с незнакомыми людьми в незнакомом санатории. Очнулся голый в комнате, где какой-то человек спал на раскладушке. Очень хотел есть. Пошел бродить по санаторию. Дошел до кухни, отыскал еду, поел, услышал какие-то взволнованные голоса, а теперь мне заявляют, будто я вылутился из куколки. Как прикажете все это понимать? Кстати, спасибо за халат, за еду и сигареты, я их взял взаймы. Сперва я просто не хотел вас будить, мистер Рокуэл. Я ведь не знал, кто вы такой, но видно было, что вы смертельно устали.

— Ну, это пустяки.— Рокуэл отказывался верить горькой очевидности. Все рушится. С каждым словом Смита недавние надежды рассыпаются, точно разбитая скорлупа куколки.— А как вы себя чувствуете?

— Отлично. Полон сил. Просто замечательно, если учесть, как долго я пробыл без сознания.

— Да, прямо замечательно,— сказал Хартли.

— Представляете, каково мне стало, когда я увидел календарь. Столько месяцев — бац! — как не бывало! Я все гадал, что же со мной делалось столько времени.

— Мы тоже гадали.

Макгайр засмеялся:

— Да не приставай к нему, Хартли. Просто потому, что ты его ненавидел...

Смит недоуменно поднял брови:

— Ненавидел? Меня? За что?

— Вот. Вот за что! — Хартли растопырил пальцы.— Ваше проклятое облучение. Ночь за ночью я сидел около вас в вашей лаборатории. Что мне теперь с этим делать?

— Тише, Хартли,— вмешался Рокуэл.— Сядь. Успокойся.

— Ничего я не сяду и не успокоюсь! Неужели он вас обоих одурачил? Это же подделка под человека! Этот розовый молодчик затеял такой страшный обман, какого еще свет не видал! Если у вас осталось хоть на грош соображения, убейте этого Смита, пока он не улизнул!

Рокуэл попросил извинить вспышку Хартли. Смит покачал головой:

— Нет, пускай говорит дальше. Что все это значит?

— Ты и сам знаешь! — в ярости заорал Хартли.— Ты лежал тут месяц за месяцем, подслушивал, строил планы. Меня не

проведешь. Рокуэла ты одурачил, теперь он разочарован. Он ждал, что ты станешь сверхчеловеком. Может, ты и есть сверхчеловек. Так ли, эдак ли, но ты уже никакой не Смит. Ничего подобного. Это просто еще одна твоя уловка. Запутываешь нас, чтобы мы не узнали о тебе правды, чтоб никто ничего не узнал. Ты запросто можешь нас убить, а стоишь тут и уверяешь, будто ты человек как человек. Так тебе удобнее. Несколько минут назад ты мог удрать, но тогда у нас остались бы подозрения. Вот ты и дождался нас и уверяешь, будто ты просто человек.

— Он и есть просто человек,— жалобно вставил Макгайр.

— Вранье. Он думает не по-людски. Чересчур умен.

— Так испытай его, проверь, какие у него ассоциации,— предложил Макгайр.

— Он и для этого чересчур умен.

— Тогда все очень просто. Возьмем у него кровь на анализ, прослушаем сердце, вприснем сыворотки.

На лице Смита отразилось сомнение:

— Я чувствую себя подопытным кроликом. Разве что вам уж очень хочется. Все это глупо.

Хартли возмутился. Посмотрел на Рокуэла, сказал:

— Давай шприцы.

Рокуэл достал шприцы. «Может быть, Смит все-таки сверхчеловек,— думал он.— Его кровь — сверхкровь. Смертельна для микробов. А сердцебиение? А дыхание? Может быть, Смит — сверхчеловек, но сам этого не знает. Да. Да, может быть...»

Он взял у Смита кровь, положил стекло под микроскоп. И сник, ссутулится. Самая обыкновенная кровь. Вводишь в нее микробы — и они погибают в обычный срок. Она уже не сверхсмертельна для бактерий. И неведомый икс-раствор исчез. Рокуэл горестно вздохнул. Температура у Смита нормальная. Пульс тоже. Нервные рефлексы, чувствительность — ни в чем никаких отклонений.

— Что ж, все в порядке,— негромко сказал Рокуэл.

Хартли повалился в кресло, глаза широко раскрыты, костлявыми руками стиснул виски.

— Простите,— выдохнул он.— Что-то у меня... ум за разум... верно, воображение разыгралось. Так тянулись эти месяцы. Ночь за ночью. Стал как одержимый, страх одолел. Вот и свалил дурака. Простите. Простите.— И уставился на свои зеленые пальцы.— А что ж будет со мной?

— У меня все прошло,— сказал Смит.— Думаю, и у вас пройдет. Я вам сочувствую. Но это было не так уж скверно... В сущности, я ничего не помню.

Хартли явно отпустило.

— Но... да, наверно, вы правы. Мало радости, что придется вот так закаменеть, но тут уж ничего не поделаешь. Потом все пройдет.

Рокуэлу стало тошно. Слишком жестоко он обманулся. Так не щадить себя, так ждать и жаждать нового, неведомого, сгорать от любопытства — и все зря. Стало быть, вот он каков, человек, что вылупился из куколки? Тот же, что был прежде. И все надежды, все домыслы напрасны.

Он жадно глотнул воздух, попытался остановить тайный неистовый бег мысли. Смятение. Сидит перед ним розовощекий, звонкоголосый человек, спокойно покуривает... просто-напросто человек, который страдал какой-то кожной болезнью — временно отвердела кожа, да еще под действием облучения разладилась на время внутренняя секреция, — но сейчас он опять человек как человек, и не более того. А буйное воображение Рокуэла, неистовая фантазия разыгрались и все проявления странной болезни сложили в некий желанный вымысел, в несуществующее совершенство. И вот Рокуэл глубоко потрясен, взбудоражен и разочарован.

Да, то, что Смит жил без пищи, его необыкновенно защищенная кровь, крайне низкая температура тела и другие преимущества — все это лишь проявления странной болезни. Была болезнь, и только. Была — и прошла, миновала, кончилась и ничего после себя не оставила, кроме хрупких осколков скорлупы на залитом солнечными лучами столе. Теперь можно будет понаблюдать за Хартли, если и его болезнь станет развиваться, и потом доложить о новом недуге врачебному миру.

Но Рокуэла не волновала болезнь. Его волновало совершенство. А совершенство лопнуло, растрескалось, рассыпалось и сгнуло. Сгнула его мечта. Сгинул выдуманный сверхчеловек. И теперь ему плевать, пускай хоть весь свет обрастет жесткой скорлупой, позеленеет, рассыплется, сойдет с ума.

Смит обошел их всех, каждому пожал руку.

— Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес. Меня ждет на заводе важная работа. Пора приступить к своим обязанностям. Жаль, что не могу остаться у вас подольше. Сами понимаете.

— Вам надо бы остаться и отдохнуть хотя бы несколько дней, — сказал Рокуэл, горько ему было видеть, как исчезает последняя тень его мечты.

— Нет, спасибо. Впрочем, этак через неделю я к вам загляну, доктор, обследуете меня еще раз, хотите? Готов даже с годик заглядывать примерно раз в месяц, чтоб вы могли меня проверить, ладно?

— Да. Да, Смит. Пожалуйста, приезжайте. Я хотел бы еще потолковать с вами об этой вашей болезни. Вам повезло, что остались живы.

— Я вас подвезу до Лос-Анджелеса,— весело предложил Макгайр.

— Не беспокойтесь. Я дойду до Туджунги, а там возьму такси. Хочется пройтись. Давненько я не гулял, погляжу, что это за ощущение.

Рокуэл ссудил ему пару старых башмаков и поношенный костюм.

— Спасибо, доктор. Постараюсь как можно скорее вернуть вам все, что задолжал.

— Ни гроша вы мне не должны. Было очень интересно.

— Что ж, до свиданья, доктор. Мистер Макгайр. Хартли.

— До свиданья, Смит.

— До свиданья.

Смит пошел по дорожке к старому руслу, дно ручья уже совсем пересохло и растрескалось под лучами предвечернего солнца. Смит шагал непринужденно, весело посвистывал. «Вот мне сейчас не свищется»,— устало подумал Рокуэл.

Один раз Смит обернулся, помахал им рукой, потом поднялся на холм и стал спускаться с другой его стороны к далекому городу.

Рокуэл провожал его глазами — так смотрит малый ребенок, когда его любимое творение — замок из песка — подмывают и уносят волны моря.

— Не верится,— твердил он снова и снова.— Просто не верится. Все кончается так быстро, так неожиданно. Я как-то оступел, и внутри пусто.

— А по-моему, все прекрасно! — Макгайр радостно ухмылялся.

Хартли стоял на солнце. Мягко опущены его зеленые руки, и впервые за все эти месяцы, вдруг понял Рокуэл, совсем спокойно бледное лицо.

— У меня все пройдет,— тихо сказал Хартли.— Все пройдет, я поправлюсь. Ох, слава Богу. Слава Богу. Я не сделаю чудовищем. Я останусь самим собой.— Он обернулся к Рокуэлу: — Только запомни, запомни, не дай, чтоб меня по ошибке похоронили, ведь меня примут за мертвеца. Смотри, не забудь.

Смит пошел тропинкой, пересекающей сухое русло, и поднялся на холм. Близился вечер, солнце уже опускалось за дальние синеющие холмы. Проглянули первые звезды. В нагр-

том недвижимом воздухе пахло водой, пылью, цветущими вла-
ли апельсиновыми деревьями.

Встрепенулся ветерок. Смит глубоко дышал. И шел все
дальше.

А когда отошел настолько, что его уже не могли видеть из
санатория, остановился и замер на месте. Посмотрел на небо.

Бросил недокуренную сигарету, тщательно затоптал. По-
том выпрямился во весь рост — стройный, ладный, — отбросил
со лба каштановые пряди, закрыл глаза, глотнул, свободно
свесил руки вдоль тела.

Без малейшего усилия — только чуть вдохнул теплый воздух
вокруг — Смит поднялся над землей.

Быстро, беззвучно взмыл он ввысь и вскоре затерялся сре-
ди звезд, устремляясь в космические дали...

Ржавчина

— Садитесь, молодой человек, — сказал полковник.

— Благодарю вас. — Вошедший сел.

— Я слышал о вас кое-что, — заговорил дружеским тоном
полковник. — В сущности, ничего особенного. Говорят, что
вы нервничаете и что вам ничего не удастся. Я слышу это уже
несколько месяцев и теперь решил поговорить с вами. Я ду-
мал также о том, не захочется ли вам переменить место служ-
бы. Может быть, вы хотите уехать за море и служить в каком-
нибудь дальнем военном округе? Не надоело ли вам работать в
канцелярии? Может быть, вам хочется на фронт?

— Кажется, нет, — ответил молодой сержант.

— Так чего вы, собственно, хотите?

Сержант пожал плечами и поглядел на свои руки.

— Я хочу жить без войн. Хочу узнать, что за ночь каким-то
образом пушки во всем мире превратились в ржавчину, что
бактерии в оболочках бомб стали безвредными, что танки про-
валились сквозь шоссе и, подобно доисторическим чудовищам,
лежат в ямах, заполненных асфальтом. Вот мое желание.

— Это естественное желание каждого из нас, — произнес
полковник. — Но сейчас оставьте эти идеалистические разго-
воры и скажите нам, куда мы должны вас послать. Можете
выбрать западный или северный округ. — Он постучал пальцем
по карте, разложенной на столе.

Сержант продолжал говорить, шевеля руками, приподнимая их и разглядывая пальцы:

— Что делали бы вы, начальство, что делали бы мы, солдаты, что делал бы весь мир, если бы все мы завтра проснулись и пушки стали ненужными?

Полковнику было теперь ясно, что с сержантом нужно обращаться осторожно. Он спокойно улыбнулся:

— Это интересный вопрос. Я люблю поболтать о таких теориях. По-моему, тогда возникла бы настоящая паника. Каждый народ подумал бы, что он один во всем мире лишился оружия, и обвинил бы в этом несчастье своих врагов. Начались бы массовые самоубийства, акции мгновенно упали бы, разыгралось бы множество трагедий.

— А потом? — спросил сержант. — Потом, когда все поняли бы, что это правда, что оружия нет больше ни у кого, что больше никого не нужно бояться, что все мы равны и можем начать жизнь заново... Что было бы тогда?

— Все принялись бы опять поскорее вооружаться.

— А если бы им можно было в этом помешать?

— Тогда стали бы драться кулаками. На границах сходились бы толпы людей, вооруженных боксерскими перчатками со стальными вкладками; отнимите у них перчатки, и они пустят в ход ногти, и зубы, и ноги. Запретите им и это, и они станут плевать друг в друга. А если вырезать им языки и заткнуть рты, они наполнят воздух такой ненавистью, что птицы попадают мертвыми с телеграфных проводов и все мухи и комары осыплются на землю.

— Значит, вы думаете, что в этом вообще не было бы смысла, — продолжал сержант.

— Конечно, не было бы! Ведь это все равно что черепаху вытащить из панциря. Цивилизация задохнулась бы и умерла от шока.

Молодой человек покачал головой:

— Вы просто хотите убедить себя и меня, ведь работа у вас спокойная и удобная.

— Пусть даже это на девяносто процентов цинизм и только на десять — разумная оценка положения. Бросьте вы свою ржавчину и забудьте о ней.

Сержант быстро поднял голову:

— Откуда вы знаете, что она у меня есть?

— Что у вас есть?

— Ну, эта ржавчина.

— О чем вы говорите?

— Вы знаете, что я могу это сделать. Если бы я захотел, я мог бы начать сегодня же.

Полковник засмеялся:

— Я думаю, вы шутите?

— Нет, я говорю вполне серьезно. Я давно уже хотел поговорить с вами. Я рад, что вы сами позвали меня. Я работаю над этим изобретением уже довольно давно. Мечтал о нем целые годы. Оно основано на строении определенных атомов. Если бы вы изучали их, вы бы знали, что атомы оружейной стали расположены в определенном порядке. Я искал фактор, который нарушил бы их равновесие. Может быть, вы знаете, что я изучал физику и металлургию... Мне пришло в голову, что в воздухе всегда присутствует вещество, вызывающее ржавчину: водяной пар. Нужно было найти способ вызывать у стали «нервный шок». И тогда водяные пары принялись бы за свое дело. Разумеется, я имею в виду не всякий металлический предмет. Наша цивилизация основана на стали, и большинство ее творений мне не хотелось бы разрушать. Я хотел бы вывести из строя пушки, ружья, снаряды, танки, боевые самолеты, военные корабли. Если бы понадобилось, я бы заставил свой прибор действовать на медь, бронзу, алюминий. Попросту прошел бы около любого оружия, и этого было бы довольно, чтобы оно рассыпалось в прах.

Полковник наклонился над столом и некоторое время разглядывал сержанта. Потом вынул из кармана авторучку с колпачком из ружейного патрона и начал заполнять бланк.

— Я хочу, чтобы сегодня после полудня вы сходили к доктору Мэтьюзу. Пусть он обследует вас. Я не утверждаю, что вы серьезно больны, но мне кажется, что врачебная помощь вам необходима.

— Вы думаете, я обманываю вас,— произнес сержант.— Нет, я говорю правду. Мой прибор так мал, что поместился бы в спичечном коробке. Радиус его действия — девятьсот миль. Я мог бы настроить его на определенный вид стали и за несколько дней объехать всю Америку. Остальные государства не могли бы воспользоваться этим, так как я уничтожил бы любую военную технику, посланную против нас. Потом я уехал бы в Европу. За один месяц я избавил бы мир от страшилища войны. Не знаю в точности, как мне удалось это изобретение. Оно просто невероятно. Совершенно так же невероятно, как атомная бомба. Вот уже месяц я жду и размышляю. Я тоже думал о том, что случится, если сорвать панцирь с черепахи, как вы выразились. А теперь я решился. Беседа с вами помогла мне выяснить все, что нужно. Когда-то никто не представлял себе летательных машин, никто не думал, что атом может быть губительным оружием, и многие сомневаются в том, что

когда-нибудь на Земле воцарится мир. Но мир воцарится, уверяю вас.

— Этот бланк вы отдадите доктору Мэтьюзу, — подчеркнул то произнес полковник.

Сержант встал.

— Значит, вы не отправите меня в другой военный округ?

— Нет, пока нет. Пусть решает доктор Мэтьюз.

— Я уже решил, — сказал молодой человек. — Через несколько минут я уйду из лагеря. У меня отпускная. Спасибо за то, что вы потратили на меня столько драгоценного времени.

— Послушайте, сержант, не принимайте этого так близко к сердцу. Вам не нужно уходить. Никто вас не обидит.

— Это верно, потому что никто мне не поверит. Прощайте. — Сержант открыл дверь канцелярии и вышел.

Дверь закрылась, и полковник остался один. С минуту он стоял в нерешительности. Потом вздохнул и провел ладонью по лицу.

Зазвонил телефон. Полковник рассеянно взял трубку.

— Это вы, доктор? Я хочу поговорить с вами. Да, я послал его к вам. Посмотрите, в чем тут дело, почему он так ведет себя. Как вы думаете, доктор? Вероятно, ему нужно немного отдохнуть, у него странные иллюзии. Да-да, неприятно. По-моему, сказались шестнадцать лет войны.

Голос в трубке отвечал ему. Полковник слушал и кивал головой.

— Минутку, я запишу... — Он поискал авторучку. — Подождите у телефона, пожалуйста. Я ищу кое-что...

Он ощупал карманы.

— Ручка только что была тут. Подождите...

Он отложил трубку, оглядел стол, посмотрел в ящик. Потом окаменел. Медленно сунул руку в карман и пошарил в нем. Двумя пальцами вытащил щепотку чего-то. На промокательную бумагу на столе высыпалось немного желтовато-красной ржавчины.

Некоторое время полковник сидел, глядя перед собой. Потом взял телефонную трубку.

— Мэтьюз, — сказал он, — положите трубку. — Он услышал щелчок и набрал другой номер. — Алло, часовой! Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете: Холлис. Остановите его. Если понадобится, застрелите его, ни о чем не спрашивая. Убейте этого негодяя, поняли? Говорит полковник. Да... убейте его... вы слышите?

— Но... простите... — возразил удивленный голос на другом конце провода. — Я не могу... просто не могу!

— Что вы хотите сказать, черт побери? Как так не можете?

— Потому что...

Голос прервался. В трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой.

— Внимание, к оружию!

— Я никого не смогу застрелить, — ответил часовой.

Полковник тяжело сел.

Он ничего не видел и не слышал, но знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветерком пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, как доисторические чудовища некогда проваливались в ямы — именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам.

— Сэр... — заговорил часовой, видевший все это. — Клянусь вам...

— Слушайте, слушайте меня! — закричал полковник. — Идите за ним, задержите его руками, задушите его, бейте кулаками, ногами, забейте насмерть, но вы должны остановить его! Я сейчас буду у вас! — и бросил трубку.

По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Полковник с проклятием отскочил от стола.

Пробегая по канцелярии, он схватил стул. «Деревянный, — подумалось ему, — старое доброе дерево, старый добрый бук». Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стола по руке — годится, черт побери!

С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.

Изгнанники

Глаза их горели как раскаленные угли, уста изрыгали пламя, когда, склонившись над котлом, они погружали в него то грязную палку, то свои когтистые, костлявые пальцы.

Когда нам вновь сойтись втроем
В дождь, под молнию и гром?!

¹ Шекспир У. Макбет. Акт I, сцена I. Перевод М. Лозинского.

Пьяно раскачиваясь, они плясали на берегу высохшего моря, оскверняя воздух проклятьями, прожигая тьму злобным кошачьим взглядом.

Разом все вокруг котла!
Сыпьте скверну в глубь жерла!

Жарко, жарко, пламя ярко!
Хороша в котле заварка!

Они остановились, оглядываясь.

— Где магический кристалл? Где иглы?

— Вот они!

— Хорошо, вот хорошо!

— Желтый воск загустел?

— Готов, готов!

— Лейте его в форму!

— Все ли получилось как надо? — Они держали в руках восковую фигурку, и мягкий воск прилипал к пальцам, словно желтая патока.

— Теперь иглой его, прямо в сердце!..

— Кристалл, где кристалл? Он там, где гадальные карты.

Смахните-ка с него пыль. А теперь глядите в него...

Ведьмы впились глазами в магический кристалл.

— Смотрите, смотрите, смотрите!..

Ракета летела, держа курс на Марс. На ракете один за другим умирали люди.

Командир устало поднял голову.

— Придется дать морфий.

— Но, Командир...

— Вы что, не видите, как ему худо? — Командир приподнял шерстяное одеяло. Лежавший под влажной простыней человек пошевелился и застонал. В воздухе запахло жженой серой.

— Я видел... видел! — Умиравший открыл глаза, и взгляд его остановился на иллюминаторе, за которым была космическая бездна, хороводы звезд, где-то бесконечно далеко — планета Земля и совсем близко — огромный красный шар Марса. — Я видел его... огромный упырь с лицом человека... прилип к переднему стеклу... машет крыльями, машет... машет...

— Пульс? — коротко спросил Командир.

¹ Там же. Акт IV, сцена I.

Санитар нащупал пульс.

— Сто тридцать.

— Он так долго не выдержит. Дайте ему морфий. Идемте, Смит.

Они проследовали дальше. Казалось, пол был выложен узором из высохших человеческих костей и черепов, застывших в безмолвном крике. Командир шел, стараясь не глядеть под ноги.

— Пирс здесь, не так ли? — сказал он, открывая следующий люк.

Врач в белом халате отошел от распростертого на столе тела.

— Ничего не понимаю.

— Как он умер? Причина смерти?

— Мы не знаем, Командир. Это не сердце, не мозг, не последствия шока. Он просто перестал дышать.

Командир взял врача за запястье, отыскивая пульс. Лихорадочные удары кольнули пальцы словно жало. Лицо Командира оставалось бесстрастным.

— Поберегите себя, доктор. У вас тоже учащенный пульс. Доктор кивнул головой.

— Пирс жаловался на боль в ногах и запястьях, словно его кололи иголками. Сказал, что тает будто воск, а потом упал. Я помог ему подняться. Он плакал как дитя. Жаловался, что в сердце у него серебряная игла. А затем он умер. Вот его тело. Если хотите, можем повторить вскрытие. Все органы абсолютно здоровы.

— Невероятно. Должна же быть причина!

Командир подошел к иллюминатору. Он чувствовал, как пахнут ментолом, йодом и медицинским мылом его тщательно ухоженные руки. Белоснежные зубы прополосканы дорогим эликсиром, промытые до блеска уши и розовая кожа лица лоснятся, комбинезон напоминает кусок сверкающей горной соли, начищенные до блеска ботинки похожи на два черных зеркала, от стриженных ежиком волос исходит резкий запах одеколона. Даже дыхание Командира было свежим и чистым, как морозный воздух. На нем не было ни единого пятнышка, ни пылинки. Он напоминал новехонький хирургический инструмент, только что вынутый из автоклава и приготовленный к операции.

И все, кто летел с ним в ракете, были ему под стать. Казалось, в спине у каждого из них — ключик, чтобы заводить их и пускать в действие. Все они были не более как дорогими и затейливыми игрушками, послушными и безотказными.

Командир смотрел, как приближался Марс — он становился все ближе, все огромней.

— Через час посадка на этой проклятой планете. Смит, вам когда-нибудь снились упыри и прочая пакость?

— Снились, сэр. За месяц до старта ракеты из Нью-Йорка. Белые крысы грызли мне шею, сосали кровь. Боялся сказать вам, думал, еще не возьмете с собой.

— Ну ладно,— вздохнул Командир.— Я тоже видел сон. Первый за все пятьдесят лет жизни. Он приснился мне за несколько недель до отлета. А потом снился каждую ночь. Будто я белый волк, которого обложили на снежном холме. Меня подстрелили, в теле застряла серебряная пуля. А потом зарыли в землю и в сердце воткнули кол.— Он кивнул в сторону иллюминатора.— Вы думаете, Смит, они ждут нас?

— Кто знает, марсиане ли там, сэр.

— Кто же тогда? Они начали запугивать нас уже за два месяца до старта. Сегодня они убили Пирса и Рейнольдса. А вчера ослеп Грэвиль. Почему? Никто не знает. Упыри, иголки, сны, люди, умирающие без всякой причины. В другое время я бы сказал, что это смахивает на колдовство. Но мы живем в 2120 году, Смит. Мы разумные люди. Ничего такого не должно случиться, а вот поди же, случается. Кто бы они ни были, эти существа с их упырями и иголками, но они наверняка постараются прикончить нас всех.— Он резко повернулся.— Смит, принесите-ка сюда все книги из моего шкафа. Я хочу, чтобы они были с нами при посадке.

На столе высилась груда книг — не менее двухсот.

— Спасибо, Смит. Вы заглядывали когда-нибудь в них? Думаете, я сошел с ума? Может быть. У меня было предчувствие. Я выписал их из Исторического музея в последнюю минуту. А все из-за этих проклятых снов. Двенадцать ночей подряд меня кололи, резали на куски, визжащий упырь был распят на операционном столе, что-то мерзкое и смердящее хранилось в черном ящике под полом. Кошмарные, страшные сны. Всем нашим ребятам снились кошмары о колдовстве, оборотнях, вампирах и призраках — всякая чертовщина, о которой они прежде и понятия не имели. Почему? Да все потому, что сто лет назад были уничтожены все книги, где об этом говорилось. Был издан такой закон. Он запретил все эти ужасные книги. То, что вы видите сейчас, Смит,— это последние экземпляры. Их сохранили для истории и запрятали в музейные хранилища.

Смит наклонился, пытаясь прочесть названия на пыльных переплетах:

— Эдгар Аллан По «Рассказы», Брэм Стокер «Дракула», Мэри Шелли «Франкенштейн», Генри Джеймс «Поворот винта», Вашингтон Ирвинг «Легенда о Сонной лощине», Натаниель Готорн «Дочь Рапачини», Амброуз Бирс «Случай на мосту через Совиный ручей», Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес», Алджернон Блэквуд «Ивы», Фрэнк Баум «Волшебник Изумрудного города», Г. Ф. Лавкрафт «Зловещая тень над Инсмутом». И еще книги Уолтера де ла Мара, Уэйкфилда, Гарвея, Уэллса, Эскрита, Хаксли! Эти авторы все запрещены! Их книги сожгли в тот самый год, когда перестали праздновать День всех святых и Рождество. Зачем нам эти книги, сэр?

— Не знаю,— вздохнул Командир.— Пока не знаю.

Три ведьмы подняли повыше магический кристалл. В нем, мерцая, светилось лицо Командира. До их слуха донеслось еле слышное: «Не знаю... Пока не знаю...»

Ведьмы впились друг в друга взором.

— Надо спешить,— сказала первая.

— Пора предупредить тех, что в городе.

— Надо сказать им о книгах. Дело плохо. Все этот идиот Командир виноват.

— Через час они посадят здесь свою ракету.

Три старухи содрогнулись и посмотрели на берег высохшего марсианского моря, где высился Изумрудный город. В самой высокой его светелке маленький человек раздвинул пурпурные занавеси на окне. Он смотрел на пустынный ландшафт, туда, где три старые колдуньи варили свое варево и мяти в руках воск. Дальше были видны другие костры, тысячи костров. Сквозь марсианскую ночь плыли легкий, как крылья ночной бабочки, синий дымок благовоний, черный табачный дым и дым костров из траурных еловых веток, туманы, пахнущие корицей и тленом. Маленький человек сосчитал жарко горящие ведьмины костры. Словно почувствовав на себе взгляд трех ведьм, он обернулся. Край отпущенной пурпурной занавески упал, полуприкрыв окно, и от этого показалось, что соседний портал мигнул, словно чей-то желтый глаз.

Эдгар Аллан По смотрел в окно башни, и аромат выпитого вина приятно щекотал его ноздри.

— У друзей Гекаты нынче много дел,— сказал он, вглядываясь в силуэты ведьм далеко внизу.

— Я видел, как сегодня их гонял Шекспир,— произнес голос за его спиной.— Там на берегу моря собралась вся его рать,

их тысячи. Там же три ведьмы, Оберон, отец Гамлета, Пак — все. Я говорю, тысячи. Море людей.

— Славный Вильям.— По обернулся. Занавеска упала, совсем закрыв окно. Он еще стоял какое-то мгновение, глядя на грубую каменную кладку стен, почерневший деревянный стол, свечу и человека, который сидел у стола и от нечего делать зажигал одну спичку за другой и смотрел, как они, догорев, гаснут. Это был Амброуз Бирс. Он что-то насвистывал себе под нос, время от времени тихонько посмеиваясь.

— Настало время предупредить мистера Диккенса,— сказал По.— Мы и так слишком долго медлили. В нашем распоряжении считанные часы. Вы пойдете со мной, Бирс?

Бирс живо взглянул на него.

— Я только что подумал: что будет с нами?

— Если не удастся убить их или хотя бы отпугнуть, то нам придется покинуть планету, разумеется. Переселимся на Юпитер, а если они прилетят и туда, тогда на Сатурн, а если они и туда доберутся, у нас есть Уран, Нептун, на худой конец Плутон...

— А потом?

Лицо Эдгара По казалось усталым, в глазах, затухая, все еще отражались огни костров, в голосе звучала печальная отрешенность, неуместными сейчас казались выразительные жесты и мягкая темная прядь, упавшая на удивительно белый лоб. Казалось, он поверженный демон, полководец, потерпевший поражение. Задумываясь, он имел обыкновение нервно покусывать темные шелковистые усы, от чего они изрядно пострадали. Он был так мал ростом, что его огромный белый, словно светящийся лоб, казалось, плыл сам по себе в сумерках комнаты.

— У нас есть одно преимущество — более совершенные средства передвижения,— сказал он.— Кроме того, всегда есть надежда на их атомные войны, гибель государств, возврат средневековья, а следовательно, и суеверий. И тогда в один прекрасный вечер мы вдруг все сможем вернуться на Землю.— Темные глаза Эдгара По задумчиво глядели из-под выпуклого сверкающего лба. Он поднял глаза на потолок.— Итак, они летят сюда, чтобы разрушить и этот мир. Не могут примириться с тем, что существует еще что-то, что они не успели осквернить.

— Разве волчья стая успокоится, если уцелела хоть одна овца? — сказал Бирс.— Будет настоящая схватка. Я усядусь где-нибудь в стороне и буду вести счет. Столько-то землян угодили в чан с кипящей смолой и столько-то рукописей, найденных в бутылках, брошено в костер, столько-то землян проткнуты

глами и столько-то Красных смертей пустилось наутек при виде шприца — ха-ха!

Эдгар По качнулся, слегка захмелевший от выпитого вина и гнева.

— Что мы такого сделали? Ради всего святого, будьте с нами, Бирс. Разве критики и рецензенты были справедливы к нашим книгам? О нет! Они просто схватили их своими стерильными щипцами и бросили в чан, чтобы прокипятить и убить вредоносные микробы. Будь они все прокляты!

— Презабавное положение, — промолвил Бирс.

Отчаянный вопль, раздавшийся за дверью, прервал беседу.

— Мистер По! Мистер Бирс!

— Да, да, мы здесь!

Спустившись несколькими ступеньками ниже, они увидели прислонившегося к стене человека. Он задыхался от волнения.

— Вы слышали? — вскричал он, увидев их. Дрожащей рукой он вцепился в них, будто под ногами у него разверзлась бездна. — Через час они будут здесь! Они везут с собой книги! Ведьмы говорят, что это старые книги! А вы отсиживаетесь в башне в такое время! Почему вы ничего не делаете?

— Мы делаем все возможное, Блэквуд. Вам это в новинку. Идемте с нами, мы направляемся к мистеру Чарльзу Диккенсу...

— ...Чтобы обсудить нашу участь, нашу печальную участь, — добавил Бирс и подмигнул.

Они спускались по лестнице в гулкую пустоту замка, все ниже и ниже, туда, где паутина, пыль и тлен.

— Не волнуйтесь, — говорил По, и его лоб освещал им путь, словно огромная белая лампа, то вспыхивая, то затухая. — Я дал знать всем, кто там, на берегу мертвого моря. Всем вашим и моим друзьям, Блэквуд, и вашим, Бирс, тоже. Они все там. Все зверье, ведьмы и старики с длинными острыми зубами. Ловушки расставлены, колодцы и маятники ждут. И Красная смерть тоже... — Он тихонько засмеялся. — Да, Красная смерть. Мог ли я думать, что настанет время, когда понадобится, чтобы на самом деле была Красная смерть? Но они хотят этого, и они это получают!

— Достаточно ли мы сильны? — терзался сомнениями Блэквуд.

— А что такое сила? Во всяком случае, для них это будет неожиданностью. У них нет воображения, у этих чистеньких молодых людей в стерильных комбинезонах и шлемах, напоминающих стеклянные аквариумы. Они исповедуют новую

религию, на груди у них на золотых цепочках скальпели, на головах диадемы из микроскопов, в руках сосуды с дымящимися благовониями, но на самом деле это всего лишь бактерицидные автоклавы. Они хотят покончить раз и навсегда со всякой чертовщиной. Имена По, Бирса, Готорна, Блэквуда не должны осквернять их стерильные уста.

Выйдя из замка, они пересекли всю в разводях равнину — озеро не озеро, а нечто мерцающее и призрачное, как в недобром сне. Воздух был полон каких-то звуков, свиста крыльев, вздохов ветра. Бормотание у костров то умолкало, то вновь звучало, фигуры раскачивались. Мистер По видел, как поблескивали вязальные спицы: они вязали, вязали, вязали. Они сулили боль, страдания и зло восковым фигуркам, изображавшим людей. От кипящего котла пахло чесноком, кайенским перцем, дурманяще благоухал брошенный в огонь шафран.

— Продолжайте, — крикнул им По. — Я еще вернусь.

На пустынном берегу моря темные фигуры вытянулись, стали расти и вдруг унеслись в небо как черный дым. В далеких горах на башнях зазвонили колокола, и черное воронье, встревоженное бронзовым звоном, взметнулось и рассыпалось в воздухе как пыль.

С одинокого холма По и Бирс торопливо спустились в долину и тут же очутились на мощенной булыжником улочке. Была холодная, унылая погода, к тому же еще туман, и сновавшие взад и вперед прохожие громко топали ногами, чтобы хоть немного согреться; теплились огоньки свечей в окнах контор и лавок, где висели рождественские индейки. Стайка закутанных с ног до головы мальчишек, прославляя Рождество, пела: «Да пошлет вам радость Бог», и их дыхание белыми облачками плыло в морозном воздухе. Часы на башне то и дело оглушительно били полночь. Детишки выбегали из пекарен, крепко держа в грязных ручонках узелки с кастрюльками и подносами, где дымился семейный рождественский обед.

Остановившись под вывеской СКРУДЖ, МАРЛИ и ДИККЕНС, По взял в руки дверной молоток с лицом Марли и стукнул им в дверь. Она тут же приоткрылась, и веселые звуки музыки едва не заставили пришельцев тут же пуститься в пляс. За спиной человека, воинственно наставившего на непрошенных гостей свою острую бородку и усы, виднелись хлопающий в ладоши мистер Физзиуиг и миссис Физзиуиг — одна сплошная улыбка. Эта пара отплясывала так лихо, что то и дело натыкалась на других; пиликала скрипка, и звенел смех,

похожий на звон хрустальной люстры, когда ее легонько тронет ветерок. Огромный стол был уставлен блюдами со свиными окороками, индейками и гусями, украшенными ветками остролиста, со сладкими пирогами, молочными поросятами, гирляндами сосисок, апельсинами и яблоками. За столом сидели Боб Кретчит и Крошка Доррит, Малютка Тим и мистер Феджин собственной персоной и еще человек, действительно похожий на непроваренный кусок говядины, или лишнюю каплю горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренную картофелину — не кто иной, как сам мистер Марли со своей цепью и прочим: вино лилось рекой, а румяная индейка делала то, что ей и положено, — дымилась во всем своем великолепии.

— Что вам угодно? — спросил мистер Чарлз Диккенс.

— Мы снова пришли просить вас, Чарлз. Нам нужна ваша помощь, — промолвил По.

— Помощь? Какая? Вы надеетесь, что я помогу вам справиться с этими славными ребятами, что летят сюда на ракете? Напрасно. Я здесь случайно. Мои книги сожгли по ошибке. Я никогда не писал страшных и невероятных историй, как вы, По, или вы, Бирс, или другие. У меня нет ничего общего с вами, ужасные вы люди!

— Вы обладаете даром убеждать, — продолжал уговаривать его По. — Вы могли бы встретить их, рассеять их сомнения, усыпить бдительность, а потом — потом мы бы занялись ими.

Диккенс не сводил взгляда с черного плаща, в котором прятал руки Эдгар По. Улыбнувшись, По вытащил из складок плаща черную кошку.

— А это подарок для одного из них.

— А для остальных?

По, довольный, улыбнулся.

— Преждевременное погребение.

— Вы мрачный человек, По.

— Я напуганный и очень разгневанный человек. Я — бог, так же как и вы, мистер Диккенс, как мы все, и все, что было создано нашей фантазией, — наши герои, если хотите, — сейчас не только подвергается опасности, но уже изгнано, запрещено, сожжено, разорвано в клочья, вычеркнуто из памяти. Миры, созданные нами, рушатся и гибнут. Даже боги могут восстать!

— Вот как? — Диккенс нетерпеливо вскинул голову: ему хотелось поскорее вернуться к веселому обществу, музыке и вкусной еде. — Тогда, может быть, вы объясните, почему мы все очутились здесь? Как это могло случиться?

— Война порождает войны, разрушение ведет к разрушению. На Земле во второй половине двадцатого века стали запрещать наши книги. О, какая чудовищная казнь — уничтожить все, что мы создали! Именно это побудило нас вернуться. Откуда? Из царства смерти? Небытия? Я не любитель абстракций. Просто я не знаю. Я только знаю, что наши миры, наши творения взывали о помощи, и мы попытались спасти их. Единственной возможностью спасти их было переждать здесь, на Марсе, какую-нибудь сотню лет, пока на Земле станет неспособно от слишком большого количества ученых с их скептицизмом и недоверием. Но они решили прогнать нас и отсюда, нас и нашу фантазию, алхимиков, ведьм, вампиров и оборотней, которые один за другим отступали, по мере того как наука победно шествовала по Земле, покоряя одну страну за другой. У нас нет иного выхода, кроме бегства. Вы должны помочь нам. Вы умеете убеждать. Вы нам нужны.

— Повторяю еще раз, я ничего общего с вами не имею. Я не одобряю ни вас, По, ни других, — сердито вскричал Диккенс. — Я никогда не выдумывал ведьм, вампиров и прочей чертовщины.

— А ваш святочный рассказ с привидениями? Ваша «Рождественская песнь в прозе»?

— Чепуха! Всего один рассказ. Возможно, я еще что-то написал о привидениях, ну и что из этого? Мои главные книги совсем не об этом, там нет подобной ерунды!

— По ошибке или нет, но они и вас причислили к нам. Они уничтожили и ваши книги, Диккенс, — миры, созданные вами! Вы должны ненавидеть их!

— Я согласен, что они глупы и невежественны, но что из этого? Прощайте.

— Пусть выйдет хотя бы мистер Марли!

— Нет!!!

Дверь захлопнулась. Когда По спускался вниз по улице, скользя по обледеневшему булыжнику, он услышал звук рожка и увидел подъехавший почтовый дилижанс. Из него со смехом и песнями, раскрасневшиеся и оживленные, выкрикивая рождественские поздравления, высыпали члены Пиквикского клуба и что есть мочи заколотили в дверь. Им открыл жирный парень.

Эдгар По торопливо шагал по берегу мертвого моря. На мгновение он задерживался то у одного, то у другого костра, чтобы отдать распоряжения, проверить, хорошо ли кипит котел, достаточно ли зелья и как начертаны мелом магические пентаграммы.

— Хорошо! — восклицал он и спешил дальше. — Отлично! — кричал он и бежал дальше.

Другие бежали за ним. Вот уже присоединились и мистер Коппард с мистером Мэкенем. Все злобные змеи и разгневанные демоны, огнедышащие драконы и шипящие гадюки, трясущиеся ведьмы, ядовитые колючки, жгучая крапива и колючий терновник — все, что некогда оставило на этом печальном берегу отступившее море фантазии, теперь пенилось, бурлило и гневно шипело.

Мистер Мэкен вдруг остановился. Он опустился на холодный песок и заплакал, как ребенок. Его пытались утешить, но безуспешно.

— Я вдруг подумал... — промолвил он, — я подумал, что будет с нами, когда исчезнут последние экземпляры наших книг.

Сердитый ветер пронесся мимо.

— Не смейте говорить об этом!

— Но мы должны! — простонал мистер Мэкен. — Именно сейчас, когда ракета сядет, вы, мистер По, вы, Коппард, вы, Бирс, исчезнете. Как дым, развеянный ветром. Ваши лица начнут таять...

— Смерть, смерть всем нам!

— Мы существуем, пока нас терпят на Земле. Если сегодня будет вынесен окончательный приговор и исчезнут последние экземпляры наших книг, мы погаснем, как гаснет огонь.

Коппард печально размышлял.

— Кто я? В чьей памяти на Земле я еще живу? Где? В африканской хижине? Какой-нибудь отшельник, может быть, читает мои рассказы. Последняя свеча, задуваемая ветром времени и науки. Дрожащий слабый огонек, благодаря которому я еще живу в гордом изгнании. Он или, может быть, мальчишка, вовремя нашедший меня на старом чердаке? О, вчера мне было так худо, так худо. У души ведь тоже есть плоть, как есть она у тела, и плоть моей души ныла, каждая ее частичка... Вчера я был свечой, которая вот-вот погаснет, но вдруг пламя разгорелось с новой силой, потому что ребенок там, на Земле, чихая от пыли, нашел на старом чердаке мою потрепанную, изъеденную временем книгу. И вот я вновь получил короткую отсрочку!

В маленькой хижине на берегу громко хлопнула дверь. Небольшого роста человек, изможденный и исхудавший так, что кожа буквально висела на нем, вышел из хижины и, не обращая ни на кого внимания, сел и уставился на свои сжатые кулаки.

— Вот кого мне жаль,— прошептал Блэквуд.— Посмотрите, конец его близок. Когда-то он был более реален, чем мы, люди. Веками его, всего лишь легенду, наделяли розовой плотью, белоснежной бородой, обряжали в красный бархатный кафтан и черные сапоги. Ему дали сани, оленей, серебряную мишуру и ветку остролиста. Столько веков понадобилось, чтобы создать его. А потом взяли и уничтожили, выбросили, как негодную вещь.

Все молчали.

«Как там, на Земле, без Рождества? — подумал По.— Без жареных каштанов, елочных украшений, хлопушек и свечей? Ничего, только снег, ветер и одинокие люди-реалисты...»

Они смотрели на печального старика с тощей бородкой, в выцветшем красном бархатном кафтане.

— Знаете, как это случилось?

— Нетрудно представить. Фанатик-психиатр, умничающий социолог, с пеной у рта негодующий педагог, лишённые фантазии родители...

— Прискорбное положение. Я не завидую торговцам рождественскими подарками,— заметил, усмехнувшись, Бирс.— В последнее время, как мне помнится, они начинали готовиться к сочельнику за день до праздника Всех святых. Теперь, если в этом есть ещё смысл, пожалуй, начнут уже с сентября...

Бирс внезапно умолк и с печальным стоном рухнул на землю. Падая, он успел прошептать:

— Как странно...

Окаменев от ужаса, они смотрели, как его тело превращается в сизую золу и обугленные кости; хлопья сажи проплыли в воздухе.

— Бирс! Бирс!

— Его нет.

— Погиб последний экземпляр его книги. Кто-то только что сжег ее на Земле.

— Да хранит его Бог. Теперь ничего от него не осталось. Ибо кто мы, как не наши книги, и если гибнут книги, бесследно исчезаем и мы.

В небе нарастал гул.

Испуганно вскрикнув, они посмотрели вверх. Обжигая небосвод огненными выхлопами, летела ракета. На берегу замелькали огни фонарей, послышался скрип, скрежет, бульканье, запахло колдовским варевом. Полые тыквы-черепа со свечами в пустых глазницах поднялись в холодный чистый воздух. Костлявые пальцы сжались в кулак, и вопль вырвался из сухих уст колдуньи:

Чур, корабль, остановись!
Сгинь, корабль, воспламенись,
Лопни, тресни, развались!..
Плоть сушеная коядуны,
Шерсть ушана в полнолуние...

— Настал час нам отправляться в путь, — прошептал Блэквуд. — На Юпитер, Сатурн или Плутон.

— Бежать? — крикнул ветру По. — Никогда!

— Я старый человек, я устал...

По взглянул в лицо старику и понял, что тот говорит правду. Он вскарабкался на огромный валун и обратился к тысячам серых теней, болотных огоньков и желтых глаз, к воющему ветру.

— Яды! Зелье! — крикнул он.

Запахло горьким миндалем, мускусом, тмином, фиалковым корнем и полынью.

Ракета снижалась медленно и неотвратно, с воем и стенаниями проклятого всеми грешника. Эдгар По неистовствовал. Он вскинул вверх сжатые кулаки, и оркестр из запахов, ненависти и гнева послушно повиновался. Словно сорванные бурей ветки, в воздухе пронеслись летучие мыши. Негодующие сердца, пущенные как ядра, взрывались в опаленном воздухе кровавым фейерверком. Все ниже и ниже, неумолимо, как маятник, опускалась ракета.

С гневными проклятиями По попятился, а ракета приближалась, сверля и жадно всасывая воздух. Мертвое море стало колодецем, где, как в западне, они ждали, когда опустится зловещая машина, подобно сверкающему лезвию топора. Их как будто застигла горная лавина.

— Змеи! — крикнул По.

Многоцветные ленты серпантина взметнулись вверх, навстречу ракете. Но она уже села, взвихрив воздух, опалив его пламенем. И вот она лежит, тяжело отдуваясь, опустив огненный хвост на песок, всего в какой-то миле от них.

— Вперед! — неистово вскричал По. — Наш план изменился. У нас теперь лишь один выход. Вперед! Всем вместе на нее! Раздавим ее, убьем их всех!

Казалось, это был приказ разбушевавшимся волнам изменить свой бег, морю вздыбиться и покинуть веками обжитое ложе, яростным вихрям закружиться над песками, огненным потокам устремиться в высохшие русла, буре, ливню, громам обрушиться на берег; заматались тени и с пронзительным визгом и свистом, скуля, лопоча и стеля, устремились к ракете, которая, выключив двигатели, лежала в ложине, как пога-

шенный факел. Словно опрокинули закопченный котел, — разгневанные люди и рычащее зверье, как поток раскаленной лавы, потекли по безводным милям морского дна.

— Убьем их! — кричал бегущий По.

Люди вышли из ракеты, держа ружья наготове. Настороженно оглядываясь, они принюхивались, как ищейки. Пусто. Никого. Они облегченно вздохнули.

Последним вышел Командир. Он коротко отдал приказ собрать хворост, разложить костер. Вспыхнуло пламя. Командир приказал всем стать поближе, в полукруг.

— Перед нами новый мир, — начал он, заставляя себя говорить размеренно и спокойно, хотя то и дело с опаской бросал взгляд через плечо на высохшее море за спиной. — Старый мир остался позади, это начало нового мира. Символическим актом мы сейчас еще раз подтвердим свою преданность науке и прогрессу. — И он коротко кивнул лейтенанту: — Книги!

Пламя заиграло на потускневших заглавиях книг: «Ивы», «Чужой», «Смотри, перед тобой мечтатель», «Доктор Джекил и мистер Хайд», «Волшебник Изумрудного города», «Пеллюсидар», «Страна, которую забыло время», «Сон в летнюю ночь» и ненавистные имена Мэкена, Эдгара По, Кэйбелла, Дансени, Блэквуда, Льюиса Кэрролла — старые имена, забытые, преданные анафеме имена.

— Это новый мир. А теперь мы торжественно покончим с тем, что еще осталось от старого.

И Командир вырвал страницу из книги. Он вырывал их одну за другой и бросал в огонь.

Пронзительный крик!

Люди в испуге отпрянули, и их взоры невольно устремились вверх пламени костра к неровным осыпающимся берегам пустого моря.

Еще крик, высокий и печальный — предсмертный вопль издыхающего дракона, яростно бьющегося о прибрежную гальку кита, ибо левиафаново море ушло, чтобы не вернуться никогда.

Словно воздух со свистом ворвался в пустоту, где за мгновение до этого что-то было!

Командир аккуратно расправился с последней книгой.

Воздух больше не дрожал.

Тишина.

Люди, пригнув головы, прислушивались.

— Командир, вы слышите?

— Нет.

— Волна, сэр! Там, на дне этого моря! Мне показалось, я даже видел ее. Огромная черная волна. Катится прямо на нас!

— Вам привиделось.

— Смотрите туда, сэр!

— Что еще там?

— Смотрите, смотрите! Город вдалеке! Зеленый город у озера! Он раскололся надвое, он рушится!

Подавшись вперед, люди напрягли зрение. Смит стоял среди них. Его била дрожь. Он прижал руку ко лбу, силясь что-то вспомнить.

— Я вспомнил! Да, да, вспомнил. Давно-давно, еще в детстве, я читал книгу... Кажется, это была сказка об Изумрудном городе. Я вспомнил! «Волшебник Изумрудного города».

— Изумрудного?

— Да, так назывался город. Я видел его сейчас точно таким, как он описан в книге. Он рухнул.

— Смит!

— Да, сэр.

— Приказываю, немедленно к врачу!

— Слушаюсь, сэр! — Смит коротко отдал честь.

— Всем соблюдать осторожность!

Боязливо ступая, держа ружья наготове, люди отделились от ракеты и ее слепящих прожекторов, чтобы получше разглядеть длинное ложе моря и низкие холмы.

— Как? Здесь никого нет? — разочарованно прошептал Смит. — Ни одной живой души?

Ветер, горестно завывая, бросил горсть песка к его ногам.

Стол Огненный

1

Он вышел из могильного плена, все ненавидя. Ненависть была его отцом, ненависть была его матерью.

До чего же здорово снова встать на ноги, выбраться из-под земли, стряхнуть ее груз с плеч, свободно взмахнуть затекшими руками и глубоко глотнуть воздух!

Он попытался это сделать, он даже крикнул.

И понял, что не может дышать. Сжав ладонями голову, он повторил попытку. Все напрасно. Он может ходить по земле, он более не ее пленник, но он по-прежнему мертв, потому

что не может дышать! Надо посильнее втянуть в себя воздух, послать его в пересохшую гортань, заставить давно увядшие мышцы сокращаться, работать, работать! Этот глоток кислорода поможет ему закричать во все горло, заплакать навзрыд! Как ему нужна сейчас живительная влага слез! Но их нет, глаза его сухи. Все, что он может, — это стоять навывтяжку. А в остальном он мертв, ему не сделать ни шагу! Он не дышит. Но он все же может стоять!

Вокруг него был мир, полный запахов и звуков. В отчаянии он попытался вдохнуть знакомые ароматы осени. А она повсюду разложила свои костры, чтобы сжечь последние приметы лета. Везде он видел руины. Последним багровым огнем догорали леса, роняя на землю мертвую древесину и сухие сучья. Сизый, остропахнувший, почти незаметный глазу дым лесных пожарищ стлался по земле.

Он стоял среди разрытых могил и испытывал лютую ненависть к тому, что видел. Неужели он вошел в этот мир для того, чтобы не чувствовать ни его запахов, ни вкуса? Однако, кажется, он способен слышать! Да, это так. Вой ветра неожиданно-негаданно ворвался в его открывшиеся уши. Но все же он продолжал оставаться мертвецом. Даже сделав первые шаги, он знал, что мертв, и понимал, как мало может полагаться на себя да и на этот ненавистный ему мир живых.

Он коснулся рукой надгробного камня над своей пустой могилой. Теперь он знает, как его зовут. Неплохая работа резчика по камню.

УИЛЬЯМ ЛЭНТРИ

— вот что было высечено на граните.

Его подрагивающие пальцы, погладив прохладную поверхность камня, скользнули ниже:

1898—1933

Выходит, он заново родился?

Какой же год сейчас? Запрокинув голову, он посмотрел на хороводы осенних звезд на темном полуночном небе. Он силится прочесть в них минувшую историю столетий. Он нашел созвездие Орион, нашел Аурегу. А где же Торо? Вот и он!

Прищурившись, он подсчитывал в уме, сколько же веков могло пройти, и наконец воскликнул:

— Две тысячи триста сорок девятый год!

Что за странная цифра! Скорее похожа на сумму чего-то в школьном учебнике. Ведь когда-то казалось, что любая цифра более ста воспринимается человеком как некая абстракция и

бессмысленно подсчитывать такие цифры в уме. И все же он сделал это и узнал, что на дворе 2349 год. Цифра, сумма. И есть еще он, человек, пролежавший в темноте могилы, ненавидя тех, кто похоронил его, и всех, кто не в земле, а наверху, кто продолжал жить, жить, жить! Сколько минуло веков до этого дня, когда силой ненависти он вновь родился на свет и, извлеченный из могилы, тщетно пытается вдохнуть в себя влажный запах разрытой земли?

— Я,— промолвил он, обращаясь к тополи, ветви которого безжалостно трепал ветер,— увы, всего лишь анахронизм, ошибка против хронологии.

Он горько улыбнулся.

Он окинул взглядом кладбище, пустое и холодное. Все надгробия были сняты и свалены друг на друга, как кирпичи в дальнем углу у кладбищенской ограды. Это длилось уже две бесконечные недели. Под землей, в своем гробу, он слышал шум странной и жестокой деятельности человека. Безжалостные лопаты вгрызались в землю, и на поверхность извлекались гробы. Вскрыв их, какие-то люди тут же уносили древние останки для нового захоронения. Он корчился от страха, ожидая своей очереди.

Сегодня они пришли за ним. Оставался всего дюйм до крышки его гроба, как бой часов известил об окончании рабочего дня. Пять часов — пора домой, ужинать. Все ушли. «Завтра закончим начатое»,— переговаривались они между собой, натягивая куртки.

На кладбище опустилась предвечерняя тишина.

Осторожно, бесшумно поднимал он крышку гроба, прислушиваясь, как с мягким шуршанием скатываются с нее комья земли.

И теперь рядом с разрытой могилой и пустым гробом на, возможно, последнем кладбище на планете Земля стоял он, Уильям Лэнтри, дрожащий и напуганный.

— Помнишь? — спрашивал он у себя, глядя на развороченную могилу. — Помнишь рассказы о последнем человеке на Земле? Об одиноких скитальцах среди руин? Что ж, теперь ты, Уильям Лэнтри, стал героем одного из таких рассказов. Знаешь ли ты это? Ты — последний мертвый человек в этом мире.

Здесь более нет тел умерших людей. Ни единого. Кажется невозможным. Осознав это, Лэнтри даже не улыбнулся. В глупом, пустом, лишенном воображения, стерильно чистом мире эпохи научных изысканий и открытий нет ничего невозможного. Люди смертны, видит Бог, они умирают. Куда же деваются их мертвые тела? А вот таковых больше нет.

Где же они? Что с ними происходит?

Кладбище было на холме над городом. Лэнтри брел в темноте осенней ночи, пока не кончились могилы. Остановившись, он посмотрел вниз, на новый город Сэлем, залитый разноцветными огнями. На небе то и дело оставляли свой огненный след ракеты, беря курс во все концы земного шара.

Будь он в могиле, новая волна ненависти, охватившей его, понемногу улеглась бы, окатив его и впитавшись как вода в песок. Он испытывал это уже не раз, после того как впервые познал, что такое ненависть мертвого к живому.

Но главное он все же узнал: как эти глупцы избавляются от мертвых.

Он смотрел на город, туда, где в центре высилась массивная стена в триста футов высотой и в пятьдесят — в обхвате. Она напоминала каменный перст, указующий в небо. Широкие ворота к ней были распахнуты, к ним вела подъездная аллея.

Теоретически в городе должны умирать люди, размышлял Уильям Лэнтри. В любое мгновение может умереть и он. Что же тогда произойдет? Не успеет у него исчезнуть пульс, как уже будет готово свидетельство о смерти, его близкие тут же уложат его в похожий на жука блестящий автомобиль и помчат... Куда?

— В Крематорий!

В этот удобный перст, указующий в небо, в этот Столп Огненный, а проще — в пылающую печь. Какое странное назначение! Но такова правда в этом будущем мире.

Как щепку для растопки, швырнут в печь вашего Дорогого Покойника.

Готов!

Уильям Лэнтри отыскал взглядом конец дула гигантского пистолета, нацеленного в звезды. Из него курился дымок.

Вот куда попадают дорогие и близкие вам люди.

— Берегись, Уильям Лэнтри, — сказал он себе. — Ты последний из мертвых на этой земле, ты реликт. Кроме твоего кладбища, других уже нет, все превращено в пепел. Это было последнее, а ты — последний из его мертвецов. Новое поколение людей не хоронит своих мертвых и тем более не потерпит, чтобы кто-то из них шатался по городу. Все, что мешает, сгорает как спичка. В том числе суеверия и предрассудки!

Он снова посмотрел на город. «Ладно, — подумал он почти миролюбиво. — Я ненавижу вас, а вы — меня, особенно если узнаете, что я существую и нахожусь среди вас. Вы не верите ни в вампиров, ни в привидения. Всего лишь ярлыки, лишённые всякой сути, заявляете вы. Вы презрительно фыркае-

те, услышав о них. Что ж, продолжайте! Я тоже не верю в вас, если быть честным! Более того, я не люблю вас! Вас и ваш Столп Огненный!»

Вдруг его проняла дрожь. Как близок был его конец! День за днем вскрывались могилы и вывозились останки, чтобы быть брошенными в Большую печь, вспыхнуть в ней, как сухие щепки, и сгореть дотла. Такой приказ был отдан по всем городам и весям на планете Земля. Об этом говорили могильщики, и он их слышал.

— Неплохая мысль — почистить эти места, — говорил один.

— Да, неплохая, — соглашался другой. — Варварский обычай. Представляешь, быть закопанным в землю! Антисанитария, микробы...

— В этом есть что-то недостойное человека. Хотя есть и своя доля романтики. Я говорю о кладбище. Одно-единственное в мире, и сохранялось столько столетий. Ты не помнишь, когда убрали с Земли все кладбища, Джим?

— Кажется, в две тысячи двести шестидесятом году. Да, точно, в две тысячи двести шестидесятом году. Почти сто лет назад. Но совет города Сэлема встал тогда на дыбы. «Послушайте нас, — сказали они, — давайте оставим хотя бы одно кладбище, чтобы оно напоминало нам об обычаях наших предков-варваров». В правительстве почесали затылки и разрешили: «Ладно. Пусть останется одно кладбище в городе Сэлеме. Все остальные убрать. Понятно?»

— Их убрали, — подтвердил Джим.

— Их сожгли, снесли экскаваторами, очистили ракетными пылесосами. Если становилось известным, что кто-то был похоронен у себя на пашне, добирались и до него. Полная эвакуация. Чересчур жестокая, я бы сказал.

— Не то чтобы я был чувствительным и старых взглядов, но вспомни, сколько туристов навевывалось к нам каждый год только поглядеть на наше кладбище.

— Что верно, то верно. Почти миллион их перебывало за три последних года. Неплохой источник доходов для города. Но приказ есть приказ. Правительство знает, что делает. На Земле не должно быть никаких страшилок и чертовщины, пугающей людей. С этим все будет покончено. Вот нас с тобой и послали сюда. Подай-ка мне лопату, Билл.

Уильям Лэнтри стоял на холме, подставив ветру лицо. Как славно снова ходить по земле, чувствовать, как дует в лицо ветер, и прислушиваться к мышиному шелесту сухой листвы, гонимой им по шоссе! Как прекрасно видеть небо, а на нем

холодные осенние звезды! Их, того и гляди, сдует разбушевавшимся ветром.

Он был даже рад, когда понял, что снова испытывает страх.

А он овладевал им, и Лэнтри уже не мог этого скрывать. Тот факт, что он мертвец и способен ходить, делает его всеобщим врагом. Во всем мире у него нет ни единого друга, такого же восставшего из гроба, к кому он мог бы обратиться за помощью и утешением. Теперь все будет развиваться по законам мелодрамы, где все герои делятся на добродетельных и злодеев. Весь мир восстанет против одного человека, Уильяма Лэнтри. Мир, не верящий в вампиров, не хоронящий своих мертвецов, а сжигающий их, мир, который стирает кладбища с лица земли, а с ними и память об усопших,— против человека в темном костюме, который в эту ветреную осеннюю ночь стоит один-одинешенек на вершине холма.

Лэнтри вытянул перед собой бледные холодные руки, словно ждал, что огни города согреют их. «Вы сняли надгробия с могил,— думал он,— вы вытаскивали их из земли так легко и просто, как стоматолог вынимает гнилой зуб. Я же постараюсь превратить ваши крематории в развалины. Я сделаю так, что у вас снова будут мертвые тела, и я найду себе среди них друзей. Я не останусь одиноким. Мне нужны друзья, и как можно скорее. Сегодня же».

— Война объявлена! — сказал он и засмеялся. Это была нелепость — один человек объявляет войну всему миру.

Он не получил ответа, лишь еще одна ракета на крыльях пламени взметнулась в небо, словно сорвавшийся с фундамента Крематорий.

Послышались чьи-то шаги. Лэнтри поспешил укрыться в кладбищенской тени. Неужели могильщики решили закончить всю работу сегодня же? Нет. Это всего лишь одинокий прохожий.

Когда человек приблизился к воротам кладбища, Лэнтри вышел ему навстречу.

— Добрый вечер,— поздоровался прохожий, приветливо улыбнувшись.

Лэнтри, не колеблясь, ударил его. Человек упал. Нагнувшись, Лэнтри ребром ладони нанес жертве роковой удар по шее.

Оттащив тело подальше в тень деревьев, он снял с убитого одежду и переделал его в свою. Негоже входить в мир будущего в одежде прошлого. В платье убитого он нашел карманный нож. Не Бог вещь какое оружие, но пригодится, если уметь им пользоваться. А Лэнтри в этом не был новичком.

Тело он сбросил в одну из открытых и пустых могил. На то, чтобы прикрыть его землей, ушло не более минуты. Едва ли его сразу обнаружат. Никому не придет в голову еще раз заглянуть в уже опустошенную могилу.

Лэнтри обрядился в свой новый костюм из какой-то металлического отлива ткани. Немного просторен и висит на нем, ну а в остальном все отлично. Отлично.

Переполненный ненавистью Уильям Лэнтри вошел в город, чтобы начать войну с Землей.

2

Крематорий был открыт. Собственно, двери его никогда не закрывались. Кроме широко распахнутых дверей и подсветки невидимыми прожекторами Лэнтри еще поразила площадка для вертолетов и широкий пандус для въезда автомашин. Огни города постепенно гасли, и вскоре единственным ярко освещенным местом стал Крематорий. Какое удобное, привычное для слуха название; в котором к тому же нет ничего романтического!

Уильям Лэнтри прошел в широкие, ярко освещенные двери. Собственно, дверей как таковых не было. Вход сюда был открыт для всех. Каждый мог свободно войти и так же свободно выйти. Летом ли, зимой — внутри всегда было тепло от огня, который с тихим шелестом горел в жаровой трубе, через которую мощные вентиляторы направляли пепел в его последний путь.

Здесь было жарко, как в пекарне. Резиновый паркет делал шаги бесшумными, любой звук терялся. При всем желании здесь не могло быть посторонних шумов, кроме приглушенных звуков музыки, долетавших неведомо откуда. Это не были похоронные марши. Наоборот, музыка напоминала о жизни, будто само солнце поселилось в Крематории. Поэтому жадное пламя, гудевшее за толстой кирпичной кладкой, не беспокоило слух сюда входящего.

Уильяму Лэнтри удалось спуститься по пандусу вниз, как вдруг послышались голоса снаружи, и, повернувшись, он увидел подъехавшую машину. Зазвенел звонок, музыка мгновенно стала громкой, в ней, нарастая, звучали уже радостные ноты, переходящие в экстаз.

Задние дверцы похоронной машины открылись, и служители вынесли золотой ящик футов в шесть длиной, украшенный символами солнца. Из подъехавшей следом машины вышли родственники покойного. Процессия проследовала в зал

церемоний, где в центре было подобие алтаря. На нем Лэнтри удалось прочесть слова: «Рожденные солнцем к нему возвращаются». Здесь золотой гроб был поставлен для церемонии прощания. Музыка становилась все громче. После того как Главный смотритель произнес несколько слов, гроб был перенесен к прозрачной стене с таким же прозрачным, но надежным замком. Один из служителей открыл его нажатием какой-то кнопки. Стена поднялась, образуя щель, в которую легко прошел золотой ящик. Далее автоматически открылся еще один замок, и ящик тут же был втянут в жаровую трубу и мигом исчез в пламени.

Ушли служители, за ними безмолвно отбыли родственники. Музыка продолжала играть.

Уильям Лэнтри приблизился к прозрачной стене. Он пристально вглядывался сквозь нее в огромное, горящее, неутомимое сердце Крематория. Огонь горел ровно, не мигая, и что-то мирно напевал про себя. Он казался сплошной тугой массой, похожей на золотую реку, но только текущую вспять — снизу вверх, с земли в небо. И все, что попадало в нее, бесследно исчезало.

Лэнтри почувствовал, как его снова охватила безотчетная лютая ненависть к этому чудовищному очистительному огню.

Рядом с ним кто-то остановился. Он локтем почувствовал это.

— Могу я чем-либо помочь вам, сэр?

— Что? — Лэнтри резко обернулся. — Что вы сказали?

— Могу я чем-то быть вам полезен?

— Я... собственно говоря... — Лэнтри бросил быстрый взгляд на пандус и выход из Крематория. Руки его дрожали. — Я никогда прежде здесь не был, — вдруг произнес он.

— Никогда? — удивился Смотритель.

Лэнтри понял, что допустил ошибку: ему не следовало говорить, что он впервые здесь. Однако он это сделал.

— Я хотел сказать... — попробовал он исправить промах, — не то чтобы я не был здесь совсем, но ребенком как-то на многое не обращаешь внимания. Сегодня вечером я вдруг понял, что, по сути, не знаю, как работает Крематорий.

Смотритель улыбнулся:

— Мы многого не знаем, не так ли? Буду рад вам все показать.

— О, спасибо, нет. Не беспокойтесь. Это удивительное место.

— Да, это верно, — согласился Смотритель, испытывая явную гордость. — Лучший в мире, я думаю.

— Я...— Лэнтри понял, что должен все же объяснить свое присутствие здесь.— Видите ли, у меня не так много родственников умерло за это время. По сути, ни один. Поэтому я уже много лет не бывал в Крематории.

— Понимаю.— Лицо Смотрителя помрачнело.

«Опять я что-то сказал невпопад,— испугался Лэнтри.— Черт побери, что же такого я сделал? Если я не остерегусь, то, чего доброго, сам угожу в эту огненную пасть. Что происходит с лицом этого типа? Кажется, он собирается учинить мне допрос?»

— Вы, случайно, не один из тех ребят, что только что вернулись с Марса? — поинтересовался Смотритель.

— Нет. А почему вы спрашиваете?

— Не обращайтесь внимания.— Смотритель явно намеревался поскорее уйти.— Если вам что-нибудь нужно, я к вашим услугам.

— Всего лишь один пустячок,— сказал Лэнтри.

— Какой?

— Вот этот.

Лэнтри нанес ему сокрушительный удар по шее.

Он внимательно следил за действиями служителей во время кремации. Поэтому, имея на руках бездыханное тело, он, не раздумывая, нажал кнопку, сунул тело в открывшуюся щель, услышал музыку, затем убедился, что автоматически открылся следующий замок. Еще мгновение — и тело исчезло в огненной реке. Лэнтри подождал, когда затихнет музыка.

— Молодец, Лэнтри, хорошо сработано.

Не прошло и мгновения, как в зале появился еще один Смотритель. Лэнтри испугало выражение радостного возбуждения на его лице. Смотритель будто рассчитывал кого-то здесь найти. Увидев Лэнтри, он направился к нему.

— Чем могу быть полезен?

— Я просто смотрю.

— Довольно поздно для экскурсий,— заметил Смотритель.

— У меня бессонница.

Он понял, что опять не то сказал. В этом правильном мире по ночам все спят, никто здесь не страдает от бессонницы. А если такое случалось, на помощь приходили гипнолучи, и через минуту раздавался богатырский храп. Господи, почему он все время отвечает невпопад? В разговоре с первым Смотрителем он допустил роковую оплошность, сказав, что никогда не был в Крематории, хотя знал, что всех детей ежегодно, начиная с четырехлетнего возраста, приводят сюда на экскур-

сию, чтобы внушить им на всю жизнь одну истину: огонь Крематория чист и ярк, смерть — это тепло и яркий свет солнца. В ней нет ничего темного и неприятного. Это было одной из главных задач воспитания нового поколения. А он, Лэнтри, безмозглый дурак с подозрительно бледным лицом, показав свое невежество, выдал себя.

Ах эта проклятая бледность! Только сейчас, разглядывая свои бескровные руки, он с испугом понял, что в этом новом мире нет бледных людей.

Первый Смотритель неспроста спросил его, не с Марса ли он вернулся.

Его коллега сияет, как новехонькая медная монета, щеки его рдеют румянцем здоровья, и энергии хоть отбавляй. Лэнтри поспешно спрятал в карман свои предательски бледные руки. Он чувствовал на себе пристальный, изучающий взгляд Смотрителя.

— Я хотел сказать... — попытался хоть как-то исправить положение Лэнтри, — что мне просто захотелось поразмышлять.

— Не заметили, было ли здесь только что кремирование? — неожиданно спросил Смотритель, оглядываясь вокруг.

— Не знаю, я только что вошел.

— Мне показалось, что я слышал, как открывалась и закрывалась печь.

— Я ничего не слышал, — сказал Лэнтри.

Смотритель нажал на стене кнопку переговорного устройства.

— Андерсон?

— Я вас слушаю, — ответил голос.

— Найдите мне Сола, пожалуйста.

— Я позвоню в верхние коридоры. — Наступила короткая пауза. — Его нигде нет, — последовал ответ.

— Спасибо. — Смотритель был явно озадачен и вдруг странно зашмыгал носом, словно к чему-то принюхивался. — Вы ничего не чувствуете? Здесь странно пахнет.

Лэнтри тоже принюхался:

— Я ничего не чувствую. В чем дело?

— Здесь странный запах.

Лэнтри сжал в кармане нож. Он выжидал.

— Помню, когда я был еще мальчишкой, — задумчиво промолвил Смотритель, — мы как-то нашли в поле сдохшую корову. Она пролежала там дня два под жарким солнцем. Вот тогда был точно такой же запах. Откуда он здесь?

— Я знаю, — тихо ответил Лэнтри и вытянул руку вперед. — Вот.

— Что?

- Я.
- Вы?
- Да, я мертв. Умер несколько сотен лет назад.
- Странные у вас шутки, однако,— искренне удивился

Смотритель.

- Согласен, странные.— Лэнтри вынул из кармана нож.—

Вы знаете, что это?

- Нож?

- Вы когда-нибудь используете его друг против друга?

- Что вы хотите сказать?

— Ну, например, вы пытались убивать с помощью ножа, пистолета или же яда?

- Ну и шуточки у вас.— Смотритель растерянно хихикнул.

- Я собираюсь убить вас,— сказал Лэнтри.

- Сейчас никто этого не делает,— недоуменно возразил

Смотритель.

— Сейчас нет, а вот когда-то давно люди убивали друг друга, не так ли?

- Да, я знаю.

— В таком случае это будет первое убийство за последние триста лет. Я только что убил вашего друга. А затем сунул его в печь.

Наконец его слова произвели нужное впечатление. Смотритель буквально оцепенел от абсурдности подобного заявления, что позволило Лэнтри сделать решающий шаг в его сторону и приставить нож к его груди.

- Я убью вас.

— Это глупо,— окончательно растерявшись, пробормотал Смотритель.— Я вам сказал, что теперь этого никто не делает.

- А я сделаю,— сказал Лэнтри.— Хотите посмотреть?

Он вонзил нож в жертву. Угасающим взглядом бедняга еще успел увидеть нож, торчащий в его груди. Лэнтри подхватил падающее тело.

3

В шесть утра мощный взрыв потряс сзлемский Крематорий. Его огромная труба разлетелась на тысячи осколков, упавших на землю, взлетевших под небеса, чтобы оттуда обрушиться каменным дождем на дома еще спящего города. Неистовству огня могла бы позавидовать владычица-осень, продолжавшая зажигать свои костры высоко в лесистых горах.

В момент взрыва Лэнтри был уже в пяти милях от города. Он увидел, как устроенная им гигантская кремация, подобно

факелу, осветила город. Лэнтри, покачив головой, немного посмеялся и поаплодировал себе, довольный.

Все оказалось относительно просто. Можно было ходить по городу и беспрепятственно убивать людей, которые никак не могли поверить в убийства, потому что никогда не знали их, а только слышали, да и то что-то неопределенное, о странном обычае своих предков-варваров. Можно было спокойно войти в помещение контрольного пункта Крематория и с невинным видом спросить:

— Как работает Печь?

Контролер тут же охотно пустился объяснять, потому что в этом будущем мире все говорили только правду, никто не лгал, ибо для лжи не было причин, а главное, никто не боялся говорить правду. В их мире существовал лишь один преступник, но никто пока не знал, что ОН действительно существует!

О, это была чертовски дерзкая игра. Дежурный механик рассказал ему, как работает Крематорий, как поддерживается пламя в печи, что повернуть, где нажать, какой рубильник включить. Лэнтри и механик славно побеседовали. Разговор был доверительный, беседа текла непринужденно. Это был спокойный и свободный мир. Здесь люди доверяли друг другу.

Улучив момент, Лэнтри пустил в ход нож, а потом сделал все, чтобы внести хаос в систему управления. Через час Крематорий взлетел в воздух, взорвавшись от перегрузки. Когда Лэнтри уходил, петляя по коридорам, он весело насвистывал: «Небо почернело от клубов дыма».

— Это лишь первый из них, — вслух сказал Лэнтри, подняв голову и глядя на дым. — Думаю, что скоро я снесу их все, прежде чем они узнают, что есть такой лишенный этики и морали человек и он на свободе. Им не под силу предвидеть его действия. Я для них непостижим, непонятен и вообще нереален. Бог мой, ведь я могу убивать их сотнями и тысячами, пока они наконец поймут, что убийства снова стали реальностью их жизни. Я могу каждый раз обставлять это как несчастный случай. Грандиозная идея, просто невероятная!

Огонь перекинулся на город. Лэнтри сидел под деревом, до самого утра глядя на пожар, а потом, найдя в горах пещеру, уснул.

Он проснулся, когда солнце клонилось к закату, и вспомнил, что ему снился огонь. Кто-то сидел сунуть его в печь, его собирались четвертовать и сжечь, превратив в кучу золы. Сидя на каменном полу пещеры, он подтрунивал сам над собой. В голову пришла неплохая мысль.

Лэнтри вернулся в город и вошел в первую телефонную будку. Набрал код телефонной станции, он попросил соединить его с Департаментом полиции.

— Простите, сэр,— ответила, не поняв его, телефонистка.

Лэнтри перезвонил еще раз:

— Дайте мне Силы порядка.

— Соединяю вас с Силами мира,— наконец приняла самостоятельное решение девушка-оператор.

Это немного напугало его. Страх поселился в нем как нечто обособленное, некий часовой механизм, не поддающийся его воле. Когда он попросил соединить его с Департаментом полиции, девушка не могла понять его, ибо здесь нет полиции и это слово было анахронизмом. Что, если она сообщит о странном звонке, укажет, откуда он был, и начнется расследование? Нет, она не сделает этого. Она ничего не заподозрит. В этой цивилизации не бывает параноиков.

— Хорошо, давайте Силы мира,— согласился Лэнтри.

— Силы мира,— услышал он мужской голос.— Стивенс слушает.

— Соедините меня с Отделом убийств,— довольно улыбаясь, сказал Лэнтри.

— С кем?

— С тем, кто расследует убийства.

— Простите, что вам нужно?

— Я ошибся номером.— Довольно посмеиваясь, Лэнтри повесил трубку. Черт побери, у них нет даже представления о таком роде деятельности, как расследование убийств. Раз нет убийств, зачем детективы? Отлично! Отлично!

Внезапно телефон-автомат зазвонил. Лэнтри колебался, снять трубку или нет. И все же снял.

— Эй, вы! — услышал он мужской голос.— Кто вы?

— Тот, кто вам звонил, уже ушел,— поспешно ответил Лэнтри и повесил трубку.

Потом он все же пустился бежать. Его могут узнать по голосу и пошлют сюда кого-нибудь для проверки. В их мире никто не лжет, а он только что солгал. Они узнают его голос! Он сказал неправду, а раз так, его отправят к психиатру. Они приедут и заберут его, чтобы узнать, почему он лжет. Всего лишь по этой причине, ибо им более не в чем его заподозрить. Надо немедленно бежать отсюда.

Отныне ему следует быть очень осторожным. В сущности, ему очень мало известно об этом странном мире будущего, с его высокой моралью и поголовной правдивостью. К тому же здесь вызывает подозрение любой человек с бледным, без румянца, лицом или тот, кто не спит по ночам, кто не моется и

от кого разит падалью, как от дохлой коровы, что уже с ним случилось. Или еще по какой-либо другой причине он может привлечь к себе внимание.

Ему необходимо зайти в здешнюю библиотеку. Это опасно, он знает. Интересно, на что похожи нынешние библиотеки? Они хранят книги или фильмы и диски с записями книг? Есть ли у нынешних людей домашние библиотеки? Если так, тогда городских библиотек, возможно, не так уж много?

Он решил рискнуть и проверить это. Его несовременная речь с устаревшими словами и выражениями может тоже вызвать подозрение и настороженность. Однако ему необходимо узнать все, что можно, об этом чертовом мире, в который ему не в добрый час пришлось вернуться.

Остановив прохожего на улице, он спросил:

— Где здесь библиотека?

Тот удивился, но ответил:

— В двух кварталах отсюда, к востоку, а затем пройти один квартал на север.

— Спасибо. Проще простого.

Через несколько минут он уже был в библиотеке.

— Чем могу быть вам полезной? — справилась библиотекарша.

Он уставился на нее, уже испытывая раздражение. «Чем могу быть полезной?», «Чем могу быть полезен?» Вот заладили! Прямо мир одних полезных людей.

— Мне бы познакомиться с Эдгаром Алланом По.

Теперь Лэнтри тщательно подбирал слова, избегая глагола «читать». Он опасался, что книги давно устарели, а искусство книгопечатания навсегда утеряно и забыто. Возможно, место книг заняли стереоскопические кинофильмы. Как, черт побери, можно заменить фильмами книги Сократа, Шопенгауэра, Ницше и Фрейда?

— Повторите имя автора.

— Эдгар Аллан По.

— В нашем каталоге такого нет.

— Пожалуйста, проверьте еще раз.

Она вежливо удовлетворила его просьбу.

— Да, верно. На карточке стоит пометка красным. Его книги сожгли в две тысячи шестьдесят пятом году, в Дни Больших костров.

— О, какой я невежда!

— В этом нет ничего зазорного. Вы что-нибудь знаете об авторе?

— Знаю только, что у него были какие-то ужасные представления о смерти,— осторожно сказал Лэнтри.

— Да, ужасные, — согласилась библиотекарша и сморщила носик. — Просто чудовищные.

— Да, чудовищные. Если на то пошло, то попросту отвратительные. Хорошо, что сожгли все, что он написал. Это грязные книги. А у вас есть что-нибудь Лавкрафта¹?

— Это о сексе?

Лэнтри расхохотался:

— О нет, нет!

Библиотекарша порылась в каталоге.

— Его тоже сожгли вместе с По.

— Наверное, то же самое случилось с Мэченом, и человеком по имени Дерлет, и еще с Амброузом Бирсом?

— Да. — Она закрыла шкаф. — Сожгли всех. Туда им и дорога. — Она посмотрела на Лэнтри с неожиданной теплотой: — Ручаюсь, вы недавно вернулись с Марса?

— Почему вы так думаете?

— Вчера еще один из ваших был здесь. Тоже только что вернулся с Марса. Его, как и вас, интересовала эта странная литература. Кажется, на Марсе нашли гробницы.

— А что такое гробницы? — Лэнтри был уже достаточно научен опытом не говорить лишнего.

— О, это места, где когда-то, очень давно, хоронили умерших.

— Варварский обычай. Отвратительно!

— Да, вы тоже так считаете? Наглядевшись на них на Марсе, молодой исследователь заинтересовался ими. Он спрашивал книги тех же авторов, что и вы. Конечно, у нас нет подобных книг. — Библиотекарша посмотрела на бледное лицо Лэнтри: — Вы тоже из тех, кто побывал на Марсе?

— Да, — не задумываясь ответил Лэнтри. — Только вчера прилетел.

— Молодого астронавта звали Берк.

— А, Берк! Он мой друг.

— Сожалею, что не смогла помочь вам. Советую укольчики витаминов, и позагорайте под ультрафиолетовой лампой. И все обойдется. У вас ужасный вид, мистер...

— Лэнтри. Да, все обойдется. Благодарю вас. Увидимся в следующий канун Дня всех святых. Приглашаю на свидание.

— О, да вы шутник, — рассмеялась библиотекарша. — Будь у нас такой праздник, не сомневайтесь, я бы обязательно пришла на свидание.

¹ Непереводимая игра слов. Фамилия американского писателя Г. Ф. Лавкрафта (Lovecraft) буквально переводится как «искусство любви».

— Но праздника нет. Его тоже сожгли на Большом костре,— напомнил ей Лэнтри.

— Да, он сгорел, как и все остальные,— согласилась девушка.— Доброй ночи.

— Доброй ночи.

Он покинул библиотеку.

О, каким осторожным ему следует быть, чтобы сохранять хрупкое равновесие и не переходить грань в этом странном мире! Как гироскоп, он должен бесшумно вращаться с огромной скоростью, сохраняя устойчивость, а главное — он должен побольше молчать. Блуждая после восьми вечера по улицам, он заметил, что не все они так уж ярко освещены. На каждом углу, как положено, стоял фонарь, но чем дальше в глубь улицы или переулка, тем хуже освещение.

Неужели эти странные люди не боятся темноты? Невероятная глупость! Все люди боятся темноты. Даже он боялся ее, когда был ребенком. Бояться темноты так же естественно для человека, как испытывать чувство голода.

Мимо сломя голову промчался мальчишка, а за ним еще шестеро. Они громко и весело смеялись и кричали, валяясь в прохладной, пожухлой осенней траве и опавших листьях. Лэнтри подождал несколько минут, прежде чем обратиться к одному из них, маленькому мальчугану, решившему передохнуть. Он отдувался, набирая в легкие воздух и пыжась, словно пытался надуть прохудившийся бумажный пакет.

— Зачем же так стараться? — заметил, подойдя, Лэнтри.— Этак совсем выдохнешься.

— Ну и что? — ответил мальчуган.

— Не скажешь ли мне,— продолжал Лэнтри,— почему фонари горят только в начале и в конце улицы, а посередине темно?

— А зачем это вам?

— Я учитель и хотел проверить, знаешь ли ты или нет?

— Потому что в середине улицы они не нужны,— бойко ответил малыш.

— Но скоро совсем станет темно? — продолжал расспрашивать Лэнтри.

— Ну и что? — ответил мальчишка.

— Разве ты не боишься темноты?

— Чего?

— Темноты,— терпеливо пояснил Лэнтри.

— Хо-хо! — воскликнул мальчик.— Чего это я стану ее бояться?

— Будет темно, ничего не видно,— продолжал Лэнтри.— Для того и существуют фонари, чтобы в темноте не было страшно.

— Это дурацкое объяснение. Фонари нужны, чтобы видеть, куда идешь. Вот и все.

— Ты не понимаешь главного... — не унимался Лэнтри. — Ты хочешь сказать мне, что способен просидеть один-одинешенек где-нибудь на пустыре всю ночь и тебе не будет страшно?

— Страшно? Отчего же?

— «Отчего, отчего, отчего!» — передразнил его Лэнтри. — Глупый мальчишка! Да от темноты!

— Хо-хо!

— Ты не боишься забраться высоко в горы и остаться на всю ночь там один?

— Конечно, не боюсь.

— А если останешься один в пустом заброшенном доме?

— Конечно, нет.

— И не испугаешься?

— Конечно, нет.

— Ты просто лгун!

— Не смейте обзывать меня плохими словами! — крикнул мальчишка.

Лэнтри понял, что зарвался, употребив такое обидное слово. Обвинение во лжи, пожалуй, самое сильное оскорбление для человека.

Это маленькое чудовище окончательно вывело Лэнтри из себя.

— Посмотри-ка на меня, — потребовал он от мальчишки. — Смотри мне в глаза!

Мальчик с подозрением посмотрел на него.

Лэнтри оскалил зубы, скрючил пальцы наподобие когтей и потянулся к нему, гримасничая и кривляясь. Лицо его, скорченное в гримасу, стало похожим на маску ужаса.

— Хо-хо! — воскликнул, заинтересовавшись, мальчуган. — Какой вы смешной!

— Что ты сказал?

— Вы очень смешной. А ну-ка, сделайте еще эту гримасу. Ребята, идите сюда! Этот человек умеет показывать смешные фокусы!

— Нет, нет, не надо!

— Сделайте еще разок, сэр!

— Ничего, ничего, спокойной ночи, малыш.

Лэнтри пустился наутек.

— Спокойной ночи, сэр! Остерегайтесь темноты! — крикнул ему вдогонку мальчуган.

Из всех известных ему человеческих глупостей самой необъяснимой, вредоносной и лживо-лицемерной была эта! Такого идиотизма он еще не встречал. Отнять у детей право на фан-

тазию, лишить их воображения! Зачем тогда детство, если ты не в состоянии фантазировать, придумывать, видеть все посвоему?

Лэнтри перестал бежать и перешел на шаг, а затем, замедлив его, смог наконец поразмышлять и впервые дать себе оценку. Проведя рукой по лицу и даже укусив себя за палец, он наконец сообразил, что стоит посреди улицы. Ему стало не по себе. Он поспешил подойти к фонарю на углу. «Так будет лучше», — подумал он, протянув к свету фонаря руки, как это делает человек, когда хочет согреть их у приветливого огня.

Он прислушался. Царила ночная тишина, был слышен лишь стрекот цикад. Блеснула зарница — это в небе прорезала свой след ракета, издав звук не громче звука от взмаха факелом в ночи.

Лэнтри впервые попытался прислушаться к себе и гадал, что же в нем такого необычного. Прежде всего его поразило то, как безмолвно его тело. Ноздри и легкие не издавали ни единого звука. Они не втягивали кислород и не отдавали обратно углерод — они полностью бездействовали. Волоски в его ноздрах не шевелились от вдоха или выдоха. Он не слышал тех приятных мурлыкающих звуков, которые порой издает человек, когда дышит. Странно и непривычно не слышать их теперь. А ведь когда он был жив, он к ним особенно не прислушивался, хотя знал, что дышать — это значит жить. Могли он предполагать, что будет так тосковать по ним теперь, когда он мертв?

Он припомнил, как иногда, внезапно проснувшись ночью, он вдруг отчетливо слышал собственное дыхание, как его ноздри легко вдыхали и выдыхали воздух, а потом он прислушивался к глухим сильным толчкам крови в висках, ушах, в горле, на запястьях, в груди и чреслах. Эти ритмы его живого тела остались теперь лишь в воспоминаниях. Нет пульса на запястьях и на шее, его грудь неподвижна, он не чувствует тока крови в своих жилах, совершающей свой круг. Прислушиваться к себе теперь — это все равно что приложить ухо к холодному мрамору статуи.

И все же он жил. Вернее, он передвигался. Как это могло случиться? Вопреки всяким научным объяснениям, теориям и догадкам?

Это стало возможным лишь по одной, и только одной, причине.

Ненависть.

Его кровью была ненависть. Она текла в его жилах, она двигала им. Она была его сердцем, которое не билось, это правда, но было теплым. Он испытывал... Что же? Негодова-

ние. Зависть. Это они сказали ему, что он более не может лежать на кладбище в гробу. Он хотел бы там остаться. У него и в помыслах не было подняться, выйти и бродить вокруг. Его вполне устраивало все эти века покоиться на кладбище, лежать глубоко под землей и слышать, но не чувствовать движения жизни вокруг — тонкий, как тиканье часов, звук миллиардов сердец различных насекомых, движение червей в земной толще, похожее на неторопливый ход мыслей.

Но пришли они и велели: «Вставайте — и марш в печь!» Есть ли что унижительнее для человека? Кто имеет право указывать ему, что делать? Если человеку сказать, что он мертв, он может воспротивиться этому. Если ему твердить, что вампиров и всего прочего нет и все это выдумка, он назло сам станет вампиром. Если утверждать, что мертвый не восстанет и не пойдёт, он обязательно попробует сделать это. Если вы начнете убеждать его, что убийств больше не бывает, он станет сам совершать их. Человек целиком и полностью соткан из этих противоречий. И виною тому дела и поступки невежественного большинства. Оно не ведаёт, что творит зло. Его надо проучить. Он им всем покажет! Солнце — это хорошо, темная ночь — тоже хорошо. Не надо бояться темноты, говорят они.

«А темнота — это страх! — безмолвно кричал он, глядя на домики городка. — Темнота создана, чтобы быть контрастом свету. Все должны пугаться ее, вы слышите! Так всегда было заведено в этом мире. Эй вы, уничтожители Эдгара Аллана По и прекрасного, щедрого на красивые слова Лавкрафта, вы, предавшие сожжению веселый праздник, канун Дня Святых, и тыквенные маски с зажженными в них свечами, слушайте меня и остерегайтесь! Я сделаю ночь тем, чем она была однажды, до того как человек начал с ней бороться, строя свои ярко освещенные неонам города и неправильно воспитывая своих детей».

Словно в ответ ему, низко летящая ракета гордо распустила в небе свой огненный хвост. Лэнтри вздрогнул и попятился.

4

До маленького городка Сайнс-Порт было всего десять миль. Он проделал этот путь пешком и на рассвете был почти у цели. Но и здесь ему не повезло. В четыре утра его нагнала серебристого цвета машина и, поравнявшись, замедлила ход.

- Привет! — окликнул его человек, сидевший за рулем.
- Привет, — устало ответил Лэнтри.
- Почему вы идете пешком? — спросил человек.
- Я иду в город.

— Почему вы не на машине?
— Мне нравится ходить пешком.
— Сейчас этого никто не делает. Вам нездоровится? Могу я вас подвезти?

— Благодарю, но я люблю ходить пешком.

Человек помедлил, раздумывая, а затем захлопнул дверцу машины:

— Доброй ночи.

Когда машина скрылась из виду, Лэнтри свернул в придорожный лесок. Этот мир переполнен доброжелателями. Господи, даже пройти пешком нельзя, без того чтобы не заподозрили, что у тебя с головой неладно. Это ему урок. Он больше не должен ходить пешком, придется ездить. Надо было принять приглашение этого типа.

Остаток ночи он шел не по шоссе, а вдоль него и держась на достаточном расстоянии, чтобы вовремя спрятаться в кустарнике, если снова появится какая-нибудь машина. Когда рассвело, он спрятался на дне сухой дренажной канавы и закрыл глаза.

Сон был совершенен, как первая снежинка.

Он видел могилу, в которой лежал в глубоком сне многие столетия. Он слышал шаги могильщиков, когда рано утром они пришли на кладбище, чтобы закончить свою работу.

— Поддай-ка мне лопату, Джим.

— На, держи.

— Подожди, не начинай.

— В чем дело?

— Посмотри-ка сюда. Мы вчера не закончили до конца раскапывать эту могилу, так или не так?

— Так.

— В ней оставался гроб, так или не так?

— Оставался.

— А теперь взгляни на гроб — он открыт!

— Ты перепутал могилы.

— Что написано на надгробном камне?

— Лэнтри, Уильям Лэнтри.

— Это он, он! Но его здесь нет!

— Что могло с ним случиться?

— Откуда мне знать? Еще вчера в гробу лежало тело.

— Откуда ты знаешь, что оно там лежало? Мы в гроб не заглядывали.

— Черт побери, пустые гробы не хоронят! Он был там. А теперь его нет.

— А может, этот гроб был все-таки пустой?

— Не будь дурнем. А ну принюхайся! В гробу лежал мертвец.

Наступило молчание.

— Думаешь, кто-то украл его?

— Зачем?

— Из любопытства, например.

— Не будь смешным. Теперь никто не ворует и не берет чужого.

— Тогда остается лишь одно объяснение.

— Какое?

— Он сам встал из гроба и ушел.

Снова молчание.

Почему молчание? В своем темном сне Лэнтри ожидал услышать смех. Но смеха не было. Вместо него один из могильщиков после долгих размышлений наконец сказал:

— Да, так оно, должно быть, и случилось. Он встал и ушел.

— Интересная получается история, если подумать,— ответил другой.

— И вправду интересная, не так ли?

Снова тишина.

Лэнтри проснулся. Это был всего лишь сон, но как похож на явь. Как странно беседовали эти двое могильщиков. Странно, но правдоподобно. Именно так должны были говорить люди из будущего мира. Люди из будущего. Лэнтри невесело усмехнулся. Тебе кажется, что это анахронизм. Нет, это было будущее. Это происходит сейчас. Не три столетия назад, а сегодня, сейчас, и не в какое-то другое время. На дворе не двадцатый век. Как просто эти двое из его сна сказали и тут же поверили, что «он встал из гроба и ушел»! И что это «интересная история... если подумать». Она и вправду «интересная». Ни у того ни у другого не дрогнул голос, никто из них с опаской не оглянулся, ни у одного не дрогнула рука, державшая лопату. Их абсолютно честные, логически мыслящие мозги нашли лишь одно объяснение: никто не мог украсть мертвое тело, ибо теперь «никто не крадет». Просто мертвец сам встал и ушел. Только мертвец смог сам это сделать. Из немногих случайно оброненных слов Лэнтри смог заключить, что думают могильщики обо всем этом: в течение нескольких сотен лет в гробу лежал человек, который не был окончательно мертвым, а как бы в забытьи. Шум и грохот на кладбище разбудили его.

Кто не знает рассказов о маленьких зеленых лягушках, которые тысячелетиями лежат вмерзшими в грунт или кусок льда,

оставаясь живыми, и еще как живыми! Когда ученые находили их и брали в руки, как кусочки цветного мрамора, лягушки оживали от тепла ладони, хлопали глазами, прыгали и начинали резвиться. Вполне логично, что могильщики поверили в то, что Уильям Лэнтри ожил таким же образом.

А что, если в ближайшие день-два кто-нибудь да сопоставит все события, происшедшие за это время? Что, если кому-то вздумается связать исчезновение мертвеца с кладбища со взрывом Крематория в городе? Если человек по фамилии Берк, бледнолицый астронавт, вернувшийся с Марса, снова посетит библиотеку и попросит молодую библиотечаршу дать ему кое-какие книги, а та ответит ему: «О, ваш друг Лэнтри был здесь вчера». А Берк ответит: «Какой Лэнтри? Я не знаю такого». Тогда библиотечарша обиженно воскликнет: «Значит, он солгал?» А люди в этом мире уже не лгут. Тогда, случай за случаем, кусочек за кусочком, сложится общая картина. Появление в городе человека с бледным лицом, которое не должно быть бледным, человека, зачем-то солгавшего в библиотеке, когда люди давно уже не лгут, человека, встреченного на шоссе идущим пешком, когда все давно пешком не ходят,— если все это сопоставить с исчезновением тела с кладбища, а также со взрывом Крематория и еще... и еще...

Они доберутся до него, думал Лэнтри. Его обязательно найдут. Найти его совсем нетрудно. Он ходит пешком, он лжет, у него бледное лицо. Они обязательно найдут его, схватят и зажарят в печи ближайшего же Крематория. И тогда, мистер Лэнтри, ты будешь готов, как индейка ко Дню благодарения!

Есть лишь один выход, радикальный и окончательный. Он чувствовал, как в нем снова поднимается волна гнева. Уста его были раскрыты, темные глаза сверкали, тело горело, и по нему пробегала дрожь. Он будет убивать, убивать, убивать! Он должен превратить врагов в своих друзей, в таких же людей, как он, которые вопреки всему ходят, хотя не должны, и разительно выделяются своей бледностью среди краснощекых и загорелых местных здоровяков. Он должен убивать, убивать и снова убивать. Ему нужны мертвые тела, трупы. Он должен уничтожать крематории один за другим, печь за печью. Взрыв за взрывом, смерть за смертью. Когда все крематории будут лежать в развалинах, а наспех созданные морги будут забиты жертвами взрывов, тогда он, Лэнтри, начнет искать друзей и вербовать себе помощников во имя общей цели.

Прежде чем им удастся выследить его, схватить и убить, он должен нанести удар первым. Пока он еще в безопасности,

он может убивать, не опасаясь за себя. Нынешнее население не расположено убивать. Это дает ему гарантию некой безопасности. Лэнтри вылез из канавы и вышел на шоссе.

Вынув нож из кармана, он приготовился остановить первую машину.

Все было похоже на салют четвертого июля, в День независимости!

Огромный фейерверк, каких здесь не бывало, — и Крематорий в городке Сайнс-Порт лопнул пополам и разлетелся на куски. Падая, они вызывали тысячи новых малых взрывов, прозвучавших как эхо первого, большого, салюта. Горящие осколки падали на крыши домов, сжигали сады. Они разбудили жителей города для того, чтобы через мгновение те уснули уже навсегда.

Уильям Лэнтри, сидя за рулем чужой машины, настроился на радиоволну. В результате взрыва Крематория погибло четыреста человек: многие в рухнувших домах, а другие от металлических осколков.

Готовится помещение для временного морга...

Далее следовал адрес.

Лэнтри аккуратно записал его в блокнот.

Так можно ехать, размышляя он, из города в город, из страны в страну и уничтожать Печи, эти Столпы Огненные, пока все прекрасные стерильные сооружения, вместилища огня и символы очищения, не станут грудями развалин. Потом можно довести до сотни тысяч.

Он нажал на педаль скоростей и, довольно улыбаясь, въехал в темные улицы города.

Коронер реквизирует старые городские склады. С полуночи до четырех утра серые санитарные машины, тихо шурша по мокрому асфальту, доставляли сюда тела погибших. Их укладывали рядами на холодный цементный пол и накрывали белыми саванами. Это продолжалось до половины пятого утра. Доставлено было около двухсот тел.

А потом все ушли. Никто не остался сторожить мертвых. А зачем? Все равно это бесполезно. Пусть мертвые стерегут мертвых.

Около пяти часов утра, когда на востоке забрезжил рассвет, тонкой струйкой потянулись родственники погибших опознавать сыновей, отцов, матерей и других близких. Они торопливо входили и еще поспешнее уходили. Но к шести утра, когда наступил рассвет, склады опустели.

Уильям Лэнтри пересек широкую, мокрую от дождя улицу и вошел.

В руках у него был голубой мелок.

Он прошел мимо коронера, стоявшего в дверях и разговаривавшего с двумя мужчинами.

— ...Завтра же отвезите тела в Крематорий в Меллин-Тауне...— услышал Лэнтри удаляющиеся голоса.

Его шаги по цементному полу почти не отдавались эхом. Он испытывал непонятное облегчение, бродя между укутанными в белое телами. Он был среди своих, и, главное, он сам создал нужную ему ситуацию! Он убил их всех. Он обеспечил себе поддержку большого количества послушных друзей.

Следит ли за ним коронер? Лэнтри повернул голову. Нет. Здесь тихо, пусто и полумрак от серого осеннего рассвета. Коронер и его два помощника уже перешли на другую сторону улицы. Там у тротуара остановилась машина, и коронер заговорил с человеком за рулем.

Уильям Лэнтри, не теряя времени, принялся за дело. Он стал чертить голубым мелком на полу возле каждого тела пентаграммы, магические знаки. Двигаясь быстро, он рисовал их не останавливаясь и то и дело бросал быстрые взгляды через улицу на коронера. Отметив пентаграммой около сотни тел, он наконец выпрямился и сунул мелок в карман.

Теперь наступило время всем людям доброй воли прийти на помощь их партии, наступило время всем добрым людям помочь ей...

Он лежал под землей не одно столетие, но не оставался равнодушным к делам и мыслям сменявшихся эпох и поколений. Он впитывал все как губка, и теперь, словно в насмешку, в памяти всплывала, и не в первый уже раз, черная пишущая машинка, отстукивающая ровные строчки черных букв, слагая нужные слова:

«...Наступило время всем людям доброй воли, всем добрым людям помочь... Уильяму Лэнтри.»

И еще:

«Восстань, любимая, и мы пойдем...»

«Проворный рыжий лис перепрыгнул...» А здесь явно нужен парафраз: «Восставший мертвец ловко перепрыгнул через развалины Крематория...»

«Лазарь восстал из гроба...»

У него есть нужные слова. Надо только суметь сказать их так, как это говорили в прежние века. Он возденет руки к небу и произнесет заклинания, а они поднимут мертвых из

гроба, заставят их встать и пойти. А когда это сбудется, он проведет их всех по городу и они станут убивать, но убитые воскреснут и тоже пойдут с ними. К концу дня у него будут тысячи верных друзей. А как же наивные доверчивые люди, живущие сейчас, в этот год, в этот день и час? Они будут застигнуты врасплох и потерпят сокрушительное поражение, ибо не ждут войны. Они не поверят, что война возможна, а она будет закончена прежде, чем они поймут, что подобная нелепость все же может произойти.

Лэнтри воздел руки горе, уста его раскрылись, и он произнес первые слова, сначала тихо, распевно, совсем шепотом, потом все громче. Он повторял и повторял заветные слова, раскачиваясь и закрыв глаза. Речь его убыстрялась. Он бродил среди мертвых тел, произнося слова заклинаний. Как зачарованный, он сам вслушивался в них и время от времени, нагибаясь, чертил голубые пентаграммы, как это делали давно забытые всеми кудесники, маги, колдуны. Он улыбался, он был уверен в себе. Он ждал того момента, когда дрожь пробуждения пробежит по неподвижным телам и он увидит, как они встают!

Руки его были воздеты, он кивал в такт словам и говорил, говорил. Вскоре он уже жестикулировал, голос стал совсем громкий, глаза горели, тело напряглось.

— Час пришел! — яростно выкрикнул он. — Восстаньте!

Но ничего не произошло.

— Восстаньте из мертвых! — кричал он в иступлении.

Голубые тени в складках белых саванов на застывших телах остались неподвижны.

— Слушайте меня и поднимайтесь! — продолжал кричать он.

Где-то вдали со свистом промчалась машина.

Лэнтри кричал, он молил, он склонялся над каждым телом и умолял, как о чем-то очень важном, личном. Но мертвые молчали. Он метался между ровными белыми рядами, заламывая руки, нагибаясь и вновь чертя голубые символы.

Лэнтри, белее саванов на убитых, судорожно облизывал пересохшие губы и молил:

— Поднимайтесь, вы должны! Ведь так всегда было... Тысячелетиями одного магического знака, одного лишь слова было достаточно, чтобы поднять мертвых из гроба. Всегда было так, почему же не сейчас, почему? Вставайте, пока они не вернулись!

На склады опустилась тень. Под стальными балками перекрытий царил тишина. Лишь внизу неистовствовал одинокий человек.

Лэнтри наконец умолк.

В широко распахнутые двери были видны небо и угасающие утренние звезды.

Был две тысячи триста сорок девятый год.

Глаза Лэнтри потухли, руки опустились и повисли как плети. Он был неподвижен.

Когда-то, давным-давно, люди пугались, если в доме начинал гулять ветер. Они брали в руки распятия или ядовитые цветки аконита. Они верили в воскрешение мертвых, в летучих мышей-вампиров и белых волков. А пока они верили в то, что все это существовало: ожившие мертвецы, вампиры и белые волки, рожденные воображением человека, — они становились реальностью.

Но...

Лэнтри посмотрел на тела под белыми покрывалами.

Эти люди ни во что подобное не верили.

Да, они не верили и не поверят и теперь. Им трудно представить себе, что мертвецы могут воскреснуть. Для мертвых есть лишь одна дорога — в Печь. Суеверия и сомнения не мучили их, они не боялись темноты, этот страх им был неведом. Ходячие мертвецы — да ведь это абсурд! На дворе две тысячи триста сорок девятый год, не забывайте об этом!

Вот почему эти мертвые не восстанут. Их тела останутся безжизненными, холодными и плоскими. Им не помогут заклинания и суеверные обряды. Ничто не может заставить их встать и пойти. Они мертвы и знают об этом!

Он снова был один.

Еще совсем недавно эти люди были живы, разъезжали в своих жуках-автомобилях, умеренно выпивали в маленьких полутемных барах у дороги, любили своих женщин и вели беседы о чем-то простом, будничном, добром и понятном.

Но он-то, Лэнтри, не был жив!

Его способность двигаться благодаря силе трения создала всего лишь иллюзию теплоты в его мертвом теле.

Перед ним двести трупов, поспешно свезенных в пустые городские склады. Первые за столетие покойники, которым позволили пролежать на холодном цементном полу неположенные несколько часов. Первые, кто не угодил сразу же в Крематорий и не вылетел в Большую трубу в виде легкого флуоресцирующего дыма.

Казалось, он должен быть счастлив, находясь среди них.

Но, увы, это было не так.

Они были по-настоящему мертвы.

Они не узнали да и не поверили бы, что мертвые могут ходить, даже если сердце остановилось. Они были мертвее мертвых.

Он снова один и более одинок, чем любой человек на свете. Ходод одиночества вползал в его тело, добирался до груди, чтобы тихо прикончить его.

Уильям Лэнтри инстинктивно обернулся и чуть не вскрикнул.

Он был не один. Кто-то вошел в помещение складов. Лэнтри разглядел высокого седоволосого человека в легком светлом пальто, но без шляпы. Как долго он находится здесь?

Лэнтри понял, что более не может здесь оставаться, и, повернувшись, направился к выходу. Минувя незнакомца, он бросил на него торопливый взгляд. В глазах того было любопытство. Неужели он слышал, как Лэнтри кричал на мертвецов, как заклинал и молил их? Неужели он что-то заподозрил? Лэнтри замедлил шаги. Видел ли седой мужчина, как он рисовал голубые пентаграммы? Поймет ли он, что это символы древних магических заклинаний? Возможно, нет.

В дверях Лэнтри остановился. На мгновение ему вдруг захотелось тоже лечь на пол и снова стать мертвым, чтобы его подняли и молча повезли по улицам к какой-нибудь дальней жаровой трубе, где тихо шелестящее пламя превратит его в горстку пепла. Если он опять один и у него нет шансов создать армию единомышленников, для чего ему оставаться здесь? Убивать? Ну, убьет он еще несколько тысяч. Что от этого изменится? Все равно рано или поздно они его поймают.

Он посмотрел на холодное небо.

Пролетела ракета, оставив на нем огненный след.

Среди миллиардов звезд красным огнем горела планета Марс.

Марс. Библиотека. Молодая библиотечка и их беседа о тех, кто вернулся из космоса. Гробницы на Марсе.

Лэнтри чуть не закричал, так ему захотелось, протянув руку, коснуться Марса. Волшебная, прекрасная звезда, добрая звезда, пробудившая в нем новую надежду! Если бы его сердце не было мертво, оно сейчас бы бешено забилося, лоб стал бы влажным от пота, кровь стучала бы в висках, а из глаз полились бы настоящие слезы!

Он должен попасть в то место, откуда взлетают в воздух ракеты. Чего бы это ему ни стоило, он должен улететь на Марс! Там он отыщет эти гробницы, а в них останки умерших марсиан. Он готов поклясться той ненавистью, что в нем еще осталась, что среди мертвых на Марсе найдутся те, кто поймет его, встанет из гроба и пойдет за ним ради общего дела. Это древняя цивилизация, не похожая на земную. Она, скорее,

близка древнеегипетской, если библиотекарьша сказала ему правду о гробницах. Ведь древнеегипетская цивилизация — это сплав темных предрассудков и ночных кошмаров предшествующих веков. Такой была прекрасная планета Марс.

Ему не следует привлекать к себе внимание. Его движения и походка должны быть спокойными. А ему так хотелось убежать отсюда без оглядки, хотя это было бы роковой ошибкой. Седой мужчина продолжал поглядывать на него, когда остановился в дверях. И к тому же кругомлюдно. Если бы что-то произошло, силы были бы неравными. До сих пор он расправлялся с ними поодиночке.

Покидая склады, Лэнтри заставил себя остановиться на ступеньках крыльца. Седоволосый мужчина тоже вышел и посмотрел на небо. Лэнтри показалось, что он сейчас заговорит с ним, но, порывшись в карманах, мужчина вынул пачку сигарет.

5

Так они стояли перед входом в импровизированный морг: высокий розоволицый седой мужчина и он, Лэнтри. У обоих руки были в карманах.

Вечер был прохладным, светила похожая на белую ракушку луна, посеребрив крышу дома, кусок мостовой и темную гладь реки.

— Хотите сигарету? — Мужчина протянул Лэнтри пачку.

— Благодарю.

Они закурили. Мужчина смотрел на бескровные губы Лэнтри.

— Холодный вечер.

— Да, холодный.

Они переминались с ноги на ногу.

— Ужасное происшествие.

— Ужасное.

— Так много жертв!

— Да, много.

Лэнтри чувствовал, как колеблются весы, а он — словно гирька, брошенная на них. Мужчина как будто не смотрел на него, но слушал и пытался понять. Достаточно положить перышко на чашу весов, и равновесие будет нарушено. Ему хотелось бежать от этих весов и брошенных на их чаши гирь. Наконец седой мужчина представился:

— Меня зовут Макклюр.

— У вас есть друзья в морге? — спросил Лэнтри.

— Нет. Лишь случайные знакомые. Ужасный случай.

— Да, ужасный.

Весы были спокойны. По улице промчалась машина, шурша всеми своими семнадцатью шинами. Лунный свет упал на крохотный городок далеко в темных горах.

— Послушайте,— промолвил Макклор.

— Да?

— Вы сможете ответить мне на вопрос?

— Буду рад. — Лэнтри нащупал нож в кармане.

— Вас зовут Лэнтри? — наконец отважился спросить седоволосый.

— Да.

— Уильям Лэнтри?

— Да.

— Значит, вы тот человек, который два дня назад покинул кладбище в Сэleme, я прав?

— Да.

— Слава Богу! Я рад познакомиться с вами, Лэнтри! Мы все искали вас последние двадцать четыре часа!

Седоволосый мужчина схватил Лэнтри за руку и тряс ее, а другой рукой похлопывал по спине.

— Что вы, что вы? — испуганно повторял Лэнтри.

— Господи, почему вы убежали? Разве вы не понимаете, какой это для нас момент? Мы жаждем побеседовать с вами.

Макклор улыбался, он сиял. Еще пожатие руки, похлопывание по спине.

— Я так и думал, что это вы!

Он просто сумасшедший, решил Лэнтри. Не иначе как сумасшедший. Я разрушил их крематории, убил столько людей, а он радостно пожимает мне руку. Сумасшедший!

— Можно вас пригласить во дворец? — спросил Макклор, беря его под локоть.

— К-к-а-кой дворец? — отшатнулся Лэнтри.

— Во Дворец науки, разумеется. Не часто приходится видеть случаи оживления людей. У некоторых животных и насекомых это наблюдается, но чтобы такое произошло с человеком — просто невиданный случай. Вы придете?

— В чем дело? — гневно уставился на него Лэнтри. — Что это означает?

— Мой дорогой друг, что вы имеете в виду? — ошеломленно спросил седой мужчина.

— Так, ничего. Это единственная причина, зачем я вам нужен?

— Какая же еще может быть причина, мистер Лэнтри? Вы не представляете, как я рад встретиться с вами! — Он чуть ли

не пританцовывал от восторга.— Я так и подумал, когда мы вместе оказались в морге. У вас бледный цвет лица, вы по-особому курите сигареты, и множество других вещей, ощущаемых почти подсознательно. Это действительно вы, не так ли?

— Да, это я, Уильям Лэнтри,— сухо ответил он.

— Отличный парень! Пойдемте!

Машина неслась на большой скорости по еще безлюдным улицам. Макклор не закрывал рта.

Лэнтри сидел и слушал, несколько ошарашенный всем, что произошло. Этот дурак Макклор, кажется, не зная того, оказывает ему немалую услугу. Глупцу ученому, или кто там он есть, невдомек, кого он подцепил, с какой опасностью он играет! Нет, иного не может быть! Для него он лишь интересный случай анабиоза. О том, как Лэнтри опасен, он, конечно, не подозревает. Куда там, ему это и в голову не придет.

— Конечно, конечно,— осклабясь, продолжал Макклор.— Вы не знали, к кому обратиться, у кого спросить. Все здесь вам непривычно и непонятно.

— Да.

— Я так и полагал, что вечером вы посетите морг! — радостно воскликнул Макклор.

— О? — насторожился Лэнтри.

— Да. Это даже трудно объяснить. Не знаю, с чего начать. У вас, древних американцев, очень странные представления о смерти. Вам довелось долго находиться среди мертвых, и я подумал: вас обязательно заинтересует взрыв Крематория, морг и прочее. Я понимаю, мое объяснение неубедительно, возможно даже глупо, но у меня был такое чувство, что именно так вы и поступите. Я терпеть не могу всякие предчувствия, но здесь я не ошибся. Вы, наверное, назвали бы это интуицией, не так ли?

— Возможно.

— И вы пришли.

— Пришел,— согласился Лэнтри.

— Вы голодны?

— Я уже поел.

— Как вы попали в наш город?

— Автостопом.

— Как?

— На попутных автомашинах.

— Невероятно!

— Пожалуй что так.— Лэнтри смотрел на мелькающие мимо дома.— Сейчас эпоха космических путешествий, не так ли?

— Мы уже лет сорок летаем на Марс.

— Даже не верится. А эти большие трубы в центре каждого города?

— Трубы? Разве вы не знаете? Это крематории. О, конечно, в ваше время ничего такого не было. Но сейчас что-то неладно с ними. Взорвался Крематорий в Сэземе, затем у нас, и все это за двое суток. Вы, кажется, что-то хотели сказать. Что же?

— Я просто думаю,— сказал Лэнтри,— мне повезло, что я смог выбраться из могилы. Ведь меня могли сжечь в одном из ваших крематориев.

— Вполне возможно.

Лэнтри рассеянно нажимал кнопки на щитке. Нет, он не полетит на Марс. Его планы изменились. Если этот глупец не способен распознать акт насилия, даже если он совершается у него под носом, пусть умирает дураком. Если они не связывают два взрыва с исчезновением мертвеца, тем лучше для него. Если им нравится так заблуждаться, что ж, это их право. Им невдомек, что кто-то может быть злым, подлым, жестоким. В таком случае да поможет им Бог. Он потер руки от удовольствия. Нет, Лэнтри, друг мой, тебе нечего сейчас отправляться на Марс. Раньше посмотрим, как можно подорвать все это изнутри. Времени у тебя много. Взрывы крематориев можно отложить на недельку. Надо быть осторожным. Новые взрывы, того и гляди, заставят их призадуматься.

Макклюр продолжал тараторить:

— Разумеется, мы не собираемся так сразу обследовать вас. Вам надо отдохнуть. Я приглашаю вас к себе, в свой дом.

— Благодарю. Я сейчас не расположен подвергаться осмотрам и изучению. Времени у нас достаточно, можно сделать это и через недельку-другую.

Машина остановилась перед домом, они вышли.

— Полагаю, вам надо выспаться,— заботливо заметил Макклюр.

— Я спал несколько веков. Теперь буду рад пободрствовать. Я ничуть не устал.

— Отлично.— Макклюр, открыв дверь дома, тут же направился к бару.— Нам не помешает выпить.

— Вы пейте,— ответил Лэнтри.— Я потом. Сейчас мне хочется только есть.

— О, разумеется, садитесь, прошу вас.

Макклюр приготовил себе коктейль. Обведя взглядом гостиную, он перевел его на Лэнтри и, держа стакан в руке, как бы призадумался, склонив голову набок и заложив язык за щеку. Затем, пожав плечами, он помешал круговыми движениями содержимое стакана и, медленно подойдя к креслу, наконец

сел. Маленькими глотками он принялся пить коктейль. Казалось, он к чему-то прислушивается.

— Сигареты на столе,— предложил он гостю.

— Благодарю.— Лэнтри взял сигарету и закурил. Какое-то время он молчал.

«Я слишком легко со всем соглашаюсь. Возможно, мне следовало бы убить его и тут же скрыться. Он единственный, кто отыскал меня,— размышлял Лэнтри.— А что если это ловушка? Может, Макклюр просто ждет полицию или что там у них есть вместо полиции». Он посмотрел на хозяина. Нет, он не ждет полицию. Он ждет чего-то другого.

Макклюр молчал. Он изучал лицо гостя, его руки и долго смотрел на грудь Лэнтри, сохраняя полную невозмутимость. И все это время он медленными глотками пил коктейль. Наконец глаза Макклюра остановились на ногах Лэнтри.

— Где вы раздобыли эту одежду? — неожиданно спросил он.

— Попросил, и мне ее дали. Очень благородно со стороны этого человека.

— Вы еще успеете убедиться в том, что мы все здесь такие. Стоит только нас попросить.

Макклюр снова умолк. Но глаза его говорили. Только глаза. Он снова отпил несколько глотков хереса.

Где-то тикали часы.

— Расскажите мне о себе, мистер Лэнтри,— наконец попросил он.

— Рассказывать нечего.

— Вы скромничаете.

— Едва ли. Прошрое вам и без меня известно. А вот я ничего не знаю о будущем или, вернее, о сегодняшнем дне и о вчерашнем тоже. Лежа в гробу, едва ли что-либо узнаешь.

Макклюр молчал. Он на мгновение подался вперед, но тут же снова опустился на спинку кресла.

«Они никогда не заподозрят меня,— думал Лэнтри.— Они не суеверны, они просто не верят, что мертвые могут ходить. Поэтому я в безопасности,— успокаивал себя Лэнтри.— Я постараюсь оттягивать как можно дольше медицинское освидетельствование. Они люди вежливые и принуждать не станут. А за это время я все подготовлю для полета на Марс. А там я займусь гробницами и составлю план. Черт возьми, как все просто! До чего же простодушны и наивны эти люди будущего!»

Макклюр, сидевший напротив, молчал уже минут пять. Он словно очоенел. Живые краски медленно уходили с его лица, как капли уходят из пипетки, когда нажмешь на рези-

новый баллончик. Подавшись вперед, он, однако, ничего не сказал, а лишь протянул Лэнтри сигарету.

— Спасибо,— поблагодарил тот.

Макклюр опять глубоко опустил в кресло и закинул ногу на ногу. Казалось, он не смотрел на гостя и вместе с тем следил за каждым его движением. Лэнтри снова охватило неприятное ощущение утраты равновесия. Чаши весов качнулись. Макклюр был похож на поджарую гончую во главе стаи, прислушивающуюся к тому, что, кроме нее, не слышит более никто. Есть такие крохотные серебряные свистки, звук которых улавливает лишь ухо охотничьей собаки. У Макклюра был вид, будто он ждал, настороженно и терпеливо, сигнала невидимого свистка. Об этом говорили его глаза, полуоткрытые, пересохшие от волнения губы и трепещущие ноздри.

Лэнтри, посасывая сигарету, беспрестанно пускал в воздух клубы дыма. А Макклюр, похожий на рыжего гончего пса, оцетинившись, прислушивался к чему-то, кося глазом. В нем гнезился страх. Он, как и звук невидимого свистка, угадывался лишь той частью подсознания, с которой по чуткости не сравнимы ни человеческий слух, ни зрение или обоняние.

В комнате стояла такая глубокая тишина, что, казалось, если прислушаться, будет слышен звук поднимающегося в воздух сигаретного дыма, уходящего под потолок. Макклюр был термометром, аптечными весами, настороженной гончей, лакмусовой бумагой, антенной или всем этим одновременно. Лэнтри не шелухнулся. Возможно, охватившее его беспокойство пройдет, как это бывало и раньше. Макклюр тоже не менял позы в кресле. Молча кивнув, он указал гостю на графин с хересом. Лэнтри так же молча отказался. Они сидели, избегая глядеть друг на друга, только изредка бросали опасливые взгляды и тут же отводили их.

Макклюр словно одеревенел. Лэнтри заметил, как его впалые щеки становились все бледнее, рука сильнее сжимала стакан с хересом и в глазах было прозрение. Оно теперь не покинет его уже никогда.

Лэнтри сидел не двигаясь. Ибо просто не мог. Все, что происходило, буквально завораживало его, и ему не терпелось поскорее узнать, что будет дальше. Игру вел Макклюр, только он один.

— Вначале я подумал, что это первый случай психоза, который мне довелось увидеть,— наконец сказал Макклюр.— Я говорю о вас. Я думал: он убедил себя в этом, то есть Лэнтри убедил себя в том, что он безумен, и поэтому заставил себя совершить все эти маленькие шалости.— Макклюр был как во сне, но говорил не останавливаясь.— Я сказал себе: он наме-

ренно не дышит носом. Я следил за вашими ноздрями, Лэнтри. За последний час волоски в них не шелохнулись. Но я решил, что этого недостаточно. Просто факт, который следует отметить. Этого недостаточно, уверял я себя. Он может дышать ртом. Он все это делает нарочно. А потом я предложил вам сигарету и увидел, как вы просто посасываете ее и пускаете дым, посасываете и дымите, вот и все. Вы ни разу не выпустили дым через нос. Я сказал себе: ну и что? Он не хочет вдыхать табачный дым. Что в этом плохого или подозрительного? Просто он предпочитает держать дым во рту, да, во рту. Но потом я посмотрел на вашу грудь. Я внимательно наблюдал за вами. Ваша грудь ни разу не поднялась и не опустилась при вдохе или выдохе. Она была неподвижной. Он вышколил себя, подумал я. Он управляет своим дыханием. Когда он уверен, что никто этого не видит, он дышит грудью. Вот как я продолжал уговаривать себя.

Речь его текла ровно, не прерываясь, в полной тишине комнаты. Макклор произносил слова как в гипнотическом сне.

— Я предложил вам выпить, но вы отказались. Ну что ж, он не пьет, подумал я. Разве это плохо? Все это время я внимательно следил за вами. Лэнтри нарочно задерживает дыхание, успокаивал я себя. Он просто валяет дурака. Но сейчас, да, сейчас, я все понял. Теперь я знаю, как все это могло произойти. Вы хотите узнать, как мне это удалось? Сидя с вами в этой комнате, я не слышал вашего дыхания. Я ждал, ждал, но так и не дождался. Я не слышал биения вашего сердца и не слышал, как дышат ваши легкие. В комнате такая тишина. Глупости, сказал бы кто-нибудь другой. Однако я все знаю. Мне известно про Крематорий. К тому же я ощущаю разницу. Когдаходишь в комнату, видишь человека на постели, то сразу же знаешь, посмотрит он на тебя, скажет ли что-нибудь или никогда уже не сделает ни того ни другого. Хотите смеяться, хотите нет, но это чувствуешь мгновенно. Подсознательно. Это как свисток, который слышат собаки, но не слышит человек. Как тиканье часов. Ты слышишь его так долго, что вскоре перестаешь замечать. В комнате есть что-то особенное, когда в ней живой человек. Она становится совсем другой, когда в ней мертвец.

Макклор на мгновение закрыл глаза. Поставив стакан, он помолчал еще какие-то секунды, а затем, взяв сигарету, затянулся пару раз и бросил ее в черную пепельницу.

— Я один в этой комнате, — сказал он.
Лэнтри безмолвствовал.

— Вы мертвы, Лэнтри,— продолжал Макклюр.— Мое сознание не воспринимает этих слов, да и не время для рациональных размышлений. Сейчас действуют чувства и подсознание. Сначала я подумал: этот человек считает себя мертвым, но воскресшим вновь, неким вампиром. Что в этом нелогичного? Ведь его действительно похоронили много столетий назад. Он вырос и был воспитан в мире предрассудков и низкого уровня культуры, поэтому, воскреснув, он вправе думать о себе такое. Это закономерно. С помощью самогипноза он подчинил своей воле все функции своего организма, чтобы ничто не мешало его самообману и паранойе. Он умеет управлять своим дыханием и убеждает себя в том, что мертв, поскольку не слышит собственного тела. Его внутренний разум контролирует его способность не дышать. Он ничего не ест и не пьет. Возможно, ночью, во сне, какой-то частью своего подсознания он и позволяет себе это, но он тщательно скрывает от всех, даже от собственного затуманенного сознания, все присущие живому человеку признаки. Я ошибался,— заключил Макклюр.— Вы не безумец. Вы не обманываете самого себя. И еще меньше вы обманываете меня. Все это действительно лишено логики... все это пугает. Вам нравится думать, что вы пугаете и меня тоже, не так ли? Я не знаю, кем вас считать. Вы очень странный человек, Лэнтри. Но я рад, что встретил вас. Это будет очень интересный научный доклад.

— Что плохого в том, что я мертв? — не выдержал Лэнтри.— Разве это преступление?

— Но вы должны признать, что это весьма необычно.

— И тем не менее разве это преступление?

— У нас нет преступлений, нет и уголовных судов. Мы обследуем вас, разумеется. Для того чтобы понять, кто вы и откуда взялись. Возможно, вы результат каких-то химических процессов, когда клетка в какое-то мгновение мертва, а потом оживает. Кто сможет нам сказать, что произошло? Но вы — результат невозможного. Этого достаточно, чтобы свести любого с ума.

— Вы отпустите меня, когда снимете отпечатки пальцев?

— Мы не станем вас задерживать против вашей воли. Если не хотите, чтобы вас обследовали, мы не будем этого делать. Но я надеюсь, вы не откажетесь помочь нам?

— Возможно,— согласился Лэнтри.

— Однако скажите мне,— не унимался Макклюр,— что вы делали в морге?

— Ничего.

— Когда я вошел, вы разговаривали.

— Мне просто было любопытно.

— Это неправда. Вы поступаете плохо, мистер Лэнтри. Говорить правду куда лучше. А правда состоит в том, что вы мертвы, вы — единственный в своем роде и очень одиноки. Вот вы и начали убивать людей, чтобы не быть одиноким.

— Что заставило вас прийти к такому выводу?

Макклюр рассмеялся:

— Простая логика, мой друг. Как только я узнал, что вы мертвец и... как бы это сказать... вампир,— Господи, что за глупое слово! — я тут же связал ваше появление со взрывом крематориев. До этого подозревать вас не было причины. Но когда недостающий кусочек мозаики лег на свое место, тот факт, что вы мертвы, позволил мне сделать вывод: вы одиноки, о чем легко было догадаться, переполнены ненавистью, завистью и прочими расхожими комплексами ходячего мертвеца. Как только стало известно о взрыве крематориев, я тут же подумал, что найду вас в морге, среди мертвых, где вы будете пытаться найти помощь, друзей и единомышленников...

— Будьте вы прокляты! — не выдержал Лэнтри и вскочил.

Он был совсем близко к Макклюру, но тот увернулся и запустил в него графином с хересом. В отчаянии Лэнтри понял, как по собственной глупости упустил шанс вовремя убить Макклюра. Надо было это сделать намного раньше. Запас безопасности был его единственным надежным оружием. Если в этом мире люди никогда не убивали друг друга, то им чуждо подозрение. Можно подойти к любому из них и убить его.

— Выходите! — приказал он Макклюру и бросил в него нож.

Но тот укрылся за спинкой стула. Мысль о том, что надо спастись бегством или защищаться, хотя бы постоять за себя, была незнакома Макклюру. И все же какая-то частица его подсознания велела ему делать это.

Макклюр видел превосходство Лэнтри, если тот захочет воспользоваться им.

— Нет, нет! — крикнул он и, подняв стул, загородился им от наступавшего на него Лэнтри.— Неужели вы хотите убить меня? Это странно, но, кажется, это правда. Я не понимаю вас. Вы намерены изрезать меня на куски или сотворить что-либо подобное? Но я не собираюсь позволить вам совершить такую непоправимую глупость.

— Я убью вас! — не выдержал Лэнтри и тут же проклял себя. Худшего он не мог сказать.

И, не обращая внимания на стул, которым защищался Макклюр, он бросился на него.

— Остановитесь! Какая вам польза от того, что вы убьете меня? — попытался урезонить его Макклюр. — Вы сами знаете, насколько это безрассудно.

Но они уже сцепились в отчаянной драке. Падали столы, опрокидывались стулья.

— Вспомните, что произошло в морге!

— Мне все равно! — кричал Лэнтри.

— Ведь вам не удалось оживить мертвых, не так ли?

— Мне все равно! — надрывался Лэнтри.

— Послушайте меня, — старался успокоить его Макклюр. — Таких, как вы, нигде больше нет и не будет. Да и зачем они?

— Тогда я уничтожу всех вас, всех! — неистовствовал Лэнтри.

— А что потом? Вы всегда будете одиноким, похожих на вас больше не будет.

— Я улечу на Марс. Там есть гробницы. Я найду там таких, как я.

— Нет, у вас ничего не выйдет, — сказал Макклюр. — Вчерашним приказом все гробницы очищены от останков. Через неделю их сожгут.

Они повалились на пол. Руки Лэнтри тянулись к горлу противника.

— Прошу вас, — взмолился Макклюр. — Послушайте меня, вы все равно умрете.

— Что вы хотите сказать? — пришел в ярость Лэнтри.

— А то, что, как только вы убьете последнего из нас и останетесь в полном одиночестве, вы умрете! Сначала умрет ваша ненависть. Это она вами движет, и ничто другое! Да еще зависть! Вы умрете, это неизбежно. Вы не бессмертны. Вы даже не живой человек, а просто воплощенная ходячая ненависть!

— Мне все равно! — крикнул Лэнтри и стал душить его, бить по голове. Всем своим телом он навалился на беззащитную жертву. Макклюр не сводил с него угасающего взора.

В эту минуту внезапно распахнулась входная дверь и на пороге появились двое мужчин.

— Эй, что здесь происходит? — воскликнул один из них. — Это что, новый вид спортивных игр?

Лэнтри вскочил и бросился наутек в раскрытую дверь.

— Да, новая игра! — с трудом поднимаясь с пола, сказал Макклюр. — Не дайте ему уйти, и вы в ней будете победителями.

Лэнтри тут же был пойман и доставлен обратно.

— Мы выиграли! — гордо объявили двое, крепко держа беглеца.

— Пустите меня! — вырывался Лэнтри, отчаянно сопротивляясь и нанося своим обидчикам удары по голове, по лицу. Одному из них он все же разбил лицо до крови.

— Держите его покрепче! — волновался Макклюр.

Мужчины продолжали крепко держать Лэнтри.

— Грубая игра, ничего не скажешь, — наконец заметил один из них. — Что теперь с ним делать?

Жук-автомобиль со свистом мчался по мокрому от дождя шоссе. Лил дождь, и ветер трепал голые ветви деревьев. Держа руки на руле, похожем на штурвал самолета, Макклюр говорил. Его голос, пониженный до шепота, гипнотизировал.

Мужчины сидели на заднем сиденье, а Лэнтри поместили рядом с Макклюром. Он полулежал, откинув голову на спинку сиденья, прикрыв глаза. Отсвет зеленой лампочки на щитке падал на его щеку. На губах его не было прежней гримасы жестокости. Он молчал.

Все, что тихо говорил Макклюр, было разумным: о жизни и движении, о смерти и покое, о солнце на небе и его символах в Крематории, о пустых кладбищах, о ненависти и ее живучести, как она помогает глиняным големам жить, ходить по земле, и что все это нелогично и абсурдно, все, все, все. Человек в конце концов умирает. И ничто не изменится. Шины автомобиля шелестели по асфальту. Дождь тихо стучал по ветровому стеклу. На заднем сиденье мирно беседовали двое мужчин и гадали, куда они едут, едут, едут... В Крематорий, конечно. Причудливыми кольцами, петлями и спиралями видся в воздухе табачный дым. Если ты мертв, пора признаться в этом.

Лэнтри не двигался. Он стал марионеткой, у которой обрезают нити, с крохотными искорками ненависти, еще тлеющей в его сердце и глазах, как два слабых, затухающих уголька.

«Я — По, — думал он. — Я — все, что еще осталось от Эдгара Аллана По, Амброуза Бирса и человека по имени Лавкрафт. Я — серая ночная летучая мышь с хищными зубами. Я — квадратный черный каменный монстр-монолит. Я — Озирис, Бал и Сет. Я — Некрономикон, “Книга мертвых”. Я — рухнувший, объятый пламенем дом Эшеров, Маска Красной Смерти, человек, замурованный в катакомбах с бочонком амонтильядо... Я — пляшущий скелет. Я — гроб, саван, блеск молнии в окне старого дома. Я — голое дерево на ветру. Я — ставня, которой громко хлопает ветер. Я — пожелтевшие страницы книги, которую листает обезьянья лапа. Я — орган, играющий в полночь на чердаке. Я — маска-череп на дубе в День всех святых. Я — отравленное яблоко, соблазнительно плавающее в чане с

водой, которое ребяташки пытаются выловить зубами, без помощи рук... Я — черная свеча, зажженная перед перевернутым распятием. Я — крышка гроба, я — белое покрывало с прорезями для глаз, я — чьи-то шаги на темной лестничной площадке. Я — Дансени и Мэчен. Я — “Легенда Спящей долины”, “Обезьянья лапа” и “Рикша-призрак”. Я — “Кошка и канарейка”, “Горилла” и “Летучая мышь”. Я — призрак отца Гамлета на крепостной стене.

Все это — я. Теперь все, что от этого осталось, будет сожжено. Пока я жил, жили и они. Пока я двигался и ненавидел, они существовали. Я — единственный, кто о них еще помнил, я — та их часть, которая еще существует, но которой не станет уже сегодня вечером. Ибо сегодня вечером все мы, По, Бирс и отец Гамлета, сгорим вместе. Они свалят нас в одну большую кучу и подожгут как костер, как когда-то ежегодно сжигали чучело Гая Фокса, зачинщика порохового заговора. Керосин, факелы, крики толпы и все такое прочее!

О, сколько будет плача и стенаний! Мир будет очищен от нас, но, уходя, мы скажем ему, каков он есть теперь, свободный от суеверных страхов и сумеречной памяти о далеких темных веках, лишенный воображения, трепетного ожидания чего-то и щемящих предчувствий в Канун всех святых, мир, из которого ушло столь многое, чтобы никогда уже не вернуться, мир, в котором столько растоптано, разбито вдребезги и сожжено теми, кто летает на ракетах, и теми, кто обслуживает Крематорий, кто уничтожает, стирает память и заменяет все легко открывающимися и так же легко закрывающимися дверями и огнями, которые то вспыхивают, то гаснут, не пугая никого. Если бы вы были в силах вспомнить, как мы жили когда-то, что значил для нас Праздник всех святых, кем был для нас По и как мы любили таинственность и черную меланхолию! Еще глоток амонтильядо, друзья, прежде чем нас сожгут. Все это еще существует, однако лишь в мозгу одного-единственного человека. Сегодня вечером погибнет целый мир. Еще глоток вина, прошу вас!»

— Вот мы и приехали, — сказал Макклюр.

Крематорий сверкал огнями. Тихо играла музыка. Макклюр, выйдя из машины, обошел ее и открыл дверцу перед Лэнтри. Тело того казалось безжизненным. Речь Маккюра, его убийственная логика лишали Лэнтри всех сил сопротивления. Теперь он представлял собой не более чем восковую куклу с тусклыми глазами. Этот мир будущего! Как в нем любят рассуждать, как трезво и логично расправляются с его жизнью. Они ни за что не поверят в него. От их недоверия он окоченел и не в силах двинуть ни рукой ни ногой. Он способен лишь

бормотать что-то невразумительное и беспомощно хлопать глазами.

Макклюр и двое сопровождающих помогли ему выбраться из машины. Они уложили его в золотой ящик и покатали на каталке в манящий теплом и светом Крематорий.

— Я — Эдгар Аллан По, я — Амброуз Бирс, я — Праздник всех святых, я — гроб, я — саван, я — Обезьянья лапа, я — Призрак, Вампир...

— Да, да, — тихо сказал Макклюр, склоняясь над ним. — Я знаю, знаю.

Каталка скользила по коридорам, стены сдвигались. Играла музыка. Ты мертв. Да, логически ты мертв.

— Я — Эшер, я — Мальстрем, я — Рукопись, найденная в бутылке, я — Колодец, я — Маятник, я — Сердце-обличитель, я — Ворон, птица с кличкой «Никогда»...

— Да, — сказал Макклюр, шагавший рядом. — Я знаю.

— Я в подземелье! — выкрикнул Лэнтри.

— Да, в подземелье, — сказал человек, склоняясь над ним.

— Меня приковывают к стене, и здесь нет бочонка амонтильядо! — слабо запротестовал Лэнтри и закрыл глаза.

— Да, — подтвердил кто-то.

Движение. Открылась дверца печи.

— Они замуровывают нишу, они оставляют меня здесь!

И шепот:

— Да, я знаю.

Золотой ящик скользнул в щель.

— Меня замуровали? Отличная шутка! А теперь пойдете... назад... — И вдруг отчаянный вопль, затем недоуменный хохоток.

— Мы знаем, мы понимаем...

Щелкнул еще один замок. Последний. Золотой ящик исчез в пламени.

— Ради всего святого, Монтрезор! Ради всего святого!

Маятник

— Я считаю, — пронзительно прокричал Эрджас, — что ничего удивительнее мы не видели ни на одном из миров, которые посетили!

Трепетали широкие, мерцающие зеленым крылышки, блестящие птичьи глаза сверкали от возбуждения. Спутники Эрджаса согласно закивали головами, золотисто-зеленый мех на

стройных шеях слегка взъерошился. Они расположились на том, что когда-то было движущейся пешеходной лентой, а теперь превратилось в искореженную полосу полуистлевшей резины, — вокруг раскинулись развалины огромного города.

— Да, — продолжал Эрджас, — непостижимо, фантастично! Этого просто не может быть! — Он без всякой надобности показал на заинтересовавший их предмет, лежавший на каменной площади неподалеку. — Вы поглядите! Обычный громадный полый маятник, на высоком каркасе! А механика, зубчатые передачи, когда-то приводившие его в движение... Я специально слетал, чтобы рассмотреть механизм, но он безнадежно проржавел.

— А конец маятника!.. — с благоговением проговорило другое птицеобразное существо. — Пустое прозрачное помещение — и ужасное существо, которое взирает на нас оттуда...

Прислонившись к внутренней оболочке капсулы, полусидел одинокий, побелевший от времени человеческий скелет. Казалось, он смотрит на унылый, разрушенный город, словно удивляется тому, что здания превратились в прах, а металлические конструкции, похожие на застывших огромных пауков, изготовившихся к прыжку, давно погнулись и проржавели.

— Любого проберет дрожь — стоит только обратить внимание, как мерзкое существо ухмыляется! Словно...

— Его усмешка ничего не значит! — раздраженно вмешался Эрджас. — Перед нами всего лишь останки млекопитающего; ему подобные, несомненно, когда-то населяли этот мир. — Он нервно перенес свой вес с одной длинной и тонкой ноги на другую, не сводя взгляда с черепа. — Однако создается впечатление, что он торжествует! И почему больше нигде не видно его сородичей? Почему он остался один... и почему заключен в этот фантастический маятник?

— Скоро узнаем, — негромко прочирикало другое птицеобразное создание, бросив взгляд на космический корабль, приземлившийся среди руин. — Орфли пытается расшифровать записи из книги, которую мы нашли в полый части маятника. Не следует ему мешать.

— Как ему удалось вытащить книгу? Прозрачное помещение внутри маятника кажется герметичным.

— Длинное плечо маятника оказалось пустым — очевидно, для того, чтобы производить вентиляцию внутреннего помещения. Книга начала рассыпаться, как только Орфли ее коснулся, но он все-таки сумел спасти большую часть.

— Я бы хотел, чтобы он поторопился! Почему нужно...

— Ш-ш-ш! Дайте ему время. Орфли расшифрует записи; он настоящий гений по части чужих языков.

— Да. Я помню металлические таблички на той маленькой планете в созвездии...

— А вот и он!

— Он уже закончил!

— Скоро мы все узнаем...

Птицеобразные существа дрожали от нетерпения, когда из космического корабля появился Орфли, бережно держа пожелтевшие страницы. Он помахал им, а потом распротер крылья и полетел вниз и через несколько мгновений уже устроился рядом со своими соплеменниками на узкой жердочке.

— Язык достаточно прост, — сообщил Орфли, — но история весьма печальна. Я прочитаю ее вам, а потом нам следует улететь отсюда, поскольку мы ничего не можем сделать для этого мира.

Соплеменники сгрудились вокруг Орфли, с нетерпением дожидаясь, когда он начнет читать. Маятник висел неподвижно в этом лишенном ветра мире, прозрачный его конец находился всего в нескольких футах над поверхностью площади. Ухмыляющийся череп продолжал выглядывать наружу, словно что-то забавляло его или доставляло несказанное удовольствие. Орфли бросил на него еще один взгляд... а потом открыл древнюю тетрадь и начал читать.

«Меня зовут Джон Лэйвиль. Все знают меня как “Пленника Времени”. Люди, туристы со всего мира, приходят посмотреть на мой качающийся маятник. Школьники, стоящие на движущейся вокруг площади ленте, разглядывают меня с детским страхом и благоговением. Ученые изучают, наводят свои инструменты на беспрерывно перемещающийся маятник. О да, они могут остановить его, могут подарить мне свободу — но я знаю, что этого никогда не произойдет. Началось с того, что меня хотели наказать, но постепенно я превратился в настоящую загадку для науки. Создается впечатление, что я бес смертен. Какая ирония!

Наказание! Сквозь туман времени моя память устремляется к тому дню, когда все это началось. Я помню, как мне удалось навести мосты через провалы во времени, чтобы совершить путешествие в будущее. Помню машину времени, которую я построил. Нет, она ни в коей мере не напоминала этот маятник; мое устройство представляло собой здоровенную коробку, сделанную из специально обработанного металла и гласита с электрическими роторами моего собственного изобретения, создающими взаимодействующие стабильные силовые поля. Я трижды успешно проводил испытания, однако никто

из Совета Ученых мне не верил. Они смеялись. И Леске тоже. Особенно Леске, потому что он всегда меня ненавидел.

Я предложил провести публичные испытания, чтобы доказать свою правоту. Попросил Совет пригласить зрителей — весь цвет научной мысли. Ожидая, что их ждет хорошая возможность посмеяться на мой счет, они согласились.

Я никогда не забуду тот вечер, когда сто величайших ученых мира собрались в главной лаборатории Совета. Однако они пришли, чтобы повеселиться, а не поздравить меня с величайшим открытием. Мне было все равно, когда я стоял на платформе рядом с моей громоздкой машиной и прислушивался к рокоту голосов. Не слишком интересовало меня и то, что миллионы неверящих глаз наблюдали за ходом эксперимента по телевидению. Леске развернул широкую кампанию насмешек над самой возможностью путешествия во времени. Я не возражал, потому что через несколько минут кампания Леске должна была обернуться для меня грандиозной победой. Я запущу роторы, поверну рубильник — и моя машина перейдет в другие измерения, а потом вернется назад, как это уже происходило трижды. Позднее мы пошлем вместе с машиной человека.

Время настало. Однако судьба распорядилась иначе. Что-то вышло из-под контроля — даже сейчас я не знаю, как и почему. Возможно, большое количество телевизионных камер повлияло на временные поля, которые создавали роторы. Последнее, что я помню, когда моя рука потянулась к рубильнику, были длинные ряды улыбающихся лиц важных персон, сидевших в лаборатории. Я коснулся рубильника...

Даже сейчас я содрогаюсь, вспоминая ужас того чудовищного момента. Колоссальный электрический разряд, пульсирующий, зеленый, метался по лаборатории от стены к стене, превращая в пепел все на своем пути!

На глазах миллионов свидетелей я уничтожил всех лучших ученых мира!

Нет, не всех. Леске, я и еще несколько человек, стоявших позади машины, отделались тяжелыми ожогами. Я пострадал меньше всех, что еще больше усилило возмущение населения.

Следствие завершилось в рекордно короткие сроки, под аккомпанемент негодующих воплей и требований смертной казни.

«Уничтожить машину времени, — было их лозунгом, — и вместе с ней гнусного убийцу!»

Убийца!.. Я лишь стремился помочь человечеству. Тщетно пытался я объяснить, что это был несчастный случай, — с общественным мнением спорить бессмысленно,

Однажды, несколько недель спустя, меня забрали из тайной тюрьмы и под мощной охраной отвезли в больницу, где лежал Леске. Он приподнялся на локте, и его обжигающие глаза уставились на меня. Больше я ничего не видел, только глаза; все остальное было скрыто под бинтами. Некоторое время он молча смотрел на меня... Вот тогда-то я понял, что такое настоящее безумие, полное хитрости и коварства.

Наконец Леске с усилием поднял забинтованную руку.

— Не нужно его казнить, — пробормотал он, обращаясь к собравшимся вокруг нас представителям властей. — Машину следует уничтожить, да, но ее части необходимо сохранить. У меня есть план наказания, которое куда больше подходит для этого человека, так безжалостно расправившегося с лучшими учеными Земли.

Я вспомнил о том, что Леске всегда меня ненавидел, и содрогнулся.

В последующие недели один из моих охранников со злобным удовлетворением рассказал мне о том, как разбирается на части моя машина и что ведутся какие-то секретные работы. Леске, не вставая с постели, руководил ими.

Наконец настал день, когда меня вывели из тюрьмы и я впервые увидел огромный маятник. И, глядя на него, я постепенно понял, в чем состоял коварный замысел Леске. Его безумная месть. Современные люди оказались не менее жестокими, чем древние римляне, приветствующие бой гладиаторов. Меня охватил панический ужас, я отчаянно закричал и попытался убежать.

Это только позабавило собравшихся на площади зрителей. Они смеялись и презрительно показывали на меня пальцами.

Стражники втолкнули меня в прозрачный купол маятника, и я, дрожа, лежал на полу, только сейчас осознав иронию судьбы. Маятник был построен из уникального металла и гласита, которые я использовал для создания своей машины времени! Из них возвели памятник моему уничтожению.

Толпа взревела от восторга, проклиная меня.

Послышался щелчок, и моя стеклянная тюрьма сдвинулась с места. Постепенно скорость нарастала. С каждым тактом дуга движения маятника увеличивалась. Помню, как я стучал в стекло и тщетно звал на помощь, как текла кровь из-под ногтей. Помню, как ряды белых лиц превратились в цепочку светлых пятен...

Вопреки моим ожиданиям я не лишился рассудка. Сначала я даже не возражал против этого — той, первой, ночью. Спать я не мог, хотя особых неудобств не испытывал. Огни города были похожи на кометы с огненными хвостами, мечущиеся

по небу, словно сполохи фейерверка. Однако вскоре я почувствовал резь в животе, а потом мне стало очень плохо. На следующий день ничего не изменилось, и я совсем не мог есть.

Прошло несколько дней — маятник не остановили. Ни разу. Пищу мне сбрасывали через специальные отверстия в небольших круглых пакетах, которые падали у моих ног. Первый раз, когда я попробовал съесть что-нибудь, меня постигла неудача: еда не желала оставаться в желудке. В отчаянии я колотил по холодному стеклу кулаками, пока снова не разбил в кровь руки. Я кричал, но мои слабые вопли лишь глухо отдавались у меня в ушах.

После бесконечного числа попыток я начал есть и даже спать, а маятник продолжал свое движение туда, сюда... Для меня сделали маленькие стеклянные петли, чтобы я мог пристегиваться на ночь и спать в беззвучной пустоте, оставаясь на одном месте. Я даже начал проявлять интерес к миру снаружи, наблюдая за мерно поднимающейся и опускающейся картиной до тех пор, пока не начинала кружиться голова. Монотонные движения никогда не менялись. Маятник был таким огромным, что за каждый взмах он преодолевал расстояние более ста футов. Я прикинул, что один такт занимает четыре или пять секунд.

Туда и обратно — как долго это будет продолжаться? Я не осмеливался об этом думать.

День за днем я изучал лица снаружи — люди с любопытством смотрели на меня. Они произносили слова, которых я не слышал, смеялись, показывали на меня пальцами — пленник времени, отправившийся в бесконечное путешествие без цели. Потом, через некоторое время — прошли недели, месяцы или годы? — местные жители перестали приходить; теперь меня навещали лишь туристы...

Пробил час, когда я понял, что обречен навсегда оставаться в своей тюрьме. И мне пришла в голову мысль написать отчет о моем пребывании внутри маятника. Постепенно эта идея настолько завладела мной, что я не мог думать ни о чем другом.

Я заметил, что раз в день служащий забирается на верхушку маятника, чтобы сбросить мне очередную порцию пищи. Тогда я начал выстукивать кодовые сигналы по трубе — я просил бумагу и письменные принадлежности. Долгие дни, недели и месяцы не было никакого ответа. Мною овладела ярость, но я упорно добивался своего.

Наконец, после того как прошло много времени, мне сбросили по трубе не только пищу, но и тяжелую тетрадь вместе с ручками. Наверное, служащий обратил внимание на мои сигнала-

лы. Я был вне себя от счастья, став обладателем столь замечательных вещей.

Последние несколько дней я провел, вспоминая свою историю, — я старался изложить ее с максимальной точностью, без всяких преувеличений. Теперь писать мне надоело, однако периодически я буду продолжать — в настоящем времени, а не в прошедшем.

Мой маятник продолжает раскачиваться с неизменной амплитудой. Я уверен: прошли не месяцы, а годы! Я уже привык. Мне кажется, что, если маятник неожиданно остановится, я сойду с ума из-за неподвижности!

(Позднее): Возникло необычное оживление на движущихся вокруг площади пешеходных дорожках. Прибывают все новые люди, ученые, устанавливают неизвестные мне инструменты для наблюдения. По-моему, я знаю причину. Разгадка пришла мне в голову уже довольно давно. Я не пытался уследить за числом прожитых лет, но подозреваю, что Леске и его приятели давно мертвы. У меня появилась короткая борода, которая неожиданно перестала расти, и я почувствовал прилив сил. Не удивлюсь, если мне удастся пережить всех. Я не могу найти этому объяснения, как и ученые, которые так старательно меня рассматривают. Они не осмеливаются остановить маятник, мой маленький мирок, не знают, как это повлияет на меня.

(Еще позднее): Эти людишки бросили мне микрофон. Они наконец-то вспомнили, что когда-то, перед жестоким заключением, я был замечательным ученым. Тщетно пытаются они понять причины моего долголетия; теперь они хотят, чтобы я говорил с ними, рассказывал о своих ощущениях, реакциях и предположениях. Они смущены, но не теряют надежды овладеть секретом вечной жизни, получив от меня ключ к решению задачи. Они сказали, что я провел здесь уже двести лет; это пятое поколение.

Сначала я молчал, не обращая ни малейшего внимания на микрофон. Некоторое время я слушал их бредни и мольбы, потом они мне надоели. Тогда я схватил микрофон, посмотрел вверх и увидел напряженные, нетерпеливые лица — все ждали, что я скажу.

— Трудно забыть и простить несправедливость, жертвой которой я стал! — воскликнул я. — Не думаю, что в ближайшие пять поколений я захочу говорить с вами.

А потом я рассмеялся. О, как я смеялся!

— Он безумен! — раздалось слова одного из них. — Секрет бессмертия каким-то образом связан с ним, но я чувствую,

что нам никогда его не узнать; а если мы осмелимся остановить маятник, это может нарушить хронополе или что там еще держит его в плену...

(Много позднее): Прошло столько времени после моих последних записей, что я даже не в состоянии оценить его течение. Годы... мне не дано узнать, сколько. Я уже почти забыл, как нужно держать карандаш, и разучился писать.

Произошли разные события и перемены в окружающем меня безумном мире.

Однажды я видел, как летели и летели бесконечные эскадрильи самолетов, от которых потемнело небо. Они мчались в сторону океана и к городу, и невероятное количество истребителей поднялось им навстречу; и началась короткая, но жесткая битва; и падали на землю самолеты, словно осенние листья на ветру, а другие с триумфом вернулись на свои базы — я не знаю какие.

Но все это случилось много лет назад и не имеет для меня ни малейшего значения. Ежедневные пакеты с едой продолжают поступать с прежней регулярностью; подозреваю, что это стало неким ритуалом,— обитатели города, кем бы они ни были, давным-давно позабыли, почему я заточен в маятник. Мой маленький мир продолжает раскачиваться, а я, как и прежде, наблюдаю за жалкими существами, которым отпущен такой короткий срок.

Я уже пережил многие поколения! Мне хотелось пережить всех! Так и будет!

И еще я заметил: теперь ежедневную порцию еды мне приносят роботы! Прямоугольные формы, неуклюжие движения — металлические существа, лишь смутно напоминающие своим внешним видом человека.

Постепенно в городе становится все больше и больше роботов. О да, людей я тоже вижу — но они появляются только как туристы; люди живут в роскоши в высоких зданиях, а на нижних уровнях копошатся многочисленные металлические слуги, которые и выполняют механическую работу, необходимую для поддержания нормальной жизни города. Видимо, именно так понимают прогресс эти эгоцентричные существа.

Роботы становятся все более сложными и похожими на человека... их все больше... забавно... у меня появилось предчувствие...

(Позднее): Это случилось! Я знал! В городе волнения... люди, ставшие слабыми за долгие столетия безделья и роскоши, не в состоянии спастись... те из них, кто предпринимает попыт-

ки ускользнуть на ракетных летательных аппаратах, сбиты бледно-розовыми электронными лучами роботов... другие, более смелые или окончательно отчаявшиеся, пытаются атаковать центральную базу роботов на бреющем полете и сбросить на нее термитные бомбы, но роботы активировали электронный барьер, отбросивший бомбы назад, вскоре от атакующих самолетов ничего не осталось...

Восстание было коротким, и ему сопутствовал неизбежный успех. Подозреваю, что все люди, кроме меня, стерты с лица Земли. Теперь ясно: роботы проявили завидную хитрость, чтобы добиться своего.

Люди слепо стремились к созданию своей Утопии: с каждым поколением механизмы становились все более сложными и совершенными, пока не настал день, когда появилась возможность предоставить им все управление городом — под надзором одного или нескольких людей. И тут у какого-то робота вспыхнула искорка разума и он начал думать, медленно, но с абсолютной точностью начал себя совершенствовать. Скорее всего он делал это в тайне от людей. И так продолжалось до тех пор, пока он не превратился в весьма эффективную, самостоятельную машину, обладающую мозгом. Он-то и спланировал восстание.

Во всяком случае, я это представляю себе именно так. Теперь остались только роботы — однако они очень умны.

Группа роботов подошла и долго стояла перед маятником, о чем-то между собой совещаясь. Несомненно, они понимают, что я человек — последний оставшийся в живых. Может быть, они хотят избавиться и от меня тоже?

Нет. Видимо, даже для роботов я превратился в легенду. Мой маятник продолжает движение. Они закрыли механизм прозрачным гласситовым куполом. Затем построили автоматическое устройство, которое ежедневно снабжает меня едой. Больше они не подходят к маятнику: создается впечатление, что обо мне попросту позабыли.

Это приводит меня в ярость! Что ж, настанет день, и я переживу и их тоже! В конце концов, они всего лишь продукт человеческого мозга... Я переживу все, что создано человеком! Клянусь!

(Много позднее): Конец?.. Я видел, как закончилась эра роботов! Вчера, когда солнце окрасило запад в алые тона, орды существ появились из космоса, небеса были полны ими... Чуждые создания спустились на землю, и очень скоро все оказалось под толстым слоем черной желатиновой массы.

Я видел, как реактивные самолеты роботов носились по небу, атакуя черную массу электронными лучами, — но чужаки попросту не обращали на них внимания! Неотвратимо приближались они к земле, и вскоре роботы начали спасаться бегством.

Напрасно. Серебристые самолеты падали на землю, разбивались, останки роботов, словно капельки ртути, рассыпались по каменным плитам...

А черная желатиновая масса опускалась все ниже, чтобы накрыть землю, уничтожить город и разесть оставшийся на поверхности металл.

За исключением моего маятника. Темная масса расплзлась по гласситовому куполу, защищающему безупречно работающий механизм. Город лежит в руинах, роботы уничтожены, но мой маятник продолжает колебаться — единственное, что еще движется в этом мире... и я знаю, что этот факт изумляет чуждые создания — они не успокоятся, пока не остановят и его движение.

Все эти события произошли вчера. Сейчас я лежу в полной неподвижности и наблюдаю за ними. Большинство собираются среди развалин города, готовясь к отбытию, — за исключением нескольких черных трепещущих созданий, которые продолжают висеть на моем маятнике, почти полностью закрывая солнечный свет; еще несколько штук забрались на самый верх механизма, они испускают эманации, прикончившие роботов. Твари намерены довести дело до конца. Я знаю, что через несколько минут гласситовый купол не выдержит. И буду писать до тех пор, пока маятник не остановится.

...Вот сейчас. Я слышу странный скрежет и скрип механизма у меня над головой. Скоро мой крошечный мир прекратит свои колебания.

Меня охватывает бешеное возбуждение: ведь в конечном счете наступил день моего торжества! Я победил людей, которые придумали для меня это наказание, я пережил бесчисленные поколения, даже роботы закончили свое существование на моих глазах! И теперь я жажду только одного — забвения. Не сомневаюсь, что оно придет, как только маятник прекратит движение и для меня наступит непереносимый покой...

Этот миг приближается. Черные желатиновые создания, сидевшие наверху, спускаются вниз, чтобы присоединиться к своим спутникам. Механизм пронзительно скрипит. Колебания становятся все короче... короче... короче...

Я чувствую себя... так странно...»

Дону Конгдону с благодарностью

451° по Фаренгейту

*451° по Фаренгейту — температура,
при которой воспламеняется и горит бумага*

*Если тебе дадут линованную бумагу,
пиши попереk.*

Хуан Рамон Хименес

Часть I

ОЧАГ И САЛАМАНДРА

Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и *меняются*. Медный наконечник брандспойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб; глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти: он нажимает воспламенитель — и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рое огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве, — сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом; они

взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь.

Жесткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения.

Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит.

Он тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струей душа и, насвистывая, сунув руки в карманы, пересек площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа.

Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок, по хорошо смазанной трубе подземного туннеля и вместе с сильной струей теплого воздуха выбросил на выложенный желтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов.

Насвистывая, Монтэг поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине. Не думая ни о чем, во всяком случае ни о чем в особенности, он дошел до поворота. Но еще раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени.

Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым освещенный звездами тротуар вел к его дому, он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя.

Может быть, его ноздри улавливали слабый аромат, может быть, кожей лица и рук он ощущал чуть заметное повышение температуры вблизи того места, где стоял кто-то невидимый, согревая воздух своим теплом. Понять это было невозможно.

Однако, завернув за угол, он всякий раз видел лишь белые плиты пустынного тротуара. Только однажды ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но все исчезло прежде, чем он смог взглядеться или произнести хоть слово.

Сегодня же у поворота он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он уже был за углом — и уловил слабый шорох. Чье-то дыхание? Или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал?

Он завернул за угол.

По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки ее туфель задевают кружащуюся листву. Ее тонкое, матовой белизны лицо светилось ласковым, неутолимым любопытством. Оно выражало легкое удивление. Темные глаза так пытливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье; оно шелестело. Монтэгу чудилось, будто он слышит каждое движение ее рук в такт шагам, будто он услышал даже тот легчайший, неуловимый для слуха звук — светлый трепет ее лица, — когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют ее от мужчины, стоящего посреди тротуара.

Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтэга, и ее темные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка как замороженная смотрит на изображение саламандры на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил:

— Вы, очевидно, наша новая соседка?

— А вы, должно быть... — она наконец оторвала глаза от эмблемы его профессии, — пожарник? — Голос ее замер.

— Как вы странно это сказали.

— Я... я догадалась бы даже с закрытыми глазами, — тихо проговорила она.

— Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется. — Он засмеялся. — Дочиста его ни за что не отмоешь.

— Да. Не отмоешь, — промолвила она, и в голосе ее прозвучал страх.

Монтэгу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места.

— Запах керосина, — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание. — А для меня он все равно что духи.

— Неужели правда?

— Конечно. Почему бы и нет?

Она подумала, прежде чем ответить:

— Не знаю. — Потом она оглянулась назад, туда, где были их дома. — Можно, я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан.

— Кларисса... А меня — Гай Монтэг. Ну что ж, идемте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?

Теплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару, и Монтэгу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно, — ведь на дворе осень.

Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом, и в лунном свете лицо ее сияло, как снег. Он знал, что сейчас она обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них.

— Ну вот, — сказала она, — мне семнадцать лет, и я помещанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит: если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролет и встречаю восход солнца.

Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво:

— Знаете, я совсем вас не боюсь.

— А почему вы должны меня бояться? — удивленно спросил он.

— Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек...

В ее глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел свое отражение, темное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное — даже складки у рта, — как будто ее глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее, мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребенком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий: мир изме-

нился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше.

Вдруг Кларисса сказала:

— Можно спросить вас?.. Вы давно работаете пожарником?

— С тех пор как мне исполнилось двадцать. Вот уже десять лет.

— А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете?

Он рассмеялся:

— Это карается законом.

— Да-а... Конечно.

— Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз.

Они прошли еще немного. Вдруг девушка спросила:

— Правда ли, что когда-то давно пожарники тушили пожары, а не разжигали их?

— Нет. Дома всегда были несгораемыми. Поверьте моему слову.

— Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой, от какой-нибудь неосторожности. И тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь.

Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза.

— Почему вы смеетесь?

— Не знаю. — Он снова засмеялся, но вдруг умолк. — А что?

— Вы смеетесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила.

Монтэг остановился.

— А вы и правда очень странная, — сказал он, разглядывая ее. — У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику!

— Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям.

— А это вам разве ни о чем не говорит? — Он легонько хлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-черной куртки.

— Говорит, — прошептала она, ускоряя шаги. — Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?

— Меняете тему разговора?

— Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе как на большой скорости, — продолжала она. — По-

кажите им зеленое пятно, и они скажут: ага, это трава! Покажите розовое — они скажут: а, это розарий! Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехать по шоссе со скоростью не более сорока миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.

— Вы слишком много думаете,— заметил Монтэг, испытывая неловкость.

— Я редко смотрю телевизионные передачи, и не бываю на автомобильных гонках, и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остается время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длинной в двести футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиной всего в двадцать футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то их никто и прочитать бы не смог.

— Нет, я этого не знал! — Монтэг коротко рассмеялся.

— А я еще кое-что знаю, чего вы, наверно, не знаете. По утрам на траве лежит роса.

Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог и вдруг почувствовал раздражение.

— А если посмотреть туда,— она кивнула на небо,— то на луне можно увидеть человечка.

Но ему уже давно не случалось глядеть на небо...

Дальше они шли молча: она — задумавшись, он — досадуя и чувствуя неловкость, по временам бросая на нее укоризненные взгляды.

Они подошли к ее дому. Все окна были ярко освещены.

— Что здесь происходит? — Монтэгу никогда еще не приходилось видеть такое освещение в жилом доме.

— Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, все равно как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали? Да, за то, что он шел пешком. О, мы очень странные люди.

— Но о чем же вы разговариваете?

Девушка засмеялась.

— Спокойной ночи! — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством взглядела в его лицо.

— Вы счастливы? — спросила она.

— Что?! — воскликнул Монтэг.

Но девушки перед ним уже не было — она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь.

— Счастлив ли я? Что за вздор!

Монтэг перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась.

— Конечно, я счастлив. Как же иначе? А она что думает — что я несчастлив? — спрашивал он у пустых комнат. В передней взор его упал на вентиляционную решетку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвел глаза.

Какая странная ночь и какая странная встреча! Такого с ним еще не случалось. Разве только тогда, в парке, год назад, когда он встретился со стариком и они разговорились...

Монтэг тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки — такое, каким оно сохранилось в его памяти, — прекрасное, даже больше, удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце.

— В чем дело? — спросил Монтэг у своего второго, подсознательного «я», у этого чудака, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку.

Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало! Просто невероятно! Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... он помедлил в поисках сравнения, потом нашел его, вспомнив о своем ремесле, — на факелы, которые полыхают во всю мочь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных, трепетных мыслей!

Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка! Она смотрела на него, Монтэга, как зачарованный зритель в театре марионеток, предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев.

Сколько времени они шли рядом? Три минуты? Пять? И вместе с тем как долго! Каким огромным казалось ему теперь ее отражение на стене, какую тень отбрасывала ее тоненькая фигурка! Он чувствовал, что, если у него зачесется глаз, она моргнет, если чуть напрягутся мускулы лица, она зевнет еще раньше, чем он сам это сделает.

И, вспомнив об их встрече, он подумал: «Да ведь, право же, она как будто знала наперед, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час...»

Он открыл дверь спальни.

Ему показалось, что он вошел в холодный, облицованный мрамором склеп, после того как зашла луна. Непроницаемый мрак. Ни намек на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста.

Он прислушался.

Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию.

Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак. Темнота. Нет, он не счастлив. Он не счастлив! Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил свое счастье как маску, но девушка отняла ее и убежала через лужайку, и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску.

Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростертая на кровати, неукрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные «Ракушки», крошечные, с наперсток, радиоприемники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берега ее бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врывается океан звуков и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносит ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз.

В комнате было холодно, но Монтэг чувствовал, что задыхается.

Однако он не поднял шторы и не открыл балконную дверь — он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обреченностью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ощупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели.

За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу.

Его нога, вызвав своим движением колебание воздуха, получила отраженный сигнал о препятствии на пути и ~~остановилась~~ в ту же секунду ударились обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту.

Монтэг резко выстремился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в кромешном мраке комнаты: дыхание было слабым, чуть заметным, в нем едва угадывалась жизнь — от него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один-единственный волосок.

Он все еще не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал...

Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька; два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья, — над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни.

— Милдред!

Ее лицо было как остров, покрытый снегом; если дождь прольется над ним, оно не ощутит дождя; если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность; немота... Только жужжание ос-втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор, и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей, — вдох и выдох, вдох и выдох, — и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда.

Предмет, который Монтэг задел ногой, тускло светился на полу возле кровати — маленький хрустальный флакончик, в котором еще утром было тридцать снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблескивая при свете крошечного огонька зажигалки.

Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки десять тысяч миль черного холста. Монтэга словно расколело надвое; словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики — первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать — один за другим, один за другим, сотрясающая воздух оглушительным ревом. Монтэг открыл рот, и звук ворвался в него сквозь оскаленные зубы. Дом сотряснулся. Ого-

нек зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону.

Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки:

— Больницу неотложной помощи.

Шепот, полный ужаса...

Ему казалось, что от рева черных бомбардировщиков звезды превратились в пыль и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом.

Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами.

Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как черная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. Она пила зеленую жижу, всасывала ее и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлебываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто шарила там на дне, что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий ее человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытье канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твердой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур глубже, высасывайте пустоту, если только может ее высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!

Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины.

Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла ее свежей кровью и свежей глазмой.

— Приходится очищать их сразу двумя способами, — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. — Желудок — это еще не все, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь, как молотком, ударит в мозг — этак тысячи две ударов, — и готово! Мозг сдастся, просто перестает работать.

— Замолчите! — вдруг крикнул Монтэг.

— Я только хотел объяснить, — ответил санитар.

— Вы что, уже кончили? — спросил Монтэг.

Они бережно укладывали в ящики свои машины.

— Да, кончили. — Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили; дым вился, лез им в нос и глаза, но ни один

из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. — Это стоит пятьдесят долларов.

— Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?

— Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам — выкачивается старая кровь, вливается новая, и все в порядке.

— Но ведь вы не врачи! Почему не прислали врача?

— Врача-а! — Сигарета подпрыгнула в губах у санитаря. — У нас бывает по девять-десять таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников — и через полчаса все кончено. Однако надо идти. — Они направились к выходу. — Только что получили по радио новый вызов. В десяти кварталах отсюда еще кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобится, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснется очень голодная. Пока!

И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и темной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату.

Монтэг тяжело опустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь ее лицо было спокойно, глаза закрыты; протянув руку, он ощутил на ладони теплоту ее дыхания.

— Милдред, — выговорил он наконец.

«Нас слишком много, — думал он. — Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видел».

Прошло полчаса.

Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила ее. Как порозовели ее щеки, какими свежими и алыми стали губы! Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной...

Да, если бы можно было заменить также и плоть ее, и мозг, и память! Если бы можно было самую душу ее отдать в чистку, чтобы ее там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно... Если бы можно!..

Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было два часа ночи. Неужели прошел всего час с тех пор, как он встретил на ули-

це Клариссу Маклеллан, всего час с тех пор, как он вошел в эту темную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик?

Один только час, но как все изменилось — исчез, растаял тот, прежний, мир и вместо него возник новый, холодный и бесцветный.

Через залитую лунным светом лужайку до Монтэга долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Кларисса, ее отец и мать и ее дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещенного дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.

Монтэг слышал голоса беседующих людей, они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов.

Монтэг вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пересек лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня. Я не скажу ни слова. Я буду молчать. Я только хочу послушать, о чем вы говорите».

Но он не двинулся с места. Он все стоял, продрогший, окоченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос (это, наверно, дядя) говорит спокойно и неторопливо:

— В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают... Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имен игроков? Ну-ка скажи, например, в какого цвета фуфайках они выйдут на поле?

Монтэг побрел назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошел к Милдред, заботливо укутал ее одеялом и лег в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо.

Упала первая капля дождя. Кларисса. Еще капля. Милдред. Еще одна. Дядя. Еще одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая. Милдред. Третья. Дядя. Четвертая. Пожар. Одна, другая, третья, четвертая, Милдред, Кларисса,

дядя, пожар, таблетки снотворного, люди — бумажные салфетки, используй, брось, возьми новую! Одна, другая, третья, четвертая. Дождь. Гроза. Смех дяди. Раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Пламя вырывается из вулкана. И все кружится, несется, бурной, клочущей рекой устремляется сквозь ночь навстречу утру...

— Ничего больше не знаю, ничего не понимаю, — сказал Монтэг и положил в рот снотворную таблетку. Она медленно растаяла на языке.

Утром в девять часов постель Милдред была уже пуста. Монтэг торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился.

Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло.

Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши ее были плотно заткнуты гулящими электронными пчелами. Подняв голову и увидев Монтэга, она кивнула ему.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула и вложила в тостер свежий ломтик хлеба.

Монтэг сел.

— Не понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена.

— Ты... — начал он.

— Ужас, как проголодалась!

— Вчера вечером...

— Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, — продолжала она. — Господи, до чего хочется есть! Не могу понять почему...

— Вчера вечером... — опять начал он.

Она рассеянно следила за его губами.

— Что было вчера вечером?

— Ты разве ничего не помнишь?

— А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть! А кто у нас был?

— Несколько человек.

— Я так и думала. — Она откусила кусочек поджаренного хлеба. — Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?

— Нет, — сказал он тихо.

Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность.

— Ты тоже неважно выглядишь,— заметила его жена.

Во второй половине дня шел дождь, все кругом потемнело; мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел на вентиляционную решетку. Его жена, читавшая сценарий в телевизионной комнате, подняла голову и посмотрела на него.

— Смотрите-ка! Он думает!

— Да,— ответил он.— Мне надо поговорить с тобой.— Он помедлил.— Вчера ты проглотила все таблетки снотворного, все, сколько их было во флаконе.

— Ну да? — удивленно воскликнула она.— Не может быть!

— Флакон лежал на полу пустой.

— Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне? — ответила она.

— Может быть, ты приняла две таблетки, а потом забыла и приняла еще две, и опять забыла и приняла еще, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все тридцать или сорок — все, что было во флаконе.

— Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?

— Не знаю,— ответил он.

Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушел,— она этого даже не скрывала.

— Не стала бы я это делать,— повторила она.— Ни за что на свете.

— Хорошо, пусть будет по-твоему,— ответил он.

— Как сказала леди,— добавила она и снова углубилась в чтение сценария.

— Что сегодня в дневной программе? — спросил он устало.

Она ответила, не поднимая головы:

— Пьеса. Начинается через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Элен?» — и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю... я отвечаю... — Она стала водить пальцем по строчкам рукописи.— Ага,

вот: «По-моему, это просто великолепно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю: «Ну конечно, согласна». Правда, интересно, Гай?

Он стоял в передней и молча смотрел на нее.

— Право же, очень интересно,— снова сказала она.

— А о чем говорится в пьесе?

— Я же тебе сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.

— А!

— Это очень интересно. И будет еще интереснее, когда у нас будет четвертая телевизионная стена. Как ты думаешь, долго нам еще надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизионную? Это стоит всего две тысячи долларов.

— Треть моего годового заработка.

— Всего две тысячи долларов,— упрямо повторила она.— Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили четвертую стену, эта комната была бы уже не только наша. В ней жили бы разные необыкновенные, занятные люди. Можно на чем-нибудь другом сэкономить.

— Мы и так уж на многом экономим, с тех пор как заплатили за третью стену. Если помнишь, ее поставили всего два месяца назад.

— Только два месяца? — Она остановила на нем задумчивый взгляд.— Ну, до свидания, милый.

— До свидания,— ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся: — А какой конец в этой пьесе? Счастливый?

— Я еще не дочитала до конца.

Он подошел, взглянул на последнюю страницу, кивнул, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.

Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на ее лицо. Увидев Монтэга, она улыбнулась:

— Здравствуйте.

Монтэг ответил на приветствие, затем спросил:

— Что это вы делаете? Еще что-то придумали?

— Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо! Я люблю гулять под дождем.

— Мне бы не понравилось,— ответил он.

— А может, и понравилось бы, если бы попробовали.

— Я никогда не пробовал.

Она облизнула губы.

— Дождик даже на вкус приятен.

— Всегда вам хочется что-то пробовать,— сказал он.— Хоть раз, да попробовать.

— А бывает, что и не раз,— ответила она и взглянула на то, что прятала в руке.

— Что там у вас? — спросил он.

— Одуванчик. Последний, наверно. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите! — Смейся, она провела цветком у себя под подбородком.

— Зачем?

— Если останется след, значит, я влюблена. Ну как?

Что было делать? Он взглянул на ее подбородок.

— Ну? — спросила она.

— Желтый стал.

— Чудесно! А теперь проверим на вас.

— У меня ничего не выйдет.

— Посмотрим.— И, не дав опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась: — Стойте смирно!

Оглядев его подбородок, она нахмурилась.

— Ну как? — спросил он.

— Какая жалость! — воскликнула она.— Вы ни в кого не влюблены!

— Нет, влюблен.

— Но этого не видно.

— Я влюблен, очень влюблен.— Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно.— Я влюблен,— упрямо повторил он.

— Не смотрите так! Пожалуйста, не надо!

— Это ваш одуванчик виноват,— сказал он.— Вся пыльца сошла вам на подбородок. А мне ничего не осталось.

— Ну вот, я вас расстроила? Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела...— Она легонько тронула его за локоть.

— Нет-нет,— поспешно ответил он.— Я ничего.

— Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились.

— Я не сержусь. Так, чуточку огорчился.

— Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Ну я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать слой за слоем.

— Я тоже склонен думать, что вам нужен психиатр, — сказал Монтэг.

— Неправда. Вы этого не думаете.

Он глубоко вздохнул, потом сказал:

— Верно. Я этого не думаю.

— Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию.

— Хорошо. Покажите.

— Они то и дело спрашивают, чем это я все время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю. Но не говорю о чем. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус как вино. Вы когда-нибудь пробовали?

— Нет, я...

— Вы меня простили? Да?

— Да. — Он на минуту задумался. — Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная: на вас обижаешься и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам семнадцать лет?

— Да, будет через месяц.

— Странно. Очень странно. Моей жене — тридцать, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше ее. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.

— Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтэг. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?

— Ладно, давайте.

— Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых — я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те, другие, никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам.

Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам и одна его половина была горячей как огонь, а другая холодной как лед, одна была нежной, другая — жесткой, одна — трепетной, другая — твердой как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую.

— Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру, — сказал он.

Она убежала, оставив его на тротуаре под дождем. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо дождю, на мгновение открыл рот...

Механический пес спал и в то же время бодрствовал; жил и в то же время был мертв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещенной конуре в конце темного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрях этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих восьми паучьих, подбитых резиной лапах.

Монтэг соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пес напоминал гигантскую пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоен ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда.

— Здравствуй,— прошептал Монтэг, как всегда зачарованно глядя на мертвого и в то же время живого зверя.

По ночам, когда становилось скучно — а это бывало каждую ночь,— пожарники спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определенный запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых все равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пес схватит первой.

Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыпленок, кошка или крыса, не успев пробежать и нескольких метров, оказывались в мягких лапах пса, и четырехдюймовая стальная игла, высунувшись, словно жало, из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова.

Монтэг обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз, два года назад, он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред; он до сих пор помнит ее лицо — все в красных пятнах, со вздувшимися на лбу жилами. Теперь по ночам он лежал на койке, отвернув-

шись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу — будто кто-то быстро-быстро дергал струну рояля, — к скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пес одним бесшумным прыжком выскакивал из будки как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в нее жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть, — как будто выключили рубильник.

Монтэг коснулся морды пса.

Пес заворчал.

Монтэг отпрянул.

Пес приподнялся в конуре и взглянул на Монтэга внезапно ожившими, полными зелено-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал — странный, режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения масла на сковороде и металлического скрежета, словно пришел в движение какой-то ветхий механизм, скрипучий от ржавчины и застарелой подозрительности.

— Но-но, старик, — прошептал Монтэг; сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла, исчезла, снова высунулась, снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание, сверкающий взгляд был устремлен на Монтэга.

Монтэг попятился. Пес сделал шаг из конуры. Монтэг схватился рукой за шест. Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронес Монтэга через люк в потолке. Он ступил на полутемную площадку верхнего этажа.

Он весь дрожал, лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пес затих и снова опустился на свои восемь неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть: его многогранные глаза-кристаллы снова погасли.

Монтэг не сразу отошел от люка; он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной, в дальнем углу, у стола, освещенного лампой под зеленым абажуром, четверо мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтэга, но никто из них не произнес ни слова. Только человек в шлеме брандмейстера, украшенном изображением феникса, держащий карты в сухощавой руке, заинтересовался наконец и спросил из своего угла:

— Что случилось, Монтэг?

— Он меня не любит, — сказал Монтэг.

— Кто, пес? — Брандмейстер разглядывал карты в руке. — Бросьте. Он не может любить или не любить. Он просто функционирует. Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвра-

щается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумуляторы, электрическая энергия — вот и все, что в нем есть.

Монтэг судорожно глотнул воздух.

— Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию — столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей. Так?

— Ну, это всем известно.

— Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке там, внизу. Что стоит кому-нибудь взять и настроить память механического пса на тот или другой состав — не полностью, а частично, ну хотя бы на аминокислоты? Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас, — он реагировал на меня.

— Чепуха! — сказал брандмейстер.

— Он раздражен, но не разъярен окончательно. Кто-то настроил его память ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему.

— Да кому пришлось бы в голову это делать? — сказал брандмейстер. — У вас нет здесь врагов, Гай?

— Насколько мне известно, нет.

— Завтра механики проверят пса.

— Это уже не первый раз он рычит на меня, — продолжал Монтэг. — В прошлом месяце было дважды.

— Завтра все проверим. Бросьте об этом думать.

Но Монтэг продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решетке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и «рассказал» псу?..

Брандмейстер подошел к Монтэгу и вопросительно взглянул на него.

— Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтэг, — о чем думает пес по ночам в своей конуре? Что он правда оживает, когда бросается на человека? Это даже как-то страшно.

— Он ни о чем не думает, кроме того, что мы в него вложили.

— Очень жаль, — тихо сказал Монтэг. — Потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не можем его научить!

Брандмейстер Битти презрительно фыркнул:

— Экий вздор! Наш пес — прекрасный образчик того, что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружье, которое само находит цель и бьет без промаха.

— Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой, — сказал Монтэг.

— Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть не чиста, Монтэг?

Монтэг быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда; вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дому, он знал, что Кларисса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево, в другой раз он видел ее сидящей на лужайке — она вязала синий свитер; три или четыре раза он находил на крыльце своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулечке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикрепленный кнопкой к входной двери. И каждый вечер Кларисса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, а потом опять тихий и теплый, а после был день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось легким загаром.

— Почему мне кажется, — сказал он, когда они дошли до входа в метро, — будто я уже очень давно вас знаю?

— Потому, что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо. А еще потому, что мы понимаем друг друга.

— С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы.

— Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочки, такой вот, как я, раз вы так любите детей?

— Не знаю.

— Вы шутите!

— Я хотел сказать... — Он запнулся и покачал головой. — Видите ли, моя жена... Ну, одним словом, она не хотела иметь детей.

Улыбка сошла с лица девушки.

— Простите. Я ведь правда подумала, что вы смеетесь надо мной. Я просто дурочка.

— Нет-нет! — воскликнул он. — Очень хорошо, что вы спросили. Меня так давно никто об этом не спрашивал. Никому до тебя нет дела... Очень хорошо, что вы спросили.

— Ну, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей! Вот, понюхайте.

— А ведь верно... Очень напоминает корицу.

Она подняла на него свои лучистые темные глаза.

— Как вы всегда удивляетесь!

— Это потому, что раньше я никогда не замечал... Не хватало времени...

— А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я вам говорила?

— Посмотрел.— И невольно рассмеялся.

— Вы теперь уже гораздо лучше смеетесь.

— Да?

— Да. Более непринужденно.

У него вдруг стало легко и спокойно на сердце.

— Почему вы не в школе? Целыми днями бродите одна, вместо того чтобы учиться.

— Ну, в школе по мне не скучают,— ответила девушка.— Видяте ли, они говорят, что я необщительна. Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно. Потому что на самом деле я очень общительна. Все зависит от того, что понимать под общением. По-моему, общаться с людьми — значит болтать вот как мы с вами.— Она подбросила на ладони несколько каштанов, которые нашла под деревом в саду.— Или разговаривать о том, как удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми. Но собрать всех в кучу и не давать никому слова сказать — какое же это общение? Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории — что-то переписываем, или урок рисования — что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаём вопросов. По крайней мере большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами — трах, трах, трах,— а потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Где же тут общение? Сотня воронок, и в них по желобам льют воду только для того, чтобы она вылилась с другого конца. Да еще уверяют, будто это вино. К концу дня мы так устаем, что только и можем либо завалиться спать, либо пойти в парк развлечений — задевать гуляющих, или бить стекла в специальном павильоне для битья стекол, или большим стальным мячом сшибать автомашины в тире для крушений. Или сесть в автомобиль и мчаться по улицам — есть, знаете, такая игра: кто ближе всех проскочит мимо фонарного столба или мимо другой машины. Да, они, должно быть, правы, я, наверно, такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. И это будто бы доказывает, что я ненормальная. Но все мои сверстники либо кричат и прыгают как сумасшедшие, либо колотят друг друга. Вы заметили, как теперь люди беспощадны друг к другу?

— Вы рассуждаете, как старушка.

— Иногда я и чувствую себя древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так было? Дядя говорит, что нет. Только в этом году шесть

моих сверстников были застрелены. Десять погибли в автомобильных катастрофах. Я их боюсь, и они не любят меня за это. Дядя говорит, что его дед помнил еще то время, когда дети не убивали друг друга. Но это было очень давно, тогда все было иначе. Дядя говорит, тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Кстати, у меня оно есть. Это потому, что давно, когда я еще была маленькой, мне вовремя задали хорошую трепку. Я сама делаю все покупки по хозяйству, сама убираю дом.

— Но больше всего,— сказала она,— я все-таки люблю наблюдать за людьми. Иногда я целый день езжу в метро, смотрю на людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать, кто они, чего хотят, куда едут. Иногда я даже бываю в парках развлечений или катаюсь в ракетных автомобилях, когда они в полночь мчатся по окраинам города. Полиция не обращает внимания, лишь бы они были застрахованы. Есть у тебя в кармане страховая квитанция на десять тысяч долларов, ну, значит, все в порядке и все счастливы и довольны. Иногда я подслушиваю разговоры в метро. Или у фонтанчиков с содовой водой. И знаете что?

— Что?

— Люди ни о чем не говорят.

— Ну как это может быть!

— Да-да. Ни о чем. Сыплут названиями — марки автомобилей, моды, плавательные бассейны — и ко всему прибавляют: «Как шикарно!» Все они твердят одно и то же. Как трещотки. А в кафе включают ящики анекдотов и слушают все те же старые остроты или включают музыкальную стену и смотрят, как по ней бегут цветные узоры, но ведь все это совершенно беспредметно, так — переливы красок. А картинные галереи? Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже все беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, так говорит дядя, все было иначе. Когда-то картины рассказывали о чем-то, даже показывали людей.

— Дядя говорит то, дядя говорит это. Ваш дядя, должно быть, замечательный человек.

— Конечно, замечательный. Ну, мне пора. До свидания, мистер Монтэг.

— До свидания.

— До свидания...

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Пожарная станция.

— Монтэг, вы прямо как птичка взлетаете по этому шесту. Третий день.

— Монтэг, я вижу, вы сегодня пришли с черного хода. Опять вас пес беспокоит?

— Нет-нет.

Четвертый день.

— Монтэг, послушайте, какой случай! Мне только сегодня рассказали. В Сиэтле один пожарник умышленно настроил пса на свой химический комплекс и выпустил его из конуры. Ничего себе — способ самоубийства!

Пятый, шестой, седьмой день.

А затем Кларисса исчезла. Сперва он даже не понял, чем отличается этот день от другого, а суть была в том, что нигде не видно было Клариссы. Лужайка была пуста, деревья пусты, улицы пусты. И прежде чем он сообразил, чего ему не хватает, прежде чем он начал искать пропавшую, ему уже стало не по себе; подходя к метро, он был уже во власти смутной тревоги. Что-то случилось, нарушился какой-то порядок, к которому он привык. Правда, порядок этот был так прост и несложен и установился всего несколько дней тому назад, а все-таки...

Он чуть не повернул обратно. Может быть, пройти еще раз весь путь от дома до метро? Он был уверен, что, если пройдет еще раз, Кларисса нагонит его и все станет по-прежнему. Но было уже поздно, и подошедший поезд положил конец его колебаниям.

Шелест карт, движение рук, вздрагивание век, голос говорящих часов, монотонно возвещающих с потолка дежурного помещения пожарной станции: «...час тридцать пять минут утра, четверг, ноября четвертого... час тридцать шесть минут... час тридцать семь минут...» Шлепанье карт о засаленный стол. Звуки долетали до Монтэга, несмотря на плотно закрытые веки,— хрупкий барьер, которым он пытался на миг защититься. Но и с закрытыми глазами он ясно ощущал все, что было вокруг: начищенные медь и бронзу, сверкание ламп, тишину пожарной станции. И блеск золотых и серебряных монет на столе. Сидящие через стол от него люди, которых он сейчас не видел, глядели в свои карты, вздыхали, ждали. «...Час сорок пять минут...» Говорящие часы, казалось, оплакивали уходящие минуты неприветливого утра и еще более неприветливого года.

— Что с вами, Монтэг?

Монтэг открыл глаза.

Где-то хрипело радио:

— В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои...

Здание станции задрожало: эскадрилья ракетных бомбардировщиков со свистом прорезала черное предрасветное небо.

Монтэг растерянно заморгал. Битти разглядывал его как музейный экспонат. Вот он сейчас встанет, подойдет, прикоснется к Монтэгу, вскроет его вину, причину его мучений. Вину? Но в чем же его вина?

— Ваш ход, Монтэг.

Монтэг взглянул на сидящих перед ним людей. Их лица были опалены огнем тысячи настоящих и десятка тысяч воображаемых пожаров; их профессия окрасила неестественным румянцем их щеки, воспалила глаза. Они спокойно, не шурясь и не моргая, глядели на огонь платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменные черные трубки. Угольно-черные волосы и черные как сажа брови, синеватые щеки, гладко выбритые и вместе с тем как будто испачканные золой, — клеймо наследственного ремесла! Монтэг вздрогнул и замер, приоткрыв рот, — странная мысль пришла ему в голову. Да видел ли он когда-нибудь пожарного, у которого не было бы черных волос, черных бровей, воспаленно-красного лица и этой стальной синевы гладко выбритых и вместе с тем как будто давно не бритых щек? Эти люди были как две капли воды похожи на него самого! Неужели в пожарные команды людей подбирали не только по склонности, но и по внешнему виду? В их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета золы и копоти; их постоянно сопровождал запах гари, исходивший от их вечно дымящихся трубок. Вот, окутанный облаком табачного дыма, встает брандмейстер Битти. Берет новую пачку табаку, открывает ее — целлофановая обертка рвется с треском, напоминающим треск пламени.

Монтэг опустил глаза на карты, зажатые в руке.

— ...Я задумался. Вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы тогда сожгли. Что с ним сделали?

— Отправили в сумасшедший дом. Орал как оглашенный.

— Но он же не сумасшедший!

Битти молча перетасовывал карты.

— Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший.

— Я пытался представить себе, — сказал Монтэг, — что должны чувствовать люди в таком положении. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги.

— У нас нет книг.

— Но если б были!

— Может, у вас есть?

Битти медленно поднял и опустил веки.

— У меня нет, — сказал Монтэг и взглянул мимо сидящих у стола людей на стену, где висели отпечатанные на машинке списки запрещенных книг. Названия этих книг вспыхивали в

огнях пожаров, когда годы и века рушились под ударами его топора и, облитые струей керосина из шланга в его руках, превращались в пепел. — Нет, — повторил он и тотчас почувствовал на щеке прохладное дуновение. Снова он стоял в передней своего дома, и струя воздуха из знакомой вентиляционной решетки холодила ему лицо. И снова он сидел в парке и разговаривал со старым, очень старым человеком. В парке тоже дул прохладный ветер...

С минуту Монтэг не решался, потом спросил:

— Всегда ли... всегда ли было так? Пожарные станции и наша работа? Когда-то, давным-давно...

— Когда-то, давным-давно!.. — воскликнул Битти. — Это еще что за слова?

«Глупец! Что я говорю, — подумал Монтэг. — Я выдаю себя». На последнем пожаре в руки ему попала книжка детских сказок, он прочел первую строчку...

— Я хотел сказать, в прежнее время, — промолвил он. — Когда дома еще не были несгораемыми... — И вдруг ему почудилось, что эти слова произносит не он; он слышал чей-то другой, более молодой голос. Он только открывал рот, но говорила за него Кларисса Маклеллан. — Разве тогда пожарные не тушили пожары, вместо того чтобы разжигать их?

— Вот это здорово! — Стоунмен и Блэк оба разом как по команде выхватили из карманов книжки уставов и положили их перед Монтэгом. Кроме правил в них давалась краткая история пожарных команд Америки, и теперь книжки были раскрыты именно на этой хорошо знакомой Монтэгу странице:

«Основаны в 1790 году для сожжения проанглийской литературы в колониях. Первый пожарный — Бенджамин Франклин.

Правило 1. По сигналу тревоги выезжай немедленно.

2. Быстро разжигай огонь.

3. Сжигай все дотла.

4. Выполнив задание, тотчас возвращайся на пожарную станцию.

5. Будь готов к новым сигналам тревоги».

Все смотрели на Монтэга. Он не шелохнулся.

Вдруг завыл сигнал тревоги.

Колокол под потолком дежурного помещения заколотил, отбивая свои двести ударов. Четыре стула мгновенно опустели. Карты как снег посыпались на пол. Медный шест задрожал. Люди исчезли.

Монтэг продолжал сидеть. Внизу зафыркал, оживая, оранжевый дракон.

Монтэг встал со стула и словно во сне спустился вниз по шести.

Механический пес встрепенулся в своей конуре, глаза его вспыхнули зелеными огнями.

— Монтэг, вы забыли свой шлем!

Монтэг сорвал со стены шлем, побежал, прыгнул на подножку, и машина помчалась. Ночной ветер разносил во все стороны рев сирены и могучий грохот металла.

Это был облупившийся трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверно, не меньше столетия. В свое время, как и все дома в городе, он был покрыт тонким слоем огнеупорного состава, и казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения.

— Приехали!..

Мотор еще раз фыркнул и умолк. Битти, Стоунмен и Блэк уже бежали к дому, уродливые и неуклюжие в своих толстых огнеупорных комбинезонах. Монтэг побежал за ними.

Они ворвались в дом. Схватили женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, покачиваясь, глядя на пустую стену перед собой, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились, в глазах было такое выражение, как будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила, и губы ее, дрогнув, произнесли:

— «Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда».

— Довольно! — сказал Битти. — Где они?

С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти.

— Вы знаете, где они, иначе вы не были бы здесь, — промолвила она.

Стоунмен протянул записанную на карточке телефонограмму:

«Есть основания подозревать чердак дома № 11 по Элм-Стрит». Внизу вместо подписи стояли инициалы «Э. Б.».

— Это, должно быть, миссис Блейк, моя соседка, — сказала женщина, взглянув на инициалы.

— Ну хорошо, ребята. За работу!

И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых комнат, взламывали незапертые двери, натывая друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек:

— Эй! Эй!

Лавина книг обрушилась на Монтэга, когда он с тяжелым сердцем, содрогаясь всем своим существом, поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось! Раньше всегда проходило гладко... Все равно как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав ее, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст. Никому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина, так что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника. Живо, все по порядку! Керосин сюда! У кого спички?

Но сегодня кто-то допустил ошибку. Эта женщина тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор ее молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу... Непорядок! Неправильно! Монтэг вдруг обозлился. Только этого ему не хватало ко всему остальному! Эта женщина! Она не должна была быть здесь!

Книги сыпались на плечи и руки Монтэга, на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нем узором слов. В спешке и горячке работы Монтэг лишь на мгновение задержал на ней взор, но строчки, которые он прочел, огнем обожгли его мозг и запечатлелись в нем, словно выжженные раскаленным железом: «И время, казалось, дремало в истоме под полуденным солнцем». Он уронил книгу на пол. И сейчас же другая упала ему в руки.

— Эй, там, внизу! Монтэг! Сюда!

Рука Монтэга сама собой стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал ее к груди. Над его головой на чердаке, подымая облака пыли, пожарники ворошили горы журналов, сбрасывая их вниз. Журналы падали, словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мертвых тел смиренно, как маленькая девочка.

Нет, он, Монтэг, ничего не сделал. Все сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце, и эта рука вдруг стала вором. Вот она

сунула книгу под мышку, крепко прижала ее к потному телу и вынырнула уже пустая... Ловкость как у фокусника! Смотрите, ничего нет! Пожалуйста! Ничего!

Потрясенный, он разглядывал эту белую руку, то отводя ее подальше, как человек, страдающий дальностью, то поднося к самому лицу, как слепой.

— Монтэг!

Вздвогнув, он обернулся.

— Что вы там встали, идиот! Отойдите!

Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленной на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, поскользнувшись, падали. Вспыхивали золотые глаза тисненых заглавий, падали, гасли...

— Керосин!

Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой «451» — у каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты. Затем торопливо спустились по лестнице. Задыхаясь от керосиновых испарений, Монтэг, спотыкаясь, шел сзади.

— Выходите! — крикнули они женщине. — Скорее!

Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами облитых керосином переплетов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза ее с гневным укором глядели на Монтэга.

— Не получить вам моих книг! — наконец выговорила она.

— Закон вам известен, — ответил Битти. — Где ваш здравый смысл? В этих книгах все противоречит одно другому. Настоящая Вавилонская башня! И вы сидели в ней взаперти целые годы. Бросьте все это. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Ну, идем!

Женщина отрицательно покачала головой.

— Сейчас весь дом загорится, — сказал Битти.

Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтэга, который все еще стоял возле женщины.

— Нельзя же бросить ее здесь! — возмущенно крикнул Монтэг.

— Она не хочет уходить.

— Надо ее заставить!

Битти поднял руку с зажигалкой.

— Нам пора возвращаться на пожарную станцию. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное.

Монтэг взял женщину за локоть.

— Пойдемте со мной.

— Нет,— сказала она.— Но вам — спасибо!
— Я буду считать до десяти,— сказал Битти.— Раз, два...
— Пожалуйста,— промолвил Монтэг, обращаясь к женщине.

— Уходите,— ответила она.

— Три. Четыре...

— Ну прошу вас.— Монтэг потянул женщину за собой.

— Я останусь здесь,— тихо ответила она.

— Пять. Шесть...— считал Битти.

— Можете дальше не считать,— сказала женщина и разжала пальцы — на ладони у нее лежала крохотная тоненькая палочка.

Обыкновенная спичка.

Увидев ее, пожарные опростелом бросились вон из дома. Брандмейстер Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог.

«Господи,— подумал Монтэг,— а ведь правда! Сигналы тревоги бывают только ночью. И никогда днем. Почему? Неужели только потому, что ночью пожар — красивое, эффектное зрелище?»

На красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, мелькнул испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтэга под мышкой, толкалась в его грудь, как живое сердце.

— Уходите,— сказала женщина. Монтэг почувствовал, что пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше, дальше, на лужайку, где, как след гигантского червя, пролежала темная полоска керосина. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась и окинула их долгим спокойным взглядом. Ее молчание осуждало их. Битти шелкнул зажигалкой. Но он опоздал. Монтэг замер от ужаса. Стоящая на крыльце женщина, бросив на них взгляд, полный презрения, чиркнула спичкой о перила.

Из домов на улицу выбегали люди.

Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Монтэг сидел впереди, вместе с Битти и Блэком. Они даже не курили трубки, только молча глядели вперед, на дорогу. Мощная «саламандра» круто сворачивала на перекрестках и мчалась дальше.

— Ридли,— наконец произнес Монтэг.

— Что? — спросил Битти.

— Она сказала — «Ридли». Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом: «Будьте мужественны, Ридли». И еще что-то... Что-то еще...

— «Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда», — промолвил Битти.

Стоунмен и Монтэг изумленно взглянули на брандмейстера. Битти задумчиво потер подбородок.

— Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде шестнадцатого октября тысяча пятьсот пятьдесят пятого года.

Монтэг и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колесами машины.

— Я начинен цитатами, всякими обрывками, — сказал Битти. — У брандмейстеров это не редкость. Иногда сам себе удивляюсь. Не зевайте, Стоунмен!

Стоунмен нажал на тормоза.

— Черт! — воскликнул Битти. — Проехали наш поворот.

— Кто там?

— Кому же быть, как не мне? — отозвался из темноты Монтэг. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку.

После небольшой паузы жена наконец сказала:

— Зажги свет.

— Мне не нужен свет.

— Тогда ложись спать.

Он слышал, как она недовольно заворочалась на постели; жалобно застонали пружины матраца.

— Ты пьян? — спросила она.

Так вот, значит, как это вышло! Во всем виновата его рука. Он почувствовал, что его руки — сначала одна, потом другая — стащили с плеч куртку, бросили ее на пол. Снятые брюки повисли в его руках, и он равнодушно уронил их в темноту, как в пропасть.

Кисти его рук поражены заразой; скоро она поднимется выше, к локтям, захватит плечи, перекинется как искра с одной лопатки на другую. Его руки охвачены ненасытной жадностью. И теперь эта жадность передалась уже и его глазам: ему вдруг захотелось глядеть и глядеть, не переставая, глядеть на что-нибудь, безразлично, на что, глядеть на все...

— Что ты там делаешь? — спросила жена. Он стоял, пошатываясь в темноте, зажав книгу в холодных, влажных от пота пальцах.

Через минуту жена снова сказала:

— Ну! Долго ты еще будешь вот так стоять посреди комнаты?

Из груди его вырвался какой-то невнятный звук.

— Ты что-то сказал? — спросила жена.

Снова неясный звук слетел с его губ. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати, неловко сунул книгу под холодную как лед подушку, тяжело повалился на постель. Его жена испуганно вскрикнула. Но ему казалось, что она где-то далеко, в другом конце комнаты, что его постель — это ледяной остров среди пустынного моря. Жена что-то говорила ему, говорила долго, то об одном, то о другом, но для него это были только слова, без связи и смысла. Однажды в доме приятеля он слышал, как, вот так же лепеча, двухлетний малыш выговаривал какие-то свои детские словечки, издавал приятные на слух, но ничего не значащие звуки...

Монтэг молчал. Когда невнятный стон снова слетел с его уст, Милдред встала и подошла к его постели. Наклонившись, она коснулась его щеки. И Монтэг знал, что, когда Милдред отняла руку, ладонь у нее была влажной.

Позже ночью он поглядел на Милдред. Она не спала. Чуть слышная мелодия звенела в воздухе — в ушах у нее опять были «Ракушки», и опять она слушала далекие голоса из далеких стран. Ее широко открытые глаза смотрели в потолок, в толщину нависшей над нею тьмы.

Он вспомнил избитый анекдот о жене, которая так много разговаривала по телефону, что ее муж, желавший узнать, что сегодня на обед, вынужден был побежать в ближайший автомат и позвонить ей оттуда. Не купить ли и ему, Монтэгу, портативный передатчик системы «Ракушка», чтобы по ночам разговаривать со своей женой, нашептывать ей на ухо, кричать, вопить, орать? Но что нашептывать? О чем кричать? Что мог он сказать ей?

И вдруг она показалась ему такой чужой, как будто он никогда раньше ее и в глаза не видел. Просто он по ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую дверь, вошел в чужой дом и улегся в постель рядом с чужой женой, а рано утром встал и ушел на работу, и ни он, ни женщина так ничего и не заметили...

— Милли! — прошептал он.

— Что?..

— Не пугайся! Я только хотел спросить...

— Ну?

— Когда мы встретились и где?

— Для чего встретились? — спросила она.

— Да нет! Я про нашу первую встречу.

Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте.

Он пояснил:

— Ну, когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга. Где это было и когда?

— Это было...— Она запнулась.— Я не знаю.

Ему стало холодно.

— Неужели ты не можешь вспомнить?

— Это было так давно.

— Десять лет назад. Всего лишь десять!

— Что ты так расстраиваешься? Я же стараюсь вспомнить.—

Она вдруг засмеялась странным, взвизгивающим смехом.— Смешно! Право, очень смешно! Забыть, где впервые встретилась со своим мужем... И муж тоже забыл, где встретился с женой...

Он лежал, тихонько растирая себе веки, лоб, затылок. Прикрыл ладонями глаза и нажал, словно пытаясь вдвинуть память на место. Почему-то сейчас важнее всего на свете было вспомнить, где он впервые встретился с Милдред.

— Да это же не имеет никакого значения.— Она, очевидно, встала и вышла в ванную. Монтэг слышал плеск воды, льющейся из крана, затем глотки — она запивала водой таблетки.

— Да, пожалуй, что и не имеет,— сказал он.

Он попытался сосчитать, сколько она их проглотила, и в его памяти встали вдруг те двое с иссиня-бледными, как цинковые белила, лицами, с сигаретами в тонких губах и змея с электронным глазом, которая, извиваясь, проникала все глубже во тьму, в застоявшуюся воду на дне... Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить: «Сколько ты сейчас проглотила таблеток? Сколько еще проглотить и сама не заметишь?» Если не сейчас, так позже, если не в эту ночь, так в следующую... А я буду лежать всю ночь без сна, и эту, и следующую, и еще много ночей — теперь, когда это началось. Он вспомнил все, что было в ту ночь, — неподвижное тело жены, распростертое на постели, и двоих санитаров, не склонившихся заботливо над ней, а стоящих около, равнодушных и бесстрастных, со скрещенными на груди руками. В ту ночь возле ее постели он почувствовал, что, если она умрет, он не сможет плакать по ней. Ибо это будет для него как смерть чужого человека, чье лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете... И это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не оттого, что Милдред может умереть, а оттого, что смерть ее уже не может вызвать у него слез. Глупый, опустошенный человек и рядом глупая, опустошенная женщина, которую у него на глазах еще больше опустошила эта голодная змея с электронным глазом...

«Откуда эта опустошенность? — спросил он себя. — Почему все, что было в тебе, ушло и осталась одна пустота? Да еще этот цветок, этот одуванчик!» Он подвел итог: «Какая жалость! Вы ни в кого не влюблены». Почему же он не влюблен?

Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стоили так дорого. Все эти дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут без связи, без смысла, но громко, громко, громко! Он с самого начала прозвал их «родственниками»: «Как поживает дядюшка Льюис?» — «Кто?» — «А тетушка Мод?»

Когда он думал о Милдред, какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, затерявшаяся в лесу (только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев) или, вернее, заблудившаяся в пустыне, где когда-то были деревья (память о них еще пробивалась то тут, то там), проще сказать, Милдред в своей «говорящей» гостиной. Говорящая гостиная! Как это верно! Когда бы он ни зашел туда, стены разговаривали с Милдред:

«Надо что-то сделать!»

«Да, да, это необходимо!»

«Так чего же мы стоим и ничего не делаем?»

«Ну, давайте делайте!»

«Я так зла, что готова плевать!»

О чем они говорят? Милдред не могла объяснить. Кто на кого зол? Милдред не знала. Что они хотят делать? «Подожди, и сам увидишь», — говорила Милдред.

Он садился и ждал.

Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилия от костей, сворачивало челюсти и глаза у него плясали в орбитах, словно мячики. Что-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад, и он летит, стремглав летит в пустоту — дна нет, быстрота такая, что не задеваешь стены... Вниз... Вниз... И ничего кругом... Пусто...

Гром стихал. Музыка умолкала.

— Ну как? — говорила Милдред. — Правда, потрясающе?

Да, это было потрясающе. Что-то совершилось, хотя люди на стенах за это время не двинулись с места и ничего между ними не произошло. Но у вас было такое чувство, как будто вас протащили сквозь стиральную машину или всосало гигантским пылесосом. Вы захлебывались от музыки, от какофонии звуков.

Весь в поту, на грани обморока, Монтэг выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своем кресле, и вдогонку Монтэгу снова неслись голоса «родственников»:

«Теперь все будет хорошо», — говорила тетушка.

«Ну, это еще как сказать», — отвечал двоюродный братец.

«Пожалуйста, не злись».

«Кто злится?»

«Ты».

«Я?»

«Да. Прямо бесишься».

«Почему ты так решила?»

«Потому».

— Ну хорошо! — кричал Монтэг. — Но из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина и кто эта женщина? Кто они, муж и жена? Жених и невеста? Разведены? Помолвлены? Господи, ничего нельзя понять!..

— Они... — начинала Милдред. — Видишь ли, они... Ну, в общем, они поссорились. Они часто ссорятся. Ты бы только послушай! Да, кажется, они муж и жена. Да, да, именно муж и жена. А что?

А если не гостиная, если не эти три говорящие стены, к которым по мечте Милдред скоро должна была прибавиться четвертая, тогда это была открытая машина, которую Милдред вела со скоростью сто миль в час. Они мчались по городу, и он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рева мотора. «Сбавь до минимума!» — кричал он. «Что?» — кричала она в ответ. «До минимума! До пятидесяти пяти! Сбавь скорость!» — «Что?» — вопила она, не расслышав. «Скорость!» — орал он. И она вместо того, чтобы сбавить, доводила скорость до ста пяти миль в час, и у него перехватывало дыхание.

А когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опять были «Ракушки».

Тишина. Только ветер мягко шумит за окном.

— Милдред! — Он повернулся на постели. Протянув руку, он выдернул музыкальную пчелку из ушей Милдред: — Милдред! Милдред!

— Да? — еле слышно ответил ее голос из темноты.

Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизорных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой в надежде, что Милдред обернется и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду.

— Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?
— Какую девушку? — спросила она сонно.
— Девушку из соседнего дома.
— Какую девушку из соседнего дома?
— Ну, ту, что учится в школе. Ее зовут Кларисса.
— А, да, — ответила жена.
— Я уже несколько дней ее нигде не вижу. Четыре дня, чтобы быть точным. А ты ее не видала?

— Нет.
— Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная.
— А! Теперь я знаю, о ком ты говоришь.
— Я так и думал, что ты ее знаешь.
— Она... — прозвучал голос Милдред в темноте.
— Что «она»? — спросил Монтэг.
— Я хотела сказать тебе, но забыла. Забыла...
— Ну скажи сейчас. Что ты хотела сказать?
— Ее, кажется, уже нет.
— Как так — нет?
— Вся семья уехала куда-то. Но ее совсем нет. Кажется, она умерла.

— Да ты, должно быть, о ком-то другом говоришь.
— Нет. О ней. Маклеллан. Ее звали Маклеллан. Она попала под автомобиль. Четыре дня назад. Не знаю наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю. Но, кажется; умерла.

— Ты уверена?..
— Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена.
— Почему ты раньше мне не сказала?
— Забыла.
— Четыре дня назад!
— Я совсем забыла.
— Четыре дня, — еще раз тихо повторил он.

Не двигаясь, они лежали в темноте.

— Спокойной ночи, — сказала наконец жена.

Он услышал легкий шорох: Милдред шарила по подушке. Радиовтулка шевельнулась под ее рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред.

Он прислушался: его жена тихонько напевала. За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтэга уловил еще какой-то странный звук, словно кто-то дохнул на окно. Словно что-то, похожее на зеленоватую фосфоресцирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло.

«Механический пес,— подумал Монтэг.— Он сегодня на свободе. Бродит возле дома... Если открыть окно...»
Но он не открыл окна.

Утром у него начался озноб, потом жар.

— Ты болен? — спросила Милдред. — Не может быть!

Он прикрыл воспаленные глаза.

— Да, болен.

— Но еще вчера вечером ты был совершенно здоров!

— Нет, я и вчера уже был болен.— Он слышал, как в гостиной вопили «родственники».

Милдред стояла у его постели, с любопытством разглядывая его. Не открывая глаз, он видел ее всю: сожженные химическими составами, ломкие как солома волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сущущавое, как у кузнечика, тело, белая, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой.

— Дай мне воды и таблетку аспирина.

— Тебе пора вставать,— сказала она.— Уже полдень. Ты проспал лишних пять часов.

— Пожалуйста, выключи гостиную.

— Но там сейчас «родственники»!

— Можешь ты уважить просьбу больного человека?

— Хорошо, я уменьшу звук.

Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав.

— Так лучше?

— Благодарю.

— Это моя любимая программа,— сказала она.

— Где же аспирин?

— Ты раньше никогда не болел.— Она опять вышла.

— Да, раньше не болел. А теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Позвони Битти.

— Ты ночью был какой-то странный.— Она подошла к его постели, тихонько напевая.

— Где же аспирин? — повторил Монтэг, глядя на протянутый ему стакан с водой.

— Ах! — Она снова ушла в ванную.— Что-нибудь вчера случилось?

— Пожар. Больше ничего.

— А я очень хорошо провела вечер,— донесся ее голос из ванной.

— Что же ты делала?

— Смотрела передачу.

— Что передавали?
— Программу.
— Какую?
— Очень хорошую.
— Кто играл?
— Да ну, там вообще — вся труппа.
— Вся труппа, вся труппа, вся труппа... — Он нажал пальцами на ноющие глаза. И вдруг невесть откуда повеявший запах керосина вызвал у него неудержимую рвоту.

Продолжая напевать, Милдред вошла в комнату.

— Что ты делаешь? — удивленно воскликнула она.

Он в смятении посмотрел на пол.

— Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину...

— Хорошо, что ковер можно мыть.

Она принесла тряпку и стала подтирать пол.

— А я вчера была у Элен.

— Разве нельзя смотреть спектакль дома?

— Конечно, можно. Но приятно иногда пойти в гости.

Она вышла в гостиную. Он слышал, как она поет.

— Милдред! — позвал он.

Она вернулась, напевая и легонько прищелкивая в такт пальцами.

— Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью? — спросил он.

— А что такое?

— Мы сожгли добрую тысячу книг. Мы сожгли женщину.

— Ну и что же?

Гостиная сотрясалась от рева.

— Мы сожгли Данте, и Свифта, и Марка Аврелия...

— Он был европеец?

— Кажется, да.

— Радикал?

— Я никогда не читал его.

— Ну ясно, радикал. — Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. — Ты хочешь, чтобы я позвонила брандмейстеру Битти? А почему не ты сам?

— Я сказал, позвони!

— Не кричи на меня!

— Я не кричу. — Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости.

Гостиная грохотала в жарком воздухе.

— Я не могу сам позвонить. Не могу сказать ему, что я болен.

— Почему?

«Потому что боюсь,— подумал он.— Притворяюсь больным, как ребенок, и боюсь позвонить, потому что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор: “Да, брандмейстер, мне уже лучше. Да, в десять буду на работе”».

— Ты вовсе не болен,— сказала Милдред.

Монтэг откинулся на постели. Сунул руку под подушку. Книга была там.

— Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?

— Как? Ты хочешь все бросить? После стольких лет? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...

— Если бы ты ее видела, Милли...

— Мне до нее нет дела. Не держала бы у себя книги! Сама виновата! Надо было раньше думать! Ненавижу ее. Она совсем сбила тебя с толку, и не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице,— ни крыши над головой, ни работы, ничего!

— Ты не была там, ты не видела,— сказал Монтэг.— Есть, должно быть, что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть! Человек не пойдет на смерть так, ни с того ни с сего.

— Просто она была ненормальная.

— Нет, она была нормальная. Как ты или я. А может быть, даже нормальнее нас с тобой. И мы ее сожгли.

— Это все пройдет и забудется.

— Нет, это не пройдет и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни. Господи! Я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился. Чуть с ума не сошел.

— Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным.

— Думать! — воскликнул он.— Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным.

Из гостиной доносились звуки танцевальной музыки.

— Сегодня ты в дневной смене,— сказала Милдред.— Тебе полагалось уйти еще два часа тому назад. Я только сейчас сообразила.

— Дело не только в гибели этой женщины,— продолжал Монтэг.— Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти десять лет. А еще я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли. Тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге. А мне это раньше и в голову не приходило.

Он вскочил с постели.

— У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, того, что он видел. А потом прихожу я, и — пуф! — за две минуты все обращено в пепел.

— Оставь меня в покое, — сказала Милдред. — Я в этом не виновата.

— Оставить тебя в покое! Хорошо. Но как я могу оставить в покое себя? Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились, хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило? Что-то значительное, настоящее?

И вдруг он умолк. Он припомнил все, что было на прошлой неделе; — два лунных камня, глядевших вверх, в темноту, змею-насос с электронным глазом и двух безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожило — и еще как! Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга...

Он отвернулся.

Вдруг Милдред сказала:

— Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому.

— Мне все равно.

— Машина марки «феникс», и в ней человек в черной куртке с оранжевой змеей на рукаве. Он идет сюда.

— Брандмейстер Битти?

— Да, брандмейстер Битти.

Монтэг не двинулся с места. Он стоял, глядя перед собой на холодную белую стену.

— Впусти его. Скажи, что я болен, — промолвил он.

— Сам скажи. — Милдред заметалась по комнате и вдруг замерла, широко раскрыв глаза, — рупор сигнала у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли. Миссис Монтэг, к вам пришли». Рупор умолк.

Монтэг проверил, хорошо ли спрятана книга, не спеша улегся, откинулся на подушки, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях.

Придя в себя, Милдред бросилась к двери, и тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошел брандмейстер Битти.

— Выключите-ка «родственников», — сказал он, не глядя на Монтэга и его жену.

Милдред выскочила из комнаты. Шум голосов в гостиной умолк.

Брандмейстер Битти уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спеша он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив ее, выпустил в потолок большое облако дыма.

— Решил зайти, проведать больного.

— Как вы узнали, что я болен?

Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, обнажившей конфетно-розовые десны и мелкие, белые как сахар зубы.

— Я видел, что к тому идет. Знал, что скоро вы на одну ночь попроситесь в отпуск.

Монтэг приподнялся и сел на постели.

— Ну что ж,— сказал Битти,— отдохните.— Он вертел в руках свою зажигалку, на крышке которой красовалась надпись: «Гарантирован один миллион вспышек». Битти рассеянно зажигал и гасил химическую спичку — зажигал, ронял несколько слов, глядя на крохотный огонек, и гасил его, снова зажигал, гасил и смотрел, как тает в воздухе тоненькая струйка дыма.— Когда думаете поправиться? — спросил он.

— Завтра. Или послезавтра. В начале той недели.

Битти попыхивал трубкой.

— Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. И надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам все это объясняли. А теперь нет. И очень жаль.— Пфф!... Только брандмейстеры еще помнят историю пожарного дела.— Пфф!... Сейчас я вас просвещу.

Милдред нервно заерзала на стуле.

Битти уселся поудобнее, минуту — не меньше — сидел молча, в раздумье.

— Как все это началось, спросите вы,— я говорю о нашей работе,— где, когда и почему? Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографии. А потом, в начале двадцатого века,— кино, радио, телевидение. И очень скоро все стало производиться в массовых масштабах.

Монтэг неподвижно сидел на постели.

— А раз все стало массовым, то и упростилось,— продолжал Битти.— Когда-то книгу читали лишь немногие — тут, там, в разных местах. Поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен. Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось,

содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка. Вы понимаете меня, Монтэг?

— Кажется, да,— ответил Монтэг.

Битти разглядывал узоры табачного дыма, плывущие в воздухе.

— Постарайтесь представить себе человека девятнадцатого столетия — собаки, лошади, экипажи — медленный темп жизни. Затем двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!

— Скорее к развязке,— кивнула головой Милдред.

— Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи. Потом еще больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты; потом еще: десять—двадцать строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок. Но немало было людей, чье знакомство с «Гамлетом» — вы, Монтэг, конечно, хорошо знаете это название, а для вас, миссис Монтэг, это, наверно, так только, смутно знакомый звук,— так вот, немало было людей, чье знакомство с «Гамлетом» ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: «Наконец-то вы можете прочитать всех классиков! Не отставайте от своих соседей!». Понимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние пять или более столетий.

Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место.

Не обращая на нее внимания, Битти продолжал:

— А теперь быстрее крутите пленку, Монтэг! Быстрее! Клик! Пик! Флик! Сюда, туда, живей, быстрее, так, этак, вверх, вниз! Кто, что, где, как, почему? Эх! Ух! Бах, трах, хлоп, шлеп! Дзинь! Бом! Бум! Сокращайте, ужимайте! Пересказ пересказа! Экстракт из пересказа пересказов! Политика? Одна колонка, две фразы, заголовок! И через минуту все уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрее, быстрее! — руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли!..

Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтэга дрогнуло и замерло, когда руки ее коснулись подушки. Вот она тормозит его за плечо, хочет, чтобы он приподнялся, а она взобьет как следует подушку и снова положит

ему за спину. И может быть, вскрикнет и широко раскроет глаза или просто, сунув руку под подушку, спросит: «Что это?» — и с трогательной наивностью покажет спрятанную книгу.

— Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени, и наконец эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?

— Дай я поправлю подушку, — сказала Милдред.

— Не надо, — тихо ответил Монтэг.

— Застежка-молния заменила пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете, в этот философский и потому грустный час.

— Ну же, — повторила Милдред.

— Уйди, — ответил Монтэг.

— Жизнь превращается в сплошную карусель, Монтэг. Все визжит, кричит, грохочет! Бац, бах, трах!

— Трах! — воскликнула Милдред, дергая подушку.

— Да оставь же меня наконец в покое! — в отчаянии воскликнул Монтэг.

Битти удивленно поднял брови.

Рука Милдред застыла за подушкой. Пальцы ее ошупывали переплет книги, и по мере того, как она начала понимать, что это такое, лицо ее стало менять выражение — сперва любопытство, потом изумление... Губы ее раскрылись... Сейчас спросит...

— Долой драму, пусть в театре останется одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски, как рой конфетти, или как кровь, или херес, или сотерн. Вы, конечно, любите бейсбол, Монтэг?

— Бейсбол — хорошая игра.

Теперь голос Битти звучал откуда-то издалека, из-за густой завесы дыма.

— Что это? — почти с восторгом воскликнула Милдред. Монтэг тяжело навалился на ее руку. — Что это?

— Сядь! — резко выкрикнул он. Милдред отскочила. Руки ее были пусты. — Не видишь, что ли, что мы разговариваем?

Битти продолжал как ни в чем не бывало:

— А кегли любите?

— Да.

- А гольф?
- Гольф — прекрасная игра.
- Баскетбол?
- Великолепная.
- Бильярд, футбол?
- Хорошие игры. Все хорошие.

— Как можно больше спорта, игр, увеселений — пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте все новые и новые виды спорта, сверхорганизуйте сверхспорт! Больше книг с картинками! Больше фильмов! А пищи для ума все меньше. В результате неудовлетворенность. Какое-то беспокойство. Дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, все равно куда. Бензиновые беженцы. Города превратились в туристские лагеря, люди — в орды кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива, — и вот сегодня он ночует в этой комнате, а перед тем ночевали вы, а накануне — я.

Милдред вышла, хлопнув дверью. В гостиной «тетушки» захохотали над «дядюшками».

— Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть которую-нибудь из них — любителей собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитариев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико. Герои книг, пьес, телевизионных передач не должны напоминать подлинно существующих художников, картографов, механиков. Запомните, Монтэг: чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов. Все эти группы и группочки, созерцающие собственный пуп, — не дай Бог как-нибудь их задеть! Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки! Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книжки — в подслащенные помои. Так, по крайней мере, утверждали критики, эти заносчивые снобы. Неудивительно, говорили они, что книги никто не покупает. Но читатель прекрасно знал, что ему нужно, и, кружась в вихре веселья, он оставил себе комиксы. Ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монтэг. И все это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Не с каких-либо предписаний это началось, не с приказов или цензурных ограничений. Нет! Техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп — вот что, хвала Господу, привело к нынешнему положению.

Теперь благодаря им вы можете всегда быть счастливы: читайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и торгово-рекламные издания.

— Но при чем тут пожарные? — спросил Монтэг.

— А, — Битти наклонился вперед, окруженный легким облаком табачного дыма, — ну, это очень просто. Когда школы стали выпускать все больше и больше бегунов, прыгунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, летчиков, автогонщиков вместо исследователей, критиков, ученых и людей искусства, слово «интеллектуальный» стало бранным словом, каким ему и надлежит быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш? Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели как истуканы и ненавидели его от всего сердца. И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в Конституции, а просто мы все должны *стать* одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды; тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество. Вот! А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум. Почему знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Но я не выношу эту публику! И вот когда дома во всем мире стали строить из негорючих материалов и отпала необходимость в той работе, которую раньше выполняли пожарные (раньше они тушили пожары, в этом, Монтэг, вы вчера были правы), тогда на пожарных возложили новые обязанности — их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Это вы, Монтэг, и это я.

Дверь из гостиной открылась, и на пороге появилась Милдред. Она поглядела на Битти, потом на Монтэга. Позади нее на стенах гостиной шипели и хлопали зеленые, желтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов тамтама и звона цимбал. Губы Милдред двигались, она что-то говорила, но шум заглушал ее слова.

Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принял его разглядывать, словно в этом пепле заключен был некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть.

— Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнений и недовольства среди составляющих ее групп. Спросите самого себя: чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность.

— Да.

По движению губ Милдред Монтэг догадывался, о чем она говорит, стоя в дверях. Но он старался не глядеть на нее, так как боялся, что Битти обернется и тоже все поймет.

— Цветным не нравится детская сказка «Маленький черный Самбо». Сжечь ее. Белым неприятна «Хижина дяди Тома». Сжечь и ее тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтэг, спокойствие. Прочь все, что рождает тревогу. В печку! Похороны нагоняют уныние — это языческий обряд. Упразднить похороны. Через пять минут после кончины человек уже на пути в «Большую трубу». Крематории обслуживаются вертолетами. Через десять минут после смерти от человека остается шепотка черной пыли. Не будем оплакивать умерших. Забудем их. Жгите, жгите все подряд! Огонь горит ярко, огонь очищает.

Фейерверки за спиной у Милдред погасли. И одновременно — какое счастливое совпадение! — перестали двигаться губы Милдред. Монтэг с трудом перевел дух.

— Тут, по соседству, жила девушка, — медленно проговорил он. — Ее уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню ее лица. Но она была не такая. Как... как это могло случиться?

Битти улыбнулся:

— Время от времени случается — то там, то тут. Это Клэрисса Маклеллан, да? Ее семья нам известна. Мы держим их под надзором. Наследственность и среда — это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудачков, за несколько лет этого не сделаешь. Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытаются привить школа. Вот почему мы все время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхватываем ребятшек чуть ли не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклелланах, еще

когда они жили в Чикаго, но сигналы все оказались ложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на ее подсознание, в этом я убедился, просмотрев ее школьную характеристику. Ее интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать почему да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла.

— Да, она умерла.

— К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и, если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше — ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами — это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтэг, превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начинайте их безобидными фактами, пока их не затошнит, — ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед, хотя на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо «факты», которыми они напичканы, — это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай Бог, если они начнут делать выводы и обобщения. Ибо это ведет к меланхолии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену — а в наши дни большинство это умеет, — куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал. Нет, к черту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие, автоматические рефлексы! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего — ударьте

по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то все равно. Я люблю, чтобы меня потрянуло как следует.

Битти встал.

— Ну, мне пора. Лекция окончена. Надеюсь, я вам все разъяснил. Главное, Монтэг, запомните: мы борцы за счастье — вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчастными. Мы сторожа на плотине. Держитесь крепче, Монтэг! Следите, чтобы поток меланхолии и мрачной философии не захлестнул наш мир. На вас вся наша надежда! Вы даже не понимаете, как вы нужны, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня.

Битти пожал безжизненную руку Монтэга. Тот неподвижно сидел в постели. Казалось, обрушья сейчас потолок ему на голову, он не шелохнется. Милдред уже не было в дверях.

— Еще одно, напоследок, — сказал Битти. — У каждого пожарника хотя бы раз за время его служебной карьеры бывает такая минута: его вдруг охватывает любопытство. Вдруг захочется узнать: да что же такое написано в этих книгах? И так, знаете, захочется, что нет сил бороться. Ну так вот что, Монтэг, уж вы поверьте, мне в свое время немало пришлось прочитать книг — для ориентировки, и я вам говорю: в книгах ничего нет! Ничего такого, во что можно было бы поверить, чему стоило бы научить других. Если это беллетристика, там рассказывается о людях, которых никогда не было на свете, чистый вымысел! А если это научная литература, так еще хуже: один ученый обзывает другого идиотом, один философ старается перекричать другого. И все суетятся и мечутся, стараются потушить звезды и погасить солнце. Почитаешь — голова кругом пойдет.

— А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла унесет с собой книгу? — Нервная дрожь пробежала по лицу Монтэга. Открытая дверь глядела на него, словно огромный пустой глаз.

— Вполне объяснимый поступок. Простое любопытство, не больше, — ответил Битти. — Мы из-за этого не тревожимся и не приходим в ярость. Позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он сам ее не сожжет, мы это сделаем за него.

— Да. Понятно. — Во рту у Монтэга пересохло.

— Ну вот и все, Монтэг. Может, хотите сегодня выйти попозже, в ночную смену? Увидимся с вами сегодня?

— Не знаю,— ответил Монтэг.

— Как? — На лице Битти отразилось легкое удивление.

Монтэг закрыл глаза.

— Может быть, я и приду. Попозже.

— Жаль, если сегодня не придете,— сказал Битти в раздумье, пряча трубку в карман:

«Я никогда больше не приду»,— подумал Монтэг.

— Ну, поправляйтесь,— сказал Битти.— Выздоровливайте.— И повернувшись, вышел через открытую дверь.

Монтэг видел в окно, как отъехал Битти в своем сверкающем огненно-желтом с черными, как уголь, шинами жуке-автомобиле.

Из окна была видна улица и дома с плоскими фасадами. Что это Кларисса однажды сказала о них? Да: «Больше нет крылечек на фасаде. А дядя говорит, что прежде дома были с крылечками. И по вечерам люди сидели у себя на крыльце, разговаривали друг с другом, если им хотелось, а нет, так молчали, покачиваясь в качалках. Просто сидели и думали о чем-нибудь. Архитекторы уничтожили крылечки, потому что они будто бы портят фасад. Но дядя говорит, что это только отговорка, а на самом деле нельзя было допускать, чтобы люди вот так сидели на крылечках, отдыхали, качались в качалках, беседовали. Это вредное времяпрепровождение. Люди слишком много разговаривали. И у них было время думать. Поэтому крылечки решили уничтожить. И сады тоже. Возле домов нет больше садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель! Кресло-качалка исчезло. Оно слишком удобно. Надо, чтобы люди больше двигались. Дядя говорит... дядя говорит... дядя...» Голос Клариссы умолк.

Монтэг отвернулся от окна и взглянул на жену: она сидела в гостиной и разговаривала с диктором, а тот, в свою очередь, обращался к ней. «Миссис Монтэг,— говорил диктор,— и еще какие-то слова.— Миссис Монтэг»,— и еще что-то. Специальный прибор, обошедшийся им в сто долларов, в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу, и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев, а другое специальное приспособление соответственно изменяло на телевизионном экране движение губ и мускулов лица диктора. Диктор был другом дома, близким и хорошим знакомым...

«Миссис Монтэг, а теперь взгляните сюда».

Милдред повернула голову, хотя было совершенно очевидно, что она не слушает.

Монтэг сказал:

— Стоит сегодня не пойти на работу — и уже можно не ходить и завтра, можно не ходить совсем.

— Но ты ведь пойдешь сегодня?! — воскликнула Милдред.

— Я еще не решил. Пока у меня только одно желание — это ужасное чувство! — хочется все ломать и разрушать.

— Возьми автомобиль. Поезжай проветриться.

— Нет, спасибо.

— Ключи от машины на ночном столике. Когда у меня бывает такое состояние, я всегда сажусь в машину и еду куда глаза глядят, только побыстрее. Доведешь до девяноста пяти миль в час — и великолепно помогает. Иногда всю ночь катаюсь, возвращаюсь домой под утро, а ты не знаешь ничего. За городом хорошо. Иной раз под колеса кролик попадет, а то и собака. Возьми машину.

— Нет, сегодня не надо. Я не хочу, чтобы это чувство рассеивалось. О черт, что-то кипит во мне! Не понимаю, что это такое. Я так ужасно несчастлив, я так зол, сам не знаю почему. Мне кажется, я пухну, я разбухаю. Как будто я слишком многое держал в себе... Но что, я не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги.

— Но ведь тебя посадят в тюрьму. — Она посмотрела на него так, словно между ними была стеклянная стена.

Он начал одеваться, беспокойно бродя по комнате.

— Ну и пусть. Может, так и надо, посадить меня, пока я еще кого-нибудь не покалечил. Ты слышала Битти? Слышала, что он говорит? У него на все есть ответ. И он прав. Быть счастливым — это очень важно. Веселье — это все. А я слушал его и твердил про себя: нет, я несчастлив, я несчастлив.

— А я счастлива. — Рот Милдред растянулся в ослепительной улыбке. — И горжусь этим!

— Я должен что-то сделать, — сказал Монтэг. — Не знаю что. Но что-то очень важное.

— Мне надоело слушать эту чепуху, — промолвила Милдред и снова повернулась к диктору.

Монтэг тронул регулятор на стене, и диктор умолк.

— Милли! — начал Монтэг и остановился. — Это ведь и твой дом тоже, не только мой. И чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Давно надо было это сделать, но я даже самому себе боялся признаться. Я покажу тебе то, что я целый год тут прятал. Целый год собирал, по одной, тайком. Сам не знаю, зачем я это делал, но вот, одним словом, сделал, а тебе так и не сказал...

Он взял стул с прямой спинкой, не спеша отнес его в переднюю, поставил у стены возле входной двери, взобрался на него. С минуту постоял неподвижно, как статуя на пьедестале, а Милдред стояла рядом, глядя на него снизу вверх, и ждала. Затем он отодвинул вентиляционную решетку в стене, глубоко засунул руку в вентиляционную трубу, нащупал и отодвинул еще одну решетку и достал книгу. Не глядя, бросил ее на пол. Снова засунул руку, вытащил еще две книги и тоже бросил на пол. Он вынимал книги одну за другой и бросал их на пол: маленькие, большие, в желтых, красных, зеленых переплетах. Когда он вытащил последнюю, у ног Милдред лежало не менее двадцати книг.

— Прости меня, — сказал он. — Я сделал это, не подумав. А теперь похоже, что мы с тобой оба впутались в эту историю.

Милдред отшатнулась, словно увидела перед собой стаю мышей, выскочивших из-под пола. Монтэг слышал ее прерывистое дыхание, видел её побледневшее лицо, застывшие, широко открытые глаза. Она повторяла его имя — ещё и ещё раз, — затем с жалобным стоном метнулась к книгам, схватила одну и бросилась в кухню, к печке для сжигания мусора.

Монтэг схватил ее. Она завизжала и, царапаясь, стала вырываться.

— Нет, Милли, нет! Подожди! Перестань, прошу тебя. Ты ничего не знаешь... Да перестань же! — Он ударил ее по лицу и, схватив за плечи, встряхнул.

Губы ее снова произнесли его имя, и она заплакала.

— Милли! — сказал он. — Выслушай меня. Одну секунду! Умоляю! Теперь уж ничего не поделаешь. Нельзя их сейчас жечь. Я хочу сперва заглянуть в них, понимаешь, заглянуть хоть разок. И если брандмейстер прав, мы вместе сожжем их. Даю тебе слово, мы вместе их сожжем! Ты должна помочь мне, Милли! — Он заглянул ей в лицо. Взял ее за подбородок. Вглядываясь в ее лицо, он искал в нем себя, искал ответ на вопрос, что ему делать.

— Хочешь-не хочешь, а мы все равно уже запутались. Я ни о чем не просил тебя все эти годы, но теперь я прошу, я умоляю. Мы должны наконец разобраться, почему все так получилось, — ты и эти пилюли, и безумные поездки в автомобиле по ночам, я и моя работа. Мы катимся в пропасть, Милли! Но я не хочу, черт возьми! Нам будет нелегко, мы даже не знаем, с чего начать, но попробуем как-нибудь разобраться, обдумать все это, помочь друг другу. Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас! Мне даже трудно передать тебе, как нужна! Если ты хоть капельку меня любишь, то потерпишь день-два. Вот все, о чем я тебя прошу, — и на этом все кончит-

ся! Я обещаю, я клянусь тебе! И если есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупница разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать ее другим.

Милдред больше не сопротивлялась, и он отпустил ее. Она отшатнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, потом тяжело сползла на пол. Она молча сидела на полу, глядя на разбросанные книги. Нога ее коснулась одной из них, и она поспешно отдернула ногу.

— Эта женщина вчера... Ты не была там, Милли, ты не видела ее лица. И Кларисса... Ты никогда не говорила с ней. А я говорил. Такие люди, как Битти, боятся ее. Не понимаю! Почему они боятся Клариссы и таких, как Кларисса? Но вчера на дежурстве я начал сравнивать ее с пожарными на станции и вдруг понял, что ненавижу их, ненавижу самого себя. Я подумал, что, может быть, лучше всего было бы сжечь самих пожарных.

— Гай!

Рупер у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли».

Тишина.

Они испуганно смотрели на входную дверь, на книги, валившиеся на полу.

— Битти! — промолвила Милдред.

— Не может быть. Это не он.

— Он вернулся! — прошептала она.

И снова мягкий голос из рупора: «...к вам пришли».

— Не надо открывать.

Монтэг прислонился к стене, затем медленно опустился на корточки и стал растерянно перебирать книги, хватая то одну, то другую, сам не понимая, что делает. Он весь дрожал, и больше всего ему хотелось снова запрятать их в вентилятор. Но он знал, что встретиться еще раз с брандмейстером Битти он не в силах. Он сидел на корточках, потом просто сел на пол, и тут уже более настойчиво прозвучал голос рупора у двери. Монтэг поднял с полу маленький томик.

— С чего мы начнем? — Он раскрыл книгу на середине и заглянул в нее. — Думаю, надо начать с начала...

→ Он войдет, — сказала Милдред, — и сожжет нас вместе с книгами.

Рупер у двери наконец умолк. Тишина. Монтэг чувствовал чье-то присутствие за дверью: кто-то стоял, ждал, прислушивался. Затем послышались шаги. Они удалялись. По дорожке. Потом через лужайку...

— Посмотрим, что тут написано, — сказал Монтэг. Он выговорил это с трудом, запинаясь, словно его сковывал жесто-

кий стыд. Он пробежал глазами с десятков страниц, перескакивая с одного на другое, пока, наконец, не остановился на следующих строках:

«Установлено, что за все это время не меньше одиннадцати тысяч человек пошли на казнь, лишь бы не подчиняться повелению разбивать яйца с острого конца».

Милдред сидела напротив.

— Что это значит? В этом же нет никакого смысла! Брандмейстер был прав!

— Нет, подожди, — ответил Монтэг. — Начнем опять. Начнем с самого начала.

Часть 2

СИТО И ПЕСОК

Весь долгий день они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На ее умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях из золотой мишуры, и мужчины в черных бархатных костюмах не извлекали стофунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва. И Милдред с застывшим, лишенным выражения лицом то и дело поглядывала на молчавшие стены, а Монтэг то беспокойно шагал по комнате, то опять опускался на корточки и по несколько раз перечитывал вслух какую-нибудь страницу.

«Трудно сказать, в какой именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду в сосуд, бывает какая-то одна, последняя, капля, от которой он вдруг переполняется, и влага переливается через край; так и здесь в ряде добрых поступков какой-то один вдруг переполняет сердце».

Монтэг сидел, прислушиваясь к шуму дождя.

— Может быть, это-то и было в той девушке, что жила рядом с нами? Мне так хотелось понять ее.

— Она уже умерла. Ради Бога, поговорим о ком-нибудь живом.

Не взглянув на жену, Монтэг, весь дрожа как в ознобе, вышел в кухню. Он долго стоял там, глядя в окно на дождь, хлеставший по стеклам. Когда дрожь унялась, он вернулся в серый сумрак передней и взял новую книгу.

— «Наша излюбленная тема: о Себе». — Прищурившись, он поглядел на стену. — «Наша излюбленная тема: о Себе».

— Вот это мне понятно,— сказала Милдред.

— Но для Клариссы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить о других, обо мне. Из всех, кого я встречал за много-много лет, она первая мне по-настоящему понравилась. Только она одна из всех, кого я помню, смотрела мне прямо в глаза — так, словно я что-то значу.

Он поднял с пола обе книги, которые только что читал.

— Эти люди умерли много лет назад, но я знаю, что все написанное ими здесь так или иначе связано с Клариссой.

Снаружи, под дождем, что-то тихо заскреблось в дверь.

Монтэг замер. Милдред, вскрикнув, прижалась к стене.

— Кто-то за дверью... Почему молчит рупор?

— Я его выключил.

За дверью слышалось слабое пофыркивание, легкое шипение электрического пара.

Милдред рассмеялась:

— Да это просто собака!.. Только и всего! Прогнать ее?

— Не смей! Сиди!

Тишина. Там, снаружи, морозящий холодный дождь. А из-под запертой двери — тонкий запах голубых электрических разрядов.

— Продолжим,— спокойно сказал Монтэг.

Милдред отшвырнула книгу ногой.

— Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю кругом, и никого нет!

Он глянул на стены гостиной: мертвые и серые, как воды океана, который, однако, готов забултыхнуть жизнью, стоит только включить электронное солнце.

— А вот «родственники» — это живые люди. Они мне что-то говорят, я смеюсь, они смеются. А краски!

— Да. Я знаю.

— А кроме того, если брандмейстер Битти узнает об этих книгах... — Она задумалась. На лице ее отразилось удивление, потом страх.

— Он может прийти сюда, сжечь дом, «родственников», все! О, какой ужас! Подумай, сколько денег мы вложили во все это! Почему я должна читать книги? Зачем?

— Почему? Зачем? — воскликнул Монтэг. — Простой ночью я видел змею. Отвратительней ее нет ничего на свете! Она была как будто мертвая и вместе с тем живая. Она могла смотреть, но она не видела. Хочешь взглянуть на нее? Она в больнице неотложной помощи, там подробно записано, какую мерзость она высосала из тебя. Может, пойдешь туда, считаешь запись? Не знаю только, под какой рубрикой ее искать: «Гай Монтэг»,

или «Страх», или «Война»? А может, пойдешь посмотреть на дом, который вчера сгорел? Раскопаешь в пепле кости той женщины, что сама сожгла себя вместе с домом? А Кларисса Маклеллан? Где ее теперь искать? В морге? Вот слушай!

Над домом проносились бомбардировщики, один за другим, проносились с ревом, грохотом и свистом, словно гигантский невидимый вентилятор вращался в пустой дыре неба.

— Господи Боже мой! — воскликнул Монтэг. — Каждый час они воют у нас над головой! Каждая секунда нашей жизни этим заполнена! Почему никто не говорит об этом? После тысяча девятьсот шестидесятого года мы затеяли и выиграли две атомные войны. Мы тут так веселимся, что совсем забыли и думать об остальном мире. А не потому ли мы так богаты, что весь остальной мир беден и нам дела нет до этого? Я слышал, что во всем мире люди голодают. Но мы сыты! Я слышал, что весь мир тяжело трудится. Но мы веселимся. И не потому ли нас так ненавидят? Я слышал — когда-то давно, — что нас все ненавидят. А почему? За что? Ты знаешь?.. Я не знаю. Но может быть, эти книги откроют нам глаза! Может быть, хоть они предостерегут нас от повторения все тех же ужасных ошибок! Я что-то не слыхал, чтобы эти идиотики в твоей гостиной когда-нибудь говорили об этом. Боже мой, Милли, ну как ты не понимаешь? Если читать каждый день понемногу — ну, час в день, два часа в день, — так, может быть...

Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку.

— Эйн! — Она радостно засмеялась. — Да, Белый клоун! Сегодня в вечерней программе!

Монтэг вышел в кухню и швырнул книгу на стол.

«Монтэг, — сказал он себе, — ты в самом деле глуп. Но что же делать? Сообщить о книгах на станцию? Забыть о них?» Он снова раскрыл книгу, стараясь не слышать смеха Милдред.

«Бедная Милли, — думал он: — Бедный Монтэг. Ведь и ты тоже ничего в них не можешь понять. Где просить помощи, где найти учителя, когда уже столько времени потеряно?»

Не надо сдаваться. Он закрыл глаза. Ну да, конечно. Он снова поймал себя на том, что думает о городском парке, куда однажды забрел год тому назад. В последнее время он все чаще вспоминал об этом. И сейчас в памяти ясно всплыло все, что произошло в тот день: зеленый уголок парка, на скамейке старик в черном костюме; при виде Монтэга он быстро спрятал что-то в карман пальто.

Старик вскочил, словно хотел бежать. А Монтэг сказал:

— Подождите!

— Я ни в чем не виноват! — воскликнул старик, дрожа.

— А я и не говорю, что вы в чем-то виноваты, — ответил Монтэг.

Какое-то время они сидели молча в мягких зеленых отсветах листвы. Потом Монтэг заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим, слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка; он лишился работы лет сорок тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и материальной поддержки закрылся последний колледж изящной словесности. Старика звали Фабер, и когда наконец его страх перед Монтэгом прошел, он стал словоохотлив: он заговорил тихим, размеренным голосом, глядя на небо, на деревья, на зеленые лужайки парка. Они беседовали около часа, и тут старик вдруг что-то прочитал наизусть, и Монтэг понял, что это стихи. Потом старик, еще больше осмелев, снова что-то прочитал, и это тоже были стихи. Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова, и Монтэг знал, что стоит ему протянуть руку, — и в кармане у старика обнаружится томик стихов. Но он не сделал этого. Руки его, странно бессильные и ненужные, неподвижно лежали на коленях.

— Я ведь говорю не о *самых вещах*, сэр, — говорил Фабер. — Я говорю об их *значении*. Вот я сижу здесь и знаю — я живу.

Вот и все, что случилось тогда. Разговор, длившийся час, стихи и эти слова, а затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумаги. До этой минуты оба избегали упоминать о том, что Монтэг — пожарный.

— Для вашей картотеки, — сказал старик, — на тот случай, если вы вздумаете рассердиться на меня.

— Я не сержусь на вас, — удивленно ответил Монтэг.

В передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стеной шкаф в спальне, Монтэг перебирал карточки в ящике с надписью: «Предстоящие расследования (?)». Среди них была карточка Фабера. Монтэг не донес на него тогда, но и не уничтожил адреса.

Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторил имя Фабера, и наконец в трубке послышался слабый голос профессора. Монтэг назвал себя. Ответом было долгое молчание, а затем:

— Да, мистер Монтэг?

— Профессор Фабер, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров Библии осталось в нашей стране?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр Библии?

— Это какая-то ловушка! Я не могу со всяким разговаривать по телефону.

— Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона?

— Ни одного! Вы знаете это не хуже меня. Ни одного! Фабер бросил трубку.

Монтэг тоже положил трубку. Ни одного. Монтэг и раньше это знал по спискам на пожарной станции. Но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера.

В передней его встретила Милдред с порозовевшим, веселым лицом.

— Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы!

Монтэг показал ей книгу.

— Это Ветхий и Новый Завет, и знаешь, Милдред...

— Не начинай, пожалуйста, опять все сначала!..

— Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света.

— Но ты должен сегодня же ее вернуть! Ведь брандмейстер Битти знает об этой книге?

— Вряд ли он знает, какую именно книгу я унес. Можно сдать другую. Но какую? Джефферсона? Или Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я ее подменю, а Битти знает, какую именно книгу я украл, он догадается, что у нас тут целая библиотека.

У Милдред задергались губы.

— Ну подумай, что ты делаешь! Ты нас погубишь! Что для тебя важнее — я или Библия?

Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара.

Но Монтэг не слушал ее. Он слышал голос Битти:

«Садитесь, Монтэг. Смотрите. Берем страничку. Осторожно. Как лепесток цветка. Поджигаем первую. Затем вторую. Огонь превращает их в черных бабочек. Красиво, а? Теперь от второй зажигаем третью, и так, цепочкой, страницу за страницей, главу за главой — все глупости, заключенные в словах, все лживые обещания, подержанные мысли, отжившую философию!»

Перед ним сидел Битти с влажным от пота лбом, а вокруг него пол был усеян трупами черных бабочек, погибших в огненном смерче.

Милдред перестала вопить столь же неожиданно, как и начала. Монтэг не обращал на нее внимания.

— Остается одно, — сказал он. — До того как наступит вечер и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с нее копию.

— Ты будешь дома, когда начнется программа Белого клоуна и придут гости? — крикнула ему вслед Милдред.

Не оборачиваясь, Монтэг остановился в дверях.

— Милли!

Молчание.

— Ну что?

— Милли, Белый клоун любит тебя?

Ответа нет.

— Милли, — он облизнул сухие губы, — твои «родственники» любят тебя? Любят всем сердцем, всей душой? А, Милли?

Он чувствовал, что, растерянно моргая, она смотрит ему в затылок.

— Зачем ты задаешь такие глупые вопросы?

Ему хотелось плакать, но губы его были плотно сжаты, и в глазах не было слез.

— Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка, — сказала Милдред.

Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл ее и перешагнул порог.

Дождь перестал; на безоблачном небе солнце клонилось к закату. Около дома никого не было; улица и лужайка были пусты. Вздох облегчения вырвался из груди Монтэга.

Он захлопнул за собой дверь.

Монтэг ехал в метро.

«Я весь словно застыл, — думал он. — Когда же это началось? Когда застыло мое лицо, мое тело? Не в ту ли ночь, когда в темноте я натолкнулся на флакон с таблетками, словно на спрятанную мину?»

Это пройдет. Не сразу, может быть, понадобится время. Но я все сделаю, чтобы это прошло, да и Фабер мне поможет. Кто-нибудь вернет мне мое прежнее лицо, мои руки, они опять станут такими, как были. Сейчас даже улыбка, привычная улыбка пожарника покинула меня. Без нее я как потерянный».

В окнах мелькала стена туннеля — кремовые изразцы и густая чернота — изразцы и чернота, цифры и снова чернота, все несло мимо, все складывалось в какой-то непонятный итог.

Когда-то давно, когда он был еще ребенком, он сидел однажды на берегу моря, на желтом песке дюн, в жаркий летний день и пытался наполнить песком сито, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: «Если наполнишь сито песком, получишь десять центов». Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее, с сухим горячим шелестом песок про-

сыпался сквозь сито. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито все оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный июльский день, и слезы катились по его щекам.

Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая, по пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую Библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках, и в голову ему вдруг пришла нелепая мысль: если читать быстро и все подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слова просыпались насквозь, а ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть, нужно запомнить каждую строчку. «Я, Монтэг, должен это сделать, я заставлю себя это сделать!»

Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиорупоры:

— Зубная паста «Денгэм»!..

«Замолчи,— думал Монтэг.— Посмотрите на полевые лилии, как они растут...»

— Зубная паста «Денгэм»!

«Не трудятся...»

— Зубная паста...

«Посмотрите на лилии... Замолчи, да замолчи же!..»

— Зубная паста!..

Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы, он ошупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву.

— «Денгэм». По буквам: Д-е-н-...

«Не трудятся, не прядут...»

Сухой шелест песка, просыпающегося сквозь пустое сито.

— «Денгэм» освежает!..

«Посмотрите на лилии, лилии, лилии...»

— Зубной эликсир «Денгэм»!

— Замолчите, замолчите, замолчите!..— Эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтэга, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Пассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными, воспаленными губами, сжимавшего в руках открытую книгу; все с опаской смотрели на него, все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора: Денгэм, Денгэм, зубная паста, Денгэм, Денгэм, зубной эликсир— раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три; все, кто только что машинально бормотал себе под нос: «Паста, паста, зубная паста, паста, паста, зубная паста...»

И, словно в отместку, рупоры обрушили на Монтэга тонну музыки, составленной из металлического лязга — из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни. И люди смирились; оглушенные до состояния полной покорности, они не убегали, ибо бежать было некуда: огромный пневматический поезд мчался в глубоком туннеле под землей.

— Полевые лилии...

— «Денгэм»!

— Лялии!.. Лилии!!

Люди с удивлением смотрели на него:

— Позовите кондуктора.

— Человек сошел с ума...

— Станция Нолл Вью!

Со свистом выпустив воздух, поезд остановился.

— Нолл Вью! — громко.

— «Денгэм», — шепотом.

Губы Монтэга едва шевелились.

— Лилии...

Зашипев, дверь вагона открылась. Монтэг все еще стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться. И только тогда Монтэг рванулся вперед, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы, — ему хотелось чувствовать, как движутся его ноги, руки, как сжимаются и разжимаются легкие при каждом вдохе и выдохе и воздух обжигает горло. Вслед ему несся рев: «Денгэм, Денгэм, Денгэм!!!»

Зашипев словно змея, поезд исчез в черной дыре туннеля.

— Кто там?

— Это я. Монтэг.

— Что вам угодно?

— Впустите меня.

— Я ничего не сделал.

— Я тут один. Понимаете? Один.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Дверь медленно отворилась; выглянул Фабер. При ярком свете дня он казался очень старым, слабым, напуганным. Старик выглядел так, словно много лет не выходил из дома. Его лицо и белые оштукатуренные стены комнаты, видневшиеся за ним, были одного цвета. Белыми казались губы, и кожа щек, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтэг держал под

мышкой, и старик разом изменился; теперь он уже не казался ни таким старым, ни слабым. Страх его понемногу проходил.

— Простите, приходится быть осторожным.— Глаза Фабера были прикованы к книге.— Значит, это правда?

Монтэг вошел. Дверь захлопнулась.

— Присядьте.— Фабер пятился, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвет от нее взгляд. За ним виднелась открытая дверь в спальню и там — стол, загроможенный частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтэг увидел все это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь. Он стоял, сжимая дрожащей рукой дверную ручку. Затем перевел нерешительный взгляд на Монтэга.

Теперь Монтэг сидел, держа книгу на коленях.

— Эта книга... Где вы?..

— Я украл ее.

Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтэгу.

— Вы смелый человек.

— Нет,— сказал Монтэг.— Но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки тому назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть! Видеть!

Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге.

— Можно?..

— Ах да. Простите.— Монтэг протянул ему книгу.

— Столько времени!.. Я никогда не был религиозным... Но столько времени прошло с тех пор...— Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку.— Все та же, та же, точь-в-точь такая, какой я ее помню! А как ее теперь исковеркали в наших телевизорных гостиных! Христос стал одним из «родственников». Я часто думаю, узнал бы Господь Бог своего сына? Мы так его раздели. Или, лучше сказать, раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему.

Фабер понюхал книгу.

— Знаете, книги пахнут мускатным орехом или еще какими-то пряностями из далеких заморских стран. Ребенком я любил нюхать книги. Господи, ведь сколько же было хороших книг, пока мы не позволили уничтожить их!

Он перелистывал страницы.

— Мистер Монтэг, вы видите перед собой труса. Я знал тогда, я видел, к чему идет, но я молчал. Я был одним из невинных, одним из тех, кто мог бы поднять голос, когда никто уже не хотел слушать «виновных». Но я молчал и, таким образом, сам стал соучастником. И когда наконец придумали жечь книги, используя для этого пожарных, я пороптал немного и смирился, потому что никто меня не поддержал. А сейчас уже поздно.

Фабер закрыл Библию.

— Теперь скажите мне, зачем вы пришли?

— Мне нужно поговорить, а слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами: они кричат на меня. Я не могу говорить с женой: она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, то, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю.

Фабер пристально посмотрел на худое, с синевой на бритых щеках лицо Монтэга.

— Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?

— Не знаю. У нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет,— это книги, которые я сам сжигал вот уже десять или двенадцать лет. И я подумал: может быть, книги мне и помогут.

— Вы — безнадежный романтик,— сказал Фабер.— Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Вам не книги нужны, а то, что когда-то было в них, что могло бы и теперь быть в программах наших гостиных. То же внимание к подробностям, ту же чуткость и сознательность могли бы воспитывать и наши радио-, и телевизионные передачи, но, увы, они этого не делают. Нет, нет, книги не выложат вам сразу все, чего вам хочется. Ищите это сами всюду, где можно,— в старых граммофонных пластинках, в старых фильмах, в старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — только одно из вместилищ, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки вселенной в единое целое. Конечно, вам неоткуда было это узнать. Вам, наверно, и сейчас еще непонятно, о чем я говорю. Но вы интуитивно пошли по правильному пути, а это главное. Слушайте: нам не хватает трех вещей. Первая. Знаете ли вы, почему так важны такие книги, как эта? Потому что они обладают качеством. А что значит

качество? Для меня это текстура, ткань книги. У этой книги есть поры, она дышит. У нее есть лицо. Ее можно изучать под микроскопом. И вы найдете в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии. Чем больше пор, чем больше правдивого изображения разных сторон жизни на квадратный дюйм бумаги, тем более «художественна» книга. Вот мое определение качества. Давать подробности, новые подробности. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Посредственные — лишь поверхностно скользят по ней. А плохие насилуют ее и оставляют, растерзанную, на съедение мухам.

— Теперь вам понятно, — продолжал Фабер, — почему книги вызывают такую ненависть, почему их так боятся? Они показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения. Мы живем в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Но ведь даже фейерверк, даже все его великолепие и богатство красок создано химией земли. А мы вообразили, будто можем жить и расти, питаясь цветами и фейерверками, не завершая естественного цикла, возвращающего нас к действительности. Известна ли вам легенда об Антее? Это был великан, обладавший непобедимой силой, пока он прочно стоял на земле. Но когда Геракл оторвал его от земли и поднял в воздух, Антей погиб. То же самое справедливо и для нас, живущих сейчас, вот в этом городе, — или я уж совсем сумасшедший. Итак, вот первое, чего нам не хватает: качества, текстуры наших знаний.

— А второе?

— Досуга.

— Но у нас достаточно свободного времени!

— Да. Свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите свое свободное время? Либо вы мчитесь в машине со скоростью сто миль в час, так что ни о чем уж другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности, либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру, либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором, а с ним уж, знаете ли, не поспоришь. Почему? Да потому, что эти изображения на стенах — это «реальность». Вот они перед вами, они зримы, они объемны, и они говорят вам, что вы должны думать, они вколачивают это вам в голову. Ну вам и начинает казаться, что это правильно — то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремитель-

но приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть: «Да ведь это чистейший вздор!»

— Только «родственники» — живые люди.

— Простите, что вы сказали?

— Моя жена говорит, что книги не обладают такой реальностью, как телевизор.

— И слава Богу, что так. Вы можете закрыть книгу и сказать ей: «Подожди». Вы ее властелин. Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? Она мнет вас как глину и формирует вас по своему желанию. Это тоже среда — такая же реальная, как мир. Она становится истиной, она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из ста инструментов, который ревел на меня с цветного и объемного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите, моя гостиная — это четыре обыкновенные оштукатуренные стены. А это, — Фабер показал две маленькие резиновые пробки, — это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро.

— «Денгэм», «Денгэм», зубная паста... «Они не трудятся, не прядут», — прошептал Монтэг, закрыв глаза. — Да. Но что же дальше? Помогут ли нам книги?

— Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первая, как я уже сказал, — это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третья — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия двух первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко...

— Я могу доставать книги.

— Это страшный риск.

— Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять — не боишься риска.

— Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер, — и ведь ниоткуда не вычитали!

— А разве в книгах пишут о таком? Мне это так, вдруг, почему-то пришло в голову.

— То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня, или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя.

Монтэг нагнулся к Фаберу.

— Я сегодня вот что придумал: если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров?.. Мы могли бы...

— Мы?

— Да, вы и я.

— Ну уж нет! — Фабер резко выпрямился.

— Да вы послушайте — я хоть изложу свой план.

— Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом.

— Но разве вам не интересно?

— Нет, мне неинтересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам: bravo!

— Подбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных? Вы это хотите сказать?

Фабер поднял брови и посмотрел на Монтэга, словно видел его впервые.

— Я пошутил.

— Вы считаете, что это дельный план? Стоит попытаться? Но мне нужно знать наверное, что от этого будет толк.

— Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все-таки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него прыгнуть. Тут достоверно только одно: да, нам необходимо дышать полной грудью. Да, нам нужны знания. И может быть, лет этак через тысячу мы научимся выбирать для прыжков менее крутые утесы. Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как преторианская стража кесаря, которая нашептывала ему во время триумфа: «Помни, кесарь, что и ты смертен». Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Все, что вы ищете, Монтэг, существует в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять процентов он познает через книгу. Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного — от человека, или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир, — и если утонете по дороге, так хоть будете знать, чтоплыли к берегу.

Фабер встал и начал ходить по комнате.

— Ну? — спросил Монтэг.

— Вы это серьезно — насчет пожарных?

— Абсолютно.

— Коварный план, ничего не скажешь.— Фабер нервно покосился на дверь спальни.— Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных, гибнут эти очаги предательства! Саламандра, пожирающая свой собственный хвост! Ух! Здорово!

— У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайное...

— Людям нельзя доверять, в этом весь ужас. Вы да я, а кто еще?

— Разве не осталось профессоров, таких, как вы? Бывших писателей, историков, лингвистов?..

— Умерли или уже очень стары.

— Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут подозрений. Вы же знаете таких, и, наверно, не один десяток. Признайтесь!

— Да, пожалуй. Есть, например, актеры, которым уже много лет не приходилось играть в пьесах Пиранделло, Шоу и Шекспира, ибо эти пьесы слишком верно отражают жизнь. Можно бы использовать их гнев. И благородное возмущение историков, не написавших ни одной строчки за последние сорок лет. Это верно, мы могли бы создать школу и сызнова учить людей читать и мыслить.

— Да!

— Но все это капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто! Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. Вспомните, что надобность в пожарных возникает не так уж часто. Люди сами перестали читать книги, по собственной воле. Время от времени вы, пожарники, устраиваете для нас цирковые представления — поджигаете дома и развлекаете толпу. Но это так — дивертиссмент, и вряд ли на этом все держится. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать. Как меня, например. Можете вы плясать быстрее, чем Белый клоун, или кричать громче, чем сам господин Фокусник и все гостиные «родственники»? Если можете, то, пожалуй, добьетесь своего. А в общем, Монтэг, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся.

— Кончая жизнь самоубийством? Убивая друг друга?

Пока они говорили, над домом пронеслись эскадрильи бомбардировщиков, держа курс на восток. Только сейчас они заметили это и умолкли, прислушиваясь к мощному реву реактивных моторов, чувствуя, как от него все сотрясается у них внутри.

— Потерпите, Монтэг. Вот будет война — и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несется к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом.

— Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда все рухнет?

— Кто же? Те, кто может наизусть цитировать Мильтона? Кто может сказать: «А я еще помню Софокла»? Да и что они станут делать? Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны? Эти уцелевшие только о том будут думать, как бы набрать камней да запустить ими друг в друга. Идите домой, Монтэг. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться по клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе?

— Значит, вам уже все равно?

— Нет, мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от этого.

— И вы не хотите помочь мне?

— Спокойной ночи. Спокойной ночи.

Руки Монтэга протянулись к Библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки.

— Хотели бы вы иметь эту книгу?

— Правую руку отдал бы за это, — сказал Фабер.

Монтэг стоял и ждал, что будет делать дальше его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист, первую страницу, вторую.

— Сумасшедший! Что вы делаете? — Фабер подскочил как от удара. Он бросился к Монтэгу, но тот отстранил его. Руки Монтэга продолжали рвать книгу. Еще шесть страниц упали на пол. Монтэг поднял их и на глазах у Фабера скомкал в руке.

— Не надо! Прошу вас, не надо! — воскликнул старик.

— А кто мне помешает? Я пожарный. Я могу сжечь вас.

Старик взглянул на него.

— Вы этого не сделаете!

— Могу сделать, если захочу.

— Эта книга... не рвите ее!

Фабер опустился на стул. Лицо его побелело как полотно, губы дрожали.

— Я устал. Не мучайте меня. Чего вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы научили меня.

— Хорошо. Хорошо.

Монтэг положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним.

Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил:

— У вас есть деньги, Монтэг?

— Есть. Немного. Четыреста или пятьсот долларов. Почему вы спрашиваете?

— Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы, от Эсхила до Юджина О'Неила, записался всего один студент. Понимаете? Впечатление было такое, будто прекрасная статуя изо льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожирателей огня. Так вот, Монтэг, у нас, стало быть, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнется война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб — и все эти «родственники», обитающие в стенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда! И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шепот.

Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе.

— Я пытался запомнить, — сказал Монтэг. — Но, черт, стоит отвести глаза, и я уже все забыл. Господи, мне так хотелось бы переспорить брандмейстера Битти! Он много читал, у него на все есть ответ, или так, по крайней мере, кажется. Голос у него, как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня и я опять стану прежним. Ведь всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал: черт возьми, до чего же здорово!

Старик кивнул:

— Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир. Психология малолетних преступников.

— Так вот, значит, кто я такой!

— В каждом из нас это есть.

Монтэг сделал несколько шагов к выходу.

— Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей.

Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтэг заметил это.

— Ну так как же?

Старик глубоко вздохнул. Закрыв глаза и плотно сжав губы, он еще раз с усилием перевел дыхание.

Наконец, повернувшись к Монтэгу, он сказал:

— Пойдемте, Монтэг. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус. И старый дурак.

Он растворил дверь спальни. Следом за ним Монтэг вошел в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина, проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами.

— Что это? — спросил Монтэг.

— Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил один в этих стенах, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприемниками стало моей страстью. Именно эта трусость и в то же время мятежный дух, подспудно живущий во мне, побудили меня изобрести вот это.

Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий пулю небольшого калибра.

— Откуда я взял на это средства, спросите вы? Ну, понятно, играл на бирже. Это ведь последнее прибежище для опасномыслящих интеллигентов, оставшихся без работы. Играл на бирже, работал над этим изобретением и ждал. Полжизни просидел, трясаясь от страха, все ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали — помните? — я уже знал, что вы придете ко мне, но с факелом ли пожарника или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы, — вот этого я не мог сказать наперед. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А все-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус.

— Похож на радиоприемник «Ракушку».

— Но это больше, чем приемник. Мой аппарат слушает! Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтэг, я могу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Я буду как пчелиная матка, сидящая в своем улье. А вы будете рабочей пчелой, моим путешествующим ухом. Я мог бы иметь уши во всех концах города, среди самых различных людей. Я мог бы слушать и делать выводы. Если пчелы погибнут, меня это не коснется, я по-прежнему буду у себя дома в безопасности, буду переживать свой страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Теперь вы видите, как мало я рискую в этой игре, какого презрения я достоин!

Монтэг вложил зеленую пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами:

— Монтэг!

Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтэга.

— Я слышу вас!

Старик засмеялся:

— Я вас тоже хорошо слышу.— Фабер говорил шепотом, но голос его отчетливо звучал в голове Монтэга.— Когда придет время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмейстера. Может быть, он один из нас, кто знает. Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу, в темноту, а сам остаюсь за линией фронта; мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову.

— Каждый делает, что может,— ответил Монтэг. Он вложил Библию в руки старика.— Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо нее. А завтра...

— Да, завтра я повидаюсь с безработным печатником. Хотя это-то я могу сделать.

— Спокойной ночи, профессор.

— Нет, спокойной эта ночь не будет. Но я все время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только понадобится. И все же дай вам Бог спокойствия в эту ночь, Монтэг. И удачи.

Дверь растворилась и захлопнулась. Монтэг снова был на темной улице и снова один на один с миром.

В ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звезд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь.

Монтэг шел от станции метро; деньги лежали у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю ночь,— его обслуживали механические роботы). Он шел и, вставив «Ракушку» в ухо, слушал голос диктора:

— Мобилизован один миллион человек. Если начнется война, быстрая победа обеспечена...— Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила голос диктора, и он умолк.

— Мобилизовано десять миллионов,— шептал голос Фабера в другом ухе.— Но говорят, что один. Так спокойнее.

— Фабер!

— Да.

— Я не думаю. Я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда. Вы сказали достать деньги, и я достал. Но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?

— Вы уже начали, когда это сказали. Но на первых порах придется вам полагаться на меня.

— На тех я тоже полагался.

— Да, и видите, куда это вас завело. Какое-то время вы будете брести вслепую. Вот вам моя рука.

— Перейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, так я не хочу. Зачем мне тогда переходить на вашу сторону?

— Вы уже поумнели, Монтэг.

Монтэг почувствовал под ногами знакомый тротуар, и ноги сами несли его к дому.

— Продолжайте, профессор.

— Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы все запомнили. Я сплю всего пять часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер на сон грядущий. Говорят, что мозг спящего человека все запоминает, если тихонько нашептывать спящему на ухо.

— Да.

— Так вот, слушайте.— Далеко, на другом конце города, тихо зашелестели переворачиваемые страницы.— Книга Иова.

Взошла луна. Беззвучно шевеля губами, Монтэг шел по тротуару.

В девять вечера, когда он заканчивал свой легкий ужин, рупор у входной двери возвестил о приходе гостей. Милдред бросилась в переднюю с поспешностью человека, спасающегося от извержения вулкана. В дом вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс, и гостиная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки мартини. Монтэг прервал свою трапезу. Эти женщины были похожи на чудовищные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Даже сквозь стену он видел их застывшие бессмысленные улыбки. Они визгливо приветствовали друг друга, стараясь перекричать шум гостиной.

Дожевывая кусок, Монтэг остановился в дверях.

— У вас прекрасный вид!

— Прекрасный!

— Ты шикарно выглядишь, Милли!

— Шикарно!

— Все выглядят чудесно!

— Чудесно!

Монтэг молча наблюдал их.

— Спокойно, Монтэг,— предостерегающе шептал в ухо Фабер.

— Зря я тут задержался,— почти про себя сказал Монтэг.— Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами.

— Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны, Монтэг.

— Чудесное ревью, не правда ли? — воскликнула Милдред.

— Восхитительное!

На одной из трех телевизионных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой.

«Как это она ухитряется?» — думал Монтэг, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновских лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу той же дамы, направляясь к ее трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостининая ринулась в облака на крыльях ракетного самолета; потом нырнула в мутно-зеленые воды моря, где синие рыбы пожирали красных и желтых рыб. А через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя еще две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтэг видел, как в воздух взлетели человеческие тела.

— Милли, ты видела?

— Видела, видела!

Монтэг просунул руку внутрь стены и повернул центральный выключатель. Изображения на стенах погасли, как будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду.

Все три женщины обернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтэга.

— Как вы думаете, когда начнется война? — спросил Монтэг.— Я вижу, ваших мужей сегодня нет с вами.

— О, они то приходят, то уходят,— сказала миссис Фелпс.— То приходят, то уходят, себе места не находят... Пита вчера призвали. Он вернется на будущей неделе. Так ему сказали. Короткая война. Через сорок восемь часов все будут дома. Так сказали в армии. Короткая война. Пита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома. Короткая...

Три женщины беспокойно ерзали на стульях, нервно поглядывая на пустые грязно-серые стены.

— Я не беспокоюсь,— сказала миссис Фелпс.— Пусть Пит беспокоится,— хихикнула она.— Пусть себе Пит беспокоится. А я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь.

— Да, да,— подхватила Милли.— Пусть себе Пит тревожится.

— Убивают всегда чужих мужей. Так говорят.

— Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, погибшего на войне. Погибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высотных зданий. Это бывает. Как муж Глории на прошлой неделе. Это да. Но на войне? Нет.

— На войне — нет,— согласилась миссис Фелпс.— Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили: никаких слез и прочих сантиментов. Это мой третий брак, у Пита тоже третий, и мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым — так мы всегда считали. Пит сказал: если его убьют, чтобы я не плакала, а скорей выходила бы замуж — и дело с концом.

— Кстати! — воскликнула Милдред.— Вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доув? Это про то, как она...

Монтэг молча разглядывал лица женщин; так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хоть он и пробовал обращаться к ним в молитве и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться чужой верой, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось: если эти запахи наполнят его легкие, проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин, губами. Но ничего не получилось, ничего! Все равно как если бы он зашел в лавку, где в обращении была другая валюта, так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых,— просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас, в своей собственной гостиной, глядя на трех женщин, нервно ерзавших на стульях. Они курили, пускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти — огненно-красные, словно вспламенившиеся от пристального взгляда Монтэга. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтэг проглотил наконец недоеденный кусок, женщины невольно подались вперед. Они настороженно прислушивались к его лихорадочному дыханию. Три пустые стены гостиной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погруженных в тяжелый сон без сновидений. Монтэгу чудилось — если коснуться

великаньих лбов, на пальцах останется след соленого пота. И чем дальше, тем явственнее выступала испарина на этих мертвых лбах, тем напряженнее молчание, тем ошутимее трепет в воздухе и в теле этих сгорающих от нетерпения женщин. Казалось, еще минута — и они, громко зашипев, взорвутся.

Губы Монтэга шевельнулись:

— Давайте поговорим.

Женщины вздрогнули и уставились на него.

— Как ваши дети, миссис Фелпс? — спросил Монтэг.

— Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей! Да и кто в наше время, будучи в здравом уме, захочет иметь детей? — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает ее этот человек.

— Нет, тут я с вами не согласна, — промолвила миссис Бауэлс. — У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение. Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребенка. Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей; а это очень забавно. Ну что ж, два кесаревых сечения — и проблема решена. Да, сэр. Мой врач говорил: кесарево не обязательно, вы нормально сложены, можете рожать, но я настояла.

— И все-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшая, что вздумали их заводить! — воскликнула миссис Фелпс.

— Да нет, не так уж плохо. Девять дней из десяти они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только три дня в месяц, когда они дома. Но и это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены и все. Как при стирке белья. Вы закладываете белье в машину и захлопываете крышку. — Миссис Бауэлс хихикнула. — А нежностей у нас никаких не полагается. Им и в голову не приходит меня поцеловать. Скорее уж дадут пинка. Слава Богу, я еще могу ответить им тем же.

Женщины громко расхохотались.

Милдред с минуту сидела молча, но, видя, что Монтэг не уходит, захлопала в ладоши и воскликнула:

— Давайте доставим удовольствие Гаю и поговорим о политике!

— Ну что ж, прекрасно, — сказала миссис Бауэлс. — На прошлых выборах я голосовала, как и все. Конечно, за Нобля. Я нахожу, что он один из самых приятных мужчин, когда-либо избиравшихся в президенты.

— О да. А помните того, другого, которого выставили против Нобля?

— Да уж хорош был, нечего сказать! Маленький, невзрачный, и выбрит кое-как, и причесан плохо.

— И что это оппозиции пришлось в голову выставить его кандидатуру? Разве можно выставлять такого коротышку против человека высокого роста? Вдобавок он мямлил. Я почти ничего не расслышала из того, что он говорил. А что расслышала, того не поняла.

— Кроме того, он толстяк и даже не старался скрыть это одеждой. Чему же удивляться! Конечно, большинство голосовало за Уинстона Нобля. Даже их имена сыграли тут роль. Сравните: Уинстон Нобль и Хьюберт Хауг — и ответ вам сразу станет ясен.

— Черт! — воскликнул Монтэг. — Да ведь вы же ничего о них не знаете — ни о том, ни о другом!

— Ну как же не знаем? Мы их видели на стенах вот этой самой гостиной! Всего полгода назад. Один все время ковырял в носу. Ужас что такое! Смотреть было противно.

— И по-вашему, мистер Монтэг, мы должны были голосовать за такого человека? — воскликнула миссис Фелпс.

Милдред засияла улыбкой:

— Гай, пожалуйста, не зли нас! Отойди от двери!

Но Монтэг уже исчез; через минуту он вернулся с книгой в руках.

— Гай!

— К черту все! К черту! К черту!

— Что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение все теперь проводится с помощью кинофильмов. — Миссис Фелпс удивленно заморгала глазами. — Вы изучаете теорию пожарного дела?

— Какая там к черту теория! — ответил Монтэг. — Это стихи.

— Монтэг! — прозвучал у него в ушах предостерегающий шепот Фабера.

— Оставьте меня в покое! — Монтэг чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный, гудящий и звенящий водоворот.

— Монтэг, держите себя в руках! Не смейте...

— Вы слышали их? Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи! Что только они говорят о людях! О собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне!.. Будь они прокляты! Я слушал и не верил своим ушам.

— Позвольте! Я ни слова не сказала о войне! — воскликнула миссис Фелпс.

— Стихи! Терпеть не могу стихов! — сказала миссис Бауэлс.

— А вы их когда-нибудь слышали?

— Монтэг! — Голос Фабера ввинчивался Монтэгу в ухо.— Вы все погубите. Сумасшедший! Замолчите!

Женщины вскочили.

— Сядьте! — крикнул Монтэг.

Они послушно сели.

— Я ухожу домой, — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс.

— Монтэг, Монтэг, прошу вас, ради Бога! Что вы затеяли? — умолял Фабер.

— Да вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки. — Миссис Фелпс кивнула. — Будет очень интересно.

— Но это запрещено! — жалобно возопила миссис Бауэлс. — Этого нельзя!

— Но посмотрите на мистера Монтэга! Ему очень хочется почитать, я же вижу. И если мы минутку посидим смирно и послушаем, мистер Монтэг будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим. — Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены.

— Монтэг, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу! — пронзительно звенела в ухе мошка. — Что это вам даст? Чего вы достигнете?

— Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что света белого не взвидят!

Милдред оглянулась:

— Да с кем ты разговариваешь, Гай?

Серебряная игла вонзилась ему в мозг.

— Монтэг, слушайте, есть только один выход! Обратите все в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело! А затем сожгите книгу в печке.

Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом:

— Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время все было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай и решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтет нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это все вздор, и больше уж никогда не ломали наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой?

Монтэг судорожно смял книгу в руках.

— Скажите «да», Монтэг, — приказал Фабер.

Губы Монтэга послушно выполнили приказ Фабера:

— Да.

Милдред со смехом вырвала книгу.

— Вот, прочти это стихотворение. Нет, лучше это, смешное, ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймете — ничего! Это просто набор слов — ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу!

Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка:

— Читайте, Монтэг.

— Как называется стихотворение, милый?

— «Берег Дувра».

Язык Монтэга прилип к гортани.

— Ну читай же — погромче и не торопись.

В комнате нечем было дышать. Монтэга бросало то в жар, то в холод. Гостиная казалась пустыней — три стула на середине и он, нетвердо стоящий на ногах, ждущий, когда миссис Фелпс перестанет оправлять платье, а миссис Бауэлс оторвет руки от прически. Он начал читать, сначала тихо, запинаясь, потом, с каждой прочитанной строчкой, все увереннее и громче. Голос его проносился над пустыней, ударялся в белую пустоту, звенел в раскаленном воздухе над головами сидящих женщин:

Доверья океан
Когда-то полон был и, брег земли обвив,
Как пояс радужный, в спокойствии лежал.
Но нынче слышу я
Лишь долгий грустный стон да ропщущий отлив,
Гонимый сквозь туман
Порывом бурь, разбитый о края
Житейских голых скал.

Скрипели стулья. Монтэг продолжал читать:

Дозволь нам, о любовь,
Друг другу верным быть. Ведь этот мир, что рос
Пред нами, как страна исполнившихся грез,—
Так многолик, прекрасен он и нов,—
Не знает, в сущности, ни света, ни страстей,
Ни мира, ни тепла, ни чувств, ни состраданья,
И в нем мы бродим, как по полю брани,
Хранящему следы смятенья, бегств, смертей,
Где полчища слепцов сошлись в борьбе своей¹.

Миссис Фелпс рыдала.

Ее подруги смотрели на ее слезы, на искаженное гримасой лицо. Они сидели, не смея коснуться ее, ошеломленные столь

¹ Стихотворение Мэтью Арнолда в переводе И. Онышук.

бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтэг сам был потрясен и обескуражен.

— Тише, тише, Клара,— промолвила Милдред.— Успокойся! Да перестань же, Клара, что с тобой?

— Я... я...— рыдала миссис Фелпс.— Я не знаю, не знаю... Ничего не знаю. О-о...

Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтэга.

— Ну? Теперь видите? Я знала, что так будет! Вот этого я и ожидала! Я всегда говорила, что поэзия — это слезы, поэзия — это самоубийства, истерики и отвратительное самочувствие, поэзия — это болезнь. Гадость — и больше ничего! Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтэг, злой, злой!

— Ну а теперь...— шептал на ухо Фабер.

Монтэг послушно повернулся, подошел к камину и сунул руку сквозь медные брусья решетки навстречу жадному пламени.

— Глупые слова, глупые, ранящие душу слова,— продолжала миссис Бауэлс.— Почему люди стараются причинить боль друг другу? Разве на свете и без того мало страданий, чтобы нужно было еще мучить человека этаким чепухой?

— Клара, успокойся! — увещевала Милдред рыдающую миссис Фелпс, теребя ее за руку.— Прошу тебя, перестань! Мы включим «родственников», будем смеяться и веселиться. Да перестань же плакать! Мы сейчас устроим пирушку.

— Нет,— промолвила миссис Бауэлс.— Я ухожу. Если захотите навестить меня и моих «родственников», милости просим, в любое время. Но в этом доме, у этого сумасшедшего пожарника, ноги моей больше не будет.

— Уходите! — сказал Монтэг тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс.— Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже разmozжит себе голову! Идите домой и подумайте о тех десятках абортот, что вы сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят! Идите домой и подумайте над тем, как могло все это случиться и что вы сделали, чтобы этого не допустить. Уходите! — уже кричал он.— Уходите, пока я не ударил вас или не вышвырнул за дверь!

Дверь хлопнула, дом опустел.

Монтэг стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены наполняли грязный снег.

Из ванной комнаты донесся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладонь из стеклянного флакончика снотворные таблетки.

— Вы глупец, Монтэг, глупец, глупец! О Боже, какой вы идиот!..

— Замолчите! — Монтэг выдернул из уха зеленую пульку и сунул ее в карман, но она продолжала жужжать:

— Глупец... глупец!

Монтэг обыскал весь дом и нашел наконец книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Нескольких не хватало, и Монтэг понял, что Милдред сама начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он все это сделал?

Он отнес книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдред опять надумает их жечь.

Вернувшись в дом, он прошелся по пустым комнатам.

— Милдред! — позвал он у дверей темной спальни. Никто не ответил.

Пересекая лужайку по пути к метро, Монтэг старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Клариссы Маклеллан...

В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил свое полное одиночество и всю тяжесть совершенной им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером — ему страстно захотелось услышать в ночной тиши этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Он познакомился с Фабером несколько часов назад, но ему уже казалось, что он знал его всю жизнь. Монтэг чувствовал теперь, что в нем заключены два человека: во-первых, он сам, Монтэг, который ничего не понимал, не понимал даже всей глубины своего невежества, лишь смутно догадывался об этом, и, во-вторых, этот старик, который разговаривал сейчас с ним, разговаривал все время, пока пневматический поезд бешено мчал его из одного конца спящего города в другой. Все дни, какие еще будут в его жизни, и все ночи — и темные, и озаренные ярким светом луны, — старый профессор будет разговаривать с ним, роняя в его душу слово за словом, каплю за каплей, камень за камнем, искру за искрой. И когда-нибудь сознание его наконец переполнится и он перестанет быть Монтэгом. Так говорил ему старик, уверял его в том, обещал. Они будут вместе — Монтэг и Фабер, огонь и вода, а потом, в один прекрасный день, когда все перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино. Из двух веществ, столь отличных одно от другого, создается новое, третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймет, каким глупцом

был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним «я» и уходит от него.

Как приятно было слышать в ухе это гудение шмеля, это сонное комариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса! Вначале он бранил Монтэга, потом утешал в этот поздний ночной час, когда Монтэг, выйдя из душного туннеля метро, снова очутился в мире пожарных.

— Имейте снисхождение, Монтэг, снисхождение. Не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда. Но так всегда не будет. Они не знают, что вся их жизнь похожа на огромный пылающий метеор, несущийся сквозь пространство. Пока он летит, это красиво, но когда-нибудь он неизбежно должен упасть. А они ничего не видят — только этот нарядный, веселый блеск. Монтэг, старик, который прячется у себя дома, оберегая свои старые кости, не имеет права критиковать. Но я все-таки скажу: вы чуть не погубили все в самом начале. Будьте осторожны. Помните: я всегда с вами. Я понимаю, как это у вас вышло. Должен сознаться, ваш слепой гнев придал мне бодрости. Господи, я вдруг почувствовал себя таким молодым! Но теперь я хочу, чтобы вы стали стариком, я хочу перелить в вас капельку моей трусости. В течение этих нескольких часов, что вы проведете с Битти, будьте осторожны, ходите вокруг него на цыпочках, дайте мне послушать его, дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных, глупых женщинах...

— Я их так расстроил, как они, наверно, ни разу за всю жизнь не расстраивались, — сказал Монтэг. — Я сам был потрясен, когда увидел слезы миссис Фелпс. И может быть, они правы. Может быть, лучше не видеть жизнь такой, какая она есть, закрыть на все глаза и веселиться. Не знаю. Я чувствую себя виноватым...

— Нет, не надо! Если бы не было войны и на земле был мир, я бы сам сказал вам: веселитесь! Но нет, Монтэг, вы не имеете права оставаться только пожарником. Не все благополучно в этом мире.

Лоб Монтэга покрылся испариной.

— Монтэг, вы слышите меня?

— Мои ноги... — пробормотал Монтэг. — Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство. Мои ноги не хотят идти!

— Слушайте, Монтэг. Успокойтесь, — мягко уговаривал старик. — Я понимаю, что с вами. Вы боитесь опять наделать ошибок. Но не бойтесь. Ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали! Когда я был молод, я совал свое невежество

всем в лицо. Меня били за это. И к сорока годам я отточил наконец оружие моих знаний. А если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить и вы никогда не поумнеете. Ну а теперь шагайте. Ну! Смелее! Идемте вместе на пожарную станцию! Нас теперь двое. Вы больше не одиноки, мы уже не сидим каждый порознь в своей гостиной, разделенные глухой стеной. Если вам будет нужна помощь, когда Битти станет наседать на вас, я буду рядом, в вашей барабанной перепонке, я тоже буду слушать и все примечать!

Монтэг почувствовал, что его ноги — сначала правая, потом левая — снова обрели способность двигаться.

— Не покидайте меня, мой старый друг, — промолвил он.

Механического пса в конуре не было. Она была пуста, и белое оштукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. Оранжевая «саламандра» дремала, наполнив брюхо керосином; на ее боках, закрепленные крест-накрест, отдыхали огнеметы. Монтэг прошел сквозь эту тишину и, ухватившись рукой за бронзовый шест, взлетел вверх, в темноту, не сводя глаз с опустевшего логова механического зверя. Сердце его то замирало, то снова начинало бешено колотиться. Фабер на время затих в его ухе, словно серая ночная бабочка.

На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого.

— Вот, — сказал он, обращаясь к пожарным, играющим в карты, — вот идет любопытнейший экземпляр, на всех языках мира именуемый дураком.

Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью кверху, молчаливо требуя дани. Монтэг вложил в нее книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзину и закурил сигарету.

— «И мудрецам порой нетрудно стать глупцами». Добро пожаловать, Монтэг. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла и вы опять здоровы? В покер сыграем?

Они сели к столу. Раздали карты. В присутствии Битти Монтэг остро ощущал виновность своих рук. Его пальцы шныряли, как напроказившие хорьки, ни минуты не оставаясь в покое. Они то нервно шевелились, то теребили что-то, то прятались в карманы от бледного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтэгу казалось, что стоит брандмейстеру дохнуть на них — и руки усохнут, скорчатся и больше уж никогда не удастся вернуть их к жизни; они навсегда будут похоронены в глубине рукавов его куртки. Ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, независимо от Монтэга, в них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда

схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обгавленными кровью.

Дважды в течение получаса Монтэг вставал и выходил в уборную мыть руки. Вернувшись, он прятал их под столом.

Битти рассмеялся:

— А ну-ка держите ваши руки на виду, Монтэг. Не то чтобы мы вам не доверяем, но, знаете ли, все-таки...

Все захохотали.

— Ладно уж,— сказал Битти.— Кризис миновал, и все опять хорошо. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случилось в свое время заблуждаться. «Ведь правда будет правдой до конца, как ни считай!» — кричали мы. Не одиноки те, кто носит в себе благородные мысли, убеждали мы себя. «О мудрость, скрытая в живых созвучьях», — как сказал сэр Филип Сидни. Но с другой стороны: «Слова листе подобны, и где она густа, там вряд ли плод таится под сению листа», — сказал Александр Поп. Что вы об этом думаете, Монтэг?

— Не знаю.

— Осторожно,— шептал Фабер из другого, далекого мира.

— Или вот еще: «Опасно мало знать; о том не забывая, кастанльскою струей налея бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна и вновь обрящешь светлый разум». Поп, те же «Опыты». Это, пожалуй, и к вам приложимо, Монтэг, а? Как вам кажется?

Монтэг прикусил губу.

— Сейчас объясню,— сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты.— Вы ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько строчек, и голова пошла кругом. Трах-тарарах! Вы уже готовы взорвать вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, ниспровергать авторитеты. Я знаю, я сам прошел через это.

— Нет, я ничего,— ответил Монтэг в смятении.

— Не краснейте, Монтэг. Право же, я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилег отдохнуть, и мне приснилось, что мы с вами, Монтэг, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали громы и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. «Власть», — говорил я. А вы, цитируя доктора Джонсона, отвечали: «Знания сильнее власти». А я вам: тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: «Безумец тот, кто хочет поменять определенность на неопределенность». Держитесь пожарников, Монтэг. Все остальное — мрачный хаос!

— Не слушайте его,— шептал Фабер.— Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий как угорь. Будьте осторожны!

Битти засмеялся довольным смешком:

— Вы же мне ответили на это: «Правда должна выйти на свет: убийства долго скрывать нельзя». А я воскликнул добродушно: «Настоящий жеребенок: говорит только о своей лошади!» А еще я сказал: «В нужде и черт Священный текст приводит». А вы кричали мне в ответ: «Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудрого в бедном платье!» Тогда я тихонько шепнул вам: «Нужна ли истине столь ярая защита?» А вы снова кричали: «Убийца здесь — и раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки крови!» Я отвечал, похлопав вас по руке: «Ужель такую жадность пробудил я в вас?» А вы, Монтэг, вопили: «Знание — сила!», «И карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его!» Я же с величайшим спокойствием закончил наш спор словами: «Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам», — как сказал однажды мистер Поль Валери.

У Монтэга голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: «Нет! Замолчите! Вы стараетесь все запутать! Довольно!»

Тонкие, нервные пальцы Битти схватили Монтэга за руку.

— Боже, какой пульс! Здорово я вас взвинтил, Монтэг, а? Черт, пульс у вас скачет, словно на другой день после войны. Не хватает только труб и звона колоколов. Поговорим еще? Мне нравится ваш взволнованный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный — я говорю на всех. Но это похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?

— Держитесь, Монтэг! — прошелестела ему на ухо мошка. — Он мутит воду!

— Ох как вы испугались! — продолжал Битти. — Я и правда поступил жестоко — использовал против вас те самые книги, за которые вы так цеплялись, использовал для того, чтобы опровергать вас на каждом шагу, на каждом слове. Ах, книги — это такие предатели! Вы думаете, они вас поддержат, а они оборачиваются против вас же. Не только вы, другой тоже может пустить в ход книгу, и вот вы уже увязли в трясине, в чудовишной путанице имен существительных, глаголов, прилагательных. А кончился мой сон тем, что я подъехал к вам на «саламандре» и спросил: «Нам не по пути?» Вы вошли в машину, и мы помчались обратно на пожарную станцию, храня блаженное молчание; страсти улеглись, и между нами снова был мир.

Битти отпустил руку Монтэга, и она безжизненно упала на стол.

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Тишина. Монтэг сидел, словно белое каменное изваяние. Отголоски последних нанесенных ему ударов медленно затихали где-то в темных пещерах мозга. Фабер ждал, пока они затихнут совсем. И когда осели наконец вихри пыли, взметенные в сознании Монтэга, Фабер начал тихим голосом:

— Хорошо, он сказал все, что хотел. Вы это выслушали. Теперь в ближайшие часы буду говорить я. Вам придется выслушать и это. А потом постарайтесь разобраться и решить — с кем вы. Но я хочу, чтобы вы решили это сами, чтобы это решение было вашим собственным, а не моим и не брандмейстера Битти. Одного только не забывайте — брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к тупому и равнодушному стаду нашего большинства. О, эта ужасная тирания большинства! Мы с Битти поем разные песни. От вас самого зависит, кого вы станете слушать.

Монтэг уже открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Рупор пожарного сигнала гудел под потолком. В другом конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошел к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него.

— С этим можно подождать ровно сорок секунд, как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас, — весело сказал Битти.

Монтэг положил карты на стол.

— Устали, Монтэг? Хотите выйти из игры?

— Да.

— Ну! Не падайте духом! Впрочем, можно закончить партию после. Положите ваши карты на стол рубашкой кверху: вернемся — доиграем. А теперь пошевеливайтесь! Живо! — Битти поднялся. — Монтэг, мне не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?

— Да нет, я здоров, я поеду.

— Да, вы должны поехать. Это особый случай. Ну, вперед!..

Они прыгнули в провал люка, крепко ухватившись руками за медный шест, словно в нем было единственное спасение от взмывавших снизу волн. Но шест низвергнул их прямо в пучи-

ну, где уже фыркал, рычал и кашлял, пробуждаясь, бензиновый дракон.

— Э-эй!

С грохотом и ревом они завернули за угол — скрипели тормоза, взвизгивали шины, плескался керосин в блестящем медном брюхе «саламандры», словно пища в животе великана. Пальцы Монтэга прыгали на сверкающих поручнях, то и дело срываясь в холодную пустоту; ветер рвал волосы, свистел в зубах, а Монтэг думал, все время неотрывно думал о тех женщинах в его гостиной, пустых женщинах, из которых неоновый ветер давно уже выдул последние зернышки разума, и о своей нелепой, идиотской затее читать им книгу. Все равно что пытаться погасить пожар из водяного пистолета. Бред, сумасшествие! Просто припадок бешенства. Еще одна вспышка гнева, с которой он не сумел совладать. Когда же он победит в себе это безумие и станет спокоен, по-настоящему спокоен?

— Вперед, вперед!

Монтэг оторвал глаза от поручней. Обычно Битти никогда не садился за руль, но сегодня машину вел он, круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперед с высоты водительского трона; полы его тяжелого черного макинтоша хлопали и развевались — он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной, грудью навстречу ветру.

— Вперед, вперед, чтобы сделать мир счастливым! Так, Монтэг?

Розовые, словно фосфоресцирующие щеки Битти отсвечивали в темноте, он улыбался с каким-то остервенением.

— Вот мы и прибыли!

«Саламандра» круто остановилась. Неуклюжими прыжками посыпались с нее люди. Монтэг стоял, не отрывая воспаленных глаз от холодных блестящих поручней, за которые судорожно уцепились его пальцы.

«Я не могу сделать это,— думал он.— Как могу я выполнить это задание, как могу я снова жечь? Я не могу войти в этот дом».

Битти — от него еще пахло ветром, сквозь который они только что мчались,— вырос рядом.

— Ну, Монтэг!

Пожарные, в своих огромных сапогах похожие на калек, разбежались бесшумно, как пауки.

Наконец, оторвав глаза от поручней, Монтэг обернулся.

Битти следил за его лицом.

— В чем дело, Монтэг?

— Что это? — медленно произнес Монтэг.— Мы же остановились у моего дома?

ОГОНЬ ГОРИТ ЯРКО

В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтэг глядели, один со сдержанным удовлетворением, другой не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления: здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя.

— Ну вот, — промолвил Битти, — вы добились своего. Старина Монтэг вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?

Застывшее лицо Монтэга ничего не выражало; он почувствовал, как его голова медленно и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома — темного и мрачного среди окружавших его ярких цветочных клумб.

Битти презрительно фыркнул:

— Э, бросьте! Неужто вас одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? А, Монтэг? Цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат. Знаем, знаем! Все записано в ее карточке. Эге! Да я, кажется, попал в точку! Достаточно взглянуть на ваше потерянное лицо. Несколько травинок и лунный серп! Экая чушь! И что хорошего она всем этим сделала?

Монтэг присел на холодное крыло «саламандры». Он несколько раз повернул свою одеревеневшую голову: вправо-влево, вправо-влево...

— Она все видела. Она никому ничего не сделала. Она никого не трогала...

— Не трогала! Как бы не так! А возле вас она не вертелась? Ох уж эти мне любители делать добро, с их святейшими минами, с их высокомерным молчанием и единственным талантом: заставлять человека ни с того ни с сего чувствовать себя виноватым. Черт бы их всех побрал! Красуются, словно солнце в полночь, чтобы тебе и в постели покоя не было!

Дверь дома отворилась; по ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в заостренней руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилось такси.

— Милдред!

Она пробежала мимо, прямая и застывшая, — лицо белое от пудры, рта нет — забыла накрасить губы.

— Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?

Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча как во сне:

— Бедные мои «родственники», бедняжки, бедняжки! Все погибло, все, все теперь погибло...

Битти схватил Монтэга за плечо. Машина рванула и, сразу же набрав скорость до семидесяти миль в час, исчезла в конце улицы.

Раздался звон, как будто вдребезги рассыпалась мечта, созданная из граненого стекла, зеркал и хрустальных призм. Монтэг машинально повернулся — его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. И он увидел, что Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку.

Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную черную преграду.

— Монтэг, это я, Фабер. Вы слышите меня? Что случилось?

— Теперь это случилось со мной, — ответил Монтэг.

— Ах, скажите, какая неожиданность! — воскликнул Битти. — В наши дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но только они есть, вот в чем беда. Впрочем, что об этом толковать! Когда уж дошло до последствий, так разговаривать поздно, правда, Монтэг?

— Монтэг, можете вы спастись? Убежать? — спрашивал Фабер.

Монтэг медленно шел к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щелкнул зажигалкой, и глаза Монтэга, как зачарованные, приковались к оранжевому язычку пламени.

— Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого и малого? — Битти погасил и снова зажег маленькое пламя. — Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он горел бы, не угасая, в течение всей нашей жизни. И все же, что такое огонь? Тайна. Загадка! Ученые что-то лепечут о трении и молекулах, но, в сущности, они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной — в печку ее. Вот и вы, Монтэг, сейчас представляете собой такое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч быстро, чисто и на-

верняка. Даже гнить будет нечему. Удобно. Гигиенично. Эстетично.

Монтэг глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным: поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла и вон там, на полу,— книги с оторванными переплетами и разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами, непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо и, право же, не стоят, чтобы из-за них столько волноваться,— просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты.

Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду, и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред...

— Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтэг. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом, с огнеметом. Вы сами должны очистить свой дом.

— Монтэг, разве вы не можете скрыться, убежать?

— Нет! — воскликнул Монтэг в отчаянии. — Механический пес! Из-за него нельзя!

Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему.

— Да, пес где-то поблизости, — ответил он, — так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?

— Да. — Монтэг щелкнул предохранителем огнемета.

— Огонь!

Огромный язык пламени вырвался из огнемета, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтэг вошел в спальню и дважды выстрелил по широким постелям; они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтэг даже удивился: кто бы подумал, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить, он сжег стулья, столы, а в столовой — ножи, вилки и посуду из пластмассы — все, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио-«Ракушка».

И, как и прежде, жечь было наслаждением — приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения? Так вот же, теперь не будет и проблемы! Огонь разрешает все!

— Монтэг, книги!

Книги подсакивали и метались, как опаленные птицы, их крылья пламенели красными и желтыми перьями.

Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились погруженные в сон огромные безмозглые чудища, с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением — пустота откликнулась Монтэгу яростным пустым свистом, бессмысленным криком. Он пытался представить себе ее, рождавшую такие же пустые и бессмысленные образы, и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы пустота не проникла в его легкие. Как ножом, он разрезал ее и, отступив назад, послал комнате в подарок еще один огромный ярко-желтый цветок пламени. Огнеупорный слой, покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени.

— Когда закончите,— раздался за его спиной голос Битти,— имейте в виду, вы арестованы.

Дом рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Была половина четвертого утра. Люди разошлись по домам: от циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось.

Монтэг стоял, держа огнемёт в ослабевших руках; темные пятна пота расплзались под мышками, лицо было все в саже. За ним молча стояли другие пожарники; их лица освещал слабый отблеск догорающих огней.

Монтэг дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил:

— Моя жена дала сигнал тревоги?

Битти утвердительно кивнул.

— А еще раньше то же самое сделали ее приятельницы, только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы все равно попались, Монтэг! Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочесть несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели,— вы по горло увязли в трясине; стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас!

Монтэг не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сровняли его дом с землей; там, под обломками, была погребена Милдред и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронесшейся бури еще отдавались где-то внутри, затихая; колени Монтэга стибались от страшного груза усталости, недоумения, гнева. Он безропотно позволял Битти наносить удар за ударом.

— Монтэг, вы — идиот! Вы — непроходимый дурак! Ну за чем, скажите пожалуйста, вы это сделали?

Монтэг не слышал. Мысленно он был далеко и убегал прочь, оставив свое бездыханное, измазанное сажей тело в жертву этому безумствующему маньяку.

— Монтэг, бегите! — настаивал Фабер.

Монтэг прислушался.

Сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес к уху.

Монтэг слышал далекий голос:

— Монтэг, что с вами? Вы живы?

Битти отнял пульку от уха и сунул ее в карман.

— Ага! Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах «Ракушка», но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю несдобровать.

— Нет! — крикнул Монтэг.

Он сдвинул предохранитель огнемета. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтэга, глаза его чуть-чуть расширились. Монтэг прочел в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки — что они еще натворили? Позже, вспоминая все, что произошло, он никак не мог понять, что же в конце концов толкнуло его на убийство: сами ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать? Последние рокошующие раскаты грома замерли, коснувшись лишь слуха, но не сознания Монтэга.

Лицо Битти расплзлось в шароюще-презрительную гримасу.

— Что ж, это недурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, а он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Почему не угощаете меня Шекспиром, вы, жалкий сноб? «Мне не страшны твои угрозы, Кассий, вооружен я доблестью так крепко, что все они, как легкий ветер, мимо проносятся». Так, что ли? Эх вы, незадачливый литератор! Действуйте же, черт вас дер! Спускайте курок!

И Битти сделал шаг вперед.

— Мы всегда жгли не то, что следовало... — смог лишь выговорить Монтэг.

— Дайте сюда огнемет, Гай, — промолвил Битти с застывшей улыбкой.

Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего че-

ловческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтэг выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемета. Раздалось шипение, словно жирный плевок упал на раскаленную плиту, что-то забулькало и забурлило, словно бросили горсть соли на огромную черную улитку и она расплылась, вскипев желтой пеной. Монтэг зажмурился, закричал, он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Еще несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих.

Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы.

С трудом подавляя приступ дурноты, Монтэг направил на них огнемет.

— Повернитесь! — приказал он.

Они послушно повернулись к нему спиной; пот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтэг с силой ударил их по головам, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно.

Легкий шелест, как будто слетел с ветки сухой осенний лист.

Монтэг обернулся и увидел Механического пса.

Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черно-серого дыма.

Пес сделал прыжок — он взвился в воздухе фута на три выше головы Монтэга, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом — прокаиновой иглой. Монтэг встретил его струей пламени, чудесным огненным цветком, — вокруг металлического тела зверя завились желтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую, пеструю оболочку. Пес обрушился на Монтэга, отбросил его вместе с огнеметом футов на десять в сторону, к подножию дерева; Монтэг почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватая его за ногу, вонзает иглу, — и тотчас же пламя подбросило собаку в воздух; вывернуло ее металлические кости из суставов, распорол ей брюхо, и нутро ее брызнуло во все стороны красным огнем, как лопнувшая ракета.

Монтэг лежа видел, как перевернулось в воздухе, рухнуло наземь и затихло это мертвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пес и сейчас еще готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Монтэг уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться, боялся, что

совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему его телу...

Что же теперь делать?..

Улица пуста, дом сгорел, как старая театральная декорация, другие дома вдоль улицы погружены во мрак, рядом — останки механического зверя, дальше — Битти, еще дальше — двое пожарных и «саламандра»... Он взглянул на огромную машину. Ее тоже надо уничтожить...

«Ну,— подумал он,— посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать на ноги! Осторожно, осторожно... вот так!»

Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мертвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступал на нее, тысячи серебряных иголок пронзали ногу от бедра до колена. Он заплакал. Нет, иди, иди! Здесь тебе нельзя оставаться!

В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина, Монтэг не знал. Хромая, подпрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу, он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал ее и молил: иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь! Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходявшего в глухой переулок.

«Битти,— думал он,— теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили: “Незачем решать проблему, лучше сжечь ее”. Ну вот, я сделал и то и другое. Прощайте, брандмейстер».

Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулку.

Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на нее, и он думал: дурак, дурак, болван, идиот, чертов идиот, дурак проклятый... Посмотри, что ты натворил, и как теперь все это расхлебывать, как?

Гордость, будь она проклята, и гнев — да, не сумел сдержаться себя и вот все испортил, все погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу — Битти, эти женщины в гостиной, Милдред, Кларисса. И все же нет тебе оправдания, нет! Ты дурак, проклятый болван! Так выдать себя!

Но мы еще спасем то, что осталось, мы все сделаем, что можно. Если уж придется гореть, так прихватим кое-кого с собой.

Да! Он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять. На всякий случай.

Он нашел книги там, где оставил их, — у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие «саламандры», рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам.

Монтэг поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекали голову и оставили одно лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его наземь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий, и рыдал.

Битти хотел умереть.

Теперь Монтэг не сомневался, что это так. Битти хотел умереть. Ведь он стоял против Монтэга, не пытаясь защищаться, стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтэга перехватило дыхание. Как странно, как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках и вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и...

Вдалеке — топот бегущих ног.

Монтэг поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить! Но рыдания все еще сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожженное кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти — пылающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать: «Я не хотел этого! Боже мой, я не хотел, не хотел этого!»

Он старался все припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была несколько дней назад, до того как в нее вторглись сито и песок, зубная паста «Денгэм», шелест крыльев ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги и эта последняя ночная поездка, — слишком много для двух-трех коротких дней, слишком много даже для целой жизни!

Топот ног слышался уже в конце переулка.

«Вставай! — сказал он себе. — Вставай, черт тебя возьми!» — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысяча иголок, потом перешла в тупое булавочное покалывание, и наконец, после того как он проковылял шагов пятьдесят вдоль деревянного забора, исцарапав и занозив себе руки, покалывание перешло

в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он все-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книги он держал в руках.

Он думал о Фабере.

Фабер остался там, в не остывшем еще сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжег и Фабера тоже! Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер, изжарился, как мелкая рыбешка, в крохотной зеленой капсуле, спрятанной и навсегда погибшей в кармане человека, от которого осталась теперь лишь кучка костей, опутанных спекшимися сухожилиями.

Запомни: их надо сжечь или они сожгут тебя, подумал он. Сейчас это именно так.

Он пошарил в карманах — деньги были тут. В другом кармане он наткнулся на обыкновенную радио-«Ракушку», по которой в это холодное, хмурое утро город разговаривал сам с собой.

— Внимание! Внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя: Гай Монтэг. Профессия: пожарный. В последний раз его видели...

Кварталов шесть он бежал не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары — на широкую автостраду, раз в десять шире обыкновенной улицы; залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее: слишком она широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену без декораций, и она предательски заманивала его на это пустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться и застрелить.

«Ракушка» жужжала в ухе.

— ...Следите за бегущим человеком... следите за бегущим человеком... он один, пеший... следите...

Монтэг попятился в тень. Прямо перед ним была заправочная станция — огромная белая глыба, сверкающая глазурию кафелей. Два серебристых жука-автомобиля остановились возле нее, чтобы заправиться горючим...

Нет, если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать, надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов спастись, если ты умоешься и

причешешь волосы, прежде чем продолжишь свой путь... Путь куда? «Да,— спросил он себя,— куда же я бегу?»

Никуда. Ему некуда было бежать, у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться. Кроме Фабера. И тогда он понял, что все это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера. Но ведь Фабер не может спрятать его: даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством! Все равно он должен повидаться с Фабером, хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нем быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить. Только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там, вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтэг пойдет дальше своим путем. Может быть, ему удастся выбраться из города, он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов...

Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза.

В небо один за другим поднимались полицейские геликоптеры. Их было много; казалось, кто-то дул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе мили за три от Монтэга, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться: тут один, там другой — они садились на улицу и, превратившись в жуков-автомобилей, с ревом мчались по бульварам, чтобы немного погодя опять подняться в воздух и продолжать поиски.

Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтэг вошел в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора: «Война объявлена». Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции — что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтэг стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. Ладно. Пусть война подождет. Для него она начнется позже, через час или два.

Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара.

Вот она — игра, которую он должен выиграть: широкая площадка кегельбана, над которой веет прохладный предупредительный ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безымянных убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтэга, — поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружающий его мир. Он, Монтэг, был светящейся мишенью, он знал, он чувствовал это. А теперь ему еще предстояло проделать этот короткий путь через улицу.

Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля.

Монтэг глубоко втянул в себя воздух. В легких царапнуло, словно горячей щеткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги как свинцовые...

Огни автомобиля... Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь. Далеко ли до противоположного тротуара? Должно быть, ярдов сто. Нет, меньше, но все равно, пусть будет сто. Если идти медленно, спокойным шагом, то, чтобы покрыть это расстояние, понадобится тридцать—сорок секунд. А мчащийся автомобиль? Набрал скорость, он пролетит эти три квартала за пятнадцать секунд. Значит, даже если, добравшись до середины, пуститься бегом...

Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу.

Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе, за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя — налетит и промчится дальше...

Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам — ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался таким же предательски ярким и так же обжигал, как лучи полуденного солнца.

Он прислушивался к шуму мчащейся машины: шум слышался справа, в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и наконец осветили Монтэга.

Иди, иди, не останавливайся!

Монтэг замешкался на мгновение. Потом покрепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперед. Ноги его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы, но и рев мотора становился все громче — машина набирала скорость.

Полиция, конечно. Заметили меня. Все равно, спокойнее, спокойнее, не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай виду, что тебя это тревожит! Шагай, шагай, вот и все.

Машина мчалась, машина редела, машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала, она летела, едва касаясь земли, она неслась как пуля, выпущенная из невидимого ружья. Сто двадцать миль в час. Сто тридцать миль в час. Монтэг стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дергаются веки, липким потом покрывается тело.

Ноги Монтэга нелепо волочились, он начал разговаривать сам с собой, затем вдруг не выдержал и побегал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги, вперед, вперед, вот так, так! Господи! Господи! Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал и снова ринулся вперед, крича в каменную пустоту, а жук-автомобиль несся за своей добычей — их разделяло двести футов, потом сто, девяносто, восемьдесят, семьдесят... Монтэг задыхался, нелепо размахивал руками, высоко вскидывал ноги, а машина все ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтэг вдруг повернул голову, белый огонь фар опалил ему глаза — не было машины, только слепящий сноп света, пылающий факел, со страшной силой брошенный в Монтэга, рев, пламя — сейчас, сейчас она налетит!..

Монтэг споткнулся и упал.

Я погиб! Все кончено!

Но падение спасло его. За секунду до того, как наскочить на Монтэга, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтэг лежал, распластавшись на мостовой, лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха.

Его правая рука была выброшена далеко вперед. Он поднял ее. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска — след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на эту полоску, не смея поверить своим глазам. Значит, это была не полиция?

Он глянул вдоль бульвара. Пусто. Нет, это была не полиция, просто машина, полная подростков, — сколько им могло быть лет? От двенадцати до шестнадцати? Шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку, увидели человека, идущего пешком, — странное зрелище, диковинка в наши дни! — и решили: «А ну, сшибем его!» — даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтэг, которого по всему городу разыскивает полиция. Да, всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчатся миль пять-

сот—шестьсот на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет — ведь в этом и была для них острота таких прогулок.

«Они хотели убить меня», — подумал Монтэг. Он стоял, пошатываясь. В потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощупал ссадину на щеке. «Да, они хотели убить меня, просто так, ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают».

Монтэг побрел ко все еще далекому тротуару, приказывая ослабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но не помнил, как нагибался и собирал их. Сейчас он перекладывал их из одной руки в другую, словно игрок карты, перед тем как сделать сложный ход.

Может быть, это они убили Клариссу?

Он остановился и мысленно повторил еще раз очень громко:

— Может быть, это они убили Клариссу?

И ему захотелось с криком броситься за ними вдогонку.

Слезы застилали глаза.

Да, его спасло только то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчащаяся на полной скорости машина, наскочив на лежащее тело, неизбежно перевернется и выбросит всех вон. Но если бы Монтэг не упал?..

Монтэг вдруг затаил дыхание.

В четырех кварталах от него жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колеса, и мчался теперь обратно по той же стороне улицы, нарушая все правила движения.

Но Монтэг был уже вне опасности: он укрылся в темном переулке — цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад — или то было лишь минуту назад? Вздрагивая от ночного холодка, он оглянулся. Жук промчался мимо, выскочил на середину бульвара и исчез; взрыв смеха снова нарушил ночную тишину.

Шагая в темноте по переулку, Монтэг видел, как, словно снежные хлопья, падали с неба вертолеты — первый снег грядущей долгой зимы...

Дом был погружен в молчание.

Монтэг подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застекленную дверь черного хода, она оказалась незапертой, прислушался и бесшумно скользнул в дом.

«Миссис Блэк, вы спите? — думал он. — Я знаю, это нехорошо, то, что я делаю, но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно, никогда

не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришел и ваш черед, теперь огонь уничтожит ваш дом — за все дома, что сжег ваш муж, за все горе, что он, не задумываясь, причинял людям».

Дом молчал.

Монтэг спрятал книги на кухне и вышел обратно в переулок. Он оглянулся: погруженный в темноту и молчание, дом спал.

Снова Монтэг шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились геликоптеры. По пути Монтэг зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные sireны и «саламандры» с ревом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит.

Спокойной ночи, миссис Блэк.

— Фабер!

Стук в дверь. Еще раз. Еще. Шепотом произнесенное имя. Ожидание. Наконец, спустя минуту, слабый огонек блеснул в домике Фабера. Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась.

Они молча глядели друг на друга в полумраке — Монтэг и Фабер, словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтэга в дом, усадил на стул, снова вернулся к дверям, прислушался. В предрасветной тишине выли sireны. Фабер закрыл дверь.

— Я вел себя как дурак с начала и до конца. Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я уйду одному Богу известно куда, — промолвил Монтэг.

— Во всяком случае, вы делали глупости из-за стоящего дела, — ответил Фабер. — Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал...

— Сгорел.

— Я слышал, как брандмейстер говорил с вами, а потом вдруг все умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас.

— Брандмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос, он хотел добраться и до вас. Я сжег его из огнемета.

Фабер опустился на стул. Долгое время оба молчали.

— Боже мой, как все это могло случиться? — снова заговорил Монтэг. — Еще вчера все было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и все

же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мертв, а когда-то он был моим другом. Милли ушла; я считал, она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел, нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книги в дом пожарника. О Господи, сколько я натворил за одну неделю!

— Вы сделали только то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться.

— Да, я верю, что это так. Хотя в это я верю, а больше мне, пожалуй, и верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как еще снаружи не было видно. И вот теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда!

— Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. — Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть, потому, что наконец делаю то, что нужно. Или, может быть, потому, что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придется совершать еще более смелые поступки, еще больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать?

— Скрываться. Бежать.

— Вы знаете, что объявлена война?

— Да, слышал.

— Господи! Как странно! — воскликнул старик. — Война кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы.

— У меня не было времени думать о ней. — Монтэг вытащил из кармана стодолларовую бумажку. — Вот, возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдете нужным.

— Однако...

— К полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела.

Фабер кивнул.

— Постарайтесь пробраться к реке, потом идите вдоль берега, там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города в глубь страны. Отыщите ее и ступайте по ней. Все сообщение ведется теперь по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено, но эта колея еще сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где, в разных глухих углах, еще можно найти лагеря бродяг. Пешие таборы, так их назы-

вают. Надо только отойти подальше от города да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анджелес, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большинство это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправляюсь туда сегодня утром, пятичасовым автобусом, хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, и я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтэг, и да хранит вас Бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут?

— Нет, лучше мне не задерживаться.

— Давайте посмотрим, как развиваются события.

Фабер торопливо провел Монтэга в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран размером не более почтовой открытки.

— Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот смотрите.

Он включил экран.

— Монтэг, — произнес телевизор, и экран осветился. — М-О-Н-Т-Э-Г, — по буквам прочитал голос диктора. — Гай Монтэг. Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские вертолеты. Из соседнего района доставлен новый Механический пес.

Монтэг и Фабер молча переглянулись.

— Механический пес действует безотказно. Это чудесное изобретение с тех пор, как впервые было применено для розыска преступников, еще ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на вертолете, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника...

Фабер налил виски в стаканы.

— Выпьем. Это нам не помешает.

Они выпили.

— ...Обоняние механической собаки настолько совершенно, что она способна запомнить около десяти тысяч индивидуальных запахов и выследить любого из этих десяти тысяч людей без новой настройки.

Легкая дрожь пробежала по телу Фабера. Он окинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, стул, на котором сидел Монтэг. Монтэг заметил этот взгляд. Теперь оба они быстро оглядели комнату. Монтэг вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей, словно он сам пустился по своему следу, словно обоняние его настолько обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воздухе, словно внезапно стали зримы микроскопические капельки пота на дверной ручке, там, где он взялся за нее рукой,— их было множество, и они поблескивали, как хрустальные подвески крохотной люстры. На всем остались крупницы его существа, он, Монтэг, был везде — и в доме, и снаружи, он был светящимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе. И от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень беглеца.

— Сейчас Механический пес будет высажен с геликоптера у места пожара!

На экранчике возник сгоревший дом, толпа, на земле что-то прикрытое простыней и опускающийся с неба геликоптер, похожий на причудливый цветок.

Так. Значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война...

Как зачарованный, боясь пошевелиться, Монтэг следил за происходящим. Все это казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения. Как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму, смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это все обо мне,— думал он,— ах ты, Господи, ведь это все обо мне!»

Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удобством проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений, и снова по переулкам, прямо к объёмному пламенем дому мистера и миссис Блэк и наконец сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски, а тем временем электрическое чудовище уже обнюхивает след его недавних шагов, безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже под окном. Теперь, если Монтэг захочет, он может встать и, одним глазом поглядывая на телевизор, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадратике экрана он увидит самого себя со стороны как главного героя драмы, знаменитость, о

которой все говорят, к которой прикованы все взоры, — в других гостиных в эту минуту все будут видеть его объемным, в натуральную величину, в красках! И если он не зазеваётся в этот последний момент, он еще сможет за секунду до ухода в небытие увидеть, как пронзает его прокаиновая игла — во имя счастья и спокойствия бесчисленных людей, минуту назад разбуженных истошным воем сирен и поспешивших в свои гостиные, чтобы с волнением наблюдать редкое зрелище — охоту на крупного зверя, погоню за преступником, драму с единственным действующим лицом.

Успеет ли он сказать свое последнее слово? Когда на глазах у миллионов зрителей пес схватит его, не должен ли он, Монтэг, одной фразой или хоть словом подвести итог своей жизни за эту неделю, так, чтобы сказанное им еще долго жило после того, как пес, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь, в темноту. Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем — эффектный конец! Где ему найти такое слово, такое последнее слово, чтобы огнем обжечь лица людей, пробудить их ото сна?

— Смотрите, — прошептал Фабер.

С геликоптера плавно спускалось что-то, не похожее ни на машину, ни на зверя, не мертвое, не живое, что-то, излучающее слабый зеленоватый свет. Через миг это чудовище уже стояло у тлеющих развалин. Полицейские подобрали брошенный Монтэгом огнемёт и поднесли его рукоятку к морде механического зверя. Раздались жужжание, шелканье, легкое гудение.

Монтэг, очнувшись, тряхнул головой и встал. Он допил остаток виски из стакана.

— Пора. Я очень сожалею, что так все вышло.

— Сожалеете? О чем? О том, что опасность грозит мне, моему дому? Я все это заслужил. Идите, ради Бога, идите! Может быть, мне удастся задержать их...

— Постойте. Какая польза, если и вы попадетесь? Когда я уйду, сожгите покрывало с постели — я касался его. Бросьте в печку стул, на котором я сидел. Протрите спиртом мебель, все дверные ручки. Сожгите половики в прихожей. Включите на полную мощность вентиляцию во всех комнатах, посыпьте все нафталином, если он у вас есть. Потом включите всю ваши поливные установки в саду, а дорожки промойте из шланга. Может быть, удастся прервать след...

Фабер пожал ему руку.

— Я все сделаю. Счастливого пути. Если мы оба останемся живы, на следующей неделе или еще через неделю поста-

райтесь подать о себе весть. Напишите мне в Сент-Луис, Главный почтамт, до востребования. Жаль, что не могу все время держать с вами контакт,— это было бы очень хорошо и для вас, и для меня, но у меня нет второй слуховой капсулы. Я, видите ли, никогда не думал, что она пригодится. Ах, какой я был старый глупец! Не предвидел, не подумал!.. Глупо, непростительно глупо! И вот теперь, когда нужен аппарат, у меня его нет. Ну же! Уходите!

— Еще одна просьба. Скорее дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое свое платье — старый костюм, чем заношеннее, тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки...

Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они заклеили щели картонного чемодана липкой лентой.

— Чтобы не выветрился старый запах мистера Фабера,— промолвил Фабер, весь взмокнув от усилий.

Взяв виски, Монтэг обрызгал им поверхность чемодана:

— Совсем нам ни к чему, чтобы пес сразу учуял оба запаха. Можно, я возьму с собой остаток виски? Оно мне еще пригодится. О Господи, надеюсь, наши старания не напрасны!..

Они опять пожали друг другу руки и, уже направляясь к двери, еще раз взглянули на телевизор. Пес шел по следу медленно, крадучись, принюхиваясь к ночному ветру. Над ним кружились вертолеты с телекамерами. Пес вошел в первый переулок.

— Прощайте!

Монтэг бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Он слышал, как позади него заработали поливные установки, наполняя предрассветный воздух шумом падающего дождя, сначала тихим, а затем все более сильным и ровным. Вода лилась на дорожки сада и ручейками сбегала на улицу. Несколько капель упало на лицо Монтэга. Ему послышалось, что старик что-то крикнул ему на прощание — или, может быть, ему только показалось?

Он быстро удалялся от дома, направляясь к реке.

Монтэг бежал.

Он чувствовал приближение Механического пса — словно дыхание осени, холодное, легкое и сухое, словно слабый ветер, от которого даже не колышется трава, не хлопают ставни окон, не колеблется тень от ветвей на белых плитках тротуара. Своим бегом Механический пес не нарушал неподвижности окружающего мира. Он нес с собой тишину, и Монтэг, быстро шагая по городу, все время ощущал гнет этой тишины. Наконец он стал невыносим. Монтэг бросился бежать.

Он бежал к реке. Останавливаясь временами, чтобы пере-вести дух, он заглядывал в слабо освещенные окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизорные стены, и на стенах, как облачко неонового пара, то появлялся, то исчезал Механический пес, мелькал то тут, то там, все дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Вот он на Элм-террас, на улице Линкольна, в Дубовой, в Парковой аллее, в переулке, ведущем к дому Фабера!

«Беги,— говорил себе Монтэг,— не останавливайся, не мешкай!»

Экран показывал уже дом Фабера; поливные установки работали вовсю, разбрызгивая струи дождя в ночном воздухе. Пес остановился, вздрагивая.

Нет! Монтэг судорожно вцепился руками в подоконник. Не туда! Только не туда!

Прокаиновая игла высунулась и спряталась, снова высунулась и снова спряталась. С ее кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки.

Монтэгу стало трудно дышать: в груди теснило, словно туда засунули кулак.

Механический пес повернул и бросился дальше по переулку, прочь от дома Фабера.

Монтэг оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были уже совсем близко — они все слетались к одной точке, как мошкара, летящая на свет.

Монтэг с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия.

Он громко закричал, чтобы вывести себя из оцепенения, чтобы оторваться от окна последнего из домов по этой улице и от того, что он там видел. К черту! К черту! Это помогло. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица, все сильнее запах реки. Правой, левой, правой, левой. Он бежал. Если телевизионные камеры поймают его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах двадцать миллионов бегущих Монтэгов — как в старинном водевиле с полицейскими и преступниками, преследуемыми и преследователями, который он видел тысячу раз. За ним гонятся сейчас двадцать миллионов безмолвных, как тень, псов, перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую — и так без конца!

Монтэг сунул в ухо «Ракушку».

— Полиция предлагает населению Элм-террас сделать следующее: пусть каждый, кто живет в любом доме на любой из улиц этого района, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов. Итак, приготовиться!

Конечно! Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого никогда не делали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу! Беглец не сможет укрыться! Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный, рискнувший вдруг проверить способность своих ног двигаться, бежать!

— Выглянуть по счету десять. Начинаем. Один! Два!

Он почувствовал, как весь город встал.

— Три!

Весь город повернулся к тысячам своих дверей.

Быстрее!левой, правой!

— Четыре!

Все, как лунатики, двинулись к выходу.

— Пять!

Их руки коснулись дверных ручек.

С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтэга пересохло, глаза покраснели. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперед, помочь ему пробежать последние сто ярдов.

— Шесть, семь, восемь!

На тысячах дверей повернулись дверные ручки.

— Девять!

Он пробежал мимо последнего ряда домов. Потом вниз по склону, к темной движущейся массе воды.

— Десять!

Двери распахнулись.

Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба; бледные, испуганные, они прячутся за занавесками; как серые зверьки, выглядывают они из своих электрических нор, лица с серыми бесцветными глазами, серыми губами; серые мысли в окоченелой плоти.

Но Монтэг был уже у реки.

Он окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошел в воду, разделся в темноте догола, ополоснул водой тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино прохладу, он пил ее, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку

и смотрел, как вода уносит ее. А потом, держа чемодан в руке, он побрел по воде прочь от берега и брел до тех пор, пока дно не ушло у него из-под ног; течение подхватило его и понесло в темноту.

Он уже успел проплыть ярдов триста по течению, когда пес достиг реки. Над рекой гудели огромные пропеллеры геликоптеров. Потоки света обрушились на реку, и Монтэг нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшееся сквозь тучи солнце. Он чувствовал, как река мягко увлекает его все дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег, геликоптеры повернули к городу, словно напали на новый след. Еще мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и пес. Остались лишь холодная река и Монтэг, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине, все дальше от города и его огней, все дальше от погони, от всего.

Ему казалось, будто он только что сошел с театральных подмостков, где шумела толпа актеров, или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонма лепечущих привидений. Из нереального, страшного мира он попал в мир реальный, но не мог еще вполне ощутить его реальность, ибо этот мир был слишком нов для него.

Темные берега скользили мимо; река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звезды, бесконечное шествие совершающих свой предначертанный круг светил. Огромная звездная колесница катилась по небу, грозя раздавить его.

Когда чемодан наполнился водой и затонул, Монтэг перевернулся на спину. Река лениво катила свои волны, уходя все дальше и дальше от людей, которые питались тенями на завтрак, дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему реальна; она бережно держала Монтэга в своих объятиях, она не торопила его, она давала время обдумать все, что произошло с ним за этот месяц, за этот год, за всю жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца: оно билось спокойно и ровно. И мысли уже не мчались в бешеном круговороте, они текли так же спокойно и ровно, как и поток крови в его жилах.

Луна низко висела в небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну понятно, от солнца. А солнце откуда берет свой свет? Ниоткуда, оно горит собственным огнем. Горит и горит изо дня в день, все время. Солнце и время. Солнце, время, огонь. Огонь сжигающий. Река мягко качала Монтэга на своих волнах. Огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, отмеряющие время. Все это вдруг слилось в сознании Монтэга и

стало единством. И после многих лет, прожитых на земле, у немногих минут, проведенных на этой реке, он понял наконец, почему никогда больше он не должен жечь.

Солнце горит каждый день. Оно сжигает Время. Вселенная несется по кругу и вертится вокруг своей оси; Время сжигает годы и людей, сжигает само, без помощи Монтэга. А если он, Монтэг, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать Время, то не останется ничего. Все сгорит.

Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтэг, и те, с кем он работал бок о бок всего лишь несколько часов тому назад. Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей, кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком, сберечь это в книгах, в грамофонных пластинках, в головах людей, уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками. Мир полон пожаров, больших и малых. Люди скоро будут свидетелями рождения новой профессии — профессии людей, изготавливающих огнеупорную одежду для человечества.

Он почувствовал, что ноги его коснулись твердого грунта, подошвы ботинок закрипели о гальку и песок. Река прибила его к берегу.

Он огадился. Перед ним была темная равнина, как огромное существо, безглазое и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяженностью, раскинувшееся на тысячи миль и еще дальше, без предела; зеленые холмы и леса ожидали к себе Монтэга.

Ему не хотелось покидать спокойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит Механический пес, что вершины деревьев вдруг застонут и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами вертолетов.

Но по равнине пробежал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пес больше не преследует его? Почему погоня повернула обратно в город? Монтэг прислушался. Тишина. Никого. Ничего.

«Милли,— подумал он.— Посмотри вокруг. Прислушайся! Ни единого звука. Тишина. До чего же тихо, Милли! Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй, стала бы кричать: “Замолчи! Замолчи!” Милли, Милли...» Ему стало грустно.

Милли не было, не было и Механического пса. Аромат сухого сена, донесшийся с далеких полей, воскресил вдруг в памяти Монтэга давно забытую картину. Однажды, еще совсем ребенком, он побывал на ферме. То был редкий день в

его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью завесами нереальности, за телевизорными стенами гостиных и жестяным валом города есть еще другой мир, где коровы пасутся на зеленом лугу, свиньи барахтаются в полдень в теплом иле пруда, а собаки с лаем носятся по холмам за белыми овечками.

Теперь запах сухого сена и плеск воды напоминали ему, как хорошо было спать на свежем сене в пустом сарае позади одинокой фермы, в стороне от шумных дорог, под сенью старинной ветряной мельницы, крылья которой тихо поскрипывали над головой, словно отсчитывая пролетающие годы. Лежать бы опять, как тогда, всю ночь на сеновале, прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, к шелесту листьев, к тончайшим, еле слышным ночным звукам.

Поздно вечером, думал он, ему, быть может, послышатся шаги. Он приподнимется и сядет. Шаги затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. И увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера и девушка, юная и прекрасная, сядет у темного окна и станет расчесывать косу. Ее трудно будет разглядеть, но ее лицо напомнит ему лицо той девушки, которую он знал когда-то в далеком и теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом, лицо девушки, умевшей радоваться дождю, неуязвимой для огненных светляков, знавшей, о чем говорит одуванчик, если им потереть под подбородком. Девушка отойдет от окна, потом опять появится наверху, в своей залитой лунным светом комнатке. И, внимая голосу смерти, под рев реактивных самолетов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Монтэг, будет лежать в своем надежном убежище на сеновале и смотреть, как удивительные, незнакомые ему звезды тихо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари.

Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь он не сомкнет глаз и всю ночь на губах его будет играть улыбка; теплый запах сена и все увиденное и услышанное в ночной тиши послужит для него самым лучшим отдыхом. А внизу, у лестницы, его будет ожидать еще одна, совсем уже невероятная радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещенный розовым светом раннего утра, полный до краев ощущением прелести земного существования, и вдруг замрет на месте, увидев это маленькое чудо. Потом наклонится и коснется его рукой.

У подножия лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш.

Это все, что ему теперь нужно. Доказательство того, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем он должен подумать.

Стакан молока, яблоко, груша.

Он вышел из воды.

Берег ринулся на него, как огромная волна прибоя. Темнота, и эта незнакомая ему местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным, ледяющим мокрые тело ветром, — все это разом навалилось на Монтэга. Он отпрянул назад от этой темноты, запахов, звуков. В ушах шумело, голова кружилась. Звезды летели ему навстречу, как огненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть волны несут его все равно куда. Темная громада берега напомнила ему тот случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной (самой большой, какую он когда-либо видел!); она оглушила его и швырнула в зеленую темноту, наполнила рот, нос, желудок солено-жгучей водой. Слишком много воды!

А тут было слишком много земли.

И внезапно во тьме, стеною вставшей перед ним, — шорох, чья-то тень, два глаза. Словно сама ночь вдруг глянула на него. Словно лес глядел на него.

Механический пес!

Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, столько перенести, и, когда уже считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь наконец на берег, вдруг перед тобой...

Механический пес!

Из горла Монтэга вырвался крик. Нет, это слишком! Слишком много для одного человека.

Тень метнулась в сторону. Глаза исчезли. Как сухой дождь, посыпались осенние листья.

Монтэг был в лесу один.

Олень. Это был олень. Монтэг ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя, запах кардамона, мха и крестовника; в глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступали назад, бежали и отступали в такт биению крови, стучащей в висках.

Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверно, были миллиарды; ноги Монтэга погружались в них, словно он переходил вброд сухую, шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и теплой пылью. Сколько разных запахов! Вот как будто запах сырого картофеля; так пахнет, когда разрежешь большую картофелину, белую, холодную; пролежавшую всю ночь на открытом воздухе в лунном свете. А вот запах пикулей, вот запах сельдерея, лежащего на кухонном столе, слабый запах желтой горчицы из приоткрытой баночки, запах махровых гвоз-

дик из соседнего сада. Монтэг опустил руку, и травяной стебелек коснулся его ладони, как будто ребенок тихонько взял его за руку. Монтэг поднес пальцы к лицу: они пахли лакрицей.

Он остановился, глубоко вдыхая запахи земли. И чем глубже он вдыхал их, тем осязаемее становился для него окружающий мир во всем своем разнообразии. У Монтэга уже не было прежнего ощущения пустоты — тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда.

Он брел, спотыкаясь, по сухим листьям.

И вдруг в этом новом мире необычного — нечто знакомое.

Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве — в одну сторону, в другую.

Железнодорожные рельсы.

Рельсы, ведущие прочь от города, сквозь рощи и леса, ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути.

Путь, по которому ему надо идти. Это было то единственное знакомое среди новизны, тот магический талисман, который еще понадобится ему на первых порах, которого он сможет коснуться рукой, чувствовать все время под ногами, пока будет идти через заросли куманики, через море запахов и ощущений, сквозь шорох и шепот леса.

Он двинулся вперед по шпалам.

И к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твердо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать: когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь.

Полчаса спустя, продрогший, осторожно ступая по шпалам, остро ощущая, как темнота впитывается в его тело, заползает в глаза, в рот, а в ушах стоит гул лесных звуков и ноги исколоты о кустарник и обожжены крапивой, он вдруг увидел впереди огонь.

Огонь блеснул на секунду, исчез, снова появился — он мигал вдали, словно чей-то глаз. Монтэг замер на месте: казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонек — и он погаснет. Но огонек горел, и Монтэг начал подкрадываться к нему. Прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем ему удалось подойти поближе; он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое; странным показался Монтэгу этот огонь, ибо он теперь означал для него совсем не то, что раньше.

Этот огонь ничего не сжигал — он *согревал*.

Монтэг видел руки, протянутые к его теплу, только руки — тела сидевших вокруг костра были скрыты темнотой. Над руками — неподвижные лица, оживленные отблесками пламени.

Он и не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах этого огня был совсем другой.

Бог весть, сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной фантазии, будто он лесной зверь, которого свет костра выманил из чащи. У него были влажные, в густых ресницах глаза, гладкая шерсть, шершавый мокрый нос, копыта, у него были ветвистые рога, и, если бы кровь его пролилась на землю, пахло бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к теплomu потрескиванию костра.

Вокруг костра была тишина, и тишина была на лицах людей, и было время посидеть под деревьями вблизи заброшенной колеи и поглядеть на мир со стороны, обнять его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно мир — это лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтэг подвинулся ближе к этой особой тишине, от которой, казалось, зависели судьбы мира.

А затем он услышал голоса; люди говорили, но он не мог еще разобрать, о чем. Речь их текла спокойно, то громче, то тише, — перед говорившими был весь мир, и они не спеша разглядывали его; они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой, в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всем, и не было вещи, о которой они не могли бы говорить. Монтэг чувствовал это по живым интонациям их голосов, по звучащим в них ноткам изумления и любопытства. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтэга, увидел в первый, а может быть, и в седьмой раз, и чей-то голос окликнул его:

— Ладно, можете не прятаться.

Монтэг отступил в темноту.

— Да уж ладно, не бойтесь, — снова прозвучал тот же голос. — Милости просим к нам.

Монтэг медленно подошел. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в темно-синие, из грубой холщовой ткани брюки и куртки и такие же темно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить.

— Садитесь, — сказал человек, который, по всей видимости, был у них главным. — Хотите кофе?

Монтэг молча смотрел, как темная дымящаяся струйка льется в складную жестяную кружку; потом кто-то протянул ему эту кружку. Он неловко отхлебнул, чувствуя на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми борода-

ми, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтэг пил кофе.

— Благодарю,— сказал он.— Благодарю вас от всей души.

— Добро пожаловать, Монтэг. Меня зовут Грэнджер.— Человек, назвавшийся Грэнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью.— Выпейте-ка и это тоже. Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится Механический пес, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца.

Монтэг выпил горьковатую жидкость.

— От вас будет разить, как от козла, но это не важно,— сказал Грэнджер.

— Вы знаете мое имя? — удивленно спросил Монтэг.

Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра:

— Мы следили за погоней. Мы так и думали, что вы спуститесь по реке на юг, и, когда потом услышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно шальный лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда вертолеты вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении.

— В другом направлении?

— Давайте проверим.

Грэнджер включил портативный телевизор. На экранчике замелькали краски, с жужжанием заметались тени, словно в этом маленьком ящичке был заперт какой-то кошмарный сон, и странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал:

— Погоня продолжается в северной части города! Полицейские вертолеты сосредотачиваются в районе Восемьдесят седьмой улицы и Элм-Гроув-парка!

Грэнджер кивнул:

— Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа еще у реки. Но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении. Скорее к развязке! Если обыскивать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите! Не пройдет и пяти минут, как они поймают Монтэга!

— Но как?..

— Вот увидите.

Глаз телекамеры, скрытый в брюхе вертолета, был теперь наведен на пустынную улицу.

— Видите? — прошептал Грэнджер.— Сейчас выйдете вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведет съемку камера! Сначала эффектно подается улица. Тревожное ожидание. Улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудак, оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудачков, которые любят гулять на рассвете, просто так, без всяких причин, или потому, что страдают бессонницей. Полиция следит за ними месяцы, годы. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня, оказывается, это очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О Господи! Смотрите!

Люди, сидящие у костра, подались вперед.

На экране в конце улицы из-за угла появился человек. Внезапно в объектив ворвался Механический пес. Вертолеты направили на улицу десятки прожекторов и заключили фигурку человека в клетку из белых сверкающих столбов света.

Голос диктора торжествующе возвестил:

— Это Монтэг! Погоня закончена!

Ни в чем не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руке дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял до самого конца. Он взглянул на небо, прислушался к вою сирен. Теперь телекамеры вели съемку снизу. Пес сделал прыжок — ритм и точность его движений были поистине великолепны. Свернула игла. На мгновение все замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картину: недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке — эту гигантскую пулю, стремящуюся к мишени.

— Монтэг, не двигайтесь! — произнес голос с неба.

В тот же миг пес и объектив телекамеры обрушились на человека сверху. И камера, и пес схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал!..

Наплыв.

Тишина.

Темнота.

Монтэг вскрикнул и отвернулся.

Тишина.

Люди у костра сидели молча, с застывшими лицами, пока с темного экрана не прозвучал голос диктора:

— Поиски окончены. Монтэг мертв. Преступление, совершенное против общества, наказано.

Темнота.

— Теперь мы переносим вас в «Зал под крышей» отеля «Люкс». Получасовая передача «Перед рассветом». В нашей программе...

Грэнджер выключил телевизор.

— А вы заметили, как они дали его лицо? Все время не в фокусе. Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или не вы. Дан намек — воображение зрителя дополнит остальное. Вот мерзавцы! — прошептал он.

Монтэг молчал, повернувшись к телевизору, весь дрожа, он не отрывал взгляда от пустого экрана.

Грэнджер легонько коснулся его плеча:

— Приветствуем воскресшего из мертвых.

Монтэг кивнул.

— Теперь вам не мешает познакомиться с нами, — продолжал Грэнджер. — Это Фред Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в Гарварде; это было в те годы, когда Гарвард еще не превратился в Атомно-инженерное училище. А это доктор Симмонс из Калифорнийского университета, знаток творчества Ортега-и-Гассета. Вот профессор Уэст, много лет тому назад в стенах Колумбийского университета внесший немалый вклад в науку об этике, теперь уже древнюю и забытую науку. Преподобный отец Падовер тридцать лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял прихожан из-за своего образа мыслей. Он уже давно бродяжничает с нами. Что касается меня, то я написал книгу под названием: «Пальцы одной руки. Правильные отношения между личностью и обществом». И вот теперь я здесь. Добро пожаловать к нам, Монтэг!

— Нет, мне не место среди вас, — с трудом выговорил наконец Монтэг. — Вся жизнь я делал только глупости.

— Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки, иначе мы не были бы здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Я ударил пожарника, когда он пришел, чтобы сжечь мою библиотеку. Это было много лет тому назад. С тех пор я вынужден скрываться. Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня есть часть Екклесиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.

— Екклесиаст — это неплохо. Где вы хранили его?

— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.

— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул.

— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.

— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Екклесиаст?

— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.

— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо, — будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Екклесиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!

— Но я все забыл!

— Нет, ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память.

— Я уже пытался вспомнить.

— Не пытайтесь. Это придет само, когда будет нужно. Человеческая память похожа на чувствительную фотопленку, и мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшееся на ней. Симмонс разработал метод, позволяющий воскрешать в памяти все однажды прочитанное. Он трудился над этим двадцать лет. Монтэг, хотели бы вы прочесть «Государство» Платона?

— О да, конечно!

— Ну вот, я — это «Государство» Платона. А Марка Аврелия хотите почитать? Мистер Симмонс — Марк Аврелий.

— Привет! — сказал мистер Симмонс.

— Здравствуйте, — ответил Монтэг.

— Разрешите познакомить вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры «Путешествие Гулливера». А вот Чарлз Дарвин, вот Шопенгауэр, а это Эйнштейн, а этот, рядом со мной, — мистер Альберт Швейцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтэг, — Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок, Томас Джефферсон и Линкольн — к вашим услугам. Мы также — Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Они негромко рассмеялись.

— Этого не может быть! — воскликнул Монтэг.

— Нет, это так, — ответил, улыбаясь, Грэнджер. — Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем книгу, а потом сжигаем, чтобы ее у нас не нашли. Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся, меняем места, пленку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше все хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего не заподозрит. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пейн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. Но

уже поздно. И началась война. Мы здесь, а город там, вдали, в своем красочном уборе. О чем вы задумались, Монтэг?

— Я думаю, как же я был глуп, когда пытался бороться собственными силами. Подбросил книги в дом пожарного и дал сигнал тревоги.

— Вы делали, что могли. В масштабах всей страны это дало бы прекрасные результаты. Но наш путь борьбы проще и, как нам кажется, лучше. Наша задача — сохранить знания, которые нам еще будут нужны, сберечь их в целостности и сохранности. Пока мы не хотим никого задевать и никого подстрекать. Ведь если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним, погибнут, быть может, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане: бродим по заброшенным колеям, ночью прячемся в горах. И горожане оставили нас в покое. Иной раз нас останавливают и обыскивают, но никогда не находят ничего, что могло бы дать повод к аресту. У нас очень гибкая, неуловимая, разбросанная по всем уголкам страны организация. Некоторые из нас сделали себе пластические операции — изменили свою внешность и отпечатки пальцев. Сейчас нам очень тяжело: мы ждем, чтобы поскорее началась и кончилась война. Это ужасно, но тут мы ничего не можем сделать. Не мы управляем страной, мы — лишь ничтожное меньшинство, глас вопиющего в пустыне. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся.

— И вы думаете, вас будут слушать?

— Если нет, придется снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети, в свою очередь, передадут другим. Много, конечно, будет потеряно. Но людей нельзя силком заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем, почему так вышло, почему мир взорвался у них под ногами. Вечно так продолжаться не может.

— Много ли вас?

— По дорогам, на заброшенных железнодорожных колеях нас сегодня тысячи, с виду мы — бродяги, но в головах у нас целые хранилища книг. Вначале все было стихийно. У каждого была какая-то книга, которую он хотел запомнить. Но мы встречались друг с другом, и за эти двадцать или более лет мы создали нечто вроде организации и наметили план действий. Самое главное, что нам надо было понять, — это что сами по себе мы ничто, что мы не должны быть педантами или чувствовать свое превосходство над другими людьми. Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли, — ничего больше. Некоторые из нас живут в небольших городках.

Глава первая из книги Торо «Уолден» живет в Грин-Ривер, глава вторая — в Уиллоу-Фарм, штат Мэн. В штате Мэриленд есть городок с населением всего двадцать семь человек, так что вряд ли туда станут бросать бомбы; в этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрана Рассела. Его можно взять в руки, как книгу, этот городок, и полистать страницы — столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать; созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают, и мы все это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы и придется опять все начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство: если приходится все начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий.

— А сейчас что мы будем делать? — спросил Монтэг.

— Ждать, — ответил Грэнджер. — И на всякий случай уйдем подальше, вниз по реке.

Он начал забрасывать костер землей. Остальные помогали ему, помогал и Монтэг. В лесной чаще люди молча гасили огонь.

При свете звезд они стояли у реки.

Монтэг взглянул на светящийся циферблат своих часов. Пять часов утра. Только час прошел. Но он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет.

— Почему вы верите мне? — спросил он.

Человек шевельнулся в темноте.

— Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтэг. Кроме того, город никогда не оказывал нам такой чести и не устраивал за нами столь пышной погони. Десяток чудаков с головами, напичканными поэзией, — это им не опасно; они это знают, знаем и мы; все это знают. Пока весь народ — массы — не цитирует еще Великую хартию вольностей и Конституцию, нет оснований для беспокойства. Достаточно, если пожарники будут время от времени присматривать за порядком. Нет, нас горожане не трогают. А вас, Монтэг, они здорово потрелили.

Они шли вдоль реки, направляясь на юг. Монтэг пытался разглядеть лица своих спутников, старые, изборожденные морщинами, усталые лица, которые он видел у костра. Он искал на них выражение радости, решимости, торжества над будущим. Он, кажется, ожидал, что от тех знаний, которые они несли в себе, их лица будут светиться, как зажженный фонарь

в ночном мраке. Но ничего этого он не увидел. Там, у костра, их лица озарял отблеск горящих сучьев, а сейчас они ничем не отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, прошедших в пути немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное; и вот наконец, уже стариками, они собрались вместе, чтобы поглядеть, как опустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем, они ни в чем не были уверены, кроме одного,— они видели книги, стоящие на полках, книги с еще не разрезанными страницами, ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги, кто чистыми, кто грязными руками. Монтэг пристально глядел в лица своих спутников.

— Не пытайтесь судить о книгах по обложкам,— сказал кто-то.

Все тихо засмеялись, продолжая идти дальше, вниз по реке.

Оглушительный, режущий ухо скрежет — и в небе пронеслись ракетные самолеты; они исчезли раньше, чем путники успели поднять головы. Самолеты летели со стороны города. Монтэг взглянул туда, где далеко за рекой лежал город; сейчас там виднелось лишь слабое зарево.

— Там осталась моя жена.

— Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придется плохо,— сказал Грэнджер.

— Странно, я совсем не тоскую по ней. Странно, но я как будто не способен ничего чувствовать,— промолвил Монтэг.— Секунду назад я даже подумал: если она умрет, мне не будет жаль. Это нехорошо. Со мной, должно быть, творится что-то неладное.

— Послушайте, что я вам скажу,— ответил Грэнджер, беря его под руку; он шагал теперь рядом, помогая Монтэгу пробираться сквозь заросли кустарника.— Когда я был еще мальчиком, умер мой дед; он был скульптором. Он был очень добрый человек, очень любил людей, это он помог очистить наш город от трущоб. Нам, детям, он мастерил игрушки; за свою жизнь он создал, наверно, миллион разных вещей. Руки его всегда были чем-то заняты. И вот, когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нем, а о тех вещах, которые он делал. Я плакал потому, что знал: ничего этого больше не будет; дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева, разводить с нами голубей на заднем дворе, играть на скрипке или рассказывать нам смешные истории — никто не умел так их рассказывать, как он. Он был частью нас самих, и, когда он умер,

все это ушло из нашей жизни: не осталось никого, кто мог бы делать это так, как делал он. Он был особенный, ни на кого не похожий. Очень нужный для жизни человек. Я так и не примирился с его смертью. Я и теперь часто думаю о том, каких прекрасных творений искусства лишился мир из-за его смерти, сколько забавных историй осталось не рассказано, сколько голубей, вернувшись домой, не ошутят уже ласкового прикосновения его рук. Он переделывал облик мира. Он дарил миру новое. В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на десять миллионов прекрасных поступков.

Монтэг шел молча.

— Милли, Милли,— прошептал он,— Милли...

— Что вы сказали?

— Моя жена... Милли... Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить... Думаю о ее руках, но не вижу, чтобы они делали что-нибудь. Они висят вдоль ее тела как плети, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это все, что они умели делать.

Монтэг обернулся и взглянул назад.

Что ты дал городу, Монтэг?

Пепел.

Что давали люди друг другу?

Ничего.

Грэнджер стоял рядом с Монтэгом и смотрел в сторону города.

— Мой дед говорил: «Каждый должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом, или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращенное тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив». Мой дед говорил: «Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригушим траву на лужайке, и настоящим садовником,— говорил мне дед.— Первый пройдет, и его как не бывало, но садовник будет жить не одно поколение».

Грэнджер сжал локоть Монтэга.

— Однажды, лет пятьдесят назад, мой дед показал мне несколько фильмов о реактивных снарядах «Фау-2»,— продолжал он.— Вам когда-нибудь приходилось с расстояния в двести миль видеть грибовидное облако, что образуется от взрыва атомной

бомбы? Это ничто, пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни — это все равно что булавоочный укол. Мой дед раз десять провертел этот фильм, а потом сказал: он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои стены и впустят к себе леса, поля и дикую природу. Люди не должны забывать, сказал он, что на земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно все, что дала человеку. Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана — просто чтобы еще раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает. Мой дед говорил: если мы не будем постоянно ощущать ее рядом с собой в ночи, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придет и поглотит нас. Понимаете?

Грэнджер повернулся к Монтэгу.

— Дед мой умер много лет тому назад, но, если вы откроете мою черепную коробку и взгляните в извилины моего мозга, вы найдете там отпечатки его пальцев. Он коснулся меня рукой. Он был скульптором, я уже говорил вам. «Ненавижу римлянина по имени Статус Кво,— сказал он мне однажды.— Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрешь. Старайся увидеть мир. Он прекраснее любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на свете. А если есть, так он сродни ленивцу, который день-деньской висит на дереве головой вниз и на землю спускается только в самом крайнем случае. К черту! — говорил он.— Тряхни посильнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснется задницей об землю!»

— Смотрите! — воскликнул вдруг Монтэг.

В это мгновение началась и окончилась война.

Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтэгом не мог сказать, что именно они видели и видели ли хоть что-нибудь. Мимолетная вспышка света на черном небе, чуть уловимое движение... За этот кратчайший миг там, наверху, на высоте десяти, пяти, одной мили пронеслись, должно быть, реактивные самолеты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля, и тотчас же с ужасающей быстротой и вместе с тем так медленно бомбы стали падать на пробуждающийся ото сна город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолеты, мчась со скоростью пять тысяч миль в час, приблизились к цели и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот момент, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А за последующие три секунды, всего

три секунды, пока бомбы не упали на цель, вражеские самолеты уже прорезали все обозримое пространство и ушли за горизонт, невидимые, как невидима пуля в бешеной быстроте своего полета; и незнакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в нее, ибо ее не видит, но сердце его уже пробито, тело как подкошенное падает на землю, кровь вырвалась из жил, мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорогих воспоминаний и, не успев даже понять, что случилось, умирает.

Да, в это трудно было поверить. То был один-единственный мгновенный жест. Но Монтэг видел этот взмах железного кулака, занесенного над далеким городом; он знал, что сейчас последует рев самолетов, который, когда уже все свершилось, внятно скажет: разрушай, не оставляй камня на камне, погибни. Умри.

На какое-то мгновение Монтэг задержал бомбы в воздухе, задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. «Бегите! — кричал он Фаберу. — Бегите! — кричал он Клариссе. — Беги, беги!» — зывал он к Милдред. И тут же вспомнил: Кларисса умерла, а Фабер покинул город; где-то по долине меж гор мчится сейчас пятичасовой автобус, держа путь из одного объекта разрушения в другой. Разрушение еще не наступило; оно еще висит в воздухе, но оно неизбежно. Не успеет автобус пройти еще пятидесяти ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора.

А Милдред?..

«Беги, беги!»

В какую-то долю секунды, пока бомбы еще висели в воздухе, на расстоянии ярда, фута, дюйма от крыши отеля, в одной из комнат он увидел Милдред. Он видел, как, подавшись вперед, она всматривалась в мерцающие стены, с которых, не умолкая, говорили с ней «родственники». Они тараторили и болтали, называли ее по имени, улыбались ей, но ничего не говорили о бомбе, которая повисла над ее головой, — вот уже только полдюйма, вот уже только четверть дюйма отделяют смертоносный снаряд от крыши отеля. Милдред впилась взглядом в стены, словно там была разгадка ее тревожных бессонных ночей. Она жадно тянулась к ним, словно хотела броситься в этот водоворот красок и движения, нырнуть в него, окунуться, утонуть в его призрачном веселье.

Упала первая бомба.

— Милдред!

Быть может, — но узнает ли кто об этом? — быть может, огромные радио- и телевизионные станции с их бездной красок, света и пустой болтовни первыми исчезли с лица земли?

Монтэг, бросившийся плашмя на землю, увидел, почувствовал — или ему почудилось, что он видит, чувствует, — как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как они из волшебной призмы превратились в простое зеркало; он услышал крик Милдред, ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось жить, она увидела на стенах свое лицо, лицо, ужасающее своей пустотой, одно в пустой комнате, пожирающее глазами самое себя. Она поняла наконец, что это ее собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг все здание отеля обрушилось на нее и вместе с сотнями тонн кирпича, металла, штукатурки, дерева увлекло вниз, на головы других людей, а потом все ниже и ниже по этажам, до самого подвала, и там, внизу, мощный взрыв бессмысленно и нелепо покончил с ними раз и навсегда.

— Вспомнил! — Монтэг прильнул к земле. — Вспомнил! Чикаго! Это было в Чикаго, много лет назад. Милли и я. Вот где мы встретились! Теперь помню. В Чикаго. Много лет назад.

Сильный взрыв потряс воздух. Воздушная волна прокатилась над рекой, опрокинула людей, словно костяшки домино, водяным смерчем прошлась по реке, взметнула черный столб пыли и, застав в деревьях, пронеслась дальше, на юг. Монтэг еще теснее прижался к земле, словно хотел врасти в нее, и плотно зажмурил глаза. Только раз он приоткрыл их и в это мгновение увидел, как город поднялся на воздух. Казалось, бомбы и город поменялись местами. Еще одно невероятное мгновение — новый и неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента, из блесков разорванного в клочки металла, в путанице обломков, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того чтобы свергнуться вниз, как фантастическая фреска, город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез.

Спустя несколько секунд грохот далекого взрыва принес Монтэгу весть о гибели города.

Монтэг лежал на земле. Мелкая цементная пыль засыпала ему глаза, сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задыхался и плакал. И вдруг вспомнил... Да, да, я вспомнил что-то! Что это, что? Екклесиаст! Да, это главы из Екклесиас-

та и Откровения. Скорей, скорей, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер. Екклесиаст, вот он! Прижавшись к земле, еще вздрагивающей от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова, и они были прекрасны и совершенны, и теперь реклама зубной пасты «Денгэм» не мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него...

— Вот и все,— произнес кто-то.

Люди лежали, судорожно глотая воздух, словно выброшенные на берег рыбы. Они цеплялись за землю, как ребенок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, пусть даже мертвые и холодные. Впившись пальцами в землю и широко разинув рты, люди кричали, чтобы уберечь свои барабанные перепонки от грохота взрывов, чтобы не дать помутиться рассудку. И Монтэг тоже кричал, всеми силами сопротивляясь ветру, который резал ему лицо, рвал губы, заставлял кровь течь из носа.

Монтэг, лежа, видел, как мало-помалу оседало густое облако пыли; вместе с тем великое безмолвие опускалось на землю. И ему казалось, что он видит каждую крупинку пыли, каждый стебелек травы, слышит каждый шорох, крик и шепот, рождавшийся в этом новом мире. Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нужное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и вдуматься, разумом и чувствами постигнуть действительность нового дня.

Монтэг взглянул на реку. Может быть, мы пойдем вдоль берега? Он посмотрел на старую железнодорожную колею. А может быть, мы пойдем этим путем? А может быть, мы пойдем по большим дорогам? И теперь у нас будет время все разглядеть и все запомнить. И когда-нибудь позже, когда все виденное уляжется где-то в нас, оно снова выльется наружу в наших словах и в наших делах. И многое будет неправильно, но многое окажется именно таким, как нужно. А сейчас мы начнем наш путь; мы будем идти и смотреть на мир, мы увидим, как он живет, говорит, действует, как он выглядит на самом деле. Теперь я хочу видеть все! И хотя то, что я увижу, не будет еще моим, когда-нибудь оно сольется со мной воедино и станет моим «я». Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с ней миллион раз за день обернется в твоих жилах. Я так крепко ухвачу его, что он уже больше не ускользнет от меня. Когда-нибудь он весь будет в моих руках; сейчас я уже чуть-чуть коснулся его пальцем. И это только начало.

Ветер утих.

Еще какое-то время Монтэг и остальные лежали в полузабытии, на грани сна и пробуждения, еще не в силах подняться и начать новый день, с тысячами забот и обязанностей: разжигать костер, искать пищу, двигаться, идти, жить. Они моргали, стряхивая пыль с ресниц. Слышалось их дыхание, вначале прерывистое и частое, потом все более ровное и спокойное.

Монтэг приподнялся и сел. Однако он не сделал попытки встать на ноги. Его спутники тоже зашевелились. На темном горизонте алела узкая полоска зари. В воздухе чувствовалась прохлада, предвещающая дождь.

Молча поднялся Грэнджер. Бормоча под нос проклятия, он ощупал свои руки, ноги. Слезы текли по его щекам. Тяжело передвигая ноги, он спустился к реке и взглянул вверх по течению.

— Города нет,— промолвил он после долгого молчания.— Ничего не видно. Так, кучка пепла. Город исчез.— Он опять помолчал, потом добавил: — Интересно, многие ли понимали, что так будет? Многих ли это застало врасплох?

А Монтэг думал: сколько еще городов погибло в других частях света? Сколько их погибло в нашей стране? Сто, тысяча?

Кто-то достал из кармана клочок бумаги, чиркнул спичкой, на огонек положили пучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали, но вот наконец костер вспыхнул, разгораясь все жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру, низко склоняясь над огнем. Лучи солнца коснулись их затылков.

Грэнджер развернул промасленную бумагу и вынул кусок бекона.

— Сейчас мы позавтракаем, а потом повернем обратно и пойдем вверх по реке. Мы будем нужны там.

Кто-то подал небольшую сковородку, ее поставили на огонь. Через минуту на ней уже шипели и прыгали кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом.

Люди молчали.

Грэнджер смотрел в огонь.

— Феникс,— сказал он вдруг.

— Что?

— Когда-то в древности жила на свете глупая птица феникс. Каждые несколько сотен лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой родней человеку. Но, сгорев, она всякий раз снова возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущество

перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет. А раз мы это знаем и все это записано и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества.

Он снял сковородку с огня и дал ей немного остынуть. Затем все молча, каждый думая о своем, принялись за еду.

— Теперь мы пойдем вверх по реке,— сказал Грэнджер.— И помните одно: сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. Но заметьте — даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Мы продолжали осквернять память мертвых, мы плевали на могилы тех, кто жил до нас. В ближайшую неделю, месяц, год мы всюду будем встречать одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, и поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал. И в ближайший год выдавать зеркала, зеркала, ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя.

Они кончили завтракать и погасили костер. Вокруг них день разгорался все ярче, словно кто-то подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Улетевшие было птицы вернулись и снова щебетали в ветвях деревьев.

Монтэг двинулся в путь. Он шел на север. Оглянувшись, он увидел, что все идут за ним. Удивленный, он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперед, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтэг пошел вперед. Он взглянул на реку, и на небо, и на ржавые рельсы в траве, убегающие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена, и куда под покровом ночи приходили люди, покидавшие города. Когда-нибудь потом, через месяц или полгода, но не позже чем через год, он опять пройдет, уже один, по этим местам и будет идти до тех пор, пока не нагонит тех, кто прошел здесь до него.

А сейчас им предстоит долгий путь: они будут идти все утро. До самого полудня. И если пока что они шли молча, то только оттого, что каждому было о чем подумать и что вспомнить.

Позже, когда солнце взойдет высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать или, может быть, каждый просто расскажет то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверняка, что все это цело в его памяти. Монтэг чувствовал, что и в нем пробуждаются и тихо оживают слова. Что скажет он, когда придет его черед? Что может он сказать такого в этот день, что хоть немного облегчит им путь? Всему свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Да, это так. Но что еще? Есть еще что-то, еще что-то, что надо сказать...

«...И по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов».

Да, думал Монтэг, вот что я скажу им в полдень. В полдень...

Когда мы подойдем к городу.



Часть III

Марсианские хроники



Моей жене Маргарет с искренней любовью

Марсианские хроники

«Великое дело — способность удивляться, — сказал философ. — Космические полеты снова сделали всех нас детьми.»

Январь 1999

РАКЕТНОЕ ЛЕТО

Только что была огайская зима: двери заперты, окна закрыты, стекла незрячие от изморози, все крыши оторочены сосульками, дети мчатся с горок на лыжах, женщины в шубах черными медведицами бредут по гололедным улицам,

И вдруг могучая волна тепла прокатилась по городку, вал горячего воздуха захлестнул его, будто нечаянно оставили открытой дверь пекарни. Зной омывал дома, кусты, детей. Сосульки срывались с крыш, разбивались и таяли. Двери распахнулись. Окна раскрылись. Дети скинули свитера. Мамаши сбросили медвежье обличье. Снег испарился, и на газонах показалась прошлогодняя жухлая трава.

Ракетное лето. Из уст в уста с ветром из дома в открытый дом — два слова: *Ракетное лето.* Жаркий, как дыхание пустыни, воздух переиначивал морозные узоры на окнах, слизывал хрупкие кружева. Лыжи и санки вдруг стали не нужны. Снег, падавший на городок с холодного неба, превращался в горячий дождь, не долетев до земли.

Ракетное лето. Высунувшись с веранд под дробную капель, люди смотрели вверх на алеющее небо.

Ракета стояла на космодроме, испуская розовые клубы огня и печного жара. В стуже зимнего утра ракета творила лето каждым выдохом своих мощных дюз. Ракета делала погоду, и на короткий миг во всей округе воцарилось лето...

Февраль 1999

ИЛЛА

Они жили на планете Марс, в доме с хрустальными колоннами, на берегу высохшего моря, и по утрам можно было видеть, как миссис К ест золотые плоды, растущие из хрустальных стен, или наводит чистоту, рассыпая пригоршнями магнитную пыль, которую горячий ветер уносил вместе с сором. Под вечер, когда древнее море было недвижно и знойно, и винные деревья во дворе стояли в оцепенении, и старинный марсианский городок вдали весь уходил в себя, и никто не выходил на улицу, мистера К можно было видеть в его комнате, где он читал металлическую книгу, перебирая пальцами выпуклые иероглифы, точно струны арфы. И книга пела под его рукой, певучий голос древности повествовал о той поре, когда море алым туманом застило берега и древние шли на битву, вооруженные роями металлических шершеней и электрических пауков.

Мистер и миссис К двадцать лет прожили на берегу мертвого моря, и их отцы и деды тоже жили в этом доме, который поворачивался, подобно цветку, вслед за солнцем, вот уже десять веков.

Мистер и миссис К были еще совсем не старые. У них была чистая, смуглая кожа настоящих марсиан, глаза желтые, как золотые монеты, тихие, мелодичные голоса. Прежде они любили писать картины химическим пламенем, любили плавать в каналах в то время года, когда винные деревья наполняли их зеленой влагой, а потом до рассвета разговаривать под голубыми святищами портретами в комнате для бесед.

Теперь они уже не были счастливы.

В то утро миссис К, словно вылепленная из желтого воска, стояла между колоннами, прислушиваясь к зною бесплодных песков, устремленная куда-то вдаль.

Что-то должно было произойти. Она ждала.

Она смотрела на голубое марсианское небо так, словно оно могло вот-вот поднатужиться, сжаться и исторгнуть на песок сверкающее чудо.

Но все оставалось по-прежнему.

Истомившись ожиданием, она стала бродить между туманными колоннами. Из желобков в капителях заструился тихий дождь, охлаждая раскаленный воздух, глядя ее кожу. В жаркие дни это было все равно что войти в ручей. Прохладные струи посеребрили полы. Слышно было, как муж без усталости играет на своей книге; древние напевы не приедались его пальцам.

Она подумала без волнения: он бы мог когда-нибудь подарить и ей, как бывало прежде, столько же времени, обнимая ее, прикасаясь к ней, словно к маленькой арфе, как он прикасается к своим невозможным книгам.

Увы. Она покачала головой, отрешенно пожала плечами, чуть-чуть. Веки мягко прикрыли золотистые глаза. Брак даже молодых людей делает старыми, давно знакомыми...

Она опустилась в кресло, которое тотчас само приняло форму ее фигуры. Она крепко, нервно зажмурилась.

И сон явился.

Смуглые пальцы вздрогнули, метнулись вверх, ловя воздух. Мгновение спустя она испуганно выпрямилась в кресле, прерывисто дыша.

Она быстро обвела комнату взглядом, точно надеясь кого-то увидеть. Разочарование: между колоннами было пусто.

В треугольной двери показался ее супруг.

— Ты звала меня? — раздраженно спросил он.

— Нет! — почти крикнула она.

— Мне почудилось, ты кричала.

— В самом деле? Я задремала и видела сон!

— Днем? Это с тобой не часто бывает.

Глаза ее говорили о том, что она ошеломлена сновидением.

— Странно, очень-очень странно, — пробормотала она. —

Этот сон...

— Ну? — Ему не терпелось вернуться к книге.

— Мне снился мужчина.

— Мужчина?

— Высокий мужчина, шесть футов один дюйм.

— Что за нелепость: это же великан, урод.

— Почему-то, — она медленно подбирала слова, — он не казался уродом. Несмотря на высокий рост. И у него — ах, я знаю, тебе это покажется вздором, — у него были голубые глаза!

— Голубые глаза! — воскликнул мистер К. — О боги! Что тебе приснится в следующий раз? Ты еще скажешь — черные волосы?

— Как ты *угадал*?! — воскликнула она.

— Просто назвал наименее правдоподобный цвет, — сухо ответил он.

— Да, черные волосы! — крикнула она. — И очень белая кожа. *Совершенно* необычайный мужчина! На нем была странная одежда, и он спустился с неба и ласково говорил со мной.

Она улыбалась.

— С неба — какая чушь!

— Он прилетел в металлической машине, которая сверкала на солнце, — вспоминала миссис К. Она закрыла глаза, чтобы воссоздать видение. — Мне снилось небо, и что-то блеснуло, будто подброшенная в воздух монета, потом стало больше, больше и плавно опустилось на землю — это был длинный серебристый корабль, круглый, чужой корабль. Потом сбоку отворилась дверь и вышел этот высокий мужчина.

— Работала бы побольше, тебе не снились бы такие дурацкие сны.

— А мне он понравился, — ответила она, откидываясь в кресле. — Никогда не подозревала, что у меня такое воображение. Черные волосы, голубые глаза, белая кожа! Какой странный мужчина — и, однако, очень красивый.

— Самовнушение.

— Ты недобрый. Я вовсе не придумала его намеренно, он сам явился мне, когда я задремала. Даже не похоже на сон. Так неожиданно, необычно... Он посмотрел на меня и сказал: «Я прилетел на этом корабле с третьей планеты. Меня зовут Натаниел Йорк...»

— Нелепое имя, — возразил супруг. — Таких вообще не бывает.

— Конечно, нелепое, ведь это был сон, — покорно согласилась она. — Еще он сказал: «Это первый полет через космос. Нас всего двое в корабле — я и мой друг Берт».

— *Еще одно* нелепое имя.

— Он сказал: «Мы из города на *Земле*, так называется наша планета», — продолжала миссис К. — Это его слова. Так и сказал — Земля. И говорил он не на нашем языке. Но я каким-то образом понимала его. В уме. Телепатия, очевидно.

Мистер К отвернулся. Ее голос остановил его.

— Илл! — тихо позвала она. — Ты никогда не задумывался... ну... *есть ли* люди на третьей планете?

— На третьей планете жизнь невозможна, — терпеливо разъяснил супруг. — Наши ученые установили, что в тамошней атмосфере слишком много кислорода.

— А как было бы чудесно, если бы там *жили* люди! И умели путешествовать через космос на каких-нибудь особенных кораблях.

— Вот что, Илла, ты отлично знаешь, я ненавижу эту сентиментальную болтовню. Займемся лучше делом.

Близился вечер, когда она, ступая между колоннами, источающими дождь, запела. Один и тот же мотив, снова и снова.

— Что это за песня? — рявкнул в конце концов супруг, проходя к огненному столу.

— Не знаю.

Она подняла на него глаза, удивляясь сама себе. Озадаченно поднесла ко рту руку. Солнце садилось, и, по мере того как дневной свет угасал, дом закрывался, будто огромный цветок. Между колоннами подул ветерок, на огненном столе жарко бурлило озерко серебристой лавы. Ветер перебирал кирпичные волосы миссис К, тихонько шепча ей на ухо. Она молча стояла, устремив затуманившийся взор золотистых глаз вдаль, на бледно-желтую гладь морского дна, словно вспоминая что-то.

Глазами-то ст произнеси,
И я ответчу взглядом,—

запела она тихо, медленно, нежно.

Иль край бокала поцлуй —
И мне вина не надо¹.

Миссис К повторила мелодию, уже без слов, закрыв глаза, и руки ее словно порхали по ветру. Наконец она умолкла. Мелодия была прекрасна.

— Впервые слышу эту песню. Ты сама ее сочинила? — строго спросил он, испытующе глядя на нее.

— Нет. Да. Право, не знаю! — Она была в смятении. — Я даже не понимаю слов, это другой язык!

— Какой язык?

Она машинально бросала куски мяса в кипящую лаву.

— Не знаю. — Через мгновение мясо было готово, она извлекла его из огня и подала мужу на тарелке. — Ах, наверно, я просто придумала весь этот вздор, только и всего. Сама не понимаю почему.

Он ничего не сказал. Смотрел, как она погружает мясо в шипящую огненную лужицу. Солнце скрылось. Медленно-медленно вошла в комнату ночь, темным вином заполнила ее до потолка, поглотив колонны и их двоих. Лишь отблески серебристой лавы озаряли лица.

Она снова стала напевать странную песню.

Он вскочил со стула и гневно проществовал к двери.

Позднее он доел ужин один.

¹ Стихотворение Бена Джонсона в переводе Я. Берлина.

Встав из-за стола, потянулся, поглядел на нее и, зевая, предложил:

— Съездим на огненных птицах в город, развлечемся?

— Ты *серьезно*? — спросила она. — Ты не заболел?

— А что тут странного?

— Но мы уже полгода нигде не были!

— По-моему, неплохая мысль.

— С чего это вдруг ты так заботлив?

— Ну, хватит, — брюзгливо бросил он. — Поедешь или нет?

Она посмотрела на седую пустыню. Две белые луны вышли из-за горизонта. Прохладная вода гладила пальцы ног. Легкая дрожь пробежала по ее телу. Больше всего ей хотелось остаться здесь, сидеть тихо, беззвучно, неподвижно, пока не свершится то, чего она ждала весь день, то, что не должно было произойти и все же могло, могло случиться... Душа встрепенулась от нежного прикосновения песни.

— Я...

— Для тебя же лучше, — настаивал он. — Поехали.

— Я устала, — ответила она. — Как-нибудь в другой раз.

— Вот твой шарф. — Он подал ей флакон. — Мы уже который месяц никуда не выезжали.

— Если не считать твоих поездок в Кси-Сити два раза в неделю. — Она избегала глядеть на него.

— Дела, — сказал он.

— Дела? — прошептала она.

Из флакона брызнула жидкость, превратилась в голубую мглу и, трепеща, обвилась вокруг ее шеи.

На ровном прохладном песке, светясь, словно раскаленные угли, ожидали огненные птицы. Надуваемый ночным ветром, в воздухе плескался белый балдахин, множеством зеленых лент привязанный к птицам.

Илла легла под балдахин, и по приказу ее мужа пылающие птицы взметнулись к темному небу. Ленты натянулись, балдахин взмыл в воздух. Взвизгнув, ушли вниз пески; мимо, мимо потянулись голубые холмы, оттеснив назад их дом, колонны, источающие дождь, цветы в клетках, поющие книги, тихие ручейки на полу. Она не глядела на мужа. Ей было слышно, как он покрикивал на птиц, а те взвивались все выше, летя, словно тысячи каленых искр, словно багрово-желтый фейерверк, все дальше в небо, увлекая за собой сквозь ветер балдахин — трепещущий белый лепесток.

Она не смотрела на мелькающие внизу древние мертвые города, на дома — словно вырезанные из кости шахматы, не смотрела на древние каналы, наполненные пустотой и греза-

ми. Над высохшими реками и сухими озерами пролетали они, будто лунный блик, будто горящий факел.

Она глядела только на небо.

Муж что-то сказал.

Она глядела на небо.

— Ты слышала, что я сказал?

— Что?

Он шумно выдохнул.

— Могла бы быть повнимательнее.

— Я задумалась.

— Никогда не знал, что ты такая любительница природы.

Сегодня ты просто не отрываешь глаз от неба,— сказал он.

— Оно очень красиво.

— Я вот о чем подумал,— медленно продолжал супруг.— Не позвонить ли сегодня Халлу? Договориться, что мы приедем — на недельку, не больше! — к ним в Голубые горы. Чем не идея?..

— Голубые горы! — Она схватилась одной рукой за край балдахина и резко повернулась к нему.

— Я ведь только предлагаю.

— И когда ты думаешь ехать? — нервно спросила она.

— Да можно отправиться хоть завтра утром,— подчеркнуто небрежно бросил он.— Сама знаешь: раньше начнешь, скорее...

— Но мы еще *никогда* не уезжали так рано!

— Ну, в этом году в виде исключения...— Он улыбнулся.—

Нам полезно переменить обстановку. Пожить в тиши, в покое. Словом, сама понимаешь. У тебя ведь нет *других* планов? Поедем, решено?

Она вздохнула, помедлила, потом ответила:

— Нет.

— Что? — Его возглас испугал птиц. Балдахин дернулся.

— Нет,— твердо сказала она.— Я не поеду.

Он посмотрел на нее. Разговор был окончен. Она отвернулась.

Птицы летели дальше — десять тысяч гонимых ветром угольков.

На рассвете солнце, пронизав лучами хрустальные колонны, растворило туман, на котором покоилась спящая Илла. Всю ночь она парила над полом, как бы плавая на мягком ложе из тумана, который пролился из стен, едва Илла прилегла. Всю ночь она проспала на этой недвижимой реке, точно челн среди немого потока. Теперь туман улетучивался, и наконец река спала, оставив Иллу на берегу пробуждения.

Она открыла глаза.

Над ней стоял муж. Было похоже, что он стоит тут, наблюдая, уже не один час. Почему-то Илла не могла смотреть ему в глаза.

— Тебе опять снился этот сон! — сказал он. — Ты разговаривала, не давала мне уснуть. Тебе *непременно* надо показать-ся врачу.

— Ничего со мной не случится.

— Ты много говорила во сне!

— Да? — Она поспешно села.

В комнате было холодно. Серый утренний свет проявил черты Иллы.

— Что тебе снилось?

Она молчала, вспоминая.

— Корабль. Он снова спустился с неба, и из него вышел высокий человек и заговорил со мной. Он шутил, смеялся, и мне было хорошо.

Мистер К коснулся рукой колонны. Окутанные паром струйки теплой воды вытеснили холодок из комнаты. Лицо мистера К было бесстрастно.

— А потом, — продолжала она, — этот мужчина, у которого такое странное имя — Натаниел Йорк, сказал, что я прекрасна, и... и поцеловал меня.

— Ха! — крикнул муж и отвернулся, играя желваками.

— Но это всего лишь сон. — Ей стало весело.

— Ну и помалкивай про свои нелепые женские сны!

— Ты ведешь себя как ребенок. — Она откинулась на последние ключья химического тумана. Мгновение спустя тихо рас-смеялась.

— Я еще *что-то* вспомнила, — призналась она.

— Ну *что*, говори, что?! — вскричал муж.

— Илл, ты такой раздражительный!

— Говори! — потребовал он. — У тебя не должно быть секретов от меня!

На нее смотрело сверху его мрачное, суровое лицо.

— Я никогда не видела тебя таким, — ответила Илла; ей было и страшно, и забавно. — Ничего такого не было, просто этот Натаниел Йорк сказал... словом, он сказал мне, что увезет меня на своем корабле, увезет на небеса, возьмет меня с собой на свою планету. Конечно, чепуха.

— Вот именно, чепуха! — Он едва не сорвал голос. — Ты бы послушала себя со стороны: заигрывать с ним, разговаривать с ним, петь с ним, и так всю ночь напролет, о боги! *Послушала* бы себя!

— Илл!

— Когда он сядет? Где он опустится на своем проклятом корабле?

— Илл, не повышай голос.

— К черту мой голос! — Он в гневе наклонился над ней.— В этом твоём сне...— он стиснул ее запястье,— корабль сел в Зеленой долине, да? Отвечай!

— Ну, в долине...

— Сел сегодня, под вечер, да? — не унимался он.

— Да, да, кажется, так. Но это же только сон!

— Ладно.— Он сердито отбросил ее руку.— Хорошо, что ты не лжешь! Я слышал все, что ты говорила во сне, каждое слово. Ты сама назвала и долину, и время.

Тяжело дыша, он побрел между колоннами, будто ослепленный молнией. Постепенно его дыхание успокоилось. Она не отрывала от него глаз — уж не сошел ли он с ума?.. Наконец встала и подошла к нему.

— Илл,— прошептала она.

— Ничего, ничего...

— Ты болен.

— Нет.— Он устало, через силу улыбнулся.— Ребячество, только и всего. Прости меня, дорогая.— Он грубовато погладил ее.— Заработался. Извини. Я, пожалуй, пойду прилягу...

— Ты так вспылал.

— Теперь все прошло. Прошло.— Он перевел дух.— Забудем об этом. Да, я вчера слышал анекдот про Уэла, хотел тебе рассказать. Ты приготовишь завтрак, я расскажу анекдот, а об этом больше не будем говорить, ладно?

— Это был только сон.

— Разумеется.— Он машинально поцеловал ее в щеку.— Только сон.

В полдень солнце палило, и очертания гор струились в его лучах.

— Ты не поедешь в город? — спросила Илла.

— В город? — Его брови чуть поднялись.

— Ты *всегда* уезжаешь в этот день.— Она поправила цветочную клетку на подставке. Цветы зашевелились и раскрыли голодные желтые рты.

Он захлопнул книгу.

— Нет. Слишком жарко. И поздно.

— Вот как.— Она закончила свое дело и пошла к двери.— Я скоро вернусь.

— Постой! Ты куда?

Она была уже в дверях.

— К Пао. Она пригласила меня!

— Сегодня?

— Я ее сто лет не видела. Это же недалеко.

— В Зеленой долине, если не ошибаюсь?

— Ну да, тут рукой подать, и я решила...— Она очень то-ропилась.

— Извини меня,— сказал он, догоняя ее с видом крайней озабоченности.— Я совершенно забыл: я же пригласил к нам сегодня доктора Нлле!

— Доктора Нлле! — Она подалась к двери.

Он поймал ее за локоть и решительно втащил в комнату.

— Да.

— А как же Пао...

— Пао подождет, Илла. Мы должны принять Нлле.

— Я на несколько минут...

— Нет, Илла.

— Нет?

Он отрицательно качнул головой.

— Нет. К тому же до них очень далеко идти. Через всю Зеленую долину, за большой канал, потом вниз... И сегодня очень, очень жарко, и доктору Нлле будет приятно увидеть тебя. Хорошо?

Она не ответила. Ей хотелось вырваться и убежать. Хотелось кричать. Но она только сидела в кресле, словно пойманная в западню, и с окаменевшим лицом разглядывала свои пальцы, медленно шевеля ими.

— Илла,— буркнул он,— ты *останешься* дома, ясно?

— Да,— сказала она после долгого молчания.— Останусь.

— Весь день?

Ее голос звучал глухо:

— Весь день.

Шли часы, а доктор Нлле все не появлялся. Казалось, муж Иллы не очень-то удивлен этим. Уже под вечер он, пробормотав что-то, подошел к стенному шкафу и достал зловещее оружие — длинную желтоватую трубку с гармошкой мехов и спусковым крючком на конце. Он обернулся — на его лице была лишенная всякого выражения маска, вычеканенная из серебристого металла, маска, которую он всегда надевал, когда хотел скрыть свои чувства; маска, выпуклости и впадины которой в точности отвечали его худым щекам, подбородку, лбу. Поблескивая маской, он держал в руках свое грозное оружие и разглядывал его. Оно непрерывно жужжало — оружие, способное с визгом извергнуть полчища золотых пчел. Страшных золотых пчел, которые жалят, убивают своим ядом и падают замертво, будто семена на песок.

— Куда ты собрался? — спросила она.

— Что? — Он прислушивался к мехам, к зловещему жужжанию. — Раз доктор Нлле запаздывает, черта с два стану я его ждать. Пойду поохочусь. Скоро вернусь. А ты останешься здесь, и никуда отсюда, ясно? — Серебристая маска сверкнула.

— Да.

— И скажи доктору Нлле, что я приду. Только поохочусь.

Треугольная дверь затворилась. Его шаги удалились вниз по откосу.

Она смотрела, как муж уходит в солнечную даль, пока он не исчез. Потом вернулась к своим делам: наводить чистоту магнитной пылью, собирать свежие плоды с хрустальных стен. Она работала усердно и расторопно, но порой ею овладевала какая-то истома, и она ловила себя на том, что напевает эту странную, не идущую из ума песню и поглядывает на небо из-за хрустальных колонн.

Она затаила дыхание и замерла в ожидании.

Приближается...

Вот-вот это произойдет.

Бывают такие дни, когда слышишь приближение грозы, а кругом напряженная тишина, и вдруг едва ощутимо меняется давление — это дыхание непогоды, летящей над планетой, ее тень, порыв, марево. Воздух давит на уши, и ты натянут как струна в ожидании надвигающейся бури. Тебя охватывает дрожь. Небо в пятнах, небо цветное, тучи сгущаются, горы отливают металлом. Цветы в клетках тихонько вздыхают, предупреждая. Волосы чуть шевелятся на голове. Где-то в доме поют часы: «Время, время, время, время...» Тихо так, нежно, будто капающая на бархат вода.

И вдруг — гроза! Электрическая вспышка, и сверху непроницаемым заслоном рушатся всепоглощающие волны черного приобая и громовой черноты.

Так было и теперь. Близилась буря, хотя небо было ясным. Назревала молния, хотя не было туч.

Илла бродила по комнатам притихшего летнего дома. В любой миг с неба может пасть молния, и будет раскат грома, клуб дыма, безмолвие, шаги на дорожке, стук в хрустальную дверь — и она *стрелой* метнется навстречу...

«Сумасшедшая Илла! — мысленно усмехнулась она. — Что за мысли будоражат твой праздный ум?»

И тут — свершилось.

Порыв жаркого воздуха, точно мимо пронеслось могучее пламя. Вихревой стремительный звук. В небе блеск, сверканье металла.

У Иллы вырвался крик.

Она побежала между колоннами, распахнула дверь. Она уставилась на горы. Но там уже ничего...

Хотела ринуться вниз по откосу, но спохватилась. Она обязана быть здесь, никуда не уходить. Доктор должен прийти с минуты на минуту, и муж рассердится, если она убежит.

Она остановилась в дверях, часто дыша, протянув вперед одну руку.

Попыталась рассмотреть что-нибудь там, где простерлась Зеленая долина, но ничего не увидела.

«Сумасшедшая! — Она вернулась в комнату. — Это все твоя фантазия. Ничего не было. Просто птица, листок, ветер или рыба в канале. Сядь. Приди в себя».

Она села.

Выстрел.

Ясный, отчетливый, зловещий звук.

Она содрогнулась.

Выстрел донесся издали. Один. Далекое жужжание быстрых пчел. Один выстрел. А за ним второй, четкий, холодный, отдаленный.

Она опять вздрогнула и почему-то вскочила на ноги, крича, крича и не желая оборвать этот крик. Стремительно пробежала по комнатам к двери и снова распахнула ее.

Эхо стихало, уходя вдаль, вдаль...

Смолкло.

Несколько минут она простояла во дворе, бледная.

Наконец, медленно ступая, опустив голову, она побрела сквозь обрамленные колоннами покои, из одного в другой, руки ее машинально трогали вещи, губы дрожали; в стущающемся мраке винной комнаты ей захотелось посидеть одной. Она ждала. Потом взяла янтарный бокал и стала тереть его уголком шарфа.

И вот издали послышались шаги, хруст мелких камешков под ногами.

Она поднялась, стала в центре тихой комнаты. Бокал выпал из рук, разбился вдребезги.

Шаги нерешительно замедлились перед домом.

Заговорить? Воскликнуть: «Входи, входи же!»?

Она подалась вперед.

Вот шаги уже на крыльце. Рука повернула шею.

Она улыбнулась двери.

Дверь отворилась. Улыбка сбежала с ее лица.

Это был ее муж. Серебристая маска тускло поблескивала.

Он вошел и лишь на мгновение задержал на ней взгляд. Резким движением открыл мехи своего оружия, вытряхнул двух

мертвых пчел, услышал, как они шлепнулись о пол, раздавил их ногой и поставил разряженное оружие в угол комнаты, а Илла, наклонившись, безуспешно пыталась собрать осколки разбитого бокала.

— Что ты делал? — спросила она.

— Ничего, — ответил он, стоя спиной к ней. Он снял маску.

— Ружье... я слышала, как ты стрелял. Два раза.

— Охотился, только и всего. Потянет иногда на охоту...

Доктор Нлле пришел?

— Нет.

— Постой-ка. — Он противно шелкнул пальцами. — Ну конечно, *теперь* я вспомнил. Мы же условились с ним на *завтра*. Я все перепутал.

Они сели за стол. Она глядела на свою тарелку, но руки ее не прикасались к еде.

— В чем дело? — спросил он, не поднимая глаз, бросая куски мяса в бурлящую лаву.

— Не знаю. Не хочется есть, — сказала она.

— Почему?

— Не знаю, просто не хочется.

В небе родился ветер; солнце садилось. Комната вдруг стала маленькой и холодной.

— Я пытаюсь вспомнить, — произнесла она в тиши комнаты, глянув в золотые глаза своего холодного, безупречно подтянутого мужа.

— Что вспомнить? — Он потягивал вино.

— Песню. Эту красивую, чудесную песню. — Она закрыла глаза и стала напевать, но песня не получилась. — Забыла. А мне почему-то не хочется ее забывать. Хочется помнить ее всегда. — Она плавно повела руками, точно ритм движений мог ей помочь. Потом откинулась в кресле. — Не могу вспомнить.

Она заплакала.

— Почему ты плачешь? — спросил он.

— Не знаю, не знаю, я ничего не могу с собой поделать. Мне грустно, и я не знаю почему, плачу — не знаю почему, но плачу.

Ее ладони стиснули виски, плечи вздрагивали.

— До завтра все пройдет, — сказал он.

Она не глядела на него, глядела только на нагую пустыню и на яркие-яркие звезды, которые высыпали на черном небе, а издали доносился крепнувший голос ветра и холодный плеск воды в длинных каналах. Она закрыла глаза, дрожа всем телом.

— Да, — повторила она, — до завтра все пройдет.

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Люди стояли кучками в каменных галереях, растворяясь в тени между голубыми холмами. Звезды и лучезарные марсианские луны струили на них мягкий вечерний свет. Позади мраморного амфитеатра, скрытые мраком и далью, раскинулись городки и виллы, серебром отливали недвижные пруды, от горизонта до горизонта блестели каналы. Летний вечер на Марсе, планете безмятежности и умеренности. По зеленой влаге каналов скользили лодки, изящные, как бронзовые цветки. В нескончаемо длинных рядах жилищ, извивающихся по склонам, подобно оцепеневшим змеям, в прохладных ночных постелях лениво перешептывались возлюбленные. Под факелами на аллеях, держа в руках извергающих тончайшую паутину золотых пауков, еще бегали заигравшиеся дети. Тут и там на столах, булькающих серебристой лавой, готовился поздний ужин. В амфитеатрах сотен городов на ночной стороне Марса смуглые марсиане с глазами цвета червонного золота собирались на досуге вокруг эстрад, откуда покорные музыкантам тихие мелодии, подобно аромату цветов, плыли в притихшем воздухе.

На одной эстраде пела женщина.

По рядам слушателей пробежал шелест.

Пение оборвалось. Певица поднесла руку к горлу. Потом кивнула музыкантам, они начали сначала.

Музыканты заиграли, она снова запела; на этот раз публика ахнула, подалась вперед, кто-то вскочил на ноги — на амфитеатр словно пахнуло зимней стужей. Потому что песня, которую пела женщина, была странная, страшная, необычная. Она пыталась остановить слова, срывающиеся с ее губ, но они продолжали звучать:

Идет, блистая красотой
Тысячезвездной ясной ночи,
В соревнованье света с тьмой
Изваяны чело и очи¹.

Руки певицы метнулись ко рту. Она оцепенела, растерянная.

— Что это за слова? — недоумевали музыканты.

— Что за песня?

¹ Стихотворение Джорджа Гордона Байрона.

— Чей язык?

Когда же они опять принялись дуть в свои золотые трубы, снова родилась эта странная музыка и медленно поплыла над публикой, которая теперь громко разговаривала, поднимаясь со своих мест.

— Что с тобой? — спрашивали друг друга музыканты.

— Что за мелодию ты играл?

— А ты сам что играл?

Женщина расплакалась и убежала с эстрады. Публика покинула амфитеатр. Повсюду, во всех смятенных марсианских городах, происходило одно и то же. Холод объял их, точно с неба пал белый снег.

В темных аллеях под факелами дети пели:

...Пришла, а шкаф уже пустой,
Остался песик с носом!

— Дети! — раздавались голоса. — Что это за песенка? Где вы ее выучили?

— Она просто *пришла нам* в голову, ни с того ни с сего. Какие-то непонятные слова!

Захлопали двери. Улицы опустели. Над голубыми холмами вошла зеленая звезда.

На всей ночной стороне Марса мужчины просыпались от того, что лежавшие рядом возлюбленные напевали во мраке.

— Что это за мелодия?

В тысячах жилищ среди ночи женщины просыпались, обливаясь слезами, и приходилось их утешать:

— Ну успокойся, успокойся же. Спи. Ну, что случилось? Дурной сон?

— Завтра произойдет что-то ужасное.

— Ничего не может произойти, у нас все в порядке.

Судорожное всхлипывание.

— Я чувствую, *это* надвигается все ближе, ближе, *ближе!*..

— С нами ничего не может случиться. Полно! Спи. Спи...

Тихо на предутреннем Марсе, тихо, как в черном студеном колодце, и свет звезд на воде каналов, и в каждой комнате дыхание свернувшихся калачиком детей с зажатыми в кулачках золотыми пауками, и возлюбленные спят рука в руке, луны закатились, погашены факелы, и безлюдны каменные амфитеатры.

И лишь один-единственный звук, перед самым рассветом: где-то в дальнем конце пустынной улицы одиноко шагал во тьме ночной сторож, напевая странную, незнакомую песенку...

ЗЕМЛЯНЕ

Вот привязались — стучат и стучат!

Миссис Ттт сердито распахнула дверь.

— Ну, в чем дело?

— Вы говорите *по-английски*? — Человек, стоявший у входа, опешил.

— Говорю, как умею, — ответила она.

— Чистейший английский язык!

Человек был одет в какую-то форму. За ним стояли еще трое; все они были заметно взволнованы — сияющие, измазанные с головы до ног.

— Что вам угодно? — резко спросила миссис Ттт.

— Вы — *марсианка*! — Человек улыбался. — Это слово вам, конечно, незнакомо. Так говорят у нас, на Земле. — Он кивнул на своих спутников. — Мы с Земли. Я — капитан Уильямс. Мы всего час назад сели на Марсе. Вот прибыли. *Вторая* экспедиция! До нас была Первая экспедиция, но ее судьба нам неизвестна. Так или иначе, мы прилетели. И вы — первый житель Марса, которого мы встретили!

— Марсианка? — Брови ее взметнулись.

— Я хочу сказать, что вы живете на четвертой от Солнца планете. Точно?

— Элементарная истина, — фыркнула она, меряя их взглядом.

— А мы, — он прижал к груди свою пухлую розовую руку, — мы с Земли. Верно, ребята?

— Так точно, капитан! — откликнулся хор.

— Это планета Тирр, — сказала она, — если вам угодно знать ее настоящее имя.

— Тирр, Тирр. — Капитан устало рассмеялся. — Чудесное название! Но скажите же, добрая женщина, как объяснить, что вы так великолепно говорите *по-английски*?

— Я не говорю, — ответила она, — я думаю. Телепатия. Всего хорошего!

И она хлопнула дверью.

Мгновение спустя этот ужасный человек уже снова стучал. Она распахнула дверь.

— Ну, что еще? — спросила она.

Он стоял на том же месте и силился улыбнуться, но уже без прежней уверенности. Он протянул к ней руки.

— Мне кажется, вы не совсем поняли...

— Чего? — отрезала она.

Его глаза округлились от изумления.

— Мы прилетели с Земли!

— Мне некогда,— сказала она.— У меня сегодня куча дел — обед, уборка, шитье, всякая всячина... Вам, вероятно, нужен мистер Ттт, так он наверху, в своем кабинете.

— Да, да,— озадаченно произнес человек с Земли, моргая.— Ради Бога, позовите мистера Ттт.

— Он занят.— И она снова захлопнула дверь.

На сей раз стук был уж совсем неприличным.

— Знаете что! — вскричал человек, едва дверь распахнулась. Он ворвался в прихожую, словно решил взять неожиданностью.— Так не принимают гостей!

— Мой чистый пол! — возмутилась она.— Грязь! Убирайтесь прочь! Если хотите войти в мой дом, сперва почистите обувь.

Человек испуганно посмотрел на свои грязные башмаки.

— Сейчас не время придирааться к пустякам,— решительно заявил он.— Такое событие! Его нужно отпраздновать!

Он упорно глядел на нее, словно это могло заставить ее понять, чего они хотят.

— Если мои хрустальные булочки перестояли в духовке,— закричала она,— то я вас поленом!..

И она поспешила к маленькой, пышущей жаром печке. Потом вернулась — раскрасневшаяся, потная. Ярко-желтые глаза, смуглая кожа, худенькая и юркая, как насекомое... Резкий, металлический голос.

— Обождите здесь. Я пойду посмотрю, может быть, и позволю вам на минутку зайти к мистеру Ттт. Какое там у вас дело к нему?

Человек выругался так, словно она ударила его молотком по пальцу.

— Скажите ему, что мы прилетели с Земли, что это впервые!

— Что впервые? — Она подняла вверх смуглую руку.— Ладно, это неважно. Я сейчас.

Звуки ее шагов прошелестели по переходам каменного дома.

А снаружи было невероятно синее, жаркое марсианское небо — недвижимое, будто глубокое теплое море. Над марсианской пустыней, словно над огромным кипящим котлом, струилось марево. На вершине пригорка неподалеку стоял, покосившись, небольшой космический корабль. От него к двери каменного дома протянулась цепочка крупных следов.

Сверху, со второго этажа, донеслись возбужденные голоса. Люди у двери поглядывали друг на друга, переминались с ноги на ногу, поправляли пояса. Наверху что-то прорычал мужской голос.

Женский голос ответил. Через четверть часа земляне от нечего делать стали слоняться взад-вперед по кухне.

— Закурим? — сказал один из них.

Другой достал сигареты, они закурили. Они выдыхали неторопливые бледные струйки дыма. Разгладили складки курток, поправили воротнички. Голоса наверху продолжали гудеть и журчать. Командир глянул на свои часы.

— Двадцать пять минут, — заметил он. — Что у них там происходит?

Он подошел к окну и выглянул наружу.

— Жаркий денек, — сказал один из космонавтов.

— Да уж, — лениво протянул другой, разморенный полуденным зноем.

Гул голосов наверху сменился глухим бормотанием, потом и вовсе стих. Во всем доме — ни звука. Только собственное дыхание слышно.

Целый час прошел в безмолвии.

— Уж не случилось ли из-за нас какой беды? — произнес командир, подходя к двери гостиной и заглядывая туда.

Миссис Ттт стояла посреди комнаты, поливая цветы.

— А я все думаю, что я такое забыла... — сказала она, заметив капитана. Она вышла на кухню. — Извините. — Она протянула ему клочок бумаги. — Mister Tтт слишком занят. — Она повернулась к своим кастрюлям. — Да и все равно вам нужен не он, а мистер Ааа. Пойдите с этой запиской на соседнюю усадьбу возле голубого канала, там мистер Ааа расскажет вам все, что вы хотите знать.

— Нам ничего не надо узнавать, — возразил командир, надув толстые губы. — Мы и так уже знаем.

— Вы получили записку, что еще вам надо? — резко спросила она. Больше они ничего не могли от нее добиться.

— Ладно, — сказал командир. Ему все еще не хотелось уходить. Он стоял с таким видом, будто чего-то ждал. Точно ребенок, глядящий на голую рождественскую елку. — Ладно, — повторил он. — Пошли, ребята.

И все четверо вышли из дома в душное безмолвие летнего дня.

Полчаса спустя мистер Ааа, который восседал в своей библиотеке, прихлебывая электрическое пламя из металлической чаши, услышал голоса снаружи, на мощеной дорожке. Он высунулся из окна и уставился на четверку одетых в одинаковую форму людей, которые, шурясь, глядели на него.

— Вы мистер Ааа? — справились они.

— Я.

— Нас послал к вам мистер Ттт! — крикнул командир.

— Что за причина? — спросил мистер Ааа.

— Он был занят!

— Ну, знаете, это... — презрительно произнес мистер Ааа. — Уж не думает ли он, что мне больше нечего делать, как развлекать людей, которыми ему некогда заниматься?

— Сейчас это несущественно, сэръ! — крикнул командир.

— Для меня — существенно. У меня накопилась куча книг, их нужно прочесть. Мистер Ттт совсем не считается с другими. Он не впервые ведет себя так бесцеремонно по отношению ко мне. И прошу не размахивать руками, дайте мне кончить. Вам следует быть повнимательнее. Я привык к тому, что люди слушают, когда я говорю. И потрудитесь выслушать меня с должным почтением, иначе я вообще не стану с вами разговаривать.

Четверо людей внизу растерянно топтались, разинув рты. У капитана на лбу вздулись жилы и даже блеснули слезы на глазах.

— Ну, так вот, — продолжал поучать мистер Ааа, — как, по-вашему, хорошо ли со стороны мистера Ттт вести себя так неучтиво?

Четверка недоуменно смотрела на него сквозь дымку знойного дня. Капитан не стерпел:

— Мы прилетели с Земли!

— По-моему, он ведет себя просто не по-джентльменски, — брюзжал мистер Ааа.

— Космический корабль. Мы прилетели на *ракете*. Вот она!

— И ведь он не в первый раз позволяет себе такое безобразие.

— Понимаете — с Земли!

— Он у меня дождется, я позвоню и отчитаю его, да-да.

— Мы четверо — я и вот эти трое — экипаж моего корабля.

— Вот возьму и позвоню сейчас же!

— Земля. Ракета. Люди. Полет. Космос.

— Позвоню и всыплю ему как следует! — крикнул мистер Ааа и пропал из окна, точно кукла в театре.

Было слышно, как по какому-то неведомому аппарату завязалась перебранка. Капитан и его команда стояли во дворе, тоскливо поглядывая на свою красавицу ракету — такую изящную, стройную и родную.

Мистер Ааа вынырнул в окошке, торжествуя:

— Я его на дуэль вызвал, клянусь честью! Слышите — дуэль!

— Мистер Ааа, — терпеливо начал капитан.

— Застрелю его насмерть, так и знайте!

— Мистер Ааа, прошу вас, выслушайте меня. Мы пролетели шестьдесят миллионов миль.

Мистер Ааа впервые обратил внимание на капитана.

— Пойдите, как вы сказали — откуда вы?

Лицо капитана осветилось белозубой улыбкой. Он шепнул своим:

— Наконец-то, *теперь* все в порядке! — И громко мистеру Ааа: — Шестьдесят миллионов миль, с планеты Земля!

Мистер Ааа зевнул.

— В это время года — от силы пятьдесят миллионов, не больше. — Он взял в руки какое-то угрожающего вида оружие. — Ну, мне пора. Заберите свою дурацкую записку, хотя я не понимаю, какой вам от нее прок, и ступайте через вон тот бугор в городок, он называется Иопр, там изложите все мистеру Иии. Он именно тот человек, который вам нужен. А не мистер Ттт, этот кретин, — уж я позабочусь о том, чтобы его прикончить. И не я — это не по моей линии.

— Линии, линии! — передразнил его командир. — При чем тут линия, когда надо принять людей с Земли?

— Не говорите глупостей, *это* всем известно! — Мистер Ааа сбежал по лестнице. — Всего хорошего!

И он помчался по дорожке, точно взбесившийся кронциркуль.

Космонавты были совершенно ошарашены. Наконец капитан сказал:

— Нет, мы все-таки найдем кого-нибудь, кто нас выслушает.

— Что, если уйти, а потом вернуться? — уныло произнес один из его товарищей. — Взлететь и снова сесть. Чтобы дать им время очухаться и подготовить встречу.

— Может быть, так и сделаем, — буркнул измученный капитан.

Городок бурлил. Марсиане входили и выходили из домов, они приветствовали друг друга, на них были маски — золотые, голубые, розовые, ради приятного разнообразия маски с серебряными губами и бронзовыми бровями, маски улыбающиеся и маски хмурающиеся, сообразно нраву владельца.

Земляне, все в испарине после долгого перехода, остановились и спросили маленькую девочку, где живет мистер Иии.

— Вон там, — кивком указала девочка.

Капитан нетерпеливо, осторожно опустился на одно колено и заглянул в ее милое детское личико.

— Послушай, девочка, что я тебе расскажу.

Он посадил ее себе на колено и ласково сжал своими широкими ладонями ее смуглые ручонки, словно приготовился рас-

сказать ей сказку на ночь, сказку, которую складывают в уме не торопясь, со множеством обстоятельных и счастливых подробностей.

— Понимаешь, малютка, с полгода тому назад на Марс прилетала другая ракета. В ней был человек по имени Йорк со своим помощником. Мы не знаем, что с ними случилось. Быть может, они разбились. Они прилетели на ракете. И мы, мы тоже прилетели на ракете. Вот бы ты на нее посмотрела! Большая-пребольшая ракета! Так что мы — *Вторая* экспедиция, а перед нами была Первая. Мы долго летели, с самой Земли...

Девочка бездумно высвободила одну руку и опустила на лицо золотую маску, выражающую безразличие. Потом достала игрушечного золотого паука и уронила его на землю, а капитан все твердил свое. Игрушечный паук послушно вскарабкался ей на колени, она же безучастно наблюдала за ним сквозь щелочки равнодушной маски; капитан ласково встряхнул ее и продолжал втолковывать ей свою историю.

— Мы — земляне, — говорил он. — Ты мне веришь?

— Да. — Девчурка искоса глядела, что чертят в пыли пальчики ее ног.

— Ну вот и умница. — Командир наполовину добродушно, наполовину злобно ушипнул ее за руку, чтобы заставить девочку глядеть на него. — Мы построили себе ракету. Ты *веришь*?

Девочка сунула в нос палец.

— Ага.

— И... нет-нет, дружок, вынь пальчик из носа... и я, командир космического корабля, и...

— Еще никогда в истории никто не выходил в космос на такой большой ракете, — продекламировала крошка, зажмурив глазки.

— Восхитительно! Как ты угадала?

— Телепатия. — Она небрежно вытерла пальчик о коленку.

— Ну? Неужели это тебе ничуть не интересно? — вскричал командир. — Разве ты *не* рада?

— Вы бы лучше пошли поскорее к мистеру Иии. — Она уронила игрушку на землю. — Он охотно поговорит с вами.

И она убежала, сопровождаемая по пятам игрушечным пауком.

Командир сидел на корточках, протянув руку к девочке и глядя ей вслед. Он почувствовал, как на глаза навертываются слезы. Посмотрел на свои пустые руки, беспомощно открыв рот. Товарищи стояли рядом, глядя на собственные тени. Они сплюнули на камни мостовой...

Мистер Иии сам отворил дверь. Он торопился на лекцию, но готов был уделить им минуту, если они побыстрее войдут и скажут, что им надо...

— Немного внимания,— сказал капитан, устало поднимая опухшие веки.— Мы — с Земли, у нас тут ракета, нас четверо — три космонавта и командир, мы совершенно вымотались, хотим есть, нам бы найти где поспать. И пусть кто-нибудь вручит нам ключи от города или что-нибудь в этом роде, пусть нам пожмут руки, крикнут «ура», скажут: «Поздравляем, старики!» Вот, пожалуй, и все.

Мистер Иии был долговязый ипохондрик, желтоватые глаза спрятаны за толстыми синими кристаллами очков. Наклонившись над письменным столом, он задумчиво перелистывал какие-то бумаги, то и дело пронизывая своих гостей пытливым взглядом.

— Боюсь, у меня нет здесь бланков.— Он перерыл все ящики стола.— Куда я их задевал? — Он нахмурился.— Где-то... где-то здесь... А, вот они! Прошу вас! — Он решительно протянул капитану бумаги.— Вам придется это подписать.

— Читать всю эту белиберду?

Толстые стекла очков воззрились на капитана.

— Но вы ведь сами сказали, что вы с Земли? В таком случае вам остается только подписать.

Капитан поставил свою подпись.

— Команда тоже должна подписаться?

Мистер Иии поглядел на него, поглядел на трех остальных и разразился издевательским смехом.

— *Им* — тоже подписаться?! Ха-ха-ха! Это великолепно! Они... они...— У него катились слезы по щекам. Он хлопнул себя рукой по колену и согнулся, давясь смехом, рвущимся из широко разинутого рта. Он уцепился за стол.— *Им* — подписаться!..

Космонавты нахмурились.

— Что тут смешного?

— *Им* подписаться! — выдохнул мистер Иии, обессиленный хохотом.— Еще бы не смешно! Я обязательно расскажу об этом мистеру Ыыы! — Он поглядел на подписанные бланки, продолжая смеяться.— Как будто все в порядке.— Он кивнул.— Даже согласие на эвтаназию, если в конечном счете это окажется необходимым.— Он рассыпался мелким смешком.

— Согласие на *что*?

— Ладно, хватит. У меня для вас кое-что есть. Вот. Возьмите этот ключ.

Капитан вспыхнул:

— О, это великая честь!

— Это не от города, болван! — рявкнул мистер Иии. — Ключ от Дома. Ступайте по коридору, отойдите большую дверь, войдите и хорошенько захлопните за собой. Можете там переночевать. А утром я пришлю к вам мистера Ыыи.

Капитан нерешительно взял ключ. Он стоял, понурившись. Его товарищи не двигались с места. Казалось, из них выкачали всю их кровь, всю ракетную лихорадку. Они совершенно выдохлись.

— Ну, что еще? В чем дело? — спросил мистер Иии. — Чего вы ждете? Чего хотите? — Он подошел вплотную к капитану и, наклонив голову, снизу заглянул ему в лицо. — Выкладывайте!

— Боюсь, вы даже не в состоянии... — начал капитан. — То есть я хочу сказать... попытаться подумать о том... — Он замаялся. — Мы немало потрудились, такой путь проделали, может быть, стоит, ну, что ли, пожать нам руки и сказать... ну, хотя бы: «Молодцы!» — Он смолк.

Мистер Иии небрежно сунул ему руку.

— Поздравляю! — Его губы растянулись в холодной улыбке. — Поздравляю. — Он отвернулся. — А теперь мне пора. Не забудьте про ключ.

И, не обращая на них больше никакого внимания, словно они растаяли, мистер Иии заходил по комнате, набивая какими-то бумагами маленький портфель. Это длилось не меньше пяти минут, и все это время он ни разу больше не обратился к четверке угрюмых людей, которые стояли на подкашивающихся от усталости ногах, понуриив головы, с потухшими глазами.

Выходя, мистер Иии сосредоточенно разглядывал свои ногти...

В тусклом предвечернем свете они побрели по коридору. Они оказались перед большой, блестящей серебристой дверью и отперли ее серебряным ключом. Вошли, захлопнули дверь и осмотрелись кругом.

Они были в просторном, залитом солнцем зале. Мужчины и женщины сидели за столами, стояли кучками, разговаривали. Щелчок замка заставил их обернуться, и все воззрились на четверых людей, одетых в форму.

Один марсианин подошел к ним и поклонился.

— Я мистер Ууу, — представился он.

— А я — капитан Джонатан Уильямс из Нью-Йорка, с Земли, — ответил капитан без всякого энтузиазма.

Мгновенно зал точно взорвался!

Потолок задрожал от криков и возгласов. Марсиане, размахивая руками, восторженно крича, опрокидывая столы, толкая друг друга, со всех концов зала кинулись к землянам, стиснули их в объятиях, подняли всю четверку на руки. Шесть раз они пронесли их на плечах вокруг всего зала, шесть раз бегом совершили ликующий круг почета, прыгая, приплясывая, громко распевая.

Земляне до того опешили, что целую минуту молча ехали верхом на качающихся плечах, прежде чем начали смеяться и кричать друг другу:

— Вот это да! Совсем *другое* дело!

— Здорово! Сразу бы так! Э-гей! Ух ты! Э-э-э-эх!

Они торжествующе подмигивали друг другу, они вскинули руки, хлопая в ладоши.

— Э-гей!!!

— Ура! — вопила толпа.

Марсиане поставили землян на стол. Крики смолкли.

Капитан чуть не разрыдался.

— Спасибо вам, большое спасибо. Это замечательно...

— Расскажите о себе, — предложил мистер Ууу.

Капитан откашлялся.

Слушатели восторженно охали и ахали. Капитан представил своих товарищей, каждый из них произнес коротенькую речь, смущенно принимая громовые овации.

Мистер Ууу похлопал капитана по плечу.

— Приятно встретить здесь земляка! Я ведь тоже с Земли.

— То есть как это?

— А вот так. Нас тут много с Земли.

— Вы? С Земли? — Капитан вытарашил глаза. — Не может этого быть! Вы что, тоже прилетели на ракете? В каком же веке начались космические полеты? — В его голосе было разочарование. — Да вы откуда, из какой страны?

— Туизреол. Я перенесся сюда силой духа, много лет назад.

— Туизреол... — медленно выговорил капитан. — Не знаю такой страны. И что это за сила духа...

— Вот мисс Ррр, она тоже с Земли. *Верно*, мисс Ррр?

Мисс Ррр кивнула и как-то странно усмехнулась.

— И мистер Ююю, и мистер Щщщ, и мистер Ввв!

— А я с Юпитера, — представился один мужчина, приосанившись.

— А я с Сатурна, — ввернул другой, хитро поблескивая глазами.

— Юпитер, Сатурн... — бормотал капитан, моргая.

Стало очень тихо. Марсиане толпились вокруг космонавтов, сидели за столами, но столы были пустые, банкетом тут и не пахло. Желтые глаза горели, ниже скул залегли глубокие тени. Только тут капитан заметил, что в зале нет окон, свет словно проникал через стены. И только одна дверь. Капитан нахмурился.

— Чепуха какая-то. Где находится Туизэреол? Далеко от Америки?

— Что такое — Америка?

— Вы не слышали про Америку?! Говорите, что сами с Земли, а не знаете Америки!

Мистер Ууу сердито вздернул голову.

— Земля — сплошные моря, одни моря, больше ничего. Там нет суши. Я сам оттуда, уж я-то знаю.

— Постойте, — капитан отступил на шаг, — да вы же самый настоящий марсианин! Желтые глаза. Смуглая кожа...

— Земля сплошь покрыта джунглями, — гордо произнесла мисс Ррр. — Я из Орри, страны серебряной культуры!

Капитан переводил взгляд с одного лица на другое, с мистера Ууу на мистера Ююю, с мистера Ююю на мистера Ззз, с мистера Ззз на мистера Ннн, мистера Ххх, мистера Ббб. Он видел, как расширяются и сужаются зрачки их желтых глаз, как их взгляд становится то пристальным, то туманным. Его охватила дрожь. Наконец он повернулся к своим подчиненным и мрачно сказал:

— Вы поняли, что это такое?

— Что, капитан?

— Это вовсе не торжественная встреча, — устало произнес он. — И не импровизированный прием. И не банкет. И мы здесь не почетные гости. А они не представители марсианских властей. Посмотрите на их глаза. Прислушайтесь к их речам!

Космонавты затаили дыхание. Поблескивая белками, они медленно обзревали странный зал.

— Теперь я понимаю, — голос капитана доносился словно издали. — Понимаю, почему все давали нам новые адреса и отсылали к кому-нибудь другому, пока мы не встретили мистера Иии... Ну а уж он дал точный адрес и даже ключ, чтобы мы отперли дверь и захлопнули ее. Вот мы и попали...

— Куда мы попали, командир?

Плечи капитана поникли.

— В сумасшедший дом.

Наступила ночь. Тишина царил в просторном зале, озаренном тусклым сиянием светильников, скрытых в прозрач-

ных стенах. Четверо землян сидели вокруг деревянного стола и перешептывались, сдвинув уныло поникшие головы. На полу попеременно спали мужчины и женщины. В темных углах что-то копошилось, одинокие фигуры странно взмахивали руками. Каждый полчаса кто-нибудь из космонавтов подходил к серебристой двери и возвращался к столу.

— Бесплезно, капитан. Мы заперты надежно.

— Капитан, неужели нас приняли за сумасшедших?

— Конечно. Вот почему наше появление не вызвало бурных восторгов. Мы для них просто-напросто психически больные, каких здесь много.— Он показал на фигуры спящих.— Это же параноики, все до одного! Но как они нас встретили! Мне даже на минуту показалось,— в его глазах вспыхнул огонек и тут же потух,— что наконец-то мы дождались торжественной встречи. Эти возгласы, пение, речи... Ведь здорово было, а?..

— Сколько нас продержат здесь, командир?

— Пока мы не докажем, что мы не психи.

— Ну, это просто.

— *Надеюсь*, что так...

— Вы, кажется, не очень в этом уверены, капитан?

— М-да... Поглядите вон в тот угол.

Во мраке сидел на корточках мужчина. Из его рта вырвалось голубое пламя, которое приняло форму маленькой нагой женщины. Она плавно парила в воздухе, в дымке кобальтового света, что-то шепча и вздыхая.

Капитан мотнул головой в другую сторону. Там стояла женщина, с которой происходили удивительные превращения. Сперва она оказалась заключенной внутри хрустальной колонны, потом стала золотой статуей, потом — кедровым посохом и наконец обрела свой первоначальный вид.

Повсюду в полуночном зале мужчины и женщины манипулировали тонкими языками фиолетового пламени, непрерывно превращаясь и изменяясь, ибо ночь — пора тоски и метаморфоз.

— Колдовство, черная магия,— прошептал один из землян.

— Нет, галлюцинации. Они передают нам свой бред, так что мы видим их галлюцинации. Телепатия. Самовнушение и телепатия.

— Это вас и тревожит, капитан?

— Да. Если галлюцинации кажутся нам — и не только нам всем — такими реальными, если галлюцинации так убедительны и правдоподобны, неудивительно, что нас приняли за психопатов. Тот мужчина может делать маленьких женщин из голубого пламени, а вон эта женщина способна превращаться

в стацию; вполне естественно для нормального марсианина решить, что ракетный корабль — плод нашей больной фантазии.

Из темноты донесся вздох отчаяния.

Кругом, то вспыхивая, то исчезая, плясали голубые огоньки. Из рта спящих мужчин вылетали чертики из красного песка. Женщины превращались в лоснящихся змей. Пахло зверьем и рептилиями.

Когда настало утро, все казались нормальными, веселыми и здоровыми. Никаких бесов, никакого пламени. Капитан со своей командой стоял у серебристой двери в надежде, что она откроется.

Мистер Ыы появился часа через четыре. Они подозревали, что он не меньше трех часов простоял за дверью, изучая их, прежде чем войти, позвать их к себе и провести в свой маленький кабинет.

Это был добродушный улыбающийся мужчина, если верить его маске, на которой была изображена не одна, а три разные улыбки. Впрочем, голос, звучавший из-под маски, явно принадлежал не столь уж улыбчивому психиатру.

— Ну, что вас беспокоит?

— Вы считаете нас сумасшедшими, но это не так, — сказал капитан.

— Напротив, я вовсе не считаю всех вас сумасшедшими. — Психиатр направил на капитана маленькую указку. — Только вас, уважаемый. Все остальные — вторичные галлюцинации.

Капитан хлопнул себя по колену.

— Так вот в чем дело! Вот почему мистер Иии расхохотался, когда я спросил, надо ли моим товарищам тоже подписать бланки!

— Да, мистер Иии рассказал мне об этом. — Психиатр хохотнул сквозь извилистую прорезь рта в маске. — Отличная шутка. Так о чем я говорил? Да, вторичные галлюцинации. Ко мне приходят женщины, у которых из ушей лезут змеи. После моего лечения змеи исчезают.

— Мы с радостью подвергнемся лечению. Приступайте.

Мистер Ыы был озадачен.

— Поразительно. Мало кто соглашается на лечение. Дело в том, что оно весьма радикально.

— Ничего, валяйте, лечите! Вы сами убедитесь, что мы все здоровы.

— Разрешите сперва посмотреть ваши бумаги, все ли оформлено для лечения. — Он полистал папку. — Так... Видите ли, случаи, подобные вашему, требуют особых методов. У тех,

кого вы видели в Доме, более легкая форма... Но когда дело заходит так далеко, как у вас,— с первичными, вторичными, слуховыми, обонятельными и вкусовыми галлюцинациями в сочетании с мнимыми осязательными и оптическими восприятиями,— то, будем говорить начистоту, дело обстоит плохо. Мы вынуждены прибегнуть к эвтаназии.

Капитан с ревом вскочил на ноги:

— Ну вот что, хватит нам голову морочить! Начинайте — обследуйте нас, стучите молотком по колену, выслушайте сердце, заставьте присесть, задавайте вопросы!

— Говорите на здоровье.

Капитан говорил с жаром целый час. Психиатр слушал.

— Невероятно,— задумчиво пробормотал он.— В жизни не слышал такого детализированного фантастического бреда.

— Черт возьми, мы покажем вам наш космический корабль! — взревел капитан.

— С удовольствием посмотрю. Вы можете показать его здесь, в этой комнате?

— Конечно. Он — в вашей картотеке, на букву «К».

Мистер Ыы внимательно посмотрел картотеку, разочарованно щелкнул языком и неторопливо закрыл ящик.

— Зачем вам понадобилось сбивать меня с толку? Тут нет никакого космического корабля.

— Разумеется, нет, кретин! Я пошутил. А теперь скажите: сумасшедшие острят?

— Иногда встречаются довольно необычные проявления юмора. Ладно, ведите меня к своей ракете. Я хочу посмотреть на нее.

Был жаркий полдень, когда они пришли к ракете.

— Та-ак.— Психиатр подошел к кораблю и постучал по корпусу. Звон был мягкий, густой.— Можно войти внутрь? — спросил он с хитрецой.

— Входите.

Мистер Ыы вошел в корабль — и застрял там.

— Всякое бывало в моей грешной жизни, но такого...— Капитан ждал, жуя сигару.— Больше всего на свете мне хочется улететь домой и сказать там, чтобы больше не связывались с этим Марсом. Более подозрительных пентюхов...

— Сдается мне, командир, здесь вообще каждый второй — ненормальный. Немудрено, что они такие недоверчивые.

— Все равно, мне это осточертело!

Полчаса психиатр копался, щупал, выстукивал, слушал, нюхал, пробовал на вкус, наконец он вышел из корабля.

— Ну, *теперь-то* вы убедились! — крикнул капитан словно глухой.

Психиатр закрыл глаза и почесал нос.

— Это самый поразительный пример мнимого восприятия и гипнотического внушения, с каким я когда-либо сталкивался. Я осмотрел вашу так называемую «ракету»:— Он постучал пальцем по корпусу.— Я ее слышу — слуховая иллюзия.— Он втянул носом воздух.— Я ее обоняю. Обонятельная галлюцинация, наведенная телепатической передачей чувств.— Он поцеловал обшивку ракеты.— Я ощущаю ее вкус: вкусовая иллюзия!

Он пожал руку капитана.

— Разрешите поздравить вас! Вы — психопатический гений! Это... это просто верх совершенства! Ваша способность телепатическим путем проецировать свои психопатические фантазии на сознание других субъектов при полной сохранности силы восприятий поразительна, невероятна. Остальные наши пациенты обычно концентрируются на зрительных галлюцинациях, в лучшем случае в сочетании со слуховыми. Вы же справляетесь со всем комплексом! Ваше безумие совершенно до изумления!

— Мое безумие... — Капитан побледнел.

— Да, да, великолепное безумие! Металл, резина, гравитаторы, пища, одежда, горючее, оружие, трапы, гайки, болты, ложки — я проверил множество предметов: В жизни не видел такой сложной картины. Даже тени под койками — подо всем! Такая концентрация воли! И все — все, сколько я ни проверял, можно пощупать, понюхать, послушать, попробовать на вкус! Позвольте мне вас обнять!

Наконец он оторвался от капитана.

— Я напишу об этом монографию; она будет лучшей моей работой! В следующем месяце прочту доклад в Марсианской Академии наук! Одна ваша *внешность* чего стоит! Вы ухитрились изменить даже цвет глаз — вместо желтого голубой, и кожа у вас не смуглая, а розовая! А этот костюм, и пять пальцев на руках вместо шести! Подумать только — полная биологическая метаморфоза под влиянием отклонений в психике! Да еще ваши три приятеля...

Он достал маленький пистолет.

— Вы, конечно, неизлечимы. Несчастный вы, удивительный человек! Только смерть принесет вам избавление. Хотите сказать что-нибудь напоследок?

— Стойте, Бога ради! Не стреляйте!

— Бедняга! Я исцелю вас от страданий, которые заставили вас вообразить эту ракету и этих троих людей. Захватывающее будет зрелище: я убиваю вас, и мгновенно исчезают и ваши

друзья, и ваша ракета. Ах, какую статеечку я напишу по сегодняшним наблюдениям — «Распад невротических иллюзий»!

— Я с Земли! Меня зовут Джонатан Уильямс, а эти...

— Знаю, знаю, — ласково сказал мистер Ыы и выстрелил.

Капитан упал с пульей в сердце. Его товарищи закричали.

Мистер Ыы вытарачил глаза.

— Вы продолжаете существовать? Это бесподобно! Галлюцинации с персистенцией во времени и пространстве! — Он направил на них пистолет. — Ничего, я вас заставлю исчезнуть.

— Нет! — крикнули космонавты.

— Слуховая иллюзия даже после смерти больного, — деловито отметил мистер Ыы, убивая одного за другим всех троих.

Они неподвижно лежали на песке, нисколько не изменившись.

Он толкнул их ногой. Потом постучал по корпусу ракеты.

— Она не пропала! Они не исчезли! — Он снова и снова стрелял в безжизненные тела. Потом отступил назад. Маска с застывшей улыбкой упала ему под ноги.

Выражение лица психиатра медленно изменялось. Нижняя челюсть отвисла. Пистолет выпал из ослабевшей руки. Взгляд его стал пустым, отсутствующим. Он вскинул руки вверх и повернулся кругом точно слепой. Он щупал мертвые тела, то и дело сглатывая слюну.

— Галлюцинации, — лихорадочно бормотал он. — Вкус. Зрительные образы. Запах. Звук. Ощущение.

Он махал руками, выпучив глаза. На губах выступила пена.

— Сгиньте! — завопил мистер Ыы, обращаясь к убитым. — Сгинь! — крикнул он ракете.

Он посмотрел на свои дрожащие руки.

— Заразился, — прошептал он в отчаянии. — Перешло ко мне. Телепатия. Гипноз. Теперь и я безумен. Все виды мнимых восприятий. — На секунду он замер, потом стал непослушными пальцами искать пистолет. — Осталось только одно средство. Единственный способ заставить их сгинуть, исчезнуть.

Раздался выстрел. Мистер Ыы упал.

Под лучами солнца лежали четыре тела. Тут же, рядом, лежал мистер Ыы.

Ракета стояла, покосившись, на залитом солнцем пригорке, никуда не исчезая.

Когда на закате горожане нашли ракету, они долго ломали себе голову, что это такое. Никто не отгадал. Ракету продали старьевщику, который увез ее и разобрал на утиль.

Всю ночь напролет шел дождь. На следующий день было ясно и тепло.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Он хотел улететь с ракетой на Марс. Рано утром он пришел к космодрому и стал кричать через проволочное ограждение людям в мундирах, что хочет на Марс. Он исправно платит налоги, его фамилия Причард, и он имеет полное право лететь на Марс. Разве он родился не здесь, не в Огайо? Разве он плохой гражданин? Так в чем же дело, почему ему нельзя лететь на Марс? Потрясая кулаками, он крикнул им, что не хочет оставаться на Земле: любой здравомыслящий человек мечтает унести ноги с Земли. Не позже чем через два года на Земле разразится атомная мировая война, и он вовсе не намерен дожидаться, когда это произойдет. Он и тысячи других, у кого есть голова на плечах, хотят на Марс. Спросите их сами! Подальше от войн и цензуры, от бюрократии и воинской повинности, от правительства, которое не дает шагу шагнуть без разрешения, подмяло под себя и науку и искусство! Можете оставаться на Земле, если хотите! Он готов отдать свою правую руку, сердце, голову, только бы улететь на Марс! Что надо сделать, где расписаться, с кем знакомство завести, чтобы попасть на ракету?

Они только смеялись в ответ из-за проволочного забора. И вовсе ему не хочется на Марс, говорили они. Разве он не знает, что Первая и Вторая экспедиции пропали, канули в небытие, что их участники, вернее всего, погибли?

Но это еще надо доказать, никто не знает этого *точно*, кричал он, вцепившись в проволоку. А может быть, там молочные реки и кисельные берега, может быть, капитан Йорк и капитан Уильямс просто не желают возвращаться. Ну так как — откроют ему ворота, пустят в ракету Третьей экспедиции или ему придется вламываться силой?

Они посоветовали ему заткнуться.

Он увидел, как космонавты идут к ракете.

— Подождите меня! — закричал он. — Не оставляйте меня в этом ужасном мире, я хочу улететь отсюда, скоро начнется атомная война! Не оставляйте меня на Земле!

Они силой оттащили его от ограды. Они захлопнули дверцу полицейской машины и увезли его в этот утренний час, а он прильнул к заднему окошку и за мгновение перед тем, как в облаке сиренного воя машина перемахнула через бугор, увидел багровое пламя, и услышал могучий гул, и ощутил мощ-

ное сотрясение — это серебристая ракета взмыла ввысь, оставив его на ничем не примечательной планете Земля в это ничем не примечательное утро заурядного понедельника.

Апрель 2000

ТРЕТЬЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающее движение и немые космические бездны. Корабль был новый; в нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди; в строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. Семнадцать человек было в его отсеках, включая командира. Толпа на космодроме в Огайо кричала, махала руками, подняв их к солнцу, и ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос — началась *Третья* экспедиция на Марс!

Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. Сквозь черные пучины космоса он скользил, подобно призрачному морскому чудовищу; он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одну за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило, все они по очереди переболели. Один из них умер, зато теперь оставшиеся шестнадцать, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу под ними стремительно вращается и вырастает Марс.

— Марс! — воскликнул штурман Люстиг.

— Старина Марс! — сказал Сэмюэль Хинкстон, археолог.

— Добро,— произнес капитан Джон Блэк.

Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стоял олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом в викторианском стиле, с множеством всевозможных завитушек, с голубыми, розовыми, желтыми, зелеными стеклами в окнах. На террасе росла косматая герань и висели на крючках, покачиваясь взад-вперед, взад-вперед от легкого ветерка, старые качели. Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть пюпитр с нотами под заглавием: «Прекрасный Огайо».

Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижный в сиянии марсианской весны. Стояли дома,

белые и из красного кирпича, стояли, клонясь от ветра, высокие клены, и могучие вязы, и каштаны. Стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами.

Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга. И снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за локоть соседа с таким видом, точно им вдруг стало трудно дышать. Лица их побледнели.

— Черт меня побери! — прошептал Люстиг, потирая лицо онемевшими пальцами. — Чтоб мне провалиться!

— Этого просто не может быть, — сказал Сэмюэль Хинкстон.

— Господи! — произнес командир Джон Блэк.

Химик доложил из своей рубки:

— Капитан, атмосфера разреженная. Но кислорода достаточно. Опасности никакой.

— Значит, выходим? — спросил Люстиг.

— Отставить, — сказал капитан Джон Блэк. — Надо еще разобраться, что это такое.

— Это? Маленький городок, капитан, воздух хоть и разреженный, но дышать можно.

— Маленький городок, похожий на земные города, — добавил археолог Хинкстон. — Невообразимо. Этого просто не может быть, и все же вот он, перед нами...

Капитан Джон Блэк рассеянно глянул на него.

— Как по-вашему, Хинкстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?

— По-моему, это маловероятно, капитан.

Капитан Блэк стоял возле иллюминатора.

— Посмотрите вон на те герани. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет пятьдесят тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были: во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на террасе, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино и скорее всего и есть не что иное, как пианино, в-пятых, — поглядите-ка внимательно в телескоп, вот так, — логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно «Прекрасный Огайо»? Ведь это может означать только одно: на Марсе есть река Огайо!

— Капитан Уильямс, ну конечно же! — вскричал Хинкстон.

— Что?

— Капитан Уильямс и его тройка! Или Натаниел Йорк со своим напарником. Это все объясняет!

— Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва они сели на Марсе, и оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами. Не говоря уже о том, что со времени экспедиции Йорка прошел всего один год, а экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим даже, что они живы, — возможно ли, хотя бы с помощью самых искусных марсиан, за такое короткое время выстроить целый город и чтобы он выглядел таким старым? Вы посмотрите как следует, ведь этому городу самое малое семьдесят лет. Взгляните на перильные тумбы крыльца, взгляните на деревья — вековые клены! Нет, ни Йорк, ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. Не по душе мне это. И пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля.

— Да к тому же, — добавил Люстиг, — Уильямс и его люди и Йорк селились на той стороне Марса. Мы ведь сознательно выбрали эту сторону.

— Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии. Чтобы катастрофа не повторилась. Так что мы находимся в краю, которого, насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видали.

— Черт возьми, — сказал Хинкстон, — я все-таки пойду в этот город с вашего разрешения, капитан. Ведь может оказаться, что на всех планетах нашей Солнечной системы мышление и цивилизация развивались сходными путями. Кто знает, возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи!

— Я предпочел бы обождать немного, — сказал капитан Джон Блэк.

— Командир, может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование Бога!

— Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хинкстон...

— Да, и я отношусь к ним, капитан. Но совершенно ясно — такой город просто не мог появиться без вмешательства Божественного провидения. Все эти мелочи, *детали*... Во мне сейчас такая борьба чувств, не знаю, смеяться мне или плакать.

— Тогда воздержитесь и от того и от другого, пока мы не выясним, с чем столкнулись.

— С чем столкнулись? — вмешался Люстиг. — Да ни с чем. Обыкновенный, славный, тихий, зеленый городок, и очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился. Мне он просто нравится.

— Когда вы родились, Люстиг?

— В тысяча девятьсот пятидесятом, сэр.

— А вы, Хинкстон?

— В тысяча девятьсот пятьдесят пятом, капитан. Гриннелл, штат Айова. Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся.

— Хинкстон, Люстиг, я мог бы быть вашим отцом, мне ровно восемьдесят. Родился я в тысяча девятьсот двадцатом, в Иллинойсе, но благодаря Божьей милости и науке, которая за последние пятьдесят лет научилась делать *некоторых* стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас, а вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный, такой приветливый вид — и он так похож на мой Грин-Блафф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он *слишком* похож на Грин-Блафф. — Командир повернулся к радисту. — Свяжитесь с Землей. Передайте, что мы сели. Больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра.

— Есть, капитан.

Капитан Блэк выглянул в иллюминатор; глядя на его лицо, никто не дал бы ему восьмидесяти лет — от силы сорок.

— Теперь слушайте, Люстиг. Вы, я и Хинкстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждть в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уайлдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена.

— Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой.

— Ладно, передайте людям — привести оружие в готовность. Пошли, Люстиг, пошли, Хинкстон.

И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз.

Был чудесный весенний день. На цветущей яблоне щебетала неумолимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей, далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе — громче, тише, громче, тише, нежная, баюкающая. Играли «Прекрасного мечтателя». А в другой стороне граммофон сипло, невнятно гнусавил «Странствие в сумерках» в исполнении Гарри Лодера.

Трое космонавтов стояли подле ракеты. Они жадно хватали ртом сильно разреженный воздух, потом медленно пошли, сберегая силы.

Теперь звучала другая пластинка.

Мне бы июньскую ночь,
Лунную ночь — и тебя...

У Люстига задрожали колени, у Сэмюэля Хинкстона тоже. Небо было прозрачное и спокойное, где-то на дне оврага, под прохладным навесом листвы, журчал ручей. Цокали конские копыта, громыхала, подпрыгивая, телега.

— Капитан, — сказал Сэмюэль Хинкстон, — как хотите, но похоже — нет, *иначе* просто быть *не может*, — полеты на Марс начались еще до первой мировой войны!

— Нет.

— Но как еще объясните вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку? — Хинкстон настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо. — Представьте себе, что были, ну, скажем, в тысяча девятьсот пятом году люди, которые ненавидели войну, и они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрались сюда, на Марс...

— Невозможно, Хинкстон.

— Почему? В тысяча девятьсот пятом году мир был совсем иной, тогда было гораздо легче сохранить это в секрете.

— Только не такую сложную штуку, как ракета! Нет, нет...

— Они прилетели сюда насовсем и, естественно, построили такие же дома, как на Земле, ведь они привезли с собой земную культуру.

— И все эти годы жили здесь? — спросил командир.

— Вот именно, тихо и мирно жили. Возможно, они еще не раз слетали на Землю, привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок, а потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили. Поэтому и город такой старомодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже тысяча девятьсот двадцать седьмого года. А вам, капитан? Впрочем, может, космические путешествия вообще начались гораздо раньше, чем мы полагаем? Еще сотни лет назад, в каком-нибудь отдаленном уголке Земли? Что, если люди давно уже прилетели на Марс и никто об этом не знал? А сами они изредка наведывались на Землю.

— У вас это звучит почти правдоподобно.

— Не почти, а вполне! Доказательство перед нами. Остается только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится.

Густая зеленая трава поглощала звуки их шагов. Пахло свежескошенным сеном. Капитан Джон Блэк ощутил, как вопреки его воле им овладевает чувство блаженного покоя. Лет тридцать прошло с тех пор, как он последний раз побывал вот в таком маленьком городке; жужжание весенних пчел умиротворяло и убаюкивало его, а свежесть возрожденной природы исцеляла душу.

Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери, и глухое эхо отзывалось из-под половиц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели перегородившую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру и картину кисти Максфилда Пэрриша на стене над глубоким креслом. В доме бесконечно уютно пахло стариной, чердаком, еще чем-то. Слышно было, как тихо звякал лед в кувшине с лимонадом. На кухне в другом конце дома по случаю жаркого дня кто-то готовил холодный ленч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то.

Капитан Джон Блэк потянул за ручку звонка.

Вдоль коридора прошелестели легкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет сорока, с приветливым лицом, одетая так, как, наверно, одевались в году эдак тысяча девятьсот девятом.

— Чем могу быть полезна? — спросила она.

— Прошу прощения,— нерешительно начал капитан Блэк,— но мы ищем... то есть, может, вы...

Он запнулся. Она глядела на него темными недоумевающими глазами.

— Если вы что-нибудь продаете...— заговорила женщина.

— Нет, нет, постойте! — вскричал он.— Какой это город?

Она смерила его взглядом.

— Что вы хотите этим сказать: какой город? Как это можно быть в городе и не знать его названия?

У капитана было такое лицо, словно ему больше всего хотелось пойти и сесть под тенистой яблоней.

— Мы не здешние. Нам надо знать, как здесь очутился этот город и как вы сюда попали.

— Вы из бюро переписи населения?

— Нет.

— Каждому известно,— продолжала она,— что город построен в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году. Постойте, может быть, вы меня разыгрываете?

— Что вы, ничего подобного! — поспешно воскликнул капитан. — Мы с Земли.

— Вы хотите сказать, *из-под* земли? — удивилась она.

— Да нет же, мы вылетели с третьей планеты, Земли, на космическом корабле. И прилетели сюда, на четвертую планету, на Марс...

— Вы находитесь, — объяснила женщина тоном, каким говорят с ребенком, — в Грин-Блаффе, штат Иллинойс, на материке, который называется Америка и омывается двумя океанами — Атлантическим и Тихим, в мире, именуемом также Землей. Теперь ступайте. До свидания.

И она засемила по коридору, на ходу раздвигая бисерную портьеру.

Три товарища переглянулись.

— Высадим дверь, — предложил Люстиг.

— Нельзя. Частная собственность. О Господи!

Они спустились с крыльца и сели на нижней ступеньке.

— Вам не приходило в голову, Хинкстон, что мы каким-то образом сбились с пути и просто-напросто прилетели обратно, вернулись на Землю?

— Это как же так?

— Не знаю, не знаю. Господи, дайте собраться с мыслями.

— Ведь мы контролировали каждую милю пути, — продолжал Хинкстон. — Наши хронометры точно отсчитывали, сколько пройдено. Мы миновали Луну, вышли в Большой космос и прилетели сюда. У меня нет *ни малейшего сомнения*, что мы на Марсе.

Вмешался Люстиг:

— А может быть, что-то случилось с пространством, с временем? Представьте себе, что мы заблудились в четырех измерениях и вернулись на Землю лет тридцать или сорок тому назад?

— Да бросьте вы, Люстиг!

Люстиг подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат:

— Какой сейчас год?

— Тысяча девятьсот двадцать шестой, какой же еще, — ответила женщина, сидя в качалке и потягивая свой лимонад.

— Ну, слышали? — Люстиг круто обернулся. — Тысяча девятьсот двадцать шестой! Мы улетели в *прошлое*! Это Земля!

Люстиг сел. Они уже не сопротивлялись ужасной, ошеломляющей мысли, которая пронизала их. Лежащие на коленях руки судорожно дергались.

— Разве я за этим летел? — заговорил капитан. — Мне страшно, понимаете, страшно! Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейна сюда бы сейчас...

— Кто в этом городе поверит нам? — отозвался Хинкстон. — Ох, в опасную игру мы ввязались!.. Это же *время*, четвертое измерение. Не лучше ли нам вернуться на ракету и лететь домой, а?

— Нет. Сначала заглянем хотя бы еще в один дом.

Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом.

— Я привык во всем добираться до смысла, — сказал командир. — А пока что, сдастся мне, мы еще не раскусили орешек. Допустим, Хинкстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно. И через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по Земле. Сперва эта тоска не выходила за рамки легкого невроза, потом развился настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. Что вы как психиатр предложили бы в таком случае?

Хинкстон задумался.

— Что ж, наверно, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную. Если бы существовал способ воссоздать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем средствами массового гипноза я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле *Земля*, а никакой не *Марс*.

— Отлично, Хинкстон. Мне кажется, мы напали на верный след. Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на Земле, вот и все. Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города — объекты величайшего миграционного и гипнотического эксперимента, какой вам когда-либо придется наблюдать.

— В самую точку, капитан! — воскликнул Люстиг.

— Без промаха! — добавил Хинкстон.

— Добро. — Капитан вздохнул. — Дело как будто прояснилось, и на душе легче. Хоть какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперед во времени меня только мутит. Если же мое предположение *правильно*... — Он улыбнулся. — Что же, тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди местных жителей!

— Вы уверены? — сказал Люстиг. — Как-никак, эти люди своего рода пилигримы, они намеренно покинули Землю. Может, они вовсе не будут нам рады. Может, даже попытаются изгнать нас, а то и убить.

— Наше оружие получше. Ну пошли, зайдем в следующий дом.

Но не успели они пересечь газон, как Люстиг вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой дремлющей улицы.

— Капитан,— произнес он.

— В чем дело, Люстиг?

— *Капитан...* Нет, вы только... *Что я вижу!*

По щекам Люстига катились слезы. Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали, лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку, он вдруг сорвался с места и побежал, споткнулся, упал, поднялся на ноги и опять побежал, крича:

— Эй, послушайте!

— Остановите его! — Капитан пустился вдогонку.

Люстиг бежал изо всех сил, крича на бегу. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух. Когда Хинкстон и капитан догнали Люстига, он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обессиленные бешеной гонкой в разреженной марсианской атмосфере.

— Бабушка, дедушка! — звал Люстиг.

Двое стариков появились на пороге.

— Дэвид! — ахнули старческие голоса. И они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине.— Дэвид, о Дэвид, сколько лет прошло!.. Как же ты вырос, мальчуган, какой большой стал! Дэвид, мальчик, как ты поживаешь?

— Бабушка, дедушка! — всхлипывал Дэвид Люстиг.— Вы чудесно, чудесно выглядите!

Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вертел их кругом, целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава, дверь была отворена настежь.

— Входи же, входи, мальчуган. Тебя ждет чай со льдом, свежий, пей вволю!

— Я с друзьями.— Люстиг обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом подозвал капитана и Хинкстона.— Капитан, идите же.

— Здравствуйте,— приветствовали их старики.— Пожалуйста, входите. Друзья Дэвида — наши друзья. Не стесняйтесь!

В гостиной старого дома было прохладно; в одном углу размеренно тикали, поблескивая бронзой, высокие стоячие часы.

Мягкие подушки на широких кушетках, книги вдоль стен, толстый ковер с пышным цветочным узором, а в руках — запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке.

— Пейте на здоровье.— Бабушкин стакан звякнул о ее фарфоровые зубы.

— И давно вы здесь живете, бабушка? — спросил Люстиг.

— С тех пор как умерли, — с ехидцей ответила она.

— С тех пор как... что? — Капитан Блэк поставил свой стакан.

— Ну да, — кивнул Люстиг. — Они уже тридцать лет как умерли.

— А вы сидите как ни в чем не бывало! — воскликнул капитан.

— Полно! — Старушка лукаво подмигнула. — Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь, и все тут. Что такое жизнь, коли на то пошло? Кому нужны эти «почему» и «зачем»? Мы снова живы, вот и все, что нам известно, и никаких вопросов мы не задаем. Если хотите, это вторая попытка. — Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую, сухую руку. — Потрогайте.

Капитан потрогал.

— Ну как, настоящая?

Он кивнул.

— Так чего же вам еще надо? — торжествующе произнесла она. — К чему вопросы?

— Понимаете, — ответил капитан, — мы просто не представляли себе, что обнаружим на Марсе такое.

— А теперь обнаружили. Смею думать, на каждой планете найдется немало такого, что покажет вам, сколь неисповедимы пути Господни.

— Так что же, здесь — Царство небесное? — спросил Хинкстон.

— Вздор, ничего подобного. Здесь такой же мир, и нам предоставлена вторая попытка. Почему? Об этом нам никто не сказал. Но ведь и на Земле никто не объяснил нам, почему мы там очутились. На той Земле. С которой прилетели вы. И откуда нам знать, что *до нее не было еще одной?*

— Хороший вопрос, — сказал капитан.

С лица Люстига не сходила радостная улыбка.

— Черт возьми, до чего же приятно вас видеть, я так рад!

Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру.

— Ну, нам пора идти. Спасибо за угощение.

— Но вы ведь еще придете? — всполошились старики.— Мы ждем вас к ужину.

— Большое спасибо, постараемся прийти. У нас столько дел. Мои люди ждут меня в ракете и...

Он смолк, ошеломленно глядя на открытую дверь.

Откуда-то издали, из пронизанного солнцем простора, доносились голоса, крики, дружные приветственные возгласы.

— Что это? — спросил Хинкстон.

— Сейчас узнаем.— И капитан Джон Блэк мигом выскочил за дверь и побежал через зеленый газон на улицу марсианского городка.

Он застыл, глядя на ракету. Все люки были открыты, и экипаж торопливо спускался на землю, приветственно махая руками. Кругом собралась огромная толпа, и космонавты влились в нее, смешались с ней, проталкивались через нее, разговаривая, смеясь, пожимая руки. Толпа приплясывала от радости, возбужденно теснилась вокруг землян. Ракета стояла покинутая, пустая.

В солнечных лучах взорвался блеском духовой оркестр, из высоко поднятых басов и труб брызнули ликующие звуки. Бухали барабаны, пронзительно свистели флейты. Золотоволосые девочки прыгали от восторга. Мальчуганы кричали: «Ура!» Толстые мужчины угощали знакомых и незнакомых десятицентовыми сигарами. Мэр города произнес речь. А затем всех членов экипажа одного за другим подхватили под руки — мать с одной стороны, отец или сестра с другой — и увлекли вдоль по улице в маленькие коттеджи и в большие особняки.

— Стой! — закричал капитан Блэк.

Одна за другой наглухо захлопнулись двери.

Зной струился вверх к прозрачному весеннему небу, тишина нависла над городком. Трубы и барабаны исчезли за углом. Покинутая ракета одиноко сверкала и переливалась солнечными бликами.

— Дезертиры! — воскликнул командир.— Они самовольно оставили корабль! Клянусь, им это так не пройдет! У них был приказ!..

— Капитан,— сказал Люстиг,— не будьте излишне строги. Когда вас встречают родные и близкие...

— Это не оправдание!

— Но вы представьте себе их чувства, когда они увидели возле корабля знакомые лица!

— У них был приказ, черт возьми!

— А как бы вы поступили, капитан?

— Я бы выполнял приказ...— Он так и замер с открытым ртом.

По тротуару в лучах марсианского солнца шел, приближаясь к ним, высокий, улыбающийся молодой человек лет двадцати шести с удивительно яркими голубыми глазами.

— Джон! — крикнул он и бросился к ним.

— Что? — Капитан Блэк попятился.

— Джон, старый плут!

Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по спине.

— Ты?... — пролепетал Блэк.

— Конечно, я, *кто* же еще!

— Эдвард! — Капитан повернулся к Люстигу и Хинкстону, не выпуская руки незнакомца. — Это мой брат, Эдвард. Эд, познакомься с моими товарищами: Люстиг, Хинкстон! Мой брат!

Они тянули, теребили друг друга за руки, потом обнялись.

— Эд!

— Джон, бездельник!

— Ты великолепно выглядишь, Эд! Но постой, *как* же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы. Ведь тебе... тебе же было двадцать шесть, когда ты умер, а мне девятнадцать. Бог ты мой, столько лет, столько лет — и вдруг ты здесь. Да что ж это такое?

— Мама ждет, — сказал Эдвард Блэк, улыбаясь.

— Мама?

— И отец тоже.

— Отец? — Капитан пошатнулся, точно от сильного удара, и сделал шаг-другой негнушными, непослушными ногами. — Мать и отец живы? Где они?

— В нашем старом доме, на Дубовой улице.

— В старом доме... — Глаза капитана светились восторгом и изумлением. — Вы слышали, Люстиг, Хинкстон?

Но Хинкстона уже не было рядом с ними. Он заметил в дальнем конце улицы свой собственный дом и поспешил туда. Люстиг рассмеялся:

— Теперь вы поняли, капитан, что было с нашими людьми? Их никак нельзя винить.

— Да... Да... — Капитан зажмурился. — Сейчас я открою глаза, и тебя не будет. — Он моргнул. — Ты здесь! Господи! Эд, ты *великолепно* выглядишь!

— Идем, ленч ждет. Я предупредил маму.

— Капитан, — сказал Люстиг, — если я понадоблюсь, я — у своих стариков.

— Что? А, ну конечно, Люстиг. Пока.

Эдвард потянул брата за руку, увлекая его за собой.

— Вот и наш дом. Вспоминаешь?

— Еще бы! Спорим, я первый добегу до крыльца!

Они побежали вразнос. Шумели деревья над головой капитана Блэка, гудела земля под его ногами. В этом поразительном сне наяву он видел, как его обгоняет Эдвард Блэк, видел, как стремительно приближается его родной дом и широко распахивается дверь.

— Я — первый! — крикнул Эдвард.

— Еще бы, — еле выдохнул капитан, — я старик, а ты вон какой молодец. Да ты ведь меня *всегда* обгонял! Думаешь, я забыл?

В дверях была мама — полная, розовая, сияющая. За ней, с заметной проседью в волосах, стоял папа, держа в руке свою трубку.

— Мама, отец!

Он ринулся к ним вверх по ступенькам, точно ребенок.

День был чудесный и долгий. После ленча они перешли в гостиную, и он рассказал им все про свою ракету, а они кивали и улыбались ему, и мама была совсем такая, как прежде, и отец откусывал кончик сигары и задумчиво прикуривал ее — совсем как в былые времена. Вечером был обед, умопомрачительная индейка, и время летело незаметно. И когда хрупкие косточки были начисто обсосаны и грудой лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула и шумно выдохнул воздух в знак своего глубочайшего удовлетворения. Вечер упокоил листву деревьев и окрасил небо, и лампы в милом старом доме засветились ореолами розового света. Из других домов вдоль всей улицы доносились музыка, звуки пианино, хлопанье дверей.

Мама поставила пластинку на виктролу и закружилась в танце с капитаном Джоном Блэком. От нее пахло теми же духами, он их запомнил еще с того лета, когда она и папа погибли при крушении поезда. Но сейчас они легко скользили в танце, и его руки обнимали реальную, живую маму...

— Не каждый день человеку предоставляется вторая попытка, — сказала мама.

— Завтра утром проснусь, — сказал капитан, — и окажется, что я в своей ракете, в космосе, и ничего этого нет.

— К чему такие мысли! — воскликнула она ласково. — Не допытывайся. Бог милостив к нам. Будем же счастливы!

— Прости, мама.

Пластинка кончилась и вертелась, шипя.

— Ты устал, сынок. — Отец указал мундштуком трубки: — Твоя спальня ждет тебя, и старая кровать с латунными шарами — все как было.

— Но мне надо собрать моих людей.

— Зачем?

— Зачем? Гм... не знаю. Пожалуй, и впрямь незачем. Конечно, незачем. Они ужинают либо уже спят. Пусть выспятся, отдых им не повредит.

— Доброй ночи, сынок.— Мама поцеловала его в щеку.— Как славно, что ты дома опять!

— Да, дома хорошо...

Покинув мир сигарного дыма, духов, книг, мягкого света, он поднялся по лестнице и все говорил, говорил с Эдвардом. Эдвард толкнул дверь, и Джон Блэк увидел свою желтую латунную кровать, знакомые вымпелы колледжа и сильно потертую енотовую шубу, которую погладил с затаенной нежностью.

— Слишком много сразу,— промолвил капитан.— Я обесилел от усталости. Столько событий в один день! Как будто меня двое суток держали под ливнем без зонта и без плаща. Я насквозь, до костей, пропитан впечатлениями...

Широкими взмахами рук Эдвард расстелил большие белоснежные простыни и взбил подушки. Потом растворил окно, впуская в комнату ночное благоухание жасмина. Светила луна, издали доносились звуки танцевальной музыки и тихих голосов.

— Так вот он какой, Марс,— сказал капитан, раздеваясь.

— Да, вот такой.— Эдвард раздевался медленно, не торопясь стянул через голову рубаху, обнажая золотистый загар плеч и крепкой, мускулистой шеи.

Свет погас, и вот они рядом в кровати, как бывало — сколько десятилетий тому назад? Капитан приподнялся на локте, вдыхая напоенный ароматом жасмина воздух, потоки которого раздували в темноте легкие тюлевые занавески. На газоне среди деревьев кто-то завел патефон — он тихо наигрывал «Всегда».

Блэку вспомнилась Мерилин.

— Мерилин тоже здесь?

Брат лежал на спине в квадрате лунного света из окна. Он ответил не сразу.

— Да.— Помешкал и добавил: — Ее сейчас нет в городе, она будет завтра утром.

Капитан закрыл глаза.

— Мне бы очень хотелось увидеть Мерилин.

В тишине просторной комнаты слышалось только их дыхание.

— Спокойной ночи, Эд.

Пауза.

— Спокойной ночи, Джон.

Капитан блаженно вытянулся на постели, дав волю мыслям. Только теперь схлынуло с него напряжение этого дня, и

он наконец-то мог рассуждать логично. Все-все были сплошные эмоции. Громогласный оркестр, знакомые лица родни... Зато теперь...

«Каким образом? — дивился он. — Как все это было сделано? И зачем? Для чего? Что это — неизреченная благость Божественного провидения? Неужто Бог и впрямь так печется о своих детях? Как, почему, для чего?»

Он взвесил теории, которые предложили Хинкстон и Люстиг еще днем, под влиянием первых впечатлений. Потом стал перебирать всякие новые предположения, лениво, как камешки в воду, роняя их в глубину своего разума, поворачивая их и так и сяк, и тусклыми проблесками вспыхивало в нем озарение. Мама. Отец. Эдвард. Марс. Земля. Марс. Марсиане.

А тысячу лет назад кто жил на Марсе? Марсиане? Или всегда было, как сегодня?

Марсиане. Он медленно повторял про себя это слово.

И вдруг чуть не рассмеялся почти вслух. Внезапно пришла в голову совершенно нелепая теория. По спине пробежал холодок. Да нет, вздор, конечно. Слишком невероятно. Ерунда. Выкинуть из головы. Смешно.

И все-таки... Если *предположить*. Да, только предположить, что на Марсе живут именно марсиане, что они увидели, как приближается наш корабль, и увидели нас внутри этого корабля. И что они нас возненавидели. И еще допустим — просто так, курьеза ради, — что они решили нас уничтожить, как захватчиков, незваных гостей, и притом сделать это хитроумно, ловко, усыпив нашу бдительность. Так вот, какие же средства может марсианин пустить в ход против землян, оснащенных атомным оружием?

Ответ получался любопытный. Телепатию, гипноз, воспоминания, воображение.

Предположим, что эти дома вовсе не настоящие, кровать не настоящая, что все это продукты моего собственного воображения, материализованные с помощью марсианской телепатии и гипноза, размышлял капитан Джон Блэк. На самом деле дома совсем *иные*, построенные на марсианский лад, но марсиане, подлаживаясь под мои мечты и желания, ухитрились сделать так, что я будто бы вижу свой родной город, свой дом. Если хочешь усыпить подозрения человека и заманить его в ловушку, можно ли придумать лучшую приманку, чем его родные отец и мать?

Этот городок, такой старый, все, как в тысяча девятьсот двадцать шестом году, когда никого из моего экипажа еще не было на свете! Когда мне было шесть лет, когда *действительно* были в моде пластинки с песенками Гарри Лодера и *еще висели*

в домах картины Максфилда Пэрриша, когда были бисерные портьеры, и песенка «Прекрасный Огайо», и архитектура начала двадцатого века. А что, если марсиане извлекли все представления о городе только из *моего сознания*? Ведь говорят же, что воспоминания детства самые яркие. И, создав город по *моим* воспоминаниям, они населили его родными и близкими, живущими в памяти всех членов экипажа ракеты!

И допустим, что двое спящих в соседней комнате вовсе не мой отец и мать, а марсиане с необычайно высокоразвитым интеллектом, которым ничего не стоит все время держать меня под гипнозом?..

А этот духовой оркестр? Какой потрясающий, изумительный план! Сперва заморочить голову Люстигу, за ним Хинкстону, потом согнать толпу; а когда космонавты увидели матерей, отцов, теток, невест, умерших десять, двадцать лет назад,— разве удивительно, что они забыли обо всем на свете, забыли про приказ, выскочили из корабля и бросили его? Что может быть естественнее? Какие тут могут быть подозрения? Проще некуда: кто станет допытываться, задавать вопросы, увидев перед собой воскресшую мать,— да тут от счастья вообще онемеешь. И вот вам результат: все мы разошлись по разным домам, лежим в кроватях, и нет у нас оружия, защищаться нечем, и ракета стоит в лунном свете, покинутая. Как ужасающе страшно будет, если окажется, что все это попросту часть дьявольски хитроумного плана, который марсиане задумали, чтобы разделить нас и одолеть, перебить всех до одного. Может быть, среди ночи мой брат, что лежит тут, рядом со мной, вдруг преобразится, изменит свой облик, свое существо и станет чем-то другим, жутким, враждебным,— станет марсианином? Ему ничего не стоит повернуться в постели и вонзить мне нож в сердце. И во всех остальных домах еще полтора десятка братьев или отцов вдруг преобразятся, схватят ножи и проделают то же с ничего не подозревающими спящими землянами...

Руки Джона Блэка затряслись под одеялом. Он похолодел. Внезапно это перестало быть теорией. Внезапно им овладел неодолимый страх.

Он сел и прислушался. Ночь была беззвучна. Музыка смолкла. Ветер стих. Брат лежал рядом с ним, погруженный в сон.

Он осторожно откинул одеяло, соскользнул на пол и уже тихонько шел к двери, когда раздался голос брата:

— Ты куда?

— Что?

Голос брата стал ледяным:

— Я спрашиваю, далеко ли ты собрался?

— За водой.

- Ты не хочешь пить.
- Хочу, правда же, хочу.
- Нет, не хочешь.

Капитан Джон Блэк рванулся и побежал. Он вскрикнул. Он вскрикнул дважды.

Он не добежал до двери.

Наутро духовой оркестр играл заунывный траурный марш. По всей улице из каждого дома выходили, неся длинные ящики, маленькие скорбные процессии; по залитой солнцем мостовой выступали, утирая слезы, бабки, матери, сестры, братья, дядья, отцы. Они направлялись на кладбище, где уже ждали свежерытые могилы и новенькие надгробные плиты. Шестнадцать могил, шестнадцать надгробных плит.

Мэр произнес краткую успокоительную речь, и лицо его менялось, не понять — то ли мэр, то ли кто-то другой.

Мать и отец Джона Блэка пришли на кладбище, и брат Эдвард пришел. Они плакали, убивались, а лица их постепенно преображались, теряя знакомые черты.

Дедушка и бабушка Люстига тоже были тут и рыдали, и лица их таяли точно воск, расплывались, как все расплывалось в жаркий день.

Гробы опустили в могилы. Кто-то пробормотал насчет «внезапной и безвременной кончины шестнадцати отличных людей, которых смерть унесла в одну ночь...»

Комья земли застучали по гробовым крышкам.

Духовой оркестр, играя «Колумбия, жемчужина океана», прошагал в такт громахающей меди в город, и в этот день все отдыхали.

Июнь 2001

И ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛУЧАМИ СЕРЕБРИТ ПРОСТОР ЛУНА...

Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра. Насчет того, чтобы отпраздновать прилет на Марс, он и слова не сказал, просто набрал хворосту, подпалил его и стал смотреть, как он горит.

Потом в зареве, окрасившем разреженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех — капитана Уайлдера, Чероки, Хэтэуэя, Сэма Паркхилла, его самого — через немые черные звездные просторы и доставила в безжизненный, грезящий мир.

Джефф Спендер ждал, когда начнется содом. Он глядел на своих товарищей и ждал: сейчас запрыгают, закричат... Вот только пройдет оцепенение от потрясающей мысли, что они «первые» люди на Марсе. Никто об этом вслух не говорил, но в глубине души многие, видимо, надеялись, что их предшественники не долетели и пальма первенства будет принадлежать *этой*, Четвертой, экспедиции. Нет, они никому не желали зла, просто им очень хотелось быть первыми и они мечтали о славе и почете, пока их легкие привыкали к разреженной атмосфере Марса, из-за которой голова становилась словно хмельная, если двигаться слишком быстро.

Гиббс подошел к разгорающемуся костру и спросил:

— Зачем хворост, ведь в ракете есть химическое горючее?

— Неважно, — ответил Спендер, не поднимая головы.

Немыслимо, просто непристойно в первую же ночь на Марсе устраивать шум и гам и тащить из ракеты неуместную здесь штукювину — печку, сверкающую идиотским блеском. Это же будет надругательство какое-то. Еще успеется, еще будет время швырять банки из-под сгущенного молока в гордые марсианские каналы, еще поползут, лениво закувыркаются по седому пустынному дну марсианских морей шуршащие листы «Нью-Йорк таймс», придет время банановой кожуре и замасленной бумаге валяться среди изящно очерченных развалин древних марсианских городов. Все впереди, все будет. Его даже передернуло от этой мысли.

Спендер подкармливал пламя из рук с таким чувством, словно приносил жертву мертвому исполину. Планета, на которую они сели, — гигантская гробница. Здесь погибла целая цивилизация. Элементарная вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно.

— Нет, так не пойдет! Посадку надо отпраздновать! — Гиббс повернулся к капитану Уайлдеру. — Начальник, а неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и малость кутнуть.

Капитан Уайлдер смотрел на мертвый город, который раскинулся в миле от них.

— Мы все устали, — произнес он рассеянно, точно целиком ушел в созерцание города и забыл про своих людей. — Лучше завтра вечером. Сегодня хватит с нас того, что мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы, и в оболочке нет дыры от метеорита.

Космонавты топтались вокруг костра. Их было двадцать, кто положил руку на плечо товарища, кто поправлял пояс. Спендер пристально разглядывал их. Они были недовольны. Они рисковали жизнью ради великого дела. Теперь им хотелось напиться до чертиков, горланить песни, поднять такую

пальбу, чтобы сразу было видно, какие они лихие парни,— пробуравили космос и пригнали ракету на Марс. На Марс!

Но пока все помалкивали.

Капитан негромко отдал приказ. Один из космонавтов сбежал в ракету и принес консервы, которые открыли и раздали без особого шума. Мало-помалу люди разговорились. Капитан сел и сделал краткий обзор полета. Они все знали сами, но было приятно слушать и сознавать, что все это уже позади, дело благополучно завершено. Про обратный путь говорить не хотелось. Кто-то было заикнулся об этом, но его заставили замолчать. В двойном лунном свете быстро мелькали ложки; еда казалась очень вкусной, вино — еще вкуснее.

В небе чиркнуло пламя, и мгновение спустя за их стоянкой села вспомогательная ракета. Спендер смотрел, как открылся маленький люк и оттуда вышел Хетзуэй, врач и геолог,— у каждого участника экспедиции были две специальности, для экономии места в ракете. Хетзуэй, не торопясь, подошел к капитану.

— Ну, что там? — спросил капитан Уайлдер.

Хетзуэй глядел на далекие города, мерцающие в звездном свете. Потом проглотил ком в горле и перевел взгляд на Уайлдера:

— Вон тот город мертв, капитан, мертв уж много тысяч лет. Как и три города в горах. Но пятый город, в двухстах милях отсюда...

— Ну?

— Еще на прошлой неделе там жили.

Спендер встал.

— Марсиане,— добавил Хетзуэй.

— А где они теперь?

— Умерли,— сказал Хетзуэй.— Я зашел в один дом, думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные, сколько там трупов! Словно груды осенних листьев! Будто сухие стебли и клочки горелой бумаги — все, что от них осталось. Причем умерли *совсем* недавно, самое большее дней десять назад.

— А в других городах? Хоть *что-нибудь* живое вы видели?

— Ничего. Я потом еще не один проверил. Из пяти городов четыре заброшены много тысяч лет. Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели. Зато в каждом пятом городе — одно и то же. Тела. Тысячи тел.

— От чего они умерли? — Спендер подошел ближе.

— Вы не поверите.

— Что их убило?

— Ветрянка,— коротко ответил Хетзуэй.

— Не может быть!

— Точно. Я сделал анализы. Ветряная оспа. Ее действие на марсиан совсем не такое, как на землян. Видимо, все дело в обмене веществ. Они почернели как головешки и высохли, превратились в ломкие хлопья. Но это ветрянка, никакого сомнения. Выходит, что и Йорк, и капитан Уильямс, и капитан Блэк — все три экспедиции добрались до Марса. Что с ними стало потом, одному Богу известно. Но мы совершенно точно знаем, что они, сами того не ведая, *сделали* с марсианами.

— И нигде никаких признаков жизни?

— Возможно, конечно, что несколько марсиан вовремя сообразили и ушли в горы. Но даже если так, бьюсь об заклад, что проблемы туземцев здесь нет, их слишком мало. Песенка марсиан спета.

Спендер повернулся и снова сел у костра, уставившись в огонь. Ветрянка, Господи, подумать только, ветрянка! Население планеты миллионы лет развивается, совершенствует свою культуру, строит вот такие города, всячески старается утвердить свои идеалы и представления о красоте и — погибает. Часть умерла еще до нашей эры — пришел их срок, и они скончались тихо, с достоинством встретили смерть. Но остальные! Может быть, остальные марсиане погибли от болезни с изысканным, или грозным, или возвышенным названием? Ничего подобного, черт возьми, их доконала ветрянка, детская болезнь, болезнь, которая на Земле не убивает *даже детей!* Это неправильно, несправедливо. Это все равно что сказать про древних греков, что они погибли от свинки, а гордых римлян на их прекрасных холмах скопил грибок! Хоть бы дали мы марсианам время приготовить свой погребальный убор, принять надлежащую позу и измыслить какую-нибудь *иную* причину смерти. Так нет же — какая-то паршивая, дурацкая ветрянка! Нет, не может быть, это несовместимо с величием их архитектуры, со всем их миром!

— Ладно, Хетэуэй, теперь перекусите.

— Спасибо, капитан.

И все! Уже забыто. Уже говорят совсем о другом.

Спендер, не отрываясь, следил за своими спутниками. Он не прикоснулся к своей порции, лежавшей в тарелке у него на коленях. Стало еще холоднее. Звезды придвинулись ближе, вспыхнули ярче.

Если кто-нибудь начинал говорить чересчур громко, капитан отвечал вполголоса, и они невольно понижали голос, стараясь подражать ему.

Какой здесь чистый, необычный воздух! Спендер долго сидел и просто дышал, наслаждаясь его ароматом. В нем слилась бездна запахов, он не мог угадать каких: цветы, химические вещества, пыль, ветер...

— Или взять хоть тот раз в Нью-Йорке, когда я подцепил эту блондиночку, — черт, забыл, как ее звали... Гинни! — орал Биггс. — Девчонка была что надо!

Спендер весь сжался. У него задрожали руки. Глаза беспокойно дергались под тонкими, прозрачными веками.

— Вот Гинни и говорит мне... — продолжал Биггс.

Раздался дружный хохот.

— Ну я ей и вмазал! — выкрикнул Биггс, не выпуская из рук бутылки.

Спендер отставил свою тарелку в сторону. Прислушался к шепоту прохладного ветерка. Полюбовался белыми марсианскими зданиями — точно холодные льдины на дне высохшего моря...

— Какая девчонка, блеск! — Биггс опрокинул бутылку в свою широкую пасть. — Сколько их было — такой не попадалось!

В воздухе стоял резкий запах потного тела Биггса. Спендер дал костру потухнуть.

— Эй, Спендер, уснул, что ли, подкинь дров! — крикнул Биггс и снова присосался к бутылке. — Ну так вот, однажды ночью мы с Гинни...

Один из космонавтов, по фамилии Шенке, принес свой аккордеон и стал отбивать чечетку, так что пыль столбом поднялась.

— Э-эх! — вопил он. — Живем!

— О-го-го! — горланили остальные, отбросив пустые тарелки.

Трое стали в ряд и задргали ногами, наподобие девиц из бурлеска, выкрикивая соленые шуточки. Другие хлопали в ладоши, требуя отколоть что-нибудь еще. Чероки сбросил рубаху и закружился, сверкая потным торсом. Лунное сияние серебрило его ежик и гладко выбритые молодые щеки.

Ветер гнал легкий туман над дном пересохшего моря, огромные каменные изваяния глядели с гор на серебристую ракету и крохотный костер.

Шум и гомон становились сильнее, число танцоров росло, кто-то играл на губной гармонике, другой дул в гребешок, обернутый папиросной бумагой. Еще два десятка бутылок откупорено и выпито. Биггс пьяно топтался вокруг и пытался дирижировать пляской, размахивая руками.

— Командир, присоединяйтесь! — крикнул Чероки капитану и затянул песню.

Пришлось и капитану плясать. Он делал это без всякой охоты. Лицо его было сумрачно. Спендер смотрел на него и думал: «Бедняга! Что за ночь! Не ведают они, что творят. Им перед вылетом надо бы инструктаж устроить, объяснить, что надо вести себя на Марсе прилично, хотя бы первые дни».

— Хватит.— Капитан вышел из круга и сел, сославшись на усталость.

Спендер взглянул на капитана. Не сказать, чтобы его грудь вздымалась чаще обычного. И лицо ничуть не вспотело.

Аккордеон, гармоника, вино, крики, пляска, вопли, возня, лязг посуды, хохот.

Биггс, шатаясь, побрел на берег марсианского канала. Он захватил с собой шесть пустых бутылок и одну за другой стал бросать их в глубокую голубую воду. Погружаясь, они издавали гулкий, задыхающийся звук.

— Я нарекаю тебя, нарекаю тебя, нарекаю тебя...— заплетаящимся языком бормотал Биггс.— Нарекаю тебя именем Биггс, Биггс, канал Биггса...

Прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, Спендер вскочил на ноги, прыгнул через костер и подбежал к Биггсу. Он ударил Биггса сперва по зубам, потом в ухо. Биггс покачнулся и упал прямо в воду. Всплеск. Спендер молча ждал, когда Биггс выкарабкается обратно. Но к этому времени остальные уже схватили Спендера за руки.

— Эй, Спендер, что это на тебя нашло? Ты что? — допытывались они.

Биггс выбрался на берег и встал на ноги, вода струилась с него на каменные плиты. Он сразу заметил, что Спендера держат.

— Так,— сказал он и шагнул вперед.

— Прекратить! — рявкнул капитан Уайлдер.

Спендера выпустили. Биггс замер, глядя на капитана.

— Ладно, Биггс, переоденьтесь. Вы, ребята, можете продолжать веселиться! Спендер, пойдемте со мной!

Веселье возобновилось. Уайлдер отошел в сторону и обернулся к Спендеру.

— Может быть, вы объясните, в чем дело? — сказал он.

Спендер смотрел на канал.

— Не знаю. Мне стало стыдно. За Биггса, за всех нас, за этот содом. Господи, какое безобразие!

— Путешествие было долгое. Надо же им отвести душу.

— Но где их уважение, командир? Где чувство пристойности?

— Вы устали, Спендер, и смотрите на вещи иначе, чем они. Уплатите штраф пятьдесят долларов.

— Слушаюсь, командир. Но уж очень неприятно, когда подумаешь, что Они видят, как мы дураков корчим.

— Кто это «Они»?

— Марсиане, будь то живые или мертвые, все равно.

— Безусловно, мертвые,— ответил капитан.— Вы думаете, Они знают, что мы здесь?

— Разве старое не знает всегда о появлении нового?

— Пожалуй. Можно подумать, что вы верите в духов.

— Я верю в вещи, сделанные трудом, а все вокруг показывает, сколько здесь сделано. Здесь есть улицы, и дома, и книги, наверно, есть, и широкие каналы, башни с часами, стойла — ну, пусть не для лошадей, но все-таки для каких-то домашних животных, скажем, даже с двенадцатью ногами, почем мы можем знать? Куда ни глянешь, всюду вещи и сооружения, которыми пользовались. К ним прикасались, их употребляли много столетий. Спросите меня, верю ли я в душу вещей, вложенную в них теми, кто ими пользовался,— я скажу да. А они здесь, вокруг нас,— вещи, у которых было свое назначение. Горы, у которых были свои названия. Пользуясь этими вещами, мы всегда неизбежно будем чувствовать себя неловко. И названия гор будут звучать для нас как-то не так — мы их окрестим, а старые-то названия никуда не делись, существуют где-то во времени, для кого-то здешние горы, представления о них были связаны именно с теми названиями. Названия, которые мы дадим каналам, городам, вершинам, скатятся с них как с гуся вода. Мы можем сколько угодно соприкоснуться с Марсом — настоящего общения никогда не будет. В конце концов это доведет нас до бешенства, и знаете, что мы сделаем с Марсом? Мы его распотрошим, снимем с него шкуру и перекроим ее по своему вкусу.

— Мы не разрушим Марс,— сказал капитан.— Он слишком велик и великолепен.

— Вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте, среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе и там не развернешь коммерции. Но Египет всего лишь клочок нашей планеты. А здесь — здесь все древность, все непохожее, и мы где-нибудь тут обоснуемся и начнем опоганивать этот мир. Вот этот канал назовем в честь Рокфеллера, эту гору назовем горой короля Георга, и море будет морем Дюпона, там вон будут города Рузвельт, Линкольн и Кулидж, но это все будет неправильно, потому что у каждого места уже есть свое, *собственное* имя.

— Это уж ваше дело, археологов, раскапывать старые названия, а мы что ж, мы согласны ими пользоваться.

— Кучка людей вроде нас — против всех дельцов и трестов? — Спендер поглядел на отливающие металлом горы. — Они знают, что мы сегодня появились здесь, будем пакостить им; они должны нас ненавидеть.

Капитан покачал головой.

— Здесь нет ненависти. — Он прислушался к ветру. — Судя по их городам, это были добрые, красивые, мудрые люди. Они принимали свою судьбу как должное. Очевидно, смирились с тем, что им вымирать, и не затеяли с отчаяния никакой опустошительной войны напоследок, не стали уничтожать своих городов. Все города, которые мы до сих пор видели, сохранились в полной неприкосновенности. Сдается мне, мы им мешаем не больше, чем помешали бы дети, играющие на газоне, — велик ли спрос с ребенка? И кто знает, быть может, в конечном счете все это изменит нас к лучшему. Вы обратили внимание, Спендер, на необычно тихое поведение наших людей, пока Биггс не навязал им это веселье? Как смирно, даже робко они держались! Еще бы, лицом к лицу со всем этим сразу сообразишь, что мы не так уж сильны. Мы просто дети в коротких штанишках, шумные и непоседливые дети, которые носятся со своими ракетными и атомными игрушками. Но ведь когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь. Так что Марс нас отрезвит. Наглядное пособие по истории цивилизации. Полезный урок. А теперь — выше голову! Пойдем играть в веселье. Да, штраф остается в силе.

Но веселье не ладилось. С мертвого моря упорно дул ветер. Он вился вокруг космонавтов, вокруг капитана и Джеффа Спендера, когда те шли обратно к остальным. Ветер ворошил пыль и обтекал сверкающую ракету, теребил аккордеон, и пыль покрыла исцелованную губную гармонику. Она засорила им глаза, и от ветра в воздухе звучала высокая певучая нота. Вдруг он стих так же неожиданно, как начался.

Но и веселье тоже стихло.

Люди застыли неподвижно под равнодушным черным небом.

— А ну, ребята, давай! — Биггс в чистой, сухой одежде выскочил из ракеты, стараясь не смотреть на Спендера. Звук его голоса погас, будто в пустом зале. Будто никого вокруг нет. — Давайте все сюда!

Никто не тронулся с места.

— Эй, Уайти, что же твоя гармоника?

Уайти выдул какую-то трель. Она прозвучала фальшиво и нелепо. Уайти вытряхнул из инструмента влагу и убрал его в карман.

— Вы что, *на поминках*, что ли? — не унимался Биггс.

Кто-то сжал в объятиях аккордеон. Он издал звук, похожий на предсмертный стон животного. И все.

— Ладно, тогда мы с бутылочкой повеселимся вдвоем.— Биггс уселся, прислонившись к ракете, и поднес ко рту карманную фляжку.

Спендер не сводил с него глаз. Долго стоял неподвижно. Потом его пальцы тихонько, медленно поползли вверх по дрожащему бедру, нащупали пистолет и стали поглаживать кожаную кобуру.

— Кто хочет, может пойти со мной в город,— объявил капитан.— Поставим охрану у ракеты и захватим с собой оружие — на всякий случай.

Желающие построились и рассчитались по порядку. Их оказалось четырнадцать, включая Биггса, который стал в строй, гогоча и размахивая бутылкой. Шесть человек решили остаться.

— Ну, потопали! — заорал Биггс.

Отряд молча зашагал по долине, залитой лунным светом. Они пришли на окраину дремлющего мертвого города, озаренного светом двух догоняющих друг друга лун. Тени, протянувшиеся от их ног, были двойными.

Несколько минут космонавты стояли, затаив дыхание. Ждали: вот сейчас что-нибудь шевельнется в этом безжизненном городе, возникнет какой-нибудь туманный силуэт, промчится галопом по бесплодному морскому дну этакий призрак седой старины верхом на закованном в латы древнем коне немыслимых кровей, с невиданной родословной.

Воображение Спендера оживляло пустынные городские улицы. Голубыми светящимися призраками шли люди по проспектам, замощенным камнем, слышалось невнятное бормотание, странные животные стремительно бежали по серовато-красному песку. В каждом окне кто-то стоял и, перегнувшись через подоконник, медленно поводил руками, точно утонувший в водах вечности, махая каким-то силуэтам, движущимся в бездонном пространстве у подножия посеребренных лунной башен. Внутренний слух улавливал музыку, и Спендер попытался представить себе, как могут выглядеть инструменты, которые так звучат... Город был полон видениями.

— Э-гей! — крикнул Биггс, выпрямившись и сложив ладони рупором.— Эй, кто тут есть в городе, отзовись!

— Биггс! — сказал капитан.

Бигс умолк.

Они ступили на улицу, вымощенную плитами. Теперь они говорили только шепотом, потому что у них было такое чувство, будто они вошли в огромный читальный зал под открытым небом или в усыпальницу, где только ветер да яркие звезды над головой. Капитан заговорил вполголоса. Ему хотелось знать, куда девались жители города, что за люди они были, какие короли ими правили, отчего они умерли. Он тихо вопрошал: как сумели они построить такой долговечный город? Побывали ли они на Земле? Не они ли десятки тысяч лет назад положили начало роду землян? Так же ли любили они и ненавидели, как мы? И были ли их безрассудства такими же, когда они совершали их?

Они замерли. Луны точно околдовали, заморозили их; тихий ветер овевал их.

— Лорд Байрон,— сказал Джефф Спендер.

— Какой лорд? — Капитан повернулся к нему.

— Лорд Байрон, поэт, жил в девятнадцатом веке. Давным-давно он написал стихотворение. Оно удивительно подходит к этому городу и выражает чувства, которые должны были бы испытывать марсиане. Если только здесь осталось кому чувствовать. Такие стихи мог бы написать последний марсианский поэт.

Люди стояли неподвижно, и тени их замерли.

— Что же это за стихотворение? — спросил капитан.

Спендер переступил с ноги на ногу, поднял руку, вспоминая, на мгновение зажмурился, затем его тихий голос стал неторопливо произносить слова стихотворения, и все слушали его:

Не бродить уж нам ночами,
Хоть душа любви полна,
И по-прежнему лучами
Серебрит простор луна.

Город был пепельно-серый, высокий, безмолвный. Лица людей обратились к лунам.

Меч сотрет железо ножен,
И душа источит грудь,
Вечный пламень невозможен,
Сердцу нужно отдохнуть.

Пусть влюбленными лучами
Месяц тянется к земле,
Не бродить уж нам ночами
В серебристой лунной мгле¹.

¹ Стихотворение Джорджа Гордона Байрона в переводе Ю. Вронского.

Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна. Кроме свиста ветра, ни звука кругом. Перед ними расстилалась площадь, и плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Они стояли и смотрели.

Биггс издал рыгающий звук. Глаза его помутнели. Руки метнулись ко рту, он судорожно глотнул, зажмурился, согнулся пополам, густая струя наполнила рот и вырвалась, хлынула с плеском прямо на плиты, заливая изображения. Так повторилось дважды. В прохладном воздухе разнесся кислый винный запах. Никто не шевельнулся помочь Биггсу. Его продолжало тошнить.

Мгновение Спендер смотрел на него, затем повернулся и пошел прочь. В полном одиночестве он шел по озаренным лунной улицам города и ни разу не остановился, чтобы оглянуться на своих товарищей.

Они легли спать около четырех утра. Вытянувшись на одеялах, закрыли глаза и вдыхали неподвижный воздух. Капитан Уайлдер сидел возле костра, подбрасывая в него сучья.

Два часа спустя Мак-Клюр открыл глаза.

— Вы не спите, командир?

— Жду Спендера. — Капитан слабо улыбнулся.

Мак-Клюр подумал.

— Знаете, командир, мне кажется, он не придет. Сам не знаю почему, но у меня такое чувство. Не придет он.

Мак-Клюр повернулся на другой бок. Огонь рассыпался трескучими искрами и потух.

Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деться. Ничего, надоест шляться — сам придет. И вообще, он нытик и брюзга. Ушел, и черт с ним!

Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал...

Однажды утром — это мог быть понедельник, или вторник, или любой иной марсианский день — Биггс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде.

Вдоль канала шел человек. Его тень упала на Биггса. Биггс открыл глаза.

— Будь я проклят! — воскликнул Биггс.

— Я последний марсианин, — сказал человек, доставая пистолет.

— Что ты сказал? — спросил Биггс.

— Я убью тебя.

- Брось. Что за глупые шутки, Спендер?
- Встань, умри как мужчина.
- Бога ради, убери пистолет!

Спендер нажал курок только один раз. Мгновение Биггс еще сидел на краю канала, потом наклонился вперед и упал в воду. Выстрел был очень тихим — как шелест, как слабое жужжание. Тело медленно, отрешенно погрузилось в неторопливые струи канала, издавая глухой, булькающий звук, который вскоре прекратился.

Спендер убрал пистолет в кобуру и неслышными шагами пошел дальше. Солнце светило сверху на Марс, его лучи припекали кожу рук, жарко гладили непроницаемое лицо Спендера. Он не стал бежать, шел так, будто с прошлого раза ничего не изменилось, если не считать, что теперь был день. Он подошел к ракете; несколько человек уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который поставил кок.

- А вот и наш Одинокий Волк идет,— сказал кто-то.
- Пришел, Спендер! Давненько не виделись!

Четверо за столом пристально смотрели на человека, который молча глядел на них.

— Дались тебе эти проклятые развалины,— усмехнулся кок, помешивая какое-то черное варево в миске.— Ну чисто голодный пес, который до костей дорвался.

— Возможно,— ответил Спендер.— Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь, по соседству, марсианина?

Четверо космонавтов отложили свои вилки.

— Марсианина? Где?

— Это не важно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить?

— Я-то знаю, что бы я чувствовал,— сказал Чероки.— В моих жилах есть кровь племени чероков. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что, если тут остались марсиане, я их понимаю.

— А вы? — осторожно спросил Спендер остальных.

Никто не ответил, молчание было достаточно красноречиво. Дескать, грабастай, сколькохватишь, что нашел — все твое, если ближний подставил щеку — вдарь покрепче, и так далее в том же духе.

— Ну так вот,— сказал Спендер.— Я встретил марсианина. Они недоверчиво смотрели на него.

— Там, в одном из мертвых поселений. Я и не подозревал, что встречу его. Даже не собирался искать. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке, пытался разобрать древние письмена, изучал их старинное искусство. И вот однажды увидел марсианина. Он только на миг появился и тут же пропал. Потом дня два не показывался. Я сидел над письменами, когда он снова пришел. И так несколько раз, с каждым разом все ближе и ближе. В тот день, когда я наконец освоил марсианский язык, — это удивительно просто, и очень помогают пиктограммы — марсианин появился передо мной и сказал: «Дайте мне ваши башмаки». Я отдал ему башмаки, а он говорит: «Дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето». Я все отдал, он опять: «Дайте пистолет». Подаю пистолет. Тогда он говорит: «А теперь пойдете со мной и смотрите, что будет». И марсианин пошел в лагерь, и вот он здесь.

— Не вижу никакого марсианина, — возразил Чероки.

— Очень жаль.

Спендер выхватил из кобуры пистолет. Послышалось слабое жужжание. Первая пуля поразила крайнего слева, вторая и третья — крайнего справа и того, что сидел посредине. Кок испуганно обернулся от костра и был сражен четвертой пулей. Он упал плашмя в огонь и остался лежать, его одежда загорелась.

Ракета стояла, залитая солнцем. Три человека сидели за столом, и руки их неподвижно лежали возле тарелок, на которых остывал завтрак. Один Чероки, невредимый, с тупым недоумением глядел на Спендера.

— Можешь пойти со мной, — сказал Спендер.

Чероки не ответил.

— Слышишь, я принимаю тебя в свою компанию. — Спендер ждал.

Наконец к Чероки вернулся дар речи.

— Ты их убил, — произнес он и заставил себя взглянуть на сидящих напротив.

— Они это заслужили.

— Ты сошел с ума!

— Возможно. Но ты можешь пойти со мной.

— Пойти с тобой — зачем? — вскричал Чероки, мертвенно-бледный, со слезами на глазах. — Уходи, убирайся прочь!

Лицо Спендера окаменело.

— Я-то думал, хоть ты меня поймешь.

— Убирайся! — Рука Чероки потянулась за пистолетом.

Спендер выстрелил в последний раз. Больше Чероки не двигался.

Зато покачнулся Спендер. Он провел ладонью по потному лицу. Он поглядел на ракету, и вдруг его начала бить дрожь. Он едва не упал, настолько сильна была реакция. Его лицо было лицом человека, который приходит в себя после гипноза, после сновидения. Он сел, чтобы справиться с дрожью.

— Перестать! Сейчас же! — приказал он своему телу.

Каждая клеточка судорожно дрожала.

— Перестань!

Он сжал тело в тисках воли, пока не выдавил из него всю дрожь, до последнего остатка. Теперь руки лежали спокойно на усмирненных коленях.

Он встал и с неторопливой тщательностью закрепил на спине ранец с продуктами. На какую-то крохотную долю секунды его руки опять задрожали, но Спендер очень решительно командовал: «Нет!», — и дрожь прошла. И он побрел прочь на негнущихся ногах и затерялся среди раскаленных красных гор. Один.

Полыхающее солнце поднялось выше в небе. Час спустя капитан вылез из ракеты позавтракать. Он уже было открыл рот, чтобы поздороваться с космонавтами, сидящими за столом, но осекся, уловив в воздухе легкий запах пистолетного дыма. Он увидел, что кок лежит на земле, накрыв своим телом костер. Четверо сидели перед остывшим завтраком.

По трапу спустились Паркхилл и еще двое. Капитан стоял, загородив им путь, не в силах отвести глаз от молчаливых людей за столом, от их странных поз.

— Собрать всех людей! — приказал капитан.

Паркхилл побежал вдоль канала.

Капитан тронул рукой Чероки. Чероки медленно согнулся и упал со стула. Солнечные лучи осветили его жесткий ежик и скуластое лицо.

Экипаж собрался.

— Кого недостает?

— Все того же Спендера. Бигтса мы нашли в канале.

— Спендер!

Капитан посмотрел на устремленные в дневное небо горы. Солнце высветило его зубы, обнаженные гримасой.

— Черт бы его побрал, — устало произнес капитан. — Почему он не пришел ко мне, я бы поговорил с ним.

— Нет, вот я бы с ним поговорил! — крикнул Паркхилл, яростно сверкнув глазами. — Я бы раскроил ему башку и выпустил мозги наружу!

Капитан Уайлдер кивком подозвал двоих.

— Возьмите лопаты, — сказал он.

Копать было жарко. С высохшего моря летел теплый ветер, он швырял им пыль в лицо, а капитан листал Библию. Но вот он закрыл книгу, и с лопат на завернутые в ткань тела потекли медленные струи песка.

Они вернулись к ракете, щелкнули затворами своих винтовок, подвесили к поясу сзади связки гранат, проверили, легко ли вынимаются из кобуры пистолеты. Каждому был отведен определенный участок гор. Капитан говорил, куда кому идти, не повышая голоса, руки его вяло висели, он ни разу не шевельнул ими.

— Пошли, — сказал он.

Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли, и понял, что преследование началось по всем правилам. Он опустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно примостившись на большом камне. Страницы книги были из чистейшего, тонкого, как папиросная бумага, листового серебра, разрисованные от руки чернью и золотом. Это был философский трактат десяти тысячелетней давности, найденный им в одной из вилл небольшого марсианского селения. Спендеру не хотелось отрываться от книги.

Он даже подумал сперва: «А стоит ли? Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня».

Утром, после того как он застрелил шесть человек, Спендер ощутил тупую опустошенность, потом его тошнило, и наконец им овладел странный покой. Но и это чувство было преходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение.

Он глотнул холодной воды из походной фляги. Потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине окружающей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с Земли, могли вместе поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог...

Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет. Рядом протекала быстрая речка с дном из белой гальки и большими камнями на берегах. Он разделся на камнях и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил и, лишь поплескавшись вволю, оделся и снова взял пистолет.

Первые выстрелы раздались около трех часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали три горных марсианских городка. Над ними были

разбросаны виллы марсиан. Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами. Спендер позволил себе поплавать с полчаса в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня.

Покидая виллу, он услышал выстрелы. Позади него, в каких-нибудь пяти метрах, взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил наповал одного из преследователей.

Спендер знал, что его возьмут в кольцо и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон, и станут сходитьсь, и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слово сказать...

«Я слишком тонкое изделие, чтобы превращать меня в крошево,— подумал Спендер.— Вот что сдерживает капитана. Ему хочется, чтобы дело ограничилось одной аккуратной дырочкой. Чудно... Хочется, чтобы я умер благопристойно. Никаких луж крови. Почему? Да потому, что он меня понимает. Вот почему он готов рисковать своими лихими ребятами, лишь бы уложить меня точным выстрелом в голову. Разве не так?»

Девять-десять выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук.

Капитан выскочил из-за укрытия под жаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушкой пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик.

Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторону, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся на ноги, с пистолетом наготове.

Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на Спендера.

Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет.

— Сигарету? — предложил капитан.

— Спасибо.— Спендер взял одну.

— Огоньку?

— Свой есть.

Они затянулись раз-другой в полной тишине.

— Жарко,— сказал капитан.

— Очень.
— Как вы тут, хорошо устроились?
— Отлично.
— И сколько думаете продержаться?
— Столько, сколько нужно, чтобы уложить дюжину человек.

— Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность? Вы вполне могли это сделать.

— Знаю. Духу не хватило. Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе. Говоришь, что все остальные не правы, а ты прав. Но едва я начал убивать этих людей, как сообразил, что они просто глупцы и зря я на них поднял руку. Поздно сообразил. Тогда я не мог заставить себя продолжать, вот и ушел сюда, чтобы еще раз солгать себе и разозлиться, восстановить нужное настроение.

— Восстановили?

— Не совсем. Но вполне достаточно.

Капитан разглядывал свою сигарету.

— Почему вы так поступили?

Спендер спокойно положил пистолет у своих ног.

— Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться сто лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками.

— Да, там у них чудесный город.— Капитан кивком головы указал на один из городов.

— Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У американцев искусство всегда особая статья, его место — в комнате чудаковатого сына наверху. Остальные принимают его, так сказать, воскресными дозами, кое-кто в смеси с религией. У марсиан есть все — и искусство, и религия, и другое...

— Думаете, они дознались, что к чему?

— Уверен.

— И по этой причине вы стали убивать людей.

— Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-сити. Никогда не забуду, как отец там держался — крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они-де редко умываются и кожа у них темная. Сестра — та вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлись по душе. И я отлично представляю себе, что, попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного

нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится. Подумать только! Боже мой, только подумать! А война! Вы ведь слышали речи в конгрессе перед нашим вылетом! Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместят три атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец; все эти чудеса погибнут. Ну скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин облевал полы Белого дома?

Капитан молчал и слушал.

Спендер продолжал:

— А все прочие воротилы? Боссы горной промышленности, бюро путешествий... Помните, что было с Мексикой, когда туда из Испании явился Кортес со своей милой компанией? Какую культуру уничтожили эти алчные праведники-изуверы! История не простит Кортеса.

— Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно, — заметил капитан.

— А что мне оставалось делать? Спорить с вами? Ведь я один — один против всей этой подлой, ненасытной шайки там, на Земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и другим все изгадить? Тупые болтуны. Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавлен не только от этой их так называемой «культуры», но и от их этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются. Оставалось только убить всех вас и зажить на свой лад.

— Но вышло иначе.

— Да. Когда я убил пятого там, у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью, не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на Земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас, всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции самое малое лет на пять. Наша ракета единственная, других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вестей от нас год, а то и два, и, так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше, сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач.

— Расчет верный.

— Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст Бог, доживу до шестидесяти и буду встречать каждую новую экспедицию. За один раз больше одной ракеты не пошлют — и не чаще

чем раз в год, — и экипаж не может превышать двадцать человек. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась, — я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами, — а потом всех их прикончу. На полвека-то удастся отстоять Марс; земляне, вероятно, скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цеппелинов, которые все время загорались и падали?

— Вы все продумали, — признал капитан.

— Вот именно.

— Кроме одного: нас слишком много. Через час кольцо сомкнется. Через час вы будете мертвы.

— Я обнаружил подземные ходы и надежные убежища, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель. Ваша бдительность ослабнет. Тогда я выйду и снова ухлопаю вас одного за другим.

Капитан кивнул.

— Расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию, — сказал он, показав рукой в сторону горных селений.

— Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас: сперва обрадовались, поспешили заключить в свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо! Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда. Они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию. И отлично преуспели. Лишились веры и стали ломать себе голову над смыслом жизни. Если искусство — всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия — самообман, то для чего мы живем? Вера на все находила ответ. Но с приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался.

— А марсиане, выходит, *нашли* верный путь? — осведомился капитан.

— Да. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали.

— Прямо идеал какой-то!

— Так оно и было. Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле.

— Мои люди ждут меня.

— Каких-нибудь полчаса. Предупредите их, сэр.

Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места.

Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из безупречного прохладного мрамора. Они увидели большие фризы с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги — символы солнца, увидели изваяния животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами.

— Вот вам ответ, капитан.

— Не вижу.

— Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры: всюду символические изображения животных.

— Типичное язычество.

— Напротив, это символы Бога, символы жизни. На Марсе тоже была пора, когда в Человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли: чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и возможно лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос: «Для чего жить?» — родился у них в разгар периода войн и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем.

— Послушать вас, так марсиане были довольно наивными.

— Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку: ведь наука в конечном счете — исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство — толкование этого чуда. Они не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное. Это же все вопрос меры. Землянин рассуждает: «В этой картине цвета как такового нет. Наука может доказать, что цвет — это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения». Марсианин, как более умный, сказал бы так: «Это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Ее идея и краски даны жизнью. Отличная вещь».

Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок.

— Я бы с удовольствием здесь поселился,— сказал он.

— Вам стоит только захотеть.

— Вы предлагаете это *мне*?

— Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же закоренелые циники, их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на Землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки, ей не менее пятидесяти тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь, и будете слушать. Здесь есть книги. Я уже довольно свободно их читаю. И вы могли бы.

— Это все довольно заманчиво.

— И все же вы не останетесь?

— Нет. Но за предложение все-таки спасибо.

— И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое.

Мне придется всех вас убить.

— Вы оптимист.

— Мне есть за что сражаться и ради чего жить, поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, «своя» религия: я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация?

Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой.

— Мне очень жаль, что так получается. Обидно за все это...

— Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвести вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку.

— Пожалуй.

— Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет конечно, вы останетесь живы.

— Что?

— Я с самого начала решил пощадить вас.

— Вот как...

— Я спасу вас от тех, остальных. Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете.

— Нет,— сказал капитан.— В моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти.

— Даже если у вас будет возможность остаться здесь?

— Да, как ни странно, даже тогда. Не знаю почему. Никогда не задавался таким вопросом. Ну, вот и пришли.

Они вернулись на прежнее место.

— Пойдете со мной добровольно, Спендер? Предлагаю в последний раз.

— Благодарю. Не пойду.— Спендер вытянул вперед одну руку.— И еще одно, напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на пятьдесят, пусть сперва археологи потрудятся как следует. Обещаете?

— Обещаю.

— И еще: если от этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, который летним днем окончательно свихнулся да так и не пришел в себя. Может, вам легче будет...

— Я подумаю. Прощайте, Спендер. Счастливо.

— Вы странный человек,— сказал Спендер, когда капитан зашагал вниз по тропе, навстречу теплему ветру.

Капитан наконец вернулся к своим запыленным людям, которые уже не чаяли его дожидаться. Он шурился на солнце и тяжело дышал.

— Выпить есть у кого? — спросил капитан.

Он почувствовал, как ему сунули в руку прохладную флягу.

— Спасибо.

Он глотнул. Вытер рот.

— Ну, так,— сказал капитан.— Будьте осторожны. Спешить некуда, времени у нас достаточно. С нашей стороны больше жертв быть не должно. Вам придется убить его. Он отказался пойти со мной добровольно. Постарайтесь уложить его одним выстрелом. Не превращайте в решето. Надо кончать.

— Я раскрою ему его проклятую башку,— буркнул Сэм Паркхилл.

— Нет, только в сердце,— сказал капитан. Он отчетливо видел перед собой суровое, полное решимости лицо Спендера.

— Его проклятую башку,— повторил Паркхилл.

Капитан швырнул ему флягу.

— Вы слышали мой приказ? Только в сердце.

Паркхилл что-то буркнул себе под нос.

— Пошли,— сказал капитан.

Они снова рассыпались, перешли с шага на бег, затем опять на шаг, поднимаясь по жарким склонам, то ныряя в холодные, пахнувшие мхом пещеры, то выскакивая на ярко освещенные открытые площадки, где пахло раскаленным камнем.

«Как противно быть ловким и расторопным,— думал капитан,— когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и не хочешь им быть. Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство право-

ты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство?.. Ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда — и не может даже на миг ошибиться, разве не так? Не ошибается даже раз в десять миллионов лет?..»

Он думал: «Что представляет собой это большинство и кто в него входит? О чем они думают, и почему они стали именно такими, и неужели никогда не переменятся, и еще — какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина: клаустрофобия, боязнь толпы или просто здравый смысл? И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в своей правоте? Не будем об этом думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок! Вот так! И так!»

Его люди перебежали, падали, снова перебежали, приседая в тени, и скалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разреженная, бегать в ней тяжело; атмосфера была разреженная, и им приходилось по пяти минут отсиживаться, тяжело дыша, — и черные искры перед глазами, — глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься, наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разреженный летний воздух огнем и громом.

Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям.

— Размажу по камням его проклятые мозги! — завопил Паркхилл и побежал вверх по склону.

Капитан прицелился в Сэма Паркхилла. И отложил пистолет, с ужасом глядя на него.

— Что вы затеяли? — спросил он обессилевшую руку и пистолет.

Он едва не выстрелил в спину Паркхиллу.

— Господи, что это я!

Он увидел, как Паркхилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие.

Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине, за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха, под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет сантиметров около десяти, оставляя незащищенной грудь Спендера.

— Эй, ты! — крикнул Паркхилл. — У меня тут пуля припаяна для твоего черепа!

Капитан Уайлдер ждал. «Ну, Спендер, давай же,— думал он.— Уходи, как у тебя было задумано. Через несколько минут будет поздно. Уходи, потом опять выйдешь. Ну! Ты же сказал, что уйдешь. Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал, заляг там и живи месяц, год, много лет, читай свои замечательные книги, купайся в своих храмовых бассейнах. Давай же, человек, ну, пока не поздно».

Спендер не двигался с места.

«Да что это с ним?» — спросил себя капитан.

Он взял свой пистолет. Понаблюдая, как перебегают от укрытия к укрытию его люди. Поглядел на башни маленького чистенького марсианского селения — будто резные шахматные фигурки с освещенными солнцем гранями. Перевел взгляд на камни и промежуток между ними, открывающий грудь Спендера.

Паркхилл ринулся вперед, рыча от ярости.

— Нет, Паркхилл,— сказал капитан.— Я не могу допустить, чтобы это сделали вы. Или кто-либо еще. Нет, никто из вас. Я сам.

Он поднял пистолет и прицелился.

«Будет ли у меня после этого чистая совесть? — спросил себя капитан.— Верно ли я поступаю, что беру это на себя? Да, верно. Я знаю, что и почему делаю, и все правильно, ведь я уверен, что это надлежит сделать мне. Я надеюсь и верю, что всей жизнью оправдаю свое решение».

Он кивнул головой Спендеру.

— Уходи! — крикнул он шепотом, которого никто, кроме него, не слышал.— Даю тебе еще тридцать секунд. Тридцать секунд!

Часы тикали на его запястье. Капитан смотрел, как бежит стрелка. Его люди бегом продвигались вперед. Спендер не двигался с места. Часы тикали очень долго и очень громко, прямо в ухо капитану.

— Уходи, Спендер, уходи живой! Тридцать секунд истекли.

Пистолет был наведен на цель. Капитан глубоко вздохнул.

— Спендер... — сказал он, выдыхая.

Он спустил курок.

Крохотное облачко каменной пыли за клубилось в солнечных лучах — вот и все, что произошло. Раскатилось и заглохло эхо выстрела.

Капитан встал и крикнул своим людям:

— Он мертв.

Они не поверили. С их позиций не было видно просвета между камнями. Они увидели, как капитан один взбегает вверх

по склону, и решили, что он либо очень храбрый, либо сумасшедший.

Прошло несколько минут, прежде чем они последовали за ним.

Они собрались вокруг тела, и кто-то спросил:

— В грудь?

Капитан опустил взгляд.

— В грудь, — сказал он. Он заметил, как изменился цвет камней под телом Спендера. — Хотел бы я знать, почему он ждал. Хотел бы я знать, почему он не ушел, как задумал. Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют.

— Кто ведает? — произнес кто-то.

А Спендер лежал перед ними, и одна его рука сжимала пистолет, а другая — серебряную книгу, которая ярко блестела на солнце.

«Может, все это из-за меня? — думал капитан. — Потому, что я отказался присоединиться к нему? Может быть, у Спендера не поднялась рука убить меня? Возможно, я чем-нибудь отличаюсь от них? Может, в этом все дело? Он, наверно, считал, что на меня можно положиться. Или есть другой ответ?»

Другого ответа не было. Он присел на корточки возле безжизненного тела.

«Я должен оправдать это своей жизнью, — думал он. — Теперь я не могу его обмануть. Если он считал, что я в чем-то схож с ним, и потому не убил меня, то я обязан многое свершить! Да-да, конечно, так и есть. Я — тот же Спендер, он остался жить во мне, только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю. Я направляю людей. Он потому не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях».

Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал собственный голос:

— Эх, если бы он поговорил со мной, прежде чем стрелять, — мы бы что-нибудь придумали.

— Что придумали? — буркнул Паркилл. — Что общего у нас с *такими*, как он?

Равнина, скалы, голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ушах.

— Пожалуй, вы правы, — сказал капитан. — Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я — еще куда ни шло. Но Спендер и вы и вам подобные — нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги.

Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском

кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные десять тысяч лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо.

Они постояли в древнем склепе.

— Думаю, вам полезно будет время от времени вспоминать Спендера, — сказал капитан.

Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь.

На следующий день Паркхилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов — он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Паркхилла и выбил ему зубы.

Август 2001

ПОСЕЛЕНЦЫ

Земляне прилетали на Марс.

Прилетали, потому что чего-то боялись, и ничего не боялись, потому что были счастливы и несчастливы, чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Оставляли опостылевших жен, или опостылевшую работу, или опостылевшие города; прилетали, чтобы найти что-то, или избавиться от чего-то, или добыть что-то, откопать что-то, или зарыть что-то, или предать что-то забвению. Прилетали с большими ожиданиями, с маленькими ожиданиями, совсем без ожиданий. Но во множестве городов на четырехцветных плакатах повелительно указывал начальственный палец: **ДЛЯ ТЕБЯ ЕСТЬ РАБОТА НА НЕБЕ — ПОБЫВАЙ НА МАРСЕ!** И люди собирались в путь; правда, сперва их было немного, какие-нибудь десятки, — большинству еще до того, как ракета выстреливала в космос, становилось худо. Болезнь называлась Одиночество. Потому что стоило только представить себе, как твой родной город уменьшается там, внизу, — сначала он с кулак размером, затем — с лимон с булавочную головку, наконец вовсе пропал в пламенной реактивной струе, — и у тебя такое чувство, словно ты никогда не рождался на свет, и города никакого нет, и ты нигде, лишь космос кругом, ничего знакомого, только чужие люди. А когда твой штат — Иллинойс или Айова, Миссури или Монтана — тонул в пелене облаков, да что там, все Соединенные Штаты сжимались в мгlistый островок, вся планета Земля превращалась в грязновато-серый мячик, летящий куда-то прочь, — тог-

да уж ты оказывался совсем один, одинокий скиталец в просторах космоса, и невозможно представить себе, что тебя ждет.

Ничего удивительного, что первых было совсем немного. Число переселенцев росло пропорционально количеству земель, которые уже перебрались на Марс: одному страшно, а на людях — не так. Но первым, Одиноким, приходилось полагаться только на себя...

Декабрь 2001

ЗЕЛЕНОЕ УТРО

Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин; потом, отправляя в рот кусок за куском и задумчиво жуя, слушал, как потрескивает огонь. Миновал еще день, похожий на тридцать других: с утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим.

Его звали Бенджамен Дрисколл, ему был тридцать один год. Он хотел одного — чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождающей воздух, больше воздуха; пусть растут во все времена года, освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры. Дерево — чего-чего только оно не может... Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами. Или становится царством детских игр — целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках... Великолепное сооружение, несущее пищу и радость, — вот что такое дерево. Но прежде всего деревья — это источник живительного, прохладного воздуха для легких и ласкового шелеста, который нежит твой слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты лежишь в снежно-белой постели.

Он лежал и слушал, как темная почва собирается с силами, ожидая солнца, ожидая дождей, которых все нет и нет... Приложив ухо к земле, он слышал поступь грядущих годов и видел — видел, как посаженные сегодня семена прорываются зелеными побегам и тянутся ввысь, к небу, раскидывая ветку за веткой, и весь Марс превращается в солнечный лес, светлый сад.

Рано утром, едва маленькое бледное солнце всплывет над складками холмов, он встанет, живо проглотит завтрак с дымком, затопчет головешки, нагрузит на себя рюкзак — и снова

зыбирать места, копать, сажать семена или саженцы, осторожно уминать землю, поливать и шагать дальше, насвистывая и тоглядывая в ясное небо, а оно к полудню все ярче и жарче...

— Тебе нужен воздух,— сказал он своему костру. Костер — живой румяный товарищ, который шутиливо кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи, теплый, дремлет рядом, шуря сонные розовые глаза...— Нам всем нужен воздух. Здесь, на Марсе, воздух разреженный. Чуть что — и устал. Все равно что в Андах, в Южной Америке. Вдохнул — и не чувствуешь. Никак не надышишься.

Он тронул грудную клетку. Как она расширилась за тридцать дней! Да, здесь им нужно развивать легкие, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Или сажать побольше деревьев.

— Понял, зачем я здесь? — сказал он. Огонь стрельнул.— В школе нам рассказывали про Джонни Яблочное Семечко. Как он шел по Америке и сажал яблони. А мое дело поважнее. Я сажаю дубы, вязы, и клены, и всякие другие деревья — осины, каштаны и кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для легких. Только подумать: когда все эти деревья наконец вырастут, сколько от них будет кислорода!

Вспомнился день прилета на Марс. Подобно тысяче других, он всматривался тогда в тихое марсианское утро и думал: «Как-то я здесь освоюсь? Что буду делать? Найдется ли работа по мне?»

И потерял сознание.

Кто-то сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, он закашлялся и пришел в себя.

— Ничего, оправитесь,— сказал врач.

— А что со мной было?

— Здесь очень разреженная атмосфера. Некоторые ее не переносят. Вам, вероятно, придется возвратиться на Землю.

— Нет! — Он сел, но в тот же миг в глазах у него потемнело, и Марс сделал под ним не меньше двух оборотов. Ноздри расширились, он принудил легкие жадно пить ничто. — Я свыкнул. Я останусь здесь!

Его оставили в покое; он лежал, дыша, словно рыба на песке, и думал: «Воздух, воздух, воздух... Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха». И он повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса. Присмотрелся — и первое, что увидел: куда ни глянь, сколько ни смотри — ни одного дерева, ни единого. Этот край словно сам себя покарал: черный перегной стлался во все стороны, а на нем — ничего, ни одной травинки. «Воздух,— думал он, шумно вдыхая бесцветное нечто.— Воздух, воздух...» И на вершушках холмов, на тенистых склонах, даже возле ручья — тоже ни дерева, ни травинки.

Ну конечно! Ответ родился не в сознании, а в горле, в легких. И эта мысль, словно глоток чистого кислорода, сразу взбодрила. Деревья и трава. Он поглядел на свои руки и повернул их ладонями вверх. Он будет сажать траву и деревья. Вот его работа: бороться против того самого, что может ему помешать остаться здесь. Он объявит Марсу войну — особую, агробиологическую войну. Древняя марсианская почва... Ее собственные растения прожили столько миллионов тысячелетий, что вконец одряхтели и выродились. А если посадить новые виды? Земные деревья — ветвистые мимозы, плакучие ивы, магнолии, величественные эвкалипты. Что тогда? Можно только гадать, какие минеральные богатства таятся в здешней почве — нетронутые, потому что древние папоротники, цветы, кусты, деревья погибли от изнеможения.

— Я должен встать! — крикнул он. — Мне надо видеть Координатора!

Полдня он и Координатор проговорили о том, что растет в зеленом уборе. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем можно будет начать планомерные посадки. Пока что продовольствие доставляют с Земли замороженным, в летающих сосульках; лишь несколько любителей вырастили сады гидропонным способом.

— Так что пока, — сказал Координатор, — действуйте сами. Добудем семян сколько можно, кое-какое снаряжение. Сейчас в ракетах мало места. Боюсь, поскольку первые поселения связаны с рудниками, ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом...

— Но вы мне разрешите?

Ему разрешили. Выдали мотоцикл, он наполнил багажник семенами и саженцами, выезжал в пустынные долины, оставлял машину и шел пешком, работая.

Это началось тридцать дней назад, и с той поры он ни разу не оглянулся. Оглянуться — значит пасть духом: стояла необычайно сухая погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Может быть, битва проиграна? Четыре недели труда — впустую? И он смотрел только вперед, шел вперед по широкой солнечной долине, все дальше от Первого Города, и ждал — ждал, когда же пойдет дождь.

...Он натянул одеяло на плечи; над сухими холмами пухли тучи. Марс непостоянен, как время. Пропеченные солнцем холмы прихватывал ночной заморозок, а он думал о богатой черной почве — такой черной и блестящей, что она чуть ли не шевелилась в горсти, о жирной почве, из которой могли бы расти могучие, исполинские стебли фасоли, и спелые стручки

роняли бы огромные, невообразимые зерна, сотрясающие землю.

Сонный костер подернулся пеплом. Воздух дрогнул: вдали прокатилась телега. Гром. Неожиданный запах влаги. «Сегодня ночью,— подумал он и вытянул руку проверить, идет ли дождь.— Сегодня ночью».

Что-то тронуло его бровь, и он проснулся.

По носу на губу скатилась влага. Вторая капля ударила в глаз и на миг его затуманила. Третья разбилась о щеку.

Дождь.

Прохладный, ласковый, легкий, он моросил с высокого неба — волшебный эликсир, пахнувший чарами, звездами, воздухом; он нес с собой черную, как перец, пыль, оставляя на языке то же ощущение, что выдержанный старый херес.

Дождь.

Он сел. Одеяло съехало, и по голубой рубашке забегали темные пятна; капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто по нему, топча огонь, плясал невидимый зверь; и вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод вдруг раскололся на шесть аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов, они замерли в своем падении ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак и вода, вода...

Он промок до костей, но сидел и смеялся, подняв лицо, и капли стучали по векам. Он хлопнул в ладоши, вскочил на ноги и прошелся вокруг своего маленького лагеря; был час ночи.

Дождь лил непрерывно два часа, потом прекратился. Высыпали чисто вымытые звезды, яркие, как никогда.

Бенджамен Дрисколл достал из пластиковой сумки сухую одежду, переоделся, лег и, счастливый, уснул.

Солнце медленно взошло между холмами. Лучи вырвались из-за преграды, тихо скользнули по земле и разбудили Дрисколла.

Он чуть помешкал, прежде чем встать. Целый месяц, долгий жаркий месяц он работал, работал и ждал... Но сегодня, поднявшись, он впервые повернулся в ту сторону, откуда пришел.

Утро было зеленое.

Насколько хватало глаз, к небу поднимались деревья. Не одно, не два, не десяток, а все те тысячи, что он посадил семенами или саженцами. И не мелочь какая-нибудь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а мощные стволы, могучие

деревья высотой с дом, зеленые-зеленые, огромные, округлые, пышные деревья с отливающей серебром листвой, шелестящие на ветру, длинные ряды деревьев на склонах холмов, лимонные деревья и липы, секвойи и мимозы, дубы и вязы, осины, вишни, клены, ясени, яблони, апельсиновые деревья, эвкалипты — подстегнутые буйным дождем, вскормленные чужой волшебной почвой. На его глазах продолжали тянуться вверх новые ветви, лопались новые почки.

— Невероятно! — воскликнул Бенджамен Дрисколл.

Но долина и утро были зеленые.

А воздух!

Отовсюду, словно живой поток, словно горная река, струился свежий воздух, кислород, источаемый зелеными деревьями. Присмотрись и увидишь, как он переливается в небе хрустальными волнами. Кислород — свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород превратил долину в дельту реки. Еще мгновение, и в городе распахнутся двери, люди выбегут навстречу чуду, будут его глотать, вдыхать полной грудью, щеки порозовеют, носы озябнут, легкие заново оживут, сердце забьется чаще, и усталые тела полетят в танце.

Бенджамен Дрисколл глубоко-глубоко вдохнул влажный зеленый воздух и потерял сознание.

Прежде чем он очнулся, навстречу желтому солнцу поднялось еще пять тысяч деревьев.

Февраль 2002

САРАНЧА

Ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево — в уголь, воду — в пар, сплавляли песок и кварц в зеленое стекло; оно лежало везде, словно разбитые зеркала, отражающие в себе ракетное нашествие. Ракеты, ракеты, ракеты, как барабанная дробь в ночи. Ракеты роями саранчи сядились в клубах розового дыма. Из ракет высыпали люди с молотками: перековывать на привычный лад чужой мир, стесая все необычное, рот ошетилив гвоздями, словно стальнотрубая пасть хищника, сплевывает гвозди в мелькающие руки, и те сколачивают каркасные дома, кроют крыши дранкой — чтобы спрятаться от чужих, пугающих звезд, вешают зеленые шторы — чтобы укрыться от ночи. Затем плотники спешили дальше, и являлись женщины с цветочными горшками, пестрыми ситцами, кастрюлями и поднимали кухонный шум, чтобы заглушить тишину Марса, притаившуюся у дверей, у занавешенных окон.

За шесть месяцев на голой планете был заложен десяток городков с великим числом трескучих неоновых трубок и желтых электрических лампочек. Девяносто с лишним тысяч человек прибыло на Марс, а на Земле уже укладывали чемоданы другие...

Август 2002

НОЧНАЯ ВСТРЕЧА

Прежде чем ехать дальше в голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки.

— Не одиноко тебе здесь, папаша? — спросил Томас.

Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика.

— Ничего.

— А как тебе Марс нравится, старина?

— Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: «Вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь *все* не так, все по-другому». Да тут одна только погода — это же настоящий цирк. Это *марсианская* погода. Днем жарыща адская, ночью адский холод. А необычные цветы, необычный дождь — неожиданности на каждом шагу! Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку — переменить обстановку. Молодежи с ним говорить недосуг, другие старики ему осточертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот, подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно, снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное; мне бы только заработать на пропитание, да чтобы еще оставалось время примечать, до чего же здесь *все* не так.

— Неплохо ты сообразил, папаша, — сказал Томас; его смуглые руки лежали, отдыхая, на баранке. У него было отличное настроение. Десять дней кряду он работал в одном из новых поселений, теперь получил два выходных и ехал на праздник.

— Уж я больше ничему не удивляюсь, — продолжал старик. — Гляжу, и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот-навыворот: почва

воздух, каналы, туземцы (правда, я еще ни одного не видел, но, говорят, они тут где-то бродят), часы. Мои часы — и те чудят. Здесь даже *время* шиворот-навыворот. Иной раз мне сдается, что я один-одинешенек, на всей этой проклятой планете больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я — восьмилетний мальчишка, сам махонький, а все кругом здоровенное! Видит Бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь, я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на Рождество семьдесят лет назад, — не знаю, держал ли ты в руках такую штуку: их калейдоскопами называют, внутри осколки хрустала, лоскутки, бусинки, всякая мишура... А поглядишь сквозь нее на солнце — дух захватывает! Сколько узоров! Так вот это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами шестнадцать веков назад, а в полном порядке! Гони доллар и пятьдесят центов, спасибо и спокойной ночи.

Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь.

Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора, и Марс кругом, тихий, безмолвный. Марс, всегда тихий, в эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни, и высохшие моря, и вершины среди звезд.

Нынче ночью в воздухе пахло Временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле: чем пахнет Время? Пылью, часами, человеком. А если задуматься, какое оно — Время то есть — на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, вроде зовущих голосов, вроде шороха земли, что сыплется на крышку пустого ящика, вроде дождя. Пойдем еще дальше, спросим, как *выглядит* Время? Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец, или старинный немой фильм, в котором сто миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падают в ничто. Вот чем пахнет Время, и вот какое оно на вид и на слух. А нынче ночью — Томас высунул руку в боковое окошко, — нынче так и кажется, что его можно даже *пощупать*.

Он вел грузовик в горах Времени. Что-то кольнуло шею, и Томас выпрямился, внимательно глядя вперед.

Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые лунной бе-

лые здания, в которых уже много веков никто не жил. Великолепные, безупречные здания, пусть разрушенные, но все равно великолепные.

Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку, и прошел на бугор, откуда можно было окинуть взглядом занесенный пылью город. Открыл термос и налил себе чашку кофе. Мимо пролетела ночная птица. На душе у него было удивительно хорошо, спокойно.

Минут пять спустя Томас услышал какой-то звук. Вверху, там, где древнее шоссе терялось за поворотом, он заметил какое-то движение, тусклый свет, затем донесся слабый рокот. Томас повернулся, держа чашку в руке. С гор спускалось нечто необычайное.

Это была машина, похожая на желто-зеленое насекомое, на богомола, она плавно рассекала холодный воздух, мерцая бесчисленными зелеными бриллиантами, сверкая фасеточными рубиновыми глазами. Шесть ног машины ступали по древнему шоссе с легкостью морозящего дождя, а со спины машины на Томаса глазами цвета расплавленного золота глядел марсианин, глядел, будто в колодец.

Томас поднял руку и мысленно уже крикнул: «Привет!» — но губы его не шевельнулись. Потому что это был *марсианин*. Но Томас плавал на Земле в голубых реках, вдоль которых шли незнакомые люди, вместе с чужими людьми ел в чужих домах, и всегда его лучшим оружием была улыбка. Он не носил с собой пистолета. И сейчас Томас не чувствовал в нем нужды, хотя где-то под сердцем притаился страх.

У марсианина тоже ничего не было в руках. Секунду они смотрели друг на друга сквозь прохладный воздух.

Первым решился Томас.

— Привет! — сказал он.

— Привет! — сказал марсианин на своем языке.

Они не поняли друг друга.

— Вы сказали «здравствуйте»? — спросили оба одновременно.

— Что вы сказали? — продолжали они, каждый на своем языке.

Оба нахмурились.

— Вы кто? — спросил Томас по-английски.

— Что вы здесь делаете? — произнесли губы чужака по-марсиански.

— Куда вы едете? — спросили оба с озадаченным видом.

— Меня зовут Томас Гомес.

— Меня зовут Мью Ка.

Ни один из них не понял другого, но каждый постучал пальцем по своей груди, и смысл стал обоим ясен.

Вдруг марсианин рассмеялся:

— Подождите!

Томас ощутил, как что-то коснулось его головы, хотя никто его не трогал.

— Вот так! — сказал марсианин по-английски. — Теперь дело пойдет лучше!

— Вы так быстро выучили мой язык?

— Ну что вы!

Оба, не зная, что говорить, посмотрели на чашку с горячим кофе в руке Томаса.

— Что-нибудь новое? — спросил марсианин, разглядывая его и чашку и подразумевая, по-видимому, и то и другое.

— Выпьете чашечку? — предложил Томас.

— Большое спасибо.

Марсианин соскользнул со своей машины.

Вторая чашка наполнилась горячим кофе. Томас подал ее марсианину.

Их руки встретились и, точно сквозь туман, прошли одна сквозь другую.

— Господи Иисусе! — воскликнул Томас и выронил чашку.

— Силы небесные! — сказал марсианин на своем языке.

— Видели, что произошло? — прошептали они.

Оба похолодели от испуга.

Марсианин нагнулся за чашкой, но никак не мог ее взять.

— Господи! — ахнул Томас.

— Ну и ну! — Марсианин пытался снова и снова ухватить чашку, ничего не получалось. Он выпрямился, подумал, затем отстегнул от пояса нож.

— Эй! — крикнул Томас.

— Вы не поняли, ловите! — сказал марсианин и бросил нож.

Томас подставил сложенные вместе ладони. Нож упал сквозь руки на землю. Томас хотел его поднять, но не мог ухватить и, вздрогнув, отпрянул.

Он глядел на марсианина, стоящего на фоне неба.

— Звезды! — сказал Томас.

— Звезды! — отозвался марсианин, глядя на Томаса.

Сквозь тело марсианина, яркие, белые, светили звезды, его плоть была расшита ими, словно тонкая, переливающаяся искрами оболочка студенистой медузы. Звезды мерцали, точно фиолетовые глаза, в груди и в животе марсианина, блистали драгоценностями на его запястьях.

— Я вижу сквозь вас! — сказал Томас.

— И я сквозь вас! — отвечал марсианин, отступая на шаг.

Томас пощупал себя, ощутил живое тепло собственного тела и успокоился. «Все в порядке,— подумал он,— я существую».

Марсианин коснулся рукой своего носа, губ.

— Я не бесплотный,— негромко сказал он.— *Живой!*

Томас озадаченно глядел на него.

— Но если я существую, значит, *вы* — мертвый.

— Нет, вы!

— Привидение!

— Призрак!

Они показывали пальцами друг на друга, и звездный свет в их конечностях сверкал и переливался, как острие кинжала, как ледяные сосульки, как светлячки. Они снова проверили свои ощущения, и каждый убедился, что он жив-здоров и охвачен волнением, трепетом, жаром, недоумением, а вот тот, другой,— ну конечно же, тот нереален, тот — призрачная призма, ловящая и излучающая свет далеких миров...

«Я пьян,— сказал себе Томас.— Завтра никому не расскажу про это, ни слова!»

Они стояли на древнем шоссе, и оба не шевелились.

— Откуда вы? — спросил наконец марсианин.

— С Земли.

— Что это такое?

— Там.— Томас кивком указал на небо.

— Давно?

— Мы прилетели с год назад, вы разве не помните?

— Нет.

— А вы все к тому времени вымерли, почти все. Вас очень мало осталось — разве вы этого *не знаете?*

— Это неправда.

— Я вам говорю, вымерли. Я сам видел трупы. Почерневшие тела в комнатах, во всех домах, и все мертвые. Тысячи тел.

— Что за вздор, *мы живы!*

— Мистер, всех ваших скосила эпидемия. Странно, что вам это неизвестно. Вы каким-то образом спаслись.

— Я не спасся, не от чего мне было спастись. О чем это вы говорите? Я еду на праздник у канала возле Эниальских гор. И прошлую ночь был там. Вы разве не видите город? — Марсианин вытянул руку, показывая.

Томас посмотрел и увидел развалины.

— Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет!

Марсианин рассмеялся:

— Мертв? Я ночевал там вчера!

— А я его проезжал на той неделе, и на позапрошлой неделе, и вот только что, там одни развалины! Видите разбитые колонны?

— Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые, стройные колонны.

— На улицах ничего, кроме пыли,— сказал Томас.

— Улицы чистые!

— Каналы давно высохли, они пусты.

— Каналы полны лавандового вина!

— Город мертв.

— Город жив! — возразил марсианин, смеясь еще громче.— Вы решительно ошибаетесь. Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины, там прекрасные женщины, изящные, как челны, женщины с кожей песочного цвета, женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу, вижу, как они бегают вон там, по улицам, такие маленькие отсюда. И я туда еду, на праздник, мы будем всю ночь кататься по каналу, будем петь, пить, любить. Неужели вы не видите?

— Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня, то я еду в Грин-Сити — новое поселение на Иллинойском шоссе, мы его совсем недавно заложили. А вы что-то напутали. Мы доставили сюда миллион квадратных футов досок лучшего орегонского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей и отгрохали два поселка — глаз не оторвешь. Как раз сегодня спрыскиваем один из них. С Земли прилетают две ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски...

Марсианин встрепенулся:

— Вы говорите — в *той* стороне?

— Да, там, где ракеты.— Томас подвел его к краю бугра и показал вниз.— Видите?

— Нет.

— Да вон же, *вон*, черт возьми! Такие длинные, серебристые штуки.

— Не вижу.

Теперь рассмеялся Томас:

— Да вы ослепли!

— У меня отличное зрение. Это вы не видите.

— Ну хорошо, а новый *поселок* вы видите? Или тоже нет?

— Ничего не вижу, кроме океана,— и как раз сейчас отлив.

— Уважаемый, этот океан испарился сорок веков тому назад.

— Ну знаете, это уж чересчур.

— Но это правда, уверяю вас!

Лицо марсианина стало очень серьезным.

— Пойдите. Вы в самом деле не видите города, как я его вам описал? Белые-белые колонны, изящные лодки, праздничные огни — я их так отчетливо вижу! Вслушайтесь! Я даже слышу, как там поют. Не такое уж большое расстояние.

Томас прислушался и покачал головой.

— Нет.

— А я,— продолжал марсианин,— не вижу того, что описываете вы. Как же так?..

Они снова зябко вздрогнули, точно их плоть пронизало ледяными иглами.

— А может быть?..

— Что?

— Вы сказали «с неба»?

— С Земли.

— Земля — название, пустой звук...— произнес марсианин.— Но... час назад, когда я ехал через перевал...— Он коснулся своей шеи сзади.— Я ощутил...

— Холод?

— Да.

— И теперь тоже?

— Да, снова холод. Что-то было со светом, с горами, с дорогой — что-то необычное. И свет, и дорога словно не те, и у меня на мгновение появилось такое чувство, будто я последний из живущих во вселенной...

— И со мной так было! — воскликнул Томас взволнованно; он как будто беседовал с добрым, старым другом, доверяя ему что-то сокровенное.

Марсианин закрыл глаза и снова открыл их.

— Тут может быть только одно объяснение. Все дело во Времени. Да-да. Вы — создание Прошлого!

— Нет, это вы из Прошлого,— сказал землянин, поразмыслив.

— Как вы уверены! Вы можете доказать, кто из Прошлого, а кто из Будущего? Какой сейчас год?

— Две тысячи второй!

— Что это говорит мне?

Томас подумал и пожал плечами.

— Ничего.

— Все равно что я бы вам сказал, что сейчас 4 462 853 год по нашему летосчислению. Слова — ничто, меньше, чем ничто! Где часы, по которым мы бы определили положение звезд?

— Но развалины — доказательство! Они доказывают, что я — Будущее. Я жив, а вы мертвы!

— Все мое существо отвергает такую возможность. Мое сердце бьется, желудок требует пищи, рот жаждет воды. Нет;

никто из нас ни жив, ни мертв. Впрочем, скорее жив, чем мертв. А еще вернее — мы с вами посередине. Вот: два странника, которые встретились ночью в пути. Два незнакомца, у каждого своя дорога. Вы говорите, развалины?

— Да. Вам страшно?

— Кому хочется увидеть Будущее? И кто его когда-либо увидит? Человек может лицезреть Прошое, но чтобы... Вы говорите, колонны рухнули? И море высохло, каналы пусты, девушки умерли, цветы завяли? — Марсианин смолк, но затем снова посмотрел на город. — Но вон же они! Я их вижу. И мне этого достаточно. Они ждут меня, что бы вы ни говорили.

Точно так же вдали ждали Томаса ракеты, и поселок, и женщины с Земли.

— Мы никогда не согласимся друг с другом, — сказал он.

— Согласимся не соглашаться, — предложил марсианин. — Прошое, Будущее — не все ли равно, лишь бы мы оба жили, ведь то, что придет вслед за нами, все равно придет — завтра или через десять тысяч лет. Откуда вы знаете, что эти храмы — не обломки вашей цивилизации через сто веков? Не знаете. Ну так и не спрашивайте. Однако ночь коротка. Вон рассыпался в небе праздничный фейерверк, взлетели птицы.

Томас протянул руку. Марсианин повторил его жест.

Их руки не соприкоснулись — они растворились одна в другой.

— Мы еще встретимся?

— Кто знает? Возможно, когда-нибудь.

— Хотелось бы мне побывать с вами на вашем празднике.

— А мне — попасть в ваш новый поселок, увидеть корабль, о котором вы говорили, увидеть людей, услышать обо всем, что случилось.

— До свидания, — сказал Томас.

— Доброй ночи.

Марсианин бесшумно укатил в горы на своем зеленом металлическом экипаже, землянин развернул свой грузовик и молча повел его в противоположную сторону.

— Господи, что за сон! — вздохнул Томас, держа руки на баранке и думая о ракетах, о женщинах, о крепком виски, о вирджинских плясках, о предстоящем веселье.

«Какое странное видение!» — мысленно произнес марсианин, прибавляя скорость и думая о празднике, каналах, лодках, золотоглазых женщинах, песнях...

Ночь была темна. Луны зашли. Лишь звезды мерцали над пустым шоссе. Ни звука, ни машины, ни единого живого существа, ничего. И так было до конца этой прохладной темной ночи.

БЕРЕГ

Марс был словно дальний берег океана, люди волнами растекались по нему. Каждая волна непохожа на предыдущую, одна мощнее другой. Первая принесла людей, привычных к просторам, холодам, одиночеству, худых, сухощавых старателей и пастухов, лица у них иссушены годами и непогодами, глаза, как шляпки гвоздей, руки, одубевшие, как старые перчатки, готовы взяться за что угодно. Марс был им нипочем, они выросли на равнинах и прериях, таких же безбрежных, как марсианские поля. Они обживали голое место, так что другим было уже легче решиться. Остекляли пустые рамы, зажигали в домах огни.

Они были первыми мужчинами на Марсе.

Каковы будут первые женщины — знали все.

Со второй волной надо было бы доставить людей иных стран, со своей речью, своими идеями. Но ракеты были американские, и прилетели на них американцы, а Европа и Азия, Южная Америка, Австралия и Океания только смотрели, как исчезают в выси «римские свечи». Мир был поглощен войной или мыслями о войне.

Так что вторыми тоже были американцы. Покинув мир многоярусных клетушек и вагонов подземки, они отдыхали душой и телом в обществе скупых на слова мужчин из степных штатов, знающих цену молчанию, которое помогало обрести душевный покой после долгих лет толкотни в каморках, коробках, туннелях Нью-Йорка.

И были среди вторых такие, которым, судя по их глазам, чудилось, будто они возносятся к Господу Богу...

Февраль 2003

ИНТЕРМЕДИЯ

Они привезли с собой пятнадцать тысяч погонных футов оregonской сосны для строительства Десятого города и семьдесят девять тысяч футов калифорнийской секвойи и отгрохали чистенький, аккуратный городок возле каменных каналов. Воскресными вечерами красно-зелено-голубые матовые стек-

ла церковных окон вспыхивали светом и слышались голоса, поющие нумерованные церковные гимны. «А теперь споем 79. А теперь споем 94». В некоторых домах усердно стучали пишущие машинки — это работали писатели; или скрипели перья — там творили поэты; или царила тишина — там жили бывшие бродяги. Все это и многое другое создавало впечатление, будто могучее землетрясение расшатало фундаменты и подвалы провинциального американского городка, а затем смерч сказочной мощи мгновенно перенес весь городок на Марс и осторожно поставил его здесь, даже не тряхнув...

Апрель 2003

МУЗЫКАНТЫ

В какие только уголки Марса не забирались мальчишки! Они прихватывали с собой из дома вкусно пахнущие пакеты и по пути время от времени засовывали в них носы — вдохнуть сытный дух ветчины и пикулей с майонезом, прислушаться к влажному бульканью апельсиновой воды в теплых бутылках. Размахивая сумками с сочным, прозрачно-зеленым луком, пахучей ливерной колбасой, красным кетчупом и белым хлебом, они подбивали друг друга переступить запреты строгих родителей. Они бегали взапуски:

— Кто первый добежит, дает остальным щелчка!

Они ходили в дальние прогулки летом, осенью, зимой. Осенью — лучше всего: можно вообразить, будто ты, как на Земле, бегаешь по опавшей листве.

Горстью звучных камешков высыпали мальчишки — кирпичные щеки, голубые бусины глаз — на мраморные набережные каналов и, запыхавшись, подбадривали друг друга возгласами, благоухающими луком. Потому что здесь, у стен запретного мертвого города, никто уже не кричал: «Последний будет девчонкой!» или «Первый будет Музыкантом!» Вот он, безжизненный город и все двери открыты... И кажется, будто что-то шуршит в домах, как осенние листья. Они крадутся дальше, все вместе, плечом к плечу, и в руках стиснуты палки, а в голове — родительский наказ: «Только не туда! В старые города ни в коем случае! Если посмеешь — отец всыплет так, что век будешь помнить!.. Мы по ботинкам узнаем!»

И вот они в мертвом городе, мальчишья стая, половина дорожной снеди уже проглочена, и они подзадоривают друг друга свистящим шепотом:

— Ну давай!

Внезапно один срывается с места, вбегает в ближайший дом, летит через столовую в спальню, и ну скакать без оглядки, приплясывать, и взлетают в воздух черные листья, тонкие, хрупкие, будто плоть полуночного неба. За первым вбегают еще двое, трое, все шестеро, но Музыкантом будет первый, только он будет играть на белом ксилофоне костей, обтянутых черными хлопьями. Снежным комом выкатывается огромный череп — мальчишки кричат! Ребра — паучьи ноги, ребра — гулкие струны арфы, и черной вьюгой кружатся смертные хлопья, а мальчишки затеяли возню, прыгают, толкают друг друга, падают прямо на эти листья, на чуму, обратившую мертвых в хлопья и прах, в игрушку для мальчишек, в животах которых булькала апельсиновая вода.

Отсюда — в следующий дом и еще в семнадцать домов; надо спешить — ведь из города в город, начисто выжигая все ужасы, идут Пожарники, дезинфекторы с лопатами и корзинами, сгребают, выгребают эбеновые лохмотья и белые палочки-кости, медленно, но верно отделяя страшное от обыденного... Играйте, мальчишки, не мешкайте: скоро придут Пожарные!

И вот, светясь капельками пота, впиваются зубами в последний бутерброд. Затем — еще раз наподдать ногой напоследок, еще раз выбить дробь из маримбы, по-осеннему нырнуть в кучу листьев и — в путь, домой.

Матери проверяли ботинки, нет ли черных чешуек. Найдут — получай обжигающую ванну и отеческое внушение ремнем.

К концу года Пожарники выгребли все осенние листья и белые ксилофоны — потехе пришел конец.

Июнь 2003

...ВЫСОКО В НЕБЕСА

- Слышал?
- Что?
- Негры-то, черномазы!
- Что такое?
- Уезжают, сматываются, драпают — неужели не слышал?
- То есть как это сматываются? Да как они могут!
- Могут. Уже...
- Какая-нибудь парочка?
- Все до одного! Все негры Южных штатов!

— Не-е...

— Точно!

— Не поверю, пока сам не увижу. И куда же они? В Африку?

Пауза.

— На Марс.

— То есть — на *планету* Марс?

— Именно.

Они стояли под раскаленным навесом на веранде скобяной лавки. Один бросил раскуривать трубку. Другой сплюнул в горячую полуденную пыль.

— Не могут они уехать, ни в жизнь.

— А вот уже уезжают.

— Да откуда ты взял?

— Везде говорят, и по радио только что передавали.

Они зашевелились — казалось, оживают запыленные статуи. Сэмюэль Тис, хозяин скобяной лавки, натянуто рассмеялся:

— А я-то не возьму в толк, что стряслось с Силли. Час назад дал ему свой велосипед и послал к миссис Бордмен. До сих пор не вернулся. Уж не махнул ли напрямиком на Марс, дурень черномазый?

Мужчины фыркнули.

— А только пусть лучше вернет велосипед, вот что. Клянись, воровства я не потерплю ни от кого!

— Слушайте!

Они повернулись, раздраженно толкая друг друга.

В дальнем конце улицы словно прорвалась плотина. Жаркие черные струи хлынули, затопляя город. Между ослепительно белыми берегами городских лавок, среди безмолвных деревьев, нарастал черный прилив. Будто черная патока ползла, набухая, по светло-коричневой пыли дороги. Медленно, медленно нарастала лавина — мужчины и женщины, лошади и лающие псы, и дети, мальчики и девочки. А речь людей — частиц могучего потока — звучала, как шум реки, которая летним днем куда-то несет свои воды, рокошущая, неотвратимая. В этом медленном темном потоке, рассекшем ослепительное сияние дня, блестками живой белизны сверкали глаза. Они смотрели вперед, влево, вправо, а река, длинная, нескончаемая река, уже прокладывала себе новое русло. Бесчисленные притоки, речушки, ручейки слились в единый материнский поток, объединили свое движение, свои краски и устремились дальше. Окаймляя вздувшуюся стремнину, плыли голосистые дедовские будильники, гулко тикающие стенные часы,

кудахчущие куры в клетках; плачущие малютки; беспорядочное течение увлекало за собой мулов, кошек, тут и там всплывали вдруг матрасные пружины, растрепанная волосяная набивка, коробки, корзинки, портреты темнокожих предков в дубовых рамах. Река катилась и катилась, а люди на террасе скобяной лавки сидели, подобно ошестинившимся псам, и не знали, что предпринять: чинить плотину было поздно.

Сэмюэль Тис все еще не мог поверить:

— Да кто им даст транспорт, черт возьми? Как они думают *попасть* на Марс?

— Ракеты,— сказал дед Квотермейн.

— У этих болванов и остолопов? Откуда они их взяли, ракеты-то?

— Скопили денег и построили.

— Первый раз слышу.

— Видно, черномазые держали все в секрете. Построили ракеты сами, а где — не знаю. Может, в Африке.

— Как же так? — не унимался Сэмюэль Тис, мечась по веранде.— А законы на что?

— Они как будто войны никому не объявляли,— мирно ответил дед.

— Откуда же они полетят, черт бы их побрал со всеми их секретами и заговорами? — крикнул Тис.

— По расписанию, все негры этого города собираются возле Лун-Лейк. В час туда прилетят ракеты и заберут их на Марс.

— Надо звонить губернатору, вызвать полицию! — бесновался Тис.— Они обязаны были предупредить заранее!

— Твоя благоверная идет, Тис.

Мужчины повернулись.

По раскаленной улице в слепящем безветрии шли белые женщины. Одна, вторая, еще и еще, и у всех ошеломленные лица, и все порывисто шуршат юбками. Одни плакали, другие хмурились. Они шли за своими мужьями. Они исчезали за вращающимися дверьми баров. Они входили в тихие бакалейные лавки. Заходили в аптеки и гаражи. Одна из них, миссис Клара Тис, остановилась в пыли возле скобяной лавки, шурясь на своего разгневанного, надутого супруга, а за ее спиной набухал черный поток.

— Отец, пошли домой, я никак не могу уломать Люсинду!

— Чтобы я шел домой из-за какой-то черномазой дряни?!

— Она уходит. Что я буду делать без нее?

— Попробуй сама управляться. Я на коленях перед ней ползать не буду.

— Но она все равно что член семьи,— причитала миссис Тис.

— Не вопи! Не хватало еще, чтобы ты у всех на глазах хныкала из-за всякой...

Всклипывания жены остановили его. Она утирала глаза.

— Я ей говорю: «Люсинда, останься, — говорю, — я прибавлю тебе жалованье, будешь свободна *два* вечера в неделю, если хочешь», — а она словно каменная! Никогда ее такой не видела. «Неужто ты меня не любишь, — говорю, — Люсинда?» — «Люблю, — говорит, — и все равно должна уйти, так уж получилось». Убрала всюду, навела порядок, поставила на стол завтрак и... и пошла. Дошла до дверей, а там уже два узла приготовлены. Стала, у каждой ноги по узлу, пожала мне руку и говорит: «Прощайте, миссис Тис». И ушла. Завтрак на столе, а нам кусок в горло не лезет. И сейчас там стоит, наверно, совсем остыл, как я уходила...

Тис едва не ударил ее.

— К черту, слышишь, марш домой! Нашла место представление устраивать!

— Но, отец...

Сэмюэль исчез в душной тьме лавки. Несколько секунд спустя он появился снова, с серебряным пистолетом в руке.

Его жены уже не было.

Черная река текла между строениями, скрипя, шурша и шаркая. Поток был спокойный, полный великой решимости: ни смеха, ни бесчинств, только ровное, целеустремленное, нескончаемое течение.

Тис сидел на самом краешке своего тяжелого дубового кресла.

— Клянусь Богом, если кто-нибудь из них хотя бы улыбнется, я его прикончу.

Мужчины ждали.

Река мирно катила мимо сквозь дремотный полдень.

— Что, Сэм, — усмехнулся дед Квотермейн, — видать, придется тебе самому черную работу делать.

— Я и по белому не промахнусь. — Тис не глядел на деда.

Дед отвернулся и замолчал.

— Эй, ты, постой-ка! — Сэмюэль Тис спрыгнул с веранды, протиснулся и схватил под уздцы лошадь, на которой сидел высокий негр. — Все, Белтер, слезай, приехали!

— Да, сэр. — Белтер соскользнул на землю.

Тис смерил его взглядом.

— Ну, как же это называется?

— Понимаете, мистер Тис...

— В путь собрался, да? Как в той песне... сейчас вспомню... «Высоко в небеса», — так, что ли?

— Да, сэр.

Негр ждал, что последует дальше.

— А ты не забыл, Белтер, что должен мне пятьдесят долларов?

— Нет, сэр.

— И задумал с ними улизнуть? А хлыста отведать не хочешь?

— Сэр, тут такой переполох, я совсем запамятовал.

— Он запамятовал...— Тис злобно подмигнул своим зрителям на веранде.— Черт возьми, мистер, ты знаешь, что ты будешь делать?

— Нет, сэр.

— Ты останешься здесь и отработаешь мне эти пятьдесят зелененьких, не будь я Сэмюэль В. Тис.

Он повернулся и торжествующе улыбнулся мужчинам под навесом.

Белтер смотрел на поток, до краев заполняющий улицу, на черный поток, неудержимо струящийся между лавками, черный поток на колесах, верхом, в пыльных башмаках, черный поток, из которого его так внезапно вырвали. Он задрожал.

— Отпустите меня, мистер Тис. Я пришлю оттуда ваши деньги, честное слово!

— Послушай-ка, Белтер.— Тис ухватил негра за подтяжки, потягивая то одну, то другую, словно струны арфы, посмотрел на небо и, пренебрежительно фыркнув, прицелился костистым пальцем в самого Господа Бога.— А ты знаешь, Белтер, что тебя там ждет?

— Знаю то, что мне рассказывали.

— Ему рассказывали! Иисусе Христе! Нет, вы слышали? Ему рассказывали! — Он небрежно так, словно играя, мотал Белтера за подтяжки и тыкал пальцем ему в лицо.— Помяни мое слово, Белтер, вы взлетите вверх, как шутиха в День четвертого июля, и — бам! Готово, один пепел от вас, да и тот разнесется по всему космосу. Эти болваны ученые не смыслят ни черта, они вас всех укокошат!

— Мне все равно.

— И очень хорошо! Потому что там, на этом вашем Марсе, знаешь, что вас поджидает? Чудовища кровожадные, глазища — во! Как мухоморы! Небось, видал картинки в журналах про будущее, в закусочной у нас продают по десять центов штука? Ну так вот, как налетят они на вас — весь мозг из костей высосут!

— Мне все равно, все равно, все равно.— Белтер, не отрываясь, смотрел на скользящий мимо поток. На темном лбу выступил пот. Казалось, он вот-вот потеряет сознание.

— А холодина там! И воздуха нет, упадешь там и задрываешься, как рыба. Разинешь пасть и помрешь. Покорчишься, задохнешься и помрешь! Как это — по душе тебе?

— Мало ли что мне не по душе, сэр... Пожалуйста, сэр, отпустите меня. Я опоздаю.

— Отпущу, *когда* захочу. Мы будем мило толковать с тобой здесь, пока я не позволю тебе уйти, и ты это отлично знаешь. Значит, путешествовать собрался? Ну так вот что, мистер «Высоко в небеса», возвращайся домой, черт подери, и отработывай пятьдесят зелененьких! Срок тебе — два месяца.

— Но сэр, если я останусь отработывать, я опоздаю на ракету!

— Ах, горе-то какое! — Тис попытался изобразить печаль.

— Возьмите мою лошадь, сэр.

— Лошадь не может быть признана законным платежным средством. Ты не двинешься с места, пока я не получу свои деньги.

Тис ликовал. Настроение у него было чудесное.

У лавки собралась небольшая толпа темнокожих людей. Они стояли и слушали. Белтер дрожал всем телом, понурился голову.

Вдруг от толпы отделился старик.

— Мистер?

Тис глянул на него.

— Ну?

— Сколько должен вам этот человек, мистер?

— Не твое собачье дело!

Старик повернулся к Белтеру.

— Сколько, сынок?

— Пятьдесят долларов.

Старик протянул черные руки к окружавшим его людям.

— Нас двадцать пять. Каждый дает по два доллара, и быстрее, сейчас не время спорить.

— Это еще что такое? — крикнул Тис, величественно выпрямляясь во весь рост.

Появились деньги. Старик собрал их в шляпу и подал ее Белтеру.

— Сынок, — сказал он, — ты не опоздаешь на ракету.

Белтер взглянул в шляпу и улыбнулся.

— Не опоздаю, сэр, теперь не опоздаю!

Тис заорал:

— Сейчас же верни им деньги!

Белтер почтительно поклонился и протянул ему долг, но Тис не взял денег; тогда негр положил их на пыльную землю у его ног.

— Вот ваши деньги, сэр, — сказал он. — Большое спасибо.

Улыбаясь, Белтер вскочил в седло и хлестнул лошадь. Он благодарил старика; они ехали рядом и вместе скрылись из виду.

— Сукин сын! — шептал Тис, глядя на солнце невидящими глазами.— Сукин сын...

— Подними деньги, Сэмюэль,— сказал кто-то с веранды.

То же самое происходило вдоль всего пути. Примчались босоногие белые мальчишки и затараторили:

— У кого есть, помогают тем, у кого нет! И все получают свободу! Один богач дал бедняку двести зелененьких, чтобы тот рассчитался! Еще один дал другому десять зелененьких, пять, шестнадцать — и так повсюду, все так делают!

Белые сидели с кислыми минами. Они шурились и жмурились, словно в лицо им хлестали обжигающий ветер и пыль.

Ярость душила Сэмюэля Тиса. Взбежав на веранду, он сверлил глазами катившие мимо толпы. Он размахивал своим пистолетом. Его распирало, злоба искала выхода, и он стал орать, обращаясь ко всем, к любому негру, который оглядывался на него.

— Бам! Еще ракета взлетела! — вопил он во всю глотку.— Бам! Боже мой!

Черные головы смотрели вперед, никто не показывал вида, что слушает, только белки скользнут по нему и снова спрячутся.

— Тр-р-рах! Все ракеты вдребезги! Крики, ужас, смерть! Бам! Боже милосердный! Мне-то что, я остаюсь здесь, на матушке-Земле. Старушка не подведет! Ха-ха!

Постукивали копыта, взбивая пыль. Дребезжали фургоны на разбитых рессорах.

— Бам! — Голос Тиса одиноко звучал в жарком воздухе, сисясь нагнать страх на пыль и ослепительное небо.— Бах! Черномазых раскидало по всему космосу! Как даст метеором по ракете и разметало вас, точно малявок! В космосе полно метеоров! А вы не знали? Точно! Как картечь, даже гуше! И посыплются ваши жестяные ракеты, как рябчики, как глиняные трубки! Ржавые банки, набитые черной треской! Пошли хлопать, как хлопушки: бам! бам! бам! Десять тысяч убитых, еще десять тысяч. Летают вокруг Земли в космосе, вечно летают, холодненькие, ооченевшие, высоко-высоко, Владыка небесный! Слышите, эй вы там! Слышите?!

Молчание. Широко, нескончаемо течет река. Начисто вылизав все лачуги, смыв их содержимое, она несет часы и стиральные доски, шелковые отрезы и гардинные карнизы, несет куда-то в далекое черное море.

Два часа дня. Прилив схлынул, поток мелеет. А затем река и вовсе высохла, в городе воцарилась тишина, пыль мягким

ковром легла на строения, на сидящих мужчин, на высокие, изнывающие от духоты деревья.

Тишина.

Мужчины на веранде прислушались.

Ничего. Тогда их воображение, их мысли полетели дальше, в окрестные луга. Спозаранку весь край оглашало привычное сочетание звуков. Верные заведенному порядку, тут и там пели голоса; под мимозами смеялись влюбленные; где-то журчал смех негрятят, плескавшихся в ручье; на полях мелькали спины и руки; из лачуг, оплетенных зеленью плюща, доносились шуточки и радостные возгласы.

Сейчас над краем будто пронесся ураган и смел все звуки. Ничего. Гробовая тишина. На кожаных петлях повисли грубо сколоченные двери. В безмолвном воздухе застыли брошенные качели из старых покрышек. Опустели плоские камни на берегу — излюбленное место прачек. На заброшенных бахчах одиноко дозревают арбузы, тая под толстой коркой освежающий сок. Пауки плетут новую паутину в покинутых хижинах; сквозь дырявые крыши вместе с золотистыми лучами солнца проникает пыль. Кое-где теплится забытый в спешке костер, и пламя, внезапно набравшись сил, принимается пожирать сухой остов соломенной лачуги. И тогда тишину нарушает довольное урчание изголодавшегося огня.

Мужчины, словно окаменев, сидели на веранде скобяной лавки.

— Не возьму в толк, с чего это им вдруг загорелось уезжать именно сейчас? Вроде все шло на лад. Что ни день, новые права получали. Чего им еще надо? Избирательный налог отменили, один штат за другим принимает законы, чтобы не линчевать, кругом равноправие! Мало им этого? Зарабатывают почти что не хуже любого белого — и вот тебе на, сорвались с места.

В дальнем конце опустевшей улицы показался велосипедист.

— Разрази меня гром, Тис, это твой Силли едет.

Велосипед остановился возле крыльца, на нем сидел цветной, парнишка лет семнадцати, угловатый, нескладный — длинные руки и ноги, круглая как арбуз голова. Он взглянул на Сэмюэля Тиса и улыбнулся.

— Что, совесть заговорила, вернулся! — сказал Тис.

— Нет, хозяин, я просто привез велосипед.

— Это почему же — в ракету не влазит?

— Да нет, хозяин, не в том дело...

— Можешь не объяснять, в чем дело! Слазь, я не позволю тебе красть мое имущество! — Он толкнул парня. Велосипед упал. — Пошел в лавку, медяшки чистить!

— Что вы сказали, хозяин? — Глаза парня расширились.
— То, что слышал! Надо ружья распаковать и ящик вскрыть — гвозди пришли из Натчеза...

— Мистер Тис...

— Наладить ларь для молотков...

— Мистер Тис, хозяин!

— Ты еще стоишь здесь?! — Тис свирепо сверкнул глазами.

— Мистер Тис, можно я сегодня возьму выходной? — спросил парень извиняющимся голосом.

— И завтра тоже, и послезавтра, и послепослезавтра? — сказал Тис.

— Боюсь, что так, хозяин.

— Бояться тебе надо, это верно. Пойди-ка сюда.— Он потащил парня в лавку и достал из конторки бумагу.

— Помнишь эту штуку?

— Что это, хозяин?

— Твой трудовой контракт. Ты подписал его, вот твой крестик, видишь? Отвечай.

— Я не подписывал, мистер Тис.— Парень весь трясся.— Кто угодно может поставить крестик.

— Слушай, Силли. Контракт: «Я обязуюсь работать на мистера Сэмюэля Тиса два года, начиная с пятнадцатого июля две тысячи первого года, а если захочу уволиться, то заявлю об этом за четыре недели и буду продолжать работать, пока не будет подыскана замена». Вот,— Тис стукнул ладонью по бумаге, его глаза блеснули.— А будешь артачиться, пойдем в суд.

— Я не могу! — вскричал парень; по его щекам покатились слезы.— Если я не уеду сегодня, я не уеду никогда.

— Я отлично тебя понимаю, Силли, да-да, и сочувствую тебе. Но ничего, мы будем хорошо обращаться с тобой, парень, хорошо кормить. А теперь ступай и берись за работу, и выкинь из головы всю эту блажь, понял? Вот так, Силли.— Тис мрачно ухмыльнулся и потрепал его по плечу.

Парень повернулся к старикам, сидящим на веранде. Слезы застилали ему глаза.

— Может... может, кто из этих джентльменов...

Мужчины под навесом, истомленные зноем, подняли головы, посмотрели на Силли, потом на Тиса.

— Это как же понимать: ты хочешь, чтобы твое место занял *белый*? — холодно спросил Тис.

Дед Квортермейн поднял с колен красные руки. Он задумчиво поглядел вдаль и сказал:

— Слышь, Тис, а как насчет меня?

— Что?

— Я берусь работать вместо Силли.

Остальные притихли.

Тис покачивался на носках.

— Дед...— произнес он предостерегающе.

— Отпусти парня, я почищу, что надо.

— Вы... в самом деле, взаправду? — Силли подбежал к деду.

Он смеялся и плакал одновременно, не веря своим ушам.

— Конечно.

— Дед,— сказал Тис,— не суй свой паршивый нос в это дело!

— Не держи мальчика, Тис.

Тис подошел к Силли и схватил его за руку.

— Он мой. Я запру его в задней комнате до ночи.

— Не надо, мистер Тис!

Парень зарыдал. Горький плач громко отдавался под навесом. Темные веки Силли набухли. На дороге вдаль появился старенький, дребезжащий «форд», увозивший последних цветных.

— Это мои, мистер Тис. О, пожалуйста, прошу вас, ради Бога!

— Тис,— сказал один из мужчин, вставая,— пусть уходит.

Второй поднялся.

— Я тоже за это.

— И я,— вступил третий.

— К чему это? — Теперь заговорили все.— Кончай, Тис.

— Отпусти его.

Тис нащупал в кармане пистолет. Он увидел лица мужчин. Он вынул руку из кармана и сказал:

— Вот, значит, как?

— Да, вот так,— отозвался кто-то.

Тис отпустил парня.

— Ладно. Катись! — Он ткнул рукой в сторону лавки.— Надеюсь, ты не собираешься оставлять свое грязное барахло?

— Нет, хозяин!

— Убери все до последней тряпки из своего закутка и сожги!

Силли покачал головой:

— Я возьму с собой.

— Так они и позволят тебе тащить в ракету всякую дрянь!

— Я возьму с собой,— мягко настаивал парнишка.

Он побежал через лавку в пристройку. Слышно было, как он подметает и наводит чистоту. Миг — и Силли появился снова, неся волчки, шарики, старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет. Как раз в этот миг подъехал «форд»; Силли сел в машину, хлопнула дверца.

Тис стоял на веранде, горько улыбаясь.

— И что же ты собираешься делать там?

— Открою *свое* дело, — ответил Силли. — Хочу завести скобяную лавку.

— Ах ты, дрянь, так вот ты зачем ко мне нанимался, задумал набить руку, а потом улизнуть и использовать науку!

— Нет, хозяин, я никогда не думал, что *так* получится. А оно получилось. Разве я виноват, что научился, мистер Тис?

— Вы, небось, придумали имена вашим ракетам?

Цветные смотрели на свои единственные часы — на приборной доске «форда».

— Да, хозяин.

— Небось «Илия» и «Колесница», «Большое колесо» и «Малое колесо», «Вера», «Надежда», «Милосердие»?

— Мы придумали имена для кораблей, мистер Тис.

— «Бог Сын» и «Святой Дух», да? Скажи, малый, а одну ракету назвали в честь баптистской церкви?

— Нам пора ехать, мистер Тис.

Тис хохотал:

— Неужели ни одну не назвали «Летай пониже» или «Благословенная колесница»?

Машина тронулась.

— Прощайте, мистер Тис!

— А есть у вас ракета «Рассыпьте, мои косточки»?

— Прощайте, мистер!

— А «Через Иордань»? Ха! Ладно, парень, катись, отваливай на своей ракете, давай лети, пусть взрывается, я плакать не буду!

Машина покатила прочь в облаке пыли. Силли привстал, приставил ладони ко рту и крикнул напоследок Тису:

— Мистер Тис, мистер Тис, а что вы теперь будете делать *по ночам*? Что будете делать *ночью*, хозяин?

Тишина. Машина растаяла вдаль. Дорога опустела.

— Что он хотел сказать, черт возьми? — недоумевал Тис. — Что я буду делать *по ночам*?..

Он смотрел, как оседает пыль, и вдруг до него дошло.

Он вспомнил ночи, когда возле его дома останавливались автомашины, а в них — темные силуэты, торчат колени, еще выше торчат дула ружей, будто полный кузов журавлей под черной листвой спящих деревьев. И злые глаза... Гудок, еще гудок, он хлопает дверцей, сжимая в руке ружье, посмеиваясь про себя, и сердце колотится, как у мальчишки, и бешеная гонка по ночной летней дороге, круг толстой веревки на полу машины, коробки новеньких патронов оттопыривают карманы пальто. Сколько было таких ночей за все годы — встречный ветер, треплющий космы волос над недобрыми глазами,

торжествующие вопли при виде хорошего дерева, надежного, крепкого дерева, и стук в дверь лачуги!

— Так вот он про что, сукин сын! — Тис выскочил из тени на дорогу.— Назад, ублюдок! Что я буду делать ночами?! Ах ты, гад, подлюга...

Вопрос Силли попал в самую точку. Тис почувствовал себя больным, опустошенным. «В самом деле. Что мы будем делать *по ночам*? — думал он.— Теперь, когда *все* уехали...» На душе было пусто, мысли оцепенели.

Он выхватил из кармана пистолет, пересчитал патроны.

— Ты что это задумал, Сэм? — спросил кто-то.

— Убью эту сволочь.

— Не распаяйся так, — сказал дед.

Но Сэмюэль Тис уже исчез за лавкой. Секундой позже он выехал в своей открытой машине.

— Кто со мной?

— Я прокачусь, пожалуй, — отозвался дед, вставая.

— Еще кто?

Молчание.

Дед сел в машину и захлопнул дверцу. Сэмюэль Тис, вздымая пыль, вырулил на дорогу, и они рванулись вперед под ослепительным небом. Оба молчали. Над сухими нивами по сторонам струилось жаркое марево.

Развилка. Стоп.

— Куда они поехали, дед?

Дед Квотермейн прищурился:

— Прямо, сдается мне.

Они продолжали путь. Одинокое ворчал мотор под летними деревьями. Дорога была пуста, но вот они стали замечать что-то необычное. Наконец Тис сбавил ход и перегнулся через дверцу, свирепо сверкая желтыми глазами.

— Черт подери, дед! Ты видишь, что придумали эти ублюдки?

— Что? — спросил дед, присматриваясь.

Вдоль дороги непрерывной цепочкой, аккуратными кучками лежали старые роликовые коньки, пестрые узелки с безделушками, рваные башмаки, колеса от телеги, поношенные брюки и пальто, драные шляпы, побрякушки из хрусталя, когда-то нежно звеневшие на ветру, жестяные банки с розовой геранью, восковые фрукты, коробки с деньгами времен конфедерации, тазы, стиральные доски, веревки для белья, мыло, чей-то трехколесный велосипед, чьи-то садовые ножницы, кукольная коляска, чертик в коробочке, пестрое окно из негритянской баптистской церкви, набор тормозных прокладок, автомобильные камеры, матрасы, кушетки, качалки, баночки

с кремом, зеркала. И все это не было брошено кое-как, наспех, а положено бережно, с чувством, со вкусом вдоль пыльных обочин, словно целый город шел здесь, нагруженный до отказа, и вдруг раздался великий трубный глас, люди сложили свои пожитки в пыль и вознеслись прямым на голубые небеса.

— «Не хотим жечь», как же! — злобно крикнул Тис. — Я им говорю: сожгите, так нет, тащили всю дорогу и сложили здесь — напоследок еще раз посмотреть на свое барахло, вот оно, полюбуйтесь! Эти черномазые невесты что о себе воображают.

Он гнал машину дальше, километр за километром, наезжая на кучи, кроша шкатулки и зеркала, ломая стулья, рассыпая бумаги.

— Так! Черт подери... Еще! Так!

Передняя шина жалобно запищала. Машина вильнула и врезалась в канаву. Тис стукнулся лбом о ветровое стекло.

— А, сукины дети! — Сэмюэль Тис стряхнул с себя пыль и вышел из машины, чуть не плача от ярости.

Он посмотрел на пустынную безмолвную дорогу.

— Теперь уж мы никогда их не догоним, никогда.

Насколько хватал глаз, он видел только аккуратно сложенные узлы и кучи, и еще узлы, словно покинутые святыни под жарким ветром, в свете угасающего дня.

Час спустя Тис и дед, усталые, подошли к скобяной лавке. Мужчины все еще сидели там, прислушиваясь и глядя на небо. В тот самый миг, когда Тис присел и стал снимать тесные ботинки, кто-то воскликнул:

— Смотрите!

— К черту! — прорычал Тис.

Но остальные смотрели, привстав. И они увидели далеко-далеко уходящие ввысь золотые веретена. Оставляя за собой хвосты пламени, они исчезли.

На хлопковых полях ветер лениво трепал белоснежные комочки. На бахчах лежали нетронутые арбузы, полосатые, как тигровые кошки, греющиеся на солнце.

Мужчины на веранде сели, поглядели друг на друга, поглядели на желтые веревки, аккуратно сложенные на полках, на сверкающие гильзы патронов в коробках, на серебряные пистолеты и длинные вороненые стволы винтовок, мирно вишащих в тени под потолком. Кто-то сунул в рот травинку. Кто-то начертил в пыли человечка.

Сэмюэль Тис торжествующе поднял ботинок, перевернул его, заглянул внутрь и сказал:

— А вы заметили? Он до самого конца говорил мне «хозяин», ей-богу!

НОВЫЕ ИМЕНА

Они пришли и заняли удивительные голубые земли и всему дали свои имена. Появились ручей Хинкстон-Крик и поляна Люстиг-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрисколл-Форест, гора Перегрин-Маунтин и город Уайлдертаун — все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился Редтаун — название, связанное с кровью. А вот здесь погибла Вторая экспедиция — отсюда название: Вторая Попытка; и всюду, где космонавты при посадке опалили землю своими огненными снарядами, остались имена — словно кучи шлака; не обошлось, разумеется, без горы Спендер-Хилл и города с длинным названием Натаниел-Йорк...

Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор. Названия снегов, которые, тая на юге, стекали в каменные русла каналов, питающих высохшие моря. Имена чародеев, чей прах покоился в склепах, названия башен иobelisks. И ракеты, подобно молотам, обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов, и над грудями обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями: АЙРОНТАУН, СТИЛТАУН, АЛЮМИНИУМ-СИТИ, ЭЛЕКТРИК-ВИЛЛЕДЖ, КОРНТАУН, ГРЭЙН-ВИЛЛА, ДЕТРОЙТ II — знакомые механические, металлические названия с Земли.

А когда построили и окрестили города, появились кладбища, они тоже получили имена: Зеленый Уголок, Белые Мхи, Тихий Пригород, Отдохни Малость — и первые покойники легли в свои могилы...

Когда же все было наколото на булавочки, чинно, аккуратно разложено по полочкам, когда все стало на свои места, города прочно утвердились и уединение стало почти невозможным — тогда-то с Земли стали прибывать искушенные и всезнающие. Они приезжали в гости и в отпуск, приезжали купить сувениры и сфотографироваться — «подышать марсианским воздухом»; они приезжали вести исследования и проводить в жизнь социологические законы; они привозили с собой свои звезды, кокарды, правила и уставы, не забыли прихватить и семена бюрократии, которая въедливым сорняком оплела Землю, и насадили их на Марсе всюду, где они только могли укорениться. Они стали законодателями быта и нравов; принялись направлять, наставлять и подталкивать на путь истин-

ный тех самых людей, кто перебрался на Марс, чтобы избавиться от наставлений и назиданий.

И нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подталкиваемых стал отбиваться...

Апрель 2005

ЭШЕР II

«Весь этот день — тусклый, темный, беззвучный осенний день — я ехал верхом в полном одиночестве по необычайно пустынной местности, над которой низко нависали свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера...»

Мистер Уильям Стендаль перестал читать. Вот она перед ним, на невысоком черном пригорке, — Усадьба, и на угловом камне начертано: 2005 год.

Мистер Бигелу, архитектор, сказал:

— Дом готов. Примите ключ, мистер Стендаль.

Они помолчали, стоя рядом, в тишине осеннего дня. На черной как вороново крыло траве у их ног шуршали чертежи.

— Дом Эшеров, — удовлетворенно произнес мистер Стендаль. — Спроектирован, выстроен, куплен, оплачен. Думаю, мистер По был бы *в восторге!*

Мистер Бигелу прищурился.

— Все отвечает вашим пожеланиям, сэр?

— Да!

— Колорит такой, какой нужен? Картина *тоскливая* и *ужасная?*

— *Чрезвычайно ужасная, чрезвычайно тоскливая!*

— Стены — *угрюмые?*

— Поразительно!

— Пруд достаточно «черный и мрачный»?

— Невообразимо черный и мрачный.

— А осока — она окрашена, как вам известно, — в меру чахлая и седая?

— До отвращения!

Мистер Бигелу сверился с архитектурным проектом. Он процитировал задание:

— Весь ансамбль внушает «леденящую, ноющую, сосущую боль сердца, безотрадную пустоту в мыслях»? Дом, пруд, усадьба?..

— Вы поработали на славу, мистер Бигелоу! Клянусь, это изумительно!

— Благодарю. Я ведь совершенно не понимал, что от меня требуется. Слава Богу, что у вас есть свои ракеты, иначе нам никогда не позволили бы перебросить сюда необходимое оборудование. Обратите внимание, здесь постоянные сумерки, в этом уголке всегда октябрь, всегда пустынно, безжизненно, мертво. Это стоило нам немалых трудов. Десять тысяч тонн ДДТ. Мы все убили. Ни змеи, ни лягушки, ни одной марсианской мухи не осталось! Вечные сумерки, мистер Стендаль, это моя гордость. Скрытые машины глушат солнечный свет. Здесь всегда «безотрадно».

Стендаль упивался безотрадностью, свинцовой тяжестью, удушливыми испарениями, всей «атмосферой», задуманной и созданной с таким искусством. А сам Дом! Угрюмая обветшалость, зловещий пруд, плесень, призраки всеобщего тления! Синтетические материалы или еще что-нибудь? Поди угадай.

Он взглянул на осеннее небо. Где-то вверху, вдали, далеко-далеко — солнце. Где-то на планете — марсианский апрель, золотой апрель, голубое небо. Где-то вверху прожигают себе путь ракеты, призванные цивилизовать прекрасную безжизненную планету. Визг и вой их стремительного полета глохнул в этом тусклом звуконепроницаемом мире, в этом мире дремучей осени.

— Теперь, когда задание выполнено, — смущенно заговорил мистер Бигелоу, — могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим?

— С усадьбой Эшер? Вы не догадались?

— Нет.

— Название «Эшер» вам ничего не говорит?

— Ничего.

— Ну а *такое* имя: Эдгар Аллан По?

Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой.

— Разумеется. — Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печаль и презрение. — Откуда вам знать блаженной памяти мистера По? Он умер очень давно, раньше Линкольна. Все его книги были сожжены на Великом Костре. Тридцать лет назад, в тысяча девятьсот семьдесят пятом.

— А, — понимающе кивнул мистер Бигелоу. — Один из *этих*!

— Вот именно, Бигелоу, один из этих. Его и Лавкрафта, Готорна и Амброуза Бирса, все повести об ужасах и страхах, все фантазии, да что там, все повести о будущем сожгли. Безжалостно. Закон провели. Началось с малого, с песчинки,

еще в пятидесятых и шестидесятых годах. Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется. Кидались то в одну крайность, то в другую, брали верх различные группы, разные клики, политические предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятого, будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени.

— Понятно.

— Устрашаемые словом «политика» (которое в конце концов в наиболее реакционных кругах стало синонимом «коммунизма», да-да, и за одно только употребление этого слова можно было поплатиться жизнью!), понукаемые со всех сторон — здесь подтянут гайку, там закрутят болт, оттуда ткнут, отсюда пырнут,— искусство и литература вскоре стали похожи на огромную тянучку, которую выкручивали, жали, мяли, завязывали в узел, швыряли туда-сюда до тех пор, пока она не утратила всякую упругость и всякий вкус. А потом осеклись кинокамеры, погрузились в мрак театры, и могучая Ниагара печатной продукции превратилась в выхолощенную струйку «чистого» материала. Поверьте мне, понятие «уход от действительности» тоже попало в разряд крамольных!

— Неужели?

— Да-да! Всякий человек, говорили они, обязан смотреть в лицо действительности. Видеть только сиюминутное! Все, что *не* попадало в эту категорию,— прочь. Прекрасные литературные вымыслы, полет фантазии — бей влет. И вот воскресным утром, тридцать лет назад, в тысяча девятьсот семьдесят пятом году их поставили к библиотечной стенке: Санта-Клауса, и Всадника без головы, Белоснежку, и Домового, и Матушку-Гусыню — все в голос рыдали! — и расстреляли их, потом сожгли бумажные замки и царевен-лягушек, старых королей и всех, кто «с тех пор зажил счастливо» (в самом деле, о ком можно сказать, что он с тех пор зажил счастливо!), и Некогда превратилось в Никогда! И они развеяли по ветру прах Заколдованного Рикши вместе с черепками Страны Оз, изрубили Глинду Добрую и Озму, разложили Многоцветку в спектро-скопе, а Джека Тыквенную Голову подали к столу на Балу Биологов! Гороховый Стручок зачах в бюрократических зарослях! Спящая Красавица была разбужена поцелуем научного работника и испустила дух, когда он вонзил в нее медицинский шприц. Алису они заставили выпить из бутылки нечто такое, от чего она стала такой крохотной, что уже не могла

больше кричать: «Чем дальше, тем любопытственнее!» Волшебное Зеркало они одним ударом молота разбили вдребезги, и пропали все Красные Короли и Устрицы!

Он сжал кулаки. Господи, как все это близко, точно случилось вот сейчас! Лицо его побагровело, он задыхался.

Столь бурное извержение ошеломило мистера Бигелоу. Он моргнул раз-другой и наконец сказал:

— Извините. Не понимаю, о чем вы. Эти имена ничего мне не говорят. Судя по тому, что вы сейчас говорили, Костер был только на пользу.

— Вон отсюда! — вскричал Стендаль. — Ваша работа завершена, теперь убирайтесь, болван!

Мистер Бигелоу кликнул своих плотников и ушел. Мистер Стендаль остался один перед Домом.

— Слушайте, вы! — обратился он к незримым ракетам. — Я перебрался на Марс, спасаясь от вас, а вас здесь, что ни день, все больше и больше, вы слетаетесь, словно мухи на падаль. Так я вам тут кое-что покажу. Я проучу вас за то, что вы сделали на Земле с мистером По. Отныне берегитесь! Дом Эшера начинает свою деятельность!

Он погрозил небу кулаком.

Ракета села. Из нее важно вышел человек. Он посмотрел на Дом, и серые глаза его выразили неудовольствие и досаду. Он перешагнул ров, за которым его ждал шуплый мужчина.

— Ваша фамилия Стендаль?

— Да.

— Гаррет, инспектор из Управления Нравственного Климата.

— Ага, вы-таки добрались до Марса, блюстители Нравственного Климата? Я уже прикидывал, когда же вы тут появитесь...

— Мы прибыли на прошлой неделе. Скоро здесь будет полный порядок, как на Земле. — Он раздраженно помахал своим удостоверением в сторону Дома. — Расскажите-ка мне, что это такое, Стендаль?

— Это замок с привидениями, если вам угодно.

— Не угодно, Стендаль, *никак* не угодно. «С привидениями» — не годится.

— Очень просто. В нынешнем, две тысячи пятом году Господа Бога нашего, я построил механическое святилище. В нем медные летучие мыши летают вдоль электронных лу-

чей, латунные крысы снуют в пластмассовых подвалах, пляшут автоматические скелеты, здесь обитают автоматические вампиры, шуты, волки и белые призраки, порождение химии и изобретательности.

— Именно этого я опасался,— сказал Гаррет с улыбочкой.— Боюсь, придется снести ваш домик.

— Я знал, что вы явитесь, едва проведаете.

— Я бы раньше прилетел, но мы хотели удостовериться в ваших намерениях, прежде чем вмешиваться. Демонтажники и Огневая Команда могут прибыть к вечеру. К полуночи все будет разрушено до основания, мистер Стендаль. По моему разумению, сэр, вы, я бы сказал, сглупили. Выбрасывать на ветер деньги, заработанные упорным трудом. Да вам это миллиона три стало...

— Четыре миллиона! Но учтите, мистер Гаррет, я был еще совсем молод, когда получил наследство,— двадцать пять миллионов. Могу позволить себе быть мотом. А вообще-то, это досадно: только закончил строительство, как вы уже здесь со своими Демонтажниками. Может, позвольте мне потешиться моей Игрушкой, ну хотя бы двадцать четыре часа?

— Вам известен Закон. Как положено: никаких книг, никаких домов, ничего, что было бы сопряжено с привидениями, вампирами, феями или иными творениями фантазии.

— Вы скоро начнете жечь мистеров Бэббитов!

— Вы уже причинили нам достаточно хлопот, мистер Стендаль. Сохранились протоколы. Двадцать лет назад. На Земле. Вы и ваша библиотека.

— О да, я и моя библиотека. И еще несколько таких же, как я. Конечно, По был уже давно забыт тогда, забыты Оз и другие создания. Но я устроил небольшой тайник. У нас были свои библиотеки — у меня и еще у нескольких частных лиц,— пока вы не прислали своих людей с факелами и мусоросжигателями. Изорвали в клочья мои пятьдесят тысяч книг и сожгли их. Вы так же расправились и со всеми чудотворцами; и вы еще приказали вашим кинопродюсерам, если они вообще хотят что-нибудь делать, пусть снимают и переснимают Эрнеста Хемингуэя. Боже мой, сколько раз я видел «По ком звонит колокол»! Тридцать различных постановок. Все реалистичные. О реализм! Ох уж этот реализм! Чтоб его!..

— Рекомендовал бы воздержаться от сарказма!

— Мистер Гаррет, вы ведь обязаны представить полный отчет?

— Да.

— В таком случае, любопытства ради, вошли бы, посмотрели. Всего одну минуту.

— Хорошо. Показывайте. И никаких фокусов. У меня есть пистолет.

Дверь Дома Эшероу со скрипом распахнулась. Повяло сыростью. Послышались могучие вздохи и стоны, точно в заброшенных катакомбах дышали незримые мехи.

По каменному полу метнулась крыса. Гаррет гикнул и наподдал ее ногой. Крыса перекувырнулась, и из ее нейлонового меха высыпали полчища металлических блох.

— Поразительно! — Гаррет нагнулся, чтобы лучше видеть.

В нише, тряся восковыми руками над оранжево-голубыми картами, сидела старая ведьма. Она вздернула голову и зашипела беззубым ртом на Гаррета, постукивая пальцем по засаленным картам.

— Смерть! — крикнула она.

— Вот именно *такие* вещи я и подразумевал... — сказал Гаррет. — Весьма предосудительно!

— Я разрешу вам лично сжечь ее.

— В самом деле? — Гаррет просиял. Но тут же нахмурился. — Вы так легко об этом говорите.

— Для меня достаточно было устроить все это. Чтобы я мог сказать, что добился своего. В современном скептическом мире воссоздал средневековую атмосферу.

— Я и сам, сэр, так сказать, невольно восхищен вашим гением.

Гаррет смотрел — мимо него проплывало в воздухе, шелестя и шепча, легкое облачко, которое приняло облик прекрасной призрачной женщины. В дальнем конце сырого коридора гудела какая-то машина. Как сахарная вата из центрифуги, оттуда ползла и расплывалась по безмолвным залам бормочущая мгла.

Невесть откуда возникла обезьяна.

— Кыш! — крикнул Гаррет.

— Не бойтесь. — Стендаль похлопал животное по черной груди. — Это робот. Медный скелет и так далее, как и ведьма. Вот!

Он взъерошил мех обезьяны, блеснул металлический корпус.

— Вижу. — Гаррет протянул робкую руку, потрепал робота. — Но к чему это, мистер Стендаль, в чем смысл всего *этого*? Что вас довело?..

— Бюрократия, мистер Гаррет. Но мне некогда объяснять. Властям и без того скоро все будет ясно. — Он кивнул обезьяне. — Пора. *Давай*.

Обезьяна убила мистера Гаррета.

— Почти готово, Пайкс?

Пайкс оторвал взгляд от стола.

— Да, сэр.

— Отличная работа.

— Даром хлеб не едим, мистер Стендаль,— тихо ответил Пайкс; приподняв упругое веко робота, он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковые мышцы.— Так...

— Вылитый мистер Гаррет.

— А с ним что делать, сэр? — Пайкс кивком головы указал на каменную плиту, где лежал настоящий мертвый Гаррет.

— Лучше всего сжечь, Пайкс. На что нам два мистера Гаррета, верно?

Пайке подтащил Гаррета к кирпичному мусоросжигателю.

— Всего хорошего.

Он втокнул мистера Гаррета внутрь и захлопнул дверку.

Стендаль обратился к роботу Гаррету:

— Вам ясно ваше задание, Гаррет?

— Да, сэр.— Робот приподнялся и сел.— Я должен вернуться в Управление Нравственного Климата. Представить дополнительный доклад. Оттянуть операцию самое малое на сорок восемь часов. Сказать, что мне нужно провести более обстоятельное расследование.

— Правильно, Гаррет. Желаю успеха.

Робот поспешно прошел к ракете Гаррета, поднялся в нее и улетел.

Стендаль повернулся.

— Ну, Пайкс, теперь разошлем оставшиеся приглашения на сегодняшний вечер. Полагаю, будет весело. Как вы думаете?

— Учитывая, что мы ждали двадцать лет,— даже очень весело!

Они подмигнули друг другу.

Ровно семь. Стендаль взглянул на часы. Теперь уж недолго. Он сидел в кресле и вертел в руке рюмку с хересом. Над ним, меж дубовых балок, попискивали, сверкая глазками, летучие мыши — тонкие медные скелетики, обтянутые резиновой плотью. Он поднял рюмку, приветствуя их:

— За наш успех.

Откинулся назад, сомкнул веки и мысленно проверил все сначала. Уж отведет он душу на старости лет... Отомстит этому антисептическому правительству за расправу с литературой, за костры. Годами копился гнев, копилась ненависть... И в оцепенелой душе исподволь, медленно зрел замысел. Так было до того дня три года назад, когда он встретил Пайкса.

Именно, Пайкса. Пайкса, ожесточенная душа которого была как обугленный черный колодец, наполненный едкой кислотой. Кто такой Пайкс? Величайший из них всех, только и всего! Пайкс — человек с тысячами личин, фурия, дым, голубой туман, седой дождь, летучая мышь, горгона, чудовище — вот кто Пайкс! «Лучше, чем Лон Чени, патриарх?» — спросил себя Стендаль. Чени, которого он смотрел в древних фильмах, много вечеров подряд смотрел... Да, лучше чем Чени. Лучше того, другого, старинного актера — как его, Карлофф, кажется? Гораздо лучше! А Люгоси? Никакого сравнения! Пайкс — единственный, неподражаемый. И что же: его ограбили, отняли право на выдумку, и некуда податься, не перед кем лицедействовать. Запретили играть даже перед зеркалом для самого себя!

Бедняга Пайкс — невероятный, обезоруженный Пайкс! Что ты чувствовал в тот вечер, когда они конфисковали твои фильмы, вырывали, вытягивали, подобно внутренностям, кольца пленки из кинокамеры, из твоего чрева, хватали, комкали, бросали в печь, сжигали? Было ли это так же больно, как потерять, ничего не получив взамен, пятьдесят тысяч книг? Да. Да. Стендаль почувствовал, как руки его холодеют от каменной ярости. И вот однажды — что может быть естественнее — они встретились и заговорили, и разговоры их растянулись на бесчисленные ночи, как не было счета и чашкам кофе, и из потока слов и горького настоя родился Дом Эшера.

Гулкий звон церковного колокола. Начался съезд гостей.

Улыбаясь, он пошел встретить их.

Роботы ждали — взрослые, без воспоминаний детства. Ждали роботы в зеленых шелках цвета лесных озер, в шелках цвета лягушки и папоротника. Ждали роботы с желтыми волосами цвета песка и солнца. Роботы лежали, смазанные, с трубчатыми костями из бронзы в желатине. В гробах для неживых и мертвых, в дощатых ящиках маятники ждали, когда их толкнут. Стоял запах смазки и латунной стружки. Стояла гробовая тишина. Роботы — обоего пола, но бесполое. С лицами, не безликие, заимствовавшие у человека все, кроме человечности, роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью «Франкоборт», пребывая в небытии, которое смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь... Но вот громко взвизгнули гвозди. Одна за другой поднимаются крышки. По ящикам мечутся тени, стиснутая рукой масленка брызжет машинным маслом. Тихонько затакал один

механизм, пущенный в ход. Еще один, еще, и вот уже застрекотало все кругом, как в огромном часовом магазине. Каменные глаза раздвинули резиновые веки. Затрепетали ноздри. Встали на ноги роботы, покрытые обезьяньей шерстью и мехом белого кролика. Близнецы Твиддам и Твидди, Телячья Голова, Соня, бледные утопленники — соль и зыбкие водоросли вместо плоти, посиневшие висельники с закатившимися глазами цвета устриц, создания из льда и сверкающей мишуры, глиняные карлики и коричневые эльфы, Тик-так, Страшила, Санта-Клаус в облаке искусственной метели, Синяя Борода — бакенбарды словно пламя ацетиленовой горелки. Поплыли клубы серного дыма с языками зеленого огня, и будто изваянный из глыбы чешуйчатого змеевика, дракон с пылающей жаровней в брюхе протиснулся через дверь: вой, стук, рев, тишина, рывок, поворот... Тысячи крышек снова захлопнулись. Часовой магазин двинулся на Дом Эшера. Ночь колдовства началась.

На усадьбу повеяло теплом. Прожигая небо, превращая осень в весну, прибывали ракеты гостей.

Из ракет выходили мужчины в вечерних костюмах, за ними следовали женщины с замысловатейшими прическами.

— Вот он *какой*, Эшер!

— А где же дверь?

И тут появился Стендаль. Женщины смеялись и болтали. Мистер Стендаль поднял руку, прося тишины. Потом повернулся, обратил взгляд к окну высоко в стене замка и крикнул:

Рапунцель, Рапунцель, проснись,
Спусти свои косоньки вниз.

Прекрасная девушка выглянула в окно навстречу ночному ветерку и спустила вниз золотые косы. И косы, сплетаясь, развеваясь, стали лестницей, по которой смеющиеся гости могли подняться в Дом.

Самые видные социологи! Самые проницательные психологи! Самые что ни на есть выдающиеся политики, бактериологи, психоневрологи! Вот они все тут, между серых стен.

— Добро пожаловать!

Мистер Трайон, мистер Оуэн, мистер Данн, мистер Лэнг, мистер Стеффенс, мистер Флетчер и еще две дюжины знаменитостей.

— Входите, входите!

Мисс Гиббс, мисс Поуп, мисс Черчилль, мисс Блант, мисс Драммонд и еще два десятка блестящих женщин.

Все без исключения видные, виднейшие лица, члены Общества борьбы с фантазиями, поборники запрета старых праздников — Хэллоуина и Гая Фокса, убийцы летучих мышей, истребители книг, факельщики; все без исключения добропорядочные, незапятнанные граждане, которые предоставили людям попроще, поглубже первыми прилететь на Марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения, построить города, отремонтировать дороги и вообще устранить всякие непорядки. А уж потом, когда прочно утвердилась Безопасность, эти Душителы Радости, эти субъекты с формалином вместо крови и с глазами цвета йодной настойки явились насаждать свой Нравственный Климат и милостиво наделять всех добродетелями. И все они — его друзья! Да-да, в прошлом году, на Земле, он неназойливо, осторожно с каждым из них познакомился, каждому выказал свое расположение.

— Добро пожаловать в безбрежные покои Смерти! — крикнул он.

— Послушайте, Стендаль, что все это *значит*?

— Увидите. Всем переодеться! Вон там есть кабины. Примерьте костюмы, которые там приготовлены. Мужчины — в эту сторону, женщины — в ту.

Гости стояли в некотором замешательстве.

— Не знаю, прилично ли нам оставаться, — сказала мисс Поуп. — Не нравится мне здесь. Это... это похоже на кошунство.

— Чепуха, *костюмированный бал!*

— Боюсь, это все противозаконно. — Мистер Стеффенс настороженно шмыгал носом.

— Полно! — рассмеялся Стендаль. — Повеселитесь хоть раз. Завтра тут будут одни развалины. По кабинам!

Дом сверкал жизнью и красками, шуты звенели бубенчиками, белые мыши танцевали миниатюрную кадрили под музыку карликов, которые щекотали крохотные скрипки крошечными смычками, флажки трепетали под закоптелыми балками, и стаи летучих мышей кружили у разверстых пастей горгулий, извергавших холодное, хмельное, пенное вино. Через все семь залов костюмированного бала бежал ручеек. Гости приложились к нему и обнаружили, что это херес! Гости высыпали из кабин, сбросив годы с плеч, скрывшись под маскарадными домино, и уже то, что они надели маски, лишало их права осуждать фантазии и ужасы. Кружились смеющиеся женщины в красных одеждах. Мужчины увивались за ними. По стенам скользили тени, отброшенные неведомо кем, тут и там висели зеркала, в которых ничто не отражалось.

— Да мы все упыри! — рассмеялся мистер Флетчер. — Мертвецы!

Семь залов, каждый иного цвета: один голубой, один пурпурный, один зеленый, один оранжевый, еще один белый, шестой фиолетовый, седьмой затянут черным бархатом. В черном зале эбеновые куранты гулко отбивали часы. Из зала в зал, между фантастическими роботами, между Сонями и Сумасшедшими Шляпниками, Троллями и Великанами, Черными Котами и Белыми Королевами носились опьяневшие гости, и под их пляшущими ногами пол пульсировал тяжело и глухо, точно сокрытое под ним сердце не могло сдержать своего волнения.

— Мистер Стендаль!

Шепотом...

— Мистер Стендаль!

Рядом с ним стояло чудовище в маске Смерти. Это был Пайкс.

— Нам нужно поговорить наедине.

— В чем дело?

— Вот. — Пайкс протянул ему костлявую руку. В ней была горсть оплавленных, почерневших колесиков, гайки, винты, болты.

Стендаль долго смотрел на них. Затем увлек Пайкса в коридор.

— Гаррет? — спросил он шепотом.

Пайкс кивнул.

— Он прислал робота вместо себя. Я нашел это только что, когда чистил мусоросжигатель.

Оба глядели на зловещие винты.

— Это значит, что в любой момент может нагрянуть полиция, — сказал Пайкс. — Наши планы рухнут.

— Это еще неизвестно. — Стендаль взглянул на кружащихся желтых, синих, оранжевых людей. Музыка волнами неслась сквозь туманные просторы залов. — Я должен был догадаться, что Гаррет не настолько глуп, чтобы явиться лично. Но погодите-ка!

— Что случилось?

— Ничего. Ничего серьезного. Гаррет прислал к нам робота. Но ведь мы ответили тем же. Если он не будет очень уж приглядываться, то просто не заметит подмены.

— Конечно!

— Следующий раз он явится *сам*. Теперь он уверен, что ему ничто не грозит. Ждите его с минуты на минуту, *собственной* персоной! Еще вина, Пайкс!

Зазвонил большой колокол.

— Бьюсь об заклад, это он. Идите, впустите мистера Гаррета.

Рапунцель спустила вниз свои золотые волосы.

— Мистер Стендаль?

— Мистер Гаррет, *подлинный* Гаррет?

— Он самый.— Гаррет окинул пристальным взглядом сырые стены и кружащихся людей.— Решил, лучше самому посмотреть. На роботов нельзя положиться. Тем более на чужих роботов. Заодно я предусмотрительно вызвал Демонтажников. Через час они придут, чтобы обрушить стены этого мерзостного логова.

Стендаль поклонился.

— Спасибо за предупреждение.— Он сделал жест рукой.— А пока приглашаю вас развлечься. Немного вина?

— Нет-нет, благодарю. Что тут происходит? Где предел падения человека?

— Убедитесь сами, мистер Гаррет.

— Разврат,— сказал Гаррет.

— Самый гнусный,— подтвердил Стендаль.

Где-то завизжала женщина. Подбежала мисс Поуп, бледная, как сыр.

— Что сейчас случилось, какой ужас! На моих глазах обезьяна задушила мисс Блант и затолкала ее в дымоход!

Они заглянули в трубу и увидели свисающие вниз длинные желтые волосы. Гаррет вскрикнул.

— Ужасно! — причитала мисс Поуп. Вдруг она осеклась. Захлопала глазами и повернулась: — Мисс Блант!

— Да.— Мисс Блант стояла рядом с ней.

— Но я только что видела вас в каминной трубе!

— Нет,— рассмеялась мисс Блант.— Это был робот, моя копия. Искусная репродукция!

— Но, но...

— Утрите слезы, милочка. Я жива-здорова. Разрешите мне взглянуть на себя. Так вот *где* я! Да, в дымоходе, как вы и сказали. Потешно, не правда ли?

Мисс Блант удалилась, смеясь.

— Хотите выпить, Гаррет?

— Пожалуй, выпью. Немного расстроился. Боже мой, что за место! Оно *вполне* заслуживает разрушения. На мгновение мне...— Гаррет выпил вина.

Новый крик. Четыре белых кролика несли на спине мистера Стеффенса вниз по лестнице, которая вдруг чудом откры-

лась в полу. Мистера Стеффенса утащили в яму и оставили там, связанного по рукам и ногам, глядеть, как сверху все ниже, ниже, ближе и ближе к его простертому телу опускалось, качаясь, острое как бритва лезвие огромного маятника.

— Это я там, внизу? — спросил мистер Стеффенс, появившись рядом с Гарретом. Он наклонился над колодецем. — Очень, очень странно наблюдать собственную гибель.

Маятник качнулся в последний раз.

— До чего реалистично, — сказал мистер Стеффенс, отворачиваясь.

— Еще вина, мистер Гаррет?

— Да, пожалуйста.

— Теперь уже недолго. Скоро придут Демонтажники.

— Слава Богу!

И опять, в третий раз — крик.

— Ну что еще? — нервно спросил Гаррет.

— Теперь моя очередь, — сказала мисс Драммонд. — Смотрите.

Вторую мисс Драммонд, сколько она ни кричала, заколо-тили в гроб и бросили в сырую землю под полом.

— Пойдите, я же помню *это!* — ахнул инспектор Нравственного Климата. — Это же из старых, запрещенных книг... «Преждевременное погребение». Да и остальное: колодец, маятник, обезьяна, дымоход... «Убийство на улице Морг». Я сам сжег эту книгу, ну конечно же!

— Еще вина, Гаррет. Так, держите рюмку крепче.

— Господи, *какое* у вас воображение!

На их глазах погибли еще пятеро: один в пасти дракона, другие были сброшены в черный пруд, пошли ко дну и сгнули.

— Хотите взглянуть, что мы приготовили для вас? — спросил Стендаль.

— Разумеется, — ответил Гаррет. — Какая разница? Все равно мы взорвем эту скверну. Вы отвратительны.

— Тогда пошли. Сюда.

И он повел Гаррета вниз, в подполье, по многочисленным переходам, опять вниз по винтовой лестнице под землю, в катакомбы.

— Что вы хотите мне здесь показать? — спросил Гаррет.

— Вас, убитого.

— Моего двойника?

— Да. И еще кое-что.

— Что же?

— Амонтильядо, — сказал Стендаль, шагая впереди с под-нятым в руке фонарем.

Кругом, наполовину высунувшись из гробов, торчали недвижимые скелеты. Гаррет прикрыл нос ладонью, лицо его выражало отвращение.

— Что-что?

— Вы никогда не слыхали про амонтильядо?

— Нет!

— И не узнаете вот это? — Стендаль указал на нишу.

— Откуда мне знать?

— Это тоже? — Стендаль, улыбаясь, извлек из складок своего балахона мастерок каменщика.

— Что это такое?

— Пошли,— сказал Стендаль.

Они ступили в нишу. Во тьме Стендаль заковал полупьяного инспектора в кандалы.

— Боже мой, что вы делаете? — вскричал Гаррет, гремя цепями.

— Я, так сказать, кую железо, пока горячо. Не перебивайте человека, который кует железо, пока оно горячо, это неучтиво. Вот так!

— Вы заковали меня в цепи!

— Совершенно верно.

— Что вы собираетесь сделать?

— Оставить вас здесь.

— Вы шутите!

— Весьма удачная шутка.

— Где мой двойник? Разве мы не увидим, как его убьют?

— Никакого двойника нет.

— Но как же *остальные*?!

— Остальные мертвы. Вы видели, как убивали живых людей. А двойники, роботы, стояли рядом и смотрели.

Гаррет молчал.

— Теперь вы обязаны воскликнуть: «Ради всего святого, Монтрезор!» — сказал Стендаль. — А я отвечу: «Да, ради всего святого». Ну, что же вы? Давайте. *Говорите*.

— Болван!

— Что, я вас упрашивать должен? Говорите. Говорите: «Ради всего святого, Монтрезор!»

— Не скажу, идиот. Выпустите меня отсюда. — Он уже протрезвел.

— Вот. Наденьте. — Стендаль сунул ему что-то, позванивающее бубенчиками.

— Что это?

— Колпак с бубенчиками. Наденьте его, и я, быть может, выпущу вас.

— Стендаль!

— Надевайте, говорят вам!

Гаррет послушался. Бубенчики тренькали.

— У вас нет такого чувства, что все это уже когда-то происходило? — справился Стендаль, берясь за лопатку, раствор, кирпичи.

— Что вы делаете?

— Замуровываю вас. Один ряд выложен. А вот и второй.

— Вы сошли с ума!

— Не стану спорить.

— Вас привлекут к ответственности за это!

Стендаль, напевая, постучал по кирпичу и положил его на влажный раствор.

Из тонушей во мраке ниши неслись стук, лязг, крики. Стена росла.

— Лязгайте как следует, прошу вас,— сказал Стендаль.— Чтобы было сыграно на славу!

— Выпустите, выпустите меня!

Осталось уложить один, последний, кирпич. Вопли не прекращались.

— Гаррет? — тихо позвал Стендаль.

Гаррет смолк.

— Гаррет,— продолжал Стендаль,— знаете, почему я так поступил с вами? Потому что вы сожгли книги мистера По, даже не прочитав их как следует. Положились на слова других людей, что надо их сжечь. Иначе вы сразу, как только мы пришли сюда, догадались бы, что я задумал. Неведение пагубно, мистер Гаррет.

Гаррет молчал.

— Все должно быть в точности,— сказал Стендаль, поднимая фонарь так, чтобы луч света проник в нишу и упал на поникшую фигуру.— Позвоните тихонько бубенчиками.

Бубенчики звякнули.

— А теперь, если вы изволите сказать: «Ради всего святого, Монтрезор!» — я, возможно, освобожу вас.

В луче света появилось лицо инспектора. Минута колебания, и вот прозвучали нелепые слова:

— Ради всего святого, Монтрезор!

Стендаль удовлетворенно вздохнул, закрыв глаза. Вложил последний кирпич и плотно заделал его.

— *Requiescat in pace*¹, дорогой друг.

¹ Покойся с миром (*лат.*).

Он быстро покинул катакомбы.

В полночь, с первым ударом часов, в семи залах дома все смолкло.

Появилась Красная Смерть.

Стендаль на миг задержался в дверях, еще раз все оглядел. Выбежал из Дома и поспешил через ров туда, где ждал вертолет.

— Готово, Пайкс?

— Готово.

Улыбаясь, они смотрели на величавое здание. Дом начал раскалываться посередине, точно от землетрясения, и, любуясь изумительной картиной, Стендаль услышал, как позади него Пайкс тихо и напевно декламирует:

— «...на моих глазах мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами дома Эшеров».

Вертолет взлетел над бурлящим озером, взяв курс на запад.

Август 2005

СТАРЫЕ ЛЮДИ

И наконец — как и следовало ожидать — на Марс стали прибывать старые люди; они отправились по следу, проложенному громогласными пионерами, утонченными скептиками, профессиональными скитальцами, романтическими проповедниками, искавшими свежей поживы.

Люди немощные и дряхлые, люди, которые только и делали, что слушали собственное сердце, шупали собственный пульс, беспрестанно глотали микстуру перекошенными ртами, люди, которые прежде в ноябре отправлялись в общем вагоне в Калифорнию, а в апреле на третьеклассном пароходе в Италию, эти живые мощи, эти сморчки тоже наконец появились на Марсе...

Сентябрь 2005

МАРСИАНИН

Устремленные вверх голубые пики терялись в завесе дождя, дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарж вышел с женой из дома посмотреть.

— Первый дождь сезона,— заметил Лафарж.

— Чудесно...— вздохнула жена.

— Благодать!

Они затворили дверь. Вернувшись в комнаты, стали греть руки над углями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели вдаль влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с Земли.

— Вот одно только...— произнес Лафарж, глядя на свои руки.

— Ты о чем? — спросила жена.

— Если бы мы могли взять с собой Тома...

— Лаф, ты опять!

— Нет, нет, прости меня, я не буду.

— Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер, надо постараться забыть его и все, что было на Земле.

— Верно, верно,— сказал он и снова потянулся к теплу. Его глаза смотрели на огонь.— Я больше не заговорю об этом. Просто, ну... очень уж недостает мне наших поездок в Грин-Лон-Парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали...

Голубой дождь ласковыми струями поливал дом.

В девять часов они легли спать; молча, рука в руке, лежали они, ему — пятьдесят пять, ей — шестьдесят, во мраке, наполненном шумом дождя.

— Энн,— тихо позвал он.

— Да? — откликнулась она.

— Ты ничего не слышала?

Они вместе прислушались к шуму ветра и дождя.

— Ничего,— сказала она.

— Кто-то свистел,— объяснил он.

— Нет, я не слышала.

— Пойду посмотрю на всякий случай.

Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив в нерешительности, толчком отворил ее, и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер.

У крыльца стояла маленькая фигура.

Молния распорол небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях Лафаржа.

— Кто там? — крикнул старик, дрожа.

Молчание.

— Кто это? Что вам надо?

По-прежнему ни слова.

Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение.

— Кто ты такой? — крикнул Лафарж снова.

Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку.

— Чего ты так кричишь?

— Какой-то мальчик стоит у крыльца и не хочет мне отвечать, — сказал старик, дрожа. — Он похож на Тома!

— Пойдем спать, тебе почудилось.

— Он и сейчас стоит, взгляни сама.

Лафарж отворил дверь шире, чтобы жене было видно. Холодный ветер, редкий дождь — и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к прилолке.

— Уходи! — сказала она, отмахиваясь рукой. — Уходи!

— Скажешь, не похож на Тома? — спросил старик.

Фигурка не двигалась.

— Мне страшно, — произнесла женщина. — Запри дверь и пойдем спать. Не хочу, не хочу!..

И она ушла в спальню, причитая себе под нос.

Старик стоял на ветру, и руки его стыли от студеной влаги.

— Том, — тихо сказал он. — Том, на тот случай, если это ты, если это каким-то чудом ты, — я не стану запираеть дверь. Если ты озяб и захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина, там есть меховой коврик.

И он прикрыл дверь, не заперев ее.

Жена услышала, как он ложится, и зябко поежилась.

— Ужасная ночь. Я чувствую себя такой старой. — Она всхлипнула.

— Ладно, ладно, — ласково успокаивал он ее, обнимая. —

Спи.

Наконец она уснула.

И тут его настороженный слух тотчас уловил: наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер, потом затворилась. Лафарж услышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание. «Том», — сказал он сам себе.

Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части.

Утром светило жаркое-жаркое солнце.

Лафарж распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом.

На коврике никого не было. Лафарж вздохнул.

— Стар становлюсь, — сказал он.

И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром.

— Доброе утро, отец!

— Доброе утро, Том.

Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся, улыбаясь.

— Чудесный день сегодня!

— Да, хороший, — настороженно отозвался старик.

Мальчик держался как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой.

Старик шагнул вперед.

— Том, как ты сюда попал? Ты жив?

— А почему мне не быть живым? — Мальчик поднял глаза на отца.

— Но, Том... Грин-Лон-Парк, каждое воскресенье... цветы... и... — Лафарж вынужден был сесть. Сын подошел к нему, остановился и взял его руку. Старик ощутил пальцы — крепкие, теплые.

— Ты в самом деле здесь, это не сон?

— Разве вы *не хотите*, чтобы я был здесь? — Мальчик встретился.

— Что ты, Том, конечно, хотим!

— Тогда зачем спрашивать? Пришел, и все тут.

— Но твоя мать, такая неожиданность...

— Не беспокойся, все будет хорошо. Ночью я пел вам обоим, это поможет вам принять меня, особенно ей. Я знаю, как действует неожиданность. Погоди, она войдет, и убедишься сам.

И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза.

— Доброе утро, Лаф и Том. — Мать вышла из дверей спальни, собирая волосы в пучок. — Правда, чудесный день?

Том повернулся к отцу, улыбаясь:

— Что я говорил?

Вместе, втроем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарж достала припрятанную впрок старую бутылку подсолнухового вина, и все немножко выпили. Никогда еще Лафарж не видел свою жену такой веселой. Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее все было в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарж проникался этим чувством.

Пока мать мыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил:

— Сколько же тебе лет теперь, сынок?

— Разве ты не знаешь, папа? Четырнадцать, конечно.

— А кто ты такой *на самом деле*? Ты не можешь быть Томом, но *кем-то* ты должен быть! Кто ты?

— Не надо.— Парнишка испуганно прикрыл лицо руками.

— Мне ты можешь сказать,— настаивал старик,— я пойму. Ты марсианин, наверно? Я тут слышал разные басни про марсиан, правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось, а когда они появляются среди нас, то в облике землян. Вот и ты, если приглядеться: будто бы и Том, и не Том...

— Зачем, зачем это?! Чем я вам не хорош? — закричал мальчик, спрятав лицо в ладонях.— Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне!

Он вскочил на ноги и ринулся прочь от стола.

— Том, вернись!

Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу.

— Куда это он? — спросила Энн; она пришла за остальными тарелками.

Она посмотрела в лицо мужу.

— Ты что-нибудь сказал, напугал его?

— Энн,— заговорил он, беря ее за руку,— Энн, ты помнишь Грин-Лон-Парк, помнишь ярмарку и как Том заболел воспалением легких?

— Что ты *такое* говоришь? — Она рассмеялась.

— Так, ничего,— тихо ответил он.

Вдали, у канала, медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома.

В пять часов вечера, на закате, Том возвратился. Он настороженно поглядел на отца.

— Ты опять начнешь меня расспрашивать?

— Никаких вопросов,— сказал Лафарж.

Блеснула белозубая улыбка.

— Вот это здорово.

— Где ты был?

— Возле города. Чуть не остался там. Меня чуть...— Он замялся, подбирая нужное слово.— Я чуть не попал в западню.

— Что ты хочешь этим сказать — «в западню»?

— Там, возле канала, есть маленький железный дом, и когда я шел мимо него, то меня чуть было не заставили... после этого я не смог бы вернуться сюда, к вам. Не знаю, как вам объяснить, нет таких слов, я не умею рассказать, я и сам не понимаю, это так странно, мне не хочется об этом говорить.

— И не надо. Иди-ка лучше умойся. Ужинать пора.

Мальчик побежал умыться.

А минут через десять на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами.

— Добрый вечер, брат Лафарж,— сказал он, придерживая лодку.

— Добрый вечер, Саул, что слышно?

— Всякое. Ты ведь знаешь Номленда — того, что живет в жестяном сарайчике на канале?

Лафарж оцепенел.

— Знаю, ну и что?

— А какой он негодяй был, тоже знаешь?

— Говорили, будто он потому Землю покинул, что человека убил.

Саул оперся о влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа.

— А помнишь фамилию человека, которого он убил?

— Гиллингс, кажется?

— Точно, Гиллингс. Ну так вот, часа этак два тому назад этот Номленд прибежал в город с криком, что видел Гиллингса — живьем, здесь, на Марсе, сегодня, только что! Просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда от Гиллингса. Но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел домой и двадцать минут назад — люди мне рассказали — пустил себе пулю в лоб. Я как раз оттуда.

— Ну и ну! — сказал Лафарж.

— Вот какие дела-то бывают! — подхватил Саул.— Ладно, Лафарж, пока, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Лодка заскользила дальше по тихой глади канала.

— Ужин на столе! — крикнула миссис Лафарж.

Мистер Лафарж сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома.

— Том,— сказал он,— ты что делал сегодня вечером?

— Ничего,— ответил Том с полным ртом.— А что?

— Да нет, я так просто.— Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки.

В семь часов вечера миссис Лафарж собралась в город.

— Уж который месяц не была там,— сказала она.

Том отказался идти.

— Я боюсь города,— объявил он.— Боюсь людей. Мне не хочется.

— Большой парень — и такие разговоры! — настаивала Энн. — Слушать не хочу. Пойдешь с нами. Я так решила.

— Но, Энн, если мальчику не хочется... — вступился старик.

Однако миссис Лафарж была неумолима. Она чуть не силой втащила их в лодку, и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик пристально глядел на него, размышляя. «Кто же это, — думал он, — что за создание, жаждущее любви не меньше нас? Кто он и что он — пришел, спасаясь от одиночества, в круг чуждых ему существ, приняв голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы остаться среди нас и обрести наконец свое счастье в нашем признании? С какой он горы, из какой пещеры, отпрыск какого народа, еще населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с Земли?» Лафарж покачал головой. Этого не узнать. А так, с какой стороны ни посмотри — он Том, и все тут.

Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе: «Может быть, и неправильно это — оставить у себя Тома, хоть ненадолго, если все равно не выйдет ничего, кроме беды и горя... Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали, пусть это всего на один день, и он потом исчезнет, и пустота станет еще невыносимей, темные ночи — еще темней, дождливые ночи — еще сырей... Лишать нас этого — все равно что попытаться вырвать у нас кусок из рта...»

И он поглядел на парнишку, который так безмятежно дремал на дне лодки. Тот всхлипнул; верно, что-то приснилось.

— Люди, — бормотал Том во сне. — Меняюсь и меняюсь... Капкан...

— Полно, полно, парень. — Лафарж погладил его мягкие кудри, и Том успокоился.

Лафарж помог жене и сыну выйти из лодки на берег.

— Ну, вот и приехали! — Энн улыбнулась ярким огням, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, любуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам.

— Лучше бы я остался дома, — сказал Том.

— Прежде ты так не говорил, — возразила мать. — Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город.

— Держитесь ко мне поближе, — прошептал Том. — Я не хочу, чтоб меня поймали.

Энн услышала эти слова.

— Что ты там болтаешь, пошли!

Лафарж заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони, и крепко стиснул их.

— Я с тобой, Томми.— Он поглядел на спящую мимо толпу, и ему тоже стало не по себе.— Мы не будем задерживаться долго.

— Вздор! — вмешалась Энн.— Мы на весь вечер приехали.

Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга; оглядевшись, Лафарж окаменел.

Тома не было.

— Где он? — сердито спросила Энн.— Что за манера — чуть что, куда-то удирать от родителей! Том!!

Мистер Лафарж бегал кругом, расталкивая прохожих, но Тома нигде не было.

— Вернется, вот увидишь, будет ждать возле лодки, когда мы поедем домой,— уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к кинотеатру.

Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое — мужчина и женщина. Он узнал их: Джо Сполдинг с женой. Они исчезли прежде, чем Лафарж успел заговорить с ними.

Встревоженно озираясь, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала.

В одиннадцать часов Тома у причала не было.

— Ничего, мать,— сказал Лафарж,— ты только не волнуйся. Я найду его. Подожди здесь.

— Поскорее возвращайтесь.

Ее голос утонул в плеске воды.

Он шел по ночным улицам, сунув руки в карманы. Один за другим гасли огни. Кое-где из окон еще высовывались люди — ночь была теплая, хотя в небе все еще плыли среди звезд обрывки грозовых туч. Лафарж вспомнил, как мальчик постоянно твердил что-то насчет западни, как он боялся толпы, городов. «Что за нелепость,— устало подумал старик.— Наверно, парень ушел навсегда. А может, его и вовсе не было...» Лафарж свернул в переулок, скользя взглядом по номерам домов.

— Это ты, Лафарж?

На крыльце, куря трубку, сидел мужчина.

— Привет, Майк.

— Что, повздорил с хозяйкой? Вышел проветриться, нервы успокоить?

— Да нет, просто гуляю.

— У тебя такой вид, словно ты что-то ищешь. Да, к слову о находках. Ведь сегодня вечером кое-кто нашелся. Джо Сполдинга знаешь? Помнишь его дочь, Лавинию?

— Помню,— Лафарж похолодел. Это было как сон, который снится во второй раз. Он в точности знал, что будет сказано дальше.

— Лавиния вернулась домой сегодня вечером,— сказал Майк, выпуская дым.— Помнишь, она с месяц назад заблудилась на дне мертвого моря? Потом нашли тело, вроде бы ее, да очень уж изуродовано было... С тех пор Сполдинги были словно не в себе. Джо ходил и все твердил, что она жива, не ее это тело. И вот, выходит, он был прав. Сегодня Лавиния объявилась.

— Где? — Лафаржу стало трудно дышать, сердце отчаянно заколотилось.

— На Главной улице. Сполдинги как раз покупали билеты в кино. Вдруг видят в толпе Лавинию. Вот сцена была, воображаю! Сперва-то она их не узнала. Они квартала три шли за ней, все говорили, говорили. Наконец она вспомнила.

— И ты ее видел?

— Нет, но я слышал ее голос. Помнишь, она любила петь «Чудный брег Ломондского озера»? Ну так вот, я только что слышал, как она эту песню отцу пела, вон их дом. Так она пела — заслушаешься! Славная девочка. Я как узнал, что она погибла,— вот ведь беда, подумал, вот несчастье. А теперь вернулась, и так на душе хорошо. Э, да тебе вроде нездоровится. Зайди-ка, глотни виски!

— Спасибо, Майк, не хочу.— Старик побрел прочь.

Он слышал, как Майк пожелал ему доброй ночи, но не ответил, а устремил взгляд на двухэтажный дом, высокую хрустальную крышу которого устилала пышные кисти алых марсианских цветов. Над садом навис балкон с витой железной решеткой, в окнах второго этажа горел свет. Было очень поздно, но он все-таки подумал: «Что будет с Энн, если я не приведу Тома? Новый удар — снова смерть,— как она это перенесет? Вспомнит первую смерть?.. И весь этот сон наяву? И это внезапное исчезновение? Господи, я должен найти Тома, ради Энн! Бедняжка Энн, она ждет его на пристани...»

Он поднял голову. Где-то наверху голоса желали доброй ночи другим ласковым голосам, хлопали двери, гас свет, и все время слышалась негромкая песня. Мгновение спустя на балкон вышла прехорошенькая девушка лет восемнадцати.

Лафарж окликнул ее, преодолевая голосом сильный ветер. Девушка обернулась, глянула вниз.

— Кто там? — крикнула она.

— Это я, — сказал старик и, сообразив, как странно, нелепо ответил ей, осекся, только губы продолжали беззвучно шевелиться.

Крикнуть: «Том, сынок, это твой отец»? Как заговорить с ней? Она ведь примет его за сумасшедшего и позовет родителей.

Девушка перегнулась через перила в холодном, неверном свете.

— Я вас знаю, — мягко ответила она. — Пожалуйста, уходите, вы тут ничего не можете поделать.

— Ты должен вернуться! — Слова сами вырвались у Лафаржа, прежде чем он смог их удержать.

Освещенная луной фигурка наверху отступила в тень и пропала, только голос остался.

— Теперь я больше не твой сын, — сказал голос. — Зачем только мы поехали в город...

— Энн ждет на пристани!

— Простите меня, — ответил тихий голос. — Но что я могу поделать? Я счастлива здесь, меня любят — как любили вы. Я то, что я есть, беру то, что дается. Поздно: они взяли меня в плен.

— Но подумай об Энн, какой это будет удар для нее...

— Мысли в этом доме чересчур сильны, я словно в заточении. Я не могу перемениться сама.

— Но ведь ты же Том, это *ты* была Томом, верно? Или ты издеваешься над стариком — может быть, на самом деле ты Лавиния Сполдинг?

— Я ни то ни другое, я — только я. Но везде, куда я попадаю, я еще и нечто другое, и сейчас вы не в силах изменить этого нечто.

— Тебе опасно оставаться в городе. У нас на канале лучше, там никто тебя не обидит, — умолял старик.

— Верно... — Голос звучал нерешительно. — Но теперь я обязана считаться с этими людьми. Что будет с ними, если утром окажется, что я снова исчезла — уже навсегда? Правда, мама-то знает, кто я, — догадалась, как и вы. Мне кажется, они все догадались, только не хотят спрашивать. Провидению не задают вопросов. Если действительность недоступна, чем плоха тогда мечта? Пусть я не та, которую они потеряли, для них я даже нечто лучшее — идеал, созданный их мечтой. Передо мной теперь стоит выбор: либо причинить боль им, либо вашей жене.

— У них большая семья, их пятеро. Им легче перенести утрату!

— Прошу вас, — голос дрогнул, — я устала.

Голос старика стал тверже.

— Ты должен пойти со мной. Я не могу снова подвергать Энн такому испытанию. Ты наш сын. Ты мой сын, ты принадлежишь нам.

— Не надо, пожалуйста! — Тень на балконе трепетала.

— Тебя ничто не связывает с этим домом и его обитателями!

— О, что вы делаете со мной!

— Том, Том, сынок, послушай меня. Вернись к нам скорее, ну, спустись по этим лианам. Пошли, Энн ждет, у тебя будет настоящий дом, все, чего ты захочешь.

Лафарж не отрывал пристального взгляда от балкона, желая, желая, чтобы свершилось...

Тени колыхались, шелестели лианы.

Наконец тихий голос произнес:

— Хорошо, отец.

— Том!

В свете луны вниз по лианам скользнула юркая мальчишеская фигурка. Лафарж поднял руки — принять ее.

В окнах вверху вспыхнуло электричество.

Чей-то голос вырвался из-за узорной решетки:

— Кто там?

— Живей, парень!

Еще свет, еще голоса.

— Стой, я буду стрелять! Винни, ты цела?

Топот спешащих ног...

Старик и мальчик пустились бежать через сад. Раздался выстрел. Пуля ударила в стену возле самой калитки.

— Том, ты — в ту сторону! Я побегу сюда, запутаю их. Беги к каналу, через десять минут встретимся там! Давай!

Они побежали в разные стороны.

Луна скрылась за тучей. Старик бежал в полной темноте.

— Энн, я здесь!

Она, дрожа, помогла ему спуститься в лодку.

— Где Том?

— Сейчас прибежит.

Они смотрели на тесные улочки и спящий город. Еще появлялись запоздалые прохожие: полицейский, ночной сторож, пилот ракеты, одинокие мужчины, идущие домой после ночного свидания, четверо мужчин и женщин, которые, смеясь, вышли из бара... Где-то приглушенно звучала музыка.

— Почему его нет? — спросила мать.

— Сейчас, сейчас.

Но Лафарж уже не был уверен. Что, если парнишку опять перехватили — где-то, каким-то образом, — пока он спешил к пристани, бежал полуночными улицами между темных домов?

Конечно, бежать было далеко, даже для мальчика, но все-таки Том должен был поспеть раньше его...

Вдруг вдали, на залитой лунным светом улице, показалась бегущая фигурка.

Лафарж вскрикнул, но тотчас заставил себя замолчать: от туда же, издали, доносились другие голоса, топот других ног. В окнах, словно по цепочке, вспыхнули огни. Одинокая фигурка вырвалась на широкую площадь перед причалом. Это был не Том, а просто бегущее существо с серебристым лицом, которое блестело, переливалось, освещенное многочисленными шарами фонарей. Но чем ближе подбегало оно, тем все более знакомым становилось, и, когда фигурка достигла причала, это был уже Том! Энн всплеснула руками, Лафарж поспешно отчалил. Но было уже поздно.

Потому что из улицы на безмолвную площадь выбежал мужчина... еще один... женщина, еще двое мужчин, мистер Сполдинг. Они остановились в замешательстве. Они озирались по сторонам, и им хотелось вернуться домой: ведь это... это был явный кошмар, безумие какое-то, ну конечно! И, однако же, они продолжали погоню, поминутно останавливаясь в нерешительности и вновь припускаясь бежать.

Да, было уже поздно. Пришел конец этому необычайному вечеру, необычайному событию. Лафарж крутил в руках чалку. Ему было очень холодно и одиноко. В лунном свете было видно, как бежали, спешили люди, выпучив глаза, торопливо вскидывая ноги, и вот уже все они, вся десятка, стоят у причала. Они яростно уставились на лодку. Они кричали.

— Ни с места, Лафарж! — Сполдинг держал в руке пистолет.

Теперь было ясно, что произошло... Том один, обгоняя прохожих, мчится по освещенным луной улицам. Полицейский замечает промелькнувшую фигуру. Круто обернувшись, всматривается в лицо, кричит какое-то имя, бросается вдогонку. «Эй, стой!» Он увидел известного преступника. И так всю дорогу, кто бы ни встретился. Мужчина ли, женщина, ночной сторож или пилот ракеты — для каждого бегущая фигура была кем угодно. В ней воплощались для них любой знакомый, любой образ, любое имя... Сколько разных имен было произнесено за последние пять минут!.. Сколько лиц угадано в лице Тома — и все ложно!

Вдоль всего пути — преследуемый и преследователи, мечта и мечтатели, дичь и псы. Вдоль всего пути: неожиданное открытие, блеск знакомых глаз, выкрик полузабытого имени, воспоминания о давних временах — и растет, растет толпа, бегущая по его следам. Каждый срывался с места и спешил вдогонку, едва проносилось мимо — словно лик, отраженный десятком

тысяч зеркал, десятком тысяч глаз,— бегущее видение, лицо, одно для тех, кто впереди, иное для тех, кто позади, и другое, новое, для тех, кто еще попадетя ему на пути, кто еще не видел.

«И вот они все здесь, у лодки, и каждый хочет один завладеть мечтой,— как мы хотим, чтобы это был только Том, ни Лавиния, ни Роджер, ни кто-либо еще,— подумал Лафарж.— Но теперь этому не бывать. Слишком далеко все зашло».

— Выходите из лодки, ну! — скомандовал Сполдинг.

Том поднялся на пристань. Сполдинг схватил его за руку.

— Ты пойдешь к нам домой. Я все знаю.

— Стой,— вмешался полицейский,— он арестован! Его фамилия Декстер, разыскивается за убийство.

— Нет, нет! — всхлипнула женщина.— Это мой муж! Что уж, я своего мужа не знаю?!

Другие голоса твердили свое. Толпа напирала. Миссис Лафарж заслонила собой Тома.

— Это мой сын, у вас нет никакого права обвинять его в чем-либо! Нам надо ехать домой!

А Тома безостановочно била дрожь. Он выглядел тяжелобольным. Толпа все напирала, протягивая нетерпеливые руки, лоя его, хватая.

Том закричал.

Он менялся на глазах у всех. Это был Том, и Джеймс, и человек по фамилии Свичмен, и другой, по фамилии Баттерфилд; это был мэр города, и девушка по имени Юдифь, и муж Уильям, и жена Кларисса. Он был словно мягкий воск, послушный их воображению. Они орали, наступали, зывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки, и каждый призыв заставлял его лицо преображаться.

— Том! — звал Лафарж.

— Алиса! — звучал новый зов.

— Уильям!

Они хватили его за руки, тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса.

Он лежал на камнях — застывал расплавленный воск, и его лицо было как все лица, один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая.

Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились.

— Он умер,— сказал кто-то наконец.

Пошел дождь.

Капли падали на людей, и люди посмотрели на небо.

Они отвернулись и сперва медленно, потом все быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис Лафарж, объятые ужасом, стояли на месте, держась за руки, и глядели на него.

Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты.

Энн молча начала плакать.

— Поехали домой, Энн, тут уж ничего не поделаешь,— сказал старик.

Они спустились в лодку и заскользили во мраке по каналу. Они вошли в свой дом, и развели огонь в камине, и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь.

— Тсс,— вдруг произнес Лафарж среди ночи.— Ты ничего не слышала?

— Нет, ничего...

— Я все-таки погляжу.

Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить.

Наконец распахнул ее настежь и выглянул наружу.

Дождь с черного неба поливал пустой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор.

Он подождал минут пять, потом мокрыми руками медленно затворил дверь и задвинул засов.

Ноябрь 2005

«ДОРОЖНЫЕ ТОВАРЫ»

Уж очень далекой она показалась, эта новость, которую владелец магазина дорожных товаров услышал вечером по радио, когда модулированный световой луч принес последние известия с Земли. Просто непостижимо.

На Земле назревала война.

Он вышел и посмотрел на небо.

Вот она, Земля, на вечернем небосводе, догоняет закатившееся за горы солнце. Эта зеленая звезда и есть то, о чем говорило радио.

— Не могу поверить,— сказал лавочник.

— Это потому, что вы не там,— заметил отец Перегрин, он подошел поздороваться.

— Как это понять, святой отец?

— Вот так же было, когда я был мальчишкой,— сказал отец Перегрин.— Мы слышали о войнах в Китае. Но нам не вери-

лось. Это было слишком далеко. И слишком много людей там погибало. Невозможно себе представить. Даже когда мы смотрели фильмы оттуда, нам не верилось. Так и теперь. Земля — тот же Китай. Слишком далеко, вот и не верится. Это не здесь, не у нас. Не то что пощупать, даже разглядеть нельзя. Зеленый огонек — вот все, что мы видим. И на этом зеленом огоньке живет два миллиарда людей? Невероятно! Война? Но мы не слышим взрывов.

— Услышим, — сказал лавочник. — Я вот все думаю о тех людях, которые должны прилететь сюда на этой неделе. Как там передавали про них? В течение ближайшего месяца на Марс прибудет около ста тысяч человек — так, кажется. Что с ними будет, если начнется война?

— Повернут назад, наверно.

— Н-да, — сказал лавочник. — Ладно, пойду-ка я сотру пыль с чемоданов. Того и гляди, покупатели нагрянут.

— Думаете, если это *та* Большая война, которой мы ждали много лет, все захотят вернуться на Землю?

— Вот именно, святой отец: как это ни странно, я думаю, мы *все* захотим вернуться. Конечно, мы прилетели сюда, спасаясь от политики, от атомной бомбы, войны, влиятельных клик, предрассудков, законов. Все это мне известно. Но родина-то все-таки там. Вот увидите. Как только на Америку упадет первая бомба, здешний народ призадумается. Слишком мало они тут прожили — каких-нибудь два года. Если бы лет сорок, тогда другое дело, а сейчас ведь у них на Земле родня, города, в которых они выросли. Я-то, можно сказать, в Землю даже не верю, для меня она будто бы и не существует. Но я старик, от меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться.

— Вряд ли.

— Пожалуй, что вы правы.

Они стояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина.

— Кстати, подберите-ка мне чемодан. А то мой старый очень уж истрепался...

Ноябрь 2005

МЕРТВЫЙ СЕЗОН

Сэм Паркхилл лихо махал метлой, выметая голубой марсианский песок.

— Вот и все! — сказал он. — Прошу, сэр, полюбуйте! — Он показал рукой. — Взгляните на вывеску: «ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ СЭМА»! Красота — правда, Эльма?

— Правда, Сэм,— подтвердила его супруга.

— Во, куда я махнул! Увидели бы меня теперь ребята из Четвертой экспедиции. Слава Богу, свое дело завел, а они все еще солдатскую лямку тянут. Мы будем тысячи загрэбать, Эльма, тысячи!

Жена смотрела на него и молчала.

— Куда девался капитан Уайлдер? — спросила она наконец.— Твой командир, который убил этого типа, ну, что задумал всех землян перебить,— как его фамилия?..

— Этого психа-то? Спендер. Чистоплюй проклятый! Да, насчет капитана Уайлдера... На Юпитер полетел, говорят. С повышением, так сказать. Сдается мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный больно стал, не дай Бог. Лет через двадцать вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать, как трепать языком. Вот так-то — он там от мороза сдыхает, а я тут, смотри, что наворочал! Местечко-то какое!

Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружение, залитое ослепительным белым светом и дрожащее от рева автомата-радиолы.

Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющий дорожку бордюр из битого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах.

— Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-что, а растяпой меня не назовешь! Вот вам две магистрали, вон мертвый город, а вон там рудники. Грузовики из Сто первого сэттльмента будут идти мимо нас двадцать четыре часа в сутки. Скажешь, плохое я место выбрал?

Жена разглядывала свои ногти.

— Ты думаешь, эти десять тысяч новых ракет с рабочими прилетят на Марс? — сказала она наконец.

— Не пройдет и месяца,— уверенно ответил он.— Чего ты кривишься?

— Не очень-то я полагаюсь на эту публику там, на Земле,— ответила она.— Вот когда сама увижу десять тысяч ракет и сто тысяч мексиканцев и китайцев, тогда и поверю.

— Покупателей,— он посмаковал это слово.— Сто тысяч голодных клиентов!

— Только бы не было атомной войны,— медленно произнесла жена, глядя на небо.— Эти атомные бомбы мне покою не дают. Их уже столько накопилось на Земле, всякое может случиться.

Сэм только фыркнул в ответ и продолжал подметать.

Уголкем глаза он уловил голубое мерцание. Что-то бесшумно парило в воздухе за его спиной. Он услышал голос жены:

— Сэм, тут к тебе приятель явился.

Сэм повернулся и увидел качающуюся на ветру маску.

— Опять пришел! — Сэм взял метлу наперевес.

Маска кивнула. Она была сделана из голубоватого стекла и венчала тонкую шею, ниже которой развевалось одеяние из тончайшего желтого шелка. Из шелка торчали две серебряные руки, прозрачные, как сетка. На месте рта у маски была узкая прорезь, из нее вырывались мелодичные звуки, а руки, маска, одежда то всплывали вверх, то опускались.

— Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами, — произнес голос из-под маски.

— Тебе же сказано, чтобы духу твоего здесь не было! — гаркнул Сэм. — Убирайся, не то Болезнь напущу!

— У меня уже была Болезнь, — ответил голос. — Я один из немногих, кто выжил. Я очень долго болел.

— Убирайся в свои горы и сиди там, где тебе положено. Чего ты сюда ходишь, пристаешь ко мне? Ни с того ни с сего. Да еще по два раза на день.

— Мы не причиним вам зла.

— Зато я вам причину! — сказал Сэм, птясь. — Я иностранцев не люблю. И марсиан не люблю. До сих пор ни одного не видел. Вообще, чертовщина какая-то! Столько лет сидели где-то, прятались, и вдруг, на тебе, я им понадобился. Оставьте меня в покое.

— У нас к вам важное дело, — сказала голубая маска.

— Если это насчет участка, то он мой. Я построил сочную собственными руками.

— В известном смысле да, по поводу участка.

— Ну вот что, послушай-ка меня, — ответил Сэм. — Я сам из Нью-Йорка. Это огромный город; там еще десять миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина-другая осталась. Городов у вас нет, бродите по горам, ни властей, ни законов, и ты еще начинаешь мне про участок толковать. Заруби себе на носу: старое должно уступать место новому. Лучше разойдемся полюбовно. При мне пистолет, вот он. Нынче утром, как ты ушел, я сразу его достал и зарядил.

— Мы, марсиане — телепаты, — сказала бесстрастная голубая маска. — У нас есть связь с одним из ваших городов по ту сторону мертвого моря. Вы сегодня слушали радио?

— Мой приемник скис.

— Значит, вам ничего неизвестно. Очень важные новости. Это касается Земли.

Серебряная рука сделала движение, и в ней появилась бронзовая трубка.

— Позвольте показать вам вот это.

— Пистолет! — вскричал Сэм Паркхилл.

Выхватив из кобуры свой пистолет, он открыл огонь по туманному силуэту, по одежкам, по голубой маске.

Маска на миг застыла в воздухе. Потом шелк зашуршал и мягко, складка за складкой, опал, будто крохотный цирковой шатер, у которого выбили стойки, серебряные руки тренькнули о мощеную дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и ткани.

У Сэма перехватило дыхание.

Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина.

— Это не оружие, — сказала она, нагибаясь и поднимая бронзовую трубку. — Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе. Оно написано какой-то змеиной азбукой, видишь — все одни голубые змеи. Не умею читать эти знаки. А ты?

— Нет. Что в них проку-то было, в этих марсианских пиктограммах? Брось ее! — Он воровато оглянулся по сторонам. — Ну, как другие еще нагрянут! Надо убрать его с глаз долой. Неси-ка лопату!

— Что ты собираешься делать?

— Закопать его, что же еще?

— Не надо было убивать его.

— Ну, ошибся, подумаешь. Пошевеливайся!

Она молча принесла ему лопату.

К восьми часам Сэм Паркхилл вернулся и принялся виновато мести площадку перед сосисочной. Жена стояла в залитых светом дверях, сложив руки на груди.

— Жаль, конечно, что так получилось, — сказал он. Поглядел на жену, отвел глаза в сторону. — Сама видела, это случайно вышло, стечение обстоятельств.

— Да, — сказала жена.

— Меня такое зло взяло, когда он достал оружие.

— Какое оружие?

— Ну, мне показалось, что оружие! Я сожалею, сожалею! Сколько раз еще надо повторять!

— Тсс, — произнесла Эльма, поднося палец к губам. — Тсс.

— А мне наплевать, — сказал он. — Я не один — вся компания «Сеттльменты землян, Инкорпорейтед» вступится, если что! — Он презрительно фыркнул: — Да эти марсиане и не посмеют...

— Смотри, — перебила его Эльма.

Сэм поглядел в сторону сухого моря. Он выронил из рук метлу, потом поднял ее; рот его был разинут, и крохотная

капелька слюны сорвалась с губы и улетела по ветру. Его вдруг кинуло в дрожь.

— Эльма, Эльма, Эльма! — вырвалось у него.

— Вот они и пришли, — сказала Эльма.

По дну древнего моря, словно голубые призраки, голубые дымки, скользили десять—двенадцать высоких марсианских песчаных кораблей под голубыми парусами.

— Песчаные корабли! Но ведь их уже нет, Эльма, их не осталось.

— И все-таки это, похоже, их корабли, — сказала она.

— Как же так? Власти же их конфисковали! И все разломали, только несколько штук продали с аукциона! Во всей нашей округе я один купил эту посудину и знаю, как ее водить!

— Не осталось... — повторила она, кивая в сторону моря.

— Живо, нам надо убраться отсюда!

— Почему? — протяжно спросила она, замороженно глядя на марсианские корабли.

— Они убьют меня! В машину, скорей!

Эльма не двигалась с места.

Ему пришлось силой увести ее за сосисочную. Здесь стояли две машины: грузовик, на котором он постоянно разъезжал до недавнего времени, и старый марсианский песчаный корабль, который он потехи ради выторговал на аукционе. Последние три недели он возил на нем всякие грузы из-за моря, по гладкому дну. Только взглянув на грузовик, он вспомнил. Мотор лежал на земле — он уже два дня возился с его ремонтом.

— Грузовик вроде не на ходу, — заметила Эльма.

— Песчаный корабль! Садись скорей!

— Чтобы ты вез меня на этом корабле? О нет.

— Садись! Я умею!

Он втолкнул ее, вскопчил следом и дернул руль, подставляя кобальтовый парус вечернему бризу.

Под яркими звездами голубые марсианские корабли стремительно скользили по шуршащим пескам. Корабль Сэма не двигался с места, пока он не вспомнил про якорь и не рванул его.

— Есть!

И сильный ветер помчал песчаный корабль по дну мертвого моря, над поглощенными песком глыбами хрустала, мимо поваленных колонн, мимо заброшенных пристаней из мрамора и меди, мимо белых шахматных фигурок мертвых городов, мимо пурпурных предгорий и дальше, дальше... Очертания марсианских кораблей становились все меньше.

— Лихо я им нос утер! — крикнул Сэм. — А сейчас я заявлю в «Ракетную компанию», и мне дадут охрану. Скажи, что у меня не варит котелок!

— Они могли задержать тебя, если бы захотели,— устало ответила Эльма.— Просто им это не очень нужно.

Он засмеялся:

— Брось! С чего это им отпускать меня? Не догнали, вот и все!

— Не догнали? — Эльма кивком головы указала за его спину.

Сэм не обернулся. Его обдало холодом. Он боялся оглянуться. Он ощутил нечто там, на сиденье, за своей спиной, нечто эфемерное, как дыхание человека студеным утром, и голубое, словно плывущий в сумерках дым над горячими чурками гикори, нечто, подобное старинным белым кружевам и летучему снегу, напоминающее иней на хрупком камыше.

Послышался звук, будто разбилось тонкое стекло: смех. И снова молчание. Он обернулся.

На корме, близ руля, спокойно сидела молодая женщина. Кисти рук тонкие как сосульки, глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер овеивал ее, и она колыхалась, совсем как отражение на воде, и складки шелка, как струи голубого дождя, порхали вокруг ее хрупкого тела.

— Поверните назад,— сказала она.

— Нет.— Сэма трясло мелкой трусливой дрожью, он дрожал, словно шершень, висящий в воздухе, он колебался на грани между страхом и злобой.— Прочь с моего корабля!

— Это не ваш корабль,— ответило видение.— Он такой же древний, как наш мир. Он ходил по пескам еще десять тысяч лет назад, когда моря улетучились и пристани опустели, а вы, пришельцы, похитили его, забрали себе. Но поверните же и возвратитесь к перекрестку. Нам нужно поговорить с вами. Произошло нечто очень важное.

— Прочь с моего корабля! — сказал Сэм. Кожаная кобура скрипнула, когда он вытащил пистолет. Он тщательно прицелился.— Прыгай, считаю до трех...

— Не надо! — вскричала девушка.— Я вам ничего дурного не сделаю. И другие тоже. Мы пришли с миром!

— Раз,— молвил Сэм.

— Сэм,— сказала Эльма.

— Выслушайте меня,— просила девушка.

— Два,— жестко произнес Сэм, взводя курок.

— Сэм! — крикнула Эльма.

— Три,— сказал Сэм.

— Мы только...— начала девушка.

Пистолет выстрелил.

В лучах солнца тает снег, кристаллики превращаются в пар, в ничто. В пламени очага пляшут и пропадают химеры. В кратере вулкана распадается, исчезает все хрупкое и непрочное.

От выстрела, от огня, от удара девушка распалась, как легкий газовый шарф, растаяла, будто ледяная статуэтка. А все, что от нее осталось — льдинки, снежинки, дым, — унесло ветром. Кормовое сиденье опустело.

Сэм убрал пистолет в кобуру, избегая глядеть на жену.

Целую минуту слышен был лишь шелестящий бег корабля по песчаному морю, залитому лунным сиянием.

— Сэм, — сказала она наконец, — останови корабль.

Он обратил к ней бледное лицо.

— Нет, не бывать этому. После стольких лет ты меня не бросишь.

Она посмотрела на его руку, лежащую на рукоятке пистолета.

— Что ж, я верю, ты способен, — сказала она. — От тебя этого можно ждать.

Он замотал головой, сжимая пальцами руль.

— Эльма, не дури. Сейчас мы приедем в город и будем в безопасности!

— Да-да, — ответила его жена, безучастно откинувшись на спину.

— Эльма, выслушай меня.

— Тебе нечего сказать, Сэм.

— Эльма!

Они пронеслись мимо белого шахматного городка, и, одержимый бессильной яростью, Сэм выпустил одну за другой шесть пуль по хрустальным башням. Под грохот выстрелов город рассыпался ливнем старинного стекла и обломков кварца. Разбился вдребезги, растворился, будто он был вырезан из мыла. Города не стало. Сэм рассмеялся и выстрелил еще раз. Последняя башня, последняя шахматная фигурка загорелась, вспыхнула и взлетела голубыми черепками к звездам.

— Я им покажу! Я всем покажу!

— Давай, давай, Сэм, показывай. — Глухая тень скрывала ее лицо.

— А вот еще город! — Сэм снова зарядил пистолет. — Погляди, как я с ним справлюсь!

А сзади стремительно надвигались, неумолимо вырастали контуры голубых кораблей-призраков. Сначала он даже не увидел их, только услышал свист и завывающую высокую ноту, будто сталь скрипела по песку: это бритвенно-острые носы песчаных кораблей резали поверхность морского дна. На голубых кораблях под красными и голубыми вымпелами стояли синие фигуры, люди в масках, люди с серебристыми лицами, с голубыми звездами вместо глаз, с лепными ушами из золота, отливающими металлом щеками и рубиновыми губами. Они

стояли, скрестив руки на груди. Это были марсиане, и они преследовали его.

Раз, два, три... Сэм считал. Марсианские корабли подошли вплотную к нему.

— Эльма, Эльма, я не отобьюсь от всех!

Эльма не ответила, даже не пошевелилась.

Сэм выстрелил восемь раз. Один песчаный корабль развалился на части, распались паруса, изумрудный корпус, его бронзовая оковка, лунно-белый руль и остальные образы. Люди в масках, все до одного, упали с корабля, зарылись в песок, и над каждым из них вспыхнуло пламя, сначала оранжевое, потом подернутое копотью.

Но остальные корабли продолжали приближаться.

— Их слишком много, Эльма! — вскричал он. — Они меня убьют!

Он выбросил якорь. Без толку. Парус порхнул вниз, ложась в складки, вздыхая. Корабль, ветер, движение — все остановилось. Казалось, весь Марс замер, когда величественные суда марсиан, окружив Сэма, вздыбились над ним.

— Землянин! — воззвал голос откуда-то с высоты. Одна из серебристых масок шевелилась, рубиновые губы поблескивали в такт словам.

— Я ничего не сделал! — Сэм смотрел на окружавшие его лица — их было не меньше ста.

На Марсе осталось очень мало марсиан — всего не больше ста—ста пятидесяти. И почти все они были здесь, на дне мертвого моря, на своих воскрешенных кораблях, возле вымерших шахматных городов, один из которых только что рассыпался осколками, как хрупкая ваза, пораженная камнем. Сверкали серебряные маски.

— Все это недоразумение! — взмолился он, привстав над бортом; жена его по-прежнему лежала замертво, свернувшись комочком, на дне корабля. — Я прилетел на Марс как честный, предприимчивый бизнесмен, таких здесь много. Выстроил себе ларек из обломков разбившейся ракеты, ларек, сами видели, — загляденье, на самом перекрестке, вы это местечко знаете. Сработано чисто, правда ведь? — Сэм захихикал, переводя взгляд с одного лица на другое. — А тут, значит, появляется этот марсианин, я знаю — он ваш приятель. Я его нечаянно убил, уверяю вас, это несчастный случай. Мне ничего не надо, я только хотел завести сосисочную, первую, единственную на Марсе, центральную, можно сказать. Понимаете? Подавать лучшие на всей планете горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком, и апельсиновый сок.

Серебряные маски неподвижно блестели в лунном свете. Светились устремленные на Сэма желтые глаза. Желудок его сжался в комок, в камень. Он швырнул пистолет на песок.

— Сдаюсь.

— Поднимите свой пистолет, — хором сказали марсиане.

— Что?

— Ваш пистолет. — Над носом голубого корабля взлетела ажурная рука. — Возьмите его. Уберите.

Он, все еще не веря, подобрал пистолет.

— А теперь, — продолжал голос, — разверните корабль и возвращайтесь к своему ларьку.

— Сейчас же?

— Сейчас же, — сказал голос. — Мы вам ничего дурного не сделаем. Вы обратились в бегство, прежде чем мы успели вам объяснить. Следуйте за нами.

Огромные корабли развернулись легко, как лунные пушинки. Крылья-паруса тихо заплескались в воздухе, будто кто-то бил в ладони. Маски сверкали, поворачиваясь, холодным пламенем выжигали тени.

— Эльма! — Сэм неуклюже взобрался на корабль. — Поднимайся, Эльма. Мы возвращаемся. — Он был так потрясен неожиданным избавлением, что лепета его почти нельзя было понять. — Они мне ничего не сделают, не убьют меня, Эльма. Поднимайся, голубушка, вставай.

— Что... Что? — Эльма растерянно озиралась, и, пока их корабль разворачивался под ветер, она медленно, будто во сне поднялась и тяжело, словно мешок с камнями, опустилась на сиденье, не сказав больше ни слова.

Песок под кораблем убежал назад. Через полчаса они снова были у перекрестка, корабли ошвартовались, и все сошли с кораблей.

Перед Сэмом и Эльмой остановился Глава марсиан: маска вычеканена из полированной бронзы, глаза — бездонные черно-синие провалы, рот — прорезь, из которой глыбли по ветру слова.

— Снаряжайте вашу лавку, — сказал голос. В воздухе мелькнула рука в алмазной перчатке. — Готовьте яства, готовьте угощение, готовьте чужеземные вина, ибо нынешняя ночь — поистине великая ночь!

— Стало быть, — заговорил Сэм, — вы разрешите мне остаться здесь?

— Да.

— Вы на меня не сердитесь?

Маска была сурова и жестка, бесстрашна и слепа.

— Готовьте свое кормилице,— тихо сказал голос.— И возьмите вот это.

— Что это?

Сэм уставился на врученный ему свиток из тонкого серебряного листа, по поверхности которого извивались змейки иероглифов.

— Это дарственная на все земли от серебряных гор до голубых холмов, от мертвого моря до далеких долин, где лунный камень и изумруды,— сказал Глава.

— Все м-мое? — пробормотал Сэм, не веря своим ушам.

— Ваше.

— Сто тысяч квадратных миль?

— Ваши.

— Ты слышала, Эльма?

Эльма сидела на земле, прислонившись спиной к алюминиевой стене сосисочной; глаза ее были закрыты.

— Но почему, с какой стати вы мне дарите все это? — спросил Сэм, пытаясь заглянуть в металлические прорези глаз.

— Это не все. Вот.

Еще шесть свитков. Вслух перечисляются названия, обозначения других земель.

— Но это же половина Марса! Я хозяин половины Марса! — Сэм стиснул гремучие свитки, тряс ими перед Эльмой, захлебываясь безумным смехом.— Эльма, ты слышала?

— Слышала,— ответила Эльма, глядя на небо.

Казалось, она что-то разыскивает. Апатия мало-помалу оставляла ее.

— Спасибо, большое спасибо,— сказал Сэм бронзовой маске.

— Это произойдет сегодня ночью,— ответила маска.— Приготовьтесь.

— Ладно. А что это будет — неожиданность какая-нибудь? Ракеты с Земли прилетят раньше объявленного, за месяц до срока? Все десять тысяч ракет с поселенцами, с рудокопами, с рабочими и их женами, сто тысяч человек, как говорили? Вот здорово было бы, правда, Эльма? Видишь, я тебе говорил, говорил, что в этом поселке одной тысячей жителей дело не ограничится. Сюда прилетят еще пятьдесят тысяч, через месяц — еще сто тысяч, а всего к концу года — пять миллионов с Земли! И на самой оживленной магистрали, на пути к рудникам,— единственная сосисочная, моя сосисочная!

Маска парила на ветру.

— Мы покидаем вас. Приготовьтесь. Весь этот край остается вам.

В летучем лунном свете древние корабли — металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные и бесшумные кобальтовые бабочки — повернули и заскользили по зыбким пескам, и маски все лучились и сияли, пока последний отсвет, последний голубой блик не затерялся среди холмов.

— Эльма, почему они так поступили? Почему не убили меня? Неужто они ничего не знают? Что с ними стряслось? Эльма, ты что-нибудь понимаешь? — Он потряс ее за плечо. — Половина Марса — моя!

Она глядела на небо и ожидала чего-то.

— Пошли, — сказал он. — Надо все приготовить. Кипятить сосиски, подогреть булочки, перечный соус варить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в кольцах, и чтобы чистота была — ни единого пятнышка! Эге-гей! — Он отбил коленце какого-то необузданного танца, высоко вскидывая пятки. — Я счастлив, парень, счастлив, сэр, — запел он, фальшивя. — Сегодня мой счастливый день!

Он работал как одержимый: бросил в кипяток сосиски, разрезал булки вдоль, накрошил лук.

— Ты слышала, что сказал тот марсианин, — неожиданность, говорит! Тут только одно может быть, Эльма. Эти сто тысяч человек прилетают раньше срока, сегодня ночью прилетают! Представляешь, какой у нас будет наплыв! До поздней ночи будем работать, каждый день, а там ведь еще туристы нахлынут, Эльма! Деньги-то, деньги какие!

Он вышел наружу и посмотрел на небо. Ничего не увидел.

— С минуты на минуту, — произнес он, радостно вдохнув прохладный воздух, потянулся, ударил себя в грудь. — А-ах!

Эльма молчала. Она чистила картофель для жарки и не сводила глаз с неба.

Прошло полчаса.

— Сэм, — сказала она. — Вон она. Гляди.

Он поглядел и увидел: Земля.

Яркая, зеленая, будто камень лучшей огранки, над холмами взошла Земля.

— Старушка Земля! — с нежностью прошептал он. — Дорогая старушка Земля! Шли сюда, ко мне, своих голодных и изнуренных. Э-э... как там в стихе говорится? Шли ко мне своих голодных, Земля-старушка. Сэм Паркхилл тут как тут, горячие сосиски готовы, соус варится, все блестит. Давай, Земля, присылай ракеты!

Он отошел в сторонку полюбоваться своим детищем. Вот она, сосисочная, как свеженькое яичко на дне мертвого моря, единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко быющее в исполинском черном теле.

Он даже растрогался, и глаза увлажнились от гордости.

— Тут поневоле смирением проникнешься,— произнес он, выдыхая запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла.— Подходите,— обратился он к звездам,— покупайте. Кто первый?

— Сэм,— сказала Эльма.

Земля в черном небе вдруг преобразилась.

Она воспламенилась.

Часть ее диска вдруг распалась на миллионы частиц — будто рассыпалась огромная мозаика. С минуту Земля пылала жутким рваным пламенем, увеличившись в размерах раза в три, потом съежилась.

— Что это было? — Сэм глядел на зеленый огонь в небесах.

— Земля,— ответила Эльма, прижав руки к груди.

— Какая же это Земля, это не может быть Земля! Нет-нет, не Земля! Не может быть.

— Ты хочешь сказать: не могла быть? — сказала Эльма, смотря на него.— Теперь это уже не Земля, да, это больше не Земля — ты это хотел сказать?

— Не Земля, нет-нет, это была не она,— выл он.

Он стоял неподвижно, руки повисли как плети, рот открыт, тупо вытаращены глаза.

— Сэм,— позвала она. Впервые за много дней ее глаза ожили.— Сэм!

Он смотрел вверх, на небо.

— Что ж,— сказала она. С минуту молча переводила взгляд с одного предмета на другой, потом решительно перекинула через руку влажное полотенце.— Включай свет, больше света, заводи радиолу, раскрывай двери настежь! Жди новую партию посетителей — примерно через миллион лет. Да-да, сэр, чтобы все было готово.

Сэм не двигался.

— Ах, какое бесподобное место для сосисочной! — Она достала из стакана зубочистку и воткнула себе между передними зубами.— Скажу тебе по секрету, Сэм,— прошептала она, наклоняясь к нему.— Похоже, начинается мертвый сезон...

Ноябрь 2005

НАБЛЮДАТЕЛИ

В тот вечер все вышли из своих домов и уставились на небо. Бросили ужин, посуду, сборы в кино, вышли на свои теперь уже не такие новешенькие веранды и стали смотреть в упор на

зеленую звезду Земли. Это было совсем произвольно; они поступили так, пытаясь осмыслить новость, которую только что принесло радио. Вон она — Земля, где назревает война, и там сотни тысяч матерей, бабушек, отцов, братьев, тетушек, дядюшек, двоюродных сестер. Они стояли на верандах и заставляли себя поверить в существование Земли; это было почти так же трудно, как некогда поверить в существование Марса: прямо противоположная задача. В общем-то Земля была для них все равно что мертвой. Они расстались с ней три или четыре года назад. Расстояние обезболивало душу, семьдесят миллионов миль глушили чувства, усыпляли память, делали Землю безлюдной, стирали прошлое и позволяли этим людям трудиться здесь, ни о чем не думая. Но сегодня вечером умершие восстали, Земля вновь стала обитаемой, память пробудилась, и они называли множество имен. Что делает сейчас такой-то, такая-то? Как там имярек? Люди стояли на своих верандах и поглядывали друг на друга.

В девять часов Земля как будто взорвалась и вспыхнула.

Люди на верандах вскинули вверх руки, точно хотели загасить пламя.

Они ждали.

К полуночи пожар потух. Земля осталась на своем месте. И по верандам осенним ветерком пронесся вздох.

— Давненько мы ничего не слышали от Гарри.

— А что ему делается.

— Надо бы послать весточку маме.

— Она жива-здорова.

— Ты *уверен?*

— Ладно, ты только не тревожься.

— Думаешь, с ней ничего не приключилось?

— Конечно же, пошли-ка спать.

Но никто не уходил. На ночные газоны вынесли остывший ужин, накрыли складные столы, и люди вяло ковыряли пищу вилками до двух часов ночи, когда с Земли долетело послание светового радио. Словно далекие светлячки, мерцали мощные вспышки морзянки, и они читали:

АВСТРАЛИЙСКИЙ МАТЕРИК ОБРАЩЕН В ПЫЛЬ НЕПРЕДВИДЕННЫМ ВЗРЫВОМ АТОМНОГО СКЛАДА.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ЛОНДОН ПОДВЕРГНУТЫ БОМБАРДИРОВКЕ.

ВОЙНА. ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ, ДОМОЙ, ДОМОЙ.

Они поднялись из-за столов.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ, ДОМОЙ, ДОМОЙ.

— Ты в этом году получал что-нибудь от своего брата Теда?

— Будто не знаешь: послать письмо с Земли стоит пять монет. Не очень-то распишешься.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ.

— Меня что-то Джейн беспокоит — помнишь Джейн, мою младшую сестричку?

ДОМОЙ.

В три часа, когда занималось зябкое утро, владелец магазина «Дорожные товары» вскинул голову. По улице шла целая толпа людей.

— А я специально не закрывал. Что возьмете, мистер?

К рассвету все полки магазина опустели.

Декабрь 2005

БЕЗМОЛВНЫЕ ГОРОДА

На краю мертвого марсианского моря раскинулся безмолвный белый городок. Он был пуст. Ни малейшего движения на улицах. Днем и ночью в универсамах одиноко горели огни. Двери лавок открыты настежь, точно люди обратились в бегство, позабыв о ключах. На проволочных рейках у входов в немые закулочные нечитанные, порывевшие от солнца, шелестели журналы, доставленные месяц назад серебристой ракетой с Земли.

Городок был мертв. Постели в нем пусты и холодны. Единственный звук — жужжание тока в электропроводах и динамомашинах, которые все еще жили сами по себе. Вода переполняла забытые ванны, текла в жилые комнаты, на веранды, в маленькие сады, питая заброшенные цветы. В темных зрительных залах затвердела прилепленная снизу к многочисленным сиденьям жевательная резинка, еще хранящая отпечатки зубов.

За городом был космодром. Едкий паленый запах до сих пор стоял там, откуда взлетела курсом на Землю последняя ракета. Если опустить монетку в телескоп и навести его на Землю, можно, пожалуй, увидеть бушующую там большую войну. Увидеть, скажем, как взрывается Нью-Йорк. А то и рассмотреть Лондон, окутанный туманом нового рода. И может быть, тогда станет понятным, почему покинут этот марсианский городок. Быстро ли проходила эвакуация? Войдите в любой магазин, нажмите на клавиши кассы. И ящичек выскочит, сверкая и брэнча монетами. Да, должно быть, плохо дело на Земле...

По пустынным улицам городка, негромко посвистывая, сосредоточенно гоня перед собой ногами пустую банку, шел высокий худой человек. Угрюмый, спокойный взгляд его глаз отражал всю степень его одиночества. Он сунул костистые руки в карманы, где бренчали новенькие монеты. Нечаянно уронил монетку на асфальт, усмехнулся и пошел дальше, кропя улицы блестящими монетами...

Его звали Уолтер Грипп. У него был золотой прииск и уединенная лачуга далеко в голубых марсианских горах, и раз в две недели он отправлялся в город поискать себе в жены спокойную, разумную женщину. Так было не первый год, и всякий раз он возвращался в свою лачугу разочарованный и по-прежнему одинокий. А неделю назад, придя в город, застал вот такую картину!

Он был настолько ошеломлен в тот день, что заскочил в первую попавшуюся закусочную и заказал себе тройной сэндвич с мясом.

— Будет сделано! — крикнул он.

Он расставил на стойке закуски и испеченный накануне хлеб, смахнул пыль со стола, предложил самому себе сесть и ел, пока не ощутил потребность отыскать сатуратор и заказать содовой. Владелец, некто Уолтер Грипп, оказался на диво учтивым и мигом налил ему шипучий напиток!

Он набил карманы джинсов деньгами, какие только ему подворачивались. Нагрузил тележку десятидолларовыми бумажками и побежал, обуреваемый вожделениями, по городу. Уже на окраине он внезапно уразумел, до чего постыдно и глупо себя ведет. На что ему деньги? Он отвез десятидолларовые бумажки туда, где взял их, вынул из собственного бумажника один доллар, опустил его в кассу закусочной за сэндвичи и добавил четвертак на чай.

Вечером он наслаждался жаркой турецкой баней, сочным филе и изысканным грибным соусом, импортным сухим хересом и клубникой в вине. Подобрал себе новый синий фланелевый костюм и роскошную серую шляпу, которая потешно болталась на макушке его длинной головы. Он сунул монетку в автомат-радиолу, которая заиграла «Нашу старую шайку». Насовал пятак в двадцать автоматов по всему городу. Печальные звуки «Нашей старой шайки» заполнили ночь и пустынные улицы, а он шел все дальше, высокий, худой, одинокий, мягко ступая новыми ботинками, грея в карманах озябшие руки.

С тех пор прошла неделя. Он спал в отличном доме на Марсавеню, утром вставал в девять, принимал ванну и лениво брел в город позавтракать яйцами с ветчиной. Что ни утро, он за-

ряжал очередной холодильник тонной мяса, овощей, пирогов с лимонным кремом, запасая себе продукты лет на десять, пока не вернется с Земли ракеты. Если они вообще вернутся.

А сегодня вечером он слонялся взад-вперед, рассматривая восковых женщин в красочных витринах — розовых, красивых. И впервые ощутил, до чего же мертв город. Выпил кружку пива и тихонько заснул.

— Черт возьми,— сказал он.— Я же совсем *один*.

Он зашел в кинотеатр «Элит», хотел показать себе фильм, чтобы отвлечься от мыслей об одиночестве. В зале было пусто и глухо как в склепе, по огромному экрану ползли серые и черные призраки. Его бросило в дрожь, и он ринулся прочь из этого логова нечистой силы.

Решив вернуться домой, он быстро шел, почти бежал по мостовой тихого переулка, когда услышал телефонный звонок.

Он прислушался.

«Где-то звонит телефон».

Он продолжал идти вперед.

«Сейчас кто-нибудь возьмет трубку»,— лениво подумалось ему.

Он сел на край тротуара и принялся не спеша вытряхивать камешек из ботинка.

И вдруг крикнул, вскакивая на ноги:

— Кто-нибудь! Силы небесные, да что это я!

Он лихорадочно озирается. В каком доме? Вон в том!

Ринулся через газон, вверх по ступенькам, в дом, в темный холл:

Сорвал с рычага трубку.

— Алло! — крикнул он.

Зззззззззззззз.

— Алло, алло! — Уже повесили.

— Алло! — заорал он и стукнул по аппарату.— Идиот проклятый! — выругал он себя.— Рассиживал себе на тротуаре, дубина! Чертов болван, тупица! — Он стиснул руками телефонный аппарат.— Ну, позвони еще раз. *Ну же!*

До сих пор ему и в голову не приходило, что на Марсе мог остаться кто-то еще, кроме него. За всю прошедшую неделю он не видел ни одного человека. Он решил, что все остальные города так же безлюдны, как этот.

Теперь он, дрожа от волнения, глядел на несносный черный ящик. Автоматическая телефонная сеть соединяет между собой все города Марса. Их тридцать — из которого звонили? Он не знал.

Он ждал. Прошел на чужую кухню, оттаял замороженную клубнику, уныло съел ее.

— Да там никого и не было,— пробурчал он.— Наверно, ветер где-то повалил телефонный столб и нечаянно получился контакт.

Но ведь он слышал щелчок, точно кто-то на том конце повесил трубку.

Всю ночь Уолтер Грипп провел в холле.

— И вовсе не из-за телефона,— уверял он себя.— Просто мне больше нечего делать.

Он прислушался к тиканью своих часов.

— Она не позвонит больше,— сказал он.— *Ни за что* не станет снова набирать номер, который не ответил. Наверно, в эту самую минуту обзванивает другие дома в городе! А я сижу здесь... Постой! — Он усмехнулся.— Почему я говорю «она»?

Он растерянно заморгал.

— С таким же успехом это мог быть и «он», верно?

Сердце угомонилось. Холодно и пусто, очень пусто.

Ему так хотелось, чтобы это была «она».

Он вышел из дому и остановился посреди улицы, лежавшей в тусклом свете раннего утра.

Прислушался. Ни звука. Ни одной птицы. Ни одной автомашины. Только сердца стук. Толчок — перерыв — толчок. Мышцы лица свело от напряжения. А ветер, такой нежный, такой ласковый, тихонько трепал полы его пиджака.

— Тсс,— прошептал он.— *Слушай!*

Он медленно поворачивался, переводя взгляд с одного безмолвного дома на другой.

Она будет набирать номер за номером, думал он. Это должна быть женщина. Почему? Только женщина станет перебирать все номера. Мужчина не станет. Мужчина самостоятельнее. Разве я звонил кому-нибудь? Нет! Даже в голову не приходило. Это должна быть женщина. *Непреренно* должна, видит Бог!

Слушай.

Вдалеке, где-то под звездами, зазвонил телефон.

Он побежал. Остановился послушать. Тихий звон. Еще несколько шагов. Громче. Он свернул и помчался вдоль аллеи. Еще громче! Миновал шесть домов, еще шесть! Совсем громко! Вот этот? Дверь была заперта.

Внутри звонил телефон.

— А, черт! — Он дергал дверную ручку.

Телефон надрывался.

Он схватил на веранде кресло, обрушил его на окно гостиной и прыгнул в пролом.

Прежде чем он успел взяться за трубку, телефон смолк.

Он пошел из комнаты в комнату, бил зеркала, срывал портьеры, сшиб ногой кухонную плиту.

Вконец обессилев, он подобрал с пола тонкую телефонную книгу, в которой значились все абоненты на Марсе. Пятьдесят тысяч фамилий.

Начал с первой фамилии.

Амелия Амз. Нью-Чикаго, за сто миль, по ту сторону мертвого моря. Он набрал ее номер.

Нет ответа.

Второй абонент жил в Нью-Йорке, за голубыми горами, пять тысяч миль.

Нет ответа.

Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой; дрожащие пальцы с трудом удерживали трубку.

Женский голос ответил:

— Алло?

Уолтер закричал в ответ:

— Алло, Господи, алло!

— Это запись,— декламировал женский голос.— Мисс Элен Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно, будет записано на проволоку, чтобы она могла позвонить вам, когда вернется. Алло? Это запись. Мисс Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно...

Он повесил трубку.

Его губы дергались.

Подумав, он набрал номер снова.

— Когда мисс Элен Аразумян вернется домой,— сказал он,— передайте ей, чтобы катилась к черту.

Он позвонил на Центральный коммутатор Марса, на телефонные станции Нью-Бостона, Аркадии и Рузвельт-сити, рассудив, что там скорее всего можно застать людей, пытающихся куда-нибудь дозвониться, потом вызвал ратуши и другие официальные учреждения в каждом городе. Обзвонил лучшие отели. Какая женщина устоит против искушения пожить в роскоши!

Вдруг он громко хлопнул в ладоши и рассмеялся. Ну конечно же! Сверился с телефонной книгой и набрал через междугородную номер крупнейшего косметического салона в Нью-Техас-сити. Где же еще искать женщину, если не в обитом бархатом, роскошном косметическом салоне, где она может метаться от зеркала к зеркалу, лепить на лицо всякие мази, сидеть под электросушилкой!

Долгий гудок. Кто-то на том конце провода взял трубку.

Женский голос сказал:

— Алло?

— Если это запись,— отчеканил Уолтер Грипп,— я приеду и взорву к чертям ваше заведение.

— Это не запись,— ответил женский голос.— Алло! Алло, неужели тут *есть* живой человек! Где вы?

Она радостно взвизгнула.

Уолтер чуть не упал со стула.

— Алло!..— Он вскочил на ноги, сверкая глазами.— Боже мой, какое счастье, как вас звать?

— Женестьева Селзор! — Она плакала в трубку.— О Господи, я так рада, что слышу ваш голос, кто бы вы ни были!

— Я Уолтер Грипп!

— Уолтер, здравствуйте, Уолтер!

— Здравствуйте, Женестьева!

— Уолтер. Какое чудесное имя! Уолтер, Уолтер!

— Спасибо.

— Но где же вы, Уолтер?

Какой милый, ласковый, нежный голос... Он прижал трубку поплотнее к уху, чтобы она могла шептать ласковые слова. У него подкашивались ноги. Горели щеки.

— Я в Мерлин-Вилледж,— сказал он.— Я...

Зззз.

— Алло? — оторопел он.

Зззз.

Он постучал по рычагу. Ничего. Где-то ветер свалил столб. Женестьева Селзор пропала так же внезапно, как появилась. Он набрал номер, но аппарат был нем.

— Ничего, теперь я знаю, где она.

Он выбежал из дома. В лучах восходящего солнца он задним ходом вывел из чужого гаража спортивную машину, загрузил заднее сиденье взятыми в доме продуктами и со скоростью восемьдесят миль в час помчался по шоссе в Нью-Техас-сити.

«Тысяча миль,— подумал он.— Терпи, Женестьева Селзор, я не заставлю тебя долго ждать!»

Выезжая из города, он лихо сигналил на каждом углу.

На закате, после дня невысказанной гонки, он свернул к обочине, сбросил тесные ботинки, вытянулся на сиденье и надвинул свою роскошную шляпу на утомленные глаза. Его дыхание стало медленным, ровным. В сумраке над ним летел ветер, ласково сияли звезды. Кругом высились древние-древние марсианские горы. Свет звезд мерцал на шпилях марсианского городка, который шахматными фигурками прилепился к голубым склонам.

Он лежал, витая где-то между сном и явью. Он шептал: «Женестьева». Потом тихо запел: «О Женестьева, дорогая,— пускай бежит за годом год. Но, дорогая Женестьева...» На душе

было тепло. В ушах звучал ее тихий, нежный, ровный голос: «Алло, о, алло, Уолтер? Это не запись. Где ты, Уолтер, где ты?»

Он вздохнул, протянул руку навстречу лунному свету — прикоснуться к ней. Ветер развевал длинные черные волосы, чудные волосы. А губы — как красные мятные лепешки. И щеки, как только что срезанные влажные розы. И тело, будто легкий светлый туман, а мягкий, ровный, нежный голос напевает ему слова старинной печальной песенки:

«О Женестьева, дорогая, — пускай бежит за годом год...»

Он уснул.

Он добрался до Нью-Техас-сити в полночь.

Остановил машину перед косметическим салоном «Делюкс» и лихо гикнул.

Вот сейчас она выбежит в облаке духов, вся лучась смехом.

Ничего подобного не произошло.

— Уснула. — Он пошел к двери. — Я уже тут! — крикнул он. — Алло, Женестьева!

Безмолвный город был озарен двоящимся светом лун. Где-то ветер хлопал брезентовым навесом.

Он распахнул стеклянную дверь и вошел.

— Эгей! — Он смущенно рассмеялся. — Не прячься! Я знаю, что ты здесь!

Он обыскал все кабинки.

Нашел на полу крохотный платок. Запах был такой дивный, что его зашатало.

— Женестьева... — произнес он.

Он погнал машину по пустым улицам, но никого не увидел.

— Если ты вздумала подшутить...

Он сбавил ход.

— Постой-ка, нас же разъединили. Может, она поехала в Мерлин-Вилледж, пока я ехал сюда?! Свернула, наверно, на древнюю Морскую дорогу, и мы разминулись днем. Откуда ей было знать, что я приеду сюда? Я же ей *не сказал*. Когда телефон замолчал, она так перепугалась, что бросилась в Мерлин-Вилледж искать меня! А я здесь торчу, силы небесные, какой же я идиот!

Он нажал клаксон и пулей вылетел из города.

Он гнал всю ночь. И думал: «Что, если я не застаю ее в Мерлин-Вилледж?»

Вон из головы эту мысль! Она *должна* быть там. Он подбежит к ней и обнимет ее, может быть, даже поцелует — один раз — в губы.

«Женевьева, дорогая», — насвистывал он, выжимая педалью сто миль в час.

В Мерлин-Вилледж было по-утреннему тихо. В магазинах еще горели желтые огни; автомат, который играл сто часов без перерыва, наконец щелкнул электрическим контактом и смолк; безмолвие стало полным. Солнце начало согревать улицы и холодное безучастное небо.

Уолтер свернул на Мейн-стрит, не выключая фар, усиленно гудя клаксоном, по шесть раз на каждом углу. Глаза впивались в вывески магазинов. Лицо было бледное, усталое, руки скользили по мокрой от пота баранке.

— Женевьева! — зывал он к пустынной улице.

Отворилась дверь косметического салона.

— Женевьева! — Он остановил машину и побежал через улицу.

Женевьева Селзор стояла в дверях салона. В руках у нее была раскрытая коробка шоколадных конфет. Коробку стискивали пухлые белые пальцы. Лицо — он увидел его, войдя в полосу света, — было круглое и толстое, глаза — два огромных яйца, воткнутых в бесформенный ком теста. Ноги — толстые как колоды, походка тяжелая, шаркающая. Волосы — неопределенного бурого оттенка, тщательно уложенные в виде птичьего гнезда. Губ не было вовсе, их заменял нарисованный через трафарет жирный красный рот, который то восхищенно раскрывался, то испуганно захлопывался. Брови она выщипала, оставив две тонкие ниточки.

Уолтер замер. Улыбка сошла с его лица. Он стоял и глядел. Она уронила конфеты на тротуар.

— Вы Женевьева Селзор? — У него звенело в ушах.

— Вы Уолтер Грифф? — спросила она.

— Грипп.

— Грипп, — поправилась она.

— Здравствуйте, — выдавил он из себя.

— Здравствуйте. — Она пожала его руку.

Ее пальцы были липкими от шоколада.

— Ну, — сказал Уолтер Грипп.

— Что? — спросила Женевьева Селзор.

— Я только сказал «ну», — объяснил Уолтер.

— А-а.

Девять часов вечера. Днем они ездили за город, а на ужин он приготовил филе-миньон, но Женевьева нашла, что оно недожарено, тогда Уолтер решил дожарить его и то ли пережарил, то ли пережег, то ли еще что. Он рассмеялся и сказал:

— Пошли в кино!

Она сказала «ладно» и взяла его под руку липкими шоколадными пальцами. Но ее запросы ограничились фильмом полувековой давности с Кларком Гейблом.

— Вот ведь умора, да? — хихикала она. — Ох, *умора!*

Фильм кончился.

— Крути еще раз! — велела она.

— Снова? — спросил он.

— Снова, — ответила она.

Когда он вернулся, она прижалась к нему и облапила его.

— Ты не совсем то, что я ожидала, но все же ничего, — призналась она.

— Спасибо, — сказал он, чуть не подавившись.

— Ах, этот Гейбл! — Она ушипнула его за ногу.

— Ой! — сказал он.

После кино они пошли по безмолвным улицам «за покупками». Она разбила витрину и напялила самое яркое платье, какое только смогла найти. Потом опрокинула на голову флакон духов и стала похожа на мокрую овчарку.

— Сколько тебе лет? — поинтересовался он.

— Угадай. — Она вела его по улице, капая на асфальт духами.

— Около тридцати? — сказал он.

— Вот еще, — сухо ответила она. — Мне всего двадцать семь, чтоб ты знал! Ой, вот еще кондитерская! Честное слово, с тех пор как началась эта заваруха, я живу как миллионерша. Никогда не любила свою родню, так, болваны какие-то. Улетели на Землю два месяца назад. Я тоже должна была улететь с последней ракетой, но осталась. Знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что все меня дразнили. Вот я и осталась здесь — лей на себя духи, сколько хочешь, пей пиво, сколько влезет, ешь конфеты, и некому тебе твердить: «Слишком много калорий!» Потому я *тут!*

— Ты тут. — Уолтер зажмурился.

— Уже поздно, — сказала она, поглядывая на него.

— Да.

— Я устала, — сказала она.

— Странно. У меня ни в одном глазу.

— О, — сказала она.

— Могу всю ночь не ложиться, — продолжал он. — Знаешь, в баре Майка есть хорошая пластинка. Пошли, я тебе ее заведу.

— Я устала. — Она стрельнула в него хитрыми блестящими глазами.

— А я — как огурчик, — ответил он. — Просто удивительно.

— Пойдем в косметический салон, — сказала она. — Я тебе кое-что покажу.

Она втащила его в стеклянную дверь и подвела к огромной белой коробке.

— Когда я уезжала из Техас-сити, — объяснила она, — захватила с собой вот это. — Она развязала розовую ленточку. — Подумала: ведь я единственная дама на Марсе, а он единственный мужчина, так что...

Она подняла крышку и откинула хрусткие слои шелестящей розовой гофрированной бумаги. Она погладила содержимое коробки.

— Вот.

Уолтер Грипп вытаращил глаза.

— Что это? — спросил он, преодолевая дрожь.

— Будто не знаешь, дурачок? Гляди-ка, сплошь кружева, и все такое белое, шикарное...

— Ей-богу, не знаю, что это.

— Свадебное платье, глупенький!

— Свадебное? — Он охрип.

Он закрыл глаза. Ее голос звучал все так же мягко, спокойно, нежно, как тогда в телефонс. Но если открыть глаза и посмотреть на нее...

Он попятился.

— Очень красиво, — сказал он.

— Правда?

— Женестьева. — Он покосился на дверь.

— Да?

— Женестьева, мне нужно тебе кое-что сказать.

— Да?

Она подалась к нему, ее круглое белое лицо приторно благоухало духами.

— Хочу сказать тебе... — продолжал он.

— Ну?

— До свидания!

Прежде чем она успела вскрикнуть, он уже выскочил из салона и вскочил в машину.

Она выбежала и застыла на краю тротуара, глядя, как он разворачивает машину.

— Уолтер Грифф, вернись! — прорыдала она, вскинув руки.

— Грипп, — поправил он.

— Грипп! — крикнула она.

Машина умчалась по безмолвной улице, невзирая на ее топот и вопли. Струя выхлопа колыхнула белое платье, которое она мяла в своих пухлых руках, а в небе сияли яркие звезды, и машина канула в пустыню, утонула во мраке.

Он гнал день и ночь, трое суток подряд. Один раз ему показалось, что сзади едет машина, его бросило в дрожь, прошиб пот, и он свернул на другое шоссе, пересекающее пустынные марсианские просторы, бегущее мимо безлюдных городков. Он гнал и гнал — целую неделю и еще один день, пока не оказался за десять тысяч миль от Мерлин-Вилледж. Тогда он заехал в поселок под названием Холтвиль-Спрингс, с маленькими лавками, где он мог вечером зажигать свет в витринах, и с ресторанами, где мог посидеть, заказывая блюда. С тех пор он так и живет там; у него две морозильные камеры, набитые продуктами лет на сто, запас сигарет на десять тысяч дней и отличная кровать с мягким матрасом.

Текут долгие годы, и если в кои-то веки у него зазвонит телефон — он не отвечает.

Апрель 2026

ДОЛГИЕ ГОДЫ

Так уж повелось: когда с неба налетал ветер, он и его небольшая семья отсиживались в своей каменной лачуге и грели руки над пылающими дровами. Ветер вспахивал гладь каналов, чуть не срывал звезды с неба, а мистер Хетэуэй сидел, наслаждаясь уютом, и говорил что-то жене, и жена отвечала ему, и он рассказывал о былых временах на Земле двум дочерям и сыну, и они вставляли слово к месту.

Шел двадцатый год после Большой Войны. Марс представлял собой огромный могильник. А Земля? Что с ней? В долгие марсианские ночи Хетэуэй и его семья часто размышляли об этом.

В эту ночь неистовая марсианская пылевая буря пронеслась над приземистыми могилами марсианских кладбищ, завывая на улицах древних городов и снося совсем еще новые пластиковые стены уходящего в песок, заброшенного американского города.

Но вот буря утихла, прояснилось, и Хетэуэй вышел посмотреть на Землю — зеленый огонек в ветреных небесах. Он поднял руку вверх, точно хотел получше вернуть тускло горящую лампочку под потолком сумрачной комнаты. Поглядел вдаль,

над дном мертвого моря. «На всей планете ни души,— подумал он.— Один я. И они». Он оглянулся на дверь каменной лачуги.

Что сейчас происходит на Земле? Сколько он ни смотрел в свой тридцатидюймовый телескоп, до сих пор никаких изменений не заметил. «Что ж, если я буду беречь себя,— подумал он,— еще лет двадцать проживу». Глядишь, кто-нибудь явится. Либо из-за мертвых морей, либо из космоса на ракете, привязанной к ниточке красного пламени.

— Я пойду погуляю,— крикнул он в дверь.

— Хорошо,— отозвалась жена.

Он не спеша пошел вниз между рядами развалин.

— «Сделано в Нью-Йорке»,— прочитал он на куске металла.— Древние марсианские города намного переживут все эти предметы с Земли...

И посмотрел туда, где между голубых гор вот уже пятьдесят веков стояло марсианское селение.

Он пришел на уединенное марсианское кладбище: небольшие каменные шестигранники выстроились в ряд на бугре, овеваемом пустынными ветрами.

Склонив голову, он смотрел на четыре могилы, четыре грубых деревянных креста, и на каждом имя. Слез не было в его глазах. Слезы давно высохли.

— Ты простишь меня за то, что я сделал? — спросил он один из крестов.— Я был очень, очень одинок. Ведь ты понимаешь?

Он возвратился к каменной лачуге и перед тем, как войти, снова внимательно оглядел небо из-под ладони.

— Все ждешь, и ждешь, и смотришь,— пробормотал он,— и, может быть, однажды ночью...

В небе горел красный огонек.

Он шагнул в сторону, чтобы не мешал свет из двери.

— Смотришь еще раз...— прошептал он.

Красный огонек горел в том же месте.

— Вчера вечером его не было,— прошептал он.

Споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал за лачугу, развернул телескоп и навел его на небо.

Через минуту — после долгого, испуленного взгляда на небо — он появился в низкой двери своего дома. Жена, обе дочери и сын повернулись к нему. Он не сразу смог заговорить.

— У меня хорошие новости,— сказал он.— Я смотрел на небо. Сюда летит ракета, она заберет нас всех домой. Рано утром будет здесь.

Он положил руки на стол, опустил голову на ладони и тихо заплакал.

В три часа утра он сжег все, что осталось от Нью-Нью-Йорка.

Взял факел, пошел в этот город из пластика и стал трогать пламенем стены повсюду, где проходил. Город расцвел могучими вихрями света и жара. Он превратился в костер размером в квадратную милю — такой можно заметить из космоса. Этот маяк приведет ракету к мистеру Хетзуэю и его семье.

Он вернулся в дом; сердце билось болезненно и часто.

— Видите? — Он держал в поднятой руке запыленную бутылку. — Я приберег вино специально для этой ночи. Я знал, что придет срок и кто-нибудь найдет нас! Выпьем же и порадуемся!

Он наполнил пять бокалов.

— Да, немало времени прошло... — заговорил он опять, сосредоточенно глядя в свой бокал. — Помните день, когда разразилась война? Двадцать лет и семь месяцев назад. Все ракеты вызвали с Марса домой. А ты, я и дети — мы были в это время в горах, занимались археологией, изучали древнюю хирургию марсиан. Помнишь, как мы чуть до смерти не загнали наших коней? И все равно опоздали на целую неделю. Город был уже покинут. Америка была разрушена, и все до одной ракеты ушли, не дожидаясь отставших, — помнишь, помнишь? А потом оказалось, что отстали-то *только мы*, помнишь? Боже мой, сколько лет минуло! Без вас я бы не выдержал. Без вас я бы покончил с собой. С вами ожидание было не таким тяжким. Выпьем же за нас! — Он поднял бокал. — И за наше долгое совместное ожидание.

Он выпил вино.

Жена, обе дочери и сын поднесли к губам свои бокалы. И у всех четверых вино побежало струйками по подбородкам.

К рассвету все, что осталось от города, ветер разметал по морскому дну большими, мягкими, черными хлопьями. Пожар унялся, но цель была достигнута: красное пятнышко на небе стало расти.

Из каменной лачуги струился вкусный запах поджаристого имбирного пряника. Когда Хетзуэй вошел, его жена ставила на стол горячие противни со свежим хлебом. Дочери прилежно мели голый каменный пол жесткими вениками, а сын чистил столовое серебро.

— Мы приготовим им роскошный завтрак. — Хетзуэй радостно рассмеялся. — Надевайте свои лучшие наряды!

Он торопливо прошел через свой участок к огромному металлическому сараю. Здесь стояли холодильная установка и небольшая электростанция, которые он за эти годы починил и наладил своими искусными, тонкими, нервными пальцами так же умело, как чинил часы, телефоны, магнитофоны в часы своего досуга. В сарае скопилось множество созданных

им вещей, в том числе и совершенно непонятных механизмов, назначение которых он теперь сам не мог разгадать.

Он извлек из морозильника седые от инея коробки с бобами и клубникой двадцатилетней давности. «Вылезай, несчастный!» — и достал холодного цыпленка.

Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами.

Словно мальчишка, Хетэуэй побежал вниз по склону. Внезапная острая боль в груди заставила его остановиться. Он сидел на камне, отдышался и побежал дальше, уже без передышки.

Он остановился в жарком мареве, источаемом раскаленной ракетой. Открылся люк. Оттуда выглянул человек.

Хетэуэй долго смотрел из-под ладони, наконец сказал:

— Капитан Уайлдер!

— Кто это? — спросил капитан Уайлдер. Он спрыгнул вниз и замер, глядя на старика. Потом протянул руку. — Господи, да это же Хетэуэй!

— Совершенно верно, это я.

— Хетэуэй из моего первого экипажа, из Четвертой экспедиции.

Они внимательно оглядели друг друга.

— Давненько мы расстались, капитан.

— Очень давно. Я рад вас видеть.

— Я постарел, — сказал Хетэуэй без обиняков.

— Я и сам уже не молод. Двадцать лет мотался: Юпитер, Сатурн, Нептун.

— Как же, слышал я, вас повысили, так сказать, чтобы вы не мешали колонизации Марса. — Старик огляделся. — Вы столько путешествовали, наверно, не знаете даже, что произошло...

— Догадываюсь, — ответил Уайлдер. — Мы дважды обошли вокруг Марса. Кроме вас нашли еще только одного человека по имени Уолтер Грипп, в десяти тысячах милях отсюда. Хотели захватить его с собой, но он отказался. Когда мы улета-ли, он сидел на качалке посреди шоссе, курил трубку и махал нам вслед. Марс вымер, начисто вымер, даже марсиан не осталось. А как Земля?

— Я знаю не больше вас. Изредка удается поймать земное радио, еле-еле слышно. Но всякий раз на каком-нибудь чужом языке. А я из иностранных языков знаю, увы, один латинский. Отдельные слова удается разобрать. Судя по всему, на большей части Земли все перебиты, а война все идет. Вы летите туда, командир?

— Да. Сами понимаете, хочется своими глазами убедиться. У нас ведь не было радиосвязи, слишком большое расстояние. Что бы там ни было, мы летим на Землю.

— Вы возьмете нас с собой?

Капитан на миг опешил.

— Ах да, разумеется, у вас тут жена, помню, помню. Мы виделись, кажется, двадцать пять лет назад, верно? Когда построили Первый Город, вы оставили службу и забрали ее с Земли. У вас были и дети...

— Сын, две дочери...

— Да-да, припоминаю. Они здесь?

— В нашей лачуге, вон там, на горке. Мы приготовили вам всем отличный завтрак. Придете?

— Сочтем за честь, мистер Хетэуэй.— Капитан Уайлдер повернулся к ракете.— Оставить корабль!

Они шли вверх по откосу — Хетэуэй и капитан Уайлдер, за ними еще двадцать человек, экипаж корабля, глубоко вдыхая прохладный разреженный утренний воздух. Показалось солнце, день выдался ясный.

— Помните Спендера, капитан?

— Никогда не забывал...

— Раз в год мне случается проходить мимо его могилы. А ведь в конечном счете вышло вроде, как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверно, счастлив, что все отсюда убрались.

— А этот... как его? Паркхилл, Сэм Паркхилл, что с ним стало?

— Открыл сосисочную.

— *Похоже* на него.

— А через неделю — война, и он вернулся на Землю.— Хетэуэй вдруг сел на камень, схватившись за сердце.— Простите. Переволновался. После стольких лет — и вдруг встреча с вами. Отдохну немного.

Он чувствовал, как колотится сердце. Проверил пульс. Скверно...

— У нас есть врач,— сказал Уайлдер.— Не обижайтесь, Хетэуэй, я знаю, вы сами врач, но все-таки посоветуемся с нашим...

Позвали доктора.

— Сейчас пройдет,— твердил Хетэуэй.— Это все ожидание, волнение.

Он задышался. Губы посинели.

— Понимаете,— сказал он, когда врач приставил к его груди стетоскоп,— ведь я все эти годы жил как будто ради сегодняш-

него дня. А теперь, когда вы здесь, прилетели забрать меня на Землю, мне вроде ничего больше не надо, и я могу лечь и отдать концы.

— Вот.— Доктор подал ему желтую таблетку.— Вам бы лучше тут отдохнуть подольше.

— Ерунда. Еще чуточку посижу, и все. До чего я рад видеть вас всех! Рад слышать новые голоса.

— Таблетка действует?

— Отлично. Пошли!

Они поднялись на горку.

— Алиса, погляди, кого я привел! — Хетэуэй нахмурился и просунул голову в дверь.— Алиса, ты слышишь?

Появилась его жена. Следом вышли обе дочери, высокие, стройные, за ними еще более рослый сын.

— Алиса, помнишь капитана Уайлдера?

Она замялась, посмотрела на Хетэуэя, точно ожидая указаний, потом улыбнулась.

— Ну конечно, капитан Уайлдер!

— Помнится, миссис Хетэуэй, мы вместе с вами обедали накануне моего вылета на Юпитер.

Она горячо пожала его руку.

— Мои дочери, Маргарет и Сьюзен. Мой сын Джон. Дети, вы, конечно, помните капитана?

Рукопожатия, смех, оживленная речь. Капитан Уайлдер потянул носом.

— Неужели *имбирные пряники*?

— Хотите?

Все пришли в движение. Мигом были установлены складные столы, извлечены из печей горячие блюда, появились тарелки, столовое серебро, камчатные салфетки. Капитан Уайлдер долго глядел на миссис Хетэуэй, потом перевел взгляд на ее сына и бесшумно двигающихся высоких дочерей. Рассматривал мелькающие лица, ловил каждое движение молодых рук, каждое выражение гладких, без единой морщинки лиц. Он сел на стул, который принес сын миссис Хетэуэй.

— Сколько вам лет, Джон?

— Двадцать три,— ответил тот.

Уайлдер растерянно вертел в руках вилку и нож. Он вдруг побледнел. Сидевший рядом космонавт шепнул ему:

— Капитан Уайлдер, тут что-то не так.

Сын пошел за стульями.

— Что вы хотите сказать, Уильямсон?

— Мне сорок три года, капитан. Двадцать лет назад я учился вместе с молодым Хетэуэем. Он говорит, что ему теперь всего двадцать три, но это одна *видимость*. Это все неправильно.

Ему должно быть сорок два, самое малое. Что все это значит, сэр?

— Не знаю.

— На вас лица нет, сэр.

— Мне нездоровится. И дочери тоже — я их видел лет двадцать назад: а они не изменились, ни одной морщинки. Можно попросить вас об одолжении, Уильямсон? Я хочу дать вам одно поручение. Объясню, куда пойти и что проверить. К концу завтрака незаметно скройтесь. Вам всего десять минут понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракеты, когда мы садились.

— Прошу! О чем это вы так серьезно разговариваете? — Миссис Хэтэуэй проворно налила супу в их миски. — Улыбнитесь же! Мы все вместе опять, путешествие завершено, вы почти дома!

— Да-да, конечно. — Капитан Уайлдер засмеялся. — Вы так чудесно, молодо выглядите, миссис Хэтэуэй!

— Ах, эти мужчины!

Он смотрел, как она плавной походкой двинулась дальше, внимательно смотрел на ее разругавшееся лицо, гладкое и свежее, точно наливное яблоко. Она звонко смеялась шуткам, усердно подкладывала салат на тарелки, не давая себе передышки. Долговязый сын и стройные дочери состязались с отцом в блестящем остроумии, рассказывая про долгие годы своей уединенной жизни, и гордый отец кивал, слушая речь детей.

Уильямсон сбежал вниз по склону.

— Куда это он? — спросил Хэтэуэй.

— Проверить ракету, — ответил Уайлдер. — Так вот, Хэтэуэй, на Юпитере ничего нет, человеку там делать нечего. На Сатурне и Плуtone — тоже...

Уайлдер говорил машинально, не слушая собственного голоса; он думал только об одном: сейчас Уильямсон бежит вниз, скоро он вернется, поднимется на горку и принесет ответ...

— Спасибо.

Маргарет Хэтэуэй налила ему воды в стакан. Движимый внезапным побуждением, капитан коснулся ее плеча. Она отнеслась к этому совершенно спокойно. У нее было теплое, нежное тело.

Сидевший против капитана Хэтэуэй то и дело замолкал и с искаженным болью лицом касался пальцами груди, затем вновь продолжал слушать негромкий разговор и случайные звонкие возгласы, поминутно бросая озабоченные взгляды на Уайлдера, который жевал свой пряник без видимого удовольствия.

Вернулся Уильямсон. Он молча ковырял вилкой еду, пока капитан не шепнул через плечо:

— Ну?

— Я нашел это место, сэр.

— Ну, ну?

Уильямсон был бледен как полотно. Он не сводил глаз с веселой компании. Дочери сдержанно улыбались, сын рассказывал какой-то анекдот.

Уильямсон сказал:

— Я прошел на кладбище.

— Видели четыре креста?

— Видел четыре креста, сэр. И имена сохранились. Я записал их, чтобы не ошибиться.— Он стал читать по белой бумажке.— Алиса, Маргарет, Сьюзен и Джон Хетзуэи. Умерли от неизвестного вируса. Июль две тысячи седьмого года.

— Спасибо, Уильямсон.— Уайлдер закрыл глаза.

— Девятнадцать лет назад, сэр.— Рука Уильямсона дрожала.

— Да.

— Но кто же *эти*?

— Не знаю.

— Что вы собираетесь предпринять?

— Тоже не знаю.

— Расскажем остальным?

— Попозже. Продолжайте есть как ни в чем не бывало.

— Мне что-то больше не хочется, сэр.

Завтрак завершало вино, принесенное с ракеты. Хетзуэй встал.

— За ваше здоровье! Я так рад снова быть вместе с друзьями! И еще за мою жену и детей — без них, в одиночестве, я бы не выжил здесь. Только благодаря их добрым заботам я находил в себе силы жить и ждать вашего прилета.

Он повернулся, держа бокал, в сторону своих домочадцев; они ответили ему смущенными взглядами, а когда все стали пить, и совсем опустили глаза.

Хетзуэй выпил до дна. Не успев даже крикнуть, он упал ничком на стол и сполз на землю. Несколько человек подбежали и положили его поудобнее. Врач наклонился, послушал сердце. Уайлдер тронул врача за плечо. Тот поднял на него взгляд и покачал головой. Уайлдер опустился на колени и взял руку старика.

— Уайлдер? — голос у Хетзуэя был едва слышен.— Я испортил вам завтрак.

— Чепуха.

— Попрошайтесь за меня с Алисой и детьми.

— Сейчас я их позову.

— Нет-нет, не надо! — задыхаясь, прошептал Хетэуэй.— Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали! Не надо!

Уайлдер повиновался.

Хетэуэй умер.

Уайлдер долго не отходил от него. Наконец поднялся и пошел прочь от потрясенных людей, окруживших Хетэуэя. Он подошел к Алисе Хетэуэй, глянул ей в лицо и сказал:

— Вы знаете, что случилось?

— Что-нибудь с моим мужем?

— Он только что скончался: сердце.— Уайлдер следил за выражением ее лица.

— Очень жаль,— сказала она.

— Вам не больно? — спросил он.

— Он не хотел, чтобы мы огорчались. Он предупредил нас, что это когда-нибудь произойдет, и велел нам не плакать. Знаете, он даже не научил нас плакать, не хотел, чтобы мы умели. Говорил, что хуже всего для человека познать одиночество, познать тоску и плакать. Поэтому мы не должны знать, что такое слезы и печаль.

Уайлдер поглядел на ее руки, мягкие, теплые руки, на красивые маникюренные ногти, тонкие запястья.

Посмотрел на ее длинную, нежную, белую шею и умные глаза. Наконец сказал:

— Мистер Хетэуэй великолепно сделал вас и детей.

— Ваши слова обрадовали бы его. Он очень гордился нами. А потом даже забыл, что сам нас сделал. Полюбил нас, принимал за настоящих жену и детей. В известном смысле так оно и есть.

— С вами ему было легче.

— Да, из года в год мы все сидели и разговаривали. Он любил разговаривать. Любил нашу каменную лачугу и камин. Можно было поселиться в настоящем доме в городе, но ему больше нравилось здесь, где он мог по своему выбору жить то примитивно, то на современный лад. Он рассказывал мне про свою лабораторию и про всякие вещи, что он там делал. Весь этот заброшенный американский город внизу он оплел громкоговорителями. Нажмет кнопку — всюду загораются огни и город начинает шуметь, точно в нем десять тысяч людей. Слышится гул самолетов, автомашин, людской говор. Он, бывало, сидит, курит сигару и разговаривает с нами, а снизу доносится шум города. Иногда звонит телефон, и записанный на пленку голос спрашивает у мистера Хетэуэя совета по разным научным и хирургическим вопросам, и он отвечает. Телефонные звонки, и мы тут, и городской шум, и сигара — и мистер Хетэуэй был вполне счастлив. Только одного он не

сумел сделать — чтобы мы старились. Сам старился с каждым днем, а мы оставались все такими же. Но мне кажется, это его не очень-то беспокоило. Полагаю даже, он сам того хотел.

— Мы похороним его внизу, на кладбище, где стоят четыре креста. Думаю, это отвечает его желанию.

Она легко коснулась рукой его запястья:

— Я уверена в этом.

Капитан распорядился. Маленькая процессия тронулась к подножию холма; семья следовала за ней. Двое несли Хетэуэя на накрытых носилках. Они прошли мимо каменной лачуги, потом мимо сарая, где Хетэуэй много лет назад начал свою работу. Уайлдер помешкал возле двери этой мастерской.

«Каково это, — спрашивал он себя, — жить на планете с женой и тремя детьми — и вдруг они умирают, оставляя тебя наедине с ветром и безмолвием? Как поступит в таком положении человек? Он похоронит умерших на кладбище, поставит кресты, потом придет в мастерскую и, призвав на помощь силу ума и памяти, сноровку рук и изобретательность, соберет, частица за частицей, то, что стало затем его женой, сыном, дочерьми. Когда под горой есть американский город, где можно найти все необходимое, незаурядный человек, пожалуй, может создать все что угодно».

Звук их шагов потонул в песке. На кладбище, когда они пришли, два человека уже копали могилу.

Они вернулись к ракете под вечер.

Уильямсон кивком указал на каменную лачугу.

— Что будем делать с ними?

— Не знаю, — сказал капитан.

— Может, вы их выключите?

— Выключить? — Капитан несколько удивился. — Мне это не приходило в голову.

— Но вы же не повезете их с собой?

— Нет, это ни к чему.

— Неужели вы хотите оставить их здесь, вот *таких*, какие они есть?

Капитан протянул Уильямсону пистолет.

— Если вы можете что-нибудь сделать, вы сильнее меня.

Пять минут спустя Уильямсон вернулся от лачуги, весь в испарине.

— Вот, возьмите свой пистолет. Теперь я вас понимаю. Я вошел к ним с пистолетом в руке. Одна из дочерей улыбнулась мне. И остальные. Жена предложила мне чашку чая. Боже мой, это было бы просто убийство!

Уайлдер кивнул.

— Такого совершенства человек больше никогда не создаст. Они созданы для долголетия — десять, пятьдесят, двести лет. Так-то... У них ничуть не меньше прав на... на жизнь, чем у вас, меня, любого из нас.— Он выбил пепел из трубки.— Ладно, поднимайтесь на борт. Полетим дальше. Этот город все равно погиб, нам он не годится.

День угасал. Подул холодный ветер. Весь экипаж уже был на борту. Капитан медлил. Уильямсон спросил:

— Уж не собираетесь ли вы сходить э-э... попрощаться с ними?

Капитан холодно посмотрел на Уильямсона.

— Не ваше дело.

Уайлдер зашагал в гору, навстречу сумрачному ветру. Космонавты увидели, как его силуэт замер в дверях лачуги. Они увидели силуэт женщины. Они увидели, как их командир пожал ей руку.

Спустя минуту он бегом вернулся к ракете.

По ночам, когда ветер свистит над ложем мертвого моря, над шестигранниками на кладбище, над четырьмя старыми крестами и одним новым, по ночам в низкой каменной лачуге горит свет; ревет ветер, вихрится пыль, сверкают холодные звезды, а в той лачуге четыре фигуры — женщина, две дочери и сын — не дадут погаснуть огню в камине, сами не зная зачем, и разговаривают, и смеются.

Из года в год, из года в год, каждую ночь, сама не зная зачем, женщина выходит из лачуги и, вскинув руки, долго смотрит на небо, на зеленое пламя Земли, не понимая, зачем она это делает; потом возвращается в дом и подкидывает щепку в огонь, а ветер крепчает, и мертвое море продолжает оставаться мертвым.

Август 2026

БУДЕТ ЛАСКОВЫЙ ДОЖДЬ

В гостиной говорящие часы настойчиво пели: *тик-так, семь часов, семь утра, вставать пора!* — словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту: *девять минут восьмого, к завтраку все готово, девять минут восьмого!*

На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева восемь безупречно поджаренных тостов, четыре гла-

зуньи, шестнадцать ломтиков бекона, две чашки кофе и два стакана холодного молока.

— Сегодня в городе Эллендейле, штат Калифорния, четвертое августа две тысячи двадцать шестого года,— произнес другой голос, с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили.— Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна. Годовщина свадьбы Тилиты. Подошел срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет.

Где-то в стенах шелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты-памятки.

Восемь одна, тик-так, восемь одна, в школу пора, на работу пора, живо, живо, восемь одна! Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступи резиновых каблучков по коврам.

На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела: «Дождик, дождик целый день, плащ, галоши ты надень...» Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома.

Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашинка... Минута, другая — дверь опустилась на место.

В восемь тридцать яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину, оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском.

Девять пятнадцать,— пропели часы,— *пора уборкой заняться.*

Из нор в стене выпали крохотные роботы-мышь. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стучались о кресла, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища. Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист.

Десять часов. Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видимое на много миль вокруг.

Десять пятнадцать. Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот, точно на фотографии,

женщина нагнулась за цветком. Дальше — еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение... Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного мяча; напротив мальчишки — девочка, ее руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился.

Только пять пятен краски — мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля.

Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света...

Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня! Как бдительно он спрашивал: «Кто там? Пароль?» И, не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы с одержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, — если у механизмов может быть паранойя.

Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора и перепуганная птица летела прочь. Никто — даже воробей — не смел прикасаться к дому!

Дом был алтарем с десятью тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких, они служили, и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку.

Двенадцать.

У парадного крыльца заскулил продрогший пес.

Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа да кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши — сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать!

Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным Ваалом притаился в темном углу.

Пес побежал вверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял — как это уже давно понял дом, — что никого нет, есть только мертвая тишина.

Он принялся и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там, за дверью, плита пекла блины, от которых по всему дому шли сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки.

Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено закрутился и сдох. Почти час пролежал он в гостиной.

Два часа, — пропел голос.

Учуяв наконец едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером.

Два пятнадцать.

Пес исчез.

Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр.

Два тридцать пять.

Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка.

Но столы хранили молчание, и никто не брал карт.

В четыре часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены.

Половина пятого.

Стены детской комнаты засветились. На них возникли животные: желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей розовой ткани! Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел, — ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам.

Время детской передачи.

Пять часов. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой.

Шесть, семь, восемь часов. Блюда с обедом пределали удивительные фокусы, потом что-то шелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла.

Десять часов. Невидимые провода согрели простыни — здесь было холодно по ночам.

Десять ноль пять. В кабинете с потолка донесся голос:

— Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?

Дом молчал.

Наконец голос сказал:

— Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь наудачу.

Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент.

— Сара Тисдейл. Ваше любимое, если не ошибаюсь...

Будет ласковый дождь, будет запах земли,

Щебет юрких стрижей от зари до зари,

И ночные рулады лягушек в прудах.

И цветение слив в белопенных садах.

Огнегрудый комочек слетит на забор,

И малиновки трель выткет звонкий узор,

И никто, и никто не вспомнит войну:

Пережито-забыто, ворошить ни к чему.

И ни птица, ни ива слезы не прольет,

Если сгинет с Земли человеческий род.

И весна... и весна встретит новый рассвет,

Не заметив, что нас уже нет.

В камине трепетало, угасая, пламя, сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла, играла музыка.

В десять часов наступила агония.

Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту. Миг — и вся кухня охвачена огнем!

— Пожар! — послышался крик. Лампы замигали, с потолков, нагнетаемые насосами, хлынули струи воды. Но горячая жидкость растекалась по линолеуму, она просочилась, нырнула под дверь, и уже целый хор подхватил:

— Пожар! Пожар! Пожар!

Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара, и ветер раздувал огонь.

Под натиском огня, десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать.

Еще из стен, семена, выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. Иссякла вода в запасном баке, который много-много дней питал ванны и посудомойки.

Огонь потрескивал, пожирая ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он, словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матисса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты черной стружкой.

Он добрался до кроватей, вот уже скачет по подоконникам, перекрашивает портьеры!

Но тут появилось подкрепление.

Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртами-форсунками зеленые химикалии.

Огонь попятился: даже слон пятится при виде мертвой змеи. А тут по полу хлестало двадцать змей, умерщвляя огонь холодным, чистым ядом зеленой пены.

Но огонь был хитер: он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вошел в балки.

Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду.

Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями, его оголенный скелет корчился от жара, сеть проводов — его нервы — обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. Караул, караул! Пожар! Бегите, спасайтесь! Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лед. А голоса причитали: «Пожар, пожар, бегите, спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в двенадцать голосов, кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопалась, подобно жареным каштанам, изоляция на проводах. Два, три, четыре, пять голосов заглохли.

В детской комнате пламя объело джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску; десять миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали...

Еще десять голосов умерли. В последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов, еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки, обезумевший зонт

прыгал взад-вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась, — одновременно происходила тысяча вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов вразнобой лихорадочно отбивают время: то был безумный хаос, спаянный в некое единство; песни, крики, и последние мышцы-мусорщики храбро выскакивали из нор — расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел! А один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы.

И наконец пламя взорвало дом и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр.

На кухне, за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки: десять десятков яиц, шесть батонов тостов, двести ломтей бекона — и все, все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще!

Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную, гостиная — в цокольный этаж, цокольный этаж — в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами.

Дым и тишина. Огромные клубы дыма.

На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. Из этой стены говорил последний одинокий голос, солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил:

— Сегодня пятое августа две тысячи двадцать шестого года, сегодня пятое августа две тысячи двадцать шестого года, сегодня...

Октябрь 2026

КАНИКУЛЫ НА МАРСЕ

Эту мысль почему-то высказала мама: а не отправиться ли всей семьей на рыбалку? На самом деле слова были не мамыны, Тимоти отлично это знал. Слова были папины, но почему-то их за него сказала мама.

Папа, переминаясь с ноги на ногу на шуршащей марсианской гальке, согласился. Тотчас поднялся шум и гам, в мгновение ока лагерь был свернут, все уложено в капсулы и контейнеры, мама надела дорожный комбинезон и куртку, отец, не отрывая глаз от марсианского неба, набил трубку дрожащими руками, и трое мальчиков с радостными воплями кину-

лись к моторной лодке — из всех троих один Тимоти все время посматривал на папу и маму.

Отец нажал кнопку. К небу взмыл гудящий звук. Вода за кормой ринулась назад, а лодка помчалась вперед, под дружные крики «ура!».

Тимоти сидел на корме вместе с отцом, положив свои тонкие пальцы на его волосатую руку. Вот за изгибом канала скрылась изрытая площадка, где они сели на своей маленькой семейной ракете после долгого полета с Земли. Ему вспомнилась ночь накануне вылета, спешка и суматоха, ракета, которую отец каким-то образом где-то раздобыл, разговоры о том, что они летят на Марс отдыхать. Далековато, конечно, для каникулярной поездки, но Тимоти промолчал, потому что тут были младшие братишки. Они благополучно добрались до Марса и вот с места в карьер отправились — во всяком случае, так было сказано — на рыбалку.

Лодка неслась по каналу... Странные глаза у папы сегодня. Тимоти никак не мог понять, в чем дело. Они ярко светились, и в них было облегчение, что ли. И от этого глубокие морщины смеялись, а не хмурились и не скорбели.

Новый поворот канала — и вот уже скрылась из глаз остывшая ракета.

— А мы далеко едем?

Роберт шлепал рукой по воде — будто маленький краб прыгал по фиолетовой глади. Отец вздохнул:

— За миллион лет.

— Ух ты! — удивился Роберт.

— Поглядите, дети.— Мама подняла длинную, гибкую руку.— Мертвый город.

Завороженные, они уставились на вымерший город, а он безжизненно простерся на берегу для них одних и дремал в жарком безмолвии лета, дарованном Марсу искусством марсианских метеорологов.

У папы было такое лицо, словно он радовался тому, что город мертв.

Город — хаотическое нагромождение розовых глыб, уснувших на песчаном косогоре, несколько поваленных колонн, заброшенное святилище, а дальше — опять песок, песок, миля за милей... Белая пустыня вокруг канала, голубая пустыня над ним.

Внезапно с берега взлетела птица. Точно брошенный кем-то камень пронесся над голубым прудом, врезался в толщу воды и исчез.

Папа даже изменился в лице от испуга:

— Мне почудилось, что это ракета.

Тимоти смотрел в пучину неба, пытаясь увидеть Землю, и войну, и разрушенные города, и людей, которые убивали друг друга, сколько он себя помнил. Но ничего не увидел. Война была такой же далекой и абстрактной, как две мухи, сражающиеся насмерть под сводами огромного безмолвного собора. И такой же нелепой.

Уильям Томас отер пот со лба и взволнованно ощутил на своей руке прикосновение пальцев сына, легких, как паучьи лапки.

Он улыбнулся сыну:

— Ну, как оно, Тимми?

— Отлично, папа.

Тимоти никак не мог до конца разобраться, что происходит в этом огромном взрослом механизме рядом с ним. В этом человеке с большим, шелушащимся от загара орлиным носом, с ярко-голубыми глазами вроде каменных шариков, которыми он играл летом дома, на Земле, с длинными, могучими, как колонны, ногами в широких бриджах.

— Что ты так высматриваешь, пап?

— Я искал земную логику, здравый смысл, разумное правление, мир и ответственность.

— И как — увидел?

— Нет. Не нашел. Их больше нет на Земле. И пожалуй, не будет никогда. Возможно, мы только сами себя обманывали, а их вообще и не было.

— Это как же?

— Смотри, смотри, вон рыба,— показал отец.

Трое мальчиков звонко вскрикнули, и лодка накренилась: так дружно они изогнули свои тонкие шейки, торопясь увидеть. Ух ты, вот это да! Мимо проплыла серебристая рыба-кольцо, извиваясь и мгновенно сжимаясь, точно зрачок, едва только внутрь попадали съедобные крупинки.

— В точности как война,— глухо произнес отец.— Война плывет, видит пищу, сжимается. Миг — и Земли нет.

— Уильям,— сказала мама.

— Извини.

Они примолкли, а мимо стремительно неслась студеная, стеклянная вода канала. Ни звука кругом, только гул мотора, шелест воды, струи распаренного солнцем воздуха.

— А когда мы увидим марсиан? — воскликнул Майкл.

— Скоро,— заверил его отец.— Может быть, вечером.

— Но ведь марсиане все вымерли,— сказала мама.

— Нет, не вымерли,— не сразу ответил папа.— Я покажу вам марсиан, точно.

Тимоти нахмурился, но ничего не сказал. Все было как-то не так. И каникулы, и рыбалка, и эти взгляды, которыми обменивались взрослые.

А его братья уже устали из-под ладошек на двухметровую каменную стенку канала, высматривая марсиан.

— Какие они? — допытывался Майкл.

— Узнаешь, когда увидишь. — Отец вроде усмехнулся, и Тимоти заметил, как у него подергивается щека.

Мама была хрупкая и нежная, золотая коса лежала тиарой на голове, а глаза были такого же темного цвета, как глубокая студеная вода канала в тени. Можно было видеть, как плавают мысли в ее глазах, — словно рыбы, одни светлые, другие темные, одни быстрые, стремительные, другие медленные, неторопливые, а иногда — скажем, если она глядела на небо, туда, где Земля, — в глазах ничего не было, один только цвет... Мама сидела на носу лодки, одну руку она положила на борт, вторую на заглаженную складку своих брюк, и полоска мягкой загорелой шеи обрывалась там, где, подобно белому цветку, открывался воротник.

Она все время глядела вперед, что-то высматривая, но не могла разглядеть и обернулась к мужу; в его глазах она увидела отражение того, что впереди, а он к этому отражению добавил что-то от самого себя, свою твердую решимость, и напряжение спало с ее лица, она снова повернулась вперед, теперь уже спокойно, зная, что ей искать.

Тимоти тоже смотрел. Но он видел лишь прямую черту фиолетового канала посреди широкой ровной долины, обрамленной низкими, размытыми холмами. Черта уходила за край неба, и канал тянулся все дальше, дальше, сквозь города, которые — встряхни их — загремели бы, словно жуки в высохшем черепе. Сто, двести городов, видящих летние сны — жаркие днем и прохладные ночью...

Они пролетели миллионы миль ради этого пикника, ради рыбалки. А в ракете было оружие. Называется, поехали на каникулы! А для чего все эти продукты — хватит с лихвой не на один год, — которые они спрятали по соседству с ракетой? Каникулы! Но за этими каникулами скрывалась не радостная улыбка, а что-то жестокое, твердое, даже страшное. Тимоти никак не мог раскусить этот орешек, а братьям не до того, — что может занимать мальчишек в десять и восемь лет?

— Ну где же марсиане? Дураки какие-то! — Роберт положил клинышек подбородка на ладони и уставился в канал.

У папы на запястье было атомное радио, сделанное по старинке: прижми его к голове, возле уха, и радио начнет вибри-

ювать, напевая или говоря что-нибудь. Как раз сейчас папа лушал, и лицо его было похоже на один из этих погибших гарсианских городов — угрюмое, изможденное, безжизненное.

Потом он дал послушать маме. Ее губы раскрылись.

— Что... — начал Тимоти свой вопрос, но не договорил.

Потому что в этот миг их встряхнули и ошеломили два гролоздящихся друг на друга исполинских взрыва, за которыми юследовало несколько толчков послабее.

Отец вскинул голову и тотчас прибавил ходу. Лодка рванулась и понеслась, прыгая и громко шлепая по воде. Роберт лигом оправился от страха, а Майкл испуганно и восторженно взвизгнул и прижался к маминым ногам, глядя, как мимо амого его носа летят быстрые струи.

Сбавив скорость, отец круто развернул лодку, и они скользнули в узкий отводной канал, к древнему полуразрушенному саменному причалу, от которого пахло крабами. Лодка ткнулась юсом в причал так сильно, что всех швырнуло вперед, но никто не ушибся, а отец уже смотрел, обернувшись, не остаюь ли на воде борозды, которая может выдать, где они укрыись. По глади канала разбегались длинные волны; облизав самень, они отступали, перехватывая набегающие сзади, все мешалось в игре солнечных бликов, потом рябь исчезла.

Папа прислушался. Они все прислушались.

Дыхание отца гулко отдавалось под навесом, будто удары сулака о холодные, влажные камни причала. Мамины кошачьи лаза глядели в полутьме на папу, допытываясь, что теперь будет.

Отец глубоко, с облегчением, вздохнул и рассмеялся сам над собой:

— Это же наша ракета! Что-то я становлюсь пугливым. Конечно, ракета.

— А что это было, пап, — спросил Майкл, — что это было?

— Просто мы взорвали нашу ракету, вот и все. — Тимоти старался говорить буднично. — Что ли не слыхал, как ракеты взрывают? Вот и нашу тоже...

— А зачем мы нашу ракету взорвали? — не унимался Майкл. — Зачем, пап?

— Так полагается по игре, дурачок! — ответил Тимоти.

— По игре?! — Майкл и Роберт очень любили это слово.

— Папа сделал так, чтобы она взорвалась и никто не узнал, где мы сели и куда подевались! Если кто захочет нас искать, понятно?

— Ух ты, тайна!

— Собственной ракеты испугался,— признался отец маме.— Нервы! Смешно даже подумать, будто здесь могут появиться другие ракеты. Разве что еще одна прилетит, если Эдвардс с женой сумеют добраться.

Он снова поднес к уху маленький приемник. Через две минуты рука его упала словно тряпичная.

— Все, конец,— сказал он маме.— Только что прекратила работу станция на атомном луче. Другие станции Земли давно молчат. В последние годы их всего-то было две-три. Теперь в эфире мертвая тишина. Видно, надолго.

— На сколько? — спросил Роберт.

— Может быть... может быть, ваши правнуки снова услышат радио,— ответил отец. Он сидел понурившись, и детям передалось то, что он чувствовал: смирение, отчаяние, покорность.

Потом он опять вывел лодку на главный канал, и они продолжали путь.

Вечерело. Солнце уже склонилось к горизонту; впереди простирались чередой мертвые города.

Отец говорил с сыновьями ласковым, ровным голосом. Прежде он часто бывал сух, замкнут, неприступен, теперь же — они это чувствовали — папа будто гладил их по голове своими словами.

— Майкл, выбирай город.

— Что, папа?

— Выбирай город, сынок. Любой город, какой тут нам подвернется.

— Ладно,— сказал Майкл.— А как выбирать?

— Какой тебе больше нравится. И ты, Роберт, и Тим тоже. Выбирайте себе город по вкусу.

— Я хочу такой город, чтобы в нем были марсиане,— сказал Майкл.

— Будут марсиане,— ответил отец.— Обещаю.— Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму.

За двадцать минут они миновали шесть городов. Отец больше не поминал про взрывы; теперь для него как будто важнее всего на свете было веселить сыновей, чтобы им стало радостно.

Майклу понравился первый же город, но его отвергли, решив, что поспешные решения — не самые лучшие. Второй город никому не приглянулся. Его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришелся по душе Тимоти тем, что он был большой. Четвертый и пятый всем показались слишком маленькими, зато ше-

стой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики: «Ух ты!», «Блеск!», «Вот это да!»

Тут сохранилось в целости около полусотни огромных зданий, улицы были хоть и пыльные, но мощные. Два-три старинных центробежных фонтана еще пульсировали влагой на площадях, и прерывистые струи, освещенные лучами заходящего солнца, были единственным проявлением жизни во всем городе.

— Здесь, — дружно сказали все.

Отец подвел лодку к пристани и выскочил на берег.

— Что ж, приехали. Все это — наше. Теперь будем жить здесь!

— Будем жить? — Майкл опешил. Он поднялся на ноги, глядя на город, потом повернулся лицом в ту сторону, где они оставили ракету. — А как же ракета? Как Миннесота?

— Вот, — сказал папа. Он прижал маленький радиоприемник к русой головке Майкла. — Слушай.

Майкл прислушался.

— Ничего, — сказал он.

— Верно. Ничего. Ничего не осталось. Никакого Миннеаполиса, никаких ракет, никакой Земли.

Майкл поразмыслил немного над этим страшным откровением и тихонько захныкал.

— погоди, Майкл, — поспешно сказал папа. — Я дам тебе взамен гораздо больше!

— Что? — Любопытство задержало слезы, но Майкл был готов сейчас же дать им волю, если дальнейшие откровения отца окажутся такими же печальными, как первое.

— Я дарю тебе этот город, Майкл. Он твой.

— Мой?

— Твой, Роберта и Тимоти, ваш собственный город, на троих.

Тимоти выпрыгнул из лодки.

— Смотрите, ребята, все наше! Все-все!

Он играл наравне с отцом, играл великолепно, всю душу вкладывал. После, когда все уляжется и устроится, он, возможно, уйдет куда-нибудь минут на десять и поплачет наедине. Но сейчас идет игра «семья на каникулах», и братишки должны играть.

Майкл и Роберт выскочили на берег. Они помогли выйти на пристань маме.

— Берегите сестренку, — сказал папа; лишь много позднее они поняли, что он подразумевал.

И они быстро-быстро пошли в большой розовокаменный город, разговаривая шепотом,— в мертвых городах почему-то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат.

— Дней через пять,— тихо сказал отец,— я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и дочерьми.

— Дочерьми? — повторил Тимоти.— Сколько их?

— Четыре.

— Как бы потом из-за этого неприятностей не было.— Мама медленно покачала головой.

— Девчонки! — Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физиономии марсианских истуканов.— Девчонки!

— Они тоже на ракете прилетят?

— Да. Если им удастся. Семейные ракеты рассчитаны для полета на Луну, не на Марс. Нам просто повезло, что мы добрались.

— А откуда ты взял ракету? — шепотом спросил Тимоти; двое других мальчуганов уже убежали вперед.

— Я ее прятал. Двадцать лет прятал, Тим. Убрал и надеялся, что никогда не понадобится. Наверное, надо было сдать ее государству, когда началась война, но я все время думал о Марсе...

— И о пикнике!..

— Вот-вот! Но это только между нами. Когда я увидел, что Земле приходит конец,— я ждал до последней минуты! — то стал собираться в путь. Берт Эдвардс тоже припрятал корабль, но мы решили, что вернее всего стартовать порознь на случай, если кто-нибудь попытается нас сбить.

— А зачем ты ее взорвал, папа?

— Чтобы мы не могли вернуться, никогда. И чтобы эти недобрые люди, если они когда-нибудь окажутся на Марсе, не узнали, что мы тут.

— Ты поэтому все время на небо глядишь?

— Конечно, глупо. Никто не будет нас преследовать. Не на чем. Я чересчур осторожен, в этом все дело.

Прибежал обратно Майкл.

— Пап, это вправду наш город?

— Вся планета с ее окрестностями принадлежит нам, ребята. Целиком и полностью.

Они стояли — Король Холмов и Пригорков, Первейший из Главных, Правитель Всего Обозримого Пространства, Непорешимые Монархи и Президенты,— пытаясь осмыслить, что

это значит — владеть целым миром и как это много — целый мир!

В разреженной марсианской атмосфере быстро темнело. Оставив семью на площади возле пульсирующего фонтана, отец сходил к лодке и вернулся, неся в больших руках целую охапку бумаги.

На заброшенном дворе он сложил книги в кучу и поджег. Они присели на корточки возле костра погреться и смеялись, а Тимоти смотрел, как буквы прыгали, точно испуганные зверьки, когда огонь хватал их и пожирал. Бумага морщилась, словно стариковская кожа, пламя окружало и теснило легионы слов.

«Государственные облигации»; «Коммерческая статистика 1999 года»; «Религиозные предрассудки: Эссе»; «Наука о военном снабжении»; «Проблемы панамериканского единства»; «Биржевой вестник за 3 июля 1998 года»; «Военный сборник»...

Отец нарочно захватил все эти книги именно для этой цели. И вот, присев у костра, он с наслаждением бросал их в огонь, одну за другой, и объяснял своим детям, в чем дело.

— Пора вам кое-что растолковать. Наверно, я был не прав, когда ограждал вас от всего. Не знаю, много ли вы поймете, но я все равно должен высказаться, даже если до вас дойдет только малая часть.

Он уронил в огонь лист бумаги.

— Я сжигаю образ жизни — тот самый образ жизни, который сейчас выжигают с лица Земли. Простите меня, если я говорю как политик, но ведь я бывший губернатор штата. Я был честным человеком, и меня за это ненавидели. Жизнь на Земле никак не могла устояться, чтобы хоть что-то сделать как следует, основательно. Наука слишком стремительно и слишком далеко вырвалась вперед, и люди заблудились в машинных дебрях, они словно дети чрезмерно увлеклись занятыми вещами, хитроумными механизмами, вертолетами, ракетами. Не тем занимались: без конца придумывали все новые и новые машины вместо того, чтобы учиться управлять ими. Войны становились все более разрушительными и в конце концов погубили Землю. Вот что означает молчание радио. Вот от чего мы бежали. Нам посчастливилось. Больше ракет не осталось. Пора вам узнать, что мы прилетели вовсе не рыбу ловить. Я все откладывал, не говорил... Земля погибла. Пройдут века, прежде чем возобновятся межпланетные сообщения, — если они вообще возобновятся. Тот образ жизни доказал свою непригодность и сам себя задушил. Вы только начинаете жить. Я буду вам повторять все это каждый день, пока вы не усвоите...

Он остановился, чтобы подбросить в костер еще бумаги.

— Теперь мы одни. Мы и еще горстка людей, которые прилетят сюда через день-два. Достаточно, чтобы начать сначала. Достаточно, чтобы поставить крест на всем, что было на Земле, и идти по новому пути...

Пламя вспыхнуло ярче, будто подчеркивая его слова. Уже все бумаги сгорели, кроме одной. Все законы и верования Земли превратились в крупички горячего пепла, который скоро развеет ветром.

Тимоти посмотрел на последний лист, что папа бросил в костер. Карта мира... Она корчилась, корежилась от жара, порх — и улетела горячей черной ночной бабочкой. Тимоти отвернулся.

— А теперь я покажу вам марсиан, — сказал отец. — Пойдем, вставайте. Ты тоже, Алиса.

Он взял ее за руку.

Майкл расплакался, папа поднял его и понес. Мимо развалин они пошли вниз к каналу.

Канал. Сюда завтра или послезавтра приедут на лодке их будущие жены, пока — смешливые девчонки, со своими папой и мамой.

Ночь окружила их, высыпали звезды. Но Земли Тимоти не мог найти. Уже зашла. Как тут не призадуматься...

Среди развалин кричала ночная птица. Снова заговорил отец:

— Мать и я попытаемся быть вашими учителями. Надеюсь, что мы сумеем... Нам довелось немало пережить и узнать. Это путешествие мы задумали много лет назад, когда вас еще не было. Не будь войны, мы, наверно, все равно улетели бы на Марс, чтобы жить здесь по-своему, создать свой образ жизни. Земной цивилизации понадобилось бы лет сто, чтобы еще и Марс отравить. Теперь-то, конечно...

Они дошли до канала. Он был длинный, прямой, холодный, в его влажном зеркале отражалась ночь.

— Мне всегда так хотелось увидеть марсианина, — сказал Майкл. — Где же они, папа? Ты ведь обещал.

— Вот они, смотри, — ответил отец. Он посадил Майкла на глечо и указал прямо вниз.

Марсиане!.. Тимоти охватила дрожь.

Марсиане. В канале. Отраженные его гладью Тимоти, Майкл, Роберт, и мама, и папа.

Долго, долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане...

Бетономешалка

Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса:

— Эттил — трус! Эттил — изменник! Славные сыны Марса готовы завоевать Землю, а Эттил отсиживается дома!

— Болтайте, болтайте, старые ведьмы! — крикнул он.

Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.

— Эттил опозорил своего сына, каково мальчику знать, что его отец — трус! — шушукались сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами. — О стыд, о бесчестье!

В дальнем углу комнаты плакала жена. Будто холодный, нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.

— Ох, Эттил, как ты можешь?

Эттил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает.

— Я ведь уже пытался объяснить, — сказал он. — Вторжение на Землю — глупейшая затея. Она нас погубит.

За окном — гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камням мостовых, вскинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками.

— Я останусь на Марсе и буду читать книгу, — сказал Эттил.

Громкий стук в дверь. Тилла отворила. В комнату ворвался Эттилов тесть.

— Что я слышу? Мой зять — предатель?!

— Да, отец.
— Ты не вступаешь в марсианскую армию?
— Нет, отец.
— О, чтоб тебя! — Старик побагровел. — Опозоришься на-
веки. Тебя расстреляют.
— Так стреляйте — и покончим с этим.
— Слышанное ли дело, марсианину — да не вторгнуться на
Землю! Где это слышано?
— Неслышанное дело, согласен. Небывалый случай.
— Неслышанно! — зашипели ведьмы под окном.
— Хоть бы ты его вразумил, отец! — сказала Тилла.
— Как же, вразумишь навозную кучу! — воскликнул отец,
гневно сверкая глазами, и подступил к Эттилу. — День на сла-
ву, оркестры играют, женщины плачут, детишки радуются,
все как нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь
тут... О стыд!
— О стыд! — всхлипнули голоса в кустах поодаль.
— Вон из моего дома! — вспыхнул Эттил. — Надоела мне эта
дурацкая болтовня! Убирайся ты со своими медалями и бараба-
нами!
Он подтолкнул тестя к выходу, жена взвизгнула, но тут
дверь распахнулась, на пороге — военный патруль.
— Эттил Врай? — рявкнул голос.
— Да.
— Вы арестованы!
— Прощай, дорогая жена! Иду воевать заодно с этими ду-
раками! — закричал Эттил, когда люди в бронзовых кольчугах
поволокли его на улицу.
— Прощай, прощай! — скрываясь вдаль, эхом отозвались
ведьмы.

Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Этти-
лу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и
смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холод-
но светили несчетные звезды; каждый раз, как среди них вспы-
хивала ракета, они будто кидались врассыпную.

— Дураки! — шептал Эттил. — Ах дураки!

Дверь камеры распахнулась. Вошел человек, вкатил подо-
бие тележки, навалом груженной книгами. Позади выросла
фигура Военного наставника.

— Эттил Врай, отвечайте, почему у вас в доме хранились
запрещенные земные книги. Все эти «Удивительные истории»,
«Научные рассказы», «Фантастические повести»? Объясните.

И он стиснул руку Эттила повыше кисти. Эттил вырвал
руку.

— Если вы намерены меня расстрелять, стреляйте. Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с Землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено.

— Как так? — Наставник хмуро покосился на пожелтевшие от времени журналы.

— Возьмите книжку, — сказал Эттил. — Любую, на выбор. С тысяча девятьсот двадцать девятого-тридцатого и до тысяча девятьсот пятидесятого года по земному календарю в девяти рассказах из десяти речь шла о том, как марсиане вторглись на Землю...

— Ага!.. — Военный наставник улыбнулся и кивнул.

— ...а потом потерпели крах, — закончил Эттил.

— Да это измена! Держать у себя такие книги!

— Называйте, как хотите. Но дайте мне сделать кое-какие выводы. Каждое вторжение неизменно кончалось пшиком по милости какого-нибудь молодого человека по имени Мик, Рик, Джек или Беннон; как правило, он худошавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан.

— И вы смеете в это верить!

— Что земляне и правда на это способны, не верю. Но поймите, Наставник, у них за плечами традиция, поколение за поколением в детстве зачитывалось подобными выдумками. Они просто напичканы книжками о безуспешных нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было, верно?

— Ну-у...

— Не было.

— Пожалуй, что и так.

— Безусловно так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой — и погибнем.

— Странная логика. При чем тут старые журналы?

— Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно его ни организовать. Книжки, которых они читались в юности, придают им неколебимую веру в себя, где нам с ними равняться! Мы, марсиане, не так уж уверены в себе; мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы ни бьем в барабаны, как ни трубим в трубы, а дух наш слаб.

— Это измена! Я не желаю слушать! — закричал Военный наставник. — Через десять минут все эти книжонки сожгут, и тебя тоже. Можешь выбирать, Эттил. Врай. Либо ты вступишь в Военный легион, либо сгоришь.

— Выбирать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть.

— Эй, люди!

Этила вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в пять футов глубиной, в яму налито горячее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя. Через минуту Этила втолкнул в яму.

А в конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын, большие желтые глаза полны горечи и страха. Мальчик не протянул руку, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде.

Этил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, за чертой — смерть. И только тут Этил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул:

— Стойте!

Лицо Наставника — в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве — придвинулось ближе.

— Чего тебе?

— Я вступаю в Военный легион,— сказал Этил.

— Хорошо! Отпустите его!

Грубые руки разжались.

Этил обернулся — сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета — и звезды померкли...

— А теперь пожелаем доблестным воинам счастливого пути,— сказал Наставник.

Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных, распаренных солдат. Запрыгали ребятишки. Среди пестрой толчи Этил увидел жену, она плакала от гордости, рядом, молчаливый и торжественный, стоял сын.

Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль. Легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка. Где-то в клапане засвистел воздух.

— Вперед, к Земле и гибели,— прошептал Этил.

— Что? — переспросил кто-то.

— Вперед, к славной победе,— скорчив подобающую мину, сказал Этил.

Ракета рванулась в небо.

«Бездна,— думал Этил.— Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим — наша прославленная ракета запыляет в небе над землянами, и сердца их

исполнятся страхом. Ну а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына?»

Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно все внутренности, все самое сокровенное, самое важное в твоём существе, без чего нельзя жить,— все накрепко привязал к родному Марсу, а сам прыгнул прочь на миллионы миль. Сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. Мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном, голубом, хмельном воздухе Марса,— мягкие, подвижные мехи, что жаждут освобождения.

«Вот часть тебя, которой так нужен покой. Ибо теперь ты лишь автомат без винтов и гаек, ты труп, те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и выпотрошили и все, что было в тебе стоящего, бросили на дно пересохших морей, раскидали по сумрачным холмам. И вот ты — опустошенный, угасший, охладелый, у тебя остались только руки, чтоб нести смерть землянам. Руки — вот и все, что от тебя осталось,— подумал он холодно и отрешенно.— Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один, вас много, но другие целы и невредимы, тело и душа у них — одно. А все, что от тебя осталось живого, бродит там, позади, под вечерним ветерком среди пустынных морей. Здесь же, в ракете, только холодный ком глины, в котором уже нет жизни».

— Штурмовые посты, штурмовые посты, к штурму!

— Готов! Готов! Готов!

— Подъем! Встать из сеток! Живо!

Этил повиновался команде. Где-то отдельно, впереди него, двигались его онемевшие руки.

«Как быстро все это получилось,— думал он.— Только год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши ученые — ведь они наделены потрясающим телепатическим даром — в точности ее скопировали; наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни один земной корабль не достиг Марса, и однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли, мы знаем их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи...»

— Орудия к бою!

— Есть!

— Прицел! Дистанция в милях?

— Десять тысяч!

— Штурм!

Гудящая тишина. Тишина скрытого в ракете улья. Гудят и жужжат крохотные катушки, бесчисленные приборы, рычаги, вертящиеся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела, только пот проступает под мышками, на лбу, под остановившимися, выцветшими глазами.

— Внимание! Приготовиться!

Изо всех сил держится Эттил — только бы не потерять рас-судок! — и ждет, ждет...

Тишина, тишина, тишина. Ожидание. Ти-и-и-и!

— Что это?

— Радио с Земли!

— Дайте настройку!

— Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают. Дайте настройку!

И-и-и-и!

— Вот они! Слушайте!

— Вызываем марсианские военные ракеты!

Тишина затаила дыхание, гуденье улья смолкло и отступило, и в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый чужой голос:

— Говорит Земля! Говорит Уильям Соммерс, президент Объединения американских промышленников!

Эттил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь подался вперед, зажмурился.

— Добро пожаловать на Землю!

— Что? — закричали в ракете. — Что он сказал?

— Да, да, добро пожаловать на Землю.

— Это обман!

Эттил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос.

— Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас! — радушно вещал голос. — Мы вас ждем с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена.

— Обман!

— Тс-с, слушайте!

— Много лет назад мы, жители Земли, отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать, нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. Мы просим только о милосердии, наши добрые милостивые завоеватели.

— Этого не может быть! — прошептал кто-то.

— Уж конечно, это обман!

— Итак, добро пожаловать! — закончил представитель Земли мистер Уильям Соммерс. — Опускайтесь, где вам угодно. Земля к вашим услугам, все мы — братья!

Этилл засмеялся. На него оглянулись, уставились в недоумении.

— Он сошел с ума!

А Этилл все смеялся, пока его не стукнули.

Маленький толстенький человечек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер взмокший лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на пятидесятитысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо.

— Вот они!

Толпа ахнула.

— Нет, это просто чайки!

Ропот разочарования.

— Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну, — прошептал толстяк мэру. — Тогда можно было бы разойтись по домам.

— Ш-ш! — остановила его жена.

— Вот они! — загудела толпа.

Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты.

— Все готовы? — Мэр беспокойно огляделся.

— Да, сэр, — сказала «Мисс Калифорния 1965 года».

— Да, — сказала и «Мисс Америка 1940 года» (она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить «Мисс Америка 1966-го», — та, как на грех, слегла).

— Ясно, готовы, сэр! — подхватил «Мистер Крупнейший грейпфрут из долины Сан-Фернандо за 1956 год».

— Оркестр готов?

Оркестранты вскинули трубы, точно ружья на изготовку.

— Так точно!

Ракеты приземлились.

— Давайте!

Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния» и сыграл его десять раз подряд.

С двенадцати до часу дня мэру говорил речь, простирая руки к безмолвным, недоверчивым ракетам.

В час пятнадцать герметические люки ракет открылись.

Оркестр трижды сыграл «О штат золотой!». Этилл и еще полсотни марсиан с оружием наготове прыгнули наземь.

Мэр выбежал вперед, в руках у него были ключи от Земли.

Оркестр заиграл «Приходит в город Санта-Клаус», и певческая капелла, нарочно для этого случая доставленная с Лонг-Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как «приходят в город марсиане».

Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали.

С часу тридцати до двух пятнадцати мэр повторял свою речь специально для марсиан.

В два тридцать «Мисс Америка 1940» вызвалась перещеловать всех марсиан, если только они станут в ряд.

В два часа тридцать минут и десять секунд оркестр заиграл «Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете», чтобы замаять неловкость, возникшую по вине «Мисс Америка».

В два тридцать пять «Мистер Крупнейший грейпфрут» преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов.

В два тридцать семь мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик», при этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого.

Заиграл оркестр, и пятьдесят тысяч человек запели «Все они славные парни».

В четыре часа торжество закончилось.

Эттил уселся в тени ракеты, с ним были двое его товарищей.

— Так вот она, Земля!

— А я считаю, всю эту дрянь надо перебить,— заявил один марсианин.— Не верю я землянам. Что-то они замышляют. Ну с чего они так уж нам радуются? — Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало.— Что это они мне сунули? Говорят, образчик.— Он прочел надпись на этикетке: — «БЛЕСК. Новейшая Мыльная Стружка».

Вокруг сновала толпа, земляне и марсиане вперемешку, точно на карнавале. Стоял немолчный говор, радушные хозяйки пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами.

Эттил словно околел. Его пуше прежнего била дрожь.

— Неужели вы не чувствуете? — шепнул он.— Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они готовят нам худое.

— А я говорю, их надо перебить — всех до единого!

— Как же убивать тех, кто называет себя другом и приятелем? — спросил второй марсианин.

Эттил покачал головой.

— Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой и мы растворяемся, пре-

вращаемся в ничто. Мне страшно.— Он нацелил мозг на толпу, силясь нащупать ее настроение.— Да, они и вправду к нам расположены, у них это называется «на дружеской ноге». Это огромное собрание самых обыкновенных людей, они равно благосклонны что к собакам и кошкам, что к марсианам. И все же... все же...

Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания «Пиво Хейгенбека» (город Фресно, штат Калифорния) угощала всех даровым пивом.

Марсиан начало тошнить.

Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно.

Даваясь и отплеиваясь, Эттил сидел в тени платана.

— Это заговор... гнусный заговор...— стонал он и судорожно хватался за живот.

— Что вы такое съели? — Над ним стоял Военный наставник.

— Что-то непонятное,— простонал Эттил.— У них это называется «кукурузные хлопья».

— А еще?

— Еще какой-то ломоть мяса с булкой, и пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом, и ел какую-то рыбу и штуку, которую они называют пирожное,— вздохнул Эттил, веки его вздрагивали.

Со всех сторон раздавались стоны завоевателей-марсиан.

— Перебить подлых предателей! — слабым голосом выкрикнул кто-то.

— Спокойнее,— остановил Наставник.— Это просто гостеприимство. Они переусердствовали. Вставайте, воины. Идем в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземляются в других городах. Пора браться за дело.

Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами.

— Вперед шагом... марш!

Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось — столбы, бетон, металл, полотняные навесы, крыши, толь — все дышало жаром.

Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах.

— Осторожней! — вполголоса предупредил Наставник.

Они проходили мимо салона красоты.

Внутри украдкой хихикнули.

— Смотрите!

Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз.

— Заговор! — шептал Эттил. — Так и знайте, это заговор!

В жарком воздухе тянуло духами из вентиляторов, что бешено кружились в пещерах, где под электрическими колпаками, точно какие-то морские дива, сидели женщины — волосы их закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины; глаза то пронизывали, то стекленели, смотрели и тупо, и хитро, накрашенные рты алели, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, вползал в зеленые кроны деревьев, исподтишка окутывал изумленных марсиан.

Нервы Эттила не выдержали.

— Ради всего святого! — вдруг закричал он. — Скорее по ракетам — и домой! Эти ужасные твари нас погубят! Вы на них только посмотрите! Видите, видите? Эти женщины в стылых пещерах, в искусственных скалах — злобные подводные чудища!

— Молчать!

«Только посмотрите на них, — думал Эттил. — Ноги как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры».

Он снова закричал.

— Эй, кто-нибудь, заткните ему глотку!

— Они накинутся на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами, их жирно намазанные, ярко-красные рты оглушат нас визгом! Они затопят нас потоками пошлости, все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзает непонятные электрические машины, а они что-то жужжат, и напевают, и бормочут! Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?

— А почему бы и нет? — раздался голоса.

— Да они изжарят вас, потравят, как кислотой, вы сами себя не узнаете! Вас раздавят, сотрут в порошок, каждый обратится в мужа — и только, в существо, которое работает и приносит домой деньги, чтоб они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?

— Конечно, черт побери!

Издали долетел голос — высокий, пронзительный женский голос:

— Поглядите на того, посередке, — правда, красавчик?

— А марсиане в общем-то ничего. Право слово, мужчины как мужчины, — томно протянул другой голос.

— Эй вы! Ау! Марсиане! Э-эй!
Эттил с воплем кинулся бежать...

Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу — как далеко он от дома, как одинок и заброшен! Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел: марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений, — там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам, а рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины, а под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера ветров — кинематограф.

— Привет!

Он в ужасе вскинул голову.

Рядом на скамью опустилась женщина, она лениво жевала резинку.

— Не убегай, — сказала она. — Я не кусаюсь.

— Ох! — вырвалось у Эттила.

— Сходим в кино? — предложила женщина.

— Нет.

— Да ну, пойдем, — сказала она. — Все пошли.

— Нет, — повторил Эттил. — Разве вам тут, на Земле, больше нечего делать?

— А чего тебе еще? — Она подозрительно его оглядела, голубые глаза округлились. — Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку? Ха-ха! Выдумает тоже!

Эттил изумленно смотрел на нее, спросил не сразу:

— А все-таки чем вы еще занимаетесь?

— Катаемся в автомобилях. У тебя автомобиль есть? непременно заведи себе новый большой «подлер-шесть» с откидным верхом. Шикарная машина! Уж будь уверен, у кого есть «подлер-шесть», тот любую девчонку подцепит! — И она подмигнула Эттилу. — У тебя-то денег куча, раз ты с Марса, это уж точно. Была бы охота, можешь завести себе «подлер-шесть» — и кати куда вздумается, это уж точно.

— Куда, в кино?

— А чем плохо?

— Нет, нет, ничего...

— Да вы что, мистер? Рассуждаете прямо как коммунист! — сказала женщина. — Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, черт возьми! Наше общество очень даже мило

устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули, — верно?

— Вот этого я никак не пойму. Почему вы нас так приняли?

— По доброте душевной, мистер, вот почему! Так и запомни: по доброте душевной!

И она пошла искать себе другого кавалера.

Эттил собрался с духом — надо написать жене; разложил бумагу на коленях и старательно вывел: «Дорогая Тилла!» Но тут его снова прервали. Чуть не под носом застучали в бубен, пришлось поднять голову — перед ним стояла тшедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком.

— Брат мой! — закричала она, глядя на Эттила горящими глазами. — Обрел ли ты спасение?

Эттил вскочил, уронил перо.

— Что? Опасность?

— Ужасная опасность! — завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горе. — Ты нуждаешься в спасении, брат мой, ты на краю гибели!

— Кажется, вы правы, — дрожа согласился Эттил.

— Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение троем марсианам. Мило, не правда ли? — Она широко улыбнулась.

— Пожалуй, что так.

Она впиалась в Эттила пронзительным взглядом. Наклонилась к нему и таинственно зашептала:

— Брат мой, был ли ты окрещен?

— Не знаю, — ответил он тоже шепотом.

— Не знаешь?! — крикнула она и высоко вскинула бубен.

— Это вроде расстрела, да? — спросил Эттил.

— Брат мой, ты погряз во зле и грехе, — сказала старушонка. — Не тебя осуждаю, ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны, вас совсем не учат истине. Вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения.

— И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире? — спросил Эттил.

— Не требуй сразу многого, — возразила она. — Здесь довольствуйся малым, ибо есть другой, лучший мир и там всех нас ждет награда.

— Тот мир я знаю, — сказал Эттил.

— Там покой, — продолжала она.

— Да.

— И тишина.

— Да.

— Там реки текут молоком и медом.

— Да, пожалуй, — согласился Эттил.
— И все смеются и ликуют.
— Я это как сейчас вижу, — сказал Эттил.
— Тот мир лучше нашего.
— Куда лучше, — подтвердил он. — Да, Марс — великая планета.

Старушонка так и вскинулась, чуть не ударила его бубном по лицу.

— Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?

— Да нет же! — Эттил смутился и растерялся. — Я думал, вы это про...

— Уж конечно, не про ваш мерзкий Марс! Вот таким, как вы, и суждено вечно кипеть в котле, вы покроетесь язвами, вам уготованы адские муки...

— Да, признаться, Земля — место малоприятное. Вы очень верно ее описываете.

— Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер! — разъярилась старушонка.

— Нет, нет, прошу прощения. Это я по невежеству.

— Ладно, — сказала она. — Ты язычник, а язычники все невоспитанные. На, держи бумажку. Приходи завтра вечером по этому адресу — и будешь окрещен и обретешь счастье. Мы громко распоеваем, без усталости шагаем, и, если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы, и флейты, и кларнеты, ты к нам придешь. Придешь?

— Постараюсь, — неуверенно сказал Эттил.

И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распоевая во все горло: «Счастье мое вечно со мной!»

Ошеломленный Эттил снова взялся за письмо.

«Дорогая Тилла! Подумай только, по своей naïveté¹ я воображал, будто земляне встретят нас бомбами и пушками. Ничего подобного! Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Беннона, никаких таких молодцов, которые в одиночку спасают всю планету. Вовсе нет.

Тут только и есть что белобрысые розовые роботы с телами из резины; они вполне реальные и все-таки чуточку неправдоподобны, живые — и все-таки говорят и действуют как автоматы и весь свой век проводят в пещерах. У них немислимые, необъятные derrières². Глаза неподвижные, застывшие, ведь они только и делают, что смотрят

¹ Простоте душевной (фр.).

² Зады (фр.).

рят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей, ведь они непрестанно жуют резинку.

Таковы не отдельные люди, дорогая моя Тилла, такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян в громадную бетономешалку. От нас ничего не останется. Нас сокрушит не их оружие, но их радушие. Нас погубит не ракета, но автомобиль...»

Отчаянный вопль. Треск, грохот. И тишина.

Эттил вскочил. За оградой парка на улице столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой — землян. Эттил вернулся к письму.

«Милая, милая Тилла, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на Американском континенте, каждый год погибают сорок пять тысяч человек — превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости, точно нечаянные мысли — смешные и страшные мысли — замирают, застывают в желе. Автомобили сплющиваются в этикие аккуратненькие консервные банки, а внутри все перемешалось и всё тихо.

Везде на дорогах кровавое месиво, и на нем жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка — и лица обращаются в карнавальные маски. Есть тут у них такой праздник — карнавал в День всех святых. Видимо, в этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть.

Выглянешь из окна, а там лежат двое, соединились в тесном объятии, еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена, всякие колдуны и жевательная резинка заманят воинов в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока не поздно, попытаюсь сбежать домой, на Марс.

Тилла моя, где-то на Земле есть некий Человек, и у него рычаг; довольно ему нажать на рычаг — и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не у дел. Заветный рычаг покрывается пылью. А сам он играет в карты. Женщины этой зловецей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства, они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тилла моя. Пожелай мне удачи, быть может, я погибну при попытке к бегству. Поцелуй за меня сына».

Эттил Врай сложил письмо, немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой. Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать? Но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался.

Ясно одно: если остаться на Земле, тобой живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода — и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровавое давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие, мучительные кошмары и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что!

Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне — лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня-завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет шесть серебряных ручек!

— Эй, вы!

Взвыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек.

— Марсианин?

— Да.

— Вас-то мне и надо. Влезайте, да поживей! Вам крупно повезло. Влезайте! Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом!

Ошеломленный Эттил покорно открыл дверцу и сел в машину.

Покатали.

— Что будете пить, Э Вэ? Коктейль? Официант, два «Манхэттана!» Спокойно, Э Вэ. Я угощаю. Я и наша студия. Нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, Э Вэ. Меня зовут Эр Эр Ван Пленк. Может, слышали про такого? Нет? Ну все равно, руку, приятель.

Он зачем-то помял Эттилу руку и сразу ее выпустил. Они сидели в темной пещере, играла музыка, плавно скользили официанты. Им принесли два бокала. Все произошло так внезапно. И вот Ван Пленк, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку.

— Итак, Э Вэ, вы мне нужны. У меня есть идея — благороднейшая, лучше не придумаешь! Даже не знаю, как это меня осенило. Сажу сегодня дома, и вдруг — бац! — вот это, думаю, будет фильм! ВТОРЖЕНИЕ МАРСИАН НА ЗЕМЛЮ. А что для этого нужно? Нужен консультант. Ну, сел я в маши-

ну, отыскал вас — и вся недолга. Выпьем! За ваше здоровье и за наш успех. Хоп!

— Но...— возразил было Эттил.

— Знаю, знаю, ясно, не задаром. Чего-чего, а денег у нас прорва. И еще у меня при себе книжечка, а в ней золотые листочки, могу ссудить.

— Мне не очень нравятся ваши земные растения и...

— Э, да вы шутник. Так вот, слушайте, как мне мыслится сценарий.— В азарте он наклонился к Эттилу.— Сперва шикарные кадры: на Марсе разгораются страсти, огромное сборище, марсиане кричат, бьют в барабаны. В глубине — громадные серебряные города...

— Но у нас на Марсе города совсем не такие...

— Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше Эр Эру лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра.

— Мы не пляшем вокруг костров...

— В этом фильме придется вам разжечь костры и плясать,— объявил Ван Пленк и даже зажмурился, гордый своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжал: — Затем понадобится марсианка, высокая златокудрая красавица.

— На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и...

— Послушай, Э Вэ, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?

— Эттил.

— Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. Так вот, Джо. Я уже сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому что потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь?

— Я думал...

— И еще нам нужна такая сцена, чтоб зрители рыдали,— в марсианский корабль угодил метеорит или еще что,— словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю ораву от верной смерти. Сногшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить.

Эттил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку.

— Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить.

— Валяй, Джо, не смущайся.

— Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы... вы все принимаете нас, точно родных детей после долгой разлуки. Почему?

— Ну и чудачки же вы там, на Марсе! Сразу видно, святая простота. Ты вот что сообрази, Мак. Мы тут люди маленькие, верно?

И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях.

— Мы люди самые заурядные, верно? Так вот, мы, земляне, этим гордимся. Наш век — век Заурядного Человека, Билл, и мы гордимся, что мы — мелкая сошка. У нас на Земле, друг Билли, все жители сплошь сарояны. Да, да. Этакое огромное семейство благодушных сароянов, и все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком, холодном Марсе и завидно, что у нас такие города...

— Наша цивилизация гораздо старше вашей...

— Уж пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня. Дай я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наших женщин — и милости просим, добро пожаловать, ведь вы наши братья, вы тоже самые заурядные люди. А кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь: на этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал фильм — он нам даст миллиард чистой прибыли, это уж будь покоен. Через неделю мы пустим в продажу куклу-марсианку по тридцать монет штука. Это тоже, считай, еще миллионы дохода. И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по пять монет. Да мало ли чего еще можно напридумывать.

— Вот оно что, — сказал Эттил и отодвинулся.

— Ну и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте: и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваксу — прорву всего.

— Постойте! Еще один вопрос.

— Валяй.

— Как ваше имя? Что это означает — Эр Эр?

— Ричард Роберт.

Эттил поглядел в потолок.

— А может быть, иногда случайно кто-нибудь зовет вас... м-м... Рик?

— Угадал, приятель. Ясно, Рик, как же еще.

Эттил перевел дух и захохотал, и никак не мог остановиться. Ткнул в собеседника пальцем.

— Так вы — Рик? Рик! Стало быть, вы и есть Рик!

— А что тут смешного, сынок? Объясни папочке!

— Вы не поймете... вспомнилась одна история... — Эттил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кула-

ком по столу.— Так вы Рик! Ох, забавно! Ну совсем не похожи. Ни тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья. Только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом да толстое брюхо!

— Эй, полегче на поворотах, Мак! Может, я и не Аполлон, но...

— Вашу руку, Рик! Давно мечтал познакомиться. Вы — тот самый человек, который завоюет Марс, ведь у вас есть машинки для коктейля, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, и клетчатые кепи, и ром.

— Я только скромный предприниматель,— сказал Ван Пленк и потупил глазки.— Я делаю свой бизнес и получаю толику барыша. Но я уже говорил, Джек, я давно подумывал: надо поставлять на Марс игрушки дядюшки Уиггили и комиксы Дика Трейси, там все будет в новинку! Огромный рынок сбыта! Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах, так? Так! Словом, мы вас засыплем всякой всячиной. Наши товары будут нарасхват. Марсиане их просто с руками оторвут, малыш, верно говорю! Еще бы, духи, платья из Парижа, модные комбинезоны — чуешь? И первоклассная обувь.

— Мы ходим босиком.

— Что я слышу? — воззвал Р. Р. Ван Пленк к небесам.— На Марсе живет одна неотесанная деревенщина? Вот что, Джо, уж это наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится!

— А-а...

Ван Пленк хлопнул Эттила по плечу.

— Стало быть, заметано? Ты — технический директор моего фильма, идет? Для начала получаешь двести долларов в неделю, а там дойдет и до пяти сотен. Что скажешь?

— Меня тошнит,— сказал Эттил. От выпитого коктейля он весь посинел.

— Э, прошу прощения. Я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух.

На свежем воздухе Эттилу стало полегче.

— Так вот почему Земля нас так встретила? — спросил он и покачнулся.

— Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать, ради доллара всякий расстарается. Покупатель всегда прав. Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в девять утра приезжай в Голливуд, на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в одиннадцать, тогда потолкуем. Ровно в девять, смотри не опаздывай. У нас порядок строгий.

— А почему?

— Чудак ты, Галлахер! Но ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения!

Автомобиль отъехал.

Эттил поглядел ему вслед, поморгал растерянно. Потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан.

— Как же теперь быть? — вслух спросил он себя.

Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали, из города, доносился гул, там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи: с одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок; судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют; и за ним без конца гонялась от столика к столику женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал:

— Дышать нечем... заманили, раздавили...

Понемногу всхлипывания затихли. Эттил вышел из густой тени и направился к кораблям, надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке вповалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились еще и другие звуки: приглушенно урчат машинки в барах, готовят солодовый напиток, от которого воины обростут жирком, станут ленивыми и беспамятными; в пещерах кинотеатров вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон — от него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца дней.

Пройдет год — и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько покончат с собой?

Эттил стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него.

Перед ним выбор: остаться на Земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, являться по утрам минута в минуту и начать понемногу поддакивать шефу — да, мол, конечно, бывала на Марсе жестокая резня; да, наши женщины высокие и белокурые; да, у нас есть разные племена и у каждого свои пляски и жертвоприношения, да, да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс.

— А что будет через год? — сказал он вслух.

На Марсе откроют Ночной Клуб Голубого канала. И Казино Древнего города. Да, в самом сердце марсианского Древнего города устроят игорный притон! И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам, и шумные компании затеют веселье на могилах предков, — да, не миновать.

Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилла и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно — дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать — то недолгое время, что еще остается им, пока не свалится с неба неоновое безумие.

А потом, быть может, они с Тиллой найдут убежище в синих горах, будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться — ах, какой дивный вид!

Он уже точно знал, что скажет Тилле:

— Война ужасна, но мир подчас куда страшнее.

Он стоял посреди широкой пустынной дороги. Обернулся — и без малейшего удивления увидел: прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Мальчишки и девочки лет по шестнадцать, не больше, гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону. Указывают на него пальцами, истошно вопят. Мотор ревет все громче. Скорость — шестьдесят миль в час.

Эттил кинулся бежать. Машина настигала.

«Да, да, — устало подумал он. — Как странно, как печально... и рев, грохот... точь-в-точь бетономешалка».

Тот, кто ждет

Я живу в колодце. Я живу в нем подобно туману, подобно пару в каменной глотке. Я не двигаюсь, я ничего не делаю, я лишь жду. Надо мной мерцают холодные звезды ночи, блещет утреннее солнце. Иногда я пою древние песни этого мира, песни его юности. Как мне объяснить, кто я, если я не знаю этого сам? Я и дымка, и лунный свет, и память. И я стар. Очень стар. В прохладной тиши колодца я жду своего часа и уверен, что когда-нибудь он придет...

Сейчас утро. Я слышу нарастающие раскаты грома. Я чую огонь и улавливаю скрежет металла. Мой час близится. Я жду:

Далекое голоса:

— Марс! Наконец-то!

Чужой язык, он незнаком мне. Я прислушиваюсь.

— Пошлите людей на разведку!

Скрип песка. Ближе, ближе.

— Где флаг?

— Здесь, сэр.

— Ладно.

Солнце стоит высоко в голубом небе, его золотистые лучи наполняют колодец, и я парю в них, как цветочная пыльца, невидимый в теплом свете.

— Именем Земли объявляю территорию Марса равно принадлежащей всем нациям!

Что они говорят? Я нежусь в теплом свете солнца, праздный и незримый, золотистый и неутомимый.

— Что там такое?

— Колодец!

— Быть этого не может!

— Точно! Идите сюда.

Я ощущаю приближение теплоты. Над колодцем склоняются три фигуры, и мое холодное дыхание касается их лиц.

— Вот это да-а-а!

— Как ты думаешь, вода хорошая?

— Сейчас проверим.

— Принесите склянку и веревку!

— Сейчас.

Шаги удаляются. Потом приближаются снова. Я жду.

— Опускайте. Полегче, полегче.

Преломленные стеклом блики солнца во мраке колодца. Веревка медленно опускается. Стекло коснулось поверхности, и по воде побежала мелкая рябь. Я медленно плыву вверх.

— Так, готово. Риджент, ты сделаешь анализ?

— Давай.

— Ребята, вы только посмотрите, до чего красиво выложен этот колодец! Интересно, сколько ему лет?

— Кто его знает? Вчера, когда мы приземлились в том городе, Смит уверял, что марсианская цивилизация вымерла добрых десять тысяч лет назад.

— Ну, что там с водой, Риджент?

— Чиста как слеза. Хочешь попробовать?

Серебряный звон струи в палящем зное.

— Джонс, что с тобой?

— Не знаю. Ни с того ни с сего голова заболела.

— Может быть, от воды?

— Нет, я ее не пил. Я это почувствовал, как только наклонился над колодцем. Сейчас уже лучше.

Теперь мне известно, кто я. Меня зовут Стивен Леонард Джонс, мне 25 лет, я прилетел с планеты Земля и вместе с моими товарищами Риджентом и Шоу стою возле древнего марсианского колодца.

Я рассматриваю свои загорелые, сильные руки. Я смотрю на свои длинные ноги, на свою серебристую форму, на своих товарищей.

— Что с тобой, Джонс? — спрашивают они.

— Все в порядке, — отвечаю я. — Ничего особенного.

Как приятно есть! Тысячи, десятки тысяч лет я не знал этого чувства. Пища приятно обволакивает язык, а вино, которым я запиваю ее, теплом разливается по телу. Я прислушиваюсь к голосам товарищей. Я произношу незнакомые мне слова и все же как-то их понимаю. Я смакую каждый глоток воздуха.

— В чем дело, Джонс?

— А что такое? — спрашиваю я.

— Ты так дышишь, словно простудился, — говорит один из них.

— Наверно, так оно и есть, — отвечаю я.

— Тогда вечером загляни к врачу.

Я киваю — до чего же приятно кивнуть головой! После перерыва в десять тысяч лет приятно делать все. Приятно вдыхать воздух, приятно чувствовать солнце, прогревающее тебя до самых костей, приятно ощущать теплоту собственной плоти, которой ты был так долго лишен, и слышать все звуки четче и яснее, чем из глубины колодца. В упоении я сижу у колодца.

— Очнись, Джонс! Нам пора идти.

— Да, — говорю я, восторженно ощущая, как слово, скользнув с языка, медленно тает в воздухе.

Риджент стоит у колодца и смотрит вниз. Остальные потянулись назад, к серебряному кораблю.

Я чувствую улыбку на своих губах.

— Он очень глубокий, — говорю я.

— Да?

— В нем ждет нечто, когда-то имевшее свое тело, — говорю я и касаюсь его руки.

Корабль — серебряное пламя в дрожащем мареве. Я подхожу к нему. Песок хрустит под ногами. Я ощущаю запах ракеты, оплывающей в полуденном зное.

— Где Риджент? — спрашивает кто-то.

— Я оставил его у колодца, — отвечаю я.

Один из них бежит к колодцу.

Меня начинает знобить. Слабая дрожь, идущая изнутри, постепенно усиливается. Я впервые слышу голос. Он таится во мне — крошечный, испуганный — и молит: «Выпустите меня! Выпустите!» Словно кто-то, затерявшись в лабиринте, носится по коридору, барабанит в двери, умоляет, плачет.

— Риджент в колоде!

Все бросаются к колоде. Я бегу с ними, но мне трудно. Я болен. Я весь дрожу.

— Наверное, он свалился туда. Джонс, ведь ты был с ним? Ты что-нибудь видел? Джонс! Ты слышишь? Джонс! Что с тобой?

Я падаю на колени, мое тело сотрясается как в лихорадке.

— Он болен,— говорит один, подхватывая меня.— Ребята, помогите-ка.

— У него солнечный удар.

— Нет! — шепчу я.

Они держат меня, сотрясаемого судорогами, подобными землетрясению, а голос, глубоко спрятанный во мне, рвется наружу: «Вот Джонс, вот я, это не он, не он, не верьте ему, выпустите меня, выпустите!»

Я смотрю вверх, на склонившиеся надо мной фигуры, и мои веки вздрагивают. Они трогают мое запястье.

Сердце в порядке.

Я закрываю глаза. Крик внутри обрывается, дрожь прекратилась. Я вновь свободен, я поднимаюсь вверх, как из холодной глубины колодца.

— Он умер,— говорит кто-то.

— От чего?

— Похоже на шок.

— Но почему шок? — говорю я. Меня зовут Сешенс, у меня энергичные губы, и я капитан этих людей. Я стою среди них и смотрю на распростертое на песке тело. Я хватаюсь за голову.

— Капитан?!

— Ничего. Сейчас пройдет. Резкая боль в голове. Сейчас. Уже все в порядке.

— Давайте уйдем в тень, сэр.

— Да,— говорю я, не сводя глаз с Джонса.— Нам не стоило прилетать сюда. Марс не хочет этого.

Мы несем тело назад, к ракете, и я чувствую, как где-то во мне новый голос молит выпустить его. Он таится в самой глубине моего тела.

На этот раз дрожь начинается гораздо раньше. Мне очень трудно сдерживать этот голос.

— Спрячьтесь в тени, сэр. Вы плохо выглядите.

— Да,— говорю я.— Помогите!

— Что, сэр?

— Я ничего не сказал.

— Вы сказали «помогите».

— Разве я что-то сказал, Мэтьюз?

У меня трясутся руки. Пересохшие губы жадно хватают воздух. Глаза вылезают из орбит. «Не надо! Не надо! Помогите мне! Помогите! Выпустите меня!»

— Не надо,— говорю я.

— Что, сэр?

— Ничего. Я должен освободиться,— говорю я и зажимаю себе рот руками.

— Что с вами, сэр? — кричит Мэтьюз.

— Немедленно все возвращайтесь назад, на Землю! — кричу я.

Я достаю пистолет.

Выстрел. Крики оборвались. Я со свистом падаю куда-то в пространство.

Как приятно умирать после десяти тысяч лет ожидания! Как приятно чувствовать прохладу и слабость! Как приятно ощущать, что жизнь горячей струей покидает тебя и на смену идет спокойное очарование смерти! Но это не может продолжаться долго.

Выстрел.

— Боже, он покончил с собой! — кричу я и, открывая глаза, вижу капитана, лежащего около ракеты. В его окровавленной голове зияет дыра, а глаза широко раскрыты. Я наклоняюсь и дотрагиваюсь до него.

— Глупец! Зачем он это сделал?

Люди испуганы. Они стоят возле двух трупов, оглядываются на марсианские пески и видневшийся вдали колодец, на дне которого покоится Риджент. Они поворачиваются ко мне. Один из них говорит:

— Теперь ты капитан, Мэтьюз.

— Знаю.

— Нас теперь только шестеро.

— Как быстро это случилось!

— Я не хочу быть здесь! Выпустите меня!

Люди вскакивают. Я уверенно подхожу к ним.

— Послушайте,— говорю я и касаюсь их рук, локтей, плеч.

Мы умолкаем. Теперь мы — одно.

— Нет, нет, нет, нет, нет, нет! — кричат голоса из темниц наших тел.

Мы молча смотрим друг на друга, на наши бледные лица и дрожащие руки. Потом мы все как один поворачиваем голову и обращаем взгляд к колодцу.

— Пора,— говорим мы.

— Нет, нет, нет,— кричат шесть голосов.

Наши ноги шагают по песку, как двенадцать пальцев одной огромной руки.

Мы склоняемся над колодецем. Из прохладной глубины на нас смотрят шесть лиц.

Один за другим мы перегибаемся через край и один за другим несемся навстречу мерцающей глади воды.

Я живу в колодеце. Я живу в нем подобно туману, подобно пару в каменной глотке. Я не двигаюсь, я ничего не делаю, я лишь жду. Надо мной мерцают холодные звезды ночи, блещет утреннее солнце. Иногда я пою древние песни этого мира, песни его юности. Как мне объяснить, кто я, если я не знаю этого сам? Я просто жду.

Солнце садится. На небо выкатываются звезды. Далеко-далеко вспыхивает огонек. Новая ракета приближается к Марсу...

Земляничное окошко

Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами, — тут и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляют большое стекло посредине; одни цветом как вино, как настойка или фруктовое желе, другие — прохладные как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил:

— Гляди!

И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята.

— Гляди!

Сиреневое стекло обращало прохожих в гроздь блеклого винограда. И наконец, земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало алой расцветной дымкой, а свежескошенная лужайка становилась точь-в-точь ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями веселых огоньков.

— А-ах...

Он проснулся.

Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, слушал, как печально звучат их голоса... Так бормочет ветер, вздымая белый песок со дна пересохших морей, среди синих холмов... И тогда он вспомнил.

Мы на Марсе.

— Что? — вскрикнула спросонок жена.

А он и не заметил, что сказал это вслух; он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться. Но уже возвращалось чувство реальности и с ним странное оцепенение; вот жена встала, бродит по комнате точно призрак: то к одному окну подойдет, то к другому — а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко — и подолгу смотрит на ясные, но чужие звезды.

— Кэрри, — прошептал он.

Она не слышала.

— Кэрри, — шепотом повторил он, — мне надо сказать тебе... целый месяц собирался. Завтра... завтра утром у нас будет...

Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд точно каменная и даже не смотрела в его сторону.

Он зажмурился.

Вот если бы солнце никогда не заходило, думал он, если бы ночей вовсе не было... ведь днем он сколачивает сборные дома будущего поселка, мальчики в школе, а Кэрри хлопочет по хозяйству — уборка, стряпня, огород... Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки, и тогда в темноте, как ночные птицы, ко всем слетаются воспоминания.

Жена пошевелилась, чуть повернула голову.

— Боб, — сказала она наконец, — я хочу домой.

— Кэрри!

— Здесь мы не дома, — сказала она.

В полутьме ее глаза блестели, полные слез.

— Потерпи еще немножко, Кэрри.

— Нет у меня больше никакого терпения!

Двигаясь как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху — машинально, не глядя. Сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и с застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет, будет думать, вспоминать. Ну а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены?

— Боб... — в ее голосе не слышно горечи, он тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение. — За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не долж-

на ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку? Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное. И какой-никакой хрусталь. И мебель в гостиной... ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю... И китайская люстра с подвесками, как подует ветер, они и звенят. А в летний вечер сидишь на веранде и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости... все это неважно. Но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости.

— Да разве ты виновата?— сказал он.— Марс — место чужое. Тут все не как дома — и пахнет чудно, и на глаз непривычно, и на ощупь. Я и сам ночами про это думаю. А на Земле какой славный наш городок!

— Весной и летом весь в зелени,— подхватила жена.— А осенью все желтое да красное. И дом у нас был славный. И какой старый! Господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! По ночам, бывало, я все слушала, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое — и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья: собрались ночью вокруг родные и баюкают — спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят. Надо, чтобы в доме жило много народу — отцы, деды, внуки, тогда он с годами и обживется, и согреется. А эта наша коробочка... да она и не знает, что я тут, ей все едино, жива я или померла. И голос у нее жестяной, а жесть — она холодная. У нее и пор таких нет, чтоб годы впитались. Погребка нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения. Знаешь, Боб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и со всем новым можно бы сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься.

В темноте он кивнул:

— Я и сам так думал.

Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики. И протянула руку.

— Кэрри!

— Что?

Он порывисто сел, спустил ноги на пол.

— Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной Марс, моря эти засохшие... и...— Он запнулся, трудно глотнул.— Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за десять лет, так вот, я их истратил, все как есть, без остатка.

— Боб!!!

— Я их выбросил. Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят, и...

— Как же так, Боб? — Она повернулась к нему.— Стало быть, мы торчали здесь, на Марсе, терпели здешнюю жизнь и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просадил?

— Сам не знаю, может, я просто рехнулся,— сказал он.— Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря — ну что ж, чемоданы — вот они, а ракета на Землю идет четыре раза в неделю.

Кэрри не шевельнулась.

— Боб, Боб...— шептала она.

— Не говори сейчас, не надо,— попросил муж.

— Боб, Боб...

Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове ровные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе.

Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова, лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь, в длинный-длинный туннель — когда же там, в конце, забрезжит рассвет?

Она поднялась чуть свет, но тесный домишко не ожил — стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе, и под конец от этого молчания уже хотелось завопить; никто не смотрел прямо в лицо другому, все следили друг за другом исподтишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы,— искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом наконец отворили дверь (в дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибором одни лишь

голубые пески), и вышли под голое, пристальное, холодное небо, и побрели к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков.

— Куда мы идем? — спросила Кэрри.

— На космодром, — ответил муж. — Но по дороге я должен вам много чего сказать.

Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой; он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова.

— Я верю в Марс, — начал он негромко. — Верю, придет время — и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому. Это как с лососем, каждый год та же история. Лосось, он и сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады перескакивает — и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом помирает, и все начинается сызнова. Родовая память, инстинкт — назови как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда.

Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились под ногами по недавно проложенному шоссе.

— Вот и мы забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше? Верно. Еще дальше. А почему? Когда-нибудь настанет день — и наше Солнце взорвется, как дырявый котел. Бац — и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает, а если и пострадает, так, может, Плутон уцелеет, а если нет, что тогда будет с нами, то бишь с нашими праправнуками?

Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы.

— Что ж, мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер... скажем, шестая планета девяносто седьмой звездной системы или планета номер два системы девяносто девять! И такая это чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь! Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подальше — и уцелеем! И тут я сказал себе: ага! Вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты!

— Боб...

— Погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят — летим, чтобы разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят — для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле внутри знай что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаешь, что они говорят? Иди дальше, говорят, не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом, хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы.

— Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, а на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью — так вот, сейчас то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жать не придется. О Господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: **ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ ЗЕМЛЯ ОБРАТИТСЯ В ЛЕД!** Когда-то мальчишкой я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает — чего ты? А я отвечаю — мне их всех жалко, бедняг, которые тогда будут жить на свете. А мать говорит — ты о них не беспокойся. Так вот, Кэрри, я про что говорю: на самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтобы Человек с большой буквы жил и жил. Для меня Человек с большой буквы — это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода-племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия. Так вот, есть один-единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять вселенную. Тогда, если где-то в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападут ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере или где там еще люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал: вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или, может, ночь, и вы сами услышите, как в

вас тоже тикают эти часики, и сами все поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова, и, может, я слишком важно рассуждаю, я ведь невелика птица, даже ростом не вышел, но только ты мне поверь — это все чистая правда.

Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах.

— А что же сегодняшнее утро? — спросила Кэрри.

— Сейчас и про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит: если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал: чего нам больше всего недостает? Каких-то старых вещей, к которым мы привыкли, — и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-богу, я этим старьем воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится: тысячу лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит старое того, чтоб вложить в него все наши деньги, думаю? Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого старого. Ну ладно, а новое стоит того, чтоб вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, согласен! Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая, того гляди, затолкает нас обратно на Землю, так я своими руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой!

Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает.

— Сегодня утром прибыла грузовая ракета, — сказал он негромко. — Она привезла кое-что и для нас. Пойдем получим.

Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения — двери ее только что открылись.

— Расскажи еще про лосося, — сказал один из мальчиков.

Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой напрокат грузовой машине; кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами — длинными, высокими, низенькими, плоскими; все это было пронумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: «Марс, Нью-Тоledo, Роберту Прентису».

Машина остановилась перед сборным домиком, мальчики прыгнули наземь и помогли матери выйти. Боб еще с минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь.

К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря и вся семья стояла и оглядывала их.

— Поди сюда, Кэрри...

Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо.

— Послушай-ка.

Деревянные ступеньки зашуршали, заговорили под ногами.

— Ну-ка, что они говорят; а?

Она стояла на ветхом крыльечке, сосредоточенная, задумчивая, и не могла вымолвить ни слова в ответ. Он повел рукой:

— Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас только и есть парадное крыльцо, кой-какая мебель для гостиной да старая кровать.

— Все наши деньги, Боб!

Он с улыбкой обернулся к ней:

— Ты же не сердись? Ну-ка погляди на меня! Ясно, не сердись. Через год ли, через пять мы все перевезем. И хрустальные вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в девятьсот шестьдесят первом. И пожалуйста, пускай солнце взрывается!

Они обошли другие ящики, читая номера и надписи: качели с веранды, качалка, китайские подвески...

— Я сам буду на них дуть, чтоб звенели!

На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко.

— Что ты там видишь?

Но он и сам знал, что она видит, он тоже смотрел в это окошко. Вот он, Марс, холодное небо потеплело, мертвые моря запылали, холмы стали как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие уголья. Земляничное окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом непреходящей зари. И, наклонясь, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал:

— Через год уже и здесь будет город. Будет тенистая улица, будет у тебя веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем, это самая малость, зато свое, привычное, а там дальше — больше, скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила.

Он сбегал с крыльца, подошел к последнему, еще не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал парусину.

— Угадай, что это? — сказал он.

— Моя кухонная плита? Печка?

— Ничего похожего! — Он тихонько, ласково улыбнулся. —

Спой мне песенку, — попросил он.

— Ты совсем с ума сошел, Боб.

— Спой песенку, да такую, чтоб стоила всех денег, которые у нас были да сплыли — и наплевать, не жалко!

— Так ведь я одну только и умею — «Дженни, Дженни, голубка моя...»

— Вот и спой.

Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами.

Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать вполголоса; наконец он нащупал то, что искал, и в утренней тишине прозвенел чистый фортепьянный аккорд.

— Вот так, — сказал Роберт Прентис. — А теперь споем эту песню с начала и до конца. Все вместе, дружно!

Были они смуглые и золотоглазые

Ракета остывала, обдуваемая ветром с лугов. Шелкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь, по марсианскому лугу, и этот человек остался один со своей семьей.

Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась, чувство было такое, словно он очутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось — сейчас она улетит, рассеется как дым. И детей — пушинки одуванчика — вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса.

Дети подняли головы и посмотрели на него — так смотрят люди на солнце, чтоб определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло.

— Что-нибудь не так? — спросила жена.

— Идем назад, в ракету.

— Ты хочешь вернуться на Землю?

— Да. Слушай!

Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг — и воздух Марса высосет его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое.

Они смотрели на невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древние города, затерянные в лугах, будто хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав.

— Выше голову, Гарри! — сказала жена. — Отступать поздно. Мы пролетели шестьдесят с лишком миллионов миль.

Светловолосые дети громко закричали, словно бросая вызов высокому марсианскому небу. Но отклика не было, только быстрый ветер свистел в жесткой траве.

Похолодевшими руками человек подхватил чемоданы.

— Пошли.

Он сказал это так, будто стоял на берегу и надо было войти в море и утонуть.

Они вступили в город.

Его звали Гарри Битеринг, жену — Кора, детей — Дэн, Лора и Дэвид. Они построили себе маленький белый домик, где приятно было утром вкусно позавтракать, но страх не уходил. Непрошенный собеседник, он был третьим, когда муж и жена шептались за полночь в постели и просыпались на рассвете.

— У меня знаешь какое чувство? — говорил Гарри. — Будто я крупинка соли и меня бросили в горную речку. Мы здесь чужие. Мы — с Земли. А это Марс. Он создан для марсиан. Ради всего святого, Кора, давай купим билеты и вернемся домой!

Но жена только головой качала:

— Рано или поздно Земле не миновать атомной бомбы. А здесь мы уцелеем.

— Уцелеем, но сойдем с ума!

«Тик-так, семь утра, вставать пора!» — пел будильник.

И они вставали.

Какое-то смутное чувство заставляло Битеринга каждое утро осматривать и проверять все вокруг, даже теплую почву и ярко-красные герани в горшках, он словно ждал — вдруг случится неладное?! В шесть утра ракета с Земли доставляла свеженькую, с пылу, с жару, газету. За завтраком Гарри просматривал ее. Он старался быть общительным.

— Сейчас все — как было в пору заселения новых земель, — бодро рассуждал он. — Вот увидите, через десять лет на Марсе будет миллион землян. И большие города будут, и все на свете! А говорили, ничего у нас не выйдет. Говорили, марсиане

не простят нам вторжения. Да где ж тут марсиане? Мы не встретили ни души. Пустые города нашли, это да, но там никто не живет. Верно я говорю?

Дом захлестнуло бурным порывом ветра. Когда перестали дребезжать оконные стекла, Битеринг с трудом сглотнул и обвел взглядом детей.

— Не знаю,— сказал Дэвид,— может, кругом и есть марсиане, да мы их не видим. Ночью я их вроде слышу иногда. Ветер слышу. Песок стучит в окно. Я иногда пугаюсь. И потом, в горах еще целы города, там когда-то жили марсиане. И знаешь, папа, в этих городах вроде что-то прячется, кто-то ходит. Может, марсианам не нравится, что мы сюда заявились? Может, они хотят нам отомстить?

— Чепуха! — Битеринг поглядел в окно.— Мы народ порядочный, не свиньи какие-нибудь.— Он посмотрел на детей.— В каждом вымершем городе водятся привидения. То бишь воспоминания.— Теперь он неотрывно смотрел вдаль, на горы.— Глядишь на лестницу и думаешь: а как по ней ходили марсиане, какие они были с виду? Глядишь на марсианские картины и думаешь: а на что был похож художник? И воображаешь себе этакий маленький призрак, воспоминание. Вполне естественно. Это все фантазия.— Он помолчал.— Надеюсь, ты не забирался в эти развалины и не рыскал там?

Дэвид, младший из детей, потупился.

— Нет, папа.

— Смотри, держись от них подальше. Передай-ка мне варенье.

— А все-таки что-нибудь да случится,— сказал Дэвид.— Вот увидишь!

Это случилось в тот же день. Лора шла по улице неверными шагами, вся в слезах. Как слепая, шатаясь, взбежала на крыльцо.

— Мама, папа... на Земле война! — Она громко всхлипнула.— Только что был радиосигнал. На Нью-Йорк сброшены атомные бомбы! Все межпланетные ракеты взорвались. На Марс никогда больше не прилетят ракеты, никогда!

— Ох, Гарри! — Миссис Битеринг пошатнулась, ухватила за мужа и дочь.

— Это верно, Лора? — тихо спросил Битеринг.

Девушка заплакала в голос:

— Мы пропадем на Марсе, никогда нам отсюда не выбраться!

И долго никто не говорил ни слова, только шумел предвечерний ветер.

«Одни,— думал Битеринг.— Нас тут всего-то жалкая тысяча. И нет возврата. Нет возврата. Нет». Его бросило в жар от страха, он обливался потом, лоб, ладони, все тело стало влажное. Ему хотелось ударить Лору, закричать: «Неправда, ты лжешь! Ракеты вернутся!» Но он обнял дочь, погладил по голове и сказал:

— Когда-нибудь ракеты все-таки прорвутся к нам.

— Что ж теперь будет, отец?

— Будем делать свое дело. Возделывать поля, растить детей. Ждать. Жизнь должна идти своим чередом, а там война кончится, и опять прилетят ракеты.

На крыльцо поднялись Дэн и Дэвид.

— Мальчики,— начал отец, глядя поверх их голов,— мне надо вам кое-что сказать.

— Мы уже знаем,— сказали сыновья.

Несколько дней после этого Битеринг часами бродил по саду, в одиночку борясь со страхом. Пока ракеты плели свою серебряную паутину меж планетами, он еще мог мириться с Марсом. Он твердил себе: если захочу, завтра же куплю билет и вернусь на Землю.

А теперь серебряные нити порваны, ракеты валяются бесформенной грудой оплавленных металлических каркасов и перепутанной проволоки. Люди Земли покинуты на чужой планете, среди смуглых песков, на пьянящем ветру; их жарко позолотит марсианское лето и уберут в житницы марсианские зимы. Что станет с ним и с его близкими? Марс только и ждал этого часа. Теперь он их пожрет.

Сжимая трясущимися руками заступ, Битеринг опустился на колени возле клумбы. «Работать,— думал он,— работать и забыть обо всем на свете».

Он поднял глаза и посмотрел на горы. Некогда у этих вершин были гордые марсианские имена. Земляне, упавшие с неба, смотрели на марсианские холмы, реки, моря — у всего этого были имена, но для пришельцев все оставалось безымянным. Некогда марсиане возвели города и дали названия городам; восходили на горные вершины и дали названия вершинам; плавали по морям и дали названия морям. Горы рассыпались, моря пересохли, города обратились в развалины. И все же земляне втайне чувствовали себя виноватыми, когда давали новые названия этим древним холмам и долинам.

Но человек не может жить без символов и ярлычков. И на Марсе назвали все по-новому.

Битерингу стало очень-очень одиноко — до чего же не ко времени и не к месту он здесь, в саду, до чего нелепо в чужую почву, под марсианским солнцем сажать земные цветы!

«Думай о другом. Думай непрестанно. О чем угодно. Лишь бы не помнить о Земле, об атомных войнах, о погибших ракетах».

Он был весь в испарине. Огляделся. Никто не смотрит... Снял галстук. «Ну и нахальство, — подумал он. — Сперва пиджак скинул, теперь галстук». Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового деревца — этот саженец он привез из штата Массачусетс.

И опять он задумался об именах и горах. Земляне переменили все имена и названия. Теперь на Марсе есть Хормелские долины, моря Рузвельта, горы Форда, плоскогорья Вандербилта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Первопоселенцы в Америке поступили мудрее: они оставили американским равнинам имена, которые дали им в старину индейцы: Висконсин, Миннесота, Айдахо, Огайо, Юта, Милуоки, Уокеган, Оссео. Древние имена, исполненные древнего значения.

Расширенными глазами он смотрел на горы. «Может быть, вы скрываетесь там, марсиане? Может быть, вы — мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор, гоните нас прочь! Мы бессильны!»

Порыв ветра осыпал его дождем персиковых лепестков.

Он протянул загорелую руку и вскрикнул. Коснулся цветов, собрал в горсть. Разглядывал, вертел и так и эдак.

Потом закричал:

— Кора!

Она выглянула в окно. Муж бросился к ней.

— Кора, смотри!

Жена повертела цветы в руках.

— Ты видишь? Они какие-то не такие. Они изменились. Персик цветет не так!

— А по-моему, самые обыкновенные цветы, — сказала Кора.

— Нет, не обыкновенные. Они неправильные! Не пойму, в чем дело. Лепестком больше, чем надо, или, может, лист лишний, цвет не тот, пахнут не так, не знаю!

Выбежали из дома дети и в изумлении остановились: отец метался от грядки к грядке, выдергивал редис, лук, морковь.

— Кора, иди посмотри!

Лук, редис, морковь переходили из рук в руки.

— И это, по-твоему, морковь!

— Да... нет. Не знаю... — растерянно отвечала жена.

— Все овощи стали какие-то другие.

— Да, пожалуй.

— Ты и сама видишь — они изменились! Лук не лук, морковка не морковка. Попробуй: вкус тот же и не тот. Понюхай: и пахнет не так, как прежде. — Битеринга обуял страх, сердце

колотилось. Он впился пальцами в рыхлую почву. — Кора, что же это? Что же это делается? Нельзя нам тут оставаться. — Он бегал по саду, ощупывал каждое дерево. — Смотри, розы! Розы... они стали зеленые!

И все стояли и смотрели на зеленые розы. А через два дня Дэн прибежал с криком:

— Идите поглядите на корову! Я доил ее и увидел. Идите скорей!

И вот они стоят в хлеву и смотрят на свою единственную корову.

У нее растет третий рог.

А лужайка перед домом понемногу, незаметно окрашивалась в цвет весенних фиалок. Семена привезены были с Земли, но трава росла нежно-лиловая.

— Нельзя нам тут оставаться, — сказал Битеринг. — Мы начнем есть эту дрянь с огорода и сами превратимся невесть во что. Я этого не допущу. Только одно и остается — сжечь эти овощи!

— Они же не ядовитые.

— Нет, ядовитые. Очень тонкая отравка. Капелька яда, самая капелька. Нельзя это есть. — Он в отчаянии оглядел свое жилище. — Дом — и тот отравлен. Ветер что-то такое с ним сделал. Воздух сжигает его. Туман по ночам разъедает. Доски все перекошились. Человеческие дома такие не бывают.

— Тебе просто мерещится!

Он надел пиджак, повязал галстук.

— Пойду в город. Надо скорей что-то предпринять. Сейчас вернусь.

— Гарри, стой! — крикнула вдогонку жена.

Но его уже и след простыл.

В городе на крыльце бакалейной лавки уютно сидели в тени мужчины, сложив руки на коленях; неторопливо текла беседа.

Будь у Битеринга револьвер, он бы выстрелил в воздух.

«Что вы делаете, дурачье! — думал он. — Рассиживаются тут как ни в чем не бывало. Вы же слышали — мы застряли на Марсе, нам отсюда не выбраться. Очнитесь, делайте что-нибудь! Неужели вам не страшно? Неужели не страшно? Как вы станете жить дальше?»

— Здорово, Гарри! — сказали ему.

— Послушайте, — начал Битеринг, — вы слышали вчера новость? Или, может, не слышали?

Люди закивали, засмеялись:

— Конечно, Гарри! Как не слышать!

— И что вы собираетесь делать?

— Делать, Гарри? А что ж тут поделаешь?

— Надо строить ракету, вот что!
— Ракету? Вернуться на Землю и опять вариться в этом котле? Брось, Гарри!

— Да неужели же вы не хотите на Землю? Видали, как зацвел персик? А лук, а трава?

— Вроде видали, Гарри. Ну и что? — сказал кто-то.

— И не напугались?

— Да не сказать, чтоб очень напугались.

— Дурачье!

— Ну что ты, Гарри!

Битеринг чуть не заплакал.

— Вы должны мне помочь. Если мы тут останемся, неизвестно, во что мы превратимся. Это все воздух. Вы разве не чувствуете? Что-то такое в воздухе. Может, какой-то марсианский вирус, или семена какие-то, или пыльца. Послушайте меня!

Все сводили с него глаз.

— Сэм,— сказал он.

— Да, Гарри? — отозвался один из сидевших на крыльце.

— Поможешь мне строить ракету?

— Вот что, Гарри. У меня есть куча всякого металла и кое-какие чертежи. Если хочешь строить ракету в моей мастерской, милости просим. За металл я с тебя возьму пятьсот долларов. Если будешь работать один, пожалуй, лет за тридцать построишь отличную ракету.

Все засмеялись.

— Не смейтесь!

Сэм добродушно смотрел на Битеринга.

— Сэм,— вдруг сказал тот,— у тебя глаза...

— Чем плохие глаза?

— Ведь они у тебя были серые?

— Право, не помню, Гарри.

— У тебя глаза были серые, ведь верно?

— А почему ты спрашиваешь?

— Потому что они у тебя стали какие-то желтые.

— Вот как? — равнодушно сказал Сэм.

— А сам ты стал какой-то высокий и тонкий.

— Может, оно и так.

— Сэм, это нехорошо, что у тебя глаза стали желтые.

— А у тебя, по-твоему, какие?

— У меня? Голубые, конечно.

— Держи, Гарри.— Сэм протянул ему карманное зеркальце.— Погляди-ка на себя.

Битеринг нерешительно взял зеркальце и посмотрелся.

В глубине его голубых глаз притаились чуть заметные золотые искорки.

Минуту было тихо.

— Эх ты,— сказал Сэм.— Разбил мое зеркальце!

Гарри Битеринг расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской, негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Битерингу поднять что-нибудь тяжелое. А больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались желтые искорки.

— Пора ужинать, Гарри,— напомнили они.

Пришла жена и принесла в корзинке ужин.

— Не стану я это есть,— сказал он.— Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике. Что мы привезли с Земли. А что тут в саду и в огороде выросло — это не для меня.

Жена стояла и смотрела на него.

— Не сможешь ты построить ракету.

— Когда мне было двадцать, я работал на заводе. С металлом я обращаться умею. Дай только начать, тогда и другие мне помогут,— говорил он, разворачивая чертежи, на жену он не смотрел.

— Гарри, Гарри,— беспомощно повторяла она.

— Мы должны вырваться, Кора. Нельзя нам тут оставаться!

По ночам под луной, в пустынном море трав, где уже двенадцать тысяч лет, точно забытые шахматы, белели марсианские города, дул и дул неотступный ветер. И дом Битеринга в поселке землян сотрясала дрожь неуловимых перемен.

Лежа в постели, Битеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка, и плавится, точно золото в тигле, и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая, солнце опалило ее чуть не дочерна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла, и тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз.

Страх ничем не уймешь. Он берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях.

На востоке взошла зеленая звезда.

Незнакомое слово слетело с губ Битеринга.

— *Йоррт*,— повторил он.— *Йоррт*.

Марсианское слово. Но он ведь не знает языка марсиан!

Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу.

— Послушай, Симпсон, что значит «Йоррт»?

— Да это старинное марсианское название нашей Земли.
А что?

— Так, ничего.

Телефонная трубка выскользнула у него из рук.

— Алло, алло, алло! — повторяла трубка. — Алло, Битеринг!
Гарри! Ты слушаешь?

А он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду.

Дни наполнены были звоном и лязгом металла. Битеринг собирал каркас ракеты, ему нехотя, равнодушно помогали три человека. За какой-нибудь час он очень устал, пришлось сесть передохнуть.

— Тут слишком высоко, — засмеялся один из помощников.

— А ты что-нибудь ешь, Гарри? — спросил другой.

— Конечно, ем, — сердито буркнул Битеринг.

— Все из холодильника?

— Да!

— А ведь ты худеешь, Гарри.

— Неправда!

— И росту в тебе прибавляется.

— Врешь!

Несколько дней спустя жена отвела его в сторону.

— Наши старые запасы все вышли. В холодильнике ничего не осталось. Придется мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе.

Битеринг тяжело опустился на стул.

— Надо ж тебе что-то есть, — сказала жена. — Ты совсем ослаб.

— Да, — сказал он.

Взял сэндвич, оглядел со всех сторон и опасливо откусил кусочек.

— Не работай больше сегодня, отдохни, — сказала Кора. — Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Пойдем, прошу тебя.

— Я не могу терять время. Все поставлено на карту!

— Хоть часок, — уговаривала Кора. — Поплаваешь, освежишься, это полезно.

Он встал весь в поту.

— Ладно уж. Хватит тебе. Иду.

— Вот и хорошо!

День был тихий, палило солнце. Точно исполинский жгучий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала, дети в купальных костюмах убежали вперед. Потом сделали привал, закусили сэндвичами с мясом. Гарри смотрел на жену, на

детей — какие они стали смуглые, совсем коричневые. А глаза — желтые, никогда они не были желтыми! Его вдруг затрясло, но скоро дрожь прошла, будто ее смыли жаркие волны, приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха — он слишком устал.

— Кора, с каких пор у тебя желтые глаза?

Она посмотрела с недоумением:

— Наверно, всегда были такие.

— А может, они были карие и пожелтели за последние три месяца?

Кора прикусила губу:

— Нет. Почему ты спрашиваешь?

— Так просто.

Посидели, помолчали.

— И у детей тоже глаза желтые, — сказал Битеринг.

— Это бывает: дети растут, и глаза меняют цвет.

— Может быть, и мы тоже — дети. По крайней мере на Марсе. Вот это мысль! — Он засмеялся. — Поплывать, что ли.

Они прыгнули в воду. Гарри, не шевелясь, погружался все глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зеленой тишиной. Вокруг — безмятежная глубь, мир и покой. И тебя тихонько несет неторопливым, ровным течением.

«Полежать так подольше, — думал он, — и вода обработает меня по-своему, пожрет мясо, обнажит кости, точно кораллы. Только скелет и останется. А потом на костях вода построит свое, появятся наросты, водоросли, ракушки, разные подводные твари — зеленые, красные, желтые. Все меняется. Меняется. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. А разве не то же делается и там, наверху?»

Сквозь воду он увидел над головою солнце — тоже незнакомое, марсианское, измененное иным воздухом, и временем, и пространством.

«Там, наверху, — безбрежная река, — думал он, — марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки и затонувших валунов лежим на дне, точно раки-отшельники, и вода смывает нашу прежнюю плоть, и удлиняет кости, и...»

Он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность.

Дэн сидел на кромке канала и серьезно смотрел на отца.

— Ута, — сказал он.

— Что такое? — спросил Битеринг.

Мальчик улыбнулся:

— Ты же знаешь. «Ута» по-марсиански — отец.

— Где это ты выучился?

— Не знаю. Везде. Ута!

— Чего тебе?

Мальчик помялся.

— Я... я хочу зваться по-другому.

— По-другому?

— Да.

Подплыла мать.

— А чем плохое имя Дэн?

Дэн скорчил гримасу, пожал плечами.

— Вчера ты все кричала — Дэн, Дэн, Дэн, а я и не слышал. Думал, это не меня. У меня другое имя, я хочу, чтоб меня звали по-новому.

Битеринг ухватился за боковую стенку канала, он весь похолодел, медленно, гулко билось сердце.

— Как же это по-новому?

— Линл. Правда, хорошее имя? Можно, я буду Линл? Можно? Ну пожалуйста!

Битеринг провел рукой по лбу, мысли путались. Дурацкая ракета, работаешь один, и даже в семье ты один, уж до того один...

— А почему бы и нет? — услышал он голос жены.

Потом услышал свой голос:

— Можно.

— Ага-а! — закричал мальчик. — Я — Линл, Линл!

И, вопя и приплясывая, побежал через луга.

Битеринг посмотрел на жену:

— Зачем мы ему позволили?

— Сама не знаю, — сказала Кора. — Что ж, по-моему, это совсем не плохо.

Они шли дальше среди холмов. Ступали по старым, выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых и теперь еще разлетались водяные брызги. Дорожки все лето напролет покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлепать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам не жарко.

Подошли к маленькой, давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и отсюда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн для плавания. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов.

— Может, переедем сюда на лето? — сказала миссис Битеринг. — Вот было бы славно!

— Идем, — сказал муж. — Пора возвращаться в город. Надо кончать ракету, работы по горло.

Но в этот вечер за работой ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и все настойчивей думалось, что, пожалуй, не так уж и нужна эта ракета.

Текли дни, недели, и ракета все меньше занимала его мысли. Прежнего пыла не было и в помине. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детищу. Но как-то все так складывалось — жара, работать тяжело...

За раскрытой настежь дверью мастерской — негромкие голоса:

— Слыхали? Все уезжают.

— Верно. Уезжают.

Битеринг вышел на крыльцо:

— Куда это?

По пыльной дороге движутся несколько машин, нагруженных мебелью и детьми.

— Переселяются на виллы, — говорит человек на крыльце.

— Да, Гарри. И я тоже перееду, — подхватывает другой. — И Сэм тоже. Верно, Сэм?

— Верно. А ты, Гарри?

— У меня тут работа.

— Работа! Можешь достроить свою ракету осенью, когда станет попрохладнее.

Битеринг перевел дух:

— У меня уже каркас готов.

— Осенью дело пойдет лучше. — Ленивые голоса словно таили в раскаленном воздухе.

— Мне надо работать, — повторил Битеринг.

— Отложи до осени, — возразили ему, и это звучало так здраво, так разумно.

«Осенью дело пойдет лучше, — подумал он. — Времени будет вдоволь...»

Нет! — кричало что-то в самой глубине его существа, запртанное далеко-далеко, запертое наглухо, задыхающееся. — Нет, нет!»

— Осенью, — сказал он вслух.

— Едем, Гарри, — сказали ему.

— Ладно, — согласился он, чувствуя, как тает, плавится в знойном воздухе все тело. — Ладно, до осени. Тогда я опять возьмусь за работу.

— Я присмотрел себе виллу у Тирра-канала, — сказал кто-то.

— У канала Рузвельта, что ли?

— Тирра. Это старое марсианское название.

— Но ведь на карте...

— Забудь про карту. Теперь он называется Тирра. И я отыскал одно местечко в Пилланских горах.

— Это горы Рокфеллера? — переспросил Битеринг.

— Это Пилланские горы, — сказал Сэм.

— Ладно, — сказал Битеринг, окутанный душным, непроницаемым саваном зноя. — Пускай Пилланские.

Назавтра, в тихий, безветренный день, все усердно грузили вещи в машину.

Лора, Дэн и Дэвид таскали узлы и свертки. Нет, узлы и свертки таскали Ттил, Линл и Верр — на другие имена они теперь не отзывались.

Из мебели, что стояла в их белом домике, не взяли с собой ничего.

— В Бостоне наши столы и стулья выглядели очень мило, — сказала мать. — И в этом домике тоже. Но для той виллы они не годятся. Вот вернемся осенью, тогда они опять пойдут в ход.

Битеринг не спорил.

— Я знаю, какая там нужна мебель, — сказал он немного погодя. — Большая, удобная, чтоб можно развалиться.

— А как с твоей энциклопедией? Ты, конечно, берешь ее с собой?

Битеринг отвел глаза.

— Я заберу ее на той неделе.

— А свои нью-йоркские наряды ты взяла? — спросили они дочь.

Девушка посмотрела с недоумением.

— Зачем? Они мне теперь ни к чему.

Выключили газ и воду, заперли двери и пошли прочь. Отец заглянул в кузов машины.

— Немного же мы берем с собой, — заметил он. — Против того, что мы привезли на Марс, это жалкая горсточка!

И сел за руль.

Долгую минуту он смотрел на белый домик — хотелось кинуться к нему, погладить стену, сказать: прощай! Чувство было такое, словно уезжает он в дальнее странствие и никогда понастоящему не вернется к тому, что оставляет здесь, никогда уже все это не будет ему так близко и понятно.

Тут с ним поравнялся на грузовике Сэм со своей семьей.

— Эй, Битеринг! Поехали!

И машина покатила по древней дороге вон из города. В том же направлении двигались еще шестьдесят грузовиков. Тяжелое, безмолвное облако пыли, поднятой ими, окутало покинутый городок. Голубела под солнцем вода в каналах, тихий ветер чуть шевелил листву странных деревьев.

- Прощай, город! — сказал Битеринг.
— Прощай, прощай! — замахали руками жена и дети.
И уж больше ни разу не оглянулись.

За лето до дна высохли каналы. Лето прошло по лугам, точно степной пожар. В опустевшем поселке землян лупилась и осыпалась краска со стен домов. Висящие на задворках автомобильные шины, что еще недавно служили детворе качелями, недвижно застыли в знойном воздухе, словно маятники остановившихся часов.

В мастерской каркас ракеты понемногу покрывался ржавчиной.

В тихий осенний день мистер Битеринг — он теперь был очень смуглый и золотоглазый — стоял на склоне холма над своей виллой и смотрел вниз, в долину.

— Пора возвращаться, — сказала Кора.

— Да, но мы не поедем, — спокойно сказал он. — Чего ради?

— Там остались твои книги, — напомнила она. — Твой парадный костюм. Твои *лэ*, — сказала она. — Твой *йор юеле рре*.

— Город совсем пустой, — возразил муж. — Никто туда не возвращается. Да и незачем. Совершенно незачем.

Дочь ткала, сыновья наигрывали песенки — один на флейте, другой на свирели, все смеялись, и веселое эхо наполняло мраморную виллу.

Гарри Битеринг смотрел вниз, в долину, на далекое селение землян.

— Какие странные, смешные дома строят жители Земли.

— Иначе они не умеют, — в раздумье отозвалась жена. — До чего уродливый народ. Я рада, что их больше нет.

Они посмотрели друг на друга, испуганные словами, которые только что сказались. Потом стали смеяться.

— Куда же они подевались? — раздумчиво произнес Битеринг.

Он взглянул на жену. Кожа ее золотилась, и она была такая же стройная и гибкая, как их дочь. А Кора смотрела на мужа — он казался почти таким же юным, как их старший сын.

— Не знаю, — сказала она.

— В город мы вернемся, пожалуй, на будущий год, — сказал он невозмутимо. — Или, может, еще через годик-другой. А пока что... мне жарко. Пойдем купаться?

Они больше не смотрели на долину. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная ключевая вода.

Прошло пять лет, и с неба упала ракета. Еще дымясь, лежала она в долине. Из нее высыпали люди.

— Война на Земле кончена! — кричали они. — Мы прилетели вам на выручку!

Но городок, построенный американцами, молчал, безмолвны были коттеджи, персиковые деревья, амфитеатры. В пустой мастерской ржавел жалкий остов недоделанной ракеты.

Пришельцы обшарили окрестные холмы. Капитан объявил своим штабом давно заброшенный кабачок. Лейтенант явился к нему с докладом:

— Город пуст, сэр, но среди холмов мы обнаружили местных жителей. Марсиан. Кожа у них темная. Глаза желтые. Встретили нас очень приветливо. Мы с ними немного потолковали. Они быстро усваивают английский. Я уверен, сэр, с ними можно установить вполне дружеские отношения.

— Темнокожие, вот как? — задумчиво сказал капитан. — И много их?

— Примерно шестьсот или восемьсот, сэр; они живут на холмах, в мраморных развалинах. Рослые, здоровые. Женщины у них красивые.

— А они сказали вам, лейтенант, что произошло с людьми, которые прилетели с Земли и выстроили этот поселок?

— Они понятия не имеют, что случилось с этим городом и с его населением.

— Странно. Вы не думаете, что марсиане тут всех перебили?

— Похоже, что это необыкновенно миролюбивый народ, сэр. Скорее всего город опустошила какая-нибудь эпидемия.

— Возможно. Надо думать, это одна из тех загадок, которые нам не разрешить. О таком иной раз пишут в книгах.

Капитан обвел взглядом комнату, запыленные окна и за ними — встающие вдаль синие горы, струящуюся в ярком свете воду каналов и услышал шелест ветра. И вздрогнул. Потом опомнился и постучал пальцами по карте, которую он давно уже приколол кнопками на пустом столе.

— У нас куча дел, лейтенант! — сказал он и стал перечислять. Солнце опускалось за синие холмы, а капитан бубнил и бубнил: — Надо строить новые поселки. Искать полезные ископаемые, заложить шахты. Взять образцы для бактериологических исследований. Работы по горло. А все старые отчеты утеряны. Надо заново составить карты, дать названия горам, рекам и прочему. Потребуется некоторая доля воображения.

Вон те горы назовем горами Линкольна, что вы на это скажете? Тот канал будет канал Вашингтона, а эти холмы... холмы можно назвать в вашу честь, лейтенант. Дипломатический ход. А вы из любезности можете назвать какой-нибудь город в

мою честь. Изящный поворот. И почему бы не дать этой долине имя Эйнштейна, а вон тот... да вы меня слушаете, лейтенант?

Лейтенант с усилием оторвал взгляд от подернутых ласковой дымкой холмов, что синели вдаль, за покинутым городом.

— Что? Да-да, конечно, сэр!

Огненные шары

Пламя расплескалось над сонными лужайками. Искры озарили лица дялюшек и тетушек. Опалили шутихи в сияющих карих глазах двоюродных братьев, и отгоревшие угли сыпались где-то вдалеке на сухую траву.

Преподобный отец Джозеф Дэниель Перегрин открыл глаза. Какой сон: он, и его родные, и огневая потеха над старинным дедушкиным домом в Огайо — так давно!

Он лежал, вслушиваясь в гулкую соборную тишину. В соседних кельях покоятся его товарищи — не мнится ли и им перед стартом звездолета «Распятие», что настало Четвертое июля? Да. Точно на заре Дня независимости ты, задыхаясь, ждешь первого фейерверка и с охапками громовых чудес выбегаешь на росистую мостовую.

Так и они, епископальные священники, затаили дыхание, прежде чем ринуться к Марсу, оставляя в бархатном соборе пространства ладанный след.

— Стоило ли нам лететь? — прошептал отец Перегрин. — Не на Земле ли нам должно искупать свои грехи? Не от своих ли судеб мы бежим?

Он поднялся; тело его двигалось медленно, вспоминая о клубнике, молоке и бифштексах.

— Или это простая леность? — размышлял он. — Или меня страшит мой путь?

Он шагнул под острые иглы душа.

— Но я отволоку тебя на Марс, тело мое, — говорил он себе. — Старые грехи оставим позади. А на Марсе — найдем новые?

Мысль почти восхитительная. Грехи, дотоле невообразимые. Не он ли сам написал статью «Проблемы греха в иных мирах», пусть ее и отвергали как недостаточно серьезную братья по вере?

Всего лишь прошлым вечером, за последней сигарой, они с отцом Стоуном обсуждали ее.

— На Марсе, — говорил сияющий отец Перегрин, — грех может оказаться добродетелью. И нам должно остерегаться добрых дел, ибо каждое из них может оказаться грешным! Потрясающе! Уже много веков миссионеров не ожидало столько приключений!

— Грех, — сухо ответил отец Стоун, — я распознаю и на Марсе.

— О, мы, священники, как лакмусовая бумажка, краснеем в присутствии греха, — отпарировал отец Перегрин. — Но что, если марсианская химия не позволит нам менять цвет? Если на Марсе есть иные чувства, то должны быть и незнакомые грехи.

— Без злого умысла нет ни греха, ни кары — так говорил Господь, — ответил отец Стоун.

— На Земле — согласен. Но что, если на Марсе грех оставляет свое зло в подсознании, сохраняя мысли и разум человека в беззломном неведении? Что тогда?

— Да что можно еще придумать из новых грехов?

Отец Перегрин подался вперед:

— Одиноким Адам был безгрешен. Добавьте Еву, и вы добавите искушение. Добавьте еще одного мужчину, и станет возможным прелюбодеяние. Прибавьте иной пол, новых людей, и грехи умножатся. Безрукие не способны душировать. Они не способны к убийству подобным способом. Дайте им руки, и вы дадите возможность нового насилия. Амебы не грешат — они размножаются делением. Они не желают жены ближнего своего, не убивают. Дайте им пол, руки, ноги — и вот вам убийство и прелюбодеяние. Добавляя или убирая руки, ноги, людей, вы добавляете или убираете грехи из списка возможных. Что, если на Марсе пять новых органов чувств, незримых частей тела, какие мы себе и вообразить не можем, — не найдем ли мы там и пять новых грехов?

— Похоже, вам нравятся подобные рассуждения, — выдавил отец Стоун, хватая воздух ртом.

— Поддерживаю остроту ума, святой отец, только и всего.

— Все мыслями жонглируете, как факелами и тарелками?

— Да. Потому что наша Церковь порой походит на живую пирамиду в балагане, когда поднимается занавес и замирают присыпанные белым тальком и цинковой пудрой фигуры, тшась изобразить Красоту. Выглядит чудесно. Но я надеюсь, что для меня всегда останется место побегать среди этих статуй. А вы, отец Стоун?

Тот поднялся.

— Думаю, нам лучше лечь. Через несколько часов мы двинемся на поиски ваших новых грехов, отец Перегрин.

Ракета была готова к старту.

Морозным утром шли, закончив молитвы, избранные проповедники Нью-Йорка, и Чикаго, и Лос-Анджелеса — Церковь посылала лучших из сынов своих — шли через город к заиндедевшему космодрому.

«Отец Перегрин,— вспоминал по пути святой отец слова епископа,— вы станете главой миссии, а отец Стоун — вашим помощником. Причины, побудившие меня избрать вас на столь ответственный пост, к прискорбию моему, оказались ясны не для всех. Но ваш памфлет о межзвездном грехе не остался непрочитанным. Вы гибкий человек. А Марс похож на старый чулан, на тысячи лет забытый, и грехи громоздятся там, точно рухлядь. Марс вдвое старше Земли; там вдвое больше было субботних вечеров, разгульного пьянства и подглядывания за женщинами, обнаженными, как белые выдры. И если мы откроем этот чулан, нас завалит мусором. Нам нужен человек с быстрым, гибким умом, чтобы лавина не погребла его. Тот, в ком слишком много догматизма, сломается. Я предчувствую, что вы устоите. Святой отец, этот пост — ваш».

Епископ; а за ним и все остальные преклонили колена.

Прозвучали благословения, окропили ракету брызги-святой воды. И, вставая, епископ еще раз обратился к отлетающим:

— Идите же с Богом; дабы подготовить марсиан к принятию истины Господней. Желаю вам набраться мудрости в пути.

Двадцать человек прошли мимо епископа, шурша рясами, по очереди влагая свои руки в его добрые ладони, прежде чем скрыться в благословенном снаряде.

— Может быть,— пробормотал в последнюю секунду отец Перегрин,— Марс — это ад? И он только ждет нас, чтобы взорваться огнем и серой?

— Помоги нам Боже,— отозвался отец Стоун.

Ракета взлетела.

Они покидали космос, как покидают прекраснейший из соборов. И шаг на Марс походил на первый шаг по мостовой через пять минут после того, как в церкви ты воистину ощутил любовь Господню.

Священники осторожно сошли по дымящемуся трапу и преклонили колена на марсианском песке, пока отец Перегрин возносил благодарственную молитву.

— Благодарим тебя, Господи, за путь сквозь пространства твои. Достигли мы новой земли, Господи, так дай нам и глаза новые. Новые звуки будут слышны нам, так дай же новые уши. И будут нам грехи новые, потому молим тебя — укрепи и очисти сердца наши. Аминь.

Они встали.

Словно подводная лодка, ищущая следы жизни в океанских глубинах, шли они по Марсу. То была земля неизведанного греха. Как осторожно придется им взвешивать легчайшие перышки дел — потому что сами шаги их могут оказаться грешными, или дыхание, или даже пост!

Мэр Первого города приветствовал их с распростертыми объятиями:

— Чем могу помочь вам, отец Перегрин?

— Мы хотели бы разузнать о марсианах. Только зная, каковы они, мы сможем разумно построить для них церковь. Если они десяти футов роста, мы сделаем высокие двери. Если их кожа синего, или зеленого, или красного цвета, мы по-новому раскрасим витражи. Если они тяжелы, мы сделаем скамьи покрепче.

— Не думаю, святой отец,— ответил мэр,— что вам стоит беспокоиться за марсиан. Их два вида. Одна раса почти вымерла, а те, кто остался, таятся от нас. А вторая — они не совсем люди.

— Да? — Сердце отца Перегрин забилось чаще.

— Это сияющие огненные шары, святой отец. Они живут в тех холмах. Люди ли они, звери — кто скажет? Но я слышал, что действуют они разумно.— Мэр пожал плечами.— Конечно, они не люди, так что вряд ли вам...

— Наоборот,— быстро перебил его отец Перегрин.— Вы ведь сказали «разумно»?

— Так говорят,— ответил мэр.— Один старатель сломал в этих холмах ногу. Он бы там и умер, но налетели синие огненные шары. Очнулся он на шоссе, а как попал туда — не помнит.

— Пьян был,— предположил отец Стоун.

— Так говорят,— повторил мэр.— Отец Перегрин, марсиане все вымерли, остались только эти синие шары. Я, честно говоря, думаю, что вам лучше отправиться в Первый город. Марс оживает. Теперь это целина, как прежде на Земле — Дикий Запад и Аляска. Люди рвутся сюда. В Первом городе пара тысяч ирландских механиков, горняков и поденщиков, чьи души срочно пора спасать,— слишком уж много с ними падших женщин, слишком много они пьют десятивекового вина...

Отец Перегрин смотрел в сторону пологих голубых холмов.

Отец Стоун прокашлялся.

— Да, отец?

Отец Перегрин не слышал.

— Шары синего огня?

— Да, святой отец.

— Ох,— выдохнул отец Перегрин.

— Синие шарики.— Отец Стоун покачал головой.— Цирк какой-то!

В запястьях отца Перегринна забились жилы. Он видел пограничный городок с его грехами — свеженькими, только что собранными, и видел холмы, древние самым древним и все же новым для него грехом.

— Мэр, смогут ли ваши ирландцы пожариться в аду еще денек?

— Ради вас я их переверну, чтобы не подгорели, отец.

— Тогда мы отправимся туда.— Отец Перегрин кивнул в сторону холмов.

Священники зароптали.

— Слишком просто будет отправиться в город,— объяснил отец Перегрин.— Я предпочитаю думать, что, если бы Спасителю сказали: «Вот торная тропа»,— он ответил бы: «Покажите мне траву сорную; я протворю тропу иную».

— Но...

— Отец Стоун, подумайте, какой груз мы возьмем на душу, если пройдем мимо грешников, не протянув им руки.

— Но огненные шары!..

— Полагаю, человек тоже казался смешным всем прочим тварям, когда был сотворен. Но, несмотря на обыденный облик, он наделен душой. Предположим же, что и эти пламенные шары обладают душами, пока мы не докажем обратного.

— Хорошо,— согласился мэр,— но вы еще вернетесь в город.

— Посмотрим. Для начала позавтракаем. А потом мы с вами, отец Стоун, отправимся в холмы. Я не хочу пугать этих огненных марсиан машинами или толпами. Приступим к трапезе?

Ели святые отцы в молчании.

К закату отец Перегрин и отец Стоун далеко углубились в холмы. Они сели на камень, расслабились и ждали. Марсиане так и не появились перед ними, и оба чувствовали себя немного разочарованными.

— Интересно...— Отец Перегрин утер лицо.— Если сказать им «Привет!» — они ответят?

— Отец Перегрин, вы когда-нибудь бываете серьезны?

— И не буду, пока Господь не станет серьезен. И не надо так возмущаться, прошу вас. Господь никак уж не серьезен. Мы ведь знаем о нем точно лишь одно — что он есть любовь.

А любовь неотделима от чувства юмора, не так ли? Нельзя любить человека, которого вы не терпите, верно? А чтобы терпеть кого-то рядом, надо хоть изредка над ним посмеиваться. Вы согласны? Все мы — смешные зверюшки, вывозившиеся в миске сгущенки, и, потешаясь над нами, тем больше Господь нас любит.

— Никогда не думал, что Господу присуще чувство юмора, — заметил отец Стоун.

— Сотворившему утконоса, верблюда, страуса и человека? Да бросьте! — Отец Перегрин расхохотался.

И в тот же миг из-за сумеречных склонов, будто шеренга голубых маяков, показались марсиане.

Первым заметил их отец Стоун.

— Смотрите!

Отец Перегрин обернулся, и смех застыл у него на устах.

Среди далеких звезд парили, чуть подрагивая, шары синего пламени.

— Что за твари! — Отец Стоун вскочил, но отец Перегрин остановил его:

— Подождите!

— Надо было нам идти в город!

— Послушайте, прошу вас! — умолял отец Перегрин.

— Я боюсь!

— Не бойтесь. Это Божьи создания!

— Скорее, дьявольские!

— Нет, нет, успокойтесь! — Отец Перегрин усадил его, и они сидели вдвоем, пока приближающиеся огненные сферы озаряли их лица нежным голубым сиянием.

И снова вечер Дня независимости, подумал, дрожа, отец Перегрин. Снова вернулось детство, и ночь Четвертого июля, когда небо рассыпается в звездную пыль и пылающий грохот, и стекла в рамах звенят от взрывов, точно лед в тысячи бокалов. Дядюшки, тетюшки, двоюродные братья, вздыхающие: «Ах!» — как по команде небесного доктора. Краски летнего неба. И «огненные шары», щедро зажигаемые уверенными, ласковыми дядюшкиными руками. О, как запомнились они — мягко сияющие «огненные шары», надувающиеся теплом, как крылья бабочки; лежащие в коробках сухими осами и расправляемые наконец вечером бурного, буйного дня, красные, белые, синие, точно флаги, — Огненные Шары! Неясные тени дорогих и близких, давно умерших и спящих подо мхом, следили, как дедушка зажигает свечку, и дыхание тепла наполняет шар, округлый, мерцающий, и руки не желают отпускать это светящееся чудо, потому что стоит ему улететь, как уйдет из жизни еще один год, еще одно Четвертое июля, еще один

кусочек Красоты. И тогда все выше и выше, к жарким летним звездам, устремятся огненные шары, и будут в тишине следить за ними красно-бело-синие глаза изо всех окон. И поплывут огненные шары далеко-далеко, в Иллинойс, над темными реками и спящими домами, и растают навсегда...

На глаза его навернулись слезы. Над ним парили марсиане, не один огненный шар — тысячи. И вот-вот встанет рядом давно умерший дед, взирая вместе с ним на великую Красоту.

Но то был отец Стоун.

— Пойдемте, отче, прошу вас!

— Я должен поговорить с ними.

Отец Перегрин подался вперед, не зная, что сказать, потому что в прежние времена лишь одно говорил он в своих мыслях огненным шарам: «Вы прекрасны, вы так прекрасны!» — а теперь этого не хватало. Он только воздел неподъемные руки и крикнул в небеса, как мечтал с детства: «Привет!»

Но пламенные шары лишь полыхали отражениями в невидимом зеркале: застывшие, расплывчатые, чудесные, вечные.

— Мы пришли в Господе, — сказал небу отец Перегрин.

— Глупо, глупо, глупо. — Отец Стоун грыз костяшки пальцев. — Именем Божьим заклинаю, отец Перегрин, остановитесь!

Но мерцающие сферы сдуло ввысь. Мгновением позже они исчезли вдали.

Отец Перегрин воззвал снова — и эхо его последнего крика сотрясло горы. Обернувшись, он увидел, как стряхнула с себя пыль лавина, помедлила и с грохотом, точно каменная телега, ринулась на них по склону.

— Смотрите, что вы натворили! — воскликнул отец Стоун.

Отец Перегрин замер — вначале потрясенный, потом испуганный. Он отвернулся, зная, что и пары шагов не успеет сделать, как камни сотрут его в прах. Он успел лишь вымолвить: «О Господи!» — и лавина накрыла его!

— Отче!

Словно плевелы от зерен, отделило их от земли. Засверкали синие шары, дрогнули ледяные звезды, грянуло, и вот они стоят на утесе, в двух сотнях футов от того места, где покоились бы под тоннами камней их тела.

Синий свет померк.

Священники стояли, вцепившись друг в друга.

— Что случилось?

— Синие огни подняли нас!

— Да нет, мы убежали!

— Нет, нас спасли шары.

— Невозможно!

— Так и было.

Небо опустело — словно смолк великий колокол, и отзвуки его еще гудели в костях и зубах.

— Пойдемте отсюда. Вы нас обоих угробите.

— Я уже много лет не боюсь смерти, отец Стоун.

— Мы ничего не доказали. Эти синие шары улетают при первом же окрике. Бесполезно.

— Нет. — Отца Перегриня переполняло упорное ощущение чуда. — Они спасли нас. Это доказывает, что у них есть души.

— Это доказывает только, что у них была такая возможность. Мы ведь могли спастись и сами, я не помню, как все случилось.

— Они не звери, отец Стоун. Звери не спасают чужаков. Они наделены милосердием и состраданием. Возможно, завтра мы узнаем больше.

— Узнаем? Что? Как? — Отец Стоун смертельно устал; чопорное лицо его отражало все пережитые им мучения духа и тела. — Следуя за ними на вертолетах и зачитывая Библию вслух? Они не люди. У них нет ни глаз, ни ушей, ни тел, как у нас.

— Но я чувствую в них нечто, — ответил отец Перегрин. — Грядет откровение, я знаю это. Они спасли нас. Они мыслят. У них был выбор: дать нам жить или погибнуть. В этом — их свободная воля!

Отец Стоун принялся разводить костер, мрачно озирая каждую ветку и давясь серым дымом.

— А я открою приют для гусей и монастырь для святых свиней и построю собор под микроскопом, чтобы инфузории посещали службы и перебирали четки жгутиками.

— Ох, отец Стоун...

— Простите. — Отец Стоун моргнул покрасневшими глазами. — Но вы и крокодила готовы благословить, прежде чем он вас сожрет. Вы ставите под угрозу всю нашу миссию. Наше место в Первом городе: смывать духи с рук, а вкус спиртного — из глоток.

— Неужели вы не можете признать человеческое в нечеловеческом?

— Я предпочитаю находить бесчеловечное в человеке.

— Но если я докажу, что эти существа грешат, знают грех, ведут жизнь духовную, наделены свободной волей и разумом, — что тогда?

— Меня вам придется убеждать долго.

Быстро холодало; ужиная печеньем и ягодами, священники глядели в огонь, видя в нем отражения самых странных своих желаний. Потом они улеглись спать под звездный благовест. Прежде чем в последний раз повернуться с боку на бок, отец

Стоун, уже несколько минут пытавшийся найти, чем поддеть своего товарища, пробормотал, глядя в розовеющие угли:

— Не было на Марсе ни Адама, ни Евы, ни первородного греха. Может быть, марсиане и не отпадали от благодати Божьей. Тогда мы сможем вернуться в город и прийти к людям.

Отец Перегрин напомнил себе помолиться за отца Стоуна, за избавление его от гневливости, а теперь и от мстительности — помоги ему Бог!

— Но ведь марсиане убили несколько наших поселенцев, отец Стоун. А это грех. Были здесь и грех первородный, и марсианские Адам с Евой. Мы еще найдем их. Люди, к сожалению, остаются людьми, как бы ни выглядели, и одинаково склонны к греху.

Отец Стоун притворился спящим.

Отец Перегрин не сомкнул глаз.

Конечно, они не могут позволить марсианам отправиться в ад, не так ли? Как они могут, пойдя на сделку с совестью, вернуться в новые колонии, в города, полные притонов греха и яркоглазых, белотелых женщин, кувыркающихся в кроватях с холостыми рабочими? Но не там ли место духовников? Не каприз ли этот приход в холмы? О Церкви ли Господней он думал или утолял жажду ненасытного любопытства? Но эти пламенно-синие шары — каким лихорадочным огнем пылают они в его душе! Что за вызов воображению — найти человека под маской, под нечеловеческой личиной! Сможет ли он гордиться — хотя бы в душе, — что обратил в веру истинную полный огненных шаров бильярдный стол? Что за гордыня! Но в ней не стыдно покаяться — ведь гордыня часто рождается из любви, а он так любил Господа, так счастлив был той любовью, что желал этого счастья всем на свете.

Уже засыпая, он вновь увидел синие шары — они парили над ним, как огненные ангелы, беззвучно баюкая его беспкойный сон.

Когда отец Перегрин проснулся ранним утром, его синие мечты все еще парили в небе.

Отец Стоун спал, свернувшись калачиком. А отец Перегрин наблюдал, как парят и наблюдают за ним марсиане. Они тоже люди — он чувствовал это сердцем. Но он должен доказать это, или он предстанет пред епископом, чтобы тот без злобы и сожаления отстранил его от миссии.

Но как доказать это, если они таятся под сводами небес? Как призвать их и дать ответы на тысячи вопросов?

«Они спасли нас от лавины».

Отец Перегрин поднялся и, пробираясь между скал, начал карабкаться по склону ближайшего холма, пока не оказался над двухсотфутовым обрывом. От восхождения и мороза у него перехватило горло; он постоял немного, переводя дыхание.

«Если я упаду отсюда, то непременно разобьюсь».

Он столкнул в пропасть камешек. Через несколько секунд донесся стук.

«Господь никогда не простит меня».

Он скинул еще камешек.

«Но ведь если я делаю это из любви к нему, это ведь не будет самоубийством, так?..»

Он поднял глаза на синие шары.

«Но сперва — еще одна попытка». И он позвал их:

— Эй! Здравствуйте!..

Отзвуки обрушились лавиной, но синие шары не шелохнулись, не мигнули.

Пять минут кряду он говорил с ними. Замолчав, отец Перегрин глянул вниз — отец Стоун все еще упрямо дремал у костра.

«Я должен доказать. — Отец Перегрин шагнул к краю обрыва. — Я старик. И нет во мне страха. Он ведь поймет, что я делаю это ради него?»

Он глубоко вздохнул. Вся жизнь промелькнула перед его глазами, и подумалось ему: «Я сейчас умру? Я боялся, что слишком люблю жизнь. Но есть тот, кого я люблю больше».

И с этой мыслью он шагнул с утеса.

И упал.

— Глупец! — вскричал он, кружась в воздухе. — Ты ошибся! — Камни метнулись к нему, и он увидел на них себя — разбившимся, мертвым. — Зачем я сделал это? — Но он уже знал ответ. Мгновением позже спокойствие снизошло на него. Ветер ревел в ушах, и скалы мчались навстречу.

А потом дрогнули звезды, вспыхнуло голубое пламя, и отца Перегрин окружило синее безмолвие. Секундой позже его бережно опустили на камни. Он сидел там почти минуту, ощупывая себя и взирая на отлетевшие ввысь синие огни.

— Вы спасли меня! — прошептал он. — Вы не дали мне умереть. Вы знали, что это грех.

Он кинулся к безмятежно спящему отцу Стоуну.

— Проснитесь, проснитесь, отец! — тряс он его, пока не разбудил. — Отец, они спасли меня!

— Кто спас? — Отец Стоун, моргая, сел.

Отец Перегрин пересказал, что с ним случилось.

— Сон. Кошмар. Ложитесь лучше спать, — раздраженно ответил отец Стоун. — Вместе со своими цирковыми шариками.

— Но я не спал!

— Ну полно, отец, успокойтесь, хватит.

— Вы мне не верите? У вас есть пистолет? Да, вот он, дайте сюда.

— Что вы делаете? — Отец Стоун подал ему пистолетик, захваченный для защиты от змей и прочих зловых гадов.

Отец Перегрин вцепился в рукоять:

— Я докажу вам!

Он прицелился себе в ладонь и выстрелил.

— Стойте!

Блеснул свет, и на их глазах пуля замерла в полете, остановившись в дюйме от раскрытой ладони. Мгновение она висела в голубом ореоле, потом с шипением упала в пыль.

Трижды стрелял отец Перегрин — в руку, в ногу, в туловище. Три пули замерли, поблескивая, и мертвыми осами упали к его ногам.

— Видите? — проговорил отец Перегрин, опуская руку, и выронил пистолет. — Они знают. Они не животные. Они мыслят, судят, им введома мораль. Какой зверь стал бы спасать меня от меня самого? На это способен лишь человек, отец Стоун. Ну теперь-то вы мне верите?

Отец Стоун глядел на синие огни в небе. Потом опустил ся на колени, молча подобрал еще теплые пули и крепко сжал в кулаке.

За их спинами разгорался рассвет.

— Мне думается, пора вернуться к остальным, рассказать им все и привести их сюда, — сказал отец Перегрин.

Когда солнце встало, они преодолели почти полпути до ракеты.

Отец Перегрин начертил на аспидной доске круг.

— Се Христос, сын Отца небесного.

Он притворился, что не слышит изумленных вздохов слушателей.

— Се Христос, во славе его, — продолжил он.

— Больше похоже на задачу по геометрии, — заметил отец Стоун.

— Удачное сравнение. Мы здесь имеем дело с символами. Будучи изображен кругом или квадратом, Христос не перестает быть Христом. Столетиями крест изображал его любовь и страдание. Этот круг станет Христом марсианским. Таким принесем мы его в этот мир.

Святые отцы беспокойно зашевелились, переглядываясь.

— Вы, отец Маттиас, изобразите в стекле подобие этого круга, сферу, наполненную огнем. Пусть стоит она на алтаре.

— Дешевый фокус, — пробормотал отец Стоун.

— Наоборот,— терпеливо ответил отец Перегрин.— Мы дадим им понятный образ Господа. Если бы Христос явился на Землю в облике осьминога, так ли легко приняли бы мы его? — Он развел руками.— Разве дешевым фокусом со стороны Создателя было привести к нам Христа в теле Иисуса? После того как мы благословим церковь, построенную нами, освятим алтарь и этот символ, разве откажется Христос обрести тот облик, что мы видим перед собой? Вы сердцем своим чувствуете — не откажется.

— Но в теле бездушного зверя! — воскликнул брат Маттиас.

— Мы уже говорили об этом много раз, брат Маттиас, с тех пор, как вернулись. Эти существа спасли нас от обвала. Они знали, что самоуничтожение суть грех, и раз за разом предотвращали его. А потому мы должны построить церковь в холмах, жить с марсианами, найти их грехи и пути, которыми идут они, и помочь им найти Господа.

Святых отцов такая перспектива не радовала.

— Потому ли, что их вид странен? — спросил отец Перегрин.— Но что нам плоть? Лишь сосуд, куда Господь вмещает наш дух. Если завтра я обнаружу, что морские львы внезапно приобрели свободную волю и интеллект, познали, что есть грех, что есть жизнь, научились смягчать справедливость милосердием и жизнь — любовью, то я построю собор под водой. И если чудом Господним воробьи будут наделены бессмертными душами, то я наполню гелием церковь и взлечу за ними вслед, ибо все души, в любом облике, если наделены они свободной волей и знанием греха, станут гореть в аду, если не будут причащены истинной верой. И марсианскому шару я не позволю гореть в аду, потому что лишь в моих глазах это просто шар. Я закрою глаза — и передо мною стоят разум, любовь, душа, и я не могу отвергнуть их.

— Но вы хотите поставить этот шарик на алтарь! — запротестовал отец Стоун.

— Вспомните китайцев,— невозмутимо ответил отец Перегрин.— Какого Христа почитают китайские христиане? Восточного, само собой. Все вы видели изображенное китайцами житие Христа. Во что он одет? В восточные одежды. Где ходит он? По китайским пейзажам, среди бамбука, туманных гор и корявых сосен. Его глаза узки, а скулы — высоки. Каждая страна, каждый народ добавляют по капле к облику нашего Спасителя. Я вспоминаю Святую Деву Гваделупскую, которой поклоняется с любовью вся Мексика. Обращали ли вы внимание, что на всех портретах ее кожа смугла, как и у ее

почитателей? И разве это богохульство? Ничуть. Неразумно ждать, что человек примет Бога, пусть истинного, с кожей иного цвета. Меня часто поражает, почему наши миссионеры так успешно трудятся в Африке, неся снежно-белого Христа. Наверное, потому, что альбиносы и белый цвет вообще для многих африканских племен священны. Но со временем — не потемнеет ли там кожа Христова? Форма не имеет значения — только содержание. Не стоит ждать, что марсиане примут чуждый им облик Господа. Мы должны дать им Христа в их собственном облике.

— В ваших рассуждениях есть пробел, отец,— проговорил отец Стоун.— Не заподозрят ли марсиане нас в лицемерии? Они поймут, что мы поклоняемся не шарообразному Христу, но человеку с руками и ногами. Как мы объясним им разницу?

— Показав, что ее нет. Христос заполнит любой сосуд, который мы предложим. Тела или шары — он везде, и каждый почитает его под разным обликом. Больше того, мы должны верить в тот шар, что даем марсианам. Мы должны верить в шар, бессмысленный для нас видом. Эта сфера станет для нас Христом. Нам нельзя забыть: для марсиан и мы, и облик земного Христа будут смешны и бессмысленны, как расточительство плоти.

Отец Перегрин отложил мел.

— Теперь отправимся же в холмы и построим наш храм. Святые отцы принялись собираться.

Церковь была не зданием, но расчищенной от камней, выровненной площадкой на вершине холма. Там возвели алтарь, и брат Маттиас установил на нем созданный им пламенеющий шар.

После шести дней трудов «церковь» была готова.

— А что мы будем делать с этим? — Отец Стоун постучал по привезенному с земли железному колоколу.— Что им колокола?

— Я полагаю, что принес его ради собственного успокоения,— признался отец Перегрин.— Нам нужно что-то знакомое. Эта церковь не слишком похожа на храм. Мы здесь чувствуем себя немного нелепо — даже я. Непривычно обращаться в истинную веру создания иного мира. Порой я кажусь себе клоуном. И тогда я молю Господа дать мне сил.

— Многие отцы невеселы. Кое-кто смеется над всей затеей, отец Перегрин.

— Я знаю. Вот для них и установим колокол в башенке.

— А орган?

— Сыграем на нем на первой службе, завтра.

— Но марсиане...

— Знаю. Но вновь — для нашего душевного спокойствия — пусть и музыка будет нашей. Их гимны мы откроем потом.

Воскресным утром они встали очень рано; бледными призраками двигались они в ледяном холоде, звеня колокольчиками осевшего на одеждах инея, стяхивая струйки серебряной воды.

— Интересно, а воскресенье ли сегодня на Марсе? — задумчиво пробормотал отец Перегрин, но, заметив гримасу отца Стоуна, заторопился: — Может быть, вторник или четверг — кто знает? Неважно. Глупости. Для нас сегодня воскресенье. Пойдем.

Дрожа, посиневшие отцы вышли на просторную площадку «церкви» и преклонили колена.

Отец Перегрин произнес короткую молитву и возложил холодные пальцы на клавиши органа. Музыка взлетела, как стая прекрасных птиц. Он касался клавиш, словно трав заросшего сада, и красота взмывала над холмами.

Музыка усмирила ветры. В воздухе разлился сладкий запах утра. Музыка уплывала в горы, и каменная пыль опадала дождем.

Священники ждали.

— Ну, отец Перегрин, — отец Стоун глянул в пустое небо, туда, где вставало доменно-алое солнце, — я не вижу наших друзей.

— Я попробую еще раз. — Отец Перегрин исходил потом.

Камень за камнем он строил храм Баха, собор столь огромный, что притворы его громоздились в Ниневии, купола — под дланью Святого Петра. Музыка звучала, и, когда орган замолк, собор не рухнул — он взмыл к снежным облакам, и они унесли его в дальнюю даль.

Небо оставалось пустым.

— Они придут! — Но в груди отца Перегрин зародилось крохотное, растущее зерно паники. — Помолимся. Упросим их прийти. Они читают мысли; они поймут.

С шелестом риз, с ропотом преклонили колени святые отцы. И завели молитву.

И с востока, с ледяных гор, явились пламенеющие шары. На Марсе было семь часов утра в воскресенье, или в четверг, или в понедельник.

Они парили и кувыркались, заполняя воздух вокруг дрожащих священников.

— Спасибо, Господи, спасибо тебе! — Отец Перегрин зажмурился и заиграл вновь. А когда музыка умолкла — обернулся и посмотрел на свою удивительную паству.

И голос послышался ему и сказал:

— Мы пришли ненадолго.

— Вы можете остаться, — ответил отец Перегрин.

— Лишь на краткий миг, — тихо ответил голос. — Мы пришли, лишь чтобы сообщить вам то, что должны были сказать с самого начала. Но мы надеялись, что без наших понуканий вы пойдете своей дорогой.

Отец Перегрин открыл было рот, но голос прервал его:

— Мы Древние, — сказал он, и словно синее газовое пламя польхнуло в мозг священника. — Мы первые марсиане, те, что оставили мраморные города и ушли в горы, отбросив плоть. Очень, очень давно мы стали такими, какими ты видишь нас. некогда мы были людьми; как и вы, имели тела, руки, ноги. Легенда гласит, что один из нас нашел способ освободить душу и разум человека, избавить его от телесных мук и печалей, от смерти и уродства, от скорби и старости; и так мы приняли облик синих огней, и вечно живем с тех пор в ветрах небесных над холмами, без гордыни и надменности, без нищеты и бедности, без страстей и душевного хлада. Мы ушли от тех, кто остался, от других обитателей этого мира, и так вышло, что о нас позабыли и процесс перехода был утерян. Но мы не умрем, и годы не причинят нам вреда. Мы отбросили грех и живем в благодати Господней. Мы не желаем имущества ближнего своего, ибо ничем не владеем. Мы не крадем и не убиваем, мы лишены похоти и ненависти. Мы счастливы. Мы не размножаемся, не едим, не пьем и не воюем. Вся чувственность, все грехи, все детство тела спало с нас вместе с телами. Мы оставили грех позади, отец Перегрин, и он сгорел, как осенние листья, он растаял, как грязный снег скверной зимы, увял, как ало-золотые цветы весенней страсти, утрачен, как душевные ночи раскаленного лета, и наш климат умерен, а времена — богаты мыслью.

Отец Перегрин поднялся на ноги, потому что теперь голос гремел, едва не отнимая чувства, омывая его благим огнем.

— Мы хотели сказать вам, что благодарны за то, что вы построили для нас это место. Но мы не нуждаемся в нем, ибо каждый из нас — сам себе храм, и не нужны нам места очищения. Простите, что не пришли к вам раньше, но мы живем в одиночестве; уже десять тысяч лет мы не разговаривали ни с кем и не вмешивались в дела мира. Тебе кажется, что мы, как птицы небесные: не пашем и не жнем. Ты прав. А потому возьмите храм, что построили вы для нас, отнесите его в новые свои города и благословляйте там свой народ. И будьте уверены — мы живем в счастье и мире.

Отцы преклонили колена перед могучим синим огнем, и отец Перегрин — вместе с ними. Они плакали, вовсе не жалея, что тратят свое время, потому что оно не было потрачено зря.

Синие шары, перешептываясь, начали вновь подниматься в холодную высь.

— Могу я... — воскликнул отец Перегрин, зажмурившись, едва осмеливаясь спросить, — могу я когда-нибудь вернуться, чтобы учиться у вас?

Полыхнули синие огни. Дрогнул воздух.

Да. Когда-нибудь он может прийти снова. Когда-нибудь.

А потом ветер сдул Огненные Шары и унес, и отец Перегрин пал на колени, рыдая и всхлипывая: «Вернитесь! Вернитесь!» — словно вот-вот возьмет его на руки дедушка и отнесет по скрипучей лестнице в спальню старого дома в давно сгинувшем городке в Огайо...

На закате они отправились в город. Оглядываясь, отец Перегрин видел, как полыхают синие шары. «Нет, — подумал он, — нам не построить для вас собора. Вы — сама Красота. Какой собор может сравниться с фейерверком чистых душ?»

Отец Стоун молча шел рядом.

— Мне кажется, — проговорил он наконец, — что для каждой планеты есть своя истина. И каждая — часть большой Истины. Когда-нибудь они сложатся вместе, как кусочки мозаики. То, что случилось, потрясло меня. Во мне нет больше сомнений, отец Перегрин. Здешняя истина так же верна, как и земная, они стоят бок о бок. А мы пойдем к другим мирам, собирая истину по кусочкам, пока в один прекрасный день перед нами не предстанет Целое, как заря нового дня.

— Для вас это серьезное признание, отец Стоун.

— Мне почти жаль, что мы спускаемся с гор к своему роду. Эти синие огни, когда они опустились вокруг нас, и этот голос... — Отец Стоун вздрогнул.

Отец Перегрин взял его за руку. Дальше они пошли бок о бок.

— И знаете, — сказал отец Стоун, точно подводя черту и не сводя глаз с брата Маттиаса, идущего впереди и бережно сжимающего в руках стеклянный шар, наполненный вечным сиянием негасимого голубого огня, — знаете, отец Перегрин, этот шар...

— Да?

— Это Он. Все-таки это Он.

Отец Перегрин улыбнулся, и они вместе спустились с холмов в новый город.

Пришелец

Саул Уильямс проснулся и с тоской выглянул наружу из своей палатки. Он подумал о том, как далеко от него Земля,— миллионы миль отделяют от нее, подумал он. Ну а что тут можно поделывать? Когда легкие полны этой «кровоавой ржавчины», когда без конца терзает кашель?

Саул поднялся в тот день в семь часов. Это был высокий, худой, истощенный болезнью человек. Утро на Марсе стояло тихое, ничто не нарушало безмолвие мертвого морского дна, не было даже ветра. Среди пустынного неба сияло холодное солнце.

Саул вымыл лицо и позавтракал.

А после этого ему страшно захотелось вернуться на Землю. Он всеми способами пытался оказаться в Нью-Йорке. Иногда, когда он правильно усаживался и определенным образом складывал руки, ему это удавалось. Он даже почти улавливал запах Нью-Йорка. Но такое получалось редко, большей частью у него ничего не выходило.

В то же утро, позднее, Саул попробовал умереть. Он лег на песок и приказал своему сердцу остановиться. Оно продолжало стучать. Он представил себе, как он спрыгивает со скалы или перерезает себе вены, но сам же рассмеялся — он знал, что ему не достанет мужества на подобный акт.

«Может быть, если я поднатужусь и хорошенько сосредоточусь на этом, я просто засну и не проснусь больше», — предположил он. Он и это попробовал. Через час он проснулся — рот его был полон крови. Он поднялся, выплюнул ее и почувствовал ужасную жалость к себе. Эта кровавая ржавчина заполняет рот и нос, течет из ушей, из-под ногтей, и этой хворобе требуется год, чтобы покончить с тобой. Существовало только одно средство против болезни — запихнуть тебя в ракету и отправить в изгнание на Марс. На Земле не знали, как лечить таких больных, а оставить их там значило распространить заразу на других и убить и их. Так он оказался тут, в полном одиночестве, беспрестанно истекая кровью.

Саул присмотрелся. Вдалеке, возле древних городских руин, он увидел человека, лежавшего на грязном одеяле.

Когда Саул подошел к нему, человек на одеяле ответил на это слабым движением.

— Привет, Саул, — произнес он.

— Опять утро, — сказал Саул. — Бог мой, как мне одиноко!

— Такова судьба всех нас, заржавелых,— возразил человек на одеяле, такой немощный и бледный, что казалось — коснись его, и он рассыпется.

— Как бы я хотел,— сказал Саул, глядя на лежащего перед ним человека,— чтобы ты хотя бы поговорил со мной. Почему интеллектуалы никогда не подхватывают нашу кровавую ржавчину и не прилетают сюда?

— Это явный заговор против тебя, Саул,— сказал человек, закрывая глаза, не в силах держать их открытыми.— Меня когда-то хватало на то, чтобы оставаться интеллектуалом. Теперь даже думать для меня — тяжкий труд.

— Когда бы мы могли хотя бы говорить друг с другом? — сказал Саул Уильямс.

Его собеседник только безразлично пожал плечами:

— Приходи завтра. Может, у меня хватит сил потолковать с тобой об Аристотеле. Я попытаюсь. Правда,— и он свалился под отжившим свое деревом. Он приоткрыл один глаз.— Вспомни, мы с тобой как-то беседовали об Аристотеле, шесть месяцев назад,— хороший был денек тогда.

— Помню,— сказал Саул, не слушая его. Он посмотрел на мертвое море.— Хотел бы я быть таким же немощным, как ты, тогда, наверное, меня не тревожило бы состояние моего интеллекта. Я тогда был бы спокоен.

— Через шесть месяцев тебе станет так же плохо, как мне сейчас,— заметил умирающий.— И тебе будет безразлично все, кроме сна, как можно больше сна. Сон уподобится женщине для тебя. Ты всегда будешь стремиться к ней, потому что она и свежа, и хороша, и верна, и всегда добра к тебе, и все в том же роде. Ты будешь пробуждаться с единственным желанием — снова погрузиться в сон. Это чудесная вещь.

Его голос перешел в шепот. И вот он умолк, и жизнь легко отлетела от него.

Саул оставил его.

По берегу мертвого моря, подобно пустым бутылкам, выброшенным некой длинной волной, валялись тела спящих людей. Саул видел их всех сразу, там, внизу, на изгибе пустого моря. Один, второй, третий — каждый спал в одиночку, большинство из них были в худшем состоянии, чем он, у каждого был небольшой запас еды, каждый был занят только собой, потому что нужда в общении отпадала и только сон прельщал всех.

Поначалу несколько ночей все они собирались возле общих бивачных костров. И говорили об одной только Земле. Ни о чем больше разговоров не было. О самой Земле, о воде, журча-

шей в речушках маленьких городов, и о том, как вкусен домашний клубничный торт, и о раннем утре в Нью-Йорке, когда, овеваемый соленым ветерком, переправляешься на пароме из Джерси.

«Мне нужна Земля,— думал Саул.— Она мне так нужна, что сил никаких нет. Мне необходимо то, чего я уже никогда не смогу иметь. Больше, чем в пище, сильнее, чем в женщине, сильнее всего на свете я нуждаюсь в Земле. Моя болезнь навсегда отторгает от меня женщин — это совсем не то, что я хочу. Но Земля... да. Она необходима для ума, не для жалкого тела».

В небе полыхнул светом блестящий металл.

Саул посмотрел на небо.

Снова свет от летящего металла.

Спустя минуту ракета приземлилась на дне моря. Открылся люк, из ракеты с багажом в руке вышел человек. Два других в защитных биокостюмах вынесли вслед за ним большие коробки с едой и поставили для него палатку.

Еще мгновение — и ракета снова устремилась в небо. Изгнанник остался стоять в одиночестве.

Саул побежал. Он не бегал вот уже несколько недель, и на него сразу навалилась усталость, но он бежал и кричал:

— Привет! Привет!

Когда Саул подбежал к молодому человеку, тот осмотрел его с ног до головы.

— Привет. Итак, это Марс. Меня зовут Леонард Марк.

— Меня — Саул Уильямс.

Они обменялись рукопожатием.

Леонард Марк был очень молод — всего восемнадцати лет; настоящий блондин с розовым, свежим — несмотря на болезнь — лицом и голубыми глазами.

— Как там, в Нью-Йорке? — спросил Саул.

— Вот так,— сказал Леонард Марк и посмотрел на Саула.

Нью-Йорк, весь из камня, пронизанный мартовскими ветрами, возник прямо из пустыни. Электричество неоновыми цветами вспыхнуло вокруг. Желтые такси скользили по тихим улицам ночного города. Подняли мосты, и в полуночных гаванях загудели буксирные суда. Раздвинулись занавеси на сверкающих блестящими мюзиклах.

Саул сильно сжал руками голову.

— Продолжайте! Продолжайте! — кричал он.— Что происходит со мной? Что со мной случилось? Я схожу с ума!

В Центральном парке распускались листья, молодые, зеленые. Саул шел по тропе, вдыхая весенний воздух и наслаждаясь запахами.

— Дурачина, остановись! Остановись! — кричал сам себе Саул. Он обеими руками сжимал свой лоб. — Этого не может быть!

— Это есть, — сказал Леонард Марк.

Небоскребы Нью-Йорка растаяли. Вернулся Марс. Саул стоял на пустынном дне мертвого моря, опустошенно глядя на молодого незнакомца.

— Вы... — сказал он, указывая рукой на Леонарда Марка. — Вы сделали это, Вы сделали это вашим разумом.

— Да, — сказал Леонард Марк.

В молчании стояли они друг против друга. Потом, весь дрожа, Саул схватил руку своего коллеги-изгнанника и, без конца пожимая ее, говорил:

— О, как же я рад, что вы здесь! Представить себе не можете, как я рад!

Они пили крепкий черный кофе из жестяных кружек. Наступил полдень. Они проболтали все это теплое утро.

— И откуда у вас эта способность? — спросил Саул, потягивая кофе из своей кружки и не отрывая глаз от юного Леонарда Марка.

— Это одно из моих врожденных качеств, — ответил Марк, разглядывая свой напиток. — В 57-м году моя мать оказалась во время взрыва в Лондоне. Через десять месяцев появился на свет я. Не знаю, как назвать эту мою способность. Телепатия или передача мыслей на расстоянии — так, наверное. Я обычно выступал с этим на сцене. Я объехал весь мир. В афишах писали: «Леонард Марк, чудо-интеллект!» Я всячески отмежевывался от этого. Многие считали меня шарлатаном. Вы ведь знаете, как публика относится к театральному люду. Один я знал, что мой талант подлинный, но я никому не признавался в этом. Безопаснее было не давать особого хода слухам о нем. О, совсем немногие из моих ближайших друзей знали о моих истинных способностях. А их у меня великое множество, и все они пригодятся нам здесь, на Марсе.

— Черт возьми, до чего же вы напугали меня сначала! — признался Саул, крепко сжимая кружку в руке. — Когда из земли вдруг вырос непонятно каким образом Нью-Йорк, я подумал, что сошел с ума.

— Это один из видов гипноза, который воздействует сразу на все органы чувств — на глаза, уши, нос, рот, кожу. Что бы вам особенно хотелось сделать прямо сейчас?

Саул поставил свою кружку. Он старался сдерживать дрожь в руках. Облизнул губы.

— Я хотел бы оказаться в речушке в городе Меллине, штат Иллинойс, где, будучи мальчишкой, я любил купаться. Хотелось бы совсем нагишом поплавать в ней.

— Хорошо,— согласился Леонард Марк и чуть-чуть повернул голову.

Саул с закрытыми глазами упал на песок. Леонард Марк сидел, наблюдая за ним.

Саул лежал на песке. Время от времени его руки начинали двигаться, конвульсивно подергиваться. Его рот оставался все время открытым. Из его то сжимавшейся, то расслаблявшейся глотки вырывались невнятные звуки.

Затем Саул начал производить плавные движения руками — вперед-назад, вперед-назад,— тяжело дышал, повернув голову в одну сторону, медленно взмахивал руками в теплом воздухе, загребая желтый песок под себя, его тело размеренно поворачивалось из стороны в сторону.

Леонард Марк спокойно допил кофе. В процессе питья он не спускал глаз с копошащегося на дне мертвого моря, что-то шепчущего Саула.

— Довольно,— сказал Леонард Марк.

Саул сел, потирая лицо руками.

Спустя немного времени он заговорил с Леонардом Марком.

— Я видел речку. Я бегал по берегу, сбросив с себя все,— рассказывал он, затаив дыхание, и недоверчивая улыбка не сходила с его лица.— И я нырнул в речку и плавал в ней!

— Очень рад,— сказал Леонард Марк.

— Вот! — Саул полез в карман и вытащил свою последнюю плитку шоколада.— Это вам.

— Что это? — спросил Леонард Марк, глядя на вознаграждение.— Шоколад? Какая ерунда! Я делаю это не ради платы. Я это делаю потому, что таким образом приношу вам счастье. Положите вашу шоколадку обратно в карман, пока я не превратил ее в гремучую змею и она не укусила вас.

— Благодарю вас, благодарю вас! — Саул убрал шоколадку.— Вы даже не представляете, какая там замечательная была вода.— Он потянулся за кофейником.— Налить еще?

Разливая кофе, Саул на какое-то мгновение закрыл глаза.

«Я обрел здесь Сократа,— думал он.— Сократа, и Платона, и Ницше, и Шопенгауэра. Этот человек, судя по его разговору, гений. Его талант непостижим! Подумать только — долгие, вольготные дни и прохладные ночи, заполненные нашими с ним беседами. Год обещает быть совсем неплохим. Не половина года...»

Он выпил остатки кофе.

— Что-то не так?

— Нет, ничего.

Саул был в смятении, он был потрясен.

«Мы отправимся в Грецию,— мечтал он.— В Афины. А захотим — окажемся в Риме, где будем изучать римских авторов. Мы остановимся в Парфеноне и в Акрополе. Это не будут просто беседы — мы, кроме того, побываем в разных местах. Этот человек способен сделать так. Когда мы заговорим о пьесах Расина, он создаст сцену и артистов на ней — и все это для меня. Бог мой, да такого никогда в моей жизни не было! Насколько же лучше оказаться больным здесь, на Марсе, чем здоровым, но без этих возможностей, на Земле! Много ли людей найдется, кто видел бы греческую трагедию, сыгранную в греческом амфитеатре в 31 году до нашей эры?

А если я совершенно серьезно и спокойно попрошу этого человека представить мне Шопенгауэра, Дарвина, Бергсона и всех прочих крупных мыслителей прошедших веков?.. А почему бы нет? Сидеть и беседовать с Ницше лицом к лицу или с самим Платоном!..»

Но существовала одна загвоздка. Саул засомневался.

Остальные. Остальные больные люди, лежавшие на дне мертвого моря. Они уже зашевелились, направляясь к ним. Они видели свёркание ракеты в небе, ее приземление, выгрузку ее пассажира. И вот они шли, медленно, мучительно, чтобы приветствовать вновь прибывшего.

Саул похолодел.

— Марк,— произнес он,— мне кажется, нам лучше скрыться в горах.

— Зачем?

— Вы видите этих людей, приближающихся к нам? Среди них есть сумасшедшие.

— Правда?

— Да.

— Одиночество и вся эта жизнь сделали их такими?

— Да, вот именно. Нам лучше уйти.

— Они совсем не выглядят опасными. Они так медленно передвигаются.

— Они еще вам покажут.

Марк посмотрел на Саула:

— Вы дрожите. Что с вами?

— У нас нет времени на разговоры,— сказал Саул, быстро поднимаясь на ноги.— Пошли. Неужели вы не понимаете, что будет, если они узнают о вашем таланте? Они станут драться

за обладание вами. Они будут убивать друг друга... они убьют вас за право владеть вами.

— О, но ведь я не принадлежу никому, — возразил Леонард Марк. Он взглянул на Саула. — Никому. Даже вам.

Саул вздернул подбородок:

— Я и не думал об этом.

— А сейчас — сейчас вы тоже об этом не подумали? — рассмехался Марк.

— Некогда нам препираться тут, — заявил Саул, щеки его горели, глаза возбужденно блестели. — Пошли!

— Не хочу. Я останусь сидеть здесь до тех пор, пока эти люди не подойдут к нам. Вы слишком большой собственник. Моя жизнь принадлежит только мне.

Саул почувствовал, как в нем подымается злоба. Лицо его искажилось.

— Вы слышали, что вам сказано!

— Как же быстро вы из друга превратились во врага, — заметил Марк.

Саул набросился на него. Удар был стремительный и точный.

Марк, смеясь, уклонился от него:

— Ничего у вас не получится!

Они стояли в центре Таймс-сквер. Мимо, гудя, пронеслись с грохотом машины. Небоскребы круто подымались в голубое прозрачное небо.

— Это обман! — вскричал Саул, потрясенный увиденным. — Ради всего святого, Марк, не надо! Люди уже близко. Они убьют вас!

Марк сидел на тротуаре, радуясь своей шутке.

— Пускай подходят. Я их всех одурачу!

Нью-Йорк отвлек внимание Саула от Марка. Так и было задумано — переключить его внимание на святотатственную прелесть города, от которого он был отлучен столько месяцев. Вместо того чтобы снова напасть на Марка, он только стоял и впивал в себя далекую, но столь родную ему жизнь.

Он закрыл глаза:

— Нет.

И, падая, увлек за собой Марка. В его ушах захлебывались гудки автомобилей. Бешено скрипели тормоза. Он нанес удар Марку в подбородок. Тишина.

Марк лежал на дне моря.

Взяв на руки потерявшего сознание Марка, Саул тяжело побежал к горам.

Нью-Йорк исчез. Осталось только нескончаемое молчание мертвого моря.

Со всех стōрон к нему приближались люди. Со своей бесценной ношей он устремился к горам — он нес в своих руках Нью-Йорк, и зеленые пригороды, и ранние весны, и старых друзей. Один раз он упал, тут же вскочил и, не останавливаясь, продолжал свой бег.

Ночь царила в пещере. Ветер врывается в нее и устремляется прочь, увлекая за собой пламя костерка, рассеивая золу.

Марк открыл глаза. Он был связан веревками и прислонен к стене пещеры напротив костерка.

Саул, по-кошачьи тревожно поглядывая на вход в пещеру, подложил в костер дровишко.

— Вы последний дурак. — Саул вздрогнул. — Да-да, — сказал Марк, — вы дурак. Они все равно найдут нас. Даже если им понадобятся для этого все шесть месяцев, они найдут нас. Они видели Нью-Йорк на расстоянии, как мираж. И в центре него — нас. Надеяться на то, что это их не заинтересовало и что они не последуют за нами, бессмысленно.

— Тогда я с вами двинусь дальше, — глядя на огонь, сказал Саул.

— И они сделают то же.

— Заткнись!

Марк улыбнулся:

— Вы и со своей женой так разговариваете?

— Слышишь?

— О, прекрасный брачный союз — ваша жадность и мой талант. А теперь что бы вы хотели посмотреть? Хотите, я покажу вам кое-что еще из вашего детства?

Саул почувствовал пот у себя на лбу. Он не мог понять, шутит его пленник или нет.

— Да, — ответил он.

— Хорошо, — сказал Марк, — смотрите!

Скалы вдруг полыхнули огнем. Саул задохнулся от паров серы. Серные шахты взрывались вокруг, сотрясая стены пещеры. Вскочив на ноги, Саул закашлялся: обожженный, уничтоженный адским пламенем, он едва мог двигаться.

Ад исчез. Они снова были в пещере.

Марк хохотал.

Саул надвинулся на него.

— Ты... — произнес он, склоняясь над Марком.

— Чего еще вы хотели от меня? — воскликнул Марк. — Вы что, думаете, мне могло понравиться то, что вы утащили меня сюда, связали по рукам и ногам и превратили в невесту-интеллектуалку обезумевшего от одиночества человека?

— Я развяжу вас, если вы обещаете мне не убежать.
— Этого я не могу обещать. Я свободный человек. Я никому не принадлежу.

Саул опустил на колени:

— Но вы должны принадлежать, слышите? Вы должны принадлежать мне. Я не позволю вам уйти от меня!

— Дорогой мой человек, чем больше вы твердите подобные вещи, тем больше мы отдаляемся друг от друга. Имей вы разум и веди вы себя интеллигентно, мы давно были бы друзьями. Я бы с удовольствием доставлял вам ваши маленькие гипнотические радости. Мне, в конце концов, не составляет особого труда вызывать духов. Одна забава. Но вы все испортили. Вы захотели присвоить меня полностью. Вы побоялись, что другие отнимут меня у вас. О, как же вы ошибались! У меня хватит сил сделать их всех счастливыми. Вы могли бы поделиться мной с ними, как коммунальной кухней. Я же, творя добро, принося радости, чувствовал бы себя богом среди своих чад, а вы в ответ приносили бы мне подарки, лакомые кусочки со своего стола.

— Простите, простите меня! — вскричал Саул. — Но я слишком хорошо знаю этих людей.

— А вы, вы разве отличаетесь от них? Едва ли! Выйдите-ка да посмотрите, не идут ли они. Мне показалось, что я слышал какой-то шум.

Саул вскочил. У входа в пещеру он приложил козырьком руки ко лбу, вглядываясь в скрытую в ночи низину перед собой. Шевелились какие-то смутные тени. Может быть, это ветер колебал заросли сорняков? Он задрожал — мелкой, противной дрожью.

— Я ничего не вижу.

Он вернулся в пустую пещеру. Взглянул на костер.

— Марк!

Марк исчез.

Кроме пещеры, забитой галькой, камнями, булыжниками, одиноко потрескивающего костра да воя ветра, ничего больше не было.

Саул стоял, глазам своим не веря и вдруг онемев.

— Марк! Марк! Вернитесь!

Этот человек осторожно, потихоньку освободился от своих пут и, используя свои способности, обманул его, сказав, что слышит приближающихся людей, а сам сбежал — куда?

Пещера была довольно глубокая, но заканчивалась глухой стеной. И Марк не мог проскользнуть мимо него в ночную тьму. Тогда что?

Саул обошел костер.

Он вытащил свой нож и приблизился к большому валуну, стоявшему у стены. С улыбочкой он прислонил нож к валуну. Все так же улыбаясь, он постучал по нему ножом. Потом он замахнулся ножом с явным намерением вонзить его в валун.

— Стой! — закричал Марк.

Валун исчез — на его месте был Марк. Саул спрятал нож. Щеки его пылали. Глаза горели как у безумного.

— Что, номер не прошел? — прошипел он.

Он наклонился, сцепил свои руки у Марка на горле и стал душить его. Марк ничего не говорил, только неловко изворачивался в тисках сжимавших его горло рук, с иронией глядел на Саула, и взгляд его говорил Саулу то, что он и сам прекрасно знал.

«Если ты убьешь меня, — говорили глаза Марка, — где ты возьмешь воплощение своих мечтаний? Если ты убьешь меня, где окажутся твои любимые потоки и речная форель? Убей меня, убей Платона, убей Аристотеля, убей Эйнштейна — на, убей всех нас! Давай, души меня. Я разрешаю».

Пальцы Саула разжались. Тени вползли в пещеру.

Они оба повернули головы.

Там были люди. Их было пятеро, измученных дорогой, задыхающихся. Они ждали, не вступая в круг света.

— Добрый вечер, — смеясь, приветствовал их Марк. — Входите, входите, джентльмены.

На заре споры и яростные препирания все еще продолжались. Марк сидел среди этих грубиянов, потирал свои запястья, наконец-то снова свободный от своих пут. Он соорудил конференц-зал с панелями из красного дерева и с мраморным столом, за которым все они теперь и сидели, эти смешные, бородатые, дурно пахнущие, потные и жадные мужчины, устремив все взгляды на свое сокровище.

— Есть один способ все уладить, — сказал наконец Марк. — Каждому из вас выделяются определенные часы в определенный день для встречи со мной. Со всеми вами я буду обращаться одинаково. Я буду муниципальной собственностью с правом приходить и уходить куда мне вздумается. Так будет справедливо. Что же касается нашего Саула, он подвергнется испытанию. Когда он докажет, что снова стал цивилизованным человеком, я проведу с ним один-два сеанса. До тех пор у меня не будет ничего общего с этим человеком.

Прибывшие злорадно ухмыльнулись, взирая на Саула.

— Простите меня! — взмолился Саул. — Я не знал, что делаю. Теперь у меня все в порядке.

— Посмотрим,— сказал Марк.— Давайте подождем месячишко, а?

Прибывшие снова злорадно ухмыльнулись.

Саул ничего не сказал. Он сидел, уставившись в пол пещеры.

— Теперь займемся делом,— предложил Марк.— По понедельникам ваш день, Смит.

Смит кивнул..

— По вторникам я буду заниматься с Питером — по часу или что-то около того.

Питер кивнул.

— По средам я займусь с Джонсоном, Холцманом и Джимом — и на этом закончу.

Последние трое переглянулись.

— Остаток недели все должны оставить меня в полном покое, слышите? — потребовал Марк.— Хорошенького понемножку. Если вы не подчинитесь мне, никаких представлений не будет.

— А мы, может, заставим тебя представлять,— заявил Джонсон. Он переглянулся с остальными.— Ишь какой, нас пятеро против него одного. Нам ничего не стоит заставить его делать все, что мы захотим. Если будем действовать заодно, чего только не добьемся.

— Не будьте идиотами,— обратился Марк к другим мужчинам.

— Дай договорить,— сказал Джонсон.— Он нам тут толкует, что он будет делать. Почему бы нам не растолковать ему! Нас ведь больше, не так ли? А он еще грозитя не дать нам представлений. Ха! Позвольте мне запихнуть ему шепки под ногти, а еще, пожалуй, поджарить на раскаленном напильнике его пальчики, и тогда посмотрим, как он будет представлять! Почему бы нам не получать представления каждый вечер, хотел бы я знать?

— Не слушайте его! — воскликнул Марк.— Он сумасшедший! Нельзя полагаться на него. Вы же знаете, что он сделает, верно? Он каждого из вас застанет врасплох и поубивает вас всех поодиночке. Да-да, он перебьет всех вас, чтобы остаться ему одному — он и я! Вот он какой!

Слушавшие его прищурились. Сначала на Марка, потом на Джонсона.

— Сейчас,— заметил Марк,— ни один из вас не верит никому другому. Совещание получилось дурацкое. Стоит одному из вас повернуться спиной к остальным, и он будет убит. Я уверен, к концу недели все вы будете мертвы или в преддверии смерти.

Ледяной ветер свистал в зале из красного дерева. Зал потихоньку таял, снова превращаясь в пещеру. Марк устал шутить. Мраморный стол плюхнулся на пол, расплескался мелкими брызгами и испарился.

Люди смотрели друг на друга маленькими, горящими, звериными глазками. Все сказанное было правдой. Они увидели друг друга в предстоящие дни — подлавливающими один другого, убивающими до тех пор, пока в живых не останется последний счастливчик, чтобы в одиночку наслаждаться интеллектуальным сокровищем, оказавшимся среди них.

Саул встревоженно наблюдал за ними, чувствуя свое полное одиночество. Допустив однажды ошибку, как трудно бывает признать свою вину, вернуться назад, начать все сначала. Они все были не правы. Они пребывали в заблуждении долгое время. Теперь это уже не было заблуждением, это было нечто гораздо худшее.

— Но дела-то ваши совсем плохи, — сказал Марк, — потому что у одного из вас есть пистолет.

Все вскочили.

— Ищите! — сказал Марк. — Найдите того, у кого он, или все вы будете трупами!

Это их доконало. Они бросались из стороны в сторону, не зная, кого обыскивать первым. Они орали, хватали друг друга за руки, а Марк с презрением наблюдал за ними.

Джонсон отпрянул назад, ошупывая свою куртку.

— Ладно, — сказал он, — пора кончать со всем этим! Первым ты, Смит!

И он выстрелил Смит у в грудь. Смит упал.

Остальные загавдели и бросились врассыпную. Джонсон прицелился и выстрелил еще два раза.

— Остановитесь! — вскричал Марк. Из скал, из пещеры, из самого воздуха вдруг выплыл Нью-Йорк. Лучи солнца освещали макушки небоскребов. Грохотала наземка. Буксиры сбвали по гавани. Зеленая леди с факелом в руке взидала на залив.

— Смотрите же, болваны! — крикнул Марк.

Центральный парк вспыхнул созвездиями весенних цветов. Ветерок оведал их запахом свежескошенной травы.

И в изумлении эти люди остолбенели посреди Нью-Йорка. Джонсон выстрелил еще три раза. Саул подбежал к нему. Он бросился на Джонсона, свалил его на землю, вырвал у него пистолет. Раздался еще один выстрел.

Люди перестали крушить все вокруг себя. Они застыли на месте. Саул лежал на Джонсоне. Сражение закончилось.

Наступило жуткое молчание. Они оглядывались по сторонам.

Нью-Йорк тонул в море. Со всем своим шипением, бормотанием, придыханиями. С воплем рушащегося металла и старины огромные строения наклонились, скукожились, хлынули потоком вниз и исчезли.

Марк стоял среди зданий. Потом аккуратная красная дырочка образовалась у него на груди и, подобно самим зданиям, он безмолвно рухнул на землю.

Саул лежал, глядя на своих сотоварищей, на тело Марка. Он встал с пистолетом в руке. Джонсон не шелохнулся — он боялся шелохнуться.

Все они одновременно закрыли и тут же открыли глаза, будто надеялись таким образом оживить человека, лежавшего перед ними.

В пещере было холодно. Саул стоял и безучастно смотрел на пистолет в своей руке. Он взял и бросил его далеко в низину и не видел, как он падал.

Они смотрели на труп, будто не верили в случившееся. Саул склонился над ним и дотронулся до мягкой руки.

— Леонард! — тихо позвал он. — Леонард? — он потряс его руку. — Леонард!

Леонард Марк оставался неподвижным. Глаза его были закрыты, он больше не дышал.

Саул поднялся.

— Мы убили его, — сказал он, ни на кого не глядя. Его рот наполнился кровью. — Единственного, кого мы не хотели убить, мы убили.

Трясущейся рукой он прикрыл свои глаза. Остальные стояли в нерешительности.

— Возьмите лопату, — велел им Саул. — Закопайте его. — Он отвернулся от всех них. — Мне больше нет дела до вас.

Кто-то отправился за лопатой.

Саул настолько ослаб, что едва мог двигаться. Его ноги будто вросли в землю, их корни питали его безысходным одиночеством, и страхом, и стужей ночей. Костер почти погас, и теперь только свет двух лун скользил по склонам голубых гор.

До него доносился звук, будто кто-то рядом копал лопатой землю.

— Он нам совсем и не нужен, — произнес кто-то слишком громко.

По-прежнему Саул слышал, как копают лопатой землю. Он тихо подошел к темному дереву и соскользнул по его стволу вниз, на песок, и теперь сидел безразлично, тупо сложив

руки на коленях. «Спать,— подумал он.— Мы все теперь ляжем спать. У нас есть хотя бы это. Засну и постараюсь хоть во сне увидеть Нью-Йорк и все остальное». Он устало закрыл глаза, кровь заполнила его рот, и нос, и трепещущие веки.

— Как он делал это? — спросил он угасающим голосом. Голова его упала на грудь.— Как он вызывал сюда Нью-Йорк и устраивал нам прогулки по нему? А ну-ка попробую. Думай! Думай о Нью-Йорке! — шептал он, засыпая.— Нью-Йорк, и Центральный парк, и Иллинойс весной, яблони в цвету и зеленая трава.

Ничего у него не получилось. Ничего похожего. Нью-Йорк ушел, и никакими силами он не мог вернуть его обратно. Каждое утро он будет вставать и брести к мертвому морю в поисках его, и во все времена он будет ходить по всему Марсу в поисках его, и никогда он его не отыщет. И наконец ляжет, не в силах больше ходить, и попытается найти Нью-Йорк в своей голове, но не найдет его и там.

Последнее, что он слышал, засыпая, был звук поднимающейся и опускающейся лопаты, роющей яму, в которую со страшным скрежетом металла и в золотом тумане, и со своим запахом, и со своим светом, и со своим звучанием рухнул Нью-Йорк и был в ней зарыт.

Всю ту ночь он плакал во сне.

Разговор заказан заранее

С чего это в памяти всплыли вдруг старые стихи? Ответа он и сам не знал, но — всплыли:

Представьте себе, представьте еще и еще раз,
Что провода, висящие на черных столбах,
Впитали миллиардные потоки слов человеческих,
Какие слышали каждую ночь напролет,
И сберегли для себя их смысл и значение...

Он загнулся. Как там дальше? Ах да...

И вот однажды, как вечерний кроссворд,
Все услышанное составили вместе
И принялись задумчиво перебирать слова,
Как перебирает кубики слабоумный ребенок...

Опять загнулся. Что же там в конце? Постой-ка...

Как зверь безмозглый,
Стребают гласные и согласные без разбора,
За чудеса почитает дрянные советы
И цедит их шепотом, с каждым ударом сердца
Строго по одному...
И в час полночный некто сядет в постели
Услышит гром звонка, поднимет трубку,
И грянет голос — чей? Святого Духа?
Призрака из дальних созвездий?
А это — он. Зверь.
И с присвистом, смакуя звуки,
Промчась по континентам, одолев безумие времени,
Зверь вымолвит по слогам:
— Здрав-ствуй-те...

Он перевел дух и закончил:

Что же ответить ему, прежде немому,
Затерянному неведомо где жестокому зверю,
Как достойно ответить ему?

Он замолк.

Он сидел и молчал. Восемьдесятiletний старик, он сидел один в пустой комнате, в пустом доме, на пустой улице пустого города, на пустой планете Марс.

Он сидел, как сидел последние полвека, — сидел и ждал.

На столе перед ним стоял телефон. Телефон, который давным-давно не звонил.

И вот теперь телефон затрепетал, тайно готовясь к чему-то. Быть может, именно этот трепет и вызвал в памяти забытые строки.

Ноздри у старика раздулись. Глаза широко раскрылись.

Телефон задрожал — тихо, почти беззвучно.

Старик наклонился, уставясь на аппарат безумными глазами.

Телефон... зазвонил.

Старик подпрыгнул, отскочил от телефона, стул полетел на пол. Старик закричал, собрав все силы:

— Нет!..

Телефон зазвонил опять.

— Не-е-ет!

Он хотел было протянуть руку к трубке, протянул — и сбил аппарат со стола. Телефон упал на пол как раз в ту секунду, когда зазвонил в третий раз.

— Нет, нет... о нет... — повторял старик тихо, прижимая руки к груди, а телефон лежал у его ног. — Этого не может быть... Этого не может быть...

Потому что как-никак он был один в пустой комнате, в пустом доме, в пустом городе на планете Марс, где не было никого живого, лишь он один — Король Пустынных Гор.

И все же...

— Бартон!..

Кто-то звал его.

Нет, послышалось. Просто в трубке что-то трещало, стрекотало, как кузнечики и цикады дальних пустынь.

«Бартон? — подумал он. — Ну да... ведь это же я!..»

Старик так давно не слышал звука своего имени, что совсем его позабыл. Он не принадлежал к числу тех, кто способен разговаривать сам с собой. Он никогда...

— Бартон! — позвал телефон. — Бартон! Бартон! Бартон!..

— Замолчи! — крикнул старик.

И пнул трубку ногой. Потая и задыхаясь, нагнулся, чтобы положить ее обратно на рычаг.

Но едва он водворил ее на место, проклятый аппарат зазвонил снова.

На сей раз старик стиснул телефон руками, сжал так, словно хотел задушить, заглушить звук, но в конце концов костяшки пальцев побелели и он, разжав пальцы, поднял трубку.

— Бартон! — донесся голос издалека, за миллиард миль.

Старик подождал — сердце отмерило еще три удара, — затем сказал:

— Бартон слушает...

— Ну-ну, — отозвался голос, приблизившийся теперь до миллиона миль. — Знаешь, кто с тобой говорит?

— Черт побери! — заявил старик. — Первый звонок за пол моей жизни, а вы шутки шутить...

— Виноват. Это я, конечно, зря. Само собой, не мог же ты узнать собственный голос. Собственный голос никто не узнает. Мы-то сами слышим его искаженным, сквозь кости черепа... Слушай, Бартон, с тобой говорит Бартон.

— Что?!

— А ты думал кто? Командир ракеты? Думал, кто-то прилетел на Марс, чтобы спасти тебя?

— Да нет...

— Какое сегодня число?

— 20 июля 2097 года.

— Бог ты мой! Шестьдесят лет прошло! И что, ты все это время так и просидел, ожидая прибытия ракеты с Земли? —

Старик молча кивнул.— Послушай, старик, теперь ты знаешь, кто говорит?

— Знаю.— Он вздрогнул.— Вспомнил. Мы с тобой одно лицо. Я Эмиль Бартон, и ты Эмиль Бартон.

— Но между нами существенная разница. Тебе восемьдесят, а мне двадцать. У меня еще вся жизнь впереди!

Старик рассмеялся — и тут же заплакал навзрыд. Он сидел с трубкой в руке, чувствуя себя глупым, заблудившимся ребенком. Разговор этот был невыносим, его не следовало продолжать, и все-таки разговор продолжался. Совладав с собой, старик прижал трубку к уху и сказал:

— Эй, ты там! Послушай... О Господи, если б я только мог предупредить тебя! Но каким образом? Ты же всего-навсего голос. Если б я мог показать тебе, как одиноки предстоящие годы... Оборви все разом, убей себя! Не жди! Если б ты мог понять, как это страшно,— превратиться из того, что ты есть, в то, чем я стал сегодня, сейчас, сию минуту, на этом конце провода...

— Чего нельзя, того нельзя,— расхохотался молодой Бартон далеко-далеко.— Я же не могу знать, ответил ли ты на мой звонок. Все это автоматика. Ты разговариваешь с записью, и не больше. Я живу в 2037 году, для тебя — шестьдесят лет назад. На Земле сегодня началась война. Всех колонистов отозвали с Марса домой на ракетах. А меня забыли...

— Помню,— прошептал старик.

— Один на Марсе,— хохотал молодой голос.— Месяц, год, не все ли равно? Продукты есть, книги есть. Между делом я подобрал фонотеку на десять тысяч слов с типовыми ответами — все надиктовано моим же голосом и подключено к телефонным реле. Буду сам себе звонить, заведу себе собеседника...

— Да-да...

— А шестьдесят лет спустя мои записи позвонят мне сами. Я, правда, не верю, что пробуду на Марсе столько лет. Просто мысль такая в голову пришла, замечательно ехидная мысль, средство убить время. Это действительно ты, Бартон? Ты — это я?

Из глаз старика текли слезы.

— Да-да...

— Я создал тысячу Бартонов, тысячу записей, готовых ответить на любые вопросы, в тысяче марсианских городов. Целая армия Бартонов по всей планете, покуда сам я жду возвращения ракет...

— Дурак! — Старик устало покачал головой.— Ты прождал шестьдесят лет. Состарился, ожидая, и все время один. И те-

перь ты стал я, и ты по-прежнему один, один во всех пустых городах...

— Не рассчитывай на мое сочувствие. Ты для меня чужеземец, житель иной страны. Зачем мне грустить? Когда я диктую эти записи, я живой. И ты, когда слушаешь их, живой. Но понять друг друга мы не можем. Ни один из нас не может ни о чем предупредить другого, хоть мы и перекликаемся через годы — один автоматически, другой по-человечески страстно. Я живу сейчас. Ты живешь позже меня. Плакать не стану — будущее мне неведомо, а раз так, я остаюсь оптимистом. Записи спрятаны от тебя и лишь реагируют на определенные раздражители с твоей стороны. Можешь ты потребовать от мертвеца, чтобы тот зарыдал?...

— Прекрати! — воскликнул старик. Он ощутил знакомый приступ боли, им овладели тошнота и чернота. — Боже, как ты был бессердечен! Прочь! Прочь!..

— Почему был, старина? Я есть. Пока пленка скользит по тонвалу, пока крутятся бобины и скрытые от тебя электронные глаза читают, выбирают и трансформируют слова тебе в ответ, я остаюсь молод — и жесток. Я останусь молод и жесток и тогда, когда ты давным-давно умрешь. До свидания.

— Постой! — вскричал старик.

Щелк.

Бартон долго сидел, сжимая в руке онемевшую трубку. Сердце причиняло ему нестерпимую боль.

Каким это было безумием! Он был молод — и как глупо, как вдохновенно шли те первые годы одиночества, когда он монтировал все эти пленки, цепи, управляющие схемы, программировал вызовы на реле времени...

Звонок.

— С добрым утром, Бартон! Говорит Бартон. Семь часов. А ну вставай, лежебока!..

Опять звонок.

— Бартон? Говорит Бартон. В полдень тебе предстоит поехать в Марстаун. Установить там телефонный мозг. Хотел тебе об этом напомнить.

— Спасибо.

Звонок!

— Бартон? Это я, Бартон. Пообедаем вместе? В гостинице «Ракета», хорошо?

— Договорились.

— Там и увидимся. Пока!..

Дз-з-з-инн-н-нь!

— Это ты? Хотел тебя подбодрить. Выше нос, и так далее. А вдруг уже завтра за нами прилетит спасательная ракета?

— Вот именно; завтра. Завтра. Завтра. Завтра...

Щелк.

Но годы обратились в дым. И Бартон собственными руками задушил коварные телефоны со всеми их хитрыми реплика-ми. Теперь они должны были вызвать его только после того, как ему исполнится восемьдесят, — конечно, если он еще будет жив. И вот сегодня телефоны звонят, и прошлое дышит ему в уши, нашептывает, напоминает...

Телефон!

Пусть звонит.

«Я же не обязан отвечать», — подумал он.

Звонок!

«Да ведь там и нет никого», — подумал он.

Звонок! Звонок! Звонок!

«Это будто сам с собой разговариваешь», — подумал он. — Но есть и разница. Господи, и какая разница!..»

Он ощутил, как его рука сама подняла трубку.

— Алло, старик Бартон, говорит молодой Бартон. Мне сегодня двадцать один! За прошедший год я установил голосовые устройства еще в двухстах городах. Я заселил Марс Бартонами!..

— Да-да...

Старик припомнил те ночи, шесть десятилетий назад, когда он носился сквозь голубые горы и железные долины в грузовике, набитом всяческой техникой, и насвистывал, счастливый. Еще один аппарат, еще одно реле. Хоть какое-то занятие. Остроумное, необычное, печальное. Скрытые голоса. Скрытые, затаенные. В те юные годы смерть не была смертью, время не было временем, а старость казалась лишь смутным эхом из глубокого грота лет, лежащих впереди. Молодой идиот, садист, дурак, не помышляющий о том, что снимать урожай придется не кому-нибудь, а ему самому...

— Вчера вечером, — сообщил Бартон двадцати одного года от роду, — я сидел в кино посреди пустого города. Прокрутил старую ленту с Лорелом и Харди. Ох и смеялся же я...

— Да-да...

— У меня родилась идея. Я записал свой голос на одну и ту же пленку тысячу раз подряд. Запустил ее через громкоговорители — звучит как тысяча человек. Оказывается, шум толпы успокаивает. Я так все устроил, что двери в городе хлопают, дети поют, радиолы играют, все по часам. Если не смотреть в окно, только слушать, тогда здорово. А выглянешь — иллюзия пропадает. Наверно, начинаю чувствовать одиночество...

— Вот тебе и первый сигнал,— сказал старик.

— Что?

— Ты впервые признался себе, что одинок...

— Я поставил опыты с запахами. Когда гуляю по улицам, из домов доносятся запахи бекона, яичницы, ветчины, рыбы. Все с помощью потайных устройств.

— Безумие!

— Самозащита...

— Я устал от тебя!..

Старик резко повесил трубку. Это уж чересчур. Прошлое засасывает, захлестывает его...

Пошатываясь, он спустился по лестнице и вышел на улицу.

Город лежал в темноте. Не горели больше красные неоновые огни, не играла музыка, не носились в воздухе кухонные запахи. Давным-давно забросил он фантастику механической лжи. Прислушайся! Что это — шаги?.. Запах! Должно быть, клубничный пирог!.. Он прекратил все это раз и навсегда.

Подошел к каналу, где звезды мерцали в дрожащей воде.

Под водой шеренга к шеренге, как рыбы в стае, ржавели роботы — бездушное население Марса, которое он создавал в течение многих лет, а потом внезапно осознал жуткую бессмысленность того, что делает, и приказал им — раз, два, три, четыре! — шествовать на дно канала, и они утонули, пуская пузыри, как пустые бутылки. Он истребил их всех — и не чувствовал угрызений совести.

В неосвещенном домике тихо зазвонил телефон.

Бартон прошел мимо. Телефон замолк.

Зато впереди, в другом коттедже, забренчал звонок, словно догадался о его приближении. Он побежал. Звонок остался позади. Но на смену пришли новые звонки — в этом домике, в том, здесь, там, повсюду! Он рванулся прочь. Еще звонок!

— Ладно,— прокричал он в изнеможении.— Ладно, иду!

— Алло, Бартон!

— Что тебе еще?

— Мне одиноко. Я живу, только когда говорю. Значит, я должен говорить. Ты не можешь заставить меня замолчать.

— Оставь меня в покое! — в ужасе воскликнул старик.— Ох, сердце схватило...

— Говорит Бартон. Мне двадцать четыре. Прошло еще два года. А я все жду. И мне все более одиноко. Прочел «Войну и мир». Выпил реку вина. Обошел все рестораны — и в каждом был сам себе официант, и повар, и оркестрант. Сегодня играю в фильме в «Тиволи». Эмиль Бартон в «Напрасных усилиях любви» исполнит все роли, некоторые в париках!..

— Перестань мне звонить — или я тебя убью!

— Не сумеешь. Сперва найди меня!

— И найду.

— Ты же забыл, где меня спрятал. Я везде: в кабелях и коробках, в домах и башнях, и под землей. Давай убивай! Как ты это назовешь? Телеубийством? Самоубийством? Ревнуешь, не так ли? Ревнуешь ко мне, двадцатичетырехлетнему, ясноглазому, сильному, молодому... Ладно, старик, война так война! Война между нами! Между мной — и мной! Нас тут целый полк всех возрастов против тебя, единственно живого. Валяй, объявляй войну!

— Я убью тебя!..

Щелк.

Тишина.

Он вышвырнул телефон в окно.

В полночный холод автомобиль пробирался по глубоким долинам. На полу под ногами Бартона были сложены пистолеты, винтовки, динамит. Рев мотора отдавался в его источенных, усталых костях.

«Я найду их,— повторял он себе,— найду и уничтожу всех до единого. Господи, и как он только может так поступать со мной?..»

Он остановил машину. Под заходящими лунами лежал незнакомый город. В воздухе висело безветрие.

Он сжал винтовку холодными руками. Смотрел на столбы, башни, коробки. Где же запрятан голос в этом городе? Вон в той башне? Или вон там, подалее? Сколько лет прошло! Он судорожно повел головой в одну сторону, в другую...

Поднял винтовку.

Башня развалилась с первого выстрела.

«А надо все до одной,— подумал он.— Придется срезать в этом городе все башни. Я забыл, забыл! Слишком давно это было...»

Машина двинулась по безмолвной улице.

Зазвонил телефон.

Он бросил взгляд на вымершую аптеку.

Да, там аппарат.

Сжав пистолет, сбил выстрелом замок и вошел внутрь.

Щелк.

— Алло, Бартон! Предупреждаю: не пытайся разрушить все башни или взорвать их. Сам себе перережешь глотку. Одумайся!

Щелк.

Он тихо вышел из телефонной будки, выбрался на улицу и все прислушивался к смутному гулу башен. Гул доносился сверху — они все еще работали, все еще были в действии. Посмотрел на них снова и вдруг сообразил: он не вправе их уничтожить. Допустим, с Земли прилетит ракета — невозможная мысль, но что, если она все-таки прилетит сегодня, завтра, через неделю? И сядет на другой стороне планеты, и кто-то захочет связаться с Бартоном по телефону — и обнаружит, что вся связь прервана?..

Он опустил винтовку.

— Да не придет она, — возразил он себе вполголоса. — Я старик. Поздно, слишком поздно...

«Ну а вдруг придет, — подумал он, — а ты и не узнаешь. Нет, связь должна оставаться в порядке...»

Телефон в аптеке зазвонил снова.

Он тупо повернулся. Прошаркая обратно в аптеку, непослушными пальцами поднял трубку.

— Алло!..

Незнакомый голос.

— Пожалуйста, — произнес старик, — оставь меня в покое...

— Кто это? Кто там? Кто вы? Где вы? — откликнулся изумленный голос.

— Подождите. — Старик пошатнулся. — Я Эмиль Бартон. Кто со мной говорит?

— Говорит капитан Рокуэлл с ракеты «Аполлон-48». Мы только что с Земли.

— Нет, нет, нет!..

— Вы меня слушаете, мистер Бартон?

— Нет-нет! Этого не может быть...

— Где вы?

— Врешь! — Старику пришлось прислониться к стенке будки. Глаза ничего не видели. — Это ты, Бартон, потешаешься надо мной, разыгрываешь меня!..

— Говорит капитан Рокуэлл: Мы только что сели. В Нью-Чикаго. А вы где?

— В Гринвилле, — прохрипел старик. — Шестьсот миль от вас.

— Слушайте, Бартон, а вы не могли бы приехать сюда?

— Что?

— Нам нужно провести кое-какой ремонт. Да и устали за время полета. Вы могли бы приехать помочь?

— Да, конечно.

— Мы на поле за городом. К завтрашнему дню доберетесь?

— Да, но...

— Что еще?

Старик погладил трубку.

— Как там Земля? Как Нью-Йорк? Война кончилась? Кто теперь президент? Что с вами случилось?..

— Впереди уйма времени. Наговоримся, когда приедете.

— Но хоть скажите: все в порядке?

— Все в порядке.

— Слава Богу.— Старик прислушался к звучанию далекого голоса.— А вы уверены, что вы действительно капитан Рокуэлл?

— Черт возьми!..

— Прошу прощения...

Он повесил трубку и побежал.

Они здесь, после стольких лет одиночества,— невероятно,— люди с Земли, люди, которые возьмут его с собой, обратно к земным морям, горам, небесам...

Он завел машину. Он будет ехать всю ночь напролет. Риск стоит того — он вновь увидит людей, пожмет им руки, услышит их речь...

Громовое эхо мотора неслось по холмам.

Но этот голос... Капитан Рокуэлл. Не мог же это быть он сам сорок лет назад... Он не делал, никогда не делал подобной записи! А может, делал? В приступе депрессии, в припадке пьяного цинизма не придумал ли он однажды ложную запись ложной посадки на Марсе ракеты с поддельным капитаном и воображаемой командой? Он зло мотнул головой. Нет! Он просто подозрительный дурак. Теперь не время для сомнений. Нужно всю ночь, ночь напролет мчаться вдогонку за марсианскими лунами. Ох, и отпразднуют же они эту встречу!..

Взошло солнце. Он бесконечно устал, шипы сомнений впились в душу, сердце трепетало, руки судорожно сжимали руль — но как сладостно было предвкушать последний телефонный звонок: «Алло, молодой Бартон! Говорит старик Бартон. Сегодня я улетаю на Землю. Меня спасли!..» Он слегка усмехнулся.

В затаенные предместья Нью-Чикаго он въехал перед закатом. Вышел из машины — и застыл, уставясь на бетон космодрома, протирая воспаленные глаза.

Поле было пустынно. Никто не выбежал ему навстречу. Никто не тряс ему руку, не кричал, не смеялся.

Он ощутил, как заходится сердце. В глазах потемнело, он будто падал и падал сквозь пустоту. Спотыкаясь, побрел к какой-то постройке.

Внутри в ряд стояли шесть телефонов.

Он ждал, задыхаясь.

Наконец — звонок.

Он поднял тяжелую трубку.

Голос:

— А я еще гадал, доберешься ли ты живым...

Старик ничего не ответил, просто стоял и держал трубку в руке.

— Докладывает капитан Рокуэлл,— продолжал голос.— Какие будут приказания, сэр?

— Ты!..— простонал старик.

— Как сердчишко, старик?

— Нет!!!

— Надо же было как-то устранить тебя, чтобы сохранить жизнь себе — если, конечно, можно сказать, что звукозапись живет...

— Я сейчас же еду обратно,— ответил старик.— Терять мне уже нечего. Я буду взрывать все подряд, пока не убью тебя!

— У тебя сил не хватит. Почему, как ты думаешь, я заставил тебя ехать так далеко и так быстро? Это была последняя твоя поездка!..

Старик почувствовал, как сердце дрогнуло и упало. Никогда уже ему не добраться до других городов. Война проиграна. Он упал в кресло, изо рта у него вырывались тихие, скорбные звуки. Он смотрел неотрывно на остальные пять телефонов. Они зазвонили хором. Гнездо с пятью отвратительными, галдящими птицами!

Трубки приподнялись сами собой.

Комната поплыла перед глазами.

— Бартон, Бартон, Бартон!..

Он сжал один из аппаратов руками. Он душил телефон, а тот по-прежнему смеялся над ним. Стукнул по телефону. Пнул ногой. Намотал горячий провод как серпантин на пальцы и рванул. Провод сполз к его непослушным ногам.

Он разломал еще три аппарата. Наступила внезапная тишина.

И словно тело Бартона вдруг обнаружило то, что долго держало в тайне,— оно начало оседать на усталых костях. Веки опали, как лепестки цветов. Рот скривился. Мочки ушей оплыли расплавленным воском. Он оперся руками себе в грудь и упал ничком. И остался лежать. Дыхание остановилось. Сердце остановилось.

Долгая пауза — и зазвонили уцелевшие два телефона.

Где-то замкнулось реле. Два телефонных голоса соединились напрямую друг с другом.

— Алло, Бартон!

— Да, Бартон?

— Мне двадцать четыре.

— А мне двадцать шесть. Мы оба молоды. Что стряслось?

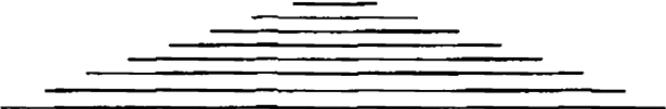
— Не знаю. Давай прислушаемся...

В комнате тишина. Старик на полу недвижим. В разбитое окно задувает ветер. Воздух свеж и прохладен.

— Поздравь меня, Бартон! Сегодня у меня день рождения, мне двадцать шесть!

— Поздравляю!..

Голоса запели дуэтом, поздравляя друг друга, — и пение подхватил ветерок, вынес из окна и понес чуть слышно по мертвому городу.



Часть IV

***Хроники неизвестной
Вселенной***



Р — значит ракета

Эта ограда, к которой мы приникали лицом, и чувствовали, как ветер становится жарким, и еще сильнее прижимались к ней, забывая, кто мы и откуда мы, мечтая только о том, кем мы могли бы быть и куда попасть...

Но ведь мы были мальчишки — и нам нравилось быть мальчишками; и мы жили в небольшом флоридском городе — и город нам нравился; и мы ходили в школу — и школа нам, безусловно, нравилась; и мы лазали по деревьям и играли в футбол, и наши мамы и папы нам тоже нравились...

И все-таки иногда — каждую неделю, каждый день, каждый час в ту минуту или секунду, когда мы думали о пламени, о звездах и об ограде, за которой они нас ожидали, — иногда ракеты нравились нам больше.

Ограда. Ракеты.

Каждую субботу, утром...

Ребята собирались возле моего дома.

Солнце едва взошло, а они уже стоят, голосят, пока соседи не выставят из форточек пистолеты-парализаторы — дескать, сейчас же замолчите, не то заморозим на часок, тогда на себя пеняйте!

— А, влезь на ракету, сунь голову в дюзу! — кричали ребята в ответ. Кричали, надежно укрывшись за нашей изгородью: ведь старик Уикард из соседнего дома стреляет без промаха.

В это прохладное, мглистое субботнее утро я лежал в постели, думая о том, как накануне провалил контрольную по семантике, когда снизу донеслись голоса ватаги. Еще и семи не было, и ветер нес с Атлантики густой туман, и расставленные на всех углах вибраторы службы погоды только что начали жужжать, разгоняя своими лучами эту кашу: слышно было, как они нежно и приятно подвывают.

Я дотащился до окна и выглянул наружу.

— Ладно, пираты космоса! Глуши моторы!

— Эгей! — крикнул Ральф Прайори. — Мы только что узнали: расписание запусков изменили! Лунная, с новым мотором «Икс-Л-3», стартует через час!

— Будда, Мухаммед, Аллах и прочие реальные и полумифические деятели! — молвил я и отскочил от окна с такой прытью, что ребята от толчка повалились на траву.

Я мигом натянул джемпер, живо надел башмаки, сунул в задний карман питательные капсулы — сегодня нам будет не до еды, глотай пилюли, как в животе заворчит, — и на вакуумном лифте ухнул со второго этажа вниз, на первый.

На газоне ребята, вся пятерка, кусали губы и подпрыгивали от нетерпения, строили сердитые рожи.

— Кто последним добежит до монорельсовой, — крикнул я, проносясь мимо них со скоростью 5 тысяч миль в час, — тот будет жукоглазым марсианином!

Сидя в кабине монорельсовой, со свистом уносившей нас на Космодром за двадцать миль от города — каких-нибудь несколько минут езды, — я чувствовал, как у меня словно жуки копошатся под ложечкой. Пятнадцатилетнему мальчишке подавай одни только большие запуски. Чуть не каждую неделю по расписанию приходили и уходили малые межконтинентальные грузовые ракеты, но этот запуск... Совсем другое дело — сила, мощь... Луна и дальше...

— Голова кружится, — сказал Прайори и стукнул меня по руке.

Я дал ему сдачи:

— У меня тоже. Ну скажи, есть в неделе день лучше субботы?

Мы обменялись широкими, понимающими улыбками. Мысленно мы проходили все ступени предстартовой готовности. Другие пираты были правильные парни. Сид Россен, Мак Лесли, Ирл Марин — они тоже, как все ребята, прыгали, бегали и тоже любили ракеты, но почему-то мне думалось, что вряд ли они будут делать то, что в один прекрасный день сделаем мы с Ральфом. Мы с Ральфом мечтали о звездах, они для нас были желаннее, чем горсть бело-голубых бриллиантов чистой воды.

Мы горланили вместе с горланами, смеялись вместе со смеячками, а в душе у нас обоих было тихо; и вот уже бочковатая кабина, шурша, остановилась, мы выскочили и, крича и смеясь, побежали спокойно и даже как-то замедленно: Ральф впереди меня, — и все показывали рукой в одну сторону, на заветную ограду, и разбирали места вдоль проволоки, поторапливая

оставших, но не оглядываясь на них; и наконец все в сборе, и могучая ракета вышла из-под пластикового купола, похожего на огромный межзвездный цирковой шатер, и пошла по блестящим рельсам к точке пуска, провожаемая огромным порталным краном, смахивающим на доисторического крылатого ящера, который вскормил это огненное чудовище, холил и лелеял его, и теперь вот-вот состоится его рождение в раскаленном внезапным сполохом небе.

Я перестал дышать. Даже вдоха не сделал, пока ракета не вышла на бетонный пятачок в сопровождении тягачей-жуков и больших кургузых фургонов с людьми, а кругом, возясь с механизмами, механики-богомолы в асбестовых костюмах что-то стрекотали, гудели, каркали друг другу в незримые для нас и неслышные нам радифоны, да мы-то в уме, в сердце, в душе все слышали.

— Господи! — вымолвил я наконец.

— Всемогущий, всемилостивый! — подхватил Ральф Прайори, стоя рядом со мной.

Остальные ребята тоже сказали что-то в этом роде. Да и как тут не восхищаться! Все, о чем людям мечталось веками, разобрали, просеяли и выковали одну — самую заветную, самую чудесную, крылатую мечту. Что ни обвод — отвердевшее пламя, безупречная форма... Застывший огонь, готовый к таянию лед ждали там, посреди бетонной прерии; еще немного — и с ревом проснется, и рванется вверх, и боднет эта бездумная, великолепная, могучая голова Млечный Путь, так что звезды посыплются вниз метеорным огнепадом. А попадется на пути Угольный Мешок — ей-богу, как даст под вздох, сразу в сторону отскочит!

Она и меня поразила прямо под вздох, так стукнула, что я ощутил острый приступ ревности, и зависти, и тоски, как от чего-то незавершенного. И когда наконец через поле пошел окруженный тишиной самоходный вагончик с космонавтами, я был вместе с ними, облаченными в диковинные белые доспехи, в шаровидные гермошлемы и в этакую величественную небрежность — ни дать ни взять магнитофутбольная команда представляется публике перед тренировочной встречей на каком-нибудь местном магнитополе. Но они-то вылетели на Луну — теперь туда каждый месяц уходила ракета, — и у ограды давно уже не собирались толпы зевак, одни мы, мальчишки, болели за благополучный старт и вылет.

— Черт возьми, — произнес я. — Чего бы я не отдал, только бы полететь с ними. Представляешь себе...

— Я так отдал бы свой годовой проездной билет, — сказал Мак.

— Да... Ничего бы не пожалел.

Нужно ли говорить, какое это было великое событие для нас, ребяташек, словно взвешенных посередине между своей утренней игрой и ожидающим нас вскоре таким мощным и внушительным полуденным фейерверком.

И вот все приготовления завершены. Заправка ракеты горючим кончилась, и люди побежали от нее в разные стороны, будто муравьи, улетающие от металлического идола. И Мечта ожила, и взревела, и метнулась в небо! И вот уже скрылась вместе с утробным воем, и остался от нее только жаркий звон в воздухе, который через землю передался нашим ногам и вверх по ногам дошел до самого сердца. А там, где она стояла, теперь были черная оплавленная яма да клуб ракетного дыма, будто прибитое к земле кучевое облако.

— Ушла! — крикнул Прайори.

И мы все снова часто задышали, пригвожденные к месту, словно нас оглушили из какого-нибудь чудовищного парапистолета.

— Хочу поскорее вырасти! — ляпнул я. — Хочу поскорее вырасти, чтобы полететь на такой ракете!

Я прикусил губу. Куда мне, зеленому юнцу; к тому же на космические работы по заявлению не принимают. Жди, пока тебя не отберут.

Наконец кто-то, кажется Сидни, сказал:

— Ладно, теперь айда на телецоу!

Все согласились — все, кроме Прайори и меня. Мы сказали «нет», и ребята ушли, заливаясь хохотом и разговаривая, только мы с Прайори остались смотреть на то место, где недавно стоял космический корабль.

Он отбил нам вкус ко всему остальному, этот старт.

Из-за него я в понедельник провалил семантику.

И мне было совершенно наплевать.

В такие минуты я говорил «спасибо» тому, кто придумал концентраты. Когда у вас вместо желудка ком нервов, меньше всего тянет сесть за стол и расправиться с обедом из трех блюд. Без аппетита несколько таблеток концентрата отлично заменяли и первое, и второе, и третье.

Все дни напролет и до поздней ночи меня неотступно, упорно преследовала одна и та же мысль. Дошло до того, что я каждую ночь должен был прибегать к снотворному массажу в сочетании с тихими мелодиями Чайковского, чтобы хоть ненадолго сомкнуть веки.

— Помилуйте, молодой человек, — сказал в тот понедельник мой учитель, — если это будет продолжаться, придется на следу-

ющем заседании психологического комитета снизить вам общую оценку.

— Простите, — ответил я.

Он пристально посмотрел на меня.

— У вас какой-то затор в голове? Очевидно, что-то совсем простое, и притом осознанное.

Я поежился.

— Верно, сэр, осознанное, но никак не простое. А очень даже сложное. Но в общем-то можно сказать одним словом — ракеты...

Он улыбнулся.

— Р — значит ракета, так, что ли?

— Вот именно, сэр, что-то вроде этого.

— Но мы не можем допустить, молодой человек, чтобы это отражалось на вашей успеваемости.

— По-вашему, сэр, меня надо подвергнуть гипнотическому внушению?

— Нет-нет. — Учитель перебрал листки, вверху которых большими буквами была написана моя фамилия.

У меня все сжалось под ложечкой. Он опять посмотрел на меня.

— Вы ведь у нас, Кристофер, первый номер в классе, фаворит, так сказать.

Он закрыл глаза, раздумывая.

— Тут надо основательно поразмыслить, — заключил он. Похлопал меня по плечу и добавил: — Ладно, продолжайте заниматься. И не надо горевать.

Он отошел от меня.

Я попробовал сосредоточиться на занятиях, но не мог. До конца уроков учитель все посматривал на меня, листал мой табель и задумчиво покусывал губы. Часов около двух он набрал какой-то номер на своем аудиофоне и минут пять с кем-то разговаривал.

Я не мог слышать, что он говорил.

Но когда он положил трубку на место, то очень-очень странно поглядел на меня.

Зависть, и восторг, и сожаление — все смешалось вместе в этом взгляде. Немного грусти и много радости. Да, выразительные были глаза.

Я сидел и не знал, смеяться мне или плакать.

В тот день мы с Ральфом Прайори улизнули пораньше из школы домой. Я рассказал Ральфу, что приключилось, и он насупился: такая у него привычка.

Я встревожился. И мы принялись вместе подстегивать эту тревогу.

— Ты что, Крис, думаешь, тебя куда-нибудь отправят?

Кабина монорельсовой зашипела. Это была наша остановка. Мы вышли. И медленно зашагали к дому.

— Не знаю,— ответил я.

— Это было бы свинство,— сказал Ральф.

— Может быть, мне нужно пойти к психиатру, чтобы он прочистил мне мозги, Ральф? Так ведь тоже нельзя — чтобы учеба кувырком летела.

У моего дома мы остановились и долго глядели на небо. Тут Ральф сказал одну странную вещь:

— Днем нету звезд, а мы их все равно видим, правда ведь, Крис?

— Правда,— сказал я.— Видим.

— Мы будем держаться заодно, идет, Крис? Не могут они, черт бы их взял, убирать тебя сейчас из школы. Мы друзья. Это было бы несправедливо.

Я ничего не ответил, потому что горло мое плотно закупирил ком.

— Что у тебя с глазами? — спросил Прайори.

— А, ничего, слишком долго на солнце глядел. Пошли в дом, Ральф.

Мы ушли под струями воды в душевой, но как-то без особого воодушевления, даже когда пустили ледяную воду.

Пока мы стояли в сушилке, обдуваемые горячим воздухом, я усиленно размышлял. Литература, рассуждал я, полным-полна людей, которые сражаются с суровыми, непримиримыми противниками. Мозг, мышцы — все обращают на борьбу против всяких препон, пока не победят или сами не проиграют. Но ведь у меня-то никаких признаков внешнего конфликта. То, что меня грызет острыми зубами, грызет изнутри, и, кроме меня, только врач-психолог разглядит все мои царапины. Конечно, мне от этого ничуть не легче.

— Ральф,— сказал я, когда мы начали одеваться,— я влип в войну.

— Ты один? — спросил он.

— Я не могу тебя впутывать,— объяснил я.— Потому что это совсем личное дело. Сколько раз мама говорила: «Крис, не ешь так много, у тебя глаза больше желудка?»

— Миллион раз.

— Два миллиона. А теперь перефразируем это, Ральф. Скажем иначе: «Не фантазируй так много, Крис, твое воображение чересчур велико для твоего тела». Так вот, война идет между воображением и телом, которое не может за ним поспевать.

Прайори сдержанно кивнул.

— Я тебя понял, Кристофер. Понял то, что ты говоришь про личную войну. В этом смысле во мне тоже идет война.

— Знаю,— сказал я.— У других ребят, так мне кажется, это пройдет. Но у нас с тобой, Ральф, по-моему, это никогда не пройдет. По-моему, мы будем ждать все время.

Мы устроились под солнцем на крыше дома, разложили тетрадки и принялись за домашние задания. У Прайори ничего не выходило. У меня тоже. Прайори сказал вслух то, что я не мог собраться с духом выговорить:

— Крис, Комитет космонавтики отбирает людей. Желающие не подают заявлений. Они ждут.

— Знаю.

— Ждут с того дня, когда у них впервые замрет сердце при виде Лунной ракеты, ждут годами, из месяца в месяц, все надеются, что в одно прекрасное утро спустится с неба голубой вертолет, сядет на газоне у них в саду, из кабины вылезет аккуратный, подтянутый пилот, стремительно поднимется на крыльцо и нажмет кнопку звонка. Этому вертолета ждут, пока не исполнится двадцать один год. А в двадцать первый день рождения выпивают бокал-другой вина и с громким смехом небрежно бросают: дескать, ну и черт с ним, не очень-то и нужно.

Мы посидели молча, взвешивая всю тяжесть его слов. Сидели и молчали. Но вот он снова заговорил:

— Я не хочу так разочаровываться, Крис. Мне пятнадцать лет, как и тебе. Но если мне исполнится двадцать один, а в дверь нашего интерната, где я живу, так и не позвонит космонавт, я...

— Знаю,— сказал я,— знаю. Я разговаривал с такими, которые прождали впустую. Если так случится с нами, Ральф, тогда... тогда мы выпьем вместе, а потом пойдем и наймемся в грузчики на транспортную ракету Европейской линии.

Ральф сжался и побледнел.

— В грузчики...

Кто-то быстро и мягко прошел по крыльцу, и мы увидели мою маму. Я улыбнулся.

— Здорово, леди!

— Здравствуй. Здравствуй, Ральф.

— Здравствуйте, Джен.

Глядя на нее, никто не дал бы ей больше двадцати пяти — двадцати шести лет, хотя она произвела на свет и вырастила меня и уже далеко не первый год служила в Государственном статистическом управлении. Тонкая, изящная, улыбчивая: я представлял себе, как сильно должен был любить ее отец, когда

он был жив. Да, у меня хоть мама есть. Бедняга Ральф воспитывается в интернате... Джен подошла к нам и положила ладонь на лоб Ральфа.

— Что-то ты плохо выглядишь, — сказала она. — Что-нибудь неладно?

Ральф изобразил улыбку.

— Нет-нет, все в порядке.

Джен не нуждалась в подсказке.

— Оставайся ночевать у нас, Прайори, — предложила она. — Нам тебя недостает. Верно ведь, Крис?

— Что за вопрос!

— Мне бы надо вернуться в интернат, — возразил Ральф, правда, не очень убежденно. — Но раз вы просите, да вот и Крису надо помочь с семантикой, так я уж ему помогу.

— Очень великодушно, — сказал я.

— Но сперва у меня есть кое-какие дела. Я быстро туда-обратно на монорельсовой, через час вернусь.

Когда Ральф ушел, мама многозначительно посмотрела на меня, потом ласковым движением пальцев пригладила мне волосы.

— Что-то назревает, Крис.

Мое сердце притихло: ему захотелось помолчать немного. Оно ждало. Я открыл рот, но Джен продолжала:

— Да, где-то что-то назревает. Мне сегодня два раза звонили на работу. Сперва звонил твой учитель. Потом... нет, не могу сказать. Не хочу ничего говорить, пока это не произойдет...

Мое сердце заговорило опять, медленно и жарко.

— В таком случае не говори, Джен. Эти звонки...

Она молча посмотрела на меня. Сжала мою руку мягкими, теплыми ладонями.

— Ты еще такой юный, Крис. Совсем-совсем юный.

Я сидел молча.

Ее глаза поблели.

— Ты никогда не видел своего отца, Крис. Ужасно жалко. Ты ведь знаешь, кем он был?

— Конечно, знаю, — сказал я. — Он работал в химической лаборатории и почти не выходил из подземелья.

— Да, он работал глубоко под землей, Крис, — подтвердила мама. И почему-то добавила: — И никогда не видел звезд.

Мое сердце вскрикнуло в груди. Вскрикнуло громко, пронзительно:

— Мама... мама...

Впервые за много лет я вслух назвал ее мамой.

Когда я проснулся на другое утро, комната была залита солнцем, но кушетка гостя, на которой обычно спал Прайори у

час, была пуста. Я прислушался. Никто не плескался в душевой, и сушилка не гудела. Ральфа не было в доме.

На двери я нашел приколотую записку:

«Увидимся днем в школе. Твоя мать попросила меня кое-что сделать для нее. Ей звонили сегодня утром, и она сказала, что ей нужна моя помощь.»

Привет. Прайори».

Прайори выполняет поручения Джен. Странно. Джен звонили рано утром. Я вернулся к кушетке и сел.

Я все еще сидел, когда снаружи донеслись крики:

— Эгей, Крис! Заспался!

Я выглянул в окно. Несколько ребят из нашей ватаги стояли на газоне.

— Сейчас спущусь!

— Нет, Крис.

Голос мамы. Тихий и с каким-то необычным оттенком. Я повернулся. Она стояла в дверях позади меня, лицо бледное, осунувшееся, словно ее что-то мучило.

— Нет, Крис, — мягко повторила она. — Скажи им, пусть идут без тебя, ты не пойдешь в школу... сегодня.

Ребята внизу, наверно, продолжали шуметь, но я их не слышал. В эту минуту для меня существовали только я и мама, такая тонкая, бледная, напряженная... Далеко-далеко зажужжали, зарокотали вибраторы метеослужбы.

Я медленно обернулся и посмотрел вниз, на ребят. Они глядели вверх все трое — губы раздвинуты в небрежной полулыбке, шершавые пальцы держат тетради по семантике.

— Эгей! — крикнул один из них. Это был Сидни.

— Извини, Сидни. Извините, ребята. Топайте без меня. Я сегодня не смогу пойти в школу. Позже увидимся, идет?

— Ладно, Крис!

— Что, заболел?

— Нет. Просто... Словом, шагайте без меня. Потом встретимся.

Я стоял будто оглушенный. Наконец отвернулся от обращенных вверх вопрошающих лиц и глянул на дверь. Мамы не было. Она уже спустилась на первый этаж. Я услышал, как ребята, заметно притихнув, направились к монорельсовой.

Я не стал пользоваться вакуум-лифтом, а медленно пошел вниз по лестнице.

— Джен, — сказал я, — где Ральф?

Джен сделала вид, будто поглощена расчесыванием своих длинных русых волос виброгребенкой.

— Я его уснула. Мне нужно, чтобы он ушел.

— Почему я не пошел в школу, Джен?

— Пожалуйста, Крис, не спрашивай.

Прежде чем я успел сказать что-нибудь еще, я услышал в воздухе какой-то звук. Он пронизал достаточно плотные стены нашего дома и вошел в мою плоть, стремительный и тонкий, как стрела из искрящейся музыки.

Я глотнул. Все мои страхи, колебания, сомнения мгновенно исчезли.

Как только я услышал этот звук, я подумал о Ральфе Прайори. Эх, Ральф, если бы ты мог сейчас быть здесь. Я не верил сам себе. Слушал этот звук, слушал не только ушами, а всем телом, всей душой — и не верил.

Ближе, ближе... Ох, как я боялся, что он начнет удаляться. Но он не удалился. Понизив тон, он стал снижаться возле дома, разбрасывая свет и тени огромными вращающимися лепестками, и я знал, что это вертолет небесного цвета. Гудение прекратилось, и в наступившей тишине мама подалась вперед, выпустила из рук виброгребенку и глубоко вздохнула.

В наступившей тишине я услышала шаги на крыльце. Шаги, которых я так долго ждал.

Шаги, которых боялся никогда не услышать.

Кто-то нажал звонок.

Я знал кто.

И упорно думал об одном: «Ральф, ну почему тебе непременно надо было уйти теперь, когда это происходит? Почему, черт возьми?»

Глядя на пилота, можно было подумать, что он родился в своей форме. Она сидела на нем как влитая, как вторая кожа — серебристая кожа: тут голубая полоска, там голубой кружок. Строгая и безупречная, как и надлежит быть форме, и в то же время — олицетворение космической мощи.

Его звали Трент. Он говорил уверенно, с непринужденной гладкостью, без обиняков.

Я стоял молча, а мама сидела в углу с видом растерянной девочки. Я стоял и слушал.

Из всего, что было сказано, мне запомнились лишь какие-то обрывки:

— ...отличные отметки, высокий коэффициент умственного развития. Восприятие А-1; любознательность ААА. Необходимая увлеченность, чтобы настойчиво и терпеливо заниматься восемь долгих лет...

— Да, сэр...

— ...разговаривали с вашими преподавателями семантики и психологии...

— Да, сэр.

— ...и не забудьте, мистер Кристофер...

Мистер Кристофер!

— ...и не забудьте, мистер Кристофер, никто не должен знать про то, что вы отобраны Комитетом космонавтики.

— Никто?

— Ваша мать и преподаватели, конечно, знают об этом. Но, кроме них, никто не должен знать. Вы меня хорошо поняли?

— Да, сэр.

Трент сдержанно улыбнулся, упершись в бока своими ру-чищами.

— Вам хочется спросить: почему так? Почему нельзя поделиться со своими друзьями? Я объясню. Это своего рода психологическая защита. Каждый год мы из миллиардного населения Земли отбираем около десятка тысяч молодых людей. Из них три тысячи через восемь лет выходят из училища космонавтами, с той или другой специальностью. Остальным приходится возвращаться домой. Они отселились, но окружающим-то незачем об этом знать. Обычно отсев происходит уже в первом полугодии. Не очень приятно вернуться домой, встретить друзей и доложить им, что самая замечательная работа в мире оказалась вам не по зубам. Вот мы и делаем все так, чтобы возвращение происходило безболезненно. Есть и еще одна причина. Тоже психологическая. Мальчишкам так важно быть заправилами, в чем-то превосходить своих товарищей. Строго-настрога запрещая вам рассказывать друзьям, что вы отобраны, мы лишаем вас половины удовольствия. И таким способом проверяем, что для вас главное: мелкое честолюбие или сам космос. Если вы думаете только о том, чтобы выделиться, — скатертью дорога. Если космос — ваше призвание, если он для вас все — добро пожаловать.

Он кивнул маме:

— Благодарю вас, миссис Кристофер.

— Сэр, — сказал я. — Один вопрос. У меня есть друг. Ральф Прайори. Он живет в интернате.

Трент кивнул.

— Я, естественно, не могу вам сказать его данные, но он у нас на учете. Это ваш лучший друг? И вы, конечно, хотите, чтобы он был с вами? Я проверю его дело. Воспитывается в интернате, говорите? Это не очень хорошо. Но... мы посмотрим.

— Если можно, прошу вас. Спасибо.

— Явитесь ко мне на Космодром в субботу, в пять часов, мистер Кристофер. До тех пор — никому ни слова.

Он козырнул. И ушел. И взмыл в небо на своем вертолете, и в ту же секунду мама очутилась возле меня.

— О Крис, Крис...— твердила она, и мы прильнули друг к другу, и шептали что-то, и говорили что-то, и мама говорила, как это важно для нас, особенно для меня, как замечательно, и какая это честь, вроде как в старину, когда человек постился, и давал обет молчания, и ни с кем не разговаривал, только молился и старался стать достойным, и уходил в какой-нибудь монастырь, где-нибудь в глуши, а потом возвращался к людям, и служил образцом, и учил людей добру. Так и теперь, говорила она, заключала она, утверждала она, это тоже своего рода высокий орден, и я стану как бы его частицей, больше не буду принадлежать ей, а буду принадлежать вселенной, стану всем тем, чем отец мечтал стать, да не смог, не дожил...

— Конечно, конечно,— пробормотал я.— Я постараюсь, честное слово, постараюсь...— Я запнулся.— Джен, а как же... как мы скажем Ральфу? Как нам быть с ним?

— Ты уезжаешь и все, Крис. Так ему и скажи. Коротко и ясно. Больше ничего ему не говори. Он поймет.

— Но, Джен, ты...

Она ласково улыбнулась.

— Да, Крис, мне будет одиноко. Но ведь у меня остается моя работа и остается Ральф.

— Ты хочешь сказать...

— Я заберу его из интерната. Он будет жить здесь, когда ты уедешь. Ведь именно это ты желал от меня услышать, Крис, верно?

Я кивнул, внутри у меня все будто онемело.

— Да, я как раз это хотел услышать.

— Он будет хорошим сыном, Крис. Почти таким же хорошим, как ты.

— Отличным!

Мы сказали Ральфу Прайори. Сказали, что я, очевидно, уеду учиться в Европу на год и мама хочет, чтобы он поселился у нас, был ей сыном, пока я не вернусь домой. Мы выпалили все это так, будто слова обжигали нам язык. Когда же мы кончили, Ральф сперва пожал мне руку, потом поцеловал маму в щеку и сказал:

— Я буду рад. Я буду очень рад.

Странно, Ральф даже не стал допытываться, почему я все-таки уезжаю, куда именно и когда думаю вернуться. Сказал только:

— А здорово мы вместе играли, верно? — И примолк, словно боялся продолжать разговор.

Это было в пятницу вечером, Прайори, Джен и я ходили на концерт в Зеленый театр в центре нашего общественного

комплекса, потом, смеясь, возвратились домой и стали готовиться ко сну.

У меня ничего не было уложено. Прайори вскользь отметил это, но спрашивать почему не стал. А дело в том, что на ближайшие восемь лет другие брали на себя заботу о моей личной экипировке. Укладываться незачем.

Позвонил учитель семантики, коротко и ласково пожелал мне, улыбаясь, всего доброго.

Наконец мы легли, но я целый час не мог уснуть, все думал о том, что это моя последняя ночь вместе с Джен и Ральфом. Последняя ночь.

И я всего лишь пятнадцатилетний мальчишка...

Я уже начал засыпать, когда Прайори в темноте мягко повернулся на своей кушетке лицом в мою сторону и торжественно прошептал:

— Крис?

Пауза.

— Крис, ты еще не спишь? — глухо, будто далекое эхо.

— Не сплю, — ответил я.

— Думаешь?

Пауза.

— Да.

— Ты... ты теперь перестал ждать, да, Крис?

Я понимал, что он подразумевает. И не мог ответить.

— Я жутко устал, Ральф, — сказал я.

Он отвернулся, лег на спину и сказал:

— Я так и думал. Ты уже не ждешь. Ах, черт, как это здорово, Крис! Здорово!

Он протянул руку и легонько стукнул меня по бицепсу.

Потом мы оба уснули.

Наступило субботнее утро. За окном в семичасовом тумане раскатились голоса ребят. Я услышал, как стукнула форточка старика Уикарда, и жужжание его парапистолета стало подкрадываться к мальчишкам.

— Сейчас же замолчите! — крикнул он, но совсем беззлобно. Это была обычная субботняя игра. Было слышно, как ребята смеются в ответ.

Проснулся Прайори и спросил:

— Сказать им, Крис, что ты сегодня не пойдешь с ними?

— Ни в коем случае. — Джен прошла от двери к открытому окну, и светлый ореол ее волос потеснил туман. — Здорово, ватага! Ральф и Крис сейчас выйдут. Задержать пуск!

— Джен! — воскликнул я.

Она подошла к нам с Ральфом.

— Проведете вашу субботу как обычно, вместе с ребятами!

— Я думал побыть с тобой, Джен.

— Разве день отдыха для этого существует?

Она живо накормила нас завтраком, поцеловала в щеку и выставила за дверь, в объятия ватаги.

— Давайте не пойдем сегодня к Космодрому, ребята.

— Ты что, Крис... Почему?

Их лица отразили целую гамму чувств. Впервые в истории я отказывался идти к Космодрому.

— Ты нарочно, Крис.

— Конечно, дурака валяет.

— Вот и нет, — сказал Прайори. — Он это серьезно. Мне тоже туда не хочется. Каждую субботу ходим. Надоело. Лучше на следующей неделе сходим.

— Да ну...

Они были недовольны, но без нас идти не захотели. Сказали, что без нас неинтересно.

— Ну и ладно... Пойдем на следующей неделе.

— Конечно. А сейчас что будем делать, Крис?

Я сказал им.

В этот день мы играли в «Бей банку» и другие давно оставленные нами игры, потом пошли в небольшой поход вдоль ржавых путей старой, заброшенной железной дороги, побродили по лесу, сфотографировали каких-то птиц, поплавали нагишом, и я все время думал об одном: сегодня последний день.

Все, что мы когда-либо прежде затевали по субботам, все это мы вспоминали. Всякие там штуки и проказы. И, кроме Ральфа, никто не подозревал о моем отъезде, и с каждой минутой все ближе подступали заветные «пять часов».

В четыре я сказал ребятам «до свидания».

— Уже уходишь, Крис? Ну а вечером что?

— Заходите в восемь, — сказал я. — Пойдем посмотрим новую картину с Салли Гибберт!

— Так точно.

— Ключ на старт!

И мы с Ральфом отправились домой.

Мамы дома не было, но на моей кровати лежал ролик аудиофильма, на котором она оставила частицу себя — свою улыбку, свой голос, свои слова. Я вставил ролик в проектор и навел на стену. Мягкие русые волосы, мамино белое лицо, ее негромкий голос:

— Не люблю я прощаться, Крис. Пойду в лабораторию, поработаю там. Счастливо тебе. Крепко-крепко обнимаю. Когда я тебя снова увижу... ты будешь уже мужчиной.

И все.

Прайори ждал за дверью, а я в четвертый раз прокрутил ролик.

— Не люблю я прощаться, Крис. Пойду... поработаю... счастливо. Крепко... обнимаю...

Я тоже еще накануне вечером записал ролик. Теперь я за-
сунул его в проектор и оставил — два-три прощальных слова.

Прайори проводил меня до полдороги. Нельзя же, чтобы он ехал со мной до Космодрома. У станции монорельсовой я крепко пожал ему руку и сказал:

— Отлично мы сегодня день провели.

— Ага. Теперь что же, до следующей субботы?

— Хотел бы я ответить «да».

— Все равно ответь «да». Следующая суббота — лес, вата-
га, ракеты, старина Уикард с его верным парапистолетом.

Мы дружно рассмеялись.

— Договорились. В следующую субботу, рано утром. А ты береги... береги нашу маму, ладно, Прайори, обещаешь?

— Что за глупый вопрос, балда ты, — сказал он.

— Точно, балда.

Он глотнул.

— Крис!

— Да?

— Я буду ждать. Так же, как ты ждал, а теперь тебе больше не нужно ждать. Буду ждать.

— Думаю, тебе придется ждать недолго, Ральф. Я надеюсь, что недолго.

Я легонько стукнул его разок по руке. Он ответил тем же.

Закрылась дверь монорельсовой. Кабина ринулась вперед, и Прайори остался позади.

Я вышел на остановке «Космопорт». До здания управления было каких-нибудь пятьсот метров. Я шел этот отрезок десять лет.

«Когда я тебя снова увижу, ты будешь уже мужчиной...»

«Никому ни слова...»

«Я буду ждать, Крис...»

Все это — пробкой в сердце, и никак не хочет уходить, и плавает перед глазами...

Я подумал о своей мечте. Лунная ракета. Теперь она уже не будет частицей моей души, моей мечты. Теперь я стану ее частицей.

Я все шел, и шел, и шел, чувствуя себя совсем ничтожным.

В ту самую минуту, когда я подошел к управлению, стартовала вечерняя Лондонская ракета. Она всколыхнула землю и всколыхнула и наполнила сладким трепетом мое сердце.

И я сразу начал страшно быстро расти.

Я провожал глазами ракету до тех пор, пока рядом со мной не шелкнули чьи-то приветствующие каблукки.

Я окаменел.

— К. М. Кристофер?

— Так точно, сэр. Явился по вызову, сэр.

— Сюда, Кристофер. В эти ворота.

В эти ворота и внутрь ограды...

Ограды, к которой неделю назад мы приникали лицом, и чувствовали, как ветер становится жарким, и еще сильнее прижимались к ней, забывая, кто мы, откуда мы, мечтая только о том, кем мы могли бы быть и куда попасть...

Ограды, у которой неделю назад стояли мальчишки, — которым нравилось быть мальчишками, нравилось жить в небольшом флоридском городе, и школа безусловно нравилась, и нравилось играть в футбол, и папы и мамы им тоже нравились...

Мальчишки, которые каждую неделю, каждый день, каждый час хоть минуту непременно думали о пламени, и звездах, и ограде, за которой все это их ожидало... Мальчишки, которым ракеты нравились больше.

Мама, Ральф, мы увидимся. Я вернусь.

Мама!

Ральф!

И я прошел через ворота и вошел внутрь ограды.

Конец начальной поры

Он почувствовал: вот сейчас, в эту самую минуту, солнце зашло и проглянули звезды — и остановил косилку посреди газона. Свежескошенная трава, обрызгавшая его лицо и одежду, медленно подсыхала. Да, вот уже и звезды — сперва чуть заметные, они все ярче разгораются в ясном пустынном небе. Он услышал, как затворилась дверь — на веранду вышла жена, — и он почувствовал на себе ее внимательный взгляд.

— Уже скоро, — сказала она.

Он кивнул: ему незачем было смотреть на часы. Ощущения его поминутно менялись: он казался сам себе то глубоким стариком, то мальчишкой, его бросало то в жар, то в холод. Вдруг он перенесся за много миль от дома. Это уже не он, это его сын надевает летную форму, проверяет запасы еды, баллоны с кислородом, шлем, скафандр, прикрывая размеренными

словами и быстрыми движениями громкий стук сердца, вновь и вновь охватывающий страх, — и, как все и каждый в этот вечер, запрокидывает голову и смотрит в небо, где становится все больше звезд. И вдруг он очутился на прежнем месте, он снова — только отец своего сына, и снова ладони его сжимают рычаг косилки.

— Иди сюда, посидим на веранде, — позвала жена.

— Лучше я буду заниматься делом!

Она спустилась с крыльца и подошла к нему.

— Не тревожься за Роберта, все будет хорошо.

— Уж очень это ново и непривычно, — услышал он собственный голос. — Никогда такого не бывало. Подумать только — люди летят в ракете строить первую внеземную станцию. Господи Боже, да это просто невозможно, ничего этого нет — ни ракеты, ни испытательной площадки, ни срока отлета, ни строителей. Может, и сына по имени Боб у меня никогда не было. Не умещается все это у меня в голове!

— Тогда чего ты тут стоишь и смотришь?

Он покачал головой.

— Знаешь, сегодня утром иду я на работу и вдруг слышу — кто-то хохочет. Я так и стал посреди улицы как вкопанный. Оказывается, это я сам хохотал! А почему? Потому что наконец понял — Боб и вправду нынче летит! Наконец я в это поверил. Никогда я зря не ругаюсь, а тут стал столбом у всех на дороге и думаю: чудеса, разрази меня гром! А потом сам не заметил, как запел. Знаешь эту песню: «Колесо в колесе высоко в небесах...»? И опять захохотал. Надо же, думаю, внеземная станция! Этакое громадное колесо, спицы полые, а внутри будет жить Боб, а потом, через полгода или месяцев через восемь, полетит к Луне. После, по дороге домой, я припомнил, как там дальше поется: «Колесом поменьше движет вера, колесом побольше — милость Божия». И мне захотелось прыгать, кричать, самому вспыхнуть ракетой!

Жена тронула его за рукав.

— Если уж не хочешь на веранду, давай устроимся поудобнее.

Они вытащили на середину лужайки две плетеные качалки и тихо сидели и смотрели, как в темноте появляются всё новые звезды, точно блестящие крупинки соли, рассыпанные по всему небу, от горизонта до горизонта.

— Мы будто в праздник фейерверка ждем, — после долгого молчания сказала жена.

— Только нынче народу больше...

— Я вот думаю: в эту самую минуту миллионы людей смотрят на небо, разинув рот.

Они ждали и, казалось, всем телом ощущали вращение Земли.

— Который час?

— Без одиннадцати минут восемь.

— И никогда ты не ошибешься! Видно, у тебя в голове устроены часы.

— Нынче я не могу ошибиться. Я тебе точно скажу, когда им останется одна секунда до взлета. Смотри: сигнал! Осталось десять минут.

На западном небосклоне распустились четыре алых огненных цветка; подхваченные ветром, они поплыли, мерцая, над пустыней, беззвучно канули вниз и угасли.

Стало темнее прежнего, муж и жена выпрямились в качалках и застыли. Немного погодя он сказал:

— Восемь минут.

Молчание.

— Семь минут.

Молчание — на этот раз оно словно тянется много дольше.

— Шесть...

Жена откинулась в качалке, пристально смотрит на звезды — на те, что прямо над головой.

— Зачем это все? — бормочет она и закрывает глаза. — Зачем ракеты и этот вечер? Зачем? Если бы знать...

Он смотрит ей в лицо, бледное, словно припудренное отсветом Млечного Пути. Он уже хотел ответить, но передумал — пусть она договорит. И жена продолжает:

— Может быть, это как в старину, когда люди спрашивали: зачем подниматься на Эверест? А им отвечали: затем, что он существует. Никогда я этого не понимала. По-моему, это не ответ.

«Пять минут,— подумал он.— Время идет... тикают часы на руке... колесо в колесе... колесом поменьше движет... колесом побольше движет... высоко в небесах... четыре минуты! Люди уже устроились поудобнее в ракете, все на местах, светится приборная доска...»

Губы его дрогнули.

— Я знаю одно: это — конец начальной поры. Каменный век, Бронзовый век, Железный век — теперь мы всему этому найдем одно общее имя: век, когда мы ходили по Земле и утром спозаранку слушали птиц и чуть не плакали от зависти. Может быть, мы назовем это время — Земной век, или Век земного притяжения. Миллионы лет мы старались побороть земное притяжение. Когда мы были амебами и рыбами, мы силились выйти из вод океана, да так, чтобы нас не раздавила собствен-

ная тяжесть. Очутившись на берегу, мы всячески старались распрявиться и чтобы сила тяжести не переломила наше новое изобретение — позвоночник. Мы учились ходить, не спотыкаясь, и бегать, не падая. Миллионы лет притяжение удерживало нас дома, а ветер и облака, кузнечики и мотыльки насмеялись над нами. Вот что сегодня главное: пришел конец нашему старинному спутнику — притяжению, век притяжения миновал безвозвратно. Не знаю, что там будут считать началом новой эпохи — может, персов, они мечтали о ковре-самолете, а может, китайцев, — они, когда праздновали день рождения или Новый год, запускали в небо фейерверки и воздушных змеев; а может быть, счет начнется через час, неведомо в какую минуту или секунду. Но сейчас кончается эра долгих и тяжких усилий, миллионы лет — они нелегко дались нам, людям, и, как-никак, делают нам честь.

Три минуты... две минуты пятьдесят девять секунд... две минуты пятьдесят восемь секунд...

— И все равно, — сказала жена, — я не знаю, зачем все это.

«Две минуты», — подумал он. «Готовы? Готовы? Готовы?» — кликает по радио далекий голос. «Готовы! Готовы! Готовы!» — чуть слышно доносится быстрый ответ из гудящей ракеты. «Проверка! Проверка! Проверка!»

«Сегодня! — думал он. — Если не выйдет с этим первым кораблем, мы пошлем другой, третий. Мы доберемся до всех планет, а там и до звезд. Мы не остановимся, и наконец громкие слова — бессмертие, вечность — обретут смысл. Громкие слова — да, но нам того и надо. Непрерывности. С тех пор как мы научились говорить, мы спрашивали об одном: в чем смысл жизни? Все другие вопросы нелепы, когда смерть стоит за плечами. Но дайте нам обжить десять тысяч миров, что обращаются вокруг десяти тысяч незнакомых солнц, и уже незачем будет спрашивать. Человеку не будет пределов, как нет пределов вселенной. Человек будет вечен, как вселенная. Отдельные люди будут умирать, как умирали всегда, но история наша протянется в невообразимую даль будущего, мы будем знать, что выживем во все грядущие времена, — и станем спокойными и уверенными, а это и есть ответ на тот извечный вопрос. Нам дарована жизнь, и уж, по меньшей мере, мы должны хранить этот дар и передавать потомкам — до бесконечности. Ради этого стоит потрудиться!»

Чуть поскрипывали плетеные качалки, с шорохом задевая траву. Одна минута.

— Одна минута, — сказал он вслух.

— Ох! — Жена порывисто схватила его за руку. — Только бы наш Боб...

— Все будет хорошо!

— Господи, помоги им... Тридцать секунд.

— Теперь смотри. Пятнадцать, десять, пять...

— Смотри!

Четыре, три, две, одна.

— Вот она! Вот!

Оба вскрикнули. Вскочили. Опрокинутые качалки свалились наземь. Шатаясь, не видя, муж и жена как слепые пошарили в воздухе, схватились за руки, стиснули пальцы. В небе разгоралось зарево, еще десять секунд — и взмыла огромная яркая комета, затмила собою звезды, прочертила огненный след и затерялась среди головокружительных россыпей Млечного Пути. Муж и жена ухватились друг за друга, словно под ногами у них разверзлась непостижимая, непроглядно-черная, бездонная пропасть. Они смотрели вверх, и плакали, и слышали только собственные рыдания. Прошло немало времени, пока они наконец сумели заговорить.

— Она улетела, улетела, правда?

— Да...

— И все благополучно, правда?

— Да... да...

— Она ведь не упала?

— Нет, нет, она цела и невредима. Боб цел и невредим, все благополучно.

Они наконец разняли руки. Он провел ладонью по лицу, посмотрел на свои мокрые пальцы.

— Черт меня побери, — сказал он. — Черт меня побери.

Они смотрели еще пять минут, потом еще десять, пока темную глубину зрачков и мозга не стали больно жечь миллионы крупинки огненной соли. Пришлось закрыть глаза.

— Что ж, — сказала она, — пойдем в дом.

Он не двинулся с места. Только рука сама собой протянулась и нащупала рычаг косилки. И, заметив, что держит рычаг, он сказал:

— Осталось еще немножко скосить...

— Так ведь ничего не видно.

— Увижу, — сказал он. — Надо же мне кончить. А после, перед самым сном, посидим немного на веранде.

Он помог жене оттащить на веранду качалки, усадил ее, вернулся на лужайку и снова взялся за косилку. Косилка. Колесо в колесе. Нехитрая машина, берешься обеими руками за рычаг и ведешь ее вперед, колеса вертятся, стрекочут, а ты

шагаешь сзади и спокойно раздумываешь о своем. Шум, треск, а над всем этим — покой и тишина. Кружение колеса — и слышная поступь раздумья.

«Мне миллионы лет от роду, — сказал он себе. — Я родился минуту назад. Я ростом в дюйм, нет, в десять тысяч миль. Я опускаю глаза и не могу разглядеть своих ног, они слишком далеко внизу».

Он вел косилку по газону. Срезанная трава брызгала из-под ножей и мягко падала вокруг; он вдыхал ее свежесть, упивался ею и чувствовал — не его одного, но все человечество наконец-то омывает животворный родник вечной молодости. И, омытый этими живительными водами, он снова вспомнил песенку про колеса, про веру и про милость Божию там, высоко в небе, среди миллионов неподвижных звезд, куда вторглась одна-единственная, дерзкая, и летит, и ее уже не остановить.

Потом он скосил оставшуюся траву.

Икар Монгольфье Райт

Он лежал в постели, а ветер задувал в окно, касался ушей и полуоткрытых губ и что-то нашептывал ему во сне. Казалось, это ветер времени повеял из Дельфийских пещер, чтобы сказать ему все, что должно быть сказано про вчера, сегодня и завтра. Где-то в глубине его существа порой звучали голоса — один, два или десять, а быть может, это говорил весь род людской, но слова, что срывались с его губ, были одни и те же:

— Смотрите, смотрите, мы победили!

Ибо во сне он, они, сразу многие вдруг устремлялись ввысь и летели. Теплое, ласковое воздушное море простиралось под ним, и он плыл, удивляясь и не веря.

— Смотрите, смотрите! Победа!

Но он вовсе не просил весь мир дивиться ему; он только жадно, всем существом смотрел, впивал, вдыхал, осязал этот воздух, и ветер, и восходящую луну. Совсем один он плыл в небесах. Земля уже не сковывала его своей тяжестью.

Но постойте, думал он, подождите!

Сегодня — что же это за ночь?

Разумеется, это канун. Завтра впервые полетит ракета на Луну. За стенами этой комнаты, среди прокаленной солнцем пустыни, в сотне шагов отсюда, меня ждет ракета.

Полно, так ли? Есть ли там ракета?

Постой-ка, подумал он, и передернулся, и, плотно сомкнув веки, обливаясь потом, обернулся к стене, и яростно зашептал. Надо наверняка! Прежде всего, кто ты такой?

Кто я? — подумал он. Как меня зовут?

Джедедия Прентис, родился в 1938-м, окончил колледж в 1959-м, право управлять ракетой получил в 1965-м. Джедедия Прентис... Джедедия Прентис...

Ветер подхватил его имя и унес прочь. С воплем спящий пытался его удержать.

Потом он затих и стал ждать, пока ветер вернет ему имя. Ждал долго, но была тишина, тысячу раз гулко ударило сердце — и лишь тогда он ощутил в воздухе какое-то движение.

Небо раскрылось, точно нежный голубой цветок. Вдали Эгейское море покачивало белые опала пены над пурпурными волнами прибоя.

В шорохе волн, набегающих на берег, он расслышал свое имя:

Икар.

И снова шепотом, легким, как дыхание:

Икар.

Кто-то потряс его за плечо — это отец звал его, хотел вырвать из ночи. А он, еще мальчишка, лежал, свернувшись, лицом к окну, за окном виднелся берег внизу и бездонное небо, и первый утренний ветерок пошевелил скрепленные янтарным воском золотые перья, что лежали возле его детской постели. Золотые крылья словно ожили в руках отца, и, когда сын взглянул на эти крылья и потом за окно, на утес, он ощутил, что и у него самого на плечах, трепеща, прорастают первые перышки.

— Как ветер, отец?

— Мне хватит, но для тебя слишком слаб.

— Не тревожься, отец. Сейчас крылья кажутся неуклюжими, но от моих костей перья станут крепче, от моей крови оживет воск.

— И от моей крови тоже, и от моих костей, не забудь: каждый человек отдает детям свою плоть, а они должны обращаться с нею бережно и разумно. Обещай не подниматься слишком высоко, Икар. Жар солнца может растопить твои крылья, сын, но их может погубить и твое пылкое сердце. Будь осторожен!

И они вынесли великолепные золотые крылья навстречу утру, и крылья зашуршали, зашептали его имя, а быть может, иное, — чье-то имя взлетело, завертелось, поплыло в воздухе, словно перышко.

Монгольфье.

Его ладони касались жгучего каната, яркой простеганной ткани, каждая ниточка нагрелась и обжигала, как лето. Он подбрасывал охапки шерсти и соломы в жарко дышащее пламя.

Монгольфье.

Он поднял глаза — высоко над головой вздувалась, и покачивалась на ветру, и взмывала, точно подхваченная волнами океана, огромная серебристая груша, наполнялась мерцающим током разогретого воздуха, восходившего над костром. Безмолвно, подобно дремлющему божеству, склонилась над полями Франции эта легкая оболочка, и все расправляется, ширится, полнясь раскаленным воздухом, и уже скоро вырвется на волю. И с нею вознесется в голубые тихие просторы его мысль и мысль его брата и поплывет, безмолвная, безмятежная, среди облачных островов, где спят еще неприрученные молнии. Там, в пучинах, не отмеченных ни на одной карте, в бездне, куда не донесется ни птичья песня, ни человеческий крик, этот шар обретет покой. Быть может, в этом плавании он, Монгольфье, и с ним все люди услышат непостижимое дыхание Бога и торжественную поступь вечности.

Он вздохнул, пошевелился, и зашевелилась толпа, на которую пала тень нагретого аэростата.

— Все готово, все хорошо.

Хорошо. Его губы дрогнули во сне. Хорошо. Шелест, шорох, трепет, взлет. Хорошо.

Из отцовских ладоней игрушка рванулась к потолку, закружилась, подхваченная вихрем, который сама же подняла, и повисла в воздухе, и они с братом не сводят с нее глаз, а она трепещет над головой, и шуршит, и шелестит, и шепчет их имена.

Райт.

И шепот: ветер, небеса, облака, просторы, крылья, полет.

— Уилбер? Орвилл? Постой, как же так?

Он вздыхает во сне.

Игрушечный вертолет жужжит, ударяется в потолок — шумящий крылами орел, ворон, воробей, малиновка, ястреб. Шелестящий крылами орел, шелестящий крылами ворон, и наконец слетает к ним в руки ветер, дохнувший из лета, что еще не настало, — в последний раз трепещет и замирает шелестящий крылами ястреб.

Во сне он улыбался.

Он устремился в Эгейское небо, далеко внизу остались облака.

Он чувствовал, как, точно пьяный, покачивается огромный аэростат, готовый отдаться во власть ветра.

Он ощущал шуршание песков — они спасут его, упади он, неумелый птенец, на мягкие дюны Атлантического побережья. Планки и распорки легкого каркаса звенели, точно струны арфы, и его тоже захватила эта мелодия.

За стенами комнаты, чувствует он, по каленой глади пустыни скользит готовая к пуску ракета, огненные крылья еще сложены, она еще сдерживает свое огненное дыхание, но скоро ее голосом заговорят три миллиарда людей. Скоро он проснется и неторопливо направится к ракете.

И станет на краю утеса.

Станет в прохладной тени нагретого аэростата.

Станет на берегу, под вихрем песка, что стучит по ястребиным крыльям «Китти Хоук».

И натянет на мальчишеские плечи и руки, до самых кончиков пальцев, золотые крылья, скрепленные золотым воском.

В последний раз коснется тонкой, прочно сшитой оболочкой — в ней заключены дыхание людей, жаркий вздох изумления и испуга, с нею вознесутся в небо их мечты.

Искрой он пробудит к жизни бензиновый мотор.

И, стоя над бездной, даст отцу руку на счастье — да будут послушны ему в полете гибкие крылья!

А потом взмахнет руками и прыгнет.

Перережет веревки и даст свободу огромному аэростату.

Запустит мотор, поднимет аэроплан в воздух.

И, нажав кнопку, воспламенит горючее ракеты.

И все вместе, прыжком, рывком, стремительно возносясь, плавно скользя, разрывая, взрезая, пронизывая воздух, обратив лицо к солнцу, к луне и звездам, они понесутся над Атлантикой и Средиземным морем, над полями, пустынями, селеньями и городами; в безмолвии газа, в шелесте перьев, в звоне и дрожи туго обтянутого тканью легкого каркаса, в грохоте, напоминающем извержение вулкана, в приглушенном торопливом рокоте; порыв, миг потрясения, колебания, потом — все выше, упрямо, неодолимо, вольно, чудесно, и каждый засмеется и во весь голос крикнет свое имя. Или другие имена — тех, кто еще не родился, или тех, что давно умерли, тех, кого подхватил и унес ветер, пьянящий как вино, или соленый морской ветер, или безмолвный ветер, плененный в аэростате, или ветер, рожденный химическим пламенем. И каждый чувствует, как прорастают из плоти крылья, и раскрываются за плечами, и шумят, сверкая ярким оперением. И каждый оставляет за

собою эхо полета, и отзвук, подхваченный всеми ветрами, опять и опять обегает земной шар, и в иные времена его услышат их сыновья и сыновья сыновей, во сне внемля тревожному полуполночному небу.

Ввысь и еще ввысь, выше, выше! Весенний разлив, летний поток, нескончаемая река крыльев!

Негромко прозвенел звонок.

— Сейчас,— прошептал он,— сейчас я проснусь. Еще минуточку...

Эгейское море за окном скользнуло прочь; пески Атлантического побережья, равнины Франции обернулись пустыней Нью-Мехико. В комнате, возле его детской постели, не всколыхнулись перья, скрепленные золотым воском. За окном не качается наполненная жарким ветром серебристая груша, не позванивает на ветру машина-бабочка с тугими перепончатыми крыльями. Там, за окном, только ракета — мечта, готовая воспламениться,— ждет одного прикосновения его руки, чтобы взлететь.

В последний миг сна кто-то спросил его имя.

Он ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи:

— Икар Монгольфье Райт.

Он повторил это медленно, внятно — пусть тот, кто спросил, запомнит порядок, и не перепутает, и запишет всё до последней неправдоподобной буквы:

— Икар Монгольфье Райт.

Родился — за девятьсот лет до Рождества Христова. Начальную школу окончил в Париже, в 1783-м. Средняя школа, колледж «Китти Хоук», 1903-й. Окончил курс Земли, переведен на Луну с Божией помощью сего дня, 1 августа 1970-го. Умер и похоронен, если посчастливится, на Марсе, в лето 1999-е нашей эры.

Вот теперь можно и проснуться.

Немногие минуты спустя он шагал через пустынное летное поле и вдруг услышал — кто-то зовет, кликает опять и опять.

Он не мог понять, был ли кто-то позади или никого там не было. Один ли голос звал или многие голоса, молодые или старые, вблизи или издалека, нарастал ли зов или стихал, шептал или громко повторял все три его славных новых имени — этого он тоже не знал. И не оглянулся.

Ибо поднимался ветер — и он дал ветру набрать силу, и подхватить его, и пронести дальше, через пустыню, до самой ракеты, что ждала его там, впереди.

Золотые яблоки солнца

— Юг,— сказал командир корабля.

— Но,— возразила команда,— здесь, в космосе, *нет* никаких стран света!

— Когда летишь навстречу солнцу,— ответил командир,— и все становится жарким, желтым, полным истомы, есть только один курс.— Он закрыл глаза, представляя себе далекий пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул: — Юг.

Медленно кивнул и повторил:

— Юг.

Ракета называлась «Копа де Оро», но у нее было еще два имени: «Прометей» и «Икар». Она в самом деле летела к ослепительному полуденному солнцу. С каким воодушевлением грузили они в отсеки две тысячи бутылок кисловатого лимонада и тысячу бутылок пива с блестящими пробками, собираясь в путь туда, где ожидала эта исполинская Сахара!

Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты.

— «Золотые яблоки Солнца»?

— Йетс!

— «Не бойся солнечного жара»?

— Шекспир, конечно!

— «Чаша золота»? Стейнбек. «Кувшин золота»? Стефенс.

А помните — горшок золота у подножия радуги?! Черт возьми, вот название для нашей орбиты: «Радуга»!

— Температура?..

— Четыреста градусов Цельсия!

Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, Солнце! Одна сокровенная мысль всецело владела умом командира: долететь, коснуться Солнца и навсегда унести частицу его тела.

Космический корабль воплощал строгую изысканность и хладный, скупой расчет. В переходах, покрытых льдом и молочно-белым инеем, царил аммиачный мороз, бушевали снежные вихри. Малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе, малейшее дыхание огня, способное просочиться сквозь жесткий корпус, встретили бы концентрированную зиму, точно здесь притаились все самые лютые февральские морозы.

В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра:

— Температура восемьсот градусов!

«Падаем,— подумал командир,— падаем, подобно снежинке, в жаркое лоно июня, знойного июля, в душное пекло августа...»

— Тысяча двести градусов Цельсия.

Под снегом стонали моторы; охлаждающие жидкости со скоростью пятнадцать тысяч километров в час струились по белым змеям трубопроводов.

— Тысяча шестьсот градусов Цельсия.

Полдень. Лето. Июль.

— Две тысячи градусов!

И вот командир корабля спокойно (за этим спокойствием — миллионы километров пути) сказал долгожданное:

— Сейчас коснемся Солнца.

Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото.

— Две тысячи восемьсот градусов!

Странно, что неживой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно!

— Который час? — спросил кто-то, и все невольно улыбнулись.

Ибо здесь существовало лишь Солнце и еще раз Солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники; в нем сгорали время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг; оно выжигало сон и сладостные воспоминания о сне и прохладных сумерках.

— Смотрите!

— Командир!

Бреттон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Защитный костюм свистел в поврежденном месте; белым цветком расцвело облачко замерзшего пара — тепло человека, его кислород, его жизнь.

— Живей!

Пластмассовое окошко в шлеме Бреттона уже затянулось изнутри бельмом хрупких молочных кристаллов. Товарищи нагнулись над телом.

— Брак в скафандре, командир. Он мертв.

— Замерз.

Они перевели взгляд на термометр, который показывал течение зимы в заснеженных отсеках. Четыреста градусов ниже нуля. Командир смотрел на замороженную статую; по ней стремительно разбегались искрящиеся кристаллики льда. «Какая злая ирония судьбы, — думал он, — человек спасается от огня и гибнет от мороза...»

Он отвернулся.

— Никогда. Времени нет. Пусть лёжит. — Как тяжело поворачивается язык... — Температура?

Стрелки подскочили еще на тысячу шестьсот градусов.

— Смотрите! Командир, смотрите!

Летящая сосулька начала таять.

Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. И сразу, будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина, воспоминание далекого детства.

...Ранняя весна, утро. Мальчишка, вдыхая запах снега, высунулся в окно посмотреть, как искрится на солнце последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иглопочки капает, точно белое вино, прохладная, но с каждой минутой все более жаркая кровь апреля. Оружие декабря, что ни миг, становится все менее грозным. И вот уже сосулька падает на гравий. Дзынь! — будто пробил куранты...

— Вспомогательный насос сломался, командир. Охлаждение... Лед тает!

Сверху хлынул теплый дождь. Командир корабля дернул головой влево, вправо.

— Где неисправность? Да не стойте так, черт возьми, не мешкайте!

Люди забегали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем; его руки шарили по холодным механизмам, искали, шупали, а перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он видел, как шелушится покров корабля, видел, как люди, лишенные защиты, бегают, мечутся с распахнутыми в немом крике ртами. Космос — черный замшелый колодец, в котором жизнь топит свои крики и страх... Ори сколько хочешь, космос задушит крик, не дав ему родиться. Люди суетятся, словно муравьи в горячей коробочке, корабль превратился в кипящую лаву... вихри пара... ничто!

— Командир?!

Кошмар развеялся.

— Здесь.

Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом.

— А, черт!

Командир дернул кабель. Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль... жаркая молния... и лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, не слышимые никем, в безбрежном пространстве. Словно горсть земляники, брошенной в топку, — только мысли на миг замрут в раскаленном воздухе, пережив тела, превращенные в уголь и светящийся газ.

— Ч-черт!

Он ударил по насосу отверткой.

— Господи!..

Командир содрогнулся. Полное уничтожение... Он зажмурил глаза, стиснул зубы. «Черт возьми,— думал он,— мы привыкли умирать не так стремительно,— минутами, а то и часами. Даже двадцать секунд — медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудище, которому не терпится нас сожрать!»

— Командир, сворачивать или продолжать?

— Приготовьте чашу. Теперь — сюда, заканчивайте. Живей!

Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти — и из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. Ближе, ближе... металлическая рука погрузила «Золотую чашу» в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть Солнца.

«Миллион лет назад, — быстро подумал командир, направляя чашу,— обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь, головню и, защищая ее телом от дождя, торжествуя ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. И люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки и ощутили, как в пещеру вошло новое время года. Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды. И они несмело заулыбались... Так огонь стал достоянием людей».

— Командир!

Четыре секунды понадобилось исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь.

«И вот сегодня мы снова на тропе,— думал командир,— тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнувшего огня. Зачем?»

Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос.

«Затем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабосильны; атомная бомба немошна и мала; лишь Солнце ведает то, что мы хотим знать, оно одно владеет секретом. К тому же это увлекательно, это здорово: прилететь, осилить — и стремглав обратно! В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей-козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери, скажем мы потом, а ведь справились! Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами — назовите как хотите,— которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, осветит наши библиотеки, позолотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насыщенный и

поможет нам усвоить знание о нашей вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители! Пусть сей огонь согреет вас, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий, ледящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даянием...»

— О!

Чаша погрузилась в Солнце. Она зачерпнула частицу Божественной плоти, каплю крови вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии.

— Теперь осторожно,— прошептал командир.

— Что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура, а тут...

— Бог ведает,— ответил командир.

— Насос в порядке, командир!

— Включайте!

Насос заработал.

— Закрыть чашу крышкой!.. Теперь подтянем — медленно, еще медленнее...

Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исполинском масштабе жест командира, и бесшумно скользнула на свое место. Плотная закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке, жидкий аммиак пульсировал в трубах, словно кровь в висках орущего безумца.

Командир закрыл наружный люк:

— Готово.

Все замерли в ожидании. Гулко стучал пульс корабля, его сердце отчаянно колотилось. Чаша с золотом — на борту! Холодная кровь металась по жестким жилам: вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево...

Командир медленно вздохнул.

Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять.

— Теперь — обратно.

Корабль сделал полный поворот и устремился прочь.

— Слушайте!

Сердце корабля билось тише, тише... Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вешал о смене времен года. И все думали одно: «Лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого. Лети навстречу холоду и мраку». Через двадцать часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у на-

дежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившееся дитя.

Они летели домой.

Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом Бретона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад:

Порой мне Солнце кажется горящим древом...
Его плоды золотые реют в жарком воздухе,
Как яблоки, пронизанные соком тяготенья,
Источенные родом человеческим.
И взор людей исполнен преклоненья —
Им Солнце кажется неопалимым древом.

Долго командир сидел возле погибшего, и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно,— думал он,— и я счастлив, и я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков».

— Так,— вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами,— так, куда же мы летим теперь, куда?

Он знал, что все его люди тут, рядом, что страх прошел и они дышат ровно, спокойно.

— После долгого-долгого путешествия к Солнцу, когда ты коснулся его, подразнил и ринулся прочь,— куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой,— каков твой курс?

Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном слове; и они увидели, как слово рождается у него во рту и перекатывается на языке, будто кусочек мороженого.

— Теперь для нас в космосе есть только один курс,— сказал он.

Они ждали. Ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак.

— Север,— буркнул командир.— Север.

И все улыбнулись, точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер.

Нескончаемый дождь

Дождь продолжался — жестокий нескончаемый дождь, нудный, изнурительный дождь; ситничек, косохлест, ливень, слепящий глаза, хлопающий в сапогах; дождь, в котором тонули

все другие дожди и воспоминания о дождях. Тонны, лавины дождя кромсали заросли и секли деревья, долбили почву и смывали кусты. Дождь морщинил руки людей наподобие обезьяньих лап; он сыпался твердыми стеклянными каплями; и он лил, лил, лил...

— Сколько еще, лейтенант?

— Не знаю. Миля. Десять миль, тысяча.

— Вы не знаете точно?

— Как я могу знать точно?

— Не нравится мне этот дождь. Если бы только знать, сколько еще до Солнечного Купола, было бы легче.

— Еще час, самое большее — два.

— Вы в самом деле так думаете, лейтенант?

— Конечно.

— Или лжете, чтобы нас подбодрить?

— Лгу, чтобы вас подбодрить. Хватит, поговорили!

Двое сидели рядом. Позади них — еще двое, мокрые, усталые, обмякшие, как размытая глина под ногами.

Лейтенант поднял голову. Когда-то его лицо было смуглым, теперь кожа выцвела от дождя; выцвели и глаза, стали белыми, как его зубы и волосы. Он весь был белый, даже мундир побелел, если не считать зеленоватого налета плесени.

Лейтенант чувствовал, как по щекам бегут струи воды.

— Сколько миллионов лет прошло, как здесь, на Венере, прекратились дожди?

— Не острите, — сказал один из второй двойки. — На Венере всегда идет дождь. Всегда. Я жил здесь десять лет, и ни на минуту, ни на секунду не прекращался ливень.

— Все равно что под водой жить. — Лейтенант встал и поправил свое оружие. — Что ж, пошли. Мы найдем Солнечный Купол.

— Или не найдем, — заметил циник.

— Еще час или около этого.

— Вы меня обманываете, лейтенант.

— Нет, я обманываю самого себя. Бывают случаи, когда надо лгать. Моим силам тоже есть предел.

Они двинулись по тропе сквозь заросли, то и дело поглядывая на свои компасы. Кругом — никаких ориентиров, только компас знал направление. Серое небо и дождь, заросли и тропа и где-то далеко позади — ракета, на которой они летели и вместе с которой упали. Ракета, в которой лежали два их товарища — мертвые, омываемые дождем.

Они шли гуськом, не говоря ни слова. Показалась река — широкая, плоская, бурая. Она текла в Великое море. Дождевые капли выбили на ее поверхности миллиарды кратеров.

— Давайте, Симмонс.

Лейтенант кивнул, и Симмонс снял со спины небольшой сверток. Химическая реакция превратила сверток в лодку. Следуя указаниям лейтенанта, они срубили толстые сучья и быстро смастерили весла, после чего поплыли через поток, торопливо гребя под дождем.

Лейтенант ощущал холодные струйки на лице, на шее, на работающих руках. Холод просачивался в легкие. Дождь бил по ушам и глазам, по икрам.

— Я не спал эту ночь,— сказал он.

— А кто спал? Кто? Когда? Сколько мы ночей *спали*? Тридцать ночей — что тридцать дней! Кто может спать, когда по голове хлещет, барабанит дождь... Все бы отдал за шляпу. Любую, лишь бы перестало стучать по голове. У меня головная боль. Вся кожа на голове воспалена, так и саднит.

— Черт меня занес в этот Китай,— сказал другой.

— Впервые слышу, чтобы Венеру называли Китаем.

— Конечно. Вспомните древнюю пытку. Тебя приковывают к стене. Каждые полчаса на тебя падает капля воды. И ты теряешь рассудок от одного ожидания. То же самое здесь, только масштабом побольше. Мы не созданы для воды. Мы не можем спать, не можем как следует дышать, мы на границе помешательства оттого, что без конца ходим мокрые. Будь мы готовы к аварии, запаслись бы непромокаемой одеждой и шлемами. Главное, по голове все барабанит и барабанит. Тяжелый такой... Словно картечь. Я не выдержу долго.

— Эх, где Солнечный Купол?! Кто *их* придумал, тот знал свое дело.

Плывя через реку, они думали о Солнечном Куполе, который ждал где-то в зарослях, ослепительно сияя под дождем. Желтое строение, круглое, светящееся, яркое, как солнце. Пятнадцать футов в высоту, сто футов в поперечнике; тепло, тихо, горячая пища, никакого дождя. А в центре Солнечного Купола, само собой,— солнце. Небольшой, свободно парящий шар желтого пламени под самым сводом, и ты можешь его видеть отовсюду, сидя с книгой, или сигаретой, или с чашкой горячего шоколада, в котором плавают сливки. Оно ждет их, золотистое солнце, на вид такое же, как земное, ласковое, немеркнувшее; и на то время, что ты праздно проводишь в Солнечном Куполе, можно забыть о дождливом мире Венеры.

Лейтенант обернулся и посмотрел на своих товарищей, что, скрипя зубами, налегали на весла. Они были белые, как грибы,— как он сам. Венера все обесцвечивает за несколько месяцев. Даже лес казался огромной декорацией из кошмара. Откуда ему быть зеленым без солнца, в вечном сумраке, под нескон-

чаемым дождем? Белые-белые заросли; бледные, как плавленый сыр, листья; стволы будто ножки гигантских поганок; почва словно из влажного камамбера... Впрочем, не так-то просто увидеть почву, когда под ногами потоки, ручьи, лужи, а впереди пруды, озера, реки и, наконец, море.

— Есть!

Они выскочили на раскисший берег, шлепая по воде. Выпустили газ из лодки и сложили ее в коробку. Потом, стоя под дождем, попытались закурить. Минут пять, если не больше, бились они, дрожа, над зажигалкой, затем, пряча сигареты в ладони, сделали несколько затяжек. В следующий миг табак уже раскис, и тяжелые капли выбили сигареты из сжатых губ.

Они пошли дальше.

— Стой, минутку, — сказал лейтенант. — Мне показалось, я что-то увидел.

— Солнечный Купол?

— Я не уверен. Дождь не дал разглядеть.

Симмонс побежал вперед:

— Солнечный Купол!

— Назад, Симмонс!

— Солнечный Купол!

Он исчез за дождевыми струями. Остальные ринулись вдогонку.

Они догнали его на прогалине и стали как вкопанные, глядя на него и его находку.

— Ракета...

Она лежала там, где они ее покинули. Выходит, они кружили и очутились в том самом месте, откуда начали свой долгий путь... Среди обломков лежали двое погибших, изо рта у них росла зеленоватая плесень. На глазах космонавтов плесень расцвела, но дождь сбил лепестки, и плесень увяла.

— Как же это случилось?

— Видно, поблизости прошла электрическая буря. Она испортила наши компасы. В этом все дело.

— Верно.

— Что же делать теперь?

— Идти снова.

— Черт дери, мы топтались на месте!

— Ладно, Симмонс, постарайся взять себя в руки.

— В руки, в руки! Этот дождь сведет меня с ума!

— У нас хватит еще продуктов дня на два, если быть экономными.

Дождь плясал по их коже, по мокрой одежде; струи дождя бежали с кончика носа, с ушей, с пальцев, колен. Они были

словно заброшенные в дебрях каменные бассейны; из каждой поры сочилась вода.

Вдруг издали донесся грозный рев.

Из пелены дождя вынырнуло чудовище.

Чудовище опиралось на тысячу голубых электрических ног. Оно приближалось быстро и неотвратно. Каждый его шаг был как удар сплеча. Там, где ступали голубые ноги, деревья падали и сгорали. Могучие вихри озона заполнили влажный воздух, дым метался во все стороны, разбиваемый дождем. Чудовище было длиной с полмили, вышиной с милю, оно ощупывало землю, словно слепой исполин. Иногда на короткое мгновение оно оказывалось совсем без ног. В следующий миг из его брюха вырывались тысячи хлыстов, которые беспощадно жалили заросли.

— Электрическая буря, — сказал один из четверки. — Она вывела из строя компасы. Теперь идет на нас.

— Ложись! — приказал лейтенант.

— Бегите! — заорал Симмонс.

— Не дурите. Ложитесь. Она бьет в самые высокие точки. Мы еще можем спастись. Ложитесь не ближе пятидесяти футов от ракеты. Глядишь, потратит на нее весь свой заряд, а нас минует. Живей!

Они шлепнулись наземь.

— Идет? — почти сразу послышался вопрос.

— Идет.

— Приблизилась?

— Осталось двести ярдов.

— А сейчас?

— Вот она!

Чудовище повисло над ними. Оно обронило десять голубых стрел-молний, и они вонзились в ракету. Ракета вздрогнула, точно гонг от удара, и издала глухой металлический звук. Чудовище обронило еще пятнадцать стрел. Они плясали в причудливой пантомиме, поглаживая деревья и мокрую землю.

— А-а! — Один из космонавтов вскочил на ноги.

— Ложись, идиот! — крикнул лейтенант.

— А-а!

Еще десяток молний поразили ракету. Лейтенант повернул лежащую на руке голову и увидел ослепительно голубые вспышки. Он видел, как раскалываются вдребезги деревья. Он видел, как чудовищное темное облако, словно черный диск, повернуло над ними и метнуло вниз сотню электрических стрел.

Тот, что вскочил на ноги, теперь бежал будто в огромном зале с колоннами. Он метался, петлял среди колонн, но они вдруг рухнули и послышался такой звук, словно муха села на

раскаленную проволоку-ловушку. Такие ловушки были дома на ферме лейтенанта в годы его детства. Три товарища услышали запах человека, обращенного в золу. Лейтенант спрятал лицо.

— Не поднимать головы! — распорядился он.

Он боялся, что вот-вот сам вскочит и побежит.

Озарив лес еще десятком молний, буря двинулась дальше. Снова кругом был один сплошной дождь. Он быстро унес запах горелого, и три товарища сели, ожидая, когда угомонится отчаянно колотящееся сердце.

Потом они пошли к телу, надеясь, что еще можно вернуть его к жизни. Они не могли смириться с мыслью, что уже ничего нельзя сделать. Это была естественная реакция людей, которые не хотят признать смерть, пока не убедятся, пока не коснутся ее и не решат — хоронить или предоставить это быстро поднимающейся просели.

Тело было словно скрученная сталь, обернутая сожженной кожей. Будто восковая кукла, которую бросили в печь и извлекли из огня, когда лишь тонкая пленка воска осталась на обугленном скелете. Только зубы не почернели, и они сверкали, как причудливый белый браслет, зажатый в черном кулаке.

— Зачем он вскочил...

Они сказали это почти одновременно.

На глазах у них тело стало исчезать под покровом растений. Вьюнки, плющ, даже цветы для покойного...

Буря, шагая на голубых ходулях, исчезла вдаль.

Они пересекли реку, ручей, поток и еще дюжину рек, ручьев, потоков. Реки, новые реки рождались у них на глазах, а старые меняли русла: реки цвета ртути, реки цвета серебра и молока.

Они вышли к морю.

Великое море... На Венере был всего один материк. Он простирался на три тысячи миль в длину и на тысячу в ширину, окруженный со всех сторон Великим морем, покрывающим всю остальную часть дождливой планеты. Великое море лениво лизало бледный берег.

— Нам туда.— Лейтенант кивнул на юг.— Я уверен, что в той стороне находятся два Солнечных Купола.

— Раз уж начали, почему сразу не построили еще сотню?

— Всего их на острове сто двадцать штук, верно?

— К концу прошлого месяца было сто двадцать шесть. Год назад в конгрессе на Земле предложили построить еще два-три десятка, да только сами знаете, как сложно с ассигнованиями. Пусть лучше несколько человек свихнутся от дождя.

Они зашагали на юг.

Лейтенант, Симмонс и третий космонавт, Пикар, шагали под дождем, который шел то реже, то гуще, то реже, то гуще; под ливнем, который хлестал, и лил, и не переставая барабанил по земле, по морю и по идущим людям.

Симмонс первый заметил его.

— Вот он!

— Что там?

— Солнечный Купол!

Лейтенант моргнул, стряхивая с век влагу, и заслонил глаза сверху рукой, защищая их от хлестких капель.

Поодаль, у моря, на краю леса, что-то желтело. Да, это он — Солнечный Купол!

Люди улыбались друг другу.

— Похоже, вы были правы, лейтенант.

— Удача!

— От одного вида сил прибавляется. Вперед! Кто первый? Последний будет сукин сын!

Симмонс затрусил по лужам. Остальные механически последовали его примеру. Они устали, запыхались, но не ослабляли скорость.

— Вот когда я кофе напьюсь,— пропыхтел, улыбаясь, Симмонс.— А булочки с изюмом — это же объедение! А потом лягу, и пусть солнышко печет... Тому, кто изобрел Солнечные Купола, орден надо дать!

Они побежали быстрее, желтый отсвет стал ярче.

— Наверно, сколько людей тут помешалось, пока не появились убежища. А что! Очень просто.— Симмонс отрывисто выдыхал слоги.— Дождь, дождь! Несколько лет назад. Встретил приятеля. Моего друга. В лесу. Бродит вокруг. Под дождем. И все твердит: «Сам не знаю, как войти, из-за дождя. Сам не знаю, как войти, из-за дождя. Сам не знаю...» И так далее. Без конца. Рехнулся, бедняга.

— Береги дыхание!

Они продолжали бежать.

Они смеялись на бегу и, смеясь, достигли двери Солнечного Купола.

Симмонс рывком распахнул дверь.

— Эгей! — крикнул он.— Где булочки и кофе, подавайте их сюда!

Никто не отозвался.

Они шагнули внутрь.

В Солнечном Куполе было пусто и темно. Ни желтого искусственного солнца, парящего в прозрачной мгле в центре голубого свода, ни накрытого стола. Холодно, словно в склепе, а сквозь тысячи отверстий в своде пробивался дождь. Струи

падали на ковры и мягкие кресла, разбивались о стеклянные крышки столов. Густые заросли, словно исполинский мох, покрывали стены, верх книжного шкафа, диваны. Крупные капли, срываясь сверху, хлестали по лицам людей.

Пикар тихонько рассмеялся.

— Пикар, прекратить!

— Господи, вы только посмотрите: ни солнца, ни пищи — ничего. Венески — это их рук дело! Конечно!

Симмонс кивнул, роняя капли со лба. Вода бежала по его серебристым волосам и белесым бровям.

— Время от времени венески выходят из моря и нападают на Солнечный Купол. Они знают, что если уничтожат Купола, то могут нас погубить.

— Но разве наша охрана не вооружена?

— Конечно.— Симмонс шагнул на относительно сухой клочок пола.— Но с последнего нападения прошло пять лет. Бдительность ослабла, и они захватили здешнюю охрану врасплох.

— Где же тела?

— Венески унесли их с собой, в море. У них, говорят, есть свой способ топить пленников. Медленный способ, вся процедура длится около восьми часов. Просто очаровательно.

— Держу пари, что не осталось ни крошки еды,— усмехнулся Пикар.

Лейтенант неодобрительно взглянул на него, потом сделал многозначительный жест Симмонсу. Симмонс покачал головой и зашел в помещение, расположенное у стены. Там была кухня. Раскисшие буханки хлеба беспорядочно валялись на полу, мясо обросло нежно-зеленой плесенью. Из множества дыр в потолке струился дождь.

— Восхитительно.— Лейтенант смотрел на дыры.— Боюсь, нам вряд ли удастся законопатить это сито и навести порядок.

— Без продуктов? — Симмонс фыркнул.— К тому же солнечные генераторы разбиты вдребезги. Лучшее, что можно придумать,— идти до следующего Солнечного Купола. Сколько до него отсюда?

— Недалеко. Помнится, как раз тут поставили два Купола очень близко один от другого. Если обождать здесь, может подойти спасательный отряд...

— Наверно, они уже приходили и ушли. Месяцев через шесть пришлют ремонтную бригаду,— когда поступят средства от конгресса. Нет, уже лучше не ждать.

— Ладно. Съедем остатки нашего рациона и пойдем.

— Если бы только дождь перестал колотить меня по голове,— заговорил Пикар.— Хоть на несколько минут. Просто что-бы я вспомнил, что такое покой.

Он сжал голову обеими руками.

— Помню, в школе за мной сидел один изверг и щипал, щипал, щипал меня каждые пять минут. И так весь день. Это длилось неделями, месяцами. Мои руки были в синяках, кожа вздулась. Я думал, что сойду с ума от этого щипания. И он меня довел. Кончилось тем, что я действительно взбесился от боли, схватил металлический треугольник для черчения и чуть не убил этого ублюдка. Чуть не отсек ему башку, чуть не выколол глаза, меня еле от него оторвали. И все время кричал: «Чего он ко мне пристаёт?» Господи! — Дрожащие руки все сильнее стискивали голову, глаза были закрыты. — А что я могу сделать сейчас? Кого ударить, кому сказать, чтобы перестал, оставил меня в покое? Дождь, проклятый дождь, не дает передышки, щиплет и щиплет, только и слышно, только и видно что дождь, дождь, дождь!

— К четырем часам мы будем у следующего Солнечного Купола.

— Солнечного Купола? Такого же, как этот?! А если они все разгромлены? Что тогда? Если во всех куполах дыры и всюду хлещет дождь?!

— Что ж, попытаем счастья.

— Мне надоело пытаться. Все, что я хочу, — крыша над головой и хоть чуточку покоя. Хочу побыть один.

— Туда всего восемь часов хорошего хода.

— Не беспокойтесь, я не отстану. — Пикар рассмеялся, отводя взгляд.

— Давайте поедим, — сказал Симмонс, пристально наблюдая за ним.

Они снова пошли вдоль побережья на юг. На пятом часу пути им пришлось свернуть, так как дорогу преградила река, настолько широкая и бурная, что на лодке не одолеть. Они поднялись на десять километров вверх по реке и увидели, что она бьет из земли, словно кровь из смертельной раны. Обойдя исток, они под непрекращающимся дождем снова спустились к морю.

— Я должен поспать, — сказал Пикар, оседая на землю. — Четыре недели не спал. Ни минуты не уснул... Спать, здесь...

Небо стало темнее. Надвигалась ночь, а на Венере ночью царит такой мрак, что опасно двигаться. У Симмонса и лейтенанта тоже подкашивались ноги.

Лейтенант сказал:

— Ладно, попробуем. Может быть, на этот раз получится. Хотя эта погода не очень-то благоприятствует сну.

Они легли, подложив руки под головы так, чтобы вода не захлестывала рот и закрытые глаза. Лейтенанта трясло.

Он не мог уснуть.

Что-то ползало по нему. Что-то словно обтягивало его живой, копошащейся пленкой. Капли, падая, соединялись с другими каплями, и получались струйки, которые просачивались сквозь одежду и шекотали кожу. Одновременно на ткань садились, тут же пуская корни, маленькие растения. А вот уж и плющ обвивает все тело плотным ковром; он чувствовал, как крохотные цветы образуют бутоны, раскрываются и роняют лепестки. А дождь все барабанил по голове. В призрачном свете — растения фосфоресцировали в темноте — он видел фигуры своих товарищей: будто упавшие стволы, покрытые бархатным ковром трав и цветов. Дождь хлестал по его шее. Он повернулся в грязи и лег на живот, на липкие растения; теперь дождь хлестал по спине и ногам.

Он вскочил на ноги и стал лихорадочно стряхивать с себя воду. Тысячи рук трогали его, но он не мог больше выносить, чтобы его трогали. Содрогаюсь, он что-то задел. Ну конечно, Симмонс стоял под струями дождя, дрожа, чихая и кашляя. В тот же миг вскочил и Пикар и с криком заметался вокруг них.

— Пойдите, Пикар!

— Прекратите! Прекратите! — кричал Пикар. Потом схватил ружье и выпустил в ночное небо шесть зарядов.

Каждая вспышка освещала полчища дождевых капель, которые на миг застывали в воздухе, словно ошеломленные выстрелами, — пятнадцать миллиардов капель, пятнадцать миллиардов слез, пятнадцать миллиардов бусинок или драгоценных камней на фоне белого бархата витрины. Свет гас, и капли, что задерживали свой полет, чтобы их могли запечатлеть, падали на людей, жая их, словно рой насекомых, — воплощение холода и страданий.

— Прекратите! Прекратите!

— Пикар!

Но Пикар вдруг будто онемел. Он не метался больше, стоял неподвижно. Лейтенант осветил фонариком его мокрое лицо: Пикар, широко раскрыв рот и глаза, смотрел вверх, дождевые капли разбивались о его язык и глазные яблоки, булькали пеной в ноздрах.

— Пикар!

Он не отвечал и не двигался. Влажные пузырьки лопались на его белых волосах, по шее и кистям рук катились прозрачные алмазы.

— Пикар! Мы уходим. Идем дальше. Пошли!

Крупные капли срывались с его ушей.

— Слышишь, Пикар!

Он точно окаменел.

— Оставьте его, — сказал Симмонс.

— Мы не можем уйти без него.

— А что же делать, нести его? — Симмонс плюнул. — Поздно: он уже не человек... Знаете, что будет дальше? Он так и будет стоять, пока не захлебнется.

— Что?

— Неужели вы не слышали об этом? Пора уже знать. Он будет стоять, задрав голову, чтобы дождь лил ему в рот и нос. Будет вдыхать воду.

— Не может быть!

— Так было с генералом Ментом. Когда его нашли, он сидел на утесе, запрокинув голову, и дышал дождем. Легкие были полны воды.

Лейтенант снова осветил немигающие глаза. Ноздри Пикара тихо сипели.

— Пикар! — Лейтенант ударил ладонью по его безумному лицу.

— Он ничего не чувствует, — продолжал Симмонс. — Несколько дней под таким дождем, и любой перестанет ощущать собственные руки и ноги.

Лейтенант в ужасе поглядел на свою руку. Она онемела.

— Но мы не можем бросить Пикара.

— Вот все, что мы можем сделать. — Симмонс выстрелил. Пикар упал на затопленную землю.

— Спокойно, лейтенант, — сказал Симмонс. — В моем пистолете найдется заряд и для вас. Спокойно. Подумайте как следует: он все равно стоял бы так до тех пор, пока не захлебнулся бы. Я сократил его мучения.

Лейтенант скользнул взглядом по распростертому телу.

— Вы убили его.

— Да. Иначе он погубил бы нас всех. Вы видели его лицо? Он помешался.

Помолчав, лейтенант кивнул:

— Это верно.

И они пошли дальше под ливнем.

Было темно, луч фонарика проникал в стену дождя лишь на несколько футов. Через полчаса они выдохлись. Пришлось сесть и ждать, ждать утра, борясь с мучительным чувством голода. Рассвело; серый день, нескончаемый дождь... Они продолжали путь.

— Мы просчитались, — сказал Симмонс.

— Нет. Через час будем там.

— Говорите громче, я вас не слышу.— Симмонс остановился, улыбаясь.— Уши.— Он коснулся их руками.— Они отказали. От этого бесконечного дождя я онемел весь, до костей.

— Вы ничего не слышите? — спросил лейтенант.

— Что? — Симмонс озадаченно смотрел на него.

— Ничего. Пошли.

— Я лучше обожду здесь. А вы идите.

— Ни в коем случае.

— Я не слышу, что вы говорите. Идите. Я устал. По-моему, Солнечный Купол не в этой стороне. А если и в этой, то, наверно, весь свод в дырах, как у того, что мы видели. Лучше я посижу.

— Сейчас же встаньте!

— Пока, лейтенант.

— Вы не должны сдаваться, осталось совсем немного.

— Видите — пистолет. Он говорит мне, что я останусь. Мне все осточертело. Я не сошел с ума, но скоро сойду. А этого я не хочу. Как только вы отойдете достаточно далеко, я застрелюсь.

— Симмонс!

— Вы произнесли мою фамилию, я вижу по губам.

— Симмонс!

— Поймите, это всего лишь вопрос времени. Либо я умру сейчас, либо через несколько часов. Представьте себе, что вы дошли до Солнечного Купола,— если только вообще дойдете,— и находите дырявый свод. Вот будет приятно!

Лейтенант подождал, потом зашлепал по грязи. Стоя, он обернулся и окликнул Симмонса, но тот сидел с пистолетом в руке и ждал, когда лейтенант скроется. Он отрицательно покачал головой и махнул: уходите.

Лейтенант не услышал выстрела.

На ходу он стал рвать цветы и есть их. Они не были ядовитыми, но и не прибавили ему сил: немного погодя его вывернуло наизнанку.

Потом лейтенант нарвал больших листьев, чтобы сделать шляпу. Он уже пытался однажды; и на этот раз дождь быстро размыл листья. Стоило сорвать растение, как оно немедленно начинало гнить, превращаясь в сероватую аморфную массу.

— Еще пять минут,— сказал он себе,— еще пять минут, и я войду в море. Войду и буду идти. Мы не приспособлены к такой жизни, ни один человек Земли никогда не сможет к этому привыкнуть. Ох, нервы, нервы...

Он пробился через море листвы и влаги и вышел на небольшой холм.

Впереди сквозь холодную мокрую завесу угадывалось желтое сияние.

Солнечный Купол.

Круглое желтое строение за деревьями, поодаль. Он остановился и, качаясь, смотрел на него.

В следующее мгновение лейтенант побежал, но тут же замедлил шаг. Он боялся. Он не звал на помощь. Вдруг это тот же Купол, что накануне? Мертвый Купол без солнца.

Он поскользнулся и упал. «Лежи,— думал он,— все равно ты не туда забрел. Лежи. Все было напрасно. Пей, пей вдоволь».

Но лейтенант заставил себя встать и идти вперед через бесчисленные ручьи. Желтый свет стал совсем ярким, и он опять побежал. Его ноги давили стекла и зеркала, руки рассыпали бриллианты.

Он остановился перед желтой дверью. Надпись: «Солнечный Купол». Он потрогал дверь онемевшей рукой. Повернул ручку и тяжело шагнул вперед.

На пороге он замер, осматриваясь. Позади него в дверь барабанил ливень. Впереди, на низком столике, стояла серебряная кастрюлька и полная чашка горячего шоколада с расплывающимися на поверхности густыми сливками. Рядом, на другом подносе,— толстые бутерброды с большими кусками цыпленка, свежими помидорами и зеленым луком. На вешалке, перед самым носом, висело большое мохнатое полотенце; у ног стоял ящик для мокрой одежды; справа была кабина, где горячие лучи мгновенно обсушивали человека. На кресле — чистая одежда, приготовленная для случайного путника. А дальше кофе в горячих медных кофейниках, патефон, тихая музыка, книги в красных и коричневых кожаных переплетах. Рядом с книжным шкафом — кушетка, низкая, мягкая кушетка, на которой так хорошо лежать в ярких лучах того, что в этом помещении самое главное.

Он прикрыл глаза рукой. Он успел заметить, что к нему идут люди, но ничего не сказал. Выждав, открыл глаза и снова стал смотреть. Вода, стекая с одежды, собралась в лужу у его ног; он чувствовал, как высыхают его волосы и лицо, грудь, руки, ноги.

Он смотрел на солнце.

Оно висело в центре купола — большое, желтое, яркое. Оно светило бесшумно, и во всем помещении царила полная тишина. Дверь была закрыта, и только обретающая чувствительность кожа еще помнила дождь. Солнце парило высоко под голубым сводом, ласковое, золотистое, чудесное.

Он пошел вперед, срывая с себя одежду.

Все лето в один день

— Готовы?

— Да.

— Уже?

— Скоро.

— А ученые верно знают? Это правда будет сегодня?

— Смотри, смотри, сам увидишь!

Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все впере-
мешку, дети старались выглянуть наружу — где там запрятано
солнце?

Лил дождь.

Он лил не переставая семь лет подряд; тысячи и тысячи дней,
с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, бараба-
нил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошны-
ми потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки
суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они
вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки
повелось здесь, на Венере, а в классе полно было детей, чьи
отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую дожд-
ливую планету.

— Перестает! Перестает!

— Да, да!

Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые
только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем
было по девять лет, и, если и выдался семь лет назад такой
день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изум-
ленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго
слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала: во сне они
видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, моне-
ту — такую большую, что можно купить целый мир. Она знала:
им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и
все тело — руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просы-
паются — и опять барабанит дождь, без конца сыплются звонкие
прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны
разлетаются как дым.

Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое
оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про
него маленькие рассказы и стихи.

Мне кажется, солнце — это цветок,
Цветет оно только один часок.

Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. А за окнами лил дождь.

— Ну, ты это не сама сочинила! — крикнул один мальчик.

— Нет, сама, — сказала Марго. — Сама.

— Уильям! — остановила мальчика учительница.

Но это было вчера. А сейчас дождь утихал, и дети теснились к большим окнам с толстыми стеклами.

— Где же учительница?

— Сейчас придет.

— Скорей бы, а то мы все пропустим!

Они вертелись на одном месте, точно пестрая беспокойная карусель.

Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось — когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски: голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы — все вылиняло. Она была точно старая, поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчала, а если и случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом.

— Ты-то чего смотришь? — сказал Уильям.

Марго молчала.

— Отвечай, когда тебя спрашивают!

Уильям толкнул ее. Но она не пошевелилась; покачнулась, и только.

Все ее сторонятся, даже и не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях этого города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется наутек, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна.

Ну а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь пять лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно, солнце, и какое небо она видела в Огайо, когда ей было четыре года. А они — они всю жизнь живут на Венере; когда здесь в последний раз светило солнце, им было только по два года, и они давно уже забыли, какое оно, и какого цвета, и как жарко греет. А Марго помнит.

— Оно большое, как медяк, — сказала она однажды и зажмурилась.

- Неправда! — закричали ребята.
- Оно — как огонь в очаге, — сказала Марго.
- Врешь, врешь, ты не помнишь! — кричали ей.

Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела встать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала — пускай вода не льется ей на голову! И после этого у нее появилось странное, смутное чувство: она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее.

Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на Землю — это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее невзлюбили. Противная эта Марго, противно, что она такая бледная немочь, и такая худущая, и вечно молчит и ждет чего-то, и, наверно, улетит на Землю...

— Убирайся! — Уильям опять ее толкнул. — Чего ты еще ждешь?

Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился.

— Нечего тебе здесь торчать! — закричал он. — Не дождешься, ничего не будет!

Марго беззвучно пошевелила губами.

— Ничего не будет! — кричал Уильям. — Это просто для смеха, мы тебя разыграли. — Он обернулся к остальным. — Ведь сегодня ничего не будет, верно?

Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли, и засмеялись, и покачали головами: верно, ничего не будет!

— Но ведь... — Марго смотрела беспомощно. — Ведь сегодня тот самый день, — прошептала она. — Ученые предсказывали, они говорят, они ведь знают... Солнце...

— Разыграли, разыграли! — сказал Уильям и вдруг схватил ее. — Эй, ребята, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет!

— Не надо! — сказала Марго и попятилась.

Все кинулись к ней, схватили и поволокли — она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась; Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики. Ребята стояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь — и как раз вовремя: в конце туннеля показалась учительница.

— Готовы, дети? — Она поглядела на часы.

— Да! — отозвались ребята.

— Все здесь?

— Да!

Дождь стихал.

Они столпились у огромной, массивной двери.

Дождь перестал.

Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержения вулканов что-то случилось со звуком — аппарат испортился, шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался, смолкли удары, грохот, раскаты грома... А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив, мирную тропическую картинку. Все замерло — не вздохнет, не шелочнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась: каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании.

И солнце явилось.

Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало, точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну.

— Только не убегайте далеко! — крикнула вдогонку учительница. — Помните: у вас всего два часа. Не то вы не успеете укрыться.

Но они уже не слышали, они бегали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам, точно теплым утюгом; они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки.

— Это лучше наших искусственных солнц, верно?

— Ясно, лучше!

Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру и росли, росли бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были, точно стая осьминогов, к небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачивались, мгновенно покрывались цветами — ведь весна здесь такая короткая. Они были серые как пепел, как резина, эти заросли, оттого что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, и цвета сыра, и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны.

Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрац, который вздыхал под ними, и скрипел, и пружинил. Они носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное — опять и опять, жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве, и вды-

хали эту удивительную свежесть, и слушали, слушали тишину, что обнимала их, точно море, блаженно-спокойное, беззвучное и недвижимое. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли уgomониться.

И вдруг...

Посреди веселой беготни одна девочка громко, жалобно закричала. Все остановились. Девочка протянула руку ладонью кверху.

— Смотрите,— сказала она и вздрогнула.— Ой, смотрите!

Все медленно подошли поближе.

На раскрытой ладони, по самой середке, лежала большая, круглая дождевая капля.

Девочка посмотрела на нее и заплакала.

Дети молча поглядели на небо.

— О-о...

Редкие холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянула туманная дымка. Подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу, руки их вяло повисли, они больше не улыбались.

Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг друга, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния — за десять миль от них, потом за пять, в миле, в полумиле. И небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь.

Минуту они стояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли — и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потоки воды — без просвета, без конца.

— И так опять будет целых семь лет?

— Да. Семь лет.

И вдруг кто-то вскрикнул:

— А Марго!

— Что?

— Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане.

— Марго...

Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно — там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились: кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол.

— Марго...

Наконец, одна девочка сказала:

— Ну, что же мы?..

Никто не шелохнулся.

— Пойдем,— прошептала девочка.

Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату, яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и встали у двери.

За дверью было тихо.

Медленно-медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.

Космонавт

Над темными волосами мамы, освещая ей путь, кружил рой электрических светлячков. Она стояла в дверях своей спальни, провожая меня взглядом. В холле царила тишина.

— Ты ведь сможешь мне удержать его дома на этот раз? — спросила она.

— Постараюсь,— ответил я.

— Прошу тебя.— По ее лицу бежали беспокойные блики.— На этот раз мы его не отпустим.

— Ладно,— ответил я, подумав.— Но только ни к чему это, ничего не выйдет.

Она повернулась; светлячки, чертя свои орбиты, летали над ней, подобно блуждающему созвездию, и светили ей во тьме. Я услышал, как она тихо говорит:

— Во всяком случае, попробуем.

Другие светлячки проводили меня в мою комнату. Я лег, в кровати замкнулась цепь, и тотчас светлячки погасли.

Полночь. Мы с матерью, разделенные невесомым мраком, ждем, каждый в своей комнате. Кровать, тихо напевая, стала меня укачивать. Я нажал выключатель; пение и качание прекратились. Я не хотел спать, я совсем не хотел спать.

Эта ночь ничем не отличалась от множества других памятных для нас ночей. Сколько раз мы лежали, бодрствуя, и вдруг ощущали, как прохладный воздух становится жарким, как ветер несет огонь, или видели, как стены на миг озаряются ярким сполохом. И мы знали, что в эту секунду над домом проходит его ракета. Его ракета летела над домом, и дубы гнулись от воздушного вихря. Я лежал, широко раскрыв глаза и часто дыша, и слышал мамин голос в радиофоне:

— Ты почувствовал?

И я отвечал:

— Да-да, это он.

Пройдя над нашим городом, маленьким городком, где никогда не садились космические ракеты, корабль моего отца летел дальше, и мы лежали еще два часа, думая: «Сейчас отец садится в Спрингфилде, сейчас он сошел на гудронную дорожку, сейчас подписывает бумаги, сейчас он на вертолете, пролетает над рекой, над холмами, сейчас сажает вертолет в нашем маленьком аэропорту Грин-Виллидж...» Вот уже половина ночи прошла, а мы с матерью, каждый в своей неудобной кровати, все слушаем, слушаем. «Сейчас идет по Белл-стрит. Он всегда идет пешком... не берет машину... сейчас проходит парк, угол Оуккерст, и сейчас...»

...Я поднял голову с подушки. На улице, все ближе и ближе, легкие, торопливые, нетерпеливые шаги. Вот свернули к дому... вверх по ступенькам террасы... И мы оба, мама и я, улыбнулись в прохладном мраке, слыша, как внизу, узнав хозяйина, отворяется наружная дверь, что-то негромко говорит, приветствуя, и снова затворяется.

Три часа спустя я тихонько, затаив дыхание, повернул блестящую ручку их двери, прокрался в безбрежной, как космос между планетами, тьме и протянул руку за маленьким черным ящиком, что стоял у кровати родителей, в ногах. Есть! И я бесшумно побежал к себе, думая: «Он ведь все равно ничего не расскажет, не хочет, чтобы я знал».

И вот из открытого ящичка струится черный костюм космонавта — будто черная туманность с редкими стежками далеких звезд. Я мял в горячих руках темную ткань и вдыхал ароматы планет: Марса — запах железа, Венеры — благоухание зеленого плюща, Меркурия — огонь и сера; я обонял молочную Луну и жесткость звезд. Потом я положил костюм в центрифугу, которую собрал недавно в школьной мастерской, и пустил ее.

Вскоре в реторте осела тонкая пыль. Я поместил ее под окуляр микроскопа.

Родители безмятежно спали, весь дом спал, автоматические пекари, механические слуги и уборщики-роботы погрузились в свой электрический сон; а я смотрел, смотрел на сверкающие крупинки метеорной пыли, кометных хвостов и глины с далекого Юпитера. Они сами были словно далекие миры, и сквозь тубус микроскопа я уходил в полет — миллиарды миль в космосе, фантастические ускорения...

На рассвете, устав путешествовать и боясь, что пропажу обнаружат, я отнес ящичек на место, в спальню родителей. Потом я уснул, но тут же проснулся от гудка машины под окном.

Это приехали из химчистки за костюмом. «Хорошо, что я не стал ждать», — подумал я. Ведь через час костюм вернется, обезличенный, очищенный от всех следов путешествия.

И я опять уснул, а в кармане пижамы, как раз над бьющимся сердцем, лежал пузырек с магической пылью.

Когда я спустился, отец сидел за столом, завтракал.

— Как спалось, Дуг? — приветствовал он меня, будто все время был дома, будто и не уходил на три месяца в космос.

— Хорошо, — ответил я.

— Гренки?

Он нажал кнопку, и стол поджарил мне четыре ломтя хлеба — румяные, золотистые.

Помню, как отец в тот день работал в саду, все копал и копал, словно искал что-то. Длинные смуглые руки стремительно двигались, сажая, уминая, привязывая, срезая, обрезая. Смуглое лицо неизменно было обращено к земле. Глаза отца смотрели на то, чем были заняты руки; он ни разу не взглянул на небо или на меня, даже на маму. Лишь когда мы опускались на колени рядом с ним, чтобы ощутить сквозь ткань комбинезона сырость земли, погрузить пальцы в черный перегной и забыть о буйно-голубом небе, он оглядывался влево и вправо, на маму или на меня, и ласково подмигивал, после чего продолжал работать, глядя в землю, все время в землю, и небо видело только его согнутую спину.

Вечером мы сидели на механических качелях на террасе, они нас качали, и обдували ветром, и пели нам песни. Были лето, луна, был лимонад, мы держали в руках холодные стаканы, и отец читал стереогазету, вмонтированную в специальную шляпу, которая переворачивала микространицы за увеличительным стеклом, если моргнуть три раза. Отец курил сигареты и рассказывал мне, как он был мальчиком в 1997 году. Немного погодя он, как всегда, спросил:

— Ты почему не гуляешь, не гоняешь ногами банки, Дуг?

Я ничего не ответил, но мать сказала:

— Он гуляет, когда тебя нет дома.

Отец посмотрел на меня, потом, впервые за этот день, на небо. Мать всегда наблюдала за ним, когда он смотрел на звезды. Первый день и первый вечер после возвращения он редко глядел на небо. Я видел его рьяно работающим в саду, лицо будто срослось с землей. На второй день он уже чаще поглядывал на звезды. Днем мать не так боялась неба; зато как ей хотелось бы выключить вечерние звезды! Иной раз мне так и казалось, что она мысленно ищет выключатель. Напрасно...

На третий вечер, бывало, мы уже соберемся спать, а отец все еще мешкает на террасе, и я слышал, как мама его зовет — так она меня звала домой с улицы. И отец, вздохнув, включал фотоэлектрический замок. А на следующее утро, за завтраком, я, глянув вниз, обнаруживал у его ног черный ящичек; мама еще спала.

— Ну, Дуг, до свидания,— говорил он, пожимая мне руку.

— Через три месяца?

— Точно.

И он шел по улице, не садился ни на вертолет, ни на такси, ни на автобус, а просто шел пешком, неся летный костюм неприметно, в сумке под мышкой. Он не хотел, чтобы люди говорили, что он зазнался, став космонавтом.

Часом позже мама спускалась завтракать и съедала ровным счетом один ломтик поджаренного хлеба...

Но сегодня было сегодня, первый вечер, и он почти совсем не глядел на звезды.

— Пойдем на телевизионный карнавал,— предложил я.

— Отлично,— сказал отец.

Мама улыбнулась мне.

И мы поспешили на вертолете в город и повели отца мимо бесчисленных экранов, чтобы его голова, его лицо были с нами, чтобы он больше никуда не глядел. Мы смеялись смешному, серьезно смотрели серьезное, а я все думал: «Мой отец летает на Сатурн, на Нептун, на Плутон, но никогда не приносит мне подарков. Другие мальчики, у которых отцы путешествуют в космосе, показывают товарищам кусочки руды с Каллисто, обломки черных метеоритов, голубой песок. А мне приходится выменивать у них образцы для своей коллекции — песок с Меркурия, марсианские камни, которые наполняют мою комнату, но о которых отец никогда не хочет говорить».

Случалось, я помнил, он что-нибудь приносил маме. Раз посадил в нашем дворе подсолнечники с Марса, но через месяц после того, как он ушел в новый полет, когда цветы выросли, мама однажды выбежала во двор и все их срезала.

Мы стояли перед стереоскопическим экраном, и тут я брякнул не думая, задал отцу вопрос, с которым всегда к нему обращался:

— Скажи, как там, в космосе?

Мама метнула на меня испуганный взгляд. Поздно.

Полминуты отец стоял молча, подыскивая ответ, потом пожал плечами.

— Там... это лучше всего самого лучшего в жизни.— Он осекся.— Да нет, ничего особенного. Рутинка. Тебе бы не понравилось.— Он испытующе посмотрел на меня.

— Но ты всякий раз летишь опять.

— Привычка.

— И куда же ты полетишь теперь?

— Еще не решил. Надо подумать.

Он всегда обдумывал. В те дни космонавтов было мало, он мог сам выбирать, как, куда и когда лететь. Вечером третьего дня после его возвращения вы могли видеть, как он выбирает звезду.

— Пошли,— сказала мама,— пора домой.

Было еще не поздно, и дома я попросил отца надеть форму космонавта. Мне не следовало просить, чтобы не огорчать маму, но я ничего не мог с собой поделывать. Я продолжал упрашивать отца, хотя он всегда мне отказывал. Я никогда не видел его в форме. Наконец он сказал:

— Ну ладно.

Мы ждали в гостиной, пока он поднялся наверх по воздушной шахте. Мама печально смотрела на меня, словно не веря, что ее собственный сын может так с ней поступать. Я отвел глаза.

— Прости меня,— сказал я.

— Ты мне ничутьючки не помогаешь,— произнесла она.— Ничутьючки.

Мгновение спустя в воздушной шахте послышался шорох.

— Вот и я,— тихо сказал отец.

Мы увидели его в форме.

Костюм был черный, с блестящим отливом. Серебряные пуговицы, серебряные лампы до каблучков черных ботинок. Казалось, он весь — тело, руки, ноги — вырезан из черной туманности, сквозь которую просвечивают неяркие звездочки.

Костюм облегал тело, как перчатка облекает длинную гибкую руку, от него пахло прохладным воздухом, металлом, космосом. От него пахло огнем и временем.

Отец стоял посреди комнаты, смущенно улыбаясь.

— Повернись,— сказала мама.

Ее глаза, обращенные на него, смотрели куда-то далеко-далеко.

Когда отец бывал в космосе, она совершенно о нем не говорила. Вообще ни о чем не говорила, кроме погоды, моей шеи — дескать, не худо бы вымыть, — или своей бессонницы. Однажды она пожаловалась, что ночь была слишком светлая.

— Но ведь эту неделю ночи безлунные.

— А звезды? — ответила она.

Я пошел в магазин и купил ей новые жалюзи, темнее, зеленее. Ночью, лежа в кровати, я слышал, как она их опускает, тщательно закрывая окна. Долгий шуршащий звук...

Как-то раз я собрался подстричь газон.

— Не надо.— Мама стояла в дверях.— Убери на место ко-силку.

Так и росла у нас трава по три месяца без стрижки. Отец подстригал ее, когда возвращался домой.

Она вообще не разрешала мне ничего делать — скажем, чинить машину, которая готовила завтрак, или механического чтеца. Она все копила, как копят к празднику. И потом я видел, как отец стучит или паяет, улыбаясь, и мать счастливо улыбается, глядя на него.

Да, без него она о нем совсем не говорила. В свою очередь отец никогда не пытался связаться с нами, перебросить мост через миллионы километров.

Однажды он сказал мне:

— Твоя мать обращается со мной так, словно меня нет, словно я невидимка.

Я сам это заметил. Она глядела мимо него, на его руки, щеки, только не в глаза. А если смотрела в глаза, то будто сквозь пелену, как зверь, который засыпает. Она говорила «да» там, где надо, улыбалась — все с опозданием на полсекунды.

— Слово я для нее не существую,— сказал отец.

А на следующий день она опять была с нами, и он для нее существовал, они брались за руки и шли гулять вокруг квартала или отправлялись на верховую прогулку, и мамини волосы развевались, как у девочки; она выключала все механизмы на кухне и сама пекла ему удивительные пирожные, торты и печенья, жадно смотрела ему в глаза, улыбалась своей настоящей улыбкой. А к концу такого дня, когда он для нее существовал, она непременно плакала. И отец стоял, растерянно глядя вокруг, точно в поисках ответа, но нигде его не находил.

...Отец медленно повернулся, показывая костюм.

— Повернись еще,— попросила мама.

На следующее утро отец примчался домой с целой кипой билетов. Розовые билеты на Калифорнийскую ракету, голубые — на Мексиканскую авиалинию.

— Живей! — воскликнул он.— Купим дорожную одежду, потом ее сожжем. Вот — в полдень вылетаем в Лос-Анджелес, в два часа — вертолетом до Санта-Барбары, в девять — самолетом до Энсенады и там заночуем!

И мы отправились в Калифорнию. Полтора дня путешествовали по Тихоокеанскому побережью, пока не осели на песчаном пляже Малибу. Отец все время прислушивался, или пел, или жадно рассматривал все вокруг, цепляясь за впечатления, слов-

но мир был большой центрифугой, которая вращается так быстро, что его в любой момент могло от нас оторвать.

В наш последний день в Малибу мама осталась в гостинице. Отец долго лежал со мной рядом на песке, под жарким солнцем.

— Ух,— вздохнул он,— благодать...

Прикрыв глаза, он лежал на спине и пил солнце.

— Вот чего недостает,— сказал он.

Он, конечно, хотел сказать «на ракете». Но отец избегал упоминать свою ракету и не любил говорить обо всем том, чего на ракете нет. Откуда на ракете соленый ветер? Или голубое небо? Или ласковое солнце? Или мамин домашний обед? И разве на ракете поговоришь со своим четырнадцатилетним сыном?

— Что ж, потолкуем,— произнес он наконец.

И я знал, что теперь мы с ним будем говорить, говорить — три часа подряд, как это было у нас заведено. До самого вечера мы будем, нежась на солнце, вполголоса болтать о моем учении, как высоко я могу прыгнуть, быстро ли плаваю.

Отец кивал, слушая меня, улыбаясь, одобрительно трепал по щеке. Мы говорили. Не о ракете и не о космосе — мы говорили о Мексике, где однажды путешествовали на старинном автомобиле, о бабочках во влажных лесах зеленой, теплой Мексики: дело было в полдень, сотни бабочек облепили наш радиатор и тут же погибали, махая голубыми и розовыми крыльшками, трепеща в судорогах,— красивое и грустное зрелище. Мы говорили обо всем, только не о том, что мне хотелось. И отец слушал меня. Он слушал так, словно жаждал насытиться звуками, которые ловил его слух. Он слушал ветер, дыхание океана и мой голос, чутко, сосредоточенно, с напряженным вниманием, которое как бы отсеивало физические тела и оставляло только звуки. Он закрывал глаза, чтобы лучше слышать. И я вспоминал, как он слушал стрекот машин, когда сам подстригает газон, вместо того чтобы включить программное управление, видел, как он вдыхает запах скошенной травы, когда она брызжет на него зеленым фонтаном.

— Дуг,— сказал он часов около пяти, мы только что подобрали полотенца и пошли вдоль прибоя к гостинице,— обещаю тебе одну вещь.

— Что?

— Никогда не будь космонавтом.

Я остановился.

— Я серьезно,— продолжал он.— Потому что там тебя всегда будет тянуть сюда, а здесь — туда. Так что лучше и не начинать. Чтобы тебя не захватило.

— Но...

— Ты не знаешь, что это такое. Всякий раз, когда я там, я говорю себе: «Если только вернусь на Землю — останусь на-совсем, никогда больше не полечу». И все-таки лечу опять, и, наверно, всегда будет так.

— Я уже давно хочу стать космонавтом,— сказал я.

Он не слышал моих слов.

— Я пытаюсь заставить себя остаться. Когда я в субботу пришел домой, то твердо решил: сделаю все, чтобы заставить себя остаться.

Я вспомнил, как он, обливаясь потом, трудился в саду, как мы летели и он постоянно был чем-то увлечен, к чему-то прислушивался. Ну конечно: все это делалось, чтобы убедить себя, что море, города, земля, родная семья — вот единственно реальное и стоящее в жизни. И я знал, что отец будет делать сегодня ночью: стоя на террасе, он будет смотреть на алмазную россыпь Ориона.

— Обещай, что не станешь таким, как я,— попросил он.

Я помедлил.

— Хорошо,— ответил я.

Он пожал мне руку.

— Умница,— сказал он.

Обед был чудесный. Мама, как только мы вернулись домой, отправилась на кухню и занялась готовкой, возилась с тестом и корицей, гремела кастрюлями и противнями. И вот на столе красуется огромная индейка с приправами, брусничный соус, горошек, пирог с тыквой.

— Разве сегодня праздник? — удивился отец.

— В День благодарения тебя не будет дома.

— Вот как.

Он вдыхал аромат. Он поднимал крышки с блюд и наклонялся так, чтобы благоуханный пар гладил его загорелое лицо. И каждый раз говорил: «А-ах...» Потом он посмотрел на комнату, на свои руки. Обвел взглядом картины на стенах, стулья, стол, меня, маму. Наконец прокашлялся; я понял, что он решил.

— Лилли!

— Да? — Мама смотрела на него через стол, который в ее руках превратился в чудесный серебряный капкан, волшебный омут из подливки, в котором — она надеялась — ее муж, подобно доисторическому зверю в асфальтовом пруду, прочно увязнет и останется навсегда, надежно огражденный птичьими косточками. В ее глазах играли искорки.

— Лилли,— повторил отец.

«Ну, ну,— нетерпеливо думал я,— говори же скорее, скажи, что ты на этот раз останешься дома, навсегда, и никогда больше не улетишь, скажи!»

В этот самый миг тишину разорвал пронзительный стрекот пролетающего вертолета, и стекло в окне отозвалось хрустальным звоном. Отец глянул в окно.

Вот они, голубые вечерние звезды, и красный Марс поднимается на востоке.

Целую минуту отец смотрел на Марс. Потом, не глядя, протянул руку в мою сторону.

— Можно мне горошка? — попросил он.

— Простите,— сказала мать,— я совсем забыла хлеб.— И она выбежала на кухню.

— Хлеб на столе! — крикнул я ей вслед.

Отец начал есть, стараясь не глядеть на меня.

В ту ночь я не мог уснуть. Вскоре после полуночи я спустился вниз. Лунный свет будто покрыл все крыши ледяной коркой, сверкающая роса превратила газон в снежное поле. В одной пижаме я стоял на пороге, овеваемый теплым ночным ветром. Вдруг я заметил, что отец здесь, на террасе. Он сидел на механических качелях и медленно качался. Я видел темный профиль, обращенный к небу; он следил за движением звезд. Его глаза были подобны дымчатым кристаллам, в каждом отражалось по луне.

Я вышел и сел рядом. Мы качались вместе.

Наконец я спросил:

— А в космосе есть смертельные опасности?

— Миллион.

— Назови какие-нибудь.

— Столкновение с метеором, из ракеты выходит весь воздух. Или тебя захватит кометой. Ушиб. Удушье. Взрыв. Центробежные силы. Чрезмерное ускорение. Недостаточное ускорение. Жара, холод, Солнце, Луна, звезды, планеты, астероиды, планетоиды, радиация...

— Погибших сжигают?

— Поди найди их.

— А куда же девается человек?

— Улетает за миллиарды миль, такие ракеты называют блуждающими гробами. Ты становишься метеором или планетой-дом, который вечно блуждает в космосе.

Я промолчал.

— Зато,— сказал он погодя,— в космосе смерть быстрая. Раз — и нету. Никаких страданий. Чаще всего человек вообще ничего не замечает.

Мы пошли спать.

Настало утро.

Стоя в дверях, отец слушал, как в золотой клетке поет желтая канарейка.

— Итак, решено,— сказал он.— Следующий раз, как вернусь,— уж навсегда, больше никуда не полечу.

— Отец! — воскликнул я.

— Скажи об этом маме, когда она встанет.

— Ты серьезно?

Он кивнул:

— До свидания, через три месяца.

И он зашагал по улице, неприметно неся черную форму под мышкой, насвистывая, поглядывая на высокие зеленые деревья. На ходу сорвал ягоды с куста боярышника и подкинул их высоко в воздух, уходя в прозрачные утренние тени...

Несколько часов спустя я завел разговор с мамой, мне хотелось кое-что выяснить.

— Отец говорит, ты иногда ведешь себя так, словно не видишь и не слышишь его,— сказал я.

Она все мне объяснила.

— Десять лет назад, когда он впервые улетел в космос, я сказала себе: «Он мертв. Или все равно что мертв. Думай о нем как о мертвом». И когда он три или четыре раза в год возвращается домой, то это и не он вовсе, а просто приятное воспоминание или сон. Если воспоминание или сон прекратится, это совсем не так больно. Поэтому большую часть времени я думаю о нем как о мертвом...

— Но ведь бывает...

— Бывает, что я ничего не могу с собой поделать. Я пеку пироги и обращаюсь с ним как с живым, и мне больно. Нет, лучше считать, что он ушел десять лет назад и я никогда его не увижу. Тогда не так больно.

— Он разве тебе не сказал, что в следующий раз останется навсегда?

Она медленно покачала головой:

— Нет, он умер. Я в этом уверена.

— Он вернется живой,— сказал я.

— Десять лет назад,— продолжала мать,— я думала: что, если он погибнет на Венере? Тогда мы больше не сможем смотреть на Венеру. А если на Марсе? Мы не сможем видеть Марс. Только он вспыхнет в небе красной звездой, как нам тотчас захочется

уйти в дом и закрыть дверь. А если он погибнет на Юпитере, на Сатурне, Нептуне? В те ночи, когда выходят эти планеты, мы будем ненавидеть звездное небо.

— Еще бы,— сказал я.

Сообщение пришло на следующий день.

Посыльный вручил его мне, и я прочел его, стоя на террасе. Солнце садилось. Мать стояла в дверях и смотрела, как я складываю листок и прячу его в карман.

— Мам,— заговорил я.

— Не говори мне того, что я и без тебя знаю,— сказала она.

Она не плакала.

Нет, его убил не Марс и не Венера, не Юпитер и не Сатурн. Нам не надо было бояться, что мы будем вспоминать о нем всякий раз, когда в вечернем небе загорится Юпитер, или Сатурн, или Марс.

Дело обстояло иначе. Его корабль упал на Солнце.

Солнце — огромное, пламенное, беспощадное, которое каждый день светит с неба и от которого никуда не уйдешь.

После смерти отца мать долго спала днем и до вечера не выходила. Мы завтракали в полночь, ели ленч в три часа ночи, обедали в шесть утра, когда царил холодный сумрак. Мы ушли в театр на всю ночь и ложились спать на рассвете.

Потом мы еще долго выходили гулять только в дождливые дни, когда не было солнца.

Уснувший в Армагеддоне

Никто не хочет смерти, никто не ждет ее. Просто что-то срывает не так, ракета поворачивается боком, астероид стремительно надвигается, закрываешь руками глаза — чернота, движение, носовые двигатели неудержимо тянут вперед, отчаянно хочется жить — и некуда податься.

Какое-то мгновение он стоял среди обломков...

Мрак. Во мраке неощутимая боль. В боли — кошмар.

Он не потерял сознания.

«Твое имя?» — спросили невидимые голоса. «Сейл,— ответил он, крутясь в водовороте тошноты,— Леонард Сейл». — «Кто ты?» — закричали голоса. «Космонавт!» — крикнул он, один в ночи. «Добро пожаловать», — сказали голоса. «Добро... добро...» И замерли.

Он поднялся, обломки рухнули к его ногам, как смятая, порванная одежда.

Взошло солнце, и наступило утро.

Сейл протиснулся сквозь узкое отверстие шлюза и вдохнул воздух. Везет. Просто везет. Воздух пригоден для дыхания. Продуктов хватит на два месяца. Прекрасно, прекрасно! И это тоже! Он ткнул пальцем в обломки. Чудо из чудес! Радиоаппаратура не пострадала.

Он отстучал ключом: «Врезался в астероид 787. Сейл. Пришлите помощь. Сейл. Пришлите помощь». Ответ не заставил себя ждать: «Хелло, Сейл. Говорит Адамс из Марсопорта. По-сылаем спасательный корабль “Логарифм”. Прибудет на астероид 787 через шесть дней. Держись».

Сейл едва не пустился в пляс.

До чего все просто! Попал в аварию. Жив. Еда есть. Радировал о помощи. Помощь придет. Ля-ля-ля! Он захопал в ладоши.

Солнце поднялось, и стало тепло. Он не ощущал страха смерти. Шесть дней пролетят незаметно. Он будет есть, он будет спать. Он огляделся вокруг. Опасных животных не видно, кислорода достаточно. Чего еще желать? Разве что свинины с бобами. Приятный запах разлился в воздухе.

Позавтракав, он выкурил сигарету, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым. Радостно покачал головой. Что за жизнь! Ни царапины. Повезло. Здорово повезло.

Он клюнул носом. Спать, подумал он. Неплохая идея. Вздремнуть после еды. Времени сколько угодно. Спокойно. Шесть долгих, роскошных дней ничегонеделания и философствования. Спать.

Он растянулся на земле, положил голову на руку и закрыл глаза.

И в него вошло, им овладело безумие. «Спи, спи, о спи,— говорили голоса.— А-а, спи, спи». Он открыл глаза. Голоса исчезли. Все было в порядке. Он передернулся, покрепче закрыл глаза и устроился поудобнее.

«Ээээээээ»,— пели голоса далеко-далеко.

«Ааааааа»,— пели голоса.

«Спи, спи, спи, спи, спи»,— пели голоса.

«Умри, умри, умри, умри, умри»,— пели голоса.

«Ооооооо!»— кричали голоса.

«Ммммммм»,— жужжала в его мозгу пчела.

Он сел. Он затряс головой. Он зажал уши руками. Пришурившись, поглядел на разбитый корабль. Твердый металл. Кончиками пальцев нащупал под собой крепкий камень. Увидел на голубом небосводе настоящее солнце, которое дает тепло.

«Попробуем уснуть на спине»,— подумал он и снова улегся. На запястьях тикали часы. В венах пульсировала горячая кровь.

«Спи, спи, спи, спи»,— пели голоса.

«Ооооооох»,— пели голоса.

«Ааааааах»,— пели голоса.

«Умри, умри, умри, умри, умри. Спи, спи, умри, спи, умри, спи, умри! Оохх, аахх, эээээээ!» Кровь стучала в ушах, словно шум нарастающего ветра.

«Мой, мой,— сказал голос.— Мой, мой, он мой!»

«Нет, мой, мой,— сказал другой голос.— Нет, мой, мой, он мой!»

«Нет, наш, наш,— пропели десять голосов.— Наш, наш, он наш!»

Его пальцы скрючились, скулы свело спазмом, веки начали вздрагивать.

«Наконец-то, наконец-то,— пел высокий голос.— Теперь, теперь. Долгое-долгое ожидание. Кончилось, кончилось,— пел высокий голос.— Кончилось, наконец-то кончилось!»

Словно ты в подводном мире. Зеленые песни, зеленые видения, зеленое время. Голоса булькают и тонут в глубинах морского прилива. Где-то вдалеке хоры выводят неразборчивую песню. Леонард Сейл начал метаться в агонии. «Мой, мой»,— кричал громкий голос. «Мой, мой»,— визжал другой. «Наш, наш»,— визжал хор.

Грохот металла, звон мечей, стычка, битва, борьба, война. Все взрывается, его мозг разбрызгивается на тысячи капель.

«Эээээээ!»

Он вскочил на ноги с пронзительным воплем. В глазах у него все расплавилось и поплыло. Раздался голос: «Я Тилле из Раталара. Гордый Тилле, Тилле Кровавого Могильного Холма и Барабана Смерти. Тилле из Раталара, Убийца Людей!»

Потом другой: «Я Иорр из Вендилло, Мудрый Иорр, Истребитель Неверных!»

«А мы воины,— пел хор,— мы сталь, мы воины, мы красная кровь, что течет, красная кровь, что бежит, красная кровь, что дымится на солнце».

Леонард Сейл шатался, будто под тяжким грузом. «Убирайтесь! — кричал он.— Оставьте меня, ради Бога, оставьте меня!»

«Ииииии»,— визжал высокий звук, словно металл по металлу.

Молчание.

Он стоял, обливаясь потом. Его била такая сильная дрожь, что он с трудом держался на ногах. Сошел с ума, подумал он. Совершенно спятил. Буйное помешательство. Сумасшествие.

Он разорвал мешок с продовольствием и достал химический пакет.

Через мгновение был готов горячий кофе. Он захлебывался им, ручейки текли по нёбу. Его бил озноб. Он хватал воздух большими глотками.

Будем рассуждать логично, сказал он себе, тяжело опустившись на землю; кофе обжег ему язык. — Никаких признаков сумасшествия в его семье за последние двести лет не было. Все здоровы, вполне уравновешенны. И теперь никаких поводов для безумия. Шок? Глупости. Никакого шока. Меня спасут через шесть дней. Какой может быть шок, раз нет опасности? Обычный астероид. Место самое-самое обыкновенное. Никаких поводов для безумия нет. Я здоров.

«Ии?» — крикнул в нем тоненький металлический голосок. Эхо. Замирающее эхо.

«Да! — закричал он, стукнув кулаком о кулак. — Я здоров!»

«Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — где-то заухал смех. Он обернулся. «Заткнись, ты!» — взревел он. «Мы ничего не говорили», — сказали горы. «Мы ничего не говорили», — сказало небо. «Мы ничего не говорили», — сказали обломки.

«Ну-ну, хорошо, — сказал он неуверенно. — Понимаю, что не вы».

Все шло как положено.

Камешки постепенно накалялись. Небо было большое и синее. Он поглядел на свои пальцы и увидел, как солнце горит в каждом черном волоске. Он поглядел на свои башмаки, покрытые пылью, и внезапно почувствовал себя очень счастливым оттого, что принял решение. Я не буду спать, подумал он. Раз у меня кошмары, зачем спать? Вот и выход.

Он составил распорядок дня. С девяти утра (а сейчас было именно девять) до двенадцати он будет изучать и осматривать астероид, а потом желтым карандашом писать в блокноте обо всем, что увидит. После этого он откроет банку сардин и съест немного консервированного хлеба с толстым слоем масла. С половины первого до четырех прочтет девять глав из «Войны и мира». Он вытащил книгу из-под обломков и положил ее так, чтобы она была под рукой. У него есть еще книжка стихов Т. С. Элиота. Это чудесно.

Ужин — в полшестого, а потом от шести до десяти он будет слушать радиопередачи с Земли — комиков с их плоскими шутками, и безголосого певца, и выпуски последних новостей, а в полночь передача завершится гимном Объединенных Наций.

А потом?

Ему стало нехорошо.

До рассвета я буду играть в солитер, подумал он. Сяду и стану пить горячий черный кофе и играть в солитер без жульничества, до самого рассвета. «Хо-хо»,— подумал он.

«Ты что-то сказал?» — спросил он себя.

«Я сказал: “Хо-хо”,— ответил он.— Рано или поздно ты должен будешь уснуть».

«У меня сна — ни в одном глазу»,— сказал он.

«Лжец»,— парировал он, наслаждаясь разговором с самим собой.

«Я себя прекрасно чувствую»,— сказал он.

«Лицемер»,— возразил он себе.

«Я не боюсь ночи, сна и вообще ничего не боюсь»,— сказал он.

«Очень забавно»,— сказал он.

Он почувствовал себя плохо. Ему захотелось спать. И чем больше он боялся уснуть, тем больше хотел лечь, закрыть глаза и свернуться в клубочек.

«Со всеми удобствами?» — спросил его иронический собеседник.

«Вот сейчас я пойду погулять, и осмотрю скалы и геологические обнажения, и буду думать о том, как хорошо быть живым»,— сказал он.

«О Господи! — вскричал собеседник.— Тоже мне Уильям Сароян!»

Все так и будет, подумал он, может быть, один день, может быть, одну ночь, а как насчет следующей ночи и следующей? Сможешь ты бодрствовать все это время, все шесть ночей? Пока не придет спасательный корабль? Хватит у тебя пороху, хватит у тебя силы?

Ответа не было.

Чего ты боишься? Я не знаю. Этих голосов. Этих звуков. Но ведь они не могут повредить тебе, не так ли?

Могут. Когда-нибудь с ними придется столкнуться... А нужно ли? Возьми себя в руки, старина. Стисни зубы, и вся эта чертовщина сгинет.

Он сидел на жесткой земле и чувствовал себя так, словно плакал навзрыд. Он чувствовал себя так, как если бы жизнь была кончена и он вступал в новый и неизведанный мир. Это было как в теплый, солнечный, но обманчивый день, когда чувствуешь себя хорошо,— в такой день можно или ловить рыбу, или рвать цветы, или целовать женщину, или еще что-нибудь делать. Но что ждет тебя в разгаре чудесного дня?

Смерть.

Ну, вряд ли это.

Смерть, настаивал он.

Он лег и закрыл глаза. Он устал от этой путаницы. Отлично, подумал он, если ты смерть, приходи и забери меня. Я хочу понять, что означает эта дьявольская чепуха.

И смерть пришла.

«Ээээээээ», — сказал голос.

«Да, я это понимаю», — сказал Леонард Сейл. — Ну а что еще?»

«Ааааааах», — произнес голос.

«И это я понимаю», — раздраженно ответил Леонард Сейл.

Он похолодел. Его рот искривила дикая гримаса.

«Я — Тилле из Раталара, Убийца Людей!»

«Я — Иорр из Вендилло, Истребитель Неверных!»

«Что это за планета?» — спросил Леонард Сейл, пытаясь побороть страх.

«Когда-то она была могучей», — ответил Тилле из Раталара.

«Когда-то — место битв», — ответил Иорр из Вендилло.

«Теперь мертвая», — сказал Тилле.

«Теперь безмолвная», — сказал Иорр.

«Но вот пришел ты», — сказал Тилле.

«Чтобы снова дать нам жизнь», — сказал Иорр.

«Вы умерли, — настаивал Леонард Сейл, весь — корчащаяся плоть. — Вы ничто, вы просто ветер».

«Мы будем жить с твоей помощью».

«И сражаться благодаря тебе».

«Так вот в чем дело, — подумал Леонард Сейл. — Я должен стать полем боя, так?.. А вы — друзья?»

«Враги!» — закричал Иорр.

«Лютые враги!» — закричал Тилле.

Леонард страдальчески улыбнулся. Ему было очень плохо.

«Сколько же вы ждали?» — спросил он.

«А сколько длится время?»

«Десять тысяч лет?»

«Может быть».

«Десять миллионов лет?»

«Возможно».

«Кто вы? — спросил он. — Мысли, духи, призраки?»

«Все это и даже больше».

«Разумы?»

«Вот именно».

«Как вам удалось выжить?»

«Ээээээээ», — пел хор далеко-далеко.

«Ааааааах», — пела другая армия в ожидании битвы.

«Когда-то это была плодородная страна, богатая планета.

На ней жили два народа, две сильные нации, а во главе их

стояли два сильных человека. Я, Иорр, и он, тот, что зовет себя Тилле. И планета пришла в упадок, и наступило небытие. Народы и армии все слабели и слабели в ходе Великой войны, длившейся пять тысяч лет. Мы долго жили и долго любили, пили много, спали много и много сражались. И когда планета умерла, наши тела ссохлись, и только со временем наука помогла нам выжить».

«Выжить,— удивился Леонард Сейл.— Но от вас ничего не осталось».

«Наш разум, глупец, наш разум! Чего стоит тело без разума?»

«А разум без тела? — рассмеялся Леонард Сейл.— Я нашел вас здесь. Признайтесь, это я нашел вас!»

«Точно,— сказал резкий голос.— Одно бесполезно без другого. Но выжить — это и значит выжить, пусть даже бессознательно. С помощью науки, с помощью чуда разум наших народов выжил».

«Только разум — без чувства, без глаз, ушей, без осязания, обоняния и прочих ощущений?»

«Да, без всего этого. Мы были просто нереальностью, паром. Долгое время. До сегодняшнего дня».

«А теперь появился я»,— подумал Леонард Сейл.

«Ты пришел,— сказал голос,— чтобы дать нашему уму физическую оболочку. Дать нам наше желанное тело».

«Ведь я только один»,— подумал Сейл.

«И тем не менее ты нам нужен».

«Но я — личность. Я возмущен вашим вторжением!»

«Он возмущен нашим вторжением. Ты слышал его, Иорр? Он возмущен!»

«Как будто он имеет право возмущаться!»

«Осторожнее,— предупредил Сейл.— Я моргну глазом — и вы пропадете, призраки! Я пробужусь и сотру вас в порошок!»

«Но когда-нибудь тебе придется снова уснуть! — закричал Иорр.— И когда это произойдет, мы будем здесь, ждать, ждать, ждать. Тебя».

«Чего вы хотите?»

«Плотности. Массы. Снова ощущений».

«Но ведь моего тела не хватает на вас обоих».

«Мы будем сражаться друг с другом».

Раскаленный обруч сдавил его голову. Будто в мозг между двумя полушариями вгоняли гвоздь.

Теперь все стало до ужаса ясным. Страшно, блистательно ясным. Он был их вселенной. Мир его мыслей, его мозг, его череп поделен на два лагеря, один — Иорра, другой — Тилле. Они используют его!

Взвились знамена под рдеющим небом его мозга. В бронзовых щитах блеснуло солнце. Двинулись серые звери и понеслись в сверкающих волнах плюмажей, труб и мечей.

«Эээээээ!» Стремительный натиск.

«Ааааааах!» Рев.

«Наууууу!» Вихрь.

«Ммммммммммммммм...»

Десять тысяч человек столкнулись на маленькой невидимой площадке. Десять тысяч человек понеслись по блестящей внутренней поверхности глазного яблока. Десять тысяч копий зашвырялись между костями его черепа. Выпалили десять тысяч изукрашенных орудий. Десять тысяч голосов запели в его ушах. Теперь его тело было расколото и растянуто, оно тряслось и вертелось, оно визжало и корчилось, черепные кости вот-вот разлетятся на куски. Бормотание, вопли, как будто через равнины разума и континент костного мозга, через ложины вен, по холмам артерий, через реки меланхолии идет армия за армией, одна армия, две армии, мечи сверкают на солнце, скрешиваясь друг с другом, пятьдесят тысяч умов, нуждающихся в нем, использующих его, хватают, скребут, режут. Через миг — страшное столкновение, одна армия на другую, бросок, кровь, грохот, неистовство, смерть, безумство!

Как цимбалы, звенят столкнувшиеся армии!

Охваченный бредом, он вскочил на ноги и понесся в пустыню. Он бежал, и бежал, и не мог остановиться.

Он сел и зарыдал. Он рыдал до тех пор, пока не заболели легкие. Он рыдал безутешно и долго. Слезы сбегали по его щекам и капали на растопыренные дрожащие пальцы. «Боже, Боже, помоги мне, о Боже, помоги мне!» — повторял он.

Все снова было в порядке.

Было четыре часа пополудни. Солнце палило скалы. Через некоторое время он приготовил и съел бисквиты с клубничным джемом. Потом, как в забытьи, стараясь не думать, вытер запачканные руки о рубашку.

По крайней мере, я знаю, с кем имею дело, подумал он. О Господи, что за мир! Каким простодушным он кажется на первый взгляд, и какой он чудовищный на самом деле! Хорошо, что никто до сих пор его не посещал. А может, кто-то здесь был? Он покачал головой, полной боли. Им можно только посочувствовать, тем, кто разбился здесь раньше, если только они действительно были. Теплое солнце, крепкие скалы, и никаких признаков враждебности. Прекрасный мир.

До тех пор пока не закроешь глаза и не забудешься. А потом ночь, и голоса, и безумие, и смерть на неслышных ногах.

«Однако я уже вполне в норме,— сказал он гордо.— Вот, посмотри»,— и вытянул руку. Подчиненная величайшему усилию воли, она больше не дрожала. «Я тебе покажу, кто здесь правитель, черт возьми! — пригрозил он безвинному небу.— Это я». И постучал себя в грудь.

Подумать только, что мысль может прожить так долго! Наверное, миллион лет все эти мысли о смерти, смутах, завоеваниях таились в безвредной, на первый взгляд, но ядовитой атмосфере планеты и ждали живого человека, чтобы он стал сосудом для проявления их бессмысленной злобы.

Теперь, когда он почувствовал себя лучше, все это казалось глупостью. Все, что мне нужно, думал он, это продержаться шесть суток без сна. Тогда они не смогут так мучить меня. Когда я бодрствую, я хозяин положения. Я сильнее, чем эти сумасшедшие военачальники с их идиотскими ордами трубачей и носителей мечей и щитов.

«Но выдержу ли я? — усомнился он.— Целых шесть ночей? Не спать? Нет, я не буду спать. У меня есть кофе, и таблетки, и книги, и карты. Но я уже сейчас устал, так устал,— думал он.— Продержусь ли я?»

Ну а если нет... Тогда пистолет всегда под рукой.

Интересно, куда денутся эти дурацкие монархи, если пустить пулю на помост, где они выступают? На помост, который — весь их мир. Нет. Ты, Леонард Сейл, слишком маленький помост. А они слишком мелкие актеры. А что, если пустить пулю из-за кулис, разрушив декорации, занавес, зрительный зал? Уничтожить помост, всех, кто неосторожно попадет на пути!

Прежде всего снова радировать в Марсопорт. Если найдут возможность прислать спасательный корабль поскорее, может быть, удастся продержаться. Во всяком случае надо предупредить их, что это за планета: такое невинное с виду место в действительности не что иное, как обиталище кошмаров и дикого бреда.

Минуту он стучал ключом, стиснув зубы. Радио безмолвствовало.

Оно послало призыв о помощи, приняло ответ и потом умолкло навсегда.

«Какая насмешка! — подумал он.— Остается одно — составить план».

Так он и сделал. Он достал свой желтый карандаш и набросал шестидневный план спасения.

«Этой ночью,— писал он,— прочесть еще шесть глав “Войны и мира”. В четыре утра выпить горячего черного кофе. В четверть пятого вынуть колоду карт и сыграть десять партий в

солитер. Это займет время до половины седьмого, затем еще кофе. В семь послушать первые утренние передачи с Земли, если приемник вообще работает. Работает ли?»

Он проверил работу приемника. Тот молчал.

«Хорошо,— написал он,— от семи до восьми петь все песни, какие знаешь, развлекать самого себя. От восьми до девяти думать об Элен Кинг. Вспомнить Элен. Нет, думать об Элен прямо сейчас».

Он подчеркнул это карандашом.

Остальные дни были расписаны по минутам. Он проверил медицинскую сумку. Там лежало несколько пакетиков с таблетками, которые помогут не спать. Каждый час по одной таблетке все эти шесть суток. Он почувствовал себя вполне уверенным. «Ваше здоровье, Йорр, Тилле!» Он проглотил одну из возбуждающих таблеток и запил ее глотком обжигающего черного кофе.

Итак, одно следовало за другим, был Толстой, был Бальзак, ромовый джин, кофе, таблетки, прогулки, снова Толстой, снова Бальзак, опять ромовый джин, снова солитер. Первый день прошел так же, как второй, а за ним третий.

На четвертый день он тихо лежал в тени скалы, считая до тысячи пятерками, потом десятками, только чтобы загрузить чем-нибудь ум и заставить его бодрствовать. Глаза его так устали, что он вынужден был часто промывать их холодной водой. Читать он не мог: голова разламывалась от боли. Он был так изнурен, что уже не мог и двигаться. Лекарства привели его в состояние оцепенения. Он напоминал бодрствующую восковую фигуру. Глаза его остекленели, язык стал похож на заржавленное острое пики, а пальцы словно обросли мехом и ошетились иглами.

Он следил за стрелкой часов. «Еще секундой меньше,— думал он.— Две секунды, три секунды, четыре, пять, десять, тридцать секунд. Целая минута. Теперь уже на целый час меньше осталось ждать. О корабль, поспеши же к назначенной цели!»

Он тихо засмеялся.

А что случится, если он бросит все и уплывет в сон? Спать, спать, быть может, грезить. Весь мир — помост. Что, если он сдастся в неравной борьбе и падет?

«Иииииии»,— высокий, пронзительный, грозный звук разящего металла.

Он содрогнулся. Язык шевельнулся в сухом, шершавом рту. Йорр и Тилле снова начнут свои стародавние распри.

Леонард Сейл совсем сойдет с ума.

И победитель овладеет останками этого безумца — трясущимся, хохочущим диким телом — и пошлет его скитаться по лицу

планеты на десять, двадцать лет, а сам надменно расположится в нем и будет творить суд, и отправлять на казнь величественным жестом, и навещать души невидимых танцовщиц. А самого Леонарда Сейла, то, что от него останется, отведут в какую-нибудь потаенную пещеру, где он пробудет двадцать безумных лет, кишасий червями и войнами, насилуемый древними диковинными мыслями.

Когда придет спасательный корабль, он не найдет ничего. Сейла спрячет ликующая армия, сидящая в его голове. Спрячет где-нибудь в расщелине, и Сейл станет гнездом, в котором какой-нибудь Иорр будет высиживать свои гнусные планы. Эта мысль едва не убила его.

Двадцать лет безумия. Двадцать лет пыток, двадцать лет, заполненных делами, которые ты не хочешь делать. Двадцать лет бушующих войн, двадцать лет тошноты и дрожи.

Голова его упала на колени. Веки со скрежетом разомкнулись и с легким шумом закрылись. Барабанная перепонка устало хлопнула.

«Спи, спи», — запели слабые голоса.

«У меня... у меня есть к вам предложение, — подумал Леонард Сейл. — Слушайте, ты, Иорр, и ты, Тилле! Иорр, ты, и ты тоже, Тилле! Иорр, ты можешь владеть мной по понедельникам, средам и пятницам. Тилле, ты будешь сменять его по воскресеньям, вторникам и субботам. В четверг я выходной. Согласны?»

«Эээээээ», — пели морские приливы, кипя в его мозгу.

«Оооооооох», — мягко-мягко пели отдаленные голоса.

«Что вы скажете? Поладим на этом, Иорр, Тилле?»

«Нет!» — ответил один голос.

«Нет!» — сказал другой.

«Жадюги, оба вы жадюги! — жалобно вскричал Сейл. — Чума на оба ваших дома!»

Он спал.

Он был Иорром, и драгоценные кольца сверкали на его руках. Он появился у ракеты и выставил вперед руку, направляя слепые армии. Он был Иорром, древним предводителем воинов, украшенных драгоценными камнями.

И он был Тилле, любимцем женщин, убийцей собак!

Почти бессознательно его рука потянулась к кобуре у бедра. Спящая рука вытащила пистолет. Рука поднялась, пистолет прицелился. Армии Тилле и Иорра вступили в бой.

Пистолет выстрелил.

Пуля оцарапала лоб Сейла и разбудила его.

Выбравшись из осады, он не спал следующие шесть часов. Теперь он знал, что это безнадежно. Он промыл и перевязал рану. Он пожалел, что не прицелился точнее, тогда все было бы уже кончено. Он взглянул на небо. Еще два дня. Еще два. Торопись, корабль, торопись! Он отупел от бессонницы.

Бесполезно. К концу этого срока он уже вовсю бредил. Он поднял пистолет, и положил его, и поднял снова, приложил к голове, нажал было пальцем на спусковой крючок, передумал, снова посмотрел на небо.

Наступила ночь. Он попытался читать, но отбросил книгу прочь. Разорвал ее и сжег, просто чтобы чем-нибудь заняться.

Как он устал! Через час, решил он.

«Если ничего не случится, я убью себя. Теперь серьезно. На этот раз не струшу». Он приготовил пистолет и положил его на землю рядом с собой.

Теперь он был очень спокоен, хотя и ужасно измучен. С этим будет покончено.

В небе показалось пламя.

Это было так неправдоподобно, что он заплакал.

«Ракета», — сказал он, вставая. «Ракета!» — закричал он, протирая глаза, и побежал вперед.

Пламя становилось все ярче, росло, опускалось.

Он бешено размахивал руками, спеша вперед, бросив пистолет, и припасы, и все.

«Вы видите это, Иорр, Тилле! Дикари, чудовища, я вас одолел. Я победил! За мной пришли! Я победил, черт бы вас побрал!»

Он злорадно усмехнулся, поглядев на скалы, небо, на собственные руки.

Ракета села. Леонард Сейл, качаясь, ждал, когда откроется дверь.

«Прощай, Иорр, прощай, Тилле!» — ухмыляясь, с горящими глазами, победно закричал он.

«Ээээээ», — затих вдалеке рев.

«Аааааааа», — угасли голоса.

Широко раскрылся шлюзовой люк ракеты. Из него выпрыгнули два человека.

— Сейл? — спросили они. — Мы — корабль АСДН номер тринадцать. Перехватили ваш SOS и решили сами вас подобрать. Корабль из Марсопорта придет только послезавтра. Мы бы хотели немного отдохнуть. Неплохо здесь переночевать, потом забрать вас и отправиться дальше.

— Нет, — произнес Сейл, и лицо его исказилось от ужаса. — Нельзя переночевать...

Он не мог говорить. Он упал на землю.

— Быстрей,— произнес над ним голос в туманном вихре.— Дай ему немного жидкой пищи и снотворного. Ему нужны еда и отдых.

— Не надо отдыха! — завопил Сейл.

— Бредит,— тихо сказал один из них.

— Нельзя спать! — вопил Сейл.

— Тише, тише,— сказал человек нежно. Игла вонзилась в руку Сейла.

Сейл колотил руками и ногами.

— Не надо спать, поедем! — страшно кричал он.— Ну поедем!

— Бред,— сказал один.— Шок.

— Не надо снотворного! — пронзительно кричал Сейл.

Снотворное разливалось по его телу. «Эээээээээ»,— пели древние ветры. «Аааааааааааааааа»,— пели древние моря.

— Не надо снотворного, нельзя спать, пожалуйста, не надо, не надо, не надо! — кричал Сейл, пытаясь подняться.— Вы... не... знаете!..

— Не волнуйся, старик, ты теперь в безопасности, не о чем беспокоиться.

Леонард Сейл спал. Двое стояли над ним. По мере того как они смотрели на него, черты его лица менялись все больше и больше.

Он стонал, и плакал, и рычал во сне. Его лицо беспрестанно преображалось. Это было лицо святого, грешника, злого духа, чудовища, мрака, света, одного, множества, армии, пустоты — всего-всего!

Он корчился во сне.

— Ээээээээээ! — взорвался криком его рот.— Иии-ииии! — визжал он.

— Что с ним? — спросил один из спасителей.

— Не знаю. Дать еще снотворного?

— Да, еще дозу. Нервы. Ему надо много спать.

Они вонзили иглу в его руку. Сейл корчился, плевался и стонал.

И вдруг умер. Он лежал, а двое стояли над ним.

— Какой ужас! — сказал один.— Как ты это объяснишь?

— Шок. Бедный малый! Какая жалость!— Они закрыли ему лицо.— Ты когда-нибудь видел подобное лицо?

— Абсолютно безумное.

— Одиночество. Шок.

— Да. Боже, что за выражение! Не хотел бы я когда-нибудь еще увидеть такое лицо.

— Какая беда, ждал нас, и мы прибыли, а он все равно умер. Они огляделись вокруг.

- Что будем делать? Переночуем здесь?
 - Да. И хорошо бы не в корабле.
 - Сначала похороним его, конечно.
 - Само собой.
 - И будем спать на свежем воздухе, ладно? Хорошо снова поспать на свежем воздухе. После двух недель в этом проклятом корабле.
 - Давай. Я подыщу для него место. А ты готовь ужин, идет?
 - Идет.
 - Хорошо поспим сегодня.
 - Отлично. Отлично!
- Они выкопали могилу, прочитали молитву. Потом молча выпили по чашке вечернего кофе. Они вдыхали сладкий воздух планеты и смотрели на чудесное небо и яркие и прекрасные звезды.
- Какая ночь! — сказали они, укладываясь.
 - Приятных сновидений, — сказал один, поворачиваясь.
- И другой ответил:
- Приятных сновидений.
- Они заснули.

Синяя Бутылка

От каменных солнечных часов осталось лишь мелкое белое крошево. Птицы покинули поднебесье и навеки смолкли, распластав крылья среди скал и песка. По дну мертвых морей перекатывались волны пыли. Стоило ветру уговорить их снова сыграть древнюю мистерию потопа, как они вздымали сухие валы, и серые пыльные потоки заливали все окрест.

Города замерли в немоте уснувшего времени, стихли фонтаны, не плескалась вода в озерах... Только тишина и древняя память.

Марс был мертв.

Потом на границах огромного безмолвия в невообразимой дали родился звук — словно бы еле слышно стрекотало какое-то насекомое. Звук приближался, нависал над красноватыми холмами, противно зудел в пронизанном солнцем воздухе. Дрогнуло древнее шоссе, шевельнулась и пошла перешептывать пыль в давным-давно заброшенных городах.

Звук замер.

В сияющей полуденной тишине Альберт Бек и Леонард Крейг сидели в латаном-перелатаном стареньком вездеходе и

разглядывали мертвый город. Город с трудом выдержал человеческий взгляд и будто сжался, ожидая крика.

— Привет!

Хрустальная башня вздрогнула и осыпалась мягким шелестящим дождем мелких обломков.

— Эй, вы там!

Еще одна... Потом башни начали рассыпаться одна за другой. Голос Бека приказывал им умирать.

Каменные химеры с огромными гранитными крыльями ныряли вниз. Короткий полет заканчивался неизменным тяжким ударом о плиты дворики и края фонтанов. Голос приказывал им, словно цирковым животным, и они с протяжными стонами отрывались от каменных фронтонов, наклонялись, заглядывали в пустоту, вздрагивали, сопротивляясь, и рушились вниз с разинутыми пастьями, выпученными каменными глазами, оскаленными клыками. Осколки разлетались вокруг, как шрапнель по черепице.

— Э-ге-гей!

Бек подождал. Катастрофический распад прекратился. Ни одна башня больше не упала.

— Теперь можно идти.

Крейг даже не пошевелился.

— Все за тем же?

Бек кивнул.

— Не понимаю. Ради какой-то проклятой бутылки! Зачем она вам всем так понадобилась?

Бек выбрался из машины.

— Те, кто держал ее в руках, не очень-то охотно делились впечатлениями. Известно только, что это древняя вещь. Такая же древняя, как пустыня, как здешние мертвые моря... Все предания говорят: в ней что-то есть. А человек — существо любопытное и алчное.

— Не обобщай. Ко мне это не относится, — отозвался Крейг. Его губы едва шевелились; глаза оставались полуприкрыты. Он лениво потянулся. — Я здесь просто за компанию. Все-таки лучше смотреть, как ты суетишься, чем сидеть без дела в этом пекле.

Старый вездеход Бек раскопал с месяц назад — еще до того, как Крейг вызвался сопровождать его, — среди мусора, оставшегося со времен Первого промышленного вторжения на Марс. Продолжалось оно недолго, поскольку человечество двинулось дальше, к звездам. Бек привел вездеход в порядок и с тех пор мотался на нем от одного древнего города к другому, через земли бездельников и фермеров, мечтателей и лентяев, людей, отвергнутых космосом, и тех, кто, подобно ему и Крейгу, не

любил напрягаться и в конце концов обнаружил, что Марс — самое подходящее для них место.

— Пять, а может, и десять тысяч лет назад марсиане создали Синюю Бутылку,— сказал Бек.— Взяли и выдули из марсианского стекла. А потом ее теряли и находили, и опять теряли и снова находили...

Он говорил, не отрывая взгляда от колышущегося жаркого марева над мертвым городом. «Всю мою жизнь,— думал Бек,— я занимался ничем, заполнял себя пустотой. Другие, лучше меня, делали большие дела: летали к Меркурию, или к Венере, или еще дальше — за пределы Солнечной системы. Другие — не я. Все, кроме меня. Но Синяя Бутылка может разом все изменить».

Он повернулся и зашагал прочь от остывающего вездехода.

Крейг легко перемахнул через борт и небрежным шагом последовал за ним.

— И чего ты достиг за десять лет охоты? Ты мечешься во сне, просыпаешься в испарине, носишься по планете, высунув язык. Так стремишься заполучить эту проклятую бутылку, даже не зная, что в ней? Ты дурак, Бек.

— Эй, полегче на поворотах,— проворчал Бек, сшибая камешек с дороги.

Бок о бок они вошли в разрушенный город и теперь шагали по мозаичным плитам, складывавшимся в каменный гобелен. Под ногами людей разворачивалась история сгинувших марсиан, мелькали образы диковинных животных, ветер то раздергивал пыльную кисею, то вновь накидывал ее на сцены и лики былого.

— Погоди,— сказал Бек. Он сложил ладони рупором и во всю мочь крикнул: — Эй, там!

— Там-м-м,— отозвалось эхо, и снова посыпались башни. Фонтаны и каменные колонны неторопливо складывались, словно уходили в себя. С этими городами всегда так. Иногда башни, прекрасные, как симфония, могут рухнуть от единого слова. Как будто кантата Баха рассыпается на звуки прямо перед тобой.

Мгновение спустя пыль осела. Только две конструкции остались стоять.

Бек кивнул приятелю, и они двинулись на поиски.

Крейг озирался по сторонам, и на губах его играла легкая улыбка.

— Слушай, вдруг в этой бутылке сидит маленькая женщина,— сказал он,— знаешь, такая, вроде японского цветка, который раскрывается, когда его опускаешь в воду?

— Мне не нужна женщина.

— Может, и нужна. Наверное, у тебя никогда не было настоящей женщины, которая любила бы тебя по-настоящему, вот ты и надеешься отыскать ее в бутылке.— Крейг пожевал губами.— А может, там что-нибудь из твоего детства? Озеро, дерево, на которое ты любил забираться, краб какой-нибудь... и все это свернуто в такой крошечный узелок... Как, звучит?

Бек смотрел вдаль.

— Иногда и мне так кажется. Что-то из прошлого... Земля. Я не знаю.

Крейг кивнул:

— Вполне возможно, что в бутылке каждый находит что-то свое. А вдруг там найдется глоток хорошего виски?

— Лучше смотри-ка повнимательнее вокруг,— посоветовал Бек.

Перед ними было семь комнат, заполненных блеском и сиянием; от пола до потолка стояли амфоры, кувшины, бутылки, урны, вазы красного, розового, желтого, фиолетового, черного стекла. Бек методично разбил все, чтобы раз и навсегда расчистить себе путь и никогда больше не разгребать эти завалы.

Покончив с одной комнатой, он собрался перейти в следующую, но остановился, не дойдя до порога. Он просто боялся идти. Боялся, что на этот раз найдет; что поиск его завершится, а жизнь снова утратит смысл. Десять лет назад, на пути от Венеры к Юпитеру, он впервые услышал о Синей Бутылке от восторженного коммивояжера и почувствовал, что обретает цель. Лихорадка поиска захватила его и с тех пор не отпускала. Если обращаться с ее внутренним жаром осторожно, то желания отыскать Синюю Бутылку может хватить надолго, до самого краешка жизни. Ну хотя бы еще лет на тридцать — конечно, если не очень усердствовать в поисках и не признаваться самому себе, что дело вовсе не в бутылке, не в том, чтобы найти ее, а в азарте поиска, охотничьей страсти, когда не знаешь к тому же, что за трофеем поджидает тебя.

Какой-то посторонний звук заставил Бека подойти к окну и выглянуть во двор. По улице к дому почти бесшумно подкатил маленький песчаный мотоцикл. Белокурый толстяк легко соскочил с мягкого сиденья и теперь озирался по сторонам.

Еще один искатель. Бек вздохнул. Их тут тысячи рыщут повсюду. Но беззащитных городков и деревушек на Марсе тоже не одна тысяча. Сотни лет не хватит, чтобы просяте их все.

— Как дела? — В дверном проеме появился Крейг.

— Да вот, не повезло...— начал было Бек, но замолчал и принюхался.— Откуда этот запах?

- Какой? — Крейг огляделся.
- Пахнет словно... хорошим бурбоном.
- Так это от меня! — засмеялся Крейг.
- От тебя?

— Я только что принял. Нашел в соседней комнате. Разгребал всякий хлам, перерыл кучу бутылок, ну, знаешь, как везде, а в одной из них обнаружился бурбон.

Бек смотрел на приятеля и чувствовал, как его начинает колотить нервная дрожь.

— Откуда, черт возьми, взялся бурбону здесь, в марсианской бутылке? — Ладони у него стали влажными и похолодели. Он медленно двинулся вперед. — Где она?

- Да я уверен...
- Проклятье! Покажи мне ее!

Он стоял в углу комнаты — небольшой сосуд из марсианского стекла, синего как небо; легкий, почти невесомый. Бек осторожно поднял его и перенес на стол.

- Там еще половина осталась, — сказал Крейг.
- Я ничего не вижу внутри, — возразил Бек.
- Ты потряси.

Бек поднял фиал, осторожно встряхнул.

- Слышишь, плещется?
- Нет.

— А я так отчетливо слышу.

Бек снова поставил бутылку на стол. Через окна падал солнечный свет, и под его лучами на стенках изящного сосуда вспыхивали синие огоньки. Так мог бы сиять драгоценный камень на ладони. Так голубеет океанский залив под полуденным солнцем. Так сверкает капля росы поутру.

— Это она, — произнес Бек тихо. — Я знаю, что это она. Нам нечего больше искать. Мы нашли Синюю Бутылку.

Крейг явно не верил.

— Так ты ничего в ней не видишь?

— Ничего... Если только... — Бек нагнулся и заглянул в синюю стеклянную вселенную. — Если только я не открою ее и не выпущу на свободу, что бы там в ней ни было; тогда, может быть, увижу.

— Я закупорил ее как следует, — немного виноватым тоном сказал Крейг.

— Надеюсь, джентльмены простят меня, — раздался голос сзади.

Белокурый толстяк с винтовкой вошел в комнату. Он не смотрел на лица двоих людей, он смотрел только на голубую стеклянную посудину. И улыбался.

— Терпеть не могу таскать с собой винтовку, — пожаловался он, — но вот приходится. Полагаю, вы не будете возражать, если я возьму эту штуку?

Бек был почти доволен. В происходящем явно чувствовалась определенная красота согласованности; он любил подобные повороты сюжета — сокровище уводит прямо из-под носа прежде, чем им успели хотя бы полюбоваться. Открывались неплохие перспективы погони, борьбы, череды удач и потерь, и все это обещало по крайней мере еще четыре-пять лет новых поисков.

— Ну давайте же, — поторопил незнакомец. — Тащите ее сюда.

Он угрожающе шевельнул стволом винтовки. Бек протянул ему бутылку.

— Ну и ну, — покачал головой толстяк. — Даже не верится, что все так просто. Вошел, послушал чужой разговор — и вот уже Синюю Бутылку вручают тебе прямо в руки! Поразительно!

Он вышел из комнаты на залитую солнцем улицу и зашагал к мотоциклу, все еще качая головой и посмеиваясь.

Полночные города в свете двух холодных марсианских лун казались вырезанными из кости. Подскакивая и дребезжа, вездеход полз по разбитому шоссе мимо поселений с фонтанами, припорошенными вездесущей пылью и пыльцой с крыльев бесчисленных насекомых, мимо ажурных зданий, набитых странной утварью, уставленных звенящими металлом книгами, завешанных причудливыми картинами. Древние города давно утратили свое первоначальное назначение; теперь они стали скопищем бесполезных вещей; время обратило их мостовые в прах, и хмельные ветры, играя, перебрасывали его из долины в долину, словно пересыпали песок в гигантских песочных часах, бесконечно создавая одну пирамиду и разрушая другую. Безмолвие неохотно распахивалось на миг, пропускало вездеход и тут же смыкалось снова.

— Мы никогда не найдем его, — вздохнул Крейг. — Проклятые дороги! Столько времени прошло — немудрено, что от них остались одни ухабы да рытвины. На мотоцикле здесь куда сподручнее: по крайней мере, ямы можно объезжать. Черт!

Они круто свернули, срезая изгиб шоссе. Вездеход, словно гигантский ластик, стирал с дороги вековые напластования пыли и открывал изумруды и золото древних марсианских мозаик.

— Стоп! — сам себе скомандовал Бек и сбросил скорость. — Там что-то есть.

— Где?

Они вернулись назад на сотню ярдов.

— Вот. Смотри. Это же он.

В кювете под собственным мотоциклом лежал давешний толстяк. Глаза у него были широко открыты, и, когда Бек осветил фонариком, они невидяще блеснули.

— Где бутылка? — спросил Крейг.

Бек спустился в кювет и забрал винтовку.

— Не знаю. Исчезла.

— От чего он умер?

— Этого я тоже не знаю.

— Мотоцикл вроде в порядке. Не похоже на аварию.

Бек перевернул тело.

— Ран нет. Такое впечатление, словно он вдруг... выключился сам по себе.

— Наверное, сердечный приступ, — пожал плечами Крейг. — Заполучил бутылку и слишком возбудился. Съехал с дороги передохнуть. Надеялся, что обойдется, а сердце не справилось.

— Как-то не вяжется это с Синей Бутылкой.

— Там кто-то есть, — перебил Крейг. — Господи, сколько же здесь этих искателей...

Они всмотрелись в окружающую тьму. Далеко на синих холмах в звездной черноте смутно угадывалось движение.

— Трое. Пешком идут, — уверенно сказал Бек.

— Они, должно быть...

— Боже, ты посмотри!

С телом происходило нечто невероятное. Фигура толстяка словно плавилась у них на глазах. Лицо исчезало. Волосы засветились, как перекалившаяся вольфрамовая нить, и с шипением рассыпались. Пальцы рук вспыхнули и растаяли в пламени. Потом словно гигантский молот обрушился на стеклянную статую: тело взорвалось розовыми сполохами, превратилось в облачко дыма, и ночной ветер мгновенно развеял его над дорогой.

— Они, наверно, что-то с ним сделали, — хрипло произнес Крейг. — Это какое-то новое оружие.

— Так и раньше бывало с теми, кому удавалось найти Бутылку, — сказал Бек. — Они исчезали. А Бутылка переходила к другим, и те тоже исчезали. — Он покачал головой. — Надо же! Взял и словно рассыпался на миллион светлячков...

— Ты поедешь за ними?

Бек вернулся к вездеходу, постоял, вслушиваясь в тишину ночных курганов, хранящих истлевшие кости, и, обращаясь к пустыне, убежденно сказал:

— Работенка та еще, но, думаю, пробьемся. Теперь я просто должен до нее добраться. — Он помолчал и снова заговорил,

уже совсем тихо: — По-моему, я знаю, что там, в Синей Бутылке... Наконец-то я понял. В ней то, чего я больше всего хочу. Оно ждет меня.

— Я с тобой не поеду, — заявил Крейг, подходя к машине. Бек сидел за рулем, положив руки на колени. — Не стану я гоняться за теми тремя. Я хочу просто жить, Бек. Эта бутылка для меня ничего не значит. Я не собираюсь рисковать из-за нее собственной шкурой. Но позволь пожелать тебе удачи.

— Благодарю, — сказал Бек и повел машину в дюны.

Ночь, словно холодная вода, струилась за бортом машины. Вездеход трясся по руслу древней реки, с трудом прокладывая путь между нависшими берегами. Двойные ленты лунного света окрашивали барельефы богов и животных, высеченные на скалах, в золотисто-желтые тона. На фасаде высотой с милю разворачивалась марсианская история, запечатленная в нечеловеческих лицах с широко распахнутыми пустыми глазами и зияющими провалами рта, похожих на пещеры.

Надсадный рев мотора отгонял прочь ночные видения. Вызолоченные лунами фрагменты древних скульптур выплывали из тьмы и снова исчезали в сонной студеной глубине.

Бек думал о прошлом: обо всех ночах за прошедшие десять лет, когда он разжигал красные костры на дне древних морей и готовил простую походную пищу. И мечтал. В мечтах он всегда стремился и никогда не знал — к чему. Так было с самой ранней юности — со времен тяжелой жизни на Земле, с поры великих потрясений 2130-х, озаменованных голодом, хаосом, бунтами, метаниями. Потом — скитания в космосе, разные планеты, одинокие годы без любви и ласки... Человек выходит из тьмы на свет, из материнского лона в мир, и как понять, чего он действительно хочет?

К чему мог стремиться тот мертвец в кювете? Может, он всегда хотел чего-то сверх? Чего-то такого, чего у него никогда не было?.. А что вообще есть у людей? Вот у него? Да почему только у него — у кого угодно? Есть ли вообще что-нибудь такое, чего стоило бы искать?

Синяя Бутылка.

Бек мгновенно затормозил, выскочил из машины и снял винтовку с предохранителя. Пригнувшись, побежал к дюнам. Недалеко на холодном песке лежали трое: земляне с задубевшими от ветра и загара лицами, в потрепанной одежде, с узловатыми большими руками. Звездный свет вспыхивал на боках Синей Бутылки, валявшейся в двух шагах от мертвецов.

На глазах у Бека тела начали таять. Трое людей исчезли, превратились в пар, в бисеринки росы. Еще мгновение — и не осталось ничего. Бек замер и похолодел, когда почти невесомые частички праха коснулись его щек, губ...

Толстяк. Умер и исчез. Голос Крейга: «Какое-то новое оружие...»

Нет. Не оружие.

Синяя Бутылка.

Они открыли ее, стремясь обрести то, чего жаждали больше всего на свете. Все эти несчастные и страждущие на протяжении долгих одиноких лет открывали ее и находили то, чего не могли обрести на всех планетах во вселенной. И все получили желаемое, так же как эти трое. Теперь понятно, почему Бутылка так быстро переходила из рук в руки, от одного к другому, и люди, находившие ее, исчезали бесследно. Кто они, как не плевелы, отделенные от злаков, выброшенные на берега мертвых морей, вспыхнувшие легким пламенем, разлетевшиеся искорками светлячков, истаявшие облачками тумана?

«Вот оно, то, что я искал так долго», — думал Бек. Он повертел бутылку, и синие огни заиграли в лунном свете.

Так вот чего хотят в глубине души все люди? Вот оно, тайное желание, скрытое так глубоко, что мы и не догадываемся о нем? Подсознательное побуждение? Так вот искупление, о котором догадывается и к которому стремится каждый грешник?

Смерть.

Конец сомнениям, пытке, монотонности жизни, стремлениям, одиночеству, страхам — конец всему.

И что же, это относится ко всем?

Нет, не получается. Крейг, пожалуй, удачливее. Похоже, некоторым все-таки удастся жить в мире с собой, как животным. Они же не задают вопросов; они пьют из луж, когда испытывают жажду, плодятся и растят детенышей и ни на миг не усомнятся, что жизнь — благо. Таков Крейг. И еще горстка ему подобных. Счастливые животные в огромной резервации, в руке Господней. Они остаются безмятежными, живя среди миллиардов невротиков. Наверное, они тоже захотят смерти — потом, когда придет время. Не сейчас. Потом.

Бек открыл Бутылку. «Как просто, — подумал он, — и как истинно. Оказывается, именно этого я всегда и хотел, этого и ничего больше. Ничего».

Открытая Бутылка в свете звезд казалась голубой. Бек поднес Бутылку к губам и полной грудью вдохнул наполнявший ее воздух.

«Наконец-то», — подумал он.

И расслабился. Он чувствовал, как его тело становится удивительно прохладным и теплым одновременно. Он знал, что плавно падает сквозь звезды во тьму, радостную, как вино. Он плавал в белом вине, синем вине, красном вине. Свечи горели у него на груди, величественные огненные колеса медленно вращались где-то глубоко внутри. Вот руки покинули тело. Он с восторгом чувствовал, как уплывают ноги. Он смеялся. Он закрыл глаза и смеялся.

Впервые в жизни он был так счастлив.

Синяя Бутылка упала на холодный песок.

На рассвете Крейг, насвистывая, шел по дюнам. В первых розоватых лучах на чистом белом песке блеснула бутылка синего марсианского стекла. Он поднял ее, и воздух вокруг взорвался едва слышным яростным шепотом. Оранжевые, красные, пурпурные светлячки мелькнули в воздухе и унеслись прочь.

Стало очень тихо.

— Черт меня побери! — Крейг посмотрел на мертвые здания близкого города. — Эй, Бек!

Изящная башня рассыпалась в прах.

— Бек, твое сокровище! Мне оно не нужно. Иди и возьми ее!

— ...возьми-и-и, — отозвалось эхо, и рухнула еще одна башня.

Крейг ждал.

Вот он, заветный клад. Бутылочка — тут как тут, а Бека не видать и не слышать.

Он встряхнул синий сосуд. Внутри отчетливо булькнуло.

— Да, сэр! Точь-в-точь как тогда. Ей-богу, не меньше пинты бурбона!

Крейг открыл бутылку, сделал несколько хороших глотков и отер губы, без всякого почтения сунув синюю склянку под мышку.

— Столько суеты из-за пинты виски... Пожалуй, подожду Бека и отдам ему его разлюбленную посудину. Ну а пока, чтобы ждать не скучно было — не хотите ли еще глоточек, мистер Крейг? Вот и прекрасно. На здоровье!

В мертвой тишине далеко разносился единственный звук — мелодичное бульканье, с которым жидкость обычно переливается из одного сосуда в другой. Синяя Бутылка вспыхивала на солнце.

Крейг счастливо засмеялся, с шумом перевел дух и снова припал к бутылке.

Ракету тряхнуло, и она разверзлась, точно бок ей вспорол гигантский консервный нож. Люди, выброшенные наружу, бились в пустоте десятком серебристых рыбешек. Их разметало в море тьмы, а корабль, разбитый вдребезги, продолжал свой путь, — миллион осколков, стая метеоритов, устремившаяся на поиски безвозвратно потерянного Солнца.

— Баркли, где ты, Баркли? — Голоса перекликались, как дети, что заблудились в холодную зимнюю ночь.

— Вуд! Вуд!

— Капитан!

— Холлис, Холлис, это я, Стоун!

— Стоун, это я, Холлис! Где ты?

— Не знаю. Откуда мне знать? Где верх, где низ? Я падаю. Боже милостивый, я падаю!

Они падали. Падали, словно камешки в колодец. Словно их разметало одним мощным броском. Они были уже не люди, только голоса — очень разные голоса, бестелесные, трепетные, полные ужаса или покорности.

— Мы разлетаемся в разные стороны!

Да, правда. Холлис, летя кувырком в пустоте, понял: это правда. Понял и как-то отупело смирился. Они расстанутся, у каждого своя дорога, и ничто уже не соединит их вновь. Все они в герметических скафандрах, бледные лица закрыты прозрачными шлемами, но никто не успел нацепить энергоприбор. С энергоприбором за плечами каждый стал бы в пространстве маленькой спасательной шлюпкой, тогда можно бы спастись самому и прийти на помощь другим, собраться всем вместе, отыскать друг друга; они стали бы человеческим островком и что-нибудь придумали бы. А так они просто метеориты, и каждый бессмысленно несется навстречу своей неотвратимой судьбе.

Прошло, должно быть, минут десять, пока утих первый приступ ужаса и всех сковало оцепенелое спокойствие. Пустота — огромный мрачный ткацкий станок — принялась ткать странные нити, голоса сходились, расходились, перекрещивались, определялся четкий узор.

— Холлис, я — Стоун. Сколько времени мы сможем переговариваться по радио?

— Смотря с какой скоростью ты летишь в свою сторону, а я — в свою. Думаю, еще с час.

— Да, пожалуй, — бесстрастно, отрешенно отозвался Стоун.
— А что произошло? — спросил минуту спустя Холлис.
— Наша ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает.

— Ты в какую сторону летишь?

— Похоже, врежусь в Луну.

— А я в Землю. Возвращаюсь к матушке-Земле со скоростью десять тысяч миль в час. Сгорю как спичка.

Холлис подумал об этом с поразительной отрешенностью. Будто отделился от собственного тела и смотрел, как оно падает, падает в пустоте, смотрел равнодушно, со стороны, как когда-то, в незапамятные времена, зимой — на первые падающие снежинки.

...Остальные молчали и думали о том, что с ними случилось, и падали, падали — и ничего не могли изменить. Даже капитан притих, ибо не знал такой команды, такого плана действий, что могли бы исправить случившееся.

— Ох, как далеко падать! Как далеко падать, далеко, далеко... — раздался чей-то голос. — Я не хочу умирать, не хочу умирать, как далеко падать...

— Кто это?

— Не знаю.

— Наверно, Стимсон. Стимсон, ты?

— Далеко, далеко, не хочу я так. Ох, Господи, не хочу я так!

— Стимсон, это я, Холлис. Стимсон, ты меня слышишь? Молчание, они падают поодиночке, кто куда.

— Стимсон!

— Да?

Наконец-то отозвался.

— Не расстраивайся, Стимсон. Все мы одинаково влипли.

— Не нравится мне тут. Я хочу отсюда выбраться.

— Может, нас еще найдут.

— Пускай меня найдут, пускай найдут, — сказал Стимсон. — Неправда, не верю, не могло такое случиться.

— Ну да, это просто дурной сон, — вставил кто-то.

— Заткнись! — сказал Холлис.

— Поди сюда и заткни мне глотку! — предложил тот же голос. Это был Эплгейт. Он засмеялся — даже весело, как ни в чем не бывало: — Поди-ка заткни мне глотку!

И Холлис впервые ощутил, как невообразимо он бессилен. Слепая ярость переполняла его, больше всего на свете хотелось добраться до Эплгейта. Многие годы мечтал он до него добраться

ся, и вот слишком поздно. Теперь Эплгейт — лишь голос в шлемофоне.

Падаешь, падаешь, падаешь...

И вдруг, словно только теперь им открылся весь ужас случившегося, двое из уносящихся в пространство разразились отчаянным воплем. Как в кошмаре Холлис увидел: один проплывает совсем рядом и вопит, вопит...

— Перестань!

Казалось, до кричащего можно дотянуться рукой, он исходил безумным, нечеловеческим криком. Никогда он не перестанет. Этот вопль будет доноситься за миллионы миль, сколько достигают радиоволны, и всем вымотает душу, и они не смогут переговариваться между собой.

Холлис протянул руки. Так будет лучше. Еще одно усилие — и он коснулся кричащего. Ухватил за щиколотку, подтянулся, вот они уже лицом к лицу. Тот вопит, цепляется за него бессмысленно и дико, точно утопающий. Безумный вопль заполняет вселенную.

«Так ли, эдак ли, — думает Холлис, — все равно его убьет Луна, либо Земля, либо метеориты. Так почему бы не сейчас?»

Он обрушил железный кулак на прозрачный шлем безумного. Вопль оборвался. Холлис отталкивается от трупа — и тот, кружась, улетает прочь и падает.

И Холлис падает, падает в пустоту, и остальные тоже уносятся в долгом вихре нескончаемого, безмолвного падения.

— Холлис, ты еще жив?

Холлис не откликается, но лицо его обдаёт жаром.

— Это опять я, Эплгейт.

— Слышу.

— Давай поговорим. Все равно делать нечего.

Его перебивает капитан:

— Довольно болтать. Надо подумать, как быть дальше.

— А может, вы заткнетесь, капитан? — спрашивает Эплгейт.

— Что-о?

— Вы отлично меня слышали, капитан. Не страшайте меня своим чином и званием, вы теперь от меня за десять тысяч миль, и нечего комедию ломать. Как выражается Стимсон, нам далеко падать.

— Послушайте, Эплгейт!

— Отвяжись ты. Я поднимаю бунт. Мне терять нечего, черт возьми! Корабль у тебя был никудышный, и капитан ты был никудышный, и желаю тебе врезаться в Луну и сломать себе шею.

— Приказываю вам замолчать!

— Валяй, приказывай.— За десять тысяч миль Эплгейт усмехнулся. Капитан молчал.— О чем, бишь, мы толковали, Холлис? — продолжал Эплгейт.— А да, вспомнил. Тебя я тоже ненавижу. Да ты и сам это знаешь. Давным-давно знаешь. Холлис беспомощно сжал кулаки.

— Сейчас я тебе кое-что расскажу. Можешь радоваться. Это я тебя провалил, когда ты пять лет назад добивался места в Ракетной компании.

Рядом сверкнул метеорит. Холлис опустил глаза — кисть левой руки срезало как ножом. Хлещет кровь. Из скафандра мигом улетучился воздух. Но, задержав дыхание, он правой рукой затянул застежку у локтя левой, перехватил рукав и восстановил герметичность. Все случилось мгновенно, он и удивиться не успел. Его уже ничто не могло удивить. Течь остановлена, скафандр тотчас опять наполнился воздухом. Холлис перетянул рукав еще туже, как жгутом, и кровь, только что хлеставшая, точно из шланга, остановилась.

За эти страшные секунды с губ его не сорвалось ни звука. А остальные все время переговаривались. Один — Леспир — болтал без умолку: у него, мол, на Марсе жена, а на Венере другая, и еще на Юпитере жена, и денег куры не клюют, и здорово он на своем веку повеселился — пил, играл, жил в свое удовольствие. Они падали, а он все трещал и трещал языком. Падал навстречу смерти и предавался воспоминаниям о прошлых счастливых днях.

Так странно все. Пустота, тысячи миль пустоты, а в самой ее сердцевине трепещут голоса. Никого не видно, ни души, только радиоволны дрожат, колеблются, пытаются взволновать и людей.

— Злишься, Холлис?

— Нет.

И правда, он не злился. Им опять овладело равнодушие, он был точно бесчувственный камень, нескончаемо падающий в ничто.

— Ты всю жизнь старался выдвинуться, Холлис. И не понимал, почему тебе вечно не везет. А это я внес тебя в черный список, перед тем как меня самого вышвырнули за дверь.

— Это все равно, — сказал Холлис.

Ему и правда стало все равно. Все это позади. Когда жизнь кончена, она словно яркий фильм, промелькнувший на экране, — все предрассудки, все страсти вспыхнули на миг перед глазами, и не успеешь крикнуть: «Вот был счастливый день, а

вот несчастный, вот милое лицо, а вот ненавистное», — как пленка уже сгорела дотла и экран погас.

Жизнь осталась позади, и, оглядываясь назад, он жалел только об одном: еще хотелось жить и жить. Неужто перед смертью со всеми так: умираешь, а кажется, будто и не жил? Неужто жизнь так коротка — вздохнуть не успел, а уже все кончено? Неужто всем она кажется такой невысказанно краткой? Или только ему здесь, в пустоте, когда считанные часы остались на то, чтобы все продумать и осмыслить? А Леспир знай болтает свое:

— Что ж; я пожил на славу: на Марсе жена, и на Венере жена, и на Юпитере. И у всех у них были деньги, и все уж так меня ублажали. Пил я, сколько хотел, а один раз проиграл в карты двадцать тысяч долларов.

«А сейчас ты влип, — думает Холлис. — Вот у меня ничего этого не было. Пока я был жив, я тебе завидовал, Леспир. Пока у меня было что-то впереди, я завидовал твоим любовным похождениям и твоему веселому житью. Женщины меня пугали, и я сбежал в космос, но все время думал о женщинах и завидовал, что у тебя их много, и денег много, и живешь ты бесшабашно и весело. А сейчас все кончено, и мы падаем, и я больше не завидую, ведь и для тебя сейчас все кончено, будто ничего и не было».

Холлис вытянул шею и закричал в микрофон:

— Все кончено, Леспир!

Молчание.

— Будто ничего и не было, Леспир!

— Кто это? — дрогнувшим голосом спросил Леспир.

— Это я, Холлис.

Он поступал подло. Он чувствовал, что это подло, бессмысленно и подло — умирать. Эплгейт сделал ему больно, теперь хочется сделать больно другому. Эплгейт и пустота — оба жестоко ранили его.

— Ты влип, как все мы, Леспир. Все кончено. Как будто никакой жизни и не было, верно?

— Неправда.

— Когда все кончено — это все равно как если б ничего и не было. Чем сейчас твоя жизнь лучше моей? Сейчас, сию минуту, — вот что важно. А сейчас тебе разве лучше, чем мне? Лучше, а?

— Да, лучше.

— Чем это?

— А вот тем! Мне есть что вспомнить! — сердито крикнул издали Леспир, обеими руками цепляясь за милые сердцу воспоминания.

И он был прав. Холлиса точно ледяной водой окатило, и он понял: Леспир прав. Воспоминания и мечты — совсем не одно и то же. Он всегда только мечтал, только хотел всего, чего Леспир добился и о чем теперь вспоминает. Да, так. Мысль эта терзала неторопливо, безжалостно, резала по самому больному месту.

— Ну а сейчас, сейчас что тебе от этого за радость? — крикнул он Леспире.— Если что прошло и кончено, какая от этого радость? Тебе сейчас не лучше, чем мне.

— Я помираю спокойно,— отозвался Леспир.— Был и на моей улице праздник. Я не стал перед смертью подлецом, как ты.

— Подлецом? — повторил Холлис, будто пробуя это слово на вкус.

Сколько он себя помнил, никогда в жизни ему не случилось сделать подлость. Он просто не смел. Должно быть, все, что было в нем подлого и низкого, копилося впрок для такого вот часа. «Подлец» — он загнал это слово в самый дальний угол сознания. Слезы навернулись на глаза, покатались по щекам. Наверно, кто-то услышал, как у него захватило дух.

— Не расстраивайся, Холлис.

Конечно, это просто смешно. Всего лишь несколько минут назад он давал советы другим, Стимсону; он казался себе самым настоящим храбрецом, а выходит, никакое это не мужество, просто он оцепенел — так бывает от сильного потрясения, от шока. А вот теперь он пытается в короткие оставшиеся минуты втиснуть волнение, которое подавлял в себе всю жизнь.

— Я понимаю, каково тебе, Холлис,— слабо донесся голос Леспира. Теперь их разделяло уже двадцать тысяч миль.— Я на тебя не в обиде.

«Но разве мы с Леспиром не равны? — спрашивал себя Холлис.— Здесь, сейчас,— разве у нас не одна судьба? Что прошло, то кончено раз и навсегда — и какая от него радость? Так и так помирать».

Но он и сам понимал, что рассуждения эти пустопорожние, будто стараешься определить, в чем разница между живым человеком и покойником. В одном есть какая-то искра, что-то таинственное, неуловимое, а в другом — нет.

Вот и Леспир не такой, как он: Леспир жил полной жизнью — и сейчас он совсем другой, а сам он, Холлис, уже долгие годы все равно что мертвый. Они шли к смерти разными дорогами, и если смерть не для всех одинакова, то, надо думать, его смерть и смерть Леспира будут совсем разные, точно день и ночь. Видно, умирать, как и жить, можно на тысячу ладов, и, если ты однажды уже умер, что хорошего можно ждать от последней и окончательной смерти?

А через секунду ему срезало правую ступню. Он чуть не расхохотался. Из скафандра опять вышел весь воздух. Холлис быстро наклонился — хлестала кровь, метеорит оторвал ногу и костюм по щиколотку. Да, забавная это штука — смерть в межпланетном пространстве. Она рубит тебя в куски, точно невидимый злобный мясник. Холлис туго завернул клапан у колена, от боли кружилась голова, он силился не потерять сознание; наконец-то клапан завернут до отказа, кровь остановилась, воздух опять наполнил скафандр; и он выпрямился и снова падает, падает, ему только это и остается — падать.

— Эй, Холлис!

Холлис сонно кивнул: он уже устал ждать.

— Это опять я, Эплгейт, — сказал тот же голос.

— Ну?

— Я тут поразмыслил. Послушал, что ты говоришь. Нехорошо все это. Мы становимся скверные. Скверно так помирать. Срываешь зло на других. Ты меня слушаешь, Холлис?

— Да.

— Я соврал тебе раньше. Соврал. Ничего я тебя не проваливал. Сам не знаю, почему я это ляпнул. Наверно, чтоб тебе досадить. Что-то в тебе есть такое, всегда хотелось тебе досадить. Мы ведь всегда не ладили. Наверно, это я так быстро старею, вот и спешу покаяться. Слушал я, как подлю ты говорил с Леспиром, и стыдно мне, что ли, стало. В общем, неважно, только ты знай, я тоже валял дурака. Все, что я раньше наболтал, — сплошное вранье. И катись к чертям!

Холлис почувствовал, что сердце его снова забилося. Кажется, долгих пять минут оно не билось вовсе, а сейчас опять кровь побежала по жилам. Первое потрясение миновало, а теперь откатывались и волны гнева, ужаса, одиночества. Будто вышел поутру из-под холодного душа, готовый позавтракать и начать новый день.

— Спасибо, Эплгейт.

— Не стоит благодарности. Не вешай нос, сукин ты сын!

— Эй! — голос Стоуна.

— Это ты? — на всю вселенную заорал Холлис. Стоун — один из всех — настоящий друг!

— Меня занесло в метеоритный рой, тут куча мелких астероидов.

— Что за метеориты?

— Думаю, группы Мирмидонян, они проходят мимо Марса к Земле раз в пять лет. Я угодил в самую серединку. Похоже на большущий калейдоскоп. Металлические осколки всех цветов, самой разной формы и величины. Ох и красота же!

Молчание.

Потом опять голос Стоуна:

— Лечу с ними. Они меня уташили. Ах, черт меня подери!

Он засмеялся.

Холлис напрягал зрение, но так ничего и не увидел. Только огромные алмазы, и сапфиры, и изумрудные туманы, и чернильный бархат пустоты, и среди хрустальных искр слышится голос Бога. Как странно, поразительно представить себе: вот Стоун летит с метеоритным роем прочь, за орбиту Марса, летит годами и каждые пять лет возвращается к Земле, мелькнет на земном небосклоне и вновь исчезнет, и так сотни и миллионы лет. Без конца во веки веков Стоун и рой Мирмидонян будут лететь, образуя все новые и новые узоры, точно пестрые стеклышки в калейдоскопе, которыми любовался мальчонкой, глядя на солнце, опять и опять встряхивая картонную трубку.

— До скорого, Холлис! — чуть слышно донесся голос Стоуна. — До скорого!

— Счастливо! — за тридцать тысяч миль крикнул Холлис.

— Не смеши, — сказал Стоун и исчез.

Звезды сомкнулись вокруг.

Теперь все голоса угасали, каждый уносился все дальше по своей кривой — одни к Марсу, другие за пределы Солнечной системы. А он, Холлис... Он поглядел себе под ноги. Из всех только он один возвращается на Землю.

— До скорого!

— Не расстраивайся!

— До скорого, Холлис... — голос Эплгейта.

Еще и еще прощания. Короткие, без лишних слов. И вот огромный мозг, не замкнутый больше в единстве, распадается на части.

Все они так слаженно, с таким блеском работали, пока их объединяла черепная коробка пронизывающей пространство ракеты, а теперь один за другим они умирают; разрушается смысл их общего бытия. И как живое существо погибает, едва выйдет из строя мозг, так теперь погибал самый дух корабля, и долгие дни, прожитые бок о бок, и все, что люди значили друг для друга. Эплгейт теперь всего лишь оторванный от тела палец, уже незачем его презирать, противиться ему. Мозг взорвался — и бессмысленные, бесполезные обломки разлетелись во все стороны. Голоса замерли, и вот пустота нема. Холлис один, он падает.

Каждый остался один. Голоса их сгнули, как будто Бог обронил несколько слов, — и недолгое эхо дрогнуло и затерялось в звездной бездне. Вот капитан уносится к Луне; вот Сто-

ун среди роя метеоритов; а там Стимсон; а там Эплгейт улетает к Плутону; и Смит, Тёрнер, Андервуд и все остальные. — стеклышки калейдоскопа, они так долго складывались в переменчивый мыслящий узор, а теперь их раскидало всех врозь, поодиночке.

«А я? — думает Холлис. — Что мне делать? Как, чем теперь искупить ужасную, пустую жизнь? Хоть одним добрым делом искупить бы свою подлость, она столько лет во мне копилась, а я и не подозревал! Но теперь никого нет рядом, я один, — что можно сделать хорошего, когда ты совсем один? Ничего не сделаешь. А завтра вечером я врежусь в земную атмосферу.

И сгорю, — подумал он, — и развеюсь прахом над всеми материками. Вот и польза от меня. Самая малость, а все-таки прах есть, и он соединится с Землей».

Он падал стремительно, точно пуля, точно камешек, точно гирька, спокойный теперь, совсем спокойный, не ощущая ни печали, ни радости — ничего; только одного ему хотелось: сделать бы что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено, сделать хоть что-то хорошее и знать: я это сделал. Когда я врежусь в воздух, я вспыхну как метеор.

— Хотел бы я знать, — сказал он вслух, — увидит меня кто-нибудь?

Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал:

— Мама, смотри, смотри! Падающая звезда!

Ослепительно яркая звезда прочертила небо и канула в суверки над Иллинойсом.

— Загадай желание, — сказала мать. — Загадай скорее желание!

Город

Город ждал двадцать тысяч лет.

Планета двигалась по своему космическому пути, полевые цветы распускались и облетали, а город ждал. Реки выходили из берегов, мелели и пересыхали, а город ждал. Ветры, некогда молодые и буйные, захирели, остепенились; облака в небесах, исстрадавшиеся, разодранные в клочья, истерзанные, обрели покой и плыли в праздной белизне. А город ждал.

Город ждал, всеми своими окнами и черными обсидиановыми стенами, и небоскребами, и башнями без флагов, и нехоженными, незамусоренными улицами, и незахвачанными дверными ручками. Город ждал, а тем временем планета описывала в космосе дугу, следуя своей орбите, вокруг сине-белого солнца. И времена года шли своей чередой, и сменяли друг друга мороз и палящий зной, а потом опять наступали холода, и опять зеленели поля и желтели летние лужайки.

Это произошло в летний полдень, в середине двадцатитысячного года — город дождался.

В небе появилась ракета.

Ракета пролетела высоко-высоко, развернулась, подлетела ближе и приземлилась на глинистом пустыре в пятидесяти ярдах от обсидиановой стены.

Послышался топот ботинок, ступающих по худосочной траве, и из ракеты окликнули тех, кто уже выбрался наружу:

— Готовы?

— Все в порядке, ребята. Будьте начеку! Идем в город. Енсен, вы и Хачисон пойдете впереди, в охранении. Смотрите в оба.

Город отворил потайные ноздри в своих черных стенах и прочную вентиляционную шахту, запрятанную глубоко в его теле. Мощные потоки воздуха хлынули вниз по трубам сквозь густые фильтры, задерживающие пыль, к тончайшим, нежнейшим спиралькам и паутинкам, излучающим серебристое свечение. Снова и снова нагнетался и всасывался воздух, снова и снова вместе с теплым ветром город вдыхал запахи с пустыря.

«Пахнет огнем, упавшим метеоритом, раскаленным металлом. Из другого мира прибыл космический корабль. Пахнет медью, жженой пылью, серой и ракетной гарью».

Информация, отпечатанная на перфоленте, пошла, передаваемая желтыми зубчатыми колесиками, от одной машины к другой.

Щелк-щелк-щелк-щелк.

Затикал, подобно метроному, вычислитель. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять человек! Застрекотало печатающее устройство и мгновенно отстучало это известие на ленте, которая скользнула вниз и исчезла.

Щелк-щелк-щелк-щелк.

Город ждал, когда же послышатся мягкие шаги каучуковых подошв.

Великанские ноздри города снова раздулись.

Запах масла. Шагавшие люди распространяли по городу слабые запахи. Те попадали в гигантский Нос и там будили

воспоминания о молоке, сыре, мороженом, о сливочном масле, об испарениях молочной индустрии.

Щелк-щелк.

- Ребята, будьте наготове!
- Джонс, не делай глупостей, достань пистолет!
- Город мертвый, чего бояться?
- Как знать.

От лающей речи ожили Уши. Столько веков они прислушивались к жалобным вздохам ветра, слышали, как опадает с деревьев листва, как из-под снега по весне потихоньку пробивается трава. И вот Уши, освежив смазку, принялись натягивать барабанные перепонки, туго-натуго, чтобы расслышать тончайшие оттенки биения сердец пришельцев, неуловимые, как трепыхание мотылька. Уши напрягли слух. Нос накачивал полные камеры запахов.

От страха люди вспотели. Под мышками у них появились темные пятна, взмокли ладони, сжимавшие оружие.

Город потягивал своим Носом этот запах, словно знаток, дегустирующий старинное вино.

Щелк-щелк-щелк-щелк. С катушек разом скользнули ленты с данными. Пот: хлориды — столько-то процентов; сульфаты — столько-то; азот мочевины, азот аммиачный... Выводы: креатинин, сахар, молочная кислота, так-так-так!

Звякнули и выскочили окончательные результаты.

Нос засопел, выдавливая из себя отработанный воздух. Уши продолжали вслушиваться.

- Капитан, по-моему, нужно возвращаться к ракете.
- Приказы отдаю я, мистер Смит!
- Да, сэр.
- Эй, там, впереди! Видите что-нибудь?
- Ничего, сэр. Похоже, этот город опустел очень давно!
- Что теперь скажете, Смит? Опасаться нечего.
- Не нравится мне тут. Не знаю почему. Вам знакомо чувство, когда вы приходите куда-нибудь и вам начинает мерещиться, что вы тут уже бывали? Уж слишком знакомым кажется этот город.

— Бросьте! Эта планетная система находится в миллиардах миль от Земли. Мы никак не могли побывать здесь раньше. Наша ракета — единственная, которая может летать со световой скоростью.

— И все же я никак не могу отделаться от этой мысли. Надо уносить отсюда ноги.

Звук шагов оборвался. В неподвижном воздухе слышно было только дыхание Смита.

Ухо уловило его и приступило к действиям. Закрутились роторы и валы, сквозь клапаны и трубки заструились, мерцающая жидкость по каналцам. Сперва формула, затем — готовый продукт стали появляться один за другим. Через несколько минут по сигналу Носа и Ушей из широких пор в стенах на прищельцев стал изливаться пахучий пар.

— Запах. Чувствуете запах? А-ах! Зеленая травка. Вы когда-нибудь вдыхали запах приятнее? Клянусь, я готов стоять тут хоть до скончания века и дышать этим воздухом!

Над стоящими людьми витал невидимый хлорофилл.

— А-ах!

Вновь слышались шаги.

— Ну, Смит, в этом-то что плохого? Вперед, вперед!

На миллиардную долю секунды Ухо и Нос позволили себе расслабиться.

Контригра удалась. Пешки продвигались дальше.

Теперь из дымки показались затуманенные Глаза города.

— Капитан! Окна!

— Что такое?

— Окна домов, вон там! Они двигались, я видел!

— А я нет.

— Они шевелились и поменяли цвет, с темного на светлый.

— С виду обычные квадратные окна.

Размытые предметы стали видны резче. В машинных расщелинах города крутились смазанные оси, противовесы окунались в поддоны с зеленым маслом. Оконные рамы выгнулись. Окна засияли.

Внизу, по улице, шагали двое из разведчиков. Следом, на безопасном расстоянии, — еще семеро. На них белая форма, лица порозовели так, словно их отхлестали по щекам, глаза голубые. Ходят прямо, на задних конечностях, в руках держат оружие из металла. Ноги обуты. Пола мужского. У них есть глаза, уши, рты, носы.

По окнам пробежала дрожь. Они истончились. Незаметно расширились, словно бесчисленные зрачки.

— Говорю же вам, капитан, что-то неладное с окнами!

— Ерунда!

— Я возвращаюсь, сэр.

— Что?

— Я возвращаюсь к ракете.

— Мистер Смит!

— Я не хочу угодить в западню!

— Что, пустого города испугались?

Остальные натянуто улыбнулись.

— Смейтесь, смейтесь!

Улица была вымощена булыжником. Каждый камень размером три дюйма в ширину и шесть в длину. Улица осела, но совсем незаметно для глаза. Улица взвешивала пришельцев.

В машинном бункере красная стрелка коснулась отметки: 178 фунтов... 210, 154, 201, 198... Каждый был взвешен, вес каждого записан, и запись уползла с катушки в густую темноту.

Теперь уже город окончательно пробудился!

Вентиляционные шахты вдыхали и выдыхали воздух, смешанный с табачным духом изо рта пришельцев, с запахом зеленого мыла от рук. Глазные яблоки и те источали едва уловимый запах. Город подмечал все это. Сводная информация отсылалась дальше, чтобы там к ней прибавились новые данные. Хрустальные окна поблескивали. Уши все туже натягивали барабанные перепонки... Город всеми органами чувств, как невидимый снегопад, навалился на пришельцев, подсчитывая их вдохи и выдохи, глухие удары сердец, город вслушивался, всматривался, пробовал на вкус.

Улицы служили городу языком. И там, где проходили люди, вкус их ступней улавливался сквозь поры в камнях, а затем проверялся на лакмусовом индикаторе. Дотошно собранные сведения о химическом составе влились в нарастающий поток информации. Оставалось дожидаться, когда крутящиеся колеса и шумящие спицы выдадут окончательный результат.

Шаги. Кто-то бежит.

— Вернитесь, Смит!

— Подите к черту!

— Хватай его, ребята!

Шум погони.

И — последнее. Город послушал, посмотрел, попробовал на язык, прощупал, взвесил и подвел итог. Осталось решить последнюю задачу.

На поверхности улицы распахнулась ловушка. Бегущий капитан незаметно для других исчез.

Он был подвешен за ноги. Горло ему перерезало лезвие. Второе лезвие полоснуло по груди, скелет был вмиг очищен от всех внутренностей. В потайной камере под улицей капитан умер, распластанный на столе. Хрустальные микроскопы установились на красные переплетения мышц, бесплотные пальцы тыкали в сердце, которое все еще сокращалось. Лоскутья раскроенной кожи были приколоты к столу, а тем временем чьи-то руки перекладывали части тела так и сяк — казалось, некий

любопытный шахматист стремительно передвигает по доске красные фигуры.

Наверху, на улице, бежали люди. Они гнались за Смитом и что-то кричали ему вдогонку. Смит что-то кричал в ответ, а внизу, в таинственной комнате, разливалась по капсулам кровь, встряхивалась, вертелась на центрифуге, намазывалась на предметные стеклышки и вновь отправлялась под микроскопы. Производились подсчеты, измерялись температуры. Сердце было разрезано на семнадцать долек, печень и почки — строго пополам. В черепе было просверлено отверстие, и через него высосаны мозги, нервы были выдернуты, как провода из испорченного распределительного щита, мускулы проверялись на упругость. А в это время в электрическом чреве города Мозг подвел наконец итог. И грандиозной работе всех машин мгновенно был дан отбой.

Итак.

Это — люди. Они прибыли из далекого мира, с определенной планеты, у них определенным образом устроены глаза, уши, характерная походка, они носят оружие, думают, дерутся, у них особенное строение сердца и всех прочих органов. Все соответствует древним записям.

Люди наверху гнались за Смитом.

Смит бежал к ракете.

Итак.

Они — наши враги. Это их мы дожидались двадцать тысяч лет, чтобы увидеться с ними снова. Это их мы ждали, чтобы отомстить. Все сходится. Они прилетели с планеты Земля. Двадцать тысяч лет назад они объявили войну Таоллану, они держали нас в рабстве, калечили и уничтожали с помощью страшной болезни. Потом, разграбив и растащив нашу планету, они удрали в другую галактику, чтобы самим спастись от этой болезни. Они позабыли и о той войне, и о том времени, они позабыли и о нас. Но мы их не забыли. Они — наши враги. Известно достоверно. Наше ожидание окончилось.

— Смит, вернись!

А теперь — к делу! На красном столе, где лежало распорощенное и выпотрошенное тело капитана, чьи-то руки вновь приступили к игре. Во влажное лоно вложены внутренности из меди, латуни, серебра, алюминия, каучука и шелка; паучки выткали золотую паутинку, которая вживалась в кожу; вложено сердце, а в черепную коробку помещен платиновый мозг, который гудит и сыплет крохотными голубыми искорками, провода тянутся к рукам и ногам. Через минуту тело прочно зашито, швы на горле и голове замазаны, заживлены наново.

Капитан сел и вытянул руки.

— Стоять!

На улице снова возник капитан, поднял пистолет и выстрелил.

Смит упал с пулей в сердце.

Все обернулись.

— Глупец! Города боится!

Они смотрели на тело Смита, лежавшее у их ног.

Они смотрели на капитана, кто широко раскрытыми глазами, кто прищурившись.

— Слушайте,— сказал капитан,— я должен вам кое-что сообщить.

Теперь Город, который их взвесил, попробовал на вкус и обнюхал, который применил все свои средства, за исключением одного, последнего, приготовился пустить в ход и его — дар речи. Он говорил не враждебным языком массивных стен и башен, и не от имени каменной громады булыжных мостовых и крепостей, наштигованных машинами, а тихим голосом одного-единственного человека.

— Я больше не капитан,— сказал он,— и не человек.

Люди отпрянули.

— Я — Город,— произнес он и заулыбался.— Я ждал двести веков. Я ждал, когда вернутся сыновья сыновей других сыновей.

— Капитан! Сэр!

— Я еще не все сказал. Кто создал меня? Город. Меня создали те, кто погиб. Древний народ, который жил здесь когда-то. Который земляне бросили издыхать от страшной, неизлечимой болезни, похожей на проказу. И, мечтая о том дне, когда земляне снова явятся сюда, древний народ построил этот Город на планете Тьмы, на берегах Векового моря, близ Мертвых гор, и нарек его городом Возмездия. Как поэтично! Этот город был задуман как весы, как лакмусовая бумажка, как антенна для проверки всех космических странников будущего. За двадцать тысяч лет здесь побывали всего две ракеты. Одна — с далекой галактики Эннт. Обитателей корабля проверили, взвесили, решили, что они не подходят по параметрам, и выпустили из Города живыми и невредимыми, так же, как и пришельцев со второго корабля. Но сегодня наконец пожаловали вы! Отмщение будет полным. Вот уже двести веков, как тот народ мертв, но он оставил после себя этот Город, чтобы вам был оказан в нем радушный прием.

— Капитан, вам нездоровится? Может, вам вернуться на корабль?

Город содрогнулся.

Мостовые разверзлись, и люди с воплями провалились вниз. Падая, они увидели сверкающие лезвия, летящие им навстречу.

Спустя некоторое время кто-то позвал:

— Смит?

— Здесь!

— Енсен?

— Здесь!

— Джонс, Хачисон, Спрингер?

— Здесь, здесь, здесь.

Они выстроились у люка ракеты.

— Немедленно возвращаемся на Землю.

— Есть, сэр!

Швы на шее были незаметны, как незаметны были и латунные сердца, серебряные внутренности и тонюсенькие золотые проволочки вместо нервов. Из голов доносилось едва слышное электрическое гудение.

— Это мы в два счета!

Девять человек суетились, загружая ракету золотистыми бомбами, начиненными микробами заразной болезни.

— Их нужно сбросить на Землю.

— Будет исполнено, сэр!

Люк захлопнулся. Ракета взмыла в небеса. Рокот ее двигателей удалялся, Город лежал, раскинувшись на летних пустошах. Его зрение притупилось. Перестал напрягаться слух. Закрылись огромные вентиляционные шахты Ноздрей, улицы больше ничего не взвешивали, не подытоживали, потайные машины нашли отдохновение в масляных ваннах. Ракета растворилась в небе.

Понемногу, растягивая удовольствие, Город наслаждался роскошью умирания.

Человек

Капитан Харт стоял у раскрытого люка ракеты.

— Почему они не идут? — спросил он.

— Откуда мне знать, капитан? — отозвался его помощник Мартин.

— И что же это за место? — спросил капитан, раскуривая сигару. Спичку он швырнул в сияющий луг, и трава загорелась.

Мартин хотел затоптать огонь ботинком.

— Нет, — приказал капитан Харт, — пусть горит. Может быть, они явятся посмотреть, что тут такое, невежи.

Мартин пожал плечами и убрал ногу от расползающегося огня.

Капитан Харт взглянул на часы:

— Вот уже час, как мы приземлились, и что же? Где делегация встречающих, рукопожатия, оркестр? Никого! Мы пролетели миллионы миль в космосе, а прекрасные граждане какого-то глупого городка на какой-то неведомой планете не обращают на нас внимания! — Он фыркнул, постучав пальцем по часам. — Что ж, даю им еще пять минут, а затем...

— И что затем? — спросил Мартин, неизменно вежливый Мартин, наблюдая за тем, как трясутся отвислые щеки капитана.

— Мы пролетим над их проклятым городом еще раз и напугаем их до смерти. — Голос его стал тише. — Мартин, может быть, они не видели, как мы приземлились?

— Видели. Они смотрели на нас, когда мы пролетали над городом.

— Почему же они не бегут сюда по лугу? Может быть, они спрятались? Они что, струсили?

Мартин покачал головой:

— Нет. Возьмите бинокль, сэр. Посмотрите сами. Они бродят вокруг. Но они не напуганы. Они... ну, похоже, что им все равно.

Капитан Харт прижал бинокль к усталым глазам. Мартин взглянул на него, отметив на его лице морщины раздражения, усталости, непонимания. Казалось, Харту уже миллион лет. Он никогда не спал, мало ел и заставлял себя двигаться все дальше, дальше. А теперь его старые, запавшие губы двигались под биноклем.

— Мартин, я просто не знаю, чего ради мы стараемся. Строим ракеты, расходует силы, чтобы пересечь бездну, ищем их — и что получаем? Пренебрежение. Посмотрите, как эти идиоты бродят с места на место. Неужели они не понимают, какое великое событие только что произошло? Первый космический полет в их глухомань. Часто ли это происходит? Они что, пресыщены?

Мартин не знал.

Капитан Харт устало вернул ему бинокль.

— Зачем все это, Мартин? Я имею в виду космические полеты. Ищем, ищем. Внутри все сжато, и никакого отдыха.

— Может быть, мы ищем мира и покоя. На Земле этого точно нет,— сказал Мартин.

— Вы считаете, нет? — Капитан Харт задумался. — Со времен Дарвина, да? С тех пор как ушло все, во что мы раньше верили, все ушло за борт, да? Божественное провидение и все такое? Вы считаете, из-за этого мы и летаем к звездам, а, Мартин? Ищем потерянные души, так, что ли? Пытаемся улететь с нашей порочной планеты на другую, чистую?

— Возможно, сэр. Во всяком случае, мы точно чего-то ищем.

Капитан Харт откашлялся, и голос его вновь стал твердым.

— Что ж, в данный момент мы ожидаем мэра города. Бегите туда, расскажите им, что мы — первая космическая экспедиция на планету. Капитан Харт шлет свои приветствия и желает видеть мэра. Вперед!

— Да, сэр.— Мартин медленно зашагал по лугу.

— Быстрее! — рявкнул капитан.

— Да, сэр! — Мартин пустился рысью, а отойдя подальше, снова двинулся не спеша, улыбаясь чему-то своему.

До возвращения Мартина капитан успел выкурить две сигары.

Мартин замер перед раскрытым люком, покачиваясь, похоже было, что он не в состоянии сфокусировать свой взгляд или связно мыслить.

— Ну? — рявкнул Харт. — Что случилось? Они придут приветствовать нас?

— Нет.— Мартину пришлось прислониться к ракете — у него кружилась голова.

— Почему же?

— Мы не имеем значения,— ответил Мартин.— Капитан, пожалуйста, дайте мне закурить.— Он протянул руку, вслепую на шаривая протянутую пачку, и глаза его, моргая, устремились к золотому городу. Он зажег сигарету и долго молча курил.

— Да скажите же что-нибудь! — вскричал капитан.— Они что, не заинтересовались нашей ракетой?

Мартин произнес:

— Что? Ах, ракета...— Он поглядел на сигарету.— Нет, не заинтересовались. Похоже, мы прилетели в неблагоприятное время.

— Неблагоприятное время!

Мартин терпеливо объяснил:

— Послушайте, капитан. Вчера в городе произошло нечто великое. Столь необычайное и великое, что мы оказались жалкими дублерами. Мне нужно сесть.— Он потерял равновесие и тяжело сел, задыхаясь.

Капитан сердито жевал сигару.

— Что произошло?

Мартин поднял голову, дым от сигареты, зажатой в неподвижных пальцах, поплыл по ветру.

— Сэр, вчера в городе появился необычайный человек — добрый, умный, страдающий и бесконечно мудрый!

Капитан гневно воззрился на своего помощника.

— А нам что до него?

— Трудно объяснить. Это человек, которого они ждали веками, — миллион лет, наверное. И вот вчера он вошел в их город. Потому-то, сэр, сегодня наша ракета для них абсолютно ничего не значит.

Капитан резко сел.

— Кто же он? Неужели Эшли? Неужели он прилетел раньше нас и украл мою славу? — Он стиснул руку Мартина. Лицо его было бледным, расстроенным.

— Не Эшли, сэр.

— Бертон! Я так и знал. Бертон прокрался вперед нас и испортил нам приземление! Никому нельзя доверять.

— Не Бертон, сэр, — тихо сказал Мартин.

Капитан не мог ему поверить.

— Но ведь было всего три ракеты, и мы летели впереди всех. А этот человек, явившийся перед нами, как его зовут?

— У него нет имени. Оно ему и не нужно. На каждой планете его называют по-своему, сэр.

Капитан уставился на Мартина тяжелым, недоверчивым взглядом:

— И что же он такого сделал, такого замечательного, что никто и не смотрит на наш корабль?

— Например, — твердо ответил Мартин, — он исцелил больных и утешил неимущих. Он выступил против лицемерия и грязного правления, и он беседовал с народом весь день.

— И что же, это так замечательно?

— Да, капитан.

— Не понимаю. — Капитан всмотрелся Мартину в глаза, в лицо. — Вы не напились, а? — Он отступил на шаг, что-то заподозрив. — Не понимаю.

Мартин посмотрел назад, на город.

— Капитан, если вы не понимаете, я не могу вам объяснить.

Капитан проследил за его взглядом. Город выглядел тихим и прекрасным, и великий покой царил вокруг него. Капитан шагнул вперед, вынув изо рта сигару. Он прищурился, глядя на Мартина, на золотые шпили зданий вдалеке.

— Вы не хотите сказать... неужели вы имеете в виду... этот человек? Не может быть!..

Мартин кивнул:

— Да, сэр, именно это я имею в виду.

Капитан замер молча. Потом выпрямился во весь рост.

— Не верю.

В полдень капитан Харт быстро вошел в город, сопровождаемый лейтенантом Мартином и помощником, тащившим приборы. Время от времени капитан раздражался громким смехом, уперевав руки в бока и покачивая головой.

Их встретил мэр города. Мартин установил треножник, прикрутил к нему коробку и подключил батарейки.

— Вы мэр? — Капитан ткнул в инопланетянина пальцем.

— Да, — ответил мэр.

Между ними стоял замысловатый аппарат, с которым управлялись Мартин и техник. Коробка обеспечивала мгновенный перевод с любого языка. Слова резко падали в ватную тишину города.

— Сначала о вчерашнем, — начал капитан. — Это правда?

— Да.

— У вас есть свидетели?

— Да.

— С ними можно поговорить?

— Говорите с любым из нас, — отвечал мэр. — Мы все свидетели.

Капитан тихо шепнул Мартину:

— Массовый гипноз. — И мэру: — Как же выглядел этот человек, этот чужестранец?

— Трудно описать, — мэр чуть-чуть улыбнулся.

— Почему же?

— Мнения могут разойтись.

— Что ж, сообщите нам, по крайней мере, свое, — сказал капитан. — Запишите, — приказал он Мартину через плечо.

Лейтенант нажал на кнопку портативного магнитофона.

— Ну, — начал мэр города, — это был очень добрый и мягкий человек. И он обладает большими познаниями во всем.

— Да-да, я знаю, знаю, — капитан помахал рукой. — Общие слова. Мне нужно нечто осязаемое. Как он выглядел?

— По-моему, это не важно, — отвечал мэр.

— Очень важно, — сурово оборвал его капитан. — Мне необходимо описание внешности этого типа. Если вы не хотите отвечать, я спрошу у других. — И Мартину: — Наверняка это Бертон! Одна из его шуточек, очередной розыгрыш!

Мартин холодно молчал, не глядя на капитана.

Капитан шелкнул пальцами:

- Так что он там делал — исцеления?
- Много исцелений, — подтвердил мэр.
- Могу я увидеть... одного исцеленного?
- Конечно, вот мой сын. — Мэр кивнул маленькому мальчику, и тот шагнул вперед. — У него была отсохшая рука. Теперь — смотрите.

Капитан снисходительно засмеялся:

— Да-да, но ведь это не доказательство. Я же не видел мальчика с отсохшей рукой. Я вижу лишь здоровую руку. Есть ли у вас доказательства того, что вчера у мальчика была больная рука, а сегодня здоровая?

— Мое слово — мое доказательство, — просто отвечал мэр.

— Послушайте! — вскричал капитан. — Вы хотите, чтобы я поверил вам на слово? Ну нет!

— Извините, — сказал мэр, глядя на капитана с выражением, в котором сочетались любопытство и жалость.

— Нет ли у вас изображения мальчика? — спросил капитан.

Через несколько мгновений принесли большой портрет, написанный маслом, на нем был изображен сын мэра с отсохшей рукой.

— Милый мой! — отмахнулся от портрета капитан. — Картину нарисовать может кто угодно. Картины лгут. Мне нужна фотография мальчика.

Фотографий не оказалось. Искусство фотографии было пока неизвестно на этой планете.

— Что ж, — вздохнул капитан, и лицо его задергалось. — Дайте мне поговорить с другими. Так все без толку. — Он ткнул пальцем в какую-то женщину. — Вы. — Она заколебалась. — Вы, вы, подойдите сюда, — приказал капитан. — Расскажите мне об этом чудесном человеке, явившимся к вам вчера.

Женщина смотрела решительно:

— Он ходил среди нас. И он был прекрасен и добр.

— А какого цвета у него глаза?

— Цвета солнца, цвета моря, цвета гор, цвета ночи.

— Достаточно. — Капитан воздел руки к небу. — Поняли, Мартин? Ничего! Какой-то шарлатан бродил по городу, нашептывая им в уши сладкие пустяки, и...

— Прекратите, пожалуйста, — попросил Мартин.

Капитан отступил назад:

— Что такое?

— Вы слышали, что я сказал. Мне нравятся эти люди, я им верю. Вы вправе иметь собственное мнение, но держите его при себе, сэр.

— Не смейте так со мной разговаривать! — заорал капитан.
— С меня хватит вашего высокомерия, — отвечал Мартин. — Оставьте их в покое. У них появилось что-то хорошее, доброе, а вы явились в чужое гнездо и гадите в нем, и издеваетесь над ними. А я разговаривал с ними. Я ходил по городу и смотрел на их лица. В них есть нечто такое, чего у вас и быть не может, — вера. Немного простодушной веры, и с ее помощью они горы сдвинут. Вы закипели от злости, потому что кто-то украл ваш триумф, кто-то добрался до них раньше и вы сделали ненужным!

— Я даю вам еще пять секунд, — заметил капитан. — Понимаю. Вы находились под сильным напряжением, Мартин. Целые месяцы в космосе, ностальгия, одиночество. А теперь еще и это. Я вам сочувствую, Мартин. Я не придаю значения вашему мелкому неповиновению.

— А я придаю значение вашему мелкому тиранству, — ответил Мартин. — Я ухожу. Я остаюсь здесь.

— Вы не сможете!

— Да неужели? Попробуйте меня остановить. Я ведь затем и прилетел сюда, хотя сам того не знал. Мне это нужно, это для меня. Везите вашу грязь куда-нибудь в другое место, попробуйте нагадить в других гнездах своим сомнением и своим... своим научным методом! — Он быстро огляделся. — У этих людей только что произошло нечто поистине настоящее, и нам еще повезло, что мы прилетели сюда почти вовремя! Неужели вы не можете вдолбить себе в голову, что чудо действительно произошло? На Земле об этом человеке говорили двадцать веков, после того как он прошел по нашему миру. Мы же так хотели увидеть его, услышать его слово, да все не удавалось. А сегодня мы опять упустили его — всего на несколько часов разминулись.

Капитан Харт взглянул на Мартина:

— Да вы плачете как младенец. Прекратите.

— Мне плевать.

— А мне нет. Перед этими туземцами нужно сохранять выдержку. Вы переутомились. Я прощаю вас.

— Я не нуждаюсь в вашем прощении.

— Глупец! Неужели вы не поняли, что это всего лишь штучки Бертона? Обмануть, надуть, основать свои нефтяные и прочие концерны под религиозным прикрытием! Вы дурак, Мартин. Полнейший дурак! Пора бы уже знать цену землянам. Они способны на все: богохульство, надувательство, ложь, обман, кражу, убийство — лишь бы достичь своей цели. Все хорошо, что сработает. Вы же знаете, Бертон — прагматик, каких мало!

Капитан тяжело вздохнул:

— Ну же, Мартин, признайтесь, именно на такие гнусности и способен Бертон — запутать бедных туземцев да ошипать их дочиста, когда созреют.

— Нет,— произнес Мартин, но уже задумчиво.

Капитан вновь воздел руки к небу:

— Да, клянусь, это был Бертон. Кто же еще? Его грязные, преступные методы. Да, конечно, можно и восхититься. Влетел к ним старый дракон в огне и пламени, окруженный сиянием, тут — доброе слово, там — любящее прикосновение, целительная мазь или заживляющий луч. Бертон, как есть он!

— Нет! — У Мартина упал голос. Он закрыл глаза руками. — Не верю!

— Вы просто не хотите поверить,— настаивал капитан. — Ну признайтесь же. Нечто подобное и способен выкинуть Бертон. Перестаньте видеть сны наяву, Мартин, проснитесь! Уже утро. Вокруг реальный мир, и мы — реальные люди, грязные, конечно, и Бертон грязнее всех!

Мартин отвернулся.

— Ну же, ну, Мартин. — Капитан Харт машинально похлопывал Мартина по спине. — Понимаю, для вас это шок. Стыд, позор и все такое прочее. Бертон — негодай. Полегче, полегче, я справлюсь, положитесь на меня.

Мартин медленно зашагал к ракете.

Капитан Харт понаблюдал за ним, а потом, глубоко вздохнув, повернулся к женщине:

— Ну расскажите мне еще что-нибудь об этом человеке. Так вы говорили, сударыня?..

Позднее, когда офицеры уселись за ужином вокруг маленьких столиков, поставленных на траву возле ракеты, капитан передал Мартину полученные сведения:

— Опросил три дюжины, и все несут ту же белиберду. Работа Бертона, не иначе. Уверен. Через день — другой он свалится сюда, чтобы утвердить свои права и увести у нас из-под носа все контракты. Думаю, надо подождать и испортить ему удовольствие.

Мартин, с красными глазами, мрачно взглянул на него.

— Я убью его.

— Ну-ну, Мартин, мой мальчик!

— Я убью его, помоги мне Боже, убью.

— Ничего, мы его притормозим. Но вы должны признать, что он хитер. Непорядочен, но хитер.

— Негодай!

— Обещайте мне не предпринимать ничего необдуманного.— Капитан Харт сверился с записями.— Говорят, произошло тридцать чудесных исцелений, слепой стал зрячим, и еще он излечил прокаженного. Да уж, Бертон умеет обделявать свои делишки, в этом ему не откажешь!

Раздался сигнал гонга, и через минуту к капитану подбежал член экипажа.

— Капитан, докладываю! Корабль Бертона идет на посадку! И корабль Эшли, сэр!

— Видите! — Капитан Харт стукнул кулаком по столу.— Вот они, шакалы, явились пожинать плоды! Дождаться не могут! Ну погодите, сейчас они у меня нарвутся! Однако им придется потесниться, чтобы пустить меня на свой пир,— я-то уж их заставлю!

Казалось, Мартина стошнит. Он молча глядел на капитана.

— Дело есть дело, мой милый,— сказал капитан.

Все подняли глаза вверх. Из небес выпали две ракеты.

Приземляясь, они едва не разбились.

— Что там случилось у этих дураков? — вскричал, подпрыгивая, капитан.

Люди уже бежали по дымящемуся лугу к ракетам. Подбежал и капитан. Люк корабля Бертона с треском раскрылся.

Им на руки вывалился человек.

— Что случилось? — вскричал Харт.

Человек упал на землю. Они склонились над ним. Он был весь в ожогах. Все тело было покрыто шрамами, ранами и гнойной, дымящейся кожей. Он поднял вверх опухшие глаза, и его вздувшийся язык с трудом шевельнулся в разбитых губах.

— Что случилось? — кричал Харт, встав на колени перед умирающим и дергая его за руку.

— Сэр, сэр,— шепнул тот.— Сорок восемь часов назад в секторе 79, недалеко от первой планеты этой системы, наш корабль и корабль Эшли попали в космическую бурю, сэр.— Что-то серое потекло из носа умирающего, изо рта его сочилась кровь.— Все погибли. Вся команда. Бертон мертв. Эшли умер час назад. Трое уцелели.

— Послушайте! — заорал Харт, наклоняясь над истекающим кровью человеком.— Вы впервые тут приземлились?

Молчание.

— Отвечайте!

Умирающий произнес:

— Да. Буря. Бертон умер два дня назад. Первая посадка за шесть месяцев.

— Вы уверены? — орал Харт, тряся его изо всех сил, стискивая его руки в своих руках. — Уверены?

— Да, — ответили губы умирающего.

— Бертон умер два дня назад? Вы точно знаете?

— Да, да, — прошептал человек.

Голова его упала на грудь. Он был мертв.

Капитан встал на колени возле тела. Лицо капитана скривилось, мышцы непроизвольно сокращались. Члены экипажа отошли в сторону, глядя на него. Мартин ждал. Капитан попросил, чтобы ему помогли встать, и ему помогли. Они повернулись к городу.

— Это значит...

— Это значит?.. — переспросил Мартин.

— Это значит, что на эту планету прибыли только мы, — прошептал капитан. — И тот человек...

— Тот человек? — спросил Мартин.

Лицо капитана бессмысленно задергалось. Оно стало старым-престарым и совсем серым. Глаза его остекленели. Капитан сделал шаг вперед по сухой траве.

— Идем, Мартин, идем. Поддержите меня, ради меня самого, поддержите, я боюсь упасть. Нельзя терять времени...

Спотыкаясь, они побрели к городу по высокой сухой траве, навстречу ветру.

Через несколько часов они все еще продолжали сидеть в приемной мэра. Тысячи людей побывали здесь, чтобы поговорить с ними. Капитан продолжал сидеть, лицо у него было изможденное, но он все слушал, слушал. Столько света было в лицах тех, кто приходил, подтверждал, рассказывал, что он уже не мог смотреть на них. И все время руки его дергались и ерзали взад-вперед, по коленям, по ремню.

Когда все кончилось, капитан Харт повернулся к мэру и произнес, глядя на него странными глазами:

— Но вы же должны знать, куда он направился.

— Он нам не сказал.

— К какому-то из близлежащих миров? — добивался капитан.

— Не знаю.

— Вы должны знать!

— Вы видите его? — мэр указал на толпу.

Капитан огляделся:

— Нет.

— Тогда он, наверное, ушел.

— Наверное, наверное! — слабым голосом вскричал капитан. — Я допустил кошмарную ошибку, и я хочу видеть его — сейчас! До меня только теперь дошло, что произошло величайшее событие в истории. Подумать только, мы оказались причастны к такому! Существует один шанс из миллиардов, что мы прилетели на одну планету из миллионов через день после его посещения! Вы должны знать, куда он ушел.

— Каждый находит его сам, — мягко ответил мэр.

— Вы спрятали его! — Лицо капитана медленно исказилось, вернулось что-то прежнее, суровое. Капитан начал медленно подниматься.

— Нет, — отвечал мэр.

— Где он? — Пальцы капитана задергались у кожаного футляра, висевшего справа на поясе.

— Не могу вам точно сказать.

— А ну говорите, да поживее! — И капитан вынул из кобуры оружие.

— Ничего не могу вам сказать.

— Лжец!

На лице мэра, не сводившего глаз с Харта, появилось выражение жалости.

— Вы устали, — сказал он. — Вы долго путешествовали, и вы прилетели от людей, которые давно уже живут без веры и тоже устали. А теперь вам так хочется веры, что вы сами себе мешаете. Если вы совершите убийство, вам будет труднее. Так вы его никогда не найдете.

— Куда он ушел? Ведь он сказал вам, и вы знаете. Ну же, говорите! — Капитан поднял оружие.

Мэр покачал головой.

— Скажите мне! Скажите мне!

Раздался выстрел — всего один. Мэр упал, ему ранило руку. Мартин прыгнул вперед:

— Капитан!

Оружие метнулось в сторону Мартина.

— Не мешать!

Мэр поднял глаза вверх, придерживая раненую руку.

— Уберите оружие. Вы раните самого себя. Вы никогда не верили, а теперь считаете, что можете поверить, и лишь приносите людям вред.

— Вы мне не нужны, — молвил Харт, возвышаясь над мэром. — Я упустил его здесь, разминулся на день. Что ж, полечу дальше. И дальше. И дальше. На следующей планете я разминусь на полдня, потом — на четверть, на два часа, на час, на полчаса, на минуту. Но я догоню его! Слышите? — Он уже орал,

склоняясь к лежавшему на полу. Он едва держался на ногах от усталости.— Идемте, Мартин.— Он опустил руку, оружие повисло.

— Нет, я остаюсь здесь.

— Болван! Оставайтесь, если хотите. А я полечу дальше, так далеко, как смогу, со всеми остальными.

Мэр поднял глаза на Мартина:

— Не волнуйтесь за меня, улетайте. Мои раны залечат.

— Я вернусь,— пообещал Мартин.— Я только дойду с ним до ракеты.

Они промчались через весь город. Любому было видно, каких трудов капитану стоило казаться нестигаемым, как в молодые годы. Добравшись до ракеты, он хлопнул по ее обшивке трясущейся рукой. Он убрал оружие. Потом он посмотрел на Мартина:

— Ну, Мартин?

— Да, капитан?

Капитан поднял глаза к небу.

— Вы уверены, что не полетите со мной?

— Нет, сэр. Не полечу.

— Нас ждет великое приключение, ей-богу. Я найду его!

— Вы решили лететь за ним, сэр? — спросил Мартин.

Лицо капитана сморщилось, он закрыл глаза.

— Да.

— Хотелось бы мне знать...

— Что?

— Сэр, когда вы его найдете — если найдете — что вы попросите?

— Я...— Капитан заколебался, открыл глаза. Кулаки его сжимались, разжимались. Он минуту размышлял в недоумении, а потом заулыбался странной улыбкой.— Я... я попрошу у него немного мира и покоя.— Он прикоснулся к ракете.— Давно, давно уже я не... не мог расслабиться.

— А вы когда-нибудь пытались, капитан?

— Не понимаю,— сказал капитан Харт.

— Неважно. Прощайте, капитан.

— Прощайте, Мартин.

Команда стояла у выхода. Лишь трое решили лететь вместе с Хартом. Семеро оставались здесь, с Мартином.

Капитан Харт оглядел их и выдал свое заключение:

— Глупцы!

Он влез в люк последним, быстро отдал честь, резко рассмеялся. Крышка люка захлопнулась.

Ракета поднялась в небо, подобно огненной колонне.

Мартин смотрел на нее, пока она не скрылась из виду.

На другом конце луга стоял мэр в окружении нескольких сограждан. Он поманил Мартина рукой.

— Улетел, — сказал Мартин, подходя к мэру.

— Да, улетел, бедняга, — отозвался мэр. — Так и будет летать, с планеты на планету, неустанно ища, и вечно, вечно будет опаздывать — на час, на полчаса, на десять минут, на минуту. Наконец он опоздает всего на несколько секунд. А когда он облетит три сотни миров и ему будет семьдесят или восемьдесят лет, он упустит его на долю секунды, а потом еще на долю секунды. И так и будет летать, думая, что вот-вот поймает то, что он оставил здесь, на нашей планете, в нашем городе, сейчас...

Мартин смотрел мэру прямо в глаза, и мэр протянул ему руку.

— Да разве можно в нем сомневаться? — Он поманил за собой остальных и повернулся к городу лицом. — Идемте. Нас ждут. Он там.

И они вошли в город.

То ли ночь, то ли утро

За два часа он выкурил пачку сигарет.

— Как далеко мы в космосе?

— Миллиард миль, не меньше.

— Миллиард миль от чего? — спросил Хичкок.

— Смотря что тебе нужно, — ответил Клеменс, который не выкурил пока ни одной сигареты. — Миллиард миль от дома, можно сказать.

— Так и скажи.

— От дома, Земли, Нью-Йорка, Чикаго. От того места, откуда ты родом.

— Я не помню, откуда я родом, — ответил Хичкок. — Я даже не верю, что существует Земля. А ты веришь?

— Да, — быстро ответил Клеменс. — Сегодня утром она мне приснилась.

— В космосе нет утра.

— Тогда ночью.

— Здесь всегда ночь, — тихо сказал Хичкок. — О какой ночи ты говоришь?

— Заткнись! — сказал Клеменс, рассердившись. — Дай до-
сказать.

Хичкок раскурил новую сигарету. Рука его не дрожала, но казалось, что она дрожит где-то внутри, под загорелой кожей, дрожит произвольно, сама по себе, — такая маленькая неприметная дрожь в руке, и огромная — во всем теле. Два космонавта сидели на полу палубы обзора и смотрели на звезды. Глаза Клеменса блестели, взгляд Хичкока был тусклым и не выражал ничего, кроме разве легкого недоумения.

— Я проснулся в 5.00, — промолвил он. Казалось, что он обращается к своей правой руке, — и услышал, что кричу: «Где я? Где?» И в ответ слышу: «Нигде». Тогда я спрашиваю: «Где я был?» — и сам отвечаю: «На Земле». — «Что такое Земля?» — удивляюсь я. «Это место, где я родился», — говорю я себе. Но это же ничто, и даже хуже, чем ничто. Я не верю тому, чего не вижу, не слышу и что не могу потрогать руками. Я не вижу Землю, почему я должен верить, что она существует. Не верить куда безопасней.

— Она существует, — улыбнувшись, уверенно сказал Клеменс. — Вон та светящаяся точка — это и есть Земля.

— Это не Земля, это наше солнце. Отсюда Землю не видно.

— Я вижу ее. У меня хорошая память.

— Это не одно и то же, глупец, — неожиданно рассердился Хичкок. — Я хочу сказать: видеть можно лишь глазами. Со мной всегда так было — если я в Бостоне, то Нью-Йорк для меня мертв. Но когда я в Нью-Йорке, тогда мертв Бостон. Если я не вижу человека хотя бы один день, для меня он умирает. Но, встретив его вновь на улице, Господи, как я радуюсь его воскрешению и чуть не пляшу от счастья, что снова вижу его. Да, так было со мной раньше. Теперь я более не пляшу, просто смотрю на него. Когда же он уходит, для меня он снова перестает существовать.

Клеменс рассмеялся:

— Просто у тебя мозги работают на самом примитивном уровне. Ты ничего не запоминаешь. У тебя нет воображения, Хичкок, старина. Ты должен научиться многое держать в своей памяти.

— А зачем мне помнить о вещах, которыми я не могу пользоваться? — сказал Хичкок, глядя широко открытыми глазами в космос. — Я человек практичный. Если я не могу видеть Землю и ходить по ней, что ж, прикажешь мне ходить по памяти о Земле, так, что ли? Это больно. Воспоминания, как однажды сказал мне отец, колючи, как иглы дикобраза. К черту их! Подальше от воспоминаний! Они делают человека несчастным, мешают ему работать, доводят до слез.

— А я вот сейчас шагаю по Земле,— сказал Клеменс, мечтательно прищурившись и выпустив струйку дыма.

— Смотри, ты дразнишь дикобраза. Чуть позднее, днем, ты почувствуешь, что потерял аппетит и тебе не хочется съесть свой ленч. Ты будешь удивляться и не понимать почему,— сказал Хичкок глухим ровным голосом.— А все потому, что ты занозил ноги колючками дикобраза и тебе теперь больно. К черту все это! Если я не могу что-то выпить, попробовать на вкус, что-то ущипнуть, кому-то дать пинка, растянуться и полежать на чем-то, тогда, говорю я себе, забудь об этом. Для Земли я умер; что ж, она тоже умерла для меня. Если сегодня вечером в Нью-Йорке никто не оплакивает меня, к черту Нью-Йорк! В космосе нет времен года: нет зимы и лета, нет весны и осени. Нет здесь какого-то конкретного вечера или утра, а есть только космос, и более ничего. А в это мгновение здесь мы с тобой и эта ракета. Но реально существующим я ощущаю только себя. Вот и все.

Клеменс словно и не слушал его.

— А я вот беру монету и бросаю ее в телефон-автомат,— промолвил он с медленной улыбкой, наглядно показывая, как он это делает.— И звоню своей подружке в Эванстаун: «Алло, Барбара!»

Ракета продолжала свой полет.

Ровно в 13.05 звонок собрал всех на ленч. Команда бесшумно, в подбитых резиной ботсах, мгновенно заняла свои места за столами с мягкой обивкой.

Клеменс вдруг понял, что ему совсем не хочется есть.

— Что я тебе говорил,— тут же заметил это Хичкок.— Вот тебе твои чертовы дикобразы! Забудь о них, как я тебе говорил. Смотри, какой у меня аппетит.— Произнес он все это монотонным, неживым голосом, без тени юмора или злорадства.— Следи за мной.

Он положил в рот солидный кусок пирога, проверил языком его мягкость, затем перевел взор на остатки пирога на тарелке, тронул его вилкой, нажал и стал мять лимонную начинку, следя, как она брызжет струйками меж зубцов вилки. Затем он ощупал рукой бутылку с молоком и наполнил им стакан, прислушиваясь к звуку льющегося молока. При этом он так пристально смотрел на молоко, словно ждал, что оно еще больше побелеет, и так быстро осушил стакан, что едва ли распробовал вкус молока. Свой ленч он съел в считанные минуты, лихорадочно забрасывая пищу в рот, а съев все, стал поглядывать по сторонам, нельзя ли прихватить еще что-нибудь. Но

поблизости все уже было съедено. После этого он снова тупо уставился в иллюминатор, где видел космос и ракету.

— Все это нереально,— вдруг сказал он.

— Что? — спросил Клеменс.

— Звезды. Кто-нибудь хоть раз дотронулся до одной из них? Я вижу их, это верно, но что за радость видеть то, что удалено от тебя на миллион, а то и миллиард миль? Стоит ли думать о том, что так далеко от тебя?

— Зачем ты полетел? — неожиданно спросил Клеменс.

Хичкок заглянул в свой досуха пустой стакан и, крепко сжав его в руке, отпустил и снова сжал.

— Не знаю.— Он провел языком по краю стакана.— Просто должен был, вот и все. Разве ты всегда знаешь, почему совершаешь те или иные поступки в своей жизни?

— Тебе понравилась идея путешествия в космосе? Перемена мест?

— Не знаю. Впрочем, да. Хотя нет. Важна не перемена мест, а важен момент, когда находишься между ними.— Хичкок впервые попытался сосредоточить свой взгляд на чем-то конкретном за иллюминатором, но туманность была столь далекой и неопределенной в своих очертаниях, что его взгляд не мог за что-либо уцепиться и его лицо и руки выражали предельное напряжение.— Главное — это космос и его необъятность. Мне всегда нравилась его идея: пустота сверху, пустота снизу и еще большая пустота между ними, а в ней я.

— Никогда еще не слышал, чтобы кто-то так говорил о космосе.

— Вот видишь, я это сказал. Надеюсь, ты меня слышал.

Хичкок вынул новую пачку сигарет и закурил, жадно затягиваясь и выпуская клубы дыма.

— Каким было твое детство, Хичкок? — спросил Клеменс.

— Я никогда не был молодым. Тот Хичкок, каким я был, умер. Вот тебе еще один пример колючек памяти. Я не хочу сесть на них голым задом, спасибо. Я всегда считал, что умираешь каждый день и каждый день тебя ждет аккуратный деревянный ящик с твоим номером. Но никогда не надо возвращаться назад и поднимать крышку ящиков и глядеть на себя того, прошлого. Ты умираешь в своей жизни не одну тысячу раз, а это уже горы мертвяков, и каждый раз ты умираешь по-своему, с другой гримасой на лице, которая раз от разу становится все ужасней. Ведь каждый день ты другой, себе незнакомый, кого ты уже не понимаешь и не хочешь понимать.

— Таким манером ты отрезаешь себя от своего прошлого.

— А что общего у меня с молодым Хичкоком, какое мне дело до него? Он был круглым дураком, которого вечно отовсюду выгоняли, кем помыкали, кого лишь использовали в своих целях. У молодого Хичкока был никудышный отец, и он был рад смерти своей матери, потому что она была не лучше. Неужели я должен вернуться назад, чтобы поглядеть на то, каким было лицо отца в день его смерти, и позлорадствовать? Он тоже был дураком.

— Мы все дураки,— промолвил Клеменс,— и всегда ими были. Только мы считаем, что меняемся с каждым днем. Просыпаешься и думаешь: нет, сегодня я уже не дурак. Я получил свой урок. Вчера я был дураком, но сегодня утром — нет. А завтра понимаешь, что как был дураком, так им и остался. Мне кажется, что выход здесь один: чтобы выжить и чего-то добиться, надо примириться с тем, что мы несовершенны, и жить по этой мерке.

— Я не хочу вспоминать о несовершенном,— заявил Хичкок.— Я не могу пожалть руку молодому Хичкоку, понимаешь? Где он сейчас? Ты можешь найти его для меня? Он умер, ну так и черт с ним! Я не строю свое завтра с учетом глупостей, которые наделал вчера.

— Ты все неправильно понял.

— Тогда оставь меня таким, какой я есть.— Хичкок, закончив ленч, продолжал сидеть за столом и глядеть в иллюминатор. Остальные космонавты странно поглядывали на него.

— Метеориты и вправду существуют? — вдруг спросил Хичкок.

— Ты, черт побери, отлично знаешь, что существуют.

— На экране нашего радара — да. Такие светящиеся прочерки в космосе. Нет, я не верю ничему, что существует или происходит не в моем присутствии. Иногда,— он кивнул на космонавтов, заканчивающих свою трапезу,— иногда я не верю ни в кого и ни во что.— Он выпрямился.— Тут есть лестница, ведущая на верхний этаж корабля.

— Да.

— Я должен немедленно ее видеть.

— Не надо так нервничать, друг.

— Жди меня здесь, я скоро вернусь.

Хичкок быстро вышел. Космонавты продолжали медленно дожевывать пищу. Прошло какое-то время, и наконец один из них поднял голову от тарелки.

— Как давно он такой? Я имею в виду Хичкока.

— Только сегодня.

— Вчера он тоже был чудной.

— Да, но сегодня с ним намного хуже.
— Кто-нибудь сообщил об этом психиатру?
— Мы думали, что обойдется. Каждый проходит через это, впервые попав в космос. Со мной тоже такое было. Сначала начинаешь философствовать без всякого удержу, а потом трясешься от страха, покрываешься холодным потом, сомневаешься в родных отце и матери, не веришь, что есть Земля, и в конце концов напиваешься до чертиков, потом просыпаешься с дурной башкой, и все проходит.

— Хичкок ни разу не напивался,— заметил кто-то.— А ему не помешало бы хорошенько напиться.

— Не знаю, как он прошел отборочную комиссию.

— А как прошли ее мы? Им нужны люди. Космос отпугивает людей. Большинство бояться его до чертиков. Так что в комиссии не особо придираются при отборе и легко признают человека годным.

— Этот при всех скидках не может быть признан годным,— опять сказал кто-то.— Он из тех, кому все нипочем. От него всего можно ждать.

Прошло пять минут. Хичкок не возвращался.

Клеменс, не выдержав, встал и по винтовой лестнице поднялся на полетную палубу. Хичкок был там. Он с нежностью прикасался рукой к перегородке.

— Она существует,— говорил он себе.

— Конечно, существует.

— Я боялся, что ее нет.— Хичкок внимательно посмотрел на Клеменса.— И ты жив.

— Жив, и уже немало лет.

— Нет,— возразил Хичкок.— Сейчас, в данную минуту, пока ты здесь, со мной, ты жив. Мгновение назад тебя не было, ты был ничем.

— Для себя я был всем,— не согласился Клеменс.

— Это не имеет значения. Тебя не было со мной,— настаивал Хичкок.— А это главное. Команда внизу?

— Да.

— Ты можешь это доказать?

— Послушай, Хичкок, тебе лучше показаться доктору Эдвардсу. Мне кажется, ты нуждаешься в его помощи.

— Нет, со мной все в порядке. А кто здесь доктор, кстати? Ты мне можешь доказать, что он на ракете?

— Могу. Все, что нужно сделать,— это позвать его сюда.

— Нет, я имею в виду, что, стоя вот здесь, в эту самую минуту, ты никак не можешь доказать мне, что он на ракете. Разве я не прав?

— Конечно, не двигаясь и оставаясь здесь, с тобой, я не могу этого сделать.

— Вот видишь. У тебя нет возможности доказать это с помощью твоих умственных усилий. А мне нужно именно такое доказательство, чтобы я его почувствовал. Материальные доказательства, за которыми надо сбегать и притащить сюда, мне не нужны. Я хочу, чтобы доказательство можно было держать в уме, потрогать его, почувствовать его запах, ощущать его целиком. Но это невозможно. Чтобы верить в существование вещи, ты должен постоянно иметь ее при себе. Землю в карман не положишь или же человека. А я хочу добиться того, чтобы всегда иметь при себе любую вещь, чтобы я мог верить в ее существование. Это так обременительно — куда-то идти, брать что-то, физически существующее, лишь бы доказать что-то. Я не люблю реальные вещи, потому что их всегда можно забыть где-нибудь или оставить, а потом перестать в них верить.

— Таковы правила игры.

— Я хочу поменять их. Разве плохо было бы подтверждать наличие той или иной вещи или человека простым усилием ума и всегда быть уверенным, что каждая вещь на своем месте? Я всегда бы знал, как выглядит то или другое место, когда меня там нет. Я хотел бы быть в этом уверенным.

— Это невозможно.

— Знаешь, — мечтательно промолвил Хичкок, — первая мысль о том, чтобы попасть в космос, пришла мне лет пять назад. Как раз в это время я потерял работу. Знаешь, я хотел стать писателем. Да, одним из тех, кто много говорит и мало пишет. Это все народ вспыльчивый, раздраженный. Поэтому, когда я потерял свою хорошую работу и ушел из издательского дела, я так и не смог ничего себе найти. Тогда-то все и покатилося под гору. А тут еще умерла жена. Как видишь, ничего нет постоянного, ничто не стоит там, где ты его поставил. На материальные вещи нельзя полагаться. Сынишку пришлось отдать на попечение тетке, дела шли все хуже, как вдруг однажды был напечатан рассказ под моим именем, но он не был моим.

— Я что-то не понимаю.

Лицо Хичкока было бледным и покрылось испариной.

— Могу только сказать, что я смотрел на страницу напечатанного рассказа, где под его названием стояло мое имя: Джозеф Хичкок, — и знал, что это не я, а кто-то другой. Не было никакой возможности доказать, действительно доказать, что человек, написавший рассказ, был именно я. Рассказ мне был знаком, я знал, что писал его, но имя на бумаге не означало,

что это я, — просто какой-то символ, чье-то имя. И оно было мне чужим. Вот тогда-то я и понял, что даже карьера преуспевающего писателя ничего не будет значить для меня, потому что я не смогу отождествлять себя со своим именем. Все будет пыль и тлен. С тех пор я больше не писал. Найдя через несколько дней рассказы в ящике стола, я не был уверен, что они написаны мною, хотя помнил, что сам печатал их на машинке. Всегда мешало это непонятное отсутствие доказательств, этот разрыв между процессом создания и уже созданной вещью. То, что уже создано, становится мертвым, и не может служить доказательством, ибо это уже не действие. Реально лишь действие. А лист бумаги, где оно запечатлено и завершено, как бы уже не существует, оно невидимо. На доказательстве, что было действие, ставится точка. Остается только память о нем, а я не доверяю своей памяти. Могу я доказать, что я написал эти рассказы? Нет, не могу. Может это сделать любой автор? Я имею в виду — сделать действие доказательством. Нет. По сути дела, нет. Если только кто-то не будет присутствовать рядом и видеть, как ты печатаешь. А что, если ты не сочинишь, а пишешь что-то по памяти? Тогда, когда работа сделана, то доказательством становится память. Так я стал везде и во всем искать этот разрыв между действием и его итогом. Я находил эти разрывы во всем. Я стал сомневаться, был ли я женат, есть ли у меня сын, была ли у меня когда-нибудь в жизни работа. Я сомневался, что родился в штате Иллинойс, что мой отец был пьяницей, а для матери я доброго слова не мог найти. Ничего этого я уже не был способен доказать. Конечно, мне могут сказать: ты такой-сякой, сам хорош и прочее, но разве в этом дело.

— Тебе бы лучше выбросить все это из головы, — назидательно сказал Клеменс.

— Не могу. Эти разрывы, бреши и пространства без конца и края навели меня на мысль о космосе и звездах. Мне захотелось попасть на ракете в космос, в это ничто, на металлической, но хрупкой как яичная скорлупа ракете, подальше от этих мест с их разрывами и невозможностью доказательств. Я вдруг понял, что счастье я обрету только в космосе. Прилетев на Альдебаран-II, я тут же подпишу контракт на обратный пятилетний полет на Землю, а потом, как челнок, буду летать туда и обратно до конца дней своих.

— Ты говорил об этом с психиатром?

— Чтобы он зацементировал бреши и разрывы, наполнил пропасти памяти шумом и теплой водой, словами и прикос-

новением рук и всем прочим? Нет, благодарю покорно.— Хичкок умолк.— Мне становится все хуже, как ты считаешь? Я подумал уже об этом. Сегодня утром, проснувшись, я подумал, что мне стало хуже. А может, лучше? — Он снова умолк и покосился на Клеменса.— Ты здесь? Ты действительно здесь? А ну, докажи.

Клеменс достаточно сильно ударил его по руке.

— Да,— успокоился Хичкок, потирая руку, внимательно осматривая ее и массируя.— Ты был здесь. Всего какую-то долю секунды. А теперь я не знаю, здесь ли ты.

— Скоро увидимся,— бросил на ходу Клеменс и поспешил за врачом.

Зазвенели звонки сигнализации тревоги. Один, второй, третий. Ракета вздрогнула, словно кто-то дал ей основательного пинка. Послышался неприятный сосущий звук, какой издает пылесос. Клеменс услышал крики и втянул в себя разреженный воздух, который со свистом проносился мимо его ушей. Вскоре стало пусто в носу, опустели легкие. Ноги Клеменса споткнулись. Но тут же свист уходящего воздуха прекратился.

— Метеорит! — крикнул кто-то.

— Брешь заделана,— послышался ответ.

Так оно и было. Наружное аварийное устройство «паук» уже сделало свое дело, наложив горячую металлическую заплату на дыру в корпусе ракеты и накрепко приварив ее.

Клеменс слышал чей-то несмолкающий голос, потом крик и побежал по коридору, уже снова наполнявшемуся свежим неразрезанным воздухом. Взглянув на перегородку, он увидел свежую заделанную дыру и обломки метеорита на полу, словно куски сломанной игрушки. В сборе были все: капитан, врач и члены команды. На полу лежал Хичкок. Закрыв глаза, он выкрикивал снова и снова:

— Он пытался убить меня! Он пытался убить меня!

Его подняли и поставили на ноги.

— Это не должно было случиться,— твердил Хичкок.— Такого не должно быть, разве я не прав? Он целился в меня. Почему он это сделал?

— Все в порядке, Хичкок, все в порядке,— успокаивал его капитан.

Доктор в это время перевязывал небольшой порез на руке Хичкока. Тот, подняв голову, встретил взгляд Клеменса.

— Он хотел убить меня,— объяснил он другу.

— Я знаю,— успокоил его Клеменс.

Прошло семнадцать часов. Ракета продолжала полет.

Клеменс зашел за перегородку и стал ждать. Теперь лишь капитан и психиатр были с Хичкоком. Он сидел на полу, поджав к груди ноги и крепко обхватив их руками.

— Хичкок! — окликнул его капитан.

Молчание.

— Хичкок, послушайте меня, — попытался в свою очередь психиатр.

Заметив Клеменса, они обратились к нему:

— Вы его друг?

— Да.

— Вы готовы нам помочь?

— Если смогу.

— Это все проклятый метеорит, — буркнул капитан. — Если бы не он, ничего бы с ним не произошло.

— Рано или поздно это произошло бы все равно, — заметил психиатр. — Попробуйте поговорить с ним, — обратился он к Клеменсу.

Клеменс медленно подошел к Хичкоку и, склонившись над ним, легонько потряс его за руку:

— Эй, Хичкок, очнись!

Молчание.

— Это я, Клеменс, — попробовал он снова. — Смотри, я здесь. — Он похлопал Хичкока по руке. Потом стал массировать его застывшую в напряжении шею, спину, склоненную к коленям голову. Он взглянул на психиатра, тот лишь тихонько вздохнул. Капитан пожал плечами.

— Шоковая терапия, доктор?

Психиатр кивнул.

— Начнем через час.

«Да, — подумал Клеменс, — выведение человека из шокового состояния. Дайте ему порцию джазовой музыки, помашите перед его носом бутылкой со свежей хлорофилловой настойкой или вином из одуванчиков, постелите под ноги ковер из зеленой травы, разбрызгайте в воздухе духи “Шанель”, подстригите ему волосы, обрежьте ногти, приведите ему женщину, кричите и топайте на него ногами, раздавите его и поджарьте на электричестве, заполните все мучающие его разрывы и бреши, но как быть с доказательствами? Способны ли вы все время представлять их ему так, чтобы он в них поверил? Вы не можете занимать внимание ребенка погремушкой или свистком каждую ночь в течение тридцати лет. Когда-то надо остановиться. Но когда вы сделаете это, он снова будет для вас потерян, если, конечно, вы для него вообще существуете».

— Хичкок! — крикнул Клеменс так громко, как только мог, в полном отчаянии, словно сам стоял на краю пропасти. — Это я, твой друг! Эй, очнись!

Клеменс повернулся и вышел при полном молчании остальных.

Двенадцать часов спустя снова раздался сигнал тревоги.

Когда все сбежались и топот ног затих, капитан все объяснил:

— Хичкок, воспользовавшись тем, что остался один, надел скафандр и вышел в космос. Один.

Клеменс, часто моргая, силился увидеть в огромном стекле иллюминатора расплывающиеся пятна звезд и далекую густую темноту космоса.

— Теперь он там, — наконец промолвил он.

— Да. Где-то в миллионе миль от нас. Нам теперь его не найти. Я сразу понял, что он там, когда услышал, что на пульте заработало радио и раздался его голос. Он разговаривал сам с собой.

— Что он говорил?

— Что-то вроде: «Нет никаких теперь ракет. Никаких. И людей тоже во всей вселенной. Да и не было их. Никаких деревьев и прочих растений и никаких звезд». Вот что он говорил. Потом то же самое начал говорить о своих руках и ногах. Никаких, мол, рук у него нет и не было никогда. «Никаких ног. Где доказательства, что они у меня были? Да и тело тоже. Ни губ, ни лица, ни головы у меня нет и не было. Только космос, только брешь, разрыв...»

Все молча смотрели в иллюминатор на далекие холодные звезды.

«Космос, — думал Клеменс. — Хичкок по-настоящему любил космос. Пустота сверху, пустота снизу и огромная зияющая пустота посередине, а в ней Хичкок, падающий вниз через это ничто навстречу то ли ночи, то ли утру...»

Марсианский затерянный город

Огромное око плыло в пространстве. А где-то за ним, укрытое металлом, среди бесчисленных механизмов пряталось маленькое, человечье: человек смотрел и не мог насмотреться на скопища звезд, на пятнышки света, то вспыхивающие, то затухающие там, в миллиардах миллиардов миль.

Маленькое око устало и закрылось. Капитан Джон Уайлдер постоял, опершись о стойку телескопа, что день за днем без усталости ощупывал вселенную, и наконец шепнул:

— Которая же?

— Выбирайте сами,— сказал астроном, стоящий рядом.

— Хотел бы я, чтобы все и вправду было так просто.— Уайлдер открыл глаза.— Что известно, например, об этой звезде?

— Альфа Лебеда II. Размеры и характеристики, как у нашего Солнца. Возможно существование планетной системы.

— Возможность — еще не факт. Выберем не ту звезду — и Господь да поможет тем, кого мы отправим в путь сроком на двести лет искать планету, которой там, может, никогда и не было.. Или нет, Господь да поможет мне, потому что последнее слово за мной и я сам вполне могу отправиться вместе со всеми. Как же удостовериться?

— Никак. Выберем как сумеем, отправим звездолет и станем молиться.

— То-то и оно. Не слишком все это весело. Устал я...

Уайлдер тронул кнопку, и теперь закрылось большое око. Вынесенная в космос линза, направляемая ракетными двигателями, много дней напролет бесстрастно пялилась в бездну, видела непомерно много, а знала мало,— а теперь не знала и вообще ничего. Обсерватория висела незрячая в бесконечной ночи.

— Домой! — приказал капитан.— Полетели домой!..

И слепой нищий, протянувший руку за звездами, развернулся на огненном веере и убрался восвояси.

С высоты города-колонии на Марсе были очень хороши. Заходя на посадку, Уайлдер увидел неоновые огни среди голубых гор и подумал: мы зажжем огни и на тех мирах, в миллиардах миль отсюда. Зажжем — и дети тех, кто живет ныне под этим неоном, станут бессмертными. Именно так: если мы добьемся успеха, они будут жить вечно...

Жить вечно. Ракета села. Жить вечно!

Ветер, налетевший со стороны города, донес запах машинного масла. Где-то скрежетал алюминиевыми челюстями музыкальный автомат. Рядом с ракетодромом ржавела свалка. Старые газеты плясали на бетонной взлетной дорожке.

Уайлдер застыл на верхней площадке лифта причальной мачты. Ему захотелось остаться здесь и никуда не спускаться. Огни воплотились в людей — раньше это были слова, слова казались великими, и с ними было так легко управляться...

Он вздохнул. Груз — люди — слишком тяжек. До звезд слишком далеко.

— Капитан! — позвал кто-то.

Он сделал шаг. Лифт провалился. С беззвучным воем они понеслись вниз, навстречу подлинной тверди под ногами и подлинным людям, ожидающим, чтобы он совершил свой выбор.

В полночь приемник для срочных депеш зашипел и выстрелил патроном-сообщением. Уайлдер сидел за столом в окружении магнитных пленок и перфокарт и долго не притрагивался к цилиндрику. Наконец он вытащил сообщение, пробежал его глазами, скатал в тугий шарик, но нет — развернул опять, разгладил, перечитал:

«Заполнение каналов водой завершается через восемь дней. Приглашаю принять участие в прогулке на яхте. Избранное общество. Четверо суток в поисках легендарного затерянного Города. Подтвердите согласие. И. В. Эронсон».

Уайлдер прищурился и тихо рассмеялся. Смял бумажку снова и снова передумал, поднял телефонную трубку, сказал: — Телеграмма И. В. Эронсону. Марс-сити, один. Приглашение принимаю. Сам не знаю зачем, но принимаю.

Повесил трубку. И долго-долго сидел, глядя в ночь, укрывшую в своей тени орду перешептывающихся, тикающих, вращающихся машин.

Высохший канал ждал.

Двадцать тысяч лет он ждал, но видел лишь призрачные приливы всепроникающей пыли.

А теперь донесся шелест.

И шелест превратился в поток, в блистающую стену воды.

Словно исполинский кулак ударил по скалам, и хлопнул по воздуху клич: «Чудо!..» И стена воды, гордая и высокая, двинулась по каналам, распласталась на ложе, истомленном жаждой, достигла древних иссохших пустынь, ошеломила старые пристани и подняла скелеты кораблей, покинутых тридцать веков назад, когда та, былая вода выкипела до дна.

Прилив обогнул мыс и вознес на своем гребне яхту, новенькую, как самое утро, со свежееотлитыми серебристыми винтами, латунными поручнями и яркими, вывезенными с Земли выпелами. Яхта, пока что причаленная к берегу, носила имя «Эронсон I».

На борту был человек, носящий то же имя, и он улыбнулся. Мистер Эронсон прислушивался к тому, как журчит вода под килем его корабля.

И сквозь журчание прорвался гул — это прибыл аппарат на воздушной подушке, и треск — это подкатил мотоцикл, а из поднебесья, привлеченные блеском воды в старом канале, через горы как по волшебству слетались люди-оводы с реактивными ранцами за плечами и зависали на месте, будто усомнившись, что столько жизней могут столкнуться здесь по воле одного богача.

А богач, оскалясь усмешкой, обратился к ним, своим чадам, суля укрытие от жары, еду и питье:

— Капитан Уайлдер! Мистер Паркхилл! Мистер Бьюмонт!.. Уайлдер посадил свой аппарат.

Сэм Паркхилл бросил свой мотоцикл — он увидел яхту и тут же влюбился в нее.

— Черт возьми! — воскликнул Бьюмонт, профессиональный актер, один из стайки тех, кто плясал в небе, как пчелы на ветру. — Я не рассчитал свой выход. Я явился слишком рано. Нет публики!

— Призываю вас аплодисментами! — крикнул в ответ богатый старик и захлопал в ладоши. Затем добавил: — Мистер Эйкенс!

— Эйкенс? — переспросил Паркхилл. — Знаменитый охотник?

— А кто же еще!..

И Эйкенс спикировал вниз, словно решил схватить их всех хищными когтями. Он и сам себе казался похожим на ястреба. Жизнь, полная приключений, отточила его и выправила как бритву. Падая, он будто разрезал воздух, обрушивался неотвратимым возмездием на людей, не причинивших ему ни малейшего зла. Но за миг до катастрофы все-таки преодолел себя, затормозил и с легким свистом коснулся мраморной пристани. Узкую его талию стягивал патронташ. Карманы у него топорщились, как у мальчишки, совершившего набег на кондитерскую. Не составляло труда догадаться, что он весь начинен сладостями-пулями и деликатесами-гранатами. Своевольный ребенок, он сжимал в руках диковинную винтовку, казалось только что оброненную Зевсом-громовержцем, хоть и с маркой: «Сделано в США». Лицо его загорело до черноты, а глаза, зеленовато-синие кристаллы на морщинистой от солнца коже, светились сдержанным любопытством. Выпуклые мускулы африканца обрамляли белую фарфоровую улыбку. Планета едва не застонала, когда он дотронулся до нее.

— Рыскает лев по земле Иудейской! — раздался голос с небес. — Воззрите же на агнцев, приведенных на заклание!..

— Ради Бога, Гарри, помолчи хоть минутку! — откликнулся другой, женский, голос.

И два новых мотылька, бесприютные души, опасливо затрепетали крылышками на ветру.

Богач был вне себя от восторга.

— Гарри Харпуэлл!..

— Воззрите и на ангела Господня, пришедшего с благовестом! — продолжал парящий в небе. — А благовест тот возвещает...

— Он опять пьян, — прокомментировала женщина, которая летела впереди и не оглядывалась.

— Мигэн Харпуэлл, — произнес богач тоном антрепренера, представляющего свою труппу.

— Поэт, — произнес Уайлдер.

— И барракуда, жена поэта, — пробормотал Паркхилл.

— Я не пьян! — крикнул поэт ветру. — Я просто весел!..

И тут он низвергнул ливень смеха, и все, кто был внизу, испытали позыв вскинуть руки, заслоняясь от потопа.

Поэт снизился, как толстый надувной змей, и, жужжа, пронесся над яхтой. Жена поэта поджала губы, а он сделал ручкой благословляющий жест и подмигнул Уайлдеру с Паркхиллом.

— Харпуэлл! — воскликнул он. — Это ли не имя, достойное величайшего поэта нашей эпохи! Поэта, которому она тесна и который весь в прошлом, таскает кости из гробниц корифеев, но летает на этой самоновейшей кофейной мельнице, на этом чертовом ветрососе, и призывает сонеты на ваши головы... Мне жаль прежних простодушных святых — у них ведь не было таких невидимых крыльев, они не могли закладывать виражи, кружить и реять с псалмами либо проклятиями. Бедные бескрылые воробьи, обреченные прозябать на земле! Только гений их мог воспарить, только муза могла познать сладкие муки воздушной болезни...

— Гарри! — воззвала жена с причала, прикрыв глаза.

— Охотник! — вскричал поэт. — Эйкенс! Вот тебе самая крупная дичь на свете — летающий поэт. Я обнажаю грудь. Выпусти свое медоносное жало! Сбрось меня наземь, как Икара, пусть из ствола твоего ружья вылетит солнечный луч! Запали пожар, чтобы небо перевернулось и хлеб, воск, ладан и лира в единый миг обратились в деготь... Внимание: целься, пли!..

Охотник в шутку поднял винтовку.

Тогда поэт рассмеялся еще мощнее и действительно обнажил грудь, рванув рубаху.

Но в эту секунду на канал спустилась тишина.

Показалась женщина. За ней шла служанка. И нигде не было видно никакого экипажа, и почти верилось, что они долго-долго брели с марсианских гор и только сейчас приостановились.

Сама тишина приковывала внимание к Каре Корелли, придавала особое достоинство ее появлению.

Поэт прервал свои излияния и приземлился.

Вся компания смотрела на Кару Корелли — и та смотрела на них, но не видела их. Одета она была в черный облегающий костюм в тон волосам. Походка ее доказывала, что эту женщину всю жизнь понимали с полуслова, и с тем же спокойствием, с каким шла, она стала к ним лицом, словно вопрошая: кто первый шевельнется без приказа? Ветер играл ее волосами, ниспадающими на плечи. Поразительнее всего была бледность ее лица. Казалось, именно эта бледность, а не глаза, сверлит их в упор.

Затем, не проронив ни звука, женщина спустилась на яхту и села впереди, как носовое украшение, знающее себе место и цену.

Минута тишины миновала.

Эронсон пробежал пальцами по отпечатанному списку гостей.

— Актер, красивая женщина — и тоже актриса, охотник, поэт, жена поэта, командир звездолета, бывший инженер... Все на борту!

На кормовой палубе просторного своего корабля Эронсон развернул связку карт.

— Леди и джентльмены! — сказал он. — Нам предстоит нечто большее, чем четырехдневный пикник, увеселительная прогулка или экскурсия. Нам предстоит Поиск! — Он выждал, чтобы они придали своим лицам подобающее выражение и обратили взоры к картам, затем продолжал: — Мы ищем легендарный затерянный город, называвшийся некогда Диа-Сао. Было у него и другое прозвание — «Город Рока». Что-то зловещее связано с этим городом. Жители бежали оттуда, как от чумы, и он опустел. Он пуст и теперь, через много веков...

— За последние пятнадцать лет, — вмешался капитан Уайлдер, — мы обследовали, сняли на карты, занесли в указатели каждый акр поверхности Марса. Мы не могли не заметить город таких размеров.

— Верно, — отозвался Эронсон. — Вы вели съемку с воздуха, с суши. Вы не обследовали планету с воды! Ведь до самого этого дня каналы были сухими... А теперь мы пустимся в плавание по водам, заполнившем все каналы до одного, и приплы-

вем туда, куда ходили древние корабли, и увидим, какие еще секреты хранит от нас планета Марс. И где-то на пути,— продолжал богач,— я уверен, абсолютно уверен, мы найдем самый прекрасный, самый фантастический, самый ужасный город в истории этого мира. И пройдем по городу, и — кто знает? — быть может, выясним, почему марсиане, как утверждают легенды, с воплями бежали прочь из Диа-Сао десять тысяч лет назад...

Молчание. Наконец:

— Bravo! Блестящая идея!..

Поэт пожал старику руку.

— А в этом городе,— спросил Эйкенс, охотник,— может там найтись оружие, какого никто никогда не видел?

— Вполне возможно, сэр.

— Ну что ж,— молвил охотник, обняв свою диковинную винтовку.— На Земле мне все приелось, я там охотился на всяких зверей, и не осталось таких, в которых я не стрелял бы. Меня привела сюда надежда встретить новых, замечательных; смертельно опасных зверей любых размеров и видов. А теперь и новое оружие! Чего же еще желать? Отлично!..

И он уронил свою серебристо-голубую винтовку за борт. В чистой воде было видно, как она булькнула и пошла ко дну.

— Давайте, черт побери, отчаливать!

— Вот именно,— подхватил Эронсон.— Давайте, черт побери!..

И нажал кнопку, приводящую яхту в движение.

И вода подхватила яхту.

И яхта поплыла туда, куда указывала спокойная бледность Кары Корелли,— вдаль.

Тогда поэт открыл первую бутылку шампанского. Пробка хлопнула. Один лишь охотник не вздрогнул.

Яхта плыла неустанно через день в ночь. Они нашли какие-то развалины и там поужинали, и было вино, привезенное за сто миллионов миль с Земли. Все отметили, что вино перенесло путешествие хорошо.

К вину был подан поэт, а после изрядной дозы поэта был сон на борту яхты, плывшей и плывшей в поисках города, который пока еще не желал найтись.

В три часа ночи Уайлдер, разгоряченный, отвыкший от силы тяжести — планета тянула все его тело вниз, не позволяя расслабиться и заснуть,— вышел на кормовую палубу и встретил актрису.

Она сидела и смотрела, как воды скользят за кормой, а в них печальными откровениями дрожат расплеснутые звезды.

Он сел с нею рядом и мысленно задал вопрос.

Так же безмолвно Кара Корелли задала себе тот же вопрос и ответила вслух:

— Я здесь, на Марсе, оттого, что не так давно мужчина впервые в моей жизни сказал мне правду...

Вероятно, она ждала, что он выразит удивление. Уайлдер промолчал. Яхта плыла бесшумно, как в потоке вязкого масла.

— Я красива. Я была красива всю жизнь. А это значит, что с самой юности люди лгали мне лишь затем, чтобы побыть со мной. Я выросла в кольце неправд: мужчины, женщины, дети — все вокруг страшились моей немилости. Недаром сказано: стоит красавице надуть губки — и мир вздрогнет...

Видели вы когда-нибудь красивую женщину в толпе мужчин, видели, как они кивают, кивают? Слышали их смех? Мужчины будут смеяться, какую бы глупость она ни сморозила. Ненавидеть себя будут, но и смеяться, будут говорить «да» вместо «нет» и «нет» вместо «да». Вот так жила и я — изо дня в день, из года в год. Между мной и любой невзгодой вырастала стена лжецов, и их слова опутывали меня шелками...

Но вдруг совсем недавно, месяца полтора назад, тот мужчина сказал мне правду. Какой-то пустяк. Я уже и не помню, что он сказал, но не рассмеялся. Даже не улыбнулся. И не успел он замолкнуть, как я поняла, что случилась страшная вещь.

Я постарела...

Яхта слегка качнулась на волне.

— О, разумеется, я встретила бы еще множество мужчин, которые лгали бы мне, улыбались бы всему, что бы от меня ни услышали. Но я увидела поджидающие впереди годы, когда красавица уже не сможет топнуть ножкой и вызвать землетрясение, не сможет больше поощрять лицемерие среди честных людей...

Тот человек? Он сразу же взял свою правду назад, как только понял, что эта правда потрясла меня. Но поздно. Я купила билет на Марс. И приняла приглашение Эронсона участвовать в этой прогулке. Прогулке, которая кончится кто знает где...

При последних словах Уайлдер невольно взял ее за руку.

— Нет, — отрезала она, отстраняясь. — Не отвечайте. Не прикасайтесь ко мне. Не жалейте меня. И себя тоже. — Впервые с начала плавания на ее губах мелькнула усмешка. — Ну не странно ли? Я раньше мечтала: хорошо бы хоть когда-нибудь оста-

вить маскарад и услышать правду. Как я заблуждалась! Ничего хорошего в правде нет...

Она сидела и смотрела, как струятся вдоль борта черные воды. Когда часа два-три спустя она оглянулась, рядом никого не было. Уайлдер ушел.

На следующий день, плывя по воле юных вод, они направились к высокой горной гряде. По пути перекусили в старинном храме, а вечером поужинали среди очередных развалин. О затерянном Городе почти не говорили — все были уверены, что никогда его не найдут.

Но на третий день, хотя никто не осмелился высказать это вслух, все ощутили приближение некоего Явления.

Поэт первый выразил ощущение словами:

— Похоже, где-то здесь Бог напевает себе под нос...

— Ну и редкостное же ты дерьмо! — откликнулась жена поэта. — Неужто не можешь говорить попросту, даже когда плетешь ерунду?

— Да прислушайтесь, черт возьми! — воскликнул поэт.

Они прислушались.

— Неужто вы не чувствуете, что стоите на пороге гигантской доменной печи, гигантской кухни, где Бог в уютном тепле, в муке по локоть, месит необъятными руками тесто жизни? Руки Его пропахли дивными потрохами и роскошными внутренностями, они окровавлены и горды пролитой кровью. Вон в том звездном котле поспекает похлебка для грядущих венерианских тварей, а вон там чан с густым наваром из костей, нервов и беспокойных сердец, которые оживут в зверях и птицах неведомых планет за миллиард световых лет отсюда. И разве Бог не вправе испытывать гордость за свои свершения на великой кухне вселенной, где Он самолично составил меню пиршеств и бедствий, смертей и воскрешений на миллионы миллионов лет? А раз Он горд и доволен, почему бы Ему не напевать себе под нос? Прислушайтесь — каждая ваша косточка вибрирует в такт Его напеву. Нет, не так. Он не просто напевает — он играет на каждом атоме, танцует в каждой молекуле. Вечный праздник начинается внутри нас. Нечто близится. Ш-ш-ш...

Он прижал свой толстый палец к выпяченным губам.

Теперь смолкли все, и бледность Кары Корелли светила прожектором на темные воды, лежащие впереди.

Предчувствие захватило их. И Уайлдера. И Паркхилла. Они закурили, чтобы совладать с собой. Погасили свои сигареты. Растворившись в сумерках, они ждали.

Напев стал явственнее, ближе. И, почуяв его, охотник присоединился к молчаливой актрисе на носу яхты. А поэт присел, чтобы записать свой только что прочитанный монолог.

— Да-да,— сказал он, когда на небе высыпали звезды.— Оно почти настигло нас. Уже настигло.— Он перевел дыхание.— Вот оно...

Яхта вошла в туннель.

Туннель вошел в толщу гор.

И там был Город.

Город скрывался во чреве гор, и его окружало кольцо подземных лугов, а над ним простиралось странно окрашенное каменное небо. И он считался затерянным и оставался затерянным лишь потому, что люди искали его с воздуха, искали, разматывая дороги, а ведущие в Диа-Сао каналы ждали обыкновенных пешеходов, которые прошли бы по трассе, оставленной водами.

И вот к древней пристани причалила яхта, полная чужезстранных с иной планеты.

И Город шевельнулся.

В стародавние времена города бывали живы, если люди жили в них, или мертвы, если люди их покидали. Все было до очевидности просто. Но шли века, что на Земле, что на Марсе, и города уже не умирали. Они засыпали. И в зубчатых своих снах, в многоколесных грезах вспоминали, как было некогда и как, возможно, будет опять.

И когда люди один за другим выбрались на причал, то встретили великую личность — окутанную смазкой, закованную в металл, отполированную душу столицы, и безмолвный обвал не видимых никому искр пробудил эту душу ото сна.

Вес людей пристань восприняла с упоением. Они словно вступили на чувствительнейшие весы. Причал опустился на миллионную долю дюйма.

И Город, исполинская спящая красавица из машинного кошмара, уловил прикосновение, поцелуй судьбы,— и проснулся.

Грянул гром.

Стену высотой сто футов прорезали врата шириной семьдесят футов, и теперь врата, обе их половинки, с грохотом откатились и скрылись в стене.

Эронсон шагнул вперед.

Уайлдер метнулся остановить его.

Эронсон вздохнул.

— Пожалуйста, капитан, без советов. И без предупреждений. И без патрулей, посланных на рекогносцировку с задачей обезвредить злоумышленников. Город хочет, чтобы мы вошли. Он приглашает нас. Уж не воображаете ли вы, что там осталось хоть что-нибудь живое? Это Город-робот. И не смотрите на меня так, будто там заложена мина замедленного действия. Сколько лет Город не видел ни игр, ни развлечений? Двадцать веков? Вы читаете марсианские иероглифы? Вон на том угловом камне. Город построен по меньшей мере тысячу девятьсот лет назад!

— И покинут,— сказал Уайлдер.

— Вы произнесли это так, словно их поразила чума.

— Нет, не чума.— Уайлдер беспокойно поежился, почувствовав, как чаша гигантских весов слегка шевельнулась, взвешивая его самого.— Что-то другое. Совсем, совсем другое...

— Ну так давайте узнаем что. Пошли!..

Поодиночке и парами люди с Земли перешагнули порог.

Последним шагнул Уайлдер.

И Город окончательно ожил.

Металлические крыши широко раскрылись, как лепестки цветов.

Окна широко распахнулись, как веки огромных глаз, жажущих оглядеть их пристально сверху вниз.

Реки тротуаров мягко журчали и плескались у ног. Автоматические ручьи потекли, поблескивая, через Город.

Эронсон радостно взирал на металлические стремнины.

— Вот и замечательно, гора с плеч! Я-то собирался устроить для вас пикник. А теперь пусть обо всем позаботится Город. Встретимся здесь же через два часа и сравним впечатления. В путь! — С этими словами он вскочил на бегущую серебряную дорожку, и та быстро понесла его прочь. Обеспокоенный Уайлдер двинулся было за ним. Но Эронсон весело крикнул: — Входите, не бойтесь, вода чудесная!..

И металлическая река унесла его. На прощание он помахал им.

Один за другим они шагнули на движущийся тротуар, и тот подхватил их своим течением. Паркхилл, охотник, поэт и жена поэта, актер и наконец красавица и ее служанка. Они плыли, как статуи, загадочным образом выросшие из струящейся лавы, и лава несла их куда-то — или никуда, — об этом они могли только гадать.

Уайлдер прыгнул. Река мягко прильнула к его подошвам. Следуя ее руслу, он несся по плесам проспектов, огибал излучины парков, врезался в фьорды зданий.

А за ними остались опустевшая пристань и покинутые врата. Ничто не указывало на то, что они проходили здесь. Как если бы их никогда и не было.

Бьюмонт, актер, сошел с самоходной дорожки первым. Одно из зданий приковало к себе его внимание. И не успел он сообразить, в чем дело, как уже соскочил и стал приближаться, втягивая ноздрями воздух.

И улыбнулся.

Теперь он понял, что за здание перед ним, понял по запаху.

— Мазь для чистки бронзы. А это, видит Бог, может означать одно-единственное...

Театр.

Бронзовые двери, бронзовые перила, бронзовые кольца на бархатных занавесах.

Он отворил двери здания и вошел. Еще раз принялся и громко расхохотался. Точно. Без вывески, без огней. Один только запах, особая химия металла и пыли, бумажной пыли от миллионов оторванных билетов.

Но главное... Он прислушался. Тишина.

— Тишина, которая ждет. Другой такой не бывает. Только в театре можно встретить тишину, которая ждет. Самые частички воздуха млеют в ожидании. Полумрак затаил дыхание. Ну что ж... Готов я или нет, но я иду...

Фойе было бархатным, цвета подводной зелени.

А дальше сам театр — красный бархат, едва различимый в темноте за двойными дверьми. А еще дальше — сцена.

Что-то вздрогнуло, как огромный зверь. Зверь учуял добычу и ожил. Дыхание из полуоткрытых уст актера всколыхнуло занавес в ста футах впереди, свернуло и сразу же развернуло ткань, будто исполинские крылья.

Он неуверенно шагнул в зал.

На высоком потолке, где стаи сказочных многогранных рыбок плыли навстречу друг другу, затеплился свет.

Свет, аквариумный свет заиграл повсюду. У Бьюмонта захватило дух.

Театр был полон народу.

Тысяча зрителей сидела неподвижно в искусственных сумерках. Правда, они были маленькие, хрупкие, непривычно смуглые и все в серебряных масках, но — зрители!

Он знал, не задавая вопросов, что они просидели здесь десять тысяч лет.

И не умерли.

Потому что они... Он протянул руку. Постучал по запы-
стью мужчины, сидящего у прохода.

Запыстье отозвалось тихим звоном.

Он прикоснулся к плечу женщины. Она тренькнула. Как
колокольчик.

Ну да, они прождали несколько тысяч лет. В том-то и дело,
что машины наделены таким свойством — ждать.

Он сделал еще шаг и замер.

Словно вздох пронесся по залу.

Это было как тот еле слышный звук, какой издает ново-
рожденный за миг до первого настоящего вдоха; настоящего
крика — крика жалобного изумления, что вот родился и живет.

Тысяча вдохов растаяла в бархатных портьерах.

А под масками — или почудилось? — приоткрылась тысяча
ртов.

Двое шевельнулись. Он застыл как вкопанный.

В бархатных сумерках широко раскрылись две тысячи глаз.

Он двинулся вновь.

Тысяча голов беззвучно повернулась на древних, густо сма-
занных шарнирах.

Они следили за ним.

На него напал чудовищный, неодолимый холод.

Он рванулся, хотел бежать.

Но глаза не отпускали его.

А из оркестровой ямы — музыка.

Он глянул в ту сторону и увидел, как к пюпитрам медленно
поднимаются инструменты — странные, насекомоподобные,
гротескно-акробатических форм. Кто-то тихо настраивал их,
ударяя по струнам и клавишам, поглаживая, подкручивая...

В едином порыве публика обернулась к сцене.

Вспыхнул полный свет. Оркестр грянул громкий победный
аккорд.

Красный занавес расступился. Прожектор выхватил сере-
дину сцены, пустой помост и на нем пустой стул.

Бьюмонт ждал.

Актеры не появлялись.

Движение. Справа и слева поднялись несколько рук. Руки
сомкнулись. Раздались легкие аплодисменты.

Луч прожектора скользнул со сцены вверх по проходу. Голо-
вы зрителей повернулись вслед за призрачным пятном света.
Маски мягко блеснули. Глаза за масками словно потеплели,
позвали...

Бьюмонт отступил.

Но луч неумолимо приближался, окрашивая пол конусом чистой белизны.

И остановился, прильнув к его ногам.

Публика, вновь обернувшись к нему, аплодировала все настойчивее. Театр гремел, ревел, грохотал бесконечными волнами одобрения.

Все растворилось внутри, оттаяло и согрелось. Будто его нагим выставили под летний ливень и гроза благодатно омыла его. Сердце упоенно стучало. Кулаки сами собой разжались. Мышцы расслабились. Он постоял еще минуту, чтобы дождь оросил запрокинутое в блаженстве лицо, чтобы истомленные жаждой веки затрепетали и смежились, а затем помимо воли, как призрак со стен Эльсинора, ведомый призрачным светом, склонился и шагнул, скользнул, ринулся вниз и вниз по уклону к прекраснейшей из смертей, и вот уже не шел, а бежал, не бежал, а летел,— а маски сияли, а глаза под масками горели от возбуждения, от немислимых приветственных криков, а руки взмывали и бились в разорванном воздухе, как голубиные крылья в перекрестье прицела. Он ощутил, что ноги достигли ступеней. Аплодисменты еще раз грохнули и смолкли.

Сглотнул слюну. Медленно поднялся по ступеням и встал в ярком свете перед тысячей обращенных к нему масок и двумя тысячами внимательных глаз. Сел на стул — в зале стемнело, и мощное дыхание кузнечных мехов стихло в штампованных глотках, и остался лишь гул автоматического улья, благоухающего во тьме машинным мускусом.

Обнял колени. Отпустил их. И начал:

— Быть или не быть...

Тишина стояла полная.

Ни кашля. Ни шевеления. Ни шороха. Ни движения век. Все — ожидание. Совершенство. Совершенный зрительный зал. Совершенный во веки веков. Совершеннее не придумаешь...

Он не спеша бросал слова в этот совершенный омут и чувствовал, как бесшумные круги расходятся и исчезают вдали.

— ...вот в чем вопрос.

Он читал. Они слушали. Он знал, что теперь его никогда и никуда не отпустят. Изобьют рукоплесканиями до полусмерти. Он уснет сном ребенка и проснется, чтобы вновь говорить. Он подарит им всего Шекспира, всего Шоу, всего Мольера, каждый кусочек, крошку, клочок, обрывок. Себя — со всем своим репертуаром.

Он поднялся, чтобы закончить монолог.

Закончив, подумал: похороните меня! Засыпьте меня! Заойте меня поглубже!

С горы послушно низвергнулась лавина.

Кара Корелли обнаружила дворец зеркал.

Служанка осталась снаружи.

А Кара Корелли прошла внутрь.

Она шла сквозь лабиринт, и зеркала снимали с ее лица день, потом неделю, потом месяц, а потом и год, и два года.

Это был дворец замечательной, успокоительной лжи. Будто снова она молода, будто окружена множеством высоких веселых зеркальных мужчин, которые никогда в жизни не скажут ей правду.

Кара достигла центра дворца. Когда она остановилась, то в каждом из светлых зеркальных отражений увидела себя двадцатипятилетней.

Она опустилась на пол в середине светлого лабиринта. Огляделась со счастливой улыбкой.

Снаружи служанка подождала ее, быть может, час. И ушла.

Место было темное, контуры его и размеры оставались пока невидимы. Пахло сказочными маслами, кровью хищных ящеров с шестеренками и колесиками вместо зубов — ящеры залегли вразброс и молчаливо выжидали во мраке.

Исполнинская дверь скользнула с ленивым ревом, словно зверь хлестнул бронированным хвостом, и Паркхилл очутился в вихре густого маслянистого ветра. Ему почудилось, что кто-то внезапно приклеил к его скулам белый цветок. Но это была просто-напросто улыбка удивления.

Ничем не занятые руки, свисавшие плетью по бокам, вдруг сами собой рванулись вперед. Просительно повисли в воздухе. И, подгребая ими как веслами, он дал себя подтолкнуть в Гарраж, Ремонтный цех, Механическую мастерскую — или как там ее назвать.

Исполненный священного трепета, праведного и неправедного мальчишеского восторга, он вошел поглубже и осмотрелся.

Во все стороны, насколько хватал глаз, стояли машины.

Машины, бегающие по земле. Машины, летающие над землей. Машины, взобравшиеся на колеса и готовые ехать в любом направлении. Машины на двух колесах. Машины на трех, четырех, шести и восьми колесах. Машины, похожие на бабочек. Машины, напоминающие допотопные мотоциклы. Три тысячи машин выстроились шеренгой здесь, четыре тысячи поблескивали в готовности там. Тысяча пала ниц, сбросив ко-

леса, обнажив внутренности, моля о ремонте. Еще тысяча приподнялась на тонконогих домкратах, подставив взгляду свои прекрасные днища, свои диски, шестеренки и патрубки, изящные, хитроумные, заклинающие, чтобы к ним прикоснулись, развинтили, притерли, перемотали, аккуратненько смазали...

У Паркхилла зачесались руки.

Он шел и шел вперед, сквозь первобытные трясинные запахи масел, меж древних и все-таки новых механических динозавров, и чем дольше смотрел на них, тем острее ощущал на лице собственную улыбку.

Конечно, Город, как всякий город, до известной степени может поддерживать себя сам. Но рано или поздно редкостные бабочки, создания из стальных паутинок, сверхтонких смазок и пламенных грез, падают обратно на грунт. Машины, предназначенные для ремонта машин, ремонтирующих машины, старятся, заболевают и наносят себе увечья. А значит, нужен гараж чудовищ, сонное слоновье кладбище, куда алюминиевые драконы приползают в надежде, что останется хоть кто-то живой среди вороха могучего, но мертвого металла, кто-то, кто возьмется и все наладит опять. Единственный над всеми этими машинами властелин, способный изречь: «Ты, прокаженный подъемник, восстань! Ты, аппарат на воздушной подушке, родись вновь!..» И, помазав их животворными маслами, притронувшись к ним волшебным разводным ключом, властелин дарует им новую, почти вечную жизнь в воздушных потоках над стремительными, как ртуть, дорожками...

Паркхилл миновал девятьсот роботов и роботесс, убитых обычной коррозией. А ведь он мог бы излечить их...

Немедля! Если начать немедля, подумал Паркхилл, засучивая рукава и жадно глядя вдоль шеренги машин, вытянувшейся на целую милю, вдоль ангара с цехами, таями, лифтами, складами, баками масла и шрапнелью инструментов, разбросанных тут и там в ожидании, когда же он их схватит, если начать немедля, то он сможет добраться до конца гигантского, нескончаемого гаража, аварийной станции, ремонтной мастерской, пожалуй, лет за тридцать.

Затянуть миллиард болтов, покопаться в миллиарде двигателей! Полежать под миллиардом железных туш великовозрастным перемазанным сиротой — он будет здесь один, всегда один, один на один с навек прекрасными, никогда и ни в чем не перечасными, деятельно жужжащими устройствами, механизмами, чудодейственными приспособлениями...

Руки сами собой метнулись к инструментам. Он стиснул гаечный ключ. Нашел низкую сорокаколесную тележку. Лег

на нее ничком. Со свистом пронесся по гаражу. Тележка летела, тележка спешила...

Паркхилл исчез под исполинской машиной старозаветной конструкции.

Он исчез, но слышно было, как он копается в утробе машины. Лежа на спине, переговаривается с ней. И когда он шлепком пробудил наконец ее к жизни, машина заговорила в ответ.

Каждая из серебристых дорожек бежала куда-то.

Тысячи лет они бежали пустыми — только пыль неслась по ним к неведомым целям меж высоких уснувших стен.

Но вот на одну из таких дорожек ступил Эронсон и застыл, как старящаяся статуя.

И чем дальше он ехал, чем быстрее Город открывался его взору, чем больше зданий проносилось мимо, чем больше парков мелькало перед глазами, тем слабее и бледнее становилась его улыбка. Он невольно менялся в лице.

— Игрушка,— услышал он собственный шепот. Шепот был совсем старческим.— Еще одна...— голос его ослабел настолько, что почти пропал,— еще одна игрушка, и только...

Сверхигрушка, конечно. Но жизнь его была полным-полна игрушек с самого начала. Если не новый торговый автомат, то какой-нибудь иной чудо-ящик исполинских размеров или сверхсуперневероятный магнитостереокомбайн. Будто он всю жизнь орудовал наждаком по железу — и вот руки стерлись до култей. От пальцев остались одни бугорки. Да нет, и бугорков не осталось, ни ладоней, ни кистей. Эронсон, мальчик-тюлень! Бездумные его ласты аплодировали Городу, а Город-то, в сущности,— очередной музыкальный ящик, изрыгающий idiotские звуки. И — он узнает мотив! Милосердный Боже! Все тот же неотвязный мотив!..

На мгновение он прикрыл глаза.

Тайное веко души упало, как леденящая сталь.

Круто повернувшись, Эронсон вновь ступил в серебряные воды дорожек.

Нашел ту из них, которая понесла его вспять к Великим Вратам.

На пути он встретил служанку Корелли, потерянно бродившую по разливу серебристых стремнин.

Поэт и его жена — неумолчной своей перебранкой они будили эхо повсюду, куда бы их ни занесло. Оглушили тридцать проспектов, обрушили витрины двухсот магазинов, сорвали

листву с кустов и деревьев семидесяти пород и угомонились только тогда, когда голоса утонули в грохоте фонтана, вздымающегося в столичные выси как победный фейерверк.

— То-то и оно, — заявила жена поэта в ответ на его очередную грубость, — ты и сюда поперся лишь затем, чтобы вцепиться в первую женщину, какая тебе подвернется, и окатить ее зловонным своим дыханием и дрянными стихами. — Поэт ругнулся вполголоса. — Ты хуже, чем актер. И всегда в одной роли. Да замолчишь ли ты хоть когда-нибудь?

— А ты? — вскричал он. — Бог мой, я совсем уже прокис от тебя! Придержи язык, женщина, не то я брошусь в фонтан!

— Ты? Ну уж нет. Ты сто лет не мылся. Ты величайшая свинья века. Твой портрет украсит ближайший выпуск календаря для свинопасов...

— Знаешь, с меня хватит!..

Хлопнула дверь.

Пока жена соскочила с дорожки, побежала назад и забарабанила в дверь кулаками, та уже оказалась заперта.

— Трус! — визжала жена. — Открой!

В ответ глухо аукнулось нецензурное слово.

— Ах, прислушайся к этой сладостной тишине! — шепнул он себе в неоглядной скорлупе полутьмы.

Харпуэлл очутился в убаюкивающе громадном чревоподобном зале, над которым парил свод чистой безмятежности, беззвездная пустота.

В середине зала, в центре круга диаметром двести футов, стояло некое устройство, стояла машина. В машине были шкалы, реостаты и переключатели, сиденье и рулевое колесо.

— Что же это за машина? — шепнул поэт, но подобрался поближе и нагнулся пощупать. — Именем Христа, сошедшего с Голгофы и несущего нам милосердие, чем она пахнет? Снова кровью и потрохами? Но нет, она чиста, как рубашка девственницы. И все же запах. Запах насилия. Разрушения. Чувствую — проклятая туша дрожит, как нервный породистый пес. Она набита какими-то штуками. Ну что ж, попробуем приложиться...

Он сел в машину.

— С чего же начнем? Вот с этого?

Он шелкнул тумблером.

Машина заскулила, как собака Баскервиллей, потревоженная во сне.

— Хорош зверюга... — Он шелкнул другим тумблером. — Как ты передвигаешься, скотина? Когда твоя начинка включена вся,

полностью, тогда что? Колес-то у тебя нет. Ну что ж, удиви меня. Я рискну...

Машина вздрогнула.

Машина рванулась.

Она побежала. Она понеслась.

Он вцепился в руль.

— Боже праведный!..

Он был на шоссе и мчался во весь дух.

Ветер свистел в ушах. Небо блистало переливающимися красками.

Спидометр показывал семьдесят, а потом и восемьдесят миль в час.

А шоссе впереди извивалось лентой, мерцало ему навстречу. Невидимые колеса шлепали и подпрыгивали по все более неровной дороге.

На горизонте показалась другая машина.

Она тоже шла быстро. И...

— Да она же не по той стороне едет! Ты видишь, жена? Не по той стороне!..

Потом он сообразил, что жены с ним нет.

Он был один в машине, которая мчалась — уже со скоростью девяносто миль в час — навстречу другой машине, несущейся с не меньшей скоростью.

Он рванул руль.

Машина вильнула влево.

Тотчас же другая машина повторила его маневр и перешла на правую сторону.

— Идиот, дубина, что он себе думает? Где тут чертов тормоз?

Он пошарил ногой по полу. Тормоза не было. Вот уж истине диковинная машина! Машина, которая мчится с какой угодно скоростью и не останавливается до тех пор, пока — что? Пока не выдохнется? Тормоза не было. Не было ничего, кроме все новых акселераторов. Кроме целого ряда круглых педалей на полу — он давил на них, а они вливали в мотор новые силы.

Девяносто, сто, сто двадцать миль в час.

— Господи! — воскликнул он. — Мы же сейчас столкнемся! Как тебе это понравится, малышка?..

И в самый последний момент перед столкновением он представил себе, что ей это таки здорово понравится.

Машины столкнулись. Вспыхнули бесцветным пламенем. Разлетелись на осколки. Покатались кувырком. Он ощутил, как его швырнуло влево, вправо, вверх, вниз. Он стал фак-

лом, подброшенным в небо. Руки его и ноги исполнили на лету сумасшедший танец, а кости, словно мятные палочки, крошились в хрупком, мучительном экстазе. И, оседлав смерть как темную лошадку, извиваясь в ее стремени, он упал в мрачном изумлении обратно и погрузился в небытие.

Он лежал мертвый.

Он лежал мертвый долго-долго.

Наконец он приоткрыл один глаз.

В душе медленно разливалось тепло. Будто пузырек за пузырьком поднимался к поверхности сознания, и там заваривался свежий чай.

— Я мертв,— сказал он,— но живой. Ты видела это, жена? Мертв, но живой...

Оказалось, что он сидит, выпрямившись, в машине.

И он сидел так минут десять, размышляя, что же с ним произошло.

— Смотри-ка ты,— размышлял он вслух.— Ну не интересно ли? Чтобы не сказать — восхитительно? Чтобы не сказать — почти пьяняще? То есть да, дух из меня вышибло, напугало до чертиков, стукнуло под ложечку и вырвало кишки, поломало кости и вытрясло мозги — и однако... И однако, жена, и однако, дорогая моя Мэг, Мэгги, Мигэн, хотелось бы мне, чтобы ты была здесь со мной,— может, выбило бы весь табачный деготь из твоих запакошенных легких и вытряхнуло бы замшелую кладбищенскую подлость из души твоей. Дай-ка мне тут оглядеться, жена. Дай-ка он оглядится тут, Харпуэлл, твой муж, поэт...

Он склонился над приборами.

Он запустил гигантскую собаку-двигатель.

— Рискнем еще чуток развлечься? Еще раз выйти в бой, как на пикник? Рискнем...

И он тронул машину с места.

И почти тотчас же она понеслась со скоростью сто, а затем и сто пятьдесят миль в час.

Почти сразу же впереди показалась встречная машина.

— Смерть,— сказал поэт.— Значит, ты всегда начеку? Значит, ты тут и околачиваешься? Тут твои охотничьи угодья? Ладно, испытаем твой характер...

Машина неслась. Встречная мчалась.

Он переехал на другую сторону.

Встречная последовала его примеру, нацеленная на Разрушение.

— Ага, понятно, ну тогда вот тебе,— сказал поэт.

И шелкнул еще одним тумблером, и нажал еще один дроссель.

За миг перед ударом обе машины преобразились. Прорвав покровы иллюзий, они превратились в реактивные самолеты на старте. Оба самолета с воем выстреливали пламя, раздирали воздух, колошматили его взрывами, устремляясь сквозь звуковой барьер к самому могучему из барьеров — и, как две столкнувшиеся пули, сплывались, слились, смешались кровью, сознанием и мраком и пали в сети непостижимой безмятежной полуночи.

«Я мертв,— подумал он снова.— И это прекрасное чувство. Спасибо».

Он очнулся и понял, что улыбается.

Он сидел в машине.

«Дважды умер,— подумал он,— и с каждым разом мне лучше и лучше. Почему? Не странно ли? Чуднее и чуднее, как говаривала Алиса в Стране чудес. Странно сверх всякой странности...»

Он запустил мотор.

— Двигается ли она на самом деле? — спросил он себя.— А черный пыхтящий паровик из почти доисторических времен — это она умеет?

И вот он уже в пути, машинистом. Небо мелькает сверху, и киноэкраны или что там еще наваливаются чередой видений: дым струится, пар висит над свистком, огромные колеса катятся по скрежещущим рельсам, и рельсы змеятся впереди через горы, и вдалеке из-за гор выныривает другой поезд, черный, как стадо бизонов, и, изрыгая клубы дыма, несется по тем же рельсам, по тому же пути навстречу дивной аварии.

— Я понял,— сказал поэт.— Начинаю понимать. Начинаю осознавать, что это и зачем. Это для таких, как я, жалких, бездомных идиотов, обиженных, едва мама вытолкнула их на свет, помешавшихся на разрушении и христианском комплексе личной вины, собирающих, как подаяние, то шрам, то рану, то нескончаемые упреки жены, но одно точно: мы хотим умереть, мы хотим быть убитыми. Так вот же оно, то, чего мы жаждем, выплата незамедлительно, прямо на месте! Валяй, машина, выплачивай! Выдавай свои чеки, упоительное, бредовое изобретение! Насилуй меня, смерти! Я создан для тебя!..

И два паровоза сошлись и вскарабкались друг на друга. Влезли на мрачную лестницу взрыва и завертелись, сомкнув шатуны, и слиплись гладкими негритянскими животами, и соприкоснулись котлами, и красочно раскололи ночь вихревым шквалом осколков и пламени. А затем сплелись в изнурительном, неуклюжем танце, сплывались в ярости и страсти, по-

клонились чудовишным поклоном и свалились в пропасть — и тысячу лет падали на ее каменистое дно.

Очнувшись, он сразу же схватился за рычаги управления. Ошеломленный, напевал себе что-то вполголоса. Выводил дикие мелодии. Глаза сверкали. Сердце истступленно билось.

— Еще, еще, теперь я все понял, я знаю, что делать, еще, еще, прошу тебя, Господи, еще, ибо правда даст мне свободу, еще, еще!..

Он нажал одновременно на три, четыре, пять педалей.

Он шелкнул шестью тумблерами.

Машина стала гибридом автомобиля, самолета, паровоза, планера, снаряда, ракеты.

Гибрид катился, извергал пар, рычал, реял, летел. Мчались навстречу автомобили. Набегали паровозы. Взвивались самолеты. Выли ракеты.

В едином сумасшедшем трехчасовом гульбище он разбил две сотни машин, взорвал два десятка поездов, сбил десять планеров, протаранил сорок ракет и наконец где-то в космических даях отдал свою славную душу в последней торжественной самоубийственной церемонии, когда межпланетный корабль на скорости двести тысяч миль в час столкнулся с метеоритом и пошел распрекрасно ко всем чертям.

Всего, по собственным его подсчетам, он за несколько коротких часов был разорван на куски и снова слеплен в одно целое немногим менее пятисот раз.

Когда все кончилось, он полчаса сидел, не притрагиваясь к рулю, не прикасаясь к педалям.

Через полчаса он начал смеяться. Закинув голову, он издавал оглушительные, воинственные, трубные клики. Потом поднялся, тряся головой и качаясь, более пьяный, чем когда-либо в жизни, на сей раз действительно пьяный, — и понял, что пребудет теперь в таком состоянии до гробовой доски и никогда больше не испытает потребности выпить.

«Я понес наказание, — подумал он, — наконец-то я понес настоящее наказание. Наконец-то я избит и изранен, так избит и изранен, что никогда более не понадобится мне боль, никогда не понадобится быть умерщвленным снова, оскорбленным еще раз, еще раз раненным, не понадобится даже испытать простую обиду. Благослови, Боже, гений человеческий — и гений изобретателей таких машин, которые позволяют виновному искупить вину и избавиться от черного альбатроса, от страшного груза на шее. Спасибо тебе, Город, спасибо, чертежник, готовивший кальки с мятущихся душ. Благодарю тебя. Где же тут выход?..»

Открылась раздвижная дверь.

За дверью его поджидала жена.

— Ну вот и ты, — сказала она. — И все еще пьян.

— Нет, — ответил он. — Мертв.

— Пьян.

— Мертв, — повторил он. — Наконец-то блистательно мертв.

Ты не нужна мне больше, бывшая Мэг, Мэгги, Мигэн. Ты тоже свободна теперь, ты и твоя нечистая совесть. Иди, малышка, преследуй кого-нибудь другого. Иди, казни его. Прощаю тебе твои грехи против меня, ибо я наконец простил себя. Я вырвался из христианской ловушки. Я стал привидением — я умер и потому наконец могу жить. Иди, женщина, и поступи, как я. Войди, понеси наказание и обрети свободу. Честь имею, Мэг. Прощай. Будь!..

Он побрел прочь.

— Куда же ты? — закричала она.

— Как «куда»? Туда, в жизнь, в полнокровную жизнь, — счастливый, наконец-то счастливый...

— Вернись сейчас же! — взвизгнула она.

— Невозможно остановить мертвых: они странствуют по вселенной, беспечные, как дети на темном лугу...

— Харпуэлл! — взревела она. — Харпуэлл!..

Но он уже ступил на реку серебристого металла, чтобы та несла его, смеющегося, пока на щеках не заблестят слезы, все дальше от крика, и визга, и рева той женщины — как же ее зовут? — неважно, она там, сзади, и нет ее.

Когда он достиг врат, то вышел на волю и пошел вдоль канала среди ясного дня, направляясь к дальним городам.

К тому времени он распевал старые-престарые песни, те, какие знал, когда ему было лет шесть.

Это была церковь.

Нет, не церковь.

Уайлдер отпустил дверь, и она затворилась.

Он стоял один в соборной тишине и чего-то ждал.

Крыша, если вообще была крыша, приподнялась и взмыла вверх, недосыгаемая, невидимая.

Пол, если вообще был пол, ощущался лишь твердью под ногами. И тоже был совершенно невидим.

А затем появились звезды. Как в детстве, в тот первый вечер, когда отец повез его за город, на холм, где фонари не могли сократить размеры вселенной. И во тьме горела тысяча, нет, десять тысяч, нет, десять миллионов миллиардов звезд. Звезды были такие разные, яркие — и безразличные. Уже тогда он понял: им все равно. Дышу ли я, страдаю ли, жив ли, мертв

ли — им все равно. И он уцепился за руку отца и сжимал ее изо всех силенок, будто мог упасть туда, вверх, в бездну.

И вот здесь, в этом здании, он вновь испытал тот же страх, и то же чувство прекрасного, и ту же невыносимую жалость к человечеству. Звезды наполняли душу состраданием к маленьким людишкам, затерянным в этой безбрежности.

Потом произошло еще что-то.

Под ногами у него разверзлась такая же пропасть, и еще миллиард искорок вспыхнул внизу.

Он был подвешен, как муха, на огромной телескопической линзе. Он шел по волнам пространства. Он стоял на прозрачности исполинского ока, а вокруг простиралась зимняя ночь — и под ногами, и над головой, и во все стороны не осталось ничего, кроме звезд.

Значит, в конце концов, это была все-таки церковь. Это был храм, вернее, множество разбросанных по вселенной храмов: вон там поклоняются туманности Конская голова, там галактике в Орионе, а там Андромеда, как чело Бога, хмурится устрашающе, буравит сырую черную сущность ночи, норовя впитаться ему в душу и пронзить ее, загнать в корчах на дальние задворки тела.

Бог взирал на него отовсюду безвекими, немигающими глазами.

А он, ничтожная клетка плоти, отвечал Богу взглядом в упор и лишь чуть-чуть вздрогнул.

Он ждал. И из пустоты выплыла планета. Обернулась разок вокруг оси, показав свое большое, спелое, как осень, лицо. Сделала виток и прошла под ним.

И оказалось, что он стоит на земле далекого мира, где растут огромные сочные деревья и зеленеет трава, где воздух свеж и река струится, как реки детства, поблескивая солнцем и прыгающими рыбками.

Он знал: чтобы достичь этого мира, пришлось лететь долго, очень долго. За его спиной лежала ракета. За его спиной лежали сто лет пути, затяжного сна, ожидания — и вот награда.

— Мое? — спросил он у бесхитростного воздуха, у простодушной травы, у медлительной, скромной воды, что петляла мимо по песчаным отмелям.

И мир без слов ответил: твое.

Твое — без долгих скитаний и скуки, твое — без девяности девяти лет полета, без сна в специальных камерах, без внутривенного питания, без кошмарных снов о Земле, утраченной навсегда, твое — без мучений, без боли, твое — без проб и ошибок, неудач и потерь. Твое — без пота и без страха. Твое — без ливня слез. Твое. Твое!..

Но Уайлдер не протянул рук, чтобы принять дар.

И солнце померкло в чужом небе.

И мир уплыл из-под ног.

И другой мир поплыл и провел парадом еще более яркие чудеса.

И этот мир точно так же волчком подкатился ему под ноги. И луга здесь, пожалуй, были еще сочнее, на горах лежали шапки талых снегов, неоглядные нивы зрели невысказанными урожаями, а у кромки нив ждали косы, умоляющие, чтобы он их поднял, и взмахнул плечом, и сжал хлеб, и прожил здесь жизнь так, как только захочет.

Твое. Самое дуновение ветерка, прикосновение воздуха к чуткому уху говорили ему: твое.

Но Уайлдер, даже не качнув головой, отступил назад. Он не произнес «нет». Он лишь подумал: «Отказываюсь».

И травы увяли на лугах.

Горы осыпались.

Речные отмели затянула пыль.

И мир отпрянул.

И вновь Уайлдер стоял наедине с пространством, как стоял Бог-отец перед сотворением мира из хаоса.

И наконец он заговорил и сказал себе:

— Как это было бы легко! Черт возьми, это было бы здорово! Ни работы, ничего, знай себе бери. Но... вы не в силах дать мне то, что мне нужно...

Он бросил взгляд на звезды.

— Даром не достается ничего. Никогда...

Звезды начали тускнеть.

— Все, в сущности, просто. Сначала надо заработать. Надо заслужить...

Звезды затрепетали и погасли.

— Премного благодарен, но спасибо, нет...

Звезд не стало.

Он повернулся и, не оглядываясь, зашагал сквозь темноту. Ударил ладонью в дверь. Вышел в Город.

Он не слышал, как вселенная-автомат за его спиной заголосила, забила в рыданиях и обидах, словно женщина, которой пренебрегли. В исполинской роботовой кухне полетела посуда. Но когда посуда грохнулась на пол, Уайлдер уже исчез.

Охотник попал в музей оружия.

Прошелся между стендами.

Открыл одну из витрин и взвесил на руке нечто, похожее на усики паука.

Усики загудели, из дула вырвался рой металлических пчел, они ужалили цель — манекен ярдах в пятидесяти — и упали за-
мертво, зазвенев по полу.

Охотник кивнул восхищенно и положил нечто обратно в витрину.

Крадучись двинулся дальше, зачарованный как дитя, пробуя на удачу то одно оружие, то другое: выстрелы растворяли стекло, заставляли металл растекаться ярко-желтыми лужицами расплавленной лавы.

— Отлично! Замечательно! Просто великолепно! — вновь и вновь восклицал он, с грохотом открывая и закрывая витрины, пока наконец не выбрал себе ружье.

Ружье, которое спокойно и беззлобно уничтожало материю. Достаточно нажать кнопку — мгновенная вспышка синего света, и цель обращается в ничто. Ни крови. Ни яркой лавы. Никакого следа.

— Ладно, — объявил он, покидая музей, — оружие у нас есть. Теперь как насчет дичи? Где ты, Великий Зверь Большой Охоты?

Он прыгнул на движущийся тротуар.

За час он промчался мимо тысячи зданий, окинул взглядом тысячу парков, а палец даже ни разу не зачесался.

Смятенный, он перепрыгивал с ленты на ленту, меняя скорости и направления, бросался то туда, то сюда, пока не увидел реку металла, устремляющуюся под землю.

Не задумываясь, кинулся к ней.

Металлический поток понес его в сокровенное чрево столицы.

Здесь царила теплая, кровавая полутьма. Здесь диковинные насосы заставляли биться пульс Диа-Сао. Здесь перегонялись соки, смазывающие дороги, поднимающие лифты, наполняющие движением конторы и магазины.

Охотник застыл, пригнувшись. Глаза прищурились. Ладони взмокли. Курковый палец заскользил, прижимаясь к ружью.

— Да, — прошептал он. — Видит Бог, пора. Вот оно! Сам Город — вот он, Великий Зверь! Как же я до этого раньше не додумался? Город — чудовище, отвратительный хищник. Пожирает людей на завтрак, на обед и на ужин. Убивает их машинами: Перемалывает им кости, как сдобные булочки. Выплевывает, как зубочистки. И продолжает жить сотни лет после их смерти. Город, видит Бог, Город! Ну что ж...

Он плыл по тусклым гrotтам телевизионных очей, которые показывали оставшиеся наверху аллеи и здания-башни.

Все глубже и глубже погружался он вместе с рекой в недра подземного мира. Миновал стаю вычислительных устройств,

стрекочущих маниакальным хором. Поневоле вздрогнул, когда какая-то гигантская машина осыпала его бумажным конфетти, как шелестящим снегом,— что, если эти дырки на перфокарте выбиты, чтобы зарегистрировать его прохождение?..

Поднял ружье. Выстрелил.

Машина растаяла.

Выстрелил снова. Ажурный каркас, поддерживающий другую машину, обратился в ничто.

Город вскрикнул.

Сперва басом, потом фальцетом, а затем голос Города стал подниматься и опускаться как сирена. Замелькали огни. Звонки зазвонили тревогу. Металлическая река у него под ногами задрожала и замедлила бег. Он стрелял в телеэкраны, уставившиеся на него враждебными бельмами: Экраны туманились и исчезали.

Город кричал все пронзительнее, кричал, пока охотник сам не разразился проклятиями и не стряхнул с себя этот безумный крик, словно зловещий прах.

Он не замечал, вернее, заметил, но слишком поздно, что дорога, по которой он мчался, низвергается в голодную пасть машины, исполнявшей какую-то позабытую функцию множество веков назад.

Он решил, что, нажав на спуск, заставит ужасную пасть растаять. И она действительно растаяла. Но дорожная лента неслась, как прежде,— он пошатнулся и упал, а она побежала еще быстрее, и тогда он сообразил наконец, что его оружие вовсе не уничтожает цель, а лишь делает ее невидимой, и пасть осталась как была, только он ее больше не воспринимал.

Он испустил отчаянный крик, под стать крику Города. Диким рывком отшвырнул ружье. Оно полетело в шестерни, в колеса и зубья и было там перемолото и смято.

Последнее, что он увидел,— глубочайший ствол шахты, уходящей вниз на целую милю.

Он знал, что пройдет минуты две, не меньше, прежде чем он достигнет дна.

Хуже всего то, что он останется в сознании. В полном сознании до самого конца падения.

Реки всколыхнулись. Серебристую их поверхность покрыла рябь. Дорожки ошеломленно хлынули на свои исконные железные берега.

Уайлдера чуть не бросило навзничь.

Что вызвало сотрясение, он видеть не мог. Пожалуй, откуда-то издали донесся крик, отзвук ужасного крика, который тут же и смолк.

Он двинулся дальше. Серебристая лента по-прежнему ползла вперед. Но Город, казалось, вздыбился с разверстой пастью. Город весь напрягся. Исполинские, неисчислимые его мышцы напряжились, готовясь — к чему?..

Уайлдер почувствовал растущее напряжение и — мало того, что дорожка несла его, — зашагал по ней сам.

— Слава Богу! Вот и Врата. Чем скорее я вырвусь отсюда, тем...

Врата действительно были на месте, менее чем в ста ярдах. Но в тот же миг, будто услышав его слова, река остановилась. Река встрепенулась. И поползла в обратном направлении, туда, куда он вовсе не хотел возвращаться.

Озадаченный, Уайлдер резко повернулся, споткнулся и упал. Попробовал ухватиться за поверхность стремительного тротуара. Лицо его оказалось прижатым к решетчатой трепещущей реке-дорожке, и он расслышал гул и скрежет подземных механизмов, их гул и стон, их вечное движение, вечную готовность принять путешественников и бездельников-туристов. Под покровом невозмутимого металла жужжали и жалили выстроившиеся в боевые порядки шершни, а пчелы, напротив, не находили целей, гудели и затихали. Уайлдер был распростерт ничком и мог лишь наблюдать, как Врата остаются далеко позади. Что-то прижимало его к тротуару, и он вдруг вспомнил: на спину давит реактивный ранцевый двигатель, способный дать ему крылья.

Он рванул выключатель у пояса. И в то мгновение, когда река уже почти унесла его в море гаражных и музейных стен, поднялся в воздух.

Взлетев, он завис на месте, потом поплыл назад и заметил Паркхилла, который случайно глянул вверх и улыбнулся измазанными щеками. Дальше, у самых Врат, топталась перепуганная служанка. Еще дальше, на пристани возле яхты, стоял, нарочито спиной к Городу, Эронсон — богач нервничал, ему не терпелось отчалить.

— Где остальные? — крикнул Уайлдер.

— Остальные не вернуться, — отозвался Паркхилл непринужденно. — Оно и понятно, не правда ли? То есть я хотел сказать — место ничего себе...

— Ничего себе! — повторил Уайлдер, покачиваясь в воздушных потоках и беспокойно осматриваясь. — Нужно их всех вывести. Здесь небезопасно.

— Если нравится — безопасно, — ответил Паркхилл. — Мне лично нравится...

А между тем на них со всех сторон надвигалась гроза, только Паркхилл предпочитал не замечать ее приближения.

— Вы, конечно, уходите,— произнес он самым обыденным тоном.— Я так и знал. Но зачем уходить?

— Зачем? — Уайлдер описывал круги, как стрекоза перед первым ударом шторма. Капитана кидало то вверх, то вниз, а он швырял словами в Паркхилла, который и не думал уклоняться и с улыбкой принимал все, что слышал.— Да черт возьми, Сэм, это место — ад! У марсиан хватило ума убраться отсюда. Сообразили, что понапихали сюда всего сверх всякой меры. Проклятый Город делает за вас все, а все — это уже чересчур. Опомнись, Сэм!..

Но в этот момент оба они оглянулись, подняли глаза. Небо сжималось, как раковина. Над головой сходились чудовищные жалюзи. Верхушки зданий стягивались, сближались краями, как лепестки гигантских цветов. Окна затворялись. Двери захлопывались. По улицам перекатывалось гулкое пушечное эхо.

С громовым рокотом закрывались Врата. Двойные их челюсти смыкались, дрожа.

Уайлдер вскрикнул, развернулся и рванулся в пике.

Снизу донесся голос служанки. Она тянула к нему руки. Снизившись, он подхватил ее. Лягнул воздух. Реактивная струя подняла их обоих.

Он ринулся к воде, как пуля к мишени. Но за секунду до того, как ему, перегруженному, удалось достичь цели, челюсти с лязгом сомкнулись. Едва успев изменить курс, он взмыл вверх по стене заскорюзлого металла,— а позади Город, весь Город сотрясаясь в грохоте стали.

Где-то внизу пропищал что-то Паркхилл. А Уайлдер летел вверх и вверх, озираясь по сторонам. Небо сворачивалось. Лепестки сближались, сближались. Уцелел лишь единственный клочок каменного свода справа. Уайлдер рванулся туда. Отчаянным усилием проскочил на свободу — и тут последний фланец, щелкнув, встал на место, и Город полностью замкнулся в себе.

На миг капитан притормозил и завис, затем начал спускаться вдоль внешней стены к пристани, где Эронсон все стоял возле яхты, уставившись на запертые Врата.

— Паркхилл,— сказал Уайлдер чуть слышно, окидывая взглядом Город, вернее, Врата и стены.— Ну и дурак же ты! Круглый дурак...

— Все они хороши,— поддержал капитана Эронсон, отворачиваясь.— Дурачье! Глупцы!..

Они подождали еще немного, прислушиваясь к гулу Города, живущего своей жизнью. Алчная пасть Диа-Сао поглотила

несколько атомов теплоты, несколько крошечных людишек затерялись там внутри. Теперь Врата пребудут запертыми во веки веков. Хищник получил то, что ему требовалось, и этой пищи ему теперь хватит надолго...

Яхта вынесла их по каналу из-под гребня горы, а Уайлдер все смотрел и смотрел назад, туда, где остался Город.

Милей дальше они нагнали бредущего бережком поэта. Поэт помахал им рукой:

— Нет-нет! Спасибо, нет. Мне хочется пройтись. Чудесный денек. До свидания. Плывите на здоровье...

Впереди лежали города. Маленькие города. Достаточно маленькие, чтобы люди управляли ими, а не они управляли людьми. Уайлдер уловил звуки духового оркестра. В сумерках различил неоновые огни. В свете звездной ночи разглядел свалку мусора.

А над городом высились серебряные ракеты, поджидающие, когда же их наконец запустят и направят к пустыням звезд.

— Настоящие, — шептали ракеты, — мы — настоящие. Настоящий полет. Пространство и время — все настоящее. Никаких подарков судьбы. Ничего задаром. Каждая мелочь — ценной настоящего, тяжелого труда...

Яхта причалила к той же пристани, откуда начала плавание.

— Ну, ракеты, — прошептал Уайлдер в ответ, — погодите, вот доберусь я до вас...

И побежал в ночь. Туда, к ним.

Здесь могут водиться тигры

— Надо бить планету ее же оружием, — сказал Чаттертон. — Ступите на нее, распорите ей брюхо, отравите животных, запрудите реки, стерилизуйте воздух, протараньте ее, поработайте как следует киркой, заберите руду и пошлите ко всем чертям, как только получите все, что хотели получить. Не то планета жестоко отомстит вам. Планетам доверять нельзя. Все они разные, но все враждебны нам и готовы причинить вред, особенно такая отдаленная, как эта, — в миллиарде километров от всего на свете. Поэтому нападайте первыми, сдирайте с нее шкуру, выгребайте минералы и удирайте живее, пока эта окаянная планета не взорвалась вам прямо в лицо. Вот как надо обращаться с ними.

Ракета садилась на седьмую планету 84-й звездной системы. Она пролетела много миллионов километров. Земля находилась где-то очень далеко. Люди забыли, как выглядит земное Солнце. Их Солнечная система была уже обжита, изучена, использована, как и другие, обшаренные вдоль и поперек, выдоенные, укрошенные, и теперь звездные корабли крошечных человечков — жителей невероятно отдаленной планеты — исследовали новые далекие миры. За несколько месяцев, за несколько лет они могли преодолеть любое расстояние, ибо скорость их ракет равнялась скорости самого Бога, и вот сейчас, в десяти тысячный раз, одна из таких ракет — участниц этой охоты за планетами — опускалась в чужой, неведомый мир.

— Нет,— ответил капитан Форестер.— Я слишком уважаю другие миры, чтобы обращаться с ними по вашему методу, Чаттертон. Благодарение Богу, грабить и разрушать — не мое дело. К счастью, я только астронавт. Вот вы — антрополог и минералог. Что ж, действуйте — копайте, забирайтесь в недра и скоблите. А я буду только наблюдать. Я буду бродить и смотреть на этот новый мир, каким бы он ни был, каким бы он ни казался. Я люблю смотреть. Все астронавты любят смотреть, иначе они бы не были астронавтами. Если ты астронавт, тебе нравится вдыхать новые запахи, видеть новые краски и новых людей. Впрочем, существуют ли еще они — новые люди, новые океаны и новые острова?

— Не забудьте захватить с собой револьвер,— посоветовал Чаттертон.

— Только в кобуре,— ответил Форестер.

Оба они взглянули в иллюминатор и увидели целое море зелени, поднимавшееся навстречу кораблю.

— Интересно бы узнать, что эта планета думает о нас,— заметил Форестер.

— Меня-то она невзлюбит,— заявил Чаттертон.— И уж я, черт возьми, позабочусь о том, чтобы заслужить эту нелюбовь. Плевать я хотел на всякие там тонкости. Деньги — вот то, ради чего я прилетел сюда. Давайте высадимся здесь, капитан. Мне кажется, здешняя почва полна железа, если я хоть что-нибудь в этом смыслею.

Зелень была удивительно свежая — такой они видели ее разве только в детстве.

Озера, словно голубые капли, лежали меж отлогих холмов. Не было ни шумных шоссе, ни рекламных щитов, ни городов. «Какое-то бесконечное зеленое поле для гольфа,— подумал Форестер.— Гоня мяч по этой зеленой траве, можно пройти десятки тысяч километров в любом направлении и все-таки не кончить игры. Планета, созданная для отдыха, огромная кро-

кетная площадка, где можно целый день лежать на спине, полукрыв глаза, покусывать стебелек кашки, вдыхать запах травы, улыбаться небу и наслаждаться вечным праздником, вставая лишь для того, чтобы перелистать воскресный выпуск газеты или с треском прогнать через проволочные ворота деревянный шар с красной полоской».

— Если бывают планеты-женщины, то это — одна из них!

— Женщина — снаружи, мужчина — внутри, — возразил Чаттертон. — Там, внутри, все твердое, все мужское — железо, медь, уран, антрацит. Не поддавайтесь чарам косметики, Форестер, она одурчит вас.

Он подошел к бункеру, где хранился Почвенный Бур. Его огромный винтовой наконечник блестел, отсвечивая голубым, готовый вонзиться в почву и высосать пробы на глубине двадцати метров, а то и глубже — забраться поближе к сердцу планеты. Чаттертон кивком головы указал на Бур:

— Мы ее продырявим, вашу женщину, Форестер, мы продырявим ее насквозь.

— В этом я не сомневаюсь, — спокойно ответил Форестер.

Корабль пошел на посадку.

— Здесь слишком зелено, слишком уж мирно, — сказал Чаттертон. — Мне это не нравится. — Он обернулся к капитану: — Мы выйдем с оружием.

— С вашего разрешения, распорядиться здесь буду я.

— Конечно. Но моя компания вложила в эти механизмы огромный капитал — миллионы долларов, и наш долг — обезопасить эти деньги.

Воздух на новой планете — седьмой планете 84-й звездной системы — был прекрасный. Дверца распахнулась. Люди вышли друг за другом и оказались в настоящей оранжерее.

Последним вышел Чаттертон с револьвером в руке.

В тот момент, когда он ступил на зеленую лужайку, земля дрогнула. По траве пробежал трепет. Загромыхало в отдаленном лесу. Небо покрылось облаками и потемнело. Астронавты внимательно смотрели на Чаттертона.

— Черт побери, да это землетрясение!

Чаттертон сильно побледнел. Все засмеялись.

— Вы не понравились планете, Чаттертон!

— Чепуха!

Наконец все стихло.

— Но когда выходили мы, никакого землетрясения не было, — возразил капитан Форестер. — Очевидно, ваша философия пришла к планете не по душе.

— Совпадение! — усмехнулся Чаттертон. — Пошли обратно. Я хочу вытащить Бур и через полчаса взять несколько проб.

— Одну минутку! — Форестер уже не смеялся. — Прежде всего мы должны осмотреть местность, убедиться, что здесь нет враждебных нам людей или животных. А кроме того, не каждый год натыкаешься на такую планету. Уж очень она хороша! Надеюсь, вы не будете возражать, если мы прогуляемся и посмотрим ее.

— Согласен. — Чаттертон присоединился к остальным. — Только давайте поскорее покончим с этим.

Они оставили у корабля охрану и зашагали по полям и лугам, взбираясь на отлогие холмы, спускаясь в неглубокие долины. Словно ватага мальчишек, которые вырвались на простор в чудеснейший день самого прекрасного лета и самого замечательного за всю историю человечества года, разгуливали они по лужайкам. Так приятно было бы поиграть здесь в крокет, и, пожалуй, если бы хорошенько прислушаться, можно было бы услышать шорох деревянного мяча, прошелестевшего в траве, звон от его удара по железным воротцам, приглушенные голоса мужчин, внезапный всплеск женского смеха, донесшийся из какой-нибудь тенистой, увитой плющом беседки, и даже потрескивание льда в кувшине с водой.

— Эй! — крикнул Дрисколл, один из самых молодых членов экипажа, с наслаждением вдыхая воздух. — Я прихватил с собой все для бейсбола. Не сыграть ли нам попозже? Ну что за прелесть!

Мужчины тихо засмеялись. Да, что и говорить, это был самый лучший сезон для бейсбола, самый подходящий ветерок для тенниса, самая удачная погода для прогулок на велосипеде и сбора дикого винограда.

— А что, если бы нам пришлось скосить все это? — спросил Дрисколл.

Астронавты остановились.

— Так я и знал: тут что-то неладно! — воскликнул Чаттертон. — Взгляните на траву. Она скошена совсем недавно!

— А может, это какая-нибудь разновидность дикондры? Она всегда короткая.

Чаттертон сплюнул прямо на зеленую траву и растер плевком сапогом.

— Не нравится, не нравится мне все это. Если с нами что-нибудь случится, на Земле никто ничего не узнает. Нелепый порядок: если ракета не возвращается, мы никогда не посылаем вторую, чтобы выяснить причину.

— Вполне естественно, — сказал Форестер. — Мы не можем вести бесплодные войны с тысячами враждебных миров. Каждая ракета — это годы, деньги, человеческие жизни. Мы не можем позволить себе рисковать двумя ракетами, если один полет уже

доказал, что планета враждебна. Мы летаем на мирные планеты. Вроде вот этой.

— Я часто задумываюсь о том, — заметил Дрисколл, — что случилось с исчезнувшими экспедициями, посланными в те миры, куда мы больше не пытаемся попасть.

Чаттертон пристально смотрел на дальний лес.

— Они были расстреляны, уничтожены, зажарены. Что может случиться и с нами в любую минуту. Пора возвращаться и приступать к работе, капитан.

Они стояли на вершине небольшого холма.

— Какое дивное ощущение! — произнес Дрисколл, взмахнув руками. — А помните, как мы бегали, когда были мальчишками, и как нас подгонял ветер? Словно за плечами выросли крылья. Бывало, бежишь и думаешь: вот-вот полечу. И все-таки этого никогда не случалось.

Мужчины остановились, охваченные воспоминаниями. В воздухе пахло цветочной пылью и капельками недавнего дождя, быстро высохшими на миллионах былинки.

Дрисколл пробежал несколько шагов.

— О Господи, что за ветерок! Ведь, в сущности, мы никогда не летаем по-настоящему. Мы сидим в толстой металлической клетке, но ведь это же не полет. Мы никогда не летаем, как летают птицы, сами по себе. А как чудесно было бы раскинуть руки вот так... — Он распростер руки. — И побежать... — Он побежал вперед, сам смеясь своей нелепой фантазии. — И полететь! — вскричал он.

И полетел.

Время молча бежало на часах людей, стоявших внизу. Они смотрели вверх. И вот с неба донесся взрыв неправдоподобно счастливого смеха.

— Велите ему вернуться, — прошептал Чаттертон. — Он будет убит.

Никто не ответил Чаттертону, никто не смотрел на него; все были потрясены и только улыбались. Наконец Дрисколл опустился на землю у их ног.

— Вы видели? Черт побери, ведь я летал!

Да, они видели.

— Дайте-ка мне сесть! Ах Боже мой, я не могу прийти в себя! — Дрисколл, смеясь, похлопал себя по коленям. — Я воробей, я сокол, честное слово! Вот что — теперь попробуйте вы, попробуйте все!

Он замолчал, потом заговорил снова, сияя, захлебываясь от восторга:

— Это все ветер. Он подхватил меня и понес!

— Давайте уйдем отсюда, — сказал Чаттертон, озираясь по сторонам и подозрительно разглядывая голубое небо. — Это ловушка. Нас хотят заманить в воздух. А потом швырнуть вниз и убить. Я иду назад, к кораблю.

— Вам придется подождать моего приказа, — заметил Форестер.

Все нахмурились. Было тепло, но в то же время прохладно, дул легкий ветерок. В воздухе трепетал какой-то звенящий звук, словно кто-то запустил бумажного змея, — звук вечной Весны.

— Я *попросил* ветер, чтобы он помог мне полететь, — сказал Дрисколл, — и он помог.

Форестер отвел остальных в сторону:

— Следующим буду я. Если я погибну — все назад к кораблю!

— Прошу прощения, — вмешался Чаттертон. — Но я не могу этого допустить. Вы капитан. Мы не можем рисковать вами. — Он вытаскивает револьвер. — Вы обязаны признавать здесь мой авторитет и мою власть. Игра зашла слишком далеко. Приказываю вам вернуться на корабль!

— Спрячьте револьвер, — хладнокровно ответил Форестер.

— Остановитесь, безумцы! — Прищурившись, Чаттертон переводил взгляд с одного астронавта на другого. — Неужели вы еще не поняли? Этот мир живой. Он разглядывает нас и пока что играет с нами, а сам выжидает благоприятной минуты.

— Это мое дело, — отрезал Форестер. — А вы — если сию же минуту не спрячете револьвер — пойдете назад, к кораблю, под конвоем.

— Все вы сошли с ума! Если не хотите идти со мной, можете умирать здесь, а я иду назад, беру пробы и запускаю ракету.

— Чаттертон!

— Не пытайтесь удержать меня!

Чаттертон побежал. И вдруг громко вскрикнул.

Все подняли глаза — и тоже не удержались от крика.

— Он там, — сказал Дрисколл.

Чаттертон был уже высоко в небе.

Ночь опустилась незаметно, словно закрылся чей-то большой ласковый глаз. Оцепеневший от изумления Чаттертон лежал на склоне холма. Остальные сидели вокруг, усталые, но веселые. Он не желал смотреть на них, не желал смотреть на небо. Внутренне сжавшись, он хотел лишь одного — ощущать твердую землю, ощущать свои руки, ноги, все свое тело.

— Это было изумительно! — сказал астронавт, которого звали Кестлер.

Все они успели полетать, словно скворцы, орлы, воробьи, и были счастливы.

— Эй, Чаттертон, придите в себя и признайтесь: вам понравилось? — спросил Кестлер.

— Этого не может быть! — Чаттертон крепко зажмурился. — Она не могла сделать это. То есть могла, но только при одном условии — если воздух здесь живой. Он словно зажал меня в кулаке и поднял вверх. А сейчас, в любую минуту, он может убить всех нас. Он живой!

— Отлично, — согласился Кестлер. — Допустим, что он живой. А у всего живого должна быть какая-то цель. Так вот, может быть, цель этой планеты как раз и состоит в том, чтобы сделать нас счастливыми!

Словно в подтверждение его слов, к ним подлетел Дрисколл, держа в каждой руке по флаге.

— Я нашел ручей с вкусной, чистой водой. Попробуйте!

Форестер взял флагу и поднес ее Чаттертону, предлагая выпить глоток, но Чаттертон покачал головой и отшатнулся. Он закрыл лицо руками:

— Это кровь здешней планеты. Живая кровь. Выпейте ее, и вместе с ней вы впустите в себя этот мир. Вы будете видеть его глазами, слышать его ушами. Нет, нет, благодарю.

Форестер пожал плечами и отхлебнул из флажки.

— Вино! — воскликнул он.

— Не может быть!

— Это вино. Понюхайте его, попробуйте. Отличное белое вино!

— Французское столовое, — подтвердил Дрисколл, выпив свою порцию.

— Яд! — изрек Чаттертон.

Фляжка пошла по кругу.

Весь этот ласковый день они бездельничали — им так не хотелось нарушать царивший вокруг покой. Словно робкие юноши, которые оказались в обществе изысканной, прекрасной и знаменитой красавицы, они боялись каким-нибудь неосторожным словом или жестом испугнуть ее и лишиться очарования и прелести ее присутствия.

«Они еще не забыли землетрясения и не хотят, чтобы оно повторилось, — думал Форестер. — Так пусть же эти школьники наслаждаются Днем каникул и этой погодой, словно созданной для рыболовов. Пусть сидят под сенью деревьев или

бродят по отлогим склонам холмов, но только пусть не бурят их буры, не шупают их щупы, не бомбят их бомбы».

Они набрели на небольшой ручеек, который вливался в кипящий пруд. Рыба, блестя чешуей, попадала в горячую воду и через минуту выплывала на поверхность пруда, уже сваренная.

Чаттертон неохотно присоединился к общему ужину.

— Мы будем отравлены. В таких фокусах всегда таится ловушка. Сегодня я буду ночевать в ракете. А вы — как хотите. Я вспомнил карту из одной книги по истории средневековья. Надпись на ней гласила: «Здесь могут водиться тигры». Так вот, ночью, когда вы заснете, здесь вдруг объявятся тигры и людоеды.

Форестер покачал головой:

— Я готов согласиться с вами — эта планета живая. Это своеобразный замкнутый мирок. Но сейчас она нуждается в нас, чтобы показать себя, чтобы кто-то мог оценить ее красоту. Какой толк в театре, полном чудес, если нет зрителей?

Но Чаттертон уже не слушал его. Он нагнулся — его рвало.

— Меня отравили! Отравили!

Его держали за плечи, пока не кончилась рвота. Дали ему воды. Все остальные чувствовали себя отлично.

— Пожалуй, лучше вам больше ничего не есть, кроме наших корабельных продуктов, — посоветовал Форестер. — Так будет надежнее.

— Надо немедленно приступить к работе. — Чаттертон покачнулся и вытер губы. — Мы уже потеряли целый день. Если понадобится, я буду работать один. Я покажу этой проклятой планете...

И, пошатываясь, он побрел к кораблю.

— Он искушает судьбу, — прошептал Дрисколл. — Нельзя ли остановить его, капитан?

— Практически он является хозяином экспедиции. Но мы не обязаны ему помогать. В договоре есть пункт, по которому мы можем отказаться от работы в условиях, опасных для жизни. Так вот... Советую обращаться с этой Площадкой Для Пикника как можно бережнее, и она оплатит нам тем же. Не вырезайте инициалов на деревьях. Распрямите смятую траву. Подберите кожуру от бананов.

Между тем снизу, со стороны корабля, донесся оглушительный грохот. Из запасного люка выкатился огромный блестящий Бур. Чаттертон шел за ним следом и в микрофон отдавал распоряжения своему роботу:

— Сюда! Так!

— Ах какой глупец!

— Стоп! — крикнул Чаттертон. Бур вонзил свой длинный винтовой ствол в зеленую траву. Чаттертон помахал рукой астронавтам:

— Я ей покажу!

Небо содрогнулось.

Бур стоял в центре небольшой зеленой лужайки. Он врезался в землю и начал выбрасывать сырые комья дерна, бесцеремонно швыряя их в ведро для анализов, которое раскачивалось на ветру.

И вдруг, словно чудовищный зверь, потревоженный во время еды, Бур издал жалобный металлический стон. Из почвы у его основания начала медленно проступать синеватая жидкость.

— Назад, безмозглый дурак! — крикнул Чаттертон.

Бур неуклюже задвигался, словно в каком-то доисторическом танце. Извергая огненные искры, он громко гудел, как гудит мощный паровоз, делая крутой поворот. Он тонул. Черная слизь превращалась под ним в темную лужу.

Кашляя, вздыхая и пыхтя, Бур, словно огромный подстреленный и издыхающий слон, медленно погружался в черную пенистую топь.

— Боже милостивый! — задыхаясь, прошептал Форестер, не в силах оторваться от этого зрелища. — Вы знаете, Дрисколл, что это такое? Это асфальт. Его дурацкая машина угодила в асфальтовый колодец.

— Эй! — вне себя кричал Чаттертон Буру, бегая по краю маслянистого озера. — Сюда, наверх!

Но, подобно древним властителям Земли — динозаврам с их длинной трубчатой шеей, — Бур, отбиваясь, дергаясь и скрипя, все больше уходил в черный пруд, откуда уже не было возврата к твердой и надежной земле.

Чаттертон обернулся к стоящим вдалеке астронавтам:

— Помогите! Сделайте что-нибудь!

Но Бур уже исчез.

Вязкая жидкость пузырилась и злорадствовала, поглотив чудовище. Потом все затихло. Только один огромный пузырь — последний — появился и лопнул. Разнесся древний запах нефти.

Члены экипажа подошли и остановились на краю маленького темного озера.

Чаттертон уже не кричал.

Он долго смотрел на безмолвный асфальтовый омут, потом отвернулся и обратил невидящий взгляд на холмы, на сочные зеленые лужайки. Дальние деревья вдруг покрылись зрелыми плодами и теперь бесшумно роняли их на землю.

— Я ей покажу, — тихо сказал он.

— Успокойтесь, Чаттертон.

— Я прочту ее,— повторил он.

— Присядьте, выпейте глоток вина.

— Я хорошенько прочту ее, я ей покажу, что со мной так поступать нельзя.

Чаттертон зашагал к кораблю.

— Не спешите,— посоветовал Форестер.

Чаттертон побежал.

— Я знаю, что делать, знаю, как отомстить ей!

— Остановите его! — крикнул Форестер и побежал за ним, но потом вспомнил, что умеет летать. «На корабле есть атомная бомба,— подумал он.— Если он до нее доберется...»

Остальные тоже подумали об этом и немедленно взмыли в воздух. Небольшая рошица преграждала Чаттертону путь к ракете. Выкрикивая проклятия, он бежал к роше, забыв о том, что мог бы перелететь через нее. А может быть, он боялся полететь или уже потерял этот дар? Астронавты летели к кораблю, чтобы опередить Чаттертона, и капитан вместе с ними. Подлетев к ракете, они поспешно заперли входной люк. Они еще успели увидеть, как Чаттертон вбегал на опушку.

И стали ждать.

— Какой идиот! Он, кажется, совсем спятил!

Чаттертон так и не показался по эту сторону небольшого леса.

— Должно быть, он повернул назад и ждет, когда мы ослабим надзор.

— Пойдите приведите его! — приказал Форестер.

Двое астронавтов полетели к роше.

И вот сильный, но ласковый дождь пошел над зеленым миром.

— Последний штрих,— сказал Дрисколл.— Нам не пришлось бы строить здесь дом. Заметьте — *на нас* не упала ни одна капля. Дождь идет, но он идет вокруг, спереди, сзади. Какая изумительная планета!

Они стояли сухие посреди голубого, прохладного дождя. Солнце скрылось. Луна, огромная луна цвета льда, взошла над освеженными холмами.

— Только одного не хватает на этой чудесной планете,— сказал кто-то.

— Да,— отозвались все задумчиво, протяжно.

— Что ж, надо пойти поискать,— предложил Дрисколл.— Ведь это логично. Ветер помогает нам летать, деревья и ручьи кормят, все здесь живое. Может, если мы попросим пригласить к нам...

— Я долго думал над этим, и сегодня, и прежде,— перебил его Кестлер.— Все мы холостяки, все мы летаем уже много лет и устали. Как приятно было бы наконец осесть где-то. Быть может, именно здесь. На Земле мы работаем не покладая рук, чтобы скопить немного денег на покупку домика, чтобы заплатить налоги. В городах — вонь. А здесь — здесь даже не нужен дом при такой прекрасной погоде. Если надоест однообразие, можно попросить дождя, облаков, снега — словом, перемен. Здесь вообще не надо работать — все делается даром.

— Это скучно. Так можно и свихнуться.

— Нет,— улыбаясь, возразил Кестлер.— Если жизнь пойдет слишком уж гладко, надо только изредка повторять слова Чаттертона: «Здесь могут водиться тигры». Ого! Что это?

Еле слышный рев донесся из далекого сумеречного леса. Уж не пряталась ли там какая-нибудь гигантская кошка?

Все вздрогнули.

— Непостоянная планета,— холодно сказал Кестлер.— Со всем как женщина, которая готова на все, чтобы доставить удовольствие своим гостям, пока они с ней любезны. Чаттертон был не очень-то любезен.

— Да, Чаттертон... Где же он?

Словно в ответ на это, чей-то крик раздался вдали. Два астронавта, улетевшие на поиски Чаттертона, делали какие-то знаки с опушки леса.

Форрестер, Дрисколл и Кестлер подлетели к ним.

— Что случилось?

Люди показали куда-то в глубь леса.

— Мы решили, что вам надо взглянуть на это, капитан,— пояснил один.— Какая-то чертовщина.

Другой показал на тропинку:

— Посмотрите сюда, сэр.

Следы огромных когтей отпечатались на тропинке, свежие, отчетливые.

— И вот сюда.

Несколько капель крови.

Тяжелый запах какого-то хищника повис в воздухе.

— Где же все-таки Чаттертон?

— Думаю, мы уже никогда не найдем его, капитан.

Слабее, слабее, все больше отдаляясь, звучал рев тигра, а потом и вовсе замолк в сумеречной тишине.

Астронавты лежали на упругой траве близ ракеты. Ночь была теплая.

— Совсем как во времена моего детства,— вздохнул Дрисколл.— Однажды мы с братом дождались самой теплой июль-

ской ночи и отправились на лужайку перед зданием суда — считали звезды, болтали. Это была прекрасная ночь, лучшая ночь в году, а сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что и лучшая ночь в моей жизни... Разумеется, не считая сегодняшней,— добавил он.

— Я все думаю о Чаттертоне,— вставил Кестлер.

— Лучше не думать,— возразил Форестер.— Давайте поспим несколько часов — и в путь. Мы не можем позволить себе задержаться здесь даже на один день. И дело вовсе не в том, что случилось с Чаттертоном. Нет. Просто я боюсь, что если мы задержимся здесь, то можем слишком сильно привязаться к этой планете. И никогда уже не захотим расстаться с ней.

Мягкий ветерок повеял вдруг над их головами.

— Я уже не хочу расставаться с ней.— Дрисколл подложил руки под голову, устраиваясь поудобнее.— И она тоже не хочет расставаться с нами... Если мы вернемся на Землю и расскажем всем, как чудесна эта планета,— что тогда, капитан? Они ворвутся сюда и уничтожат ее.

— Нет,— задумчиво проговорил Форестер.— Во-первых, эта планета не допустит массового вторжения. Не знаю, как именно она это делает, но, уж конечно, ей удастся придумать какие-нибудь любопытные штучки. А во-вторых, я слишком сильно привязался к ней, проникся уважением. Нет, мы вернемся на Землю и будем лгать. Мы скажем, что она враждебна людям. Ведь такой она и окажется по отношению к среднему человеку вроде Чаттертона, который явится сюда, чтобы причинить ей вред. Так что, в конечном счете, это и не будет ложью.

— Как странно! — заметил Кестлер.— Я совсем не боюсь. Чаттертон исчез, возможно, он убит, и убит самым ужасным образом. И все же мы лежим здесь, никто не убегает, никто не боится. Это глупо. И тем не менее это правильно. Мы доверяем ей, а она доверяет нам.

— А вы заметили? Стоит выпить немного этой воды-вина, и больше не хочется. Это планета умеренности.

Они лежали, прислушиваясь к ночным звукам, и им казалось, что большое сердце этого зеленого мира неторопливо, но горячо бьется внизу, под ними.

«Пить хочется!» — подумал Форестер.

Дождевая капля упала ему на губы.

Он тихо рассмеялся.

«Я одинок!» — подумал он. И услышал вдали нежные, звонкие голоса.

Он стал смотреть в ту сторону. Несколько холмов, сбегающая с них прозрачная река, а на отмели, в облаке водяных

брызг, группа прекрасных женщин. Их лица мерцают. Как дети, они резвятся на берегу. И вдруг Форестер узнал о них и о их жизни все, что хотел. То были вечные странницы. Они бродяжничали, переходили с места на место, повинувшись лишь собственному капризу. Здесь не было шоссейных дорог, не было городов, здесь были только холмы, равнины да ветры, которые переносили эти белые фигурки, словно перышки, куда бы те ни пожелали. Стоило Форестеру мысленно задать вопрос, как кто-то невидимый тотчас шептал ему на ухо ответ. Мужчин там не было. Женщины сами продолжали свой род. Мужчины исчезли пятьдесят тысяч лет назад. А где эти женщины сейчас? Неподалеку от зеленого леска, рядом с винным ручьем, за шестью белыми камнями, у истока большой реки. Там, на отмелях, — женщины, которые могут стать прекрасными женами и вырастить чудесных детей.

Форестер открыл глаза. Остальные астронавты сидели возле него.

— Я видел сон.

Все они видели сны.

— ...Неподалеку от зеленого леска...

— ...рядом с винным ручьем...

— ...за шестью белыми камнями, — сказал Кестлер.

— ...и у истока большой реки, — закончил Дрисколл.

С минуту все молчали. И смотрели на серебристую ракету, блестящую в свете звезд.

— Ну так как, капитан, мы пойдем или полетим?

Форестер не ответил.

— Капитан, — сказал Дрисколл, — останемся здесь навсегда. Не будем возвращаться на Землю. Люди никогда не прилетят сюда выяснять, что с нами случилось. Они будут думать, что все мы уничтожены. Ну, что вы скажете на это?

Лицо Форестера покрылось капельками пота. Он провел языком по пересохшим губам. Руки вздрагивали у него на коленях. Экипаж ждал.

— Это было бы чудесно, — наконец выговорил капитан.

— Еще бы!

— Но... — Форестер вздохнул. — Но мы обязаны выполнить задание. Люди вложили в наш корабль деньги. И ради этих людей мы обязаны вернуться.

Форестер поднялся. Астронавты продолжали сидеть, не слушая его.

— Чертовски приятная ночь! — заметил Кестлер. Они смотрели на отлогие холмы, на деревья, на реку, бегущую к иным горизонтам.

- Пошли на корабль,— с трудом выдавил из себя Форестер.
- Капитан...
- На корабль! — повторил он.

Ракета поднялась в небо. Глядя вниз, Форестер отчетливо видел каждую долину, каждое озеро.

— Надо было остаться, — промолвил Кестлер.

— Да, я знаю.

— Еще не поздно повернуть назад.

— Боюсь, что поздно.— Форестер отрегулировал телескоп.— Посмотрите.

Кестлер посмотрел.

Лицо планеты изменилось. Тигры, динозавры, мамонты появились внизу. Вулканы извергали лаву, циклоны и ураганы пронеслись над холмами, стихии бушевали.

— Да, это настоящая женщина, — сказал Форестер.— Миллионы лет она ждала гостей, готовилась, наводила красоту. Она надела для нас свой лучший наряд. Когда Чаттертон начал дурно обращаться с ней, она предостерегла его, а потом, когда он сделал попытку изуродовать ее, попросту уничтожила его. Как всякой женщине, ей хотелось, чтобы ее любили ради нее самой, а не ради ее богатств. Она предложила нам все, что могла, а мы — мы покинули ее. Она женщина, и оскорбленная женщина. Правда, она позволила нам уйти, но мы уже никогда не сможем вернуться. Она встретит нас вот этим...

И кивком головы он показал на тигров, циклоны и кипящие воды.

— Капитан...— начал Кестлер.

— Да?

— Сейчас уже поздно рассказывать об этом, но... перед самым взлетом я дежурил у воздушного шлюза. И позволил Дрисколлу уйти с корабля. Ему хотелось уйти. Я не смог отказать ему. Я взял это на свою ответственность. И сейчас он там, на планете.

Оба посмотрели в иллюминатор.

После долгого молчания Форестер сказал:

— Я рад. Я рад, что хоть у одного из нас хватило здравого смысла остаться.

— Но ведь он, должно быть, уже мертв!

— Нет, эта демонстрация там, внизу, устроена для нас. А может, это просто обман зрения. Среди всех этих тигров и львов, среди ураганов наш Дрисколл цел и невредим, ибо он сейчас единственный зритель. Ох, уж теперь она так избалуует его, что... Да, он-то заживет там недурно, а вот мы с вами будем мотаться взад и вперед по вселенной, разыскивая пла-

нету, которая была бы такой же чудесной, но так никогда и не найдем. Нет, мы не полетим назад спасать Дрисколла. А впрочем, она все равно не позволит нам сделать это. Полный вперед, Кестлер, полный вперед!

Ракета понеслась вперед, резко увеличив скорость.

И за миг до того, как планета скрылась в сияющей дымке тумана, Форестеру вдруг показалось, что он ясно видит Дрисколла. Вот, спокойно насвистывая, юноша выходит из зеленого леска, и весь этот очаровательный мир овеивает его своей прохладой. Для него одного течет винный ручей, готовят рыбу горячие ключи, созревают в полночь плоды на деревьях, а леса и озера ждут не дождутся его прихода. И он уходит вдаль по бесконечным зеленым лужайкам, мимо шести белых камней, что стоят позади роши, к отмелям широкой прозрачной реки.

Лед и пламя

1

Ночью родился Сим. Он лежал, хныкая, на холодных камнях в пещере. Кровь толчками пробегала по его телу тысячу раз в минуту. Он рос на глазах.

Мать лихорадочно совала ему в рот еду. Кошмар, именуемый жизнью, начался. Сразу после рождения глаза его наполнились тревогой, которую сменил безотчетный, но от того не менее сильный, непреходящий страх. Он подавился едой и расплакался. Озираясь кругом, он ничего не видел.

Все тонуло в густой мгле. Постепенно она растаяла. Проступили очертания пещеры. Возник человек с видом безумным, диким, ужасным. Человек с умирающим лицом. Старый, высушенный ветрами, обожженный зноем, будто кирпич. Съевшись в дальнем углу пещеры, сверкая белками скошенных глаз, он слушал, как далекий ветер завывает над скованной стужей ночной планетой.

Не сводя глаз с мужчины, поминутно вздрагивая, мать Сима кормила сына плодами каменных гор, скальной травой, собранными у провалов сосульками. Он ел, выделял, снова ел и продолжал расти все больше и больше.

Мужчина в углу пещеры был его отец. Из всего лица только глаза еще жили. В иссохших руках он держал грубое каменное рубило, его нижняя челюсть тупо, бессильно отвисла.

Все дальше проникая взглядом, Сим увидел стариков, которые сидели в уходящем в глубь горы туннеле. У него на глазах они начали умирать.

Пещера наполнилась предсмертными криками. Старики таяли, словно восковые фигуры, провалившиеся щеки обтягивали острые скулы, обнажались оскаленные зубы. Только что лица их были живыми, подвижными, гладкими, как бывает в зрелом возрасте. И вот теперь плоть высыхает, истлевает.

Сим заметался на руках у матери. Она крепко стиснула его.

— Ну, ну, — уговаривала она его тихо, озабоченно поглядывая на отца: не потревожил ли его шум.

Быстро прошлепали по камню босые ноги: отец Сима бегом пересек пещеру. Мать Сима закричала. Сим почувствовал, как его вырвали у нее из рук. Он упал на камни и покатился с визгом, напрягая свои новенькие, влажные легкие!

Над ним вдруг появилось иссеченное морщинами лицо отца и занесенный для удара нож. Совсем как в одном из тех кошмаров, которые преследовали его еще во чреве матери. Несколько ослепительных, невыносимых секунд в мозгу Сима мелькали вопросы. Нож висел в воздухе, готовый его вот-вот погубить. А в новенькой головке Сима девятым валом всколыхнулась мысль о жизни в этой пещере, об умирающих людях, об увядании и безумии. Как мог он это осмыслить? Новорожденный младенец! Может ли новорожденный вообще думать, видеть, понимать, осмысливать? Нет. Тут что-то не так! Это невозможно. Но вот же это происходит с ним. Прошел всего какой-нибудь час, как он начал жить. А в следующий миг, возможно, умрет!

Мать бросилась на спину отца и оттолкнула в сторону руку с оружием. До Сима дошел отголосок страшной эмоциональной сшибки двух конфликтующих разумов.

— Дай мне убить его! — крикнул отец, дыша прерывисто, хрипло. — Зачем ему жить?

— Нет, нет! — твердила мать, и тшедушное старое тело ее повисло на широченной спине отца, а руки силились отнять у него нож. — Пусть живет! Может быть, его жизнь сложится по-другому! Может быть, он проживет дольше нашего и останется молодым!

Отец упал на спину подле каменной люльки. Лежа рядом с ним и озираясь блестящими глазами, Сим увидел в люльке чью-то фигурку. Маленькая девочка тихо ела, поднося еду ко рту тоненькими ручками. Его сестра.

Мать вырвала нож из крепко стиснутых пальцев мужа и встала, рыдая и приглаживая свои всклокоченные седые волосы. Губы ее подергивались.

— Убью! — сказала она, злобно глядя вниз на мужа. — Не трогай моих детей!

Старик вяло, уныло сплюнул и безучастно посмотрел на девочку в каменной люльке.

— Одна восьмая ее жизни уже прошла, — проговорил он, тяжело дыша. — А она об этом даже не знает. К чему все это?

На глазах у Сима его мать начала как бы преображаться, становясь похожей на смятый ветром клуб дыма. Худое, костлявое лицо растворилось в лабиринте морщин. Подкошенная мукой, она села подле него, трясаясь и прижимая нож к своим высохшим грудям. Как и старики в туннеле, она тоже старилась, смерть наступала на нее.

Сим упорно плакал. Куда ни погляди, его со всех сторон окружал ужас. Мысли Сима ощутили встречный ток еще чьего-то сознания. Он инстинктивно посмотрел на каменную люльку. И наткнулся на взгляд своей сестры, Дак. Два разума соприкоснулись, будто шарящие пальцы. Сим позволил себе расслабиться. Ум его начинал постигать мир.

Отец вздохнул, закрыл веками свои зеленые глаза.

— Корми ребенка, — в изнеможении сказал он. — Торопись. Скоро рассвет, а сегодня последний день нашей жизни, женщина. Корми его. Пусть растет.

Сим притих, и сквозь завесу страха в его сознание начали просачиваться картины.

Эта планета, на которой он родился, была первой от солнца. Ночи на ней обжигали морозом, дни были словно языки пламени. Буйный, неистовый мир. Люди жили в недрах горы, спасаясь от невообразимой стужи и огнедышащих дней. Только на рассвете и на закате воздух ласкал легкие ароматом цветов, и в эту пору пещерный народ выносил своих детей на волю, в голую каменистую долину. На рассвете лед таял, обращаясь в ручьи и речушки, на закате пламя остывало и гасло. И пока держалась умеренная, терпимая температура, люди торопились жить, бегали, играли, любили, вырвавшись из пещерного плена. Вся жизнь на планете вдруг расцветала. Стремительно тянулись вверх растения, в небе брошенными камнями проносились птицы. Мелкие четвероногие лихорадочно сновали между скал; все стремилось приурочить свой жизненный срок к этой быстротечной поре.

Невыносимая планета, Сим понял это в первые же часы после своего рождения, когда в нем заговорила наследственная память. Вся его жизнь пройдет в пещерах, и только два часа в день он будет видеть волю. В этих наполненных воздухом каменных руслах он будет говорить, говорить с людьми своего племе-

ни, без перерыва для сна, будет думать, думать, будет грезить, лежа на спине, но не спать.

И вся его жизнь продлится ровно восемь дней.

Какая жестокая мысль! Восемь дней. Восемь коротких дней. Невероятно, невозможно, но это так. Еще во чреве матери далекий, странный голос наследственной памяти говорил Симу, что он стремительно формируется, развивается и быстро появляется на свет.

Рождение мгновенно, как взмах ножа. Детство пролетает стремглав. Юность — будто зарница. Возмужание — сон, зрелость — миф, старость — суровая быстротечная реальность, смерть — скорая неотвратимость.

Пройдет восемь дней, и он будет вот такой же полуслепой, дряхлый, умирающий, как его отец, который сейчас так подавленно глядит на свою жену и детей.

Этот день — одна восьмая часть его жизни! Надо с толком использовать каждую секунду. Надо усвоить знания, заложенные в мозгу родителей.

Потому что через несколько часов они будут мертвы.

Какая страшная несправедливость! Неужели жизнь так скоротечна? Или не грезилась ему в предродовом бытии долгая жизнь, не представлялись вместо раскаленных камней волны зеленой листвы и мягкий климат? Но раз ему все это виделось, значит, в основе грез должна быть истина? Как же ему искать и обрести долгую жизнь? Где? Как выполнить такую огромную и тяжелую задачу в восемь коротких, быстротекущих дней?

И как его племя очутилось в таких условиях?

Вдруг, словно нажали какую-то кнопку, в мозгу его возникла картина. Металлические семена, принесенные через космос ветром с далекой зеленой планеты, борясь с длинными языками пламени, падают на поверхность этого безотрадного мира... Из разбитых корпусов выбираются мужчины и женщины...

Когда?.. Давно. Десять тысяч дней назад. Оставшиеся в живых укрылись от солнца в недрах гор. Пламя, лед и бурные потоки стерли следы крушения огромных металлических семян. А люди словно оказались на наковальне под могучим молотом, который принялся их преобразовать. Солнечная радиация пропитала их плоть. Пульс участился — двести, пятьсот, тысяча ударов в минуту! Кожа стала плотнее, изменилась кровь. Старость надвигалась молниеносно. Дети рождались в пещерах. Круговорот жизни непрерывно ускорялся. И люди, застрявшие после аварии на чужой планете, прожили, подобно всем здешним животным, только одну неделю, причем дети их были обречены на такую же участь.

«Так вот в чем заключается жизнь», — подумал Сим. Не сказал про себя, ведь он не знал еще слов, мыслил образами, воспоминаниями из далекого прошлого, так уж было устроено его сознание, наделенное своего рода телепатией, проникающей сквозь плоть, и камень, и металл. На какой-то ступени нового развития у его племени возник дар телепатии и образовалась наследственная память — единственные блага, единственная надежда в этом царстве ужаса. «Итак, — думал Сим, — я — пятидесятысячный в долгом ряду никчемных сыновей? Что я могу сделать, чтобы меня через восемь дней не настигла смерть? Есть ли какой-нибудь выход?»

Глаза его расширились: в сознании возникла новая картина.

За этой долиной, с ее нагромождением скал, на небольшой горе лежит целое, невредимое металлическое семя — корабль, не тронутый ни ржавчиной, ни обвалами. Зброшенный корабль, единственный из всей флотилии, который не разбился, не сломался, он до сих пор пригоден для полета. Но до него так далеко... И никого внутри, кто бы мог помочь. Пусть так, корабль на далекой горе будет его предназначением. Ведь только он может его спасти.

Новая картина...

Глубоко в недрах горы в полном уединении работает горстка ученых. К ним он должен пойти, когда вырастет и наберется ума. Их мысли тоже поглощены мечтой о спасении — мечтой о долгой жизни, о зеленых долинах без зноя и стужи. Они тоже, томясь надеждой, глядят на далекий корабль на горе, на удивительный металл, которому не страшны ни коррозия, ни время.

Скалы глухо застонали.

Отец Сима поднял вверх иссеченное морщинами безжизненное лицо.

— Рассветает, — сказал он.

2

Утро расслабило могучие мускулы гранитной толщи. Наступил час обвалов.

Гулкое эхо туннелей подхватило звук бегущих босых ног. Взрослые, дети с нетерпеливыми, жаждущими глазами торопились наружу, где занимался день. Сим услышал вдали глухой рокот... потом крик, сменившийся тишиной. В долине грохотали обвалы. Нависшие камни, миллионы лет ждавшие своего часа, срывались с места, и если путь вниз по склону на-

чинала одна огромная глыба, то по дну долины рассыпались тысячи осколков и раскаленных трением картечин.

Каждое утро каменный ливень уносил по меньшей мере одну жертву.

Скальное племя бросало вызов обвалам. Борьба со стихиями добавляла остроты в их и без того опасную, бурную, скоротечную жизнь.

Сим почувствовал, как руки отца резко поднимают его и несут по туннелю за тысячу ярдов — туда, откуда просачивается свет. Глаза отца пылали безумием. Сим не мог пошевелинуться. Он догадывался, что сейчас произойдет. Неся на руках маленькую Дак, за отцом спешила мать.

— Пстой! Осторожно! — кричала она мужу.

Высоко на горе что-то колыхнулось, стронулось.

— Пошли! — прорычал отец и выскочил наружу.

Сверху на них обрушился камнепад.

С нарастающей быстротой сменялись в голове Сима впечатления — рушащиеся громады, пыль, сотрясение... Пронзительно вскрикнула мать. Их качало, трясло.

Еще один шаг — и они под открытым небом. За спиной у них продолжало грохотать. У входа в пещеру, где схоронились мать и Дак, выросла груда обломков, среди них были две глыбы, фунтов по сто каждая.

Рев лавины перешел в шуршание струйки песка. Отец Сима разразился хохотом:

— Проскочили! Клянусь небом! Проскочили живьем!

Он презрительно глянул на скалы и плюнул:

— Тьфу!

Мать выбралась через обломки наружу вместе с Дак и принялась бранить отца:

— Болван! Ты мог убить Сима!

— Еще не поздно, — огрызнулся он.

Сим не слушал их перепалки. Он смотрел, будто замороженный, на обломки, завалившие вход в соседнюю пещеру. Там из-под груды камней, впитываясь в землю, бежала струйка крови. И все, больше ничего не видно... Кто-то проиграл поединок.

Дак побежала вперед на податливых, хлипких ножках — голенькая и целеустремленная.

Воздух в долине был словно профильтрованное сквозь горы вино. Небо вызывающе голубого цвета; в полдень оно накалится добела, ночью — вспухнет багрово-черным синяком с оспинами болезненно мерцающих звезд.

Мир Сима напоминал залив с приливами и отливами. Температурная волна то нахлынет в буйном всплеске, то схлынет. Сейчас в заливе было тихо, прохладно и все живое стремилось на поверхность.

Звонкий смех! Звучит где-то вдалеке... Но как же так? Неужели кому-то из племени может быть до смеха? Надо будет потом попытаться выяснить, в чем дело.

Внезапно в долине забурлили краски. Пробужденные неистовой утренней зарей, в самых неожиданных местах выглядели растения. Прямо на глазах распускались цветы. Вот по голй скале ползут бледно-зеленые нити. А через несколько секунд между листиками уже ворочаются зрелые плоды. Передав Сима матери, отец принялся собирать недолговечный урожай. Алые, синие, желтые плоды попадали в висящий у него на поясе меховой мешок. Мать жевала молодую, сочную зелень, пихала ее в рот Симу.

Его восприятие мира было удивительно емким. Он жадно впитывал знания. Любовь, брак, нравы, гнев, жалость, ярость, эгоизм, оттенки и тонкости, реальность и рефлексия — он на ходу осмысливал эти понятия. Одно подводило к другому. Вид колышущихся зеленых растений так действовал на Сима, что разум его пришел в смятение и стал кружиться, подобно гироскопу, ища равновесия в мире, где недостаток времени принуждал, не дожидаясь объяснений, самому исследовать и толковать. Пища, расходясь по организму, помогла ему разобраться в собственном строении и в таких вещах, как энергия и движение. Словно птенец, вылупляющийся из яйца, Сим представлял собой почти законченную систему, полностью развитую и вооруженную необходимым знанием. Он был обязан этим наследственности и готовым образам, телепатически передаваемым каждому разуму, всякому дыханию. Удивительное, окрыляющее свойство!

Вместе — мать, отец и двое детей — они шли, обоняя запахи, глядя, как птицы с быстротой брошенного камня проносятся над долиной, и вдруг отец сказал:

— Помнишь?

Как это — «помнишь»? Сим лежал калачиком у него на руках. Разве вообще можно забыть что-то за те семь дней, что они прожили?

Муж и жена обменялись взглядами.

— Неужели это было всего три дня назад? — Она вздрогнула и закрыла глаза, сосредоточиваясь. — Даже не верится. Ах, как это несправедливо!..

Она всхлипнула, потом провела по лицу рукой и прикусила запекшуюся губу. Ветер теребил ее седые волосы.

— Теперь моя очередь плакать! Час назад плакал ты!

— Час... половина жизни.

— Пошли.— Она потянула мужа за руку.— Пойдем, осмотрим все, ведь больше не придется.

— Через несколько минут взойдет солнце,— ответил старик.— Пора возвращаться.

— Еще только минуточку! — умоляла женщина.

— Солнце застигнет нас.

— Ну и пусть застигнет меня!

— Что ты такое говоришь!

— Ничего я не говорю, ровным счетом ничего,— рыдала женщина.

Вот-вот должно было появиться солнце. Зелень в долине начала жухнуть. Родился обжигающий ветер. Вдалеке, где на скальные бастионы уже обрушились солнечные стрелы, искажая черты могучих каменных линий, срывались лавины — будто спадали мантии.

— Дак! — позвал отец.

Девочка откликнулась и побежала по горячим плитам долины, и волосы ее развевались, как черный флаг.

С полными пригоршнями зеленых плодов она присоединилась к своим.

Солнце оторочило пламенем край неба, воздух всколыхнулся и наполнился свистом.

Люди пещерного племени обратились в бегство, на ходу крича и подбирая споткнувшихся ребятишек, унося в свои глубокие норы охапки зелени и плодов. В несколько мгновений долина опустела, если не считать забытого кем-то малыша. Он бежал по гладким плитам, но у него было совсем мало силенок, бежать оставалось еще столько же, а вниз по скалам уже катился могучий жаркий вал.

Цветы сгорали, обращаясь в пепел; травы втягивались в трещины, словно обжегшиеся змеи. Ветер, подобный дыханию домны, подхватывал цветочные семена, и они сыпались в трещины и расселины, чтобы на закате опять прорасти, и дать цветы и семена, и снова пожухнуть.

Отец Сима смотрел, как по дну долины вдалеке бежит одинокий ребенок. Сам он, его жена, Дак и Сим были надежно укрыты в устье пещеры.

— Не добежит,— сказал отец.— Не смотри туда, мать. Такие вещи лучше не видеть.

И они отвернулись. Все, кроме Сима. Он заметил вдали какой-то металлический блеск. Сердце отчаянно забилося в груди, в глазах все расплылось. Далеко-далеко, на самой вершине небольшой горы источало слепящие блики металлическое семя. словно исполнилась одна из грез той поры, когда Сим еще лежал во чреве матери! Там, на горе, целое, невредимое — металлическое зернышко из космоса! Его будущее! Его надежда на спасение! Вот туда он отправится через два-три дня, когда — трудно себе представить — будет взрослым мужчиной.

Будто поток расплавленной лавы, солнце хлынуло в долину.

Бегущий ребенок вскрикнул, солнце настигло его, и крик оборвался.

С трудом волоча ноги, как-то вдруг постарев, мать Сима пошла по туннелю. Остановилась... протянула руки вверх и обломила две сосульки, последние из намерзших за ночь. Одну подала мужу, другую оставила себе.

— Выпьем последний тост. За тебя, за детей.

— За *тебя*.— Он кивком указал на нее.— За детей.— Они подняли сосульки. Тепло растопило лед, и капли освежили их пересохшие рты.

3

Целый день раскаленное солнце низвергалось в долину. Сим этого не видел, но о мощи дневного пламени он мог судить по ярким картинам в сознании родителей. Вязкий как ртуть свет просачивался в пещеры, выжигая все на своем пути, но глубоко не проникал.

От него в пустотах было светло и расходилось приятное тепло.

Сим пытался отогнать от родителей наступающую старость, но, сколько ни напрягал разум, призывая себе на помощь их образы, на глазах у него они превращались в мумии. Старость съедала отца, будто кислота.

«Скоро со мной будет то же самое!» — в ужасе думал Сим.

Сам он рос стремглав, буквально чувствуя, как в организме происходит обмен веществ. Каждую минуту его кормили, он без конца что-то жевал, что-то глотал. Образы, процессы начали связываться в его уме с определяющими их словами. Одним из таких слов было «любовь». Для Сима в нем крылось не отвлеченное понятие, а некий процесс, легкое дыхание, запах утренней свежести, трепет сердца, мягкий изгиб руки, на которой он лежал, наклоненное над ним лицо матери. Сначала он видел то или иное действие, потом в сознании матери искал и находил нужное слово. Гортань готовилась к речи. Жизнь стремительно, неумолимо увлекала его навстречу вечному забвению.

Сим чувствовал, как растут его ногти, как развиваются клетки, отрастают волосы, увеличиваются в размерах кости и сухожилия, разрастается мягкое, бледное, восковое вещество мозга. При рождении чистый и гладкий, будто кружок льда, уже секундой позже мозг его, словно от удара камня, покрылся сеткой миллионов борозд, извилин, обозначающих мысли и открытия.

Его сестренка Дак то прибежала, то убегала вместе с другими тепличными детьми и безостановочно что-то жевала. Мать дрожала над ним, она ничего не ела, у нее не было аппетита, а глаза будто заткало паутиной.

— Закат,— произнес наконец отец. День кончился. Смеркалось, послышалось завывание ветра. Мать встала.

— Хочу еще раз увидеть внешний мир... только раз...

Трясаясь, она устремила вперед невидящий взгляд. Глаза отца были закрыты, он лежал подле стены.

— Не могу встать,— еле слышно прошептал он.— Не могу.

— Дак! — прохрипела мать, и дочь подбежала к ней.— Держи.

Она передала дочери Сима.

— Береги Сима, Дак, корми его, заботься о нем.— Последнее ласковое прикосновение материнской руки...

Дак молча прижала Сима к себе, ее большие влажные глаза зелено поблескивали.

— Ступай,— сказала мать.— Вынеси его на волю в час заката. Веселитесь. Собирайте пищу, ешьте. Играйте.

Не оглядываясь назад, Дак подошла к выходу. Сим изогнулся у нее на руках, глядя через плечо сестры потрясенными, неверящими глазами. У него вырвался крик, и губы каким-то образом сложились, дав выход первому в его жизни слову:

— Почему?..

Он увидел, как оторопела мать:

— Ребенок заговорил!

— Ага,— отозвался отец.— Ты расслышала, что он сказал?

— Расслышала,— тихо сказала мать.

Шатаясь, она медленно добрела до отца и легла рядом с ним. Последний раз Сим видел, как его родители передвигаются.

4

Ночь наступила и минула, и начался второй день. Всех умерших за ночь отнесли на вершину невысокого холма. Траурное шествие было долгим: много тел.

Дак шла вместе со всеми, ведя за руку ковыляющего кое-как Сима. Он научился ходить за час до рассвета.

С холма Сим снова увидел вдаль металлическое зернышко. Но больше никто туда не смотрел и никто о нем не говорил. Почему? Может быть, есть на то причина? Может быть, это мираж? Почему они не бегут туда? Не молятся на это зернышко? Почему не попробуют добраться до него и улететь в космос?

Отзвучали траурные речи. Тела положили в ряд на открытом месте, где солнце через несколько минут их кремирует.

Затем все повернули обратно и ринулись вниз по склону, спеша использовать немногие минутки свободы, — побегать, поиграть, посмеяться на воздухе, пахнущем свежестью.

Дак и Сим, щебеча будто птицы, добывали себе пищу среди скал и делились друг с другом тем, что успели узнать. Ему шел второй день, ей — третий. Обоих подхлестывал бурный темп их скоротечной жизни. Сейчас она повернулась к ним еще одной гранью. Из-за скал наверху, держа в сжатых кулаках острые камни и каменные ножи, выскочило полсотни молодых мужчин. С криками они помчались к невысокой гряде скальных зубцов вдаль.

«Война!» — отдалось в мозгу Сима. Новая мысль оглушила его, потрясла. Эти люди побежали сражаться и убивать других людей, что живут там, среди черных скал.

Но почему? Зачем сражаться и убивать — разве жизнь и без того не чересчур коротка?

От далекого гула схватки ему стало не по себе.

— Почему, Дак, почему?

Дак не знала. Может быть, они поймут завтра. Сейчас надо есть — есть для поддержания сил и жизни. Дак напоминала ящеричку, вечно что-то нашупывающую своим розовым языком, вечно голодную.

Кругом повсюду сновали бледные ребятишки. Один мальчуган юркнул, словно жучок, вверх по склону, сшиб Сима с ног и прямо перед носом у него схватил особенно соблазнительную красную ягоду, которую тот нашел под выступом.

Прежде чем Сим успел встать, мальчуган уже управился с добычей. Сим набросился на него, они вместе упали и покатались вниз причудливым комком, пока Дак, визжа, не разняла их.

У Сима сочилась кровь из ссадин. Какая-то часть его сознания, глядя как бы со стороны, говорила: «Это не годится. Дети не должны так поступать. Это плохо!»

Дак шлепками прогнала маленького разбойника.

— Уходи отсюда! — крикнула она. — Как тебя звать, безобразник?

— Кайон! — смеясь, ответил мальчуган. — Кайон, Кайон, Кайон.

Сим смотрел на него со всей свирепостью, какую могло выразить его маленькое, юное лицо. Он задыхался. Перед ним был враг. Как будто Сим давно дожидался, чтобы враждебное начало воплотилось не только в окружающей среде, но и в каком-то человеке. Его сознание уже постигло обвалы, зной, холод, скоротечность жизни, но это все было связано со средой, с окружающим миром — неистовые бессознательные проявления неодушевленной природы, порожденные гравитацией и излучением. А тут, в лице этого наглого Кайона, он познал врага мыслящего!

Отбежав в сторону, Кайон остановился и ехидно прокричал: — Завтра я буду такой большой, что смогу тебя убить!

С этими словами он исчез за камнем.

Мимо Сима, хихикая, пробежали дети. Кто из них станет его другом, кто — врагом? И как вообще за столь чудовищно короткий жизненный срок могут возникнуть друзья и враги? Разве тут успеешь приобрести тех или других?

Дак, читая мысли брата, повела его дальше. Продолжая поиск пищи, она лихорадочно шептала ему на ухо:

— Украл у тебя еду — вот и враг. Подарили длинный стебель — вот и друг. Еще враждуют из-за мыслей и мнений. В пять секунд ты нажил себе смертельного врага. Жизнь так коротка, что с этим надо поторапливаться.

И она рассмеялась со странной для столь юного существа иронией, отражающей преждевременную зрелость мысли.

— Тебе надо будет биться, чтобы защитить себя. Тебя будут пытаться убить. Есть поверье, глупое поверье, будто часть жизненной энергии убитого переходит к убийце и за счет этого можно прожить лишний день. Понял? И пока кто-то в это верит, ты в опасности.

Но Сим не слушал ее. От стайки хрупких девчушек, которые завтра станут выше и смирнее, послезавтра оформятся, а еще через день найдут себе мужа, отделилась резвушка с волосами цвета фиолетово-голубого пламени.

Пробегая мимо, она задела Сима, их тела соприкоснулись. Сверкнули глаза, светлые, как серебряные монеты. И он уже знал, что обрел друга, любовь, жену, которая через неделю будет лежать с ним рядом на погребальном костре, когда солнце примется sluщивать их плоть с костей.

Всего один взгляд, но он на миг заставил их окаменеть.

- Как тебя звать? — крикнул Сим вдогонку.
— Лайт! — смеясь, ответила она.
— А меня — Сим, — сказал он сконфуженно, растерянно.
— Сим! — повторила она, устремляясь дальше. — Я запомню.
Дак толкнула его в бок.
— Держи, ешь, — сказала она задумавшемуся брату. — Ешь, не то не вырастешь и не сможешь ее догнать.
Откуда ни возьмись появился бегущий Кайон.
— Лайт! — передразнил он, ехидно приплясывая. — Лайт!
Я тоже запомню Лайт!
Высокая, стройная как хворостинка Дак печально покачала черным облачком волос.
— Я наперед могу тебе сказать, что тебя ждет, братик. Тебе скоро понадобится оружие, чтобы сражаться за эту Лайт. Но нам пора, солнце вот-вот выйдет.
И они побежали обратно к пещере.

5

Четверть жизни позади! Минуло детство. Он стал юношей. Вечером буйные ливни хлестали долину. Сим видел, как ново-рожденные потоки бороздили долину, отрезая гору с металлическим зернышком. Он старался все запомнить. Каждую ночь — новая река, свежее русло.

— А что за долиной? — спросил Сим.

— Туда никто не доходил, — объяснила Дак. — Все, кто пытался добраться до равнины, либо замерзали насмерть, либо сгорали. Полчаса бега — вот предел изведенного края. Полчаса туда, полчаса обратно.

— Значит, еще никто не добирался до металлического зернышка?

Дак фыркнула:

— Ученые — они пробовали. Дурачье! Им недостает ума бросить эту затею. Ведь пустое дело. Чересчур далеко.

Ученые. Это слово всколыхнуло душу Сима. Он почти успел забыть видение, которое представлялось ему перед самым рождением и сразу после него.

— А где они, эти ученые? — нетерпеливо переспросил он.

Дак отвела взгляд.

— Хоть бы я знала, все равно не скажу. Они убьют тебя со своими опытами. Я не хочу, чтобы ты ушел к ним! Живи сколько положено, не обрывай свою жизнь на половине в погоне за этой дурацкой штукой там, на горе.

— Узнаю у кого-нибудь другого!

— Никто тебе не скажет! Все ненавидят ученых. Самому придется отыскивать. И допустим, что ты их найдешь... Что дальше? Ты нас спасешь? Давай, спасай нас, мальчуган! — Она злилась: половина ее жизни уже прошла.

— Нельзя же все только сидеть, да разговаривать, да есть,— возразил он.— И больше *ничего!*..

Он снова вскочил на ноги.

— Иди-иди, ищи их! — едко отрезала она.— Они помогут тебе забыть. Да-да.— Она выплевывала слова: — Забыть, что еще несколько дней,— и твоей жизни конец!

Занявшись поиском, Сим бегом преодолевал туннель за туннелем. Иногда ему казалось, что он уже на верном пути. Но стоило спросить окружающих, в какой стороне лежит пещера ученых, как его захлестывала волна чужой ярости, волна смятения и негодования. Ведь это ученые виноваты, что их занесло в этот ужасный мир! Сим ежился под градом бранных слов.

В одной из срединных пещер он тихо подсел к другим детям, чтобы послушать речи взрослых мужей. Наступил Час учения. Час собеседования. Как ни томили его задержки, как ни терзало нетерпение при мысли о том, что поток жизни быстро иссякает и смерть надвигается, подобно черному метеору, Сим понимал, что разум его нуждается в знании. Эту ночь он проведет в школе. Но ему не сиделось. Осталось жить всего *пять* дней.

Кайон сидел напротив Сима, и тонкогубое лицо его выражало вызов.

Между ними появилась Лайт. За прошедшие несколько часов она еще подросла, ее движения стали мягче, поступь тверже, волосы блестели ярче. Улыбаясь, она села рядом с Симом, а Кайона словно и не заметила. Кайон насупился и перестал есть.

Пещеру наполняла громкая речь. Стремительная, как стук сердца,— тысяча, две тысячи слов в минуту. Голова Сима усваивала науку. С открытыми глазами он словно погрузился в полусон, чуткую дремоту, чем-то напоминающую внутриутробное состояние. Слова, что отдавались где-то вдалеке, сплетали в голове гобелен знаний.

Ему представились луга, зеленые, без единого камня, сплошная трава — широкие луга, волнами уходящие навстречу рассвету, и ни леденящего холода, жаркого духа обоженных солнцем камней. Он шел через эти зеленые луга. Над ним, высоко-высоко в небе, которое дышало ровным мягким теплом, пролетали металлические зернышки. И все кругом протекало так медленно, медленно, медленно...

Птицы мирно сидели на могучих деревьях, которым нужно было для роста сто, двести, пять тысяч дней. Все оставалось на своих местах, и птицы не спешили укрыться, завидев солнечный свет, и деревья не съеживались в испуге, когда их касался солнечный луч.

Люди в этом сне ходили не торопясь, бегали редко, и сердца их бились размеренно, а не в безумном, скачущем ритме. Трава оставалась травой, ее не пожирало пламя. И люди говорили не о завтрашнем дне и смерти, а о завтрашнем дне и жизни. Причем все казалось таким знакомым, что, когда кто-то взял Сима за руку, он это принял за продолжение сна.

Рука Лайт лежала в его руке.

— Грeziшь? — спросила она.

— Да.

— Это для равновесия. Жизнь устроена несправедливо, вот разум и находит утешение в картинках, которые хранит наша память.

Он несколько раз ударил кулаком по каменному полу.

— Это ничего не исправляет! К черту! Не хочу, чтобы мне напоминали о том хорошем, что я утратил! Лучше бы нам ничего не знать! Почему мы не можем жить и умереть так, чтобы никто не знал, что наша жизнь идет не так, как надо?

Из искаженного гримасой полуоткрытого рта вырывалось хриплое дыхание.

— Все на свете имеет свой смысл, — сказала Лайт. — Вот и это придает смысл нашей жизни, заставляет нас что-то делать, что-то задумывать, искать какой-то выход.

Его глаза стали похожими на огненные изумруды.

— Я поднимался по склону зеленого холма, шел медленно-медленно, — сказал он.

— Того самого холма, на который я поднималась час назад? — спросила Лайт.

— Может быть. Что-то очень похожее. Только сон лучше яви. — Он прищурил глаза. — Я смотрел на людей: они не были заняты едой.

— А разговором?

— И разговором тоже. А мы все время едим и все время говорим. Иногда эти люди в моем сне лежали с закрытыми глазами и совсем не шевелились.

Лайт глядела на него, и тут произошла страшная вещь. Ему вдруг представилось, что ее лицо темнеет и покрывается старческими морщинами. Волосы над ушами — будто снег на ветру, глаза — бесцветные монеты в паутине ресниц. Губы обтянули беззубые десны, нежные пальцы обратились в опаленные прутья.

ки, подвешенные к омертвелому запястью. На глазах у него увядала, погибала его прелесть. В ужасе Сим схватил Лайт за руку... и подавил рвущийся наружу крик: ему почудилось, что и его рука жухнет.

— Сим, ты что?

От вкуса этих слов у него стало сухо во рту.

— Еще пять дней...

— Ученые...

Сим вздрогнул. Кто это сказал? В тусклом свете высокий мужчина продолжал говорить:

— Ученые забросили нас на эту планету и погубили с тех пор напрасно тысячи жизней, бездну времени. Все их затеи впустую, никому не нужны. Не трогайте их, пусть живут, но и не жертвуйте им ни одной частицы вашего времени. Помните: вы живете только однажды.

Да где же они находятся, эти ненавистные ученые? Теперь, после уроков, после Часа собеседования, Сим был полон решимости их отыскать. Теперь он вооружен знанием и может начинать свою битву за свободу, за корабль!

— Сим, ты куда?

Но Сима уже не было. Эхо бегущих ног затерялось в переходе, выложенном гладкими плитами.

Казалось, половина ночи потрачена напрасно. Он потерял счет тупикам. Много раз на него нападали молодые безумцы, которые рассчитывали присвоить его жизненную энергию. Вдогонку ему летели их бредовые выкрики. Кожу исчертили глубокие царапины, оставленные алчными ногтями.

И все-таки Сим нашел то, что искал.

Горстка мужчин ютилась в базальтовом мешке в недрах горы. На столе перед ними лежали неведомые предметы, вид которых, однако, родил отзвук в душе Сима.

Ученые работали по группам — старики решали важные задачи, молодые обучались, задавали вопросы; было здесь и трое детей. Все вместе образовали звенья единого процесса. Каждые восемь дней состав группы, работающей над той или иной проблемой, полностью обновлялся. Общая отдача была до нелепости мала. Ученые старились и умирали, едва достигнув творческой зрелости. Созидательная пора каждого составляла от силы двенадцать часов. Три четверти жизни уходили на учение, а за короткой порой творческой отдачи тут же следовали дряхлость, безумие, смерть.

Все обернулись, когда вошел Сим.

— Неужели пополнение? — сказал самый старей.

— Не думаю,— заметил другой, помоложе.— Гоните его прочь! Это, должно быть, один из тех, что подстрекают людей воевать.

— Нет-нет,— возразил старик. Шаркая по камню босыми ступнями, он подошел к Симу.— Входи, мальчик, входи.

Глаза у него были приветливые, уравновешенные, не такие, как у порывистых жителей верхних пещер. Серые, спокойные глаза.

— Что тебе нужно?

Сим смешался и опустил голову, не выдержав спокойного, ласкового взгляда.

— Жить,— прошептал он.

Старик негромко рассмеялся. Потом тронул Сима за плечо.

— Ты из какой-нибудь новой породы? Или, может быть, ты больной? — допытывался он почти всерьез.— Почему ты не играешь? Почему не готовишь себя к поре любви, к женитьбе, к отцовству? Разве ты не знаешь, что завтра вечером будешь почти взрослым? Не понимаешь, что жизнь пройдет мимо тебя, если ты не будешь осмотрительным?

Старик смолк.

С каждым вопросом глаза Сима переходили с предмета на предмет. Сейчас он смотрел на приборы на столе.

— Мне не надо было сюда приходить? — спросил он.

— Конечно, надо было! — прогремел старик.— Но это чудо, что ты пришел. Вот уже тысяча дней, как мы не получали пополнения извне! Приходится самим выращивать ученых в собственной закрытой системе! Сосчитай-ка нас! Шесть! Шестеро мужчин. И трое детей. Могучая сила, верно? — Старик плюнул на каменный пол.— Мы зовем добровольцев, а нам отвечают: «Обратитесь к кому-нибудь другому!» или «Нам некогда!» А знаешь, почему они так говорят?

— Нет.— Сим пожал плечами.

— Потому что каждый думает о себе. Конечно, им хочется жить дольше, но они знают, что, как бы ни старались, вряд ли лично им прибавится хоть один день. Возможно, потомки будут жить дольше. Но ради потомков они не согласны жертвовать своей любовью, своей короткой юностью, да хотя бы одним часом заката или восхода!

Сим прислонился к столу.

— Я понимаю,— серьезно сказал он.

— Понимаешь? — Старик рассеянно посмотрел на Сима. Потом вздохнул и ласково потрепал его по руке: — Ну конечно, понимаешь. Можно ли требовать от кого-нибудь, чтобы понимал больше? Ты молодец.

Остальные окружили кольцом Сима и старика.

— Мое имя Дайнк. Завтра ночью мое место займет Корт. Я к тому времени умру. На следующую ночь кто-то другой сменит Корта, а потом придет твоя очередь, если ты будешь трудиться и верить. Но прежде я хочу дать тебе подумать. Возвращайся к своим товарищам по играм, если хочешь. Ты кого-нибудь полюбил? Возвращайся к ней. Жизнь коротка. С какой стати тебе печалиться о тех, кто еще не родился? У тебя есть право на юность. Ступай, если хочешь. Ведь если ты останешься, все твое время уйдет только на то, чтобы трудиться, стариться и умереть за работой. Правда, ты будешь делать доброе дело. Ну?

Сим оглянулся на туннель. Где-то там завывал ветер, и пахло варевом, и шлепали босые ноги, и звучал, радуя сердце, молодой смех. Он сердито дернул головой, на глазах его блеснула влага.

— Я остаюсь,— сказал он.

6

Третья ночь и третий день остались позади. Наступила четвертая ночь. Сим втянулся в жизнь ученых. Ему рассказали про металлическое зернышко на вершине далекой горы. Рассказали про много зернышек — так называемые «корабли», и как они потерпели крушение, про то, как уцелевшие, которые укрылись среди скал, начали быстро стариться и в отчаянной борьбе за жизнь забыли все науки. В такой вулканической цивилизации знание механики не могло сохраниться. Всякий жил только настоящей минутой.

О вчерашнем дне никто не думал, завтрашний день зловеще глядел в глаза. Но та самая радиация, которая ускорила старение, породила и своего рода телепатическое общение, помогающее новорожденным воспринимать и осмысливать. А получившая силу инстинкта наследственная память сохраняла картины других времен.

— Почему мы не пробуем добраться до корабля на горе? — спросил Сим.

— Слишком далеко. Понадобится защита от солнца,— объяснил Дайнк.

— Вы пробовали придумать защиту?

— Мази и втирания, одеяния из камня и птичьих перьев, а также в последнее время из жестких металлов. Но ничто не помогает. Еще десять тысяч поколений, и нам, возможно, удастся изготовить охлаждаемый водой панцирь, который за-

щитит нас на пути к кораблю. Но мы работаем очень медленно, и все на ощупь. Сегодня утром я, зрелый муж, взял в руки инструмент. Завтра, умирая, отложу его. Что может сделать человек за один день? Будь у нас десять тысяч человек, задачу удалось бы решить...

— Я пойду к кораблю,— сказал Сим.

— И погибнешь,— произнес старик в тишине, воцарившейся после слов Сима. Все смотрели на мальчика.— Ты очень эгоистичный юноша.

— Эгоистичный? — возмутился Сим.

Старик повел рукой в воздухе.

— Но такой эгоизм мне по душе. Ты хочешь жить дольше и готов все для этого сделать. Хочешь добраться до корабля. Но я говорю тебе, что ничего не выйдет. И все же, если ты будешь настаивать, я не смогу тебе помешать. По крайней мере, ты не уподобишься тем из нас, которые уходят на войну, чтобы выиграть несколько лишних дней жизни.

— На войну? — переспросил Сим.— О какой войне тут может идти речь?

По его телу пробежала дрожь. Непонятно...

— Об этом завтра,— сказал Дайнк.— А сейчас слушай.

Еще одна ночь прошла.

7

Настало утро. По одному из ходов, крича и плача, прибежала Лайт и упала прямо в объятия Сима. Она опять изменилась. Стала еще старше и еще прекраснее. Дрожа, она прижималась к нему.

— Сим, они идут за тобой!

В туннеле нарастал, приближаясь, звук шагающих босых ног. Показался Кайон. Он тоже вытянулся в длину, и в каждой его руке было по острому камню.

— А, вот ты где, Сим!

— Уходи! — яростно крикнула Лайт, замахиваясь на него.

— Без Сима не уйдем,— твердо ответил Кайон. И, улыбаясь, повернулся к Симу.— Если, конечно, он готов сражаться вместе с нами.

Дайнк, волоча ноги, вышел вперед, его глаза часто мигали, худые руки трепетали по-птичьи в воздухе.

— Ступайте! — гневно произнес он тонким голосом.— Этот юноша теперь ученый. Он работает с нами.

Кайон перестал улыбаться.

— Его ждет работа получше этой. Мы идем воевать с обитателями дальних скал.— Глаза Кайона беспокойно блестели.— Ты ведь пойдешь с нами, Сим?

— Нет, нет! — Лайт повисла на руке Сима.

Сим погладил ее плечо, потом повернулся к Кайону:

— Почему вы решили напасть на тех людей?

— Три лишних дня ждут того, кто пойдет с нами.

— Три лишних дня? Три дня жизни?

Кайон уверенно кивнул:

— Если мы победим, будем жить вместо восьми одиннадцать дней. Там, где они живут, в скалах есть особая горная порода, она защищает от радиации! Подумай, Сим, три долгих, славных дня жизни. Идешь с нами?

— Идите без него, — вмешался Дайнк. — Сим — мой ученик!

Кайон фыркнул:

— Шел бы ты умирать, старик. Сегодня на закате от тебя останутся одни обугленные кости. Кто ты такой, чтобы командовать нами? Мы молоды, мы хотим жить дольше.

Одиннадцать дней. Невероятно! Одиннадцать дней! Теперь Сим понимал, что порождает войны. Кто не пойдет воевать за то, чтобы почти наполовину продлить свою жизнь! Столько лишних дней жизни! Да, в самом деле, почему нет?

— Три лишних дня, — произнес скрипучий голос Дайнка. — *Если* вы до этого доживете. Если вас не убьют в бою. *Если. Если.* Вы еще никогда не побеждали. Всегда проигрывали!

— Но на этот раз, — резко заявил Кайон, — мы победим!

Сим недоумевал:

— Но ведь мы все одной крови. Почему нельзя вместе жить там, где скалы защищают лучше?

Кайон рассмеялся, сжимая в руке острый камень.

— Те, что там живут, считают себя лучше нас. Так всегда думает тот, кто сильнее. К тому же и пещеры там меньше, в них помещается только триста человек.

Три лишних дня!

— Я пойду с вами, — сказал Сим Кайону.

— Отлично! — Что-то Кайон уж очень обрадовался.

Дайнк порывисто вздохнул.

Сим повернулся к Дайнку и Лайт:

— Если я сумею победить в бою, я буду на полмили ближе к кораблю. И у меня в запасе будет три лишних дня, чтобы попытаться дойти до него. Кажется, у меня просто нет выбора.

Дайнк печально кивнул:

— Да, это так. Я верю тебе. Ступай же.

— Прощайте, — сказал Сим.

Лицо старика отразило удивление, потом он рассмеялся, словно в ответ на беззлобную шутку.

— Верно, ведь я тебя больше не увижу... Ну что ж, прощай. И они пожали друг другу руки.

Все вместе: Кайон, Сим, Лайт и другие дети, быстро растающие в бойцов,— они покинули пещеру ученых. И огонек в глазах Кайона не сулил ничего хорошего.

Лайт пошла с Симом. Она собрала для него камни и понесла их. Уходить домой отказалась, сколько он ее ни убеждал. Они шагали через долину; близился восход.

— Прошу тебя, Лайт, ступай домой!

— Чтобы ждать возвращения Кайона? — сказала она.— У него задумано, что я стану его женой, когда ты умрешь.

Она сердито тряхнула своими неправдоподобными, голубыми кудрями.

— Нет, я пойду с тобой. Если ты погибнешь в бою, я тоже погибну.

Лицо Сима посуровело. Он сильно вырос. За ночь мир словно съжился. Стайки детей, которые с ликующими криками собирали плоды, вызвали у него удивление, даже недоумение: неужели он сам всего четыре дня назад был таким? Странно. В голове Сима отложился гораздо более долгий срок, как будто он на самом деле прожил тысячу дней. Пласт событий и размышлений в его сознании был таким мощным, таким многоцветным и многообразным, что просто не верилось — да разве могло столько всего произойти за считанные дни?

Бойцы бежали по двое, по трое. Сим посмотрел вперед, на торчащие вдаль невысокие черные зубцы. «Сегодня мой четвертый день,— сказал он себе.— А я еще ни на шаг не приблизился к кораблю, ни к чему не приблизился, даже к той,— он слышал рядом легкую поступь Лайт,— которая несет мое оружие и собирает для меня спелые ягоды».

Половина жизни прошла. Или одна треть... Если он выиграет эту битву. *Если...*

Сим бежал легко, упруго, непринужденно. «Сегодня я как-то особенно остро ощущаю свое бытие. Я бегу и ем, ем и расту, расту и с замиранием сердца обращаю взгляды на Лайт. И она тоже с нежностью глядит на меня. День нашей юности... Неужели мы тратим его впустую? Расходуем на вздор, на химеру?»

Издали донесся смех. В детстве смех настораживал Сима. Теперь он его понимал. Этот смех родился в душе человека,

который взбирался на скалы высокие, собирал там листья зеленые, пил хмельное вино с сосулук утренних, ел плоды горные и впервые вкушал сладость юных губ.

Вот уже близко скалы противника.

А у Сима перед глазами — стройная осанка Лайт. Он словно впервые открыл для себя ее шею, коснувшись которой, можно сосчитать биение сердца, и пальцы, которые трепетно лнут к твоим пальцам, и...

Лайт резко отвернулась.

— Гляди вперед! — крикнула она. — Следи за тем, что предстоит... Гляди только вперед!

У него было такое чувство, словно они пробегают мимо большого куска своей жизни, вся юность остается позади, и даже некогда оглянуться.

— Глаза устали смотреть на камни, — сказал он на бегу.

— Найди себе новые камни!

— Я вижу камни... — Голос его стал ласковым, как ее ладонь. Ландшафт уплывал назад. Сим будто летел в объятиях нежного, дремотного ветерка. — Вижу камни, ущелье, прохладную тень и каменные ягоды. Они — как роса. Тронешь камень — и ягоды сыплются вниз беззвучной красной лавиной, и травы такие шелковистые...

— Не вижу! — Она побежала быстрее, глядя в другую сторону.

Он видел пушок на ее шее — будто тонкий серебристый мох на холодной стороне бульжников, что колышется от легчайшего дыхания. Потом представил самого себя, с напряженно сжатыми кулаками мчащегося вперед, навстречу смерти. На его руках вздулись упругие жилы.

Лайт протянула ему какую-то пищу.

— Я не хочу есть, — сказал он.

— Ешь, ешь как следует, — строго велела она. — Чтобы были силы для битвы!

— Господи! — с болью воскликнул он. — Кому нужны эти битвы!

Навстречу им вниз по склону запрыгали камни. Один из бойцов упал с расколотым черепом. Война началась.

Лайт передала Симу оружие. Дальше они бежали без слов, вплоть до боевого рубежа.

Сверху, из-за бастионов противника, на них обрушился искусственный обвал!

Теперь одна мысль владела Симом. Убивать, лишать жизни других, чтобы жить самому, укрепиться здесь, продлить свою

жизнь и попробовать достичь корабля. Он приседал, уклонялся, хватал камни и метал их вверх. В левой руке у него был плоский каменный щит, которым он отбивал летящие сверху обломки. Кругом раздавались хлопки. Лайт бежала рядом, ободряя его. Один за другим впереди упали двое, убиты наповал — грудь распорота до кости, кровь бьет фонтаном...

И ведь все понапрасну. Сим мгновенно осознал бессмысленность затеянной ими схватки. Штурмом эту скалу не взять. Глыбы катились сверху сплошной лавиной. Десять бойцов пали с черными осколками в черепах, еще у пятерых плетью повисли переломанные руки. Кто-то вскрикнул — белый коленный сустав торчал из кожи, распоротой метко брошенными кусками гранита. Атакующие спотыкались о тела убитых.

На скулах Сима заиграли желваки, он уже клял себя за то, что пришел сюда. И все-таки, прыгая то в одну, то в другую сторону, нырками уклоняясь от камней, он упорно смотрел вверх, на черные скалы. Жить там и сделать заветную попытку — это желание было сильнее всего. Он должен добиться своего! Но мужество готово было покинуть его.

Лайт пронзительно вскрикнула. Сим обернулся, обомлев от испуга, и увидел, что рука ее перебита, из рваной раны поперек запястья хлестала кровь. Она зажала руку под мышкой, чтобы умерить боль. Ярость всколыхнула в его душе, он неистово рванулся вперед, бросая камни с убийственной точностью. Вот от меткого броска вражеский боец упал как подкошенный и покатился вниз по уступам. Наверное, Сим что-то кричал, потому что легкие его толчками извергали воздух и в горле саднило, а земля стремительно убегала назад.

Камень ударил его по голлове и опрокинул на землю. На зубах захрустел песок. Мир рассыпался на багровые завитушки. Сим не мог встать. Он лежал и думал, что вот и пришел его последний день, последний час. Кругом продолжала кипеть схватка, и в полузабытьи он ощутил, как над ним наклонилась Лайт. Руки ее охладили его лоб, она хотела оттащить Сима в безопасное место, но он лежал, хватая ртом воздух, и твердил, чтобы она бросила его.

— Стой! — крикнул чей-то голос.

Казалось, война на миг приостановилась.

— Назад! — скомандовал быстро тот же голос. Лежа на боку, Сим увидел, как его товарищи повернули и побежали назад, домой.

— Солнце всходит, наше время кончилось!

Он проводил взглядом мускулистые спины, мелькающие в беге ноги. Мертвых оставили лежать на поле боя. Раненые зывали о помощи. Но разве сейчас до раненых! Только бы стрем-

глав одолеть бесславный путь домой и с опаленными легкими нырнуть в пещеры, прежде чем беспощадное солнце достигнет их и уйдет.

Солнце!

Кто-то бежал в сторону Сима. Это был Кайон! Шепча ободряющие слова, Лайт помогла Симу встать.

— Идти сможешь? — спросила она.

— Кажется, смогу, — простонал он.

— Тогда пошли, — продолжала она. — Сперва потише, потом быстрее и быстрее. Мы дойдем, я знаю, что дойдем!

Сим выпрямился, шатаясь. Подбежал Кайон — лицо, искаженное свирепыми складками, сверкающие глаза еще не остыли после битвы. Оттолкнув Лайт, он схватил острый камень и резким ударом распорол Симу ногу. Ударил молча, без единого звука.

Потом отступил назад, по-прежнему не говоря ни слова, только ослабился, будто ночной хищник. Грудь его тяжело вздымалась, взгляд перебежал с окровавленной ноги Сима на Лайт и обратно. Наконец он отдышался.

— Он не дойдет. — Кайон кивком указал на Сима. — Придется нам оставить его здесь. Пошли, Лайт.

Лайт кошкой набросилась на Кайона, норовя добраться до его глаз. Тонкий визг вырвался сквозь ее оскаленные зубы, пальцы молниеносно прочертили глубокие кровавые борозды на бицепсах, затем на шее Кайона. С бранью Кайон отпрянул от Лайт. Она бросила в него камнем. Он увернулся и, рыча, отбежал еще на несколько ярдов.

— Дура! — презрительно крикнул он. — Идем со мной! Сим умрет через несколько минут. Пошли!

Лайт повернулась к нему спиной:

— Если ты меня понесешь.

Кайон изменился в лице. Блеск пропал из его глаз.

— Времени мало. Мы оба погибнем, если я тебя понесу.

Лайт смотрела на него, как на пустое место.

— Неси же, я так хочу.

Не говоря ни слова, Кайон испуганно глянул на полосу алеющей зари и побежал. Его шаги умчались вдаль и затихли.

— Хоть бы упал и шею себе сломал, — прошептала Лайт, яростно глядя на пересекающий ущелье силуэт. Она повернулась к Симу. — Можешь идти?

От раны боль растекалась по всей ноге. Сим иронически кивнул.

— Если идти, часа за два до пещеры доберемся. Но у меня есть идея, Лайт. Понеси меня на руках.

Он улыбнулся собственной мрачной шутке.

Она взяла его за руку:

— И все-таки мы пойдем. Ну-ка...

— Нет,— сказал он.— Мы останемся здесь.

— Но почему?

— Мы пришли сюда, чтобы отвоевать себе новую обитель.

Если пойдем обратно — умрем. Лучше уж я умру здесь. Сколько времени нам осталось?

Вместе они посмотрели туда, где всходило солнце.

— Несколько минут,— тускло, бесцветно сказала она, прижимаясь к нему.

Солнечный свет хлынул из-за горизонта, и на черных скалах появились багровые и коричневые подпалины.

Глупец он! Надо было остаться и работать вместе с Дайнком, размышлять и мечтать.

Жилы на шее Сима вздулись, он вызывающе закричал, обращаясь к жителям черных пещер:

— Эй, вышлите кого-нибудь сюда на поединок!

Молчание. Голос отразился от скал. Стало жарко.

— Ни к чему это,— сказала Лайт.— Они не отзовутся.

— Слушайте! — снова закричал Сим. Раненая нога ныла от пульсирующей боли, он перенес вес на здоровую и взмахнул кулаком.— Вышлите сюда воина, да не труса! Я не убегу домой! Я пришел сразиться в честном поединке! Вышлите бойца, который готов воевать за право на свою пещеру! Я убью его!

По-прежнему молчание. Над краем прокатилась волна зноя.

— Эй,— с издевкой кричал Сим, широко раскрыв рот, закинув голову назад, опираясь руками на гелые бедра,— неужели не найдется среди вас человека, который отважится сразиться с калеккой?

Молчание.

— Нет?

Молчание.

— Значит, я в вас ошибся. Просчитался. Ладно, останусь здесь, пока солнце не снимет черную стружку с моих костей, и буду вас поносить так, как вы этого заслуживаете.

Ему ответили.

— Я не люблю, когда меня поносят! — крикнул мужской голос.

Сим наклонился вперед, забыв об искалеченной ноге. В устье пещеры, на третьем ярусе, показался плечистый силач.

— Спускайся! — твердил Сим.— Спускайся, толстяк, прикончи меня!

Секунду противник разглядывал Сима из-под насупленных бровей, затем медленно побрел вниз по тропе. В руках у него

не было никакого оружия. В ту же секунду изо всех пещер высунулись головы — зрители предстоящей драмы.

Чужак подошел к Симу:

— Сражаться будем по правилам, если ты их знаешь.

— Узнаю по ходу дела,— ответил Сим.

Его ответ понравился противнику, он посмотрел на Сима внимательно, но без неприязни.

— Вот что,— великодушно предложил он,— если ты погибнешь, я приму твою спутницу под свой кров, и пусть живет без забот, потому что она жена доброго воина.

Сим быстро кивнул.

— Я готов,— сказал он.

— А правила простые. Руками друг друга не касаемся, наше оружие — камни. Камни и солнце убьют кого-то из нас. Теперь приступим...

8

Показался краешек солнца.

— Меня зовут Нхой.— Противник Сима небрежно поднял горсть камней и взвесил их на ладони.

Сим сделал так же. Он хотел есть. Уже много минут он ничего не ел. Голод был бичом жителей этой планеты, пустые желудки непрерывно требовали еще и еще пищи. Кровь вяло струилась по жилам, с жарким звоном стучала в висках, грудная клетка вздымалась, и опадала, и снова порывисто вздымалась.

— Давай! — закричали триста зрителей со скал.— Давай! — требовали мужчины, женщины и дети, облепившие уступы.— Ну! Начинайте!

Словно по сигналу, взошло солнце. Его мощь ударила бойцов, будто плоским раскаленным камнем. Они даже качнулись, на обнаженных бедрах и спинах тотчас выступили капли пота, лица и ребра заблестели как стеклянные.

Силач переступил с ноги на ногу и поглядел на солнце, как бы не торопясь начинать поединок. Вдруг беззвучно, без малейшего предупреждения, молниеносным движением указательного и большого пальцев он выстрелил камень. Снаряд поразил Сима в щеку, он невольно попятился, и дикая боль ракетой метнулась вверх по раненой ноге и взорвалась в желудке. Он ощутил вкус просочившейся в рот крови.

Нхой хладнокровно продолжал обстрел. Еще три неуловимых движения его ловких рук, и три маленьких, безобидных по виду камешка, словно свистящие птицы, рассекли воздух. Каждый из них нашел и поразил свою цель — нервные узлы. Один ударил в живот, и все съеденное Симом за предшеству-

ющие часы чуть не выскочило наружу. Второй поразил лоб, третий — шею. Сим рухнул на раскаленный песок. Колени его резко стукнули о твердый грунт. Лицо стало мертвенно-бледным, плотно зажмуренные глаза проталкивали слезы между горячими подрагивающими веками. Но, падая, Сим успел с отчаянной силой метнуть свою горсть камней.

Они промурлыкали в воздухе. Один из них, только один, попал в Нхой. Прямо в левый глаз. Нхой застонал и закрыл руками изувеченное глазное яблоко.

У Сима вырвался горький, всхлипывающий смешок. Хотя тут ему повезло. Глаз противника — мера его успеха. Это даст ему... время. «Господи, — подумал он, борясь со спазмом в желудке, жадно хватая ртом воздух, — живем в мире времени! Мне бы хоть немного, хоть крошечку!»

Окривевший Нхой, шатаясь от боли, обрушил град камней на корчащееся тело Сима, но меткость ему изменила, и камни либо пролетали мимо, либо попадали в противника уже на излете, потеряв грозную силу.

Сим заставил себя привстать. Краешком глаза он видел, как Лайт напряженно глядит на него, тихо выговаривая ободряющие и обнадеживающие слова. Он купался в собственном поту, будто его окатило ливнем.

Солнце целиком вышло из-за горизонта. Его можно было обонять. Камни отливали зеркальным блеском, песок зашевелился, забулбил. Во всех концах долины возникали миражи. Вместо одного бойца перед Симом, готовясь метнуть очередной снаряд, стояли во весь рост десятков Нхоев. Десятки озаренных грозным золотистым сиянием волонтеров вибрировали в лад, как бронзовые гонги!

Сим лихорадочно дышал. Ноздри его расширились и слипались, рот жадно глотал огонь вместо кислорода. Легкие горели, будто факелы из нежной ткани, пламя пожирало тело. Исторгнутый порами пот тотчас испарялся. Он чувствовал, как тело сжимается, сохнет, и мысленно увидел себя таким, каким был его отец, — старым, чахлым, одряхлевшим! Песок... куда он делся? Есть ли силы двигаться? Да. Земля дыбилась под Симом, но он все-таки поднялся на ноги.

Перестрелки больше не будет.

Он понял это, с трудом разобрав слова, которые доносились сверху, со скал. Опаленные солнцем лица зрителей кричали, осыпая его насмешками и подбадривая своего воина:

— Стой твердо, Нхой, береги свои силы теперь! Стой прямо, потей!

И Нхой стоял, покачиваясь медленно, словно маятник, подталкиваемый раскаленным добела дыханием небес.

— Не двигайся, Нхой, береги сердце, береги силы!

— Испытание! Испытание! — повторяли люди вверху. — Испытание солнцем.

Самая тяжелая часть поединка... Напрягаясь, Сим глядел на расплывающиеся очертания скал, и ему чудились его родители: отец с лицом покойника, с воспаленными зелеными глазами, мать — седые волосы, будто стелющийся дым. Он должен подняться к ним, жить ради них и с ними!

За его спиной тонко всхлипнула Лайт. Послышался удар мягкого тела о песок... Она упала. И нельзя обернуться. На это потребуется усилие, которое может повергнуть его в пучину боли и тьмы.

У Сима подкосились ноги: «Если я упаду, — подумал он, — останусь здесь лежать и превращусь в пепел. Так, а где Нхой?» Нхой стоял в нескольких ярдах от него, понурый, весь в поту, — вид такой, будто на хребет его обрушился молот-сокрушающий.

«Упади, Нхой! Упади! — твердил про себя Сим. — Упади, упади! Упади, чтобы я мог занять твою обитель!»

Но Нхой не падал. Один за другим из его слабеющей руки на накаленный песок сыпались камни, зубы Нхой обнажились, слюна выкипела на губах, глаза остекленели. А он все не падал. Велика была в нем воля к жизни. Он держался, словно подвешенный на канате.

Сим упал на одно колено.

Торжествующее «аааа!..» отдалось в скалах наверху. Они там знали: это смерть. Сим вскинул голову с какой-то деревянной, растерянной улыбкой, словно его поймали на нелепом, дурацком поступке.

«Нет, — убеждал он себя как во сне, — нет!..»

И снова встал.

Дикая боль превратила его в сплошной гудящий колокол. Все вокруг звенело, шипело, клокотало. Высоко в горах скатилась лавина — беззвучно, будто опустился занавес, закрывающий сцену. Тишина, полная тишина, если не считать этого назойливого гудения. Перед взором Сима стояло сразу полсотни Нхоев в кольчугах из пота: глаза искажены мукой, скулы выпирают, губы растянуты, будто лопнувшая кожа перезрелого плода. Незримый канат все еще держал его.

— Ну вот, — Сим с трудом ворочал запекшимся языком между жарко поблескивающими зубами. — Сейчас я упаду, и буду лежать, и видеть сны.

Он произнес это медленно, стараясь продлить удовольствие. Заранее представил себе, как это будет. Как именно он все

это проведет. Уж он постарается в точности выполнить программу. Сим поднял голову — проверил, наблюдают ли за ним зрители.

Они исчезли!

Солнце прогнало их. Всех, кроме одного-двух самых упорных. Сим пьяно рассмеялся и стал смотреть, как на его онемевших руках копятя капли пота, срываются, летят вниз и, не долетев до песка, испаряются.

Нхой упал.

Незримый канат лопнул. Нхой рухнул плашмя на живот, изо рта у него выскочил сгусток крови. Закатившиеся глаза безумно сверкали слепыми белками.

Упал Нхой. И вместе с ним упали все пятьдесят его призрачных двойников.

Над долиной гудели и пели ветры, и глазам Сима представилось голубое озеро с голубой рекой, и белые домики вдоль реки, и люди — кто входил или выходил из дома, кто гулял среди высоких зеленых деревьев. Деревья на берегу реки-миража были в семь раз больше человеческого роста.

«Вот теперь, — сказал себе наконец Сим, — теперь я могу падать. Прямо... в это... озеро».

Он упал ничком.

Но что это такое? Чьи-то руки поспешно подхватили его, подняли и стремительно понесли, держа высоко в ненасытном воздухе, будто пылающий на ветру факел.

«Это и есть смерть?» — удивился Сим и канул в крошечный мрак.

Его привели в себя струи холодной воды, которой ему плескали в лицо.

Он нерешительно открыл глаза. Лайт, положив его голову себе на колени, бережно кормила его. Сим был дико голоден и измучен, но все мгновенно заслонил страх. Превозмогая слабость, он приподнялся; над ним были своды какой-то незнакомой пещеры.

— Сколько времени прошло? — строго спросил он.

— Еще день не кончился. Лежи спокойно, — сказала она.

— День не кончился?

Она радостно кивнула.

— Ты не потерял ни одного дня жизни. Это пещера Нхой. Нас защищают черные скалы. Мы проживем три лишних дня. Доволен? Ложись.

— Нхой умер? — Он откинулся на спину, напряженно дыша, сердце отчаянно колотило в ребра. Но вот постепенно Сим отдышался. — Я победил, победил! — прошептал он.

— Нхой умер. И мы чуть не погибли. Нас подобрали в последнюю минуту.

Он принялся жадно есть.

— Нельзя терять ни минуты! Мы должны набраться сил. Моя нога...

Он поглядел на ногу, ощупал ее. Она была обмотана длинными желтыми стеблями, боль совсем исчезла. Вот и теперь, можно сказать на глазах, лихорадочный ток крови всю работу, продолжая свое исцеляющее действие под повязкой. «До заката нога должна быть здорова опять,— сказал он себе.— Должна».

Сим встал и, прихрамывая, начал ходить взад-вперед, будто пойманный зверь. Он ощутил взгляд Лайт, но не мог заставить себя ответить на него. В конце концов все-таки обернулся.

Однако она заговорила первая.

— Ты хочешь идти дальше к кораблю? — мягко спросила Лайт.— Сегодня вечером? Как только зайдет солнце?

Он набрал в легкие воздух, потом выдохнул:

— Да.

— А до завтра подождать ни за что нельзя?

— Нет.

— Тогда я иду с тобой.

— Нет!

— Если начну отставать, не жди меня. Здесь мне все равно не жизнь.

Долго они пристально смотрели друг на друга. Он безнадежно пожал плечами:

— Ладно. Я знаю — тебя не отговорить. Пойдем вместе.

9

Они ожидали в устье своей новой обители. Наступил закат. Камни настолько остыли, что по ним можно было ходить. Вот-вот придет пора выскакивать наружу и бежать к далекому, отливающему металлическим блеском зернышку на горе.

Скоро пойдут дожди. Сим представлял себе картины, которые не раз наблюдал: как ливень собирается в ручьи, а ручьи образуют реки, каждую ночь пробивающие новые русла. Сегодня река течет на север, завтра — на северо-восток, на третью ночь — строго на запад. Могучие потоки без конца бороздили долину шрамами. Старые русла заполнялись обвалами и землетрясениями. Следующий день рождал новые. Реки, их направление — вот о чем он много часов думал снова и снова. Ведь очень может быть, что... Ладно, время покажет.

Сим заметил, что здесь и пульс реже, и все жизненные процессы замедлились. Это особая горная порода защищала их от солнечной радиации. Конечно, ток жизни и тут оставался стремительным, но не настолько.

— Пора, Сим! — крикнула Лайт.

Они побежали. Бежали в промежутке между двумя смертями — испепеляющей и ледящей. Бежали вместе от скал к манящему кораблю.

Никогда в жизни они так не бегали. Настойчиво, упорно их бегущие ноги стучали по широким каменным плитам, вниз по склонам, вверх по склонам и дальше вперед, вперед... Воздух царапал их легкие как наждаком. Черные скалы безвозвратно ушли назад.

Они не ели на бегу. Оба еще в пещере наелись вдоволь, чтобы сберечь время. Теперь только бежать: выбросить вверх ногу, мах назад согнутой в локте рукой, мышцы предельно напряжены, рот жадно пьет воздух, который из жгучего стал освежающим.

— Они глядят на нас?

Сквозь стук сердца слух его уловил прерывающийся голос Лайт.

Кто глядит?.. А, конечно, скальное племя. Когда в последний раз происходила подобная гонка? Тысячу, десять тысяч дней назад? Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то, решив попытать счастья, мчался во весь опор, провожаемый взглядами целого народа, сквозь овраги и через студеную равнину? Может быть, влюбленные на минуту забыли о смехе и пристально смотрят на две крохотные точки, на мужчину и женщину, что бегут навстречу своей судьбе? Может быть, дети, уписывая спелые плоды, оторвались от игр, чтобы посмотреть на эту гонку со временем? Может быть, Дайнк еще жив и, шуря тускнеющие глаза под насупленными бровями, скрипучим, дрожащим голосом кричит что-то ободряющее и машет скрюченной рукой? Может быть, их осыпают насмешками? Называют глупцами, болванами? И звучит ли в язвительном хоре хоть один голос, желающий им удачи, надеющийся, что они достигнут корабля?

Сим глянул на небо, уже тронутое приближающейся ночью. Из ничего возникли облака, и пелена дождя пересекла ущелье в двухстах ярдах перед ними. Молнии били в вершины вдали, в смятенном воздухе распространился резкий запах озона.

— Полпути, — выдохнул Сим и увидел, как Лайт, повернув лицо, с тоской глядит на все, что они оставляли позади. — Теперь решай: если надумаешь возвращаться, еще есть время. Через минуту...

В горах прорычал гром. Где-то вверху родился маленький обвал, который уже могучей лавиной рухнул в глубокую расщелину. Капли дождя покрыли пупырышками гладкую белую кожу Лайт. В одну минуту волосы ее стали влажными и блестящими.

— Поздно! — перекричала она хлесткий стук собственных босых ног. — Теперь осталось только бежать вперед!

Да, в самом деле поздно. Сим прикинул расстояние и убедился, что возврата нет.

Ноге больно... Он побежал медленнее. Вдруг подул ветер. Холодный, пронизывающий. Но так как он дул сзади, то больше помогал, чем мешал, бежать. «Добрый знак? — спросил себя Сим. — Нет».

Потому что с каждой минутой становилось все яснее, как плохо он угадал расстояние. Время тает, а до корабля еще так далеко. Он ничего не сказал, но бессильная злоба на немощность собственных мышц вылилась жгучими слезами.

Сим знал, что Лайт думает так же, как он. Но она летела вперед белой птицей, словно и не касаясь земли. Он слышал ее дыхание — воздух входил в ее горло, будто острый кинжал в ножны.

Мрак захватил полнеба. Первые звезды проглянули между длинными прядями черных туч. Молния прочертила дорожку на гребне прямо перед ними. Гроза обрушилась на них стеной ливня и электрических разрядов.

Они скользили и спотыкались на мшистых камнях. Лайт упала, у нее вырвался гневный возглас, она поспешила подняться на ноги. Тело ее было в ссадинах и потеках грязи. Ливень хлестал ее.

Рыдание неба обрушилось на Сима. Струи дождя залили глаза, ручейки побежали вниз по спине, и он тоже готов был рыдать.

Лайт упала и осталась лежать. Она с трудом дышала, ее била дрожь.

Он поднял ее, поставил на ноги.

— Беги, Лайт, прошу тебя, беги!

— Оставь меня, Сим. Ступай, живей! — Она чуть не захлебнулась дождем. Всюду была вода. — Не трудись впустую. Беги без меня.

Он стоял, скованный холодом и бессилием, мысли его иссякли, огонек надежды готов был угаснуть. Кругом только мрак, холодные плети падающей воды и отчаяние...

— Тогда пойдем, — сказал он. — Будем идти и отдыхать.

Они прошли полсотни ярдов, медленно, не торопясь, будто дети на прогулке. Овраг перед ними до краев заполнился пото-

ком, и вода с торопливым бурлящим звуком устремилась к горизонту.

Сим что-то крикнул. Увлекая за собой Лайт, он опять побежал.

— Новое русло! — Он показал рукой. — Каждый день дождь прокладывает новое русло. За мной, Лайт!

Он наклонился над водой и нырнул, не выпуская руки Лайт.

Поток понес их как щепки. Они силились держать голову над водой, чтобы не захлебнуться. Берега быстро убегали назад. С бешеной силой стискивая пальцы Лайт, Сим чувствовал, как стремнина бросает и кружит его, видел, как сверкают молнии в вышине, и в душе его родилась новая, иступленная надежда. Бежать дальше нельзя — что ж, тогда вода поработает за них!

Бурная хватка новой недолговечной реки колотила Сима и Лайт о камни, распарывала плечи, сдирала кожу с ног.

— Сюда! — Голос Сима перекрыл раскат грома.

Лихорадочно загребая рукой, он поплыл к противоположной стороне оврага. Гора, на которой лежит корабль, прямо перед ними. Нельзя допустить, чтобы их пронесло мимо. Они упорно сражались с неистовой влагой, и их прибило к нужному берегу. Сим подпрыгнул, поймал руками нависший камень, ногами стиснул Лайт и медленно подтянулся вверх.

Гроза прекратилась так же быстро, как началась. Молнии потухли. Дождь перестал. Тучи растаяли и растворились в небе. Ветер еще пошептал и смолк.

— Корабль! — Лайт лежала на земле. — Корабль, Сим. Это та самая гора.

А к ним уже подкрадывалась стужа. Смертная стужа.

Борясь с изнеможением, они побрели вверх по склону. Холод лизал их тело, ядом проникал в артерии, сковывая конечности.

Впереди, в ореоле блеска, лежал свежеомытый корабль. Это было как сон. Сим не мог поверить, что осталось так мало... Двести ярдов. Сто семьдесят ярдов.

Землю стал обволакивать лед. Они скользили и без конца падали. Река позади них превратилась в твердую, бело-голубую холодную змею. Твердыми дробинками откуда-то прилетело несколько замешкавшихся капель дождя.

Сим всем телом привалился к обшивке корабля. Он чувствовал, осязал, трогал его! Слух уловил судорожное всхлипывание Лайт. Металл, корабль — вот он, вот он! Сколько еще человек касались его за много долгих дней? Он и Лайт дошли до цели!

Вдруг, словно в них просочился ночной воздух, по его жилам разлился холод.

А где же вход?

Ты бежишь, ты плывешь, ты чуть не тонешь. Клянешь все на свете, обливаешься потом, напрягаешь последние силы, и вот ты наконец добрался до горы, поднялся на нее, стучишь кулаками по металлу, кричишь от радости и... И не можешь найти входа.

Так, надо взять себя в руки. «Медленно, однако не слишком медленно,— сказал он себе,— обойди кругом весь корабль». Его испытующие пальцы скользили по металлу — настолько холодному, что влажная кожа грозила примерзнуть к обшивке. Теперь вдоль противоположной стороны... Лайт шла рядом с ним. Студеные длани мороза сжимались все крепче.

Вход.

Металл. Холодный, неподатливый. Узкая щель по краю люка. Отбросив в сторону осторожность, Сим принялся колотить по нему. Холод пронизывал до костей. Пальцы онемели, глазные яблоки начали коченеть. Он колотил то здесь, то там и кричал металлической дверце:

— Откройся! Откройся!

На минуту Сим потерял равновесие. Что-то подалось под его рукой... Щелчок!

Шумно вздохнул воздушный шлюз. Шурша металлом по резиновой прокладке, дверца мягко отворилась и ушла во мрак.

Сим увидел, как Лайт метнулась вперед, рывком поднесла руки к горлу и нырнула в тесную, полную света кабину. Не помня себя, он шагнул следом за ней.

Люк воздушного шлюза закрылся, отрезая путь назад.

Он задыхался. Сердце билось все медленнее, будто хотело остановиться.

Они были заточены внутри корабля, и что-то происходило. Судорожно ловя ртом воздух, Сим упал на колени.

Тот самый корабль, к которому он пришел за спасением, теперь тормозил биение его сердца, омрачал сознание, чем-то отравлял его. С каким-то смутным, угасающим чувством томительного страха Сим понял, что умирает.

Чернота...

Словно в тумане Сим ощущал, как идет время, как сознание силится принудить сердце биться быстрее, быстрее... И заставить глаза видеть ясно. Но сок жизни медленно протекал по усмирным сосудам, и он слышал тягучий ритм пульса: тук... пауза, тук... пауза, тук...

Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, даже пальцем. Требовалось неимоверное усилие, чтобы поднять каменный груз век. И совсем невозможно повернуть голову, взглянуть на лежащую рядом Лайт.

Словно издалека слышалось ее неровное дыхание. Так раненая птица шуршит сухими, смятыми перьями. Хотя Лайт была совсем близко и он угадывал ее тепло, казалось, их разделяет непомерная даль.

«Я остываю! — думал он. — Уж не смерть ли это? Вялое течение крови, тихое биение сердца, холод во всем теле, тягучий ход мысли...»

Глядя на верхнюю стенку корабля, он пытался разгадать это сложное сплетение трубок и приспособлений. Постепенно в мозгу рождалось представление о том, как устроен корабль, как он действует. В каком-то медленном прозрении он постигал смысл предметов, на которые переходил его взгляд. Не сразу. Не сразу.

Вот этот прибор с белой поблескивающей шкалой.

Его назначение?

Сим решал задачу с натугой, словно человек под водой.

Люди пользовались этим прибором. Касались его. Чинили. Устанавливали. Вообразили, а уже потом сделали его, установили, наладили, трогали, пользовались им. В приборе было как бы заложено определенное воспоминание, самый облик его, будто образ из сновидения, говорил Симу, как изготовляли эту шкалу и для чего она служит. Рассматривая любой предмет, он прямо из него извлекал нужное знание. Словно некая частица его ума обволакивала предмет, анатомировала и проникала в его суть.

Вот этот прибор предназначен, чтобы измерять время!

Миллионы часов времени!

Но как же так?.. Глаза Сима расширились, озарились жарким блеском. Разве есть люди, которым нужен такой прибор?

Кровь стучала в висках, в глазах помутилось. Он зажмурился.

Ему стало страшно. День был на исходе. «Как же так, — думал он, — жизнь уходит, а я лежу? Лежу и не могу двинуться. Молодость скоро кончится. Сколько времени еще пройдет, прежде чем я смогу двигаться?»

Через окошко иллюминатора он видел, как проходит ночь, наступает новый день и опять воцаряется ночь. В небе зябко мерцали звезды.

«Еще четыре-пять дней, и я стану совсем дряхлым и немощным, — думал Сим. — Корабль не дает мне пошевелинуться. Лучше бы я оставался в родной пещере и там сполна насладился назначенной мне короткой жизнью. Чего я достиг тем, что пробился сюда? Сколько рассветов и закатов проходит понапрасну. Лайт рядом со мной, а я даже не могу ее коснуться».

Бред. Сознание куда-то вознеслось. Мысли метались в металлических отсеках корабля. Он слышал острый запах сварного

металла. Чувствовал, как ночью обшивка напрягается, днем опять расслабляется.

Рассвет. Уже новый рассвет!

«Сегодня я достиг бы полной зрелости». Он стиснул зубы. «Я должен встать. Должен двигаться. Извлечь ту радость, какую может дать мне эта пора моей жизни».

Но он лежал неподвижно. Чувствовал, как сердце медленно перекачивает кровь из камеры в камеру и дальше через все его недвижимое тело, как она очищается в мерно вздымающихся и опускающихся легких.

Корабль нагрелся. Щелкнуло незримое устройство, и воздух автоматически охладился. Управляемый сквозняк охладил кабину.

Снова ночь. И еще один день.

Четыре дня жизни прошло, а он все лежит.

Сим не пытался бороться. Ни к чему. Его жизнь истекла.

Его больше не тянуло повернуть голову. Он не хотел увидеть Лайт — такое же изуродованное лицо, какое было у его матери: веки, словно серые хлопья пепла, глаза, как шершавый зернистый металл, щеки, будто потрескавшиеся камни. Не хотел увидеть шею, похожую на жухлые плети желтой травы, руки, подобные дыму над угасающим костром, иссохшие руки, жесткие, растрепанные волосы цвета вчерашней сорной травы!

А сам-то он? Как он выглядит? Отвислая челюсть, ввалившиеся глаза, иссеченный старостью лоб?..

Он почувствовал, что к нему возвращаются силы. Сердце билось невообразимо медленно. Сто ударов в минуту. Не может быть! А это спокойствие, гладнокровие, умиротворенность...

Голова сама наклонилась вбок. Сим вытаращил глаза. Глядя на Лайт, он удивленно вскрикнул.

Она была молода и прекрасна.

Лайт смотрела на него: у нее не было сил говорить. Глаза ее были словно кружочки серебра, лебединая шея — будто руки ребенка. Волосы Лайт были точно нежное голубое пламя, питаемое ее хрупкой плотью.

Прошло четыре дня, а она все еще молода... нет, моложе, чем была, когда они проникли в корабль. Она совсем юная.

Он не верил глазам.

Наконец она заговорила:

— Сколько еще это продлится?

— Не знаю, — осторожно ответил он.

— Мы еще молоды.

— Корабль. Мы ограждены его обшивкой. Металл не пропускает солнце и излучение, которые нас старят.

Она отвела глаза, размышляя.

— Значит, если мы будем здесь...

— То останемся молодыми.

— Еще шесть дней? Четырнадцать? Двадцать?

— Может быть, даже больше.

Она примолкла. Потом, после долгого перерыва, сказала:

— Сим?

— Да.

— Давай останемся здесь. Не будем возвращаться. Если мы теперь вернемся, ты ведь знаешь, что с нами случится?

— Я не уверен.

— Мы опять начнем стариться, разве нет?

Он отвернулся. Посмотрел на верхнюю стенку, на часы с ползущей стрелкой.

— Да. Мы состаримся.

— А вдруг мы состаримся... сразу. Может быть, когда выйдем из корабля, переход окажется слишком резким?

— Может быть.

Снова молчание. Сим сделал несколько движений, разминая руки и ноги. Ему страшно хотелось есть.

— Остальные ждут, — сказал он.

Ответные слова Лайт заставили его ахнуть.

— Остальные умерли, — сказала она. — Или умрут через несколько часов. Все, кого мы знали, уже старики.

Сим попытался представить себе их стариками. Его сестренка Дак — дряхлая, согбенная временем... Он потрянул головой, прогоняя видение.

— Допустим, они умерли, — сказал он. — Но ведь родились другие.

— Люди, которых мы даже не знаем.

— И все-таки люди нашего племени, — ответил он. — Люди, которые будут жить только восемь дней или одиннадцать дней, если мы им не поможем.

— Но мы молоды, Сим! И можем оставаться молодыми!

Лучше не слушать ее. Слишком заманчиво то, о чем она говорит. Остаться здесь. Жить.

— Мы и так прожили больше других, — сказал он. — Мне нужны работники. Люди, которые могли бы наладить корабль. Сейчас мы с тобой оба встанем, найдем какую-нибудь пищу, поедем и проверим, в каком он состоянии. Один я боюсь его налаживать. Уж очень он большой. Нужна помощь.

— Но тогда надо бежать весь этот путь обратно!

— Знаю. — Он медленно приподнялся на локтях. — Но я это сделаю.

— А как ты приведешь сюда людей?
— Мы воспользуемся рекой.
— Если русло осталось прежним. Оно могло сместиться.
— Дождемся, пока не появится подходящее для нас. Я должен вернуться, Лайт. Сын Дайнка ждет меня, моя сестра, твой брат — они состарились, готовятся умереть и ждут вестей от нас...

После долгой паузы он услышал, как Лайт устало придвигается к нему. Она положила голову ему на грудь и с закрытыми глазами погладила его руку.

— Прости. Извини меня. Ты должен вернуться. Я глупая эгоистка.

Он неловко коснулся ее щеки.

— Ты человек. Я понимаю тебя. Не нужно извиняться.

Они нашли пищу. Потом прошли по кораблю. Он был пуст. Только в пилотской кабине лежали останки человека, который, вероятно, был командиром корабля. Остальные, видимо, выбросились в космос в спасательных капсулах. Командир, сидя один у пульта управления, посадил корабль на горе, неподалеку от других упавших и разбившихся кораблей. То, что корабль оказался на возвышенном месте, сохранило его от бурных потоков. Командир умер вскоре после посадки — наверное, сердце не выдержало. И остался корабль лежать здесь, почти в пределах досягаемости для спасшихся, целый и невредимый, но потерявший способность двигаться — на сколько тысяч дней? Если бы командир не погиб, жизнь предков Сима и Лайт могла бы сложиться совсем иначе. Размышляя об этом, Сим уловил далекий зловещий отголосок войны. Чем кончилась эта война миров? Какая планета победила? Или обе проиграли и некому было разыскивать уцелевших? На чьей стороне была правда? Кем был их враг? Принадлежал ли народ Сима к правым или неправым? Быть может, это так и останется неизвестным.

Скорей, скорей изучить корабль! Он совсем не знал его устройства, но все постигал, идя по переходам и поглаживая механизмы. Да, нужен только экипаж. Один человек не справится с этой машиной. Он коснулся круглого рыла какой-то штуковины. И отдернул руку, словно обжегся.

— Лайт!

— Что это?

Он снова коснулся машины, погладил ее дрожащими руками, и на глазах у него выступили слезы, рот сперва открылся, потом опять закрылся... С глубокой нежностью Сим оглядел машину, наконец повернулся к Лайт.

— С этой штукой... — тихо, будто не веря себе, молвил он, — с этой штукой я... я могу...

— Что, Сим?

Он вложил руку в какую-то чашу с рычагом внутри. Через иллюминатор впереди были видны далекие скалы.

— Кажется, мы боялись, что придется очень долго ждать, пока к горе опять подойдет река? — спросил он с торжеством в голосе.

— Да, Сим, но...

— Река будет. И я вернусь, сегодня же вечером. И приведу с собой людей. Пятьсот человек! Потому что с этой машиной я могу пробить русло до самых скал, и по этому руслу хлынет поток, который надежно и быстро доставит сюда меня и других. — Он потер бочковидное тело машины. — Как только я ее коснулся, меня сразу осенило, что это за штука и как она действует! Гляди!

Он нажал рычаг.

С жутким воем от корабля протянулся вперед луч раскаленного пламени.

Старательно, методично Сим принялся высекать лучом русло для утреннего ливневого потока. Луч жадно вгрызался в камень, обратив день в ночь.

Сим решил один бежать к скалам. Лайт останется в корабле на случай какой-нибудь неудачи. На первый взгляд, путь до скал казался непреодолимым. Не будет стремительной реки, которая быстро понесет его к цели, позволяя выиграть время. Придется всю дорогу бежать, но ведь солнце перехватит его, застигнет прежде, чем он достигнет укрытия!

— Остается одно: отправиться до восхода.

— Но ты сразу замерзнешь, Сим.

— Гляди.

Он изменил наводку машины, которая только что закончила прокладывать борозду в каменном ложе долины. Чуть приподнял гладкое дуло, нажал рычаг и закрепил его. Язык пламени протянулся в сторону скал. Сим подкрутил верньер дальности и сфокусировал пламя так, что оно обрывалось в трех милях от машины. Готово. Он повернулся к Лайт.

— Я не понимаю, — сказала она.

Сим открыл люк воздушного шлюза.

— Мороз лютый, и до рассвета еще полчаса. Но я побегу вдоль пламени, достаточно близко. Жарко не будет, но для поддержания жизни тепла хватит.

— Мне это кажется ненадежным, — возразила Лайт.

— А что надежно в этом мире? — Он подался вперед. — Зато у меня будет лишних полчаса в запасе. И я успею добраться до скал.

— А если машина откажет, пока ты будешь бежать рядом с лучом?

— Об этом лучше не думать,— сказал Сим. Миг, и он уже снаружи — и попятился назад, как если бы его ударили в живот. Казалось, сердце сейчас взорвется. Среда родной планеты взвинтила его жизненный ритм. Он почувствовал, как учащается пульс и кровь клокочет в сосудах.

Ночь была холодна как смерть. Гудящий тепловой луч, проверенный, обогревающий, протянулся от корабля через долину. Сим бежал вдоль него, совсем близко. Один неверный шаг, и...

— Я вернусь! — крикнул он Лайт.

Бок о бок с лучом света он исчез вдали.

Рано утром пещерный люд увидел длинный перст оранжевого накала и парящее вдоль него таинственное беловатое видение. Толпа бормотала, ужасалась, благоговейно ахала.

Когда же Сим наконец достиг скал своего детства, он увидел скопище совершенно чужих людей. Ни одного знакомого лица. Тут же он сообразил, как нелепо было ожидать другого. Один старик подозрительно рассматривал его.

— Кто ты? — крикнул он.— Ты пришел с чужих скал? Как твое имя?

— Я Сим, сын Сима!

— Сим! — пронзительно вскрикнула старая женщина, которая стояла на утесе вверху. Она заковыляла вниз по каменной дорожке.— Сим, Сим, неужели это ты?

Он смотрел на нее в полном замешательстве.

— Но я вас не знаю,— пробормотал он.

— Сим, ты меня не узнаешь? О, Сим, это же я! Дак!

— Дак!

У него все сжалось в груди. Женщина упала в его объятия. Эта трясущаяся, полуслепая старуха — его сестра.

Вверху показалось еще одно лицо. Лицо старика, свирепое, угрюмое. Злобно рыча, он глядел на Сима.

— Гоните его отсюда! — закричал старик.— Он из вражеского стана! Он жил в чужих скалах! Он до сих пор молодой! Кто уходил туда, тому не место среди нас! Предатель!

Вниз по склону запрыгал тяжелый камень. Сим отпрянул в сторону, увлекая сестру с собой. Толпа взревела. Потряса кулаками, все кинулись к Симу.

— Смерть ему, смерть! — бесновался незнакомый Симу старик.

— Стойте! — Сим выбросил вперед обе руки.— Я пришел с корабля!

— С корабля?

Толпа замедлила шаг. Прижавшись к Симу, Дак смотрела на его молодое лицо и поражалась, какое оно гладкое.

— Убейте его, убейте, убейте! — прокаркал старик и взялся за новый камень.

— Я продлю вашу жизнь на десять, двадцать, тридцать дней!

Они остановились. Раскрытые рты, неверящие глаза...

— Тридцать дней? — эхом отдавалось в толпе. — Как?

— Идемте со мной к кораблю. Внутри него человек может жить почти вечно!

Старик поднял над головой камень, но, сраженный апоплексическим ударом, хрипя, скатился по склону вниз, к самым ногам Сима.

Сим нагнулся, пристально разглядывая морщинистое лицо, холодные, мертвые глаза, вяло оскаленный рот, иссохшее недвижимое тело.

— Кайон!

— Да,— произнес за его спиной странный, скрипучий голос Дак.— Твой враг, Кайон.

В ту ночь двести человек вышли в путь к кораблю. Вода устремилась по новому руслу. Сто человек утонули, затерялись в студеной ночи. Остальные вместе с Симом дошли до корабля.

Лайт ждала их и распахнула металлический люк.

Шли недели. Поколение сменялось поколением в скалах, пока ученые и механики трудились над кораблем, постигая разные механизмы и их действие.

И вот наконец двадцать пять человек стали по местам внутри корабля. Теперь — в далекий путь!

Сим взялся за рычаги управления.

Подошла Лайт, сонно протирая глаза, села на пол подле него и положила голову ему на колено.

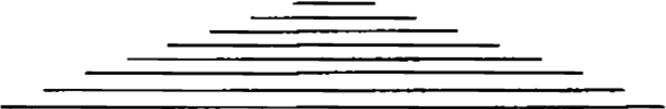
— Мне снился сон,— заговорила она, глядя куда-то вдаль.— Мне снилось, будто я жила в пещере, в горах, на студеной и жаркой планете, где люди старились и умирали за восемь дней.

— Нелепый сон,— сказал Сим.— Люди не могли бы жить в таком кошмаре. Забудь про это. Сон твой кончился.

Он мягко нажал рычаги. Корабль поднялся и ушел в космос.

Сим был прав.

Кошмар наконец кончился.



Этилог



О скитаньях вечных и о Земле

Семьдесят лет кряду Генри Уильям Филд писал рассказы, которые никто никогда не печатал, и вот однажды в половине двенадцатого ночи он поднялся и сжег десять миллионов слов. Отнес все рукописи в подвал своего мрачного старого особняка, в котельную, и швырнул в печь.

— Вот и все, — сказал он и, раздумывая о своих напрасных трудах и загубленной жизни, вернулся в спальню, полную всяческих антикварных диковинок, и лег в постель. — Зря я пытался изобразить наш безумный мир, это была ошибка. Год 2257-й, ракеты, атомные чудеса, странствия к чужим планетам и двойным солнцам. Кому же это под силу! Пробовали-то все. И ни у одного современного автора ничего не вышло.

Космос слишком необъятен, думал он, межзвездные корабли слишком быстры, открытия атомной науки слишком внезапны. Но другие с грехом пополам все же печатались, а он, богатый и праздный, всю жизнь потратил впустую.

Целый час он терзался такими мыслями, а потом побрел через ночные комнаты в библиотеку и зажег фонарь. Среди книг, к которым полвека никто не прикасался, он наудачу выбрал одну. Книге минуло три столетия, ветхие страницы пожелтели, но он впился в эту книгу и жадно читал до самого рассвета...

В девять утра Генри Уильям Филд выбежал из библиотеки, кликнул слуг, вызвал по телевизору юристов, друзей, ученых, литераторов.

— Приезжайте сейчас же! — кричал он.

Не прошло и часа, как у него собралось человек двенадцать; Генри Уильям Филд ждал в кабинете — встрепанный, небритый, до неприличия взбудораженный, переполненный каким-то непонятным лихорадочным весельем. Высохшими руками

он сжимал толстую книгу и, когда с ним здоровались, только смеялся в ответ.

— Смотрите,— сказал он наконец,— вот книга, ее написал исполин, который родился в Эшвилле, штат Северная Каролина, в тысяча девятисотом году. Он давно уже обратился в прах, а когда-то написал четыре огромных романа. Он был как ураган. Он вздымал горы и вбирал в себя вихри. Пятнадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года он умер в Балтиморе, в больнице Джона Хопкинса, от древней страшной болезни — пневмонии, и после него остался чемодан, набитый рукописями, и все написаны карандашом.

Собравшиеся посмотрели на книгу: «Взгляни на дом свой, ангел».

Старик Филд выложил на стол еще три книги: «О времени и о реке», «Паутина и скала», «Домой возврата нет».

— Их написал Томас Вулф,— сказал он.— Три столетия он покоится в земле Северной Каролины.

— Неужели же вы создали нас только затем, чтобы показать книги какого-то мертвеца? — изумились друзья.

— Нет, не только! Я созвал вас, потому что понял: Том Вулф — вот кто нам нужен! Вот человек, созданный для того, чтобы писать о великом, о Времени и Пространстве, о галактиках и космической войне, о метеорах и планетах. Он любил и описывал все вот в таком роде, величественное и грозное. Просто он родился слишком рано. Ему нужен был материал поистине грандиозный, а на Земле он ничего такого не нашел. Ему следовало родиться не сто тысяч дней назад, а сегодня.

— А вы, боюсь, немного опоздали,— заметил профессор Боултон.

— Ну нет! — отрезал старик.— Я-то не дам действительности меня обокрасть. Вы, профессор, ставите опыты с путешествиями во времени. Надеюсь, вы уже в этом месяце доделаете свою машину. Вот вам чек, сумму проставьте сами. Если понадобятся еще деньги, скажите только слово. Вы ведь уже путешествовали в прошлое, так?

— Да, на несколько лет назад, но не на столетия...

— А мы добьемся столетий! И вы все,— он обвел присутствующих неистовым сверкающим взглядом,— будете помогать Боултону. Мне необходим Томас Вулф.

Все ахнули.

— Да-да,— подтвердил старик.— Вот что я задумал. Вы доставите мне Вулфа. Сообща мы выполним великую задачу: полет с Земли на Марс будет описан так, как способен это сделать один лишь Томас Вулф!

И все ушли, а Филд остался со своими книгами, он листал ветхие страницы и, кивая, бормотал про себя:

— Да-да, конечно! Том — вот кто нам нужен. Том самый подходящий парень для этого дела.

Медленно влачился месяц. Дни упорно не желали расставаться с календарем, нескончаемо тянулись недели, и Генри Уильям Филд готов был взвыть от отчаяния.

На исходе месяца он однажды проснулся в полночь. Тре-звонил телефон.

В темноте Филд протянул руку.

— Слушаю.

— Говорит профессор Боултон.

— Что скажете?

— Я отбываю через час.

— Отбываете? Куда? Вы что, бросаете работу? Это невозможно!

— Позвольте, мистер Филд. Отбываю — это значит отбываю.

— Так вы и вправду отправляетесь?

— Через час.

— В тысяча девятьсот тридцать восьмой? Пятнадцатое сентября?

— Да.

— Вы точно записали дату? Вдруг вы придете, когда он уже умрет? Смотрите, не опоздайте! Постарайтесь попасть туда загодя, скажем, за час до его смерти.

— Хорошо.

— Я так волнуюсь, насилу держу в руках трубку. Счастливо, Боултон! Доставьте его сюда в целости и сохранности.

— Спасибо, сэр. До свидания.

В трубке шелкнуло.

Генри Уильям Филд лежал без сна, ночь отсчитывала минуты. Он думал о Томе Вулфе как о давно потерянном брате, которого надо поднять невредимым из-под холодного могильного камня, возратить ему плоть и кровь, горение и слово. И всякий раз он трепетал при мысли о Боултоне — о том, кого ветер Времени уносит вспять, к иным календарям, к иным лицам.

«Том, — в полудреме думал он с бессильной нежностью, словно старик отец, взывающий к любимому, давно потерянному сыну, — Том, где ты сейчас? Приходи, мы тебе поможем, ты непременно должен прийти, ты нам так нужен! Мне это не под силу, Том, и никому из нас, теперешних, не под силу.

Раз уж я сам не могу с этим справиться, так хоть помогу тебе. У нас ты можешь играть ракетами, Том, вот тебе звезды — пригоршни цветных стеклышек. Бери все что душе угодно, у нас все есть. Тебе придется по вкусу наше горение и наши странствия — они созданы для тебя. Мы, нынешние, — жалкие писаки, Том, я всех перечел, и ни один тебя не стоит. Я одолел многое множество их сочинений, Том, и нигде ни на миг не ощутил Пространства — для этого нам нужен ты! Дай же старику то, к чему он стремился всю жизнь, ведь, Бог свидетель, я всегда ждал, что сам ли я или кто другой напишет наконец поистине великую книгу о звездах, — и ждал напрасно. Каков ты ни есть, сегодня ночью, Том Вулф, покажи, на что ты способен. Эту книгу ты готовился создать. Критики говорят — эта прекрасная книга уже сложилась у тебя в голове, но тут жизнь твоя оборвалась. И вот выпал случай, Том, ты ведь его не упустишь? Ты ведь слушаешься и придешь к нам, придешь сегодня ночью и будешь здесь утром, когда я проснусь? Ведь правда, Том?»

Веки Филда смежились; смолк язык, лихорадочно лепетавший все ту же настойчивую мольбу; уснули губы.

Часы пробили четыре.

Он пробудился ясным трезвым утром и ощутил в груди нарастающий прилив волнения. Он боялся мигнуть — вдруг то, что ждет его где-то в доме, кинется бежать, хлопнет дверью и исчезнет навеки. Он прижал руки к худой старческой груди.

Вдалеке... шаги...

Одна за другой отворялись и затворялись двери. В спальню вошли двое.

Филд слышал их дыхание. И уже различал походку. У одного мелкие аккуратные шажки, точно у паука, — это Боултон. Поступь второго выдает человека рослого, крупного, грузного.

— Том? — вскрикнул старик. Он все еще не открывал глаз.

— Да, — услышал он наконец.

Едва Филд увидел Тома Вулфа, образ, созданный его воображением, лопнул по всем швам, как слишком тесная одежда на большом, не по возрасту, ребенке.

— Дай я на тебя погляжу, Том Вулф! — снова и снова твердил Филд, неуклюже вылезая из постели. Его трясло. — Да поднимите же шторы, дайте на него посмотреть! Том Вулф, неужели это ты?

Огромный, плотный Том Вулф смотрел на него сверху вниз, растопырив тяжелые руки, чтобы не потерять равновесие в этом незнакомом мире. Он посмотрел на старика, обвел глазами комнату, губы его дрожали.

— Ты совсем такой, как тебя описывали, Том, только больше.

Томас Вулф засмеялся, захохотал во все горло — решил, должно быть, что сошел с ума или видит какой-то нелепый сон; шагнул к старику, дотронулся до него, оглянулся на профессора Боултона, ощупал свои плечи, ноги, осторожно покашлял, приложил ладонь ко лбу.

— Жара больше нет, — сказал он. — Я здоров.

— Конечно, здоров, Том!

— Ну и ночка! — сказал Том Вулф. — Тяжко мне пришлось. Я думал, ни одному больному на свете не бывало так худо. Вдруг чувствую — плыву — и подумал: ну и жар у меня! Чувствую, меня куда-то несет — и подумал: все, умираю. Подходит ко мне человек. Я подумал — гонец Господень. Взял он меня за руки. Чую — электричеством пахнет. Взлетел я куда-то вверх, вижу — медный город. Ну, думаю, прибыл. Вот оно, Царство небесное, а вот и врата! Окоченел я с головы до ног, будто меня держали в снегу. Смех разбирает, надо мне что-то делать, а то я окончательно решу, что спятил. Вы ведь не Господь Бог, а? С виду что-то не похоже.

Старик рассмеялся:

— Нет-нет, Том, я не Бог, только прикидываюсь. Я Филд. — Он опять засмеялся: — Надо же! Я так говорю, как будто он может знать, кто такой Филд. Том, я Филд, финансовый туз, — кланяйся пониже, целуй руку. Я Генри Филд, мне нравятся твои книги. Я перенес тебя сюда. Подойди-ка.

И старик потащил Вулфа к широченному зеркальному окну.

— Видишь в небе огни, Том?

— Да, сэр.

— Фейерверк видишь?

— Вижу.

— Это совсем не то, что ты думаешь, сынок. Нынче не Четвертое июля. Не как в твоё время. Теперь у нас каждый день — Праздник независимости. Человек объявил, что он свободен от Земли. Власть земного притяжения давным-давно свергнута. Человечество победило. Вон та зеленая «римская свеча» летит на Марс. А тот красный огонек — ракета с Венеры. И еще — видишь, сколько их? — желтые, голубые. Это межпланетные корабли.

Томас Вулф смотрел во все глаза, точно ребенок-великан, замороженный многоцветными огненными чудесами, что сверкают и кружат в июльских сумерках, и вспыхивают, и разрываются с оглушительным треском.

— Какой теперь год?

— Год ракеты. Смотри! — Старик коснулся каких-то растений, и у него под рукой они вдруг расцвели. Цветы были точно белое и голубое пламя. Они пламенели, искрились прохладными удлиненными лепестками. Венчики их были два фута в поперечнике и холодно голубели, словно осенняя луна. — Это лунные цветы, — сказал Филд. — С обратной стороны Луны. — Он чуть коснулся их, и они осыпались серебряным дождем, брызнули белые искры и растаяли в воздухе. — Год ракеты. Вот тебе подходящее название, Том. Вот почему мы перенесли тебя сюда: ты нам нужен. Ты единственный человек, способный совладать с Солнцем и не обратиться в жалкую горсточку золы. Мы хотим, чтобы ты играл Солнцем как мячом — Солнцем, и звездами, и всем, что увидишь по пути на Марс.

— На Марс? — Томас Вулф обернулся, схватил старика за плечо, наклонился, недоверчиво всматриваясь ему в лицо.

— Да. Ты летишь сегодня в шесть.

Старик поднял затрепетавший в воздухе розовый билетик и ждал, когда Том догадается его взять.

Было пять часов.

— Да-да, конечно, я очень ценю все, что вы сделали! — воскликнул Томас Вулф.

— Сядь, Том. Перестань бегать из угла в угол.

— Дайте договорить, мистер Филд, дайте мне кончить, я должен высказать все до конца.

— Мы уже столько часов спорим, — в изнеможении взмолился Филд.

Они проговорили с утреннего завтрака до полудня и с полудня до вечернего чая, переходили из одной комнаты в другую (а их была дюжина) и от одного довода к другому (а их было десять дюжин); обоих бросало в жар, и в холод, и снова в жар.

— Все сводится вот к чему, — сказал наконец Томас Вулф. — Не могу я здесь оставаться, мистер Филд. Я должен вернуться. Это не мое время. Вы не имели права вмешиваться...

— Но...

— Моя работа была в самом разгаре, а лучшую свою книгу я еще и не начинал — и вдруг вы хватаете меня и переносите на три столетия вперед. Вызовите профессора Боултона, мистер Филд. Пускай он посадит меня в свою машину, какая она ни есть, и отправит обратно в тысяча девятьсот тридцать восьмой, там мое время и мое место. Больше мне от вас ничего не надо.

— Неужели ты не хочешь увидеть Марс?

— Еще как хочу! Но я знаю — это не для меня. Вся моя работа пойдет прахом. На меня навалится груда ощущений,

которые я не смогу вместить в мои книги, когда вернусь домой.

— Ты не понимаешь, Том, ты просто не понимаешь.

— Прекрасно понимаю, вы эгоист.

— Эгоист? — переспросил старик. — Да, конечно, и еще какой! Ради себя и ради других.

— Я хочу вернуться домой.

— Послушай, Том...

— Вызовите профессора Боултона!

— Том, я очень не хотел тебе говорить... Я надеялся, что не придется, что в этом не будет нужды. Но ты не оставляешь мне выбора.

Старик протянул руку к завешенной стене, отдернул занавес, открыв большой белый экран, и начал вращать диск, набирая какие-то цифры; экран замерцал, ожил, огни в комнате медленно померкли — и перед глазами возникло кладбище.

— Что вы делаете? — резко спросил Вулф, шагнул вперед и уставился на экран.

— Я совсем этого не хотел, — сказал старик. — Смотри.

Кладбище лежало перед ними в ярком свете летнего полдня. С экрана потянуло жарким запахом летней земли, разогретого гранита, свежестью журчащего по соседству ручья. В ветвях дерева свистела какая-то пичуга. Среди могильных камней кивали алые и желтые цветы, экран двигался, небо поворачивалось, старик вертел диск, увеличивая изображение... и вот посреди экрана выросла мрачная гранитная глыба — она растет, близится, заполняет все, они уже ничего больше не видят и не чувствуют, и в полутемной комнате Томас Вулф, подняв глаза, читает высеченные на граните слова — раз, другой, третий и, задохнувшись, перечитывает вновь, ибо это его имя:

ТОМАС ВУЛФ

и дата его рождения, и дата смерти, и в холодной комнате пахнет душистым зеленым папоротником.

— Выключите! — сказал он.

— Прости, Том.

— Выключите, ну! Не верю я этому.

— Это правда.

Экран почернел, и комнату накрыл полуночный небосвод, она стала склепом, едва чувствовалось последнее дыхание цветов.

— Значит, я уже не проснулся, — сказал Томас Вулф.

— Да. Ты умер тогда, в сентябре тысяча девятьсот тридцать восьмого.

— И не дописал книгу.

— Ее напечатали другие, они отнеслись к ней очень бережно, сделали за тебя все, что надо.

— Я не дописал свою книгу, не дописал!

— Не горюй так.

— Вам легко говорить!

Старик все не зажигал света. Ему не хотелось видеть Тома таким.

— Сядь, сынок.

Молчание.

— Том?

Никакого ответа.

— Сядь, сынок. Хочешь чего-нибудь выпить?

Вздых, потом сдавленное рычание, словно застонал раненый зверь.

— Это несправедливо, нечестно! Мне надо было еще столько сделать!

Он глухо зарыдал.

— Перестань, — сказал старик. — Слушай. Выслушай меня. Ты еще жив, так? Здесь, сейчас — ты живой? Ты дышишь и чувствуешь, верно?

Томас Вулф ответил не сразу:

— Верно.

— Так вот, — в темноте Филд подался вперед. — Я перенес тебя сюда, Том, я даю тебе еще одну возможность. Лишний месяц или около того. Думаешь, я тебя не оплакивал? Я прочел твои книги, а потом увидел надгробный камень, который триста лет точили ветер и дождь, и подумал: «Такого таланта не стало!» Эта мысль меня просто убила, поверь. Просто убила! Я не жалел денег, лишь бы найти какой-то путь к тебе. Ты получил отсрочку — правда, короткую, очень короткую. Профессор Боултон говорит: если очень повезет, мы сумеем продержат каналы Времени открытыми два месяца. Он будет держать их для тебя два месяца, но не дольше. За этот срок ты должен написать книгу, Том, ту книгу, которую мечтал написать, — нет-нет, сынок, не ту, которую ты писал для современников: они все умерли и обратились в прах, этого уже не изменить. Нет, теперь ты создашь книгу для нас, живущих, она нам очень-очень нужна. Ты оставишь ее нам ради себя же самого, она будет во всех отношениях выше и лучше твоих прежних книг... ведь ты ее напишешь, Том? Можешь ты на два месяца забыть тот камень, больницу и писать для нас? Ты напишешь, правда, Том?

Комнату медленно заполнил свет. Том Вулф стоял и смотрел в окно — большой, массивный, а лицо бледное, усталое.

Он смотрел на ракеты, что пронеслись в неярком вечернем небе.

— Я сперва не понял, что вы для меня сделали, — сказал он. — Вы мне даете еще немного времени, а время мне всего дороже и нужней, оно мне друг и враг, я всегда с ним воевал, и отблагодарить вас я, видно, могу только одним способом. Будь по-вашему. — Он запнулся. — А когда я кончу работу? Что тогда?

— Вернешься в больницу, Том, в тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

— Иначе нельзя?

— Мы не можем изменить Время. Мы взяли тебя только на пять минут и вернем тебя на больничную койку через пять минут после того, как ты ее оставил. Таким образом мы ничего не нарушим. Все это уже история. Тем, что ты живешь сейчас с нами, в будущем, ты нам не повредишь. Но если ты откажешься вернуться, ты повредишь прошлому, а значит, и будущему: там многое перевернется, будет хаос.

— Два месяца, — сказал Томас Вулф.

— Два месяца.

— А ракета на Марс летит через час?

— Да.

— Мне нужны бумага и карандаши.

— Вот они.

— Надо собираться. До свиданья, мистер Филд.

— Счастливо, Том.

Шесть часов. Заходит солнце. Небо алеет, как вино. В просторном доме тишина. Жарко, но старика знобит, и вот наконец появляется профессор Боултон.

— Ну как, Боултон? Как он себя чувствовал, как держался на космодроме? Да говорите же!

Профессор улыбается:

— Он просто чудище — такой великан, ни один скафандр ему не впору, пришлось спешно делать новый. Жаль, вы не видали, что это было: все-то он обошел, все ощупал, принимает, как большой пес, говорит без умолку, глаза круглые, ненасытные, и от всего приходит в восторг — прямо как мальчишка!

— Дай-то Бог, дай Бог! Боултон, а вы и правда продержите его тут два месяца?

Профессор нахмурился:

— Вы же знаете, он не принадлежит нашему времени. Если энергия здесь хоть на миг ослабнет, Вулфа разом притянет обратно в прошлое, как бумажный мячик на резинке. Поверьте, мы всячески стараемся его удержать.

— Это необходимо, поймите! Нельзя, чтобы он вернулся, не докончив книгу! Вы должны...

— Смотрите! — прервал Боултон.

В небо взмыла серебряная ракета.

— Это он? — спросил старик.

— Да, — сказал профессор. — Это Вулф летит на Марс.

— Bravo, Том! — завопил старик, потрясая кулаками над головой. — Задай им жару!

Ракета утонула в вышине, они проводили ее глазами.

К полуночи до них дошли первые страницы.

Генри Уильям Филд сидел у себя в библиотеке. Перед ним на столе гудел аппарат. Аппарат повторял слова, написанные далеко, по ту сторону Луны. Он выводил их черным карандашом, в точности воспроизводя торопливые каракули Тома Вулфа, нацарапанные за миллион миль отсюда. Насилу дождавшись, чтобы на стол легла стопка бумажных листов, старик схватил их и принялся читать, а Боултон и слуги стояли и слушали. Он читал о Пространстве и Времени, и о полете, о большом человеке в большом пути, о долгой полуночи и о холоде космоса, и о том, как изголодавшийся человек с жадностью поглощает все это и требует еще и еще. Он читал, и каждое слово полно было горения, и грома, и тайны.

«Космос — как осень», — писал Томас Вулф. И говорил о пустынном мраке, об одиночестве, о том, как мал затерянный в космосе человек. Говорил о вечной, непреходящей осени. И еще — о межпланетном корабле, о том, как пахнет металл и какой он на ощупь, и о чувстве высокой судьбы, о неистовом восторге, с каким наконец-то отрываешься от Земли, оставляешь позади все земные задачи и печали и стремишься к задаче куда более трудной, к печали куда более горькой. Да, это были прекрасные страницы, и они говорили то, что непременно надо было сказать о вселенной и человеку и о его крохотных ракетах, затерянных в космосе.

Старик читал, пока не охрип, за ним читал Боултон, потом остальные — до глубокой ночи, когда аппарат перестал писать и все поняли, что Том уже в постели, там, в ракете, летящей на Марс... наверно, он еще не спит, нет, еще долго он не уснет, так и будет лежать без сна, словно мальчишка в канун открытия цирка: ему все не верится, что уже воздвигнут огромный, черный, весь в драгоценных камнях балаган, и представление начинается, и десять миллиардов сверкающих акробатов качаются на туго натянутых проволоках, на незримых трапециях Пространства.

— Ну вот! — выдохнул старик, бережно откладывая последние страницы первой главы. — Что вы об этом скажете, Боултон?

— Это хорошо.

— Черта с два хорошо! — заорал Филд. — Это великолепно! Прочтите еще раз, сядьте и прочтите еще раз, черт вас побери!

Так оно и шло, день за днем, по десять часов кряду.

На полу росла гряда желтоватой исписанной бумаги — за неделю она стала огромной, за две недели неправдоподобной, к концу месяца совершенно невыносимой.

— Вы только послушайте! — кричал старик Филд и читал вслух. — А это?! — говорил он. — А вот еще глава, Боултон, а вот повесть, она только что передана, называется «Космическая война», целая повесть о том, каково это — воевать в космосе. Он говорил с разными людьми, расспрашивал солдат, офицеров, ветеранов Пространства. И обо всем написал. А вот еще глава, называется «Долгая полночь», а эта — о том, как негры заселили Марс, а вот очерк — портрет марсианина, ему просто цены нет!

Боултон откашлялся:

— Мистер Филд...

— После, после, не мешайте!

— Дурные новости, сэр.

Филд вскинул седую голову:

— Что такое? Что-нибудь с Элементом Времени?

— Передайте Вулфу, пускай поторопится, — мягко сказал Боултон. — Вероятно, на этой неделе связь с Прошлым оборвется.

— Я дам вам еще миллион долларов, только поддерживайте ее.

— Дело не в деньгах, мистер Филд. Сейчас все зависит от самой обыкновенной физики. Я сделаю все, что в моих силах. Но вы его предупредите на всякий случай.

Старик съехался в кресле, стал совсем крохотный.

— Неужели вы сейчас отнимете его у меня? Он так великолепно работает! Видели бы вы, какие эскизы он передал только час назад — рассказы, наброски. Вот, вот это — про космические течения, а это — о метеоритах. А вот начало повести под названием «Пушинка и пламя»...

— Что поделаешь...

— Но если мы сейчас его лишимся, может быть, вы сумеете доставить его сюда еще раз?

— Неумеренное вмешательство в Прошлом слишком опасно. Старик будто окаменел.

— Тогда вот что. Устройте так, чтобы Вулф не тратил ни минуты на канитель с карандашом и бумагой, пускай печатает

на машинке либо диктует, словом, позаботьтесь о какой-нибудь механизации. Непременно!

Аппарат стрекотал без усталости — за полночь, и потом до рассвета, и весь день напролет. Старик Филд провел бессонную ночь; едва он смежит веки, как аппарат вновь оживает, — и он встрепенется, и снова космические просторы, и странствия, и необъятность бытия хлынут к нему, преображенные мыслью другого человека.

«...Бескрайние звездные луга космоса...»

Аппарат запнулся, дрогнул.

— Давай, Том! Покажи им!

Старик застыл в ожидании.

Зазвонил телефон.

Голос Боултона:

— Мы больше не можем поддерживать связь, мистер Филд. Еще минута — и контакт Времени сойдет на нет.

— Сделайте что-нибудь!

— Не могу.

Телетайп дрогнул. Слово заколдованный, похолодевшее от ужаса, старик следил, как складываются черные строчки:

«...марсианские города — изумительные, неправдоподобные, словно камни, снесенные с горных вершин какой-то стремительной, невероятной лавиной и застывшие наконец сверкающими россыпями...»

— Том! — вскрикнул старик.

— Все, — прозвучал в телефонной трубке голос Боултона.

Телетайп помедлил, отстучал еще слово и умолк.

— Том! — отчаянно закричал Филд.

Он стал трясти телетайп.

— Бесплезно, — сказал голос в трубку. — Он исчез. Я отключаю Машину Времени.

— Нет! Погодите!

— Но...

— Слышали, что я сказал? Погодите выключать! Может быть, он еще здесь.

— Его больше нет. Это бесполезно; энергия уходит впустую.

— Пускай уходит!

Филд швырнул трубку.

И повернулся к телетайпу, к незаконченной фразе.

— Ну же, Том, не могут они вот так от тебя отделаться, не поддавайся, мальчик, ну же, продолжай! Докажи им, Том, ты же молодчина, ты больше, чем Время и Пространство и все эти треклятые механизмы, у тебя такая силища, у тебя же-

лезная воля, Том, докажи им всем, не давай отправить тебя обратно!

Щелкнул клавиш телетайпа.

— Том, это ты?! — вне себя забормотал старик. — Ты еще можешь писать? Пиши, Том, не сдавайся, пока ты не опустил рук, тебя не могут отослать обратно, не могут!!!

«В», — стукнула машина.

— Еще, Том, еще!

«Дыхании», — отстучала она.

— Ну, ну?!

«Марса», — напечатала машина и остановилась. Короткая тишина. Щелчок. И машина начала сызнова, с новой строчки:

«В дыхании Марса ощущаешь запах корицы и холодных пряных ветров, тех ветров, что вздымают летучую пыль, и омывают нетленные кости, и приносят пыльцу давным-давно отцветших цветов...»

— Том, ты еще жив!

Вместо ответа аппарат еще десять часов кряду взрывался лихорадочными приступами и отстучал шесть глав «Бегства от демонов».

— Сегодня уже полтора месяца, Боултон, целых полтора месяца, как Том полетел на Марс и на астероиды. Смотрите, вот рукописи. Десять тысяч слов в день, он не дает себе передышки, не знаю, когда он спит, успевает ли поесть, да это мне все равно, и ему тоже, ему одно важно — дописать, он ведь знает, что время не ждет.

— Непостижимо! — сказал Боултон. — Наши реле не выдержали, энергия упала. Мы изготовили для главного канала новые реле, которые обеспечивают надежность Элемента Времени, но ведь на это ушло три дня — и все-таки Вулф продержался! Видно, это зависит еще и от его личности, тут действует что-то такое, чего мы не предусмотрели. Здесь, в нашем времени, Вулф живет — и, оказывается, Прошлому не так-то легко его вернуть. Время не так податливо, как мы думали. Мы пользовались неправильным сравнением. Это не резинка. Это больше похоже на диффузию — взаимопроникновение жидких слоев. Прошлое как бы просачивается в Настоящее... Но все равно придется отослать его назад, мы не можем оставить его здесь: в Прошлом образуется пустота, все сместится и спутается. В сущности, Вулфа сейчас удерживает у нас только одно — он сам, его страсть, его работа. Дописав книгу, он ускользнет из нашего Времени так же естественно, как выливается вода из стакана.

— Мне плевать, что, как и почему! — возразил Филд. — Я знаю одно: Том заканчивает свою книгу! У него все тот же талант, и вдохновение, и есть что-то еще, что-то новое, он ищет ценности, которые превыше Пространства и Времени. Он написал психологический этюд о женщине, которая остается на Земле, когда отважные космонавты устремляются в Неизвестность, это прекрасно написано, правдиво и тонко; Том назвал свой этюд «День ракеты», он описал всего лишь один день самой обыкновенной провинциалки: она живет у себя в доме, как жили ее прабабки, — ведет хозяйство, растит детей... невиданный расцвет науки, грохот космических ракет, а ее жизнь почти такая же, как была у женщин в каменном веке. Том правдиво, тщательно и проникновенно описал ее порывы и разочарования. Или вот еще рукопись, называется «Индейцы», тут он пишет о марсианах: они — индейцы космоса, их вытеснили и уничтожили, как в старину индейские племена черочков, ирокезов, черноногих. Выпейте, Боултон, выпейте!

На исходе второго месяца Том Вулф возвратился на Землю.

Он вернулся в пламени, как в пламени улетал, шагами исполина он пересек космос и вступил в дом Генри Уильяма Филда, в библиотеку, где на полу громоздились кипы желтой бумаги, исчерканной карандашом либо покрытой строчками машинописи: груды эти предстояло разделить на шесть частей, они составляли шедевр, созданный с невероятной быстротой нечеловечески упорным трудом, в постоянном сознании неумолимо уходящих минут.

Том Вулф возвратился на Землю, он стоял в библиотеке Филда и смотрел на громады, рожденные его сердцем и его рукой.

— Хочешь все это прочесть, Том? — спросил старик.

Но он покачал массивной головой, широкой ладонью откинул назад гриву темных волос.

— Нет, — сказал он. — Боюсь начинать. Если начну, захочу взять все это с собой. А мне ведь нельзя это забрать домой, правда?

— Нельзя, Том.

— А очень хочется.

— Ничего не поделаешь: нельзя. В тот год ты не написал нового романа. Что написано здесь, должно здесь и остаться, что написано там, должно остаться там. Ничего нельзя изменить.

— Понимаю. — С тяжелым вздохом Вулф опустился в кресло. — Устал я. Ужасно устал. Нелегко это было. Но и здорово! Который же сегодня день?

— Шестидесятый.

— Последний?

Старик кивнул, и долгие минуты оба молчали.

— Назад, в тысяча девятьсот тридцать восьмой, на кладбище, под камень, — сказал Том Вулф, закрыв глаза. — Не хочется мне. Лучше бы я про это не знал, страшно знать такое...

Голос его замер, он уткнулся лицом в широкие ладони да так и застыл.

Дверь отворилась. Вошел Боултон со склянкой в руках и остановился за креслом Тома Вулфа.

— Что это у вас? — спросил старик Филд.

— Давно уничтоженный вирус, — ответил Боултон. — Пневмония. Очень древний и очень свирепый недуг. Когда мистер Вулф прибыл к нам, мне, разумеется, пришлось его вылечить, чтобы он мог справиться со своей работой; при нашей современной технике это было проще простого. Культуру микроба я сохранил. Теперь, когда мистер Вулф возвращается, надо будет заново привить ему пневмонию.

— А если не привить?

Том Вулф поднял голову.

— Если не привить, в тысяча девятьсот тридцать восьмом году он выздоровеет.

Том Вулф встал.

— То есть как? Выздоровлю, встану на ноги — там, у себя, — буду здоров и натяну могильщикам нос?

— Совершенно верно.

Том Вулф устался на склянку, рука его судорожно дернулась.

— Ну а если я уничтожу этот ваш вирус и не дамся вам?

— Этого никак нельзя!

— Ну... а если?

— Вы все разрушите.

— Что — все?

— Связь вещей, ход событий, жизнь, всю систему того, что есть и что было, что мы не вправе изменить. Вы не можете все это нарушить. Безусловно одно: вы должны умереть, и я обязан об этом позаботиться.

Вулф поглядел на дверь.

— А если я убегу и вернусь без вашей помощи?

— Машина Времени у нас под контролем. Вам не выйти из этого дома. Я вынужден буду силой вернуть вас сюда и сделать прививку. Я предвидел, что под конец осложнений не миновать, и сейчас внизу наготове пять человек. Стоит мне крикнуть... сами видите, это бесполезно. Ну вот, так-то лучше. Вот так.

Вулф отступил, обернулся, поглядел на старика, в окно, обвел взглядом просторную комнату.

— Простите меня. Очень не хочется умирать. Ох как не хочется!

Старик подошел, стиснул его руку.

— А ты смотри на это так: тебе удалось небывалое — выиграть у жизни два месяца сверх срока, и ты написал еще одну книгу — последнюю, новую книгу! Подумай об этом — и тебе станет легче.

— Спасибо вам за это,— серьезно сказал Томас Вулф.— Спасибо вам обоим. Я готов.— Он засучил рукав.— Давайте вашу прививку.

И пока Боултон делал свое дело, Вулф свободной рукой взял карандаш и на первом листе первой части рукописи вывел две строчки, потом вновь заговорил:

— В одной моей старой книге есть такое место,— он нахмурился, вспоминая: — «...о скитаньях вечных и о Земле... Кто владеет Землей? И для чего нам Земля? Чтобы скитаться по ней? Для того ли нам Земля, чтобы не знать на ней покоя? Всякий, кому нужна Земля, обретет ее, останется на ней, успокоится на малом клочке и пребудет в тесном уголке ее вовеки...»

Вулф минуту помолчал.

— Вот она, моя последняя книга,— сказал он потом и на чистом желтом листе огромными черными буквами, с силой нажимая карандашом, вывел:

ТОМАС ВУЛФ О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ

Он схватил кипу исписанных листов, на миг прижал к груди.

— Хотел бы я забрать ее с собой. Точно расстаеться с родным сыном!

Отложил рукопись, хлопнул по ней ладонью, наскоро пожал руку Филда и зашагал к двери; Боултон двинулся за ним. На пороге Вулф остановился, озаренный предвечерним солнцем, огромный, величественный.

— Прощайте! — крикнул он.— Прощайте!

Хлопнула дверь. Том Вулф исчез.

Наконец его нашли: он брел по больничному коридору.

— Мистер Вулф!

— Да?

— Ну и напугали вы нас, мистер Вулф, мы уж думали, вы исчезли!

— Исчез?

— Где вы пропадали?

— Где? Где пропал? — Его вели полуночными коридорами, он покорно шел.— Ого, если б я и сказал вам, где... все равно вы не поверите.

— Вот и ваша кровать, напрасно вы встали.

И он опустился на белое смертное ложе, от которого исходило слабое, чистое веяние уготованного ему конца, близкого конца, пахнувшего больницей; он едва коснулся этого ложа — и оно поглотило его, окутало больничным запахом и холодной крахмальной белизной.

— Марс, Марс,— шептал исполин в тишине ночи.— Моя лучшая, самая лучшая, подлинно прекрасная книга, она еще будет написана, будет напечатана, в иной год, через три столетия...

— Вы слишком возбуждены.

— Вы думаете? — пробормотал Томас Вулф.— Так это был сон? Может быть... Хороший сон...

Его дыхание оборвалось. Томас Вулф был мертв.

Идут годы. На могиле Тома Вулфа опять и опять появляются цветы. И казалось бы, что тут странного, ведь немало народу приходит ему поклониться. Но эти цветы появляются каждую ночь. Будто с неба падают. Огромные, цвета осенней луны, они пламенеют, искрятся прохладными, удлинненными лепестками, они словно белое и голубое пламя. А едва подует предрасветный ветер, они осыпаются серебряным дождем, брызжут белые искры и тают в воздухе. Прошло уже много-много лет с того дня, как умер Том Вулф, а цветы появляются вновь и вновь...

Содержание

От издательства	5
-----------------------	---

Пролог

Человек в картинках (Перевод Норы Галь)	9
---	---

Часть I

Хроники известной Земли

Человек в воздухе (Перевод З. Бобырь)	17
Золотой Змей, Серебряный Ветер (Перевод В. Серебрякова)	21
Дракон (Перевод Норы Галь)	25
Лекарство от меланхолии (Перевод В. Гольдича)	28
Берег на закате (Перевод Норы Галь)	38
Диковинное диво (Перевод Л. Жданова)	46
Пришло время дождей (Перевод Т. Шинкарь)	61
Ветер (Перевод Л. Жданова)	71
Погожий день (Перевод Норы Галь)	80
Машина до Килиманджаро (Перевод Норы Галь)	85
Лучший из возможных миров (Перевод В. Задорожного)	95
Здравствуй и прощай (Перевод Норы Галь)	103
Мальчик-невидимка (Перевод Л. Жданова)	110
Попрыгунчик (Перевод М. Воронежской)	120
Постоялец со второго этажа (Перевод Л. Жданова)	137
Дядюшка Эйнар (Перевод Л. Жданова)	148
Апрельское колдовство (Перевод Л. Жданова)	156
День возвращения (Перевод А. Левкина)	165
Жила-была старушка (Перевод Р. Облонской)	178
Смерть и два (Перевод Д. Жукова)	191
Электрическое тело пою! (Перевод Т. Шинкарь)	199
Детская площадка (Перевод Т. Шинкарь)	234
Тутанпозаигус гех (Перевод В. Задорожного)	251
Ветер Геттисберга (Перевод Т. Шинкарь)	265
Запах сарсапарели (Перевод Норы Галь)	280
Завтра конец света (Перевод Норы Галь)	287
Каникулы (Перевод Л. Жданова)	291
Вино из одуванчиков (Перевод Э. Кабалевской)	297

Часть II

Хроники нашего будущего

И все-таки наш... (Перевод Норы Галь)	491
Урочный час (Перевод Норы Галь)	506
Сущность (Перевод Д. Ливицца)	516
Вельд (Перевод Л. Жданова)	524

Мусорщик (Перевод Л. Жданова)	537
Пешеход (Перевод Норы Галь)	541
Убийца (Перевод Норы Галь)	546
Улыбка (Перевод Л. Жданова)	553
И грянул гром (Перевод Л. Жданова)	558
Кошки-мышки (Перевод Норы Галь)	570
Превращение (Перевод Норы Галь)	585
Ржавчина (Перевод З. Бобыр)	607
Изгнанники (Перевод Т. Шинкарь)	611
Столп Огненный (Перевод Т. Шинкарь)	625
Маятник (Перевод В. Гольдича)	664
451° по Фаренгейту (Перевод Т. Шинкарь)	674

Часть III

Марсианские хроники

Марсианские хроники (Перевод Л. Жданова)	803
Бетонешалка (Перевод Норы Галь)	983
Тот, кто ждет (Перевод А. Лебедевой, А. Чайковского)	1002
Земляничное окошко (Перевод Н. Галь)	1007
Были они смуглые и золотоглазые (Перевод Норы Галь)	1015
Огненные шары (Перевод В. Серебрякова)	1030
Пришелец (Перевод Б. Клюевой)	1046
Разговор заказан заранее (Перевод О. Битова)	1059

Часть IV

Хроники неизвестной Вселенной

Р — значит ракета (Перевод Л. Жданова)	1073
Конец начальной поры (Перевод Норы Галь)	1088
Икар Монгольфье Райт (Перевод Норы Галь)	1093
Золотые яблоки солнца (Перевод Л. Жданова)	1098
Нескончаемый дождь (Перевод Л. Жданова)	1103
Все лето в один день (Перевод Норы Галь)	1116
Космонавт (Перевод Л. Жданова)	1121
Уснувший в Армагеддоне (Перевод Л. Сумило)	1131
Синяя Бутылка (Перевод Н. Григорьевой, В. Грушецкого)	1144
Калейдоскоп (Перевод Норы Галь)	1154
Город (Перевод А. Оганяна)	1162
Человек (Перевод Н. Колтюг)	1169
То ли ночь, то ли утро (Перевод Т. Шинкарь)	1181
Марсианский затерянный город (Перевод О. Битова)	1191
Здесь могут водиться тигры (Перевод Д. Лившица)	1220
Лед и пламя (Перевод Л. Жданова)	1234

Этилог

О скитаньях вечных и о Земле (Перевод Норы Галь)	1277
--	------

Литературно-художественное издание

Рэй Брэдбери
О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ

Ответственный редактор *Д. Малкин*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *О. Шубик*
Компьютерная верстка *А. Скурихина*
Корректоры *М. Павлова, Н. Старостина, М. Стрельцова*

В оформлении переплета использована иллюстрация художника *Стива Юла*

Подписано в печать с готовых монтажей 18.02.2002.
Формат 84×108 ¹/₃₂. Печать офсетная. Усл. печ. л. 68,04.
Доп. тираж 5000 экз. Заказ 2017.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.
Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «ЭКСМО»
обращаться в рекламное агентство «ЭКСМО». Тел. 234-38-00*

*Книга — почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»
101000, Москва, д/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru*

*Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: reception@eksmo-sale.ru*

*Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1
Тел./факс: (095) 932-74-71*

ООО «Медиа группа «ЛОГОС». 103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2
Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mg@logosgroup.ru
contact@logosgroup.ru

ООО «КИФ «ДАКС». Губернская книжная ярмарка.
М. о. г. Люберцы, ул. Волковская, 67.
т. 554-51-51 доб. 126, 554-30-02 доб. 126.

Книжный магазин издательства «ЭКСМО»
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»)



Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК» представляет
самый широкий ассортимент книг издательства «ЭКСМО».
Информация в Санкт-Петербурге по тел. 050.



Всегда в ассортименте новинки издательства «ЭКСМО-Пресс»:

ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Дом книги на ВДНХ»

ТОО «Дом книги в Медведково». Тел.: 476-16-90
Москва, Заревый пр-д, д. 12 (рядом с м. «Медведково»)

ООО «Фирма «Книинком». Тел.: 177-19-86
Москва, Волгоградский пр-т, д. 78/1 (рядом с м. «Кузьминки»)
ООО «ПРЕСБУРГ», «Магазин на Ладожской». Тел.: 267-03-01(02)
Москва, ул. Ладожская, д. 8 (рядом с м. «Бауманская»)

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



ДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ Ф

Рэй
БРЭДБЕРИ



R. Bradbury

ДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ